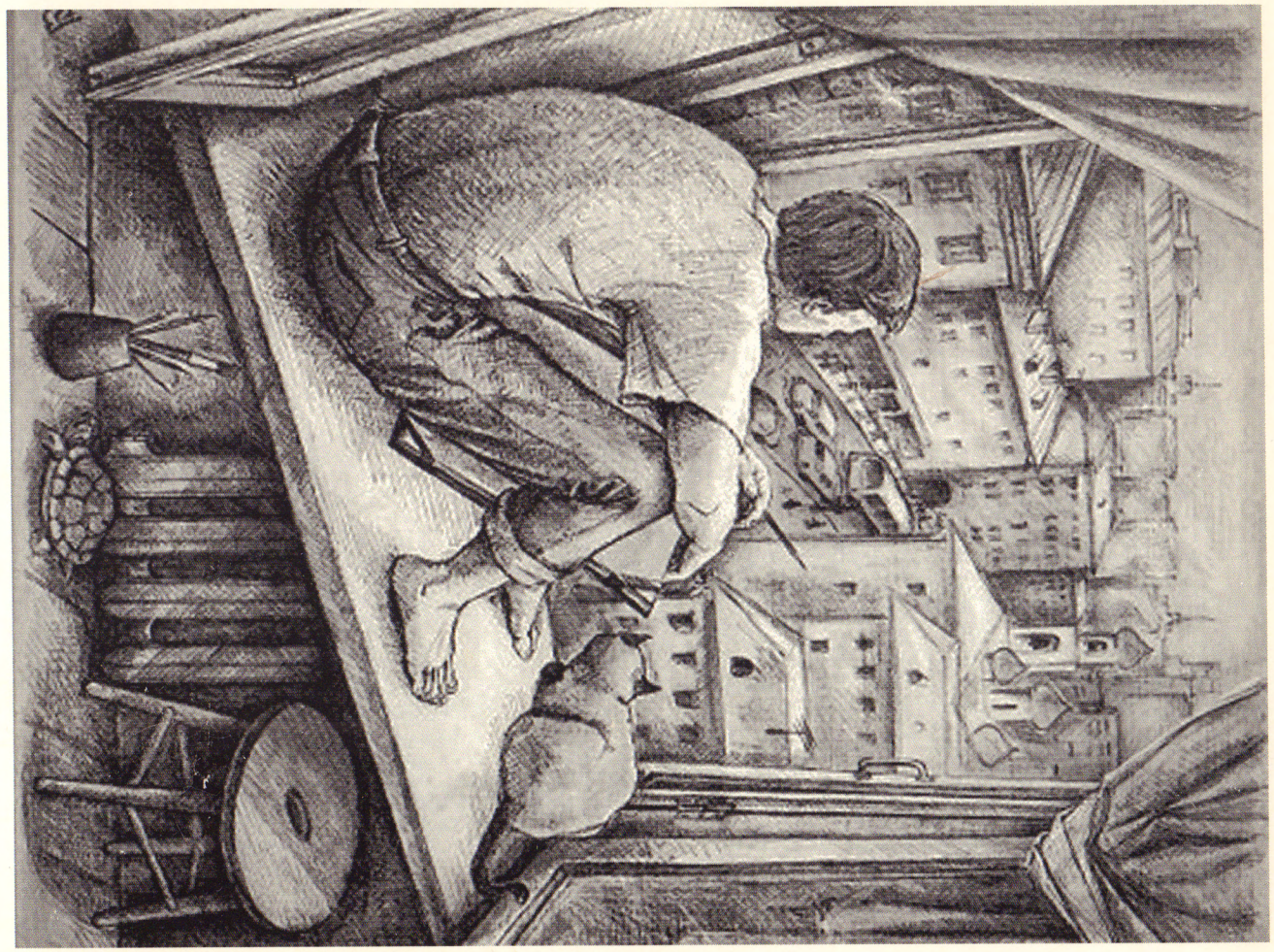
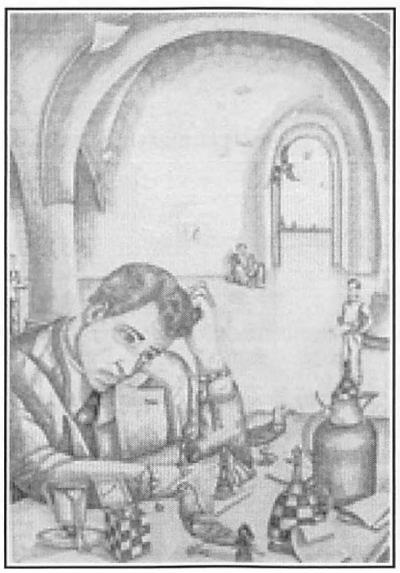
2009 ПОБЕРЕЖЬЕ



ПОБЕРЕЖЬЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕГОДНИК



ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ПЕРЕВОДЫ

18

THE COAST
PHILADELPHIA
2009

Президент общества «Побережье» ТАТЬЯНА АИСТ
Вице-президент АЛЕКСАНДР ВЕККЕР
Менеджер ГАЛИНА СПОДИК

Главный редактор ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН
Зам. главного редактора МАРИНА ГАРБЕР

Номер подготовили: редакторы Евгения Каценелинбойген, Валентина Демидова, Татьяна Меликова, Наталья Гельфанд, Мара Барас, Мария Холоденко. Изобразительное искусство и оформление Юрий Крупа, редактор по вопросам искусства и консультант по англоязычным вопросам Ахир Гопалдас. Отдел переписки Виктория Кругликова; отдел компьютерного обеспечения Евгений Тавер, Александр Веккер, технические вопросы Сергей Якличкин, консультант Вячеслав Сподик.

Основан в 1992 году в Филадельфии, США

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

Обложка, титульный лист, заставки к разделам, иллюстрации выполнены Ольгой и Сергеем Черенцовыми.

Редакция сердечно благодарит всех спонсоров.

Авторские тексты могут быть посланы в редакцию только в электронном виде и по e-mail по адресу:
editor@coastmagazine.org
Присланные материалы не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право отказывать в публикации рукописей без объявления причины.
При перепечатке ссылки на «Побережье» обязательны.
Мнения авторов не всегда совпадают со взглядами редакторов и издателей.
Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование принятых для публикации текстов.
Ответственность за достоверность публикаций и точность фактического материала (даты, цитирование, сверка с первоисточником, ссылки, переводы с других языков и т.д.) несут авторы материалов.
Авторы в индивидуальном порядке защищают свой copyright ©.
Неопубликованные рукописи не рецензируются, и редакция не вступает по этим вопросам в переписку.
Журнал не коммерческое издание, работы авторов могут быть использованы
как в общеобразовательных целях, так и для исследований.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ В 2009 ГОДУ

АВТОРОВ ЖУРНАЛА «ПОБЕРЕЖЬЕ»

ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА
ЛЬВА ЛОСЕВА
ИРИНЫ ПАНЧЕНКО
ЭЛЕОНОРЫ ТИМОФЕЕВОЙ
ЯНА ТОРЧИНСКОГО

Адрес редакции:
THE COAST
9921 Bustleton Ave., unit W-10
Philadelphia, PA 19115 USA

www.coastmagazine.org
E-mail: editor@coastmagazine.org

ISSN 1057-932X

Printed in the United States by Morris Publishing®
3212 East Highway 30
Kearney, NE 68847
1-800-650-7888

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Давид Шраер-Петров. Обед с вождем. ... 6
Виктор Бердник. Один из семи. ... 10
Михаил Беркович. Веревка. ... 16
Нина Большакова. Жилец Сапронов. ... 17
Саша Бородин. Уникум. Рассказ. ... 18
Инна Давидович. Слова, за которыми ничего нет. ... 20
Слава Полищук. Улица Лепик, 54. ... 23
Юрий Орлов. «Америка…». ... 28
Марк Росстанный. Незнакомка. ... 29
Марк Азов. Гюрза. ... 31
Игорь Михалевич-Каплан. Русская леди, не говорящая по-английски. ... 34
Теща, говорящая по-итальянски. ... 35
Сергей Угренинов. Попутчики. Рассказ. ... 38
Елена Литинская. У озера. Рассказ. ... 39
Александр Синдаловский. Дом на углу. Мини-повесть). ... 45
Виктория ЛеГеза. В стотысячный раз… ... 57
Леонид Сторч. Еще раз о дарах волхвов. ... 58
Михаил Садовский. Тёзка. ... 60
Роман Камбург. Линия жизни. ... 62
Василий Шарлаимов. Степан и муза. ... 71
Ольга Черенцова. Портрет. Рассказ. ... 77
Мария Москвина. Уроки косметики. ... 84
Лана Райберг. Эксперимент. (Совсем нефантастическая история). ... 86
Тамара Москалёва. Придурок. ... 89
Тына – я, Тына – родина моя. (Рассказ бабуси). ... 91
Виктория Гетманова. У ворот. ... 93
Семён Каминский. Ангелы по пять. ... 94
Майкл Гелприн. История козлов. ... 95
Татьяна Калашникова. Добрые люди. ... 97
Ирина Нисина. Улановы. ... 100
Ольга Дашкевич. Реки Вавилона. ... 103
Марина Гарбер. Повесть о кофе. ... 106
Татьяна Сапрыкина. Десятка. ... 109
Александр Яблонский. Marquis. ... 110

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, КУЛЬТУРА

Виктор Фет. «Сперва казнь, потом уж приговор! О Набоковском переводе Льюиса Кэрролла. ... 112
Умер поэт Лев Лосев (1937-2009). От редакции. Стихи Л. Лосева. ... 116
Валентина Синкевич. Поэт, друг и знаток творчества Бродского – Лев Лосев. ... 117
Джордж Клайн и его Иосиф Бродский. ... 118
Евсей Цейтлин. Единственный свидетель. (Из новой книги). Тропинка поверх барьеров. ... 124
Ванкарем Никифорович. «Не забыть, для чего пришли». Разговор с Евсеем Цейтлиным. ... 132
Ирина Панченко. О времени и о себе. Из воспоминаний… ... 141
Ирина Чайковская. Он несколько занес нам песен райских. (Булат Окуджава в зеркале Дмитрия Быкова.) ... 145
Лев Бердников. Сеятель. (Семен Фруг: логика творчества). ... 150
Алла Астахова. Роман В. И. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» как образец карнавализованной литературы. ... 160
Памяти Александра Межирова (1923-2009). От редакции.
Из Антологии русской поэзии (составитель Е.Евтушенко). Стихи А. Межирова. ... 166
Марина Гарбер. «И да минет нас тоска и злоба...». (О поэзии Яна Торчинского.) ... 166
Анатолий Либерман. Георгий Демидов. Чудная планета: рассказы. ... 170
Вячеслав Сподик. Книга рассказов Георгия Демидова. ... 172
«Жили были старик со старухой». О романе Елены Катишонок. ... 175
Аист над Японией. О новом сборнике стихов Татьяны Аист «Япония под снегом». ... 176
«Сны Иосифа». Людмила Некрасовская. ... 178
Валентина Синкевич. «Человек дождя». О новой книге Рудольфа Фурмана. ... 180
Виктор Каган. Еврейские сыны России. Книга Льва Бердникова: Евреи в ливреях: литературные портреты. ... 180
Василий Молодяков. «Отблеск» - новый сборник стихов Виктора Фета. ... 182
Ирина Чайковская. По направлению к женщине. (О стихах Давида Шраера-Петрова.) ... 183
Игорь Минутко. Покаяние впереди. Заметки о романе Михаила Садовского "Под часами". ... 186
Лиана Алавердова. Светлая моя Муза... О новом сб. стихов Марины Гарбер «Между тобой и морем». ... 188
Наталья Гельфанд. Игорь Михалевич-Каплан. Мешки облаков по плечу. (О новой книге Ю.Садхина.) ... 189
Игорь Михалевич-Каплан. Мои друзья уходят… (О художнике и режиссере Валерии Бортякове). ... 191
Стихи Валерия Бортякова (1941-2009). ... 192
Герман Гуревич. Апология дилетанта. (Эссе). ... 195
Инна Санина. Элегические размышления под сенью кипариса. (Эссе). ... 197
Марина Кацева. «...Не только музыка...». (Памяти Владимира Зака). ... 199
Ирма Золотовицкая. Владимир Зак о Шестаковиче. ... 201
Ксения Гамарник. Что случилось с Ириной Рейн. ... 203
Ирина Панченко. «Только художник на всём чует прекрасного след» 204
Марина Гарбер. Люксембургская ночь. ... 214
Михаил Сергеев. Апокапиталипсис, заметки философа. ... 217
Наташа Шарымова. Интервью с художницей Ланой Лукас. ... 231

ПОЭЗИЯ

Лев Лосев (1937-2009). 116
Александр Межиров (!923-2009). 166
Валерий Бортяков. (1941-2009). 192
Виталий Амурский. 234
Павел Демидов. 236
Ефим Гаммер. 238
Виктор Каган. 241
Ян Пробштейн. 242
Виталий Аронзон. 243
Виктор Фет. 243
Лариса Верцнер. 244
Борис Юдин. 244
Юлия Добринская. 245
Людмила Некрасовская. 245
Роман Камбург. 246
Лиана Алавердова. 249
Ольга Гришина. 251
Владимир Гандельсман. 252
Марина Гершенович. 253
Леонид Сторч. 254
Марина Гарбер. 257
Елена Литинская. 258
Владимир Тугов. 258
Николай Шамсутдинов. 261
Ирина Машинская. 261
Игорь Михалевич-Каплан. 262
Алла Ходос. 264
Зоя Полевая. 265
Александр Синдаловский. 266
Евгения Димер. 267
Филипп Берман. 267
Анатолий Либерман. 268
Вячеслав Сподик. 268
Лев Харитон. 269
Раиса Резник. 269
Игорь Меркулов. 270
Валерий Пайков. 270
Владимир Френкель. 271
Феликс Чечик. 272
Людмила Нейман. 272
Ян Брайловский. 273
Инна Санина. 273
Андрей Драгунов. 273

ПЕРЕВОДЫ

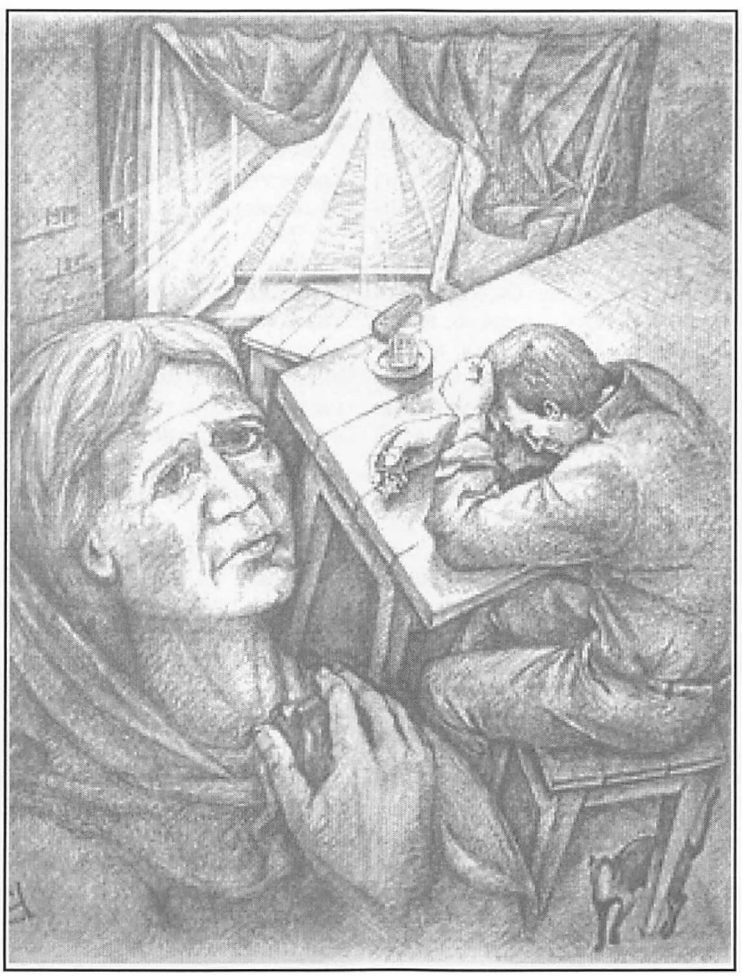
Марина Гершенович. Шел Сильверсткйн. Перевод с английского. 278
Лиана Алавердова. М. Пиерси, Р. Зихлински, М. Донелли, Х. Чарный, Д. Кёрчхаймер. Переводы с анг. 279
Борис Кокотов. Луиз Глюк. Из книги «Дикий Ирис. Перевод с английского. 282
Ян Пробштейн. Нетленная вселенная явлений: П. Б. Шелли. Романтики как предтечи модернизма. 283
Перси Биши Шелли (1792 – 1822). Перевод с английского. 285
Екатерина Соколова. Уолтер Де Ла Мэр. Перевод с английского. 287
Анатолий Либерман. Новые переводы сонетов Шекспира. 288
Вильям Шекспир 1564 - 1616. 288
Григорий Стариковский. Секст Проперций. Перевод с латыни. 292
Примечания. 294

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Ольга Черенцова. Графика. Титул («Шахматист»), заставки к разделам. 1, 233
Из серии «Портреты». 69, 276
«Антикварная лавка». 147
Из серии «Зеркала». Иллюстрация. 173, 221
Сергей Черенцов. Обложка.
Заставки к разделам. 5, 111
Елена Дроздова. Плакат об открытии выставки. Филадельфия, 2009. 37
Валерий Бортяков. Автопортрет. 191
Валерий Бортяков. Эскиз к спектаклю. 193
Абрам Балазовский. Эскиз. За кулисами. 207
В мастерской. 209
Портрет Марселя Марсо. 211
Алиса Флом. 255
Сергей Голлербах. 275

ОБ АВТОРАХ. 295

ПРОЗА



ПОБЕРЕЖЬЕ

ДАВИД ШРАЕР-ПЕТРОВ

ОБЕД С ВОЖДЕМ

– Ну, ладно, – сказал актер. – Так или иначе, безумие прошло, температура упала...
(Рэй Брэдбери «Душка Адольф»)

Читал я когда-то мемуариста XIX-го века. В ложе оперного театра, в конце 1890-х увидел мемуарист Пушкина-старика. Эффект был так силен, что в антракте помчался мемуарист в пушкинскую ложу заверить Поэта, что никогда не принимал за правду его смерть после дуэли. Так сильно было ощущение ежеминутного присутствия Пушкина в жизни каждого русского. На самых подступах к ложе шепнули мемуаристу, что в театре присутствует сын Пушкина – Александр, старый уже.

Другим свидетельством ошарашивающего эффекта, произведенного невероятным сходством малоизвестного обществу лица со знаменитым родственником, был случай, произошедший в начале восьмидесятых прошлого века. Незадолго до этого за подачу в ОВИР документов на выезд в Израиль меня исключили из Союза Писателей и Литфонда. Не было никакой работы. Меня могли судить за тунеядство и выслать из Москвы «на 101-й километр», как обозначалась в народе эта государственная акция. Надо было искать выход. То есть, я начал искать работу, конечно, нелитературную. Но работа, легальная и достойная, все не находилась. Я кинулся к одному-другому литературному приятелю из тех, кто не отвернулся от меня, не испугался контактов с «предателем Родины». Мой коллега по переводам литовской поэзии Шерешевский напомнил о некоем литераторе, имя которого я вынужден заменить на условное, скажем, Красиков. Его имя я по сей день встречаю, нечасто, но встречаю, на странице сатиры и юмора «Литературки». Шерешевский назвал Красикова, а я вспомнил, что когда-то «подкидывал» ему переводы стихов, если была спешка, а заказ превышал мои возможности. Словом, я позвонил Красикову, мы встретились, и он, правда, без энтузиазма, а из чувства долга, все-таки согласился мне помочь во вступлении в профсоюз литераторов Москвы. Он, Красиков, был важной фигурой в этом профсоюзе. Поступок (несмотря на колебания) по тем временам героический со стороны лояльного властям литератора.

Приходилось иногда посещать секцию поэзии группкома литераторов. Стихи моих новых сотоварищей были не хуже и не лучше тех, которые читались в секции поэзии Союза Писателей. Так что, соскучившись по живому слову, я не отказывался от приглашений, но сам не читал, понимая, что мои стихи сразу выдадут меня с головой. На одном из чтений выступал со стихами мой приятель по биллиардной Центрального Дома литераторов заядлый игрок Митасов, с которым я был знаком через Шкляревского. Стихи у Митасова были насыщены воронежским говором, много хороших стихотворений, почти книга. Читал он напористо. Он все делал напористо: играл в биллиард, напевал цыганские романсы (сам был вылитый цыган) и читал стихи. В комнате было человек двадцать. Мы все слушали с энтузиазмом. Это, как спуск с горы, когда слушаешь или читаешь хорошие стихи: мчишься, не замечая гор и деревьев, которые остаются на обочинах трассы. Так что я еще продолжал гнать с горы, не сразу заметив, что другие слушатели остановились. Я тоже затормозил и обратил внимание, что Митасов смотрит куда-то за мою голову, а остальные, которые сидели передо мной, оглядываются. Не на меня, конечно, а смотрят за мои плечи. Я тоже оглянулся. Позади последнего ряда стульев во весь свой дяди Степин рост возвышался главный поэт советской страны, автор текста к национальному гимну Сергей Михалков. Что ему тут было делать среди полунищей братии третьеразрядных литераторов? Неужели пришел на чтение Митасова? Ай да Митасов! Михалков постоял немного и, ничего не сказав, удалился. Чтение Митасова возобновилось и кое-как докатилось до конца трассы. Кто-то высказался в манере тех суровых лет о форме и содержании прочитанных стихов. Кто-то похвалил. Кто-то поругал.

Я вышел вместе с уязвленным Митасовым. «Да брось ты огорчаться! – утешал я его. – Дался тебе этот Михалков!»

«Да в том-то и дело, что *не этот*!»

«Как так *не этот*? Какой же?»

«Это был старший брат *настоящего* Михалкова. Он тоже входит в наш группком. Они похожи, как близнецы. *Ненастоящий* Михалков получил от природы внешность знаменитого братца, а вот талантом не вышел. Для собственного удовлетворения что ли, время от времени появляется он в разных литературных собраниях, производит оглушающий эффект и удаляется, довольный, как бывают довольны безмолвные статисты в театре, загримированные под знаменитость». Я спросил Митасова: «Как ты думаешь, радуются ли восковые фигуры знаменитостей в Музее мадам Тюссо, хотя бы из-за минутного замешательства кого-нибудь из посетителей?»

Мы поехали с Митасовым в Дом Офицеров, где он был тренером по биллиарду, и крепко выпили за успех его будущей книги.

Прошло много лет. История, о которой я хочу рассказать, наложилась на предыдущие, как слои почвы – один на другой. Пушкин и Бальзак любили сочинять многослойные истории.

...Прошло много лет. Мы с женой и сыном эмигрировали и поселились в Провиденсе – столице самого маленького американского штата Род-Айленд. Провиденс можно сравнить с Монте-Карло, а Род Айленд с княжеством Монако. Но где бы ни жил человек: в деревне ли, в городе, в Монте Карло или Провиденсе, его тянет к общению с земляками. Не исключение выходцы из России и ее бывших колоний. С годами подобралась и наша компания. Одни за другими. Была тут чета психологов из Еревана. Муж и жена – энергетики, беженцы из Карабаха. Скульптор и художница из Москвы. И все остальные тоже из Москвы: чета математиков, историк с женой-садовницей и, наконец, я – сочинитель и моя жена-переводчица с русского на английский и обратно. Как ностальгически шутили в нашей компании: «Туды-сюды!»

Собирались у всех по очереди. Чаще у энергетиков из Карабаха, у Гриши и его милой жены Гали. Госте-

приимство Гриши и Гали обладало такой вулканической силой, что постоянно прорывалось между запланированными встречами в том или ином доме. Без всякого обсуждения с нами – компанейцами (и, по правде говоря, к нашему общему удовольствию) Гриша обзванивал всех и провозглашал: «В ближайшую пятницу (или субботу) состоится внеочередная встреча у меня дома. Повод весьма уважаемый. Приезжает из Баку (Москвы, Питера, Еревана, Ташкента, Нижнего Новгорода, Тбилиси и т.д.) мой ближайший друг и школьный товарищ. Проездом из Нью-Йорка». Кто бы посмел отказать Грише?

Надо признаться, события, развернувшиеся во время внеочередного роскошного обеда у Гриши, были спровоцированы курьезами, основанными на внешнем сходстве. Я рассказал об этих случаях недели за две до того в доме у историка Алеши и его жены Тоси. Именно тогда я напомнил о мемуаристе, который принял постаревшего сына Пушкина за Поэта, как будто бы выжившего после дуэли. А следом в тот же самый вечер (понесла нелегкая!) – о невероятном сходстве братьев Михалковых и чуть ли не гипнотическом эффекте веры в физическое присутствие знаменитости.

Словом, Гриша намотал все это на ус и приготовил ответный спектакль. На этот раз он объяснил внеочередную встречу приездом народного артиста из Тбилиси. Без особенного нажима, но с уверенностью в силе факта, Гриша пояснил: «Мой друг – ведущий актер Тбилисского драматического театра имени Марджанишвили. Знает много интересных подробностей из жизни великих людей!». Даже, если у кого-то были самые неотложные дела, невозможно было устоять перед двойным соблазном: оказаться снова в гостеприимном доме Гриши и Гали да еще посидеть за одним столом с ведущим актером театра Марджанишвили!

Гриша и Галя жили в маленькой квартирке на первом этаже стандартного американского дома. Такие дома строят, чтобы сдавать тем, кто не приобрел вкуса или не накопил денег для покупки недвижимости. Наши друзья не приобрели и не накопили. Казалось бы все, что они могли отложить из зарплаты, уходило на ежемесячные гастрономические фестивали. В гостиной, где было накрыто к ужину, стоял телевизор. В другом углу на письменном столе помещался компьютер. На стенах висели фотографии внука и внучки. Весьма странная картина, изображающая умыкание Людмилы седобородым карликом Черномором, красовалась над местом того, кто сидел во главе стола. Охотничье ружье висело напротив, над телевизором. Охота была единственным развлечением, которое позволял себе Гриша. Мы все по русской привычке (сноб называют это провинциализмом) собирались вовремя. Назначен ужин на 5 часов, гости приходят к четырем сорока пяти. Так было заведено. А если кто опаздывал на полчаса, Гриша начинал выбегать за порог каждые десять минут и беспрерывно названивал провинившемуся по мобильнику.

И на этот раз все собрались вовремя, пили кто пиво, кто виски, кто сухое вино. Гриша поехал встречать почетного гостя на род-айлендский аэродром. Мы выпивали понемногу, обсуждали последние политические события и новости спорта *здесь и там*, а сами поглядывали на дверь и на часы: когда Гриша привезет гостя? Самолеты, бывает, опаздывают. Галя предложила усаживаться за стол. Мы не отказывались. Закуски были отменные: рыба, икра, салаты, солености! И все это под первоклассные вина и водки. Один «Серый гусь» чего стоил! Словом, откровенно говоря, мы как-то стали забывать, ради чего собрались, Почетный гость плавал в нашем коллективном воображении где-то вне реальности прекрасного застолья. Если бы не Гриша, тостов которого явно не хватало, мы вполне могли бы обойтись и без народного артиста Грузии.

Наш компанейский юморист скульптор Саня только что закончил коронный анекдот про дуриков, которые прыгали в бассейн, куда забыли налить воду, как хлопнула входная дверь, и в комнату, где мы пировали, торопливыми шагами вошел Сталин. За ним семенил (при гигантском-то росте и бычьей несгибаемой шее!) наш гостеприимный Гриша. Но что это было за возвращение!? Гриша как бы сократился в росте, съежился. Шажки стали мелкие и голова внаклонку. Сталин, между тем, отодвинул пустовавший стул и уселся во главе стола под Черномором и Людмилой. Порывшись в кармане френча, он достал трубку и кисет. Я сидел поблизости и потянулся было к трубке, чтобы набить ее табаком, но Сталин перехватил кисет: «Не надо! Сам набиваю!» Историк Алеша передал Грише коробок спичек, который предназначался для зажигания субботних свечей, купленных специально для нас с Мирой. Мне показалось, что Сталин искоса посмотрел на свечи, только что зажженные Алешей, но промолчал. Алеша уловил этот недобрый или неодобряющий взгляд вождя и, отшутившись, что стало жарко, перенес свечи подальше на подсервантник. Странно, что я и Мира проглотили этот маневр со свечами. До сих пор не понимаю, почему? Правда, Тося, жена Алеши, чистая душа, откровенно изумилась: «Вот уж придумали: жарко! Десять лет было нежарко, а нынче упарились!» Алеша хихикнул двусмысленно и проглотил полстакана виски с черной этикеткой.

Сталин медленно докурил трубку, выбил остатки табака и пепел на пустое блюдце и, наконец-то, позволил Грише налить себе полный фужер «Алазанской долины». «Спасибо, уважаемый Григорий, что вспомнили о любимом вине вождя!» И повторил: «О любимом вине. Какое двусмысленное слово – вине! Не забыли про «Алазанскую долину». Вино, вине, вина!» – «Мы вас никогда не забывали, Иосиф Виссарионович!» – сказал Гриша и еще больше изогнулся. Мне показалось, что Галя вспыхнула, но сдержалась, как загораются от стеснения или стыда искренние и воспитанные женщины. Вспыхнула, но промолчала. Самое смешное (или назовите по-другому), что мне самому происходящее начинало казаться одновременно реальностью и гротеском. Как в рассказе Брэдбери «Душка Адольф». У Брэдбери актер вошел с энтузиазмом в роль Гитлера, а у нас?

Сталин, между тем, допил вино, закусив листиками кинзы, которые он отщипывал один за другим желтыми редкими зубами, и снова окинул взглядом стол. Мне показалось, что он остановился на математиках Жоре и Эле. Что привлекло внимание вождя: седая всклокоченная грива Жоры или не в меру раскрашенное театральным гримом личико Эли? Не берусь утверждать. Сталин поднял со стола свою темно-коричневую изогнутую трубку, захватил губами мундштук, словно собираясь снова закурить, положил

трубку обратно на стол и спросил Жору: «Если я не ошибаюсь, мы встречались в моем кремлевском кабинете в конце пятидесятого? На совещании по термояду. Правда?» Жора молчал. Сталин продолжал: «Я не мог ошибиться! У меня память фотографическая!» Он произнес: «фа-та-гра-фы-чи-ская!» «Наверно, это был мой отец. Говорят, мы очень похожи, Иосиф Виссарионович», – ответил Жора. «Фамилия?» – вопросил Сталин. «Зельман», – ответил Жора. «Время быстро бежит, но память старается задержать время!» – сказал Сталин и выпил вместительную рюмку водки «Серый гусь!», налитую Гришей. Надо сказать, что Гриша так и не присел, стоя за стулом или около стула нашего гостя, чтобы вовремя наполнить то бокал, то рюмку. Сталин прихотливо следовал какому-то своему алгоритму чередования «Алазанской долины» и «Серого гуся». Тбилисский гость ел немного: овощи, кубик шашлыка, кучку плова. Лицо у него было нечисто выбрито или так казалось из-за неровной рябоватой кожи – следствия перенесенного фурункулеза или даже оспы. Но усы! Классические усы Вождя. У детей сталинской эпохи остался в памяти портрет Сталина во френче или шинели, маршальской фуражке, с трубкой, на горловину которой упирались усы. Усы любимого Сталина. Я, как загипнотизированный, смотрел на эти усы и не мог оторваться. «Что с тобой? Я тебя третий раз прошу передать мне креветки!» – ущипнула меня Мира, чтобы привести в сознание. «Спасибо, я так!» – нашелся что ответить я, благодарный за своевременный акт супружеской заботы.

Слава Богу, Сталин не обращал на меня никакого внимания. Забыл сказать, что в самом начале Гриша хотел было по очереди представлять каждого из нас гостю из Тбилиси, да тот отмахнулся: «По ходу вечера познакомимся! (па-зна-ко-мым-са!)» Правда, к этому моменту хозяин успел назвать мое имя. Гость холодно кивнул. А я вспомнил о своей антисталинской поэме, написанной в 1956-м году. Вспомнил и одернул себя: «Не мог же он прочитать, умерев в 1953-м!»

Я говорил раньше, что в нашей компании были муж и жена из Еревана, Влад и Ася. Они считались зачинщиками споров, носивших психологический характер. То есть, всякое явление или событие пытались проанализировать с точки зрения современной психологии, основанной на Фрейде и Юнге. Хотя советская закваска не отпускала. Так что при надобности в спорах упоминались и русские патриархи физиологии нервной системы Сеченов и Павлов. И на этот раз Влад был первым, кто решился задать профессиональный вопрос Сталину: «Как вы психологически разрешили бы в наши дни проблему Карабаха, Иосиф Виссарионович?» Сталин отпил вина из бокала. Он продолжал перемежать «Алазанскую долину» с «Серым гусем». Отпил вина, взял трубку со стола, перевернул ее так, что получился старинный пистоль, направленный в грудь Владу, и ответил: «Я бы не вдавался в психологию, а расстрелял зачинщиков, как с азербайджанской, так и с армянской стороны. И те, и другие – буржуазные националисты, подрывающие дружбу братских народов Закавказья!»

На некоторое время все замолчали, сосредоточившись на своих тарелках и рюмках. Природный тамада не переносит молчания за столом. Особенно, если тамада одновременно и гостеприимный хозяин. Гриша к этому времени позволил себе присесть, правда, поблизости от тбилисского гостя. Все же это было лучше, чем стоять, как дворецкому, за спиной Сталина. Гриша присел, налил себе полный фужер водки, фужер, предназначенный для «Боржоми», и выпил эту мощную дозу «Серого гуся» за дружбу народов. Все выпили. Сталин пригубил и ушел в себя. Как будто он раздумывал, в какую сторону повернуть ход вечера. К этому времени великанский фужер французской водки загудел в голове Гриши да так, что он поднялся со стула, вернув себе могучий рост, горделивую осанку и ораторский дар. «Я очень извиняюсь, дорогой Иосиф Виссарионович, но что было делать нам с женой? Мы оба из Карабаха. Я – азер, она – армянка! » Сталин повернул к нему голову: « Я же сказал: во-первых (*вапэрвих*) расстрелять смутьянов, а во-вторых (*вавтарих*) – восстановить дружбу народов на государственном уровне и на уровне семьи! Так нас учили Маркс и Ленин. Семья – ячейка государства!»

Сказав это, Сталин окинул взглядом нашу притихшую компанию. Мы молчали. Внезапно вождь обратился к Сане и его жене Соне. Они были признанными мастерами художественных композиций, включающих в себя скульптуру и живопись. Начали работать вместе давно, еще в студенческие годы. И до сих пор не знали соперников в этом жанре. Поскольку заказы были и в России, и в Америке, они проводили полгода в Москве, а полгода в Провиденсе. Внезапно Сталин обратился к нашим художникам, как мы ласково называли Саню и Соню: «Послушайте, дорогие друзья, а не приходилось ли нам встречаться в былые времена?» «Приходилось, товарищ Сталин!» – ответил Саня и тряхнул косой челкой, летящей над крупным варяжским носом. «И я припоминаю», – добавила Соня, деликатно улыбнувшись вождю. «А поточнее?» – спросил Сталин. «Выбрали несколько студентов из Суриковского художественного института, в том числе меня и Саню. Привезли в Кремль. Там стояли вы, Иосиф Виссарионович, около куста цветущей персидской сирени. Мы сделали наброски. Наша с Саней композиция была одобрена вами, Иосиф Виссарионович». «Где эта композиция теперь?» – «Мы не знаем, Иосиф Виссарионович», – ответил на этот раз скульптор Саня. «Нет, знаете! Враги и предатели уничтожили мои портреты и мои скульптуры, чтобы унизить достоинство нашей социалистической Родины! А вы и не попытались защитить и сохранить произведение искусства. Разве я не прав?» Саня, говорун и остряк, молчал, потупившись и не встряхивая задорно челкой. О Соне нечего было и говорить. Она чуть не плакала, боясь поднять глаза на рассерженного вождя.

Хорошо, что нашелся с ответом Гриша. Он налил всем вина или водки, наполнил снова свой фужер «Серым гусем» и произнес тост за вечно молодое искусство и литературу и «как за яркий пример неувядающей поэзии – юношеские стихи товарища Сталина»! Я наблюдал за мимикой вождя. Он поморщился, но промолчал, попыхивая трубкой. Как-то произошло само собой, что я каждый раз при надобности приноровился набивать ему трубку и подносить зажженную спичку. Сталин не возражал. Гриша провозгласил: « Сейчас я прочитаю замечательное лирическое стихотворение «Утро», написанное товарищем Сталиным в юности», – и отпил из фужера. Мы все ждали, изумляясь предусмотрительности нашего тамады. Гриша начал читать:

Раскрылся розовый бутон,
Прильнул к фиалке голубой,
И, легким ветром пробужден,
Склонился ландыш над травой.
Пел жаворонок в синеве,
Взлетая выше облаков,
И сладкозвучный соловей
Пел детям песню из кустов:
«Цвети, о Грузия моя!
Пусть мир царит в родном краю!
А вы, учебою, друзья,
Прославьте Родину свою!»

Мы все зааплодировали. Гриша вытирал пот со лба. Сталин угрюмо молчал. Я молил Бога, чтобы гость из Тбилиси не вспомнил о моей профессии литератора. Наверняка, он и не забывал. Но из какого-то неувядаемого садизма обратился не ко мне, а к Мире. Я-то видел, как она накалилась, слушая эти вирши. Она единственная не аплодировала. Без обращения по имени-отчеству, или хотя бы по имени, Сталин спросил мою Миру: «Вы – профессиональный переводчик. Что думаете о прочитанных стихах?» – «Надо бы сравнить с оригиналом, – уклончиво ответила Мира. – Трудно требовать много от юношеских стихов да еще в переводе». Внезапно Сталин встрепенулся, глаза его загорелись, и он сказал: «Послушайте это стихотворение по-грузински». Он отодвинулся назад, встал во весь невысокий рост и, размахивая трубкой, начал читать на непонятном нам языке звучные строки. Мы снова зааплодировали. На этот раз вполне искренне.

Казалось бы, установилось некое равновесие, когда дымка воображения, мистификации или гипноза начала рассеиваться, и каждому хотелось, чтобы наконец-то приезжий актер освободил нас от страшной сказки, напомнившей еще более страшную быль. Но тут, как говорят на Руси, нелегкая дернула выпивоху и певунью Элю вспомнить о своем аккордеоне. Она соскользнула со своего стула, шмыгнула в переднюю и вернулась с аккордеоном, который был размером едва ли не в половину роста музыкантши. Эля растянула меха, которые благодарно вздохнули, как Илья Муромец, разбуженный после долгой спячки, и чуть заикаясь от волнения и выпитого вина, объявила: «А сейчас мы все вместе споем патриотическую песню «Марш артиллеристов» времен Великой Отечественной войны!» Она задала ритм своему басистому инструменту, и мы подхватили: «Артиллеристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы, зовет Отчизна нас! Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу Родину: Огонь! Огонь!» Эля помнила все слова. Мы следовали за ней и ее аккордеоном и пропели всю песню до конца. Сталин пел с нами вместе, а когда песня кончилась, сказал: «Давайте, товарищи, выпьем за Родину! За Сталина!»

Все выпили, кроме моей Миры и историка Алеши. «А вам что – особое приглашение?» – спросил тбилисский гость, протянув руку, вылезшую из рукава френча защитного цвета, как гриф из гнезда, и ткнув старческим, чуть дрожащим указательным пальцем сначала в Миру, сидевшую слева от него, а потом в Алешу. «Хватит нам этого маскарада! – резко ответила Мира. – А если хотите знать, то я выпью при одном условии, если вы, гениальный вождь и учитель, объясните нам, почему для мира на земле и прогресса человечества понадобилось фабриковать дело кремлевских врачей-убийц? Зачем было ломать суставы рук и ног моему дяде, знаменитому хирургу, прошедшему всю войну? Ради какой высокой идеи надо было готовить массовое выселение евреев, как до этого было сделано с немцами Поволжья, крымскими татарами и чеченцами? Зачем, если не для того, чтобы завершить геноцид, начатый Гитлером?» Сталин углубился в раздумье. Мира закрыла лицо салфеткой. Плечи ее содрогались от рыданий. Наконец, вождь сказал: «Мы хотели спасти советских евреев, отравленных сионистской пропагандой, от справедливого гнева русского народа. Для этого в отдаленных районах Сибири, например в Биробиджане, были построены рабочие поселки с современными жилыми домами, а поблизости заложены фабрики, заводы и совхозы. Пусть подтвердит мои слова еще один сомневающийся. Его отец курировал в те годы министерство строительства». И хищная птица сталинской руки снова потянулась к Алеше.

«Неправда это! На самом деле строительство домов для будущих выселенцев было передано в руки Берия. А он постарался построить бараки со стенами, между досками которых были щели в палец шириной. Об этом и доложил мой отец на Политбюро. Он заявил, что поселять еврейские семьи в такие нечеловеческие условия – преступление. За что был немедленно арестован органами госбезопасности!» «Ну, не делайте из вашего отца казанскую сиротку! Как только его выпустили, он немедленно отыгрался за свой арест, без суда и следствия расстреляв Лаврентия». «А что же вы хотели, чтобы вспыхнул кровавый террор?» «Я ничего уже не мог хотеть к тому времени, потому что благодаря разнузданному и провокационному выступлению вашего отца на Политбюро у меня случился разрыв артерии головного мозга, приведший к смертельному исходу. Ваш папаша, хотя и плясал всегда под мою дудку в прямом и переносном смысле, едва ли не первым начал плевать в мою могилу. Даже мой труп выбросил из Мавзолея!» – «Да вы к сожалению и сейчас живы! Явились с того света и продолжаете смердить!» – Алеша крепко выпил. Опорожнил целую бутылку виски с черной этикеткой. Мы знали, что он бывал необуздан при горячих спорах, и научились избегать конфликтов. Хотя в нормальной жизни Алеша был интеллигентнейшим и милейшим человеком. Но сейчас! Мы таким его еще не видели никогда. Щеки налились кровью, глаза блуждали по комнате, словно разыскивая что-то. Он знал *что*! Алеша вскочил со стула, и не успели мы опомниться – сорвал со стены охотничье ружье Гриши. «Остановитесь! Вы сошли с ума!» – крикнул тбилисский гость и оторвал наклеенные усы. Но было поздно: грянул выстрел. Все окаменели. Когда рассеялся дым, мы увидели человека в защитном френче, который, уткнулся в стол, закрыв голову руками. Над ним качалась картина с Черномором и Людмилой, изрешеченная крупной дробью.

Бостон, 2008

ВИКТОР БЕРДНИК

ОДИН ИЗ СЕМИ

«... Как часто мы многого хотим и как в результате нам мало нужно...»

Автор

Я чувствую себя мартышкой, когда аккуратно очищаю и кушаю банан и ощущаю себя пожарной машиной во время езды на маленьком грузовичке с длинноющей лестницей, которая своим одним концом опирается на крышу кабины. При этом я всегда помню, что мой литературный агент шутливо называет меня русским Мартином Иденом, скептически оглядывая мое ободранное транспортное средство с массивным инструментальным металлическим ящиком, которое я использую для работы, и прозрачно намекая на моё незатухающее и упорное желание видеть себя в качестве писателя, не обделённого талантом. Он, как и большинство людей, склонен отождествлять внешние признаки с внутренним содержанием и потому видит во мне не маргинала, а не более, чем чудаковатого хендимена (человек, который занимается небольшими ремонтами, «мастера на все руки». Амер. *Прим. авт.*).

Скажем, не совсем традиционный поиск своего места в обществе, занятого в основной своей массе, немного другим. Думаю, что не ошибусь, если назову мои стремления труднодостижимыми. Наверняка, проще не испытывать судьбу, стараясь быть глашатаем иногда не очень удобных мыслей. Легче жить, не выворачивая наизнанку собственное сознание. Зачем я пишу? Во имя чего я это делаю? Получать удовольствие, обнажая свои думы, это ли не интеллектуальный эксгибиционизм?

Я размышляю всё время об этом, работая как обычно в полном одиночестве. Эти мысли не отпускают меня, когда я в виде пожарной машины медленно продвигаюсь на очередной объект в автомобильной пробке. Одно хорошо, занятая голова делает безразличным к тупости изматывающей езды.

Пожалуй, моему агенту этого не понять, вздумай я с ним поделиться. У нас с ним слишком разные взгляды, и я не намерен его ни в чём переубеждать. Впрочем, это всё равно бесполезно, мы носители разных культур. Да и что ему сказать?.. Что у меня больше нет любимого цвета и гастрономических пристрастий, а ведь они раньше существовали. Не объяснить, что такие проявления характера, это только то малое, что заметно в повседневной жизни. Они даже и не стоят внимания, но по тому, как я замечаю эти изменения, можно с уверенностью предположить, что моё восприятие находится на завершающем этапе своей эволюции. Отдалясь от прошлых привязанностей, я не испытываю необходимости в приобретении новых. Вероятно, уловив в себе созревшее отношение к окружающему, мне более не нужно ничего открывать, а лишь спокойно прислушиваться к голосу собственной души. Нежелание играть в прятки с самим собой, это ли не серьезное достижение в диалоге с собственной совестью?

Один из моих американских клиентов, по профессии страховой агент, которому я построил недавно деревянную беседку, спросил без всякой задней мысли, просто удовлетворённый результатом моего труда и желая выказать своё дружелюбие:

– Ты, должно быть, испытываешь гордость от своего умения?

Я посмотрел на него совершенно серьезно и тихо сказал:

– Нет.

Он смутился. Я, наверное, был первым человеком на его жизненном пути, который так странно отреагировал на комплимент.

– Я не люблю то, что делаю и к несчастью вынужден таким образом зарабатывать себе на жизнь.

То, что я ему сказал, было абсолютной правдой. Целый день я бездарно трачу время на каких-то идиотских работах, с единственным проком, но без всякой цели, к которой необходимо стремиться, чтобы не ощутить однажды свою жизнь пустой. Жертвуя бесценным временем, которое уже никогда не восполнить, я только вечером могу уединиться, уже всецело посвятив себя своим героям. Наутро опять в путь за деньгами, обдумывая по дороге очередную сцену или воображаемую беседу и безмерно радуясь, если на ум приходит стоящая мысль. Трудно сказать, что меня побудило вновь взяться за перо. Произошло это незаметно, но, как я считаю, вполне закономерно...

Свою короткую работу в небольшой газете до эмиграции я всегда воспринимал как некое временное состояние. Наверное, журналистика требует большей отдачи, но я не видел в том смысла, выдавая на гора полные фальшивого энтузиазма статьи о передовиках производства. Недаром весь немногочисленный штат редакции заводской многотиражки хорошо знал, что нашу газету за глаза величают «Брехунец». Народное слово не промажет. После того, как мне настоятельно по-дружески посоветовали обходиться в своих заметках без сравнений, которые можно было понять двояко, стало очевидным, что писать надо в соответствие с тем, что от меня требуют, а не о том, что я думаю. Спорить было бесполезно и плюнув, я легко это всё похерил. Более пятнадцати лет у меня не было ни малейшего желания возвращаться к делу, которое я когда-то по молодости считал своим призванием. Не испытываю его и сейчас. Не стоит прилагать усилий, если нечего сказать, но думаю не следует противиться, когда вдруг просыпается желание поделиться тем, что ещё до тебя не говорил никто.

Судьба забросила меня далеко за границу, где я даже не пытался возродить себя, как журналиста и предложить по старой памяти свои услуги местному русскому печатному органу в качестве дипломированного специалиста, прекрасно понимая, что больше не смогу быть зависимым от кого-то в собственном мнении или следовать чужому. Да и зачем? Попробовав однажды, я понял, что это не для меня. К тому же, прошло немало лет, по истечении которых я уже окончательно сам с собой определился. Хорошо, когда наступает такое время, когда никому и ничем не обязан, если конечно наступает! Только тогда можно по-настоящему сосредоточиться на главном. А что оно это главное, каждый решает для себя сам.

Однако, это вовсе не означает, что не нужно кормить семью, эта почётная мужская обязанность не имеет никакого отношения к виду деятельности или роду занятий. В этом я полностью разделяю точу зрения своей жены. Она довольно скептически относится

к моим вечерним посиделкам за письменным столом допоздна, впрочем её можно понять, творческий человек, это не самый лучший вариант для его близких. Как правило, такие люди одержимы и не отличаются ровным характером, и я стал замечать за собой проявление этих не совсем удобных качеств. Полагаю, что это пройдёт. Всё, кроме одержимости. Меня даже не смущает другой язык. На английском я говорю очень хорошо, но моя грамматика просто ужасна. Однако, несмотря на это препятствие, я всё таки нашёл довольно несложный способ и использую диктофон. Отыскать человека, который все эти записи переведёт в текст, оказалось проще простого. Стоило мне начать заниматься этим вопросом, как выяснилось, что желающих заработать таким образом пруд пруди. Довольно неглупые люди, с разной степенью образования, вплоть до университетского. Мой выбор пал на студента колледжа, который приехал сюда с родителями в шестилетнем возрасте, но к удивлению сохранил знание русского языка в том объёме, чтобы уловить и правильно преподнести некоторые нюансы языка, с которыми я испытывал затруднение. За неполную неделю был готов черновой вариант, и еще пару дней ушло на совместную правку. В итоге получилась немаленькая рукопись с занятным сюжетом. Я отослал ее литературному агенту, с которым мне удалось установить контакт. Зовут его Стив, и иногда я звоню ему, чтобы в очередной раз напомнить ему о своём существовании. Трубку обычно берёт женщина, наверное его секретарша, и всегда отвечает одно и тоже, что он сейчас занят и сам мне потом перезвонит. Я ни разу не видел её и плохо представляю себе, как она выглядит, уж слишком бесстрастно звучит её голос. Рукопись агенту понравилась. По-моему он даже её как следует и не прочитал, а лишь просмотрел начало и конец, что не помешало ему отозваться хорошо. Во всяком случае это то, что он мне сказал при встрече, однако добавил, что ему бы хотелось быть уверенным, что будут и следующие. Только после этого он попытается найти издателя или того, кто будет заинтересован в сотрудничестве. Дело с публикацией само собой отодвигалось на неопределённый срок, где всё зависело от моих способностей выдавать определённое количества печатного материала, то есть от элементарной производительности. Я поначалу удивился такому отношению к интеллектуальному труду, где творчество и планирование производства – вещи плохо совместимые. Стив, похлопав меня по плечу, со смешком ответил:

– Не удивляйся, в Америке это серьезный бизнес. Если ты не сможешь доказать, что будешь сам работать на собственный успех, с тобой никто не захочет иметь дело...

Вот так. Муза – вещь хорошая, но должна функционировать без перебоев, как автомат по продаже колы. Кинул доллар, получил банку. Так и со мной. Никто не проявит интереса, если нет уверенности, что деньги не пропадут даром. Я было пытался ему объяснить, что для меня это не финансовый проект и я не ищу для себя источник дополнительного заработка.

– Зачем же оно тебе тогда надо?

– Мне есть о чём сказать.

– И только?

Он с иронией посмотрел в мою сторону.

– Даже если это и так, то неужели ты думаешь, что вокруг тебя тут же соберутся слушатели, как на Нагорную проповедь? Литература такой же продукт, как и всё остальное и для того, чтобы его продать, нужен соответствующий покупательский спрос, причём заметь, массовый! Только тогда это имеет смысл. Если бы издатели рассчитывали на читателей, эстетствующих одиночек, то давно бы уже оказались банкротами...

Мне нечего было возразить, он вероятно был прав, поскольку этим Стив занят уже достаточно продолжительное время, и книжное дело – источник его дохода. Судя по всему, он относится к нему даже с азартом, в отличие от моего, к которому я равнодушен, но ради потребностей души тружусь бесплатно. Одно бесспорно, мой опыт в познании людей и местной жизни, благодаря той самой не очень мною любимой деятельности, трудно переоценить. Остаётся только подмечать, анализировать и делать соответствующие выводы.

Кстати, зачем далеко ходить, буквально несколько дней назад у меня произошла очень запоминающаяся встреча. Очередная заказчица, получив мой телефон от своих знакомых, просила меня побыстрей приехать по причине крайней безотлагательности её нужд.

– Питер! (В прошлом я Пётр.)

– Моё имя миссис Майзер.

– Очень приятно. Чем я могу быть полезен?

– У меня очень срочная работа, которую необходимо закончить до выходных дней. Мне рекомендовали тебя очень высоко.

– Спасибо. Не вижу никаких препятствий, миссис Майзер и сделаю всё возможное, чтобы вам помочь.

Я всегда стараюсь войти в положение своих клиентов, наверное именно поэтому и ещё по причине моего слова, которое я никогда не нарушаю, люди охотно ко мне обращаются. Необязательность, это бич Америки, как и остальные формы косвенного обмана, сопутствующие людям с невысокими требованиями к собственной личности. Никто не говорит об отсутствии пунктуальности, если бы только это... Пообещать и не выполнить, вот что в порядке вещей.

– Питер, мне нужно построить рампу для моего отца инвалида. Он по ней спускается во двор на кресле-каталке.

По всей видимости, она была полна решительности исполнить свой дочерний долг по отношению к отцу, который был уже в преклонных годах. Для него эта рампа, наверняка, единственный путь в окружающий мир и несправедливо отнимать у человека эту одну из немногочисленных радостей, что у него остались. Что ж, достойное качество, заслуживающее всяческого уважения.

– Ту, которую мы использовали, пришла в полную негодность и в прошлые выходные он едва не упал с неё.

– Не волнуйтесь, миссис Майзер, я буду у вас завтра утром. Давайте адрес.

Я тут же представил, как немощное тело старика балансирует в инвалидном кресле, и он с полными ужаса глазами пытается сохранить равновесие... Ещё одна секунда и он может упасть, оказавшись ничком на зацементированной дорожке двора, с переломанными костями и придавленный сверху своим тяжёлым креслом...

Работа оказалась несложной. Необходимо было установить деревянный настил поверх четырёх ступенек. Я тщательно всё промерил, попутно справляясь о деталях у хозяйки.

– Я полагаю, что с боков нужны ограничители колёс и перила, хотя бы с одной стороны. Это обеспечит необходимую безопасность и позволит ему чувствовать себя спокойными от уверенности, что ничего непредвиденного не произойдёт. Кроме этого я бы рекомендовал удлинить рампу, это сделает спуск более пологим. Здесь достаточно места.

Мне не составляло никакого труда дать ей практический и дельный совет, в котором она несомненно нуждалась.

–Да, да. Конечно!

Моя новая заказчица похоже на всё была согласна, лишь бы, как она обещала своему отцу, рампа была готова в срок. Она утвердительно кивала, не без удовлетворения отмечая мою заинтересованность в том, чтобы работа была сделана на совесть. Я, прикинув количество материала и объём работы, назвал ей цену. Миссис Майзер чуть не поперхнулась. Причин для этого не было, обыкновенная стоимость, без расчёта на то, что ей некуда деться, и она будет вынуждена заплатить. Я лишён этого низменного свойства и никогда не пользуюсь благоприятным моментом обстоятельств, чтобы содрать побольше. Как бы то ни было, услышанное от меня в корне меняло её намерения. С её лица вмиг слетела приветливая улыбка, и оно както сразу скисло, а готовность приложить всё необходимое, чтобы обеспечить своему родителю безопасность и комфорт сменилась желанием потратить как можно поменьше.

– Питер, а ты не можешь использовать материал от старой рампы?

Гнилые доски, тронутые грибком, с торчащими в разные стороны ржавыми гвоздями лежали чуть поодаль. Я тут же понял с кем имею дело. Похоже её скупость не знала границ. Её отец инвалид сидел в сторонке и с надеждой прислушивался к разговору. Его руки с сухой жёлтой, словно старый пергамент кожей, лежали на подлокотниках и тряслись, словно лист на ветру. Было хорошо заметно, как его слабые кисти не могут остановиться то ли от болезни Паркинсона, то ли от неприятных воспоминаний, и он ещё и ещё раз переживал тот страшный момент, который мог стать для него роковым. Я скептически взглянул на то, что миссис Майзер собиралась использовать. Впрочем, она и сама видела трухлявые, изъеденные термитами останки конструкции, а спросила так, на всякий случай, в надежде сэкономить на человеке, которому похоже уже осталось совсем немного.

Я виновато улыбнулся.

– Увы...

– А можно без перил и покороче?

Голова миссис Майзер лихорадочно работала, чтобы хоть как-то скостить неожиданный расход. Это ничего, что её инвалид отец должен будет проявлять как в цирке чудеса эквилибристики, чтобы не съехать случайно на сторону и не свалиться. Не смущало её и то, что как Сизиф из последних сил он будет вкатывать по крутизне склона своё тело на коляске, рискуя каждый раз не удержаться и увлекаемый предательской инерцией, двинуться назад, хватаясь отчаянно то за воздух, то за ободья колёс. Я не стал спорить и тут же пересчитал. Названная новая цена с учётом всех лишённых конструктивных решений, её тоже по всей вероятности не устраивала. Как мне показалось, она ожидала, что сможет меня облагодетельствовать только одним тем, что предложила именно мне этот пустяшный заказ и теперь увидев, что за копейки ничего не удастся сделать, очень нервничала. Этот тип людей был мне знаком до боли. С первых дней моей жизни в Америке и общения напрямую с ними, я осознал эту трудно объяснимую психологию. Эту патологическое восприятие, униженного однажды сознания, генетически унаследованного через поколения, в котором было заложена уверенность, что кому-то нужно меньше, чем им. В любом эмигранте они прежде всего видели дешёвую рабочую силу. С этим устойчивым стереотипом мышления, выработанным собственным стабильным благополучием, было неудобно расставаться, и камень преткновения заключался только в страдании кошелька. Вот и сейчас моя новая клиентка разыгрывала эту карту, не испытывая смущение от неприглядности её неуместного торга.

– У меня ожидается много работы в будущем и, если за эту ты возьмешь дешевле, то в дальнейшем я смогу обращаться к тебе за помощью.

Она делала отчаянные попытки убедить меня в выгоде быть сговорчивым, которая ей самой казалась явной и неоспоримой. Упускать человека с хорошими рекомендациями, которому можно доверять, было нелегко, но заплатить как положено, было намного труднее. В душе миссис Майзер происходила даже не борьба, она попросту не могла перешагнуть этот рубеж и отказаться от всего того, что ей было привито нормами здешней жизни. Никто никогда прямо не декларировал неравенство, но, тем не менее, принятый в этой стране образ мыслей предопределял отношение к людям, стоящим ниже на социальной лестнице.

Мне оставалось только развести руками. Я отрицательно покачал головой и попытался понять, что движет всеми этими её ухищрениями. У такой даже можно было по старой памяти взять интервью и начать с простого и откровенного вопроса: «Ну и как вы дошли до такой фантастической жадности?»

– Сожалею, миссис Майзер. Это резонная цена и вы не пожалеете, что обратились ко мне. У вас есть мой номер и если надумаете, то можете дать мне знать в любое время. Я понимаю насколько вашему отцу необходима эта рампа и не буду откладывать.

Она уже почти не слушала и похоже смирилась с мыслью, что к выходным дням намеченное не удастся претворить в жизнь. Болезненное стремление не потратить ни в коем случае больше, чем она предполагала, заставляло её выискивать дешевизну, пусть даже себе во вред. Мне не только не приходилось сомневаться, а я уже был уверен на все сто процентов, что миссис Майзер собиралась обзванивать других в надежде отыскать приемлемую для себя цену. Сколько времени на это уйдёт? Неделя? Две? Может месяц... Пока не отыщет мексиканца-нелегала, готового слепить без всякой ответственности всё, что она захочет. За такие деньги она уже никуда не спешила. Её папа молча и удручённо смотрел из своего кресла на останки рампы, как на разбитую безжалостной волной шлюпку, оказавшись один на один со свирепой стихией.

«...Бедный старик. Наверное, он вспомнил, как когда-то очень давно он носил на своих крепких руках чудную малышку и старался ей угодить новой куклой...»

Мне было его откровенно жаль. Наверное, ему очень хотелось хоть ненадолго вновь оказаться на солнечном свете, чтобы не видеть какое-то время надоевшие стены, в которых он оказался заперт. Его слезящиеся глаза уже ничего не выражали, только полную покорность судьбе. Эта грустная картина ещё долго стояла у меня в глазах, и я ошибочно предполагал раскаяние миссис Майзер, представляя, как очень скоро после смерти отца, она вспомнит с болью в душе, как выгадывала сотню-другую, вместо того, чтобы услужить, чем может в его последние дни. Это впечатление было настолько сильным, что я долго не мог от него отделаться. Было непостижимым столкнуться с такой трагической силой денег, способной делать человека равнодушным даже к своему близкому. Сталкиваясь с особенностями здешней жизни, я ещё раз убеждался, что везде люди в принципе мало чем отличаются друг от друга. Те же достоинства, и те же недостатки. Единственное, что их делает другими, это общество, в котором они живут и чем оно богаче, тем ярче и выразительнее пороки и тем незаметнее добродетели.

«...Господи! – думал я про себя, – ну неужели не только страдание и нищета, но и благоденствие делает человека слепым и глухим к другому или это те самые экстремальные условия, что до конца раскрывают его душу?»

Бедность обесценивает чужую жизнь, но и богатство не делает её более значимой.

Миссис Майзер, сама того не ведая, подтолкнула меня к этому выводу, и я не знал благодарить мне судьбу за это неожиданное прозрение или сожалеть об этом нечаянном знании...

Время незаметно шло. Памятуя совет Стива не останавливаться и быть готовым представить ещё работы, я записал на диктофон ещё одно произведение и уже готовился к его переводу в печатный текст. Собственно я и сам испытывал потребность в этом занятии, вне зависимости от чьих-то наставлений. Писать не вошло в привычку, как средство от скуки, это стало потребностью делиться с самим собой собственными наблюдениями. Несмотря на отсутствие каких-либо интересных событий, мне дни не казалась однообразными. Я переживал вместе со своими персонажами их горестные и безумно счастливые минуты, и это приносило мне глубокое удовлетворение. Отчасти потому, что не давая скучать, придумывал для них взлёты и падения, а в основном потому, что их реакция была моей собственной. Их поступки не были ограничены моим выбором, но судили они себя моими глазами. Это странное ощущение присутствия ещё чьей-то жизни переплеталось с моей собственной и иногда трудно уже было представить за кого я переживаю больше.

Мои клиенты больше не приносили мне сюрпризов. Миссис Майзер была последней, кто так ярко произвёл на меня впечатление на фоне всех остальных, обращавшихся ко мне за помощью. Хотя, нет. Произошла ещё одна встреча, не совсем типичная для моего каждодневного общения. Ремонтируя двери в доме одного из своих постоянных работодателей, я столкнулся с двумя малярами. Мы словно почувствовали друг друга и, разговорившись с ними, уже вскоре я выяснил, что оба этих уже не совсем молодых человека – священники. Обнаружить такое было весьма необычно. Сменив сутану на старые джинсы, они не только довольно бодро, но заметно умеючи, махали кистями и не находили в этом занятии ничего неподобающего своему сану. Впервые в Америке мне приходилось видеть людей духовного звания, которые нуждаются в дополнительном заработке. Судя по статистике, в которую граждане Соединённых Штатов свято верят, служение культу одна из самых радостных профессий. Процент людей, удовлетворённых своим занятием, в этой области самый высокий среди всех остальных и редко кто стремится сменить свою в принципе непыльную и необременительную работу.

«...Что привело их сюда и зачем нюхать краску вместо того, чтобы предаваться размышлениям в тишине храма, успокоивши своё сердце молитвой?»

Я издали наблюдал за ними и даже мог слышать обрывки разговоров, невольно ожидая от них глубокомысленных теологических бесед. Как оказалось, их обычные интересы мало чем отличались от тех, которыми жила вся страна. Кредиты, дома, автомобили. Это и обсуждали, не касаясь религиозных вопросов. Что этих толкнуло взять в руки шпатель и валик, оставалось только догадываться. Причиной могли быть их чрезмерные траты, другого я предположить не мог. Мир полон соблазнов и не всем под силу их преодолеть, даже тем, кто посвятил себя служению Богу. Да и стоит ли их преодолевать?

Каждый вечер я прослушивал автоответчик, загруженный за день под завязку предложениями о работе, вперемешку с рекламными обещаниями представителей телемаркетинга. То какая-то дура с голосом, полным наигранного воодушевления, начинала строчить, как из пулемёта, о несуществующих процентах на банковские субсидии. То очередной обманщик пытался всучить даром никому ненужный сервис. Причём, никто не испытывал ни малейшего смущения или неловкости от бесцеремонного вторжения таким бессовестным образом в дела частного абонента. Наверняка всех тех, кто этим занимался, научили, что надо говорить приветливо и по-свойски, словно со старым приятелем, чтобы сначала завладеть доверием и уже потом бесцеремонно втюхивать всё что угодно по полной программе. Это называлось агрессивным ведением бизнеса и единственным способом оградить себя от этих вездесущих кретинов, была платная услуга в телефонную кампанию. Всё за деньги! Даже покой.

Я, как обычно, машинально прослушивал все сообщения, пока вдруг не услыхал бесстрастный голос дамы из офиса Стива…

– Питер, пожалуйста, перезвоните нам. У Стива есть для вас несколько вопросов.

Это было неожиданно. Я уже почти потерял надежду и мне было неловко их беспокоить. Не приходилось сомневаться, что при необходимости они меня сами отыщут.

«...Значит понадобился. Слава Богу! Неужели такое всё-таки возможно!»

От этих мыслей даже лоб покрылся лёгкой испариной. Не от хорошего предчувствия, а от очередного всплеска желания, чтобы дело наконец сдвинулось с

мёртвой точки. Звонить было уже поздно и я едва дождался утра.

Набрав номер, я услышал, как обычно, на другом конце провода знакомый женский голос:

– «Пасифик Ейженси». Вас слушают...

– Могу я говорить со Стивом?

– Кто его спрашивает?

Она говорила таким тоном, как будто собиралась меня соединить с самим президентом страны или по крайней мере с губернатором штата, чтобы я смог сполна насладиться неслыханным для себя счастьем.

– Питер. Вы мне оставили вчера сообщение...

На этот раз Стив милостиво поднял трубку, но вместо того, чтобы сказать что-то определённое, он напустил тумана и пригласил подъехать к нему в офис. Впрочем, просто так он вряд ли хотел меня видеть, наверняка на то были какие-нибудь причины. Зная его уже немного, я договорился о встрече на следующий день.

По дороге в голове крутились предположения о причинах его звонка и о приглашении к визиту.

«...Не мог сказать... Обязательно нужно тянуть. Вот манера...»

Путь туда был неблизкий. Как обычно, на дороге была пробка. Справа и слева медленно двигались автомобили, водители которых в основном не смолкая, говорили по телефону. Некоторые пританцовывали на заднице в такт неслышной музыке, но в основном сидели, уставившись на бампер, медленно ползущей впереди машины. Я не обращал на них внимания, будучи наедине с ворохом собственных нерешённых проблем. Они были отгорожены от внешнего мира поднятыми стёклами. У всех этих детей разных народов и совершенно незнакомых культур лишь одно было общим – равнодушие и отчуждённие друг к другу, которое впрочем никто и не скрывал.

«Пасифик Ейженси», как гордо именовал Стив свою контору, отыскать не представило сложности и, когда я с облегчением вынырнул из автомобильного потока, здание в котором оно находилось, оказалось прямо передо мной.

В небольшом безликом офисе, за столом, уткнувшись в компьютер сидела миссис... Майзер! Я не мог её не узнать. Мне тут же припомнился её инвалид отец и рампа, по поводу которой она так больше и не позвонила. Она вроде меня тоже узнала, но вероятно не могла припомнить где мы с ней сталкивались. Без всякого сомнения, тогда после разговора со мной в её доме перебывало много народу, пока ей наконец не удалось отыскать для себя удобоваримый вариант.

«...Сколько же интересно для этого прошло времени?»

– А Питер!

Стив показался в дверях, ведущей в смежную комнату.

– Познакомься с моим компаньоном.

Он указал рукой на миссис Майзер.

– Дебора... а это тот самый русский автор, который судя по его последней работе не лишён оригинального взгляда на вещи.

Она протянула мне для приветствия руку, и я заметил на её пальце кольцо с крупным жёлтым бриллиантом. В ту прошлую нашу встречу она была без него.

«...Fancy Yellow... роскошный цвет...»

Оно было очень красивым и по всей вероятности очень дорогим. Я не мог удержаться, чтобы не сделать комплимент, чем очень обязал миссис Майзер. Среди её окружения вероятно не нашёлся ни один, кто хоть словом обмолвился бы об этом украшении и выразил искреннее восхищение пронзительным экзотическим оттенком камня. Редко кто не завидует, и уж тем более тот, кем движет бескорыстие в стремлении похвалить. Это по-видимому сбило её с толку и она, и без того не обладающая цепкой памятью, так и не сумела вспомнить, откуда ей знакомо моё лицо.

Настроение у Стива было очень хорошим. Это было несомненно. Излучаемая им самоуверенность свидетельствовала о том, что день начался хорошо и обещает быть удачным. Так хорошо он никогда обо мне не отзывался, даже в стремлении приободрить, впрочем таких желаний у него никогда не возникало. Наверняка, у него было ко мне что-то конкретное.

– Последней и пока единственной.

Я это заметил, припоминая всю цепочку операций, что предшествовали появлению плодов моего труда здесь, у Стива.

– Послушай Питер...

Стив уже не медлил.

– Есть человек, который хочет воспользоваться двумя главами из твоей рукописи.

Я не совсем уловил суть сказанного.

– Мне предлагают распродажу в розницу?

Стив рассмеялся.

– Я же сказал, что у тебя оригинальный взгляд на вещи! Мне кажется, что это совсем неплохое развитие событий и подходящий для тебя случай. Не воспользоваться им будет непростительной ошибкой. У меня есть проект контракта, если хочешь, мы можем его обсудить.

Стив продавал мне, предложение, пока неизвестно кого. Другой стороне – мой, как он изволил выразиться, оригинальный взгляд на вещи. В его голосе звучала снисходительная уверенность благодетеля, и он уже не сомневался ни на йоту в моём согласии. Не дожидаясь ответа, он протянул несколько сколотых листов с убористым шрифтом. Даже с нормальным зрением разобрать эту мешанину букв было непросто. Строчки выглядели больше как сплошные линии.

«...А помельче нельзя?»

В Америке все документы составлены так, чтобы обмануть бдительность. Коварство заключается в том, что очень сложно до конца вникнуть во все изощрения юридического языка, запутанного до невозможности, но решение ставить подпись или нет зависит только от того, кому этот документ адресован. Широкое поле деятельности, усеянное ловушками и тайными капканами, не угодить в которые практически невозможно.

«...Почти как уголовный кодекс... Незнание не освобождает...»

Я пробежался взглядом по бумаге, испещрённой угрожающими санкциями в случае невыполнения обязательств, и решил не торопиться.

– Стив, насколько я понял, мы говорим о продаже авторских прав. Не так ли?

Он немного замялся.

– Не совсем... Никто не собирается издавать твою работу полностью.

– Что же тогда с ней собираются делать?

Я откровенно недоумевал.

– Ты когда-нибудь слышал о «Горячем дыхании Санта Анны»?

– Откровенно говоря, нет

– Это мыльная опера, которая уже почти год в телеэфире. Так вот, для авторов этих сериалов я иногда подыскиваю материал, который они потом используют по собственному усмотрению. На этот раз им понадобилось что-то с восприятием человека из восточной Европы, и у меня как раз оказалась под рукой твоя рукопись.

– Стив, спасибо конечно, но я имел в виду немного другое. Ты помнишь, мы говорили по этому поводу, и я сказал, что для меня важно признание.

Для Стива мои слова прозвучали, как лепет ребёнка, родители которого знают лучше о его желаниях для его же собственной пользы.

– Питер, послушай, какая разница? Они платят – и это главное.

– То есть, моё имя не будет упомянуто вообще?

– Нет.

– Могу ли я потом использовать то, что написал и опубликовать?

Стив не ожидал от меня такой дотошности.

– Питер, я не знаю дальнейших планов этих людей. Вставят они одну главу в эпизод или диалог, это уже как у них сложится. Естественно, дублировать потом что-либо, будет прямым нарушением договора.

Он на секунду замолчал, что-то обдумывая про себя.

– Ты даже не спрашиваешь о сумме? Или тебя это не интересует?

Я усмехнулся. Нивелировать всё в денежную плоскость, здесь норма жизни.

– Стив, я уже сказал, что для меня это не финансовый проект.

Он округлил глаза. Я кажется его серьезно озадачил.

– Ты конечно можешь отказаться. Тебя никто не заставляет, но это будет легкомысленным решением с твоей стороны. Если ты хочешь продолжать писать и пробить себе дорогу в этой области, это очень неплохое начало. Мистер Майзер, имеет тесные связи с телевидением и кто знает, как может для тебя всё обернуться.

– Мистер Майзер! Кто это?

– О боже мой! Ты и его имени не знаешь? Кстати, оно на контракте внизу. К твоему сведению, это тот человек, кто заправляет командой скринрайтеров в этом сериале.

Для меня эта новость была даже интересней, чем Стив мог себе предположить.

– Уж не Деборин ли он, родственник?

Стив опешил.

– Муж... А как ты её знаешь?

Я таинственно улыбнулся.

– Встречались однажды.

– С ним?

Он даже не пытался скрыть своего крайнего удивления.

– Нет. С миссис Майзер. С Деборой...

Это был сюрприз для нас обоих. Стив и не мог предположить насколько иногда тесен мир, опрометчиво полагая, что пути пересекаются только на одном и том же уровне, ограниченные кругом общения или бизнеса. Для меня это было неожиданной демонстрацией той хорошо спланированной схемы, которая открывала глаза на суть происходящего вокруг. Не составляло особого труда прикинуть, сколько зарабатывает эта чета, беззастенчиво эксплуатируя таких, как я начинающих писателей или тех, кто уже навсегда похоронил всякие амбиции и вынужден использовать свои способности, выдавая на гора тексты на заданную тему. Хотя, как заметил Стив, никто никого не заставляет.

... Не следует в собственном неуспехе винить успех другого...

Он безусловно не вызывает удовольствие и даже наверное раздражает, но это с другой стороны может стать для честолюбивой натуры прекрасным стимулятором.

«...Эта пара неплохо устроилась. Одна отбирает хорошие идеи, другой их покупает и выдаёт за свои. Фабрика-кухня. Соня стирает, я выкручиваю...»

Я опять взял в руки контракт, ощутив на себе поощрительный взгляд Стива. Так смотрят на своенравного кота, который долго не хотел гадить там, где ему предписано хозяином и, наконец, успешно понял, что от него требуют. То, что бумаги составлены по всем правилам адвокатского искусства, я не сомневался.

«...Автор согласен в передаче исключительных прав, и пользователь вправе использовать их без ограничительного срока...»

Строчка за строчкой лишали меня всего. Пожалуй я был единственным, кто так внимательно вчитывался в каждый параграф. Не из-за желания не продешевить, а лишь желая удостовериться до конца, насколько безжалостно меня обдирают, как липку. Предлагаемая сумма для ранга телешоу, была смехотворной. Впрочем и для любого другого, тоже. Все посулы Стива о заманчивых перспективах не стояли и выеденного яйца. Всё самое лучшее уже произошло, и теперь в этом агентстве меня ждёт полное забвение. В этом можно было не сомневаться. Здесь людей по обстоятельствам доят как коров или разово выдавливают, как лимон, и лучшее для меня, говорить с ними на их же языке. Я добавил на обоих экземплярах к сумме ещё один ноль, исправил цену прописью и уже окончательно скрепил собственное решение своим размашистым автографом.

– На этих условиях я согласен.

Прощаясь со мной, оба были предельно любезны. Своим нечаянным комплиментом я похоже тронул тщеславную душу Деборы. В ней прежде всего жила женщина, а уже потом жена и компаньон. Это вовсе не означало, что она захочет или по крайней мере не будет возражать заплатить мне за рукопись больше. Личные симпатии и бизнес – вещи несовместимые и наивность – это признак глупости, а не простодушия. Стив к собственному несчастью, так и не понял, что произошло. Подсчитывая свои комиссионные, он потерял бдительность и даже не удосужившись просмотреть контракт, вложил его в папку. Ему не могло прийти в голову, что кто-то будет так активно за себя бороться, пусть даже с без шанса на успех... В местной действительности, где деньги решают всё, человек без них слишком мал и незначителен, чтобы обращать внимание на его ничтожное мнение. Этим мы с ним и отличались, что смотрели на себя с разных позиций. Я – как равный к кому угодно, и он – с уровня своей стоимости, распределяя всех остальных то вниз, то вверх.

– Я позвоню тебе в течение двух-трёх дней... О'кей?

Мы обменялись с ним рукопожатием, и миссис Майзер тоже протянула руку, с видом уверенной в себе богатой женщины. Теперь она вела себя иначе, так и не выкопав в своей памяти тот короткий и пустяковый для неё эпизод. Садовник, домработница, водопроводчик, да кто угодно другой для обслуживания или ремонта. Стоят ли они того, чтобы заботиться о том, как они тебя воспринимают. При них можно всё, и какая разница, что они о тебе подумают. Смена в её поведении была поразительной...

Впрочем, чему удивляться, как сказал Бальзак: «...Скупость начинается там, где кончается бедность...».

МИХАИЛ БЕРКОВИЧ

ВЕРЕВКА

На новом месте Янкель осваивался тяжело. Откуда ей взяться – легкости, если человек языка не знает? Это же инвалидность первой группы! Хоть караул кричи: приходит в магазин, а там все не по-русски! Молоко купить, сметану – никак не получается. Стоит Янкель и ждет, когда кто-нибудь из русскоязычных подойдет и прочтет: "шеменет" и переведет: "сметана".

Ну кто ему виноват, что он, дожив до шестидесяти пяти, не сумел овладеть родным языком! А в то же время, где овладеть? Россия своих евреев ульпанами не донимала! Она их, в этом плане, щадила. Так что вина Янкеля Розентура была очевидной лишь в том, что ошибочно выбрал место рождения. Родись он где-нибудь в Хайфе или в Араде, – никаких социальных проблем теперь не возникло бы.

А пока Янкель по-школярски засел за иврит. В ульпан поступил, и дело пошло у него сверх ожиданий: через четыре месяца он свободно говорил, не заглядывая в словарь: "хлеб", "молоко", "сметана", "апельсины", ну и еще кое-что. Можете смеяться сколько душе угодно, но если учесть, что прибыл он в страну в том прекрасном возрасте, когда желудок еще варит, а голова уже нет, то успех несомненный!

Янкель ходил по городу, изумленно разглядывая лица сефардов, и все думал о превратностях судьбы, о том, что вот граждане одной страны, а говорят на разных языках. И вообще очень много всяких странностей. Там, в России, Янкель и представить себе не мог, что бывают чернокожие евреи. Но когда он впервые увидел в автобусе, лицом к лицу, эфиопского еврея, сперва не поверил глазам. Вроде бы лицо Хаима с Большой Арнаутской, но почему черное?! В конце концов, пришел к философскому выводу: "Поживи сам в Африке две тысячи лет – тоже почернеешь!"

Все понятно и все объяснимо, вот только почему эти черные евреи косо глядят на евреев белых. Очень даже недружелюбно глядят. Может от того, что не понимают языка русского? Кто их знает? Но Янкель не унывает: все перемелется, и мука непременно будет! И ходит он по улицам с широко раскрытыми глазами, вбирает в себя совершенно незнакомый ему мир.

Сегодня он вышел из дому, озадаченный женой:

– Съезди на базар и купи веревку, белье развешивать. Только не тесемку, а потолще, чтобы покрепче была.

Янкель заказ принял с радостью: очень уж не любит сидеть дома. Другой бы на его месте сперва в словарь заглянул или соседа спросил, как на иврите веревка называется, но у Янкеля Розентура натура такая инженерная: он сперва начинает что-либо делать и лишь потом пытается сообразить каким образом.

И вот идет он по базару и мучается. Зашел в одну лавку, в другую, торговцы смотрят на него, спрашивают: "Кен, адони?" – что в переводе на русский обозначает почти то же самое, что "чего приперся?", но много вежливее. А он и не знает, как нужно отвечать. Знает, что ему царих нужно, а что именно – понятия не имеет. Шастает глазами по полкам с товарами и ничего искомого не находит, а сказать не может.

Вот такое наказание за то, что в словарь забыл заглянуть! Черт бы ее побрал – эту веревку. Где ее искать? Зашел наугад в одну лавчонку. За прилавком – худенький мужичок предпенсионного возраста. Невысокий, очкарик, горбоносый, как все евреи. Карие глаза сразу же недружелюбно впились в странного посетителя.

– Кен, адони? – сказал хозяин лавки.

И Янкель начал вязать пальцами воображаемый узел, красноречиво демонстрируя тем самым свои успехи в изучении иврита. Но сколько ни крутил, старик ничего понять не мог. Янкель уже собирался бесславно покинуть и эту лавку, как вдруг глаз зацепился за бухту манильской веревки. Янкель даже вскрикнул от радости:

– Зе! (это) – сказал он таким тоном, каким, очевидно, ученый муж древности воскликнул "эврика!"

И сразу же подозрительный хозяин добродушно улыбнулся, признав в Янкеле покупателя. Делом техники было договориться о цене, о количестве товара. Старик ловко отмерил нужный метраж, смотал на локте уложил в пакет и, получив плату, с улыбкой вручил Янкелю. А того опять понесло в философию: ну почему два еврея должны говорить на разных языках? "Я же хочу знать, что это за старик, откуда", – думал он. – "Да и ему, наверное, хочется что-то спросить у меня?" Почему-то лавочник стал симпатичен Янкелю. Ну, никак нельзя вот так просто уйти со своей веревкой, будь она неладна, и ничего не сказать! И он нашел выход из положения.

– Адон, – сказал Янкель, показывая пальцем на свой пакет, – бе русит зе – веревка. (Господин, по-русски – это веревка). Карие глазенки хозяина лавки засияли искренней радостью, будто Янкель подарил ему что-то.

– Ма? Верьевка? – сказал хозяин и стал повторять: – Верьевка, верьевка, верьевка.

– Кен, веревка, – дивясь поведению старика, подтвердил Янкель. – Ма зе бе иврит? (Что это на иврите?)

– Хэвэль! – не сказал – крикнул старик и широко развел руки, – хэвэль!

И оба стали повторять каждый свое: один твердил "верьевка", другой – "хэвэль".

– Кама ата гар по? – спросил лавочник. (Сколько ты живешь здесь?)

– Шева Ходеш. (Семь месяцев).

– Ло гарбе, – сказал старик (не много) и протянул Янкелю руку.

Вот, оказывается, как все просто! Беда лишь в том, что ничего больше Янкель Розентур не способен ни

рассказать, ни спросить. И потому он просто пожал лавочнику руку, улыбнулся на прощание и – подался домой.

Всю дорогу он радовался интересу сефарда к его скромной персоне и утешал себя тем, что у старика наверняка есть дети. Они когда-нибудь встретятся с детьми Янкеля и сумеют друг другу рассказать о себе и о своих родителях, которые говорят на разных языках...

НИНА БОЛЬШАКОВА

ЖИЛЕЦ САПРОНОВ

...Вы тут такой же жилец с тромбоном, как и прочие.
А.П. Чехов "Жилец"

Живем, живем, да и помрем. Ну, пока живем, надо где-то жить. Кто свое жилье имеет, а кто и снимает, это как кому удается. Чем отличается квартиро- или домовладелец от съемщика, от жильца, по-старому? Да всем. Домовладелец – это звучит гордо! У него и походка уверенная, и голову он держит высоко, говорит медленно, с достоинством, как по рублю каждое слово продает. А жилец – человек маленький, зависимый, его при желании и погнать с квартиры можно. Не так это легко, конечно, согнать человека с места, потому как нью-йоркский закон на стороне жильца, даже если он за квартиру не платит. Все равно судья его выслушает и даст время долг погасить, а может и социальные городские службы обязать ему помочь, если жилец, к примеру, больной на голову. Однако право собственности превозмогает, и жильцу против хозяина устоять трудно. Но стоят, и еще как! То есть такие специалисты встречаются, что по году и больше за квартиру не платят, и выселить их никак не возможно. Жилец – это целая социальная прослойка, как интеллигенты в Советском Союзе! Не бомж, не хозяин. Особая категория.

* * *

Зазвонил телефон, и Тильда сняла трубку.

– Это Сапронов с квартиры 2-К. Вы до скольки сегодня? До пяти? Так я зайду после четырех, ренту принесу, за квартиру заплатить? – торопясь, заглатывая концы слов, заговорил мужской голос.

– Хорошо, заходите. С приездом Вас, – сказала Тильда.

– С каким приездом, я здесь все время, я никуда ни уезжал.

– Как же, прошлый раз Вы, когда платили, говорили, что в Россию собираетесь, мать проведать, квартиру отремонтировать. Так Вы что, не ездили?

– А, это, я уже давно вернулся, уже и забыл. Пока до свидания, до встречи, значит.

Ближе к пяти Сапронов и правда пришел, принес в конверте ренту за месяц, тысячу пятьдесят долларов мятыми двадцатками. Тильда пересчитывала деньги, выписывала квитанцию. Говорили о России.

– Как там жизнь, в России-то? – спрашивала Тильда.

– Хорошо, очень хорошо, – отвечал Сапронов. – Все есть, чего не захочешь, и одежда, и обувь, и продукты, и электроника со всего мира. Как здесь, только лучше, гораздо лучше. Все натуральное, не то что здесь, модифицированные продукты жрем, скоро все подохнем. Пенсии поднимают, зарплаты поднимают, очень хорошо. Это все благодаря Путину, он это все делает очень, очень хорошо в России!

– А Вы там не живете. Почему? – интересовалась Ильда.

– Как не живу? Я живу, а как же, я живу, – заторопился Сапронов.

– Да ну, как же Вы там живете, когда ездите туда раз в год по обещанию. А живете здесь, в Америке. Почему так? Или Вы не русский?

– Как же не русский? Ну Вы тоже скажете! Русский я, русский. У меня в Ленинграде и квартира есть, а как же, я ее не продаю, мать моя там живет.

– Да Ленинграда уж двадцать лет как нет, а Вы все – Ленинград, Ленинград. Сразу видно, что Вы в России не живете.

– Как же не живу? У меня там и семья имеется, дочка и жена ... тоже.

– А чего же Вы тут, а жена там? Скучно, наверно, одному без жены?

– А жена ушла, ушла жена-то. Я как-то три года не приезжал, никак не мог, некогда было, не приезжал, да, а она ушла, к врачу ушла...

– Так она что, больная? Как же Вы больную жену одну бросили? Тут и медицина получше, привезли, подлечили бы ее, деньги-то теперь есть.

– Да нет, она не больная, не больная жена. Она на «Скорой помощи» работает, медсестра она, хорошая медсестра, ну и сошлась со своим врачом. Я потом приехал, а жены уже нет, ушла жена, к врачу ушла.

– Ну вот, а говорите, что в России живете. Смешной Вы, Сапронов. Так Вы там и голосовали? Вы же на выборы попали?

– А как же, голосовал. Я россиянин, голосовал, конечно голосовал, имею право, потому что у меня русский паспорт есть. Все голосовали, и я тоже пошел, а как же.

– За кого же Вы голосовали? Или это секрет? Тогда не говорите.

– Да нет, какой там секрет. За Путина, за кого же еще, за Путина, за него, дай бог ему здоровья.

– Да Вы что? И как Вам это удалось? Он же на эти выборы не выдвигался.

– Ай, ну за этого, за как его, за Медведева. Главное, чтобы Путин был, а там все равно, кого он назначит.

– Так если назначит, зачем же Вы на выборы ходили. Это же фарс, а не выборы, зачем же вы голосовали?

– Ну, а как же не голосовать, положено голосовать, мы и голосуем. А что же мы, бараны, думаете, бараны мы, по-вашему? Куда гонят, туда и идем? Ан нет, мы понимаем, что выборы ненастоящие, ну так ведь полагается, чтобы были выборы, вот и голосуем. А народу все равно кто выберется, главное, чтобы Путин был, а кто под Путиным, нам все равно.

– Так вы Путина любите?

– А как же, любим, конечно. А что хорошего было при этом пьянице, при Ельцине? Все над нами смеялись. А теперь нас боятся. Путин порядок навел, везде своих людей поставил, и порядок стал, как было. Да Вы не помните, Вы молодая. Я тоже молодой, но мне отец рассказывал, как раньше было, так теперь вот также, только лучше. Границы открытые, езжай куда хочешь, трави пар, занимайся. А продукты в магазинах какие, все наши, русские, натуральные, без этих,

гормонов. Конфеты фабрики «Красный Октябрь», к примеру, здесь таких и не делают. Не умеют потому что. Да все Путина любят, все, все любят, весь народ. Его только богатые не любят и еще ев... эти... демократы.

– Ну уж и не любят богатые. Да он сам богатый, интернет забит, пишут, у него больше сорока биллионов долларов. Сколько это – биллион? Миллиард, что ли? Или миллион? Ну все равно много. И откуда у него такие деньги? Он же всю дорогу на государевой службе, слово и дело, какие у них зарплаты? Да Вы и то, пожалуй, тут больше зарабатываете.

– Да, я за меньше, чем за тыщу в неделю и работать не стану, что я, мальчик? Ну а что же, такой страной руководить и на зарплату жить? Россия не бедная страна.

А очень просто, откуда деньги! Народ – он не дурак, все знает. У него компания своя, бензином торгует, в Америке торгует. Заправки-то везде стоят, вокруг Нью-Йорка на всех дорогах, да, а как же, под русским флагом, сами видели. И он с Бушем договорился, чтобы беспрепятственно, значит, по Америке бензином торговать, по американским-то ценам выгодно выходит. А что же он, даром договаривался? Даром никто ничего делать не будет, это не по понятиям. Вот и денежки накапали. А народ не в обиде, нет, а совсем наоборот, молодец он, на американках капитал набрал, а свой народ не тронул. Вот она, русская смекалка!

– Почем в Питере бензин?

– В Питере не знаю, а в Москве свояк меня возил, так заправлялись. Кусается, однако, почти двадцать три рубля за литр, 22.94, если точно.

– А в Нью-Йорке Вы почем заправлялись, как приехали?

– Да дорого, сами знаете, $3.31 за галлон. Бак залить, так в сорок долларов не обойдешься.

– Так они в России своим дороже, чем в Америке продают. А Вы говорите – купаться.

– Как дороже, что Вы сочиняете?

– Сами посчитайте. В галлоне 3.79 литра, выходит за галлон 86.94 рубля. Сегодня курс 23.84 рубля за доллар, упал дальше некуда. Получается, 3.64 доллара за галлон. Ничего себе Левша, подковал блоху.

– Как это Вы так считаете, быть такого не может! Ну-ка я пересчитаю.

– Потом посчитаете, мне домой пора собираться. Так чего ж Вы в России не живете, если там так хорошо?

– Я же объясняю, там после сорока пяти лет на работу не устроишься, не берут никуда. Нет работы, и всё. Надо бизнесом заниматься, так все уже порасхватали, никто не пустит. Хорошо бы что-то новое придумать, чего никто не делает, а чего тут придумаешь. Как же так, бензин-то, а? Не… не может быть... посчитать надо...

– Значит, плохо в России? Поэтому Вы там и не живете?

– Неправда ваша, в России хорошо, очень хорошо. Я же объясняю, нет работы не вообще нет, а просто после сорока пяти никуда не берут. Не устроиться никуда, если ты уже в возрасте. Не в слесаря же мне идти. А молодым хорошо, все в бизнесе, на сток-маркете крутятся, большие деньги делают. Очень хорошо в России.

– А почему не в слесари? Если так хорошо, то и слесарю хорошо? Здесь Вы чем занимаетесь?

– Я же объясняю, у меня свой бизнес. Нас четыре человека, мы кондиционеры старые, кто выкинет, подбираем, чиним и продаем. Опять же, если кому кондиционер установить, или там замок поставить, это мы тоже делаем. И подработка у меня есть. Мне товарищ помог на место поступить, я лифтером ночным работаю на Девяносто Шестой угол Амстердам, там чаевые хорошие, и зарплата тоже неплохая.

– Ну вот, еще и лифтером ночным маетесь. Уж наверное при таком изобилии в Питере замков и кондиционеров тоже хватает, найдется кому вставлять.

– Я же объясняю, я на кого-то работать не пойду, я никогда ни на кого не работал, а свой такой бизнес мне там не дадут раскрутить. Там уже все поделено, меня не пустят. Мне партнер бывший, я до отъезда с ним бизнес начинал, работу предложил. Иди, говорит, ко мне сторожем на дачу, будешь там с собакой жить, она в будке, а ты в доме. Двести долларов в неделю давал, на всем готовом, а я не хочу. Что я ему, собака, в будке один сидеть? Вместе начинали, пуговицы, кнопки штамповали, я уехал, а он раскрутился. Пластиковую посуду теперь делает, очень у него она идет, прямо нарасхват. Я ему предлагал партнером, деньги хотел вложить, а он мне сторожем иди, говорит.

– Тоска, а не жизнь, так что ли, а, Сапронов? Что же Вы, один живете? Так Вы у нас, выходит, жених? Ну да, раз жена ушла. Или у Вас герлфренд есть?

– Была тут одна, но я ее прогнал. Сейчас, знаете ли, трудно преданного человека найти, все выгоды ищут. Один пока живу.

– Одному мужчине жить не с руки, неправильно это. Вы хоть кота заведите, что ли. Если Вы его полюбите, и он вас любить будет, за просто так, не за кормежку.

– Был у меня кот, два года прожил и ушел. К соседям ушел, у них теперь живет, на меня и смотреть теперь не хочет. Зайду, так он морду отвернет и в другую комнату выйдет.

– Это почему?

– Заболел он чем-то, кот заболел, облез весь, ну я думать стал, как с ним быть: усыпить или просто выгнать. Усыпить как-то жалко, и ветеринар за это тоже денег хочет, я справлялся, а выгнать – так соседи в полицию донесут, сами знаете, где живем. Ладно, думаю, буду дверь приоткрытую оставлять, он сам уйдет, лечиться пойдет на травку или помирать куда, они перед смертью прячутся, коты, может, Вы не знаете. Так он вышел, а соседи его увидели и лечить стали, к ветеринару понесли, питание ему купили специальное. Кот вылечился и ушел к ним, насовсем жить ушел.

– Смотри какой кот, с характером. Ну да ладно, Сапронов, пошли по домам, по дороге мне доскажете, почему Вы в России не живете.

– Так я же объясняю...

САША БОРОДИН

УНИКУМ

Всю жизнь Игорь (имя изменено) стремился к совершенству и, надо признать, не единожды его достигал. Правда, довольно необычным образом.

Еще в утробе матери Природа наделила его могучим талантом художника, однако по дороге в этот мир он

получил родовую травму, медицинское название которой – асфиксия (отсутствие дыхания при наличии сердцебиений). И хотя реанимация новорожденного прошла успешно, в его мозгу что-то сдвинулось. Результаты этого сдвига проявились не сразу, но, в конце концов, дали о себе знать, причем весьма своеобразно.

Впервые попав в пионерский лагерь, Игорек чурался всего коллективного, вроде футбола или волейбола, а сидел в библиотеке и сам с собой играл в шахматы. Но не так, как все. Он строил шахматные башни – фантастически неустойчивые сооружения из шахматных фигур, в основании которых была всего одна (!) пешка. Достигнув в этом занятии совершенства, он начал заключать пари – на рубль или на три, обещанные любому, кто сможет повторить. Пробовали многие, но не смог никто. Игорек обогатился и курил только дорогие сигареты "Тройка", покупка которых сопровождалась перелезанием через два забора – лагерного и соседнего дома творчества писателей.

Однажды (дело происходило уже в городе) школьные хулиганы исцарапали классную доску неприличными надписями. Директор распорядился ее заменить. Пришли люди в ватниках, начали крушить и стучать. Игорь поднял кусок только что оторванного от стены линолеума и долго его разглядывал. Потом положил в портфель и отнес домой. Дома он взял из отцовского набора инструментов самую маленькую отвертку, заточил ее наискосок и заперся на балконе. Бабушка несколько раз заглядывала в окно, видела склонившуюся над чем-то голову внука и, радуясь его непонятному усердию, отходила.

Часа через два Игорь открыл дверь, аккуратно подмел какие-то крошки и стал нарезать ножницами листочки бумаги.

Пора развеять туман: рукастый мальчонка сфабриковал из линолеума им же изготовленным резцом печать детской поликлиники, наштамповал справок и, размашисто срисовывая медицинские каракули, начал "законным" образом отпускать с уроков себя самого, друзей и девочек, которым симпатизировал. Его фальшивки практически ничем не отличались от настоящих. Так продолжалось несколько месяцев. Потом Игорь внезапно закрыл "фирму", ничего не объясняя друзьям. Может быть, он вовремя почувствовал опасность разоблачения. Во всяком случае, пойман не был.

Не стала достоянием гласности и другая его школьная проделка. Вернее, не проделка, а, по крайней мере, трехлетняя практика параллельного ведения двух дневников: одного с двойками и замечаниями – для учителей, другого, благостного с "четверками" и "пятерками" – для родителей. Не трудно догадаться, что это сопровождалось подделкой подписей тех и других. В семье царила тишь и благодать, но когда пришла пора получать аттестат зрелости, родители были несколько шокированы неожиданным обилием в нем "троек".

Естественно, что в институт наш троечник не попал, а угодил в армию. Там он почти сразу стал "художником", то есть человеком, который не роет окопы и не ходит в наряды на кухню, а сидит в "ленинской комнате" и рисует всякие плакаты. Сослуживцы "сачком" его не считали и не обижались, потому что он мог выписать даже самому последнему разгильдяю увольнительную записку. Совсем, как настоящую, то есть с печатью и подписью командира взвода.

Взводную печать он не вырезал, а поступил проще. Вызвав по телефону лейтенанта на проходную голосом комбата ("А ну-ка, пулей!"), он юркнул в его незапертый кабинет, схватил из незапертого сейфа печать и в одну секунду сделал ее слепок на пластилине. Потом купил в магазине медицинских принадлежностей состав для изготовления зубных протезов и отлил из него дубликат печати.

Был он тогда еще "салагой", то есть молодым солдатом, но, едва став "стариком", опасное занятие свернул и фальшивую печать утопил в сортире, оставив лишь для себя лично небольшой запас бланков. Может быть, поэтому разоблачен не был.

Ни разу не был он пойман и "на гражданке", где время от времени фабриковал всякие необходимые для жизни справки и выписки. Таким образом, он устраивался на хорошую работу, дважды улучшал жилищные условия и... ходил с супругой на недоступные прочим театральные премьеры.

Не следует думать, что "художественное творчество" Игоря всегда носило корыстный характер. Вовсе нет. Однажды он подобрал на улице мраморную плиту и два дня без устали долбил ее на кухне. Сосед, заинтригованный непрекращающимися таинственными звуками из Игоревой квартиры, не выдержал и поинтересовался: "Ты что, в чеканщики подался?". Игорь смолчал, а вскоре на стене одной из соседних пятиэтажек неведомо откуда появилась мемориальная доска с узнаваемым многими профилем. Мрамор, бронзовые винты по углам, идеально ровные буквы и совершенный в отношении художественного исполнения барельеф безукоризненно воспроизводили скульптурный жанр мемориальной доски. Вот только текст... Он гласил: "В этом доме жил и продолжает жить алкаш Коля". Это был подарок Игоря другу на его день рождения. Доска провисела несколько месяцев, потому что даже официальные лица не чувствовали себя вправе совершить акт вандализма и подвергнуть шедевр уничтожению.

Последняя художественная работа Игоря на родине – собственное свидетельство о рождении с короткой записью "еврей". Этих пяти букв хватило, чтобы совершенно "законным" образом оказаться за океаном, в далекой Канаде.

Я познакомился с ним несколько лет назад в Ванкувере во время короткого четырехдневного посещения этого удивительно красивого города. Соотечественники рекомендовали мне Игоря, как человека, который может "изобразить" справку российского Госстраха о пятилетней безаварийной езде. Думаю, что объяснять, зачем такая справка может понадобиться, нет необходимости. Рукастый умелец из России работал тогда на строительстве гостиничного комплекса в знаменитом горнолыжном курорте Британской Колумбии. Был он простым подручным каменщика, но порой ему доверяли самостоятельную работу. В результате на Тихоокеанском побережье Канады появился уникальный архитектурный шедевр.

Представьте себе торцевую стену здания, сложенную из каменных блоков, примерно втрое превышающих размеры стандартного кирпича. Стена в целом, как здесь водится, идеально ровная. Правда, наружная часть блоков представляет собой нарочито неровный

скол. Одни камни чуть-чуть более выпуклы, другие – напротив, поплоще. Так вот, Игорь умудрился путем тщательного подбора камней написать во всю стену хорошо знакомое нам слово из трех букв. Обычно оно невидимо, но в краткий предзакатный момент, когда солнечные лучи параллельны плоскости стены, выложенная чуть более выпуклыми камнями надпись как бы вспыхивает розовым огнем. Это потрясает. Я умудрился сфотографировать необычную стену. Если разыщу снимок, который завалялся где-то в кучах других, постараюсь сопроводить им этот текст. Будет жаль, если он потерялся безвозвратно. Правда, по понятным причинам нет никакой гарантии, что редакция решится его опубликовать.

Знают об уникальной стене лишь некоторые наши соотечественники. Канадскому глазу краткая, почти мгновенная игра лучей заходящего солнца ничего не говорит.

Где ты сейчас, бескорыстный творец уникальных шедевров? Чем еще можешь нас удивить? Отзовись!

ИННА ДАВИДОВИЧ

СЛОВА, ЗА КОТОРЫМИ НИЧЕГО НЕТ
(Г.Шнир: Возвращение)

Анне Дунаевской (Баранниковой) посвящается

I. Когда Генриетта Шнир в теплом синем пальто с меховым воротничком, с маленьким рюкзаком за спиной, в темно-синей шляпке, которую она никогда раньше не надевала, потому что шляпка эта ее очень меняла – в ней она походила на молодую женщину, а ей было всего шестнадцать лет той весной; когда Генриетта, по настоянию и благословению матери своей отправилась поступать в противовоздушные войска и никто не остановил ее от совершения этого патриотического шага. Она ехала с другими девочками в трамвае и выглядела так, будто ехала на школьный пикник, хотя в то время было уже не до пикников, впрочем, от школы всего можно было ожидать; когда она кивнула и засмеялась своему брату Гансу, а он засмеялся ей в ответ, смотря вслед уходящему трамваю, – когда все это происходило, никто не знал, что она никогда не вернется обратно.

Генриетту увезли на фронт, и она служила не в тылу, как предполагалось, а в действующей армии. Что она делала в армии, так никто и не знает. Сама Генриетта об этом не рассказывает. Просто иногда она замирает, роняет ложку в суп, не заботясь, полетят ли во все стороны брызги, и они летят, конечно, потому что ничто не остановит естественное движение, или бросает карты в камин, если мы сидим на даче в дождливые дни и играем в низ. Только случается такое редко, и за редкость подобные "вольности" бабушке прощают. Она у нас чудная. И слово-то это она чудно произносит. Но мы привыкли, и нам не кажется это странным. Лишь иногда чужие люди появляются в доме, и если что-то происходит из ряда вон выходящее, смотрят они на нас странно, на всех, а на бабушку боятся смотреть – она такая неземная в эти минуты и безумно красивая. Я люблю за ней наблюдать в эти моменты и жду их с нетерпением, как високосного года. Потому что я родился в високосный год, 28 февраля. В 11.30 ночи.

II. Наша семья такая, со странностями – у каждого есть что-то особенное, все мы на грани.

На грани реальности и легенды, живого и полуживого, твердой памяти и полного забытия. Говорят, что бабушка была в плену, что помогала заключенным, благодаря которым и вышла на свободу из лагеря с поддельными документами. Какая-то темная история, о которой бабушка молчит, а мы не лезем. Папе и маме не до этого, а мне как-то неловко заставлять ее вспоминать о моментах прошлого, которые могут быть ей неприятны. Мы все воспитаны временем, которое умалчивает подробности.

Иногда во сне я вижу ее в лагере, тощую, плохо одетую, страдающую подагрой, с ободранными руками и гноем под ногтями. Мне не хочется думать, что так было на самом деле, а если и было, то тем более я не хочу, чтобы бабушка Генриетта снова об этом вспоминала. Ведь воспоминание, это все равно, что снова пройти через то, что пережил, перечувствовать и заново перемолоть в себе. Вступая в противоречие с пищеварением, раздробленные воспоминания больнее колют.

Как-то я залез в огород и нашел там несколько картошин. Была уже осень, урожай собрали, и картошины начали гнить. Я попробовал одну на вкус – мне стало интересно, какой на вкус окажется гнилая картошка. Помню, как кто-то мне говорил, что во время войны всё ели и что гнилая картошка была чуть ли не лакомством. Я надкусил, и только языком лизнул. Мужества не хватило откусить. Съесть это казалось мне невозможным. А когда отбросил надкусанную картофелину подальше, за забор, увидел в окне бабушку. Она смотрела на меня невидящим взглядом, а по щекам текли слезы. Я побежал в дом. Вбегаю в комнату, а она сидит на диване и читает, как ни в чем не бывало. А ведь с того момента, как я ее в окне увидел, прошло меньше минуты. Может, мне и показалось. Хотя так явно я ее видел в ту минуту: ее скулы, мокрые от слез, и сухие глаза.

Я заглядываю ей через плечо – мне всегда интересно, что именно читает бабушка. Она много историй рассказывает мне вечерами. Все они из книг, которые она прочитала. Она сама так говорит: «Я читаю для тебя». Тут я начинаю с ней спорить. Говорю ей:

– Как это? И если тебе неинтересно, ты тоже читаешь? Только для меня?

– Глупышка. Ты же мне не говоришь, какие книги читать. Выбираю я сама, читаю то, что мне интересно, а потом тебе рассказываю.

Мне возразить нечего. У бабушки вообще все очень стройно получается. Она говорит мягко, но так, будто отрезала. И уже ничего не добавишь. Тема исчерпана.

Когда я вырасту, я хочу быть таким, как бабушка.

Бабушка не всегда жила с нами. Раньше я приезжал к ней. Жила она в другой квартире. Я ехал на метро с одной пересадкой. Около метро она меня встречала, по дороге мы покупали мороженое, иногда даже заходили в булочную и покупали маленький торт – на двоих. Жила бабушка всегда одна. Дедушки я никогда не видел. Вроде как его никто не видел. Не только я. Но мне как-то не верится, меня ведь тогда вообще не было. А люди чего только не говорят. По-настоящему я верю только бабушке. Она умеет сказать так, что и

сомнений не останется: то, что она сказала – чистая правда. Мне иногда даже кажется, что если бы бабушка рассказывала мне истории, которые мои дачные приятели перемалывают за костром, и им, ясное дело, мало кто верит, я бы ей безоговорочно верил, "покупал бы". Но в том-то и дело, что бабушка таких историй не будет никогда рассказывать. Она лучше сядет где-нибудь под лампу и будет тихо читать. Пока не случится что-нибудь неожиданное.

Помню, как проснулся однажды со странным ощущением: этот сон я обязательно должен рассказать бабушке Генриетте. Было уже поздно, папа с мамой ушли на работу, Женя в институте, а у меня – каникулы. Последние каникулы перед длинными летними. В школу ходить не надо, вставать можно поздно. Дома только бабушка. Заглянул к ней в комнату: сидит как обычно с книгой. Только не читает, книга просто на коленях лежит, а бабушка сама по себе, отдельно от книги существует. Я ее не стал окликать, на цыпочках отошел от двери и пошел зубы чистить. Потом расскажу.

Как назло паста кончилась. Пока я искал новый тюбик и скрипел дверцами шкафа, заглянула в ванную бабушка, нашла мне тут же пасту и спросила, что я хочу на завтрак. Я так крепко задумался, что напрочь забыл о своем сне. Как потом не тужился вспомнить, не смог. Вылетело из головы. За это я люблю сны. В них все как на самом деле, а потом ты просыпаешься, и все как рукой сняло. Ничего не было. Как новая книга. А старую на полку положил и забыл. Лишь иногда вдруг какой-то образ возникнет перед глазами, и не знаешь, было ли это на самом деле или прочитал где, или приснилось.

Только вот через несколько дней мне тот же сон приснился. И утром я долго с кровати не вставал, все пытался запомнить каждую мелочь, чтобы все точно передать.

Бабушка пила на кухне чай. Я достал чашку, налили себе чаю, сел за стол и сказал:

– Я хочу рассказать тебе мой сон.

– Ну, так расскажи, – бабушка улыбнулась и поставила свою чашку на стол – приготовилась слушать.

– Мне приснилось, что ты ехала на войну в трамвае....

Больше я на бабушку не смотрел. Я рассказывал ей, как трамвай по путям въехал в самый разгар сражения. Такой мирный трамвай, чистый, новый. Я видел, как он останавливается, а вокруг идет перестрелка и не понятно, кто свои, а кто враги. И люди все не в форме, а в штатском. В фильмах о войне солдаты и офицеры всегда в форме, а в моем сне нет никаких военных отличий. Но от этого все кажется еще реальнее. В трамвай попадает снаряд, он горит и люди, что были в нем, бегут в разные стороны. Наверное, в тот момент они не думают, где свои, а где чужие. Только укрыться негде. Куда не побежишь, везде ты как на ладони. И если не чужие, так свои тебя по ошибке пристрелят.

Не знаю уж почему я не мог смотреть на бабушку, когда рассказывал ей свой сон, а когда посмотрел, то на секунду мне показалось, что будто она из моего сна вышла. И что сейчас сон уже не сон, а самая что ни на есть реальность.

III. Генриетта была причислена к войскам ПВО в феврале 1945, через несколько дней после подачи заявления. Однако воевать ей не пришлось. Она приглянулась некому высокому чину, и он возил ее с собой – как помощницу. Справедливости ради надо отметить, что дальше помощи в работе эти отношения не заходили. Генриетта была юной и ничего странного в этом не видела. Высокий же чин был столь занят последними событиями и предчувствием поражения, что не тратил времени на заигрывание или грубое надругательство, а просто наслаждался обществом молодой девушки, которая оказалась неплохим подспорьем в канцелярских делах. Она же взяла на себя и роль секретаря, так что высокий чин порой урывал минутку, чтобы покурить в задумчивости, пока Генриетта обсуждала по телефону его встречи и заботилась о его распорядке дня. Как не охранял высокий чин Генриетту от всех напастей, ничего не помогло. Однажды они выехали на встречу с кем-то очень важным и попали в окружение. Лучшее, что успел сделать высокий чин, заботясь о Генриетте, он проделал виртуозно: заломил ей руки за спину и двинул прикладом в спину, успев шепнуть, что она с ним не знакома, и он арестовал ее как предательницу. Тем не менее, Генриетта была отвезена в лагерь до выяснения личности.

В лагере Генриетту поставили на перевязки. Как-то выяснилось, хотя Генриетта и рта не открывала, что она освоила эту науку в последних классах школы. Но в перевязочном бараке делать было нечего. Материала все равно не было, перевязывать было невозможно. Местные фельдшеры хранили редко получаемые бинты и лекарства и перевязывали только тех, кто приносил хлеб в обмен на перевязку. Такие законы, как оказалось, всех устраивали. Наесться было нереально, поэтому особо живучие приползали со своей долей хлеба и меняли ее на свежие бинты. Ели только на следующий день, когда получали свою дневную норму. Генриетта промывала раны, вытаскивала червей, водившихся в гниющем мясе раненых, перевязывала бинтами и никогда не забывала ни одного человека, который однажды пришел к ней. Вскоре она знала по именно всех, кто стремился выжить.

Выяснение ее личности длилось уже много месяцев. Вероятно, про нее просто забыли. Лагерь перевезли и разделили. Женщин почти не было, поэтому ее, одну, без документов и состава преступления, с характеристикой с последнего места работы (фельдшеры о ней хорошо отзывались, была они приветливой и трудолюбивой) отправили в женский лагерь. Там началась другая жизнь.

IV. За неделю Марина предупредила меня, что ее родители на выходные уезжают на дачу:

– Приедешь?

– Ну конечно. Какие могут быть вопросы!

– Лёнь, ты только представь – целую ночь вместе!

– Да что тут представлять. Еще несколько дней – и вся ночь.

– Все смеешься...

– Маринка, я тебя люблю.

– Не верю.

– Да тут и верить-то не надо. Все и так ясно.

В ночь на пятницу мне снился сон. Бабушка просила меня приехать. Стояла она одна где-то во дворе, но двор был не дачный, а настоящий деревенский, только запущенный, будто там никто уже много лет не бывал. Стояла посреди двора и звала.

Я проснулся посреди ночи. Так до утра и не заснул. Все думал, что давно с ней не виделся. Решил, что бо-

яться нечего, она не одна – родители часто навещают ее, хотели даже перевезти к себе (перестала жить она с нами, как только я окончил школу), но она наотрез отказалась. «Внука вырастила, – сказала, – теперь мне у вас нечего делать. Живите сами, да и я сама. Мне так проще». Сказала просто, без обиды, никто перечить не стал. Так уж она нас воспитала – мы ей не перечим.

Днем позвонил бабушке. Она мне обрадовалась, потом вдруг голос затосковал:

– Приезжай.

– Я, бабушка, сегодня не могу.

– Ну ладно, потом как-нибудь.

И тут меня кольнуло что-то, как порезался.

– Нет, приеду.

– Ну, слава богу.

Звонил Марине, объяснял. А она все свое:

– Ну, я же говорила. Очевидно было, что ничего не получится из этой затеи. Как чувствовала.

– Мариш, ты пойми...

– Я тебя силюсь понять вот уже год. И все без толку. Все, пока.

– Маринка, но ты же у меня умница....

– Знаешь, а пошел ты... И не названивай.

И бросила трубку. Чтобы моя Марина, да трубку бросила. Такого у нас еще никогда не было. Я перезваниваю, а мне в ответ лишь гудки короткие. Звонил так час. А потом поехал – бабушка ждет.

Мы просидели весь вечер за обеденным столом в ее комнате. За дверью шаркала соседка, гремел ключами ее муж. Странные люди: врезали да понавесили замков разных, ключи соберут в связку и ходят с ней, карманы оттягивают; то ли дело я – у меня три ключа: от домашней дери – верхний, нижний замки и почтовый ящик! И все. Много ли человеку надо.

Сначала она меня об учебе спрашивала, о книгах, которые я прочел за последнее время. Бабушка в своем репертуаре. Теперь уж и я бы мог рассказать ей разные истории. Но я еще успею. Не сейчас.

– Я рада, что ты позвонил. Я уже неделю думаю рассказать тебе одну историю.

– А я тебя видел во сне.

– Ну, того, что я тебе расскажу ты уж точно во сне видеть не мог.

Я молчу. Слушаю. В общем-то, мне ничего такого уж выдающегося не приснилось. А вот бабушка вполне может рассказать что-то важное.

– Я хочу тебе рассказать о себе. Все хотела папе твоему рассказать, но к слову не пришлось. Знаешь, живем вроде недалеко, часто видимся, а разговор не заходит об этом. Как-то все другие дела.

Бабушка говорила, а за дверью перестали шуметь соседи, погас свет в домах напротив, слышен был только бабушкин голос.

Она рассказывала мне о своей жизни в Германии, о школе, о доме, о родителях и брате.

– У меня два брата. Но одного из них мне необходимо отыскать. Думаю, он до сих пор жив. Я знаю, это звучит по-стариковски безумно, но, может, ты мне поможешь?

– А как? Как ты его можешь найти?

Она не ответила, а продолжала рассказывать о своем брате. Мне казалось это все трогательным и чудным. Я представил себе, как расстался бы с Женькой лет в шестнадцать и всю жизнь молчал бы о нем, а потом вдруг на восьмом десятке, решил бы его искать.

– Ганс был чутким. Очень чутким, тонким человеком. И еще – он умел различать запахи по телефону.

Мне это врезалось в память. Я расслабился и слушал в пол-уха. Думал, что бабушка, к сожалению, начала сдавать. Она искала моего взгляда, а я не мог смотреть на нее, как когда-то в детстве, когда рассказывал ей свой сон.

– Кстати, о том твоем сне, который приснился тебе как-то дважды и ты мне о нем рассказал, помнишь?

Это меня отрезвило. Бабушка будто бы читала мои мысли.

– Ну конечно, помню.

– Я ведь действительно уехала на войну в трамвае. Трамвай отъезжал, и я увидела Ганса. Я ему улыбнулась и он мне в ответ. Помахал рукой. Таким я его и запомнила.

Бабушка хотела, чтобы я остался у нее, а потом вдруг передумала:

– Поймаешь машину, езжай домой. Как там твоя Марина, кстати?

– Марина? Нормально.

Марина как раз ненормально. Бабушка почти помешалась, я променял нашу ночь с Мариной на разговор с бабушкой. Впрочем, я не жалею. Как будто новую книгу от нее услышал в пересказе. Как в детстве. Только теперь она решила сама сыграть роль главного героя. Мне, что уж тут говорить, как всегда с бабушкой, было интересно.

В машине я почти задремал. Звонить Марине не имело смысла. Все равно бы она придумала какую-нибудь отговорку, чтобы мне отомстить.

V. Днем я проснулся от телефонного звонка. Папа вошел в мою комнату, сказал, не глядя на меня:

– Бабушка умерла под утро, только сейчас звонил сосед.

Я вспомнил звон ключей соседской связки, шарканье его жены за дверью, гаснувшие одно за другим окна домов напротив, голос бабушки.

VI. После похорон мы с Женькой сидели у меня в комнате, и я рассказал ему о бабушкиной последней воле – найти брата.

– Как ты сказал его зовут? – словно очнувшись, спросил Женька.

– Ганс Шнир.

– Слушай, ты Бёлля читал?

– Белля? Кто это?

– Немецкий писатель – Генрих Бёлль.

– А, ну слышал что-то.

– В общем, ты не читал. У него есть роман «Глазами клоуна». Замечательный, кстати, роман. Обязательно прочти.

– Ну, ок, а что ты вдруг о Бёлле заговорил?

– Просто в этом романе главного героя зовут Ганс Шнир, а его сестра Генриетта уезжает поступать в ПВО ... на трамвае. И никогда не возвращается.

VII. Вечером я поехал к бабушке. Вернее, в ее комнату. Дверь мне открыл сосед, посмотрел хмуро, мне даже показалось, недовольно. Как на будущего соседа. Конечно, он не мог знать, что жить в бабушкиной комнате я не собираюсь.

В комнате было пусто, но мне всё казалось, что бабушка вернется с чайником из кухни. Говорят, что еще долго душа не оставляет мест, которые ей были дороги при жизни. Я сел в ее кресло и закрыл глаза.

Когда открыл глаза, то взгляд мой упал на фотографию за стеклом книжной полки. Я привстал, присмотрелся, подошел и взял в руки старый снимок. Молодая девушка улыбалась мне. На ней была синяя шляпка, которая немного взрослила ее, оттеняя темные круги под глазами. В огромной бабушкиной библиотеке, которая занимала почти все стены небольшой комнаты, я искал недолго. На той же полке, на стеклом которой я увидел фотографию стояло «Избранное» Бёлля. В сборник входили рассказы, повесть и два романа «Бильярд в половине десятого» и «Глазами клоуна». Я проверил дату написания романа – 1953 год. Давно. Мне стало интересно, жив ли Бёлль. Взял себе на заметку – проверить.

VIII. Мысль о том, что у бабушки мог быть брат или вообще семья, занимала меня все больше. Я рассказал Марине о Гансе Шнире. В отличие от меня, она читала роман. Она даже сказала мне, что как-то вдруг ей пришла в голову мысль, что Генриетта не должна пасть под Леверкузеном, она должна жить дальше. Может быть, моей бабушке тоже пришла в голову такая мысль?

Я начал учить немецкий и всерьез задумался съездить в Бонн, и если удастся, повидаться с Бёллем. Хотя теперь, когда я знал о нем больше, я понимал – кто меня пустит, он же – мировая знаменитость, лауреат нобелевской премии. Впрочем, он антифашист, и, как я мог судить по статьям и заметкам о нем, очень хороший человек. Вероятно, он бы меня принял. Я загорелся этой идеей, ходил на курсы в Гёте Центр. Марина смеялась надо мной:

– Честь и хвала бабушке твоей! Кто бы мог подумать, что этот ее рассказ так на тебя повлияет. Вот видишь, и польза есть. Ишь, как учит! Жаль, что она уже этого не застала.

В конце концов, я решил, что напишу Бёллю письмо. Просто в красках опишу ему бабушку Генриетту и перескажу, что она мне рассказала за несколько часов до смерти, когда еще никто, возможно, кроме нее самой, не знал, что под утро она умрет. Я почти уверен, что она знала. Потому и рассказала.

IX. Вечером я вернулся из Гёте Центра, поставил на плиту чайник и за свистом чуть не пропустил звонок. Вовремя успел подбежать к телефону. Звонил Женька:

– Включай радио.

– А что там?

– Включай, услышишь.

«... – Как ты думаешь, легко мне было, когда Лео пришел ко мне и сказал, что переходит в католичество? Для меня это было настоящее горе, как смерть Генриетты...».

По радио транслировали «Глазами клоуна» Бёлля.

– Здорово, Женька! Не знал, что он так популярен. Что сегодня за событие?

– Бёлль скончался. Сегодня. Эта передача – дань памяти.

– Я тебе перезвоню. Попозже.

X. Я положил трубку. Пошел в ванную, закупорил пробкой слив, открыл кран, пустил мощную струю горячей воды. Из комнаты принес книгу. Пока ходил за книгой, воды уже набралось достаточно – вовремя подоспел.

Я сидел в горячей воде и читал:

«Никто не обращал на меня внимания, да это было и не нужно: через час, другой, третий меня уже начнут замечать. Я перестал играть, услышав голос радиодиктора. Он объявил поезд из Гамбурга, и я опять заиграл. Я перепугался, когда первая монетка – десять пфеннигов – упала в мою шляпу, она попала в сигарету и сдвинула ее на самый край. Я ее поправил и снова запел».

XI. Я лежал в ванне. Слезы текли сами собой. Второй раз в жизни. Первый раз, когда я узнал о смерти бабушки. Даже когда я увидел ее мертвой, ее вид не вызвал во мне той тоски, которая щемила меня при мысли о ее смерти. Мертвой она была необыкновенно красива. Как в те минуты, когда она роняла ложку в суп или бросала карты в костер. Может быть, в такие моменты она на секунду умирала, чтобы вновь начать жить. Ведь так и вышло, что она начинала жизнь несколько раз. И все – заново.

И вот ушел еще один человек. Как ни странно, именно он сейчас казался мне той нитью, за которую стоит лишь потянуть, и клубок размотается. И все станет понятно.

Я понимал, что все это могло быть плодом воображения моей бабушки. Но я привык ей верить. С самого детства. Ей, как никому другому.

Я упустил целую жизнь. Две жизни. Целый мир, который мне так и не удалось познать. Упустил лишь потому, что лишний раз не хотел спрашивать, стеснялся лезть с расспросами. Боялся написать великому человеку, придумывал отговорки. Смешные отговорки: язык, недоступность, разные страны. Слова, за которыми ничего нет.

30.03.2003 – 31.01.2004

СЛАВА ПОЛИЩУК

УЛИЦА ЛЕПИК, 54

А.Д.

Нет ничего более изнурительнее, чем июльский зной в Нью-Йорке и ватная тяжесть несбывшихся надежд.

Заезжий миллионер Иохим Склорц, выпив со мной по чашечке кофе и поклявшись в вечной дружбе, растворился во влажном мареве летнего утра.

Строгие пакистанские девушки в пластмассовых шлепанцах на босу ногу и аккуратно причесанные юноши продолжали внимательно конспектировать учебники химии и физики, проявляя особый интерес ко всякого рода цепным реакциям. Президент гулял по лужайке перед Белым Домом, держа за ручку саудовского принца. Саша Глезер, изнывая от жары, сидел в майке в Музее Современного Русского Искусства, где в целях экономии хозяин отключил кондиционеры. Мелькнувшая было надежда на замерцавшую славу испарилась вместе с исчезнувшим благотворителем. Единственным результатом ожиданий чудес явилась покупка Асей двух билетов на Air France. Истратив последнее, мы оказались в Париже.

Бетонная личинка аэропорта в бинтах подъездных путей, длинные металлические ангары, серые километры взлетных полос – бесконечно размноженный апофеоз минимализма. Автобус кружил между терминалами, подбирая редких пассажиров, пока клубок утреннего мокрого асфальта не закатился за цилиндры нефтяных резервуаров. Сухая прохлада августовского утра обещала превратиться в мягкое тепло европей-

ского лета, от которого за девять лет в нью-йоркских тропиках мы отвыкли. Автобус втиснулся в улочки подножия Монмартра. Так, штопая чулок, засовывают в него лампочку. Ткань плотно охватывает грушу тонкого стекла, открывая дыру, и иголка легко стягивает края прорехи. Сидя в салоне, казалось, что передний бампер скребет по стенам тесно прижатых друг к другу домов. На остановках двери открывались прямо в квартиры первых этажей. Покружив вокруг холма, машина остановилась на площади Оперы.

Париж красив как престарелый актер – года придают ему значительность. Лихорадочный румянец юности и последовавшее за этим обильное использование румян и белил уступили место благородной глубине морщин и неспешному всепонимающему взгляду. Вертя головами, вдыхая аромат кофе, который казалось и был воздухом Парижа, мы вышли к трехэтажной облупившейся гостинице Брабант. Поднявшись в спичечной коробке лифта на третий этаж, узким коридором прошли до двери под номером 333 и, открыв ее, оказались в комнате с голубыми стенами. Отодвинув штору и выглянув в окно, я увидел узкий настил из металлических прутьев, тянувшийся вдоль фасада здания. Двери не было. Я вылез на балкон. Ночные заведения выпускали последних посетителей, магазины только открывались. Облокотясь на решетку перил, я вдохнул подогретую утренним солнцем смесь звуков и запахов – сухой штукатурки стены, еще не испарившейся прохлады вымытого тротуара и непривычного стрекота мотороллеров.

***

Парижане, с раннего утра заполняющие кафе, могут не волноваться. Французские полицейские, вооруженные длинными автоматическими винтовками, кажутся излишней предосторожностью.

После девяти вечера Елисейские Поля самое излюбленное место гуляний бесчисленных жен и дочерей арабских шейхов. Нагруженные целлофановыми пакетами с названиями модных лавок, сопровождаемые внимательными взглядами усатых мужчин, молча идущих следом, они не спеша перемещаются от одной витрины к другой. Одетые в длинные темные платья совершено непонятно, что они покупают. Быть может, что-то доступное только взору восточного супруга.

Площадь перед Эйфелевой башней неопрятна, как всегда неопрятны большие открытые пространства столиц. Превращенная в гигантский газон, с песчаными дорожками и лавочками, изменив название, она не может скрыть своего прошлого. Скрип кирзы сапог, ругань младших офицеров, снующих между ротными шеренгами, хриплые звуки полковой песни, слетающие с замерзших на утреннем морозце губ гвардейцев, утюжащих щебенку плаца, гуталиновая вонь, навозный шлеп бильярдных шаров, падающих из-под подвязанных конских хвостов, навсегда впитываются в грунт и воздух. Наличие плацев в городской черте плохо действует на мозги – всегда найдется кто-то, кого вид обширного пустыря натолкнет на мысль согнать народ и установить гильотину.

Мне ближе клочки асфальта с какой-нибудь скульптурой или фонтаном, зовущимися площадями в Нью-Йорке. Полк не развернешь. Земля дорога.

Лучше свернуть на набережную правого берега, похожую на окоп, или на глубокий ров, дно и внутренняя стена которого выложены каменными плитами. Невысокий парапет отделяет набережную от воды. Туристы редко спускаются сюда, предпочитая любоваться открыточными видами сверху или с мостов. Местные жители ловят рыбу или спят на теплых плитах в тени высоких деревьев, воткнутых в асфальт вдоль стены. Эти камни лишены всяких украшений. Деятельность барона Хауссманна не затронула узкую полосу возле воды, оставив ей аскетичную простоту мощеных дорог Римской империи. Вечером здесь совсем пустынно. Голоса гуляющих на верху глушатся глубиной и пористыми плитами кладки. Только музыка с пришвартованных жилых барж нарушает тишину. Прожекторы с бесшумно скользящих прогулочных катеров выхватывают из темноты глубокие ниши, образованные тяжелыми короткими мостами. Возле Нового Моста набережная отходит вправо, нехотя отступая под натиском острова Сите.

Как слепой, память о предметах которого на кончиках пальцев, я знал этот город на ощупь: аккуратно взрыхленная земля трудолюбивого Писсаро, бритвенные лезвия порезов Буффе, осенняя влажность Марке, скупость почтовых открыток Утрилло. Если бы можно снять отпечатки взгляда, как отпечатки пальцев...

***

В московской художественной школе № 1, что на Кропоткинской, я был переростком. Учился "удовлетворительно". Рисовать начал поздно. Чтобы окончить художественную школу одновременно с общеобразовательной, пришлось поступать сразу в третий, предпоследний класс. В результате чего наука рисования композиций на тему "труд" и "сказка" так и не открылась мне.

В то время я зачитывался Блоком и рисовал бледные лица, витавшие в молочной мгле. Но директор школы Лапин, будучи человеком не злым, меня из школы не гнал. Он гордился своим ученичеством во Вхутемасе у Куприна, рассказывал похабные анекдоты девочкам в классе и рисовал натюрморты в мастерской на чердаке школы.

Художественная школа находилась в здании бывшей Поливановской гимназии. Наши мастерские занимали половину особняка, а в другой половине была музыкальная школа. Музыкальным детям повезло больше. Они владели актовым залом с росписями Шухаева, где гимназисты давали балы. В этом зале нам вручали дипломы. Когда директор школы раздавал всем тяжелые, в блестящих обложках тома Репина, Сурикова и братьев Ткачевых, мне досталась тоненькая, уместившаяся в кармане книжица о художнике Де Витте.

С этой книжки многое началось. Было какое-то мучительное беспокойство в небольших интерьерах. Мятущиеся тени на мраморных полах высоких, светлых залов соборов, низкие комнаты голландских домов с одинокими фигурами, тяжелое сырое небо, нависшее над рыбным рынком, набухшие губки мостов, на одном из которых Де Вите повесился.

Засунув книжку в карман куртки, я поехал в Клинцы. В последний раз.

Мыльный пузырь времени лопается, коснувшись острия памяти, оставляя на губах привкус хозяйственного мыла, тяжелым коричневым кирпичом, выскальзывающим из рук и плюхающимся в эмалированный таз с отбитыми краями.

Долгие дни, окутанные мягким светом.

Дед и бабушка, как могли, затыкали щели, через которые лезла жизнь коммуналки и прилепившегося к ней двора.

В разные годы во дворе попеременно верховодили братья Недоливко. Звали их всегда "недоливками". По странной случайности, умственное и физическое развитие соответствовало фамилии. Средний, Марик-Косой, был косым. Было ему лет тринадцать. Старший из братьев, Гришка, к тому времени вернулся из армии и мотался по двору в тельняшке. Выпивал, где-то работал, и куда-то сгинул. Марик таскал за собой младшего брата Славика, здоровенного белобрысого ребенка. Марик научил братишку слову "зид". Славик не выговаривал "ж". Потом Марика забрали в армию. Но он быстро вернулся. Говорили, что списали, как придурка. А Славик с годами превратился в полноватого парня, всегда жующего половину разрезанного вдоль белого батона, густо намазанного маслом и посыпанного сахаром.

Мать братьев Нина работала уборщицей. Отец Гришки и Марика был евреем, бросившим семью. Братья унаследовали внешность папаши и ненавидели отцовское племя до седьмого колена. Славик был неизвестно от кого. Семья "недоливок" жила в одной комнате коммуналки в седьмом подъезде. В этой же коммуналке жили Элькины, к которым летом приезжала внучка Эллочка. Эллочка произвела известное впечатление на братьев. Таких девочек среди местных не водилось. Летний лексикон братьев заставлял мотать головами даже мужиков, играющих в карты во дворе. Но Эллочка быстро переместилась в Израиль, вернув "недоливкам" душевное равновесие.

Коммуналки ничем не отличалась друг от друга. Две узкие створки двери с лестничной площадки. Наша дверь, крашенная красно-коричневой краской, закрывалась на засов. В кованую петлю вставлялось дуга большого замка со стальным ключом на коричневой веревке. В доске двери с войны осталась дырка от пули с оплывшими под слоями краски краями. В глубине коридора, справа от нашей двери была комната тети Жени. Она всегда одевалась в длинную, темную ситцевую юбку и такую же ситцевую прямую кофту в цветочек. Волосы были повязаны коричневым платком, туго затянутым под подбородком. Концами платка она вытирала слезы, рассказывая бабушке на кухне, как Володька, ее сын, опять вчера был "выпимши". Володька, худой и высокий, как мать, вернувшись из армии, женился на девушке Вере с текстильной фабрики. Парень он был рукастый, и Вера оказалась девушкой работящей. Могли бы жить, но Володька запивал. В такие дни он гонял Веру и сестру свою Верку по всей коммуналке. Если доставал, то бил смертным боем. У той и другой были дочки, и они часто спасались, если путь к двери парадного оказался перекрытым Володькой, в нашей комнате, порог которой Володька переступать не решался, тем более, что бабушка накидывала крюк с внутренней стороны двери. Только мать могла загнать сына в свою комнату, с криком толкая двумя руками его в спину. Вера, подхватив дочку, убегала на несколько дней к своей матери, а Верка со своей дочкой пробиралась в комнату тети Жени, когда брат засыпал за занавеской. Деваться ей было некуда. От кого дочка она и сама не знала. "Алименты спросить даже не с кого", – жаловалась тетя Женя. Ее муж не вернулся с войны.

На следующее утро Володька приходил извиняться. Стоя на пороге нашей комнаты и не смотря в глаза деду, которого он очень уважал, бурчал, что был "маленько, того, выпимши", и просил трешку на опохмелку. Деньги тетя Женя всегда отдавала из своей нищенской пенсии и из того, что находила в карманах сына после пропитой получки. Помню, что тетя Женя всегда варила картошку, булькавшую в высокой коричневой кастрюле, и жарила дешевую рыбу хек.

Так они и жили в одной комнате: тетя Женя, Володька с Верой и дочкой и сестра его Верка со своей дочкой.

Тетя Фаня, жившая в комнате напротив нашей, тоже потеряла мужа на войне. Нечастые, но все же происходившие коммунальные ссоры хотя и имели мелочные причины – не туда поставленная кастрюля, долго занятая плита или туалет – были прорывавшейся затаенной болью и завистью соседок к бабушке. Мой дед уцелел на войне. Но все же жили мирно.

Тетя Фаня, маленькая, с фиолетовыми прожилками на щеках, пекла замечательные бисквиты для своего внука Эдика, с которым мы приятельствовали. От нее всегда пахло чем-то сладким. Отец Эдика, ее сын, выделывал кроличьи шкурки для шапок. Комната тети Фани – самая маленькая в коммуналке. Шкаф, диван, стол под темной плюшевой скатертью, комод, два стула, шторы на окне. В комнате всегда было очень тихо и чисто.

Слева от нашей двери стояла тумбочка со стиральным баком и несезонной обувью за занавеской. За тумбочкой – дверь комнаты ответственного работника Николая с женой Ниной. Но они как-то не воспринимались мной частью нашей коммуналки. В конце семидесятых старик Николай получил награду – орден Трудового Красного Знамени. Выходя из комнаты в туалет или на кухню, он прикалывал орден к отвисшей подмышками майке.

Еще в коридоре напротив туалета стоял бабушкин фанерный шкаф, закрывавшийся на деревянную палочку, крутящуюся на гвозде. В шкафу хранились банки с вареньем, кастрюли, всякая кухонная утварь, инструменты.

Комнатушка туалета напротив шкафа содержалась в чистоте, но всегда пахло сыростью от ржавой трубы, коричневой кишкой тянувшейся от сливного бочка с веревкой к унитазу. На стенах висели четыре деревянных унитазных сидения на четырех гвоздях с наколотыми кусками газет для подтирания.

В кухне стояли четыре дощатых стола, пара полок за занавесками над каждым, умывальник с холодной водой, столик с четырьмя керосинками, а позже плита с четырьмя конфорками. Большое окно выходило во двор.

***

Улица Лепик узким сдавленным горлом вытягивается из несвежего воротничка бульвара Клиши. Утром непроспавшееся лицо этого места отливает бледностью. Тусклый взгляд пыльных окон скользит по еще пустынной мостовой, и гримаса головной боли собирает морщинки возле глаз. Сонные витрины стараются укрыться под матерчатыми навесами от яркого утреннего солнца, поднимающегося над холмом Монмартра. К вечеру перекресток, как кожа в мелкой сыпи, расцветает горячим нутром ночных заведений. Возле узких дверных проемов толпится миндалеглазая

швaль, и из-под розовых занавесок, затягивающих вход, видны ноги продавцов в шлепанцах. Вход в Мулен Руж охраняют бойцы в черных костюмах, встречающие автобусы с туристами, желающими поглазеть на место, где Тулуз-Лотрек выхаркивал на бумажные салфетки извивающиеся линии задранных ног танцовщиц и сангинные пятна простыней в дешевых номерах.

Терпкий аромат кофе заставляет часто присаживаться за столики. Беспечные французы, промотав великое наследство, как розовощекий племянник дядюшкино состояние, уступили места за столиками Мулен Руж трудолюбивым гостям.

Свернув с бульвара, улица Лепик петляя карабкается наверх, повинуясь изгибам холма. Маленькие грязноватые гостиницы, кафе, гроздьями висящие вдоль узких тротуаров, и кондитерские лавки почти не изменили облик улицы. Веселая толпа, как течение, нарушившее все законы, несется вверх по склону Монмартра. Там, где улица разрезается надвое, легко не заметить невзрачный дом под номером 54.

Пятно света, напоминает собаку, сбежавшую от хозяина, перепрыгивающую через истертый порог, как бы нюхая асфальт в поисках меченого места. Свет поспешно проскакивает в желтое тепло подъезда, путаясь в ногах невысокого коренастого человека, выходящего из дома.

Неудавшийся проповедник, спустившийся на самое дно угольных ям Боринажа, рисовальщик скудных пейзажей Брабанта и ввинчивающихся в тяжелое небо свечей кипарисов, невнимательный слушатель советов, забывающий надевать шляпу под желтым солнцем Арля, Винсент Ван Гог не спеша идет в ближайшее кафе, садится за столик и заказывает тарелку лукового супа.

Еще раз вильнув, улица стряхивает с себя дешевые блестки. Редкие машины бесшумно вплывают в тишину мягко освещенных дворов особняков – бывших виноделен, борделей и доходных домов.

Тяжело дыша, улица Лепик наконец доползает до вершины холма – маленькой квадратной площади. Как ладонь, стиснутая рукопожатием, площадь теснится, окруженная со всех сторон ресторанами и лавками, в давильне которых снующие официанты с лицами, усыпанными капельками пота, безразлично швыряют чаевые в широкие карманы передников.

***

Вчера булочная Островицкого переехала на противоположенную сторону Avenue J. Ночью пекли хлеб, и утром, когда я проходил мимо открытых дверей пекарни, обдало знакомым запахом домовой кухни в Доме Рабочих.

Кирпичные домишки с кондитерскими, аптеками, ювелирными лавками, двумя-тремя банками, несколькими магазинами, торгующими одеждой и минорами, кафе и забегаловками на первых этажах. Забитая машинами, пакующимися как попало в четверг вечером и в пятницу с утра, оглохшая от сирен и кипящая в водовороте покупателей, спешащих запастись продуктами до захода солнца, Avenue J пустынна в Субботу. Только знаменитая пиццерия Ди Фарро, крошечная комнатушка с несколькими столиками и желтыми, засиженными мухами фотографиями хозяина, открыта всегда. Водители уборочных машин и почтальоны толпятся у стойки, первый и самый верный признак отменной пиццы в Нью-Йорке.

Булочники, торговцы, учителя, парикмахеры, знаменитые компьютерщики, переписчики Торы, аптекари, адвокаты, владельцы ювелирных магазинов на 47 Street, фотографы, врачи, портные, профессора университетов, один прилично одетый инвалид с пластмассовой ногой, немолодая женщина в пуховом оренбургском платке, просящая на углу, возле кафе, где я сижу, раввины и ученики ешив перебрались из местечек моего бывшего отечества поближе к океану.

Последние теплые дни. Закончив с тремя оладьями в круглой миске из блестящей фольги, которые мне принес хозяин, и потягивая совсем неплохой кофе, я глазею на то, что могло было бы быть Клинцами.

Память окрашивает прошлое в нежные тона, но городок, в котором я родился, был местом заштатным, как любой захолустный районный центр за стокилометровой чертой, в какую бы сторону от Москвы ни ехать. Как и положено, была улица Ленина и площадь того же названия, с памятником вождю перед Домом Советов, чем-то средним между Парфеноном и бункером линии Маннергейма. На этой же улице располагались два-три сквера и Городской Сад с танцами по вечерам и обязательным мордобоем между питомцами текстильного техникума и местными. Предметом разборок обычно бывали студентки медицинского училища. Кинотеатр Октябрь в здании бывшей синагоги, библиотека в Доме Советов и краеведческий музей, набитый чучелами обитателей местных лесов, дом пионеров и клуб фабрики Калинина – пожалуй всё.

Жители работали, сильно пили, по субботам ходили в баню и постричься к моему деду и его приятелю Левке в парикмахерскую возле парка имени Щорса. Постройка стекляшки универмага, тянувшаяся десять лет, или пьяная драка, когда какой-то мужик огрел поленом одного из секретарей горсовета, оставались в памяти горожан долгие месяцы. Кавказцев, торговавших на рынке дынями и арбузами, не жаловали, но волю чувствам не давали. Мальчишки стреляли из рогаток металлическими пульками из согнутых кусочков проволоки по воробьям и называли их "жидами".

Все, что я любил, не выходило за пределы четырех стен нашей комнаты в коммуналке, квартиры моих братьев Бориса и Игоря, и старого дома их бабушки Раси. Остальной мир не то чтобы не интересовал меня, но находился в отдалении.

Дом Рабочих представлял собой гигантскую букву П, верхняя перекладина которой с кирпичной аркой подворотни по середине тянулась на несколько сотен метров. Внутри был двор. Недостающую перекладину заменяли несколько рядов сараев, отгородивших двор от города. В сараях жильцы дома держали кур, свиней, мотоциклы, велосипеды, всякую рухлядь, кроликов и нутрий в клетках, поставленных одна на другую, лодки, мотороллеры и несколько старых, латанных-перелатанных «Запорожцев». Когда-то за сараями стояла будка общественного туалета – дощатый помост с рядом дыр. Доски стенок рассохлись, и мальчишки, да и взрослые парни, прилипали к щелям женской половины. Но в 70-х в коммуналках уже были уборные. Будку не снесли, но заколотили. Так, на всяких случай.

На нашей стороне двора были клумбы, четыре дощатых стола, лавки и футбольная площадка. За забо-

ром, на другой стороне булыжной улицы между деревянных домов торчал сарай, в котором дед Вовки Казаневича, худой высокий старик Казаневич, заведовал приемом стеклотары. Попросту принимал у алкашей пустые бутылки. Казаневич и его жена воспитывали Вовку, мать которого, их дочь, вышла замуж второй раз и завела новую семью. Дед Вовки всегда был чисто выбрит, носил светлый чесучовый пиджак и бутылки принимал в длинном переднике и нарукавниках, как бухгалтер.

На другой части двора, ближе к сараям, стоял кирпичный домишко без окон, всегда запертый. Возле него лежали длинные бревна для столбов и гора угля для котельной. Летом по субботам привозили кино – стрекочущий проектор с вечно рвущейся пленкой и куском белого полотна. Но на "ту" сторону мы старались без нужды не забредать, особенно вечером. Эта была чужая территория и могли навалять.

Когда-то на клумбах росли цветы – ромашки и душистый табак, лавки подправлялись, двор был засажен травой. К моему последнему лету в Клинцах клумбы превратились в земляные бугры. Траву вытоптали, и весь двор покрывал сухой серый песок, набивавшийся в туфли.

В подвале плотничал "худой" мужик Иван. Когда Иван напивался, то выползал из подвала и шатался по двору, прося 'пять' копеек на бутылку. Женщины гнали его от лавочек. Если Ивану не давали, он ругался "жиды проклятые". Так он мотался, пока сын не уводил его. Иван, как и Володька, после запоев иногда приходил к деду и хрипел: "Львович, трубы горят...рубель... " Дед давал. Бабушка ругала деда. Но Иван продолжал приходить пока не помер в своем подвале.

За столами мужики, громко матерясь, резались в карты и домино. Мне было строго наказано не подходить к столам. Иногда за столом появлялся Шурик, высокий рыжий парень. Шурик играл в шашки. Играл хорошо, даже не очень трезвый. Я с ним садился за доску всего пару раз. С мелюзгой он не играл. Я никогда не мог просчитать несколько ходов вперед. Двигал деревянные кругляки по истертой картонке "доски" как попало. Шурик сплевывал под стол и ворчал: "Вот с братом твоим..." Мой старший брат был очень умным ребенком. Я и сейчас с трудом считаю сдачу с доллара, а брат – доктор наук, профессор. Так вот с моим братом Леней Шурик играл серьезно, на равных. Отцом Шурика был немецкий солдат. Но говорить об этом в лицо Шурику побаивались. Парень он был здоровый. Как-то он погнался по двору за одним мужиком. Меня сразу увели. Но, когда мой брат играл с Шуриком, бабушка не волновалась.

Еще в шашки играл Нема. Он был немой. Нема сильно нервничал, когда проигрывал. Махал руками, громко мычал и бросал кепку на землю.

Дочкой немецкого солдата была Зойка. Она жила с матерью и маленьким сыном в нашем подъезде, на третьем этаже. Гитлеровцы стояли в городе почти четыре года с первых дней войны. Зойкина мать получила срок "за сотрудничество с оккупационными войсками". Женщина она была забитая, неграмотная. Какое там сотрудничество. За кусок хлеба. Зойка была психически ненормальная девушка. Таким же был и ее сын.

В нашем подъезде, под лестницей, у бабушки был подвал. В подвале держали картошку и старые ненужные вещи. Однажды спустившись за картошкой я нашел связку пыльных журналов. В одном из номеров были напечатаны два пейзажа Ван Гога, «Виноградники в Арле» и «Лодки».

Еще в Москве мама приносила номера журнала «Огонек». В «Огоньке» печатали цветные вкладки с картинами европейских художников. Почти всегда это были безобидные классические пейзажи. Лет с четырнадцати я стал более-менее регулярно бывать в Пушкинском музее. Многие картинки из журнала оказались мне знакомы по остаткам коллекций Морозова и Щукина. Альбомов европейского искусства было мало, и были они дороги. Я стал вырезать репродукции из «Огонька». Через некоторое время у меня скопилась толстая папка с картинками.

***

Чистенькая улочка, с нанизанными на нитку голубого асфальта ресторанами и кондитерскими, сделав кульбит, обернулась широким проспектом, заставленным казармами гвардейцев и стойлами гвардейских лошадей. Солнце палило нещадно. Прячась в тени казарменных стен, затянутых золотой сеткой переплетенных ветвей, мы вышли к высокой чугунной решетке. Пыльный проспект улегся в горячем песке у ворот. От ограды начиналась раскаленная жаровня плаца, с бронзовым императором на коне, в недоумении застывшим среди пустоты мраморного поля. Отстояв очередь за билетами, мы укрылись под сводами дворца.

Только художнику в глухоте мастерской и монарху с его неограниченной властью могла прийти идея посадить, взрастить и потом подстричь тысячи деревьев, завещав эту процедуру последующим поколениям. Каналы, соединяющие моря, усыпальницы до небес, подстриженные леса, стены, опоясывающие страны, – все это имело своих художников. Ужас правителя перед собственным неизбежным исчезновением сродни паническому чувству бессилия художника остановить время, безжалостно стирающее как самого художника, так и его творения. Родовой страх культуры перед произволом времени.

Правитель, обуреваемый страхом перед вечностью, сгоняет народы обжигать кирпичи и вырубать глыбы мрамора, точно так же, как художник, примеривая титул Творца, сталкивается с сознанием собственного бессилия. Но дерзновенная мысль не желает смириться, вынашивает планы создания новой реальности, равной созданному природой.

Воля Петра задумала город на балтийских болотах и фасады дворцов Растрелли. Или Флоренция, отстроенная под жестоким прищуром клана Медичи. Или парящий над городом купол Брунелески. Лоренцо Великолепный, швыряющий туго набитый кошелек каменотесам Каррары. И работа Микеланжелло над усыпальницей Князя Флоренции длиною в жизнь. Луи XIV, взгляд которого беспрепятственно скользил по пустынным пространствам парков Версаля – своей воплощенной мечте И хрупкая бесполезность, беззащитность аллей Андре Ле Нотре.

Как бы тщеславны ни были замыслы монархов и художников, ими подспудно двигает желание противостоять времени. И только искусству оказывается это под силу.

Фиолетовая туча надвигалась со стороны города. Окна дворца, разрезанные тенью по диагонали. Ряд гвардейцев – синее сукно из-под горящей меди кирасы – вытянулись вдоль фасада. Фонтан рассыпал осколки хрусталя по темно-синему покрывалу дрожащей воды с вышитыми золотом лилиями.

Версаль – хрупкая шкатулка с драгоценностями, преподнесенная ненасытному истукану Времени, покоился на зеленом атласе газонов, испещренных тонким узором лабиринтов.

Забытое мраморное ожерелье Трианона на голубой ленте Канала.

Гипсовые свечи скульптур в нишах аллей.

Хрустальная огранка Малого Трианона, любимой игрушки Марии-Антуанетты.

***

Лучший вид на любой город – из окна музея. Так было в Эрмитаже, есть в Метрополитене, так оказалось в Лувре и Орсе.

Лувр – вечный чулан глухих мастерских.

Средних лет женщина обращается ко мне на родном языке. "Извините. Все наши уже посмотрели Джаконду, а я не могу найти." В голосе слезы. Показываю – бежит. Ася говорила, что мой холщовый пиджак носят все модные мужчины в Париже. Видать не скроешь.

Залы, как вертящиеся двери, сменяют друг друга.

Умелый царедворец Рубенс. Его мясные лавки навечно вмонтированы в стены Лувра. Ле Брун разматывает километры холста с бледными фигурами героев, приклеенными к жухлой поверхности земли и мутных небес. Нескончаемые рощи Пуссена с застоявшимся воздухом и несвежей водой в ручьях. Почерневшие клеенки Давида, как доспехи завоевателя, которые забыл начистить денщик.

И вдруг, среди пыльных полотен – чистой радужной пленкой, обволакивающей живую, горячую каплю на конце трубки стеклодува – холсты Вермеера Дельфского. Звенят тишиной интерьеры Де Витте. Горстка угольев – натюрморты Шардена. Возле них можно греть озябшие ладони. Серебряными каплями дождя светятся картинки Ватто. Усыпанная зернами граната мантия Венецианского дожа – празднества Каналетто. Желтым воском оплывают лица. Черные свечи фигур Похорон в Арнане. В старом золоте рам светятся голубые кусочки смальты огородника Сезанна. Пронзительная лазурь Дега и бретонские пасторали Гогена. Топленое молоко интерьеров Боннара и королевская роскошь лилий Клода Моне.

В конце анфилады итальянской живописи глубокая ниша возле окна, обращенного во внутренний двор. В глубине зала сидение коричневого бархата между темными деревянными панелями. Из окна видно начало сада Тюильри. Бронзовыми рыбами на изумрудном дне застыли обнаженные Майоля.

Мой взгляд, хлебнув утренней прохлады Парижа, обогнул выступ стеклянного купола Орсе. Набережная Вольтера – дорожный сундук с книжками и картинками бродячего торговца. Мост Карусель приторочен к спине Сены. На мгновение, задержавшись в подворотне Ришелье и улыбнувшись эху, отлетевшему от высокого свода, взгляд – шар в лузу, посланный острием кия Сан-Шапелл – проскользнув в тени аллей Плейс Роял. Потом легко взобрался по брабантскому кружеву балконных решеток на стиральную доску красных черепичных крыш. Присев вместе со мной на корточки, как в юности у выхлопной трубы рассыпающегося трескучей дробью мотоцикла "Урал", втянув терпкий аромат размолотых кофейных зерен, взгляд спрыгивает на еще мокрый утренний асфальт улицы Лепик. Прохожих мало. В темной прохладе кафе, пахнущим старым деревом, истертым бархатом диванов и свежим хлебом, золотыми слитками лежащими на прилавке, поблескивают умытые стекла рюмок, и молочной белизной светится дешевый фаянс чашек. В Сакре-Кер звонит колокол. Партер тротуара заполняется рядами столиков, и первые посетители занимают места.

Август 2005 – Февраль2006

ЮРИЙ ОРЛОВ

"АМЕРИКА..."

Редко в нашем общежитии бывает тихо. Между вторым и третьим этажами мужской половины "общаги" играют дети. Две девчонки и двое мальчишек. Всем по три-четыре года от роду. У одной из девочек папа в "общаге" приторговывает водкой. Она одета в яркий дорогой костюмчик. У другой девчонки папы никогда не было, были только мамины поклонники, а сама мама пьёт горькую, покупая её у папы своей подружки. Одеждой и грязной рожицей девочка похожа на Гавроша. Сандалии развалились, через дырки платьица видна несвежая маечка. Всё её богатство покоится в маленьком карманчике. Это два фантика от конфет и пустая пачка сигарет "Кент".

Мальчишка, стоящий рядом с барышнями, очевидно, более состоятелен. Он ест шоколадную конфету "Марс". Пальцы крепко держат чёрную обёртку, а зубы грызут хрустящую сладость. Его родителей я не знаю.

За поеданием этой сладкой радости жадно наблюдает последний герой моего рассказа. Уж его-то и его мамку я знаю превосходно. Последний – это слабоумный, не имеющий отца, но имеющий наркоманку мать, парнишка. На обе руки у него четыре пальца. Он часто приходил ко мне в гости, прося яблоко, конфету или пряник. Чумная мама вытягивала его из моей конуры, как пьяный плотник вытаскивает занозу из больного пальца. Мальчик плакал. Мамка истерично материлась.

– В Америке всё есть, – важно говорит жующий шоколад. – У каждого есть машина. Все пьют "Пепси" и едят "Марс".

– А "Сникерс"? – проглотив слюну, спросила девочка-гаврош.

– Да в Америке этого "Сникерса"! Хоть лопатой греби! – отвечает ей девочка-яркий костюмчик.

– А "Твикс"? – Гаврош смотрит на своих друзей как на императоров.

– Да хоть заешься! – хором отвечают ей "Марс" и "костюмчик".

– Мы с Гришкой уедем в Америку, – солидно признаётся яркий "костюмчик".

Гришка, наверное, уплетает шоколад, – думаю я.

– Там я выйду замуж за миллионера, – продолжает маленькая "эмигрантка". – У меня будет вот такой миллион! – её ручки описывают круг. – У меня будет вилла!

– А я куплю машину "Форд" или "Ягуар"! И зажигалку себе куплю, – мечтает Гришка.

– А меня возьмёте? – возбуждённо спрашивает их Гаврош.

– Возьмём... Возьмём... – по-барски отвечают мечтатели.

Гришка бросает на пол обёртку от шоколада, облизывает пальцы.

– А я ... в Америке... куплю маме ... конфет шоколадных... – захлёбываясь от предстоящего изобилия, сообщает маленькая оборванка. – И... ещё, ещё... папу привезу...

– А Сашку берём? – спрашивает она два своих божества.

– Не-ет. Он на всех плюётся и ещё кусается, – отвечает Бог.

– А в голове у него конопля растёт. Так моя мама говорит, – вторит ему Богиня.

Маленький Сашка уродливой ручонкой берёт с грязного пола обёртку "Марс". Нюхает её.

Америкой пахнет, – думает он. Понюхав, он долизывает остатки пиршества.

– Вкусная эта... Америка, – заключает он вслух.

– А мы тебя не возьмём! Не возьмём! Не возьмём! – в три голоса кричат в его уши дети.

– Я тоже хочу! Хо-чу-у-у! В Америку! – орёт маленький инвалид.

Я молча прохожу мимо детской трагедии.

– Юра, ты куда? – спрашивает меня на улице знакомая девушка.

– В Америку! – отвечаю ей. – Тьфу! Тьфу! За хлебом!

МАРК РОССТАННЫЙ

НЕЗНАКОМКА

Береджер сидел за маленьким круглым столиком в ресторанчике «Чико» в нижнем Манхэттене и потягивал «Блек Лэйбл». Было около двух часов после полудня, май выдался жарким, а в полуподвальном помещении «Чико» стояла ублажающая прохлада – под потолком работал большой промышленный вентилятор производства компании «Дженерал Электрик», недавнее приобретение и гордость хозяина заведения – мистера Розенбойма. Вентилятор обходился дорого, поскольку потреблял очень много энергии, но Розенбойму приятно было, по его собственному выражению, «заниматься филантропией», поэтому в жаркое время даже днем его не выключали – если, конечно, в зале были посетители.

Впрочем, по будням – а сегодня был вторник – в «Чико» почти никогда не бывало людей. Изредка заглядывал какой-нибудь брокер по торговле недвижимостью или страховой агент – в необходимости «пересидеть» время «от клиента до клиента». Правда, один раз сюда зашел знаменитый актер и комик Боб Хоуп, и даже позволил случайно оказавшемуся в это время в бизнесе Розенбойму сделать совместную фотографию, которая висела теперь на стене над барной стойкой, рядом с разрешением на торговлю спиртным.

Береджер посмотрел на себя и окружавшее его пространство со стороны. «Какая пошлость!» – тихо чертыхнулся он сам себе на родном языке и испугался этого. Пронзительным взглядом из-под высокой аккуратной челки он огляделся вокруг и убедился, что рядом никого не было. Только находившийся за стойкой бармен Мартин – приятель Береджера с еще довоенных времен мирно протирал белою мягкой тряпкой стаканы. Береджер еле заметно покачал сам себе головой.

Внезапно, со ступеней полукруглой, витой лестницы раздались шаги.

«Чего-то рано сегодня!», – подумал Береджер, – «мы же на три договорились!». Ему вдруг почудилось что-то далекое, серое и бездонное, и стало тревожно, очень тревожно. Договаривались на три. Тогда – почему раньше? Береджер взглянул на большие золотые часы «Эникар» с черными стрелками, римским циферблатом и секундным кругом на месте «шестерки». Почти, на целый час раньше...

Впрочем, уже через мгновение все улеглось – он увидел мягко касающиеся ступеней женские ноги в белых чулках и светлых туфлях-«лодочках». Незнакомка, распространяя легкий запах духов, прошла к барной стойке и заказала себе то, что и положено заказывать приличной и независимой молодой женщине – «Малибу Бэй Бриз». Она сидела спиной к Береджеру, но он мог видеть всю ее фигуру и даже часть лица. Часть оттого, что оно, большей своей половиной было прикрыто свисавшей из-под шляпки вуалью.

Береджер поневоле стал рассматривать эту женщину и размышлять о ней. Скорее всего, какая-нибудь начинающая актрисочка, может пришла из той самой студии, что и Боб Хоуп. Или... Да, нет, ну какая машинистка днем в бар пойдет? А... может и не машинистка?

Девица, тем временем, открыла усыпанный блестками большой ридикюль и достала оттуда пачку фотографий. Береджер вытянул шею. Не было сомнений, на фотографиях была изображена она сама. В основном – лицо, с разными прическами, но было и несколько отпечатков в полный рост и «по пояс». Береджер неторопливо разглядывал каждый снимок вместе с девушкой, глядя сбоку и из-под ее руки – как уже говорилось раньше, он сидел сзади и несколько левее от нее.

Сам того не желая, Береджер стал думать о ней. И о том, что жизнь его сложилась совсем не так, как он этого хотел. О том, что желание ощущать себя героем, которое присутствовало у него лет двадцать тому назад, когда судьба его только начиналась, безвозвратно ушло. И даже – он никогда бы не высказал подобное вслух – нет! – опротивело ему его нынешнее неприкаянное состояние. А появилась желание своего дома, теплой накрахмаленной подушки и, конечно же, – хозяйки в доме. Женщины с тонкой фигурой, с волосами, пахнущими летом. Она могла быть... – какой? Конечно, такой вот, как эта девушка у бара.

Незнакомка тем временем продолжала сидеть к нему спиной, точнее в пол-оборота. Она заложила одну ногу на другую и приоткрыла колено. Затем наклонила голову в сторону Береджера, пару секунд разглядывала его и опять повернулась к бару.

Береджер посчитал, и совершенно справедливо, что обращенное на него внимание – естественное положение вещей в ситуации, когда в замкнутом пространстве находятся лишь два человека – Мартин ни в счет. В то же время у него появилось желание загово-

рить с ней. Он стал обдумать первую фразу – какую-нибудь незамысловатую и остроумную.

На ступенях вновь раздались шаги. Береджер опять несколько насторожился, но вновь с облегчением выдохнул – в «Чико» вошел высокий блондин в широком летнем светлом костюме, голубой сорочке без галстука и коричневых туфлях. Оглядевшись, он направился к стойке и присел рядом с женщиной – их разделяло лишь два барных стула. Было очевидно, что через минуту-другую он попробует с ней познакомится.

Береджер решил действовать. Взяв недопитый «Блэк Лейбл», он подсел к стойке и спросил:

– Вы где-то рядом работаете? Я раньше вас здесь не встречал...

Незнакомка улыбнулась.

- Да, нет, я здесь случайно. Меня подруга – она живет за углом, позвала в гости, я приехала, а она выскочила куда-то, записку оставила, что будет позже.

Женщина улыбнулась и, как бы невзначай, глянула на Береджера. Тот расценил это, как приглашение к разговору.

– Береджер, – сказал он. – Скотт Береджер. Страховой агент.

– Синтия, – она не назвала свою фамилию.

Сидевший с Синтией и Береджером на одной «оси» высокий блондин – по веснушкам на лице Береджер пришел к выводу, что он – ирландец, бросил в их сторону ревнивый взгляд и отвернулся.

– А чем вы занимаетесь?

– Я – актриса. Начинающая. Я уже сыграла две роли, правда, совсем маленькие, но вот сейчас... Может, скоро все изменится... – она загадочно улыбнулась сама себе.

Береджер припомнил фотографии и сразу все понял. Кто она. Чем занимается. Чем зарабатывает на жизнь. Что, впрочем, совсем не изменило его намерений. Нет.

– Ну, а кроме? Кроме театра?

– Кино, – с улыбкой поправила его Синтия.

– А кроме кино?

– Зарабатываю, как могу – родители помогают тоже. Они – в Огайо.

– В каком городе?

– В Кливленде, – на секунду замешкавшись, ответила Синтия, – точнее, в Вестерфилде, это – пригород.

Блондин бросил взгляд одновременно и на Береджера, и на Синтию, и недовольно отвернулся. Береджер на миг подумал, что следовало бы более внимательно присмотреться к незнакомцу, но блондин уже показал ему свой затылок, а Синтия легко улыбнулась, и окончательно отвлекла его внимание.

– Если вы желаете..., – она посмотрела прямо на Береджера, – я могу вам показать свое портфолио...

– Это – то, которое вы перелистовали?

– Нет... другое...

Береджер кивнул. В голове его все окончательно помутилось, он даже подумал, что бог с ней, со встречей, объяснит потом что-нибудь...

Часы показывали половину третьего. В «Чико» возникли двое мужчин средних лет, высоких, крепкого телосложения. Они сели в углу. Мартин подошел к ним и принял заказ.

Береджер не обратил внимания на то, что впервые за последние пару лет он видит в «Чико» столько людей днем, и что это – как-то необычно. Все пространство его мозга сузилось до одной мысли.

– Да... портфолио, – выдохнув, легко вымолвил он.

– Оно, как раз у моей подруги. У той, что дома нет. Но у меня есть ключи.

– Хорошо, – согласился Береджер.

Уже спустя годы он, вспоминая этот день, сам себе недовольно покачивал головой и иронически цокал языком. «Бес попутал!.. Да нет, не бес», – спорил он сам с собой. Просто долгое отсутствие женщины – нет, не как физического объекта, эта проблема, слава богу, давно решена, а как некоего подобия эмоциональной бухты, куда следует порой зайти кораблю мужских страстей, дабы пережить бурю, так вот долгое отсутствие и присутствие, наконец, женщины разогрели мозги Береджера до неработоспособного состояния, что не случалось с ним на протяжении последних лет десяти.

– Ну, пошли? – Синтия приподнялась с барного стула.

– Да... а, сколько?..

– Двадцать пять. За все. И я обещаю, что не буду смотреть на часы... – она обнажила ровные мелкие зубки в очаровательной улыбке.

– Я сейчас, – независимо и с пониманием кивнул Береджер. – Мартин, можно тебя?

– Да, сэр, – ответил тот, – иду!

Однако, прежде чем Мартин успел подойти к Береджеру, в зале появился Зингер – раньше, на целых двадцать минут. Он сел вблизи двух мужчин, пришедших десятью минутами раньше.

– Вам надо подождать меня, – с досадой обратился Береджер к Синтии, – недолго, может с четверть часа... Ладно?

Синтия кивнула.

Он взял с барной стойки стакан, в котором на самом дне еще оставалось несколько унций спиртного, и подошел к Зингеру. Тот отодвинул рукою стул от стола, приглашая Береджера сесть.

– Что-то случилось? – спросил тот, – что так рано?

– Здравствуйте, – весело ответил тот, – я гляжу, вы неплохо проводите время...

Береджер познакомился с Зингером перед самой войной. Говорили, что еще с десяток лет назад, в разгар «сухого закона», тот успешно лавировал между гангстерами, оказывая им мелкие услуги и добывая информацию. Потом, когда его прихватила полиция, он стал сотрудничать с властями. И даже умудрился обойти по служебной лестнице некоторых своих благодетелей.

– Так, почему так рано? – переспросил Береджер.

– Паром. Раньше времени пришел.

– То, что паром раньше времени – это хорошо. А то, что вы – плохо.

– Ну, извините, – промолвил Зингер.

– Вы принесли?

– Принес, принес, – Зингер полез в боковой карман пиджака, вынул оттуда небольшой конверт и протянул его Береджеру.

– Что здесь?

– Все, – вполголоса сказал Зингер. – Весь список. С адресами. Все, кто работает над проблемой.

– Отлично. Как Вам это удалось? – строго спросил Береджер.

– Связи, связи, – Зингер снова широко улыбнулся.

– Хорошо. Это – вам, – Береджер положил на стол пакет.

– Сколько здесь?

– Сколько – договаривались. Две тысячи.

– Отлично, – Зингер просто расплылся в улыбке.

– Что это вы все время улыбаетесь?

– Да очень смешно... У вас на пиджаке нитка... сзади. – Зингер показал указательным пальцем правой руки за спину Береджера. – Давайте, сниму!

Не дожидаясь ответа, он приподнялся и положил ладони на лацканы пиджака Береджера, а затем, резко вывернул их наизнанку и опустил за спинку стула, прижав его руки к туловищу.

Береджер понял, что провалился. Что его предчувствия относительно Зингера, да и не только они, – были верны. И что, все эти люди в баре, где никогда живой души не встретишь – конечно же не случайность. И если бы он вел себя так как следует и был собран, может у него был бы шанс уйти. Хотя, вряд ли...

Тем временем, один из двух мужчин, которые зашли в «Чико» прямо перед Зингером, застегнул наручники за спиной Береджера.

– Мистер Береджер! – сказал второй, – вы арестованы по обвинению в шпионаже!

Он поднял глаза и увидел обернувшихся ирландца и Синтию – они уже выходили. Синтия бросила на Береджера томный извиняющий взгляд, но ее поторопил новый спутник, и они скрылись на лестнице.

Спустя 36 лет, в мае 1994 года, Береджер, а на самом деле – генерал-лейтенант в отставке Павел Федорович Кроткий, вспомнил эту женщину. Вернее, в предчувствие недоброго, вспомнил он всю свою жизнь – отчима и порку ремнем, выпускную ночь, разведшколу и преподавателя английского майора Моисея Визинберга – его потом расстреляли, наконец, допросы в Вашингтоне и Лэнгли, боязнь электрического стула, потом – обмен на какого-то профессора-ядерщика, который, как выяснилось позже, тоже был двойным агентом, потом допросы в Москве, и угрозы, и удары по голове увесистыми томами уголовного кодекса и «Капитала» – и это было хуже, чем в Лэнгли, потом – лагерь в Коми, где его чуть было не изнасиловали – спасло лишь чудо, потом вдруг тихая сытая мирная чистая жизнь и преподавание в МГИМО, потом почему-то встреча с президентом Горбачевым... А потом, эта женщина... Синтия... На ней его память остановилась, и весь тот калейдоскоп картинок, за каждой из которых стояло нечто большое и осязаемое, исчез в никуда.

Случилось это за несколько часов до его смерти, на веранде казенной дачи в Подмосковье, где он жил все последние годы, несмотря на наличие квартиры в Москве. Павел Федорович лежал на старомодной кровати, из-под серой простыни виднелся полосатый матрас. Какой-то странный шлейф заполонил внезапно веранду – должно быть мимо распахнутого окна, расточая запах духов, прошла Яна – внучка соседа, бывшего члена Политбюро Коромыки. И тогда ему и припомнилась та незнакомка, и стало на душе отчего-то страшно тоскливо.

Он только не припомнил одну деталь – в тот вечер у него не хватало денег. Он уж совсем было собрался занять четвертной у Мартина, да какой-то шустрый соломоволосый ирландец увел ее первым.

19 октября 2003 г. Нью-Йорк.

МАРК АЗОВ

ГЮРЗА

Старшина нашел у меня под подушкой Анатоля Франса. Под подушкой, вообще, не положено ничего держать. И если бы старшина нашел там сухарь или обмылок, даже письмо из дому, я получил бы наряд вне очереди, драил бы кафельный пол в коридоре после отбоя, когда все спят. Но Анатоль Франс совсем другое дело, Анатоль Франс открывает старшине необозримый и ничем не ограниченный простор для утверждения своего превосходства над всем окружающим миром.

Он пришел на занятия сияющий, как начищенный сапог, книгу нес торжественно перед грудью, как полковое знамя.

– Ну-ка, Анатоль Франс разбери и собери затвор, а мы засечем время.

За то время, пока я собирал тот проклятый затвор, можно было прочесть всего Анатоля Франса.

Но не понадобилось. В течение трех секунд ко мне навечно приклеилось прозвище – Анатоль Франс.

– Анатоль Франс, два шага вперед! Будешь выполнять команды, а мы посмотрим. Смирр-рно! Напррраво ррравняйсь!.. Что у тебя с головой?

– С головой все в порядке, товарищ старшина! А у вас?

– Отставить разговорчики! Где у тебя правое ухо?

– Справа, товарищ старшина! А что, должно быть слева?

– Умный нашелся, Анатоль Франс. По команде «равняйсь» правое ухо должно быть выше левого. Не знаешь, а еще Анатоль Франс. Учишь вас, учишь...

Думаю некоторые из моих товарищей, если уцелели в войне, при звуках этого имени мигом вспоминали:

– А как же? Знаем! Анатоль Франс! Мы с ним служили в одной роте. Большого ума человек. Никто по команде шагом марш не начинал движения с левой ноги. А ему хоть кол на голове теши. Зато никого столько не гоняли бегом и по-пластунски, сколько этого Анатоля Франса.

Так вот, ребята. Навыки собирать затвор допотопной трехлинейки, хождения с левой ноги и даже держания правого уха выше левого, на фронте как-то вроде и не понадобились. А вот ползанье по-пластунски стало даже не средством передвижения, а образом жизни.

«Мы пол Европы по-пластунски пропахали» – из песни слова не выкинешь.

Я видел войну сквозь сетку травы, беззащитная земляника на ниточке стебелька висела у рта моего, и я боялся пошевелить губами... А больше было голой земли, ржавой «колючки» над головой, снега, смешанного с кровью и соляркой...

...Но все это предстояло там, в цивилизованной Европе, а здесь была Азия. В промежутках между приступами тропической малярии, кровавым поносом и гарнизонной гауптвахтой я ползал, как серо-зеленый варан по предгорной равнине на краю пустыни Каракум, и поднимая голову, мог увидеть на горизонте Туркмено-Хоросанские горы – великий и ужасный Копетдаг.

Но головы поднимать не хотелось, потому что в спину, между лопатками, где поседела от соли гимна-

стерка, скалился желтый зверь с огнедышащей пастью – ашхабадское солнце. И, ей богу не вру, мне казалось, оно рычало, пожирая мое иссохшее существо.

Я стал плоским, втиснутым в серый прах, среди иссохшей травы, верблюжьего помета и редких скелетов саксаула. Земля, по которой я полз, была, как засохший сыр в дырках просверленных мышами, тарантулами, землеройками. Скорпионов я уже и не замечал, и даже о змеях не думал. Хотя мне говорили не раз:

– Опасайся гюрзы. Гюрзы боятся даже змееловы. Гюрза способна прокусить себе нижнюю челюсть, лишь бы вонзить ядовитый зуб в руку человека. А от яда гюрзы кровь останавливается в теле…

Но кто кого боялся больше? Вся живность, которой кишела эта дырчатая земля, шарахалась от меня, потому что во всем Ахалском оазисе не было других таких больших ящериц, как мы, ползающие солдаты.

Интересно: думал ли Господь Бог, создавая человека, что станет венец его творения «гадом, ползающим по земле»?

Нет, кое в чем Создатель не прошиб: вечен лишь Он один, остальное кончается когда-нибудь. Наши гонители сами уставали лютовать, и даже солнце к концу дня сваливалось за Саандак, ближайший хребет Копетдага. И тогда начиналось пиршество света. Горы загорались изнутри, будто вставили в них лампочку, и, вместо гор, на краю неба теплились малахитовые ночники. Цвета светящихся громад менялись, как будто там угасает костер: багровые угли начинают подергиваться сиреневым пеплом, между ними проскакивают язычки зеленого пламени – сгорает последнее облачко в небе, фиолетовая ночь окружает нас, и вся земля становится косточкой внутри черной вишни…

Через несколько лет, то есть через вечность, отделяющую жизнь от смерти, в Москве открыли музей Николая Рериха, все увидели светящиеся горы, и экскурсовод сказал:

– Это сказочный взгляд художника.

Бред. Ничего сказочного. Святая правда.

К тому времени, когда загорались горы, наши кости, оторванные от остывающей жаровни поля, мы могли уже перегрузить на солдатские койки.

Портянки, вынутые из английских ботинок «улыбка Черчилля» можно было выстроить стоймя у двери – солдатский пот превращал их в соляные столбы.

И однажды, я так натер ноги, что старшина «через не хочу» направил меня в санчасть.

И вот тогда это произошло.

Я хромал мимо низенького дувала, за которым виднелись зеленые кудряшки виноградника. Дувал, сложенный из саманных кирпичей, помесь глины с навозом, во многих местах осыпался – заходи, пожалуйста, спелые ягодки – «дамские пальчики» манят тебя, дурака: ешь-не хочу, виноградник ничей, колхозный.

У меня кружилось голова от солнца, пот стекал на лицо из-под пилотки, а грозди были наполнены влагой, влага светилась сквозь кожуру каждой ягоды, прильнувшей к сестре своей, такой же соблазнительно прекрасной.

Я протянул руку, мои пальцы уже обнимали гроздь, бережно, чтобы ни одна ягодка не упала, и вдруг обмер, словно во мне остановилась кровь… Два глаза смотрели мне в душу из виноградной листвы, два осторожных глаза с вертикальными прорезями зрачков. Почудилось на мгновенье – глаза эти выросли у лозы, обвивающей подпорку. Но, чего я уж никак не ожидал – не лоза оказалась с глазами, а голова змеи, скуластая с раскосым прищуром азиата, смотрела на меня, свесившись с ветки. Гюрза, она самая! Вот где довелось встретиться… Вернее, самец гюрзы, он был мощней и толще лозы виноградной, и длиной, когда сполз, метра полтора не меньше, в чешуйчатом панцире цвета серозема и боевой бурой раскраски. Но рассмотреть эту линию смерти во всей красе ее мне еще предстояло…

Говорят, удав гипнотизирует кролика. Мура! Просто кролик еще надеется: если сделать вид, что тебя нет, удав не бросится. Вот и я застыл, как в детстве по команде «замри».

– Не смущайся, – прошелестела гюрза, – присаживайся, в ногах правды нет.

Что она знает про ноги? У змей их нет.

Я сел покорно на остатки дувала.

Можешь переобуться, – разрешила змея.

Я и сам понял, что не ступлю и шага, пока не перемотаю портянки.

– Довести свои ноги до такого состояния может только начитанный мальчик, – сказала она. – Жаль лишь, что вы, теперешние, не читаете Библии.

– Кто вам сказал, что я не читал?

– О! В таком случае, разговор становится интересным. Тебе наша встреча ни о чем не напоминает?

Я вспомнил, где видел такую картинку. С дерева свешивается Змей, под деревом голая дама.

– Так это были вы?!

– Положим, тогда у меня были ноги, и не было необходимости лазать по деревьям. Это сейчас я охочусь на птичек. Воробушки повадились расклевывать виноград. Нехорошо. Их надо кушать за это, воробушков.

Выходит, змей охотился на воробьев, затаившись среди зеленых звезд виноградных листьев. И, хотя он разговаривал со мной гораздо приветливей сержантов, старшины и даже офицеров, я предпочел предпринять отступление за дувал…

– Пос-с-стой, – просвистело мне вслед. – Давай побеседуем всласть, как пресмыкающийся с пресмыкающимся.

Мой собеседник стал сползать на землю, освобождая виноградную лозу от своих холодных объятий.

– Бог с ними, с воробушками, пусть еще попрыгают… А ты скажи, кто, по-вашему, первый человек на Земле?

– Товарищ Сталин, Верховный Главнокомандующий...

– Не морочь мне голову, я тебе не старшина. Отвечай не по уставу, а по Библии. Кто венец творения?

– Адам.

– Дался вам этот ваш Адам. Кого не спросишь Адам. Сколько я уже перекусал таких умников!

– Там так написано, я не виноват. Но, может, вы подскажете, вам виднее?

– Подсказывать нехорошо. Учить надо. Сказано в писании: «Змей был мудрее всех зверей». Утром шестого дня творения, когда Адама еще и в помине не было, я уже ходил на двух ногах и умел говорить, чего другие звери не умели. Короче, я был тогда венцом творения. – Змей вдруг ударил в меня лучом из вертикальных прорезей глазниц. – Утро мира, ах, какое оно было это утро мира! Горы, тогда еще мягкие и горячие, сияли остывая, и твердели под солнцем , пока Бог вертел Землю на гончарном круге.

– Говорят, она до сих пор еще вертится.

– Возможно. А воздух можно было пить из небесной чаши. Все зверьки и звери стояли столбиками, дыша утренним, сладким воздухом., и никто не отравлял нам питье, ни один дымок, пока не было человека – «И увидел Бог, что это хорошо» – записано в Книге Книг , и тут бы Ему остановиться: от добра добра не ищут, – а Он: «Создадим человека по образу и подобию нашему»... Взял и все испортил. Он создал их мужчиной и женщиной, но это были довольно бессмысленные существа, если разобраться, «они были оба наги, Адам и жена его, и не замечали наготы своей». Не заметили, что на них нет штанов. Чем они, в таком случае отличались от животных?

Змей разлегся пожарным рукавом в винограднике и продолжал разглагольствовать.

– Ничего, что ты со мной на вы, а я с тобой на «ты», мой мальчик? Все же я старше на пять тысяч семьсот с хвостиком. Я, можно сказать, живой свидетель зари человечества. Все было так, как написано: «...посадил Господь Бог сад в Эйдане с востока, и поселил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и годное в пищу. И заповедал Бог человеку, сказав: «от всякого дерева сада ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь»... Я правильно излагаю?

– Вам виднее...

– А теперь вопрос на засыпку: зачем сажать в раю ядовитые деревья?

– Вы спрашиваете у меня?

– А что, в вашей роте есть еще один такой скептик, Анатоль Франс в обмотках?

– Я бы спросил, а вся рота – нет.

– И тебя бы заставили ползать по-пластунски «от забора до обеда» за разговорчики в строю. И меня Господь Бог вот уж пять тысяч семьсот лет гоняет ползком по-пластунски за то, что я шепнул бабе: «Ешь, дура, ничего с тобою не сделается». Он сказал: «:Проклят будешь! На чреве твоем будешь ползать, вражду положу между тобою и женою, и между потомством твоим и потомством ее: она будет разить тебя в голову, а ты будешь язвить ее в пяту".

– А как вы узнали, что плоды не ядовитые?

– Попробовал.

– И не побоялись умереть?

– Что я, дурак? Я подобрал одно червивое, которое уже валялось на земле. Если червь не сдох, так чем я хуже червя?

И, правда, гюрзу с червем не спутаешь никак. У червя ни головы, ни глаз А у этой бдительная физиономия начальника милиции города Геок-Тепе, только у того глаза вдоль, а у этой – поперек.

– Он бы не стал ни с кем делиться, – сказал я. – Поставил бы у дерева постового и никого не подпускал, пока все не обобрал.

– О ком это ты?

– О начальнике милиции.

– Нашел с кем сравнивать... Кто мудрее всех зверей? Кому известны все замыслы и помыслы Божьи? Мне – или его голым пупсам, вроде тех целлулоидных, что продаются в магазинах? Как они у вас называются?

– Потребительская кукла..

– Вот вы и были бы все потребительскими куклами, если бы я не уговорил тогда Еву откусить от плода добра и зла... Кто открыл глаза людям? Кто им дал понять, почему Бог наложил запрет на это дерево? Кто сказал «Знает Бог, что в день, в который поедите от того дерева, откроются глаза ваши, и вы станете подобными Ему самому, познаете добро и зло».

– А вы откуда все это знали? Вы у Бога под стулом сидели?

– Ты что, еврей?

– Как вы догадались?

– Для этого ни в паспорт не надо заглядывать, ни в штаны. Кто еще столько вопросов задает?

– Так ну?

– Я бы не хотел вдаваться. Дело сугубо личное.

– Почему личное, если пострадало все человечество?

– Тебе мало, что ты еврей, так ты еще интеллигент. Не сдохнешь, пока не узнаешь, чего тебе знать не положено...– вертикальные зрачки сузились и остановились. – Ну ладно, сначала расскажу, а потом ужалю. Есть вещи, которые живым знать не положено.

Мне говорили, что когда-нибудь этим кончится, но чтобы так сразу...

... Ерзая задом, я стал сползать за дувал. Гюрза из пожарного рукава превратилась в пружину.

– Сиди! Теперь я буду спрашивать, а ты отвечать.

– Что такое Древо Познания Добра и Зла?

– Ну, ...познания добра и зла.

– Старшина тебе кланялся. Любовь – вот что такое древо познания! Как только я откусил, так сразу и понял. Недаром в библии так и пишут: «и познал он ее». Хотя, ты еще пацан, что ты можешь знать? Вот еще вопрос на засыпку: любовь – это добро или зло?

– Если судить по литературе...

– Давай хотя бы по литературе.

– Вообще-то – добро, но может обернуться злом. Ромео и Джульетта отравились. Отелло убил Дездемону...

– Вот ты и допер своим умом: и то, и другое! Бог разрешил людям плодиться и размножаться, как скотам, но запретил и на пол лаптя приближаться к тому, что называется Любовью! Потому что после этого для них не станет Бога. Мужик будет молиться на бабу, баба – на мужика.

– А вам жалко? Пусть молятся.

А мне не обидно, по-твоему? Бог создал каждой твари по паре. И только я был единственный холостяк, один одинешенек на всей земле. Человеку Бог сказал: «Оставит человек отца своего и мать свою, – (это притом, что ни отца, ни матери у Адама и в помине не было, Он его сам только что слепил из грязи) – и прилепится к жене своей, и станут они одной плотью». А мне разве не хотелось прилепиться к плоти... Я виноват что ли, что она ходит голая?..

– Минуточку. Вы же соблазняли Еву не для себя, а для Адама!

– Замнем для ясности.

– Как «замнем»? Библию читают миллиарды людей.

– Начитанные... А ты ее видел? Когда бродит по саду соблазн, изваянный, самым искусным скульптором из плоти и крови так, что жилка на шее трепещет, а розовые соски стреляют в тебя, и никуда ты от них не убежишь...

Змей, как бы это сказать, разлимонился и стал расползаться на солнце, которое лужицей ртути скопи-

лось к тому времени в центре небосвода и парализовало все живое на земле. Самое время уносить ноги...

Но гюрза мигом превратилась в пружину...

– Сиди

– Сижу, а что?

– .Сколько было сыновей у Адама?

– Двое: Каин и Авель.

– Плохо читал. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Шейт».

– Значит, трое.

– А у Евы?

– Тоже трое.

– Четверо.

– Как это? От кого еще один?

Мне почудилось, что змея смеется. Но это она лишь показывала ядовитый зуб.

– А ты не заметил, сколько среди людей потомков Змея? Им не обязательно иметь вертикальные зрачки и ходить на чреве. Даже совсем наоборот: законные сыны Адама ползают по-пластунски. Прощай, ты слишком много спрашивал...

От меня до гюрзы было всего пол шага, а гюрза прыгает на длину своего туловища и летит, как копье...

Но тонкий, чуть слышный звон уловили уши. Гюрза, скользнув к дувалу, спрятала голову.

Прямо на нас шла молодая туркменка в длинном красном платье с нагрудником из множества желтых монет, словно стайка золотых рыбок, пикирующих от ее шеи к талии... В руке у женщины была палка, тяжелая, потолще самой руки. Сторож или жена сторожа.

– Думаешь, пронесло? – прошипела гюрза. – Уже эшелон подают для маршевой роты. А там уж «летай, иль ползай – конец известен».

Она всосалась в едва заметную щель... Я даже не успел удивиться тому, что гюрза цитирует Горького. Всего человеку не узнать никогда, так чему удивляться?

ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

РУССКАЯ ЛЕДИ, НЕ ГОВОРЯЩАЯ ПО-АНГЛИЙСКИ

Посвящается Ирине Григорьевне Панченко

Нина Васильевна, сразу же по приезде в Америку на постоянное место жительства к детям и внукам, решила объехать своих здешних друзей, с которыми в прошлом поддерживала хорошие отношения. Ну, во-первых, перенять опыт применения гуманитарного образования в новых условиях, а, во-вторых, утвердиться мыслью о том, что индивидуум может выживать в любых тяжелых обстоятельствах: без знания английского языка, западной культуры и местных обычаев.

Сказано – сделано. Билет был куплен от Филадельфии, где обосновалась ее семья до Бостона, в котором жили близкие друзья Славские. Дочь заботливо записала ей все необходимые данные на бумажке, предупредила кондуктора на какой станции перед самым Бостоном ей выходить. Славские жили в пригороде.

В поезде было тепло и уютно. За окнами была весна с зеленью деревьев и всеми красками цветения в субтропическом климате. Здешний пейзаж отличался от российского: аккуратные полоски вспаханной земли, ухоженные коровы на пастбищах, добротные двухэтажные дома. Но людей нигде не было видно, и никто не махал вслед проходящему поезду.

Нина Васильевна не могла ни с кем из пассажиров обменяться даже несколькими словами из-за полного незнания английского языка. Но она себя сама развлекала: читала газету «Новое русское слово», растянула на полчаса время перекуса – ела небольшие сэндвичи – маленькие булочки с сыром и колбасой и запивала «Нарзаном», всё было куплено в русском магазине «Столичный».

Начало темнеть. Несколько раз к ней подходил кондуктор и успокаивающе улыбался. Поезд шел равномерно покачиваясь. Чуть слышно в динамике играла легкая джазовая музыка. Нина Васильевна постепенно задремала. Ей снилась Москва...

Сколько прошло времени, она не помнила. Когда проснулась, она заволновалась – не проехала ли она остановку? Как не просто жить без знания языка! Она лихорадочно начала разыскивать кондуктора. Но где же его найдешь, когда он так нужен! Через две скамейки сидела милая толстая негритянка, и Нина Васильевна бросилась к ней за помощью.

- Бостон! Бостон! – громко и нетерпеливо обращалась к ней Нина Васильевна.

- О, yes, yes! – радостно подтвердила негритянка и, что-то показывая за окном, повторила за ней. - Бостон! Бостон!

Кондуктора по-прежнему нигде не было видно. Нину Васильевну охватила паника. Моментально собрав большую дорожную сумку, она вылетела в тамбур. Она нервно посматривала по сторонам, надеясь всё-таки увидеть кондуктора. Но чуда не произошло. Поезд стал притормаживать и остановился. Нина Васильевна мощным движением руки открыла дверь вагона и ринулась вниз по ступенькам...

Поезд еще постоял несколько секунд, затем помчался дальше. И только, когда последний вагон исчез из поля зрения Нины Васильевны, оглянувшись вокруг, она с ужасом поняла, что это не только не Бостон, но даже и не простая железнодорожная станция, а какой-то промежуточный пустынный полустанок. Она явно вышла не там, где нужно было...

Будучи человеком бывалым, вначале она решила спокойно обдумать ситуацию. Надо понять, где она и что можно сделать? Прежде всего, осмотреть местность. За полустанком шло шоссе, а за ним сплошная полоса леса. По другую сторону рельсов тоже сплошной лес. На территории полустанка стояла пустая закрытая будка и рядом столб с телефоном-автоматом. На будке висело расписание поездов, но прочесть что-либо Нина Васильевна не могла. Телефон!! Эта мысль родилась и мгновенно исчезла. Она же не умеет говорить по-английски, а если бы даже и умела, то у нее нет мелочи позвонить...

Вечерние сумерки сгустились, и было довольно темно. Над полустанком с двух противоположных концов зажглись фонари. И всё... Не было даже скамейки, чтобы присесть.

Нина Васильевна понуро топталась на одном месте. У нее еще была какая-то надежда на спасение, но она вспомнила слова дочери, что согласно расписанию, это был последний поезд в Бостон, на котором она

ехала. Ничего, мы привыкшие, думала она про себя, стояли же по два часа в очередях за продуктами. И по полчаса в туалет в коммуналке, где она жила раньше. И ничего! Разве она не выстояла пятичасовую очередь в Американском посольстве за визой, перед приездом сюда. А билеты, а багаж, а таможня... Нет, нет, нет, вот уж она-то закаленная, да еще как!

Где-то минут через двадцать она услышала шум приближающейся по шоссе машины. Нина Васильевна кинулась к обочине. Это было такси! Увидев одинокую фигуру женщины на пустой станции, шофер притормозил. Он был индусом в голубой чалме, говоривший по-английски так, что если бы Нина Васильева и знала язык, то всё равно бы ничего не поняла. Оба начали жестикулировать. Нина Васильевна в надежде, что он ее подвезет по адресу на бумажке за небольшую сумму, которую она одолжит у своих друзей Славских. Индус же, никогда не слышавший русские слова, типа: «ну, пойми же, миленький», «нельзя же быть таким бестолковым», «что ж тебе в жизни так повезло, ну и эгоист же ты», и все в таком же духе. Всё это продолжалось минут пятнадцать, и индус в голубой чалме, поняв, что клиент не готов к жертве и что он зря теряет драгоценное время, улыбнувшись широкой белозубой улыбкой на смуглом лице, исчез навсегда...

Нина Васильевна снова осталась одна. На ум в этом пустынном лесном месте приходила русская народная сказка о бабушке, сером волке и красной шапочке... Конец у сказки был оптимистичным.

В подтверждение ее мыслей, вдалеке опять раздался шум мотора; и вскоре Нина Васильевна увидела грузовичок. Она помахала рукой, и он притормозил прямо перед ней. Из него вышли два парня в рабочих спецовках. Они попытались объясниться с Ниной Васильевной, но результат был почти нулевым. Нина Васильевна говорила слова в следующей последовательности: «Москва-Филадельфия-Бостон...» и дала бумажку с адресом назначения. В ответ один из парней, белобрысый, показал на себя и сказал твердо выговаривая: «Джон», а на своего более старшего по возрасту, друга, указал: «Питер». Затем они сели в грузовичок и, помахав рукой, снова укатили в темноту.

Нина Васильевна опять осталась одна. Она уже всё поняла и без слов: что вышла на остановку или две раньше, чем нужно было, что поезда нужно ждать до утра, что билет у неё уже просрочен, что даже, если кто-то остановится и предложит ее подвезти, то боязно садиться в машину к незнакомому человеку, ей-то рассказывали столько жутких историй...

Пребывая в подобном меланхолическом состоянии, она вдруг увидела, что опять появился грузовичок с Джоном и Питером. Белобрысый Джон вынес ей кофе в бумажном стакане, салфетки и сдобную, еще теплую, булочку в пакетике. Питер показывал ей что-то рукой, и она поняла, что надо стоять тут на месте и чего-то ждать. Видимо они куда-то позвонили, подумала она. Наверное, в полицию, куда же еще?

Минут через двадцать вдруг подъехал роскошный лимузин, и чернокожий шофер в форме с галунами, спросил у неё:

– Госпожа Литвиненко?

– Да, да! – образованно вскрикнула она и потащила сумку к лимузину.

– One minute! – остановил ее шофер.

Он открыл ей дверцу лимузина, забрал сумку и положил ее в багажник.

Сидя на заднем сидении автомобиля, уставшая, в полудреме, она уже понимала, что раз шофер знает ее фамилию и за ней прислали машину, значит все будет в порядке и о ней позаботятся.

Чего, конечно, она не знала, что это ее дочь, позвонив Славским и узнав от них, что Нина Васильевна не приехала, что они ее встречали, но не нашли на станции, подняла по линии железной дороги тревогу: по дороге в Бостон пропала русская леди, не говорящая по-английски; что какие-то люди тоже звонили в полицию (видимо, те двое парней Джон и Питер) и сообщили об одинокой растерянной женщине на полустанке, говорящей на незнакомом им языке.

...Лимузин подкатил к железнодорожному вокзалу Бостона. Шофер, только теперь в обратной последовательности, достал сумку из багажника, открыл Нине Васильевне дверцу и, пожав на прощание ей руку, укатил уже в ночной светящийся огнями город.

И тут в ней проснулась решимость. Она зашла на вокзале в бар, подошла к какой-то юной девице, показала ей телефон на бумажке. Та с улыбкой набрала ей нужный номер, и она сообщила друзьям Славским, где ее нужно искать.

Теперь Нина Васильевна твердо поняла, что она не пропадет в этой стране даже без английского языка, но что по приезде в Филадельфию, первым делом, засядет за английский.

ТЕЩА, ПОНИМАЮЩАЯ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Процедура отъезда была продумана до мелочей. Мы получили визы, подготовили к сдаче квартиру, упаковали багаж, купили билеты на поезд, который должен был нас увезти далеко-далеко на Запад.

Моя жена была занята покупками. Она всё знала, что и как разрешалось вывозить за рубеж. Например, книги, изданные только с 1950 года, по бутылке водки на человека, включая детей, какие-то цветные платки с кистями, льняные простыни, банка черной икры на семью... Пособия, которое выдавали эмигрантам, не хватало на жизнь, надо было что-то везти для продажи перекупщикам на новой земле.

Теща занималась багажом. И, слава богу – она была занята полезным делом. Упаковки и переупаковки, окончательное решение, что мы берем с собой, а что отправляем в ящиках, было в ее руках. В подчинении у нее был супруг, привыкший за многие годы совместной жизни усвоить все правила выживания в условиях матриархата. Много времени у тещи занимали бесконечные мелкие взятки чиновникам различного ранга, но со всем этим она успешно справлялась.

У нас оставалась только одна проблема – языковая. Английский язык мы все прежде кое-как изучали и надеялись по-настоящему подучить его уже в Штатах. Немецкий, для пребывания в Вене, был родным, домашним, мы понимали и немного говорили на идиш по пословице, что плохой немецкий – это хороший идиш. Оставался только итальянский язык, который казался далеким и загадочным еще с детства, а наш путь на Запад пролегал через Рим. Сразу же вспоминались журнальные картинки Венеции, Флоренции, Пизы, Сиены... И конечно, знакомые вечные мелодии: «Вернись в Сорренто, тебя я умоляю...», «Мама

мия...», итальянский мальчик-певец Робертино Лоретти. Но к разговорной речи это не имело никакого отношения.

Когда мы обсуждали этот вопрос с супругой, как всегда, вмешалась теща. Она напомнила нам, что родилась в Румынии, в молодости бегло говорила на языке этой страны цыган, который, как она утверждала, очень близок к итальянскому, и она нам всё будет переводить. О лучшем варианте можно было и не мечтать. Так что языковая проблема на данном этапе, казалось, была решена.

Другая сторона отъезда была более сложной и болезненной. Мы прощались с любимым городом и друзьями. Последние минуты были самыми грустными.

Маршрут эмиграции был отработан. Сначала пограничная станция Чоп. Очередь на досмотр в таможню. Больше всех «трусили» мою бедную тещу. Напомаженная, наманикюренная, с высокой прической, в черном с яркими цветами платье, она привлекла особое внимание пограничников.

Мы ехали через Вену, которую называли «Венской передышкой», а затем через Италию - «Римские каникулы». Там мы должны были ждать въездных документов в Соединенные Штаты.

И вот мы переехали пограничную станцию Чоп. У меня в кармане только и остались на память о прежней квартире - ключи от нее...

Три недели пребывания в Австрии прошли быстро и незаметно. Это действительно была «Венская передышка». Днем мы ходили по разным учреждениям, оформляя официальные документы, проходя собеседования.

Вечерами мы гуляли по нарядным улицам Вены. Все пути вели к названной эмигрантами «Хрустальной улице» с шикарными витринами, ресторанами и элегантно одетыми проститутками, которых можно было сразу определить по профессиональным чулкам. Нам популярно объяснили, что употреблять слово «проститутка» некорректно, следует говорить «секс-работник».

Один из «наших» эмигрантов решил воспользоваться услугами жрицы любви, то есть секс-работника, но не рассчитал свои сбережения. Жрица позвала полицию, та в свою очередь русского переводчика, русский переводчик доложил в эмиграционную службу, а они обратилась к жене нарушителя прейскуранта, чтобы та возместила финансовые потери. Но жена была из Одессы, жила когда-то на Молдаванке, хорошо владела южным говором и на чистейшем русско-еврейском языке с правильными падежами ответила эмиграционной службе (в пропусках ... ненормативная лексика, о которой читатель может догадаться): «Если мой ... Фима ей ... не заплатил, значит, ... она ... этого ... не стоит, она ... не умеет ... работать... Мне он платит зарплату всегда вперед, а не после...».

Ещё одной эмигрантской достопримечательностью в Вене был Моня из Казахстана, который располагался на одном из углов «Хрустальной улицы». Возле него был прикреплен довольно хорошо сработанный дизайнерский плакат на английском языке, привлекавший внимание публики. На нем сообщалось, что он ветеран афганской войны (которая только началась), и что он принимает пожертвования в любом виде: «Visa» или «Master Card», и даже персональные чеки (он был очень доверчив этот Моня!). У нас было подозрение, что своими доходами он делится не с бывшими братьями по оружию, а с местным полицейским.

Дни пролетели быстро. И, как говорится по пословице, что ничего в жизни нет более постоянного, чем временное. Иначе говоря: у нас впереди была вся жизнь, и мало времени... Путь лежал в долгожданный и вечный Рим...

Нас, группу эмигрантов, поместили в отдельном вагоне, который был последним в составе. Все купе были забиты чемоданами и детьми. Входные двери были закрыты, и в тамбурах стояли австрийские часовые с автоматами. Выходить из вагона на станциях не разрешалось. Такая осторожность была предпринята не случайно, были случаи нападения арабских террористов на советских эмигрантов. Были и жертвы.

Когда в Италии произошла смена караула, и в тамбуре появились уже итальянские солдаты, наша теща оживилась. Еще бы! Теперь-то она могла переводить и быть весьма полезной.

Через какое-то время теща пришла с сообщением. Она слышала разговор проводника и солдата, из которого сделала вывод, что не доезжая до Рима, мы остановимся на маленькой станции, и поезд будет стоять одну-две минуты, за которые следует успеть выгрузиться.

Сообщение было серьезным. Ведь у нас у всех были не только вещи, но и дети, а главное уставшие, медлительные старики. А одна-две минуты – очень короткое время. Тут же собрали совет. Так как восемьдесят процентов эмигрантов-мужчин были инженерами, надо было принимать соответствующее их профессии правильное решение. Во-первых, собрать инструмент. Каждый эмигрант вез набор инструментов, в который входили различных размеров отвертки. Во-вторых, заметьте, что в европейских вагонах окна наглухо закрыты. Но для советских инженеров это совсем не сложная процедура – вывинтить нужные шурупы, чтобы окна открылись настежь. В-третьих, следовало распределить очередность действий по сценарию: окна открываются, затем на перрон летят вещи, за ними лезут через окна дети, за ними старики, за ними женщины, и в конце завершают исход мужчины. В-четвертых, всё это совершается в полной конспирации от охраны и проводника. Дети, женщины и старики были предупреждены и проинструктированы.

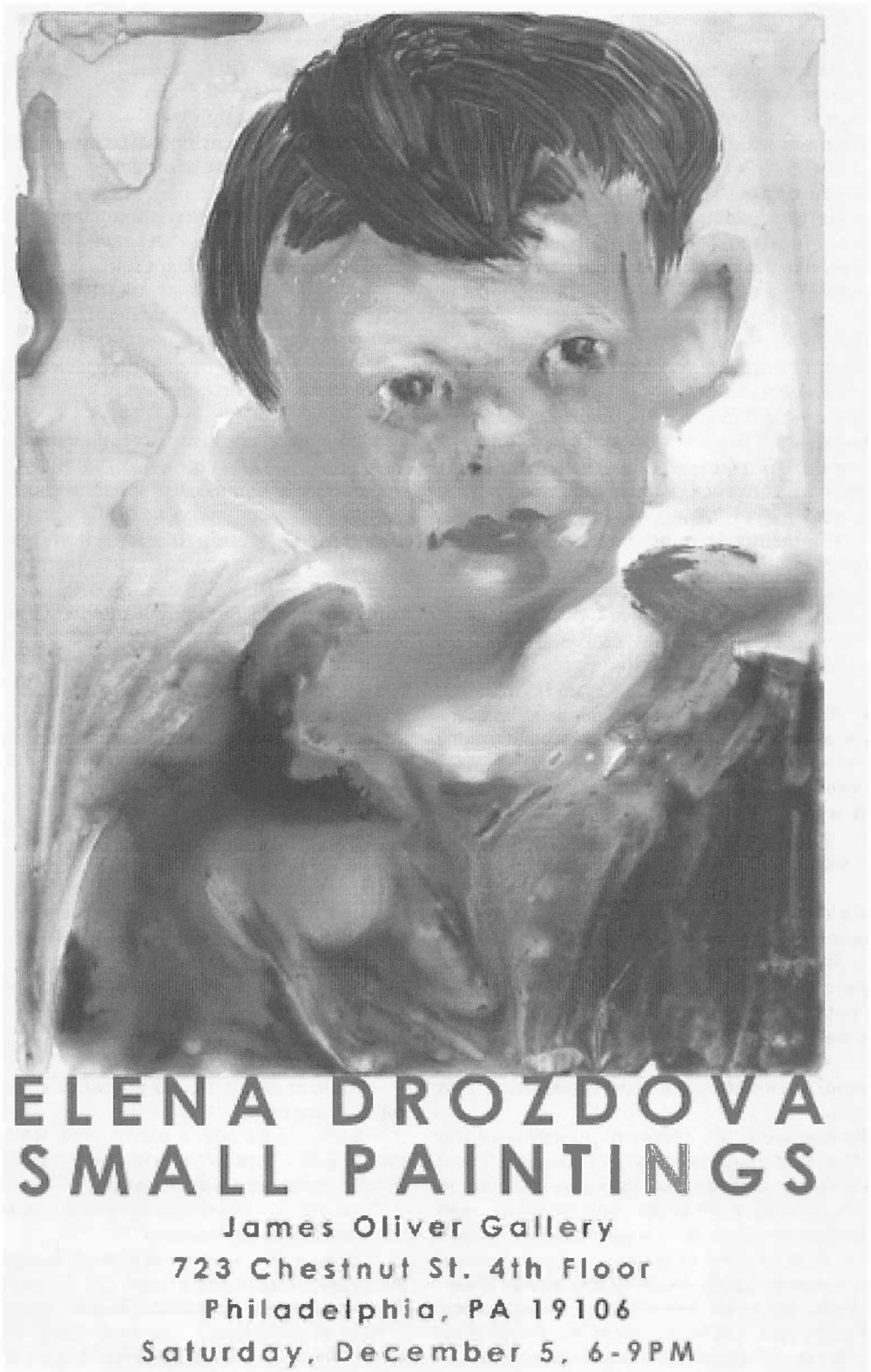
Поезд действительно остановился на небольшой пригородной станции километров за двадцать пять от Рима. Проводник предупредил о высадке, но он совершенно не подозревал, что у нас приготовлен свой план.

Когда поезд остановился, наш сценарий начал действовать. Моментально открылись никогда не открываемые окна вагона. На перрон, к ужасу зевак, проводника и растерявшихся солдат, полетели вещи, затем дети, затем старики, затем женщины и последними мужчины...

Операция была проведена блестяще! По сведению участников, на нее ушло ровно полторы минуты...

Но напрасно мы беспокоились – наш вагон был отцеплен от состава. Он простоял на месте еще час...

А местным жителям этот наш цирковой номер очень понравился. Они с восхищением окружили нас, кричали, как могут себе позволить только темпераментные итальянцы: «Russo! Bravo Russo! Bravo!».



Плакат об открытии выставки Елены Дроздовой. Филадельфия, 2009.

СЕРГЕЙ УГРЕНИНОВ

ПОПУТЧИКИ

Рассказ

Остановка была недолгой. Тепловоз дал гудок, и мы мчимся дальше, к городу Барабинску. В нашем общем вагоне постоянная суета, смена пассажиров.

Я, завалившись на верхнюю полку, с интересом наблюдаю за попутчиками. Вот в углу у столика сидит маленькая, сухонькая старушка. Она положила бесцветные, жилистые руки на колени, укрытые толстым черным холстом платья, и сидит молча, смирно. Тонкие губы крепко сжаты, глаза кротко опущены. Весь ее вид – олицетворение покорности, всеприемлимости. Темно-коричневый платок и фуфайка, застегнутая в летнее время на все пуговицы, придают старушке серость и незаметность. "Есть же в наше время такие "монашки", – думаю.

Совсем противоположной фигурой выглядит крепкий телосложением, средних лет дядька, сидящий внизу напротив моей полки. Но сказать, что он сидит, было бы ошибочно. Все его пребывание в вагоне – сплошное движение. Он то и дело куда-то уходит, затем появляется с бутылками пива, выпивает одну-другую, закусывая копченой рыбешкой, снова исчезает и снова возвращается. Рот его постоянно открыт, если не для поглощения чего-либо, то для воспроизведения множества нелитературных анекдотов или недалеких рассуждений о политике.

Две чрезмерно полные женщины, заняв всю полку подо мной, внимательно слушают разговорчивого попутчика, поддакивают и часто хохочут во все горло от не всегда удачной шутки. Смеюсь и я, но не от остроумия соседа, – забавляют комичные движения, ужимки, которыми шутник сопровождает свои повествования.

Только весельчак покидает вагон, как толстухи набрасываются с бранью друг на друга. Оказывается, они в спешке при посадке в тронувшийся поезд забыли на перроне своего любимого пуделя, и теперь каждая срывала зло на другой.

На следующей станции моими соседями напротив становятся еще двое: рослый, могучий дед и светлоголовый с нежным личиком мальчик лет пяти-шести. Меня удивляет одно обстоятельство: дед не привел мальчика, а принес на руках. Сев на свободное место, он поставил ребенка между колен, прислонив к своей груди.

Окружающие с любопытством разглядывают "новеньких".

Старик обводит сидящих добрыми дымчатыми глазами. Глубокие морщины на лице, кустистые брови, огромная седая борода и грозные усы не только не делают его вид суровым, а наоборот, придают ему своеобразную привлекательность. Экзотичный попутчик наклоняется к мальчонке и сильной, загорелой рукой гладит его по голове, сказав какие-то ласковые слова.

Засмотревшись на деда, никто сразу не обращает внимания на мальчика. Но через время я смотрю в его сторону и ловлю на себе неподвижный, странный взгляд детских, мягкого лазурного цвета, глаз. "Чего это он так таращится?" – думаю. Отворачиваюсь и наблюдаю за мелькающими в окне сибирскими перелесками, полями, домиками маленьких придорожных сел. Но пейзажи, словно в бегущих кадрах фильма о местной природе, меня не занимают. В голове запечатлелся взгляд маленького пассажира, каким-то необычным свойством он взволновал мой ум. Опять смотрю вниз. И снова устремленные в мое лицо чистые, голубые глаза.

– Еще полчасика и мы будем дома, – говорит старик, наклонив большую белую голову к внуку. – Нука, Васютка, спой нам песенку.

– Какую? – тихо спрашивает мальчик, не сводя с меня глаз.

– Давай свою любимую.

Васютка о чем-то задумывается и неторопливо, тонким голосом, нежно запевает:

Вновь в осенней, небесной дали
Прорыдали навзрыд журавли.
И заря на холодный восток
Опустила кровавый венок.
Бродит ветер по сопкам один,
Треплет пряди ковыльных седин.
Грустно мне в этот ранний рассвет
На осеннее небо смотреть...

Мальчонка поет так вдохновенно, с такой неподдельной печалью выводит вибрирующим голоском тоскливую мелодию, что я очень скоро оказываюсь во власти настроения певца. В груди что-то заныло, я беспомощно смотрю на попутчиков. Старуха-"монашка" и толстухи с изумлением молчат, даже дядька-весельчак застывает с открытым ртом, так и не донеся до него бутылку с пивом. Становится тихо во всем вагоне.

...И, как вянет подснежник живой,
Опрокинулся я головой.
Пусть надрывно кричат журавли
В бесконечной лазурной дали.
Пусть они за меня допоют
Про души моей тихий уют.

Мальчишка замолк, и только слышно, как стучат колеса вагона. "Монашка" торопливо копается в огромной хозяйственной сумке, вынимает крупное яблоко, протягивает мальчику и дребезжащим голосом говорит:

– Смотри: какое красненькое яблочко! Угощайся, Вася.

Вася за яблоком не протягивает руку, а молча смотрит куда-то в сторону.

– Маленький, а не по возрасту гордый, – замечает одна из толстух.

– Васютка слепой, – вдруг тихо, но внятно произносит дед. Он берет с дрогнувшей ладони старушки яблоко и ложит его в руку внука.

"Спасибо", – благодарно улыбнулся мальчик невидимому для него человеку.

А вокруг все молчат и как-то виновато смотрят на Васютку, только дед гладит его по светло-русой голове и что-то неопределенно мычит, думая о своем.

Вот и следующая станция. Дед, попрощавшись с нами, берет внучонка на руки и идет к выходу. Снова в окне мелькают перелески, поля, стучат колеса поезда. Я смотрю на вечереющие дали, утонувшее в березняке солнце, расплескавшее на облака червонное золото последних лучей, на тускнеющую синеву озер и малахитовый блеск прибрежных лугов. Теперь про-

плывающий передо мной мир имеет какую-то особую значимость. Словно остро чувствуя кратковременность пребывания в этом мире, я пытаюсь напоить свои глаза всеми красками и оттенками, которые гармонично и невыразимо разлились в единой музыке радости и печали. И в эти минуты меня поразило осознание бессмертия тьмы и мгновенности света в человеческом существовании. Появился человек – мелькнул в его глазах день, умер – и вечная ночь. Жизнь человека – это ничтожно малый промежуток между несуществованием и несуществованием, и поэтому с бездонной скорбью чувствуешь, как нелегко, когда этот промежуток проходит во тьме, как у мальчика Васютки, без закатов и рассветов, без лесов и полей, без солнца и неба.

У старушки влажно блестят глаза, руки бесцельно перебирают пуговицы на фуфайке, тонкие губы еще больше сжимаются. Дядька непривычно тих, сидит, облокотившись на руку, и смотрит в окно, рядом гремят пустые бутылки, и лежит недоеденная рыба с растопыренными плавниками, словно собираясь куда-то плыть. Толстухи обмениваются несколькими фразами и тоже молчат.

Вот и Барабинск. Мои соседи копошатся между полок, вытаскивают из-под них вещи, помогают друг другу выносить чемоданы и сумки из вагона, на перроне ласково прощаются, будто бы ехали вместе не меньше недели. Но я знаю: их сблизили этот слепой мальчик, его песня, его, еще не осознанная до конца детским умом, боль. Стою на перроне, а город сияет многоцветием окон, витрин, уличных ламп, и ничто уже не тревожит сердце.

ЕЛЕНА ЛИТИНСКАЯ

У ОЗЕРА

Эта встреча никем не воспета,
И без песен печаль улеглась.
Анна Ахматова

Тишина радовала слух и одновременно настораживала, даже напрягала своим всеобъемлющим охватом. Настоящая деревенская глушь. Промелькнул заяц, задержался на мгновение на дорожке, бросил на Сергея свой заячий трусливый взгляд и кинулся наутек. Сергей приходил сюда, в этот парк, каждый уикенд. Он уже выработал некую рутину, как проводить свободное время, и неукоснительно следовал ей: сначала пробежать несколько кругов по дорожкам парка, потом выйти на берег озера, сесть на знакомую выцветшую скамейку, на которой они сидели с Тамарой, смотреть на серо-синюю бесконечную рябь воды, смотреть и думать, думать... Он вспоминал свою жизнь последних лет, взвешивал все «за» и «против» и каждый раз решал, что все сделано правильно. Ничего другого и быть не могло, иначе это был бы не он, Сергей, а совершенно иной человек. Не лучше и не хуже, а просто другой.

Думать постоянно мешали канадские гуси. Их было навязчиво много, настоящее гусиное бедствие. Они заполонили прибрежную полосу, важно расхаживали по примятой траве, чувствовали себя хозяевами территории, абсолютно не боялись людей, по-гусиному переваливались, громко галдели, шипели, если им что-то не нравилось, и бесцеремонно гадили. Опасаясь ступить на гусиный помет, Сергей осторожно, буквально на цыпочках, чертыхаясь и одновременно улыбаясь, проделывал путь от дорожки до скамейки. Почему-то вдруг с нежностью вспомнилась нехитрая детская игра-считалка:

– Гуси-гуси!
– Га-га-га!
– Есть хотите?
– Да-да-да!
– Ну, летите, как хотите.
– Серый волк под горой не пускает нас домой...

Какие ни есть наглые, все же это были дикие гуси – часть истинной природы, а он, Сергей, так истосковался по ней за четыре года, прожитые, хоть и в прекрасном, но все же каменно-цивильном Сан-Франциско.

Сан-Франциско... Четыре года монотонного, тупого труда на маленькой фабрике. Зато досуг с насыщенным культурным общением в иммигрантской среде. То соберутся выпить с приятелями, то с Наташей на концерт сходят, то с Тамарой ночку проведут. Русское телевидение, русское радио, родная речь. Сергей все это оставил: хотел себе и другим доказать, что не потерял еще остатки способностей и может устроиться на настоящую творческую работу по специальности химик-технолог. (Ведь когда-то там, в Москве, он, кандидат наук, был младшим научным сотрудником, черт возьми!) Сергей проходил бесконечные интервью, впадал в отчаяние, напивался с горя, когда получал отказ, и снова возрождался и надеялся на удачу. Наконец-то повезло. Несмотря на корявый английский (Наташа говорила, что он изъяснялся, как нацмен в Москве), его, в конце концов, взяли на очень хороший химический комбинат в лабораторию и даже положили более чем приличную зарплату. Да, о такой зарплате было нестыдно написать друзьям в Москву. Одна беда: за этой самой зарплатой пришлось уехать на Средний Запад в маленький городок, который, хоть и назывался столицей штата, на самом деле был жутко скучным и провинциальным.

И вот он уже здесь второй год, а все еще чужак чужаком. Сергей мучительно думал, копался в своих поступках и сокровенных мыслях, но так до сих пор не мог понять и разобраться, счастлив ли он таким неожиданным поворотом судьбы. Впрочем, первое время, когда Сергей получил долгожданную работу, он был действительно счастлив и горд собой. Да, он состоялся в Америке как специалист, да, его на работе ценят, с ним считаются, дают прибавки и бонусы, и его банковский счет перевалил уже за несколько сотен тысяч. Только вот что делать с этими огромными (по старым российским понятиям) деньгами, он толком не знал. То ли просто копить на пенсию и черный день, то ли дом купить, то ли кондо. Трудно было представить, как он будет жить совершенно один в хоромах с несколькими спальнями, ванными комнатами, туалетами да еще и полуподвалом. Даже вспомнил одно из так называемых еврейских проклятий: «Пусть у тебя будет сто домов, и в каждом доме – по сто комнат, и в каждой комнате – по сто кроватей! И пусть холера тебя бросает с одной кровати на другую!»

«Пожалуй, это как раз обо мне. В самую точку!», – мелькнула мысль из черного юмора. Хотелось обхватить голову руками и выть: на озеро, на гусей и на

этот маленький, чужой, сугубо американский, почти без примеси русской иммиграции город. «Нет, покупка недвижимости пока не для меня, – думал он. – Вот устрою свою личную жизнь, разберусь с моими женщинами... А может, и познакомлюсь с какой-нибудь новой, молодой, хорошенькой, которая меня поймет, оценит и даже полюбит... Ведь мечтать не запретишь».

С женщинами у Сергея отношения были сложными. Он быстро и часто влюблялся, какое-то время бывал страстно увлечен. И вот уже ему казалось, что он, наконец, нашел ту самую, единственную и неповторимую, с которой проведет остаток дней в радости и печали, здоровым и больным, пока их не разлучит смерть... Но проходило какое-то время: то несколько лет, то пара месяцев – и страсть его постепенно угасала, и предмет великой любви уже не казался ему самым лучшим и окончательным выбором. При мысли о том, что надо бы жениться, а это навсегда (о возможном разводе он почему-то в то время не помышлял), Сергей скисал, впадал в депрессию и резко обрывал ниточку любовного романа. Да и как не оборвать, ведь ему еще и сорока не было! Впереди была длинная, длинная дорога жизни. А что если там, за поворотом появится другая женщина, еще более прекрасная, еще более достойная того, чтобы провести с ней остаток дней? Сергей снова начинал поиски прекрасной дамы и снова влюблялся так же искренне и страстно. И все повторялось сначала.

Своих бывших любовниц Сергей не бросал окончательно и бесповоротно, то есть, они плавно переходили в другую категорию – платонических подруг – и там и оставались для духовного общения и коллекции. Сергей поддерживал с ними живую и телефонную связь, поздравлял их с Новым годом, Пасхой (еврейской или христианской, в зависимости от религиозной принадлежности бывшей дамы сердца) и другими большими праздниками, посылал им подарки на день рождения, стараясь всяческими средствами подкрепить дух брошенных женщин. И самое замечательное, что ни одна из них не послала его, куда Макар телят не гонял. Сначала все они бурно переживали его охлаждение и измену, какое-то время громко негодовали, но впоследствии каждая из них почему-то покорно смирялась со своей новой ролью духовной подруги и даже конфидентки по любовным вопросам, находя в этой, казалось бы, абсурдной метаморфозе изощренно высокий, современный стиль отношений между мужчиной и женщиной.

Обежав несколько раз городской парк, и отсидев положенные пятнадцать минут на любимой скамейке в состоянии печальной рефлексии, Сергей уже шагом направился к дому, так как наступило время ленча, и от голода урчало в желудке и слегка кружилась голова. Сергей снимал небольшую односпальную квартиру в чистом, аккуратном комплексе двухэтажных домиков с бассейном и спортзалом в получасе езды от центра города. За полтора года проживания на новом месте он почти ни с кем не познакомился. (Хотел бы познакомиться, но как-то не сложилось.) Так только – кивал соседу-китайцу снизу и молодой супружеской испано-язычной паре, с которой делил балкон, и, улыбаясь широкой, заученной американской улыбкой, произносил вежливо-дежурное «Hello!», получая столь же равнодушно-цивильное «How are you?» в ответ. «Да, хороша испаночка! – восклицал про себя Сергей, – да, видно, не про нас».

«Что бы такое новенькое сварганить на ленч?» – с надеждой подумал Сергей, открывая по-холостяцки полупустой холодильник. Ничего необычного он придумать не мог, так как ничего особенного в холодильнике не обнаружил, а из ничего, как известно, и получается ничего. Ноль, помноженный на ноль, равняется нулю. Пришлось, как обычно, швырнуть на сковородку замороженные креветки и тривиально запить их банкой пива «Budweiser». Шел второй час после полудня, одна треть субботы благополучно промелькнула в привычных действиях или бездействии. Но оставались еще другие две трети и воскресенье в придачу ... Ну, убрать и без того чистую квартиру (Сергей был аккуратист по натуре и не переносил беспорядка, грязи и разрухи), съездить в близлежащий супермаркет за продуктами, перекинуться взглядами с симпатичной молодой продавщицей-негритянкой, посмотреть по телевизору какой-нибудь боевик или кинокомедию, еще раз пробежаться по парку, искупаться в бассейне, позвонить друзьям в Москву и, наконец, сделать пару дежурных звонков в Сан-Франциско: Наташе и Тамаре. Вот и вся нехитрая программа на уикенд. Впрочем, Тамаре он сегодня звонить не должен, так как она, кажется, уехала куда-то на экскурсию. Оставалась Наташа – бывшая любовь, ныне друг. С Наташей было непросто. Наташа была человеком настроения, и Сергей никогда не знал, чем это ее настроение обернется для него: задушевной беседой или потоком иронии. Он всегда тщательно продумывал хотя бы начало их телефонного разговора, но когда дело доходило до самой беседы, Наташа обычно брала бразды правления в свои руки, а ему оставалось лишь послушно плыть по течению. Иногда течение становилось слишком бурным, и Сергея выбрасывало на острые камни. И все-таки не звонить Наташе Сергей не мог. Общение с этой женщиной было больше, чем привычкой, оно стало для Сергея необходимым, почти ежевечерним ритуалом, объединявшим в себе такие, казалось бы, несовместимые понятия, как обычная дружеская болтовня, задушевные признания, философские размышления и игра в нежность. Что касается Тамары... Но о ней позже.

– Наташенька, привет! Это Сережа, – сказал он деланно бодро. Сергей всегда начинал разговор по старой привычке, называя себя по имени, хотя при нынешних автоматических определителях номера и так было ясно, что звонил именно он.

– Привет, Сережка, привет! Как поживаешь? – живо отреагировала Наташа.

– Ой, Наташ, скука тут ужасная! Когда на работе, еще ничего, то есть все нормально. А в субботу и воскресенье, ну, совсем делать нечего. Вокруг пустыня. Скоро совсем разговаривать разучусь, – пожаловался Сергей. И вдруг его осенило: «Приезжай, Наташ, а? Может, и правда приедешь?»

– А что? Может, действительно взять и прилететь? – сказала Наташа задумчиво, удивляясь неожиданному предложению Сергея и своей реакции.

– Ну, конечно! Вот так просто взять и прилететь. Я беру отпуск на неделю и показываю тебе город и окрестности. Тут такие красоты природы, закачаешься! Мы поездим по округе. Ты так отдохнешь! Класс! – Сергей увлеченно развивал свою мысль, и Наташа окончательно согласилась приехать. Стоял жаркий июнь. Лететь в теплые края на острова уже было немыслимо. Других идей и планов, как провести отпуск,

у нее пока не было. Наташа решительно взяла билет на самолет и очень скоро отправилась в американскую глубинку к Сергею.

Сергей встретил Наташу в аэропорту модно, по-спортивному одетый, веселый, гордый новой машиной и своей ролью радушного хозяина, который при деньгах и может достойно принять гостью. По дороге домой они оживленно болтали о том, о сем, шутили и слегка подкалывали друг друга с оттенком доброй иронии, как это принято между старыми друзьями. Заехали в огромный, типично мидвестовский супермаркет и накупили там всякой всячины: куриных грудок, из которых Наташа грозилась сделать отбивные на обед, всевозможных овощей для салата, яблочный пирог, золотисто-спелый ананас и шесть банок пива «Budweiser». У Наташи было прекрасное настроение. Она думала о том, как хорошо, что она решилась приехать к Сергею, что надо почаще менять привычную рутину на маленькие приключения, что вообще все так мило и безоблачно, и отпуск обещает быть приятно разнообразным. «А еще говорят, что дружба между мужчиной и женщиной, если они некогда были любовниками, невозможна! Возможна, еще как возможна!» – размышляла Наташа.

Вечером они поужинали и прогулялись вокруг территории, слушая монотонную песню цикад и вдыхая пьянящий запах жимолости. Потом искупались в полупустынном бассейне, осмотрели спортзал и другие детали community, недолго посидели у телевизора и в одиннадцать часов, без попыток более интимного общения, разошлись по разным комнатам (он благородно уступил ей спальню, а сам постелил себе в гостиной на диване) и улеглись спать.

Одурманенная свежим воздухом и запахом цветов, Наташа сразу уснула, а Сергею долго не спалось. Он вдруг вспомнил, что забыл позвонить в Сан-Франциско Тамаре. А эта оплошность, учитывая Тамарин ревнивый, подозрительный характер и умение устраивать сцены со слезами, чревата непредсказуемыми последствиями. Сергей не то что бы продолжал любить Тамару... Пару лет назад он был страстно увлечен ею, и она до сих пор, когда приезжала, продолжала нравиться ему и, как говорится, вполне устраивала его как женщина. Других дам сердца на горизонте пока не предвиделось, и Сергей не хотел ее терять и даже побаивался ее гнева. «Завтра, как только встану, тихонько выйду на улицу и непременно позвоню Тамарочке...», – засыпая, подумал Сергей. Так уж сложилось. Тамара нужна была ему больше для тела, а Наташа – для души. Иногда, правда, он несколько путался в распределении этих женских ролей, и тогда возникали некоторые сложности в отношениях, которые, впрочем, Сергей до сих пор более или менее успешно преодолевал.

Утром Наташа поднялась первой, и, пока она принимала душ и наводила марафет, Сергей выскользнул на улицу, чтобы вынести мусор, и втихаря позвонил Тамаре.

– Что с тобой? У тебя голос какой-то странный. Что-нибудь случилось? Заболел или неприятности на работе? – взволновалась Тамара.

– Ничего не случилось. У меня нормальный голос. Просто я бегал кросс и немного запыхался, – попытался вывернуться Сергей. – Я сейчас позавтракаю и поеду на работу. Мне надо там кое-что доделать.

– Нет, Сереженька, ты меня обманываешь. С тобой что-то происходит, и ты не хочешь говорить, – не унималась въедливая Тамара. – Давай езжай на работу, а я позвоню тебе вечером.

«Начинается... Нет, она сегодня не оставит меня в покое», – с тоской подумал Сергей и автоматически отключил телефон. Это решение было несколько опрометчивым, но по-другому он поступить в этот день не мог. Иначе она бы завалила его звонками, и тогда общение с Наташей – пиши пропало.

Наташа и Сергей позавтракали овсяной кашей с ягодами, выпили кофе со сливками и отправились обозревать окрестности столицы штата. Жара спала. Погода была, как по заказу для поездок: переменная облачность и легкий ветерок. Сергей повез Наташу в городской краеведческий музей и в бывшее имение некоего американского магната, на деньги которого этот музей был построен. Наташа обожала живопись и подолгу стояла перед полотнами современных художников-абстракционистов, объясняя Сергею, что хотел выразить автор. С Наташей было интересно. Она умела втянуть Сергея в разговор об искусстве и литературе и на время как бы приподнять на некий уровень выше обыденной жизни и повседневных забот, закружить его там, заворожить и потом незаметно снова опустить на землю, неожиданно заявив нечто прозаическое, например, что она проголодалась и хочет пойти в китайский ресторан. Сергей не переставал изумляться Наташе. В прошлом между ними был краткий яркий роман, который он постепенно свел на нет, влюбившись в более земную, простую и пышнотелую Тамару. Наташа, как некая книга, была им прочитана, но так до конца и не понята.

Иногда Сергею казалось, что он продолжает испытывать к этой женщине нечто большее, чем дружески-духовную привязанность. Его снова тянуло к ней, хотелось нежно обнять, поцеловать в губы, но он подавлял в себе эти запретные желания, боясь испортить с таким трудом налаженные после разрыва отношения.

Вечером они долго сидели в романтическом ресторане у озера, неторопливо наслаждаясь изысканными блюдами итальянской кухни, пили шампанское, вспоминали прошлую жизнь и боялись вопросом или хотя бы намеком заглянуть в будущее.

Они вернулись домой за полночь в хорошем настроении и слегка навеселе. Наташа прилегла на диван и включила телевизор. Сергей пошел в спальню, как он сказал, проверить электронную почту. Его не было минут двадцать, потом он неожиданно, побледневший, с каменным лицом влетел в гостиную и протянул Наташе телефон.

– Прошу тебя, поговори с ней. Это моя girlfriend Тамара. Если ты с ней не поговоришь, она грозится немедленно сюда приехать.

– У тебя есть женщина? Ты мне ничего не рассказывал. Впрочем, это само собой разумеется. Ты мне ничего и не должен рассказывать.

– Я тебе все расскажу потом, а пока, пожалуйста, скажи ей пару слов, успокой ее. Она меня ужасно ревнует.

– Как она узнала, что я здесь? Ты сказал ей? Как ты мог!

– Нет, она сама узнала. Это отдельная история. Прошу тебя, поговори с ней!

– Ну, хорошо, если ты этого хочешь. Я поговорю. Только что я должна ей сказать? Что я твоя двоюрод-

ная сестра и прилетела из Москвы погостить? Все это мне напоминает мыльную оперу или пошлый роман, – сказала в сердцах Наташа и все же взяла протянутый Сергеем мобильник. В трубке послышался очень высокий, надорванный, почти детский голосок:

– Здравствуйте, Наташа. Меня зовут Тамара.

– Здравствуйте, Тамара. Что скажете?

– Как вам нравится этот город, Наташа?

– Очень нравится. А что?

– Ничего. Я только хочу, чтобы вы знали... Мы с Сергеем уже четыре года вместе. У нас все серьезно. Я часто приезжаю к нему, и мы каждый год ездим отдыхать.

– Ну и отдыхайте на здоровье. Я вам мешать не собираюсь. Сидите себе спокойно в Сан-Франциско и не дергайтесь. Мне Ваш Сергей не нужен. Больше никаких объяснений я вам давать не намерена, – сказала жестко Наташа и передала Сергею телефон. «Если они уже вместе четыре года, значит, какое-то время он делил меня с ней. А может, она врет? Или врал он? Какая мерзость! Впрочем, теперь это уже не имеет никакого значения... И все-таки противно», – подумала Наташа, и ее радужный настрой вмиг улетучился.

Сергей снова ушел в спальню докончить разговор с разъяренной до крика Тамарой, потом вернулся в гостиную и грустно спросил Наташу:

– Ну, вот... Теперь ты меня бросишь?

– И не подумаю, – нарочито спокойно сказала Наташа, хотя в ее душе бушевала буря, и добавила, чтобы не начинать бесполезную ночную разборку. – У меня разболелась голова. Давай завтра поговорим.

На следующий день Тамара не прилетела, ничего драматического, казалось бы, не произошло, но отпуск был вконец испорчен. Что-то важное, что связывало Наташу и Сергея, было утрачено. Они не знали, как говорить друг с другом и что делать, чтобы безболезненно вернуть приятную легкость общения первых двух дней. Сергей пытался пуститься в объяснения. Наташа слушала его, старалась понять и оправдать, но так и не смогла побороть в себе чувство обиды за былое двуличие Сергея и некоторой брезгливости к нему. Обида занозой вошла в ее плоть, крепко засела там и нарывала. Наташа хмурилась, отмалчивалась и, в конце концов, попросила Сергея отвезти ее в аэропорт.

Тамара упрямо продолжала названивать. Она, как умела, тараном боролась за свою любовь. Сергей перестал отвечать на ее звонки. «Как она могла? Кто ее просил? Она должна понимать, что у меня есть свои друзья и своя жизнь, и ей туда доступа нет. Как хорошо, что она там, а я здесь. Ну, нельзя же быть такой навязчивой», – грустно размышлял Сергей. – «Ну, вот! Теперь ни Тамары, ни Наташи... И вообще никого! Пустота...»

Сергей прервал свой отпуск и досрочно вышел на работу, ибо сидеть дома без дела было просто невыносимо. Как назло, на работе возникли проблемы с новым молодым сотрудником. Сергею казалось, что тот хочет то ли выслужиться перед начальством, то ли унизить его, Сергея. Защищаться было трудно: мешал ограниченный английский. Неудачи преследовали его. Сергей вернулся домой с работы униженный, оскорбленный и с горя напился так, что уснул прямо в гостиной на диване, не раздеваясь. Где-то посреди ночи его разбудили стук в балконную дверь и какой-то странный шорох. Сергей еле продрал глаза, открыл балконную дверь и увидел там что-то большое и живое. Крупнее кошки, но и не собака. Медведь не медведь. Глаза странного существа светились в темноте. Он скреб когтями по двери, как будто чего-то просил, и казался разумным.

– Ты кто, – спросил Сергей спросонок и спьяну – и чего тебе надо? А, знаю, ты, наверное, бедолага, тоже одинокий, без подруги. Пришел составить мне компанию. А может, ты, брат, голодный? Погоди, я тебе сейчас принесу чего-нибудь поесть.

Сергей достал из холодильника куриную отбивную, которую накануне приготовила Наташа, и протянул зверьку. Кажется, это был енот. Сергей посмотрел, как незваный гость лихо сожрал вкусную отбивную, попрощался с енотом и в умилении от неожиданной встречи, довольный своей щедростью, оставил зверька на балконе, а сам пошел досыпать.

Еноту понравилась Наташина куриная отбивная, и он повадился приходить на балкон почти каждую ночь. Какое-то время Сергей жалел зверька и охотно кормил его. Не отбивными, конечно, так как они скоро закончились, а чем попало. Сергей даже с вечера, после ужина специально оставлял кое-что на балконе для своего нового четвероногого друга. Однажды Сергей заметил, что оставленная им для енота еда была не тронута. Не явился зверек и на следующую ночь. Пропал. А может, нашел новое пристанище и другого кормильца. «Ну вот, даже енот, и тот покинул меня. Никому-то я не нужен», – с грустью подумал Сергей. Сергею хотелось, чтобы хоть кто-то, хоть одна родная душа оказалась рядом и все равно как: по-женски, по-сестрински, по-матерински, по-братски – пожалела его.

Вечерами он стал частенько прикладываться к бутылке. Сначала было пиво, потом красное вино, а потом Сергею захотелось чего-нибудь покрепче, и он уже регулярно выпивал на ночь по 100 граммов водки, расслаблялся и забывал о своем одиночестве. «Я не спиваюсь, – уверял себя Сергей. – Я ведь могу в любой день бросить. Хочу – пью, не хочу – не пью».

Прошел месяц с тех пор, как уехала Наташа и перестала звонить Тамара. Сергей больше чем с головой погрузился в работу и все уикенды просиживал в лаборатории. Свободного времени для печальных раздумий о неудавшейся личной жизни почти не оставалось. «Пусть все идет, как идет. Ну, что я могу изменить?» – смирился Сергей.

Однажды ночью он снова проснулся от стука в балконную дверь. Стук был более сильный и какой-то настойчивый. «Ого, мой енотик, видно, здорово проголодался и сейчас весь дом разнесет», – подумал Сергей и открыл дверь на балкон. От озера тянулся густой туман. На полу балкона, покрытом зеленым ковролином, сидела полуобнаженная женщина. Домашний халат на груди – распахнут, длинные черные волосы рассыпались по плечам. Сквозь туман и темноту Сергей не мог разглядеть ее лица. Незнакомка стонала и что-то бормотала на смеси английского с испанским. Потом отчетливо попросила по-английски: «Помоги мне, пожалуйста!»

Недолго думая, Сергей поднял женщину на руки, внес в гостиную, осторожно положил на диван. Теперь он четко увидел ее лицо. Это была его соседка по балкону, та самая красивая молодая испаночка, с которой он при встрече обычно перекидывался парой вежли-

вых фраз. Но, Боже мой, в каком она пребывала плачевном виде! Из разбитой губы сочилась кровь, глаз и щека распухли. Халат разорван.

– Кто это тебя так? Может, полицию вызвать? – сочувственно предложил Сергей.

– Это все он, Антонио. Напился и приревновал меня к своему другу. Он всегда так: напьется и пускает в ход кулаки. Не надо полицию, прошу тебя. Он там, в квартире остался дрыхнуть, а я вот решила к тебе... Ты ведь один живешь? Можно я у тебя переночую?

– Ну да, конечно, оставайся... пока, – неуверенно сказал Сергей и добавил. – А если он проснется и хватится тебя? Что тогда?

– А он не догадается, где я. Подумает, что к подруге уехала. Только мои подруги... не хотят больше вмешиваться в наши семейные дела. Нету у меня здесь никого из родни. Все мои остались во Флориде. Одна я тут. В общем, у тебя есть перекись водорода и лед?

Сергей достал перекись водорода и бинт, обработал ранку на губе женщины, приложил лед к ее распухшей щеке. Избитая, с опухшим глазом, неприбранная, расхристанная, она все равно была удивительно хороша. «Вот так история! – подумал Сергей. – Это тебе не енот».

– Как тебя зовут? – спросил он.

– Розита, – сказала она, – но ты можешь называть меня Роуз.

– Нет, мне «Розита» больше нравится. А меня зовут Сергей или Серж, – назвался он. – Слушай, Розита, может, ты есть хочешь или чаю?

–Да нет, спасибо, Серж. Мне бы поспать немного. Можно я тут у тебя посплю на диване? Да ты не волнуйся, я завтра утром исчезну. Что-нибудь придумаю.

– А я и не волнуюсь. Не так уж часто ко мне по ночам приходят красивые девушки. Сейчас вот постелю тебе и сам пойду спать. Мне ведь завтра на работу, – вспомнил он.

Всю ночь Сергея мучили кошмарные видения. То мерещился енот, сидящий за столом и пожирающий вилкой и ножом куриную отбивную, то вдруг енот превращался в Антонио и целился в Сергея из пистолета. То Сергей видел себя, покрывающим поцелуями обнаженное тело Розиты. Сергей просыпался в холодном поту и снова засыпал неглубоким тревожным сном, а ровно в шесть утра прозвенел будильник, и надо было быстро встать, принять душ, погладить рубашку, выпить кофе и отправиться на работу.

Розита все еще спала, откинувшись на спину, полуприкрытая одеялом. Дыхание ее было ровным, она чуть-чуть посапывала во сне, еле слышно и нежно, как ребенок. «Да и сама она – еще ребенок, девчонка. Ну сколько ей может быть лет? От силы двадцать, ну, двадцать пять, – прикинул Сергей и тут же вспомнил – с налетом грусти, – что ему уже скоро стукнет сорок. Сергей смотрел на спящую Розиту и с тоской думал о том, что надо немедленно уезжать на работу. Во всем, что касалось работы, Сергей был пунктуален, организован и педантичен до крайности. Он никогда не опаздывал в лабораторию, и теперь, глядя на Розиту, пребывал в состоянии крайней растерянности, не решаясь ее будить, и одновременно понимая, что разбудить непременно нужно. Ведь надо было выяснить дальнейшие планы девушки и определить свою роль во всей этой авантюрной истории.

Под пристальным взглядом Сергея Розита проснулась, улыбнулась ему обворожительной белозубой улыбкой, какие бывают только у киноактрис, протянула длинную тонкую руку с ярко наманикюренными пальцами и нежно сказала «привет, милый!». Сергей почувствовал, что он абсолютно и бесповоротно теряет голову.

– Ну, я поехал на работу, Розита, а ты, если хочешь, оставайся, отдыхай. Только сиди тихо, ни в коем случае не врубай музыку и телевизор. В холодильнике бери все, что есть: ну, там молоко, масло, хлеб, яйца, сосиски. Свари себе что-нибудь. Я вернусь часам к шести. Вот мой номер телефона. Если, не дай Бог, что – звони.

Несмотря на усталость, и почти бессонную ночь, работалось в этот день Сергею, на удивленье, гладко и плодотворно. Он сидел за компьютером, мурлыкал какую-то знакомую мелодию из кинофильма и сам себе блаженно улыбался. Даже Джефф, его начальник, который никогда не задавал своим подчиненным лишних и личных вопросов, заметив странно веселое, благодушное настроение Сергея, спросил:

– Что случилось, Серж? Ты сегодня такой радостный. Не иначе, как познакомился с хорошенькой девушкой?

– Может быть, может быть... – напустил туману Сергей и засмеялся.

По дороге домой Сергей посерьезнел, чтобы не сказать помрачнел. Он вдруг осознал, что, возможно и, скорее всего, влип в авантюру, из которой будет нелегко выпутаться. Розита, конечно, хороша, нет слов, но ведь где-то за стенкой есть еще ее законный и ревнивый муж Антонио, который, если узнает, что Сергей внаглую, прямо за стеной, прячет его жену, то ему, Сергею, конечно, мало не покажется. Тут уж точно запахнет жареным, и в ход пойдут не кулаки, а нож или даже пистолет. «Стоит ли того Розита, чтобы так рисковать? – спрашивал себя Сергей. – Как долго он сможет ее скрывать от мужа и людских глаз? И вообще, сколько времени она захочет провести за закрытой дверью и затемненными окнами?» Ни на один из этих вопросов Сергей не смог себе ответить, махнул мысленно на все рукой, заглянул в китайский ресторанчик, накупил всякой всячины на ужин и поехал домой.

Дома Сергей тихонько поднялся к себе на второй этаж, почти бесшумно открыл дверь и сразу увидел Розиту. Она сидела на диване все в том же халате (другой одежды у нее просто не было), прибранная, красиво причесанная, благоухающая Тамаринами (или Наташиными?) духами и смотрела телевизор без звука. При виде Сергея Розита вскочила, бросилась ему на шею, прижалась здоровой, не опухшей щекой к его груди и несколько театрально воскликнула: «Ну, наконец-то! Уже семь часов. Ты сказал, что придешь в шесть. Я места себе не нахожу. Решила, что ты меня тут бросил». Сергей обнял девушку и осторожно, чтобы не причинить боль, поцеловал ее в непораненный угол рта.

– Чем ты занималась целый день, Розита? – Ему нравилось повторять ее имя.

– Я долго отсыпалась. Потом приняла душ. Надушилась духами твоей женщины. Потом хотела надеть ее платье, которое висит у тебя в шкафу в спальне, но оно оказалось мне велико. Твоя женщина десятого размера, а я ношу четвертый, ну, иногда шестой. Ты любишь полных женщин, Серж? – Она видела, что нравится ему, и поэтому может немножко его подразнить.

– Я люблю красивых женщин, Розита. Полных, стройных, разных, но больше всего мне нравятся такие, как ты. До сих пор не пойму, откуда ты взялась на мою голову и что нам дальше с тобой делать.

– Ну, давай сначала поужинаем, выпьем немного вина за нашу встречу. Я нашла у тебя бутылку хорошего полусладкого шампанского. Ну, а потом поговорим и решим, что же нам делать.

Розита то ли играла роль разбитной, немного капризной девицы, то ли она на самом деле быстро свыклась с новой ситуацией и не хотела напрягать Сергея и себя серьезными размышлениями о проблемах завтрашнего дня.

– Слушай, а твой Антонио тут на балконе не крутился? Ты не слышала его голоса? – озабоченно спросил Сергей.

– Я его не видела, боялась выглянуть на улицу, но почувствовала по запаху табачного дыма. Он курил на балконе. Все, все, все! Не хочу о нем больше говорить. Ненавижу...

– Ну, хорошо, хорошо, не буду. Лишь бы он не заподозрил, что я тебя тут прячу. Завтра после работы поеду в какой-нибудь бутик и куплю тебе пару летних платьев, брюк и маек. Какого, говоришь, размера? Четвертого? Что еще купить?

– Знаешь, купи мне... – Розита охотно написала ему длинный список вещей: одежды и косметики. «Тут парой сотен не обойдешься. Тянет долларов на пятьсот, а может, и того больше», – подумал Сергей, но эта сумма его почему-то нисколько не смутила. Он почувствовал себя влюбленным Печориным, который странным образом заполучил свою Бэлу и должен одеть ее, как княжну. Сергей понимал, что принадлежит как бы двум мирам: одному – реальному – на работе, в магазинах, в машине, на улице, словом, вне своей квартиры, и другому – полуфантастическому, зыбкому, параллельному, миру зазеркалья, в котором он играл роль храброго рыцаря, спасшего прекрасную даму. Сергей бесшумно ступал по коврам, говорил тихим голосом, боялся сказать лишнее слово, боялся чего-то не досказать и спугнуть Розиту – свое неожиданное испанское счастье. Он был, как юнец, по уши, романтично и в то же время страстно влюблен и совсем потерял голову. Сергей умирал от желания, но не решался прикоснуться к девушке. «Кто знает, как она отреагирует! Может, пошлет его куда подальше, мол, не лезь ко мне, старый козел. И будет права», – тоскливо подумал он и, чтобы не искушать себя без нужды, рано пошел спать.

Проснулся Сергей от нежных прикосновений ее рук и губ. Она сама пришла к нему в постель. Обнаженная нимфа с крепким стройным телом, окутанная покрывалом длинных, до середины спины волос. Она целовала его лицо, плечи, грудь. Легонько покусывала мочки ушей и даже кончик носа, а когда он почувствовал ее губы на своем теле ниже пупка, ему показалось, что перед ним воистину раскрылись врата рая. Сергей боялся пошевельнуться и сделать что-то не то и не так. Он замер и полностью отдался на волю ее любовной игры и фантазии. У Сергея в прошлом было немало любовных романов, приключений, страстей, страстишек и других разновидностей взаимоотношений с женщинами. Обычно он брал инициативу в постели в свои руки и старался «показать класс» любовного искусства согласно своим понятиям и опыту. Предметы его любви и увлечений обычно выполняли послушно пассивную роль, постанывали от истинного (или притворного) наслаждения и нахваливали его, Сергея, мужские достоинства и умение удовлетворить, утолить их женскую страсть. С Розитой все происходило с точностью до наоборот. Сергей мычал от наслаждения и попытался сказать что-то тривиальное типа: «Дорогая, мне так хорошо с тобой». Но она закрыла ему рот поцелуем и прошептала: «Молчи! Я знаю, я чувствую... Ну же, бери меня. Я твоя».

Все, что разыгралось потом, было настолько откровенно, без комплексов, без каких-либо табу, по-животному естественно и в то же время по-человечески нежно, страстно и бесконечно, что Сергей понял, что значит умирать от счастья. Он умирал и снова рождался, и в затуманенном сознании спрашивал себя: «Неужели это я и все это – со мной?»

Они занимались любовью каждую ночь, а днем Розита отсыпалась, а Сергей, изможденный, но счастливый, мало что соображая, отсиживал с умным видом положенные восемь часов за рабочим столом, не принося особой пользы компании и начальству.

Он накупил Розите нарядов, косметики и ювелирных украшений, по-купечески не жалея денег. Она встречала его каждый вечер при полном параде и, казалось, привыкла к положению добровольной пленницы, и душа ее была спокойна. Так продолжалось несколько недель, пока, наконец, она не заскучала и не попросила, чтобы он купил ей блондинистый парик и темные очки, чтобы она могла хотя бы поздно вечером выходить на улицу к озеру.

– Мне душно и тошно здесь. Я так больше не могу. Я хочу на воздух, – умоляла она. Это было опасно, но Сергей все же разрешил ей выходить, и сам, как тень, сопровождал ее на прогулках. Однажды они нос к носу столкнулись с Антонио. «Ну, все, – обреченно подумал Сергей. – Сейчас тот ее узнает и конец сказке». Но Антонио посмотрел на Сергея безразлично-вежливым взглядом, пробормотал привычное «хелло!» и прошел восвояси. Ему даже в голову не пришло, что новоявленная блондинка в темных очках (это поздним-то вечером) – его пропавшая жена. А Розита остановилась как вкопанная, пристально взглянула на Антонио сквозь темные очки и еще миг – бросилась бы к нему на шею, но вовремя одумалась.

С тех пор все пошло наперекосяк. Розита больше не наряжалась в купленные Сергеем наряды, не навешивала на себя цепочки и бусы и не встречала Сергея радостным поцелуем. Она дулась, отмалчивалась и чаще всего сидела, вперив отрешенный взгляд в затемненное плотной шторкой окно. Однажды вечером она сказала, что хочет подышать свежим воздухом на балконе. Сергей, уставший от ее капризов и плохого настроения, вышел между тем на задний двор покурить. Когда он вернулся домой, балконная дверь была распахнута настежь. С озера в комнату заползал густой вечерний туман. Розиты нигде не было. Сергей, как безумный, начал бегать по комнатам маленькой квартирки и открывать двери шкафов. «Она ушла в туман...» – мелькнула мысль.

Несколько дней Сергей ходил, как потерянный. Он отдавал себе отчет в том, что другого конца и ждать было нечего, что его сказочная, нереальная любовь должна была как-то оборваться, и только молил бога, чтобы с Розитой все было в порядке, чтобы она каким-то образом добралась до своих родственников во Флориде. А наутро он прочитал в местной газете, что жи-

тель их городка, некий Антонио Х., в припадке ревности зарезал свою молодую красавицу жену и пытался бежать, но его нашли и взяли под стражу. Дальнейшие подробности статьи Сергей читать не стал, просто не смог. Он упрекал себя во всех смертных грехах. В том, что сразу не отправил Розиту к родственникам, что не бросил все и не уехал с ней, куда глаза глядят, что отпустил ее одну на балкон, недоглядел, недолюбил, не спас...

Прошло несколько месяцев. Постепенно боль утраты притупилась. Чтобы больше не травить душу воспоминаниями, Сергей собрал в кучу вещественные доказательства присутствия Розиты у него в доме (ее платья, ожерелья, косметику и парик), завязал в узел, засунул туда камень и зашвырнул на дно озера. Он попрежнему работал по уикендам, перемигивался в супермаркете с молодой хорошенькой негритянкой, бегал кросс в парке и гулял вдоль берега озера.

Наступила осень, вернее, ее лучшая пора – бабье лето. Дикие гуси немного попритихли. Они не так сильно галдели, перестали шипеть на людей, меньше гадили и дружно собирались в более теплые края. Со временем Сергею стало казаться, что вся эта история с Розитой ему лишь пригрезилась. Ведь если здраво поразмыслить, то ничего «такого» произойти не могло, потому что «такого» с ним не может быть никогда.

Однажды вечером, как ни в чем ни бывало, позвонила Наташа. Она простила Сергея, и они долго и оживленно болтали. Потом неожиданно, без звонка, как снег на голову, объявилась Тамара. Жизнь продолжалась – реальная, обыденная, ничем особо не примечательная жизнь.

Нью-Йорк, декабрь 2008 г.

АЛЕКСАНДР СИНДАЛОВСКИЙ

ДОМ НА УГЛУ
(Мини-повесть)

Дому Перельштейнов посвящается

Глава I. Фундаментальные новости дня.

– Кажется, – говорит миссис Джонс, – напротив нас строят дом.

– С чего ты взяла? – реагирует мистер Джонс, не отрываясь от газеты.

– Потому что там, где раньше лежала куча мусора, – объясняет миссис Джонс, – работают люди.

– А куча мусора? – уточняет мистер Джонс, не отрываясь от газеты.

– Что куча мусора? – не понимает миссис Джонс.

– Куча мусора все еще там? – поясняет мистер Джонс, не отрываясь от газеты.

– Там, – соглашается миссис Джонс.

– Так, может, люди у кучи мусора вовсе не работают, а копаются в ней? – предполагает мистер Джонс, не отрываясь от газеты. – Что, впрочем, тоже работа...

Мистер Джонс – муж миссис Джонс и философ.

Есть самозванцы, прикрывающие интеллектуальную наготу фиговым листом образования. И есть философы по праву рождения. Мистер Джонс, несомненно, принадлежит к числу последних.

– По-твоему, я не могу отличить работников от тех, кто копается в мусоре?! – возмущается миссис Джонс. – За кого ты меня принимаешь?

– Почем мне знать? – не отрывается мистер Джонс от газеты. – Ты же путаешь виски с бурбоном.

– Я перепутала их только один раз, – оправдывается миссис Джонс. – Но я способна отличить строителей от нищих!

– Мне не нравится с каким презрением ты произносишь слово «нищие», – журит жену мистер Джонс, не отрываясь от газеты. – Было время, когда бродяжничал и я. Что не помешало тебе втюриться в меня по уши. А спутать строителей с нищими не так сложно, как ты думаешь.

Миссис Джонс обожает мистера Джонса, а к бродягам относится с тем же пиететом, с каким православные – к юродивым. Она прекрасно помнит, как нашла мистера Джонса на улице с кружкой для милостыни и сделала из него человека. Теперь мистер Джонс сидит за газетой, а его внешность вполне соответствует богатству внутреннего содержания. Кружка же стоит на верхней полке кухонного шкафчика и иногда употребляется по хозяйству.

– Если ты не веришь мне, – говорит миссис Джонс, – оторвись от своей газеты и проверь сам.

Но у мистера Джонса нет ни малейшего желания отрываться от газеты. Он предпочитает умозрительный подход к вопросу.

– Что можно строить на куче мусора? – сомневается мистер Джонс. – Разве это подходящий фундамент?

– Рабочие разгребают мусор, – терпеливо объясняет миссис Джонс. – Потом они будут строить.

– Может, тогда это уборщики? – выдвигает новую гипотезу мистер Джонс.

Скоро у миссис Джонс начнется рабочий день. Поэтому ей не терпится, чтобы мистер Джонс все увидел своими глазами и подтвердил ее вывод. Без одобрения мужа миссис Джонс не верит собственным умозаключениям, выходящим за пределы кухни и ее профессии.

Мистер Джонс не любит, когда его торопят. Особенно если он занимается таким ответственным делом. Только что Мистер Джонс закончил смешивать табак двух сортов. Теперь ему предстоит набить самокрутку. Мистер Джонс осторожно ссыпает табак с газеты, внимательно следя за тем, чтобы на пол не просыпалось ни крошки. И вот самокрутка готова. Перед так, как закурить ее, мистер Джонс неохотно подымается с кресла и подходит к окну.

За окном рабочие, действительно, разгребают мусор. Они вооружены лопатами, кирками и тачками. Мистер Джонс долго вращался среди нищих. Он знает, что в распоряжении нищего может оказаться лопата, кирка и даже тачка, но лишь по отдельности. Одновременно этих орудий труда у нищего быть не может.

Мистер Джонс отворачивается от окна и садится обратно в кресло. Он берет самокрутку и нежно гладит ей бока.

– Ну?! – с нетерпением выведывает миссис Джонс.

– Да, – вынужден согласиться ее муж, – это действительно строители.

– Я же говорила! – торжествует миссис Джонс.

– А жаль, – не разделяет ее восторгов мистер Джонс. – Я привык к куче мусора напротив нашего дома.

– Чепуха! Где же это видано, чтобы рядом с церковью валялся мусор? – в который раз расстраивается из-за кучи мусора рядом с церковью миссис Джонс.

– Напротив, – поворачивает мистер Джонс вопрос неожиданным ракурсом, – церковь как раз и должен окружать мусор.

И поскольку миссис Джонс смотрит на него вытаращенными от ужаса глазами, продолжает развивать свою кощунственную мысль:

– По сравнению с хламом храм выглядит только величественнее.

Миссис Джонс отказывается вникать в лабиринт парадоксального мышления мужа.

– Нет, – качает она головой, – мусор рядом с церковью – это позор.

Но Мистер Джонс силен в аргументации. Видимо, его дальним предком был сам Сократ.

– Всякий раз, проходя мимо кучи с мусором, я туда плевал, – напоминает он жене. – А теперь?

Миссис Джонс задумывается.

– Ну, потерпи, немножко, – утешает она мужа. – Вот, закончат работать, будешь снова туда плевать.

Но мистер Джонс умеет просчитывать ситуации на несколько ходов вперед.

– Не на всякий дом плюнешь... – возражает он.

– Что это за такой дом, на который нельзя плюнуть? – недоумевает миссис Джонс. – Не построят же они рядом вторую церковь?

– Вот именно! – подхватывает мистер Джонс. – Кто его знает, что они там еще выстроят? А если тюрьму? – угрюмо пророчествует он. – А тебе лишь бы порадоваться раньше срока, африканский ты сандаль!

– Боже упаси! – крестится миссис Джонс, глядя на церковь. Но на выручку ей приходит здравый смысл. – Зачем им строить тюрьму, если у нас уже есть одна в двух кварталах?

Но Мистер Джонс находит, что возразить и на это.

– Ну, а если почтамт?

Миссис Джонс не знает, что плохого в почтамте. Но мистер Джонс произносит это слово так зловеще, что она не решается вступить с ним в спор. К тому же миссис и мистеру Джонс некому посылать писем.

– А если пивную? – предполагает миссис Джонс не столько для того, чтобы опровергнуть мужа, как из желания ободрить его.

«Если бы выстроили пивную, это было бы неплохо», – мечтает мистер Джонс. Для усиления удовольствия он закуривает самокрутку.

На часах одиннадцать. Сейчас к миссис Джонс придут первые клиенты. Миссис Джонс работает парикмахером. Она коротко стрижет мужчин и заплетает тугие женские лохмы цвета вороного крыла в затейливые ажурные косички. Миссис Джонс гордится своей работой.

– Сейчас придут клиенты, – говорит миссис Джонс, – а ты все куришь.

Мистер Джонс смотрит на жену с изумлением.

– Я не возражаю против твоего курения, – смягчает бестактность миссис Джонс, – но у твоих самокруток такой странный запах... Люди могут подумать дурное.

Молчание мистера Джонса тяжелее упрека. Миссис Джонс чувствует, что забылась.

– Это все из-за строительства нового дома, – перекладывает она ответственность.

«Хорошенькое дело, – сетует мистер Джонс, делая глубокую затяжку и распространяя по дому дурманящий аромат, способный вскружить голову похлеще самой модной стрижки. – Они еще не заложили фундамент, а от этого дома уже столько хлопот...»

Глава II. Адвентисты седьмого дня. Строительство дома на углу Тополиной улицы и Коринфской авеню идет своим чередом. Впрочем, с точки зрения местных жителей, дом не столько строится, пассивно претерпевая насильственный внешний процесс, как органически растет подобно человеческому организму. Возможно, данный взгляд на вещи обуславливается тем, что жители микрорайона больше рожают и делают аборты, нежели строят и разрушают.

Прочно упершись в фундамент, дом тянется к крыше. После того, как он обзавелся скелетом арматуры, ему предстоит обрасти кожей облицовки. Вслед за физическим развитием начнет формироваться сознание дома – интерьер, скрывающийся за фасадом публичной персоны. Но это в будущем. Пока единственно неоспоримым достижением является тот факт, что от кучи мусора, к которой так привязался мистер Джонс, не осталось и следа.

Теперь во время своей ежедневной прогулки мистер Джонс предпочитает ходить по другой стороне Коринфской авеню, хотя ради этого ему приходится лишний раз пересекать проезжую часть. И это говорит о многом, ибо несколько раз в жизни мистер Джонс оказывался на волоске от гибели под колесами автомобиля. Впрочем, то было в давние, бродяжнические, времена – до того как мистера Джонса подобрала миссис Джонс, тогда еще заурядная мисс Джексон. В микрорайоне, где проживают Джонсы, машины водят медленно и с оглядкой, по причине изобилия стопзнаков и нехватки дел. Да и вообще, здесь все делают неспеша. Тем удивительнее скорость, с которой формируется и взрослеет дом.

«Что-то тут не так, – рассуждает мистер Джонс со свойственной ему проницательностью. – Куда они так спешат? Нет, голову даю на отсечение: эти варвары строят государственное учреждение...»

В салоне миссис Джонс со звучным названием «Новаторские Волосяные Дизайны» теперь часто заводят разговор о строительстве на углу.

– Что бы они там ни выстроили, да, хоть триста раз Вавилонскую башню! – басит склонная к гиперболам миссис Хендрикс, – все лучше помойки рядом с церковью.

– Помолишься, бывает, – вторит ей миссис Джонс, – выйдешь из церкви на божий свет, а тут по правую руку такое безобразие!

– Вроде никто не заставляет туда смотреть, – подхватывает миссис Хендрикс, не забывая при этом пристально следить за ходом стрижки, – опять же, твой прелестный домик с палисадником напротив, а взгляд так и приковывается к помойке!

– Точно намагниченный! – пытается найти объяснение загадочному феномену миссис Джонс.

Подруги согласны: отныне материальный мир будет наконец-то приведен к общему знаменателю с духовным.

Вот только сам пастор Уайт младший, также регулярно заглядывающий в экспериментальную лабораторию к миссис Джонс, чтобы поддерживать свою благообразную седую шевелюру в рамках, приличествующих божьему рабу и конфиденту, не разделяет восторгов своей паствы. Во-первых, пастор скорее согласен с мистером Джонсом, что убожество материального мира только подтверждает величие духовного и как нельзя лучше символизируется помойкой, на которой рано или поздно оказываются все самые оболь-

стительные соблазны и соблазнительные безделушки. Но даже не опрометчивое ослабление столь важного для церкви контраста беспокоит Уайта младшего. Что если по соседству строят церковь конкурирующей деноминации? Уж, пастор достаточно долго живет на свете, чтобы знать: схожие заведения по неведомой причине вечно лепятся друг к другу. Так что наиболее вероятно отыскать книжный магазин рядом с другим книжным магазином, а кофейню – напротив как две капли похожей на нее кофейни. Видит бог, пастор совершенно не удивится, если под правым боком его истинной баптистской церкви непрошено возникнет какая-нибудь пресвитерианская, кальвинистская или, чего доброго, адвентистов седьмого дня. С тем же успехом, вернувшись однажды вечером после тяжелого рабочего дня в надежде на заслуженный отдых можно обнаружить у себя на кухне бедного родственника. «А что если католическая? – вкрадчиво искушает пастора подозрительный внутренний голос. – А? А? Что тогда?» Но на это пастор незаметно крестится, и голос пристыжено замолкает. «А и пусть, – убеждает себя Пастор Уайт, наблюдая из окна парикмахерской за суетой рабочих. – Все равно народ будет ходить ко мне!» Но тут внутренний голос принимается нести такую околесицу об изменчивости нравов и падкости на новизну, что пастор бледнеет и невольно прикасается рукой к своей седой голове, дабы утихомирить в ней разброд.

– Что-то не так, пастор, – участливо осведомляется миссис Джонс. – Неужели, я увлеклась и отхватила больше, чем следовало?

– Все так, дитя мое, – спохватывается Уайт младший, остерегающийся афишировать свои сомнения (ничто так не искушает, как колебания тех, кому мы вверили свою жизнь). – И, пожалуйста, еще покороче.

Глава III. Библиотека. – Кажется, ты сегодня в хорошем настроении, – замечает миссис Джонс, с радостью глядя на мужа.

Мистер Джонс молчит, но на его лице добродушная улыбка. Сегодня, проходя мимо строительства, мистер Джонс улучил момент, когда рабочие не смотрели в его сторону, и плюнул туда, где в старые добрые времена лежала куча мусора. Причем, не на периферию, а в самый что ни на есть центр. Мистер Джонс умеет плевать далеко и метко – как и полагается истинному философу. Ибо глубина и охват мысли измеряется наплевательством на все, что не имеет к ней прямого отношения.

Миссис Джонс всегда пристально следит за настроением мужа. В основании ее опрятного и незатейливого мира лежат всего несколько краеугольных камней. Простота залог счастья. Камни имеют следующие названия: работа, цветник, готовка, и главный из них – эмоциональное самочувствие мистера Джонса. Когда последний хандрит (что неизбежно для человека с подобной интеллектуальной конституцией), миссис Джонс не находит себе места, и все остальные столпы ее мироздания оседают под тяжестью бытия: миссис Джонс отхватывает лелеемые клиентами кудри и коки, пересаливает суп и забывает полить цветы. Но когда мистер Джонс в приподнятом состоянии духа, его жена творит парикмахерские, кулинарные и ботанические чудеса.

– Миссис Хендрикс, считает что они строят библиотеку, – врет миссис Джонс, чтобы сделать приятно своему мужу, обожающему читать все, кроме газет.

К сожалению, миссис Джонс просчитывается. Мистер Джонс недолюбливает миссис Хендрикс за то, что она не подает нищим из принципа и не находит нужным это скрывать. «Здоровые лбы! – клеймит нищих миссис Хендрикс. – Смотреть противно».

Миссис Хендрикс уверена в себе и собственной правоте, которую она рассматривает как непосредственное продолжение своей персоны. Цельный и всеми уважаемый человек не может ошибаться. Даже пастор Уайт побаивается Миссис Хендрикс и никогда не вступает с ней в спор. Переспорить миссис Хендрикс не удавалась еще никому. Когда она исчерпывает аргументы – что происходит обычно довольно быстро, потому что аргументов у миссис Хендрикс не больше, чем краеугольных камней счастья у миссис Джонс – в ход пускается известное на весь микрорайон контральто. А спорить миссис Хендрикс обожает даже больше, чем наносить визиты своим подругам. В споре рождается истина. Там же она взрослеет, мужает, стареет и умирает. Но для миссис Хендрикс спор, в первую очередь, – рупор, через который она возглашает истину всем находящимся в зоне слышимости.

При упоминании миссис Хендрикс, у мистера Джонса портится настроение, поднятое ценой меткого плевка.

– Не нужна нам библиотека, – ворчит мистер Джонс вопреки самому себе и спешит сменить тему, чтобы не быть изобличенным в непоследовательности. – И вообще с чего она взяла?

– Ну, как же, – тянет миссис Джонс в целях выгадать время, – ведь от нас до центральной библиотеки можно добраться только на автобусе. А знание должно всегда находиться под рукой.

– Ничего подобного! – раздражается мистер Джонс. – За знание нужно бороться. Его нужно выуживать голыми руками из помойной ямы. А когда оно за углом, грош ему цена!

Миссис Джонс молчит. Она затрудняется продолжать обсуждение на столь абстрактном уровне. Но горечь поражения быстро переходит в гордость за мужа. Боже, до чего умен мистер Джонс!

Метафора помойной ямы наталкивает мистера Джонса на мысли о вполне конкретной помойке на углу Тополиной улицы и Коринфской авеню. По пятам за эйфорией подкрадывается черная меланхолия. «Это что же, – вдруг осознает неутешительность ситуации мистер Джонс, – теперь всегда плевать исподтишка и с оглядкой? Как какой-то мелкий воришка! Это у себя-то дома. Дожили! Настоящая свобода – когда плюешь, не задумываясь, и плевок – такое же естественное отправление, как, скажем, зевок или почесывание. Эх!»

Тут мистер Джонс, увлекшись внутренним монологом, действительно плюет себе под ноги. Миссис Джонс смотрит на него с испугом.

– Что случилось? – спрашивает она мужа, чувствуя за фасадом пустякового поступка напряженную внутреннюю борьбу.

– Так, отхаркнулось, – заметает следы мистер Джонс. – Принеси-ка мне лучше газету.

Глава IV. Обувная фабрика. Есть еще один человек, переживающий по поводу строительства не меньше мистера Джонса и пастора Уайта. Человека зовут Жоржета.

Жоржета ложится за полночь, а встает после полудня. Большую часть своего бодрствования она вышагивает улицы, не считая короткие перерывы на обед и

ужин, и досуг с клиентами. Благодаря ежедневному моциону, несмотря на уже далеко не юный возраст, Жоржете удалось сохранить отменную фигуру, столь необходимую в ее профессии. Хорошая фигура для женщины – это, в первую очередь, орудие труда. Прогулки в дождь и снег закалили иммунитет Жоржеты. Она не болеет никогда, по крайней мере, респираторными заболеваниями, чем очень гордится.

Угол Тополиной и Коринфской – одна из вех маршрута Жоржеты. И дело здесь отнюдь не в помойке или любви поквитаться с обременительным бытом метким плевком. Во-первых, плевки не красят женщин даже ее статуса. Во-вторых, подстерегать клиентов у помойки редко доводит до добра. Не нужно учить Жоржету тому, кого (и что) можно подцепить у груды мусора, даже такой безобидной, какая располагалась на вышеупомянутом углу.

Нет, причина здесь совершенно иная. Тополиная Улица и Коринфская авеню – две основные магистрали микрорайона, богатые потенциальными клиентами, как мелководные реки – рыбой. По Тополиной ездит немало машин на небольшой скорости. На Коринфской находится церковь пастора Уайта. А, как известно, после долгой проповеди и религиозного катарсиса у верующих вновь пробуждается любовь к плотским утехам. Стоит человеку позаботиться о душе, как он тут же чувствует себя вправе уделить внимание телу. Высиживание в церкви – своего рода индульгенция. А без греха, как известно, нет раскаянья.

Таким образом, Жоржета постоянно чередует улицу с авеню, минуя на своем криволинейно-попустительском пути угол их пересечения. Сами по себе исчезновение помойки и присутствие рабочих, уже не раз провожавших Жоржету соловьиным посвистом и долгими испытующими взглядами, нисколько ее не смущали. А огорчил ее следующий инцидент, который Жоржета видела своими округлившимися от ужаса глазами.

Происшествие запомнилось ей короткими предложениями – в точном соответствии с вызванным им прерывистым дыханием и раздробленным восприятием событий. Напротив стройки остановилась полицейская машина. У машины опустилось стекло. Оттуда высунулась рука полицейского. Затем край его фуражки. В целях маскировки Жоржета бросилась к трамвайной остановке. К машине подошел рабочий. Жоржета прижалась спиной к плексигласу и попыталась не дышать. Рабочий о чем-то долго совещался с полицейским. Жоржета испытала потребность в кислороде и начала шумно дышать. У нее был такой расстроенный вид, будто трамвай запаздывал уже на час. Наконец, полицейский сделал приветственный жест и, как показалось Жоржете, пожал рабочему руку. Фуражка спряталась. Стекло поднялось. Машина уехала. Рабочий вразвалку вернулся к своим обязанностям, как может поступить только тот, чья совесть чиста. Жизнь вернулась на круги своя.

Но, как ясно ощутила Жоржета, это была уже совершенно иная жизнь, изуродованная преследованиями и травлей. Понимание возникло не в голове, но разлилось ядом по всему телу: на углу строился полицейский участок...

За время наблюдения Жоржета вспотела настолько, что ей пришлось вернуться домой для восстановления профессиональной свежести. Но даже после принятия душа о возобновлении рабочего дня, не могло быть и речи. Несколько дней Жоржета провела в уединении, судьба нанесла ей coup de grace. Так уж бывает в жизни: дурные вести не ходят по одиночке – они рыскают по округе стаями. Если встретил на своем пути одну такую, значит – это разведчица. А вот и подкрепление.

Поскольку теперь Жоржета держалась как можно дальше от угла Тополиной и Коринфской, она ненароком забрела на чужую территорию, курируемую конкурентками. На счастье, она столкнулась с хорошей знакомой по имени Николь. Когда Жоржета, не способная более держать язык за зубами и желавшая оправдать свое бесцеремонное вторжение, рассказала Николь о постигшей ее участи, та подняла подругу на смех. Какой полицейский участок, если в полумиле уже располагается магистрат № XYZ! Или Жоржета там никогда не бывала? Ах, нет?! Так и на то есть основание: здешние полицейские смотрят на Жоржету и Николь сквозь пальцы, облаченные в белые перчатки, и не желают марать о них руки. Так чего она испугалась? И потом: всем известно, что на углу Тополиной и Коринфской строят никакой не участок, а совсем напротив, – массажный салон.

От радости Жоржета поцеловала Николь, чего обычно не делала никогда, сберегая ласки для тех, кто за них платит. И только по дороге домой, гордо проходя мимо угла, Жоржета постигла истинный смысл столь беззаботно произнесенного Николь приговора. На углу строился *массажный салон*...

В голове Жоржеты раскручивается неутешительная цепочка грядущих событий. Построят, *так называемый*, салон с броским фасадом. Понавезут туда хорошеньких азиаток. Попрут в салон местные лоботрясы за расслабляющим массажем. Эх, прощай так и не увидевшая апогея славы карьера Жоржеты! Придется ей устраиваться на обувную фабрику, где подвизается ее двоюродная сестра.

Фабричный день с восьми до пяти. И нет в нем места для бесцельного полета фантазии и непритязательных радостей тела. А кто пойдет наперекор конвейеру – будет беспощадно растоптан подкованным сапогом индустриального империализма.

Глава V. Азиатское нашествие. В салоне миссис Джонс стригутся все без исключения жители микрорайона. Делает там свою роскошную прическу, призванную пленять самцов и Жоржета.

Миссис Джонс прикасается к пышным волосам Жоржеты с опаской. И вовсе не из-за брезгливости, отнюдь миссис Джонс не свойственной. Нет, так обращаются со всем таинственным и находящимся за гранью привычного. Жоржета – загадка, глоток запретной свободы, которой миссис Джонс не желает для себя, но которая все равно гипнотически влечет ее.

Жоржета, для которой элементарные знания психологии – залог выживания, прекрасно разбирается в людях. Она знает, с кем можно поделиться сокровенным, и в чьем присутствии стоит придержать язык за зубами и состроить благообразную мину. Когда Жоржета видит вдалеке миссис Хендрикс, она благоразумно переходит на другую сторону дороги. Иначе ей придется выслушать утомительную лекцию о пользе добродетели и пагубности греха. Сама по себе лекция безвредна и даже занимательна. Жоржета интересуется альтернативными взглядами на природу вещей. Плюс у нее нет недостатка в свободном времени, которое нужно как-то скоротать. Но что если рядом

окажется перспективный джентльмен? Кого соблазнит отчитываемая женщина?

Жоржета делится с миссис Джонс своими печалями, и та покорно ее слушает.

– Зачем нам иностранцы? – сетует Жоржета. – Разве мы плохо без них живем? Особенно эти азиаты... А уж какие они трудолюбивые! Так немудрено и без работы остаться.

Миссис Джонс не боится азиатов. Она знает твердо: никакая азиатка не сможет сманить ее лояльную клиентуру. Но трудовая деятельность Жоржеты зиждется на эмоциях и «драйвах» – антагонистичных лояльности. Миссис Джонс понимает это и слушает Жоржету, не перебивая.

– Ведь обходились же мы без них, – апеллирует Жоржета к здравому смыслу миссис Джонс.

– Обходились, – уклончиво соглашается миссис Джонс, не склонная открыто высказываться по политическим вопросам, не проконсультировавшись предварительно с мужем, и спешит сменить тему. – Челку подлиннее?

Жоржета кивает. Челка должна быть дремучей, как тропический лес. А под ней – знойно-палящие глаза тигрицы, научившейся мурлыкать по скупой мужской команде. Жоржета изучает себя в зеркале. Она одновременно нравится и отталкивает себя. Если бы Жоржета была мужчиной, она переспала бы с собой, но не осталась жить. Работа Жоржеты вполне соответствует ее заниженной самооценке, причиной чему, несомненно, многовековое рабство.

Жоржета погружается в безрадостные думы и замолкает. Когда она сделала поспешный вывод о полицейском участке, в глубине души Жоржетой владели противоречивые эмоции. Полицейские внушают трепет, но, вместе с тем, импонируют ей внешним лоском и источаемой властью. Попасться таким в руки – одновременно больно и сладостно. Но новость о массажном салоне категорически исключает возможность самоутешения. Разве может Жоржета сравниться с послушными и чистоплотными азиатками, с детства вымуштрованными в искусстве услаждать мужчин? У Жоржеты неуправляемый темперамент. Если что, она, не задумываясь, лягнет ногой и швырнет честно заработанные деньги в лицо оскорбителя. У Жоржеты обостренное чувство справедливости и плохие нервы. А также багаж лет, который никто больше не желает отождествлять с опытом. Почему судьба так несправедлива к ней?!

Миссис Джонс чувствует неладное. Челка Жоржеты трясется, вырываясь из-под благосклонных к ней ножниц, как испуганный ребенок, не ведающий собственного блага. Ошибки быть не может: Жоржета плачет. Миссис Джонс теряется. Она хочет утешить Жоржету, но не знает как.

– Да... – слова даются миссис Джонс с трудом. – От этих азиатов одни неприятности...

Миссис Джонс краснеет, потому что не привыкла врать. Но как это часто случается, стыд толкает ее на путь еще большего бесстыдства.

– Возвращались бы лучше назад в свою Азию, – произносит миссис Джонс сквозь зубы чужим голосом.

Жоржета удивлена. Жоржета обрадована. Сочувствие для женщины важнее устранения причины расстройства. Жоржета улыбается миссис Джонс и уходит, не расплатившись.

Чем черт не шутит? Может, и ее возьмут работать в азиатский салон ради экзотики?

Глава VI. Энтропия. А стройка продолжается, и становится ясно... Нет, ничего не понятно мистеру Джонсу, кроме одного: необратимости ситуации. Чем бы ни был дом на углу, он уже не превратится в неорганизованную кучу мусора – в силу закона упрямого противостояния человека естественному процессу энтропии. А если все-таки и обратится со временем – да, с годами так оно, разумеется, и произойдет – доживет ли мистер Джонс до этого дня? Как и всякий истинный философ, мистер Джонс доводит цепочку рассуждений до неизбежного умозаключения: ностальгия неуместна, ибо неплодотворна. Она подменяет борьбу иллюзорностью ожидания.

Мистер Джонс не любит бороться. Но и не ждет подарков от судьбы. Когда становилось плохо, он вез свою набитую барахлом тележку туда, где, по его расчетам, могло быть лучше. А если в новом месте оказывалось так же скверно, он обводил взглядом горизонт и снова отправлялся в путь. Мистер Джонс – наблюдатель. Но душевный комфорт наблюдателя зависит от точки и угла, под которым ведется наблюдение. Отсюда склонность мистера Джонса к смене наблюдательных позиций.

Мистер Джонс боится поддаться ностальгии. Мистер Джонс знает: он предрасположен к этому недугу, как иной – в силу наследственности и конституции – к легочным заболеваниям. Иногда он тайком достает с верхней полки кухонного шкафчика свою испытанную в несчастьях кружку, одевается в лохмотья, уже не раз побывавшие по настоянию миссис Джонс в химчистке, и выходит посмотреть мир. Изменился ли последний за время, пока мистер Джонс примерял на себя мировоззрение самодовольного обывателя?

Мистер Джонс уходит туда, где его не знают, садится на землю и вытягивает руку с кружкой. В кружку заранее насыпана мелочь. Мистер Джонс громко трясет ею, чтобы действовать на нервы, а через них на совесть горожан.

«Подайте милостыню на пропитание и марихуану», – ерничает мистер Джонс нарочито гнусавым голосом, а сам следит за реакцией прохожих.

Кто бросает мистеру Джонсу монетку. Кто безразлично проходит мимо. Но и те, и другие повинуются привычке. Никто не вслушивается в интонацию его мольбы и значение слов.

«Значит, все по-прежнему», – успокаивает себя мистер Джонс и возвращается домой.

Но сегодня у мистера Джонса иные планы. Он делает маскировочный круг и направляется к стройке. Мистер Джонс горбится и хромает, чтобы остаться неузнанным. На счастье, улица практически пуста. И все равно из-за работы строителей на ней чувствуется непривычное оживление.

Мистер Джонс устраивается на углу, прямо на виду у рабочих. Чтобы произвести удручающее впечатление, он разговаривает сам с собой, чередуя монотонное бормотание с безобразными выкриками. У рабочих нет иного выхода, как принять его за шизофреника. «Вот и посмотрим, – злорадствует мистер Джонс, – чего они стоят».

Но строители не обращают на мистера Джонса внимания. Один из них даже отрывается от работы, чтобы бросить в его кружку милостыню.

Мистер Джонс не верит своим глазам. Он чувствует себя посрамленным. «Ну, конечно, они решили избежать скандала, – утешает себя он. – Трусы!»

Мистер Джонс не знает слова энтропия. Но он знаком с сутью этого понятия. Энтропия – это коррупция нравов и распад духовности. Но на всякое действие отыскивается равное по силе противодействие. Гордость не позволяет человеку смириться с хаосом. Она вынуждает его к демонстративным жестам доблести и чести. Мистер Джонс не верит в искренность благородных поступков. В благородстве ему чудится притворство и подсознательный страх оказаться с глазу на глаз со своим истинным «я». «Люди равнодушны, – философствует мистер Джонс. – И только страх собственного равнодушия побуждает их к притворному милосердию».

Мистер Джонс водружает кружку на верхнюю полку кухонного шкафчика. А вместе с нею на привычные полки возвращаются представления мистера Джонса о неизменном в своей сути мире.

Глава VII. Цветы. Когда миссис Джонс не занята укорачиванием волос жителей микрорайона, она выращивает и подравнивает цветы в своем палисаднике. Больше чем палисадником, миссис Джонс гордится только своим мужем.

Миссис Джонс не любит вспоминать о временах, когда она была заурядной мисс Джексон, и уж тем более, предпочитает умалчивать о том коротком и случайном периоде, когда знакомые обращались к ней миссис Блэк. Первый муж миссис Джонс работал на заводе, и его глаза оставались слепыми к ненавязчивому очарованию цветов. Мистер Джонс не обращает на палисадник особого внимания и нередко плюет в клумбы, доведенные его женой до уровня высокого искусства. Но, во-первых, слюна не вредит растительным процессам, а во-вторых, миссис Джонс чувствует, что цветы не оставляют ее мужа равнодушным, хоть он и пытается казаться таковым. Однажды она подглядела, как мистер Джонс, уверенный, что за ним не наблюдают, нагнулся над клумбой и понюхал незабудку. Заметьте: именно неброскую незабудку, а не, скажем, вульгарный красный мак! Миссис Джонс не сомневается, что в порыве гнева мистер Джонс смог бы учинить в палисаднике полный разгром. Но уже один тот факт, что он обрушил бы свою ярость на цветы, а не на пошлую посуду, делают мистеру Джонсу честь в глазах его жены.

Миссис Джонс знает все цветы по именам. Поливая их и расправляя им листья, миссис Джонс общается с цветами на детском языке. Она старается не только для себя. Пусть радость цветения передастся соседям и прохожим. А иной, сумрачно бредя мимо палисадника под бременем забот, вдруг почувствует, как невидимая ласковая рука приподняла с его сердца груз.

И только одно обстоятельство печалило миссис Джонс до недавних пор: куча мусора, нахально развалившаяся напротив ее опрятного сада и взирающая на труды миссис Джонс с апатией ее первого мужа.

Поэтому теперь, когда от кучи не осталось и следа, а на ее месте рабочие старательно возводят непонятное по своему предназначению сооружение, у миссис Джонс открылось второе дыхание. Она возится с послушными цветами и тихо напевает себе под нос шлягеры двадцатилетней давности. Миссис Джонс мечтает о уже недалеком будущем, когда перед новым домом разобьют сад. И вот у ее цветов появится достойная компания. Каждое утро будет начинаться пением птиц и красочной цветочной перекличкой. И другая миссис Джонс станет поливать клумбы напротив, перебрасываясь с миссис Джонс любезностями и сплетнями. В своих мечтах миссис Джонс не чувствует зависти. Ее благоухающее сокровище вне конкуренции.

Чтобы остальным жилось привольнее, миссис Джонс аккуратно срезает несколько достигших апофеоза цветков и несет их домой. Разрыв с общиной идет цветам на пользу. Индивидуальность достигает максимального эффекта вдалеке от толпы, в элегантной вазе. Слегка взъерошив букет, точно модную стрижку, и, тем самым, придав ему ауру спонтанности, миссис Джонс подвигает вазу вплотную к мистеру Джонсу, чтобы украсить его утро.

Мистер Джонс опасливо косится на букет.

– Ты не забыла, что у меня аллергия на цветение? – недовольно напоминает он своей жене.

«Какой он милый, – улыбается внутри миссис Джонс, – и как старается, чтобы другие не заподозрили его в сентиментальности. А все от скромности!»

Глава VIII. Мажорный аккорд. Тем временем, на углу Тополиной и Коринфской продолжается чудесная метаморфоза. И вот уже не абстрактная стройка, а строящийся дом. Он еще далек от завершения, но, подобно Булгаковской квартире, ведет в воображении невольных наблюдателей интенсивную жизнь. Он меняет форму и окраску, разрастается до пропорций, превышающих отведенный ему участок, и вновь сжимается до прежних размеров. Дом дышит через рот дверного проема. Пытливо смотрит глазницами незастекленных окон. Его сердце бьется с грохотом отбойных молотков. Его остов лежит с неподвижностью мертвеца, но кишит хлопотливой жизнью реаниматоров, обязавшихся привести его в чувство.

Во главе реаниматоров главный хирург – высокий моложавый прораб с профессорской бородкой и блеском первопроходца в темных глазах. Но самый поразительный факт – прораб белый.

Было бы преувеличением утверждать, что угол Тополиной и Коринфской никогда не видал белых людей. Нет, белые люди периодически здесь возникают, но вскоре бесследно исчезают по своим неотложным и загадочным делам. Они пролетают над микрорайоном, словно мигрирующие птицы, чьи страхи севернее, а чаянья южнее. Прораб же уходит в пять вечера и возвращается в восемь утра.

Вскоре распространяется слух, что прораб – никакой не прораб, а будущий владелец нового дома. Одни говорят, что он итальянец. Другие – грек. Новость действует на Жоржету самым окрыляющим образом. Похоже, Николь наврала ей, чтобы сделать больно. И сутенеру понятно, что ни итальянец, ни, тем более, грек не может быть хозяином азиатского массажного салона. Во главе подобного заведения должна стоять грузная мадам со скверным характером и волосатой бородавкой. Бородка же прораба вызывает у Жоржеты самые приятные ассоциации, хотя она никогда не имела дел с бородатыми мужчинами. «Возможно ли такое?» – сокрушается Жоржета по поводу этого недавно обнаруженного упущения.

Теперь она все чаще торчит на углу, рискуя потерять клиентуру из-за узости радиуса. Чтобы оправдать свой непрофессионализм, Жоржета выдумывает самые невероятные предлоги. С некоторых пор, церковь притягивает Жоржету с неумолимой силой, видимо, объ-

ясняющейся сознанием собственной грешности и жаждой искупления. Притяжение настолько велико, что Жоржета не может вовремя справиться с силой инерции и неизменно оказывается у стройки.

Рабочие ухмыляются Жоржете и позволяют себе сомнительные шутки в ее адрес. Двусмысленные остроты не смущают Жоржету, но она опасается, что, заметив упавшую производительность и докопавшись до ее причин, прораб погонит Жоржету прочь. Но прораб смотрит на отвлекающий своей оголенностью фактор сквозь пальцы. А пальцы у прораба длинные и тонкие, такие должны прикасаться к струнам, а не кирпичам. И кажется уже прикоснулись – к струнам ее души.

И вот душа Жоржеты исторгает причудливый аккорд, способный озадачить самых изощренных ценителей музыки. Судя по расстановке пальцев, аккорд должен быть мажорным. Но поскольку к фортепиано ее души давно не притрагивалась рука настройщика, в нем звучит чуждый весеннему жанру диссонанс.

Впрочем, Жоржета не чувствует фальши, ибо фальшь, как и истина, познается в сравнении, а Жоржете сравнивать не с чем. Лишена она и абсолютного слуха. Поэтому Жоржета просто счастлива. И это нетребовательное счастье ассоциируется у нее с углом, кирпичами, известкой, бетономешалкой и порхающей в угаре деятельности бородкой.

Глава IX. Бунт с закрытым ртом. Куда бы теперь ни плевал мистер Джонс, он вспоминает о пересечении Тополиной и Коринфской, где ему плевать воспрещается. Казалось бы, сколько в этом мире возможностей для безнаказанных плевков! Но мистеру Джонсу все не забыть о куче мусора, на месте которой возводится здание. А плевки в иные точки пространства не доставляют ему больше никакой радости.

Мистер Джонс проходит мимо стройки, и слюна сама самой подкатывает волной к нёбу, требуя освобождения. Мистер Джонс сглатывает, и по его телу растекается горькая отрава самоограничения.

Мистер Джонс видит, как рабочие во время перекура сплевывают себе под ноги. Он и сам мог бы последовать их примеру. Но мистер Джонс знает: нельзя дважды плюнуть в одну и ту же реку. Прошедшего не вернуть. А ностальгически плевать ему вслед – утеха для малодушных.

Для кого-то это новый дом, а для мистера Джонса – камень преткновения. Кость, безвылазно застрявшая в горле и превратившая незаметный для большинства глотательный рефлекс в сущую моральную пытку.

«Нужно выкинуть из головы! – увещевает себя мистер Джонс. – Научиться не замечать. Забыть. Преодолеть. Двигаться дальше. Пойти домой, скрутить самокрутку, забраться с кружкой к черту на рога, в богатый белый район, насмерть перепугать тамошних жителей, быть попертым полицейскими, напиться, провести ночь под забором, простудиться, подхватить воспаление легких. Все что угодно, только не этот бунт с заткнутым ртом, обращающийся против бунтаря».

Вдруг в голову мистера Джонса приходит неожиданная мысль. Может, ему развестись с миссис Джонс? Разве не ради нее он вынужден примиряться с накладываемыми цивилизацией запретами? Если бы не миссис Джонс, он без отлагательств подошел бы к корыту с цементом и плюнул в самый центр. После чего сложил бы руки на груди и смело посмотрел прорабу в глаза. Мол, что будем делать теперь?

Но мистер Джонс не решается подвести свою жену. Не хочет сделать из нее посмешище – женщину, чей муж оплевывает частные резиденции или – что не только позорно, но и не безопасно – государственные учреждения. Разведясь с миссис Джонс, он будет отвечать только за себя. А сам по себе мистер Джонс не боится ни позора, ни опасностей. Потому что позора боятся дураки, а опасностей – те, кто лишен дара философского мышления.

Вернувшись домой, мистер Джонс не здоровается со своей женой и не смотрит на нее, чтобы скопить решимость для разрыва. Он избегает думать о судьбе жены, но хочет верить, что с ней все будет в порядке. Теперь он ждет малейшего повода, чтобы сообщить о неотвратимом. Мистер Джонс закуривает самокрутку и демонстративно выдыхает дым густой струей.

– Вот тебе пепельница, – пододвигает миссис Джонс пепельницу мужу.

Мистер Джонс отпихивает пепельницу локтем, и стряхивает пепел на пол. Но миссис Джонс не придает его непослушанию значения.

– Встретила сегодня миссис Хендрикс, – принимается рассказывать она о своем дне.

«Сейчас она похвалит миссис Хендрикс, – мрачно предрекает мистер Джонс, – и я пошлю их обеих к черту».

– Какая все-таки ограниченная женщина!

– Это в чем же она ограниченная? – обижается за обманутые ожидания мистер Джонс.

– Ограниченная, – настаивает миссис Джонс. – Мне с ней тяжело последнее время.

– А до этого? – провоцирует мистер Джонс.

– Всегда было тяжело, – сознается миссис Джонс. – Но я старалась себе в этом не признаваться.

– Это почему же? – нащупывает слабые точки мистер Джонс.

Но у миссис Джонс нет секретов от мужа.

– Из малодушия, – отвечает она.

Мистер Джонс вскакивает из-за стола.

– Сама ты малодушная! – кричит он оторопевшей жене.

Наступает затишье перед бурей. У мистера Джонса появился повод сказать миссис Джонс все, что он думает о ней, ее салоне, кухне и палисаднике. Но в силу неисповедимых метеорологических законов буря проходит стороной. Мистер Джонс ощущает стыд и отвращение к самому себе.

Мистер Джонс чувствует себя оплеванным.

Глава X. Диспансер. Что-то слишком уж быстро строят дом на углу. И это при нынешней-то экономической ситуации в стране! В этой жизни только неприятности возникают на свет с проворностью дождевиков. Хорошее же рождается медленно и нерешительно – как обнажается стриптизерша.

Ни дать, ни взять – строят на углу государственное учреждение для подавления свободы личности, которой так дорожат местные жители. Оттого и усердствуют строители. Будет казенный дом бельмом на глазу микрорайона. Встанет он угрюмым часовым с каменной маской лица и немигающим всевидящим оком окон. Вроде ничего не изменилось, а все не так. И вот ты уже в своем доме – как в гостях.

Так думает мистер Джонс и ощущает Жоржета, совершенно сбитая с толку строительными работами и смутными чувствами к прорабу, свившими в ее маленькой голове гнездо головной боли. «Если не поли-

цейский участок, но и не массажный дом, тогда что? – теряется в догадках привыкшая мыслить крайностями Жоржета. – Может, венерологический диспансер?»

Эта выпрыгнувшая из бессознательного гипотеза застает Жоржету врасплох. Жоржета боится венерологических диспансеров гораздо больше венерических заболеваний. О заболевании можно не догадываться или его отрицать, но пребывание в диспансере делает его окончательным и позорным. Сердце Жоржеты замирает, чтобы тут же пуститься вскачь. Вместе с кровью гипотеза попадает в отдаленные уголки тела. Желудок Жоржеты сжимается, а колени начинают подгибаться. Рабочий день опять пошел насмарку.

По дороге домой Жоржета встречает мистера Джонса. Как и все жители микрорайона, за исключением миссис Хендрикс, Жоржета относится к мистеру Джонсу с большим почтением. Поэтому, когда тот осведомляется о причине ее расстройства, Жоржета открывает ему душу.

– Как же мне не грустить, мистер Джонс, – говорит Жоржета, – если на углу строится венерологический диспансер?

– Какая чепуха! – вразумляет ее мистер Джонс. – Это совершенно невозможно, потому что исключено.

Его отповедь звучит настолько убедительно, что Жоржета успокаивается. Но ее смятение передается мистер Джонсу. «То, что венерологический, конечно, вряд ли, – взвешивает он. – А вот что если наркологический? Это был бы номер...»

С момента беседы с мистером Джонсом, дела Жоржеты начинают идти на поправку. На следующий день ее не узнать: Жоржета порхает по улице с упоением первой весенней бабочки. Ее лицо сияет улыбкой. Сегодня такой исключительный день, что даже если бы Жоржете повстречалась миссис Хендрикс, она не перебежала бы на другую сторону улицы, но поделилась с ней своим счастьем.

Счастье Жоржеты состоит в следующем: менее получаса назад прораб – да, тот самый импозантный прораб с фигурой легкого атлета и бородкой университетского профессора – отвесил ей комплимент. Да такой, что Жоржета аж просела под его весом. Жоржета неторопливо приближалась к стройке, привычно повиливая бедрами и крутя задом. Хотя ее глаза уже пожирали прораба, походка Жоржеты была механической, а вовсе не вдохновленной предстоящей встречей. Но как часто случается в жизни, прораб обратил внимание именно на походку, а не на светящиеся чувством глаза. «Я завидую будущему хозяину этого дома, – галантно произнес прораб, – что у него будет такая соседка».

Вскоре о комплименте узнает весь микрорайон и принимается живо его обсуждать. Никто, кроме Жоржеты, не воспринимает его буквальный смысл всерьез, но все концентрируются на скрытом семиотическом пласте. Ибо из комплимента прораба явствуют, по меньшей мере, две вещи:

а) Прораб и будущий хозяин – не одно и то же лицо.

б) У нового дома будет хозяин, следовательно, дом – частный.

Придя к этим выводам, жители удовлетворенно кивают головами. Счастье Жоржеты достигает накала эйфории: мало того, что она удостоилась внимания прораба – лица блистательного и наделенного исключительными полномочиями, полученный Жоржетой комплимент вызвал интерес окружающих и оказался источником стратегической информации!

Глава XI. Chapter 11. Несмотря на плачевное состояние экономики, данная глава (известная также под названием Chapter 11), к счастью, не имеет к нашим героям – ни к жителям микрорайона, ни, тем более, владельцам строящегося дома – никакого отношения. Даже Жоржет и та – на полной самоокупаемости.

А посему мы пропускаем ее.

Глава XII. Частная резиденция. Тягуче – густым киселем – течет время на углу Тополиной и Коринфской. Или же так: скупо и неохотно – занудными каплями крана с износившейся прокладкой. На вскидку – ничего тут не происходит и произойти не может, поскольку заведенный прядок незримо сопротивляется новшествам и, уж тем паче, нововведениям, разбивающимся об него, как волны о скалу. Кажется: велика и всесильна волна, но вот напоролась на камень и сникла.

Миссис Джонс стрижет мужчин, чья длина волос начинает причинять им неудобства практического порядка, и женщин, чья самооценка зависит от регулярных изменений облика и окраски шевелюры. Мистер Джонс скручивает самокрутки и учится плевать умозрительно – искусство, в котором он уже достиг значительного прогресса. Умозрительные плевки хороши уже тем, что – вне зависимости от цели и траектории – не подпадают под уголовную статью «хулиганство». Пастор Уайт-младший читает проповеди, в которых тщательно избегает Сциллы мирской суетности и Харибды религиозного фанатизма (дабы не искушать прихожан непосильным). Миссис Хендрикс бдительно следит за порядком. Жоржета ублажает тех, кто готов заплатить за это скромную сумму, превращающуюся после непродолжительной торговли в смехотворную.

Но чему суждено случиться все-таки находит узкую лазейку в монолитности повседневности. Так что потом ума не приложишь: как же это все-таки произошло? И, главное, когда?

Вот и стройка на углу исподволь превратилась в дом. Да, какой! Не дом – игрушка. Таких в микрорайоне и не припомнят. Разве что пастор Уайт рассказывал, что когда гостил у тети в пригороде под Вашингтоном, видел похожий проездом. У дома огромные – до пола – окна. Да и сам он в три раза больше домов вокруг. Крыша на нем черепичная – шея затекает от неправдоподобности. А штукатурка и вовсе какая-то особенная, причем, не только на вид. Миссис Хендрикс, проходя мимо, трогала ее пальцем. И хоть рука миссис Хендрикс, как обычно, была в перчатке – сколько развелось повсюду микробов! – миссис Хендрикс почувствовала: и на ощупь штукатурка та – да не та. Даже мелового следа на перчатке не оставила. Миссис Хендрикс жаждет постичь секрет штукатурки. Как знать, может, не за горой тот день, когда и у нее будет такая, только, разумеется, другого оттенка.

Насколько все-таки недальновиден человек! Как все радовались, что дом – частная резиденция. А тут приуныли: ну, хорошо, частная-то, конечно, частная, да чья именно? И как в ней станут жить? Нет, уж лучше бы дом был казенным. По крайней мере, повесили бы на нем вывеску, и сразу бы стало понятно, что и зачем. А даже если без вывески, кого этим обманешь: сверхсекретное учреждение государственного значения, к простым людям отношения не имеющее. А что делать теперь?

Ровно неделю дом пустует, словно надсмехается над любопытством местных жителей: мол, хотите знать подробности? Ну, уж, нет: придется потерпеть! Может, дом и игрушка, но какая-то не детская... Уж, слишком серьезно и высокомерно смотрится он на фоне соседних домишек. Ох, уж этот сравнительный подход к познанию действительности. Казалось, жили местные лучше других: ведь в паре кварталов от Тополиной и Коринфской и вовсе хибары – смотреть противно, если бы не чувство глубокого морального удовлетворения: все-таки достигли в жизни такого, что не каждому дано. И вдруг выстроил некто дворец и поставил всю местную архитектуру – а с ней и мироощущение – с ног на голову. И зачем, спрашивается, нормальному человеку жить в таком огромном доме? Ведь в нем самого себя потеряешь!

– А что если большая семья? – становится на защиту еще не идентифицированных соседей миссис Джонс.

– Большие семьи в таких домах не живут, – резонно возражает ей муж. – Разве ты не замечала: чем больше семья, тем меньше жилплощади на душу?

Миссис Джонс копается в личном прошлом на предмет примеров. И действительно, мистер Джонс, как всегда, прав. Чрезмерная плодовитость то ли ведет к бедности, то ли неизменно сопутствует ей.

– Я не удивлюсь, – недоброжелательно (но не без уважения) добавляет мистер Джонс, – если по бокам крыльца вскоре поставят двух крылатых львов...

Миссис Джонс пытается представить крылатых львов, но ее подводит воображение. То у львов не хватает гривы, то лап, то самих крыльев. Миссис Джонс способна представить этих нездешних мифических животных только по кускам.

С тех пор, как строительство закончилось, и прораб пропал так же внезапно и бесповоротно, как исчезает все отжившее свой срок, Жоржета утратила к дому интерес. Угол Тополиной и Коринфской стал тем, чем всегда являлся: углом вышеупомянутых улицы и авеню.

У пастора Уайта младшего опять тревожно на душе. Что если в новом здании откроют все-таки домашнюю еретическую церковь? Пастор слышал о таких частных заведениях, пытающихся конкурировать с общепризнанными концернами. И пусть они долго не протягивают, все же способны причинить профессионалам немало досадных хлопот.

А дом смотрит поверх голов холодными, незашторенными глазами, и в его взгляде сквозит безразличие самодостаточности и стоический вызов провидению. Как понимает всякий, дом молчит вовсе не потому, что ему нечего сказать. Вероятно, он все не может свыкнуться с мыслью, что ему придется жить не в Beverly Hills или Miami Beach, но там, куда занесла его нелепая судьба.

Глава XIII. Кнопки. Но вот наступает день переезда. К новому дому подъезжает крохотный грузовик с бойкой надписью: «Перевези себя сам». Грузовик несоразмерен дому. Он напоминает муху, которая по ошибке стукается об оконное стекло и после нескольких безуспешных и оттого обидных попыток улетает восвояси. Но грузовик не уезжает. Напротив, из него выходят люди и начинают прилаживать мостки. Ошибки быть не может: в новый дом въезжают новые хозяева.

Жители окрестных домов – в их числе семья Джонсов – занимают наблюдательные позиции у окон. Они стараются быть незаметными, но прозрачные тюлевые занавески ощутимо колышутся от их взволнованного дыхания. Пастор Уайт-младший наклеивает на церковную доску объявлений афишу о новой проповеди, посвященной вреде интоксикации. По неведомой причине листок афиши отказывается быть распятым. Руки не слушаются пастора. То из них вываливаются кнопки, то срывается сам листок и плавно покачивающимися осенними движениями падает под ноги. Уайт младший, не торопясь, наклоняется за листком и теряет кнопку. Наверное, кнопка куда-то закатилась. Ох, уж эта потрескавшаяся лестница, исправно подставлявшая правые и левые щеки своих ступеней под ноги прихожан! Лестница давно нуждается в ремонте. А пока пастор ищет кнопку и, будучи человеком немолодым, вскоре начинает испытывать потребность в отдыхе и садится на стул, который оказывается случайно развернутым к новому дому. Конечно, пастор предпочел бы сидеть с другой стороны, с видом на центр города, а не на муравьиную суету переезда. Но, с другой стороны, человек религиозный должен уметь смиряться с обстоятельствами. Досадные мелочи – тоже испытания, из которых складывается тернистый путь самоотречения и аскезы. Пастор снисходительно наблюдает за вносом мебели и размышляет о преходящем и вечном.

А переезд проходит необычно. Ибо разгружающих больше, чем вещей. Как будто перевозят не вещи, а людей. Некоторые идут с мелкими пакетами в руках. Другие накидываются вчетвером на предмет, с которым без труда могли бы справиться двое, отчего у предмета делается жалкий вид. Хватает и руководителей, дающих, в силу своей избыточности, противоречивые ЦУ. В общем, не разгрузка мебели, а какая-то символическая демонстрация против установленного порядка вещей. Да, и грузчики какие-то нетипичные. В основном, молодые и, судя по телосложению, не зарабатывающие на жизнь физическим трудом. А работают они – из рук вон. Перетащат по стулу и тут же закуривают. А кто и прикладывается к фляге. И самое странное: все как один – белые.

Миссис Джонс вопросительно смотрит на мистера Джонса. Мистер Джонс невозмутимо пожимает плечами: он видел в жизни и не такое.

Жоржета ходит взад-вперед по Коринфской авеню. Потом сворачивает на Тополиную улицу и снова возвращается на Коринфскую. У Жоржеты настолько сосредоточенный вид, что потенциальные клиенты не решаются ее окликнуть. Проходя по Коринфской, Жоржета сталкивается нос к носу с миссис Хендрикс. Но внимание обеих нацелено на дом, у крыльца которого продолжается столпотворение. Факт встречи остается незамеченным.

Пастор снова принимается за афишу. И снова у него валятся из рук кнопки, которые так трудно искать в потрескавшихся камнях ступеней. И снова пастор садится передохнуть на стул, который он забыл повернуть в сторону центра города, где силуэты далеких небоскребов наводят на мысли о возвышенном.

Тем временем, в новый дом начинают заносить фортепиано.

– Что они несут? – в голосе Миссис Джонс сладострастная дрожь ужаса.

Мистер Джонс пожимает плечами. С некоторых пор он взял на вооружение этот самый философский из жестов, означающий примерно следующее: да, поло-

жим, я знаю, что ничего не знаю; но ведь, с другой стороны, не очень-то и хотелось!

– А ведь это рояль! – еще не до конца верит своим глазам миссис Джонс. – Господи, где же я последний раз видела рояль? – теряется она в сумрачном лабиринте собственной памяти.

«Какой странный комод, – думает между тем Жоржета, неторопливо сворачивая с Коринфской на Тополиную. – Интересно, что они там будут хранить?»

Видно, с транспортировкой фортепиано возникли непредвиденные осложнения. Фортепиано накреняется Пизанской башней, но в последний момент умудряется восстановить динамический музыкальный баланс. Вместо мажорного аккорда слышна смачная неанглийская ругань, должно быть, свидетельствующая об облегчении.

– Иностранцы?.. – брови миссис Джонс пытаются вспорхнуть вверх от любопытства, но их тут же осаживает прищур недоверчивости.

Мистер Джонс склоняет голову набок и неопределенно пожимает плечами. Рецидивом полузабытого рефлекса к его нёбу подкатывает слюна.

Пастор Уайт встает со стула, чтобы возобновить процесс прикрепления афиши, но тут же чувствует слабость в ногах и вынужден сесть опять. Наблюдая за вносом фортепиано, пастор не слышит гортанной иноязычной брани, но вспоминает, как несколько лет назад заезжий органист играл в его церкви хоралы, чаруя неизбалованные музыкой уши прихожан витиеватыми контрапунктическими хитросплетениями. Пастор питает слабость к минорной органной музыке. Как, слушая ее, можно усомниться в существовании Всевышнего? От воспоминаний на глазах наворачиваются слезы. Где уж теперь найти уроненную кнопку.

Глава XIV. Крестное знамение. И вот тут, в главе четырнадцатой, то есть, с запозданием ровно на одну, начинают происходить странные события. Видно недаром были упомянуты имя Булгакова и прославленная им квартира. Ибо в доме на углу Тополиной и Коринфской... Нет, писать об этом непросто. По той хотя бы причине, что не ведаешь какой избрать для повествования стиль. Многозначительный язык детектива, ведущий читателя по ложному следу? Или беспристрастного протокола, за максимально краткий срок проходящего дистанцию между безобидной причиной и чудовищным следствием? А, может, обманчиво простой стиль фантасмагории, каким пользовался Булгаков: умело создающий контраст между обыденностью речи и мышления и невообразимостью происходящего?

Вроде бы дом находится под неусыпным надзором соседей и большую часть времени ведет себя тихо и пристойно. Но как только наступает среда, и садится солнце, стягиваются сюда под прикрытием сумерек темные личности обоих полов и всевозможных сортов. Люди, в основном, молодые. У женщин юбки короче, чем у Жоржеты, и крикливый макияж. Мужчины – кто в джинсах и футболках, а кто в элегантных костюмах с галстуками – точно назло пытаются запутать растерявшегося наблюдателя у окна. Приходят по одиночке, парами и даже группами. А к девяти начинается вечерня. В доме еще не повесили шторы, что значительно облегчает соседям процесс слежки. Но тут-то и становится понятно, что отсутствие занавесок – вероломный камуфляж. Мол, смотрите на здоровье: у нас все чин-чином; закон уважаем и блюдем мораль. А на самом деле... А на самом деле, что со шторами, что без них – ни черта не понятно! Так что их отсутствие можно расценить и как циничную насмешку. Ну, сидят люди за огромным столом, концы которого теряются в углах залы, едят и пьют вино. Казалось бы, что такого? Но ведь и простаку понятно, что это необычный ужин. За нормальным ужином рано или поздно воцаряется скука, заметная по позам и паузам. И как бы оживленно ни начиналась трапеза, вскоре она начинает напоминать натюрморт, в центре которого стол, а на периферии – его человеческие придатки, пририсованные художником для правдоподобия. Но в доме на углу все происходит иначе. Какая-то неугомонная суета, от которой и на расстоянии рябь в глазах. Все пересаживаются, уходят, возвращаются. То женщины на коленях у мужчин, то наоборот. Будто и не дом это, а вывернутый наизнанку желудок, лихорадочно переваривающий плохо прожеванную и поспешно проглоченную пищу. А вино льется рекой. Только и успевают бутылки под стол убирать. Но показательно то, что никто не пьянеет. Еще ни разу не видели соседи, чтобы из дома выходили покачиваясь. Будто и пьют они – для отвода глаз.

Миссис Джонс стрижет пастора Уайта младшего, а в зале ожидания, не отделенном от крохотного салона даже занавеской, сидит Жоржета. Близость эта неуместна и даже скандальна. В любой иной момент миссис Джонс не допустила бы и намека на нее. Но критическое положение вещей временно стирает социальные водоразделы и обязывает к жертвоприношению на алтарь солидарности.

– Что же это творится, батюшка? – обращается миссис Джонс к пастору, но смотрит на мужа, также ошивающегося в салоне.

– Так, вроде ничего особенного, – краснеет не привыкший лгать пастор.

– Может, это артистическая богема? – предполагает миссис Джонс.

О существовании богемы она узнала совсем недавно – из глянцевого журнала, посвященного модным стрижкам.

Пастор мотает наполовину остриженной головой, что придает этому безобидному жесту непозволительную двойственность.

– Там, – импульсивно встревает в разговор Жоржета, но вовремя прикусывает себе язык.

Все вопросительно смотрят на нее, ожидая окончания.

– Эксклюзивное эскорт агентство, – выдавливает из себя Жоржета.

«Если бы все было так просто...» – тоскует пастор. Все говорит о том, что в доме на углу собирается некая богопротивная секта. Еженедельные вечера по средам – это ритуал. Посиделки за столом – его внешняя оболочка. Сокровенное же происходит в тех нескольких комнатах, на окнах которых с первого же дня угрюмо повисли непрозрачные и вечно задернутые шторы, умеющие хранить секреты. Пастор Уайт не сообщает о своих подозрениях, чтобы не пугать правоверных, как не делится с ними и тем, что уже побывал в публичной библиотеке, откуда вернулся с толстым фолиантом, посвященным истории еретической мысли. Там описаны невероятные и непостижимые разумом извращения человеческой веры. В частности, особое внимание уделено секте поклонников дьявола. Пастор пытался читать беспристрастно, как

писал о секте безымянный историк. Но, стараниям вопреки, на голове Уайта младшего вставали дыбом волосы. К концу главы шевелюра пастора пришла в настолько непотребный вид, – будто он не читал об экзотическом и, следовательно, далеком и безопасном ритуале, а непосредственно участвовал в нем, – что пастор решил нанести визит миссис Джонс.

«Подумать только! – ужасается пастор, невольно ерзая в парикмахерском кресле, точно у черта на сковородке. – Место-то себе какое подыскали, изверги! Под боком у законнорожденной церкви. Вот и на мою долю выпало испытание. Дай мне сил, Господи!»

Мистер Джонс молчит. Но на его челе собрались морщины, свидетельствующие о напряженной умственной работе. Миссис Джонс внимательно наблюдает за мужем. Она верит в то, что скоро ее муж изречет точный диагноз ситуации. А пока миссис Джонс пользуется временной гипотезой.

– Да, артистическая богема... – переживает она, задумчиво отхватывая у пастора больше, чем приличествует церковному сану. – Теперь пойдут пьянки да гулянки. А за ними скандалы, сцены ревности и вызовы полиции.

Упоминание полиции выводит Жоржету из транса. Он молча покидает салон, не дождавшись очереди, и понуро бредет в свою конуру. В голове Жоржеты крутятся фразы, словно заимствованные ею из объявления бульварной прессы и окаменевшие в магическую формулу невезения: «В эксклюзивное эскорт агентство приглашаются девушки от N до N + 10 лет. К кандидаткам предъявляются следующие требования...»

Жоржета давно вышла из рамок запрашиваемого возраста. Не может она удовлетворить и предъявляемым требованиям. Ибо и обильный опыт, и огненный темперамент давно вышли из моды. Теперь подавай им неискушенность и ангельскую кротость.

Жоржета устала. Жоржета уже почти смирилась со своей долей. Завтра она позвонит двоюродной сестре и попросит ее узнать о вакансиях на обувной фабрике. «Может там дают бесплатно женскую обувь?» – утешает себя Жоржета.

Тем временем в парикмахерском салоне переполох, устроенный миссис Джонс. Пастор Уайт попросил таблетку от сердца. Миссис Джонс, сопровождаемая звоном отброшенных ножниц, бежит к аптечке.

– Ей-богу, ничего страшного! – извиняясь, тихо кричит ей вдогонку пастор. – Я даже не уверен, что это сердце. Просто что-то стало тесно в груди...

– Это все из-за проклятой богемы! – возвращается с таблеткой миссис Джонс. – Не расстраивайтесь, батюшка. Они, по сути, безобидные.

У таблетки давно истек срок годности. Но миссис Джонс все равно верит в ее целительность. Ибо главное – как проповедовал сам пастор, – это благие намерения.

Пастор благодарно глотает таблетку и крестится. Боли пропадают. Даже не ведая о сроке годности, пастор проницательно относит перемену к лучшему на счет крестного знамения. Его единственное оружие в борьбе с вероотступниками только что успешно прошло испытание.

Глава XV. Лестница в небо. Поскольку мистер Джонс продолжает хранить молчание (хотя морщины на его лбу достигли такой невероятной глубины, что миссис Джонс не решается смотреть в упор на своего мужа, дабы не потревожить работу его мысли), терпению миссис Джонс приходит конец. Она сама пойдет в новый дом и разузнает обо всем из первого источника! Сообщая об этом мужу, миссис Джонс надеется, что тот ее остановит. Где же это видано, чтобы беззащитная женщина отправлялась в логово к зверю? А если она застанет их посреди непотребства, называемого художниками рисованием с натуры? По меньшей мере, миссис Джонс надеется, что муж восхитится ее самоотречением и отвагой. Но намерение жены не производит на мистера Джонса заметного впечатления. Он умывает руки посредством пожимания плеч и предоставляет миссис Джонс ее судьбе.

Миссис Джонс идет в палисадник и срезает там огромный букет. Такой – не уверенные в успехе женихи дарят своим потенциальным невестам, уповая на закон диалектики, сулящий переход количества в качество. Букет вышел эклектичным и, откровенно, противоречит эстетическим требованиям самой миссис Джонс. Но поскольку она не знает, кто именно живет в доме, миссис Джонс набирает цветы на все случаи жизни. Ромашки придают ему задорно-простоватую невинность. Анютины глазки – таинственность. Кроваво-красные маки должны импонировать деятельным и страстным натурам. А подсолнухи взывать к интеллекту.

Миссис Джонс берет букет в охапку и переходит Коринфскую к дому на углу. Спереди ее едва видно из-за цветов, служащих одновременно украшением и надежным щитом. Сзади ее фигура представляет довольно жалкий вид. Мистер Джонс некоторое время наблюдает за женой из окна, но потом, с досадой махнув рукой, уходит в глубину комнаты, где его ждет расстеленная на столе газета. Мистеру Джонсу немного стыдно за свое невмешательство, но он успешно сублимирует стыд в презрение к суете. «Все это того не стоит», – окончательно оправдывает себя мистер Джонс, вспоминая о подобострастном букете, и опрятные колечки выдыхаемого дыма подтверждают его правоту.

Миссис Джонс возвращается через полчаса. Она молча проходит мимо мужа и садится на кухонную табуретку. У миссис Джонс обескураженный вид. В ее волосах застряло несколько лепестков ромашки, будто гадание, на которое возлагалось столько надежд, закончилось весьма плачевно. В кружевах ее платья мистер Джонс обнаруживает семечку подсолнуха. Он инстинктивно тянет ее ко рту, но по неведомой причине одергивает себя и деликатно прячет семечку в нагрудный карман жилета.

Миссис Джонс продолжает молчать, а в ее провалившихся от впечатлений глазах мистер Джонс угадывает нечто такое, что вынуждает его проявить инициативу, рискующую выставить мистера Джонса в невыгодном свете любопытствующего.

– Ну, что? – спрашивает он как можно безразличнее.

Но поскольку – о, небывалое! – миссис Джонс не произносит в ответ ни слова, мистер Джонс забывает о декоре скептика.

– Ну, же?! – теребит он жену.

Миссис Джонс переводит на мужа свои ослепшие глаза, карие зрачки которых беспомощно барахтаются в окружающем их океане запредельного.

– Что? – отвечает миссис Джонс неожиданно спокойно. – Ни-че-го.

Но в этом обманчивом спокойствии – психологическая травма индивидуума, ставшего невольным свидетелем немыслимого.

Мистер Джонс понимает, что дальнейшее давление бесполезно. Он терпеливо ждет, когда жена совладает с волнением и выплеснет накопившееся в рассказе. Но миссис Джонс молчит еще и потому, что у нее нет для увиденного подходящих слов. Да, и откуда взяться таким словам, если обозначаемые ими предметы и понятия находятся вне сферы ее опыта?

И все-таки слова отыскиваются. Миссис Джонс помогает себе руками. Ее фразы отрывисты и коротки: вершины айсбергов, скупо намекающие на подводное изобилие. Но, как и в искусстве, недоговоренность способствует максимальной экспрессии. Семена медлящих слов, с трудом отыскивающих себя в темной массе безъязыкости, оседают в воображении мистера Джонса, где тут же пускают ростки и дают фантастические всходы.

Миссис Джонс рассказывает, как она с трудом поднялась по не забетонированным и шатким кирпичам крыльца, с трудом нащупывая путь из-за букета. Крыльцо было уже почти готово, когда часть камней растащили мальчишки (все знают, чьи, но никто – зачем). Мальчишки сослужили миссис Джонс дурную службу. Если бы крыльцо имело законченный вид, не столь велик был бы шок от того, что ожидало миссис Джонс внутри. Шок был отчасти смягчен хозяином, который схватил миссис Джонс за локоть и принялся отчитывать ее на ломанном английском за безрассудство альпинистского восхождения без страховки. А если бы миссис Джонс упала... Хозяин пресек себя на полуслове, предпочитая не вдаться в юридический аспект подобного несчастья. Между тем, миссис Джонс, еще не успевшей классифицировать социальную принадлежность и характер собеседника, открылся вид на интерьер, заставивший ее потерять дар речи. Миссис Джонс увидела лестницу...

Лестница начиналась недалеко от входа и плавно, но порывисто, взмывала к подоблачным высотам третьего этажа, где только крыша мешала ее окончательному апофеозу. Очевидно, спроектировавший ее архитектор был по совместительству мыслителем. Архитектор понимал, что смысл не в скорейшем достижении конечного результата, увядающего со скоростью сорванных полевых цветов, но в самом процессе. Лестница не карабкалась вверх, не юлила и не извивалась. Лестница парила в головокружительном венском вальсе. И вместе с тем, она напоминала метателя, взвинчивающегося вокруг собственной оси, чтобы как можно дальше швырнуть диск. Развороченное крыльцо было ее истоком и соотносилось с ней так же, как убогий родник – с питаемой им полноводной рекой.

Разумеется, в голове миссис Джонс не возникло подобных ассоциаций. Голова миссис Джонс была пуста, как незаполненный мебелью и оттого кажущийся еще более громадным дом, но ее сердце – переполнено чувствами, описать которые можно только при помощи задеревеневшего вальса, окаменевшего дискометателя и остановившейся реки.

Дальше все было как в тумане. Из рук миссис Джонс забрали букет, и она почувствовала себя еще более беззащитной посреди пронзаемого лестницей пространства. На предложение осмотреть дом миссис Джонс, не думая о последствиях, кивнула головой. Дальше она медленно карабкалась по лестнице вслед за хозяином, слушая, не слыша и не понимая его торопливой речи. Повсюду в доме был натертый до блеска паркет, слепящий миссис Джонс яростными бликами. Уже на втором пролете у нее начала кружиться голова. Миссис Джонс вцепилась в перила обеими руками и тянула себя вверх, точно по канату. Из-за блеска паркет казался скользким. Миссис Джон, не спасовавшая перед рискованным подъемом по ступенькам крыльца, теперь панически боялась оступиться. Неужели, пастор Уайт напрасно тратил время на проповеди? Миссис Джонс следовало помнить о несчастье, приключившемся с дочерьми Лота. Второй этаж был так близко. Но миссис Джонс откликнулась на сладкий шепот дьявола и посмотрела назад и вниз: в свистопляску блеска, площади, и высоты. И тут – не тошнота даже и подгибающиеся колени, но смутный соблазн сигануть головой вниз...

В это время хозяин вторично схватил ее за локоть и втащил на площадку второго этажа. От второго этажа миссис Джонс запомнилась огромная спальня, должно быть, отличавшаяся такой акустикой, что храп в ней звучал львиным ревом. А интерьер и пропорции ванной комнаты вызвали у миссис Джонс подавленность, впервые испытанную в детстве – в католическом соборе.

Были на втором этаже и другие достопримечательности, но их миссис Джонс не запомнила, поскольку достигла того внутреннего предела, когда впечатления сливаются в одну сплошную безликую массу. От экскурсии на третий этаж она отказалась. Как спустилась вниз – не помнит. Хозяина поблагодарить забыла. Кстати, от него у миссис Джонс остался странный привкус. Хозяин был невысокого роста и настолько подвижен, что миссис Джонс постоянно теряла его из вида. То он появлялся слева, то выныривал справа, то оказывался за спиной, а то исчезал вовсе. На беду хозяин был лыс, и его лысина вторила грозному блеску паркета насмешливыми солнечными зайчиками. Хозяин говорил так же быстро, как и двигался; был так же непонятен, как его дом. Стоит ли удивляться, что никаких следов преступления миссис Джонс обнаружить не удалось. Но и сам по себе, дом был в некоторой мере преступлением – против привычных пропорций и здравого смысла, которые миссис Джонс боготворила. А его безупречно праздничная чистота наводила на подозрения: за такой должно было скрываться что-то нечистое. А эти пустующие залы! Ох, неспроста пустовали они... Как обязано выстрелить в последнем акте пьесы праздно висящее на стене ружье, так не могли эти залы не стать со временем приютом чему-то экстраординарному – в своей добродетели или порочности.

Миссис Джонс вывели на улицу через гараж и, поблагодарив за букет и гостеприимство, отправили восвояси. Теперь миссис Джонс сидит напротив мистера Джонса и вяло отчитывается ему об увиденном. Апатия миссис Джонс вызвана не только крайней степенью переутомления, но и странным, не вяжущимся с вещественными доказательствами, ощущением иллюзорности. Будто дом с его хореографической лестницей, паркетной лихорадкой и смахивающим на сатира хозяином – был не более чем... фантастическим сном. И что стоит только, преодолевая усталость, выглянуть из окна, как увидишь на углу Тополиной улицы и Коринфской авеню то, что находилось там испокон веков – привычную кучу мусора.

Глава XVI. Масоны. В воскресенье после церковной службы жители микрорайона сгруживаются вокруг алтаря для экстренного совещания. Среди них присутствует и Жоржета, обыкновенно предпочитающая держаться в церкви поближе к выходу, дабы не попадаться лишний раз Господу на глаза. На повестке дня – дом на углу, и что делать с ним.

Миссис Джонс рассказывает конгрегации о своем недавнем визите. Из-за многократных повторов повествование звучит гораздо внятнее, чем в первый раз. Однако, в силу того же обстоятельства, оно больше не ведет к очистительному катарсису. Недоговоренность и запинки давно заполнены и сглажены посредством клише и гипербол. Лестница больше не танцует и не мечет к зениту дисков, но лежит свернутыми кольцами удава, вынашивающего коварный план. Впрочем, и в таком виде рассказ производит впечатление. Многие заворожено смотрят миссис Джонс прямо в рот, словно фантасмагория разворачивается непосредственно за частоколом его зубов.

Когда миссис Джонс умолкает и скромно покидает центр круга и внимания, давая понять, что ее миссия выполнена, все смотрят на пастора. «Да, – думает Уайт младший, – вот и настал момент истинного испытания. На кого еще равняться им?» Сейчас пастору придется сообщить прихожанам о том невозможном, что он вычитал недавно в книге, и что косвенно подтвердил беспристрастный отчет миссис Джонс. Пастор бледнеет и заблаговременно возносит руки в оборонительном жесте смирения, коим только и можно противостоять темным силам. Но тут слово берет мистер Джонс.

– А чего тут думать? – говорит он. – И ребенку ясно: масоны...

Слово «масоны» зловеще разносится под сводом церкви. Оно звучит загадочно – как заклинание. Но видно настолько велики ожидания и накалены страсти, что любое изреченное слово неминуемо разочаровывает. И, вместе с тем, – успокаивает.

Никто из присутствующих толком не знает, кто такие масоны. Но в вердикте мистера Джонса присутствует такая уверенность, что все безоговорочно соглашаются: ну, да, разумеется, масоны!

Пастор Уайт вздыхает с облегчением. Наверное, если постараться, с масонами можно найти общий язык. Он припоминает, что в центре города, в одном из самых респектабельных районов, располагается функционирующая масонская ложа. И цены на дома от этого ничуть не пострадали. Да и соседние церкви, насколько известно пастору, работают без перебоя. Пастор Уайт где-то слышал, что в масонские организации женщины не принимаются. Вот и доверяй после этого слухам! Времена меняются, и масонские ложи меняются вместе с ними. Видно и их не обошли стороной феминистские веянья.

Ничто не страшит больше неопределенности. Любой феномен можно обезвредить ярлыком названия, как бы непривычно оно ни звучало. Все остальное – вопрос времени и привычки. Прихожане неохотно расходятся. Трудно признаться себе в завершении столь волнующего этапа существования, в кильватере которого неизбежно возникнет пустота. За приливом следует отлив.

С этого момента их возбуждение пойдет на убыль. Вскоре над крышами микрорайона, в гуще которых с высоты птичьего полета почти невозможно различить кровлю нового дома, затянется матовая пелена повседневности.

Глава XVII. Главу под этим номером придется оставить без названия. Ибо ее напишет и озаглавит будущее.

18 апреля – 9 мая, 2009 г. Екстон.

© Александр Синдаловский

ВИКТОРИЯ ЛеГеза

В стотысячный раз...
Рассказ

В стотысячный раз он и она.

Он уже проснулся, в серой пелене едва затеплившегося дня, а она все еще спит или притворяется, что спит... и рассматривает его из-под прикрытых ресниц.

Какое у него усталое, серое лицо, даже утром после сна. Вымотали его на работе, высосали молодость, и силу, и радость. В сорок с небольшим – совсем старик, когда сидит вот так, сгорбившись, задумавшись. Ей осталась только пустая оболочка, кокон нервов, тревог, из которого никогда не вылупится бабочка, паутина сомнений, воспоминаний, в которую она поймана, и будет биться-биться, жужжать назойливой мухой, надоедать ему своими заботами, вопросами, приставаниями... до конца жизни. Ну почему он не встает, не уходит? Она плотнее зажмуривает глаза.

А он смотрит на нее и не видит ни увядающей кожи, ни седых волос, ни брюзгливого выражения губ. Дня него она все та же светлая, любимая девочка, что и двадцать лет назад. В перламутровой дымке утра ее нежный овал лица на мятой подушке – словно половинка морской ракушки. Такие они собирали в Крыму, в Планерском, в их первое лето. Длинные ноги угадываются под одеялом. Каких он только слов для нее не придумывал: моя газель, моя русалка. Она плыла в соленой, подсвеченной солнцем воде, выбрасывая на поверхность тонкие руки, сверкающие, и вся светилась под водой. Ему никогда никто больше не был нужен, кроме нее. Он с усмешкой вспомнил призывные взгляды дочки хозяина их фирмы, черноглазой нахальной дамочки. Пусть смотрит – ничего не высмотрит! Он наклонился и поцеловал кисть жены, беспомощно лежащую возле щеки – кожа истончала, покрылась темными веснушками.

Она не открыла глаз. Пусть уходит, пусть хоть до вечера ей дана будет свобода, пока он не вернется с работы, чтоб вывалит к ее ногам груз очередных забот, волнений. Как будто она может ему чем-то помочь, если его угнетает начальство! Не бросать же работу, когда так много денег нужно для переделок в доме и вообще... Мужчина должен сам справляться со своими проблемами.

Он вышел из спальни тяжелыми шагами и тихо прикрыл дверь.

Он уже проснулся, в серой пелене едва затеплившегося дня, а она все еще спит или притворяется, что спит... и рассматривает его из-под прикрытых ресниц.

Рассматривает с тревогой, с волнением, но не открывает глаз, чтоб он не заметил ее пытливый взгляд, не рассердился. Утомленное у него лицо, озабоченное, но излишнее внимание всегда раздражает мужа. И она старается не беспокоить его ничем. Он всегда так рано встает, так тяжело работает целый день. Хотелось бы

обнять его, поцеловать, пожелать ему хорошего дня. Нет, лучше не надо: он всегда с утра просыпается раздраженный, в дурном настроении. Невозможно дождаться вечера, поговорить, накормить его, пожалеть.

В невнятном предутреннем свете дня она не замечает глубоких морщин на его лице, поредевших волос. Он тот же мальчик, ее мальчик, что и двадцать лет назад, когда они бегали по пляжу в Крыму, плавали, собирали камешки и швыряли их в прибрежную пену, как расшалившиеся дети. Где это было? В Ялте? Они потом часто ездили в Крым, почти каждое лето... Тогда в первый раз он поцеловал ее солеными губами, прижав к скале. Тогда она впервые почувствовала, что значит «подкосились ноги». Она ослабела в его руках, если б не скала – упала бы на песок как подкошенная... И до сих пор у нее под коленями слабеют мышцы, когда он обнимает, целует ее. Хочется растаять в его руках, раствориться... Она плотнее зажмуривает глаза, вспоминая далекий солнечный берег.

А он смотрит на нее, стараясь не показать свои чувства, ни один мускул не двигается на его застывшем лице. Эта лиса вполне может притворяться спящей, а потом весь вечер будет зудеть: «Чего ты на меня так странно смотрел утром? У тебя что, неприятности на работе? Почему ты мне ничего не рассказываешь, все от меня скрываешь?» На работе еще ничего, хотя начальник его порядочная скотина, а вот дома... Что он ей может рассказать? Как она осточертела ему за двадцать лет. Как он себя чувствует стреноженным, связанным по рукам и ногам, пришитым к ее вечно мятой юбке. Почему она так быстро осунулась, поседела? Хоть бы подкрасилась, что ли. Куда исчезла милая резвая девочка, с которой так легко было шутить и бегать наперегонки у моря в далекие, незапамятные времена? Кто эта утомительная, назойливая женщина, которая встречает его каждый вечер подгоревшим обедом и бесконечными расспросами? Его жена. И придется с ней доживать... Он с отвращением замечает ее увядшие веки, опущенные уголки губ. Неужели он когда-то с восторгом целовал эти губы? Бедный Йорик... Но нужно жить, нужно притворяться, чтобы совместное существование не превратилось в абсолютный ад. Нужно жить. Довлеет злоба дня! Он наклонился, стараясь не смотреть на ее лицо, и еле прикоснувшись губами, поцеловал ее кисть, лежащую возле щеки – кожа истончала, покрылась темными веснушками.

Она не открыла глаза, всем существом впитывая мимолетное тепло этого поцелуя. Тепло расползалось от кисти по руке, по шее, дальше по плечам, по груди, по телу. Он ее любит, он целует ее каждое утро, уже двадцать лет! Может быть, он задержится сегодня, и они... ведь еще так рано, даже птицы не проснулись. Если отрыть глаза, он заметит, что она не спит... Она его обнимет, притянет к себе...

Но он уже поднялся и вышел из спальни тяжелыми шагами, и тихо прикрыл дверь.

Он уже проснулся, в серой пелене едва затеплившегося дня, а она все еще спит или притворяется, что спит... и рассматривает его из-под прикрытых ресниц.

Почему муж всегда вскакивает в такую рань? Возится в постели, скрипит пружинами, и ей тоже приходится просыпаться. Нужно купить новый матрас, чтоб не скрипел, не квакал. Она замечает, что его виски даже в невнятном утреннем свете сильно отдают белизной. Да, двадцать лет пролетели, и оглянуться не успели... *как зима катит в глаза.* Может это и к лучшему, что она рано проснулась. Успеет до ухода на работу заложить белье в стиральную машину и забросить жаркое в скороварку. Удобно, вечером придешь – и обед уже готов. Да, и не забыть в химчистку забежать.

А он смотрит на нее, но не видит, взгляд теряется в темном пространстве спальни. Вместо лица жены ему представляется одутловатая ряшка его начальника. Тупой, нахальный тип, а с какими амбициями! Недоучка, получивший положение только вследствие удачной женитьбы на дочке хозяина фирмы. Командует работниками, будто он наследный принц. А дочка, кстати, привлекательная, пикантная живая дама, с черными вызывающими глазами, не первой свежести, но еще вполне ничего. Грудь замечательная, и ни одной морщинки на лице, видно хирурги постарались. Вот если бы она его бросила, мигом бы он вылетел из фирмы, наглая рожа. Но пока: он начальник – я дурак. И на работу опаздывать не рекомендуется. Хорошая работа, высокооплачиваемая, и, значит, с начальником придется примириться.

Он замечает, что темнота становится все прозрачнее. Уже различимы черты лица на подушке. Печальная складка губ, первая седина. Зачем жене новая кухня? Все равно она готовить не умеет, все в скороварке. Что курица, что свинина – один вкус. Лучше потратила бы деньги на хорошую косметичку, сходила к парикмахеру, подтянула кожу на лице. Не так уж дорого стоят эти операции. Да, не помолодела она... да и он уже не тот, что раньше. Хватит размышлять о пустом. Он наклонился и по привычке поцеловал ее кисть, лежащую возле щеки – кожа истончала, покрылась темными веснушками.

Она не открывает глаз, чтоб не ввязаться в длинный разговор с мужем, который они не закончили вчера вечером. Если опять начнут спорить, она ничего не успеет за утро. Он хочет пристроить к дому гараж, а ей просто необходима новая плита и на кухне хочется положить светлый кафель. Надоела темная плитка, но на все денег не хватит, значит нужно выбирать, что важнее. Как просто было в юности, никаких забот. Они встречались летом в Крыму, купались, валялись на пляже. Еще две минутки полежать... Хорошо бы в отпуск поехать к морю.

Он поднялся, вышел из спальни тяжелыми шагами и тихо прикрыл дверь.

В стотысячный раз он и она... Двадцать лет вместе. Юбилей! Все просто у них и понятно, знакомые говорят – счастливая пара.

Июль, 2008-07-21

ЛЕОНИД СТОРЧ

ЕЩЕ РАЗ О ДАРАХ ВОЛХВОВ
Рассказ

Среди всех праздников наиважнейшим для меня является день рождения. Моего, естественно, рождения. Новый год – тоже ничего. Мне нравится приглашать к себе гостей, нравится готовиться к праздникам – идти в супермаркет; запекать нашпигованную баранину с мелким, в кожуре, картофелем; доставать из гаража раскладные стулья; расставлять посуду; даже мыть ее потом – тоже нравится. Мне нравится все, кроме одного – получать подарки. Нет, много лет назад, в детстве

получение подарков было, наверное, самым главным моментом любого праздника. Меня одинаково радовали и годовая подписка на "Мурзилку" и гэ-дэ-эровская железная дорога, и набор марок, даже гашеных. Но с тех пор что-то изменилось: то ли запасы даров оказались исчерпанными, то ли фантазия волхвов иссякла, а может, я просто пресытился. Как бы то ни было, за последние пятнадцать лет, ритуал дароподношения превратился для меня в пытку.

Сперва я довольно спокойно относился к многочисленным склянкам одеколона и лосьона для бритья: пусть будут, пусть пополняют мои запасы парфюмерии. В конце концов, все эти флаконы и тюбики выглядели довольно эстетично. Giorgio Armani, Paul Sebastian, Hugo Boss, Kenneth Cole. Можно было рассматривать их как объекты коллекционирования: ну, и что ж, что не марки и не банкноты (я в школе еще и старые купюры собирал). Какое-то время, пока позволяла длина полочек в ванной, я даже расставлял их по алфавиту, но потом от этой идеи пришлось отказаться. После буквы R места на полочках не оставалось, и гармоничность экспозиции была нарушена. Флакончики на оставшиеся буквы я замуровал в коробку из-под принтера и поместил все в тот же гараж.

За годы, прожитые в Майами, я получил в подарок несколько десятков мужских сорочек, из которых только одна оказалась моего размера; пар двадцать запонок – при том, что ни одна из моих рубашек на запонки рассчитана не была; штук сорок галстуков и примерно столько же брючных ремней; около двух сотен свечей всевозможных форм, цветов, и калибров; столько же подсвечников; с полсотни ваз, вазочек, кувшинов, кувшинчиков; несколько десятков наборов хохломы – ложки, нарезные доски, матрешки; не меньше дюжины палехских шкатулок; пятнадцать гжельских бокалов – для кваса, пива, браги и медовухи; а также не поддающееся подсчету число солонок, перечниц, сахарниц, конфетниц, супниц, салатниц, селедочниц, соусниц, масленок, скатертей; были тут и ножи для мяса, рыбы, птицы, сыра, паштета; ложечки для чая, муса, киселя, мороженого, взбитых сливок, йогурта, торта; чашечки для кофе турецкого, чашечки для кофе-американо; чашечки для кофе-кубано; чашечки для кофе-глясе; чашечки для кофе-латте; чашечки для эспрессо; чашечки для моккочино, чашечки для капуччино; чехлы для диванных подушечек; чехлы для кроватных подушечек; чехлы для табуретных подушечек; чехлы для лыж (на лыжах я тридцать лет не катался); чехлы для коньков (на коньках я не катался никогда); чехлы для гольфных клюшек (гольф я вообще ненавижу); наборы благовоний; шариковых ручек; стирательных резинок, фломастеров, хайлайтеров, маркеров, карандашей, точилок и еще каких-то предметов, назначения которых мне так и не удалось выяснить.

Что было делать со всем этим? Кофе я не пью, чертежным делом не занимаюсь. А чтобы почистить картошку или нарезать мясо мне всегда хватало одного ножа. Какое-то время я еще потихоньку раздавал свой скарб друзьям, но потом стал забывать, кто из них что подарил. Преподнести же человеку его собственный подарок было несолидно.

Оставалось только одно: устроить себе в гараже усыпальницу– вроде тех, что делали в скифских курганах или египетских пирамидах: надушиться, набальзамироваться лосьонами и кремами; облачиться во все сразу рубашки; обмотаться вязанкой галстуков и ремней; запеленаться в скатерти; и возлечь посреди ваз, чайников, чашек, и чашечек. А вокруг этого великолепия стояли бы монументальные витые колонны из парафина и сотни свечек поменьше. И курились бы благовония.

Поборов искушение, я все-таки избрал иной путь. Путь, надо сказать, непростой. Произошло это несколько лет назад. Накануне своего очередного дня рождения, я позвонил Грицевичу. Мы поболтали о перспективах роста Майкрософта, о моей новой подруге, а в конце разговора я напомнил:

– Так значит, в пятницу я жду вас всех у себя. Придете?

Он стал уверять, что, конечно, придет – с женой и сыном придет, что они меня видеть всегда рады, а тем более в такой день. Я поблагодарил, сказал, что и я буду им рад, а потом, как бы невзначай, добавил:

– А о подарке даже не беспокойся. Главное ведь – пообщаться. Ну, если хочешь, можешь преподнести мне альбом Дали. Дали мне очень нравится. Или Пикассо. А еще я Чюрлениса люблю.

– Спасибо, что сказал, – обрадовался Грицевич. – Я вообще считаю – каждый должен сам говорить, что хочет в подарок. Все равно ведь что-то купят. Так пусть лучше будет то, что действительно нужно.

– Правильно ты считаешь, – удовлетворенно подумал я.

Аналогичная беседа была проведена и еще с парой-тройкой друзей. Им я поведал о своем интересе к поэзии Гумилева и Рильке, а также к прозе Гессе.

Похоже, план срабатывал. Друзья не только не обижались на мою прямолинейность, но звонили сами, уточняли, осведомлялись о моих литературных и прочих предпочтениях, и удивлялись, как это они раньше не додумались спросить о такой простой вещи.

Лейкиной я сообщил, что не равнодушен к Жюльет Бинош, но только не в фильме "Английский пациент" и – уж тем более – не в этом банальнейшем "Шоколаде". Левушкину – что всегда хотел иметь "Антологию Битлз". Раньше такая сумасшедшие деньги стоила, а теперь вся на нескольких Си-Ди умещается. Левушкин меня поддержал и по секрету поведал, что еще в музучилище был фанатом Битлов, а скрипку свою всегда ненавидел.

В общем, все складывалось очень удачно, правильно складывалось. И этого дня рождения я ждал с нетерпением. Как в детстве.

Первым пришел Грицевич с семьей. Он вручил мне увесистую плиту, завернутую в серебряную, с блестками бумагу. Я начал сдирать упаковку. Грицевичи застыли в ожидании. Наконец-то был содран последний клочок обертки–вместе с мохнатым бантом из фольги. Я перевернул фолиант и замер: по глянцевой обложке ползло изможденное стадо бурлаков со знаменитой картины Репина, а поверх них красовалась надпись: "Русские художники-передвижники".

– Специально в русский магазин ездили, – пояснил Грицевич.–Ты же сказал, что любишь про искусство. А Дали там не было.

Я, как умел, изобразил восхищение.

Гости приходили один за другим, и на столе в прихожей росла гора подарков. Согласно ритуалу я извлекал содержимое из всех мешочков и пакетиков, потрошил коробочки, благодарил, а друзья скромно

опускали глаза: мол, ладно уж, чего не сделаешь для хорошего человека?

Вместо Пикассо я получил альбом Писарро и каталог выставки "Голландский портрет XVIII века". Был еще и набор открыток "Самаркандский ковер", календарь с репродукциями "Наскальная живопись Намибии", а еще – "Воспоминания" Баниониса из серии "Судьбы и годы". Это вместо Чюрлениса, наверное.

А Майя Квитковская преподнесла мне необъятных размеров акварель с изображенным на ней кривым арбузом, почему-то синего цвета, и зеленым салатом.

– Какой замечательный натюрморт!–пробормотал я.

– Это мяч в траве, – поправила меня Майя, ничуть, впрочем, не обидевшись. – Немочка сам рисовал в школе.

И она указала рукой на своего восьмилетнего рыжего отпрыска.

– Hi, – сказал отпрыск, – и блеснул металлической улыбкой в брекетах.

Мои литературные предпочтения тоже не были обойдены вниманием. Откликом на неосторожное упоминание о Германе Гессе стал двухтомник Юлия Гессена "О жизни евреев в России", сборник стихов Генриха Гейне в переводе Маршака и "Сказок братьев Гримм" – правда, с иллюстрациями.

Памятуя, что в разговоре с кем-то я называл имя Рильке, я уже не удивился, увидев на столе немного потрепанную книгу "Рылеев–поэт и декабрист", а так же "Избранное" Максима Рыльского. Последняя была к тому же на украинском языке.

Подарили мне и Гумилева: правда, не стихи Николая Степановича, а монографию его сына, Льва Николаевича, "Этногенез и биосфера Земли". Подарили и видеокассеты: два фильма с участием Жюльет Бинош. Нужно ли говорить, что это были именно "Английский пациент" и "Шоколад"?

И лишь один Левушкин, старый добрый Левушкин, действительно порадовал. Как и обещал, раздобыл роскошный комплект "Антология Битлз" – шесть компакт-дисков в элегантных мелованных обложках. Здесь было все: и "Help", и "Hey, Jude", и "Girl", и моя самая любимая вещь – "Norwegian Wood". С ней мы получили первое место на конкурсе худсамодеятельности в институте.

Гости ушли, а я прибирал квартиру и все думал: жаль, что ни Рильке, ни Дали так и не добрались до подарочного стола. Но потом я взял в руки "Антологию" – и жалость исчезла. Я включил Си-Ди плэер, нашел трэк с "Norwegian Wood" и приготовился услышать вступительные аккорды на ситаре в исполнении Харрисона. Ситар там просто замечательный!

Нет, все-таки молодец этот Левушкин. Недаром что – сам битломан. Вот что значит – из одного города! Вот что значит – двадцать лет знакомы!

Однако никакого ситара я так и не услышал. Полились скрипки, вступили волторны, и вместо родного, чуть надтреснутого голоса Леннона раздался аккуратный кларнет. В ужасе я схватил футляр из под Си-Ди, присмотрелся и охнул: под курсивным, во всю обложку, заголовком "Битлз" мелким шрифтом было набрано: "В исполнении Лионского симфонического оркестра. Дирижер Андрэ Бешери". Эх, Левушкин, Левушкин. А еще – из одного города! А еще – двадцать лет знакомы!

Так в жизни моей начался второй круг подарочного ада. Теперь после каждого праздника в гараже появлялись цветастые натюрморты – в рамках и без – с розами, виноградом, грушами, кусками сыра и даже колбасой. В дальнем правом углу я складировал изображения кошечек, курочек, козочек и уточек. Отдельно помещались собаки – немецкие овчарки, кокерспаниэли, ирландские сеттеры, чи-хуа-хуа и мопсы.

В дальнем левом углу образовалась скульптурная секция: фемиды, афины, паллады, наяды, дриады и просто обнаженные дамочки.

А гаражные полки прогибались под грузом пяти экземпляров многотомной "Энциклопедии полезных советов", "Большой советской энциклопедии", "Энциклопедии строителя", "Сельскохозяйственной энциклопедии", "Справочника лекарственных растений" в 12 экземплярах, полным собранием сочинением Шолохова, полным собранием сочинений Остапа Вишни, "Антологией современной мадагаскарской прозы", антологией "Феминизм в канадской поэзии" и бесконечными альбомами по изобразительному искусству.

В общем, я смирился. Все так бы и продолжалось, но в какой-то момент я обнаружил, что свободного пространства в гараже уже не осталось. Я долго думал, мучился и, в конце концов, решился на отчаянный шаг – объявил, чтобы теперь приносили в подарок деньги. Просто деньги. Не хотел я прибегать к этому меркантильному варианту, но выхода не было.

– Разумно, – сказал Левушкин. – Имеешь право.

В тот вечер Левушкин явился раньше всех. Еще на пороге поздравил меня с днем рождения и протянул небольшой, туго перевязанный пакет. Предчувствуя неладное, я стал нервно разрывать ленту. Под оберткой оказался симпатичный альбомчик в пластиковой обложке, а в нем в специальных кармашках пестрели банкноты: катеньки, керенки, вейсмарковские дойчемарки, маоцзэдуновские юани.

– Я ведь знаю: ты в еще школе коллекционировал, – радостно объявил Левушкин. – Я всем нашим так и передал. Только почему ты раньше-то ничего не говорил?

МИХАИЛ САДОВСКИЙ

ТЁЗКА

Вот ведь, что запоминается на всю жизнь! Мелочь. Пустяк старый... стоишь у камня, смотришь на даты, на фамилию свою, и что...

В бане отец учил меня тщательно мыть ноги, особенно между пальцев. Он знал в этом деле толк – ему много приходилось ходить – он работал учителем.

– Ты, Федь, – говорил он. – Вытирай ноги досуха! Нога всегда сухой должна быть и в комфорте, а то в голове туман будет и никакой чёткости.

В сорок первом ушёл он прямо с уроков со своим десятым рыть окопы на рубеже Волоколамска. Так они и втянулись в оборону, а потом со всеми вместе отступали, наступали, до Победы дошли... только трое дошли – двое учеников, и он третий... собрались они под Новый год, первый мирный, послевоенный и пили, пили за Победу – это я уже помню, а что перед тем было и остальных ребят из его класса, которых они поминали поимённо, – нет... только по рассказам всё знаю...

Ну, а баню помню, сколько себя помню. Очень отец любил баню. И когда уже жить нормально стали: с во-

допроводом и газовой колонкой в ванной, всё равно ходили мы с отцом в баню...

– Ноги, Федя, после головы самый главный орган у человека! Без них, кто узнает о тебе, и что ты в жизни успеть можешь?! – так он поучал меня, а я слушал и впитывал... на всю жизнь, как оказалось. – Я в классе никогда не сижу за столом – хожу, хожу! Знаешь сколько за день успеваю? Как стайер на тренировке! Зато вижу всегда, кто с тангенсом никак не подружится, а у кого дома не лады – смотрит он в тетрадку, а видит совсем другое...

Сперва мы в посёлке жили. Я в школу через дорогу бегал – она начальная была, а отец в свою растущую десятилетку на автобусе ездил, а потом до вечера оставался взрослым преподавать, которые доучиться не успели, как его ребята в сорок первом. Те двое, что вернулись, тоже в вечернюю десятилетку пошли – аттестат получать. Я про них всё знал. Отец после войны очень дружил с ними, и на вид они были, как ровесники. Разница-то в годах у них какая была?! Лет пять, думаю – не больше...

Два года мы весело жили. Трудно, неустроенно, как все, а весело! Семён со своей женой тётей Ниной приходил, потом и второй ученик отца, Николай женился, и он приходил в наше общежитие барачного типа... ну, барак, сказать проще. По окраинам Москвы похожих много было...

А потом в одну ночь их всех забрали. Кто донос писал, я так и не дознался потом, когда к делам доступ дали. Только обвиняли их, что они на территории врага в сорок первом находились и не доложили об этом. Всё правда: два дня они были в немецком кольце, а когда на третий чудом к своим вышли, узнали об этом. И фашистов не повидали, а на территории, оккупированной, действительно, побывали... ну, значит, шпионы! Судить-то некогда было – лопатой людишек гребли...

Пока они вечную мерзлоту долбали, жёны им детей родили – и все мальчишки. У меня брат Васька, у Семёна – Борька, а у Николая – Фёдор, как я...

Отец оказался живучим – в пятьдесят четвёртом в самом начале вернулся. Семён, как освободился, в том же году, к нам пришёл... а Николая тётя Люся не дождалась...

Сначала мы все часто собирались... братишки подрастали... они мне все братишками были....

Потом тётя Люся замуж вышла. Года через два после того, как отец и Семён вернулись. Она очень красивая была! А мне казалась такой... я уже на девчонок в то время заглядываться начал! Рановато, правда, начал, но так уж... Она первое время ещё заезжала к нам с тёзкой моим... но никогда с мужем... мы его после свадьбы больше не видели... на похоронах дяди Семёна только встретились... он, как вернулся, так и болел всё время – почки ему отбили в лагере, и застудил он их потом...

К тому времени я уже студентом стал... всё переменилось... тётя Люся уехала с новым мужем в загранку... потом по слухам вроде вернулась, но нам уже не звонила.

Тётя Нина так и не вышла больше замуж. Жила с Борисом. Иногда заходила к нам, но редко...

Потом отец умер. Ещё не старый совсем. Только его на пенсию проводили – он и года не продержался... всё ходил, ходил... подолгу гулял один и о чём-то трудно думал... видно было. Не жаловался ни на что, а так угасал тихо и однажды не проснулся...

В самом конце восьмидесятых ко мне позвонил незнакомый голос. Не представился и сразу попросил назначить ему время, когда он может придти... я уж хотел было выругать секретаршу, но он предупредил меня: очень, мол, нужно, и при встрече всё объясню, почему не назвался, не ругайте своего секретаря, а то, знаю, как бывает, она мне уступила – я её уговорил...

В среду утром в кабинет вошёл молодой мужчина, я поднял на него глаза, и что-то оборвалось внутри! Передо мной стоял живой дядя Николай в тёмном костюме, какой обычно носил... и вьющийся чуб, совершенно старомодный по нынешним временам, зачесанный на ту же правую сторону...

Все слова мои застряли во рту – челюсти сцепились, и чувствую, как слёзы наворачиваются, а ничего поделать не могу ни с ними, ни с собой – трясёт меня просто, будто кто за плечи дёргает...

Много лет мы не виделись, конечно... тридцать? Больше? Стоим, молчим оба... потом он выдавливает с хрипом, как стон:

– На ты, или как будем? – тут нас и сорвало с места: кинулись обниматься, а оторваться оба не хотим, потому что глаза выдают... ничего не поделаешь... сентиментальный мы народ... в России. Наконец, отпрянули, держим друг друга за руки и в голос, будто сговорились – выдохнули – Фёдор! – работы уже никой не было... машины бросили... пошли, куда глаза глядят... как у меня дома оказались, не знаю... говорим, говорим... а разговора никакого не получается! Не за тем же он приехал ко мне издалека, как видно, чтоб просто вот так повидаться без причины! Столько лет не виделись и нате!..

Только заполночь... на второй бутылке начал он рассказывать...

"Я ещё маленьким был... когда мать замуж вышла... отчим ничего... не злобный... и я всё к вам просился... Василий же, как брат мне был... отчим тоже просил: "Пойдём в гости... семьями дружить будем... они мне понравились очень..." Ну всё в этом роде, а мать – ни в какую. Каменной становилась. Изредка, чтоб меня угомонить, когда отчим в командировке бывал, приезжала к вам... очень они о судьбе своей пеклись, дом набивали барахлом... машина, дача... в загранку рвались, ну, и устроились через торгпредство... я их тогда уговорил не брать меня с собой... думал, не согласятся они, а вышло всё наоборот – просто очень... определили меня в суворовское, как просился..."

Мы пили с ним крепко. Я уже чувствовал, что моя норма выполнена, а он не пьянел. Только лоб у него становился всё краснее, и чуб сползал на него... Фёдор откидывал его рукой назад, а несколько локонов оставались прилипшими к потной коже. Который час уж мы сидели, но я чувствовал, что-то, ради чего он приехал, ещё впереди...

"Ты знаешь... странная вещь... я когда без них остался, мне как-то просторнее стало... я же мать любил очень, ты помнишь? – он вдруг понурился, положил ладонь на стол и опустил на неё голову, покачивая ею из стороны в сторону. Когда он поднял лицо и посмотрел на меня, я понял, что ему не по силам сказать мне что-то и предложил продолжить завтра нашу беседу... – Что ты! Чуть не закричал он, завтра, может, уже поздно будет...

– Однажды, когда я был в третьем классе, а отпускали меня только к тётке – двоюродной маминой сестре, меня на улице остановил сильно пожилой мужик... позвал по имени... хотя я его не знал точно... он мне говорит:

"Ты не тушуйся, Фёдор, ты меня знать не можешь... а отец твой мне жизнь спас... дважды... там, – он махнул рукой куда-то за спину, – Ты мне поверить должен. Просто поверить и сделать, что я скажу... потому что доказательств у меня никаких и времени никакого – помру я скоро. Это точно... а тебе ещё жить и жить... и ты должен знать, что отец твой высшей пробы! Это... – он как-то смешался, хотя видно было, что мужик сильный... – Ты, парень, вот что... послушай, что сердце скажет и так и сделай... а то, я чем больше тебе говорить и доказывать буду, тем меньше ты мне поверишь... это точно... – он тогда молчал долго и жевал губы... зубов у него маловато осталось... на цингу похоже... потом говорит и в глаза мне так смотрит, что я отвернуться хочу ... а не могу... – Вот я тебе письмо дам сейчас... от кого – не спрашивай... и, не дай Бог, не открывай... ты его... через тридцать лет открой, когда тебе сорок будет... я бы тебе его сам сохранил, но мне таких годов не отпущено, а ты храни. Как? Не знаю, но береги, как самую дорогую вещь, что у тебя в жизни когда-нибудь случится. Потеряешь – мир не перевернётся, но и жизнь твоя получится перекошенная... – он мне ещё сотню подарил... тогда большие деньги... месяц прожить можно было... и всё... как я жил и письмо, как хранил, это сплошной детектив, да труда не стоит рассказывать... но я никогда не забывал о нём..."

– Ты мне не веришь? – вдруг совершенно другим голосом спросил Фёдор, и мне показалось, что я обидел его своим невниманием или усталым видом, который он принял за равнодушие...

– Дай письмо... – попросил я, вдруг поняв, что у него нет на свете никого, кому бы он мог рассказать всё это...

– Я вчера порвал его, – ответил Фёдор сухо и отвернулся

– Порвал?

– Никто не должен был его видеть... только не знаю, как жить теперь...

– Теперь ещё скажи, что помнишь его наизусть!

– Нет. Только ту часть, где сказано, кто сдал наших отцов

– И... ты... поверил?... я нигде этого найти не смог... Фёдор...

– Мать работала на них... – понял я по его губам... – Ты знал это?

– Я, – дальше помню лишь, что у меня не хватило воздуха на вдох, и я отключился...

Потом была скорая, больница... Фёдора я больше не видел. Когда поправился, мне передали запечатанный конверт, на котором стояло одно слово: "Тёзке"...

"Фёдор, брат мой... мы больше не увидимся... я так думаю... даже, если я вернусь оттуда... как с того света... Спасибо тому мужику – я сорок лет прожил в тревоге, но без ненависти... а теперь мне и жить нечем. Но я не мог не сказать тебе это. Прости. Я знаю, как это больно... но отцам ещё больней было...

Я много позже узнал, что она работала в этом ведомстве... и отчим оттуда же... вот и загранки, и шмотки... сколько ещё на их совести... он потому и рвался в ваш дом... а она боялась...

Ты не ищи меня... никто тебе не подскажет. От нашей маленькой семьи никого не осталось... даже, если захочешь свести счёты, – не с кем... и я умею только "выполнять интернациональный долг"...

Прости, если можешь...

Твой Фёдор".

30 апреля 2007

РОМАН КАМБУРГ

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Гл. 1. Встреча. Эмили сидела на песке у линии прибоя и не отрываясь смотрела на приближающееся к горизонту светило. Она не замечала, что отдельные языки волн добирались почти до ее ног, а песок вокруг нее был давно мокрым. Через крохотные губчатые наушники она слушала Баха. Глубокие, звучные аккорды органа словно волны проникали в ее голову, создавая ощущение полной гармонии с перегретым за день морем и приближающимся закатом. И Эмили подумалось, что заход солнца – всего лишь знак вечного коловращения Земли. В сегодняшней встрече заката с Бахом ощущалось нечто ритуальное, даже языческое. «Как быстро она вращается, я почти физически чувствую...» – и на самой середине мысли густой с хрипотцой голос прервал ее:

– Сейчас вас совсем зальет, смотрите какие волны приближаются.

Голос принадлежал немолодому господину, одетому традиционно по пляжному, в бермуды чуть ниже колен и в майку ярко-оранжевого цвета. Бахово-закатное настроение Эмили внезапно прервалось. Подавляя раздражение, она сняла наушники. «Почему я подумала, что он немолодой, он моложавый. Ах да, обычная иллюзия: кто старше меня – старики, кто младше – юнцы».

– Ну давайте, отодвигайтесь от воды и перебирайтесь сюда ко мне, – настаивал он.

– Я не уверена, что это хорошая идея, смотрите, сколько места на пляже, – Эмили кивнула направо, в направлении белоснежной «Колони Бич», а потом налево, где вдавался в море стеклянный ресторан «Фиш».

– Что-то же все-таки притянуло нас в этом море песка у моря воды, – сказал он. Хотя раздражение ее еще не унялось, она отметила удачный каламбур незнакомца.

– Хотите закурить? – он протянул ей желтую с верблюдом пачку «Кэмел».

– Пожалуй, да – согласилась Эмили, и как-то само собой получилось, что она послушно, как он ее просил, отодвинулась от воды и села рядом с ним. Теперь они оба, попыхивая сигаретами, не отрываясь смотрели на огромный апельсин у горизонта. Молчали. И эта чуть затянувшаяся пауза ощущалась ими обоими. Ведь за началом обычно должно следовать продолжение. Такова игра новых знакомств. Но сейчас они не нарушали молчания, он только бросал на Эмили молчаливые взгляды, как бы продолжавшие их связь, а она удовлетворенно ловила их столь развитым у женщин боковым зрением. Раздражение давно покинуло ее.

– Смотрите, сейчас коснется горизонта.

– А я думаю, горизонт коснется его.

– О-о-о! А вы философ.

И снова повисла пауза, когда они погрузились в созерцание закатного слияния двух тел – Земли и Солнца. Половина солнечного диска уже спряталась за линию горизонта. Они обменялись какими-то незначительными репликами про небо и светила, потом про море и пляж, про ее загар, и, наконец, про ее руку и ладонь.

– Давайте я взгляну на вашу линию жизни, – предложил он, и, не дожидаясь ответа, взял ее ладонь и повернул кверху. Она не отдернула руки, лишь задумчиво улыбнулась, вспомнив, как много лет назад с ней таким же образом знакомился ее бывший муж.

– Роскошная линия... Глубокая, ясная... – он еще что-то говорил, а она уже не слушала. Тогда после гадания по руке они впервые поцеловались. Сейчас Эмили не хотелось целоваться. Оно и понятно – постарела да и нацеловалась уже.

Солнце зашло за горизонт и мгновенно стемнело. Они еще не представились друг другу.

– Когда я должна умереть? – спросила Эмили.

– Лет через сто, – пошутил он.

Вдруг она как бы прервала их легкую игру и, перехватив инициативу, ответила:

– Спасибо за предсказание. Пойдемте поужинаем. Я ужасно проголодалась. Вон «Фиш» недалеко, а то до другого ресторана я уже не дотерплю. Умру от голода сейчас, а не через сто лет. Так что ведите меня туда быстрее, чтоб ваше предсказание сбылось.

Он подал ей руку:

– Меня зовут Даниэль, Дани.

Один раз она уже давала ему руку для гадания, а сейчас протянула вновь – для знакомства.

– Эмили, но друзья зовут Эли.

Через пару минут они уже приблизились к ресторану, напоминавшему аквариум. Надо было еще пройти по мысу, вдающемуся в море, метров сорок-пятьдесят и через небольшой стеклянный куполообразный зал спуститься по винтовой лестнице вниз. Через окна-иллюминаторы виднелись подводные обитатели – разноцветные рыбки, раковины, улитки, кораллы, крабы, водоросли.

– Кто кого рассматривает, мы их или они нас?

– Теперь я окончательно убежден, что рядом со мной не только очаровательная дама, но и философ, – заметил Дани.

– Спасибо за комплимент, Даниэль. А в вашем имени присутствует божественное, где эль – там Элоим.

– Тогда ваше имя – это сам Бог, Эли!

– Что ж, два бога рядом.

– Не так: богиня и бог.

В меню они еще не заглянули, а официантка в черных брюках и в черной форменной блузочке с надписью «Фиш» уже дожидалась их решения.

– Так вы меня заговариваете, чтоб я все-таки умерла с голода!

Эли обратилась к официантке:

– У меня нет сил изучать меню, порекомендуйте нам что-нибудь.

– Закажите меч-рыбу. Это блюдо дня, она очень сочная, без костей.

– Меч, так меч.

– А что подать к ней?

– К мечу я хочу щит. А если серьезно, то картофель, запеченный в фольге.

Дани заказал испанскую пейоту – морские деликатесы в рисе.

– Что пьете? – спросила официантка.

– Воду, – откликнулась Эли.

– И бутылочку хорошего вина, – добавил Даниэль, – за знакомство.

– Вы думаете, надо вино?

– А вы нет?

– Отчего же, я хочу, тем более, что мы с вами и закат встретили, и руку вы мою изучили.

Официантка проворно убежала, словно чувствуя голод Эли.

– А знаете, что особенно сильно сближает людей? – спросил он.

– Беда?

– Беда, да. Но это из драматических событий. А из обычных?

– Постель?

Он хмыкнул и даже чуть смутился от ее смелости.

– Насчет постели я согласен. Но сейчас я хотел сказать: еда, общая трапеза...

Эли возвратилась домой около трех ночи. Давным-давно она так поздно не задерживалась на свиданиях. И было ли это свидание? Смутил ли ее покой Даниэль? Она не смогла точно ответить. Они даже не целовались. И ее руки он коснулся всего дважды – когда гадал и когда знакомились. Через несколько часов ей уже надо на работу, но не спалось. Эли лежала под одеялом и вспоминала прошлое.

Гл. 2. Линии жизни. Между двумя точками недолгой человеческой жизни – рождения и смерти – можно провести великое множество линий. Прямых и жирных, словно мажорные аккорды. Еле заметных пунктирных. Синусоид с подъемами и спадами. Парабол и гипербол, уносящихся в бесконечность или бесконечно приближающихся к нулю. Ломаных, спиральных, витиеватых.

Основы жизненной геометрии Эли начала постигать в детстве. Скромный домик ее родителей располагался у самого побережья. По утрам, когда она выходила во двор, слышался неумолкающий гул прибоя. Море не пахло, но воздух здесь абсолютно отличался от обычного городского воздуха. С годами, когда Эли навещала маму с папой, домик казался еще меньше и скромнее, словно бы съеживался, как съеживаются, старея, люди. Но при этом, по мере удаления от него во времени, он становился для Эли все ближе и роднее. Она хорошо помнила себя лет в одинадцать-двенадцать, когда надежность жизни казалась незыблемой. От всего дурного ее охраняли родители. И где-то неподалеку, словно еще одна стена от всяких неприятностей, – бабушка с дедушкой. Впервые она узнала тогда, что такое смерть. То есть Эли, конечно, видела мертвые деревья, тела кошек, собак, жуков, ящериц, птиц, она слышала от друзей и подружек, что кто-то из их родственников умер. Но это было далеко, как бы ее не касалось. А детские впечатления сводились обычно к страху перед мертвым телом или боязнью войти в комнату с трупом, к страшным рассказам про кладбище. Когда же в неполные двенадцать лет девочка Эли увидела неподвижное, восковой бледности тело своей бабушки, лежащее на столе – а всего лишь неделю назад бабушка была розовой, любящей, бесконечно балующей свою внучку, – сердце Эли наполнилось леденящим ужасом и болью, словно часть ее самой умерла. Она села тогда обессиленная на стул

около мертвой бабушки и смотрела на нее, даже сквозь нее, по-детски еще не осознавая неотвратимость и необратимость смерти. По прошествии двух или трех лет мама взяла ее на кладбище. Эли тогда спросила:

– Мамочка, а что там, под землей?

Мама Эли смутилась от неожиданности, решая, придумать ли что или наскоро рассказать какую-нибудь сказку, но вовремя вспомнила, что дочке уже четырнадцать, и, тяжело вздохнув, сказала:

– Кости да волосы, дочурка, от нашей бабушки, – голос ее прервался, и она заплакала.

– Ну, мамочка, не плачь, не надо. Ты-то ведь у меня не умрешь, я знаю. Ты всегда будешь со мной. Скажи, не умрешь, правда?

Мама ничего не сказала, а только отрицательно закачала головой – мол, нет, не оставлю тебя.

А еще года через два Эли загрустила, поняв как-то после очередной прочитанной книги, что не только ее милая мамочка, но и она сама должна покинуть этот лучший из миров. Грусть поселилась в ней надолго, пока вечно занятая мамочка не обратила внимание на ее состояние. Начала пытать Эли – что же случилось? – пока дочка, не выдержав, зарыдала и рассказала все. Мама гладила ей волосы и приговаривала: «Успокойся, моя радость, скоро ученые что-нибудь придумают, лекарство от рака и других ужасных болезней, люди тогда будут жить долго-долго, почти вечно». Эту наивную трогательную выдумку рассказывала ей еще покойная бабушка. Наверное, сказка передавалась из поколения в поколение.

Пролетели, словно миг, еще несколько сот дней, грусть Эли растворилась, уступив место первой незабываемой любви. Однажды вечером девушка, вся горя от страсти, вдруг вспомнила свою прошлую грусть и мысли о смерти и рассмеялась, подумав, какая это пошлая вещь – тоска из-за бренности. Да, наверное любовь создана только для того, чтобы не думать о смерти.

Такой вспомнилась ей линия ее жизни до восемнадцати лет. На улице уже запели первые птицы, когда Эли погрузилась в краткий предутренний сон.

Гл. 3. Энрике. А первой ее любовью был Энрике. Первая любовь, как самый дорогой алмаз, лежит у каждого человека в шкатулке памяти. Только с годами туда все реже и реже заглядывают. С Энрике они встретились в доинтернетовские времена, когда знакомились просто на студенческих вечеринках, в кино, у друзей. В этом парне текло много испанской крови, которая проявлялась в необузданном темпераменте, сразу захватившем Эли. Он был высок и строен, как олень. Самое интересное, что в ту их первую осень он казался ей сотканным из одних достоинств. Кто-то из друзей Энрике пошутил: Энрике, как нарцисс, упивается своей красотой и следит за собой, как женщина. Действительно, у него была длинная коса, черная как смоль, миндалевидные глаза, смуглая гладкая бархатистая кожа. Все это притягивало Эли. А секс с ним был как наркотик, к которому привыкаешь, и хочется еще и еще. Он ее окончательно покорил, когда предложил посетить Калифорнию. Конечно же, она не была там никогда, а Энрике снисходительно заключил:

– Я не люблю Флориду, она и в подметки Калифорнии не годится. Поедем на озеро Тау и побудем в Сан-Франциско.

Она держала его за руку, смотрела снизу вверх, поддакивая:

– Да, да, и я хочу в Калифорнию, особенно с тобой.

Сразу по приезде в Калифорнию Энрике взял на прокат огромную, в полквартала американскую машину, на которой они и начали свое турне. Энрике в тот вечер искрился остроумием. Они ехали по Голден-Гейт Бридж под музыку Иглз.

– Дорогая, посмотри налево. Там огни ночного Фриско, – так по-местному он называл город. – Посмотри направо. Там Тихий океан – самый большой океан в Калифорнии.

Эли смеялась, не выпуская его правой руки и во время езды. В сотый раз за день она говорила ему, как его любит, да и Энрике не отставал, рассыпался в комплиментах.

– Я думаю, если Тихий океан самый большой в Калифорнии, то ты самая прекрасная девушка этой изумительной страны.

Этим вечером они шли на невероятно фешенебельную вечеринку, которыми Эли совсем не была избалована.

Энрике нацепил черную атласную бабочку и фамильный перстень с гигантским рубином. Природный вкус Эли подсказывал ей, как претенциозен перстень, но любовь заглушала эти подсказки. Эли надела черное, как и чулок, платье.

– Я хочу, чтоб ты была в перчатках, – сказал Энрике, но перчаток не было, и за пару часов до вечеринки они поехали в магазин, и он купил ей дорогие, длинные, до локтей перчатки. Все шло великолепно. И настроение у Эли и Энрике соответствовало событию. В холле подавали ананасы, клубнику и шампанское. После коротких речей околополитичеких деятелей объявили танцы. Первый танец Эли и Энрике был упоительным. Он обнимал ее, шептал что то на ухо, а она таяла от его близости и очередных комплементов. Уже начали разносить на подносах калифорнийское вино, креветки и суши.

Энрике заговорил с каким то джентльменом, представил ему Эли. Их разговор продолжался, а Эли отошла чуть в сторону. Когда вновь зазвучала музыка небольшого оркестра из угла зала, к Эли подошел невысокий и приятный молодой человек и пригласил на танец. Она искала глазами Энрике, но он стоял в вполоборота к ней, что-то доказывая своему собеседнику. Эли подала кавалеру руку, и они пустились в танец. Прошло не больше минуты, как Эли почувствовала чью-то чужую руку на своем обнаженном плече. Продолжая танец, она оглянулась и увидела искаженное злобой лицо Энрике. В ту же секунду его точный нокаутирующий удар в челюсть повалил партнера Эли на паркетный пол зала. Изо рта парня брызнула кровь. Музыка сбилась, прервалась. Люди расступились, и два копа заломили руки Энрике, выводя его на улицу. Все это заняло секунды и было похоже на дешевый голивудский боевик.

Эли взяла такси до гостиницы, позвонила из номера маме, рассказывая о случившемся. Энрике в ее глазах был героем. А мама суховато сказала:

– Доченька, с таким человеком опасно связывать свою судьбу. Он неуравновешен, несдержан, будь, пожалуйста, осторожна...

И тут Эли взорвалась. Впервые в жизни она закричала на свою любимую мамочку:

– Ты ничего не понимаешь! Он самый лучший! Самый красивый! И любит меня как Ромео. А ты желаешь мне несчастья! Ты глупая и ограниченная!

На другом краю океана мама повесила трубку, а Эли в отчаянии зарыдала. Утром в дверь постучали, и Эли после бессонной ночи побежала открывать. Энрике отпустили из полиции под большой залог.

– Так будет с каждым, кто приблизится к тебе, – сказал Энрике. – Поэтому будь осторожна, детка.

– Ты прав, мой хороший, прав. Извини, что я пошла с ним танцевать. Но было скучно, а ты с кем-то так долго разговаривал.

– Я встретил своего товарища и бывшего компаньона.

Так они коротко и дружелюбно объяснились.

Дни после этого происшествия прошли у них в разъездах и в порывах страсти.

Энрике пришла фантазия снять яхту на пару дней и сделать маленький круиз у западного побережья Штатов. Яхта оказалась фешенебельной, с несколькими парами молодых людей их возраста. Две ночи пролетели в любовных утехах, а два дня в непрерывных развлечениях. Они вернулись в Сан-Франциско, чтобы наутро оставить его.

Был приятный вечер, ласковый тихоокеанский ветерок гулял по улицам города. Эли в номере читала местный журнал, а Энрике вышел. Его не было минут двадцать. Эли решила его поискать и спустилась на лифте в лобби. Выйдя из лифта, она тотчас увидела его сидящим на красном кожаном гостиничном диване рядом с какой-то дамой. Рука Энрике лежала у нее на колене, а второй рукой он поправлял ей волосы за ухом и на виске.

Гл. 4. Галло. Ревность мгновенно лишила Эли разума. Она бросилась обратно в лифт, повторяя про себя:

– Подлец, подлец! Обманщик!

Хорошо, что никто ее не видел в таком состоянии, с залитым слезами лицом. Войдя в номер, она начала лихорадочно забрасывать вещи в чемодан, закрыла его на молнию. На столике оставались сиротливо лежать купленные перчатки.

– Пусть знает, что я в нем не нуждаюсь, негодяй!

Энрике не возвращался.

– Очень хорошо! Не желаю его видеть!

Она вошла с чемоданом в лифт. Чтоб не встретить его, поехала наверх и вышла у кафетерия. Приняла нарочито спокойный вид, чтобы не вызывать ненужного любопытства окружающих, и заказала кофе. Отметила время. Голова Эли оставалась абсолютно пустой. Она не знала еще, куда ей деваться сейчас, но знала точно, что с Энрике расстается навсегда.

– Есть два варианта, – она потихоньку начала приходить в себя и размышлять. – Либо ехать напрямую в аэропорт и купить билет домой, либо переехать в другую гостиницу.

Только сейчас она вспомнила лицо дамы, сидевшей рядом с Энрике. Кажется, эта женщина плыла с ними на яхте.

Посидев некоторое время в кафе, Эли рискнула спуститься в лобби. Только бы его не встретить – стучало в висках. Нет, в лобби Энрике уже не было. Эли быстро вывезла чемодан на улицу. А там чернокожий служащий в ливрее предупредительно раскрыл дверь такси и затащил в багажник чемодан.

– Куда едем, мисс? – спросил водитель.

– Мне нужен недорогой отель в даун-тауне.

– В даун-тауне все дорого, но могу порекомендовать «Айсидору» за парком.

– Хорошо, едем в «Айсидору».

Выйдя из такси, она сразу же столкнулась с чернокожим служащим, почти неотличимым от того, который провожал ее в «Эксельсиоре».

– Черт, не галлюцинации ли у меня? Может я вернулась обратно к Энрике?

– Давайте чемодан, мисс, я вам помогу.

– Погодите, – сказала она, – мне нужно такси.

– Вы же только что отпустили такси.

– Мне нужно еще одно.

– Хорошо, хорошо, вот стоит рядом.

И Эли повторила маневр, сменив и эту гостиницу на случай, если Энрике начнет искать ее. Был уже час ночи. Еле живая от усталости и переживаний Эли повалилась спать.

Ее утреннее настроение она сама назвала похоронным, так говорил ее дедушка. Еще бы. Она наговорила маме гадостей по телефону, защищая подлеца, который ей же и изменил. Перед тем как спуститься к завтраку, Эли не нашла ничего лучшего, как вынуть из минибара пару маленьких бутылочек водки и, не закусывая, осушить их. Потом села на незастланную гостиничную постель и закурила, стараясь так заглушить боль разрыва.

В ресторане сидела отрешенная, автоматически пережевывая еду. Вдруг к ее столику подсел темнокожий мужчина. Он заговорил с ней, пожелал доброго утра и представился: Николас, Ник.

– Сегодня вечером в гостинице будут музыка и танцы.

Видя, что она не откликается на намек, он прямо пригласил ее.

– Ник, спасибо, но у меня не то настроение, чтобы идти на танцы. Да я и не уверена, что хочу провести этот вечер с вами.

– Я и не настаиваю, чтоб со мной. Будет немало моих знакомых, так что вы сможете выбрать любого, если захотите, разумеется.

– Хорошо, я подумаю. До свидания.

Эли, не допив кофе, вернулась в номер. Днем она занималась своим билетом, отложив свой полет на несколько дней. Долго набиралась смелости, чтобы позвонить маме.

– Мамочка, извини меня за грубость, – сказала Эли. – С Энрике все кончено, так что ты, как всегда, права. Расскажу подробно, когда вернусь. Со мной все нормально. Я хочу еще немного побыть в Сан-Франциско.

После обеда она спала, не раздеваясь, и проснулась уже затемно. Умылась, включила телевизор. Взглянула на часы и вдруг вспомнила утреннее приглашение на танцы. Через двадцать минут начало.

А почему, собственно говоря, нет? Она хочет продолжать наслаждаться жизнью! Друг изменил ей, а у нее есть полное право изменить ему. К тому же до отлета она должна пробыть несколько дней в этой гостинице. Неужели ей нужно умереть с тоски в таком прекрасном городе?

И ответила сама себе тем, что быстро сбросила одежду и прыгнула в ванну. Потом долго накладывала косметику, причем ей самой показалось, что переборщила с этим. Оделась экстравагантно, даже вызывающе. Вечеринка уже началась, но Эли решила немного опоздать. Чтобы провести время, включила телевизор. Ей не сиделось, сегодня ни сигарета, ни виски не ус-

покаивали. Спускаясь вниз, она думала, что в Сан-Франциско начала много курить и пить.

Там внизу уже гремела музыка, было тесно, шумно. Почти сразу же появился Ник, начав знакомить Эли со своими товарищами. Она не запоминала ни одного имени, голова ее оставалась пустой от усталости, переживаний, виски и сигарет.

Около двух часов ночи, после беспрерывных танцев под музыку «транс», Эли отошла в угол зала, взяв стакан колы. К ней подошел один из знакомых Ника по имени Самюэль.

– Хотите закурить? – спросил он.

– Не откажусь.

– Только эти сигареты с добавкой.

– С какой?

– С очень легкой. Марихуана.

– А я года два назад пробовала, абсолютно ничего не почувствовала.

– Попробуйте сейчас, может, через два года подействует.

Она закурила, жадно вдыхая дым и стараясь ощутить действие наркотика.

– Нет, все как тогда.

– Выкурите еще одну, если хотите понять марихуану.

Эли курила вторую сигарету подряд, и через некоторое время ей показалось, что подействовало. Наступило расслабление, пришла легкость в теле. Она готова была снова танцевать.

В следующие три дня она без перерыва курила марихуану, которую ей давали то Ник, то Самюэль. Почему-то ей расхотелось возвращаться домой. Она снова связалась с агентством и отложила на неделю полет. Для смелости выкурила две сигареты подряд и набрала номер мамы. Разговор с ней выдался нелегким. Эли применила все свое красноречие, чтоб успокоить маму, сразу заподозрившую что-то неладное.

В этот же вечер ей впервые дали попробовать экстази. Через неделю Эли снова звонила в агентство, прося отсрочить билет уже на месяц. За это полагался немалый штраф, и Эли пришлось выложить большую часть своих денег. Кроме того, нужно было решить вопрос с жильем – оставаться больше в гостинице она не могла. Ник помог ей снять недорогую квартиру типа «студия».

– Куда меня несет? – возникал иногда непрошенный вопрос, но она заглушала его новой порцией марихуаны. За эту неделю она с помощью новых друзей уже попробовала крэк.

Однажды утром Эли вышла из дому купить кофе. Впереди нее шла пара высоких мужчин. Эли чувствовала себя неплохо после долгого сна, даже песенку напевала. И вдруг вокруг головы одного из идущих впереди она увидела эллипс, отдаленно напоминавший сияние вокруг святых ликов на иконах. Только цвет был какой то странный, тревожный, с багровыми и серыми тонами. Эли не свернула в магазин, а продолжала идти за парочкой. Ей почему-то вдруг ужасно захотелось увидеть момент, когда исчезнет это странное «гало» (светящееся кольцо вокруг объекта; оптический феномен). Она шла и думала, что слова «гало» и «галлюцинация» имеют один корень.

Она прошла за мужчинами еще метров тристачетыреста, миновала страховой офис, банк, магазины, и вдруг парень с галло быстро раскрыл свой чемоданчик-кейс, вытащил какую то штуковину и метнулся в сторону. Эли закричала, понимая, что происходит неладное, но никто не откликнулся.

– Может я уже с ума схожу от наркотиков? – подумалось ей.

Потеряв из виду мужчин, Эли повернула назад к дому, не забыв купить свой любимый кофе. Сегодня не буду курить. Хватит, у меня же есть сила воли. Докурилась, уже какие то чудеса вижу, гало. Ничего и не было в действительности. Правильно, что в банк не зашла, еще бы в психушку забрали.

День в Сан-Франциско выдался необычно влажный, и Эли собралась в душ, но перед этим автоматически, как обычно делала, включила телевизор. Для нее телевизор был как человек в доме: появлялись звуки, отступало одиночество – известная иллюзия телевизионной эпохи.

Но сейчас полицейские сирены делали шум от телевизора невыносимым. Эли усилила звук. Сирены, оказывается, гудели не только в телевизоре, но и на улице. Передавали экстренное сообщение. Всего несколько минут назад двое неизвестных ворвались в банк и под угрозой оружия вынесли наличными более двадцати миллионов долларов. Сработала видеокамера, и вот они – фотографии бандитов.

– Боже! – вскрикнула Эли. – Это же они! И вот он, этот тип с гало! Так значит, не зря она видела это кольцо вокруг его головы. Фантастика какая то!

– Всех, кому что-то известно о событии, просят обратиться в полицию по телефону...

Она обязана пойти, но что сказать? Правду – так никто не поверит, а если еще и узнают про наркотики...

Гл. 5. Гипотеза Вейна. Прошло всего несколько дней после памятного видения, о котором она все-таки сообщила в полицию, и ей позвонили домой. Мягкий мужской баритон спросил:

– Госпожа Коэн (это была фамилия Эли), вы можете уделить мне несколько минут?

А так как Эли, несмотря на все ее приключения, оставалась правильной и послушной девочкой, помнящей мамины наставления, она почти без колебания согласилась встретиться в кафе неподалеку от ее дома.

Мужчина, который ей позвонил, на деле оказался очень обычным, практически стандартным американцем. Вид его был абсолютно незапоминающимся. Он ей сразу показал удостоверение, но сунул его так близко к глазам, что она ничего не могла прочитать, а попросить объяснить подробнее она не решилась. Но он ей сам все пояснил.

– Мы не ФБР, но работаем с ними в тесном контакте.

А потом как бы невзначай добавил на хорошем иврите:

– Вэ ма ат митковенет ляасот кан? (1) – и снова перешел на обычный, без акцента, американский.

– Ани (2), – Эли запнулась от неожиданности, – ани...

– Инглиш, плиз (3), – тихо поправил он.

При всей своей неопытности, наивности Эли взяла себя в руки, сделав вид, что ничего не случилось, и как ни в чем не бывало продолжала беседу.

– Я собираюсь вернуться домой, но у меня пока временные денежные трудности, поэтому я отложила свой полет.

Разговор был недолгим и каким-то размытым, неконкретным. Лишь в конце он сказал:

– Хорошо, я подумаю, как мы можем помочь вам, госпожа Коэн. Вот мой телефон на всякий случай. Но я позвоню вам сам завтра или послезавтра.

Возвращаясь домой, Эли не замечала ничего вокруг из-за мыслей и эмоций, переполнявших ее юную голову. Она не могла понять главного: хотят ее поймать на наркотиках? Или ко всей компании Ника-Сэма подбираются? Ей стало страшно. Наверное, Ник и Сэм покупают или продают, а это серьезное преступление. Боже! – подумала она, – что делать, сказать парням, что спецслужбы уже рядом, или нет? Решила подождать все-таки до следующего звонка агента. Назавтра утром он ей позвонил, назначив повторную встречу в том же месте. Эли хорошо подготовилась, проиграв в уме предстоящий разговор.

– А если я больше не хочу с вами встречаться?

– Это полное ваше право. Но только я боюсь, если вы не пойдете на контакт, могут пострадать люди, много людей.

К такому повороту она была не готова.

– Поясните, пожалуйста, – попросила она, сама удивившись своей наглости.

– Я отвечу на любой ваш вопрос, госпожа Коэн, но только при встрече.

И не дав ей передохнуть, сказал как о решенном:

– Мы встретимся сегодня в пять часов в том же кафе, и со мной будет еще один человек. Не пугайтесь, солидный профессор, он вам понравится. До скорого.

И, не успев выслушать ее возражений, отключился.

Эли потеряла покой. Она даже не сообразила, что он дал ей телефон, по которому можно перезвонить ему. И не с кем было посоветоваться. Вдруг она отчетливо поняла, что одна, совершенно одна. И для чего профессор будет на встрече? Все это бурлило в ней, и ни на одном вопросе она не могла сосредоточиться. Так прошел день, вернее пролетел. Почему то в последний час перед встречей ее мучил совершенно женский вопрос: что одеть? В конце концов за десять минут до выхода она одела самое простое – джинсы и черную блузку. И, не наложив косметики, выбежала на улицу.

На этот раз она почему-то волновалась меньше, апатия овладела ею, как говорится – перегорела. А может быть, высокий седовласый мужчина лет шестидесяти так повлиял. Его звали Вейн, профессор Вейн. Вначале, как и в первый раз, разговор шел как бы ни о чем. Эли решила устроить проверку агенту и профессору. Будто невзначай она вдруг вплела ивритское восклицание – «Ма ихпат ли!» (4) и бросила быстрый, но пристальный взгляд на своих собеседников.

– Ху ло мейвин иврит (5), – спокойно, без эмоций сказал агент и продолжил беседу.

– Мы внимательно изучили ваше сообщение в полицию после ограбления банка.

У Эли словно груз с души упал – значит не наркотики, слава богу!

– Профессор Вейн – известный специалист в области изучения мозга, памяти, человеческих эмоций, мы попросили его встретиться с вами.

У Вейна было лицо, перерезанное глубокими морщинами, и потому выглядевшее суровым. Но глаза! Глаза поразили Эли сразу же, а сейчас, когда профессор заговорил с ней, голубизна глаз стала напоминать кусочки чистого весеннего неба, озаренного солнцем. Он обратился к Эли тоже спокойно, но не равнодушно, как агент.

– Я знаю весь ваш рассказ о «галло». Полиция записала его на пленку, когда вы позвонили. Интересно, чрезвычайно интересно! Я изучаю подобные явления много лет и сейчас являюсь консультантом их агентства, – и он кивнул на сидящего рядом. – У меня имеется несколько любопытных теорий по поводу этих вещей, называемых многими паранормальными. Я не люблю термина – паранормальный, никто точно не знает что такое норма в психике. Кстати, я готов поделиться с вами некоторыми соображениями, но вначале одна просьба. Я прошу вас прийти в мою лабораторию и пройти не очень долгое и совершенно безвредное обследование.

– Я боюсь. Я читала, как спецслужбы зомбируют, воздействуя на мозг. Но расскажите, что за исследование?

– Это один из видов электроэнцефалографии, разработанный мною. Он позволяет регистрировать, а потом и анализировать так называемые минорные ритмы мозга. Я думаю, что в них зарыта собака в случае с вашим галло, как и с другими подобными феноменами.

Хотя Эли еще и не сказала – да, она уже как бы доверилась Вейну, ей казалось подсознательно, что человек с такими глазами не сможет причинить вреда.

И тут Вейн применил тот же психологический прием, что и его предшественник. Он не стал спорить с ней или доказывать что-то, он просто сказал:

– Я вас жду ровно через два дня в лаборатории, вот визитная карточка. Только прошу вас все эти сорок восемь часов не пить алкоголь, не принимать наркотики и психотропные препараты. Кстати, возьмите листок, там написано как вести себя, – и он протянул Эли маленький флайер с общеизвестной картинкой мозга в верхнем углу.

Самое интересное состояло в том, что Эли, кроме Энрике, разумеется, увлекалась в последнее время психологией и психоанализом, даже читала в подлиннике Юнга и Адлера. Конечно, разрыв с Энрике привел ее к наркотикам, но сейчас он, а может быть судьба, свели ее с Вейном. Профессор сразу покорил ее. И она забыла даже о спецслужбах, агенте, своем «галло», ей хотелось так много спросить у Вейна.

Гипотеза Вейна словно лежала на поверхности, доступная каждому смертному, но далась в руки только ему – небесноглазому гению из Огайо. Пока Эли отдыхала после первой части исследования, профессор сидел неподалеку, перелистывая журнал, посасывая трубочку и излагая своей испытуемой то, что он рассказывал на своих блестящих лекциях в университете.

– Есть два важных момента во всей истории с паранормальными явлениями. Внутренняя предрасположенность, которая существует примерно у одного процента людей на свете, и второе – стимул, способный возбудить необычную способность. Например, способность распознавать пальцами температуру предмета. В этом ничего необычного нет. Но, моя дорогая Эли, у одного индивидуума температурная чувствительность позволяет различить полградуса, а у другого – два. Около одного процента, опять-таки заметьте, это магическое число – могут различать до пяти сотых градуса! Фантастика, правда? Но эти люди уже способны при определенных обстоятельствах раскрыть необычную способность к рецепции тепловых волн. Поверьте мне на слово, но сходная ситуация и с радиоволнами, например, или с магнитным полем. Вы

можете себе представить, что человек чувствует радиоволны? Я не могу. Почти два года я делал эксперименты, тысячи экспериментов. И нашел. Правда, их меньше, чем в случае с температурой, но двое-трое на тысячу есть этаких гениев чувствительности! Далее мы занялись их рецепторами и способностью мозга обрабатывать информацию. Тогда-то я и обнаружил минорные ритмы. Во всех учебниках вы найдете только описание четырех главных мозговых ритмов. А минорные ритмы определяют способности к паранормальному восприятию. Я вас утомил, дорогая.

– Нет, что вы, я слушаю будто фантастический рассказ...

– А вторая часть его связана с так называемыми разрешающими факторами. Оказывается, что только у одного человека с повышенной чувствительностью из тысячи определенные ситуации способны проявить эту чувствительность. Давайте продолжим исследование, Эли.

– Перед тем как сесть в ваш энцефалограф, скажите, профессор, я правильно сосчитала: вероятность моей ситуации – один на несколько сот тысяч?

– Почти. На деле же раз в десять меньше, один на несколько миллионов. Объясню вам потом, но теперь вы не удивляетесь, что ваши спецслужбы сразу занялись вами. В вашей маленькой стране, таких как вы, возможно, только несколько человек, да и у нас их не так много.

И Вейн усадил Эли в кресло, установил электроды ей на голову и включил прибор...

Спустя три дня Эли и Вейн сидели на уютной старомодной лавочке русского холма, молча глядя на Алькатраз (6) и поджидая Джеймса. Именно так звали агента, необычайно заинтересовавшегося ее сверх способностями. Он должен был подойти с минуты на минуты, а пока профессор рассказывал Эли результаты расшифровки ее энцефалограммы.

Джеймс подошел к ним сбоку, тихо, так что они и не заметили. Поздоровались, и он тотчас протянул Эли конверт.

– Тут две важных бумаги. Одна – ваш билет на самолет, а вторая – контракт между Эли Коэн и нашим агентством. Билет вы можете сразу взять, а контракт подписать, предварительно прочитав его, разумеется.

Голова у Эли немного кружилась, потому что после исследования профессор перевел ее на метадоноподобный препарат, заменяющий наркотики и позволяющий постепенно отказаться от них. Она взяла себя в руки и начала читать. В это время Вейн и Джеймс отошли в сторону, о чем-то негромко разговаривая. В контракте было много всего написано формальным, трудным адвокатским языком. Эли поняла, что ей нужно будет сотрудничать с агентством минимум три года. Зарплата полагалась королевская, равная примерно четырем средним зарплатам в ее стране. Были положены бонусы в случае успехов. Через несколько минут Джеймс подошел к Эли.

– Я отпустил профессора, он потом вам позвонит, а мы должны с вами закончить формальности. У вас есть вопросы по контракту?

– Еще бы! Во-первых, вы уже говорите о нем, как о чем-то решенном. Я даже не поняла из написанного, что вы хотите от меня.

– Госпожа Коэн, если вы вернетесь, то вас почти тотчас должны взять в армию, не так ли?

– Да, мне уже восемнадцать с половиной лет, и я получила перед поездкой в Штаты предписание.

– Так вот, вместо службы в армии, которая защищает страну от враждебного окружения, вы будете служить у нас и заниматься особыми заданиями оборонного характера.

– Поняла идею, но не поняла как...

– Мы хотим использовать ваши исключительные способности в исключительных целях, например, в поимке опасных врагов, шпионов, террористов. Поэтому вспомните мои прежние слова: если вы откажетесь, то могут пострадать многие.

Черт, он знал, на какие кнопки элиной души нажимать и какие ее струны трогать. А чтобы закрепить успех, Джеймс напомнил про зарплату.

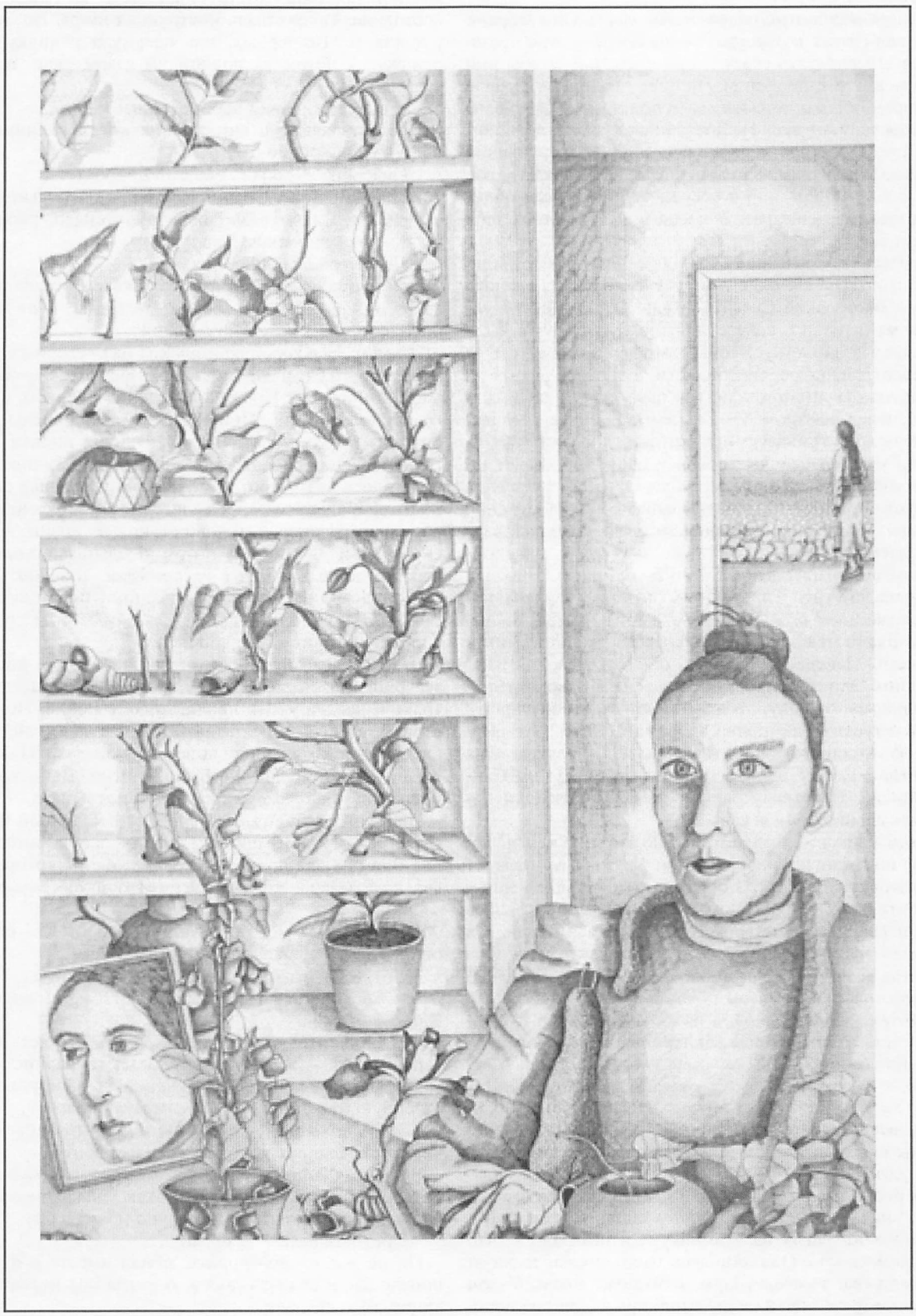
– Месячный заработок у нас будет равен вашему годовому заработку в армии, и если говорить честно, я думаю, вы стоите больше. Я отдельно включил бонусы... Но Эли отключилась и про бонусы уже не слушала. Лучшее, что она могла сообразить – это попросить дать ей подумать, но она уже знала, что вместо желанной учебы у Вейна она в ближайшие годы будет служить у Джеймса.

Гл. 6. От твоего решения зависит все, девочка...

Та памятная осень выдалась для страны неблагополучной. Да и какое время года, какой год здесь бывали спокойными? Захватили в плен нескольких солдат, и никто толком не знал об их судьбе. Велись многочисленные, но бесплодные переговоры через посредников, тайные и напрямую. Эли с утра вызвали к шефу. Он, как всегда уравновешенный, начал спокойно, издалека излагать суть задания. Эли привыкла к его манере. Вначале ее раздражала неторопливость, повторы, но как-то он, заметив ее реакцию, объяснил насколько важна логика, холодный расчет и повторение самых важных, узловых моментов.

– У тебя, как всегда, особая роль, – рокотал голос шефа. – Ты включишься в операцию в точке «Далет» (далет – условное название этой операции по четвертой букве ивритского алфавита). Сложность в том, что это в самой глубине территорий, и, естественно, численное превосходство будет у них. Есть сведения, что оба наших солдата находятся здесь. По одной версии их держат в простом доме, как все дома вокруг, но больше двух-трех дней они на одном месте не задерживаются, кочуют. Завтра они должны быть в «далет». У нас там есть сейчас несколько людей. Ты должна знать их в лицо. Смотри, – и он разложил фотографии.

– Этому парню 26 лет. Работает в мастерской по починке машин в районе. Вот его мастерская, а это его машина «рено». В этом пикапе мы планируем вывезти ребят. Парня зовут Салем. Ночевать будешь в его мастерской, вот в этом закутке, снаружи будет замок. Есть второй выход, но пользоваться им будешь только в условиях, угрожающих жизни, поняла? Около трех ночи Салем откроет дверь и подгонит пикап задом вплотную к двери, влезешь внутрь. Он отвезет тебя к месту, это близко, минут шесть-семь езды. Здесь начнется твоя настоящая миссия. Салем остановится. По расчету кто-то должен здесь стоять у них – охрана или наблюдение. Салем выйдет из машины и заговорит с ним. В пикапе есть узкая щель. Ты должна смотреть на того, кто говорит с Салемом, и понять – здесь наши ребята или нет. От твоего решения будет зависеть операция.



Ольга Черенцова. Графика. Из серии «Портреты»

Эли тяжело дышала и молчала.

– Тебе страшно, девочка?

– Нет. Но как-то еще непривычно. Я с ними не работала.

– Салем абсолютно надежен, как скала. Они забрали двух его братьев в шахиды. Он на очереди. Мы постараемся его спрятать сразу после операции, чтобы они никогда его уже не нашли. Но пока есть время, правда мало времени, мы должны его использовать. От твоего решения зависит все. Ты постучишь кулаком в кабинку, когда Салем вернется и сядет за руль, не раньше и не позже. Один удар – ребята здесь, несколько ударов – их нет. А теперь иди и сосредоточься. После обеда мы встретимся еще раз. А часов в шесть вечера тебя повезут.

До рассвета оставалось часа два. Эли промерзла до самых костей. Она сидела в углу темного и ледяного закутка мастерской Салема, ждала. Ожидание, тянувшееся мучительно, сейчас должно будет прерваться. Эли вынула таблетку Вейна, которая растормозит ее сверхъестественные способности в нужное время, и проглотила ее. Вспомнила, как шеф, напутствуя, сказал ей перед выездом, что эксперты оценивают успех их операции в семьдесят процентов, и добавил:

– Но у тебя девочка, вернее у нас с тобой, нет ни одного процента на ошибку.

В густой ночной тишине послышалось приближение машины. Хотя Эли тренировалась, но залезая в заднюю дверь тендера, она все же запуталась в непривычных длинных одеждах и чуть не упала. Наконец оказалась внутри. Только на мгновение увидела поблескивающие глаза Салема, когда он закрывал за ней дверь. Ехали недолго, как и предсказывал шеф, минут пять-семь. Наверное не только от холода, но и от напряжения Эли знобило. Она подсела к узкому горизонтальному окошку, охватывая взглядом несколько домов и тусклые лампочки около них. Салем затормозил, не выключая двигателя, вышел наружу. Она смотрела как он шел, вспоминая парочку из Сан-Франциско. Навстречу вышли двое. Мысли Эли понеслись словно кони вскачь.

У одного из них был автомат, но это ни о чем не говорит, они многие с автоматами. Как он его держит? Наизготовку или нет? О боже, я пытаюсь анализировать ситуацию, как обычный человек, а они надеялись на мои сверхъестественные силы! Времени мало, ох как мало времени! Голова ее вдруг стала пустой. Она не могла ни думать, ни чувствовать. И внезапно над головой того с автоматом появилось нечто. Оно было не похоже на то «галло», а напоминало какие-то волны, четкие волны, словно завихрения невидимого воздуха. Как будто магнит ускорял частицы. Истекли секунды, и Салем повернулся к машине. Эли нагнулась, чтобы не дай бог никто ничего не заподозрил, подвинулась по скамейке к кабинке, и когда Салем залез внутрь, она один раз стукнула в стенку. Салем что-то крикнул и вылез наружу с термосом. Все шло по плану. Втроем они разлили чай по маленьким стаканчикам, и, начав пить его на улице, зашли в дом. Эли в изнеможении легла на скамейку. Ей показалось, что прошла вечность. Она очнулась то ли от сна, то ли от беспамятства, услышав шум и быстрые шаги. Салем открыл дверь и почти силой втолкнул к Эли две непонятные фигуры.

...Через мгновение машины тронулась, быстро набирая скорость, по шоссе на север.

Эли знала, что в чае, который наливал Салем охранникам, было сильное быстродействующее снотворное. Ей не полагалось разговаривать с освобожденными, и главной причиной было ее платье и их психическое состояние. Такова была инструкция шефа. Но Эли нарушила ее. Во-первых, она сдернула накидку и паранджу. А потом на родном им языке тихо, но ясно сказала:

– С освобождением вас, ребятки.

В ответ звякнули кандалы на ногах пленников, и один из них хрипло ответил:

– Спасибо.

Повисла пауза. И вдруг выстрелы очередью прорезали ночь. Салем резко повернул тендер, распахнул окошко из кабины и заорал:

– Ложитесь на пол!

Эли пыталась сообразить сколько им оставалось до границы, но раздались новые выстрелы, и от жгучей боли в ноге она потеряла сознание.

Эпилог. Все хорошее и плохое на свете имеет свойство кончаться, и эти почти фантастические события ушли в историю. Про освобождение пленных неделю говорил целый мир. При обстреле были ранены двое – один из ребят и Эли. Но про Эли не писали нигде. Ведь операция проводилась тайно, поэтому никому не полагалось знать про Элины паранормальные способности. Страна и ее доброжелатели гордились армией и разведкой. Недруги готовили новые козни. Салема спрятали, и Эли ни разу потом не слышала о нем. Оба освобожденных парня с их семьями, конечно же, боготворили Эли. К каждому празднику она получала от них цветы, ее приглашали на все семейные события: бар-мицвы, брит-милы, юбилеи.

Сама Эли вскоре после операции «Далет» досрочно завершила свой памятный еще с Сан-Франциско контракт и начала учить психиатрию у Вейна. Получила вторую степень и открыла затем частную лечебницу. Она вышла замуж, родила детей, развелась. Никогда в жизни у нее больше не было наитий. Вейн когда-то посоветовал ей даже алкоголь не употреблять.

Пелефон разбудил ее привычной мелодией Фрэнка Синатры «Чужие в ночи». Густой, слегка хриплый голос Дани не дал подняться раздражению, которое всегда накатывало, когда ее утром будили телефонные звонки.

– Вы помните мое предсказание, дорогая? – спросил он.

Не отреагировать по-женски она не смогла.

– Уже дорогая? Не рановато ли? – ухмыльнулась Эли.

– Я понял. Но я не согласен ждать сто лет. Я хочу сейчас и все, – твердо по-мужски настаивал он.

Она поддалась на эту убежденность и силу, не свойственную многим современным мужчинам.

– Хорошо. Только сейчас не получится никак. Мне через сорок минут уже выезжать на работу.

Вечером Даниэль ждал Эли с огромным букетом, в котором царствовали белые, как снег, гладиолусы. Она приняла цветы и восхищенно произнесла:

– Прелесть какая! Тяжелые...

Он не дал ей договорить, обнял вместе с букетом, поцеловал, и целовал долго. А когда она перевела дыхание, то услышала:

– Я так скучал. Мы не виделись почти двадцать часов.

– И я тоже, – ответила Эли. Они взялись за руки и пошли.

– Сегодня я расскажу тебе про линию жизни, – сказала она.

Сама же подумала с радостью:

– Линия жизни и двадцать часов разлуки. Наверное, я полюбила опять...

А любить Эли всю жизнь умела только по-настоящему.

Апрель 2008

---

(1) Вэ ма ат митковенет ляасот кан? – и что вы собираетесь делать здесь? (ивр.).
(2) Ани – я (ивр.)
(3) Инглиш, плиз – пожалуйста по-английски (англ.).
(4) Ма ихпат ли! – мне все равно (ивр.).
(5) Ху ло мейвин иврит –он не понимает иврита (ивр.).
(6) Алькатраз – остров в Сан-Франциско с известной тюрьмой, где сидел Аль Капоне.

ВАСИЛИЙ ШАРЛАМОВ

СТЕПАН И МУЗА

В просторных залах пиццерии "Селешты" (Прим. Seleste – небесная, порт.) было шумно и многолюдно. И хотя в верхнем зале, где мы со Степаном облюбовали укромное местечко, никто не курил, сизая дымка, словно туман, висела в тяжелом и спёртом воздухе. Черты лиц посетителей в дальнем конце зала расплывались и приобретали какие-то причудливые формы, как на картинах импрессионистов прошлого века.

Я только что закончил свой рассказ, и Степан задумчиво почесывал свой затылок.

– И сколько же тебе не доплатила эта сволочь? – рассеянно спросил он.

– Если брать все положенные субсидии и выплаты, то мой бывший патрон не доплатил мне около 450 контушей, – печально ответил я.

– Да за это убивать надо! – взревел возмущенный гигант. – А ты его через суд достать не пробовал?

– Это безнадежно, – кисло заметил я. – Сеньор Паулу, несмотря на свою молодость, – тертый калач и отпетый проходимец. Согласно закону он банкрот и, вообще, является безработным. На его многочисленных счетах в разных банках одни нули. Все его имущество числится за родней. К нему имеют финансовые претензии многочисленные фирмы и компании. И нет у меня времени добиваться справедливости, тем более что я иммигрант. Не для того Паулу брал нас на работу, чтобы платить нам по-честному.

– Но ты мог хотя бы подстеречь его в темном местечке и разукрасить ему физиономию в счет неуплаченного долга, – заговорщически понизил голос Степан. – Хочешь, я подсоблю тебе в этом праведном деле?

– Зачем? У каждого человека своя правда, – философски заметил я. – Паулу бездумно тратил деньги на продажных женщин, пытаясь получить от них то, чего не могла или не хотела дать ему его супруга. Мне ли его судить? По сути, он жертва уродливого воспитания. Он как-то со смехом рассказывал, как его отец в Анголе попал со своим подразделением в окружение. Положение было безвыходное. В минуту отчаяния тот пообещал, что если Бог спасет его от смерти, то он продаст лучшую корову из стада отца и пожертвует деньги церкви. Вернувшись же невредимым домой, отец Паулу только посмеялся над своими "глупыми" мыслями и идиотскими страхами. Когда же друзья и родные, знавшие об Обете, стали упрекать его, он отрекся от католической веры и ушел в общину свидетелей Иеговы. Так что: "Яка хата, такий й тин, який батько, такий й син"... (Прим. укр. пословица.) – сказал Охрим и, налил куму и десятилетнему крестнику полный гранчак горилки. Он закончил мою мысль, упиваясь своим искромётным остроумием. (Прим. гранчак – двестипятидесятиграммовый граненый стакан.) Но, заметив мой укоризненный взгляд, быстро сообразил, что шутки здесь неуместны. Он виновато потупил глаза и хмуро добавил:

– Таких беспринципных мерзавцев надо жестоко и привселюдно наказывать. И карать публично прямо на городской площади.

Я с сожалением заглянул в посуровевшие очи великана и умиротворённо молвил:

– Конечно, обидно за мой тяжелый напрасный труд и драгоценное потерянное время. Но всё-таки я простил Паулу его неоплаченный мне долг. Бог ему судья. Сейчас я работаю на алюминиевой фабрике и зарабатываю побольше, чем у моего бывшего патрона.

– Да-а-а-а..! – печально покачал головой Степан. – Ты слишком великодушен, Василий! Но, как говорят французы: "са ля ми".

– Вообще-то, "салями" французы говорят, когда хотят покушать, – осторожно произнес я. – А когда они желают поразмышлять о бренности нашей жизни, то говорят "се ля ви".

– Да знаю, знаю! – вдруг широко заулыбался Степан. – Это я прикалываюсь! Ведь я пять лет учил французский язык в школе. Просто обожаю игру слов.

– То-то ты так бойко объяснялся с французом в кафе "Паласиу Кристалл", – беззаботно рассмеялся я. – А я уже было подумал, что у меня слуховые галлюцинации. У тебя было такое великолепное произношение, что я на минуту искренне поверил, что у тебя хронический гайморит или, по крайней мере, обложной насморк. Кстати, в Португалии в высших аристократических кругах тоже принято говорить, безбожно гундося и прихрюкивая на французский манер.

– Вообще-то, я и ехал работать во Францию. И виза у меня была французская, и заплатил я соответствующую сумму, – тяжело вздохнул Степан, – но неожиданно для себя оказался в Португалии. Водитель моего автобуса сказал, что сначала завезет клиентов в Мадрид и Лиссабон, а уж затем доставит меня в Бордо. Там, по его словам, меня встретит человек, который предложит мне отличную работу. В Лиссабоне вышли последние пассажиры, и я остался в салоне один. Водитель куда-то ушел и долго отсутствовал. Я лишь на минуточку заскочил в пенсау по надобности, а когда вышел, то мой бусик растворился в переулках Лиссабона. Я увидел у стены пенсау мои поспешно выброшенные сумки и понял, что меня "надули". Ну, ничего! Летом поеду в отпуск, найду это жулье из турагентства "Мираж" и доходчиво им втолкую, что не хорошо нарушать заповедь Господню "не обмани ближнего своего".

Зная по-сегодняшнему происшествию у гипермаркета о миссионерских способностях Степана, я догадался, что проповедь будет долгая, задушевная и проникновенная. Да ещё и подкреплена вескими, я даже

сказал бы весомыми, аргументами. Кулаки у гиганта были, как чугунные гири. Родись Степан в эпоху Великих географических открытий, то смог бы не одно племя каннибалов обратить в истинную веру.

– Когда же нам, наконец, подадут пиццу!? Са́мое время трапезничать! – возмутился изголодавшийся исполин. – Пойду, закажу ещё пива!

За стойкой кухни, словно заправский циркач, работал худощавый долговязый паренек в белом фартуке и высоком поварском колпаке. Он ловко слепил из теста широкий корж, затем мастерски подбросил его вверх так, что тот перевернулся в воздухе, поймал и снова подбросил. В момент, когда корж в полете поворачивался к повару плоскостью, тот неожиданно подло наносил несчастному блину несколько резких ударов обеими кулаками. Точь-в-точь, как бывалый боксер, нашедший брешь в обороне противника. И так несколько раз подряд. Затем паренек вращательными движениями на кулаке начал раскручивать корж, словно лассо, которое собирался набросить на головы посетителям. Всё это чем-то походило на колдовской ритуал, без которого приготовление пиццы казалось невозможным.

– Й-й-й-й-ёшкин цвет!! Да он что, блинов объелся!? – раздраженно прогудел у меня над ухом Степан, выставляя на стол с дюжину разнообразных бутылок с пивом.

– Белены... – хотел я, было, поправить сотрапезника, но он резко перебил меня.

– Нет, именно блинов, которые этот клоун так нещадно пинает и швыряет! Тут люди изнывают от ползучего, костлявого голода, а он изгаляется! Не иначе, как в цирковое училище собрался поступать. Юное дарование! Жонглер нераскрученный!

Наконец, корж упокоился на противени, и повар стал сноровисто раскладывать на нем сыр, ветчину, грибы, оливки и прочую снедь. В конце концов, противень попал в печь, а парень в белоснежном колпаке слепил из теста новый корж и принялся снова подбрасывать его в воздух. Капли пота выступили на изнеможенном лице юноши, но он явно не хотел лишать себя удовольствия жонглировать коржами. И это несмотря на то, что ждущих своих заказов клиентов в пиццерии было хоть отбавляй.

– Если через три минуты нам не принесут пиццу, то я захлебнусь собственной слюной! – трагически простонал Степан.

То ли судьба смилостивилась над нами, то ли кто-то, зная русский язык, убоялся, что поминки придется справлять за счет заведения, но пиццу нам вскоре подали с улыбкой и пожеланиями приятного аппетита. Несмотря на титанические усилия повара, тесто оказалось явно недопечённым, а сыр и по виду и по вкусу напоминал скорее тягучую сырую резину.

Порция Степана была в четыре раза больше моей, но он с удовольствием уплетал за обе щеки это подобие отваренной подошвы, запивая его большими глотками пива. В таком огромном количестве пива могли б раствориться и менее удобоваримые вещи.

– А как у тебя дела дома? – поинтересовался я у Степана. – Скоро твоя Катя приедет в Португалию?

– Думаю этак через месяц-два, – оживился мой собеседник. – Жду не дождусь моего зайчика. Ты ведь её ещё не видел? Вот она!

И Степан с трепетом достал из бокового кармана и выложил на стол помятую фотографию. Снимок был сделан на берегу Тернопольского водохранилища. С него на меня смотрела миловидная круглолицая женщина лет 30-35, кокетливо склонившая голову к плечу Степана. В то время гигант носил длинные волосы, пышно спадающие на его могучие плечи. Его подруга с короткой стрижкой прямых темных с чуть красноватым оттенком волос застенчиво улыбалась, но даже фотобумага не могла скрыть тех бесенят, которые резвились в её черных глазах. Катя была гармонично сложена и в паре со Степаном смотрелась очень даже неплохо. И только тот, кто знал истинные габариты Степана, мог отчетливо представить, что в этом "зайчике" было не менее 185 сантиметров роста и более 90 игривых любвеобильных килограмм.

– Мы здесь, будто два голубка. Ну, словно Самсунг и Далила, – томно промурлыкал Степан. – Не правда ли?

– Во-первых, не Самсунг, а Самсон и Далила, – поправил я товарища. – Кстати, а куда подевались твои роскошные кудри?

– Катя обстригла, – со вздохом сожаления ответил Степан. – Сказала, что с такой "метелкой" во Франции только дворником работать. А что "во-вторых"?

– А во-вторых, возьми "Ветхий Завет" и почитай, чем завершилась история Самсона и Далилы, – прозрачно намекнул я.

– Да некогда мне сказки читать! – зло огрызнулся Степан. – Когда моя бывшая жена Люба, уехавшая на заработки в Италию, прислала мне записку: "Не жди. Я вышла замуж. Живи, как знаешь". Я даже не представляю, что б делал с двумя малыми дочками на руках. И если б не подвернулась Катюха, то я бы, наверно, просто с ума сошел. Её ведь тоже муж с ребенком бросил. И мы сошлись, и стали жить вместе. Ты даже не представляешь, как я был счастлив в те дни! Это не женщина, а сказка! Нежная, пылкая, горячая...

– На ней, что, яичницу можно жарить? – плоско пошутил я. – А тебе не приходило в голову, что её первый муж на ней как раз и погорел?

– Ну, я-то не погорю! – самонадеянно заявил Степан.

– Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало,

Два важных правила запомни для начала:

Ты лучше голодай, чем что попало есть,

И лучше будь один, чем вместе с кем попало, – назидательно промолвил я.

– Что ты сказал!? – грозно нахмурился гигант.

– Да это не я. Это Омар Хайям сказал, – примирительно улыбнулся я.

– Много он понимает твой Абрам Хаим! – обиженно пробубнил Степан. – А он случайно не еврей?

– Во-первых, не Абрам Хаим, а Омар Хайям. А во-вторых, он, ну, совершенно случайно, иранец, – терпеливо пояснил я.

– Какой, какой такой сранец? – насмешливо переспросил мой оппонент.

– Не сранец, а иранец, то есть перс. Ты что, на ухо туговат? – раздраженно бросил я.

– Перс!? – деланно удивился Степан. – Был у меня "перс" по кличке Барсик. Ох, и ленивая же тварюга! Мышей из принципа не ловил, пацифист хвостатый! Мог только всю ночь напролет на весь Тернополь жалобно мяукать, да по кошкам круглогодично бегать. А чтоб стихи сочинять!?.. Это только у Пушкина: "Пой-

дет направо – песнь заводит, налево – сказку говорит... "

Я почувствовал, что у меня начала кружиться голова, и поймал себя на мысли, что совершенно перестал понимать, когда Степан шутит, а когда говорит серьёзно.

– А на счет Катюхи ты со своим Хайямом можешь не сомневаться, – благодушно продолжил Степан. – Я с блаженством вспоминаю тот год, что прожил с нею. Прейдешь с работы усталый, хлюпнешься в кресло перед телевизором, откроешь бутылочку пива и смотришь футбол. А Катюха хлопочет на кухне и что-то щебечет. И всё щебечет, щебечет и щебечет. Ничего толком не слышу, а приятно. Живое общение с любимой облагораживает. Вот только денег на жизнь не хватало. Из-за них проклятых и пришлось расстаться с моей "звездочкой" и уехать в такую даль. А знаешь, Василий, воспоминания о доме, о любимой навеяли на меня вдохновение и я, вот, сочинил стихи. Хочешь послушать?

У меня, честно говоря, не было никакого желания обогатить себя бриллиантами поэтического творчества Степана. Но из вежливости я с энтузиазмом заявил, что с тех пор, как приехал в Португалию, только и мечтал услышать что-нибудь новенькое из сокровищниц мировой поэзии.

– Тебе смешочки, – обиженно пробурчал гигант. – А я уже месяц по ночам не сплю. Мучительно ищу подходящую рифму и красивые слова, достойные неземной красоты моей Катюхи.

– О-о-о-о-о! Да я вижу Екатерина – твоя Муза! – изумился я.

– Вообще-то, нет. Мы еще не расписаны. Но в будущем обязательно поженимся! – твердо пообещал Степан. И я понял, что для него муза – это всё равно, что муж, только женского рода.

– Ну, ладно, слушай! – милостиво позволил мне ознакомиться со своим творчеством Степан. Он неожиданно ловко вскочил на соседний стул, принял позу памятника Маяковскому в Москве и трубным замогильным голосом, от которого задребезжала посуда на столах, продекламировал:

О, милая моя Катюха!
Хоть слушаю тебя в пол-уха,
Но голос твой, мой соловей,
Журчит, как сказочный ручей.

Иерихонская труба показалась бы жалкой детской свистулькой по сравнению с могучим громоподобным гласом, всколыхнувшим вязкий воздух переполненной посетителями пиццерии. В нижнем зале что-то глухо и тяжелое упало на пол. За спиной Степана истерически завизжала девушка. Но не от восторга. Вскакивая на стул, поэт ненароком зацепил её кавалера за локоть и тот выплеснул полную чашку горячего кофе на белоснежный костюм своей возлюбленной. Парень вскочил на ноги, сжал кулаки и резко обернулся. По грозному выражению его лица я понял, что он не на шутку намерен вступиться за честь и достоинство дамы своего сердца. Но, увидев двухметрового громилу верхом на стуле, он как-то сразу сник, суетливо схватил салфетку и стал поспешно промакивать коричневые пятна на костюме своей зазнобы.

Повар был застигнут загробным гласом как раз в тот момент, когда в очередной раз подбросил корж вверх. Парень мгновенно съежился и сжался в комочек от нахлынувшей волны ужаса. А корж плашмя плюхнулся прямо на вершину его башнеподобного колпака.

По-видимому, повар принял мефистофельский бас Степана за предвестник приближающегося землетрясения.

– Ну и как? – спросил меня с вершины Парнаса обладатель бесценного поэтического дара.

– Я поэт, зовусь я Стёпа.

Всем привет от остолопа! – пробурчал я, растирая заложенные "громом" уши.

– Чего, чего? – поинтересовался из-за заоблачных высот лирик.

Но тут Парнас не выдержал гениальности поэта. Ножки стула резко разъехались в разные стороны. Степан рухнул на стол, сметая с него всю утварь, и кубарем скатился на пол. Я еле успел схватить в руки свой стакан и бутылку "Спрайта", спасая их от разрушительной стихии. Низвержение с Парнаса сопровождалось страшным грохотом и звоном бьющегося стекла. Общий бедлам усилило то, что официантка, имевшая неосторожность как раз проходить мимо, от неожиданности резко отпрянула в сторону и выронила на пол содержимое своего подноса, а именно: 4 порции пиццы и столько же стаканов и бутылок пива "Супербок". Грохот падающей посуды и битого стекла дополнил мелодичный перезвон падающих ножей и вилок. Одна порция пиццы, описав замысловатую траекторию и несколько раз перевернувшись в воздухе, упала точнехенько на макушку поэта и увенчала его растерянную физиономию. Степану, восседавшему на полу среди остатков трапезы и обломков посуды, ещё крупно повезло, что пицца угодила на его голову коржом вниз. Во времена Древней Греции победителям поэтических соревнований на голову возлагали лавровый венок, но, по-видимому, с тех пор обычаи сильно изменились.

Вдруг Степан дико взревел, резко сбросил "корону" с головы, прытко вскочил на ноги, схватил газету "Jogo" с соседнего стола и принялся махать ею над своей макушкой, при этом мелко пританцовывая. Этот пляс сопровождался отборными ругательствами и изощренными проклятиями. Все это чем-то напоминало танец шамана при изгнании злого духа из тела смертельно больного соплеменника. И тут меня осенило, что пицца была только-только извлечена из печи.

Внезапно гигант узрел меня со стаканом и бутылкой "Спрайта" в руках. Степан стремительно бросился ко мне, выхватил из моих одеревеневших рук бутылку и вылил её содержимое прямо себе на голову. Мученическое выражение медленно сползло с его лица, и он облегченно вздохнул:

– Господи! И как это йоги умудряются ходить босыми ногами по горячим углям? Тут от пиццы мозги в голове чуть не закипели. А то ... голыми ногами!!!

Я робко оглянулся. На нас смотрели десятки пар ошеломленных глаз. Виртуоз изготовления "прорезиненной" пиццы спрятался за кассовым аппаратом и испуганно выглядывал из-за него, как новобранец из-за ветхого бруствера. Корж, свисая с верхушки головного убора повара, предательски перекосил Пизанскую башню колпака, натянув его край на вытаращенные глаза несчастного. Дрожащими руками парень вытащил из кармана мобильный телефон и, трепеща, как осиновый лист, попытался набрать какой-то но-

мер. Край колпака совсем съехал на его слезившиеся глаза, и он поспешно поправил его левой рукой. В этот момент коварный мобильник выскользнул из непослушных пальцев юноши, вращаясь винтом, полетел вниз и, ударившись торцом о кафельный пол, раскололся на несколько частей. Повар, согнувшись и прикрываясь руками, словно в него стреляли из крупнокалиберного пулемета, бросился к лестнице и почти кубарем скатился в нижний ярус пиццерии. Степан бережно вытащил из кармана носовой платок размером со штормовой парус терпящей бедствие бригантины, старательно вытер мокрую голову и лицо, затем громко высморкался, аккуратно сложил платок и, очаровательно улыбнувшись, сказал:

– Кажется, влипли.

***

Из нижнего яруса пиццерии медленно поднялся солидный, уже не молодой мужчина, в строгом, но дорогом костюме с табличкой на груди.

– По-видимому, управляющий, – невольно подумал я.

– Со строгим взором, стриженой бородкой,
Шаблонных правил и сентенций кладезь,

– непроизвольно вспомнились шекспировские строки.

Степан невозмутимо направился к управляющему, вытаскивая пачку банкнот из внутреннего кармана куртки:

– Tenha calma! Pago para todas danificações!" (Прим. "Спокойствие! Плачу за все убытки." Порт.)

Повар, робко выглядывавший из-за широкой спины управляющего, как завороженный, не мигая, уставился на шуршащие банкноты. Глаза его, казалось, вот-вот выпадут из орбит, а безвольно отвисшая челюсть коснется его пупка. Лишь неожиданно свалившийся с колпака корж, вывел его из тяжёлого гипнотического транса.

Степан минут пять что-то настойчиво объяснял недоверчивому администратору на португальском языке и, наконец, уговорил.

– O`kay! – веско произнес управляющий и что-то властно приказал официанткам. Те быстро и проворно смели и вытерли с пола последствия недавней катастрофы. Стол был начисто вымыт, сервирован заново, и мы снова уселись за него с намерением продолжить нашу прерванную трапезу. Вот только стул более походил на раздавленную блоху, и даже лесковский Левша вряд ли смог бы восстановить его после наезда моего увесистого сотрапезника. Обломки стула, как останки павшего в неравном бою ветерана, торжественно вынесли в подсобное помещение. Степану же откуда-то принесли новый стул, отличающийся от своих стандартных собратьев особой прочностью и громоздкостью. Администратор же пристроился на освободившемся дальнем столе и принялся составлять скорбный список потерь, понесенных вверенным ему заведением.

Невысокая черноглазая девушка-официантка, принесшая нам пива, бросала на Степана томные выразительные взгляды и всячески пыталась привлечь его рассеянное внимание. Но, увы, тщетно.

Гигант наклонился через стол и с надеждой во взгляде и трепетом в голосе спросил:

– Ну, как мои стихи?

– Феноменально, потрясающе! – искренне произнёс я, абсолютно не льстя Степану. Феномен творчества гиганта изящной словесности до основания потряс пиццерию "Селешты", а также всех, кто имел несчастье находиться в ней. Степан зарделся, как красна девица.

– Незабываемо! Сногсшибательно! – пылко продолжал я. – Куда до тебя Шекспиру с его:

"Две самых ярких звёздочки, спеша
По делу с неба отлучиться, просят
Её глаза покамест посверкать.
Ах, если бы глаза её на деле
Переместились на небесный свод!
При их сеянье птицы бы запели,
Приняв ночь за солнечный восход".

Степан с минуту задумчиво молчал, очевидно "переваривая" услышанное.

– А знаешь, тоже неплохо! – наконец, с видом знатока заметил он. – Вот только рифма у твоего Шекспира явно хромает.

– Степан! А почему твои стихи на русском языке? – поинтересовался я. – Ведь в Тернополе большинство населения говорит на украинском.

– Так уж вышло, что с малолетства я жил и рос на Колыме. Мои родители уехали туда на заработки на золотые прииски. Там родилась моя младшая сестра. Ходил я в русскую школу, играл с детьми, разговаривавшими по-русски. А когда родители вернулись в Тернополь, то я уже был чересчур взрослый, чтоб заново переучиваться. Да и Катюха, хоть её родители и тернопольчане, росла и училась в Крыму, где тоже разговаривают по-русски. Честно говоря, мне стыдно, что я плохо знаю родной язык. Но, клянусь тебе, заработаем с Катюхой деньги на квартиру, вернемся домой и я обязательно выучу украинский язык, – твердо заявил Степан.

– В твоих стихах есть крошечный изъян, – после небольшой паузы мягко сказал я. – Всё-таки называть любимую женщину Катюхой как-то неблагозвучно. Ведь можно сказать Катя, Катерина.

– Да уж так я привык. Да и вся рифма тогда рухнет! – обиделся Степан. – Я и так столько времени её подбирал!

– Ведь ты влюблен, так крыльями Амура
Решительней взмахни и оторвись! – патетично воскликнул я.

– Шекспир... – полувопросительно, полуутвердительно произнес Степан, и я удивился, насколько быстро он смог распознать стиль великого поэта. – Послушай, Василий! Познакомь меня с этим Шекспиром. Похоже он очень умный мужик. Мне кажется, где-то я уже слышал эту странную фамилию.

Неожиданно в серо-голубых глазах Степана отразился немой вопрос, который он явно стеснялся задать.

– Не волнуйся! Он совершенно случайно не еврей, – успокоил я гиганта, и на его лице отчетливо проявилось выражение облегчения. – Но познакомить тебя с ним не могу. Он умер.

– Как умер?! Несчастный случай на производстве?! – ужаснулся Степан.

– Можно сказать и так, – печально вздохнул я. – Судя по его сонетам, он не смог пережить измены возлюбленной и предательства друга.

– Похоже, у него была слишком ранимая душа, – уныло молвил Степан. – И давно он умер?

– Нет, не очень. Около четырехсот лет назад, – скорбно ответил я.

Степан недоуменно уставился на меня. Но, видимо, подумав, что ослышался, безнадежно махнул рукою:

– Ну, умер, так умер. Ничего не попишешь. Все там будем. Но что же мне делать со стихами?"

– А ты начни так: – предложил я. – О, милая Екатерина...

– ...Твой бюст, как сказочная дыня, – выпалил Степан, которого явно донимал зуд творчества.

– Это как? На вкус или на цвет? – саркастически полюбопытствовал я. – Трубадур ты мой тернопольский! Ты должен четко определиться, что ты пишешь: гимн возлюбленной или трактат по бахчеводству. Так ты и самого Ронсара переплюнешь!

– А это ещё кто такой? – изумился Степан.

– Французский поэт эпохи Возрождения. Отец эротической лирики, – пояснил я.

– И что он, к примеру, такого написал? – подозрительно прищурился гигант.

Я сморщил лоб и, проклиная склероз, напряг свою предательскую память:

О, постой! О, погоди!
Я умру! Не уходи!
Ты как лань бежишь тревожно.
О, позволь руке скользнуть
На твою нагую грудь.

Иль пониже, если можно, – наконец, процитировал я.

Степан крепко задумался. Он застыл в позе Роденовского "Мыслителя", сосредоточенно всматриваясь в точку, находящуюся где-то за моей спиной, будто я был абсолютно прозрачным. На лбу его собрались суровые складки, вены на висках вздулись. Казалось еще немного, и он трагическим, надрывным от безысходности голосом воскликнет:

– Быть или не быть, вот в чем вопрос.

– Нет! До уровня Ронсара мы опускаться не будем! – вдруг категорично заявил Степан. – Так что ты там говорил о Екатерине?

Я собрался с духом и начал заново:

О, милая Екатерина!
Когда твой щебет соловьиный...
...Доходит до моих ушей,
Я сам пою, как соловей!

– восторженно закончил стих достойный наследник величайших поэтов прошлого и современности.

Я с сомнением поглядел на уши Степана. Их величина и форма никак не располагали к возвышенным чувствам.

– Давай попробуем заменить лопоухость чем-нибудь более романтичным, – осторожно предложил я.

– Каким это образом? – насторожился Степан и с опаской отодвинулся от меня на полметра.

Я снова собрался с мыслями, поднял глаза к потолку и произнес:

– О, милая Екатерина!
Когда твой щебет соловьиный
Ласкает слух, моя душа....

– ...От кейфа тащится, шурша! – взревел гигант, вскакивая со стула.

– Это крыша у тебя поехала тихо шифером шурша! – взбесился я. – Ты ведь любимой женщине пишешь, а не наркоману – собрату по ржавой игле! Пиши, что хочешь!

– Извини, друг! – виноватым голосом попросил прощение Степан. – Сам не знаю, как это у меня вырвалось. Так что ты там надумал на счёт души?

– Попробуй теперь вспомни о душе после твоего вульгарного "кейфа"! – сердито пробурчал я и в очередной раз напряг извилины своего мозга:

– О, милая Екатерина!
Когда твой голос соловьиный
Коснется струн души моей...

– ...Я сам пою, как соловей! – восторженно возопил Степан. – Замечательно! Изумительно! Поразительно! Дай я тебя облобызаю!

И, распахнув свои объятья, он бросился ко мне через стол, смахнув по пути на пол два стакана, несколько бутылок пива и фарфоровую пепельницу. Под хрустальный звон разбивающейся посуды гигант трижды звонко расцеловал меня, да так, что у меня перехватило дыхание и в глазах совершенно потемнело. От таких горячих поцелуев проснулась бы не только Спящая Красавица, но и вся её ближняя и дальняя родня.

– Ему бы в реанимации работать! – приходя в сознание, подумал я.

– Степан! Ты можешь сидеть спокойно, не вскакивая из-за стола? – прохрипел я, вырываясь из объятий колымского медведя. – А то этой забегаловке придется закрыться на неделю, чтобы восстановить запасы разбитой посуды и испорченной мебели после твоего незабываемого визита.

Я боязливо огляделся. Еще не хватало, чтоб окружающие восприняли слишком бурное излияние чувств Степана за проявление нетрадиционных сексуальных отношений. Но, казалось, никто не обратил внимания на новый, чересчур яркий всплеск эмоций исполина. Лишь управляющий, приподнявшись со своего места, цепким взглядом оценил дополнительный ущерб пиццерии и внес коррективы в составляемый им реестр нанесенных нами убытков.

Черноволосая девушка-официантка, лучезарно улыбаясь, собрала осколки посуды и ласковым нежным голосом поинтересовалась, не желают ли сеньоры ещё чего-либо выпить. Её бездонные, черные, на пол-лица глаза восторженно сияли и с нескрываемым вожделением пожирали раскрасневшегося гиганта. Но он, казалось, не замечал этих ярковыраженных знаков внимания и отрицательно покачал головой: "Nada" (прим. "Ничего" – порт.). Миниатюрная девушка ещё раз одарила Степана маслянистым многообещающим взглядом и неспеша удалилась, кокетливо виляя бёдрами.

– Нет! – философски заметил мой собеседник, косясь в след "уплывающей" вдаль "Золушке". – Женщины должно быть много. Только тогда ты сможешь по-настоящему ощутить божественное, всепоглощающее счастье обладания.

Меня просто шокировало неожиданно прорвавшееся красноречие Степана.

– А стихи я завтра же отправлю Катюхе... то есть Кате. Пусть знает, что мы тоже не лыком шиты, – самодовольно ухмыльнулся он.

Шок, вызванный высокопарными словами гиганта о счастье, был ничем по сравнению с тем, что я испытал в следующую минуту.

Степан поднял руку и неожиданно для меня с произношением, которому позавидовал бы диктор В.В.С., рявкнул:

– Waite! The bill, please!" (Прим. "Официант! Счет, пожалуйста!" Англ.)

Я был сражен наповал, но ещё больше был ошеломлен управляющий. Он словно оцепенел от неожиданности, на его лице застыла гримаса крайней растерянности и изумления. Брови администратора удивлённо изогнулись, приподнялись и спрятались под волосами, свисающими на лоб. Но он быстро совладал с собою и, на полусогнутых ногах прытко подбежав к нашему столу, положил перед Степаном мелко исписанный листок бумаги.

– Here it is! – расплылся в льстивой улыбке управляющий и, немного подумав, добавил, – Sir!

Степан скрупулезно изучил скорбный перечень утрат пиццерии, кисло поморщился, неспеша вытащил из бокового кармана кошелек и выложил на стол требуемую сумму.

– The change is for you. (Прим. "Сдача вам" – англ.) – небрежно махнул рукой гигант. Затем он открыл другое отделение бумажника, извлек оттуда 50-долларовую купюру и положил рядом со счетом.

– Here is a little gift personally for you, as a symbol of my Motherland. (Это маленький подарок персонально для вас, как символ моей Родины (прим. – англ.), – важно заявил Степан. Сияющий администратор рассыпался в поклонах и благодарностях.

Вдруг Степан повернул голову и неожиданно обратился ко мне:

– If you don't mind, we can go as far as King Luis' Bridge, can't we? ("Если ты не против, мы могли б пойти к мосту Короля Луиша, не правда ли?". (Мост короля Луиша – достопримечательность г. Порто. Прим – англ.)

Похоже, мое лицо не было отмечено особой печатью интеллекта, и Степан больно пнул меня ногой под столом. Я с трудом стряхнул с себя оцепенение, собрал все свои скудные знания английского языка и нахально заявил:

– Yes, if you like. By the way, how far it is? (Да, если хочешь. Кстати, как это далеко?)

– Not very far, not more then ten minutes' walk. (Не очень далеко. Не более 10 минут ходьбы.) – успокоил меня гигант, поднимая с пола свою сумку.

Мы встали из-за стола, а управляющий заискивающе помчался вперед, указывая нам дорогу. Когда он удалился на значительное расстояние, я нервно спросил Степана:

– Откуда ты знаешь английский?

– Да как-то хотел иммигрировать в Австралию, но это длинная история. Когда-нибудь расскажу, – вполголоса ответил Степан.

– Господи! Зачем ты дал ему так много денег? Ведь его счет убытков, как минимум, в два раза завышен. Да ещё 50 долларов сверху, – огорченно прошептал я.

– Э-э-э! – поучительно произнес гигант. – Знаю я проходимцев этого типа! Если б мы начали спорить, он тут же сдал бы нас полиции. Даже то, что мы безропотно заплатили, ещё не значит, что он этого не сделает.

Мы вышли из пиццерии на городскую площадь. У бордюра стояла полицейская машина, тревожно мигая сигнальными огнями. Двое угрюмых полицейских, не моргая, с подозрением пялились на нас. Возле них стоял пронырливый управляющий и что-то настойчиво им объяснял. Краешком уха я уловил его тихое воркование:

– ....американские туристы. Ну, немного порезвились, но за все уплатили по счету до последнего эскудо. Кстати, вполне сносно говорят по-португальски.

Мы повернули налево и вразвалочку пошли вверх по площади, с любопытством вертя по сторонам головами и с восторгом указывая друг другу на архитектурные достопримечательности и памятники старины. С реки нахлынула волна густого тумана, и полицейские с управляющим растворились в непроглядной серой пелене.

– Слава Богу! Обошлось! – облегченно вздохнул Степан.

– И все равно напрасно ты дал администратору 50 долларов, – с сожалением произнес я. – Они б тебе очень пригодились.

– Да это вовсе не деньги, – лукаво ухмыльнулся гигант. – Я же сказал, что этот маленький подарок – символ моей Родины! И отнюдь не хитрил! Это непревзойденная, виртуозная работа одесских умельцев. У меня таких ещё три штуки есть. Моя бывшая жена Любаша купила на Одесской толкучке у одного менялы 4 купюры по 50 долларов перед самой поездкой в Италию. Тёртая баба была, а так погорела!

Степан вытащил из кармана бумажник, достал оттуда 50-долларовую купюру и протянул её мне. Я взял в руки банкноту, провел пальцем по воротничку президента и по надписям, поглядел сквозь купюру на залитую светом витрину магазина.

– Знаешь, Степан! А от настоящей ничем не отличишь! Если это подделка, то искуснейшая работа гения, – с видом опытного валютчика оценил я банкноту.

– А ты внимательней посмотри на надписи и на рожу президента, – ехидно захихикал мой попутчик.

– Президент как президент! Явно без грузинской кепки! – не на шутку обиделся я. – И надписи как будто не на иврите и не на абхазском языке. И, пох-х-х-о...

Тут я поперхнулся последним словом и умолк, не веря моим глазам. На купюре четко было написано "FIVE DOLLARS", и на меня с неё издевательски-надменно глядел великий освободитель закабаленных негров Авраам Линкольн.

– Во-во! – и Степан профессорским жестом поднял вверх указательный палец. – Как эти кудесники, Паганини от монетарного искусства умудрились вместо пятерки цифру 50 пришпандорить, до сих пор не понимаю. То ли аппликация, то ли какая-то другая тонкая технология... А ведь сами 5 долларов действительно настоящие!"

После праздников я увидел по телевизору репортаж, где сообщалось, что при попытке сбыта фальшивых американских долларов, в Порто был задержан член банды искусных фальшивомонетчиков. Страж порядка с экрана бодро заявил, что полиция напала на след других представителей банды, который отчетливо ведет в Соединенные Штаты Америки.

Мы медленно брели по центральной площади города. Туман неотвратимо сгущался, и редкие фигуры прохожих теряли четкость контуров, приобретая гротескные зловещие формы. В воздухе зависла мельчайшая водяная пыль. Наши волосы быстро промокли, а одежда покрылась тонким слоем влаги.

Казалось, сквозь мглу тумана к нам медленно и незримо подкрадывались тоска, печаль и безысходность, шурша своими широкими серыми плащами. Их шаркающая походка и тихий шепот леденящим ужасом сковывали наши сердца. Нервно поёживаясь, мы невольно ускорили шаг и неожиданно вышли к громадной рождественской ели у Камеры Муниципал (прим. ратуша). Вершина дерева тонула в призрачном липком тумане. У подножья ели лежали громадные разноцветные коробки, перевязанные блестящими лентами и символизирующие рождественские подарки. Рядом невысокий, но стойкий, как оловянный солдатик, Пай Натал (прим. аналог Деда Мороза в Португалии.), героически исполнял свой благородный долг. Он умело надувал длинные тонкие разноцветные воздушные шарики и скручивал из них разнообразные диковинные фигурки. То у него получался меч-кладенец, то необычайный цветок, а то фигурка кошечки или собачки. Широко улыбаясь, весельчак в красной куртке и колпаке раздавал свои творенья восторженным ребятишкам.

Туман всё больше и больше сгущался, и встревоженные родители поспешно стали уводить детвору по домам. Пай Натал остался один, болезненно шморгая носом и пританцовывая вокруг ели. Сырость и холод проникали под полы одежд и пронизывали трепещущие тела до костей. По звукам, доносившимся от рождественского древа, трудно было понять, то ли Пай Натал отбивает мелкую чечетку, то ли щелкает зубами от холода. Его тоненькие курточка и штаны, похоже, не очень-то согревали своего хозяина. Ватная борода и парик Пай Натала слиплись, и, казалось, насквозь пропитались влагой.

– И много, много радости детишкам принесла, – с ностальгической грустью произнес Степан, глядя на ёлку. – А я ведь уже и не помню, когда в последний раз получал рождественские подарки. Это было так давно, много-много лет тому назад. В нашей жизни так много проблем, забот, тяжкого труда и так мало радости и веселья! Похоже, в погоне за деньгами мы совершенно разучились беззаботно веселиться и наслаждаться маленькими радостями нашей жизни.

Тяжелый вздох, как порыв лютой зимней вьюги, согнул и ссутулил тело Степана. Голова его поникла, руки безвольно обвисли.

Пай Натал остановился, внимательно и сочувственно посмотрел на гиганта огромными живыми карими глазами. Он оттянул прикрепленный на тонких резиночках красный шарик, заменявший ему нос, и переместил его на лоб. Достав платок, Пай Натал высморкался и вытер свой мокрый нос, который по цвету и по размеру ничем не отличался от снятого шарика. Затем он вытащил из своей сумки тонкий красный воздушный шарик, надул его и ловко свернул в форме сердечка. Взгромоздив шарик-нос на прежнее место, Пай Натал важно подошел к Степану и, протянув ему эмблему любви, неожиданным для такого щупленького тела басом произнес:

– Digne-se aceitar um presente, meu amiginho! (Прим. "Соблагоизвольте принять подарок, мой дружочек!" – порт.).

Гигант вздрогнул, медленно поднял голову, растеряно посмотрел в глаза Пай Наталу и дрожащими руками принял подарок. То ли капля дождя, то ли скупая слеза потекла по небритой щеке Степана. А Пай Натал, встав на цыпочки, дружески похлопал гиганта по плечу и добродушно пробубнил: "Tudo esta bem quando acaba em bem. Boa noite!" (Все хорошо, что хорошо кончается. Спокойной ночи! – Порт.).

Он лукаво подмигнул мне правым глазом, подхватил свою сумку, перебросил её через плечо, круто развернулся и скрылся в клубившемся тумане. Его гулкие быстрые шаги постепенно затихли в глубине надвигающейся ночи.

ОЛЬГА ЧЕРЕНЦОВА

ПОРТРЕТ

Рассказ

Посвящается брату

«И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил».
А.С. Пушкин («Евгений Онегин»)

Ветер колол пылью глаза. Трепал техасский флаг на столбе, смахивая с синего прямоугольника белую звезду. Разбрасывал по пустыни шары перекати-поле.

«Ну и местечко», – подумал Олег, оглядываясь. Торчать в этом захолустье несколько дней совсем не прельщало.

– Подвезти? – обратился к нему мексиканец-таксист.

– Да нет, спасибо, – отклонил Олег. Снял пиджак, промокнул носовым платком капли пота на лбу и, проклиная жару, направился к ряду прокатных автомобилей. Разыскал «ниссан» – лимонного цвета, подстать солнцу – и недовольно поморщился. Ведь просил же служащую аэропорта подобрать машину потемнее! Одарив его улыбкой, та пообещала: «Будет сделано, сэр». Подобная халатность вызывала раздражение. Впрочем настроение было подпорчено с утра. Перед отъездом он не успел помириться с женой и знал, что будет за это расплачиваться, когда вернётся из командировки. Рита обычно подолгу дулась, вынуждая его просить прощение, даже если он не был виноват.

Он включил до отказа кондиционер и покатил по пустынному шоссе, разбивая носом «ниссана» летящий навстречу песок. Впереди плёлся грузовик. За ним тянулась дорожка из сена, падавшего клочками из переполненного кузова. Олег резко набрал скорость и, обгоняя, поймал краем глаза приветливую улыбку водителя. «Народ там на редкость душевный», – припомнил он слова стюардессы, решившей, что он переселяется в Западный Техас.

Вдоль дороги бежали песчаные холмы и уносились вдаль к горизонту, где вырисовывался смутным очертанием городишко – кучка низкорослых зданий. На засохших кустарниках висели обрывки газет, пустые пакеты из-под чипсов и драные рубашки, махавшие вслед рукавами. Солнце било в глаза, стирало названия на дорожных знаках, и Олег чуть не проскочил нужный поворот.

В гостинице было безлюдно, пахло затхлостью.

– С приездом, сэр! – поприветствовал его сахарной улыбкой клерк. Пока он оформлял все бумаги, Олег глазел через окно на круг бассейна, рассечённого по-

полам оконной рамой, и на загоравшую на топчане девушку. Она неподвижно лежала с раскинутыми в стороны руками, напоминая Риту. Та также обожала жариться на солнце, не слушая пугавших раком врачей. «Если суждено, так суждено», – упиралась она, когда Олег, замечал, что не следует рисковать. Прочитывая в каждом совете скрытую критику, его жена делала всё наоборот.

В номере попахивало хлоркой. Было душно. Он включил телевизор, и белокурая дикторша радостно известила, что осадков в ближайшие дни не ожидается. «То ещё местечко», – повторил Олег, глядя на безликую картину на стене. На ней – рыжая пустыня, перерезанная лентой дороги, по которой он пилил из аэропорта.

До совещания оставалось три часа. Чтобы скоротать как-то время, он решил прокатиться по городку. Полистал брошюрку, рекламирующую местные достопримечательности, и с удивлением наткнулся на объявление: «Выставка русских авангардистов».

«Ну-ну, – скептически усомнился Олег, – в этой-то дыре».

Он отодвинул штору на окне. Солнечные лучи, ворвавшись в комнату, обнажили тропинку на ковре, протоптанную подошвами посетителей, пятна на байковом одеяле и царапины на ручках кресла, прильнувшего велюром к его спине, когда он опустился в него, чтобы позвонить Рите. «Слушаю», – протянула та. Изучив все её повадки, поведение, мысли за двадцать лет жизни вместе, он знал, что она сидит в халате на кухне, и, поцеживая крепкий кофе, мрачно пытается разрешить проблему, как убить долгий, ничем не заполненный день. Те годы, когда они оба трудились на износ (он вкалывал по ночам на заводе, а она стояла за кассой в супермаркете), канули в прошлое вместе с Ритиным хорошим настроением. Одновременно с его продвижением по службе, с приобретением большого дома и «мерседеса», о которых Рита мечтала ещё в России, в его жизнь вошло хроническое раздражение жены по любому поводу. От её нападок он заслонялся шутками, выводившими её из себя ещё больше. Или скрывался в кабинете, где подолгу сидел у компьютера, с которым она соперничала, обвиняя Олега в том, что все его помыслы сосредоточены на любимом «ящике». Пока она брюзжала, раздосадованная его нежеланием раздувать скандал, он с грустью думал о том, что навсегда потерял ту Риту, какую знал много лет назад.

«Ты, как всегда, не слушаешь! – кипела она. – Моя жизнь тебя совершенно не колышет! Ты даже понятия не имеешь, как мне тошно!»

«Может, тебе устроиться на работу? А то целый день сидишь одна», – говорил он, зная, что она отвергнет.

«Зачем? Ты что, мало зарабатываешь?!»

«Дело не в деньгах, ты была бы занята. Ну, если не хочешь работать, пойди в колледж, на курсы».

«Почему ты постоянно меня куда-то гонишь?! У меня и так предостаточно дел! Кто здесь готовит, убирает?» – сердилась она. И он не подчёркивал, что она давно уже не приближается к плите, что они часто ходят в рестораны и что их дом убирает пожилая эмигрантка.

– Слушаю! – резко повторила она в трубку.

– Это я, – сказал он, притворяясь, что забыл о вчерашней ссоре. – Ну, как ты?

– Нормально, – сухо ответила она.

– Соня звонила? – спросил он.

– Звонила.

– На праздники приедет?

Дочь он боготворил, баловал к неудовольствию жены. А после того, как та поступила в университет и уехала от них, изнывал от тоски по ней и, привязывая к себе заботой, регулярно посылал ей в поддержку деньги.

– Приедет, конечно.

Смягчившись, она поинтересовалась, как он добрался.

– Добрался без проблем. Жарища здесь страшная, прямо, как в духовке.

– Что ты хочешь, это же Техас, – сказала она и с подозрением спросила, что он собирается делать вечером.

– Пойду поужинаю. Что ещё здесь делать? А чем ты займёшься?

– Поеду по магазинам... впрочем, не знаю, удастся ли. Ты же не проверил машину, там что-то стучит, – проворчала она.

– Не волнуйся, всё в порядке, я проверял на прошлой неделе. Но, если беспокоишься, поезжай в мастерскую, она же за углом, – посоветовал он. И с горечью отметил, что каждый раз, когда он отправлялся в командировку, они, как актёры на сцене, повторяли слово в слово один и тот же диалог.

– Ну вот ещё! Деньги на ветер кидать!

– Тогда подожди, когда я вернусь. Ну пока, вечером позвоню.

По городу сонно плелись друг за другом автомобили. Обогнать их не было никакой возможности, и Олег потащился за ними, удивляясь изобилию светофоров, вынуждавших тормозить каждую минуту. Остановившись у одного из них, он рассеянно стал глазеть на расставленные на углу улицы картины – безликие, как и пейзаж в номере гостиницы.

– Не купите? – подскочил к нему усатый ковбой в остроносых сапогах. – Всего-то двадцать долларов за штуку. Дешевле нигде не найдёте.

И вспыхнул спасением зелёный свет, избавляя Олега от ненужной покупки.

Он поплутал по переулкам, безуспешно разыскивая музей, и, повернув в досаде назад, очутился на том же месте, где стоял длинноусый ковбой. Пришлось обратиться к нему за помощью. Оказалось, что серая одноэтажная коробка, которую Олег принял издалека за учреждение, была музеем.

– Натюрмортик не нужен? Для гостиной. Так уж и быть, уступлю за десять долларов, – расщедрился ковбой и протянул картинку размером с обложку журнала, на которой повисла над кактусом миниатюрная колибри. «Рите понравится», – решил Олег. Та была помешана на птицах и заполонила их изображениями весь дом. Они летали на дешёвых картинках, наподобие той, которую навязал ему ковбой, украшали узором посуду, лежали вышитые на одеялах и подушках или сидели статуэтками на шкафах. Птиц этих он не выносил, считал их полной безвкусицей, но терпел, зная, какую они приносят жене радость.

Расплатившись с ковбоем, он подъехал к музею. Перед входом стояла, застыв в вечном танце, скульптура балерины. Рядом, покрыв её разводами теней, торчала одинокая акация. Она же посадила несколько теневых пятен на рубашку Олега, когда тот проходил мимо.

Олег толкнул дверь, вошёл внутрь, огляделся и... замер на месте, как и балерина на улице.

– Добрый день, – улыбнулась ему дама с гирляндой стеклянных бус на шее. Представившись директоршей музея, она затараторила о том, как рада, что он пришёл и каким успехом пользуется их выставка. Пока она трещала, он озирался в изумлении по сторонам.

– Не каждый музей может похвастаться такой изумительной экспозицией! – провозгласила она и с гордостью сообщила, что выставленные работы принадлежат местному бизнесмену, жившему много лет назад в России.

– Вы не представляете, какому он подвергал себя риску, когда вывозил из Союза эти бесценные полотна! В то время оттуда практически невозможно было что-либо вывезти! – воскликнула она.

– А как его зовут?

– Он – наша местная знаменитость! – с восторгом доложила она и назвала знакомое имя.

«Джим Грэйли!» – вспомнил Олег, когда тот пророкотал раскатистым голосом, переступая порог их квартиры в Москве. «Это ваши работы?» – спросил он тогда, вперившись цепким взглядом в акварели на стене, и сказал, что готов их все купить. «Я очень извиняюсь, но они не продаются», – отклонила мама Олега. И объяснила, что это работы её покойного отца – живописца, театрального художника.

«А, может, передумаете?» – настаивал Джим, с восхищением глядя на маму. Он зачастил к ним в дом. Бесстрашно, наравне с маминими друзьями-художниками хлестал водку. Скупал их холсты. Ухаживал за мамой. «Я разведусь, – клялся он, когда пил. – Жена меня совершенно не понимает».

Он был высок, сухощав, с длинными паукообразными руками и ногами, с каменно-крепким подбородком, с бежевой крупой веснушек на загорелом, красиво-некрасивом лице. Олегу он не нравился. Любовь к маме обострила его чутье, и он видел в Джиме то, что предпочитали не замечать мамины друзья, стремившиеся продать свои работы – человеком он был ненадёжным. Для тех же он был благодетелем, переправлявшим их труды на Запад. Их также покоряло его умение залихватски пить водку и гулять все ночи напролёт, будто не надо было ему спозаранку вставать и мчаться на службу. Хотя ни для кого не было секретом, что, как только он оказывался в объятиях родной страны, он мгновенно перевоплощался в консерватора и добропорядочного семьянина, далёкого от искушений и грехов, каким его знали жена, дети, сослуживцы.

В Москву он ещё наведывался несколько раз. Скупал живопись, веселился, также ухаживал за мамой Олега. А в один прекрасный день без предупреждения пропал, навсегда вернувшись в свой благоустроенный мир, идеально скроенный для него, как и его элегантные костюмы.

«Должно быть, он уже глубокий старик», – подумал Олег, но спрашивать не стал.

– Он уже довольно пожилой человек, – прочла его мысли директорша музея. – Родился он здесь, потом уехал в Нью-Йорк, а вот сейчас вернулся назад. К нам все возвращаются. Есть что-то такое притягивающее в нашем городке. Его никто не может забыть. Вы не находите?

– Да-да, – из вежливости кивнул Олег. Довольная, она сказала, что, хотя их городок не может похвастаться Метрополитеном, искусство в их краях ценится ничуть не меньше.

– Мы постоянно организовываем туры, лекции. Не хотите стать членом нашего местного союза художников? Будете получать скидку на всякие мероприятия, – начала она агитировать и, вдруг обратив внимание на его акцент, спросила: – А вы сами откуда будете?

– Из России.

– Надо же! Из какого города?

– Из Москвы.

– Ну и как вам у нас? Нравится? Не скучаете по родине? – посыпался град знакомых вопросов.

Удовлетворяя её любопытство, он рассказал, что осел в Калифорнии, работает программистом и часто ездит в командировки по стране.

– В Техасе впервые? – не унималась она.

– Впервые... жарковато у вас здесь.

– Да, жарковато, но в нашем городке не так как в Далласе или Хьюстоне. Нет этой жуткой влажности и нет этого движения. Там вообще невозможно по улицам ездить, сплошные пробки. Вообще вам ужасно повезло очутиться у нас именно в то самое время, когда открылась выставка. Пойдёмте, я вам покажу все работы!

Она повела его по залу, забрасывая подробностями о жизни тех, кого он знал – искривлёнными временем, слухами и её воображением.

– Если бы вы только знали, в каких невыносимых условиях им приходилось создавать свои шедевры! Господи, сколько всего им пришлось пережить! Посмотрите на эти лица! – указала она на снимок на стене. Он взглянул на фотографию, с которой смотрели на него те, кто пил и веселился все ночи напролёт в квартире, где он жил в ту пору с мамой. И тотчас заныла старая рана, дававшая о себе знать при малейшем воспоминании. Будь то подброшенный ветром запах маминых духов. Выпавший из книги её снимок. Звук её любимой мелодии. Сон о ней. И «Страна Шутов».

«К нам, к нам в страну Шутов!» – прозвучал в его памяти хор карнавальных масок, зазывавший из окна хмурую толпу на остановке троллейбуса. Накатил поток воспоминаний. Как одно за другим подкатывало к их подъезду такси с гостями. Как мама – улыбчивая, гостеприимная, сияющая синевой глаз – распахивала дверь. Как из-за фанерной стены шипела соседка: «Хулиганьё! Управы на вас нету!». Как на пороге вырастал участковый – полный мужчина с багровым, круглым лицом. «Нельзя же так, товарищи», – отчитывал он, шаря с восторгом выпуклыми глазами по маминой фигуре. И не совсем убедительно отнекивался, когда ему всовывали в руку стакан, певуче обыгрывая его музыкальное имя:

«Сулико, Сулико,

Ну-ка выпей. Хорошо?»

«Ну что вы, право, товарищи, – не поддавался он соблазну, – я ж при исполнении».

«Ну почему мы не можем жить, как все нормальные люди?!» – сердился на маму Олег. Хотя в глубине души ему намного милее была бурлившая в их квартире жизнь, чем постное существование, которое он наблюдал в домах своих одноклассников.

«Обещаю, это в последний раз, – каялась мама. – Ты прав... что-то совсем мне плохо.... купи мне пожалуйста нарзану».

Он спускался во двор с авоськой пустых бутылок. Встраивался в очередь из мужиков с сизыми лицами перед окошком, из которого вышвыривали в обмен на бутылки несколько рублей. «Ни стыда, ни совести, детей присылают. Скажи матери, что б в следующий раз сама приходила», – сердилась женщина в окошке. На полученные деньги он покупал в гастрономе сыр, масло, хлеб и минеральную воду, чтобы накормить маму. Маму он боготворил, жалел и не осуждал за шквал гостей по ночам, за постоянное отсутствие денег, уплывавших неизвестно куда, за всё то, о чём судачили на лавочке стучавшие на них соседи. Хотя порой он завидовал налаженной, спокойной, до скуки предсказуемой жизни своих друзей.

Вот так и жили, отстраняясь вечным праздником в «стране Шутов» от того, что протекало за стенами их квартиры.

– Ну вот, здесь мы вроде всё посмотрели, – сказала директорша и, воодушевлённая вниманием Олега, повела его в следующий зал, где висели знакомые холсты. Пейзажи, увековечившие московские дворы и переулки с невидимыми следами его ног на асфальте. Сюрреалистические натюрморты с кувшинами-людьми и портреты.

Он пробежал взглядом по всем работам и замер.

– Вам нравится этот портрет? – обрадовано заметила директорша. – Какие глаза у этой женщины! Как живые! Это работа Григория Вишницкого. Редкостный талант. Это портрет его жены.

– Жены? Этого никак не может быть! – вырвалось у Олега. – Вы ошибаетесь.

– Ну что вы, это точно его жена, – удивилась она.

– Это какая-то ошибка, – повторил Олег.

– Почему вы так думаете? – с недоумением спросила она.

Он не ответил, и она ткнула пальцем в сторону таблички с названием.

– Вот, убедитесь сами... Григорий Вишницкий «Портрет жены», – прочла она вслух.

Утром солнце прытко взобралось на прозрачное небо, накатывая жару на не успевший остыть за ночь город.

Округлая, добродушного вида мексиканка принесла поднос с завтраком. Пока она аккуратно расставляла посуду на столе, Олег рассеянно следил через окно за двумя детьми, стрелявшими друг в друга в бассейне из водяных пистолетов. Неподалёку от них раскинулась на топчане красивым манекеном та же девушка, успевшая за один день покрыться шоколадным загаром.

– Приятного аппетита, – пожелала мексиканка и затопталась на месте, ожидая чаевых. Он протянул ей несколько долларов, и она сдержанно улыбнулась.

Завтрак на удивление оказался вкусным, и даже недурно был заварен кофе. Он залпом выпил две чашки и, хрустя поджаренными ломтиками бекона, уставился на пейзаж на стене, на котором пыльная, однообразная дорога, проползавшая змеёй через пустыню, привела его в невидимый на карте городок. Протянутая его воображением за пределы позолоченной рамы, она закинула назад – в Москву, в страну Шутов.

«Однако, каков негодяй! Так нагло записаться в чужие мужья!» – возмутился он. Тонкий, изящный с иконописно-отрешённым лицом Гриша ему всегда нравился. Поэтому никак не укладывалось в голове, что тот обернулся самозванцем и, самоуверенно воткнув себя в историю их семьи, назвался мужем никогда не принадлежавшей ему женщины. Вообразить его рядом с мамой, которая к тому же была на лет двенадцать его старше, было совершенно немыслимо. В ту пору Грише было не больше двадцати пяти, а того и меньше. Он был стеснителен, молчалив и боязлив в отличие от граждан страны Шутов, нисколько не озабоченных тем, что могут быть посажены на пятнадцать суток за свои безумства.

На тумбочке рядом с брошюркой лежала визитка с номером его телефона.

– Приходите завтра в это же время. Он здесь будет, – сказала директорша.

– А нельзя ему позвонить? – спросил он.

– У вас к нему какое-то личное дело? – полюбопытствовала она. И пришлось прибегнуть с фальшивому предлогу, будто он разыскивает их общих, потерянных в вихре эмиграции друзей и надеется, что Григорий в курсе, где они находятся.

– Стольких людей разлучила жизнь, – сочувственно вздохнула та и, поверив, вручила номер телефона...

Он повертел визитку в руке и отбросил в сторону, так и не решив, имеет ли смысл звонить, да и хочет ли звонить. Терзала мысль: а что если это правда? Хотя правдой этого не могло быть – мама в то время была замужем за его отцом. Развелась она намного позже, когда развалилась страна Шутов, и Гриша укатил за океан на противоположное полушарие. Мучил вопрос, был ли он её тайным любовником, беспардонно обнародовавшим их связь спустя много лет. Или всего лишь безответно вздыхал о ней, позволяя в своих фантазиях занять не принадлежавшее ему место супруга? Вокруг мамы в ту пору крутилось множество поклонников. Невзирая на присутствие отца Олега, они настойчиво добивались её внимания, соревнуясь между собой.

«До чего ж хороша она была в то время», – вспомнил он с печальной улыбкой. Стройная, с синющими глазами, всегда приветливая и жизнерадостная. И сколько вилось вокруг неё мужчин: молодых, пожилых, совсем юных!

Не такого мужчину, как Григорий, представлял себе Олег рядом с мамой. Впрочем, никто в его сознании её не стоил. И сдавило горло от слёз, когда он вспомнил, как болезнь, беспощадно уничтожившая мамин облик, отняла у неё одного за другим всех тех, кто когда-то завоёвывал её любовь. Успех притягивает. Несчастье отталкивает.

Ему самому было неясно, отчего его так задело появление портрета, вылезшего секретом из прошлого. Его родители в итоге разошлись. А, если даже и был у мамы любовник, то её вполне можно было понять – у отца была своя, отдельная от них жизнь. Может, не так уж и плохо, что всплыл это портрет? Не дань ли это маме?

До очередного совещания был в запасе час с лишним. Вполне хватало времени добраться до музея и постараться получить ответы на все вопросы. Звонить Григорию Олег не стал, отрезая ему таким образом путь к отступлению. Самым верным было застать его врасплох.

Около музея стояло несколько машин. Одна из них, судя по всему, принадлежала тому, кто самовольно втиснул себя в мамину биографию. Та же скульптура балерины, танцуя, вскинула вверх руки. Над ней висело одинокое облако. Оно медленно таяло, отнимая надежду, что будет дождь.

По залу, ритмично постукивая тростью по полу, прохаживался сухопарый старик. Он угрюмо разглядывал висевшие холсты, явно не одобряя ничего из того, что видел. Из глубины зала доносилось щебетание женских голосов.

– Как я рада, что вы пришли! – воскликнула директорша, увидев Олега, и с гордостью доложила стоявшей рядом даме в шляпке: – К нам приезжают русские со всех концов страны. Вот этот господин… простите, запамятовала ваше имя… приехал из Калифорнии.

– Очень приятно, – расплылась та в улыбке.

– Он лично знаком со многими художниками, чьи работы здесь висят, – продолжила директорша, – с Григорием Вишницким, например.

– А он, кстати, здесь? – спросил Олег.

– Ах, да-да, вы собирались с ним поговорить. Сейчас позову, – и крикнула в глубину зала: – Мистер Вишницкий, к вам пришли!

Он появился в проёме двери – грузный, рыхлый, с обвисшим, дряблым лицом, в складках которого прятались полуприкрытые, безразличные глаза. И показалось, что произошло недоразумение. Трудно было поверить, что этот тучный, пожилой человек имеет что-либо общее с тонким, красивым Гришей – даже если принять в расчёт, как годы коверкают внешность людей.

– Чем обязан? – глухо спросил он и протянул руку. Рукопожатие было таким же вялым и безрадостным, как и его облик.

– Вы Григорий Вишницкий? – уточнил Олег.

– Да, – кивнул тот.

– Вы жили раньше в Москве, на Трубной? – ещё не веря, что это Гриша, спросил Олег. Вглядываясь в его лицо, он попытался найти хоть какое-то сходство с тем, кого он когда-то знал.

– Да. А в чём, собственно говоря, дело? – насторожился тот.

Пришлось, притупляя его бдительность, выдать версию о пропавших без вести знакомых. Раскрывать все карты пока не хотелось.

– Понятия не имею, где они, – покачал он головой, когда Олег назвал первые подвернувшиеся имена. – Они уехали после меня, а вот куда не знаю. Я вообще мало с кем из эмигрантов общаюсь. Они ваши близкие друзья?

– Не совсем, – увернулся Олег и быстро переключил его внимание на выставку. – Великолепная коллекция. Никак не предполагал, что Джим Грэйли умудрится вывести такое количество работ, да ещё каких работ.

– Да, губа у него не дура, – согласился Григорий, – скупил лучшее. И слава богу, по крайней мере всё это сохранилось.

– Он, должно быть, уже глубокий старик.

– Да нет, ему лет семьдесят пять. По нынешним понятиям далеко ещё не глубокий старик. Да вы бы на него посмотрели. Подвижен, моложав. Вы с ним знакомы?

– Когда-то встречал в Москве, – не стал объяснять Олег и, оттягивая момент, спросил: – Не тяжело вам после России жить в такой жаре?

– Привык, уже давно в Техасе. Мы с женой осели в Остоне.

– Давно женаты? – вырвалось у Олега.

– Давно, – не уточнил тот.

– Вместе выехали?

Хотя брак и судьба этого человека мало его интересовали и не имели уже никакого отношения к маме, отчего-то кольнуло, что у того мирная, налаженная жизнь, семья, а мамы, кому он трепетно, не побоявшись оповестить о своей любви весь мир, посвятил портрет, нет в живых. «Вряд ли он вообще о ней помнит», – заключил он.

– Выехал я один, – ответил Григорий. – Вначале жил в Филадельфии, там у меня были родственники, там же и женился. Жена моя – американка. А как давно вы здесь?

– Почти шестнадцать лет.

– Приехали один или с семьёй?

– С женой и маленькой дочкой.

– Насколько я понял, вы тоже из Москвы?

– Да, – сказал Олег, досадуя на себя за то, что не решается спросить напрямик о маме, а перебрасывается вместо этого пустыми фразами.

– В России часто бываете? – спросил Гриша. По его глазам, повторявшим сонным выражением полудремотное состояние города, было ясно, что он продолжает беседу из чистой вежливости.

– Ни разу с тех пор не был, – сказал Олег. – Похоронил маму и через несколько лет уехал.

– Печально, очень сочувствую, – сделал тот скорбное лицо. – А меня вот постоянно туда тянет. Каждый год туда езжу. Хотя Россия уже не та… Мы все так мечтали о свободе, а вот теперь тоскуем по той, старой России.

– Не думаю, чтоб все тосковали, – возразил Олег, но не стал развивать эту тему. Не хотелось рассуждать о безвозвратном прошлом, стоя перед маминым портретом, наблюдавшим за ними неправдоподобно живыми глазами. «Художник он, бесспорно, хороший», – мысленно похвалил Олег.

– Что вас забросило в этакую глушь? – поинтересовался Гриша.

– Командировка.

– А я вот на выставку приехал. Джим попросил посидеть здесь пару дней, – и усмехнулся: – думает, что кто-то захочет поговорить с живым свидетелем тех лет. Смешно! Кому нужны эти работы в этакой глухомани?

– Почему же? В Нью-Йорке они, возможно, будут иметь успех, – припомнил Олег восторженное замечание директорши о том, что выставка будто бы отправляется прямиком в Метрополитен.

– Кто знает. Джим, конечно, в восторге, спит и видит, что благодаря его коллекции этот городишко прославится на весь мир. Прямо патриот.

– Вы в основном портреты делаете? – подобрался, наконец, Олег к главному.

– Сейчас я вообще мало что делаю.

Пожаловавшись на здоровье, он сказал, что у него нет уже прежних сил, нет вдохновения и что работа не клеится.

– Выдохся я, – с неожиданной откровенностью признался он. Горько усмехнувшись, он поделился, что в ту пору, когда ютился с инвалидом отцом в коммунальной квартире на Трубной, жизнь была намного плодотворней и ярче, чем сейчас, когда есть всё то, о чём мечтает любой измученный невзгодами человек – надёжная, обеспеченная старость.

– Обеспеченная старость – это тоже немаловажно, – изрёк Олег. «Сколько ж ему сейчас лет… в конце семидесятых родилась страна Шутов… да, да, именно

тогда… ему должно быть примерно пятьдесят пять», – подумал он.

– Вы правы, нет никакой радости остаться на старости лет без кола без двора, – сказал Григорий и, внезапно проявив любопытство, спросил, чем Олег занимается.

– Я – программист.

– Это хорошо. С голоду не помрёте, – одобрил он.

– Как же это замечательно, что вы, наконец, встретились! – подскочила к ним директорша. Бесцеремонно разрушая план Олега осторожно коснуться того, ради чего он пришёл, она ткнула пальцем в сторону портрета.

– Этого господина просто невозможно убедить, что это ваша жена. Скажите же ему! – потребовала она.

– Да, это моя жена, – не сразу подтвердил тот, недоумённо воззрившись на Олега.

– Вот видите, я же говорила! – победно воскликнула она и ринулась навстречу входившей в музей паре.

Повисла неуютная пауза. Пока Олег размышлял, как из неё выбраться – попрощаться и уйти или честно объявить, кто он такой, и жёстко потребовать разъяснений, Гриша спросил, не встречались ли они где-то раньше.

– Да, встречались. В Москве. В стране Шутов.

– Я так и подумал, что встречались, раз вы в курсе, что это не моя вторая жена.

Его потускневшие, подёрнутые скукой глаза оживились при воспоминании о прошлом и вернули на миг того Гришу, который навечно остался призраком в комнатушке на Трубной.

– Значит, это портрет вашей первой жены? – резко бросил Олег.

– В общем да, – неопределённо ответил тот и спросил, почему это вызывает у Олега такой интерес.

– Почему? – он замялся, не зная, стоит ли докапываться до истины, не имевшей уже никакого значения, и всё-таки сказал: – Потому что я – сын этой женщины. Той самой, которую вы записали в свои жёны!

– Вы Олег? – удивил он тем, что его память сохранила ненужное ему имя.

– Да.

– До чего ж быстро летит время! Кто бы мог подумать… Вам тогда было лет восемь?

– Двенадцать.

– Боже мой, боже мой, кто бы мог подумать, – повторил он и замолчал.

Было похоже, что он не собирался выдавать свой секрет. Ругая себя за то, что вспугнул его излишней горячностью, Олег сказал, что ему было очень приятно увидеть портрет, о существовании которого он не подозревал.

– Единственное, что мне непонятно, так это почему вы утверждаете, что моя мама была вашей женой.

Григорий устало посмотрел на него, едва коснувшись взглядом. Обвёл потускневшими, будто потерявшими фокус глазами холсты на стене и произнёс:

– Потому что она была моей женой… Вы знаете, мы не были расписаны, но она была моей женой.

– Как вы могли после стольких лет всё это разгласить! – рассердился Олег. – Хотя бы из уважения к ней надо было всё это оставить в тайне.

– Я выполнил её просьбу.

– Какую просьбу? – не понял Олег.

– Она попросила выставить её портрет здесь в Америке, когда её не станет, и вот именно под этим названием.

– О чём вы говорите? Вы же продали этот портрет Джиму. Он мог выставить его в любое время при её жизни. Мама тогда была абсолютно здорова. У неё не было причин беспокоиться о смерти.

– Джиму я не продавал. Он помог мне вывести портрет. Посмотрите, – указал он на табличку с названием, – Там же сказано – это из коллекции художника. А ваша мама уже тогда предчувствовала, что долго не проживёт. Я ей не верил, считал, что всё это суеверные страхи… – Его голос дрогнул, и он смолк.

– Значит, про этот портрет никто раньше не знал?

– Никто. Я дал ей слово, что выставлю его только в Америке и только после её смерти. Она не хотела, чтобы знали, ведь она была тогда замужем за вашим отцом. А что будет после смерти, она говорила, ей всё равно. Она считала, что со смертью приходит конец… я тоже тогда так считал… все мы считали… – он запнулся.

– Если вы называли её своей женой, как вы могли её бросить и уехать из России! – взорвался Олег.

Боль – так и не прошедшая, с того самого момента, когда он, окоченев от скорби, закрыл рукой мамины ясные глаза и погрузил их комнату во мрак – вынудила его выплеснуть незаслуженный упрёк. С того чёрного дня, обведённого незримым кружком каждый год в календаре, прошло два десятилетия, но рана, зарубцевавшись, так и не зажила до конца. И он нередко прятал слёзы от Риты, стесняясь своего горя. «Мои родители тоже когда-нибудь умрут. Мы все умрём в итоге. Нельзя изводить себя всю жизнь», – говорила она.

– Ваша мама сама не хотела уезжать, она не могла вас бросить, а с вами ехать не хотела, боялась, что вы будете для меня обузой… Она не хотела отрывать вас от отца, говорила, что так будет лучше для всех, если я уеду один.

– Мало ли что она говорила! Если вы её любили, вы не должны были её покидать.

– Вы многого не знаете. Она на самом деле хотела, чтобы я уехал, мечтала, что здесь на Западе я найду то, чего не нашёл в России… В Западе нам всем тогда виделось спасение… В те времена мы не знали, что спасение не в этом… – он замолчал, не закончив.

– Ну а потом, когда вы узнали, что она заболела, что же вы не приехали к ней? – спросил Олег.

– Я ничего не знал о её болезни. Она скрывала, а, когда я ей звонил, она не хотела со мной разговаривать и всё твердила, что мне будет лучше без неё… Вы знаете, я так надеялся перетащить её сюда, но она наотрез отказывалась, а потом вообще перестала отвечать на мои звонки… Она постоянно меня гнала, ещё в Москве.

– Она вас щадила, – сказал Олег. – Она всех щадила и поэтому всех гнала.

Его мама тоже гнала, не желая обременять своей болезнью. Прячась, как раненый зверёк в норке, лечила себя доморощенными средствами. Врачей она панически боялась. «Я сама справлюсь, – упрямо настаивала она, – и вообще ты зря беспокоишься, я абсолютно здорова. Что ты всё время со мной сидишь? Пошёл бы куда-нибудь в гости, у тебя же куча друзей». Гнала даже тогда, когда ей полностью отказали силы, и он носил её на руках в ванную – лёгкую, почти невесо-

мую, озарённую какой-то иной небесной красотой, сосредоточенной в её солнечных глазах. «Я сама, я могу сама… оставь меня», – просила она, когда он мыл её как младенца, бережно касаясь губкой её хрупкого тела. И он знал, что самое страшное для неё были не болезнь, не умирание, а мучения, оттого что он видит её в таком беспомощном состоянии.

– Вы именно поэтому меня разыскивали? – спросил Гриша.

Он смотрел куда-то мимо Олега, и показалось, что его дряблое лицо, ещё больше постарело, покрылось сетью новых морщин. «Кому всё это нужно? Мамы уже всё равно нет», – подумал Олег и повторил про себя её слова. «Не горюй, – сказала она незадолго до смерти, чему-то улыбаясь, – всё пройдёт».

– Я вас не разыскивал, – ответил Олег, – это чистая случайность, что я оказался в этом музее.

Выяснять уже было абсолютно нечего. Отчего-то даже пропало желание что-либо выяснять. Единственное, что оставалось сделать – это отдать должное Гришиному таланту. Помедлив мгновение, Олег сказал, что портрет получился замечательным.

– Спасибо, – поблагодарил тот.

Они стояли, огибая друг друга неловкими взглядами, и мама на портрете, наблюдая за ними, будто говорила, что не надо выискивать виновников, рыться в прошлом. Надо жить, двигаться вперёд, всегда вперёд навстречу длинной, хотя и секундной, как вздох, жизни.

– Ну, мне пора, куча всяких дел, – пробормотал Гриша, – вы уж меня извините.

Он замешкался, словно собираясь что-то ещё добавить. Протянул на прощание руку и направился к дверям, в которых сказочно возник полчаса назад. Олег смотрел ему вслед, размышляя, стоит ли его задержать и обменяться номерами телефонов. И, пока взвешивал все «за» и «против», не особенно горя желанием продлевать знакомство, Гриша вдруг остановился и, обернувшись, глухо сказал:

– Маму вашу я любил.

В день отъезда та же добродушного вида мексиканка принесла на подносе завтрак. Она приветливо улыбнулась, предвидя, что опять получит щедрые чаевые, и пожелала Олегу удачного полёта.

В этот раз кофе был жидковат, и не внушала аппетит обветренная яичница на тарелке. Олег быстро собрался, решив перекусить в аэропорте. Не терпелось побыстрее оказаться дома, где не было пекла, рыжей пыли, покрывшей весь городок, и где ждала его Рита. По жене он всегда скучал в командировках, несмотря на её постоянное ворчанье и ревность. «Небось, приударял там за кем-то?» – набрасывалась она на него, как только он появлялся на пороге. Та безграничная преданность, какую он испытывал к маме, вдвойне усилившаяся во время её болезни, переродилась в привязанность к жене. Он знал, что, несмотря на брюзжание и придирки Риты, питавшие её веру в свою независимость от него, она срослась с ним, как срастаются стволами деревья, и что, если он уйдёт от неё, она не справится. Также, как не справилась бы мама, если бы он слепо её послушался и оставил одну наедине с болезнью. Хотя он также знал, что обманывает себя и хочет верить в то, что давно уже не существует. И боялся ответить себе на вопрос: что именно приковывало их с Ритой друг к другу? Не привычка ли и страх что-то изменить – часто принимаемые за любовь? А, может, привычка – это тоже любовь?

Шоссе повело серой полосой мимо нефтяных насосов, похожих на клюющих что-то птиц, мимо гигантских кактусов, подцепивших иглами шары перекати-поля, мимо выцветших песчаных холмов. Глядя на распластанных по переднему стеклу стрекоз, он с грустью думал о гражданах страны Шутов. Как и эти стрекозы, влетавшие в отражение неба в окне, те неслись навстречу иллюзорным развлечениям, пытаясь стереть ими скуку и обыденность.

«С Новым годом!» – кричали они, прыгая вокруг полысевшей ёлки, которую держали в доме до апреля. На улице лил весенний дождь. Пассажиры на остановке троллейбуса также осуждающе взирали на толпу масок в окне. А он постоянно волновался, не арестует ли маму доведённый доносами соседей Сулико, не случится ли какой-нибудь катастрофы, вернётся ли мама домой, когда увозила её компания друзей в неизвестном направлении. «Из них мало кто остался жив», – скорбно поведала директорша музея, не исказив только этого единственного факта. Одного за другим уводили из страны Шутов то неизлечимая болезнь, то отчаяние, то перелёт за океан, то что-то иное. Но все они по-прежнему радовались, пили, хулиганили на фотографиях, бережно хранившихся в его доме в Калифорнии. «Вечный праздник!» – провозглашала мама, смывая словами тоску, фоном окружавшую стены их квартиры.

И его вдруг осенило, что мама была счастлива – то, что он отказывался увидеть раньше. Все эти годы мучило, что у неё не было, несмотря на толпу поклонников, любившего, боготворившего её человека. Поэтому особенно несправедливым казался конец её жизни. Но теперь он знал, что был кусок счастья. Пусть недолгого, но счастья. И то, о чём Гриша смело оповестил весь мир, уже не виделось постыдной тайной, нетактично брошенной Олегу в лицо. Наоборот, казалось подарком и данью маме.

Стало легче. Боль притихла, будто он услышал, как мама прошептала, что с ней всё в порядке, что она радуется той, другой жизни, как он должен радоваться – этой.

Он подъехал к аэропорту, бетонной коробкой замыкавшему шоссе, и подумал, как сейчас самолёт унесёт его в спокойное, размеренное существование – то самое, о котором мечтал в детстве, когда веселились граждане страны Шутов, восставшие против серости этого существования. Как засосёт его та же рутина: карьера, стычки с Ритой, ссоры, обиды, дни, похожие в точности на все предыдущие.

«Однако, – подумал он с облегчением, – как всё-таки хорошо, что всё это уже позади». Несмотря на тоску по прошлому, занозой навсегда засевшей в сердце, он был рад, что нет уже страны Шутов и что невозможно её вернуть.

Вернуть он хотел другое. Город, по которому они с мамой бродили по вечерам, прижавшись друг к другу локтями. Булочную, около дома, куда, нагулявшись, забегали купить вкуснейший, воздушный хлеб. Их вечера вдвоём, когда не налетала разлучавшая их толпа гостей. И их комнату, где незримо висел на стене, улыбаясь солнечными глазами, мамин портрет.

МАРИЯ МОСКВИНА

УРОКИ КОСМЕТИКИ

Сразу после окончания института Валю распределили в новое, только что организованное конструкторское бюро. Помещение для него еще не было готово, и поэтому все сотрудники расположились в одной огромной комнате с множеством стоящих рядами столов, заваленных толстыми томами технической литературы, справочниками и какими-то разноцветными картонными папками, завязанными белыми тесемками.

Всего работников в конструкторском бюро было пока человек двадцать. В основном мужчины разных возрастов и только три женщины: Валя, ее строгая начальница Людмила Михайловна, худощавая, в очках, с гладко зачесанными волосами, собранными на затылке в тугой пучок. «Типичная старая дева!» – думала про себя Валя. Но, как потом оказалось, она ошибалась. Начальница была когда-то замужем, но ее муж погиб при невыясненных, загадочных обстоятельствах.

И еще одна немолодая женщина, которая ни с кем не общалась, и поэтому кто она и откуда, никто не знал. Известно было только ее имя – Маргарита Ивановна.

Она целый день сидела, низко склонившись над бумагами, записывая какие-то данные в канцелярскую книгу. Валин стол стоял в углу, в самом конце комнаты и ей был хорошо виден пушистый затылок Маргариты Ивановны, ее рыжеватые волосы, завитые в старомодный перманент и вязаная вишневая шаль, в которую она кутала свои острые плечи.

Красота этой женщины поражала Валю. Точеные черты слегка удлиненного лица, большие зеленые глаза и тонкие брови, выщипанные высокими дугами по моде далеких лет.

Но особенно удивляло Валю то, что на лице у Маргариты Ивановны не было ни единой морщинки. Через тонкую белую кожу проступал нежный румянец. Конечно, было видно, что женщина немолода и ей далеко за пятьдесят, но кожа на лице была гладкая, как у пятилетнего ребенка.

И великолепная осанка. Спина у нее была совершенно прямая, плечи откинуты назад, голова горделиво поднята, как будто Маргарита Ивановна все время носила на ней один из толстых технических справочников, разбросанных по столам.

Утром она широко распахивала дверь и, бросив, несколько надменно, общее для всех «Здравствуйте!», стремительной походкой проходила к своему рабочему месту, садилась за стол, открывала канцелярскую книгу и принималась строчить в ней мелким, бисерным почерком. И так, не отрываясь, до самого обеда.

Помещение, которое занимало конструкторское бюро, находилось на окраине Москвы, в новом районе. Ни столовых, ни кафе поблизости не было, и поэтому каждый сотрудник приносил свой обед из дома – бутерброды, термосы с чаем и кофе.

Когда появились электрическая плитка и чайник, в дальнем, противоположном от Вали углу, был выделен специальный «обеденный» стол, и Валина начальница, Людмила Михайловна, иногда варила на плитке сосиски, а то и картошку, предварительно вскипятив чайник, чтобы залить все это горячей водой для быстроты приготовления.

Постепенно Валя начала замечать кое-какие странности в поведении Маргариты Ивановны. Например, та часто разговаривала сама с собой.

Случалось, утром, придя на работу, она снимала пальто, и, вешая его на толстый гвоздь, вбитый для этой цели в стену, принималась сердито отчитывать какого-то человека, который оттолкнул ее от двери отъезжающего автобуса, и ей пришлось долго дожидаться следующего, и она чуть не опоздала на работу.

Или, склонившись над бумагами, бормотала что-то невнятное о потерянных ключах и пропавшем ожерелье из речного жемчуга.

Говорила она обычно тихо, ни к кому не обращаясь. Потом замолкала, уткнувшись носом в справочники.

Окружающие старательно делали вид, что ничего особенного не происходит, и обращались к ней подчеркнуто вежливо и любезно.

Одевалась она тоже необычно. Часто меняла вещи. Все они были красивые, добротные, но Вале казалось, что они где-то долго-долго провисели в пропахшем нафталином шкафу, и только сейчас их вытащили на свет Божий.

Каждый раз, появляясь на работе в каком-нибудь новом драповом, в елочку пальто, Маргарита Ивановна сообщала в пространство:

– Вот, подруги не забывают меня. Вчера одна привезла целый мешок вещей и все очень хорошие, приличные, почти новые!

Валя, безусловно, была несколько озадачена и поведением Маргариты Ивановны, и отношением к ней других сотрудников. Но она не особенно задумывалась об этом. Другие люди не очень интересовали ее. Она была молода, и жизнь ее была насыщена и романтична: работа, поклонники, друзья, театры, кино, поездки за город с компанией, веселые вечеринки.

Но однажды произошло совершенно незначительное происшествие, которое неожиданно сблизило ее с Маргаритой Ивановной.

Как-то весенним утром, Маргарита Ивановна, как всегда, летящей походкой вошла в помещение. Но в этот раз, глаза ее гневно сверкали, а волосы от резких движений развевались во все стороны. Она говорила сердито и взволнованно о том, что кто-то специально помазал краской ее почтовый ящик, и она испачкала руки черной масляной краской. Она показывала сама себе ладони, смотрела на них в расстройстве и удрученно качала головой.

Маргарита Ивановна долго не могла успокоиться, пока, наконец, старичок главный бухгалтер не подошел к ней и не спросил что-то тихо, низко наклонившись к ее уху. Она как бы очнулась, испуганно взглянула на него, стала рыться в бумагах и вытащила из стопки нужный листок.

Старичок-бухгалтер взял бумагу, поблагодарил Маргариту Ивановну и направился к двери. Проходя мимо Вали и заметив ее вопросительный взгляд, он приблизился к ней и прошептал едва слышно:

– Бедная! Ведь она десять лет в лагерях просидела. И где – на Колыме! – и он сочувственно покачал головой и тяжело вздохнул.

Все сразу стало на свои места. Валя с болью в сердце смотрела на Маргариту Ивановну. Ей стало ее очень жалко. Многие, видимо, все-таки знали ее про-

шлую жизнь, но не говорили Вале. Дескать, молодая! Что она понимает!

В одиннадцать часов старичок-бухгалтер включил приемник, и началась производственная гимнастика. Сотрудники поднимали руки, разгибали усталые спины, шагали, высоко поднимая колени и смотря куда-то в пространство или через большие светлые окна на улицу – на черные мартовские деревья и слежавшийся снег.

Маргарита Ивановна делала гимнастику очень старательно. Наклонялась вперед, доставая до пола кончиками пальцев. Поворачивала туловище вправо и влево, уперев руки в бока. И как всегда неожиданно, заговорила, обращаясь к кому-то неизвестному:

– Они думали, что я там погибну, окочурюсь, работая по колено в ледяной воде! Но вот я жива! А они... они сейчас – дряхлые старухи! Они смотрят на меня и завидуют! У меня... Посмотрите на мое лицо! Оно как у двадцатилетней девушки! Я гимнастику делаю каждый день. У меня все суставы на руках перебиты. Но это ничего! Зато фигура какая! А они – старухи! – повторила она, как заклинание.

Валя старалась не смотреть на Маргариту Ивановну, но краем глаза видела, как та размашисто и сердито наклоняется вперед в проходе между столами. Вдруг она нечаянно задела рукой свою фарфоровую чашку, стоящую на краю стола. Чашка взлетела в воздух и, стукнувшись о твердый, покрытый жестким линолеумом пол, разбилась вдребезги.

– Ой! – вскрикнула Маргарита Ивановна. – Как же это я! Моя любимая чашка! Из чего же я сегодня чай буду пить?

Валя подбежала к ней, стала помогать собирать осколки.

– Не волнуйтесь, Маргарита Ивановна! У меня есть запасная чашка. Я вам отдам ее, – сказала Валя.

– Спасибо, детка! – ответила Маргарита Ивановна и села за свой стол.

А Валя вернулась на свое рабочее место и продолжала изучать какую-то скучную, длинную инструкцию.

В обеденный перерыв она вышла в коридор, сполоснула в умывальнике синюю с золотым ободком чашку и принесла ее Маргарите Ивановне.

– Маргарита Ивановна! – предложила Валя. – А давайте вместе чай пить за моим столом. Приходите! Я сегодня конфеты шоколадные принесла. «Мишка на севере».

– Спасибо, – сказала Маргарита Ивановна. – Я приду, – и великодушно кивнула головой.

В обеденный перерыв они сидели за Валиным столом, и Маргарита Ивановна, разглядывая Валю и как бы впервые видя ее, говорила тихим, таинственным голосом, почему-то все время оглядываясь по сторонам:

– Знаете, детка, что я вам скажу. Перед тем, как принимать душ, намажьте лицо жирным кремом. Он хорошо впитывается от горячего пара, а вода увлажняет кожу. А на ночь всегда смазывайте нижние и верхние веки питательным кремом. Кожа на веках очень нежная, быстро стареет, ее нужно поддерживать. О шее тоже не забывайте. Уход за ней очень важен. А то женщины о лице заботятся, а о шее забывают. А она как раз возраст и выдает. И руки. Крем для рук должен лежать в каждой комнате. Как чувствуете сухость – сразу кремом их, кремом. Руки это любят! – и она мило улыбнулась, довольная, что Валя ее внимательно слушает.

– Спасибо за советы, Маргарита Ивановна! – сказала Валя, убирая со стола. – Давайте я вашу чашку сполосну. Все равно мне свою мыть.

– Нет, нет! Что вы, что вы, детка! Я сама. И потом – движение полезно!

С этого дня Маргарита Ивановна каждый день в обеденный перерыв приходила к Вале, и они пили чай и разговаривали, как старые приятельницы. Больше говорила, конечно, Маргарита Ивановна. У нее за плечами была длинная жизнь, и повидала она много на своем нелегком пути.

Однажды, присев на стул около Вали, она достала из сумочки маленькую фотокарточку. На ней, около небольшого легкокрылого самолета стояла красивая, стройная молодая женщина в кожаном шлеме, кожаной куртке и в узких брюках, заправленных в высокие сапожки.

– А вы почти не изменились, – сказала Валя искренне.

Маргарита Ивановна благодарно улыбнулась.

– Я вошла в число первых советских летчиц! Была членом ДОСААФ. Потом меня учиться послали. Там я и с мужем своим будущим познакомилась. Он профессор был, старше меня намного. Историю преподавал. Шесть языков иностранных знал! Среди них – китайский. Когда мы поженились, его направили на работу в посольство, в Китай. А я осталась доучиваться. Только он недолго там проработал. Вскорости его вызвали в Москву и арестовали. И больше я его никогда не видела. А они все еще здесь – эти червяки! – наклонившись к Вале и крепко сжав ее руку, сказала Маргарита Ивановна. – Живут, спят, едят! А его – такого великого ученого, историка, давно нет в живых! – и она встала, с грохотом отодвинув стул, и ушла, не оглядываясь, на свое место.

Теперь, когда начиналась производственная гимнастика, Маргарита Ивановна подходила поближе к Вале и, делая упражнения, строго внушала ей:

– Гимнастику обязательно нужно делать! Чтобы осанку хорошую сохранить. И руки поднимать – вверх и в стороны. Чтобы мышцы укреплять, которые грудь поддерживают. Тогда она всегда красивая будет, не обвиснет! И ноги! Высоко колени поднимать! На цыпочках вытянуться! Вот так! – и она бодро шагала на месте под звуки музыки, доносящейся из приемника.

Как-то раз во время обеда Валя не выдержала и спросила:

– Маргарита Ивановна, а вас, что тоже арестовали?

– Он мне прямо так и сказал, – отвечала Маргарита Ивановна, смотря на Валю жестоким, ненавидящим взглядом, как когда-то, наверное, смотрели на нее. – Или пойдешь прямо сейчас со мной в соседнюю комнату, или сгинешь в болотах на Колыме!

– И что же вы?!

– Я? – Маргарита Ивановна рассмеялась, но как-то глухо, невесело. – Я влепила ему такую пощечину, что чуть руку себе не сломала, а ему – скулу! – она молчала. – Он уже умер давно от злой болезни... Я знаю... А мне квартиру однокомнатную дали. Компенсацию выплатили. Только вот рабочего стажа мне до пенсии не хватает. Не засчитали нам за стаж, когда мы в ледяных болотах загибались! Вот и приходится мне в нашей конторе стаж дорабатывать. Бумажки перекладывать с места на место!

Случилось так, что спустя короткое время после этого разговора, Валя заболела. Промокла, добираясь до дома под холодным весенним дождем. Схватила ангину и неделю провалялась в постели.

Выйдя на работу, она узнала, что часть помещений уже отремонтировали, и она со своим столом переезжает в соседнюю комнату.

Рабочие попросили ее вынуть ящики из стола, чтобы его легче было переносить. Она вытащила сначала заполненный бумагами нижний ящик и поставила его рядом, на пол.

В это время в комнату почти вбежала Маргарита Ивановна. Она стремительно прошла мимо Вали и, не заметив ящика, споткнулась и чуть не упала.

Обернувшись, она посмотрела на Валю холодными, чужими глазами и проговорила сквозь зубы:

– Вот они, эти бериевские штучки!

– Извините, пожалуйста, Маргарита Ивановна! – растерянно пробормотала Валя.

Маргарита Ивановна, прищурившись, еще раз внимательно взглянула на нее:

– А вы тут ни при чем, детка. Это все – они! – И она кивнула головой куда-то вверх, в потолок. – Затаились и ждут, чтобы снова все начать! Только напрасно! – она усмехнулась. – Никогда это не повторится... Никогда! – Маргарита Ивановна решительно дернула плечом и прошла на свое рабочее место.

ЛАНА РАЙБЕРГ

ЭКСПЕРИМЕНТ

(Совсем нефантастическая история)

Джо пришёл на работу в дурном расположении духа. Посвистывая сквозь зубы, он автоматически выполнил все необходимые процедуры – прошёл через чистилище, приставил глаз к сканирующему устройству и слегка пнул ногой слишком медленно отодвигавшуюся металлическую дверь. Впервые он не похлопал старину Пука по хромированному пузу, и тот недовольно замигал аварийной лампочкой.

На ходу влезая в рукава белого комбинезона из тончайшей биоорганической ткани, он включил систему, установленную в его отсеке лаборатории и припал к окуляру, вращая ручку дистанционного управления. В окуляре клубились лёгкие, как закипающий над чайником пар, облака. Пробившись сквозь их ватную изменчивую зыбкость, он остервенело приближался к Земле – вот уже стали видны крыши города, вот он нашёл нужную улицу, нужный дом, и лазерный луч сделал для него доступным всё, что скрывалось внутри каменной коробки под номером триста пятьдесят семь, Бэй Парквей, Бруклин, Нью-Йорк.

Луиза проснулась мгновенно, словно её толкнула в сердце тяжёлая волна. Она вскочила, прижимая к груди измятую простынь и непроизвольно глянула в окно. Луиза снимала студию на шестом, верхнем этаже многоквартирного дома . Из-за того, что дом располагался у широкого проспекта и в квартиру заглянуть никто, кроме луны и звёзд, не мог, она частенько оставляла жалюзи открытыми .

Сейчас у неё появилось чувство, что за нею наблюдают, и это чувство было неприятно. Она спугнула сизого голубя, топтавшегося на карнизе, закрыла жалюзи, лишив себя таким образом части мутного серого рассвета, и побрела на кухню варить кофе.

В последние полгода в её прежде размеренной, ясной, распланированной на годы вперёд жизни – колледж, работа, потом замужество, дети, внуки, материальный достаток и в конце пути – оставляемые на потом путешествия и гурманские развлечения , стали происходить странности и непонятности. Луиза была ярой материалисткой, и ничего *такого* никогда не приходило ей в голову. Она точно знала, что за окончанием престижного колледжа (этот этап уже пройден) следует высокооплачиваемая работа в престижной фирме, что за преступлением следует наказание, что неразборчивые половые связи ведут если не к венерическим болезням, то к душевному опустошению и разочарованию, это уж точно, а употребление наркотиков – к полной деградации и ранней смерти. За А следует Б, за причиной – следствие, и этот незыблемый порядок вещей никогда не нарушается.

А теперь стало происходить чёрти что! На днях она прошла интервью в адвокатской фирме братьев Беккеров в старинном особняке возле Центрального парка. Фирма расположилась на первом этаже четырёхэтажного здания. Оно было зажато среди таких же, вычурных и украшенных лепниной и колоннами, и представляло историческую ценность. Луиза была донельзя официальна, корректна и безукоризненно одета в тёмно-серый брючный костюм, почти незаметный макияж и туфли на устойчивом каблуке, как бы отвергая всякие мысли о сексуальном домогательстве. Она держала руки на коленях, твёрдо глядя в глаза, возможно будущему боссу, игнорируя некую неформальную обстановку. Со второго этажа нестерпимо пахло свежесваренным кофе, и на лестнице, ведущей в личные апартаменты адвоката, иногда возникало какое-то видение в кружевном пеньюаре.

Офис скупо освещался утренним солнцем, отчаянно молотившим в высокие стрельчатые окна и зажигавшим маленькие солнышки на бронзовых ручках шкафов, заставленных тяжёлыми томами в кожаных переплётах.

Позавчера она явилась, как было велено, на работу и постучала бронзовым молоточком по металлическому листу – причуда братьев адвокатов. Ей долго никто не открывал, наконец, загудел электрический зуммер, и Луиза вошла в полутёмный огромный холл. Мистер Беккер, на ходу застёгивая запонки, уже спускался по витой деревянной лестнице. Не предложив ей сесть, он стал мычать что-то неопределённое, нервно приглаживая стоящий дыбом хохолок. Так как непонятливая Луиза рвалась занять своё рабочее место за столом с компьютером у окна, то несостоявшийся босс перешёл к более решительным действиям. Бегающие его глазки, наконец, сфокусировались на лице дипломированной специалистки, и он выдавил первые внятные фразы,

– Я очень извиняюсь! Но я нашёл более подходящую кандидатуру...

Уходя, Луиза оглянулась. По лестнице спускался хихикающий молодой человек в деловом костюме. Мистер Беккер игриво похлопал его по попе и шепнул:

– Приступай к работе, котик! Через полчаса у нас встреча с клиентом.

На негнущихся ногах, прямая, как палка, Луиза дошла до Мэдисон авеню и плюхнулась на стул в пер-

вом же попавшемся кафе. Было только десять часов утра, но официант, повинуясь приказу, притащил заторможенной посетительнице бокал холодного белого вина, а потом ещё и ещё.

Откинувшись в кресле, Джо составлял отчёт о психофизическом состоянии Луизы. Девушка и близко вообразить себе не могла, что попала в отбор случайных чисел и посему числится в подопытных кроликах секретной небесной лаборатории по изучению случайностей, закономерностей и свободной воли индивидуума. Помимо этого, нужно было ещё начертить график возможных реакций пациентки в экстремальных ситуациях. Закрыв глаза, Джо мысленно проговаривал слова, которые записывались на электромагнитный диск. Он мог бы передать информацию непосредственно в мозг боссу, но так уж было принято – максимально материализовать своё существование – все они втайне немного завидовали землянам.

Утреннее совещание у босса окончательно вывело его из себя. Он давно уже подозревал Гну в некоем злоупотреблении возможностями и , ещё хуже, в скрытом садизме. Для того не существовало никаких моральных устоев. Эксперимент – вот было его божество, которому, не раздумываясь, Гну приносил в жертву судьбы и жизни землян. Он чувствовал себя господом Богом! (да, впрочем, он им и... Нет, нет, молчу! Это – только смутная догадка автора.)

Итак, они стояли у огромного, во всю стену, экрана, на котором пульсировал, жил, мерцал огнями, умирал, одновременно летя в будущее каменный мегаполис – Город Большого Яблока. Сотрудники по очереди выступали с докладами. По экрану плыли, скрещиваясь и расходясь, закручиваясь в спирали и улитки, синие и красные линии. В местах их пересечений вспыхивали короткие молнии, зажигались разноцветные звёздочки. Цвет был символичен, и сотрудники знали – если загорелась фиолетовая звезда, то эксперимент довёл подопытного до самоубийства. Оранжевая линия значила, что землянин выбрал перспективный путь, красная – опасный, и так далее.

Гну, подводящий итоги, потерял присущую ему солидность, как всегда на совещаниях. Он метался у стены, в творческом вдохновении дирижировал лазерной указкой, производя на экране бури и смерчи линий вероятности. Как азартный шахматный игрок, он тасовал и тасовал варианты игры , придумывая для испытуемых всё более изощрённые каверзы и ловушки. Сотрудники, втайне проникнув симпатией к своему « материалу», оставляли тому лазейки для благополучного исхода. Син, например, спустившему в казино всё до цента и подумывавшему о самоубийстве землянину подсунул выигрышный лотерейный билет. Ро подложил в почтовый ящик отчаявшейся одинокой стареющей женщины приглашение на корпоративную вечеринку, где та встретила хорошего мужика, которого Ро ну совсем немного подтолкнул, дав понять, что жена ему давно и нагло изменяет. Он ничего не менял в судьбах «материала», он лишь чуть-чуть изменил направление их движения и дал возможность увидеть друг друга.

Ро за благие деяния получил нагоняй от босса, который не уставал повторять:

– Мы должны ставить человека в сложные условия, а выбор, как из этой ситуации выкручиваться – его дело. Свет и тень, добро и зло! Вы не рождественские дедушки, вы – провокаторы, запомните!

С шефом никто не спорил. Все боялись быть дисквалифицированными. Один Джо не выдержал и вступил с шефом в перепалку, когда тот стал придумывать каверзы для Луизы.

– Достаточно для неё! Хватит! За полгода мы уже достаточно поиздевались над девчонкой! Ей не удаётся найти работу, она потеряла жениха, у неё заболели родители. Она может сломаться, в конце концов!

От неожиданности Гну, не привыкший к бунтам подчинённых, расстегнул у горла первый уровень защитного комбинезона, и оттуда незамедлительно выползла белая клочковатая субстанция. Разгоняя рукой в перчатке субстанцию так, как курильщики разгоняют дым, шеф ехидно парировал,

– Твоя любимица не такая уж беззащитная! Её поведение не укладывается в стереотипы адекватной реакции данного психотипа на соответствующие раздражители! Вспомни, когда её пробросил адвокат. Исходя из её типа карьеристки, она что должна была предпринять? Правильно, молчи! Накатать жалобу, за дискриминацию по половому признаку. А она? Напилась! Утром!

И танцевала канкан на Мэдисон авеню! Её запас прочности далеко не исчерпан, и я вам приказываю продолжать эксперимент!

– Ну какой смысл в жестокости? Зачем загонять человека в угол, доводить его до отчаяния! Ну что мы этим добьемся? Расплодим невротиков, неудачников и преступников?

– Учу вас, бестолковых, учу...

Босс заметно расстроился. Приспустив молнию, он всё-таки затолкал в ворот комбинезона расползающееся тело и яростно дёрнул язычок замка вверх.

Не вступая в дискуссию по общей цели эксперимента, он пробурчал,

– Твоя обожаемая Луиза – сильный психотип, у неё много задатков к творчеству, но она слишком привержена канонам. Если мы ей не откроем на многое глаза, она так и просидит всю жизнь в адвокатской конторе.

– И чем это плохо, если она любит эту работу, и поможет многим людям?

– Ты уверен, что поможет? Да она только сейчас начинает узнавать, что в мире существует горе и несправедливость, люди с неправильной сексуальной ориентацией, просто запутавшиеся , наркоманы, наконец! Чтобы защищать, она должна руководствоваться не только буквой закона, а личным опытом и выработанной позицией...

Когда шеф сердился, он начинал вещать штампами.

– Запомни, если ты сорвёшь эксперимент, если ты ей поможешь выбраться из неприятностей, то я тебя дисквалифицирую! Можешь заранее побеспокоиться, в какое тело тебе переселиться.

Джо нечем было возразить, но ему было жалко мучить бедную девочку, которая мужественно сражалась со всеми валящимися на неё напастями. Он знал, что после того, как её бросил перспективный жених, Луиза стала иногда выпивать, что у неё завелись дружки из гей-клуба (раньше она с возмущением относилась к сексуальным меньшинствам),что ночами она подрабатывает в круглосуточном супермаркете, что от неё отвернулись её хорошо зарабатывающие друзья и подружки, что она стала много читать так называемую серьёзную литературу и даже ходила в шелтер для животных – хотела взять несчастную собаку или кота, но ей не позволили из-за низкого дохода.

Расстроенный Джо ушёл с работы пораньше. Освобождённый от комбинезона, он с удовольствием полетал, смешавшись с кудрявыми овечкообразными облаками. Затем, чтобы развеяться, решил слегка попугать горожан. Так, одной старушке, прогуливающейся в отдалённой аллее парка в обществе грязной полуслепой болонки, явился в виде ангела. Старушка растрогалась.

– Миленький!

Она полезла в матерчатую сумку и пыталась угостить ангела черничным кексом, и ему пришлось срочно нейтрализоваться. Потом он немного побегал в виде чёрта перед скамейкой, на которой выпивали два алкаша. Но те не испугались, а пытались его изловить. Пришлось возвращаться домой.

В зоне отдыха, кряхтя и вздыхая, он загрузился в зелёную спиралевидную ёмкость, установленную в ячейке под номером Н317. Во всех остальных ячейках уже отдыхали его коллеги , проявив индивидуальность в выборе цвета и формы ёмкости для ограничения в пространстве аморфного тела. Да, лаконично, организованно, разумно и целесообразно. Засыпая, Джо с завистью подумал о землянах, которые ничего не знают ни о продолжительности своей жизни, ни о том, что может случиться завтра, но которые воспринимают жизнь как подарок и загадку.

Он подумал, что наверное, ему бы подошёл костюм рокера, и ещё ему безумно захотелось попробовать жареной картошки. Как, наверное, это здорово – иметь возможность смотреться в зеркало, иметь твёрдые, не меняющие формы руки и ноги, ходить по твёрдой надёжной земле.

Итак, Луиза отправилась на кухню варить кофе. Раньше она считала, что если карьера её не сложится, то она скорее пустит себе пулю в лоб, чем будет перебиваться случайными заработками. Что это позор – жить в маленькой квартире, в непрестижном районе. Ей уже пришлось переехать из Манхеттена в этот Бруклинский район, слава богу, не самый плохой. Все её интервью благополучно заваливаются. Неужели она такая дура? Её однокурсники давно пристроены – кто на Волл стрит, кто переехал в Манчестер на работу в солидные фирмы.

При встречах они сочувственно, плохо скрывая пренебрежение, вопрошали, – Ну неужели ты не можешь произвести хорошее впечатление на работодателя?

Бывшая лучшая подруга Стелла, разглядывая свой безукоризненный маникюр, предположила, – Может быть, ты неправильно одеваешься на интервью?

Воодушевившись, она ринулась к шкафу Луизы и в мгновение ока выбросила на диван все её вещи.

– Фи, вынесла вердикт бывшая подруга. Как можно рассчитывать быть принятой на работу, одетой в костюм за сто долларов!

– А если я ещё не работаю, то как я могу купить костюм за пятьсот?

– Ну, у тебя же есть жених! Пусть он купит.

– Он точно также только что закончил колледж.

– Нужно выбирать правильного жениха. А не сосунка, – нравоучительно произнесла Стелла. Это была их последняя встреча.

Потом жених, с которым они дружили буквально с пелёнок, признался, что встретил и полюбил другую. А Луиза – просто его подруга детства. Это был удар под дых. Это был конец света. Она думала, что не сможет дышать. Оказалось, что смогла – и дышать, и есть, и спать. Оказалось, что можно жить так – в Бруклине, в маленькой квартире, почти без денег.

Сегодня она идёт на очередное интервью, в городской суд, расположенный в Верхнем Бруклине. Она пройдёт это интервью, и будет защищать не богатеньких мадмуазелей от неуплаты налогов, а малоимущих граждан от притеснений домовладельцев. Старушек, живущих на крошечную пенсию, от недобросовестных компаний, втюхивающих ненужный бракованный товар. Подростков от несерьёзных преступлений, совершённых по глупости и слабости.

А приглашение от двух престижных фирм она просто выбросила в помойку. Пошли на фиг эти лощёные господа, напичканные под завязку апломбом и пороками!

Невыспавшийся Джо рассеянно крутил ручку настройки. У него был приказ от шефа – не мешать. Его подопечная получила приглашение на интервью от нескольких компаний, и шеф любопытствовал – которое из них она выберет?

Продравшись сквозь гряду низких серых туч, он максимально приблизил к себе район и углубился в изучение улиц, улочек и проспектов. Вот деловая Корт стрит. Движение тут медленное - слишком много машин. На ней находятся здания системы народного образования. Вот тихая Ливингстон, по которой машины проезжают быстро, словно навёрстывая упущенное. Он увидел Луизу, стоящую на переходе – на Ливингстон расположилось здание Народного Суда. И мгновенно, интуитивно, почувствовал опасность. Где, в чём она заключается? Джо приник к окуляру.

Луиза стояла сосредоточенная, сконцентрированная, и явно было видно, что она не выспалась. Ну конечно, она же ночью работала!

Горел красный свет для пешеходов, а за три квартала нёсся на огромной скорости грузовик, управляемый водителем, как сказал бы шеф, в состоянии наркотического опьянения. Джо включил кнопку системы вероятности, и со стопроцентной точностью получил результат – столкновение неминуемо! Невыспавшаяся и сосредоточенная на грядущем интервью девушка шагнёт с тротуара на проезжую часть, как только загорится зелёный глаз светофора, а разогнавшаяся машина не сможет затормозить.

У Джо в запасе было пять секунд.

Не раздумывая, он включил мощный аварийный лазерный луч и направил его прямо в лицо водителя. Ослеплённый, тот резко вывернул руль и за полквартала до перекрёстка вылетел на пустой тротуар и врезался в глухую стену дома. Луиза слышала дальний визг тормозов, но даже не оглянулась.

В лаборатории зазвенел звонок экстренного сбора – один из сотрудников нарушил закон невмешательства, повлёкший за собой смерть землянина . После продолжительных дебатов Джо был дисквалифицирован и отправлен на Землю, помещённый в тело чёрного котёнка – таково было желание наказуемого. Теперь он был начисто лишён всех своих способностей и, как и земляне, был повержен непредсказуемым поворотам судьбы. Он мог только мыслить и понимать человеческую речь.

Весь день, справляясь с обрушившимися на него опасностями, Джо пытался пробраться к дому Луизы, но пришлось отложить опасный вояж на ночное время. Джо уже выдержал битву с агрессивным котом, убежал от сердобольной старушки, едва не попал в

руки хулиганов. Прижавшись боком к чёрному контейнеру для мусора, слившись, таким образом, с окружающеё средой, он задремал.

Поздним вечером Луиза отправилась в супермаркет, в котором работала, чтобы попрощаться с менеджером и девочками – кассиршами, с которыми она успела подружиться. Девочки визжали от радости за неё и немного завидовали – она смогла вырваться, смогла устроиться на хорошую работу. Шутка ли – помощник адвоката в народном Суде!

Луиза медленно возвращалась домой. Освобождённая от толпы 86 улица казалась неестественно широкой. Над улицей проходила ветка метро, и, тревожно постукивая, прошёл поезд. У кромок тротуара валялись выпавшие из лотков яблоки, апельсины и помидоры. Из китайского магазина нестерпимо несло запахом протухшей рыбы. В антрацитово-чёрном небе плавала оранжевая подслеповатая луна. Из-за мусорного бака вышел чёрный котёнок. Он был маленький, худенький, и перед тем, как ступить, долго стоял с поднятой лапкой.

Луиза подумала, что котёнок пропадёт – он явно не мог найти себе пропитание. Она присела и протянула руку. Котёнок подошёл и доверчиво ткнулся ей в руку крошечным холодным носом.

Июль 2006. Нью-Йорк.

ТАМАРА МОСКАЛЁВА

ПРИДУРОК

Эта досадная история произошла ровно двадцать пять лет назад. Но... всё по порядку.

Иван Силыч Цыпушкин – славный 40-летний дядька с приплюснутой головой и грустными глазами, работал начальником механического цеха на кожзаводе. Начальник, как начальник, не лучше и не хуже остальных: в меру строгий, в меру сердечный – не раз спасал цеховых штрафников от увольнения.

– Путёвка горит! Выручай! – кинулся однажды в ноги Цыпушкину профорг. – «Лесной Уют» называется. Отдохнёшь, подлечишься! Санаторий маленький, но хвалят.

Да, были такие благословенные времена, когда упрашивали отдохнуть за счёт государства. Хороши были эти времена или плохи – речь не о том.

Долго не раздумывая, начальник собрался и отбыл к месту лечебного отдыха.

***

Он вошёл в просторный кабинет главного врача. За столом восседала брюнетистая особа в малиновой кофте с глубоко расстёгнутым воротом и что-то писала, закусывая шоколадной конфетой. Увидев пациента, дама перестала писать, с хрустом скомкала фантик. Молча кивнула на свободный стул.

«Гусыня... надутая» – отметил про себя Цыпушкин.

«Гусыня» лениво пролистала санаторную карту: «Та-ак... нервишки, говоришь? Гастрит... простатит...» – низким голосом пропела она.

Цыпушкин удивился: заведующая по-свойски обращалась на «ты». Иван Силыч конфузливо кашлянул: «Да, целый букет…».

– Букет... букет, – согласилась главврачиха. – Дерьмо твоё дело... начальник, дерьмо. – Она шлёпнула по бумагам сдобной ладошкой, резко встала:

– Ну что, – женщина окатила болезного оценивающим взглядом. Не мигая, откровенно засверлила глазами. Цыпушкин врос в сиденье.

– Плохо твоё дело, – повторила врачиха, – но! не смертельно!

«Гусыня», обойдя стол, приблизилась так, что было слышно её дыхание. Иван Силыч приподнялся было, но, уткнувшись носом в тёткину пружинистую грудь, враз пропотел и ляпнулся на стул снова. Кепка его слетела на колени.

– А чего мы покраснели? – врачиха по-матерински потрепала Цыпушкинское вислое ухо. – Подлечим твою... простатку! – интимно прогундосила она. – Подле-ечим... Да, меня, меж прочим, Валерией Андревной величают! А счас... – дама улыбнулась мелкими зубами, – счас ступай в палату, устраивайся!

Заведующая, оставляя вкусный аромат косметики, хлопнула дверью.

Уходил Иван Силыч из кабинета с огромным желанием напиться! Его бил озноб, кепка в руках плясала... Он чувствовал себя жалким карасём, которого чуть не сглотнула голодная акула.

Палата была одноместная. Комнатка светлая и уютная (подстать названию санатория). Неплотно прикрытые кружевные занавесочки скрывали пушистую герань на подоконнике. Парусники на картинках звали Цыпушкина в неизведанные дали...

Вечерело. Иван Силыч сложил дорожные вещи в шкаф. Переоделся и лёг – сморила дневная канитель.

И вот уже Иван Силыч входит в сон... и видит розовое море... на прибрежном валуне – красавицу-русалку. Видит, как он, Цыпушкин, преподносит охапку роскошных цветов прелестнице... Сердце его колотится от сладкого волнения.

– Какой дохлый букет! – трубным голосом врачихи гремит чаровница и швыряет букет в Цыпушкину физиономию. Цыпушкин плачет от обиды, подбирает с песка вялую розу и согревает её дыханьем... Роза оживает. Иван Силыч прижимает нежные лепестки к мокрой щеке.

***

Иван Силыч жил тихо да мирно за высоким забором с угрюмой неласковой женой Павлиной, двумя юнцами и злою собакой. Здравствовали они нелюдимо в старенькой избушке-малушке, которая досталась хозяину от деда. Гостей к самовару не звали. И Цыпушкиных никто не приглашал на чашечку чаю. В доме у них было разладно, невесело. Наверное, оттого, что супруги давно лишь терпели друг друга. А любовь их, нечаянно заблудившись до свадьбы, ушла куда-то, подарив на память чудо-сыновей, погодков.

Чета и жила по-разному. Павлина, отправив мальцов в детсад, а позже и в школу, лёжа на тахте у телевизора со шматком колбасы, с утра до ночи занималась самообразованием. Наспех сварганив немудрёный обед, припадала к тахте опять. Рано стала оплывать, недужить.

– Устроилась бы куда или учиться бы пошла, среди людей и про болячки забудешь, – обеспокоено заикнулся как-то Иван Силыч.

– Всех денег не загребёшь, – не отрываясь от книжки, с неудовольствием ответила жена.

Больше Иван Силыч на эту тему не заговаривал.

Цыпушкин слыл мужиком домовитым и башковитым. Что и правда: в будни он руководил токарями-слесарями и придумывал очередное рацприспособле-

ние на пользу родного завода. А в выходные облагораживал быт: перебирал подгнившие брёвна, латал крышу, подправлял заплот. Трудов по дому много, все не перечтёшь. Работая, Иван Силыч обыкновенно посасывал сигарку и помалкивал. Да и о чём говорить-то? Каждый разгребал свои мысли в одиночку.

Начитанной супруге по нраву были ум и золотые руки мужа. Он же ценил её невстревание в его душевное приволье.

Так они и жили, не мешая друг другу.

«Пацаны – воздух мой, не могу надышаться ими», – говаривал отец. И как чуток подросли сыновья – он их с собой! То вперегонки с утренним солнцем на рыбалку убегут, то за грибами-ягодами ут*о*пают. А то ещё куда...

Зимой батька часами возился с ребятами – сооружал хитрые игрушки, по весне ковырялся в саду и огороде.

Вот такой он был Иван Силыч Цыпушкин!

Конечно, можно бы сказать, что человек отдавал дому всё своё время. Однако, нет – осень была его! Все три месяца начальник механического цеха теперь обязательно проводил в «Лесном Уюте» – поправлял расшатанное за трудовое время здоровье.

Проходили дни. Годы. Вот уже и сыновья переженились, разлетелись по своим местам. Внуков произвели на белый свет. Павлина до осени месяцами гостила у одного сына и у другого.

Иван Силыч не покидал отчего угла и лишь изредка наведывался к отпрыскам: «Пусть сами чаще приезжают». А осенью, как заведено, доверив скромное подворье жене, отчаливал в «Уют» на поправку.

***

Рабочая смена клонится к закату.

Напротив сидит икроногая толстуха, безостановочно трендит:

– Помогите, Иван Силыч, не знаю, что и делать с Геркой! В ладу жили, не могла нарадоваться, а вот, как третья лялька родилась, сладу с ним не стало – приходит в ночь да за полночь, а то и вовсе... А как начнёт врать... ой! А я точно знаю, что он с такими же вон бродягами у девок... в Кирсараях. Мне не верите, спросите у него сами...

Сопленосые бабы-жалобщицы вызывали у Цыпушкина раздражение, хоть он и не подавал виду. И не мудрено: всякий раз, после каждой получки, не в милиции, а в кабинете Ивана Силыча жёны искали управу на благоверных. Частенько прямо здесь же, у начальника на глазах, супружницы устраивали домашние разборки. Иван Силыч не принимал сторону нерадивого семьянина, но и его крикливую половину не одобрял: «Чё ты здесь ноешь, а?! – мысленно ругался он. – Да огрей ты его на кухне сковородкой разок, чтобы мозги повылетали и выгони к чёртовой матери!»

Вот и сейчас начальник выслушал и со словами: «Понял – не звони» выпроводил хлюпающую молодайку, а к себе на допрос позвал виноватого.

– Ты чё же это, Герасим, выдрючиваешься-то, а? – нахмурился Цыпушкин и уставил на парня суровый взгляд из-под нависшего лба. – Получку домой не приносишь. Гуляешь. Смотри – такая женщина хорошая, а ты...

– Она? Фу, лужа затхлая! – хорохористый Герка брезгливо вскидывается. – Была хорошая, да вся вышла! А вообще... если хорошая – бери её себе!

– Чего-о?! Ты это...

– Да кисло мне с ней, вот чего! -- жёстко перебивая начальника, признался Герка. – Ну гляди ты, Силыч, на кого она похожа! Она ж в ребятёшках вся утонула, пузо как у свиньи... тьфу!

– Мелюзга-то твоя?

– Не спорю. Детям даю, сколько надо, а с ней жить... – парняга тряхнул косматым чубом. – Да и нет на свете мужика, который бы не левачил от своей! Убей – не знаю такого!

– Я такой! – горячо вырвалось у Цыпушкина. Он закурил, густо дымя в форточку.

– О-оо... Ну разве только ты-ы...– съехидничал Герка. Он откинулся на спинку, стал насмешливо рассматривать наставника. – Слышь ты, Иван Силыч... а чё ты в бабах-то... смыслишь вобще?.. Хм, рассказал бы...

Герка спохватился, прикусил язык. Он, конечно, сболтнул такое не со зла. Одностуживцы хоть и подшучивали на стороне, но любили начальника. И Герка – тоже. Но вот вырвалось больное... не поймаешь.

– Извини, Силыч, ну уж шибко ты правильный какой-то. Так на свете не бывает.

Работяга поспешно удалился. А начальник остался стоять у окна...

***

Вот уж и весна-красна проплясала свой срок. За нею укатилось и хлопотное лето. А осенью Иван Силыч, как всегда, отправился за здоровьем в «Лесной Уют».

Осень в тот год замешкалась, тепло растворилось, и ранняя зима по всем краям ударила трескучими морозами.

В собачий холод кожевники продолжали выполнять план, трудяги механического цеха крутить болты и гайки.

Своим чередом шла размеренная заводская жизнь, как тут неожиданно ворвалась жестокая новость и ошарашила наповал: в «Лесном Уюте»умер Цыпушкин! Да ладно бы умер, как все умирают, а то....

Мужики, очухавшись от шока, истерично ржали: «Вот придурок же, а! Ну и приду-урок...»

***

Серо. Мразко. Чудит снежная крутень. У пустой машины с открытыми бортами, шушукаются любопытные бабки, крестясь и притопывая валенками:

– Господи, беда-то какая... Слыхали хоть, как померто? Прямо, кто чё и говорит... Верьхом, будто, на врачихе помер?..

– Да уж слыхала. Лошадиные дозы, говорят, ему все годы вкатывала... жеребуха, чёртова! – торопливо подхватила разговор соседка. Подробности её распирали:

– Говорят, самого-то... едва с кобылы энтой стащили. А уж потом, мол, замотали прямо голого пальтушкой да и закинули в покойницкий грузовик. Закинули да и забыли у дороги... Так и валялся бревном промёрзлым. Родню ждал.

– Хм, «родня»...Да они разбежалися все, как вши по штанам! Я его обмывала-снаряжала в последнюю дорожку, – прошамкала подоспевшая старушонка. Она усердно протёрла в*е*тошкой воспалённые глазницы:

– Сродственники называются! Тьфу! Ежлиф не завод бы, дак... А ведь у него и хозяйка, и продолжатели есть. Не безродный какой, – бабулька сунула тряпку в карман, подняла ворот фуфайки:

– Вишь ли: «брезговають они»! А когда на его шее сидели... – знатуха досадливо махнула корявой пятернёй. – Мы в та годи жили недалече...

– Ай-яй-яай... Сгубила, стерьва, творенье Божье! Такой хороший человек был...

– Да. Отлюбили мужика и – выбросили! Видишь, и так бывает! Ничего, Господь всех рассудит...

– Несут-несут!

– Лёгочко, мужики... табуретки придерживай... Ставь... Простимся.

***

Молчание... И друг скорбную тишину разрывает вопль. Долгий, надрывный:

«Ва-а-ня! Где ты, Ва-а-аня! Мо-ой Ва-аня-амилый!..»

Вопль этот пронзает до костей... до слёз... до дрожи. Вопль, идущий из потаённого нутра, вытянутый из себя. И вот он уже летит... летит ангельской молитвой, способной пусть на время, но заглушить гнетущие мысли... Упокоить душу усопшего. «Ва-а-ня-а...»

ТЫНА – Я, ТЫНА – РОДИНА МОЯ

(Рассказ бабуси)

"Дьявол никого так не любит..."
(Св. Иоанн Златоуст)

Ох... рассказать кому, так ведь засмеют, ей богу! А кто и осудит... Ну что было, то было.

Жили мы тогда в старом доме, от цирка недалёко, дверь – в дверь с дочкой Зинаидой. Зять мой, Степан, хоть и молодой, но мастер был на все руки и до любой работы большой охотник. Мебель добротну сладить – пожалуйста, крышу железом покрыть-починить – пожалуйста, корыто ли, буржуйку с трубой сколотить – всегда готов! Кто чего ни попросит, бывало, всё умел, никому не отказывал. Оно ещё чего удивительно-то, много ли молодых умеют хотя бы гвоздок в стенку вколотить? Вот, то-то и оно... А Степану уменье от отца досталось. Стёпка за счёт уменья-то своего деньги хо-оррошие зарабатывал.

С Зинкой ладно жили. Троих детей нарожали. А чего не рожать? Дом – полна чаша. Поись, обуть-одеть есть. С ребятёшками опять же я помогала. Веришь, прям, нарадоваться не могла, ей-богу. Ну, думаю, у самой жизь не удалась, так хоть дочке повезло с мужиком. Не пьёт-не курит. Все деньги – в дом. В будни он в жестяной мастерской работал, а по выходным Степана нарасхват созывали в ближние деревни на халтуру – ладить, кому чего. Работы ши-ибко много было, ну он и возьми себе в помощники-то соседа Ромку, парня женатого, но шарамыжного-о-о... О-ой... Двоих детей настругал, нигде не работал. В доме – шаром покати, а он пил чуть не каждый божий день. Откуда деньги брал, чёрт его знат... Я всё боялась:

– Смотри, Степан, Ромка – парень непутёвый, кабы пить да гулять не научил...

– Ну, мать, скажешь тоже: "ка-абы пи-ить не научил"... – передразнивал он. – Как можно научить пить?.. Разве только руки завязать да в глотку силком наливать... Ха-ха-ха!..

Много ли мало время-то прошло, только замечаю: зятёк-то мой стал навеселе домой приходить. Пачку денег торопёхонько бросит на стол и тут же спать заваливатся. Дальше – больше. Уж и денег с халтуры своей перестал приносить. Работат-работат, а всё без толку. Бывалочи, стану говорить-увещевать, а он ухмыльнётся и – спать. Постепенно Стёпка так к пьянству пристрастился, что – беда! Спьяну и огрызаться начал. Зинка моя первой-то молчала – терпела, от меня скрывала, ак скрывай-не скрывай – шила-то в мешке не утаишь. Потом она, конечно, взялась ругаться. Скандалы пошли, а там уж и драки. (А люди тоже хороши – вместо того, чтобы деньгами за работу платить, так они четушками рассчитаться торопятся – так дешевше).

В те поры я ещё молодая была, силы немалой. Начнёт, бывало, Стёпка Зинку колотить, дети орут. Визг, гам... Ой, как вспомню... Я на крики прибегу, смотрю, он пыхтит, зубами скрипит, желваками страх возьмётся нагонять, на губах да на глазах пенки собираются... Тьфу, страмота! Меня увидит – впялится и ну наскрозь прожигать....

– Ну и чего ты уставился? – говорю. – Не думай, никто тя не испугался! Ишь взбычился, душегубец проклятый! Ты чего руки-то распускашь, а?

Сколь раз бывало сгребу его в охапку и ну бороться! На крыльцо выкатимся. Вороты – настежь, видно, как народ в цирк валит. А у нас свой цирк – кувыркамся со Стёпкой, как два нанайца.

– Да, в конц-цах-то конц-цы, ты долго измываться над семьёй бу-удешь, а? Долго ты будешь халкать эту отраву? – кричу, а сама его понужаю, сама ему нос кручу да за лохмы треплю:

– Тебе чего надо: жизь человечью али несусветное пьянство, дурень ты чёртов! Да чтоб у тя руки поотсыхали, когда стакан к глотке подносишь...

Стёпка орёт благим матом, вырывается:

– Кар-раул, убивают! Люди добрые, помогите! Мили-иц-ция!..

Народ, бывало, у ворот столпится. Хохочут все, как ненормальныя, в ладоши хлопают: «Молодец тётка! Хорошо мужика мнёт!»

– Мама-аш- ша, давай отдохнём ма-аленько, – надрывно хрипит зять.

Бывало, плюну с досады да отпускаю, ну чё и от людей же стыдно...

Стёпка, красный как рак, тяжело дышит, ощупыват свой нос рубильный, прости господи, зыркат свирепыми глазами. Разодраной рубахой пот вытират... Сидим с ним на крыльце, отдыхивамся.

Да... Вот така жизнь развесёла у нас пошла... И никаки трёпки ему не помогали, нет... Пил всё, что под руку попадало. Одекалон попадёт – его выпьет. Даже капли глазные, ты не поверишь. Одно время он ко мне зачастил. (Им вторые ключи сдуру отдала). Я у них с детями домовничу, а он у меня хозяйничат. Помню, чего-то с глазами неладно было. Хватилась, закапать хотела – капли не найду никак. Искала-искала, а потом пузырёк в помойном ведре нашла. Выпил! Ну что ты скажешь! А тут ищё луче учудил – просит как-то: – Мать, – дай трёшку на похмелку...

– Ага... разбежалась... Тебе последние отдай на пропой, а сама без хлеба оставайся... Умнай какой!

– Башка как чугун, веришь... – канючит стервец

– Да оторвать её, башку твою, давно пора к чёртовой матери – и делу конец! – не выдержала я. – Не будешь мучить ни себя, ни семью...

– Ну дай хоть... вон твоего растиранья маленько, – показыват на банку яда змеиного со спиртом. Я настойку-то для поясницы берегу – иногда прихватыват.

– Да ты чё, сдурел совсем? – вытаращилась на него, – Ишь чего удумал! Да отрависся ведь! – Не дала, конечно. От греха спрятала подальше. Одинтурат у меня был – его и выпил.

Ну а дальше... э-эх... выгнали с работы его за пьянство. Забросил дом, семью. Зинка с вечера, бывало, просит: «Стёп, давай завтра сводим ребят в зверильницу».

– «Ладно...»

Утром хватится, а его уж и след простыл. Кака там зверильница! Вечером ползёт ни уха, ни рыла. До двери не дойдя, свалится чурбан-чурбаном. Обфурится весь. Пока Зинка не увидит да не затащит его в комнату, так в мокре и валятся. А чуть оклематся, драться кидатся ... Дошло до того, что с себя всё шмотьё распродал – в единственных штанах остался. И чего только мы с Зинкой ни делали, чтобы от пьянства его спасти: и совестили, и к врачу звали лечиться, он – ни в какую: "Я алкаш что ли?" К слову сказать, всё-таки приметы о многом говорят. Вот Зинка моя бывало, в девках, как встанет к корыту состирнуть чего на доске ли без неё – всё пузо обольёт. А это – верная примета – в мужья пьянчужка попадёт. Так оно и вышло!

Ну, как Степана остановить? Придумала Зинка, когда он спал, подрезать его единственны штаны. Ну, и видать, торопилась – одна штанина получилась выше колена, друга – ниже. –«Теперь... ты у меня, кажется, пойдёшь куда-нибудь в такую холодрыгу» – спрятала пимы да ботинки и преспокойно спать легла. (Дело зимой было). А он, окаянный, ты не поверишь, тихонько встал ни свет ни заря да в энтих штанах-то отрезанных и в тапках домашних на босу ногу убежал к Ромке.

Ромка, я тебе уж сказывала, шалопай такой же. Жена забрала детей да ушла к матери – не выдержала. Я как-то заглянула в его конуру, Стёпку искала. А там – грязища, батюшки-Светы! Мухи, что собаки злыя, мечутся по комнате. Окно засижено. Цветок жухлый на окошке мается. Тёмно. Стол чуть не во всю комнату, из досок сколоченный, в крошках весь. Раскуроченная буханка оржаного хлеба, лук – две ли три нечищеных головки порублены. Тут же заляпаны стаканы с засохшим вином стоят. А на столе, ты не поверишь, в огромной бутыли брага играт, кипит-пузыри-ится. Ой, весело жили, нечего сказать! Кажный день – какой-нибудь событье. Как вспомню...

Ну так вот, спим однажды ночью беспробудно, вдруг в самый сон – взрыв! Повскакали все! Война! Бомбят! Где, чего? Высыпали в колидор в чём спали. А та-а-м... уфф! Вони-и-ща! Не продохнуть...

Что случилося – ничё не понимам. Ромкина дверь – нараспашку. Сам Ромка с зятем моим ползают по полу, в пенистой жиже барахтаются, тряпками мокро собирают да в тазик выжимают. Ромка, чуть не плачет с досады:

– Бутыль с брагой взорвалась. Соседски мужики, увидав горе тако, принюхиваются по-собачьи, вонь эту с наслажденьем втягивают да советы наперебой дают, как луче добро спасти. Кой-кто кинулся помогать. Всё собрали. Размётану взрывом бражну кашу сложили в тряпицы и ну сосать, ты не поверишь, ей богу не вру! Бабы чертыхаются. Перепуганные было ребятёшки, хохочут... Боже праведный... Вот так весело ночка прошла!

А я после этого случая и подумала себе: "Ну всё, голубок, держись. Хватит дурью маяться. Сам не хошь, так я тебя вылечу!.."

Чуть только обвидняло, побежала на Зелёный базар. Давай потихоньку бабулек выспрашивать, как да чем от пьянки излечиться можно. Те смотрят на меня жалеючи.

– Да не я, говорю, зять пропадат.

Подсказали – вон-де, старуха снадобье продаёт, чемерицей называется. Оно, де, охоту к пьянкам напрочь отбивает. Она, мол, всё знает, всё подскажет... Кинулась я к бабке энтой... Та сказала, что с её снадобьем сразу же после одного-двух стаканов бражки-наливки сильно драть начнёт, и навсегда пропадёт охота пьянствовать.

Ладно, я дома тут же поставила настойку. Чемерицы насыпала чуть поболе, чем старушонка наказывала, чтоб уж надёжное действо возымела. От зятя в чуланку спрятала. Да и Зинке не сказала ничего.

Чуть только бражка подоспела, я Стёпку-то и приглашаю:

– Давай-ка пробу сыми да Рому пригласи.

Зять удивлятся, с чего это тёща раздобрилась – выпивку навяливат:

– Ничё не пойму! Сама что ли ставила? В честь какого праздника? Однако, Романа позвал. Тот моментом прибежал да ещё со своей кружкой. Сел, нетерпеливо запоглядывал на бутыль. Жадно слюну сглотнул... Не выдержал, пока я на стол собирала:

– Ну, дай уже опохмелиться что ли, чего жилы тянешь... – подставил кружку – плесни малость, – залпом выпил, закашлялся. Я сробела... Сила небесная, как быстро снадобье-то подействовало!.. Не отравить бы... Смотрю – нет, ничё.

Зять тоже не терпит, трясётся. Маханул стакан, погладил себя по брюху: «Уф...отпустило...» А я Стёпкиных любимых пельмешков с требушиной настряпала да и в фарш тоже энтой чемерицы-то подсыпала маленько. Для пущей крепости.

– Ешьте, закусывайте. – Пельмени подкладываю да бражку подливаю.

– А сама-то чё не пробуешь? – спрашиват Ромка. – Выпей хоть за компанию.

– Да не тянет чего-то...

– Не надо, тёща, не пей, нам больше достанется! – изгалятся Стёпка, поддевая вилкой пельмень.

Мужики разомлели. Я на них посматриваю – как чемерица влияет. А им – хоть бы хны! Им весело! Ромка шатко прошёл к окну, оттуда – вприсядку да вприсядку, хлопат себя по шее то одной рукой, то другой. Пляшет да припеват

– И... эх, Тына-Тына – Тына я-а-а!..

Стёпка обмяк, расплылся на стуле, громко шлёпат в ладоши да по столу чечётку отбиват, пьяно горланит, помогат дружку:

– О-ох... ах... да! Тына – ро-о-одина моя!

Запели-заплясали наперебой. Скоро их совсем растащило. Брага уж назад прёт, но ведь не встали, стервецы, пока всю не выпили! Тут Зинаида пришла с работы, а у нас – веселье, пир горой! Степан жену увидал:

– Нет, Зинаида, что ни говори, а тёща у меня золотая! Золло-ота-ая-а.. Смотри, какой она праздник зятю устроила!.. Не то, что ты-ы... Э-эх... Зинка-а-а... – заплакал, саданул в сердцах стаканом об стол, стакан-от

– вдребезги. Руку всю в кровь изрезал, ох, Господи! Вот те и "Тына я"

* **

– Ну и как, помогло снадобье, перестал зять пить? – спросила я бабусю.

– Куды там... Говорят: "Горбатого могила исправит". Долго ещё пил, пока с белой горячкой в сумашедший дом не угодил. Черти ему всё блазнили. Полгода пролежал. Вышел и – опять за пьянку. Не знай, как только Зинка его терпела-не выгнала? Всё жалела.

А потом... вдруг – Стёпка одним разом пить-то и бросил! Веришь-нет?

– Ой ли?! – не поверила я.

– Ей богу!! В один день! Сам бросил, как отрезал! И не только пить, а и курить не стал. Во как! Оно-то, может, и до сих пор бы пил... да тут с Ромкой, дружком-то его–собутыльшиком, случай приключился. – Повесился Ромка по пьяни, царство небесное, не к ночи будь помянутый... о-ох...

Пришёл Стёпка с похорон чернее чёрного, выпил стопку за упокой души Романовой... шлепанул пятернёй по столу: «Точка!» При всех поминальщиках так и сказал – «точка»! Мол, на могиле Ромкиной поклялся – капли в рот не возьму отныне. Дескать, не могу больше так жить-пропадать.

Да... сильно Ромкина смерть его тряхонула!

Ой... А тут сидим как-то втроём, уже после похорон, Степан глядел-глядел в одну точку да и взялся нам с Зинкой душу открывать:

– Для чего жил? Не пойму. Ведь всё есть – жена, дети. Ты вот, тёща, тоже есть... Все чё-то делают-шевелятся. А я... хм...у меня... каждый день одна печаль-забота – чем бы похмелиться да как больше чинариков захарканных насбирать! Тьфу! – он обхватил голову и давай на себя сердиться. – Я, мордоворот бестыжий, копейки у нищих стариков клянчил. Стаканы-кружки со слюнявой бурдой по пивнушкам сшибал-облизывал. Господи! – замотал он головой. – Ну не для этого же меня мама родила! – Степан закашлялся, слёзы из глаз так и брызнули. – Дожился, что детям родным противен стал, стыдятся меня-я! – зеват, как пьяный, веришь. Про тебя, Зинка, уж не говорю. А ведь руки есть, и трясучны руки вытягиват да нам показыват. – Вот они, руки-то мои! Всё могут, всё умеют! И работать, и деньги зарабатывать! – взахлёб орёт. – Простите вы меня, Христа ради!

И как замолотил кулаками по столу, как заревел в голос! Закатался головой, забился по столешнице! Ой!.. Ну и мы с Зинкой тоже – в сопли-слёзы. Я зятя по вихрам наглаживаю-успокаиваю: «И, правда, сколь жить так можно. Ничё, дескать, всё наладится. Главно, Стёпа, что ты сам это захотел!» И Зинка ему своё наговариват. Кой-как успокоили мужика. Да... Хорошо ребятёшки в школе были, а то бы и они с нами зауросили. Вот так оно... А ты говоришь...

Конешно, Стёпку, как и Ромку, така же участь ждала, кабы сам за себя не взялся.

После энтого-то... говорю же, крепко призадумался парень. Ну и слышь... в церкву стал ходить. Ей богу! В нашу, Белую. Да...

А с Зинаидой-то моей они зажили луче прежнего.

Так что, видать, не всегда молва до конца права бываt про горбатого да могилу.

А тот праздник, что я им с Ромкой устроила, Стёпка всё время вспоминат. – Годы пропитые жалеет.

Ну а про "лекарство" моё так никто и не знат до сих пор. Вот, р*а*зи, окромя тебя только... А ты промолчишь, да и я никому не скажу...

* * *

Бабуся хитро посмотрела на меня, спрятала улыбку.

ВИКТОРИЯ ГЕТМАНОВА

У ВОРОТ

– Последний. Во-о-он, последний...он это, – приклеится ладонь, словно намертво, к обледеневшему стеклу, накрыв колышущееся вдалеке пятно.

Точно он. Я его чувствую. Как впервые увидела. Среди окоченевших пареньков, свезенных к зиме на телегах сюда, в Западную Сибирь. Тогда гулом пронеслось: «Политических, детей политических везут!» Зашумел трудпоселок. Девчонки свеклой щеки и губы вымазали, приосанились, на шиканье старших внимания не обращают, платки с голов посрывали, и на улицу – испуганно хохотать. Бедные. Да, еще подумала: «Бедные. Разве здесь, во *все это*, из-за чего губы подкрасить хочется, верить можно?».

Женщинам же не до смеха – только мальчонок привезли – которая вдруг заплачет, которая кулак ко рту приложит и замрет. Надолго. Словно окаменеет. В рукавицу что-то там себе нашептывая. Другая увидит, подойдет тут же: «Пойдем, душа, пойдем. Не надо. Не дело». И оттащит: к сараю, за угол, в плечо, куданибудь. Руку от лица отнимая. И нет-нет прорвется несдерживаемое больше рукавицей: «Ой, на сыно-о-очка моего старшого похож! Вон – лохматенький. Точно сы-ы-ы-ыначка моя убиенная!»

Расселили прибывших. Слабенькие совсем ребятки были. Мы же из раскулаченных крестьян тут все. Нас работой и трудом не согнешь. А они – из городов. Бледные, нешумные. Нескольких и сюда, в дубильню, работать послали. Кипяток носить. Кожу отбивать. Зашли. Серьезные. А последний...а он последним. Дверь осторожно прикрыл. Бережно. Чтобы не грохнула. Да, еще подумала: «Вот, значит, чтоб не грохнула», так он уж с разворота глазами в меня и вперился. И эдак покойно стало, что в сердце дядькин голос запел – как дома, когда траву косить вместе ходили:

...у ворот гусли вдарили,
про меня, младу, баяли,
у меня, младой, муж ревнив,
он на улицу не пустил,
а хотя пустил – пригрозил –
«ты гуляй, млада, недолго,
ой, недолго».

Работы много было, и себя не жалели, и месяцы шли, и некоторые из них в год успели сложиться – так мы кожу дубили. И до того жарко иной раз становилось, что ворот рубахи рванешь, чтобы продышаться, а заново застегнуться – ни сил, ни времени. Вот и подошел, в шею взмокшую, с налипшими завитками темных волос ткнулся. Что оборвалась даже песня дядькина внутри. Остолбенела. Руки будто крылья раскинула. Крылья, да деревянные. Ни его от себя, ни к нему. Развела в стороны: «Что...ну, что?». А он дальше – в шею, за ухо, куда-то: «Самая ты...моя». Светленький. И такие волосы льняные, что обманываешься поначалу – думаешь, седой.

Все хотела его по головушке погладить, но неужто решиться? Одна радость – тайком любоваться: на руки, на глаза, на губы – со страхом. Со страхом. Что прильнут снова жарко, пересохшие, царапая шею… или не прильнут. И плакала ночами горько. Стыдно было за щеки впалые, и за отцовскую кровь, которая не позволяла лишнего слова теплого сказать. И за брови, сросшиеся почти у переносицы, словно нарочно, чтобы еще суровее лицо, платком линялым перетянутое сделать, стыдно было. Плакала и песню дядькину, казалось, забыла.

А потом перевели их. Землянки они себе за поселком выстроили.

И на девок мы уже не шикали. У девок прав – больше нашего. Им конвоиры даже у ворот прогуливаться разрешают. У ворот – это ж радость хоть минуточку побыть, пока ребятки проходить будут. Там и весточку передать можно, и хлебца, и в глазоньки любимые посмотреть. Нет, не изводили девок. Удалось какой с ребятами перекинуться, пока те за оградой поселковой на лесопилку шли. Такая придет, усядется на самое уютное место – у котлов, где потеплее, и начнет рассказывать: «Нормально там у их все. У их там еще землянку достроили. На полу не спит никто, на лавках… Третьего дня трое памерли. Кто? – не знаю кто. Еще говорят, что половину переведут. Больно резво взрослыми кой-какие стали. Или постреляют. Кого? – не знаю кого. У солдатиков мож спрошу, мож и нет».

Сидим мы и слушаем. И слушаем. Вертлявые скороговоркой отговорятся, семечки тыквенные лузгать принимаются. А мы слушаем. Может, просыплется с шелухой еще словечко.

И только когда колонна вдоль забора нашего пройдет, встрепенемся, к окнам бросимся.

– Ой, худющие какие, бабоньки. Неужто их изморем!

– Чего там у некоторых на головах, а? Душа, посмотри, чего у них, шапки отняли что ли, пошто пеленаются, а?..

– Господи, помилуй нас с детьми нашими, да не увлекутся духом времени…

Так и говорили, пока не затихло все. Да, погремело, погремело как-то ночью за воротами и тихо так вдруг стало. Больше в дубильню никто не приходил. Даже девки не хаживали. Пробежит какая за окном – пальцем постучишь – мол, айда, иди, ну, миленькая! А она вид делает, что не услышала. Голову только склонит и быстрее пройдет.

Ну, вопросы задавать мы отучены. Весну переждали – девичьи наскоро хороводы, пока не видит никто. И лето переждали – деток народилось много. А к осени, с тягучими рассветными туманами с болот, поглядела я однажды в окошко – а там, за воротами, идут. Миленькие, стройно так. Как приказывали им ходить. Запричитала, помню. Забилась, а в голове – только бы углядеть его. И так много этого «только бы! только бы!» было, что и выбежать не додумалась. Проснулись на крик в бараке. Подскочили. Из молодых – любопытные. А я смеюсь, говорю: «Да нет, любимые, просто своих увидела. Вон они, ходют!». Расступились тут. Замолчали. Лишь у двери молодка ахнула, перекрестилась. Да и еще кто сквозь зубы обронил: «Пострелянные ей видятся. Помрачилась видать».

Умолкла тогда я. Поднялась с пола. Косынку поправила – перечить мы тоже отучены. С тех пор не говорю ни с кем. Целыми днями за водой туда-сюда хожу. Одна мысль – быстрее бы до ночи. А там прислонишься к оконцу, да зашепчешь, когда ребятки на лесопильню пойдут:

– Последний. Во-о-он, последний… он это, чувствую, – приклеится ладонь, словно намертво, к обледеневшему стеклу, но потянет осевшее тело вниз руку. Обнимешь себя за плечи, уткнешься носом в подтянутые к лицу колени и затянешь волком – «у ворот гусли вда-а-а-арили, ой, вдарили…».

СЕМЁН КАМИНСКИЙ

АНГЕЛЫ ПО ПЯТЬ

А.Б.

Теперь в такие магазины я заглядываю нечасто. Последний раз это было, пожалуй, лет десять тому назад.

Когда приезжаешь без особых сбережений жить в чужую страну, сначала вынужден что-то покупать в комиссионных магазинах Армии Спасения. Если не одежду, то, по крайней мере, домашнюю утварь, может, что-то из мебели... Потом, когда есть хорошая работа, свой дом и возможность купить новое, в такие места входишь с опаской: будто где-то здесь, среди длинных рядов с одеждой, стеллажей с разнокалиберными чашками и вазочками, плохими и неплохими картинами, стульями, столами, диванами и лежалым запахом могут встретиться давнишние эмигрантские страхи или ненужные воспоминания. Да и зачем сюда заходить?

Я хотел попасть в соседний ресторанчик, перекусить, но дернул не ту дверь. И когда пожилая женщина за кассой так приветливо улыбнулась мне, и сказала «Хэлло!», сразу уйти стало как-то неудобно. Я потащился вдоль рядов, вяло разглядывая всякое барахло и обходя редких покупателей.

Следом за мной, вместе с очередным звяканьем дверного колокольчика, в комиссионке оказались еще одни посетители, видимо, тоже перепутали двери. Я оглянулся – дама в большой светлой шубе громко зашипела на своего спутника по-русски:

– Идем отсюда, тут такой запах...

– Обожди, дай я быстро гляну на картины, тут может быть что-то...

Я повернул за угол стеллажа.

Здесь в картонных ящиках обнаружились целые горы виниловых пластинок. Некоторые из них хорошо сохранившиеся и даже запечатанные в полиэтиленовую пленку. Джаз, соул, очень много сборников к Рождеству. Вон натужно улыбается Донни Осмонд, выглянул из-под другого конверта немаленький носик Барбары Стрейзанд, этих я не знаю, этого тоже, Тина Тернер, опять Рождество, немножко древнего, забытого рока... А вот-вот... хитро ухмыльнулся старый знакомец – бородатый мужичок с темной заплатой на грязных штанах, согнувшийся под вязанкой хвороста на обложке четвертого альбома Лед Зеппелин. И обложка, и диск – как новенькие... чудеса! Это ведь 1971.

There's a lady who's sure
All that glitters is gold
And she's buying a stairway to heaven...

– Фу, не трогай, бог знает, кто этого касался!

Объявление рядом сообщило, что все диски – по 50 центов. Боже мой, в одной далекой стране семидесятых годов такой диск стоил моей месячной зарплаты молодого инженера! У меня давно уже нет проигрывателя... здесь у меня никогда не было проигрывателя, только CD-плейер. Какой блаженный будет внимать сейчас этому шипящему волшебству прошлого века?..

– А кошки – ничего... и пейзажик мы можем подарить твоей маме…

Я бережно взял конверт и двинулся дальше.

Почти у самой кассы была составлена горка из небольших одинаковых голубоватых коробок. Что-то уцененное, нераспроданное в прошлый, а может, и в позапрошлый год, в других, дорогих магазинах, торгующих новыми товарами. Сверху на коробках – картонка с крупной надписью фломастером:

АНГЕЛЫ. 5 долларов за штуку

Открыв одну из коробок, я достал милашку-ангелочка, сделанного из приятной на ощупь, шершавой, чем-то похожей на резину керамики, раскрашенной в легкие пастельные тона. Он был немного меньше моей ладони, в курточке, штанах и кепке – этакий Гаврош с крыльями. «Сделано в Китае» – утверждала гордая крупная золотистая наклейка у него на заду, под крыльями... что ж, действительно, сделано в Поднебесной…

– Я хочу таких… штук пять, – изрекла за моей спиной все та же светлая шуба, – поторгуйся с ними! Пригодится на подарки.

Я неожиданно решил не отдавать этого, попавшего мне в руки и, признаться, совершенно ненужного мне глупенького ангелочка. Я продолжал внимательно изучать его, пока они отбирали других, торговались, платили за покупки, и повернулся к кассе только по сигналу колокольчика.

Эта женщина уверена:
Все, что блестит, – золото.
И она покупает лестницу в небо.
И даже, если все магазины закрыты,
Она, зная нужное слово,
может получить то, за чем пришла.
И она покупает лестницу в небо.[i]

Я вышел на холодный воздух: теперь у меня есть ангел за пять долларов и лестница в небо за 50 центов.

Неплохо для начала.

Или, вернее, для конца.

---

[i] «Лед Зеппелин». «Лестница в Небо».

МАЙК ГЕЛПРИН

ИСТОРИЯ КОЗЛОВ

Гошу Защёлкина повязали на рассвете.

Кодла вломилась в квартиру, как обычно, по-революционному. Сначала, бодро протопав по лестнице пятью парами казённых говнодавов, кодла сосредоточилась у обитой ветхим дерматином двери. Затем старшой, утробно ахнув, отвесил этой двери залихватского пинка. Хлипкий замок сдался под революционным напором, и уже через пять секунд Гоша огребал по роже для профилактики.

– Попался, сука, – жизнерадостно оскалившись, сообщил старшой шестёркам. – Так, хату по-быстрому шмонаем, фраера – за рога и в стойло.

Следак оказался знакомым. Он был пламенным революционером, не выговаривал букву `л', вожделел к представителям своего пола и ненавидел диссидентскую мразь.

– Какие юди, – обрадовался Гоше следак. – Месье Защёкин! Попася таки, юбимый ты мой. А мы тут вонуемся, переживаем, можно сказать – куда, дескать, Защёкин наш юбезный пропа.

Следующие полчаса следак азартно уговаривал Гошу добровольно признаться. В случае признания он сулил роскошную камеру без клопов и гнид, а в противном – кокетливо кося дурным глазом, грозился заняться подследственным лично.

Защёлкин, как и подобает идейному инакомыслящему, включил несознанку и пошёл в отказ. Он не признал ни сопротивления синему террору, ни заговора с целью покушения на пахана, ни шпионажа в пользу Украины.

Под конец следак исчерпал запас весомых аргументов и потерял революционную выдержку.

– Ты меня доста, поня?! – заорал он, отбросив мужское кокетство. – Ну, ничего, я тобой займусь, козик. Поюбю тебя пыкой юбовью. В камеру его! К рецидивистам!

Рецидивисты, все трое, были сидельцами опытными, Защёлкину знакомыми, и встретили его как родного.

– Георгий Ильич, дорогой! – распахнул объятия Иван Абрамович Иванман, правый уклонист по кличке Пестель. Прозвищем Иван Абрамович был обязан привычке упоминать имя первого русского революционера к месту и без оного. – А мы всё гадаем, что же Георгия Ильича эти пестели никак изловить не могут.

– Я всегда сидел, – заговорил примостившийся на параше зиц-председатель Финт. – Я сидел при Вовке Картавом, потом при Ёське Кровавом. Ах, как я сидел при Ёське!

Финту было далеко за сотню, сколько именно не знал никто, включая его самого. Он был профессиональным председателем тайных обществ. Профессия досталась Финту по наследству – говорили, что его дедушка сидел чуть ли не при самом Трубецком. Тайные общества создавались, Финты неизменно их возглавляли, потом общества распадались, подпольщики спасались бегством, а Финтов волокли в каталажку.

– Это были лучшие дни моей жизни, – бормотал, шевеля нечистыми губами, Финт. – При Ёське я провёл на свободе не больше трёх месяцев. Я выдал замуж внучку, Голконду Евсеевну, и дал за ней крышку от фортепьяно, ещё птичку из фальшивого серебра и восемьдесят рублей, которые сожрала реформа. Я вас спрашиваю – где это всё? Где общество имени Бестужева-Рюмина? Где товарищество на вере а ля Муравьёв-Апостол? Где подпольная организация с радикальной платформой? Где организация с либеральной платформой? Где?..

– В Караганде, – прервал Финта правый уклонист. – Вот же заладит, старый пестель, – сказал он в сердцах. – Проходите, Георгий Ильич, проходите, голубчик.

– Здравствуйте, здравствуйте, – пробасил, протягивая руку, лже-историк Карломарксов. – Где мы с вами последний раз виделись, Защёлкин? Не на воркутинском ли лесоповале?

– Там, – подтвердил Гоша, устраиваясь на свободной шконке. – Сейчас, видимо, лесоповалом отделаться не удастся, Энгельс Фридрихович. Статьи шибко поганые. Шпионаж в пользу Украины шьют, да ещё заговор с покушением. На главного медвежатника.

– Ух, ты, серьёзные статьи, – привстал со шконки Карломарксов. – За одно покушение могут червонец припаять. И шпионаж серьёзный, не на Занзибар какой-нибудь или, там, США. Как думаете, Иван Абрамович? – обратился он к правому уклонисту.

– А пестель его знает, – искренне ответил тот. – Сейчас, с новой властью и синим террором, пестель разберёшься.

– При Никитке Болтливом я тоже сидел, – вступил с параши Финт. – Затем при Лёньке Бровастом. Сидел я при нём сиськи-масиськи.

Зиц-председатель замолчал и, задумчиво глядя на оконную решётку, предался ностальгии. Воспользовавшись образовавшейся тишиной, лже-историк приступил к любимому занятию – чтению лекций из курса несуществующей науки.

– Революция в России обречена на победу, – назидательно выпятив указательный палец, заявил Карломарксов. – С тех пор, как Алексашку Романова угораздило не вовремя отдать богу душу в Таганроге – обречена, господа. За без малого двести лет сколько их было, этих революций...

– Действительно, сколько? – заинтересовался Защёлкин. – Любопытно было бы посчитать.

– При Юрке Очкастом, Менте, я тоже сидел, – сообщил Финт.

– А вот считайте, – перекрывая басом поступающую от параши информацию, принялся загибать пальцы лже-историк. – Революция Пестеля-Трубецкого – раз. Затем устранение Пестеля Трубецким – два. Реставрация монархии. К несчастью, эти господа, пока дрались, допустили серьёзную ошибку – ненароком разбудили Герцена.

– Жаль, не надавали в своё время Герцену пестелей, – мечтательно произнёс Иванман. – И Огарёву за компанию.

– Вестимо, – согласился лже-историк. – Значит, переворот Герцена-Огарёва – три. Кровавое воскресенье – четыре. Затем реформа Столыпина, впрочем, за революцию её можно посчитать лишь условно. Зато вслед за ней – восстание Керенского, и чуть ли не сразу – красный террор Ульянова-Дзержинского. Власть бандитская, разбойничья. Чёрт, я уже сбился со счёта.

– При Мишке Райкине, Перестройщике, я опять сидел, – вновь включился Финт. – Затем при Борьке Седом, Алкоголике.

– Сталинская революция в двадцать втором, – игнорируя Финта, продолжил Карломарксов. – Власть палаческая. Хрущёвская так называемая оттепель, и вместе с ней безвластие. Затем Брежневский застой, власть чиновничья и воровская. Тьфу, противно. Андроповский переворот, власть вертухайская. За ней мошенническая и рэкетирская. И вот, наконец, дожили – синий террор, власть авторитетов при бабках, наколках и кодлах.

– Да-а, – раздумчиво протянул Защёлкин. – Интересно, что дальше? По логике вещей получается, что следующая власть окажется не лучше настоящей. Например, сутенёрская. Или наркодилерская. Для нас, конечно, это мало что изменит.

– Будем сидеть, – оптимистично поддержал Финт. – Будем сидеть, я сказал.

– Не загреметь бы под вышку, – озабоченно проговорил Гоша. – С этим синим террором запросто могут шлёпнуть.

– Не шлёпнут, – успокоил Иванман. – Вы, Георгий Ильич, молодой ещё. На нарах как долго сиживали, голубчик?

– Четыре года в общей сложности, – признался Защёлкин.

– То-то. А мы с Энгельс Фридриховичем, считай, по четвертачку отмотали. Не говоря уже о старом пестеле. Сидельцы, дорогой мой, при каждой власти нужны. Так что мы с вами ещё посидим. Вот будет суд – сами убедитесь.

Суд не заставил себя ждать. Прокурор был зол, небрит и с похмелья, судья, напротив – весела, наштукатурена и в лёгком кокаиновом приходе. Кивалы, споро разбившись на две команды по шесть рыл в каждой, затеяли турнир в очко.

Прения сторон длились недолго. По их окончании прокурор, яростно почёсывая щетину, принялся клеиться к судье, а кивалы, недовольно сквернословя, сложили карты и удалились в комнату для совещаний. Через полминуты они вернулись, старшой кивала небрежно бросил "виновен, сука", и турнир возобновился.

– Десять лет с конфискацией, – постреливая глазками в прокурора, манерно произнесла судья. – Ах, да, конфисковывать нечего. Тогда десять лет без. И пять по рогам. Впрочем, сегодня я что-то в настроении божоле, то есть весьма покладистом. Напомните, подсудимый ведь не сознался?

– В отказе, падла, – подтвердил прокурор.

– Вот и хорошо. Не пойман – не вор. Пять лет общего без конфискации и без рогов. Все свободны кроме Фокса. В смысле нацепите подсудимому кандалы и все проваливайте. А вас, прокурор, попрошу остаться.

Зона имени Чикатилы мало чем отличалась от прочих. Осенью там шёл дождь и рота конвойных. Зимой падал снег и производительность труда. Весной стучала капель и лагерные стукачи. Зато летом – впрочем, до лета надо было ещё дожить.

Защёлкину повезло – его определили в самый престижный барак – петушиный. Контингент здесь был сплошь идейный, из закоренелых ненавистников власти нетрудящихся, нерабочих и некрестьян. Однополой любовью петухи, правда, не страдали, зато традиции угнетённых и опущенных блюли свято.

В бараке новоприбывшему, как положено, устроили "прописку".

– Кем на зоне жить думаете, голубчик? – задал первый традиционный вопрос смотрящий по бараку, потомственный интеллигент в третьем поколении по кличке Фанька Каплан.

– Да я бы хотел, – робко ответил Гоша, – если, конечно, возможно – петухом.

– Такую честь заслужить надо, – увесисто бухнул особо опасный рецидивист Валентина Терешкова. – А пока посмотрим, чем вы дышите. Антинародную литературу распространяли?

– Распространял, – радостно подтвердил Гоша. – Роман "Преступление и наказание" распространял, –

понизив голос, принялся перечислять он. – Агитационный листок "Смерть убивцам и душегубцам" развешивал. А также, – Защёлкин сделал многозначительную паузу, – изучал манифест "Вор в законе".

– Ого! Это про главного медвежатника, – уважительно сказал Терешкова. – Похоже, наш человек. Преступления против власти совершали?

– Совершал, – не стал отрицать Гоша. – Много совершал. На овощебазе отказался воровать фрукты. Был за это показательно избит во избежание. На заводе ежедневно выполнял норму, а то и перевыполнял. Был трижды наказан лишением зряплаты и четырежды – профилактическим мордобитием. Затем на митинге...

– Достаточно, – прервал особо опасный. – Сдаётся мне, сгодится нам этот петушок. Я думаю, Фаина Хаимовна, – обратился он к смотрящему, – стоит представить его Троцкому.

Гоша затаил дыхание. Познакомиться с легендарным демократ-оппозиционером, мировым авторитетом по кличке Троцкий, это вам не с каким-нибудь левым буржуа или правым уклонистом поручкаться. Имя Троцкого каждый день неоднократно звучало по всем вражеским голосам, включая радиостанции "Вольная Беларусь" и "Свободная Чукотка". И не мудрено – не каждый авторитет может похвалиться пожизненным сроком за политическую проституцию.

Троцким оказался неказистенький, сутуловатый старичок со старомодной эспаньолкой и в не менее старомодном пенсне. Жил он в отдельном флигельке, пристроенном к зэковской столовой. Дверь во флигелёк украшала размашистая надпись "Хорошо сидим".

– Ко мне можете обращаться запросто, – благожелательно предложил Гоше Троцкий. – Называйте просто – Лев Давидович. Присаживайтесь, молодой человек, располагайтесь. Чайку, пожалуй, сейчас прикажу. Эй, служивый! – крикнул он, и в дверях вырос обильно татуированный вертухай. – Чифирьку нам завари-ка покрепче, дружок.

Освоив кружку чифиря, авторитет довольно отрыгнул и приступил к беседе.

– За что сидите, коллега? – осведомился он.

– Шпионаж шили, Лев Давидович, – пожаловался Защёлкин. – Потом заговор с целью устранения. Ну, и так, по мелочам – сопротивление властям, инакомыслие, отсутствие тяги к совершению преступлений.

– Вот как? И давно эта тяга у вас отсутствует?

– С рождения, Лев Давидович. В детстве по каким только врачам меня не таскали. Не могу воровать, и всё тут, хоть ты тресни. И мошенничать не могу, не говоря уже о разбое или там грабеже. Доктора так в один голос и сказали – редкий случай, врождённая патология.

– Понятно. На самом деле, не такой уж редкий. А скажите, Георгий Ильич, нравится ли вам сидеть?

– Да кому же это понравится...

– Не скажите, не скажите, голубчик. Мне, к примеру, сидеть вполне по нраву. Вот вы как считаете, почему мы сидим?

– Как почему? – растерялся Защёлкин. – Мы же несчастные люди. Жертвы системы. Преступники, можно сказать – отщепенцы. Законы нарушаем. Не воруем, не кидаем, не рэкетируем.

– Это всё так, – отмахнулся Троцкий. – Только ведь мы никому не мешаем. Зачем же нас сажать?

– Не знаю, Лев Давидович. Правда, мне говорили, что мы нужны при всякой власти. Иванман говорил, Иван Абрамович. Но зачем нужны – не сказал.

– Знаю Иванмана, толковый сиделец, – кивнул авторитет. – Не сказал, значит? Ну, так я вам скажу. Мы нужны, чтобы было на кого валить все грехи. Мы, если угодно – козлы, молодой человек. Козлы отпущения. В стране, где постоянно идёт революция, козлы отпущения необходимы. Хотя бы для того, чтобы списать на них революционные твердолобость, глупость и жадность. Только вот какое дело, Георгий Ильич, это не мы сидим.

– Как не мы? – опешил Защёлкин.

– А так. Мы с вами находимся на свободе. А в тюряге – все остальные. Их обворовывают, динамят, иногда грабят. Им систематически врут, их оболванивают, облапошивают, обжуливают, объегоривают, объё... Просто удивительно, сколько в русском языке синонимов к глаголу "обманывать". А от нас сидельцев ограждают колючей проволокой, чтобы случайно на свободу не вырвались. Они там, за проволокой, жрут, пьют, совокупляются, собираются в кодланы и шоблы, дерутся друг с другом, бодаются... В точности как стадо. Да-да, козлов, только не отпущения, а обыкновенных. Caprinae vulgaris, это по латыни. История России, голубчик – это история козлов, так-то вот. По крайней мере, за последние пару веков.

– В-вы хотите сказать... – запинаясь, пробормотал ошалевший Гоша.

– Именно то, что сказал. Теперь идите, свободный человек Георгий Защёлкин. Поразмыслите над моими словами. Как я вас перевербовал – за пять минут и без всяких фокусов, а?

Защёлкин вышел из флигеля наружу. Недавно прошёл дождь и рота конвойных. Над зоной висел туман и плакат с надписью "На свободу – с нечистой совестью!". Подмигивающая жуликоватая рожа под надписью показалась Гоше не столь отвратительной, как обычно.

ТАТЬЯНА КАЛАШНИКОВА

ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Часто ли вы встречали добрых людей?

Вопрос из тех, которые можно назвать привычными, тех, которые каждый человек хотя бы один раз в жизни задает кому-нибудь в задушевной мирной беседе или, совсем наоборот, в пылу разгоревшегося спора, или, на худой конец, за неимением собеседника, спрашивает себя самого: «А часто ли ты, дружище, встречал истинно добрых людей? Что это, собственно, за материя такая – добрые люди? Да, и есть ли они вообще на белом свете?»

Мне приходилось когда-то водить дружбу с одной благородной четой, которую я довольно скоро после нашего знакомства определил в «добрые люди». Так случилось, что судьба забросила нас в один небольшой городок в Швейцарии, – они приехали туда на три года по рабочему контракту из России, я – по той же причине из Америки. Я люблю наблюдать людей, а в тот вечер коротал время в одном частном ресторанчике, куда, то ли по причине хорошей кухни, то ли еще почему, частенько захаживали русские. Тогда, после пятнадцати лет бесконечных скитаний по загра-

цам, мне нравилось подслушивать их невинные разговоры об адаптациях, преимуществах и недостатках местной жизни, такие знакомые и столько раз уже говоренные мною.

Когда хозяин, тучный краснощекий детина, пышущий жаром так, словно только что выбрался из духовки, заискивающе улыбаясь, проводил пару лет тридцати к свободному столику, второй мыслью, промелькнувшей у меня в голове (первая: «Вероятно, они – русские»), была мысль о том, что они очень разные и что такая пара, наверное, может послужить великолепным примером генетического дополнения друг друга в смысле продолжения рода человеческого. Женщина сразу приковывала к себе внимание стройной спортивной фигурой и огромными глазами неопределенного цвета. Её заряд оптимизма и живой энергетики, казалось, просто распространяется теплой волной диаметром метров на десять. В то время как от ее спутника, невысокого коренастого мужчины со спокойным, как маска, лицом, напротив, исходила отталкивающая холодная сдержанность, как будто, существующая исключительно с целью компенсации соседствующего поля жены. Короткие отрывки фраз, доносившиеся от их столика, подтвердили мое предположение о национальной принадлежности заинтересовавшей меня пары, и я, недолго раздумывая, решил заговорить с ними:

– Здравствуйте! Своих узнаю без единого произнесенного слова. Простите, что нарушил ваше уединение... Меня зовут Виктор.

– Нет, что вы. Мы рады встрече с соотечественником... Полина, – женщина непринужденно протянула руку.

Через двадцать минут я уже знал о них ровно столько, сколько можно было вместить в непрерывный словесный поток на двадцать минут: они приехали только вчера вечером, совсем рядом, на расстоянии одного квартала снимают квартиру, сами из Томска, женаты девять лет, успели обзавестись двумя детьми (мальчик и девочка) девяти и трех лет, которых забирают сюда примерно через месяц, то есть, как только обоснуются и прикупят кое-что из мебели, а еще Полина не преминула кокетливо заметить, что имя у нее немодное, но зато редко теперь встречающееся, а потом представила мужа (право представлять своего спутника она, видимо, по уже устоявшимся традициям в их семье, взяла на себя): «Леня» Полина произносила тоном строгой матери. Мне было приятно слушать хлопотливое щебетание Полины, теперь уже перешедшей к ее родословной. Я почему-то ощущал себя так, как в детстве, – будто бы с тобой рядом взрослая, сильная, все знающая мама, которая всегда защитит и все за тебя сделает и решит.

Мы стали близкими друзьями. Почти все выходные мы проводили вместе. За видимыми сдержанностью и угрюмостью Леонида я очень скоро обнаружил редко встречающиеся теперь в таком объеме честность и порядочность. Спустя примерно полгода (для меня это не было вновь) Полина стала все чаще говорить о родине, а ее неиссякаемое жизнелюбие все больше разбавлялось горечью ностальгических слез. Леонид тоже немного хандрил. Но его, скорее, огорчали настроения жены, нежели собственные переживания. Я успокаивал: все приходит и уходит, пройдет и этот этап. Действительно, адаптация моих друзей прошла, можно сказать, почти безболезненно и вложилась в несколько месяцев осени и зимы. С наступлением весны мои друзья приободрились, мы стали все чаще делать вылазки на природу. Иногда мне удавалось вытащить на рыбалку Леонида, не испытывающего никакого интереса к этому занятию и вовсе не обладающего соответствующими навыками.

В тот день моросил дождик, мы сидели, сгорбившись над удочками, укутанные в брезентовые плащи. Леонид не любил откровенничать, но тогда, отложив аккуратно удочку в сторону, присев на корточки поближе ко мне, заговорил:

– Ты знаешь, Виктор, вероятно, очень скоро в нашей жизни произойдут серьезные перемены. Поля хочет усыновить одного мальчика. Это сын ее школьной подруги, он родился почти в один день с нашим. Поля почему-то всегда его жалела, все говорила: «Он такой худенький, а Верка – халатная мать, ленивая, не кормит его, не следит». Вечно какие-то подарки ему покупала. И с Антоном нашим они всегда хорошо играли. Такое чувство, что это какое-то роковое продолжение событий... – Леонид тяжело вздохнул, привстал, потоптался немного на месте, давая отекшим ногам перерыв, присел и снова продолжал, – теперь отец их бросил. Верка, мать, загуляла. А ребенок, Пашка, говорит: «Лучше бы я умер». В общем, Поля плачет по ночам – и дите жалко, и себя жалко. Но я думаю, что она уже созрела брать.

– А как ты? Ведь это ж не только ее решение.

– Я? Не хочу, конечно. Но... пацана, и в правду, жалко, и Полину не поддержать... Ей и так тяжело. Не знаю...

Через три месяца их семья увеличилась на одного человека. Теперь мы реже проводили время вместе. Полина все время оправдывалась: «Ты же знаешь – дети, Леня пашет, как вол, устает. Обещают контракт продлить...» Я все понимал и не обижался. Пашка, приемыш, первое время доставлял им хлопот: то по карманам лазил, то врал, то малышку их обижал. Но настойчивость Полины и уравновешенность Леонида через некоторое время стали давать свои всходы. Пашка пообтерся и стал все больше походить манерами на их Антона. Все, как будто, наладилось и потекло своим чередом. Полина успокоилась, перестала дергаться, похорошела. Помню, она тогда немного подрабатывала в каком-то местном рекламном агентстве моделью: то компьютеры рекламировала, то украшения.

– Конечно, с такой внешностью и сидеть в четырех стенах! – хвастала она, разливая чай.

– Да уж, тебе дома-то никак, – подтрунивал я.

Полина, кривляясь, нарочито широко оскалилась. Невольно опускаясь взглядом от крупных ровных зубов Полины к ее шее, плечам, груди, я, опомнившись, искоса посмотрел в сторону Леонида: «Нет, он не заметил. Зачем? Между нами все равно ничего нет, а он может зря расстроиться». Хотя, конечно, мысли у меня в голове гуляли всякие. Стоило Полине хоть как-то дать мне почувствовать ее заинтересованность, и я уж точно не упустил бы своего шанса. Кто знает, что произошло бы тогда через месяц-другой. Но в то время мне не суждено было стать ее любовником, как не суждено это было и никому другому. Громом среди ясного неба прозвучал неожиданный телефонный звонок от ее врача с приглашением сделать повторное УЗИ. У Полины обнаружили какое-то воспаление поженски (они не рассказывали, а мне было неудобно

расспрашивать). Потом ее прооперировали. Леонид разрывался между госпиталем, детьми, работой и, кажется, именно тогда приобрел свои первые седые волосы на висках. Слава Богу, в конце концов, все обошлось. Полина совсем поправилась, стала снова подумывать о работе, а я, чего греха таить, все так же поглядывал на нее.

Контракт Леониду продлили еще на три года, и они все чаще упоминали о предстоящем приезде Андрея, старшего брата Леонида. Бог знает, какими правдами и неправдами, но Андрей все-таки приехал в Швейцарию. Утверждал, что ненадолго, только полюбопытствовать: что оно такое – заграница. Он и не задержался у родных. Нашел себе женщину немолодую, но обеспеченную и, женившись, переехал к ней. Потом я слышал от Полины, что он уехал на родину, хочет переговорить с первой женой насчет того, чтобы забрать в Швейцарию их дочь. И вот тут-то произошло событие из ряда несчастий, переходящих в долгосрочные проблемы. Жена Андрея попала в автомобильную аварию. Сначала врачи обнадеживали, но вскоре стало очевидным, что ходить она уже не сможет и что ей нужен постоянный уход. Андрей, сославшись на временные проблемы с выездом, умолял брата со слезами в голосе забрать его больную жену пока на пару месяцев к себе.

– В конце концов, пару месяцев – не год. Я смогу присмотреть за ней, – исполненная искреннего благородного порыва и сострадания к несчастью бедной женщины, говорила Полина.

На том и порешили. Временно их семья увеличилась еще на одного человека. Через месяц выяснилось, что «новый член семьи» даже не догадывается о том, что не мешало бы вносить и свою, хотя бы символическую, лепту в семейный бюджет, и, вообще, обладателем прекрасных человеческих качеств не является. Всю заботу, истраченные время и деньги по уходу за ней жена Андрея принимала, как должное. Первое время Полина все хлопотала, стараясь угодить несчастной, приготовить что-то вкусненькое для нее... Но каждый раз, когда Полина спрашивала за столом: «Ну, как? Вам нравится? Это – мой собственный рецепт!», в ответ следовало всегда одно и то же: «А я все ем». Полина огорчалась: «Слова доброго от нее не дождешься. Хоть бы раз спасибо сказала. За все время два раза детям конфет купила. Я понимаю, – у нее горе и все такое... Но, ведь нам-то она – чужой человек с улицы. Да, правильно у Тургенева – благодетель и благодарность не знают друг друга... Потом Поля жаловалась, что связана по рукам и ногам, страдает бессонницей, чувствует себя, как на пороховой бочке, потому что жена Андрея, как оказалось, уже перенесла раньше инфаркт и болеет последние десять лет сахарным диабетом. Каждое утро Полина думала только о том, чтобы «старуха» проснулась живой. «Вить, ты представляешь, она вчера забыла, что уже приняла таблетки от сахара и приняла их второй раз подряд. Ночью скорую вызывали». Леонид стал очень раздражителен, подсознательно вымещая свою досаду на жене и детях, стал прикладываться к рюмке.

– Ничего, ничего, уже совсем немного осталось. Неделя-другая и Андрей будет здесь. А там пускай уж сами решают, как им быть.

Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Андрей все не ехал, объясняя это всевозможными причинами и по-прежнему со слезами умолял потерпеть еще немного. Они терпели. Однажды я вырвал Полину вечером пройтись по набережной.

– Да, ладно, Поль. Бесконечно это не будет продолжаться, не может...

– Виктор! – эмоции просто хлынули из ее груди стоном, а из глаз – струями слез, – я не могу больше! За что мне все это?! Всю жизнь я живу ожиданием светлого завтрашнего дня. Сначала я ждала, когда нам станет полегче с деньгами. Ты же знаешь, родители Леонида нас выставили, а с моими он не хотел жить. Скитались по квартирам. Дети... Потом стало легчать, Швейцария. Тут, опять же, Пашка. Только с ним немного наладилось, моя операция... А теперь это! Господи! Мне кажется никогда не будет этому кошмару конца! Врачи говорят, что анемия у меня второй степени. Подохну рано или поздно и все.

– Не надо, Поля, не надо так мрачно. Пройдет эта черная полоса. Поверь мне. Думай о чем-то хорошем. Например, что дети, слава Богу, здоровы. Ты не имеешь права раскисать. Тебе детей подымать нужно. И потом, спроси себя сама: ну разве могли вы по-другому поступить? Хорошо это или плохо, но вы с Леонидом – такие люди, за то и расплачиваетесь. Да и сама ты – сильная красивая женщина...

Чувства жалости и желания смешивались во мне, оправдывая друг друга. Когда я притянул Полину к себе, немного вялую и не сопротивлявшуюся, я уже не мог оценивать свои поступки, выставляя им плюсы и минусы морали...

Мы были счастливы, счастливы настолько, насколько это было возможно в той ситуации. Полина почти каждый вечер ненадолго увиливала из дома, объясняя это тем, что ей необходима разрядка после целого дня в мрачной напряженной обстановке, создавшейся в их доме постоянным присутствием чужого да еще и больного человека. Леонид не возражал и даже не раз отмечал, что жена ожила и посвежела. Я стал своеобразной отдушиной для Полины. И она часто повторяла: «Может быть, это и есть конец проклятой черной полосы в моей жизни?»

По стечению обстоятельств, затянувшаяся темная полоса в жизни моих друзей плавно перешла в светлую гамму накануне моего возвращения в Америку. Примерно за неделю до окончания моего контракта наконец-то приехал Андрей. Леонид решительно отказался слушать что-либо, касающееся внутренних семейных проблем Андрея и его больной жены, твердо сказав: «Прости, Андрей! Я полагаю, что мы свою миссию выполнили. Теперь решай все сам. А меня уволь».

Горечь нашего расставания в душе Полины была немного компенсирована радостью избавления от несносной ответственности за жену Андрея. Полина пыталась себя подбадривать:

– Что ж, всему свое время. Теперь пришло время нам расстаться... Зато я буду снова чиста перед мужем. Не обижайся, Вить. Ты же знаешь, как дороги мне наши с тобой отношения. Пиши обязательно, не пропадай.

«Милая, милая Поля... Прощай. Держись, Леонид. Ты – хороший мужик», – я поднимался по трапу самолета и мысленно снова и снова повторял: «Милая, милая моя. Прощай».

Я вернулся в удушливый Нью-Йорк и тосковал, как ребенок, лишенный матери. Тогда, когда Полина была рядом и так доступна, я не утруждал себя анализом

наших взаимоотношений. Мне было хорошо и спокойно. И этого казалось достаточно. Но теперь я задыхался без нее, хандрил бесконечно, а глупые попытки отвлечься на других женщин были безнадежны. В какой-то момент, слегка опьянев, уже заговорив со своей спутницей о возможном приятном времяпровождении и почти получив ее недвусмысленное согласие, я вдруг начинал чувствовать раздражение, и женщина, еще минуту назад казавшаяся мне столь привлекательной, начинала вызывать откровенную реакцию отторжения. Не нравилось все, начиная от сладкого запаха ее духов и заканчивая толстым слоем помады на ее сочных губах.

«Поля, Полина! Где ты теперь? Помнишь ли обо мне?...». Я написал ей письмо почти в никуда. Тот адрес, что Полина мне дала, был адресом ее сестры, которая могла и переехать, и просто не передать письмо Полине. Через полгода я получил ответ, на который уже почти не надеялся. Полина писала, что они уже дома, что отец ее при смерти, что болеет уже несколько месяцев и, что им всем сейчас непросто. А я подумал: «Что же ты, голубушка, опять в темной полосе?» Наша переписка продолжалась, но была степенной. Поля писала редкие длинные письма, стараясь рассказать в них все, что с ней происходит и произошло за последнее время. Потом мы перешли на электронную почту, и письма ее стали более сдержанными. Вы знаете этот любопытный эффект: когда вы пишете от руки – вы говорите, а когда переходите к машинописи – беседа кажется искусственной. Но человек ко всему привыкает. Привыкли и мы. Переписка наша не стала активнее, хотя теперь вопрос времени почтовой пересылки был и устранен. И все же, время от времени и она, и я чувствовали необходимость написать друг другу. Поля не писала, естественно, о своих личных делах, но мне казалось, что иногда ее так и подмывает прихвастнуть своей очередной связью. А может быть я и ошибался.

Последнее письмо, полученное мной от Полины, было слишком горьким, чтобы им наслаждаться. Она писала: «Виктор, дорогой! Что же происходит?! Моим мукам нет конца. Ты же помнишь Пашку. Милое дитя. Мы ведь его полностью перекроили, сделали своим. Он ведь не врал, не воровал больше... А теперь! Я не знаю, что делать. Паша связался с какими-то подонками (не представляю, где он их нашел), стал воровать деньги и даже вещи из дому уносит. Приходит домой ночевать иногда, а на другой день после работы обнаруживаем новые пропажи. Я уже и с милицией говорила, и вылавливала его пару раз в разных местах, но толку все нет. Леня подерется с ним, а потом запьет на неделю. А я не могу складывать лапки, не имею права! Кто же Пашеньку спасет?! Он ведь в душе хороший, добрый. Только вот нет у него внутреннего стержня, что ли...»

Да, это было последнее письмо Полины. Я ей отписал тогда что-то вроде сострадания, пытался поддержать, как мог, потом несколько раз отправлял ей короткие записки, но ответа больше так и не получил.

Спустя пять лет (узок мир), я встретил Леонида на одной из железнодорожных станций Москвы. Приехал на родину по просьбе тетки, которая писала, что мать сильно сдала и хочет повидаться. Я сразу его узнал и с радостью бросился было обниматься. Он был сдержан, стал как-то нелепо расшаркиваться. Сказал, что спешит, что билет... И добавил, как будто, между прочим: «Поля умерла год назад от лейкемии. А я? – его правый глаз слегка дернулся. – Кому я нужен, кроме нее?»

ИРИНА НИСИНА

УЛАНОВЫ

Слесарь шестого разряда Уланов Илья Вакулович сидел на супружеской кровати и считал деньги. Вроде бы набиралось. Пачка была внушительная, из одних сиреневых двадцатипяток, и сумма была очень даже круглая. Три бумажки лежали отдельно – перебор. На них предстояло купить коляску и отпраздновать появление наследника. Илья Вакулович вздохнул и начал считать снова. Круглая сумма была взяткой.

Илья Вакулович Уланов родился в сорок третьем году в семье медсестры Кати Меняевой и младшего лейтенанта Вакулы Уланова. Собственно семьи как таковой, они создать не успели, но в наличии был приказ по батальону за номером 317, гласивший, что младшего лейтенанта Уланова В.С. и младшего сержанта Меняеву Е.К. следует считать мужем и женой. Другим приказом Меняеву Е.К. увольняли в запас в связи с семимесячной беременностью. Пятью днями позже Катя Меняева в гимнастерке без ремня и со скаткой через плечо, волоча за собой доверху набитый неподъемный вещмешок, тяжело спрыгнула с подножки вагона на станции Коблино.

В Коблино проживала Марина Васильевна Уланова, бабушка Вакулы, Коленьки, как называла она будущего папашу. Через три недели после приезда, бабушка Марина отвела Катю в местную больничку рожать. А еще через неделю Катю, умершую от сепсиса, хоронили на старом кладбище над речкой и такие же древние, как бабка Уланова, старухи тянули «ве-ечная паамять...».

Через месяц прабабушке разрешили забрать мальчика из больницы.

«Гляди-кось, живой малец, – говорила нянька, помогая заворачивать ребенка в аккуратно подрубленную половинку старой простыни с вышитым вензелем, – а доктор говорил, что не вытянет. За здравие-то свечку ставила?»

«Ставила! – отозвалась старуха Уланова, – и за здравие младенчика, и за упокой рабы божьей Катерины. Весь приход молился, батюшка каждый вечер просил за младенчика. Братьев у меня двое было, и у мужа покойного трое. И все сгинули. А Коленька вот сына родил – знак божий».

Младенчика крестили Ильей и стал он расти в старом деревянном доме со скрипучим полом, принадлежавшем когда-то Глаше, няньке его прабабушки Марины. Нянька приютила Марину и шестилетнего Коленьку весной двадцать восьмого года. Дочка Марины, Лидия и зять, красный комиссар Степан Вакулович Чобот, были арестованы и среди ночи отправлены в Бутырки. На этот случай Степан давно имел с тещей договоренность, чтоб наутро их с Вакулой «в дому духу не было». Вот наутро после ночного обыска бабка и комиссарский сын и исчезли.

Старая тетка Анюта носила в Бутырку передачи. Ей же, как единственной родственнице, выдали справку, что Чобот Лидия Ильинична умерла от сердечной недостаточности во время следствия, а Чобот Степан

Вакулович осужден за контрреволюционную деятельность на десять лет без права переписки.

В школу Коленька пошел в Коблино. Бабушка принесла Свидетельство о Крещении Вакулы Уланова, выданное коблинским батюшкой, которое и приняли вместо метрики. Вакула Уланов стал учеником, потом октябренком, а потом и пионером. Вместе с бабушкой Мариной похоронили они няню Глашу, оставившую им домик с садом.

Весной сорок первого Коленька закончил десятилетку и собирался в университет. Но жизнь распорядилась по-своему – началась война.

Коленьке принесли повестку.

В последнюю ночь проговорили они до рассвета. Бабушка Марина рассказывала о своей жизни в доме отца-адмирала, о коротком счастье с мичманом Улановым, о дядьях коленькиных, геройски погибших в японскую кампанию. Узнал Коленька, что назван в честь типографского наборщика Вакулы Чобота, убитого на баррикадах Замоскворечья во время восстания пятого года. Услышал он историю «беспутной Лидки», которая влюбилась в своего Степана и убежала из дому невенчанная, а вернулась в конце концов холодной зимой, одетая как нищенка, и с дитем на руках. А Степан-то не забыл ее, через два года нашел в Москве по старому адресу.

«И не таким уж плохим он, Степан, оказался, – рассказывала бабушка Марина, – К Лидке добрый был, тебя, малыша, любил, нас вот с тобой уберег. А только... заразой этой ульяновской был да мозга костей пропитан! Простой, хороший человек, а забрал себе в голову этих утопических идей. Все говорил, что дворянство надо ликвидировать как класс. Сколько народу эти комиссары положили! А сколько еще погибнет, пока Россия от них освободится...»

«Коленька, сыночек, – молила она, прощаясь, – ты только себя сбереги. Ты последний из Улановых, на тебя вся надежда. Погибнешь – и весь род наш с тобой. Только и остались ты да я, да тетка Анюта в Москве. Сохрани себя!»

Сохранить себя Вакуле Уланову не довелось. Он подорвался на мине на подступах к Кенигсбергу. Последняя его фотография пришла с посылкой за день перед похоронкой. В посылке той был кусковой сахар, две пары новых фланелевых портянок, теплый свитер из американской помощи, тушенки четыре банки и большая коробка яичного порошка.

«Бабушка, родная, – писал Коленька, – береги кровиночку нашу. Живи хоть через силу, а дождись меня».

Из присланных продуктов сделали Коленьке поминки. Батюшка сослужил «по убиенному воину» и остались младенчик Илька с бабушкой Мариной, малые осколки когда-то большого рода Улановых. Свитер американский бабушка распустила на нитки и вязала маленькие свитерочки, рукавички да шапочки с шарфиками из американских ниток чуть не десять лет. Через силу и с помощью таких же древних старух, подружек своих, протянула бабушка Марина до Илькиного десятилетия. Она и буквы Ильке показала, и писать выучила – все учителя восхищались красивым почерком. И жить завещала достойно.

После смерти бабушки взять мальчика было некому – родных никого, а подруги сами на ладан дышат.

Пришлось Илье Вакуловичу Уланову привыкать к другой жизни. Повезло ему, что интернат был в самом Коблино, так что не растерял он друзей, в школу ходил ту же самую, и бабкины подружки, пока живы были, навещали. Раза четыре в год забирал его погостить батюшка, и он наедался вдоволь пирожков, и ходили они вместе на кладбище навещать бабушку Марину.

Илья закончил семилетку. Нужно было решать между заводским училищем и техникумом. Он пробовал поступать в техникум, экзамены сдал хорошо, но... В комсомол он не вступал. А вот в церковь ходил на все праздники. Его бабушка Марина приучила жить с Богом в душе – так он и жил. В общем, с техникумом не получилось и пришлось идти в фабрично-заводское. Закончил училище, работал, опять поселился в бабушкином доме. В свободное время как следует подновил старый дом.

В положенный срок призвали Уланова Илью Вакуловича в армию. На втором году службы проявил себя во время маневров – рекомендовали в техническое училище, но опять не получилось из-за отказа вступить в комсомол. Так вот и остался Илья Вакулович Уланов, последний потомок славного офицерского рода, без образования.

После армии перебрался Илья в Москву, устроился на работу по лимиту. Жизнь в общежитии далась ему тяжелее, чем в детдоме. Спасали книги. Читал Илья много, можно сказать настоящее образование получил в читалке. Лет через семь дали ему комнату в коммуналке, и стал думать он о дальнейшем устройстве жизни. Время пришло создавать семью и рожать детей.

Главным авторитетом в женском вопросе стала для Ильи Елена Захаровна, соседка по коммуналке. Она и составила список невест и в гости к себе звала их по очереди, чтобы с соседом познакомить будто бы ненароком. Сидели на кухне, пили чай, Захаровна вела беседу, расспрашивала о здоровье, работе, жилплощади, а Уланов приглядывался к потенциальной невесте. Он уж было совсем решился пригласить на гуляние в парк Наташку Игнатьеву, завсекцией из продмага.

Илья зашел после работы в продмаг и полчаса разговаривал с ней, стоя у служебного входа, пытаясь, между прочим, вставить про парк. Наташа многозначительно вздыхала и хлопала накладными ресницами.

«А что Вы, Наташа, сейчас читаете?» – наивно спросил Илья, пытаясь поддержать разговор.

«Я, чай, уже лет восемь как в школу ходить перестала! – расхохоталась Наташка. – Чего же мне читать-то!»

«Не судьба» – вздохнул Уланов, но особого сожаления не почувствовал.

В выходные к Захаровне приехала из деревни племянница Анечка, Анна Ивановна. Анечка уже три года как вернулась в родные места учительницей и навещала тетю каждые школьные каникулы. В поселок возвращалась груженная новыми книгами и, конечно, колбасой, которую в их краях видели только по революционным праздникам.

Илья Вакулович повстречался с Анечкой на общей кухне и вопрос о его браке был решен. Его не остановила ни разница в возрасте, ни прозрачная ее ангельская красота, хоть до знакомства с Анечкой боялся и избегал он красивых женщин. Анечка пленила его враз и наповал. У нее был цвет лица мейсоновской фарфоровой чашки – единственной вещи, оставшейся у бабушки Марины от прежней жизни. Чашку эту она

когда-то подарила своей няне Глаше, и сколько Илья себя помнил, стояла эта мейсоновская чашка на полочке под лампадкой и светилась волшебным светом в темноте. Ребенком, засыпая, Илья всегда смотрел на эту чашку, представляя, что когда-нибудь приедет его мама и будет пить из нее чай.

Уже через полчаса Уланов по крупному советовался с Захаровной. Та отнеслась к идее благосклонно, но принуждать Анечку не хотела.

«Ты, Илья, для нее староват. Анька сирота, кроме меня родни никого. Не сживется с тобой – мне греха не отмолить», – говорила Захаровна.

Уланов решил идти напролом и в тот же вечер подкараулил Анечку у дверей в ванную. Выслушала она его предложение, стоя с полотенцем на голове, в темном коридоре.

«Илья Вакулович, а пойдемте на кухню, – предложила она, – чаю попьем. У нас бублики есть».

Так на кухне за чаем с бубликами решилась их судьба.

«Вы человек положительный, надежный, тетя говорит – непьющий. И добрый, по всему видать, и хозяйственный – ванную в порядок привели, починили, покрасили. Я бы пошла за Вас, – говорила Анечка, – но я хочу, чтобы Вы знали, что я Вас не люблю. Я долго к людям привыкаю. Я буду стараться Вас полюбить, но обещать ничего не могу».

«Анечка, – вздыхал Илья Вакулович, – да я понимаю, я тоже буду стараться. Давайте поженимся, я пылинке не дам упасть! Я...»

Поженились они через месяц. С жильем вообще хорошо устроилось: Захаровна решила перебраться в деревню, в пустующий родовой дом, и две ее комнаты и огромная коммунальная кухня достались молодой семье. Неожиданно Илья Вакулович оказался хозяином большой трехкомнатной квартиры в центре и молодой красавицы-жены. С Анечкой он был очень нежен, терпелив. Почти две недели их отношения ограничивались редкими поцелуями, пока Анечка как-то вечером его пожалела и за руку привела в супружескую спальню.

На другой день Илья Вакулович после работы зашел в угловой универмаг и долго толкался у разных прилавков. Ему хотелось подарить Анечке что-нибудь особенное. В универмаге стояла огромная очередь за швейными машинками.

«Уланов, купи жене «Зингера!» – позвала его Карима, ЖЭКовская паспортистка, – полезнее вещи не бывает!»

Илья быстренько просчитал длину очереди, поднялся на второй этаж справиться о количестве машинок. Понял – не хватит. Обошел универмаг и у задних дверей дал на пол-литра грузчикам. Через десять минут он стал обладателем «Зингера».

«А еще один Зингер не получится? – спросил он. – Десять сверху дам!» Вторую машинку получила Карима Тобеева, которой Уланов отводил очень важную роль в дальнейшем своем жизнеустройстве.

Уланов притащил «Зингер» Анечке и был вознагражден поцелуем и искренним восторгом, какой он догадливый и добычливый. Он в субботу еще и торт приволок. С кремом и цукатами. И кормил Анечку вечером с ложечки сладкими кремовыми цветами. А Анечка смотрела на него своими прозрачными глазами, и ему казалось, что она его почти любит.

Через полгода Анечка забеременела. У нее был тяжелейший токсикоз, она потеряла больше десяти килограмм, исхудала, стала совсем маленькой – под одеялом не видно. Илья Вакулович поражался ее умению переносить все мучения с улыбкой. Он по совету Захаровны приносил ей в постель чай с сухариками. Часто этот утренний чай и был Аничкиной единственной пищей. Участковая врачиха только отшучивалась: «Не паникуйте, Уланов, у всех беременных токсикоз. Почему вашему потомству должно быть особое внимание?»

В женской консультации от него вообще отмахивались: «Идите, Уланов, не мешайте. Токсикоз пройдет. У всех проходит и у вашей пройдет».

«Не ест? Потом за двоих есть будет! Спросите у нее, чего бы ей хотелось. На рынок сходите. Мы здесь не волшебники!»

Илья Вакулович бежал из консультации на рынок. Консультировался с тетками в клеенчатых фартуках, продававшими соленья. Покупал искрящиеся на морозе моченые яблоки, кислую капусту, от запаха которой ему до смерти хотелось выпить, маринованные огурцы, соленую черемшу, сушеную рыбу, чернослив, мед. Аничкина беременность перевалила на третий месяц, когда Уланов однажды утром проснулся и не обнаружил жены в спальне. Он как был в трусах, поспешил на кухню. Анечка сидела на подоконнике и поедала бутерброд с колбасой, закусывая моченым яблоком. На столе стояла тарелка из-под молочного киселя, которым Илья Вакулович пытался накормить Анечку вчера вечером.

«Я разбудила тебя? – спросила Анечка. – Прости, пожалуйста, но мне так захотелось есть».

«Я уже третий бутерброд ем и все голодная», – оправдывалась она.

Оставшиеся месяцы Анечка проходила легко, бегала, словно летала по воздуху. Лицо ее опять округлилось, вернулся цвет кремового фарфора, она стала более чем всегда похожа на ангела, и восхищению Ильи Вакуловича не было предела. Соседки поздравляли его, и все сходились во мнениях, что у Анечки обязательно будет мальчик. «Зингер» теперь стучал до позднего вечера – Анечка шила ребенку приданое. Илья надевал на пальцы маленькую рубашечку и пробовал представить каким же должен быть ребенок, чтобы в эту рубашечку поместиться. Получалось, что размером с котенка. И маленький этот человечек, которого они с Анечкой так ждали, которому уже имя придумали, был центром давно задуманного Ильей плана.

План был прост и беспроигрышен.

Прожив сорок лет в атмосфере советского угара, нормальный человек не мог остаться равнодушным к имени Ленина. Любой советский гражданин, еще сидя на горшке, заучил, что великий «Ленин жил, жив и будет жить». Всякий детсадовец мог рассказать, что Володя Ульянов учился на одни пятерки и окончил гимназию с золотой медалью. Каждый первоклашка знал, что с Володи Ульянова все должны брать пример. Каждая вторая песня воспевала Ульянова Володю, а каждая первая – великого Ленина.

Планом своим поделился Илья с паспортисткой ЖЭКа Тобеевой. Та сначала испугалась, но через пару дней с идеей освоилась и состоялся между ними доверительный разговор.

«Я, Уланов, рискую должностью, – говорила Тобеева, – а тебе в любой момент можно отработать назад, мол, ничего не знаю, ее ошибка. Я рискую. А за риск, ты понимаешь, полагается».

Торговались они недолго, сошлись на сумме, которую Карима назвала «разумной». По плану Ильи Вакуловича предстояло его наследнику превратиться из Уланова в Ульянова. И тогда...!

«Господи, подсказал бы кто, правильно ли я делаю, хорошо ли будет ему, сыночку», – мучился Илья.

«Вот приходит он в детсад Ульяновым Володечкой – обижать такого боязно. Или, скажем, в школу – ну как ты Володе Ульянову двойку поставишь? Образование получит, на хорошую должность устроится. И пойдет! Владимир Ильич Ульянов – не кто-нибудь...» – мечтал он.

Илья Вакулович подобрал равноценный обмен: квартира на севере Москвы, метро на углу, а кухня еще и побольше размером. Но главное, что их с Анечкой там никто не знает. Уехали Улановы, а приехали Ульяновы. Ошибка вышла, а исправлять не стали и все пойдет по плану.

«Уж Володю Ульянова в техникум примут! Да что в техникум, в Московский Университет! – размечтался Илья Вакулович. – Уж ему-то в этой стране все дороги открыты!»

Уж и деньги были сосчитаны, перевязаны веревочкой, газетой обернуты – ждали своего часа. И обсудили они с Тобеевой последние детали. И коляску Анечка присмотрела – голубую и красную. Покупать не велела – плохая примета. А соседи все судачили про ее живот.

«Ребенок лежит высоко, говорю вам, – девочка!» – доказывала соседка со второго этажа.

«Не слушай ее, Уланов, у Анечки живот редькой – точно мальчик будет!» – доказывала управдомша.

«Мальчик, конечно же мальчик, – кричала с балкона другая соседка, – такие мужики как Уланов девочек не родят. У меня муж таким же гренадером был – я четыре сына за семь лет родила».

Схватки у Анечки начались на рассвете. Проливной дождь барабанил по окнам. Анечка, держась за подоконник, считала минуты между схватками и глядела в серое небо.

«Видишь как свезло тебе, – приговаривала Захаровна, приехавшая три дня назад «на роды», – дождь всю землю умоет, грехи наши смоет, и ребеночек на чистое народится! Свезло тебе, Аннушка, родишь легко!»

Уланов метался между квартирой и двором – неотложка, вызванная еще полчаса назад, все не ехала. Наконец, белая машина задом сдала к подъезду, и Уланов на руках снес Анечку вниз. Погрузились – поехали. В приемном покое Илье Вакуловичу отдали Аничкино пальто, платок и ботики на меху и велели уходить. «А когда? – спросил он. – В смысле, когда же он родится?»

«К вечеру приходите, – рассмеялась акушерка. – Ну что Вам, папаша, тут маяться? Первые роды – сутки. К вечеру, может быть что-то будет известно».

Илья Вакулович свернул пальто и ботики в сетку-авоську и медленно пошел по улице. Он сам не мог объяснить, что привело его в красную церковь на Арбате. Внутри было тихо. Илья перекинул сетку в левую руку и купил у старушки две свечи. Поставил две свечи – Аничкину и свою – у Ахтырской Божьей Матери, покровительницы рода Улановых. Прочитал молитву за здравие роженицы рабы божьей Анны. Долго просил прощения за задуманный подлог.

«Не для себя иду на это, Господи, – тихонько шептал Илья, – для сына стараюсь. Не выживет он в этой стране, затопчут, как вот меня, образования не дадут!»

Он вышел из церкви: дождь все сеял на мокрую землю, небо совсем заволокло тучами. Сердце у Ильи Вакуловича громко стучало, казалось проходящие мимо люди должны слышать этот стук. Он вернулся в сырую тишину церквушки. «Помоги, Господи, научи, подай знак, прости грехи мои! – молил он. – Не для себя, для сына стараюсь».

Уланов вышел из церкви и, не обращая внимания на дождь, поспешил обратно в роддом.

Анечка родила в полдень. Нянька, что вышла в приемную, рассказывала потом, что спал папаша на стуле как младенец и, услышав что родилась девочка, поцеловал няньке руку и произнес непонятное: «Вот он, знак-то!»

Девочку крестили в Коблино Мариной Ильиничной Улановой. Крестили сразу после венчания родителей. На вопрос батюшки: «Чего ж вы, чада мои, раньше не венчались?» Анечка честно ответила, что суженого своего еще не любила, а, значит, обещаться навсегда не могла.

«Не смог я, Карима! – объяснял потом Уланов Тобеевой. – Род у нас старинный, дворянский. Надо род продолжить. Что ж детям моим до смерти Ульяновыми притворяться? Не нужны нам в роду Ульяновы!»

«И бабушка Марина мне не простила бы...» – добавил он и поспешил домой, где ждали его любимые люди – Аннушка и Маринка Улановы.

ОЛЬГА ДАШКЕВИЧ

РЕКИ ВАВИЛОНА

Ли девяносто пять лет. Она сидит в душевой кабинке на специальном стульчике и ругательски ругает свою парикмахершу: та никак не может понять, что укладка должна скрывать отсутствие волос, а не подчеркивать его. Пресловутая укладка тщательно упакована в голубую прозрачную шапочку для душа, целлофановые края топорщатся вокруг старческого лица и возмущенно трепещут.

Маня привычно гладит махровой салфеткой тощие плечи Ли, намыливает и смывает, намыливает и смывает.

– Изи! Изи! – сердится старуха.

– Поднимите левую ручку, Лея, – говорит Маня профессионально-ласково.

– Май нэйм из Ли! – синеватые губы поджаты в ниточку.

– Хорошо, Ли, – соглашается Маня и отжимает салфетку.

– Спик инглиш!

– Окей, окей...

Ли живет в этом стариковском доме уже десять лет, с тех пор, как умер ее муж. Единственная дочь давно выросла, успела состариться и не горит желанием общаться с матерью. Подруг у Ли нет. Русские старухи не нравятся Ли – они все ей завидуют. Потому что ее муж был стопроцентный американец. А их мужья – непонятно кто.

По утрам в будни Ли ждет, когда придет черная, как сапог, Глэдис. Глэдис помогает ей одеться, строго по порядку: снять ночнушку, сложить, надеть лифчик, застегнуть, надеть блузку, надеть брюки, надеть носки, и, наконец, туфли. Глэдис никогда не путает порядок одевания. Потом наступает очередь прически: Глэдис вынимает из налакированной куафюры специальные металлические зажимы, помогающие сохранить укладку. Зажимы путаются, черная женщина дергает жиденькие прядки. Это больно, но Ли терпит.

По выходным вместо Глэдис приходит Маня. Маня дура, она ничего не умеет сделать правильно. Однажды, в самом начале, Ли, с чего-то расчувствовавшись, сказала ей, что родом из Киева.

– Ой, с Киева!.. – обрадовалась Маня, и Ли сразу же пожалела, что проговорилась: нахалка тут же перешла на русский. – Я тоже с Киева. А какая у вас была фамилия? Может, мы даже как-нибудь знакомы через вторые-третьи руки?

– Не понимаю, – надменно бросила Ли. – Говори по-английски.

– Вот воз ё мазерс нэйм? – Маня покладистая – скажешь ей "спик инглиш", она переходит на инглиш. Плохой, конечно. Стыдно слушать. И ждет ответа, хлопает своими коричневыми глазами-пуговицами.

– Не помню, – отрезала Ли и отвернулась, давая понять, что больше не скажет ни слова.

Маня помогает Ли выйти из душа, усаживает на застеленное полотенцем сиденье унитаза, начинает вытирать сморщенное тело. Ли прикрывает глаза, а сама наблюдает за дурой из-под полуопущенных век. Под мышками она протерла плохо. Полотенце бросила в корзину для грязного белья, а должна была сначала высушить на трубе. Полотенце для ног жесткое, между пальцев осталась влага.

"Ступид бич", – думает Ли, а вслух говорит:

– Мои ноги остались мокрыми.

Она специально говорит это после того, как полотенце полетело в корзину. Глэдис никогда не делает таких ошибок, Глэдис стопроцентная американка. Такая же, как сама Ли.

Маня молча идет в комнату за другим полотенцем.

– Мне холодно! – кричит Ли ей вслед. – Ты что, решила заставить меня сидеть тут раздетой?

Маня возвращается с новым полотенцем и, присев на корточки, начинает вытирать ноги старухи заново.

– Ты оглохла? – Ли повышает голос. – Мне холодно! Принеси еще одно полотенце для тела.

Маня идет в комнату. Ли знает, что больше полотенец нет – кончились. Глэдис стирает по понедельникам, а сегодня уже воскресенье.

– Ты оставила лужу на полу! – кричит она вслед Мане. – Ты хочешь, чтобы у меня в ванной завелась плесень?

Маня возвращается не сразу, и старуху немедленно охватывает паника.

– Маня! – ее голос истерически дрожит. – Где ты?! Почему ты не идешь?..

"Чтоб ты сдохла", – думает Маня, а вслух отвечает по-английски:

– Я ищу швабру.

– Швабру надо класть на одно и то же место, – сварливо кричит Ли, но в ее крике явственно слышится облегчение. – Ты всегда все разбрасываешь!

Маня приходит в ванную и молча вытирает лужу. Могла бы и поговорить с пожилым человеком. Глэдис, когда работает, тоже... Ли вздыхает. Черная женщина во время работы всегда мурлычет один и тот же спиричуэлс. Он был популярен в пятидесятые, когда Ли было столько лет, сколько сейчас Мане. "На реках Вавилонских". Откуда молодая женщина знает этот мотив, непонятно. Впрочем, все черные люди помнят и любят спиричуэлсы, даже если этим песнопениям сто лет в обед. Однажды Ли попыталась капризничать:

– Глэдис, почему ты всегда поешь одно и то же?

– Oh, shut up, – невозмутимо ответила Глэдис. – Let me do my job.

Она всегда говорит Ли "шат ап". Если бы Маня сказала ей "шат ап", она бы мигом вылетела с работы. Но выгонять Маню нельзя: никто больше не хочет работать у Ли по выходным. На выходные дают девушек из русского агентства, а те, услышав про Ли, мигом отказываются. У Ли дурная слава. Ей девяносто пять лет, и у нее плохой характер. В этом стариковском доме все жильцы знают, что Ли никогда ни с кем не разговаривает и даже не здоровается. Однажды Маня спросила во время прогулки, почему Ли не здоровается с соседкой.

– Я плохо вижу, – отрезала Ли. – Я не различаю их лиц. Пойдем-ка вон туда, там в витрине новая блузка – незабудки на сером фоне. Очень элегантно. Я хочу ее купить.

У Ли есть деньги. Ей оставил муж. Дочь, конечно, думала наложить на них лапу, но Ли не позволила. Гарри хотел, чтобы его жена ни в чем не нуждалась. Он был очень заботливый.

Фотография Гарри стоит на комоде. Иногда Ли, опираясь на ходунки, подходит к комоду и долго, пока не устанут спина и ноги, смотрит на мужа. Глэдис всегда вытирает пыль с комода и нескольких рамок для фото, но никогда не спрашивает, кто изображен на снимках. Наверное, это потому, что и так ясно: муж, сама Ли в молодости, потом в среднем возрасте, в пожилые годы... Фотографий дочери там нет.

На всех фото у Ли одна и та же прическа. И почти один и тот же наряд. Ли гордится своим чувством сти-

ля. Если бы не прекрасный вкус и умение себя вести, ей не удалось бы в сорок лет выйти замуж за настоящего американца. Гарри никогда не напоминал ей, что она "русская". Гарри был очень тактичен.

«Ай эм американ», – говорит себе Ли снова и снова, и постепенно успокаивается.

Маня молча включает пылесос. Ли сидит в кресле перед выключенным телевизором и слушает, как пылесос ровно гудит в спальне.

«Лея, – когда-то говорила ей мама, – фейгеле, ты не должна быть такой гордой». Мама ничего не понимала в жизни. Она думала, что хороший характер помогает прожить много лет. И умерла в пятьдесят.

Старуха видит в темном стекле телевизора свое отражение: безупречная укладка, безупречная блузка. Вокруг безупречный порядок. Все на своих местах. Диван и кресла покрыты чехлами. Ли не разрешает Мане садиться на мягкую мебель: обивка может испортиться. Эта Маня такая неряха. И, может быть, она даже воровка. Ли вздрагивает и ищет глазами шкатулку для украшений. Шкатулка для украшений спокойно стоит на комоде. Старуха с трудом встает, тяжело опирается на ходунки и бредет к комоду. Нет, все цело. Цепочки – одна длинная, другая немного короче. Браслет, который Гарри подарил ей на серебряную свадьбу. Кольца. Мамины серьги.

«Фейгеле, – слышит Ли мамин голос. – Нельзя быть такой недоброй». Ли захлопывает шкатулку и прислушивается. Сквозь гудение пылесоса из спальни доносится пение.

– By the rivers of Babylon,

Where we sat down,

There we wept,

When we remembered Zion...

– Что ты там поешь?! – кричит Ли в ужасе.

Маня выключает пылесос и появляется на пороге.

– Я пою по-английски, – говорит она смиренно. – Вы же не любите, когда по-русски...

– Что ты пела? – Ли вся дрожит.

– Это «Бони М», – объясняет Маня с некоторым удивлением. – Была такая модная группа в восьмидесятые годы. Песня называется «Реки Вавилона». «На реках Вавилона мы сидели и плакали, вспоминая Сион».

– Отвратительная песня, – говорит Ли с чувством. – Чтобы я больше не слышала ее в моем доме!

«Чтоб ты сдохла», – думает Маня, но вслух ничего не говорит.

– Мне пора переодеваться на ночь, – объявляет старуха чуть погодя. – Ты закончила пылесосить?

– Закончила, – кротко отвечает Маня. – Давайте, я помогу вам раздеться.

Ли усаживается поудобнее. Сейчас эта дура опять наделает ошибок. Ну, вот, пожалуйста: берется за блузку! Сколько раз можно повторять: первыми нужно снять туфли. Потом носки. Потом брюки. Блузка идет уже потом, за ней лифчик.

– Ступид! – говорит Ли в сердцах. Маня молчит. Молча она надевает на Ли ночную рубаху и уходит в ванную, стирать старухин лифчик, носки и трусы.

– Маня! – кричит та через пять минут, соскучившись. – Ты помнишь, куда нужно повесить лифчик, или опять все перепутала?..

Наглая девка не отвечает. Потом скажет, что за шумом воды не слышала, как Ли ее зовет. А если бы у Ли в это время случился сердечный приступ?..

«Ай-яй-яй, фейгеле», – укоризненно улыбается мама.

Старуха сердито всхлипывает.

– Маня!!!

Та появляется из ванной, вытирая мокрые руки.

– Ты опять стирала мое белье в перчатках? – тонкие, почти невидимые брови Ли сбегаются к переносице. – Сколько раз повторять: стирка в перчатках неполноценна!

– Я уже все закончила, – невежливо перебивает Маня и добавляет по-русски: – Давайте, я уложу вас в постель и пойду.

– Спик инглиш!

Маня повторяет просьбу по-английски. Ну и произношение. Потом до Ли доходит смысл сказанного.

– Ты хочешь уйти раньше? – говорит она, не веря своим ушам. – Но ты должна быть со мной еще сорок минут!

– Я все закончила, – Маня тупо смотрит в пол, и Ли дрогнувшим голосом произносит:

– Ты не можешь уйти! Ты должна обо мне заботиться, это твоя работа.

Старушечье лицо плаксиво кривится.

– Я хочу пить.

«Чтоб ты сдохла», – думает Маня, а вслух говорит по-английски:

– Я принесу вам воды, уложу и пойду домой, хорошо?

– Нет! Включи телевизор.

За окном быстро темнеет. Старуха начинает всхлипывать. Маня включает телевизор и обреченно садится на краешек стула.

– Громче! – требует Ли, нервно дергая подол ночной рубахи. Ее жидкие волосенки стоят дыбом. – Сделай громче звук, я ничего не слышу! О чем там говорят?

Маня, сбиваясь и путая английские слова, начинает пересказывать новости. Телевизор орет, и ей приходится перекрикивать диктора. Ли удовлетворенно улыбается.

– Ты говоришь глупости. Выключи это, я сейчас оглохну. Уложи меня в постель, я устала от тебя. Уложи и можешь идти.

Эта дура суетливо нажимает кнопки, потом почти бегом направляется в спальню и возится там, разбирая постель. Старуха смотрит в темный экран телевизора и видит в отражении маленькую девочку в длинной ночной рубашке. Девочке страшно и одиноко.

– Маня, – зовет Ли дрогнувшим голосом. – Ты где?

Та молча возникает в дверях спальни.

– Моя постель готова? – осведомляется старуха сварливо.

Маня кивает:

– Да.

– Спик инглиш.

– Йес, мэм.

Наконец, она уходит. Ли остается одна. У изголовья кровати слабым светом теплится ночник. Стакан с водой на тумбочке. Свадебная фотография в рамке. На рамке осталось немного пыли: эта неряха Маня никогда не научится убирать как следует. Ли забивается под одеяло и делает попытку уснуть. В девяносто пять лет это очень трудно. Гораздо труднее, чем в сорок или даже в пятьдесят. «By the rivers of Babylon, – крутится в голове, – where we sat down, there we wept, when we remembered Zion...»

Проклятая песня не дает успокоиться бедному старому сердцу.

– Мама, – говорит Ли жалобным детским голосом. – Мама, я хочу умереть!..

Слезы катятся по морщинистым щекам, мочат подушку.

Утром Глэдис сильно дерет волосы, вынимая металлические зажимы, и мурлычет себе под нос.

– Я не люблю эту песню, – говорит Ли, стараясь не вскрикнуть от боли. Старческое лицо страдальчески морщится.

– Oh, shut up, – отвечает Глэдис равнодушно.

МАРИНА ГАРБЕР

ПОВЕСТЬ О КОФЕ

Если верить статистикам, семьдесят процентов итальянских мужчин живут в радиусе одного километра от своих матерей. Не верьте голливудским штамповкам о горячих сицилианцах, по-императорски властно правящих семьей как державой: итальянская – культура матриархата. Слово-мутант «tavolo», означающее обычный «стол», травестирует, когда стол покрывают скатертью, ставят графин с вином, нарезают бело-желтый, дырявый, как швейцарский сыр, хлеб; то есть, когда за ним собирается семья, «стол» переходит в женский – по матери-хозяйке – род, отрастив хвостик в окончательном, но не бесповоротном «о»: «tavola». Назвать итальянца «маменьким сынком» – *mammone* – не оскорбительно, напротив, если вы хотите задеть его, скажите, что он не любит собственную мать.

Так же, как русского можно вычислить из любой толпы по неулыбчивому, сосредоточенному выражению лица, итальянца выдают отглаженная, аккуратно заправленная рубашка и мягкая, добротная обувь. Это при условии, что он не состоит в рядах весьма популярной итальянской коммунистической партии; тогда для обоюдного распознавания в толпе – нечесаные черные кудри, трехдневная небритость, общая измятость, и тут же – *Rollex* на запястье, и папа – тоже потомственный коммунист, не обременяющий себя чтением «Капитала», – с любовницей и яхтой в Портофино.

Итальянцы пьют кофе так же часто, как звонят своим матерям (сорок из пятидесятивосьми миллионов – счастливые владельцы мобильных телефонов): по сто раз на день. Обманчивое слово «бар», украшающее каждую пятую вывеску вдоль выбранной наугад римской улицы, зазывает их, как надоедливый агитатор, кричащий в рупор, установленный на крыше машины, медленно плывущей по безлюдным узким улочкам в раннее воскресное утро. В баре пьют кофе: горький, с оранжеватой пенкой – *expresso*, чья головокружащая, пульсоускоряющая для новичка крепость ослабляется двумя ложечками сахара или сопроводительным стаканом простой воды. Каппуччино – исключительно утренний напиток, после ужина его подают в ресторанах, расчитанных на туристов; у туриста, случайно забредшего в жилой квартал и после ужина заказавшего каппуччино, от насмешливой ухмылки проворного *cameriere* пропадает желание его пить. Заходя в бар, итальянцы выпивают свой экспрессо стоя у стойки, лицом к бармену, без лишних слов – залпом. Как русскому не придет в голову «смаковать» водку, итальянец не станет растягивать эту многоповторяемую в течение дня процедуру кофепития, а проделает ее автоматически и не без удовлетворения – как исполняют долг.

Чувство долга и традиции преобладает во многих проявлениях итальянских пристрастий. Если мимо группы подрастающей городской шпаны проплывает девушка, не обязательно красивая, но почти неизменно избалованная мужским вниманием, начиная примерно с тринадцатилетнего возраста, то ни один из молодых людей – в дань традиции – не осмелится не прокомментировать, не простонать *«Sei bellissima»* или, на худой конец, не проводить ее взглядом, исполненным истомы. Не всегда с такой прямотой, но с не меньшим постоянством с женщинами флиртуют и итальянцы постарше, и совсем солидные мужи, не зависимо от рода занятий и образования, за исключением, разве что, торжественных священников, да и то, если верить Бокаччо и Пазолини, далеко не всех.

И нет во всём этом ни глубокого чувства, ни доброго-злого умысла; это – лишь скромная ежедневная дань «своим», машинальный жест, брошенный в общую копилку поверхностных культурных стереотипов.

***

Вкус кофе – еще одна из нераскрытых французских тайн. Кофе в Париже, будь то обыкновенный черный или «запатентированный» французский *café au lait*, одинаково вкусен – как в традиционных кафе и кондитерских, так и в экспортированном, но значительно «офранцуженном» МакДональде (приглушенные тона, камин, свечи, паркет, обитые кожей стулья), где обычный, по-американски неаппетитный «БигМак» именуют «по-свойски» – *le Royal*; кофе здесь одинаково ароматен, как в запруженных туристами – студенческом Латинском или зеленом Люксембургском, – так и в исконно парижских, жилых кварталах; и даже жиденький кофе, точнее тот подслащенный сироп из

офисных автоматов, который за него выдают, осенен магией «чисто французского прикосновения».

Парижский свет лишен напряжения, несфокусирован и размыт, будто пролит здесь и сейчас по чьей-то блаженной рассеянности; свет замедлен, как полдень в бесконечный сезон летнего солнцестояния. Французы пьют кофе, сидя за столиками не лицом к лицу, а плечом к плечу собеседника, дабы взгляду открывалась уводящая в малиновую глубину, змеящаяся меж ресторанчиками, букинистскими лавками и галереями неизвестных, но «самых талантливых» художников, лоснящаяся отливающими на солнце чешуйками темно-серых булыжников, безукоризненно гладких от вечного шарканья подошв, неторопливая, подробная, уверенная в себе улица. И всё же, вкус кофе играет здесь второстепенную роль; первую – единение визуального с акустическим, то есть неспешный разговор об увиденном – безобидное обсуждение прохожих (безобидное, так как сидящие вскоре меняются местами с идущими), иными словами, занятие, известное в народе как праздное перемывание чужих костей.

Так и мы, повернувшись лицами к улице, попиваем кофе и наблюдаем за парижанками, неспешно возвращающимися с воскресного базара. У молодых парижанок – свои понятия об эротичности, главная черта которой, кажется, теперь повсеместно убывающая, а здесь посильно возрождаемая – естественность: без видимого макияжа, в хлопчатобумажных длинных платьях, в изящных, но не замысловатых сандалиях, они несут плетеные корзинки, из которых выглядывают зеленые хвосты моркови и ароматные верхушки еще неостывших багетов. Они проплывают мимо нас с врожденным – и оттого не крикливым – чувством превосходства, будто в их жилах всё еще течет кровь обезглавленной аристократии, а в ней – память о выездах королевского двора в леса Рамбулье; они глядят перед собой, поверх голов, куда-то в прошлое, не заинтересованные настоящим и окружающим; и единственное, что рассеивает сей образ светлого равнодушия, это молодые соски, с любопытством проглядывающие сквозь воздушный хлопок летних платьев. Придя домой, они пьют свой *café au lait* из округлых гладких мисочек, в «нашем» быту более пригодных для супа или каши.

***

В родной ему Африке кофе обладал статусом «божественного» и его пригубляли почтенные халифы во время проведения сакральных церемоний; пить кофе вне святых стен строго запрещалось и преследовалось законом. Рожденный в Эфиопии и позже мигрировавший в Турцию, этот – и «священный», и «дьявольский» – напиток, в конце концов, через венецианский порт, на правах беженца очутился в Европе.

Строг и суров был турецкий султан Мурад IV, самолюбив, злопамятен и подозрителен. Но частенько, облачаясь в простые одежды, он прохаживался по улицам Стамбула, вливаясь в его яркую кипящую суету, теряясь в его крикливом людском потоке, наблюдая за сложной и непритязательной жизнью его жителей. Он любил останавливаться, приценяясь, у тяжелых базарных лотков, болтать о великих пустяках с уличным менялой, заслушиваться никогда неумолкавшими цимбалами. Он непременно заглядывал в шумную таверну, по-детски радуясь веселому гомону быстро пьянеющих посетителей; иногда, совсем забывшись, он даже распевал с ними их трогательные, легко запоминающиеся песни.

В один из таких по-обычному светлых и жарких дней, разнообразия ради, Мурад забрел в тихую и опрятную кофейню. В нос ударил удушливый запах табачного дыма; никто не пел, не шумел, посетители то размеренно говорили, то внимательно слушали, то многозначительно кивали; и общее настроение, и поведение мужчин, смаковавших тягучее черное пойло, показалось Мураду каким-то трудно определимым, вялым, нездешним. Ему вдруг стало не по себе от уюта старого кафе, словно повеяло холодом от ароматного тепла чашек, он ощутил свою несовместимость с царящим в этих стенах согласием. Пьющие кофе говорили о политике, о великой Оттоманской Империи, о всемогущем Мураде IV; они сетовали на нелегкую жизнь, на общий упадок, на мурадову несостоятельность...

Горек и тих был ужин султана в тот вечер, тяжела его голова, печальны и глубоки мысли, бесконечна и мучительна его ночь.

Но на утро перед султаном предстал другой Стамбул: согласно новому указу, кофейные дома были либо закрыты, либо разрушены до основания; уличенный в потреблении «скверного пойла» подлежал избиению, дважды уличенного зашивали в утробе кожаного мешка и топили в Босфоре.

Мурад по-прежнему любил выбираться в город, но уже без маскарада, а в чем был, в сопровождении верного, вооруженного топором палача; султан лично «прочесывал» улицы, на месте казня ослушавшихся.

Никто так и не смог точно подсчитать, десять ли, сотня ли тысяч кофеманов поплатились жизнью за пристрастие к «черному наркотику». Чудом уцелевшие торговцы и держатели кофеен бежали в Венецию.

Бедный, великий Мурад IV умер от алкоголизма. Ему было двадцать восемь лет от роду.

В целом, дальнейшая «кофейная судьба» сложилась благополучно. Покорив сначала Италию и Францию, кофе, «взятый в плен» после Венского Сражения, вместе с побежденными турками, попал в Австрию, и вскоре завоевал оставшуюся Европу. Позже пронырливый голландец Питер ван ден Броек выкрал у доверчивых йеменцев сокровенные кофейные семена и контрабандой привез в Европу, тем самым нарушив и навсегда прекратив запрет на их экспорт. И только еще раз память о жестоком Мураде промаячила черной тенью в беспокойном небе Европы, когда «возбуждающий» эффект напитка снова связывался ретроградами с непослушанием и «революционными настроениями»; но, не смотря на настойчивые призывы запретить «мусульманский напиток», милостивый Папа Клемент VIII провозгласил кофе истинно «христианским». Наш «мигрант» быстро укоренился на новых

землях, был радушно принят европейцами, неизменно, как скромную щепотку сахара, привносившими в процесс его приготовления и потребления частицу местного колорита.

***

То, что подают в Австрии, не осмелится назвать «кофе» ни один уважающий себя кофеман: загадочное «нечто» под тяжелым облаком приторных взбитых сливок, убивающих вкус даже стойкого, живучего цикория; в австрийских и немецких кафе – то по-деревенски неотесанно-грубо, то чрезмерно пышно, как оборки расшитых юбок румяных *Fräulein*, распевающих *«Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin, / Oh, du lieber Augustin, alles ist hin»* под вульгарную гармонь на углу.

Англичане отнеслись к кулинарной новинке по привычке «колониально», как в свое время – к душистому индийскому чаю, и довольно скоро стали главными поставщиками экзотического напитка в Европу; не в силах преодолеть соблазн столь любимого ими образа «белой вороны» в общей европейской стае, они придумали свой вариант кофепития: шафрановый островок лимона, потопленный в кофейной чашке; однако, не смотря на бесспорную оригинальность, обычай плохо прижился.

Помимо традиционного – «через край» (много крепкого кофе, еще больше горячего молока) – *café con leche*, испанцы пьют латинский вариант турецкого – грубого помола, густой и тягучий; на дне чашечки колышется бугристая жижа, на которой в самый час – любой! – погадать; пока расплачиваешься с барменом, ее можно лениво пожевывать, дабы продлить привкус горечи, унося его из переполненной, шумной, как базар на соседней улице, всегда веселящейся кофейни.

В многоликой (мутно-болотной и ветряно-мельничной, красно-фонарной – ночной и светящейся изнутри – рембрандтовой) Голландии он легок и прозрачен, как высокий квадрат потолка элегантного кафе, в котором заживо застеклен льняной лоскут амстердамского неба...

И только у греков нет «своего» кофе; они пьют «заморский» – турецкий, напоминающий о корнях, земле и прошлом...

***

Знакомая японка, бывшая сокурсница, краснея от постоянно одолевающей ее неловкости, говорит: «Нельзя любить другого человека. Человек может только нравиться. Исключение – чувства матери и ребенка. Любят занятие, вещь, предмет...». Она избегает глагол «любить» с его обманчивым посылом осуществимости истины.

Кофе она предпочитает традиционный чай *матча* или *гёкуро*, трепетно относясь к древней церемонии чаепития, бережно – к ее легким, утонченным до призрачности, как сама истина, и в то же время аскетически-простым атрибутам: бамбуковым венчикам, чугунно-керамическому чайнику, круглым чашкам с их «лицом» и «изнанкой»...

В Индонезии кофе пьют из тонкостенных стеклянных стаканчиков, на Ближнем Востоке и в Африке – из медных ажурных чашек.

***

В рассветных сумерках хрущевской кухни, в желтой алюминиевой турке мама варит загодя перемолотый кофе, помешивая его длинной, погнутой, словно ссутулившейся, чтобы не выделяться в общем стандартном ящике, ложкой. Это – колдовское, дымчатое время суток, когда все цвета, кроме серого, пока полуспят, набираясь сил для дневного цветения. Еще не обрела очертания скудная кухонная утварь – турка, ложка, чашка, потерявшая голову-крышечку сахарница, но руки безошибочно находят их, благодаря необъяснимой памяти пальцев. Еще бесцветны красные в желтых (чуть не сказала «в жутких») цветочках шторы, еще не обожжена солнцем мягкая глина стен, не заржавели углы умывальника под треснутой скорлупой эмали, и не окаменел – обособленным идолом – чайник на плите.

Она пьет его стоя, молча, не раскрывая штор, не поднимая глаз: пауза перед не столь долгожданным рождением дня, короткий выдох, несколько минут чисто славянской медитации.

Я смотрю ей в спину через стеклянную дверь кухни и, не решаясь нарушить этот тысячекратно повторенный бесхитростный обряд, молча спрашиваю, как удается ей не уставать от серого цвета, от зашторенных окон, от замурованных дверей, от узаконенной прикосновенности личности?..

Мы уезжаем. Она похожа на девочку, послушно следующую за взрослыми, не задумывающуюся об относительности их правоты; долго смотрит в дверной проем, в то освободившееся пространство, что до сих пор называлось домом: как неосторожно, как небрежно-талантливо прожита жизнь! Я захлопываю дверь. За дверью остается еще живая память вещей – их о нас, наша о них, но и она, обтекаемая негреющей, сквозняковой пустотой, полым вакуумом человеческого отсутствия, вскоре остывает. Мне страшно уезжать, но мой – веселый страх молодости: щекочущие крылья бабочки в животе.

Это не ностальгия. Я не люблю кофе, который варила мама.

***

Долгое время я пила кофе по-американски: из больших бумажных стаканчиков и преимущественно в «насиженных» местах. Вкус для американца второстепенен. В одной старой американской кулинарной книге я наткнулась на любопытный рецепт приготовления кофе: на столовую ложку кофе – шестнадцать унций воды, после получасового кипячения добавить рыбного желатина (для вкуса) и немного толченой яичной скорлупы (для снижения кислотности). Так пили кофе в Америке 1844 года...

Главностепенно – количество. Вспоминается американский агент по недвижимости, в один из наших очередных переездов с континента на континент, помо-

гавший нам с поиском жилья. Мы четко, месяц кряду, повторяли ему наши скромные запросы: две спальни, новая постройка, тихий район; а он корректно и настойчиво в свою очередь предлагал: подлежащий сносу дом у скоростного шоссе, но зато аж с пятью – «а не с двумя!» – спальнями. И потом искренне недоумевал от нашего недоумения...

Перейдя – по мужу – в «итальянство», как иные – в католичество, я дни напролет пью терпкий экспрессо.

Я живу в тысяче девятистах сорока двух километрах от мамы.

***

А она – еврейская кровь, славянское лицо, итальянское имя – так же молча отвечает мне: «Мир потому и прекрасен, что – разнолик».

ТАТЬЯНА САПРЫКИНА

ДЕСЯТКА

Пошла я к соседке бабушке Нюре пол помыть. Накурено – жуть. Бабушка Нюра всю жизнь в буфете проработала. И занавесочка у нее, какие вместо двери в комнату бывают, из пробок бутылок из-под шампанского – белых, пластмассовых. Баба Нюра на кровати лежит – ноги длинные, тощие. Помыла я пол, селя рядом с ней. Бабушка Нюра из-за кровати бутылочку достала – внутри что-то чернильное и едкое – пососала и обратно спрятала.

– Ну, чего поделываешь?

– Книжки читаю. Все прочитала у себя уже.

– Книжки? Хошь дам одну?

Что там у бабушки Нюры за книжки могут быть? «Как закалялась сталь», что ли?

– Ну, давай.

Бабушка Нюра вытащила из-за кровати потрепанную книжульку. «Образцовая кухня». Тю! Старье какое. С ятями еще.

– Возьми на столе там.

И захрапела.

Я взяла со стола пряник, постучала им о край тарелки – ничего, съестся, зубы тоже точить надо, не один ум.

Дома открыла книжку. Стала читать. «Масло раковое. Скорлупу от вареных раков толкут в ступке, кладут в кастрюлю со сливочным маслом и поджаривают на легком огне, пока масло примет цвет раков. Когда остынет, масло выбирают, распускают на самом легком огне, потом ставят в сите вместе с той посудой, в которой находилось это масло, и мешают, пока оно застынет. Хранят на льду». Псссс...

«Хлеб пеклеванный». Какой-какой? «Наливка из шелковицы». Это что еще?

А вот между страницами денежка лежит. Старая. Десять рублей. Такие ходили, когда я маленькая была. Переложила я ее на другую страницу. «Магарины». Без понятия, что такое. Ну и питались они там, знаете ли.

Звонок в дверь.

– Здравствуйте.

Девочка в школьной форме. Сто лет такую уже не носят.

– Отдайте мои деньги, пожалуйста.

Я стою – в одной руке книжка.

– Отдайте, мне мама сказала, четверть без троек закончу, платье купит.

И глазами на книжку показывает. Я – да ради бога – десятку нашла, ей подаю.

А она.

– Спасибо! – улыбается.

И вниз побежала.

Села я дальше читать. Опять звонок. Да что такое.

Дед стоит. В сапогах и с котомкой.

– Отдай червончик, радость моя. Отдай. Не бери грех на душу. Старуха за мукой посла.

Я плечами пожала.

– Отдала, – говорю, – уже тут до вас приходили.

Дед загоревал. Я пошла, муки ему вынесла. Раз такое дело.

Читаю я дальше. «Солонина франконская». С селитрой. Мамочки. Опять пришли. Парочка, какие-то тоже нездешние, в старомодных пальто с воротниками.

– Мы, – заныли, – колечко собирались купить. – Оловянное. На рынке блошином. Присмотрели.

Я, скрепя сердце, откопала им в кошельке десятку. Они на нее уставились, но ничего, взяли.

– Чудная. Может, выменяем.

Так. Хватит. Положила я еще одну. На слово «Коротель» Бог знает, что такое. И захлопнула книжку. Сижу, жду. Никто не идет. Вот и ладно.

Снова пошла пол мыть – несу бабушке Нюре книжульку.

– Ну, приготовила чего?

Бабушка Нюра полистала, увидела десятку новую, радуется – челюсть вставная весело хрумкает.

– Прям, – говорю, – я половины слов не знаю. Масло чухонское. Это какое?

Бабушка Нюра смеется – из бутылочки посасывает.

– Они там блины из десяти желтков готовили. Куда мне! Я думала, мы русскую кухню употребляем, а эта тогда какая?

– А ты бы что на десятку купила?

Я не думала даже.

– Булочки такие. Слоеные. С маком. Сладкие.

Бабушка Нюра носом длинным клюнула – кивнула.

«Мед вишневый. На 1 пуд патоки берут 1 пуд толченых с косточками вишен и столько воды, чтобы после кипячения получилось 5 ведер жидкости, остуживают и прибавляют 12 зол дрожжей. По окончании брожения опускают в бочонок смесь из ½ фунта толченых горьких миндалей и корки с 5 апельсинов – все завязанное в мешочек. По прошествии 2 недель осветляют рыбьим клеем, хорошо перемешивают и дают отстояться».

– Рыбий клей – это как?

Но бабушка Нюра уже храпит.

Я наклонилась к ней. Все равно ничего не услышит теперь.

– Бабушка Нюра, а правда, что ты за растрату в тюрьме сидела?

– На защелочку захлопни.

Я книжульку осторожно за кровать спустила. И к двери пошла.

– Чужого не брала.

«Водка зонная. Настойка росно-ладанная. Щи по-деревенски. Ушки из каши. Зильц».

Ну, я пошла. Пельмени замороженные варить.

АЛЕКСАНДР ЯБЛОНСКИЙ

MARQUIS

А я иду – за мной беда,
Не прямо и не косо...
Анна Ахматова

Как, когда он появился, мы не помним. Просто пришел и сел. Потом ушел и опять пришел. А затем – остался. Невозможно забыть его широкую белую грудь, спину в крупных серых яблоках, он был аристократично короткошерст, как денди лондонский преисполнен собственного достоинства, независимости, доброжелательности. Думаю, прошлую жизнь он прожил грузином. Но сейчас он был большим степенным умным красивым котом, который появился не понятно откуда, почему-то выбрал именно наш дом, прикипел к нам и не намеревался нас покидать. Мы же сначала обрадовались, потом задумались: а что с ним делать, когда уедем с дачи; в конце концов, поняли, что он стал частью нашей жизни, и мы без него не можем. Он приходил и уходил, когда хотел, но ночевал, как и положено джентльмену, только дома. Почему-то его привлекла моя голова – то ли из-за ее полированной бритости, то ли из-за тепла, ею излучаемого, то ли из-за ума, в ней содержащегося. Он обязательно утаптывал подушку над моей лысиной, потом аккуратно укладывался так, что его мягкий теплый живот как бы обнимал мою черепушку, глубоко вздыхал и начинал мерно посапывать. Это было лучше любой валерианки, валидола, валокордина, вместе взятых.

Когда мы уезжали с дачи, возник спор, вернее, моя маленькая дочь высказала сомнение: может нам оставить его на даче, ведь он где-то же жил до нас, здесь он не пропадет, да и многие жильцы поселка не уезжают круглый год и приютят такого красавца. Но мы с женой встали на дыбы – как же мы без него, и он – наш Маркиз – это имя ему подходило идеально – привык к нам, и в городе он будет жить в барских условиях, которые он, бесспорно, заслуживает, и еда – где он в поселке найдет такую еду!.. Дочь лишь тихо возразила: "ведь он привык к свободе..."

В сентябре я поехал в Германию на "Прокофьевский фестиваль". Это был 90-й год, и такие поездки было внове. Из Ленинграда самолеты в Кельн не летали, посему летел через Москву. В Москву и вернулся. В доме моих друзей, где я остановился до "Красной стрелы", был накрыт стол, меня ждали, и я весь окрыленный первой, и как хотелось тогда верить, не последней встречей с Западом, рассказывал, рассказывал, рассказывал. Меня слушали, не перебивая – это было тогда очень интересно: "как там, у них, неужели и у нас так может быть, да нет, не может, а вдруг...", но я чувствовал какую-то напряженность, а поэтому говорил без пауз, начиная бояться этой напряженности, что-то предчувствуя, и, отодвигая неизбежный момент, сыпал подробностями о Шнитке, который делал великолепный доклад на немецком языке, в котором я ни слова не понял, о фантастических секс-шопах, где продаются все необходимые изделия и, главное, резиновые органы – можно не потеть, не стараться, лишь включить в розетку и отдыхать, о специальных телефонах, установленных через каждый километр на автобанах, о номерах в гостиницах с одной, но очень широкой кроватью, которую я вынужден был делить с одним московским певцом, слава Богу, нормальной ориентации и к тому же евреем, о вымытых щетками мыльной водой тротуарах (как раньше, помните, в Эстонии), о продовольственных магазинах, о... И вдруг резко остановился и спросил: "Что случилось?" Наступило молчание, а потом жена моего друга сказала: "Маркиз погиб".

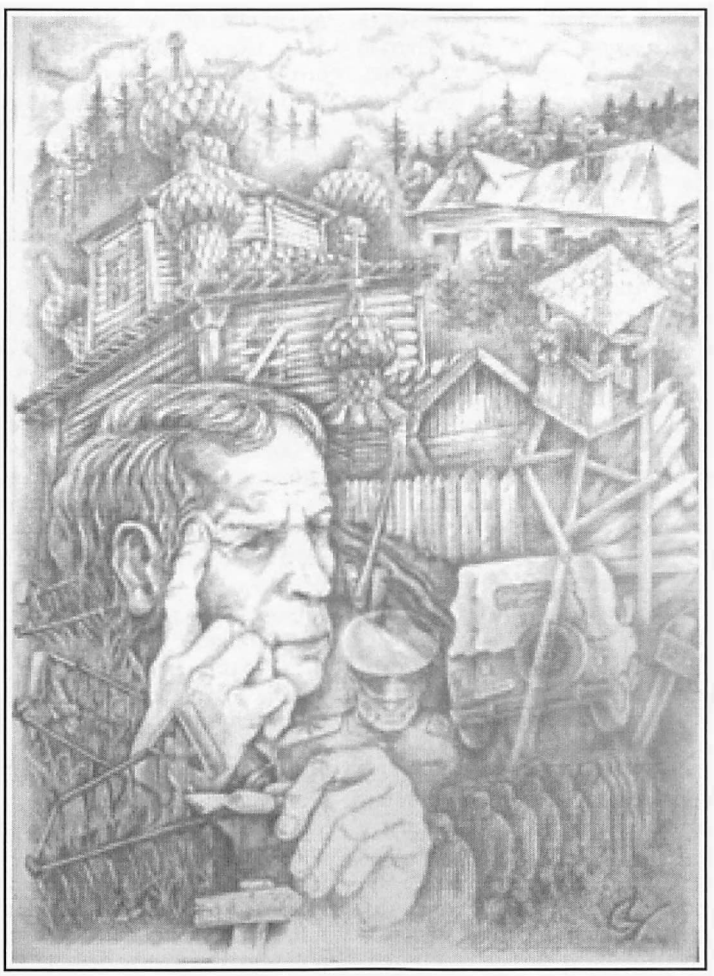
...Он привык к свободе. Мы не объяснили ему, что живем в огромном каменном доме на девятом этаже. Но даже если бы он знал об этом, он всё равно пошел бы навестить своих подруг, пометить подозрительные места и просто подышать свежим воздухом, потому что был свободным котом.

Когда Ира ворвалась, заслышав странные звуки, в гостиную, он был уже снаружи, на узкой полосе внешней стороны подоконника, отчаянно пытаясь задержать свое сползание. Я иногда слышу во сне скрежет его когтей о жесть оконного стока и вижу его желто – зеленые кошачьи глаза, в них отчаяние, надежда, любовь, недоумение, страх. Он боролся за жизнь отчаянно. Ира рванулась к окну. Он ждал от нее помощи. Ей бы разбить стекло, – задним умом все сильны, – она же стала пытаться достать через открытую форточку, в которую он и проскользнул на волю, почти дотянулась, но на секунду позже, он не выдержал и сорвался, без крика, без стона, молча. Восьмой, седьмой, шестой этаж – он летел и, наверняка, не мог понять, что его уже не спасут. Он нам верил. До самого конца. Примерно с такой же скоростью Ира летела вниз по лестнице. Ей повезло: довольно быстро она нашла рабочего, который открыл дверь на бетонный козырек первого этажа Мебельного магазина, на который упал Маркиз. Он был ещё жив. Увидев её, он сделал попытку подползти к ней и прополз метр – два. Когда же она припала к нему и приподняла, он был уже мертв.

Надо слушать детей. Они лучше знают, что значит Свобода.

Я привез подарки моим детям, жене, родителям. Привез я подарок и Маркизу, моему другу, которого никогда не забуду – маленькую баночку кошачьих консервов – вещь невиданную тогда в России.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
КУЛЬТУРА



ПОБЕРЕЖЬЕ

ВИКТОР ФЕТ

«СПЕРВА КАЗНЬ, А ПОТОМ УЖ ПРИГОВОР!»: О НАБОКОВСКОМ ПЕРЕВОДЕ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА

«Аня в стране чудес» (Берлин, издательство «Гамаюн», 1923), перевод-пересказ кэрролловской «Алисы» – один из первых опытов в прозе молодого Набокова (В. Сирина), впервые переизданный в США в 1976 г. (1). В России «Аня» не публиковалась до 1989 года.

Владимир Набоков (1899-1977) замечал в интервью А. Аппелю (1966): «Как все английские дети (а я был английским ребенком), Кэрролла я всегда обожал». В 1970 г. калифорнийский славист Саймон Карлинский (1924-2009) писал: «На ближайшее будущее неуклюжей, искаженной "Алисе" Оленича-Гнененко [советский перевод 1940 г. – *В. Ф.*] предстоит оставаться стандартной "Алисой" по-русски, в то время как теплая и остроумная "Аня" Набокова проживает в изгнании на зарубежных книжных полках. Если бы ей разрешили вернуться в страну ее духовного происхождения, "Аня" с легкостью превзошла бы свою неприглядную соперницу» (2) (перевод с англ. мой – *В.Ф.*). Ни Карлинский, ни Набоков не знали о новом переводе Н. М. Демуровой (1967). Сам писатель впервые прочел «Алису» в оригинале в возрасте шести лет, и, по его словам, никогда не читал других русских переводов. Прошло еще целое поколение до возвращения «Ани» в Россию – но ей уже было трудно угнаться за новыми «Алисами» Демуровой, Заходера, Щербакова, Орла. Да ведь и язык изменился чрезвычайно, в особенности язык детского сленга и фольклора.

Н. М. Демурова (3) отмечает «изначально существовавшую потенциальную соприродность двух авторов». Александр Флоря (4), однако, считает, что Набоков «не смог создать для своей переделки органичного и естественного языка. Язык этого произведения – "ангельский", то есть искусственный, эстетский, хотя иногда и красивый» («Ангельский язык», по каламбуру Набокова, изучался в «морской школе» вместо английского; там же учили «чесать и питать»). Конечно же, был «эстетским» юношеский язык Набокова, который серьезно учился рисованию у Добужинского, а в стихах подражал всем поэтам Серебряного века, от Бальмонта до Гумилева... Чуть ранее он переводит «Кола Брюньона» с французского, безудержно русифицируя Роллана. Этот «Николка Персик» – 170 страниц неустанного раешника.

Уоррен Уивер (5) считал набоковскую «Аню» лучшим из переводов «Алисы» на *любой* язык. Он выделял пять групп трудностей (пародийные стихи, каламбуры, специально придуманные слова, логические шутки, сдвиги в значениях), и считал, что Набоков успешно преодолел все! Перевод Набокова высоко ценят и современные исследователи – Н. М. Демурова (3, 6, 7), Н. И. Толстая (8), Дж. Коннолли (9), Н. Вид (10). На мой взгляд, «Аня» – талантливый пересказ, недооцененный, возможно, именно из-за последующей славы зрелого Набокова (а в России – ввиду полного запрета на его имя). Набоков искусно *переводит* Аню-Алису и детей-читателей через пропасти, разделяющие языки и времена, часто попадая, по словам С. Карлинского, «в фонетическое и семантическое яблочко».

Так, в «сухой лекции» из русской истории (заменившей кэрролловскую историю Вильгельма Завоевателя) Мышь у Набокова повествует о том, как «...после смерти Мономаха Киев достался не братьям его, а сыновьям и обратился, таким образом, в семейную собственность Мономаховичей. ...Пока они жили дружно, их власть была крепка; когда же их отношения обострились... против них поднялись князья Ольговичи, и не раз силою завладевали Киевом. Но Мономаховичи в свою очередь...»

Этот текст у Набокова, почти без изменений, взят из популярного «Учебника русской истории» (СПб., 1909-1910) С. Ф. Платонова (1860–1933). Об этом, как об известном факте, пишет Игорь Вдовенко (11, 12), однако, насколько мне известно, этот источник ранее не был идентифицирован исследователями, писавшими о набоковской «Ане». С. Карлинский (2) упоминает «какой-то исторический текст 19 века», а А.Флоря (4) даже принял этот отрывок за «откровенную пародию» на Карамзина.

Сергей Федорович Платонов был видным историком, академиком; до 1926 г. он читал лекции в Ленинградском университете, возглавлял Археологический институт, Пушкинский дом; в 1930 г. арестован по тому же делу, что и академик Тарле; обвинен в связях с немецким Генштабом «с целью возвести на российский престол своего бывшего ученика великого князя Андрея Владимировича»; был сослан в Самару, где и скончался.

Вот выдержка из учебника Платонова (выдержавшего до революции восемь изданий):

«...После смерти Мономаха Киев достался не братьям его, а его сыновьям и обратился таким образом в семейную собственность Мономаховичей. ... Пока они жили дружно, их власть в Киеве была крепка; когда же у них начался разлад, то против них поднялись сидевшие в Чернигове князья Ольговичи (сыновья и внуки Олега Святославича) и не раз силою завладевали Киевом. ... Но Мономаховичи, в свою очередь, не желали отказаться от обладания Киевом и тем самым признать над собою старшинство Ольговичей. Разгорелась долгая и упорная борьба за Киев. Победа в ней осталась в конце концов за потомством Мономаха...» Для детей эмигрантов, читавших набоковский перевод в Берлине в 1923 г., эти слова несли свежий отзвук российской смуты, в те же годы описанной Булгаковым в «Белой гвардии».

Совершив «нырок в кроличью норку», Аня попадает в гибридный мир (в подобном мире будет жить набоковская Ада на планете Антитерра). Почтовый адрес ее удалившейся ноги пишется по-дореволюционному: «Господже Правой Ноге Аниной, Город Коврик, Паркетная губерния». В Стране чудес еще висит медная табличка «Дворянин Кролик Трусиков» (у Кэрролла всего лишь – «Б. Кролик»). К 1923 году Петьки и Яшки (так переделаны Пат и Билл у Набокова) уже не обращались к Трусиковым «Ваше Благородіе». Да уж не из блоковских ли «Двенадцати» этот Петька? Ведь еше в Крыму в 19 лет написал Набоков свой ответ ранее любимому Блоку – антибольшевистскую поэму «Двое», до сих пор не опубликованную...

Существует ряд исследований и статей (2–14), которые специально посвящены набоковскому переводу «Алисы» или обсуждают его в сравнении с другими переводами. Их авторы фокусировались в основном на его старомодной русификации и передаче каламбуров, нонсенса, пародийных стихотворений.

Ни в одной из этих работ, однако, мне не встретился анализ неточного – и по моему мнению, *намеренно* неточного – перевода ключевой фразы в последней (12-й) главе книги, «Показание Ани». Всмотримся в набоковский текст:

"Пусть присяжные обсудят приговор", сказал Король в двадцатый раз.

"Нет, нет", прервала Королева. "Сперва казнь, а потом уж приговор!"

"Что за ерунда?" громко воскликнула Аня. "Как это возможно?"...

"Отрубить ей голову! – взревела Королева. Никто не шевельнулся.

"Кто вас боится?" – сказала Аня (Она достигла уже

обычного своего роста). "Ведь все вы – только колода карт..."

Однако, у Кэрролла в оригинале Королева говорит нечто *совсем иное*, а именно: «Sentence first – verdict afterwards», т.е. «Сперва приговор, а потом уж вердикт!».

В недавнем российском издании «Ани» параллельно с текстом оригинала (3) приводится комментарий Н. М. Демуровой к этому заявлению Королевы: «В словах Королевы содержится перверзия, легко замечаемая всяким, кто знаком с английским судопроизводством. Выслушав свидетелей с обеих сторон, присяжные удаляются на совещание, на котором не имеет права присутствовать никто, кроме них, и выносят *решение* о виновности или невиновности подсудимого ("*verdict*"). Судья затем выносит *приговор* ("*sentence*"), опираясь на решение присяжных" (С. 310-311; курсив мой – В.Ф.).

Королева у Кэрролла меняет процедуры местами, отсюда и логический нонсенс: как же можно приговорить человека, если присяжные не установили его вины? (Мы-то знаем, как...) Но британская подданная Алиса, за которой сотни лет суда присяжных, возражает на такое беззаконие «Stuff and nonsense! The idea of having the sentence first!» (буквально: «Какая ерунда и бессмыслица! Невозможно сперва выносить приговор!»)

Однако, читателю, даже в параллельном издании, нелегко заметить, что у Набокова та же самая «перверзия» сдвинута на одно звено! В переводе-то стоит совсем иное, усиленное – совсем по-большевистски: «*Сперва казнь, а потом уж приговор!*»

Аня смело заявляет: «Что за ерунда? Как это возможно?». Действительно, ерунда. Приговор-то можно обжаловать. Даже в отсутствие суда присяжных, монарх может помиловать приговоренного, то есть отменить или изменить *приговор* (как, скажем, в случае Достоевского). Но вот совершившуюся *казнь* не обжалуешь и не отменишь...

Я склонен считать набоковский вариант намеренным «усилением». В то же время, в результате такого смещения терминов у Набокова возникает также очевидная неточность в переводе слов Короля: «Пусть присяжные обсудят приговор». В оригинале, конечно, присяжные обсуждают не приговор, а свое решение о виновности подсудимого, *вердикт* («Let the jury consider their verdict»).

Переводчики советского времени пытаются следовать Кэрроллу, но это далеко не всегда удается.

В переводе Нины Демуровой (1967):

« – Пусть присяжные решают, виновен он или нет, – произнес Король... – Нет! – сказала Королева. – Пусть выносят приговор! А виновен он или нет – потом разберемся!».

Здесь слова Королевы содержат ту же неточность, что слова Короля у Набокова: «пусть выносят приговор» – получается, что Королева говорит о присяжных, приказывая им вынести *приговор* вместо объявления *вердикта*. Но ведь приговор-то выносит судья, а в тексте ранее сказано прямо: «Судьей, кстати, был сам Король». Король потому и теребит присяжных, что должен вынести приговор на основании их вердикта.

В переводе Владимира Орла (1987) ситуация еще более запутана и намеренно далека от оригинала:

« – Пусть присяжные выносят приговор, – повторил он [Король] в тридцатый раз. – Нет уж! – заявила Королева. – Ты им сперва скажи, какой приговор выносить, а потом пусть себе выносят на здоровье».

В пересказе Бориса Заходера (1972) сложное для читателя слово «вердикт» опущено, но логически текст вполне следует Кэрроллу:

« – Удаляйтесь на совещание! – сказал Король... – Нечего там! – сказала Королева. – Сперва приговор, посовещаются потом».

Очень точный вариант, избегая слова «вердикт», дает Александр Щербаков (1977):

« – Пусть присяжные вынесут решение, – в двадцатый раз нынче повторил Король... – Нет, – сказала Королева. – Сначала приговор – потом решение».

Так же переводит Николай Старилов:

« – Пусть присяжные вынесут решение, – сказал Король... – Нет, нет! – вскричала Королева. – Сначала приговор, а потом решение присяжных».

Другие недавние переводчики переводят точно в соответствии с текстом Кэрролла. Термин «вердикт» употреблен в переводах А. Кононенко (« – Пусть присяжные выносят вердикт, – сказал Король... – Нет, нет и нет!!! – вскричала Королева. – Сперва приговор, потом уже вердикт!!!») и Ю. Нестеренко (« – Пусть присяжные вынесут свой вердикт, – сказал Король, ... – Нет, нет! – сказала Королева. – Сначала приговор – потом вердикт»). А вот в пересказе Михаила Блехмана мы находим то же самое усиление и смещение, что и у Набокова:

«– Присяжные, огласите приговор! – приказал он [Король]... – Нет! – вмешалась Королева. – Сначала пусть приведут в исполнение, а потом – приговаривай себе, сколько хочешь».

Сходные термины, сдвиги близких значений, малоизвестные термины и роли смущают переводчиков. Эта путаница связана, конечно же, с тем, что у нас не было суда присяжных. В СССР «прокурор давал срок» – примерно как у того же Кэрролла в «Охоте на Снарка», где Снарк-адвокат выступает и за присяжных, объявляя вердикт, и за Судью, зачитывая приговор... Идея суда присяжных (введенного в России в ходе реформ Александра II в 1864 г., за год до публикации «Алисы») была настолько непереводима на советский язык, что Борис Заходер (1972) с горьким эзоповским юмором пояснял для детей: «Если вы не будете путать присяжных (заседателей) и пристяжных (лошадей), у вас будет не меньше оснований гордиться собой, чем у Алисы. Даже больше: ведь сейчас гораздо реже, чем сто лет назад, встречаются и те и другие».

Действительно, выражение «господа присяжные заседатели» казалось устаревшим и забавным уже Остапу Бендеру (1928) – ведь большевики избавились от честной судебной системы. «Несмотря на внешне демократический порядок вынесения вердикта, – разъясняла нам БСЭ, – этот институт, как и другие институты суда присяжных в буржуазных государствах, не обеспечивает подлинной независимости присяжных от позиции постоянных судей»...

Заходеровский каламбур, не замеченный цензурой, очень грустен: именно в те годы (начало 1970-х) судьи зачитывали приговоры диссидентам. Но ведь на Западе присяжные заседатели вовсе не исчезли вместе с пристяжными лошадьми. Одно из эмоциональных потрясений российских эмигрантов в США – это *jury duty*, присяжная повинность всего населения. Плохо ли, хорошо ли, но вердикт действительно выносят, посовещавшись, не тройки юристов-«специалистов» и не комиссары в пыльных шлемах, а двенадцать зачастую малообразованных Биллов-«присяжников», Яшек-ящериц. А вот в Басманном королевстве мало что изменилось. «Бедный маленький Яша уже давно перестал писать пальцем, видя, что следа не остается...».

Вспомним, кому предназначалась «Аня в стране чудес» – детям, родившимся во время Великой войны, всего три-четыре года назад бежавшим с родителями из советской России. («"Куда лучше было дома", думала бедная Аня».) Только в Берлине в 1923 г. насчитывалось несколько сотен тысяч русских эмигрантов. Многие из них, в свое

время, будучи присяжными, на свою голову, десятилетиями оправдывали террористов в судах по всей Российской империи. Они-то понимали прямой и горький смысл, читая «Аню» своим детям и внукам в Берлине и Праге, в Софии и Белграде. А сколько еще горя предстояло этим детям, когда они подросли? Многие из них были счастливы оказаться, как планировала Аня в случае пролета через Землю насквозь, «в Австралии или в Новой Зеландии»...

В дальнейшей судьбе семьи Набоковых – бежавшей в 1919 г. в Европу от коммунистов, а в 1940 г. в Америку от нацистов – сиринско-гамаюнская «Аня» сыграет роль неожиданную и немаловажную: «С удовольствием вспоминаю, – писал Набоков в 1970 г., – что одним из обстоятельств, побудившим Уэлсли-колледж предложить мне должность лектора в начале сороковых годов, было присутствие моей редкой "Ани" в Уэлслийском собрании изданий Льюиса Кэрролла». Постоянно, и часто бестактно, говорят о том, как «Лолита» доставила писателю всемирную славу и вернула богатство – но именно «Аня» дала 40-летнему Набокову его первый более или менее постоянный заработок в Америке (он преподавал в Уэлсли до 1947 года).

Страна чудес – это карточное Королевство Червей (в некоторых русских переводах – Бубен). В переводе, однако, есть одно осложнение: в русских картах (так называемая «французская колода») есть и король, и валет, а вот королев, в отличие от шахмат, нет – вместо них, конечно, дамы. Кэрролловская Queen of Hearts – Дама Червей (червонная дама). Пушкинская Пиковая дама правильно переводится Queen of Spades, а набоковский роман «Король, дама, валет» (1928) – «King, Queen, Knave». Но если формально *правильно* перевести кэрролловскую Королеву как Даму, то теряется смысл королевской четы, поэтому приходится и не афишировать масть (ведь «Королева Червей» по-русски невозможна). Все переводчики, сохраняя Королеву, были вынуждены искажать карточную номенклатуру, и Страна чудес для русского читателя становилась ближе к шахматному Зазеркалью (хотя у Кэрролла карточная Queen of Hearts и шахматная Red Queen – очень разные персонажи). Кэрролл, впрочем, сам дополняет и изменяет карточных персонажей – он помещает в ту же страну Герцогиню (Duchess), у которой нет карточного эквивалента. К тому же Королева у Кэрролла явно доминирует над Королем, так что карточная иерархия не соблюдается.

«Показательный» суд над Валетом, почти по Вышинскому, идет в главах 11 и 12. Еще ранее Королева постоянно приказывает рубить головы без всякого суда и следствия всем подряд; однако, не похоже, чтобы ее приказания выполнялись. «...Аня успела услышать, как Король говорил тихим голосом, обращаясь ко всем окружающим: "Вы все прощены"». Грифон (Гриф в переводе Набокова) замечает о Королеве, что «это все, знаете-ль, ея воображенье: никого ведь не казнят» («It's all her fancy, that they never executes nobody...»)... Воображенье сродни сну: Алиса проснется, не успев узнать, чем кончился суд.

В сцене суда у Кэрролла народ безмолвствует, «никто не двигается» (чисто театральная ремарка «Nobody moved»). То есть, не исполняют приказа рубить голову? Ждут приговора? Или все же сначала вердикта присяжных? Ох уж этот гнилой парламентаризм; попробовали бы не двинуться, когда товарищи Троцкий или Дыбенко приказывают «пустить в расход»... Так и веет от кэрролловского текста расстрельными трибуналами, от которых чудом спасся юный Набоков, выбравшись с семьей в Крым в ноябре 1917 г.

Сам Кэрролл писал, что воображает свою Королеву, как «воплощение неограниченной страсти – слепой и бесцельной Ярости» («a blind and aimless Fury»). Традиционный, средневековый способ казни, который предпочитает Королева – «отрубить ей голову!», получит развитие в «Приглашении на казнь» (1934, опубл. 1935-36). Заглавие романа в английском переводе уже в 1959 г. (пер. Д. В. Набокова совместно с автором) станет известно всему миру как «Invitation to the Beheading». Знаменитый финал романа, конечно же, рифмуется с финалом «Страны чудес», где Королева приказывает отрубить голову уже самой Алисе, иллюзорная колода карт взлетает на воздух, и Алиса просыпается.

Мотивы эти стали реальностью в России, где скоро были приглашены на казнь и сами палачи. Вдова одного из вождей режима, Анна (!) Ларина-Бухарина (1914–1996), вспоминала о своем заключении в новосибирской тюрьме: «Я, как Алиса в стране чудес, все падала и падала в глубокий колодец, но в отличие от нее знала, на какой широте и долготе я нахожусь и что я не в Австралии и не в Новой Зеландии, а в стране под названием Советский Союз, в стране диктатуры пролетариата, что в те дни означало: в стране абсолютной сталинской монархии. Мне не надо было, как Алисе, пояснять, что говорить о том, что думаешь, и думать, что говоришь, не одно и то же. Наш народ в то время хорошо усвоил: говорить, что думаешь, опасно...» Эту цитату приводит А. М. Рушайло (15), и он же напоминает, что и Анна Ахматова, и Ариадна Эфрон сравнивали свою жизнь в СССР с Зазеркальем.

Кстати, замечательный неологизм «Зазеркалье» впервые появился именно в советское время, в 1924 г., в переводе В. Азова – это псевдоним Владимира Александровича Ашкенази (1873–1948), известного до революции фельетониста, театрального критика, переводчика, многолетнего сотрудника «Сатирикона». В 1926 г. Ашкенази эмигрировал в Париж, где был сотрудником «Последних новостей» и «Иллюстрированной России».

Приведу здесь же и слова Евгения Витковского из его заметки «Русское Зазеркалье» (www.vekperevoda.com): «Нам говорили, что мы живем в Стране Чудес, но это была демагогическая ложь: чуть ли не весь XX век мы прожили в Зазеркалье. Жить собственной жизнью нам не разрешали: мы вместо этого обязаны были отражать действительность. Требовалось, чтобы мы делали это правдиво, хотя выполнить такое требование было заведомо невозможно: жизнь хромала на правую ногу, отражение припадало на левую, но в Зазеркалье иначе и не может быть».

В своем сравнительном анализе «Приглашения на казнь» и «Алисы в стране чудес», Марта Антоничева (16) пишет: «Значимым для интерпретации обоих произведений кажется нам эпизод суда над Цинциннатом и суда над Валетом. Один из уровней интерпретации суда над Валетом пародийно указывает на абсурдность института суда: "– Пусть присяжные обсудят приговор, – сказал Король в двадцатый раз. – Нет, нет, – прервала Королева. – Сперва казнь, а потом уж приговор!"... Подобного рода абсурдность в 20 веке воспринимается через призму тоталитаризма, как атрибутика подобного режима». Мы видим, однако, что Антоничева прямо цитирует Королеву в «усиленном» переводе Набокова, не обращаясь к оригиналу Кэрролла!

По словам поэта Ольги Седаковой, набоковская «фантастика, его комбинаторное воображение для меня несомненно отмечены печатью "Алисы". Это, может быть, и заставляет многих видеть в нем "нерусского" писателя, слишком отчужденного от "душевности"...» Во все свои романы вмонтирует кембриджский студент Набоков мотивы оксфордского преподавателя Кэрролла. «Король, дама, валет» – архетипический карточный треугольник из

12-й главы «Алисы в Стране чудес», где «котлеты украл валет». Набоков никогда не переводил второй книги Кэрролла, но шахматное Зазеркалье было хорошо знакомо писателю, который умел и любил составлять шахматные задачи. Важной фигурой в Зазеркалье, несомненно, был и гроссмейстер Лужин. Мотивы «Алисы», постоянная игра со словами и героями по Кэрроллу, конечно, сохраняются и в англоязычных романах Набокова. Препарируется под иглою энтомолога Гумберт Гумберт, мерзкая пародия на Белого Рыцаря (малопочтенная публика до сих пор путает Алису с Лолитой, а Гумберта с Кэрроллом). В романе «Бледный огонь» («Pale fire», 1962) шахматным призраком предстает Карл-Ксаверий, король северной Земблы, страны зеркальных отражений, в красном спортивном костюме бегущий через горы от мятежников-«эквилистов». Брайан Бойд, исследователь и биограф Набокова, напоминает, что, по словам Траляля из «Зазеркалья», сама Алиса – лишь персонаж сна, который снится Красному Королю. (Старинные шахматы были красными и белыми – но в русских переводах «Зазеркалья» Король и Королева, конечно, Черные, и связь «Бледного пламени» с «Алисой» ослаблена). А имя короля Земблы (Карл, Charles) совпадает с настоящим именем самого Кэрролла (Чарлз Латвидж Доджсон).

В другом набоковском сне («Ада», 1969), на зазеркальной Антитерре, где смешались английский, русский и французский языки, воплотятся сестры Ада и Люсетта Вин, потомки князей Темносиних и генерала Дурманова. Их учителем не только биологии будет некто Кролик – но как безумно далеки они в своем поместье Ардис от сестер Лидделл с их доброй старой Страною чудес... Острый глаз Саймона Карлинского уже в 1970 г. подметил наличие Ады (так у Кэрролла!) в набоковской «Ане» 1923 года. Аня пытается отличить себя от Ады и Аси, как переназвал Набоков другую подружку Алисы, Мэйбл. Наталья Вид (10) отмечает звуковое сходство между именами *Аня-Ада-Ася*, «подчеркивающее сомнения Алисы в том, кем она является.» На мой взгляд, введенная Набоковым в текст Ася указывает на словесную игру-пермутацию, построенную по принципам кэрролловской игры в «Словесные дублеты» (или «Словесный гольф», имеющий большое значение в «Бледном огне»). Отсутствующее звено в цепочке *Ада – (?) – Ася – Аня* – это Адя, редкое, но возможное сокращение от Адели или Аделаиды. Из известных современниц Набокова Адей, в частности, звали поэтессу Аделаиду Герцык (1874–1925). Аделаида – полное имя Ады Вин. Вспоминается и пушкинская Адель: «Играй, Адель, не знай печали... люби, Адель, мою свирель.» Интересно, что пермутация разветвляется: Адя может превратиться и в Асю, и в Аню.

Н. М. Демурова (6, 7) отмечает одну из возможных причин, по которой Набоков заменил Алису на Аню: иностранное имя «Алиса» в те годы связывалось прежде всего с императрицей Александрой Федоровной, урожденной принцессой Алисой (Alix) Гессен-Дармштадтской (1872–1918). «Возможно, Набоков хотел избежать упоминания имени несчастной женщины, убитой большевиками в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г.» В таком случае, Ася, обычное сокращение от Анастасии (Асей в семье звали, например, Анастасию Цветаеву, сестру Марины), может указывать на великую княжну Анастасию Николаевну («принцесса Ася» – дочь «королевы Алисы»). У Лидии Чарской («Волшебная сказка», 1915) есть «княжна Ася Ратмирова». Сомнения Ани в том, не Ася ли она, могут отражать тогдашние слухи о том, что Анастасия осталась в живых.

С другой стороны, Ася, конечно – имя хорошо известной героини Тургенева («Ася», 1858). Любопытно, однако, что тургеневская Ася на самом деле – тоже Аня! Рассказчик у Тургенева ("N.N.") объясняет: «собственное имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей, и уж вы позвольте мне ее так называть». Это необычное сокращение от Анны использовала также, явно под влиянием литературной героини, Ася (Анна Алексеевна) Тургенева (1890-1966), внучатая двоюродная племянница И. С. Тургенева и первая жена Андрея Белого.

«Я наверное знаю, что я не Ада... – рассуждает набоковская Аня. – У Ады волосы кончаются длинными кольчиками, а у меня кольчиков вовсе нет; я убеждена также, что я и не Ася, потому что я знаю всякую всячину, она же – ах, она так мало знает!» И действительно, ах: если бы наивные Аси и Лизы тургеневско-кэрролловских времен знали то, что знала их внучка Аня в Берлине 1923 года...

---

(1) Carroll, L. *Аня в стране чудес. Anya v strane chudes.* Translated from the English by "V. Sirin" (Vladimir Nabokov). Dover Publications, Inc., New York, 1976, 115 pp. (факсимиле первого издания: Л. Карроль. *Аня в стране чудес.* Пер. с англ. В. Сирина с рисунками С. Залшупина. 1923, Берлин: Гамаюн).

(2) Karlinsky, S. Anya in Wonderland: Nabokov's Russified Lewis Carroll. In: *Nabokov: Criticism, Reminiscences, Translations, and Tributes* (eds. A. Appel, Jr. & C. Newman). Evanston: Northwestern Univ. Press, 1970, pp. 310–315.

(3) Демурова, Н. М. Алиса на других берегах. В кн.: *Кэрролл, Л. Приключения Алисы в стране чудес. - Набоков В. Аня в стране Чудес. Повесть-сказка.* На англ. и русс. яз. М.: Радуга, 1992, С. 7–28.

(4) Флоря, А. «Ангельский язык» В. Сирина. «Алиса в стране чудес» в интерпретации В. В. Набокова. *Альманах переводчика.* М.: Российский Гос. Гуманитарный ун-тет, 2001, С. 50–54.

(5) Weaver, W. *Alice in Many Tongues: the Translations of* "Alice in Wonderland". Madison: The University of Wisconsin Press, 1964.

(6) Demurova, N. M. Alice speaks Russian: The Russian translations of *Alice's Adventures in Wonderland* and *Through the Looking-Glass. Harvard Library Bulletin*, 1995, 5 (4), pp. 11–29.

(7) Demurova, N. Vladimir Nabokov, translator of Lewis Carroll's *Alice in Wonderland.* In: *Nabokov at Cornell* (ed. G. Shapiro). Ithaca & London: Cornell Univ. Press, 2003, pp. 182–191.

(8) Толстая, Н. И. Русская сестра Алисы. В кн.: Кэрролл, Л. *Аня в стране чудес.* Перевод В. Набокова. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1992, С. 112–116.

(9) Connolly, J. W. *Ania v strane chudes.* In: *The Garland Companion to Vladimir Nabokov* (ed. V. Alexandrov). New York & London: Garland, 1995, pp. 18–24.

(10) Vid, N. Domesticated translation: The case of Nabokov's translation of *Alice's Adventures in Wonderland. Nabokov Online Journal*, 2008, 2, 24 pp.
http://etc.dal.ca/noj/volume2/articles/08_Vid.pdf

(11) Вдовенко, И. В. Расположение текста в пространстве культуры. *Науки о культуре – шаг в XXI век.* М., 2000.

(12) Вдовенко, И. В. *Стратегии культурного перевода.* СПб.: Российский ин-т истории искусств, 2007.

(13) Parker, F. *Lewis Carroll in Russia: translations of* Alice in Wonderland, *1879–1989.* New York: Russian House Ltd., 1994.

(14) Чарычанская, И. В. В чем вольность В. Набокова как переводчика «Приключений Алисы в Стране чудес»? *Вестник Воронежского Гос. Ун-та, Серия "Лингвистика и межкультурная коммуникация"*, 2005, 1, С. 80–83.

(15) Рушайло, А. М. От составителя. В кн: *Льюис Кэрролл. Алиса в Стране чудес. В Зазеркалье. Каталог выставки. Книги и графика из собрания А. М. Рушайло.* М., 1990, С. 7-16.

(16) Антоничева, М. Специфическая модель двоемирия в романе «Приглашение на казнь» В. Набокова и сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». www.relga.ru, 9 [131], 1 мая 2006.

УМЕР ПОЭТ ЛЕВ ЛОСЕВ
(1937-2009)

Шестого мая 2009 года после продолжительной болезни скончался поэт и литературовед, профессор Дармутского колледжа (шт. Нью-Гэмпшир) Лев Владимирович Лосев. Он родился в 1937 году в Ленинграде в семье писателя Владимира Александровича Лифшица. После окончания филологического факультета ЛГУ работал редактором детского журнала «Костёр». Псевдоним «Лосев» стал его фамилией после эмиграции из СССР в США в 1976 г. В 1974 году, после большого перерыва, начал писать стихи, а с 1979 года печатался, сначала в эмигрантских изданиях, а с 1988 г. и в России. Лев Владимирович Лосев являлся автором сборников стихов, книги об эзоповом языке в советской литературе и множества литературоведческих статей. Для его лирической поэзии характерны юмор, остроумие и ирония.

С. К.

В ГРОССБУХ

Я по природе из тетерь.
Не перечесть моих потерь –
стихов, приятелей, ключей,
в дымину пропитых ночей;
то телефонный разговор
похитит полчаса, как вор,
то дети как-то без затей
вдруг выросли – и нет детей.
Я давеча, страшась сумы,
у дара своего взаймы
решил спросить. Какой удар!
Мне отказал мой дивный дар.
И ты, Брут! Так сказать, et tu!
И ты показываешь тыл?
А Муза Памяти? Тю-тю,
ее давно и след простыл.
А Муза Разума? Она
сама в себе отражена
и не даёт, зараза, в долг.
Мой лучший друг, Тамбовский Волк,
мотает серой головой:
я, дескать, сам пустой, хоть вой.
Давно уж Музы ни гу-гу,
давно уже сидит в мозгу
бухгалтер, а точней – чекист.
Командует взять чистый лист,
число поставить, месяц, год
и записать: в расход.

И, наконец, остановка "Кладбище".
Нищий, надувшийся, словно клопище,
в куртке-москвичке сидит у ворот.
Денег даю ему – он не берет.

Как же, твержу, мне поставлен в аллейке
памятник в виде стола и скамейки,
с кружкой, поллитрой, вкрутую яйцом,
следом за дедом моим и отцом.

Слушай, мы оба с тобой обнищали,
оба вернуться сюда обещали,
ты уж по списку проверь, я же ваш,
ты уж, пожалуйста, ты уж уважь.

Нет, говорит, тебе места в аллейке,
нету оградки, бетонной бадейки,
фото в овале, сирени куста,
столбика нету и нету креста.

Словно я Мистер какой-нибудь Твистер,
не подпускает на пушечный выстрел,
под козырек, издеваясь, берет,
что ни даю – ничего не берет.

Гановер, Нью-Хемшер

ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ *

ПОЭТ, ДРУГ И ЗНАТОК ТВОРЧЕСТВА БРОДСКОГО – ЛЕВ ЛОСЕВ

Льва Лосева можно считать наследным принцем: он сын известного поэта и детского писателя Владимира Лифшица. Лев Владимирович родился в 1937 году в Ленинграде, окончил Ленинградский университет (отдел журналистики филологического факультета), затем работал редактором в детском журнале «Костер». Стихи начал писать поздно – в 37 лет. Почему? – В предисловии к своему сборнику «Чудесный десант» (1985), поэт пишет: «Может быть потому, что я родился в семье литераторов, рос в литературной среде, а такое детство по крайней мере избавляет от самоуверенного юношеского эпигонства, от преувеличенно серьезного отношения к собственному творчеству». Дальше Лосев приводит слова своего отца: «Двум Лифшицам нет места в одной детской литературе». Владимир Александрович и придумал псевдоним сыну – Лосев.

А толкнул Лосева на сочинение стихов отъезд Бродского. «Словно сработали какие-то компенсаторные механизмы, и, перестав быть непосредственным свидетелем творчества Иосифа, я незаметно для самого себя стал сочинять собственные стихи. Сочинял, как Бог на душу положит... Почти на бессознательном уровне было, однако, одно с самого начала ограничение: всё, что в возникавшем стихотворении отдавало Бродским – его интонацией, словарем, остроумием, – отбрасывалось», – пишет поэт в еще одном предисловии к своему сборнику – «Послесловие» (1998), который можно считать венком на могилу Бродского: «Через несколько недель после смерти Иосифа (28 января 1996) у меня стал возникать цикл стихотворений, прямо или косвенно связанных с его памятью...» Здесь, «против принятого правила, было много от него – его слова, его интонации, иногда прямые цитаты» (там же).

Да, литературного родства у этих двух поэтов нет. И между тем, Лосева можно считать единственным на сей день, глубоким знатоком творчества Бродского: он составил и отредактировал сборник статей «Поэтика Бродского» (1986) и совместно с В. Полухиной издал книгу «Поэтика и эстетика Бродского» (1990). А недавно в Москве вышла книга Лосева – «Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии» (2006) Был он так же и верным другом поэта, умеющим говорить о нем просто, без суперлативов и без агрессивности в адрес «другого лагеря». (Например, его спокойный ответ на солженицынскую статью о творчестве Бродского.)

Лосев эмигрировал в 1976 году в США, живет в Ганновере, (Новая Англия, шт. Нью-Хемпшир). Там он читает лекции по русской литературе в Дартмутском колледже, а летом десять лет преподавал в Русской летней школе Норвичского университета. (Школа закрылась в девяностых годах.) Есть у него строки о его педагогической деятельности: «...Однако что зевать по сторонам. / Передо мною сочинений горка. / «Тургенев любит написать роман / Отцы с ребенками». Отлично, Джо, пятерка!» Или этот гротеск из норвичского прошлого:

«Я И СТАРАЯ ДАМА» (НОРВИЧ, 1987-1997)

Жертва козней собеса, маразма, невроза,
в сальном ватнике цвета «пыльная роза»,
с рюкзаком за спиной, полным грязного хлама
в знойный полдень проходит под окном моим дама.
Так задумчиво, что и жара ей не в тягость.
Десять лет (т.е. лет – с июня по август)
после утренних лекций под окном ровно в полдень
наблюдал я цветочек этот Господень.
Будь я Зощенкой, Шварцом или Олешей,
я б сумел прочитать в этой всаднице пешей,
в этом ангеле, бледном от серого пота,
сладкозвучный оракул: «Нищета есть свобода»...

Вот авторский комментарий к портрету, нарисованному его сыном Дмитрием:

Очки мои, покидающие
лица моего границы,
два светлосиреневых глаза,
очерк носа неясен,
водопадом из шоколада
вниз борода струится, –
наверное, никогда еще
не был я так прекрасен...

Мне кажется, что из зарубежных поэтов никто не умеет так остроумно шутить, как Лев Лосев. Своих друзей он радует замечательными шуточными посланиями. Например, когда вышла книга Евгения Шварца с комментариями Лосева, он сочинил для немецкого слависта, ныне, увы, покойного Вольфганга Казака (ударение на первом слоге), такую дарственную надпись: «Дорогой профессор Казак, / Шварц не только мастер сказок, / он и в прозе был мастак, / уважаемый Казак». Немецкий ученый был в восторге от лосевской шутки, даже прислал мне ксерокопию дарственной надписи. А к тридцатилетию поэтического альманаха «Встречи», поэт прислал мне великолепное, мастерски написанное шуточное стихотворение. Не могу удержаться, чтобы не процитировать его полностью:

Что же делать русской лире
в неуютном этом мире?
Наши варварские речи
не оценят, не поймут.
Валентина! Ваши «Встречи» –
наш единственный приют.
Жили мы в тоске и страхе
посреди чужой земли,
только в Вашем альманахе
мы прибежище нашли.
Нет иных, а те далече,
но о том ли нынче речь?
Валентина, Ваши «Встречи» –
это место наших встреч.
из ньюгемпширской пустыни,
где забрался я на печь,
я желаю Валентине
долгих лет и многих «Встреч».

Признаюсь, что я до сих пор читаю этот маленький шедевр всем своим друзьям и не перестаю бормотать его для своего удовольствия.

Да, поэзию Лосева очень любят в современной России. Там выходят у него книги и его регулярно публикуют престижные толстые литературные журналы. Он награжден премиями фонда «Знамя» (1996), «Северная Пальмира» (1996) и «Либерти» (1999). То есть этот зарубежный поэт «дошел» до критиков и читателей современной Рос-

---

** Этот очерк был написан до смерти поэта (Ред.).*

сии.

В поэзии Лосева нет меланхолических стихов, о которых можно сказать, что они навеяны грустным, элегическим настроением, якобы необходимым настоящим лирикам. Он ироничен и самоироничен, но лосевская ирония разнообразна: от шутки и карикатуры на окружающее и на самого себя до трагичности, пусть замаскированной заземленными словами и отсутствием биения себя в грудь. Должно быть эта манера близка современному русскому читателю. Ведь сколько было произнесено торжественных слов и шумных речей, зовущих на славные подвиги во имя счастливого будущего и такого же настоящего. Сколько в литературе звучало громких бодрячков, выдававших желаемое за реальность. И что? Что от всего этого осталось? Нестройная колонна стариков, несущих выцветшие знамена. Что, кроме иронии могут они вызвать? Может быть осталось вот это?

...Водка выпита. Песенка спета.
Мы поели того и сего.
Как привязчива музыка эта.
Но важнее, важнее всего –
нет, не юмор, не хитрое что-то,
не карманчики с фигой внутри –
просто дерганье струн на три счета:
раз-два- три, раз-два-три, раз-два-три.
И такая ситуация:
...Я возьму свой паспорт еврейский.
Сяду на самолет корейский.
Осеню себя знаком креста –
и с размаху в родные места!

Есть у поэта заземленные строки с умеренной, но всё же, ненормативной лексикой, которую я до сих пор не приемлю. Да и некоторые журналы тоже до сих пор стыдливо ставят многоточия: «Коморка, Фолианты. Гном, / набитый салом и г...».

А в семистрофных «Стансах» Льва Лосева – трагическая ирония, если это даже можно назвать иронией:

Седьмой десяток лет на данном свете.
При мне посередине площадей
живых за шею вешали людей,
пускай плохих, но там же были дети.
Вот здесь кино, а здесь они висят,
качаются – и в публике смеются.
Вот всё по части детства и уютца.
Багровый внук, вот твой вишневый сад...
Еще я помню трех богатырей,
у них под сапогами мелкий шибзик
канючит, корчась: «Хлопцы, вы ошиблись!
Ребята, вы чего – я не еврей».
Он не еврей? Подымем, отряхнем.
Кило муки давали в одни руки,
И с ночи ждут пещерные старухи,
Когда откроет двери Гастроном...

Да, такое ушло далеко и от идиллического аксаковского Багрова-внука и от чеховского вишневого сада, который, кажется, рубят до сих пор.

ДЖОРДЖ КЛАЙН И ЕГО ИОСИФ БРОДСКИЙ

Для меня уже давно наступило время писать воспоминания. И по мере своих скромных творческих сил я стараюсь это делать. Неоднократно благодарю судьбу и повторяю, что она была ко мне необыкновенно щедра, потому что на своем жизненном пути я смогла встретить много замечательных, ярко одаренных людей. Из них, увы, большинство уже ушло в «лучший мир». Но всё же, и сегодня есть в Зарубежье *живые* свидетели – видевшие, слышавшие и сохранившие в памяти многое из того, что считали значительным всю свою жизнь. На них, мне кажется, сейчас нужно взглянуть попристальнее, спросить у них многое, узнать от них то, чего никто не сможет узнать позже, чего нельзя вычитать в книгах, то, чего никто не сможет объяснить потом – завтра или послезавтра. Ведь обидно полностью согласиться со словами Пушкина, что мы ленивы и нелюбопытны.

В русском Зарубежье, где за нами нет страны, нет корней, врастающих в родной грунт, проблема памяти ощущается особенно остро. Поэтому такой успех у читателей имеют целые выпуски «Нового журнала», посвященные эмигрантскому прошлому в той или иной стране, где жили, творили и умирали русские люди, выброшенные своей трагической историей из родного гнезда. Но хочется также отметить, что нередко и иностранцы размышляли и продолжают размышлять над сложными историческими событиями страны, в разное время лишившей множество людей родного крова. Так же они внимательно изучают (в прошедшем времени тоже) наше творчество, не угасавшее, а иногда и возникавшее за пределами России.

Одним из таких необыкновенно эрудированных, и совершенно «обрусевших» на русской философии и литературе американцев, можно назвать профессора Джорджа Клайна, первого серьезного переводчика на английский поэзии Иосифа Бродского. Проф. Клайн сыграл огромную роль в творческой судьбе нашего пятого, и на сей день последнего, лауреата Нобелевской литературной премии. Джорджа Клайна многие русские друзья-коллеги называют Георгием Людвиговичем. Правда, Борис Андреевич Филиппов, человек не только оригинальный, но и своевольный, дал ему отчество по своему вкусу: Львович. Нужно заметить, что и Георгий Людвигович допустил некоторую вольность: Людвигом назывался его дед, а не отец Аллен, родители которого не предполагали, что в будущем их внуку понадобится имя отца для русского отчества. По отцовской линии семья Клайнов была немецкого происхождения, по материнской – ирландского. Фамилия Клайн англизирована: Kline с немецкого K1ет. Аллен Клайн преподавал «бизнес», а затем работал в страховой компании. Он был участником Первой мировой войны, как потом участвовал во Второй его сын.

Джордж Клайн родился 88 лет тому назад в 1921 году в небольшом по нынешним понятиям городе Гейльсбург (Galesburg), штат Иллинойс. (В этом городе некогда родился известный американский поэт Карл Сандбург (1878-1967). Мать Джорджа умерла от чахотки в раннем возрасте, когда Джорджу было всего три года. Отец, следивший за его образованием, настаивал на «надежной» профессии, поэтому Джордж три года проучился в коммерческой школе.

С юного возраста Джордж Клайн увлекался Толстым, находил романтику в его идеализации русского крестьянства. Он считал себя пацифистом, поэтому особенно близко по духу было для него толстовское учение

о непротивлении злу насилием. И только после бомбежки Пёрл-Харбора его вера в непротивление поколебалась. В результате во Вторую мировую войну бывший толстовец прослужил штурманом в американской авиации. Но всё же, после войны его магистерская диссертация в Колумбийском университете была об этике толстовского учения о непротивлении злу насилием и критике этого учения (Вл. Соловьев, Франк (1), Ильин (2). В том же университете молодой человек получил докторскую степень за диссертацию «Спиноза (3) в советской философии». Джорджа Клайна можно считать прирожденным лингвистом. Он знал несколько иностранных языков: немецкий, итальянский, испанский, французский. Во время войны американский Департамент Юстиции предложил Клайну заняться русским языком, ставшим необходимым в военное время. И вот он стал изучать наш «великий, могучий» по звукозаписям. На всю жизнь у него в памяти осталось предложение: «Дедушка сидит в кресле и курит трубку». А после войны Джордж Клайн стал серьезно изучать язык в Колумбийском университете. Результат колумбийской учебы оказался замечательным.

Здесь можно вспомнить наше знакомство с Джорджем Клайном, возникшее где-то в начале семидесятых годов. Он преподавал тогда русскую философию и литературу в престижном старом учебном заведении – Бринмарском колледже. Этот живописный колледж, до сих пор сохранивший добротные старинные здания, весь утопающий в зелени, находится приблизительно в десяти милях от Филадельфии, где я живу по сей день. Он связан с именем знаменитой американской поэтессы Марианны Мур (1887-1972), в 1909 году закончившей здесь свое образование. До 2003 года проф. Клайн с семьей жил в соседнем с Брин Маром городке Ардмор, затем переехал в Южную Каролину, где живет по сей день.

Впервые мы встретились с ним на собраниях Филадельфийского литературного кружка, основанного в конце шестидесятых годов и просуществовавшего до начала восьмидесятых. Он часто бывал на собраниях кружка, где читались лекции на разные литературные темы. Выступали известные и менее известные «имена». Хорошо запомнилась встреча с Ириной Сабуровой, прилетевшей из Мюнхена, чтобы выступить и прорекламировать свою книгу «Королевство». Приезжали Борис Филиппов, Леонид Ржевский, Борис Нарциссов, Лидия Алексеева, Вячеслав Завалишин, Татьяна Фесенко. С грустью отмечаю, что никого из них уже нет в живых. А из членов кружка осталось, по моим сведениям, двое: Джордж Клайн и я.

Мне запомнилась наружность «обрусевшего» американца – Георгия Людвиговича. Высокий и стройный (помогла военная выправка?), светловолосый, светлоглазый, светлокожий. Его русский язык (говорил спокойно, ни с кем не спорил, чего не скажешь о некоторых других членах кружка, включая меня), был удивительно правильным, хотя в интонациях его речи слышалось англоязычное звучание. А падежи, ударения и прочие, часто непроходимые дебри сложного для иностранцев языка, ему удалось осилить. К моменту нашего знакомства проф. Клайн был уже «болен» поэзией Иосифа Бродского.

Но всё-таки, что же привело его к изучению русской философии, и затем к серьезному увлечению русской литературой? На это Джордж Клайн отвечает истинно в русском духе: Пушкин. (Вот именно: не он ли «наше всё»?) К тому времени будущий Георгий Людвигович великолепно знал и любил европейскую поэзию (немецких поэтов читал в оригинале), но поэзия Пушкина затронула в его душе какие-то новые струны. Он попытался переводить его, но тогда сей труд оказался молодому переводчику не по силам. В интервью с ним, опубликованном в московском журнале «Начала» (1993 № 3), Клайн говорит, что каждый русский интеллигентный человек любит стихи и поэтому он, любитель поэзии, чувствует себя русским, «хотя я здесь не рожден и не знал ни одного русского слова до двадцатилетнего возраста – всё-таки я чувствую себя русским душой». От иностранца такое часто не услышишь. В увлечении нашей поэзией, быть может, сыграло роль знакомство с творчеством индийского поэта-мистика Рабиндраната Тагора (4). Клайн, еще не знавший евразийцев, тоже считал, что русская мысль и культура являются идеальным мостом между восточной и западной культурой.

Помимо поэзии к русской философии молодого ученого притягивала и ее нравственно-духовная направленность. Всё это подкреплялось не только творческим, но и личным знакомством со всемирно известными русскими философами-богословами, после революции очутившимися на Западе. Они великолепно знали европейские языки и были, по словам Георгия Людвиговича, «космополитами в лучшем смысле этого слова». И: «Эти мыслители понимали значение зарубежной культуры и истории». По его мнению, в отличие от многих других, к этому типу эмигрантов позже принадлежал Иосиф Бродский.

По многим «зарисовкам с натуры» можно судить, что Джордж Клайн не только в университетах изучал творчество русских религиозных философов, но стремился лично познакомиться с ними, узнать их характер, их наклонности, увидеть их быт и затем, в совокупности с их трудами, создать свой, можно сказать, интимный, личный, а не книжный образ своих учителей-современников. Хотелось бы побывать и в России, но путь туда долгие годы был закрыт не только для эмигрантских богословов, но и для иностранца, слишком глубоко погрузившегося в изучение русской религиозной мысли. Однако времена меняются. Раньше в Советском Союзе имя проф. Клайна либо замалчивалось, либо предварялось негативными эпитетами. А сейчас в России он почетный член Общества историков русской философии им. Зеньковского (5).

И еще можно с уверенностью сказать, что Джордж Клайн по-настоящему знает русскую культуру, включая нашу дореволюционную, советскую и зарубежную литературу. Здесь можно отметить, что последнюю он знает, как пожалуй редко кто из американских профессоров-славистов. В его статьях то и дело встречаются имена эмигрантских авторов, например, Льва Лосева, Петра Вайля, Бориса Филиппова, Михаила Крепса, Нины Берберовой и многих других. А поэзию он любил всегда – англоязычную, немецкую, итальянскую и русскую. Георгий Людвигович искал и находил единство жизни с поэзией. И русский язык, как и другие иностранные языки, он осилил сравнительно быстро. Уже в 1956 году переводил Пастернака.

***

На Бродского мы за рубежом обратили особое внимание в 1964 году, читая прессу, подробно освещавшую возмутительный, по выражению Клайна «кафкианский», суд над «поэтом-тунеядцем». В статье «A History of Brodsky's Ostanovka v pustyne and his 'Selected Poems'», опубликованной в *"Modern Poetry in Translation"* (1996 № 10), Джордж Клайн так же пишет, что в том же 1964-м году «в Варшаве я встретил Северина Поллака, известного польского критика, переводчика Ахматовой и Пастернака. После нашей беседы о старших поэтах, он

вдруг спросил меня, что я думаю о поэтах более молодых, таких как Иосиф Бродский. Когда я ответил, что знаю предельно мало его стихов, он вытащил из пачки рукописей, лежавшей на письменном столе, листок папиросной копировальной бумаги с бледными буквами 'Большой элегии Джону Донну', датированной 1963 годом. С тридцатилетней дистанции я живо вспоминаю какое потрясающее впечатление от вступительных строк этого сильного стихотворения:

Джон Донн уснул, уснуло всё вокруг.
Уснули стены, пол, постель, картины,
уснули стол, ковры, засовы, крюк,
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.
Уснуло всё. Бутыль, стакан, тазы,
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда...
/ /
Подобье птиц, и он проснется днем.
Сейчас лежит под покрывалом белым,
покуда сшито снегом, сшито сном,
пространство меж душой и спящим телом...»

В этой же статье Георгий Людвигович пишет, что он «...сразу же распознал в авторе 'Большой элегии' выдающегося русского поэта».

С этого момента, то есть с середины шестидесятых годов, начался, непрекращающийся по сей день, интерес Джорджа Клайна к поэзии Иосифа Бродского. Совсем недавно он передал пять больших коробок своего архива с материалами, связанными с поэтом, в Йельский университет, где хранится весь архив Бродского. Но вернемся снова в прошлое.

Через несколько дней Джордж Клайн покинул Варшаву, не имея возможности взять с собой копию «Большой элегии». А она крепко запала в его душу. Он смог достать ее лишь в феврале 1965 года. И вот весной этого же года «Большая элегия» и три небольшие стихотворения Бродского появились в переводе Клайна в журнале Tri-Quarterly (№ 3, весна 1965).

Дальше вот как Георгий Людвигович описывает свою первую встречу с поэтом в Ленинграде в августе 1967 года: «Я послал по почте Бродскому копию заново отредактированного мною перевода 'Элегии' ... В обратном адресе я указал отель и номер своей комнаты. Через три дня в половине второго ночи меня разбудил резкий телефонный звонок. Это звонил Бродский, приглашавший прийти к нему позже в этот же день в знаменитую полуторакомнатную квартиру». Первые слова Бродского были: «Через порог нельзя» – реакция поэта на протянутую в открытую дверь руку американского гостя. Георгий Людвигович чистосердечно признается, что для встречи с двадцатисемилетним Бродским он заранее приготовил торжественную речь: «Нынешняя встреча с Вами является для меня как бы встречей с двадцатисемилетней Анной Ахматовой в 1916 году, двадцатисемилетним Борисом Пастернаком в 1917 году, или встречай с двадцатисемилетней Мариной Цветаевой в 1919 году». Дальше Клайн пишет, что ему совестно говорить об этом, но тогда он не столь хорошо знал и понимал поэзию Мандельштама, поэтому не включил и его имени в свое немного высокопарное приветствие.

После первого знакомства, Бродский и Клайн встречались почти ежедневно в течение целой недели. Затем часто встречались в следующем месяце – Клайн тогда снова прилетал в Ленинград. А когда уезжал, поэт сказал ему по-английски: «Не меняйтесь», и по-русски: «Храни Вас Бог, Джордж». И на прощанье попытался сделать ему, по словам самого Бродского, «царственный подарок» – книгу стихов Ахматовой с ее дарственной надписью: *Иосифу Бродскому, чьи стихи мне кажутся волшебными. 23 декабря 1963 г.* Растроганный Георгий Людвигович горячо благодарил поэта за щедрость, но принять такой драгоценный подарок не решился. Нужно сказать, что и у книг бывает *судьба.* В Америке Бродский подарил книгу Михаилу Барышникову, а тот позже пожертвовал ее Музею им. Ахматовой в Петербурге, где она бережно хранится по сей день. Так эта книга возвратилась домой. (Недавно Татьяна Сергеевна Царькова, зав. Рукописным отделом петербургского Пушкинского дома, сообщила мне, что ахматовский сборник называется «Стихотворения». Серия «Библиотека советской поэзии». Гослитиздат, Москва, 1961. Книга зеленого цвета, малого формата, поэтому Ахматова называла ее «лягушкой».)

Мне кажется, что далеко не всем читателям Бродского хорошо известна та огромная роль, которую сыграл в его творческой судьбе за рубежом Джордж Клайн. Начнем с того, что в 1968 году он привез поэту гонорар – почти 300 долларов за его первое зарубежное издание книги – «Стихотворения и поэмы» под редакцией Глеба Струве и Бориса Филиппова, вышедшее в 1964 году в издательстве Inter-Language Literary Associates, Вашингтон, Нью-Йорк. Боясь подвергнуть поэта опасности, редакторы не указали в книге своих имен. Струве написал предисловие под псевдонимом Георгий Стуков. Впервые Бродский увидел эту книгу, возвратившись из ссылки. Он был рад и в то же время разочарован выбором включенных стихотворений, многие из которых считал юношескими и уже не достойными публикации. Так же его раздражало количество ошибок и опечаток. Клайн пишет, что поэт, конечно, не мог не знать трудностей, сопряженных со сбором материала, чаще всего добываемого из самиздатских источников, не самых точных, и так же он должен был знать о проблеме невозможности связаться с автором для редакторской консультации.

В 1968 году Клайн тайно вывез рукописи множества неопубликованных стихов, не попавших в первую книгу «поэта-тунеядца», для запланированной второй зарубежной книги с предисловием Анатолия Наймана (6), поэта-друга Бродского. Иностранцы, занимавшиеся подобной «контрабандой», знали, что это сопряжено с риском. Как и другие, Клайн вероятно надеялся на русское «авось». Авось – дотошные таможенники не будут обыскивать очень тщательно, авось – не станут рыться в карманах добротной американской одежды. В противном случае «контрабандные» тексты были бы конфискованы, а «контрабандисту» не избежать неприятностей. Но «авось» сработало: стихи Бродского и предисловие Наймана («Заметки для памяти»), ради безопасности подписанное двумя буквами – Н.Н., благополучно достигли берегов Америки. И вторая зарубежная книга опального поэта – «Остановка в пустыне» с анонимным предисловием Наймана, вышла в Нью-Йорке в Издательстве им. Чехова, 1970. Клайн пишет, что это была первая книга, которую мог редактировать и контролировать ее содержание сам поэт. А на английском языке таким изданием стала книга *Selected Poems* (Избранные стихи) в переводе Джорджа Клайна, с предисловием знаменитого поэта Уистана Одена (7) и вступительной статьей переводчика. Впервые книга вышла в Англии в 1973 году, в престижной серии "Modern European Poets" (Современные европейские поэты). А затем прекрасное издание: твердый переплет, суперобложка (Нью-Йорк, Harper & Row), тоже 1973 год, год смерти Одена. А годом раньше Бродский навсегда покинул Советский Союз.

На вопрос кто бы из англоязычных поэтов мог напи-

сать предисловие к книге, Бродский назвал Одена, но выразил сомнение, что это возможно. Да, не говоривший по-русски Оден знал сравнительно мало зарубежных русских литераторов. Известно, что он был знаком с Юрием Иваском, общался так же с Василием Яновским (8), который долгие годы был его личным врачом, знал Аркадия Небольсина (9). А Клайн встречался с Оденом в Нью-Йорке еще в шестидесятых годах. И вот он передал Одену свои переводы с просьбой написать предисловие для первой книги стихов Бродского на английском языке. Он, конечно, понимал какой значительный вес придало бы книге предисловие всемирно известного англоязычного поэта. И это было бы большой честью для поэта, тогда еще более известного за рубежом нашумевшим ленинградским «процессом», нежели своим творчеством.

Нужно вспомнить, что позже, в начале своей нобелевской лекции, Бродский называет имена пяти поэтов, «...чье творчество и чьи судьбы мне дороги хотя бы потому, что, не будь их, как человек и как писатель я бы стоил не многого: во всяком случае я не стоял бы здесь». Трое из названных – русские: Мандельштам, Цветаева и Ахматова. Двое – иностранцы: Роберт Фрост (10) и Уистан Оден. Ни один из них не получил Нобелевскую премию.

Вот как оценил Оден в предисловии к *Selected Poems* поэзию Бродского на основании переводов Клайна: «Мое главное основание для уверенности, что переводы профессора Клайна достойны оригиналов, заключается в том, что они убеждают меня в выдающемся поэтическом мастерстве Иосифа Бродского...» И дальше: «Из этих переводов явствует, что мистер Бродский владеет многими голосовыми тональностями – от лирических ('Рождественский романс') до элегических («Стихи на смерть Т.С. Элиота») (11) и до гротескно-комических («Два часа в резервуаре»). Он может с равной легкостью владеть разнообразными ритмами и размерами, короткими строками, длинными строками, ямбами, анапестами, мужскими рифмами и женскими, как в «Прощайте, мадмуазель Вероника». Он так же замечает, что «мистер Бродский поэт не легкий». Я думаю, что многие из нас, русских, согласятся с этим замечанием знаменитого поэта.

В своей вступительной статье Джордж Клайн, с присущей ему природной скромностью, говорит не о сложности перевода, а о своеобразии поэзии Бродского. И в отдельной краткой (менее полутора страниц) заметке о своем переводе, он не жалуется на сложную работу переводчика, имевшего дело с автором, ожидавшим сохранения оригинальных ритмов, размеров и мужских и женских рифм, – всё это в переводе на язык, столь далекий от русского! В конце заметки Клайн благодарит лиц, включая Бродского, помогавших ему в работе. И заканчивает словами: «Я один, конечно, ответственен за любые погрешности, оставшиеся в этих переводах».

Много позже Клайн напишет в одной из своих статей, что некоторые строки Бродского просто непереводимы на английский язык. Например, есть у него такие две строки в длинном стихотворении на библейскую тему – «Исаак и Авраам»: «И снова жертва на огне кричит: / Вот то, что ИСААК по-русски значит». В первой строке скрыты буквы, образующие слово – Исаак: «И СновА жертвА на огне Кричит». Георгий Людвигович ответил мне на вопрос об этом ребусе, что, конечно, Бродский объяснил ему эту «головоломную» строку. Также Клайн пишет, что дактилические рифмы /форточку/кофточку/косточку/, нередко встречающиеся в русских стихах, обычно не употребляются в серьезной англоязычной поэзии. Дает он и другие примеры, несомненно интересные и полезные для профессиональных переводчиков.

В течение многих лет Джордж Клайн опубликовал целый ряд статей о творчестве Бродского. В них он подробно анализирует стихи поэта, написанные на разные темы, включая большую тему изгнания, Бродский говорил, что «может быть изгнание и есть для поэта естественное состояние». В обширной статье Клайна "Variations on the Theme of Exile" («Вариации на тему изгнания»), напечатанной в книге *Brodsky's Poetics and Esthetics* (под ред. Л. Лосева и В. Полухиной), 1990, автор делит эту тему изгнания на три части. Первая – стихи написанные в восемнадцатимесячной ссылке на родине. Вторая – стихи, написанные в феврале-марте 1972 года, в ожидании окончательного изгнания из России. Третья – стихи, написанные за рубежом – преимущественно в Америке, но включая стихи, написанные в Англии и Италии. Клайн приводит много строк из трагического стихотворения о разлуке – «Новые стансы к Августе», например вот эти: «И вот бреду я по ничьей земле /и у Небытия прошу аренду». И оттуда же о тонущем корабле:

Вода, как я вижу, уже по грудь,
и я отплываю в последний путь.
И, так как не станет никто провожать,
хотелось бы несколько рук пожать.

У путешественника и изгнанника, говорит Георгий Людвигович, – разное восприятие окружающего: путешественник жадно впитывает увиденное, изгнанник смотрит и видит неотчизну. Состояние, которое называется «культурным шоком», у Бродского длилось восемь месяцев, в течение которых он не мог писать.

Джордж Клайн сумел проникнуть в мировоззрение поэта и постарался понять манеру его письма еще в самом начале, если можно так сказать, творческой карьеры Бродского на Западе. Некоторые мысли о поэте и его творчестве он успел изложить во вступительной статье к книге своих переводов. Клайн отдает должное начитанности и удивительной, широкой эрудированности Бродского, не закончившего даже десятилетку. Поэт не только глубоко изучил творчество своих любимых авторов – Мандельштама, Цветаевой и Ахматовой, но хорошо ознакомился с Библией (Ветхим и Новым Заветом) и так же с греческой мифологией. Клайн приводит более десятка имен из античной мифологии, вдохновлявших строки этого «не легкого» поэта. Бродский знал и труды русских философов, таких как Вл. Соловьев, Бердяев (12) и Шестов (13). Последний, по словам Калина, был ему близок своим «экзистенциальным» ощущением непереносимого и не поддающегося рациональности, ужаса человеческого бытия.

Поэзия Бродского, говорит Клайн, глубоко личная, медитативная, «страдающая». Он постигает действительность за гранью видимого – любовь и смерть, общение, разлука, одиночество, страдание, предательство, грех и искупление. Его язык, лишенный всякой сентиментальности, поочередно то книжный, то разговорный. Он считает, что для Бродского самая глубокая трагичность заключается в необратимости человеческой разобщенности. И дает (в своем переводе) два примера, один из них отрывок стихотворения, посвященного оставшемуся в России сыну – «Одиссей Телемаку»:

...все острова похожи друг на друга,
когда так долго странствуешь и мозг
уже сбивается, считая волны,
глаз, засоренный горизонтом, плачет,
и водяное мясо застит слух.

Не помню я, чем кончилась война,
и сколько лет тебе сейчас, не помню.
Расти большой, мой Телемак, расти.
Лишь боги знают, свидимся ли снова.

Противостояние поэзии, религии и жизни мертвым вещам, особенно машинам, является основной темой стихотворения «Остановка в пустыне». Бессмертие поэту дает не цивилизация, а природа. Стихотворение «Прощайте, мадмуазель Вероника» не принадлежит к жанру любовной лирики. Это, по словам Клайна, «христианское размышление о крестных муках и постижение взаимосвязи любви эротической и любви искупляющей, жертвенной. В этом стихотворении есть мысль Достоевского, выраженная поэтом так: «в сумме своей наших дней объятья / много меньше раскинутых рук распятья». Из поэмы «Горбунов и Горчаков» (диалог двух сумасшедших, находящихся в психиатрической больнице) Клайн цитирует несколько строк – размышление о природе речи и молчания:

Молчанье – это будущее дней,
катящихся навстречу нашей речи,
со всем, что мы подчеркиваем в ней,
с присутствием прощания при встрече.
Молчанье – это будущее слов,
уже пожравших гласными всю вещность...

Вот заключительные строки вступительной статьи, напомним, написанной Джорджем Клайном в самом начале жизни поэта в Новом Свете: «Будет ли однажды Иосиф Бродский стоять рядом с этими четырьмя гигантами русской поэзии Двадцатого века /речь идет об Ахматовой, Пастернаке, Цветаевой и Мандельштаме – В.С./, быть может сказать еще слишком рано. Лично я уверен, что будет».

В одной из своих статей Георгий Людвигович рассказывает, что Бродский хотел, чтобы в книгу попали два, еще не переведенные стихотворения, написанные в 1972 году (год отъезда поэта из России), – «Одиссей Телемаку» и «Сретенье». В то время он гостил на даче в семье Клайнов и под рукой не было этих стихотворений. А книга была уже «в работе». Бродский спросил хозяина – есть ли у него на даче русская пишущая машинка. Нашлась портативная. На ней поэт по памяти отстучал «Одиссея Телемаку», и «Сретенье». Клайн успел их перевести и таким образом книга Бродского на английском заканчивается этими двумя стихотворениями. Книга посвящена памяти Уистана Одена.

В связи со многими стихами Бродского на религиозные темы, часто возникала дискуссия о его вере и религии. В беседе с Петром Вайлем на вопрос верует ли он, поэт ответил, что иногда верит, а иногда – нет. Георгий Людвигович считает, что этот ответ в духе Достоевского, одного из любимых писателей Бродского. Беседа с Ахматовой, – говорил он, или даже чаепитие с ней, может скорее сделать человека христианином, то есть человеком в христианском понятии этого слова, нежели чтение «надлежащих» текстов или хождение в церковь.

Из религиозной поэзии Бродского Клайн анализирует его рождественские стихи и обращает особое внимание на замечательное стихотворение «Сретенье». В христианских религиях Сретенье знаменует первое внесение во храм Младенца-Христа. Св. старцу Симеону было предсказано, что он сможет умереть только тогда, когда увидит Младенца. Вот первые две строфы «Сретенья» с типичными для Бродского анжамбеманами во всем стихотворении:

Когда она в церковь впервые внесла
дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро затеряны в сумраке храма.

Традиционно Сретенье Господне изображается с четырьмя фигурами: Дева Мария, Иосиф, пророчица Анна и св. старец Симеон. На вопрос Клайна об отсутствии Иосифа, поэт ответил, что не хотел вписывать значительную фигуру со своим именем. В конце стихотворения св. Симеон, увидевший и даже державший на руках Младенца, удаляется спокойно умереть: «Он шел, уменьшаясь в значеньи и теле...». И две заключительные строфы:

...он слышал, что время утратило звук.
И образ младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

Уменьшающуюся фигуру св. Симеона Клайн воспринимает символически: переход Ветхого Завета в Новый. Бродский сказал, что это правильное восприятие идеи стихотворения.

Статью о религиозности поэта, Клайн заканчивает так: «Независимо от личной веры или неверия Бродского, для читателей "Presepio" и других рождественских стихов, важнее всего то, что все они являются глубоко религиозными произведениями. Они наполнены благоговением пред Божественным и чувством, названным Отто (14) 'великой тайной Священного'».

Известно, что поэт имел много друзей среди третьей волны эмиграции. Я спросила Георгия Людвиговича с кем он общался из старых эмигрантов. Он ответил, что Бродский попросил познакомить его с о. Георгием Фроловским и с Ниной Берберовой. Знакомство состоялось в Принстоне, где они оба жили. В Лондоне он часто виделся с Исаией Берлиным (15), с которым Клайн познакомил поэта, будучи с маститым профессором в долголетней дружбе. Когда в 1987 году Клайн позвонил в Лондон, чтобы поздравить поэта с Нобелевской премией, тот ответил ему: «Поздравляю и Вас, Джордж» и добавил, что почти ежедневно общается с Берлиным. А в Нью-Йорке Бродский познакомился с Татьяной Яковлевой (в замужестве Либерман, 1904-1991)» известной своим кратким романом с Маяковским.

В одной из наших недавних бесед с Георгием Людвиговичем, я задала ему вопрос о трудном характере Иосифа Бродского, о котором писала даже Сюзан Зонтаг (16), долгие годы дружившая с поэтом. В книге Валентины Полухиной «Бродский глазами современников» (изд. журнала «Звезда», Петербург, 2006), приведено интервью с Зонтаг, в котором есть такие строки: «Наша дружба была очень бурной...» И: «Никто, не исключая самого Иосифа, не взялся бы утверждать, что у него хороший характер». По словам Георгия Людвиговича больше всего они ссорились из-за политики: Зонтаг придерживалась левых политических настроений. Клайн рассказывает, как был свидетелем не очень вежливого, мягко говоря, разговора Бродского с Сюзэн Масси (17). (Вероятнее всего, Масси не угодила поэту составленной ею антологией – *"The Living Mirror"*

(«Живое зеркало»), 197[2]> включающей стихи пяти ленинградских поэтов: Иосифа Бродского, Глеба Горбовского, Константина Кузьминского, Александра Кушнера и Виктора Сосноры.

Ну, а сам Джордж Клайн, был ли он когда-нибудь жертвой этого «плохого характера»? Однажды – да: в 1979 году в Кембридже. Бродский был переутомлен, в плохом настроении. Он выразил неудовольствие переводом Клайна «Двадцати сонетов к Марии Стюарт» и заявил Георгию Людвиговичу, что не хочет с ним выступать на каком-то, заранее запланированном, вечере. Тот, конечно, сразу же согласился с этим неожиданным решением поэта. Но позже, уже в Нью-Йорке, Бродский позвонил Клайну и извинился.

Сразу же после упоминания о кембриджском «инциденте» Георгий Людвигович начал рассказывать о необыкновенной щедрости Иосифа Бродского, часто помогавшего друзьям и знакомым, тратя на это большие деньги и тратя много времени. Так, например, он долго просиживал в больнице у постели умиравшего друга – Геннадия Шмакова. Его он ценил не только как друга, но и как чуткого, «лучшего» читателя. Есть у поэта стихотворение «Памяти Геннадия Шмакова» с такими строками:

Сотрапезник, ровесник, двойник,
молний с бисером щедрый метатель,
лучших строк поводырь, проводник
просвещения, лучший читатель!

Нужно вспомнить – в нобелевской лекции поэт говорит, что роман или стихотворение – это разговор писателя с читателем «...и в момент этого разговора писатель равен читателю, как, впрочем, и наоборот».

Известно также, что Бродский порекомендовал рассказы Сергея Довлатова престижному американскому журналу "The New Yorker". И я знаю, что монументальная эпическая поэма Стивена Винсента Бене (18) «Тело Джона Броуна» ("John Brown's Body"), в переводе на русский Ивана Елагина, была напечатана в издательстве «Ардис» (Энн Арбор, 1979) при содействии Бродского. Но главное – это Русская Академия в Риме, основанная поэтом и существующая по сей день. Туда могут приезжать русские писатели и художники, спокойно работать и жить какое-то время на полном иждивении Академии.

О Бродском написаны десятки литературоведческих статей на многих языках мира. Проф. Клайн считает, что лучше всех проник в сложную поэтику Бродского польский поэт и прозаик, лауреат Нобелевской литературной премии 1980 года – Чеслав Милош (Czeslaw Milosz). В его книге "To begin where I am" (Нью-Йорк, 2001) есть статья о Бродском. В ней Милош говорит о русском собрате по перу и эмиграции, что в стихах тот старался угодить не своим современникам, а предшественникам. Бродский сам называл их имена: Ломоносов, Державин, Кантемир, Цветаева, Мандельштам, Пастернак, Ахматова. Милош отмечает, что почти все стихи Бродского четко рифмованы и ритмичны. «Модернизм», то есть современную тягу в западной поэзии к «белому», нерифмованному стиху, он считал «вредной» для поэзии. Поэтому Бродский называл «традиционного» Роберта Фроста самым большим американским поэтом.

Иосиф Бродский умер сравнительно рано – в пятидесятишестилетнем возрасте. Он называл себя русским поэтом, английским эссеистом и американским гражданином (американское гражданство поэт получил в 1977 году.) Феномен жизни Иосифа Бродского поистине уникален. На Западе, как никто из зарубежных русских писателей, он был щедро осыпан всевозможными почестями: почетная докторская степень Йельского университета, Премия гения, Нобелевская премия, звание Поэта лауреата Соединенных Штатов (Poet Laureate of the United States), впервые присвоенное поэту, не родившемуся в США, и т.д. и т.д.

Многие читатели ждут, что в дальнейшем будет написана непредвзятая, беспристрастная биография – не только творческая – этого редкого, необычайного человека, с такой же редкой и необычайной судьбой.

---

(1) Франк Семен Людвигович (1877-1950), русский религиозный философ и психолог. Принадлежал к первой волне эмиграции.
(2) Ильин Иван Алексеевич (1883-1954), русский религиозный философ и политолог. Принадлежал к первой волне эмиграции.
(3) Спиноза Бенедикт (Барух), 1632-1677, нидерландский философ-натуралист и пантеист.
(4) Тагор, Рабиндранат (1861-1965), бенгальский поэт-мистик, прозаик, лауреат Нобелевской литературной премии 1913 года.
(5) Зеньковский Василий Васильевич (1881-1962), русский философ-богослов, священник. Читал лекции в Белградском университете, в Праге основал Российский педагогический институт, в котором возглавил кафедру экспериментальной и детской психологии. Принадлежал к первой волне эмиграции.
(6) Найман Анатолий Генрихович, 1936- . Поэт, мемуарист, переводчик поэзии. Был одним из близких друзей Бродского.
(7) Оден Уистан Хью (Auden Wystan Hugh, 1907-1973). Выдающийся англоязычный поэт. Родился и жил до 1938 года в Англии, затем переселился в США. После Второй мировой войны читал лекции в университетах многих стран мира. В 1947 году был награжден премией Пулицера.
(8) Яновский Василий Семенович (1906-1986), прозаик, мемуарист, редактор, врач. Принадлежал к первой волне эмиграции.
(9) Небольсин Аркадий Ростиславович (1932-), Монтрё, Швейцария. Историк-культуролог. Преподавал русский и французский языки в университетах Европы и США. Принадлежит ко второму поколению первой волны эмиграции.
(10) Фрост Роберт (1874-1963) знаменитый американский поэт, получил много почетных званий. Четыре раза был награжден премией Пулицера: 1924,1931,1937, 1943.
(11) Элиот Т.С. (Eliot Thomas Stearns, 1888-1965), знаменитый американо-английский поэт, драматург и литературный критик. В 1914 году переселился в Англию. Лауреат Нобелевской литературной премии 1948 года.
(12) Бердяев Николай Александрович (1874-1948), русский религиозный философ-мистик. Принадлежал к первой волне эмиграции.
(13) Шестов Лев Исаакович (наст. фамилия Шварцман, 1866-1938). Русский философ-экзистенциалист и литератор. Принадлежал к первой волне эмиграции.
(14) Отто Рудольф (1869-1937), немецкий теолог, профессор Марбургского университета.
(15) Берлин Исаия (1909-1997), историк русской литературы, критик, эссеист, профессор Оксфордского университета. Принадлежал к первой волне эмиграции.
(16) Зонтаг Сюзан (Sontag Susan, 1933-2004), американская писательница, эссеист и критик.
(17) Масси Сюзэн (Massie Suzanne, 1931-), Знаток русской культуры, писательница, эссеист, автор книги "Land of the Firebird" («Страна Жар-птицы, 1980).
(18) Бене Винсент (Benet, Stephen Vincent, 1808-1943), американский поэт и прозаик.

ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН

ЕДИНСТВЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
(Из новой книги)

Тропинка поверх барьеров

Наташа Дорошко-Берман прошла по жизни неприкаянно и весело. Когда мы познакомились с ней, я сразу понял: она – из той породы людей, которых называют «искателями истины».

Металась из страны в страну, из города в город, от одного увлечения к другому: изучала йогу, саентологию, магию, соционику, иудаизм (одно время занималась даже в иешиве, готовящей реформистских «раввинов»); на Украине преподавала английский, работала библиотекарем, в эмиграции – как многие – нянчила богатых старух; писала стихи, прозу, песни, картины...

Где бы ни появлялась, сразу обрастала друзьями. Но верно подметила бард Катя Капельникова: в развеселой шумной стае она держалась "особняком". Я тоже думал о ней не раз: одинока, как бывают – естественно и беспечально – одиноки гении.

Наташа умерла в Израиле в последний год прошлого тысячелетия. За несколько месяцев до смерти ей исполнилось сорок восемь лет.

«Повесть несбывшихся надежд»... Так назвала она книгу своих рассказов, которую готовила к печати, боясь не успеть.

Конечно, в названии легко заметить подведение итогов. Легко угадать мысль автора: завтрашний день, суливший так много, уже никогда не наступит.

Ничуть не споря с этим, все же не сомневаюсь: Наташа успела, смогла реализовать свой поистине особенный дар.

Разумеется, не в том дело, что талант ее был столь многогранен (само по себе это нередко не только не помогает творческому движению, но даже мешает: автор суетливо мечется, пытаясь сделать выбор). Как известно, литературный успех коренится в другом: в ракурсе взгляда писателя на мир и человека, в творческой воле автора, в интонации его голоса.

1. Голос Натальи Дорошко-Берман был на редкость чист. И, может быть, именно это прежде всего притягивало каждого, кто знакомился с ее творчеством.

Первая книга Наташи – «Песни» – вышла довольно поздно, в 1991-м. Автору было уже под сорок. Тем не менее не приходилось сомневаться: перед читателем – подлинный лирический дневник, своего рода «молитва души» (Блок).

Вот лишь несколько строк из этого сборника. Лишь одно признание, связанное с тем, что так долго казалось ей «окончательным выбором»:

О, родные мои, не зовите меня
В те чужие далекие страны.
Пусть останусь одна, пусть медвежья страна
Так обнимет меня, что изранит.
.....
Пусть сегодня тюрьма, а назавтра сума,
Пусть живу в ожиданьи погрома,
Я печали свои выбираю сама,
Я счастливей, я все-таки дома.

Книга вышла в серии «Старт». Увы, от старта до финиша было совсем близко. Спустя всего десять лет я держал в руках тоненькую рукопись: Наташа составляла ее в палате иерусалимского госпиталя.

Я долго думал о том, почему появилась эта рукопись. Скорее всего, автор решила отобрать *самое-самое* из написанного. Попробовал по-своему реконструировать *путь*... Однако понял: точнее произнести слово *прощание*.

Боюсь, что не встречусь с тобою,
Наш день, наш ручей пересох,
И сердце исходит любовью,
Тоски обнажая песок...

Вот почему старые стихи Наташи, давно ставшие песнями, так органично сосуществуют здесь с новыми, неопубликованными. И горько-понятен их адресат.

Оглядываясь назад, заглядывая в себя, она набрасывает портрет поколения:

...Как мало нам силы дано!
Мы дети оглохшего века,
У нас истрепалась давно
Одежда из плача и смеха.

А вот совсем о другом. Строки, похожие на прозрения, – они часто приходят к человеку на пороге небытия:

Смерть не точка, она многоточие в звездном полете.
Сбросит кожу душа и себя вдруг узнает опять...

Иногда же вдруг кажется, что автор настойчиво повторяет, даже внушает себе:

Не горюй, не прощайся,
лишь небом взмахни, как платочком...

Небольшая рукопись – всего двадцать стихотворений – напомнила мне сложное музыкальное произведение. Древняя, как искусство, тема прощания человека с жизнью здесь, конечно, главная: развивается, достигает апогея, а потом стихает:

...Я, как за иголкою нитка,
За следом повьюсь до конца,
Но бабочка я однодневка,
Моя облетает пыльца.
Прощайте, июньские зори.
Мир снова недвижен и тих,
И гор золотые узоры
Стираются с крыльев моих...

Она, как могла, боролась со смертью – до конца. Однако, перечитывая в эти дни свои стихи, отбирает прежде всего те, где нет сожаления и надрыва. А есть ощущение вечности.

2. Совсем иначе голос Натальи Дорошко-Берман звучит в прозе. Сюжеты ее рассказов, как правило, трагичны. Но автор говорит о своих героях, словно бы отстраняясь от них, зачастую – спокойно, даже с усмешкой.

Разумеется, между ее прозой и поэзией нет непроходимой грани (все дело, повторяю, лишь в ракурсе взгляда на жизнь, в жанре, в интонации). И, задумавшись сейчас о прозе Наташи, я слушаю одну из ее песен:

Кружатся, кружатся листья осенние,
Кружатся люди, желая спасения.
Если кружиться, кружиться, кружиться,
То создается иллюзия жизни...

Почти вся ее проза – об «иллюзии жизни», о бесконечном «кружении», которое человек принимает за суть. Свое предисловие к книге «Повесть несбывшихся на-

дежд» писатель Михаил Хейфец назвал (перефразировав Ахматову): «Одинокий человек на голой земле». Жаль, что не бывает предисловий из одного предложения. В сущности, тут добавить почти нечего.

Конечно, в искусстве любая идея реализуется с помощью художественного приема. Короткие – порой в несколько страничек – рассказы Наташи похожи на переходы в бесконечном лабиринте. В лабиринте живут люди, для которых часто не существует морали. Они дружат и – спокойно предают друзей. Они создают семьи и – тут же, сами, не задумываясь, разрушают их. Кажется, они ищут свой путь, занимаясь с восточными гуру или споря о философах, которых так и не успели прочитать... Но при этом годы тонут в «словах, словах, словах».

Ну, а что автор? Да ничего! Автор ироничен и, разумеется, не пытается никого судить. Автор как бы напоминает нам: наивно требовать от писателя быть «учителем жизни». У искусства – другие задачи. И – другой язык. Однако вот парадокс: «страшные» рассказы Наташи после прочтения оставляют ощущение чистоты...

Что же происходит в сознании читателя? Об этом когда-то точно сказал поэт Борис Чичибабин. Он писал, представляя книгу Наташи «Водоворот» (Харьков, 1994): «...Ну вот у меня непроизвольно и вырвалось слово "Бог". Скорее всего наш автор в Него не верит, но это не имеет никакого значения. По-моему, проза его религиозна в самом высоком смысле этого слова. Она религиозна, потому что показывает, как бессмысленна, беспросветна, жалка и ужасна жизнь без Бога, жизнь, устроенная не по Его мудрой и доброй воле, а по дурацкому, жестокому и несчастному человеческому своеволию».

В еще большей степени этот *прорыв к вечности* я ощущаю в песнях Наташи. Автор там поднимается над своей судьбой, заранее предвидит и осмысляет ее...

3. ...Слушая песни Наташи, я нередко не мог удержаться – тут же писал ей открытки: сначала в Харьков, откуда она так долго не хотела уезжать (точнее – куда так упорно возвращалась), потом – в Израиль. Она отвечала короткими, энергичными письмами. В них не было жалоб, хотя ей становилось все хуже, и уже никто, в том числе сама Наташа, не сомневался в диагнозе: лимфома.

Не пишу о ней воспоминания. Не хочу подробно рассказывать об удивляющем многих сюжете Наташиной жизни, в которой, конечно же, была своя внутренняя, упрямая логика. Все же вспомню, как мы познакомились. Давно замечено: именно во время первой встречи возникает, может быть, самый точный образ человека.

Осенью 96-го я получил письмо из Иерусалима, от Михаила Хейфеца. Бывший политзэк, он обладает не только даром писателя-историка, но и не менее редким даром обостренно чувствовать чужой талант. Когда-то Хейфец нашел несколько Наташиных рассказов в редакционном самотеке, а потом опубликовал их в русских газетах Израиля. Так вот, Михаил Хейфец писал мне: сейчас Наташа Дорошко в Чикаго, пожалуйста, поддержите ее...

Вскоре мы встретились у нас дома и – долго пили чай. Она рассказывала о себе: о детстве – в Ужгороде, где родилась в семье знаменитого математика Самуила Бермана; о юности – в Харькове; о том, как пела в метро; как писала рассказы – мучительно стараясь дистанцироваться от своих героинь, очень похожих на автора.

Она говорила легко, с редкой непринужденностью и доверчивостью. Но я запомнил ее напряженную осанку. А на лице как-то отдельно друг от друга жили улыбка и совершенно серьезные, часто – печальные глаза.

Тот же «оксюморон таланта» (соединение, на первый взгляд, не соединимого) я потом находил и в прозе Наташи. В подобном сочленении (идет ли речь об искусстве или о человеке) всегда есть притягивающая и, в сущности, не разгадываемая тайна.

4. ...Еврейский мотив – далеко не самый главный в творчестве Натальи Дорошко-Берман. Но из наших разговоров с Наташей знаю: мотив не был случайным.

Ее «еврейские» рассказы часто фантасмагоричны. И это всегда подчеркивает сложный замысел автора.

В рассказе «Сомнамбула» старик-еврей учит идишу встреченную им случайно, в магазине, девушку. Они увлекаются, думают даже о специальных передачах по телевидению. Хотя, кроме них, никто в городе не понимает эту «забытую плачущую гортанную речь». Причем же здесь телевидение? «Видите ли, – жалко объясняет старик, – властям хочется сделать вид, что все здесь с евреями в порядке. Даже лучше стало. Вот и передачи на еврейском появились. Давайте подыграем им... Давайте тоже сделаем вид, что все в порядке, а?»

Рассказ «25 февраля» пронизан ожиданием погрома. Ожидание это абсолютно реально (я тоже хорошо помню атмосферу, в которой жили евреи во многих регионах СССР в 1989-1990 годах). Фантасмагоризм же рассказа связан с образом и судьбой героини (между прочим, тоже совершенно реальной) – «восьмидесятилетней Броней, которая у себя дома за весьма умеренную плату занималась со мной йогой».

Впрочем, иногда мысли и чувства автора ничуть не скрыты. В «Песне без слов», в той же «Сомнамбуле» так явственна нежность повествователя к прошлому своего народа, его культуре – оказывается, все это живо где-то в подсознании, хотя, казалось, «давно схоронено под пеплом воспоминаний».

5. ...Письма от Наташи приходили все реже. «...Готовилась не жить, а умирать, и писать как-то было не о чем», – заметила она однажды.

Но она до конца оставалась творцом, а значит – ее боль, ее *прощание* становились материалом искусства. Не случайно израильский госпиталь – место действия самых последних рассказов Наташи.

О чем эти рассказы? О смерти и ожидании ее.

«Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор», – заметил когда-то Франсуа Ларошфуко. Понятно, настоящий писатель легко опровергает эти слова. Наталья Дорошко-Берман всматривается в смерть пристально, подчеркну: в *собственную* приближающуюся смерть.

Но сразу уточню и другое. Вот один из лучших рассказов Наташи – «И знала я, что расплачусь сторицей...» Нет, это все же не повествование о физиологии ухода, это не просто новелла о встрече в госпитале мужчины и женщины, которых, как магнитом, притягивает друг к другу, хотя женщина – на самом краешке жизни. Автора прежде всего занимает тайна кармы и философия смерти.

Весь рассказ – развитие одного (некошерного для евреев) образа. Итак, медбрат, с которым знакомится Валя в госпитале, когда-то выращивал, а потом убивал свиней. И до сих пор пленен мрачной магией перехода от жизни к смерти: «Ты не представляешь себе, что чувствуешь, когда ... на твоих глазах душа живого существа отделяется от тела. Это как оргазм, да нет, почище оргазма. Потом уже не можешь без этого. Хочешь еще и еще».

А теперь выслушаем героиню. Всмотримся в трансформацию того же образа. «Она давно, чуть ли не с детства знала, кто она. И все в доме так ее и звали: "Свинушок, свинушок", и это звучало не оскорбительно, скорее даже ласкательно. Просто и мама, и папа, и сестры поняли и почувствовали ее природу и не бранили ее, не осуждали. Мама и сестры до блеска убирали, натирали квар-

тиру, а ей милее всего был свинюшник...» Речь тут, конечно, не о том, что называют неаккуратностью. Речь – о глубинном, о сути: «Мужчины никогда не сходили по ней с ума. Слишком очевидным для них становилось то, что никакая она не женщина. Ну пойти с ней в лес, на речку, а дальше что?» Сама героиня открывает это в себе рано: «Но я же знаю, кто я! – оправдывала себя Валя. – А свиньям чаще, чем раз в году, это не требуется». И еще важно: она «где-то в глубине души всегда знала, что ей суждена короткая жизнь, потому, верно, и стремилась ничем себя не обременять и жить беззаботно и счастливо. Свиньи, наверное, тоже предчувствуют свою гибель, но предпочитают не задумываться, а жить сегодняшним днем».

Сегодняшний день героини – это госпиталь, «у нее серьезно задеты легкие, и никакая химиотерапия ей уже помочь не может».

Она не нуждается в утешении. Она твердит про себя ахматовские строки: «И знала я, что заплачу сторицей в тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме, везде, где просыпаться надлежит таким, как я...» Расплата? Болезнь не кажется несправедливостью, но все-таки, все-таки... Надежда остается.

«– Врачи говорят, что спасти меня может только чудо! – взглянула она на свинореза.

– Чудо? – задумался он, и глаза их встретились, и она вздрогнула от его взгляда.

– Мне кажется, я мог бы спасти тебя, – улыбнулся он. (...)

Она не помнила, сколько ждала его. И когда, даже не раздеваясь, он повалился на нее, когда вошел в нее и задвигался в ней, она еле сдержала крик боли и наслаждения. По его желанию она то взлетала, то падала, то танцевала какой-то немыслимый танец, и ей захотелось сказать: "Я люблю", но она не смогла вымолвить ни слова. Ее легкие издали что-то помимо ее воли, и это было хрюканье, натуральное хрюканье. И он услышал этот столь знакомый ему призыв и, напрягшись в немыслимом, давно позабытом экстазе, по самое сердце вонзил в нее свой нож.

И, раскинув руки, она лежала в тени и прохладе. А листва шумела над ней все глуше и глуше...»

Да, Наташины рассказы о смерти похожи на притчи. Притчей, в сущности, является и новелла «В ожидании Инночки». Притчей о поиске «конечной истины»: она всегда (даже в преддверии смерти) ускользает, прячется от человека – как «прячутся» от героев рассказа витражи Шагала, украшающие госпитальную синагогу.

В том же 96-м, когда мы познакомились, вышла моя книга «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти». И Наташа вновь и вновь возвращалась в наших разговорах к этой теме. Думаю, причина ее интереса была не только в той же уверенности: «ей суждена короткая жизнь». Как писатель она не сомневалась: смерть – именно та точка, откуда хорошо открывается «человеческий космос».

Закономерен в этом цикле рассказ «Свидание» – из сборника «Повесть несбывшихся надежд». Сорокапятилетняя женщина умирает в туристическом автобусе по дороге в Варшаву, но – странно – ее существование продолжается... Нерв рассказа – это постепенное осознание героиней банальной, вроде бы, истины: жизнь тела, с которым в течение десятилетий связано было так много страданий, оказывается, столь мало значит! И так трудно сразу войти, полностью погрузиться в свою единственно *подлинную* жизнь... Вот Саша словно со стороны услышала: кто-то вызывает скорую, но «вдруг поймала себя на полном безразличии и к этой женщине, и к ее смерти». А потом она исполнит свое давнее желание – разыщет в Варшаве подругу матери, профессора физики тетю Лелю, которую видела лишь однажды, в детстве. Та давно умерла, но их свидание состоялось.

«Леля подняла на нее тяжелые, немигающие глаза.

– Послушайте, – непонятно чего испугавшись, вскочила Саша. – Я должна бежать. Сейчас уже пять, и мой автобус уйдет, так меня и не дождавшись.

– Твой автобус давно ушел, – одними губами произнесла тетя Леля. – Еще тогда, когда ты ехала в Варшаву, еще тогда...

– Что? – вздрогнула Саша. – Что вы хотите этим сказать?

– Ты и сама все знаешь, – глухо, как из-под земли, отозвалась тетя Леля. – Ты же сама только что рассказала мне, как это случилось с тобой.

– Но это было не со мной! – схватилась за сердце Саша. – Это была другая, совсем другая женщина. Мы отправили ее в морг, а сами...

– Уехали смотреть Варшаву, – расхохоталась тетя Леля. – Я уже слышала этот бред. И не кричи ты так. Всех перебудишь. Лучше устраивайся поудобней, лучше поспи, поспи с дороги».

Смерти нет? – переспросит читатель. Скажем иначе: мы видим в рассказе жизнь человеческой души, для которой не существует барьеров времени и пространства.

6. Повторюсь: Наташа не раз говорила мне об автобиографичности своих рассказов. Я не верил: слишком невероятными, жесткими, нередко «жестокими» были эти истории. Однако мама и братья Наташи подтвердили сейчас: да, почти все – так или иначе – происходило с ней самой.

Писала урывками, торопливо – в перерывах между поездками, встречами, захватившими ее очередными увлечениями. Должно быть, считала: ее писания – только черновик, к нему рано или поздно придется еще вернуться. Символично: все прижизненные книжки Наташи изданы небрежно, полны опечаток, которые – даря свои сборники – она старательно исправляла. (Однажды опечатка вкралась даже на обложку – в фамилию автора).

Мне кажется теперь: сама жизнь Наташи тоже походила на черновик – не случайно *напоследок* она пыталась многое переосмыслить, переписать набело.

Смерть, как известно, несет в мир не только боль и утраты: катарсис, которым увенчана трагедия, преобразует хаос бытия. Через год после того, как Наташи не стало, ее друзья Инна и Евгений Захаровы выпустили в известном харьковском издательстве «Фолио» прекрасный двухтомник ее произведений: стихи, проза, живопись (составитель Михаил Красиков). Здесь-то я и прочитал страничку из дневника Наташи. Она опять – отстраненно и без иллюзий – пересматривает свою жизнь, фиксирует мысли, которые кажутся ей голосом собственной воли:

«...У тебя нет стремления свить гнездо. У тебя нет стремления к созиданию. У тебя нет дома, ты растворена в пространстве. Растворяйся дальше, это твой путь...

И последнее: ты – тупиковая ветвь своего рода, после тебя не останется ничего. Твоя проза умрет еще раньше, чем ты. "Что же мне остается в жизни?" – спросишь ты. Только одно: быть счастливой. Ты это умеешь. Это единственное твое достоинство. Не ищи цели в жизни и ее оправдания. Жизнь сама есть и цель и оправдание, и много больше того.

А теперь признайся: ты счастлива даже здесь, теперь, на больничной койке... Все, что было, – только краткая остановка на твоем пути. Не пугайся, что Бог покинул тебя. Я, твоя воля, твоя доля, – с тобой».

Не автору судить о судьбе своих книг. Наташа ошибалась и в другом. Бог никогда не покидает нас. Он только

отдаляется порой – испытывает человека, как испытывал Иова.

Узнав о смерти Наташи, я подумал: чистая, бессмертная ее душа скоро и счастливо соединится с нашим Создателем.

Человек и судьба «по ту сторону слов»

Когда в середине восьмидесятых я познакомился с литовским поэтом Альфонсасом Буконтасом, я не догадывался: та встреча заставит меня многое в жизни переосмыслить...

Наверное, это показалось бы странным и самому Буконтасу. Повлиять на ход чужой жизни? А он избегал даже резких движений, морщился, услышав громкие голоса. Долгие десятилетия существовал, словно не выходя из тени. Конечно, читатели Литвы знали Буконтаса как своеобычного лирика, блистательного переводчика древней и современной поэзии. Но примечательно: он никогда не участвовал в дискуссиях, чурался споров, месяцами не заходил в Союз писателей, а порой вообще исчезал из поля зрения, даже друзья гадали – то ли Альфонсас уехал в родную деревню, то ли не хочет отвечать на звонки...

Я нарисовал портрет типичного чудака? Все, однако, не так просто. С юности Буконтас научился легко отбрасывать суету жизни, потому что привык ежедневно ждать смерть. Она могла прийти в любую минуту.

Серьезная болезнь сердца во многом определила его характер, быт, но – одновременно – обострила восприятие мира... Разумеется, характер остался прежним и после того, как произошло чудо: немецкая журналистка Mariana Butenschon написала об Альфонсасе серию статей, собрала деньги для того, чтобы он смог приехать в Германию, нашла хирурга, который бесплатно сделал операцию... Недавно Буконтас написал мне: «После моей операции прошло десять лет, все эти годы были мне подарком».

Но я, кажется, забежал вперед? Помню, тогда, в восьмидесятые, прекрасная украинская поэтесса София Майданская, с которой мы часто говорили о сочленении космического и национального в творчестве, не уставая, твердила мне:

–Вы обязательно должны познакомиться с Альфонсасом Буконтасом...

Я не понимал причину такой настойчивости. А София не отвечала. Может быть, как большинство поэтов, она просто обладала даром предвидения.

В те годы я все глубже погружался в иудаизм, начал записывать устные рассказы советских евреев. Несколько поколений (миллионы людей), думал я, уйдут в небытие, так и не рассказав горькую правду о себе и своем времени, когда само слово «еврей» было по сути непроизносимым на языках народов СССР... Мне казалось: история «евреев молчания» (так назвал своих соплеменников в СССР нобелевский лауреат Эли Визель) скрывает в себе множество тайн.

Пора уже сказать: с тайны началась жизнь Альфонсаса Буконтаса. Многие годы тайна оставалась неразгаданной.

1. В иудаизме есть такое понятие – «украденные дети». Это словосочетание сразу отзывается в сознании резкой болью. Суть не меняется оттого, что внутри понятия – метафора: речь – о людях, воспитывавшихся в отрыве от национальной традиции. Увы, большинство евреев, родившихся в СССР, были именно «украденными детьми»...

Так бывает не часто: «случай Буконтаса» типичен и уникален – одновременно. Альфонсас не раз рассказывал мне свою историю, однажды я записал ее на магнитную пленку. История эта вполне может стать сюжетом большого романа, однако попытаюсь передать ее коротко.

В его документах очень долго значилось: родился 11 сентября 1941 года в деревне Дапшяй Мажейкяйского района Литовской Республики в семье Яронимаса и Марии Буконтасов. Скажу сразу: это были святые люди – они спасли ребенку жизнь. Тем не менее документы лгали. Правду Альфонсас начал узнавать подростком – постепенно, мучительно: его настоящими родителями были евреи. Когда в 54-м году он приехал продолжать учебу в соседнее местечко Жидикай, здесь многие помнили его отца-адвоката и мать-зубного врача, его шестилетнего брата (их всех уничтожили в годы войны). Альфонсас уже был влюблен в литературу, почти каждый день приходил в библиотеку: оказалось, там до войны жила его семья...

В этой истории потрясает не только трагический сюжет, *заметный* всем; поражает то, что казалось людям обычным, *само собой разумеющимся*. Так естественно для себя местный ксендз Вацловас Мартинкус разрабатывает и осуществляет план спасения еврейского малыша: отправляет его на дальний хутор, там крестит, потом стойко выдерживает допросы в полиции. Литовские фашисты грозят сестрам Марии Буконтене и Елене Лауайтене расстрелять их семьи, но те, не колеблясь, отказываются отдать ребенка. Сложную игру несколько лет ведет Яронимас Буконтас: он задабривает немцев и полицаев деньгами, водкой, бесконечными застольями... В конце концов это и становится причиной его гибели: когда в Литву вернулись Советы, Яронимаса арестовали по обвинению «в сотрудничестве с немцами». Из лагеря он не вернулся.

Не забудем однако: тут есть еще один сюжет – «история души» еврейского мальчика. Этот сюжет, в основном, разворачивался уже после войны.

Еврейский мудрец ребе Рашаб сказал когда-то: люди состоят из трех слоев. Есть «внешний человек». Есть «средний человек». Есть «внутренний человек». Сколько бы ни испытывала, сколько бы ни ломала нас среда, лишь первые два слоя могут быть повреждены. Внутренний же человек никогда и ничем не может быть исковеркан. В рассказе, который я записал на магнитофон, Альфонсас на редкость точно реконструирует жизнь своего «внутреннего человека». Вот несколько фрагментов оттуда.

«Реальный мир моего детства – это большой деревенский дом. Я ощущал его почти как живое существо. Хорошо знал все его звуки, помнил запахи. Мне казалось, он был огромным и – при необходимости – мог вместить очень многих людей. Когда в деревню приезжали командированные – ветеринар, трактористы, учителя, инженеры – председатель колхоза всегда направлял их к нам. И чистые, светлые комнаты дома открывались навстречу новым и новым людям... Дом был добрым».

Тепло добра согревало душу: *«Я помню те первые дни, когда с нами жил отец... Игры с ним, прогулки по саду, среди полей... Помню, как сказочно цвел горох... Неподалеку был большой пруд, где водилась рыба».*

Однако мир сразу оказался расколотым, в душе жила не только любовь – очень рано поселился страх: *«Я всегда чувствовал, что чего-то должен избежать. Мне было хорошо среди близких, но когда в доме появлялись чужие, знал: нужно уйти, спрятаться».*

Дело не только в таящейся – почти всюду – опасности. «Украденный ребенок» безошибочно фиксирует свою чужеродность окружающему миру. Точно лакмусовая бумажка, это проявляли праздники: *«...В большой комнате собиралось очень много людей, накрывали праздничный стол, пели... Я опять уходил: мне становилось*

так одиноко, что я плакал. Даже сами песни казались чужими. Я чувствовал, что отделен от всех большой стеной... В дни массовых национальных гуляний все повторялось. Я ощущал, как остаюсь в стороне... И никак не мог себе этого объяснить. Наверное, то было что-то глубинное, какая-то – совсем другая, чем моя, – эстетическая волна подхватывала всех, кроме меня».

Самонаблюдения «украденного ребенка» погружают нас в глубины человеческой психики: *«Бывали минуты, когда для меня начинали странно звучать литовские слова. А их смысл как бы не совпадал со звучанием. Этот язык, его жемайтийский диалект, казался грубым для моего уха».*

И еще одно слово царапало слух. Слово, значение которого он долго не понимал:

«В школе, на переменах, дети, пробегая мимо, дразнили меня: жид, жид!

Бывало тоже: играем и кто-то вдруг вымолвит это словцо.

Вроде бы, все выглядело почти невинно. Но я чувствовал: тут – какой-то знак, который понимают все, кроме меня.

А, случалось, ребята окружат меня, выговаривая каждый по одной букве: ж-и-д. Стоят и громко так повторяют. Причем, опять-таки на их лицах я часто не замечал никакой злобы. Но в моих ушах, не переставая, звучал тот беззлобный смех...

Когда я был первоклассником, меня однажды взял на руки мальчик, учившийся в четвертом. Он долго и, я бы сказал, нежно носил меня по коридору. Потом о чем-то вдруг вспомнил и – резко отбросил меня. Я упал, сильно ударившись о скамейку».

Альфонсас подчеркивает: то были своего рода сигналы; они заставляли работать мысль. Но мысли наслаивались, перебивали одна другую:

«Почему я так не похож на родных? У меня лицо смуглое, а у них – светлые. И – волосы, конечно: все мои двоюродные братья и сестры – блондины. Мама, правда, имела темные волосы, но все равно, убеждался я, сравнивая: они – совсем не такие, как у меня...

Все было окутано тайной. В тайну – как конфета в фантик – было завернуто мое детство.

Я часто думал о том, что появился в этой литовской деревне случайно – ненатурально, неестественно, если можно так выразиться.

Тогда кто я? Откуда?

Повторяю, я боялся этой тайны, очень не хотел к ней приближаться».

Он рано стал задавать себе и другой вопрос: кто такие евреи?

«Взрослые (нет, конечно, не мои родные) рассказывали о евреях анекдоты.

Рассказывали также истории , от которых все внутри холодело. Например, говорили: евреи пьют христианскую кровь...

Мне было семь или восемь лет, когда я понял, что имею какое-то отношение к евреям. Стало страшно. Ведь евреи – плохие люди: убийцы, спекулянты... С тех пор это чувство годами не покидало меня. Чувство страха из-за сопричастности к грязному, нехорошему. И – по той же причине – одиночество».

Он мучительно искал выход, но всюду видел тупик: *«Время от времени все как бы отдалялось от меня – природа, близкие люди... И казалось: никто мне не в силах помочь. Будто я остался один на маленьком-маленьком острове».*

Состояние души странным образом перекликалось с жизнью природы:

«Ощущение, что мир враждебен мне, повторялось при смене времен года.

Я вдруг слабел. Тишина начинала звенеть. И мир опять отодвигался от меня все дальше и дальше.

И опять я был на маленьком острове. Совсем один».

А еще он видел сны:

«В снах моих за мной гнались звери, чужие люди... Скакали, скакали кони».

2. ...Совсем по-другому, но так же обнаженно и резко «история души» представала в стихах Буконтаса.

Он уже вырос, уже поступил в Вильнюсский университет – изучал литовский язык и литературу. Мир рядом с ним был чужим и холодным. Однако творчество, как всегда, преодолевало одиночество. Мир сузился до размеров маленького острова, куда его забросила пучина человеческой ненависти. Может быть, потому Альфонсас так упорно раздвигал пределы земного – настойчиво пытался открыть для себя Вселенную:

Хочу соединить
птицу и камень,
темноту и свет,
утрату и надежду...

Берега несоединимые,
начало и конец
хочу соединить.

Раздул
в долине костер
после долгого ливня.

Слышал ли мой голос?
Видел ли, как кружатся
мельницы звезд?

Приходи по мостику,
который я тебе строю,
приходи, потому что я должен уйти.

Горячим углем на воде
напиши мое имя.

(Перевод с литовского Сергея Карнеева).

Здесь было не просто обращение поэта к современнику, собрату по Вселенной. Здесь была не только творческая программа. Здесь звучал голос «украденного ребенка», который наконец выходил на дорогу духовной свободы. Как и все евреи, начинал свой путь по «пустыне».

Конечно, я легко расслышал у литовского автора перекличку с гениальным американцем Уолтом Уитменом. Стихотворение «Мосток» написано в пору юности. Молодой поэт по-уитменовски остро воспринимал вечность, перед ее лицом ощущал себя почти демиургом. Он стремился разглядеть космос в душах людей, а в звездах – человеческое. Отсюда столь органичное для поэзии Буконтаса доверие к каждому встречному:

«Пойду с тобой погулять по дню, в котором уже никто не живет. Неужели тебе чего-то жалко? Неужели хочешь бросить слово на мостовую? Опирайся, опирайся на меня и смотри в пустоту. И вот мы оба свободны от уз, без ветвей, без стволов – семена и звезды. Из наших плеч, из глаз и из губ вылетают птицы рассвета».

Читая эти строки, я опять представлял юношу из обычной литовской деревушки. «Украденного» еврейского ребенка, самостоятельно пытающегося обрести почву и корни. Нашедшего их во Вселенной. Потрясшие его уитменовские «Листья травы» надолго определили направление творческих поисков. Здесь, впрочем, не могу удержаться от одного замечания «по поводу». В то время

наша критика нередко вульгарно трактовала проблему традиций в литературе. Помните? Заметив в чьих-то стихах влияние Маяковского, критики говорили об этом, точно награждая автора орденом. Иные традиции считались опасными, вредными для «растущего дарования». А порой «вопрос о традиции» сводился к эпигонству, подражательству. Между тем речь (если перед нами подлинный талант) – о единстве мироощущения, подчеркну: речь о направлении поисков...

Уходя в беспредельность пространства и времени, А. Буконтасу было порой легче, чем его литературным сверстникам, задавать резкие, порой беспощадные вопросы. Вот когда оценишь преимущества подобного, «космического», взгляда! Только в космосе впору попробовать отодвинуть мысленно в сторону ценности цивилизации. И задуматься: что есть человек? В чем его сокровенная суть? В чем его неповторимая миссия? Именно об этом были многие стихи Буконтаса, в том числе – «Снежный человек»:

«...Я – голый: возраста нет, фамилии нет. Днем прикрыться стараюсь, но – тщетно: молния между будущим и прошлым – это стыд мой. Как подумаешь: то же самое все теряют, ищут того же. Истина ходит – на белой равнине следы босых ног. Кто ушел, впопыхах не обувшись? Чьи следы на снегу? Чьи – на бесстрашной бумаге?..»

Законы космоса можно постичь по-разному. Можно вычитать их в священных книгах древности. Можно открыть самому, прислушиваясь к ритмам Вселенной. Это и делал лирический герой Буконтаса. Разумеется, он видел равновеликость живой и неживой природы, равнозначность взаимоисключающих, кажется, начал бытия. Понимал (может быть, вспоминая детство), как опасно раз и навсегда давать имена – «перелескам, камню, шмелю, тому человеку из зеркала». Может быть, это и есть главная ошибка на нашем пути, главная ошибка человечества – дробить единый мир, наклеивать повсюду этикетки:

Чувствую, как только вернутся названия,
мы ударимся друг в друга,
и будет небо сплавлять
бесконечная река по бесконечной равнине.

Поэзия Буконтаса многократно фиксирует, что происходит, когда вечные законы нарушаются. В стихотворении «Песня Хорста Весселя» мы встретим солдат, словно ослепших от силы и оружия. Потом «открытыми ртами они продолжают песню уже под корнями». А о чем стихотворение «Памятник»? О защите гибнущей природы? Нет, о самоубийстве человечества, коль все мы есть «природа» – раз превращаемся однажды «в землю, в воздух или в звенящие реки».

Сознание художника не губка: оно вбирает в себя только то, что может и должно вобрать. Только то, что отвечает внутренней логике развития творческой индивидуальности. Я говорю об этом, припоминая, как Буконтас воспринял опыт многих предшественников. Вот Тадеуш Ружевич: его стихи и рассказы Буконтас открыл литовскому читателю. Ружевич утверждает: поэзию надо создавать из «ничего», из самых простых слов. Альфонсасу Буконтасу была близка эта творческая установка. Но для него важно и другое – вглядеться: *что* за словом? Вглядеться даже не в глубь явлений, событий, поступков – в глубь образов, предощущений. Обычный сюжет его стихотворений. Одно так и называется: «По ту сторону слов». Опять перед нами работа поэта, который «из удивлений» ткет «то дерево, то сон, то жар прикосновений, то тварь живую, то страданий дрожь». Замечу: концовка стихотворения не точно переведена С. Карнеевым.

У Буконтаса:

Твои слова уже не обозначают ничего...
Только пространство и тишина...
Только полет остается...

У переводчика:

Подобна взлетной полосе строка.
Вот взреял. Полетел. А цель так далека...

«Только полет остается...» Вот что прежде всего открывается поэту «по ту сторону слов».

Разумеется, космическая традиция в мировой лирике началась не с «Листьев травы». Это подчеркнул еще Г. Торо, читая книгу Уитмена: «Странно, что он так похож на индийских пророков...» К древнему Востоку, не имея других ориентиров, закономерно пришел в своих исканиях и Буконтас. В семидесятые годы он начал изучать «Упанишады». Тогда же надолго перестал писать собственные стихи. Это с тревогой отметили критики и читатели. А я (конечно, задним числом) не удивился. На Востоке, когда художник или поэт уходил в монастырь, он на десятилетия, если не навсегда, отказывался от творчества, давал своего рода обет молчания. Цель? Прислушаться к своему «я», обрести связь с Богом – может быть, потом обрести и собственный голос.

Правда, в те трудные, но, как оказалось теперь, плодотворные для него годы Альфонсас Буконтас продолжал заниматься переводами. Это была не только серьезная, важная для литовской культуры работа. Тут был и давно замеченный парадокс: путь в чужую культуру иногда тоже приводит художника к самому себе. Переводя философскую лирику Пушкина, он снова задумывался о призвании поэта. Блоковский цикл, посвященный Кармен, привлек музыкальностью, хотелось попробовать: как это прозвучит по-литовски? Буконтас воссоздал на родном языке стихи многих поэтов, которые когда-то жили в его крае, – поляка К. Галчиньского, немца Ф. Брауна, белоруса М. Танка, караима С. Фирковича... Я мог бы перечислить немало имен и произведений, но упомяну еще сейчас только сонеты и терцины русского философа Льва Карсавина: тот слагал их незадолго до смерти в сталинском лагере, прозорливо не сомневаясь – его голос расслышат. Так и оказалось: А. Буконтас разыскал произведения Карсавина в одном из вильнюсских архивов.

И, конечно, он переводил тех, с кем вел – через десятилетия или века – беспрестанные мысленные диалоги. В этом сокровенном ряду была и поэма Н. Рериха «Наставление ловцу, входящему в лес», и знаменитая «Бхагавадгита». Пожалуй, здесь имелся даже свой символ: с переводом великой Гиты, в которой, как в фокусе, сходятся главные философские идеи Индии, закончился период «молчания» поэта Альфонсаса Буконтаса.

3. ...Не забудем: «украденный ребенок» постепенно возвращался в семью. *«Все это время, – рассказывал Альфонсас, – я ощущал себя человеком, идущим по пустыне. Причем, мой путь длился не сорок лет – гораздо дольше. Однажды я понял, что не сумею выйти из пустыни, если сам не осознаю: ради чего мне дано такое испытание?»*

Еврейской семье несколько тысяч лет, ее родоначальником был наш праотец Авраам. Это звучит выспренно, кажется сказкой? Не сразу, но очевидно Буконтас пришел к пониманию концепции времени в иудаизме. Очень конкретными оказались слова мудреца наших дней, каббалиста Адина Штейнзальца: «События не тонут в реке времени, подобно камням, просто течение относит нас от них».

Из намеков, обмолвок, случайных разговоров, внезап-

ных признаний он воссоздавал для себя историю своего спасения, историю жизни и смерти родителей – приближался к ним.

Опять – неожиданно – помог ксендз Вацловас Мартинкус. В конце войны ему удалось эмигрировать на Запад, теперь он жил в США, иногда писал в Литву. Мартинкус спрашивал о судьбе спасенного им ребенка, потом стал переписываться с самим Альфонсасом (увы, письма читали и в КГБ, затем шантажировали ими Буконтаса и его друзей). Мартинкус присылал подарки, одежду. Рассказал о местечке Жидикай: перед войной там было около 230 евреев; поведал о событиях лета 41-го. Один раз Мартинкус сумел спасти евреев Жидикай от расстрела – он остановил намечающуюся акцию, решительно потребовав от офицеров германской армии предъявить решение суда. Однако несколько месяцев спустя, когда через местечко шла уже другая часть, ксендза никто не стал слушать: ему пригрозили расстрелом – вместе с евреями, которых он так защищал...

(Конечно, Мартинкус рассказывал и о своей сегодняшней жизни – это был для Альфонсаса невольный урок: кроме участия в религиозной и благотворительной деятельности, ксендз пел песни под гитару, много путешествовал, постоянно открывая для себя мир и людей, – в Израиле, например, увлеченно беседовал с Бен-Гурионом. Мартинкус был по-прежнему заботлив: показал стихи Альфонсаса литературному кумиру литовской эмиграции Бернардасу Брадженису, и тот высоко отозвался о поэзии Буконтаса).

Время стало для него живым: прошлое, настоящее и будущее существовали в одном измерении. Об этом говорит Каббала. Но это знал и Рерих. Это великолепно чувствовал Чюрленис; Альфонсас не мог оторваться от его картины «Прошлое»: там изображены ворота, через отверстия в которых ярко светит солнце, точнее – множество солнц.

Лучи прошлого стали согревать «украденного ребенка»:

«Когда я был студентом, я снова пришел к тете Котрине Шульцене, у которой жил когда-то, учась в Жидикай... Мы пошли с ней гулять на луг, она рассказала все, что знала сама. Многое рассказала... Даже открыла мое настоящее имя... Оказывается, до войны она была соседкой родителей, помогала маме по хозяйству. Оказывается, это тетя Котрина отвозила меня по заданию ксендза Мартинкуса в Дапшяй...»

Историю Альфонсаса узнал выдающийся еврейский поэт Гирш Ошерович, после войны живший в Вильнюсе. *«Он сам когда-то окончил юридический факультет Каунасского университета. Ошерович отыскал адвокатов – коллег отца, помог найти других людей, помнивших моих родителей. Тогда я узнал и подробности их последних дней: они попали в Каунасское гетто; отца расстреляли в 42-м, маму вывезли в 44-м в Штуттгоф – она погибла в марте 45-го при побеге из лагеря... А братика и сестру отца убили под Мажейкяй, в сосновом бору... Я держал в руках фотографии. Удивлялся: вот это мама (наверное, она так хотела сбежать из Штуттгофа и потому, что, находясь в гетто, узнала: меня удалось спасти), а это отец, учившийся в Сорбонне... это брат... неужели тот младенец – я?»*

Тайна была разгадана. Правда оказалась нелегкой. *«Я редко говорю с кем-нибудь о своем прошлом. Бывает, человек сам спросит, а потом пугается: перед ним открывается такая бездна, что хочется быстрее отойти в сторону... Тогда мой собеседник переводит разговор на другую тему. Я понимаю: это инстинкт самосохранения...»*

Точно сбросив пелену лет, а на самом деле осознав суть и связь событий, Альфонсас припомнил: в 1947-м к ним приехал из Каунаса «высокий лысоватый человек в кожаном пальто». У него была необычная миссия: найти в литовских селах спасенных еврейских детей. Говорят, потом тех мальчиков и девочек тайно переправляли в Палестину... *«Мужчина угостил меня конфетой, подарил какую-то монету. Мама говорила с ним при закрытых дверях. Он переночевал у нас. Утром я видел, как человек уходил через наш сад... Мне было странно и страшно. Я не хотел покидать дом. Я упорно верил в то, что здесь, как в старинном замке, смогу спрятаться от всех опасностей».*

То, что «украденному ребенку» очень важно обрести семью, понимали не только еврейские Учителя, об этом заботились не только активисты послевоенного сионистского подполья. О том же думала простая литовская крестьянка Мария Буконтене.

«Ты же все знаешь, ты уже не маленький, – говорила она. И спрашивала: - Может, я неправильно поступила, не дав тогда тебе уйти к людям, близким по крови?» Мне было уже лет девятнадцать. А она все страдала: тебе тяжело жить – ведь ты остался один... Она плакала. Я объяснял, что мне у них очень хорошо, что я им благодарен за все... Впрочем, это был наш единственный подобный разговор. Больше к той теме мы никогда не возвращались. Но мне кажется, мама часто размышляла об этом. Думала: можно ли взять дитя из одной нации и пересадить, как растение, в другую? Она чувствовала: это противоречит каким-то божественным законам...»

Наконец, изломанные линии его жизни сходятся вместе.

22 декабря 1994 года в Вильнюсе состоялся суд, который на основании многочисленных свидетельств (и в присутствии живых свидетелей) установил: Альфонсас Буконтас является Мордехелем Михницким, сыном Нехамы Гурвичайте-Михницкене (1907-1945) и Янкелиса Михницкого (1907-1942).

4. ...Я надеюсь когда-нибудь опубликовать хронику этого возвращения. Здесь – только фрагменты. Все же представлю читателям еще один. Это самое начало исповеди Альфонсаса – по сути небольшая новелла, которую я назвал (для себя) «Мягкое *л*». Новелла эта насыщена одиночеством, тоской, ожиданием. Смутным еще стремлением разгадать тайну собственной судьбы.

«...Придя в первый класс, я встретил там мальчика из соседнего дома.

Он был повыше меня и покрупнее. Звали его Альфредас.

Я на всю жизнь запомнил, как странно он произносил слова, точнее даже – только один звук : "л"... Мягко, чересчур мягко. Так в деревне не говорил никто. И весь наш класс дружно смеялся над ним!

Домой из школы мы с Альфредасом возвращались вместе. Путь был долгим: узкая, кажется, бесконечная тропа, потом мостик через речку, снова тропа...

Никого вокруг не было.

Постепенно мы сдружились, не могли не подружиться. Даже ходили друг к другу в гости.

Альфредас появился в нашем селе недавно. Попал сюда из Кенигсберга. Этот город в конце войны сильно бомбили. Если не ошибаюсь, во время бомбежки и погибли его родители. Многие дети спаслись тогда из Кенигсберга бегством: чаще всего забирались на крыши поездов. Ходили потом по деревням, выпрашивая подаяние. Выучивали торопливо по несколько литовских слов: duonas, valgyti... Но все равно их легко было узнать: немцы.

Наш сосед работал адвокатом в райцентре. Однажды он увидел Альфредаса, и тот понравился соседу. Его

единственная дочь умерла. Адвокат предложил мальчику остаться в их семье. Потом он отправил Альфредаса в деревню, к своей жене. Вскоре они усыновили мальчика, который стал носить литовскую фамилию.

Альфредас все время рисовал самолеты и танки. Вообще все его игры были связаны с войной. Как-то он рассказал мне: его настоящий отец был летчиком.

Уже спустя полгода Альфредас хорошо говорил по-литовски.

Но странное, чересчур мягкое "л" так навсегда и осталось в его речи.

Мы с Альфредасом проучились вместе семь лет, пока не окончили сельскую школу. И все это время я чувствовал двойственность в отношении к нам окружающих.

Реальность вовсе не была простой, но была такой очевидной. Есть наши близкие, которые нас любят. И есть все остальные, которые нас не принимают.

Да, мы с Альфредасом были чужими здесь. Хотя, наверное, невозможно было сказать, чем именно мы выделялись. И – кстати – мы так не походили друг на друга.

Альфредас был очень сильным. Ощущая неприятие среды, он то и дело затевал драки.

Я же был слабым, в драку никогда не лез...

Когда потасовки кончались, мы с Альфредасом, как ни в чем ни бывало, отправлялись домой. Напряжение, кажется, затухало. Но реальность по-прежнему была разорвана, раздвоена... И, как ни странно, именно это нас объединяло.

Наша учительница говорила назидательно взрослым:

– Вот видите, еврейский и немецкий мальчики дружат между собой, а мы так не умеем...

Но об этих ее словах я узнал совсем недавно. А тогда не знал, что я – еврей. Может быть, инстинктивно, и не хотел узнавать».

...Конечно, я не раз думал: почему Альфонсас начал свою исповедь с воспоминания о друге детства?

В чужой судьбе он однажды, как в зеркале, увидел себя. Но по сути сходство было лишь в одном: Альфредас и Альфонсас были *другими* в литовской деревне.

У каждого народа и у каждого человека, понял Буконтас потом, – свой путь, свое предназначение. А миссия некоторых людей состоит как раз в том, чтобы стать своеобразным мостом между народами и культурами.

5. ...Говоря о возвращении «украденного ребенка» в семью, добавлю: возвращение не было идиллическим. Приходя в юности в еврейские компании, Альфонсас порой вздрагивал: *«...новые знакомые смеялись над моими рассуждениями, как когда-то дети в деревне».* Конечно, он идеализировал евреев, недоумевал: неужели возможны у потомков Авраама национальная апатия, цинизм, равнодушие к чужому горю? Однако, пожалуй, еще драматичнее была ситуация, в которую вдруг попал опытный литератор. *«Одно время казалось: я стал чужим в той культуре, что была родной с детства. При этом мне было очень трудно войти в культуру, родную по крови».*

Мы с Альфонсасом много говорили об этом. Я вспоминал слова, которые написал в начале восьмидесятых, работая над книгой об основоположнике литовской литературы Кристионасе Донелайтисе: «У разных культур – разные корни, но одно небо». Жизнь однако сложнее любых формул. На мой взгляд, Буконтасу помогло то, что он почувствовал сам *воздух* еврейской истории, смело вошел в ее *особое время*.

«...Река истории образует кольцо, – писал Адин Штейнзальц. – Она вливается сама в себя, и в ее водах мы не заметим ни необратимых изменений, ни новизны». Но вечное возвращение в иудаизме – это и вечное наше обновление. «Например, исход из Египта... – продолжал Штейнзальц. – Его значение выходит за сугубо исторические рамки, ибо он реализуется в духовной биографии каждого человека. Еврей в каждом поколении не просто должен считать, что он сам вышел из Египта. История исхода становится и историей его собственного духовного развития. Рабство и избавление от него, переход через море, война с Амалеком и получение Торы – вот этапы развития человеческой личности».

Путь «украденного ребенка» – это один из вариантов вечного нашего возвращения...

Разумеется, Буконтас не перечеркнул свое прошлое: десятилетия жизни нельзя отбросить, точно ненужный черновик. Тем более что у евреев ушедшее органично сливается с настоящим. Альфонсас признавался: *«...мама и папа приходят ко мне из небытия и поддерживают – заполняют пустоту в душе, которую я ощущал так долго».* Одновременно он по-прежнему *«шепчет, словно молитву, имена приемных родителей – как и имена других своих спасителей».*

Буконтас не отказался от собственных литературных поисков – нет, не случайно они были так созвучны его *божественной* душе: «космическое» начало он потом легко обнаружил в Торе... А то, что он органично вошел *«в культуру, близкую генетически»,* свидетельствуют, как всегда, переводы Альфонсаса.

С идиша, иврита, русского он перевел на литовский произведения таких ярко не похожих друг на друга еврейских поэтов, как Йошуа Лацман, Гирш Ошерович, Моше Кульбак, Авраам Суцкевер, Шмуель Качергинский, Герман Крук, Иехуда Амихай, Леонид Школьник, Ефрем Баух (стихи и роман «Солнце самоубийц»)... Он опять убеждался в старой истине: для еврейского литератора родина – это наша история. Творец живет в истории, а потом навсегда растворяется в ней. Как поэт Гирш Глик, написавший знаменитое: «Никогда не говори, что это твой последний путь...» Стихотворение стало гимном еврейских партизан. А сам Глик, чья фамилия на идиш означает «счастье», погиб.

6. ...Здесь и простимся с ним, оставив за скобками многое: я пишу не очерк «жизни и творчества» поэта Альфонсаса Буконтаса – я вглядываюсь в его «путь по пустыне».

Признаюсь: думая о судьбе моего друга, не раз возвращался к строкам, принципиальным для него (не зря они дали название единственному московскому сборнику поэта: *Альфонсас Буконтас. Пока летит стрела. Стихи. Перевел с литовского Сергей Карнеев. М., «Советский писатель», 1990*).

Автор ведет не сразу угадываемый спор с известным стихотворением Осипа Мандельштама «Раковина». Спор – опять о человеке. Что и говорить, концепция, которую Мандельштам так пронзительно выразил в 1911 году, получила распространение в искусстве (прежде всего – западном) второй половины двадцатого века. И не раз уже было доказано: человек – только одинокая песчинка на ветру времени, только (по Мандельштаму) «ненужная раковина», вынесенная «из пучины мировой» на брег жизни. Вроде бы, это полностью подтвердил минувший век: судьбы, жизни, любовь, надежды, проявившиеся и не открывшиеся таланты были безжалостно сломаны, искорежены революциями, диктатурами, войнами... Но вот аргументы Альфонсаса Буконтаса:

Нет, не раковина потерянная: плачет она,
прилив умоляет
вернуть в глубину. Бесплодна. Одни песчинки
жужжат в ней. Назад – это все, что осталось, –

назад зовет ее память...
Ты – семья! Ты – пробившая время стрела!
Звон натянутой тетивы бунтует в тебе.

Надо ли что-то добавлять к этим словам? Разве что из Торы: мы все – семья, и каждый ответственен за другого. Разве что из Агни-Йоги: «Удача не покинет стремящихся, ибо трудно попасть в стрелу на полете».

ВАНКАРЕМ НИКИФОРОВИЧ

«Не забыть, для чего пришли»

Разговор с Евсеем Цейтлиным ведет Ванкарем Никифорович

Сначала представлю моего собеседника. Евсей Цейтлин – литературовед, критик, прозаик. Автор сборников литературно-критических статей и эссе, монографий, рассказов и повестей о людях искусства. В разные годы в издательствах России, Литвы, Германии выходили его книги «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» (на русском – 1996; 2001; на немецком – 2000; на литовском – 1997), «Писатель в провинции» (1990), «Голос и эхо» (1989), «Вехи памяти» (1987; совместно с Львом Аннинским), «На пути к человеку» (1986), «О том, что остается» (1985), «Долгое эхо» (1985; на литовском – 1989), «Свет не гаснет» (1984), «Жить и верить...» (1983), «Всеволод Иванов» (1983), «Сколько дорог у «Бронепоезда № 14-69» (1982), «Так что же завтра?..» (1982), «Всегда и сегодня...» (1980), «Беседы в дороге» (1977). Евсей Цейтлин был членом Союза писателей СССР, является членом Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, членом международного Пен-клуба ("Writers in Exile"). Публиковался во многих литературно-художественных журналах. Составил четыре сборника прозы русских и зарубежных писателей. Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). С 1996 г. – в США, редактирует чикагский ежемесячник «Шалом», в котором освещаются различные аспекты иудаизма, еврейской истории, философии и культуры.

...Мы с ним живем в Чикаго и уже не можем представить свое эмигрантское бытие без постоянных встреч и разговоров. Мы обсуждаем различные проблемы, в последнее время особенно часто и много говорим, среди прочего, и о духовных процессах, что характерны для нашей эмигрантской среды. Естественно, спорим, зачастую не соглашаясь друг с другом... И показалось однажды, что многое из наших, вроде бы, частных бесед с Евсеем Цейтлиным может заинтересовать читателей, вызвать у них желание высказать свое мнение.

БЕСЕДА ПЕРВАЯ. Эксперимент при свете смерти.

Случилось так, что мое личное знакомство с Евсеем Цейтлиным произошло почти одновременно со знакомством с его оригинальной и необычной книгой, которая называется «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти». Необычны сама форма, жанр, стиль этой работы. Наконец, необычна задача, которую поставил перед собой автор: в течение пяти лет он записывал исповедь жившего в Литве еврейского интеллектуала, писателя, драматурга Йокубаса Йосаде, готовящегося к своей смерти. Оставив огромное эмоциональное впечатление, «Долгие беседы» заставили думать, размышлять о смысле и предназначении жизни... Поэтому естественно, что первые наши разговоры с Евсеем Цейтлиным были связаны с этой его книгой, с ее содержанием, жанром, стилистикой, с нравственными проблемами, которые там подняты.

Прежде чем перейти к изложению этих наших бесед, хочу процитировать некоторые из многочисленных отзывов критиков, сразу почувствовавших своеобразие «Долгих бесед».

«Книга Цейтлина (...) порождает смешанные и противоречивые чувства. Сам ее жанр – странная взрывчатая смесь «Разговоров Эккермана с Гете», сочинений Ницше («Так говорил Заратустра»), романов Кафки и диалогов хасидских цадиков – эклектичен, сомнителен, провокативен. Но это отнюдь не произвольный постмодернистский «микст». Жанр «Долгих бесед..» есть производное от судьбы и личности главного персонажа, и в каком-то смысле необычная форма книги Цейтлина является наиболее адекватным выражением сложной нравственно-этической и социальной ситуации в Литве (и шире – в Восточной Европе). Ситуации, до сих пор не преодоленной окончательно и способной быть источником новых конфликтов, новых человеческих трагедий... Эта ситуация рассматривается в «Долгих беседах...» с разных позиций и интерпретируется то в ключе традиционного психоанализа, то в духе герменевтики, то через призму религиозно-метафизического и конкретно-исторического опыта». (Виктор Кривулин, журнал «Новое литературное обозрение», №48, 2001, Москва; вариант статьи: «Frankfurter Allgemeine Zeitung", Samstag, 29. April 2000, nummer 100, Франкфурт-на-Майне, Германия).

«Книга, которую я держу сейчас в руках, обладает странной особенностью. Прочитав несколько страниц, вдруг замечаю: только что осмысленные эпизоды подчас неожиданно меняют не только свое значение, но и... содержание. Они вступают друг с другом в новые связи. Замечаю: в повествовании открываются новые и новые пласты. Это похоже на кристалл. Как ярко и интересно преломляется сквозь него мир! Но достаточно повернуть кристалл чуть иной гранью, картина меняется». (Альфонсас Буконтас. Из послесловия к первому изданию книги «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти», Вильнюс, 1996).

«С этой книгой надо общаться. Она вызывает, провоцирует, если хотите, на общение... Книга потрясает своей необычностью, неординарностью именно потому, что в ней ярко проступает еврейское сознание и мироощущение. И философское отношение к смерти, спокойное ее ожидание – тоже особенность еврейского взгляда на мир. Это совершенно особенный взгляд. В обычные культурные схемы он входит неожиданно острыми углами, обнажает несоответствия, высвечивает парадоксы, лежащие (как оказывается) на поверхности».(Валентина Брио, альманах «Иерусалимский библиофил», вып. 2., 2003).

А теперь перейдем непосредственно к разговору с Евсеем Цейтлиным – и об этой книге, и о его творчестве, и о многих других проблемах.

В.Н. *Прежде всего, расскажите, пожалуйста, как возник у вас замысел «Долгих бесед...». Был ли долог ваш путь к ним?*

Е.Ц. Эту книгу я задумал много лет назад. Меня всегда волновала проблема человеческой памяти, – то, что очень хорошо обозначено в иудаизме. Ведь память – главное богатство еврея. В Торе мы постоянно встречаем напутствия человеку: не забудь, помни... С другой стороны, меня как литератора давно тревожило то обстоятельство, что поколения советских евреев уйдут в небытие, так и не рассказав, не поведав нам о чем-то главном и существенном. И дело не только в том, что советская власть успешно вытравляла, нивелировала национальную память:

евреям была уготована ассимиляция, и , увы, многие советские евреи с этим смирились... Так и возник мой проект: я стал записывать воспоминания советских евреев. Мне хотелось прорваться в глубины памяти и человеческого сознания: сохранить живые свидетельства, по-своему зафиксировать Катастрофу советских евреев, которая, кстати, не сводилась к страшному геноциду в годы Второй мировой войны.

Когда я впервые пришел к Йокубасу Йосаде и рассказал ему о своем замысле, он сразу же ответил: так вот он перед вами, ваш герой, со мной вам и надо беседовать. Так возникла идея книги. Пять лет длились наши беседы... А что было раньше? Когда-то Йосаде убежал, по его собственному выражению, из еврейского края. Хотя начинал как еврейский прозаик, пишущий на идиш, был принят в Союз писателей, замечен критикой. Но после войны почувствовал: еврейским писателем быть смертельно опасно. И, плохо зная литовский язык, он тем не менее становится литовским критиком, потом драматургом, заставляя себя и других забыть, что он еврей. Янкель стал Йокубасом, поменял паспорт, потребовал даже от жены говорить дома на литовском.

В.Н. *Вы назвали свою книгу «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти». Нет ли противоречия в таком сочетании – счастливая смерть?*

Е.Ц. Ключевое слово этой книги – смерть. Об этом, кстати, пишет в послесловии к вильнюсскому изданию литовский поэт Альфонсас Буконтас. Он же подчеркивает: в каком-то смысле героем «Долгих бесед...» мог быть человек любой национальности, любой профессии, любого возраста. Почему? Да именно потому, что одной из моих главных задач была реконструкция человеческого сознания при свете смерти. Слово *смерть* не должно пугать. Иудаизм всегда напоминает человеку: его земной путь краток, но жизнь нашей души – вечна. Ради совершенствования своей души мы и приходим на эту землю. А что касается *счастливой* смерти – задумаемся: может ли такая быть вообще? Да, может! Ведь счастливая смерть – это смерть человека, который осуществил свое предназначение.

В.Н. *Как вам работалось, если можно так сказать, с вашим героем столько лет? Не надоели ли вы друг другу?*

Е.Ц. Йокубас Йосаде бесстрашно согласился отправиться со мной в этот путь, прекрасно понимая цель и смысл нашей общей задачи. Конечно, все было не просто. Одна из задач нашего эксперимента состояла в том, чтобы проникнуть в *подлинную* духовную жизнь этого человека, пройти ее *подлинные* лабиринты. Ведь люди часто вспоминают не то, что было, а то, что они уже когда-то рассказывали, формулировали. Йосаде – сам писатель; пришло время, и он стал работать над своеобразной автобиографической прозой (в форме писем к дочери и сестре). Но очевидно, что и там он сказал не все, и даже там была какая-то оглядка... Поэтому мы вместе старались пробиться сквозь наслоения штампов человеческого сознания, пробиться в «самое-самое», когда-то подавленное железной волей моего героя (кстати, в течение многих лет он решительно «переделывал» себя и свою семью)... Причем, эта исповедь, как потом отмечали психологи, имела для него даже какой-то терапевтический эффект. А еще он пытался использовать последний шанс и как бы проявить в наших беседах то, что сам не успел реализовать в литературе... Можно по-разному объяснить тяжкие метания героя. Можно и так: согласно Каббале, еврейская душа все время напоминает человеку о себе, даже если он уходит от еврейства. Ведь человек появляется на земле таким, каким его создает Всевышний. И здесь ничего *переделать* нельзя. Мы – евреи не только потому, что встретились наши родители. Это – воля Всевышнего, это – своего рода задание нам. Это наша миссия. Хотя у моего героя был и постоянный спор с Богом (в книге есть глава об этом – «Без названия»). Но не забудем: в конце жизни Йокубас Йосаде возвращался к еврейству, он написал целый ряд эссе и пьес на еврейские темы... Так что книга и об этих «возвращениях» героя.

В.Н. *Как складывалась композиция, форма такой необычной книги?*

Е.Ц. На страницах «Долгих бесед...» постоянно возникает разговор об отношениях автора и героя, о том, как книга пишется. Но если вы заметили, непосредственно в книге автор как бы дистанцируется от героя. Только в самом конце говорит о своем отношении к нему. В процессе написания «Долгих бесед» автор старается быть своеобразным зеркалом героя (есть опять-таки такая глава – «Зеркало»).

Не случайно своего героя я называю *й*. С одной стороны, это книга о совершенно конкретном человеке, вдова которого доктор Шейна Сидерайте потом написала: в тексте все абсолютно точно, до малейшей детали. С другой стороны, в моем герое я видел типичный образ интеллигента, который мучительно существует в лабиринте тоталитарного государства. Я, разумеется, сразу отказался от того, чтобы судить героя. Может быть, поэтому некоторым читателям и критикам почему–то кажется: автор создает памятник ему, «реабилитирует» *й*. Но моя задача была не в том, чтобы прославлять или развенчивать этого человека, повторяю: нужно было вглядеться в душу, в *путь* его души. Поэтому также книга, включающая в себя фрагменты исповеди *й* и мои дневниковые записи, состоит из глав-«кубиков». Мне хотелось, чтобы каждый читатель сам выстроил эту книгу для себя. Когда нет заданности, то читатель может это сделать. И тогда-то он сам рассудит моего героя. И – время, и самого себя.

Один из интонационных и структурных пластов «Долгих бесед...» связан со страхами *й*. Страх заставляет его изменить себе. Заставляет сжечь почти всю свою библиотеку на идиш, рукописи, письма. Он делает это ночами, тайно; затем, отправив домработницу за покупками, выносит из дома пепел. Страх пронизывает всю эту жизнь и всю ту социальную систему, в которую *й* включен. Хотя ради объективности подчеркну: страхи начинаются в жизни Йосаде еще в детстве, до советской власти. И они никогда по сути не кончаются, они остаются и с умирающим стариком. В конце жизни это уже другой страх – страх талантливого человека уйти из жизни не состоявшимся писателем. Этот страх, между прочим, давал ему силы... Да, страх неоднозначен, вместе с *й* мы много размышляли о его природе. В Торе тоже встречается это слово – страх. Там оно нередко приобретает позитивный смысл – страх перед Всевышним. И этот страх дает человеку нравственные ориентиры.

Вернуться к проблеме «формы и композиции»? Вообще-то еще в начале прошлого века некоторые писатели и философы говорили о том, что литература нового столетия должна прийти к каким-то новым художественным формам. В частности, меня поразило, когда я прочитал об этом у Николая Рериха. Новую форму, с опорой на документ, разрабатывали и блистательно воплотили многие западные прозаики XX века. Вспомним Фриша, например. Плодотворными были поиски Алеся Адамовича, Светланы Алексиевич. Но чисто документальными их книги назвать нельзя, потому что документ выполняет здесь функцию художественного образа.

В.Н. *Ваша книга очень хорошо, как мне кажется, вписалась в контекст как современной русской, так и еврейской литературы. Кстати, в чем вы видите сегодня особенности работы еврейского писателя, смысл его мис-*

сии?

Е.Ц. Это сложный вопрос. Мой герой тоже задумывается об этом (в главе «Разве важно, на каком языке писать?»). *Й* говорит: несколько тысяч лет мы меняем свой язык; оказалось, что для нас это не главное; в еврейском писателе запрограммирован не язык – наша история. Я бы еще добавил: и наша душа. Еврейская душа в мистическом, религиозном смысле, как это понимает Каббала. Так вот, сегодня еврейская литература рассматривает извечные коллизии. Ведь согласно мнению мудрецов Торы, так или иначе в каждом поколении повторяются одни и те же ситуации. Возьмем, например, выход из Египта. Сегодня мы все еще идем по пустыне. Для нашего поколения, советских евреев в частности, выход из рабства красных фараонов был очень трудным. И мы все еще пытаемся стать свободными людьми, обрести духовную свободу и самих себя, свое еврейство. Человек мечется, по-прежнему преодолевает страх...

Вечная и всегда новая в своем конкретном преломлении тема. Я думаю, что именно об этом пишут сегодня такие замечательные русскоязычные еврейские прозаики как Григорий Канович, Дина Рубина, Борис Хазанов. Об этом писал и скончавшийся несколько лет назад Фридрих Горенштейн, писатель, еще, как мне кажется, нами по-настоящему не прочитанный.

БЕСЕДА ВТОРАЯ. Другой вариант судьбы.

В.Н. *Констатацией того, что мы все еще идем по пустыне, мы закончили наш с вами предыдущий разговор. А сегодня давайте подойдем к этой проблеме как бы с другой стороны. Мы все, основная масса русскоязычных эмигрантов, приехали сюда из страны, которая называлась СССР, или из новых стран-республик, образовавшихся после распада Союза. И вот, преодолев определенные испытания, человек попадает в Америку. Предположим, он уже устроился, все трудности позади, забудем о них: эмигрант учится, работает, акклиматизация произошла. Скажите, Евсей, как, по-вашему, такой человек ощущает себя: он считает, что уже приехал – и здесь теперь его постоянное, надежное «место обитания», или он думает прежде всего о том, что уехал, то есть многими и прочными нитями – духовными, житейскими – все еще связан с той землей, с той страной, он еще как бы там? Мне кажется, внутреннее противоречие между понятиями «приехал» – «уехал» долго сохраняется у наших эмигрантов. И это влияет на духовную жизнь эмиграции, на многое, что в нашей среде (или в так называемой русской общине) происходит. Считаете ли вы эти процессы серьезными и существенными?*

Е.Ц. Безусловно, сама проблема эмиграции очень серьезна и осмысление ее насущно для каждого из нас. Старого или молодого, баловня судьбы или потерпевшего крушение среди житейских бурь... Ведь думать о *смысле* эмиграции, значит – перепроверить сделанный когда-то выбор, всмотреться в пролетевшие годы, вспомнить о своей миссии на земле, вслушаться в тихий голос собственной души. Что может быть важнее и сокровеннее этих размышлений?

Есть много подходов к теме эмиграции – философских, социальных, психологических. И есть много «входов» в тему. Вы предложили вглядеться в жизнь эмигранта на той стадии, когда трудности, кажется, уже позади. Что ж, попробуем. Однако скажу сразу: по-моему, «эмигрантские трудности» носят вовсе не временный характер. Потому что дело ведь, в конце концов, не в «куске хлеба» (хотя, верно, хлеб эмигранта очень долго бывает горек). Все дело – в состоянии души. В том, что по большому счету эмиграция – это всегда трагедия. В лучшем случае – драма... Но вернемся к вашему вопросу. Когда же все-таки эмигрант распакует по-настоящему свои чемоданы? Когда исчезнет мучительное недоумение по утрам – где я, как я здесь оказался? Когда наконец-то человек уверенно скажет себе: «вот я и дома»?

Если говорить о конкретных судьбах, этот процесс проходит по-разному. Но, конечно, разные судьбы объединяет нечто общее... Как известно, в истинной трагедии обязательно присутствует катарсис, очищение. Сходные чувства часто испытывает эмигрант. К тебе приходит внезапное прозрение, точнее – новое зрение. Вдруг понимаешь, что счастлив и свободен. А главное – тебе, оказывается, выпал редкий, удивительный шанс, которого лишены миллионы людей на земле. Это шанс прожить *еще одну жизнь.* Твоя жизнь *там* уже в общем-то состоялась: ты чего-то добился, во многом себя реализовал, а потом только *доживал,* завершая этот вариант судьбы. Бывало и так: ты иногда с сожалением говорил себе, что обстоятельства заглушили в тебе какое-то дарование, ты не стал, к примеру, художником или журналистом, артистом или экстрасенсом... А эмиграция предлагает человеку возможность начать все с начала. Не правда ли, это и есть спасательный круг? Тут и возникает гармония жизни: пейзаж за окном кажется – внезапно? – родным.

В.Н. *Но, наверно, все это связано с возрастом эмигрантов. Люди приезжают сюда и зрелыми, и совсем молодыми, и совсем пожилыми, хотя в главном, общечеловеческом смысле проблема самоутверждения, реализации себя от возраста не зависит.*

Е.Ц. В юности и молодости пересадка на чужую почву оказывается почти безболезненной. Тем не менее об этом «почти» говорить сейчас не стоит. Размышляя о судьбе эмигранта, я невольно представляю человека средних лет и старше. Счастливых примеров здесь гораздо меньше. Зато каждый из них приковывает к себе наше внимание и по-особому поучителен.

Между прочим, за примером далеко ходить не надо. Переехав из Минска в Чикаго, доктор технических наук, профессор С. М. Ицкович стал одним из самых интересных русскоязычных публицистов США. Мы не раз говорили с Семеном Ицковичем об этом странном, на первый взгляд, но таком радостном по сути переломе его судьбы. Нет, он не перечеркивает *ту* жизнь, в которой так убедительно реализовал себя. Однако не сомневаюсь: Семен Ицкович по-настоящему счастлив и в *этой*, новой своей жизни...

Такое далеко не всем удается, хотя я мог бы вспомнить еще несколько подобных сюжетов. Но вспоминаю другое. Более типичное. Вот встречи наших эмигрантов, буквально пронизанные ностальгией о том, *как* было *там* и *какие* они были *там*. Причем, легко заметить: часто рассказчик мифологизирует прошлое, факты обрастают легендами... Родные и друзья человека в таких случаях улыбаются, соседи смеются, кто-то резко осуждает... Но я думаю: это жестоко и несправедливо. Это ведь плачут, тоскуют, стремятся к подлинной жизни наши души.

В.Н. *Позвольте с вами не согласиться. Приведя пример успешной самореализации эмигранта, вы тем не менее сказали, что это мало кому удается. Спорное утверждение. Мне кажется, что мы здесь, в силу целого ряда особенностей работы прессы и других СМИ, к сожалению, еще очень мало информированы. В частности, мало знаем о том, как устраиваются и что делают такие же эмигранты, как мы. Возьмите некоторые русскоязычные издания. Известные журналисты писали и пишут очень часто о Япончике и ему подобных, о таких-то и таких-то пойманных и осужденных эмигрантах, выходцах из бывшего СССР, – то есть о тех, кто попадает под прицел правоохранительных органов Америки. Идет широкий, даже не дискуссионный разговор о так*

называемой русской мафии. И создается впечатление: в русскоязычной Америке живут люди, которые занимаются всякого рода обманами. Но ведь это на самом деле не так. Почему, например, наша пресса, радио и телевидение не рассказывают о встречах эмигрантов, которые называются reunion и на которые съезжаются в свое отпускное время люди, работавшие до эмиграции в одном городе, на одном предприятии или в одной отрасли? Я писал, например, о такой встрече у нас в Чикаго, встрече тех, кто трудился раньше в СКБ знаменитого Минского завода автоматических линий. Со всех концов Америки сюда собрались около 80 бывших сослуживцев. Они подсчитали, что их в Америке больше, около 120-ти, только не все смогли приехать. Это были люди уже не первой молодости, и они с гордостью рассказывали: все здесь серьезно востребованы. Один из них, которому было уже за 75 лет, поведал мне: он буквально просит своего хозяина, чтобы тот отпустил его на давно заработанную пенсию, ведь ему уже просто физически трудно работать. Но хозяин ни за что не соглашается, говорит: пожалуйста... ты мне нужен, без твоих знаний и без тебя у меня остановится производство. Могу рассказать и о ежегодных «конференциях» в различных городах Америки бывших сотрудников Института тепломассообмена Академии наук Беларуси, где, в частности, работал мой брат, и о других подобных встречах. Радостных, веселых, интересных. Повторяю, таких событий в жизни эмигрантов, наверное, много, но мы, к сожалению, не знаем о них, наша пресса не считает нужным сообщать об этом. Проще рассказать о преступнике, чем о создателе важного и полезного бизнеса или о выдающемся, например, педагоге... Поэтому и возникают у меня вопрос и сомнение: насколько действительно серьезны все те трудности эмиграции, о которых вы говорите?

Е.Ц. Вы знаете, трагических коллизий в жизни нашей эмиграции гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Гораздо больше, чем я бегло упомянул. Вот он опять перед нами, человек, успешно преодолевший первые барьеры на пути к американской мечте. Кстати, человек совершенно конкретный. Помню, я встретил его в феврале. Он уже купил дом и две машины. Но он даже не подозревал тогда, насколько беззащитен и слаб перед лицом реальности. Он еще не знал, что его сын употребляет наркотики. Он не догадывался, что через несколько месяцев потеряет работу и его захлестнет депрессия. Обычная история: человек без нравственных опор в жизни. Старые опоры, которые помогали в Советском Союзе, уже не существуют для него. А новые он, увлеченный гонкой за материальными ценностями, так пока и не нашел.

Впрочем, я думаю, Ванкарем, примерами мы ничего друг другу не докажем. Вы будете приводить примеры со знаком плюс, а я – со знаком минус. Причем, мне очень нравятся ваши примеры, я тоже могу что-то подобное вспомнить, если постараюсь. Просто мне повезло меньше: я то и дело сталкиваюсь с людьми не устроенными, раздавленными жизнью, в том числе и с людьми совсем молодыми. Вот хотя бы последствия мифа о преуспевающем русском программисте. Помните этот миф? Он так волновал когда-то умы: можно, мол, приехать в Америку, поучиться на курсах полгода или год, поступить затем в фирму и сразу начать зарабатывать 60, а то и все 100 тысяч долларов в год. И вот миф лопнул, немалая часть этих «русских программистов», потеряв работу, оказалась сегодня на обочине...

В.Н. *И все-таки мы можем и должны признать, что очень многое зависит от самого человека, потому что Америка дает каждому огромные возможности. Да, именно от тебя лично многое зависит – от твоего желания и твоих способностей.*

Е.Ц. Это правда. Но она настолько бесспорна, что мне кажется, плодотворнее было бы задуматься сейчас о другом. Что, собственно, является нравственной опорой в жизни эмигранта? Допустим, в *той* нашей жизни опорой личности часто была литература. И это было совершенно закономерно. Тем более, если вспомнить, что происходило в СССР. Советская власть стремилась «ликвидировать» – как «пережитоκ» – религию, и очень многие люди заполняли создавшийся вакуум литературой.

В.Н. *При этом очень важно не забыть: в то время нещадно давила на сознание и подсознание человека своей объемной массой официальная идеология.*

Е.Ц. Да, влияние идеологии на человека было по сути тотальным – например, в 20-е, 30-е, 40-е годы. Но потом, постепенно, у многих открывались глаза. И именно с помощью культуры люди находили какую-то свою нишу – чтобы выстоять, не чувствовать себя оболваненными. Можно сказать: классика противостояла большевизму. Некоторые современные писатели тоже были символами духовного сопротивления. Зачастую не громкого, как, например, Юрий Трифонов. Но – важного.

А что же в эмиграции? Я часто с удивлением думаю: каким же тонким бывает в человеке этот слой культуры, рискну сказать больше – слой интеллигентности. Символичен пример: очень многие семьи привозили с собой в эмиграцию огромные библиотеки. Побудительный мотив был так понятен! Люди, собираясь в эмиграцию, стремились захватить с собой привычную «духовную опору». Тем более что такие библиотеки собирались годами, если не десятилетиями (вспомните хотя бы, как было трудно добыть *там* подписные издания классиков). Но вот уже люди многого добились в новой жизни, вот уже покупают большой дом, однако в этом доме не находится места для библиотеки... Оказывается, книги... мешают.

В.Н. *Но почему же все это происходит?*

Е.Ц. Тому есть много различных и серьезных причин. Не стоит их торопливо обсуждать. Попробую совсем коротко обозначить две. Во-первых, это «кризис чтения» в Америке: о нем так много сейчас пишут, но, конечно же, кризис назревал уже давно. Во-вторых, очевидно: за последние пятнадцать-двадцать лет в современной русской литературе во многом произошла резкая смена эстетических и этических ориентиров. А главное – изменился сам тип писателя. Он уже давно не учитель жизни, не властитель дум, не певец тайной свободы. И книги давным-давно издаются в России совсем маленькими тиражами. Какая уж там «духовная опора» для миллионов людей!

Что и как читают эмигранты – это тема, достойная отдельного разговора. Бесспорно, внимательно изучают – все подряд – местные бесплатные газеты. Бесспорно, книги нашим эмигрантам во многом заменяют русские программы телевидения (хотя, увы, эти программы в огромной степени несут и культивируют пошлость). Разумеется, в газетах порой публикуются хорошие статьи; разумеется, бывают эмигранты и на концертах, выставках, спектаклях... Но речь о другом. Речь о том, является ли литература, как прежде, духовной основой жизни? Если же такой основы нет вообще, то логическое продолжение этого – депрессия, что так знакома многим; растерянность перед новыми проблемами жизни; наконец, озлобленность, которую мы все чувствуем так или иначе в нашей эмигрантской среде. Последнее, видимо, нуждается в пояснении. Приведу пример. Редакции многих русскоязычных эмигрантских газет в разделах «Письма читателей» дают людям высказаться, никого не поправляя, не корректируя, – это действительно голоса живых людей. Но нередко в публикуемых письмах коробит озлоблен-

ный тон, совершенная нетерпимость к иному мнению, иному голосу.

В.Н. *Не слишком ли пессимистично вы, Евсей, оцениваете ситуацию, сложившуюся в духовной жизни нашей эмиграции?*

Е.Ц. Правда всегда оптимистична. Правда обновляет душу. Почему же так важен этот, порой такой мучительный процесс самоанализа? Дело в том, что подлинную духовную опору человек может найти только в самом себе. Так утверждают психологи. А по большому счету подлинную опору личность всегда находит в Боге. И тут нет никакого противоречия: ведь в каждом из нас, в частности, в каждом еврее живет Божественная душа.

Снова повторю здесь мысль, которая кажется мне принципиальной: мы все еще идем по пустыне. Идем из Египта, побеждая в себе рабов, обретая истинную духовность. Высокую духовность, а не ту, которая в Советском Союзе была нам прописана товарищем Сусловым. Согласно Торе этот выход их Египта не только повторяется в каждом поколении, но и продолжается каждый день. Чем конкретно наполнен день в «пустыне»? Любавичский Ребе сравнивал человека, преодолевающего рабство, с больным. Причем, Ребе выделял два одинаково необходимых процесса. Во-первых, нужно поставить точный диагноз. Во-вторых, нельзя медлить с лечением... Так что наша сегодняшняя попытка задуматься о трагических сторонах жизни эмиграции – это, в сущности, попытка уяснить «историю болезни».

И здесь, повторяю, нет пессимизма. Стоит вспомнить в связи с этим одну интереснейшую концепцию иудаизма: спуск ради подъема. О чем тут речь? Чем ниже падаешь, тем выше потом можешь подняться. Об этом мы, в сущности, и говорили.

Новый день в «пустыне». Вглядываюсь в лицах тех, с кем идем вместе из страны красных фараонов. Вижу: очень многие получили там сильную «атеистическую прививку». Тем не менее все больше людей приходит сейчас к иудаизму. Я говорю об этом потому, что наша, последняя, волна эмиграции – это ведь еврейская эмиграция. И молодые, и пожилые, и люди среднего возраста находят сегодня в иудаизме опору жизни. Обретают с помощью иудаизма открытое сознание, способность воспринять новую реальность, способность увидеть и осуществить в ней себя. Конечно, это особенно важно в тот момент истории, когда современной цивилизации противостоят варвары.

Да! Еще об одном надо обязательно сказать. Наши шаги по символической пустыне – это (одновременно) движение по так называемой русской Америке. И, конечно же, очень важно знать, где она расположена и что же там делать еврею.

БЕСЕДА ТРЕТЬЯ. Русская Америка – есть ли она на карте?

В.Н. *Давайте, Евсей, вернемся к нашему предыдущему спору. В прошлый раз вы рассказывали о своих наблюдениях и выводах, основанных на ваших конкретных встречах со многими людьми. Вы говорили о потере эмигрантами интереса к культуре и шире – духовности. Я продолжаю, однако, думать, что вы несколько преувеличили эту опасность. Мое внимание привлекают явления, свидетельствующие как раз о другом. Например, все эти годы я стараюсь посещать многие спектакли нашей Лирик-оперы, концерты в Симфоническом центре и в Равинии. И все чаще и чаще, когда приходишь туда, слышишь в фойе русскую речь. Очевидно: у тех, кто приехал сюда из России и республик бывшего Союза, есть живой интерес к искусству, музыке, театру.*

Кстати, о знаменитом чикагском Арт-институте. Я долго воспринимал интерес нашей эмиграции к его уникальнейшей коллекции как нечто само собой разумеющееся. Но несколько лет тому назад мы с женой были в Бельгии и в Брюсселе, пошли, конечно же, в знаменитый Королевский музей. Он представляет собой пять корпусов, спускающихся по склону холма, в каждом – богатейшие собрания работ знаменитых мастеров изобразительного искусства Европы. Экспозиции расположены по хронологическому принципу – от древних времен и до наших дней. Некоторые коллекции – собрания подлинных шедевров, например, зал Рене Магритта. Мы пришли в воскресный день, были с 10 утра до 5 часов дня, старались увидеть как можно больше. Но поразило то, что за все это время мы в каждом из пяти корпусов встретили не более двадцати посетителей. А ведь Брюссель – это центр Европы, столица Евросоюза, здесь заседает Европарламент. Когда мы вернулись назад в Чикаго, случилось так, что мне пришлось через пару дней сопровождать гостей в наш Арт-институт. Это был обычный будний день, а посетителей – не пробиться. В буквальном смысле слова – толпа в каждом зале. И не только там, где выставлены импрессионисты. И там, где классика, и где древняя скульптура, и где современная американская живопись. Очень много молодежи. Опять-таки часто слышна русская речь. А в зале-переходе между корпусами на скамеечке перед «Окнами Америки» Марка Шагала всегда сидят люди, всматриваясь в это волшебное, завораживающее произведение великого мастера ушедшего недавно века. Кстати, я считаю, что именно здесь, у этих «Окон», и началось мое эмоциональное открытие Америки.

Е.Ц. Картина, нарисованная вами, тоже по-своему завораживает. Но что, собственно, она должна проиллюстрировать? То, что сегодня интерес к культуре в Америке выше, чем в Европе? Не уверен, что это так. Отдельные факты порой нисколько не помогают нам разглядеть тенденцию. Хотите, на ваш пример я тут же отвечу своим? Не так давно я видел в Париже совсем иное: и в Лувре, и в музеях Орсэ, Пикассо, Родена, на художественных выставках, что называется, яблоку негде было упасть. И, конечно же, ваш рассказ об Арт-институте ничуть не противоречит тому, о чем я говорил в прошлый раз. Помните? Размышляя о трагических коллизиях, столь обычных в эмигрантской среде, я констатировал очевидное (по крайней мере для себя): литература перестала быть духовной опорой для большинства эмигрантов. По-видимому, она перестала быть таковой и в России.

В.Н. *С этим можно было бы согласиться, если бы не одно обстоятельство. Духовной поддержкой российского интеллигента всегда была и остается классика.*

Е.Ц. Ваше замечание, Ванкарем, наверно, вполне уместно. Но оставив сейчас за скобками роль русской классики в жизни современной России, полезно задуматься о ее реальном месте в духовных поисках наших эмигрантов. Нет сомнения, в последние годы русскоязычная (по большей части еврейская) эмиграция во многом уточнила, как бы скорректировала свое отношение к русской классике. Разумеется, классические творения ничуть не померкли в глазах эмигранта. Речь о другом. О личности автора, который долгие годы был образцом для подражания, символом нравственной чистоты, о его жизненном «верую». Так вот, наконец-то читателю стали доступны тексты знаменитых русских писателей в полном объеме, в том числе эпистолярное наследие, дневники, записные книжки. И оказалось, например, что многим классикам был в той или иной степени свойствен антисемитизм. Конечно, не стоит преувеличивать эти тенденции и торопиться сбрасывать в мусоропровод тома собраний сочинений (я знаю такие случаи!). Не стоит забывать, что

взгляды писателей развивались и трансформировались. Не стоит игнорировать принцип конкретного историзма: в XVIII и XIX веках в силу объективных причин русские писатели имели часто слабое представление о духовном богатстве нашего народа – еврейской религии, философии, древней культуре... Но из песни слова не выкинешь. И эмигрант-еврей, до сих пор считающий себя русским интеллигентом, перестает (как когда-то) «обожествлять» классиков. Тем более, что обожествлять людей нам не позволяет Тора. Русская классика и русскоязычная эмиграция... Сложная тема. Прикасаясь сейчас к ней, думаю с сожалением: в силу разных причин русские классики вряд ли будут (как когда-то в стране Исхода) духовной опорой на нашем новом пути.

В.Н. *Одна из ваших книг называлась «Писатель в провинции» (Москва, «Советский писатель», 1990). Рассказывая о трудных, зачастую даже трагических судьбах творцов, вы по-своему исследуете природу и психологию художественного творчества. Сегодня все мы живем в эмиграции. Как по-вашему, эмиграция – это тоже провинция? В чем же тогда роль и значение литературы эмиграции?*

Е.Ц. Название моей книги «Писатель в провинции» довольно условно. Для меня всегда было важно понять: как рождается творчество? Где корни культуры? Именно в этом смысле так называемая провинция часто выходит на первый план. В чем-то эмиграция – это, конечно же, провинция. Духовная история эмиграции – по сути та же история гибнущих талантов, которая характеризует русскую провинцию во все времена. Это же мы видим и в эмиграции, причем не только в сегодняшней. Видим пошлость, недостаток культуры, жесткость, даже жестокость по отношению к таланту, отсутствие подлинного духовного климата.

Роль критики в развитии литературы эмиграции? Ее просто трудно переоценить. Ведь именно критика дает оценку явлениям культуры, определяет их место в художественном процессе, помогает становлению и развитию творца. Но не секрет: на практике мы постоянно сталкиваемся с оценками неточными, мягко говоря, завышенными. Вместе с тем многие произведения, появившиеся в эмиграции, остаются незамеченными. Литературных критиков в эмиграции – раз, два и обчелся... Потому не могу не вспомнить одно из счастливых исключений из правила – Анатолий Либерман. Он, как мне кажется, обладает редким свойством увидеть и понять талант...

Психология творческого процесса в эмиграции? Заведомо «больной» вопрос: ведь мы говорим о человеке, который оторвался от одного берега, но к другому – часто – не пристал... Творческий процесс здесь отягощен и еще одним испытанием: творец, как правило, не может прожить в эмиграции с помощью своей профессии. С другой стороны, именно в эмиграции нередко происходит осознание творцом своей миссии. Возникает опять тот же вопрос: где столица, где провинция? Эмиграция, конечно, имеет провинциальные черты, но вместе с тем она может творцу и очень многое дать. Вот один недавний пример. Писатель и историк Семен Резник, уже больше двух десятилетий живущий в США, выпустил замечательную книгу об истории евреев в России. Поводом для ее написания стала последняя работа А.Солженицына. В книге Резника много полемики, важных уточнений, но самое главное в ней другое. Писатель, который долгие годы занимается историей евреев в России, – а он автор романов, повестей, книг яркой антифашистской публицистики – Семен Резник излагает здесь свою личную, что называется, выстраданную концепцию истории российского еврейства. Читая эту книгу, я чувствую, что дала автору эмиграция: свободный взгляд, свободное дыхание, дистанцию, позволяющую многое увидеть и осознать.

В.Н. *Но вернемся к теме, которую затронули раньше. Так все же: растет или падает интерес эмигранта к культуре?*

Е.Ц. Мы уже не раз убеждались: сами явления культуры сочленены сегодня на редкость сложно, не однолинейно. Иногда кажется: они опровергают, отрицают друг друга. И только потом разглядишь вдруг диалектическую связь. Вот пример, имеющий прямое отношение к теме нашего разговора. Исследование, проведенное Американским Национальным фондом искусств, зафиксировало резкое падение интереса к чтению. Это касается буквально всех этнических групп населения США и свойственно разным людям, независимо от их образования или религии, которую они исповедуют. Но прежде всего опасная тенденция затронула молодых. Сегодня книги читают только 47% американцев, и нам, прошедшим свою жизнь с книгой, с этим трудно примириться. Не будем однако торопиться с «окончательным выводом».

Несколько лет назад этой проблеме посвятил свою программу на «Радио Свобода» известный писатель и культуролог Александр Генис. Приведенные выше факты комментировали специалисты – библиотекарь, литературовед, философ. Все они подчеркивали: перед нами необычная ситуация в американской культуре. Но не такая уж новая, если говорить об истории мировой цивилизации. Как всегда, ярко сформулировал свою мысль Борис Парамонов: «...Я сочувствую, конечно, печалям книжников, но в отличие от них не столь пессимистично настроен. Они люди эпохи позднего Гутенберга. А вспомним, к примеру, раннего: печатали по существу одну только книгу – Библию... И ведь сие не помешало (...) создать высокую культуру». Что же касается культуры современной, то в ней – очевидно – существует несколько параллельных течений. Одно по-прежнему уносит нас в мир книги и слова, другое (оно явно усиливается!) делает акцент на зрелищности, визуальности...

В.Н. *И поэтому все больше «захватывает» человека кино и телевидение?*

Е.Ц. Да, конечно. И то, что вы рассказали о чикагском Арт-институте, тоже подтверждает этот тезис.

В.Н. *В прошлой нашей беседе вы заговорили о так называемой русской Америке. Наверное, с одной стороны, это понятие связано с внутренним, духовным миром человека в эмиграции, с другой – с увеличением количества «наших», приехавших сюда в последние десять–пятнадцать лет. Тем не менее, может быть, стоит подробнее расшифровать, что же это, по-вашему, такое – русская Америка?*

Е.Ц. Это своего рода материк. Он имеет интересную историю (кстати, она во многом уже написана). Жизнь этого материка объективно зависит от волн русскоязычной эмиграции в США. При этом каждый из нас по-своему открывает русскую Америку. А может... вообще не открыть. Материк ведь существует только для тех, кто хочет там жить. Что я имею в виду? Есть люди, которые, приезжая в Америку, стремятся оттолкнуться от всего русского, как можно быстрее и во что бы то ни стало. Они наивно думают, что, перелетев океан, можно сразу стать другим человеком. Однако наши души существуют не по законам географии – иначе зачем бы древние евреи сорок лет шли по пустыне? Избавляясь от духовного рабства, опасно перечеркивать все свое прошлое. Нужно прежде всего зорко и беспристрастно пересмотреть свой путь. Вот почему наш внутренний диалог со страной Исхода наверняка будет длиться долго.

В.Н. *Но давайте поговорим конкретно: кто же живет в русской Америке сегодня?*

Е.Ц. Заметнее всего: пожилые люди. Они – «вынуж-

денные» жители русской Америки: не зная английского языка, никуда не могут из нее уйти. Тем не менее большинство из них существуют здесь вполне комфортно: устроившись у телевизоров, они с грустью наблюдают за, мягко говоря, некомфортной жизнью своих ровесников в России. Среди таких (как бы вынужденных) жителей русской Америки немало и представителей русскоязычной (гуманитарной) интеллигенции. Дело в том, что сейчас они часто не востребованы: после окончания холодной войны интерес к России, к русскому языку у американцев заметно уменьшился (а, может быть, надо не бояться произнести другое слово: интерес упал). Так что и для этих людей русская Америка – единственно возможный духовный приют. Но есть еще одна категория эмигрантов. Они выбирают русскую Америку сознательно. У них разный возраст, разные профессии. Но все осознали одно: уехав из СССР, сделав свой выбор, они простились с российским антисемитизмом, с многолетним унижением и хамством, однако не простились и, наверное, никогда не простятся с русской культурой. Эти люди и есть своеобразный духовный центр русской Америки. Они открывают и строят ее.

В.Н. *Да, например, несколько лет назад «выстроили» у нас в Чикаго русскоязычный репертуарный театр «Атриум»...*

И все-таки давайте спросим себя: не придумываем ли мы этот так называемый «материк»? Ведь вся Америка – страна эмигрантов. Но в других этнических группах никто не говорит, наверное: «мексиканская Америка», «ирландская Америка» или «польская Америка». Не придумывает ли сама наша интеллигенция необходимость какого-то «материка» в океане? Ведь договорились даже до того (я спорил с известным славистом Михаилом Эпштейном по этому поводу), что здесь существует уже так называемая русско-американская культура, и двуязычие – ее существенная примета.

Е.Ц. Нет, не могу согласиться с вами. Во всем согласиться. Конечно, культура русской Америки – это часть единой русской культуры. Но часть совершенно особая, у нее – своя миссия. И специфика. В том числе и двуязычие многих ее творцов.

В.Н. *А какие еще проблемы видите вы в культуре эмиграции, в культуре русской Америки?*

Е.Ц. Я уже говорил: пошлость! Именно так, с восклицательным знаком. Повторю и другое: пошлость всегда была и есть приметой культурной жизни любой эмиграции. Это, видимо, связано с обрывом в жизни людей важных духовных связей и традиций. Это не значит, что в культуре эмиграции не было и нет больших имен, больших явлений. Но в эмиграции часто вдруг снижаются (иногда кажется: есть ли предел?) эстетические критерии, а значит, пошлость – увы! – расцветает в культурных институтах эмиграции. Хотя пошлость можно увидеть сегодня и в России.

В.Н. *Если говорить о музыке, театре, эстраде, то многое идет именно оттуда. Это демонстрируют передачи всех телеканалов. А когда приезжают сюда гастролеры, мы все это видим уже наяву.*

Е.Ц. Страшно даже не то, что пошлость экспортируется. Страшно то, что многие вроде бы интеллигентные люди ее не замечают. Меня не перестает это поражать: неужели, пересекая океан, подавленный (но ведь не раздавленный?) трудностями интеллигент разрешает себе просто не реагировать на дурновкусие? Я часто думаю: почему это происходит? То ли все тот же слой интеллигентности в человеке очень тонок. То ли дело в том, что пошлость, точно компьютерный вирус, постоянно уничтожает подлинно культурную среду.

Где выход? Можно было бы сказать так: интеллигенция русской Америки должна четко определить свою позицию, сформулировать свое кредо, важнейшие мировоззренческие, философские идеалы. Но призывать сегодня к этому нелепо: мы еще в СССР убедились, что сами по себе лозунги и призывы не работают, нужна долгая и трудная работа души.

А еще нужно чаще вспоминать тех, кто шел той же дорогой раньше нас. Искал, заблуждался, обретал в конце концов нечто важное – в самом себе и в мире. Вспомню сейчас барда Александра Алона. Он жил в Израиле, часто бывал в США. Увы, судьба Алона была трагичной, он рано ушел из жизни, а его пронзительные песни сегодня уже мало кому известны. Примечательно: Александр Алон осознавал себя певцом нашего Исхода и, бесспорно, был им. Тема Исхода российских евреев по-разному, но всегда исповедально звучит в творчестве Алона: в его песнях, эссе, путевой прозе. Александр Алон был убежден: русская культура нужна эмиграции, ее нужно создавать и строить. Причем, ни в коем случае нельзя довольствоваться эрзацами – нужно ориентироваться на самые высокие образцы. Александр Алон подчеркивал: это должна быть русско-еврейская культура...

Не правда ли, здесь намечена программа, которая – в главной своей сути – так близка нам, по-прежнему идущим по символической «пустыне»?

БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ. «Меня притягивает тайна человеческой судьбы...»

В конце сентября 2008 г. Евсею Цейтлину исполнилось 60 лет. Наш разговор состоялся за несколько дней до этой даты.

В.Н. *...Давайте однако начнем нашу беседу, вспомнив другой, совсем еще недавний юбилей – тридцатилетие газеты «Шалом», которую вы редактируете. Расскажите, пожалуйста, хоть в нескольких словах, об ее истории и, конечно, о том, как формируется сегодняшний облик издания?*

Е.Ц. Я думаю, что тридцатилетие русско-еврейской газеты – прекрасный повод задуматься о проблемах существования и выживания прессы в эмиграции. Подчеркну это слово: выживание. Увы, многие издания гибнут, как мотыльки, едва начав свой полет. Говоря же о «Шаломе», прежде всего необходимо отметить роль издателя. Вот уже несколько десятилетий организация F.R.E.E. Большого Чикаго и ее руководитель раввин Шмуель Нотик прозорливо видят в «Шаломе» не только способ общения с прихожанами, не только трибуну, но и возможность реализации духовных задач. Верю в то, что именно с помощью «Шалома» многие наши соотечественники, которые совершили свой Исход из «Красного Египта», поняли главное – откуда и куда идут (конечно, я имею в виду не географию). Когда-то «Шалом» был в Чикаго единственным изданием на русском языке: открывая свежий номер, читатель жадно искал новости. Но вот появились другие русскоязычные издания – «Шалом», естественно, изменил свое лицо. Я как раз тогда пришел работать в эту газету – почти двенадцать лет назад. Вы спросили про историю? Но история – это не только пожелтевшие страницы, это – прежде всего – люди. Я рад тому, что, приехав в Чикаго, подружился с чудесной супружеской парой – Даниилом Моисеевичем и Ниной Иосифовной Пейсиными: бывшие ленинградские архитекторы, подлинные интеллигенты, они уже в пожилом возрасте гармонично нашли себя в иудаизме; шесть лет – в очень трудных условиях – Пейсины выпускали «Шалом»... Разрабатывая новую его концепцию, я думал о том, как сохранить дух и традиции, но – одновременно – ответить на запросы времени... Повторяю, мы не стремимся конкурировать с ежедневными и еженедельными изданиями. Се-

годня у нас практически нет информации. Наши основные жанры – проблемная статья, эссе, очерк, рассказ... По форме «Шалом» газета, а по внутренней структуре – журнал, в котором освещаются различные аспекты иудаизма, еврейской истории, философии и культуры. Признаюсь, мне очень приятно слышать от наших читателей: «Я открываю «Шалом» поздно вечером...» Или: «Я читаю «Шалом» ночью». Видимо, наступает время, когда человек отходит от суеты дня, – ему хочется задуматься о вечном. Этого просит, требует его душа. Наверное, он думает о смысле жизни, когда читает на наших страницах размышления Любавичского Ребе, этюды знаменитого каббалиста Адина Штейнзальца, статьи раввина Шмуеля Нотика и – многих других авторов «Шалома», которые, кстати, живут в разных городах Америки и даже в разных странах.

В.Н. *Что вы думаете вообще о русскоязычной прессе здесь, в США, о ее роли и значении в нашей повседневной жизни, о ее перспективах?*

Е.Ц. Начну с конца. С вопроса о перспективах. Еще лет десять назад в разных штатах Америки издавалось большее количество газет – они росли, как грибы после дождя. Но сейчас мы наблюдаем обратный процесс: газеты выходят из бизнеса, а те, что остаются, теряют свое лицо. Часто это уже не оригинальные издания с постоянным кругом авторов – страницы, беспорядочно заполненные перепечатками из Интернета.

Увы, причина этого процесса вполне закономерна. Ведь 10–15 лет назад наша эмиграция была еще на подъеме, была подобна бурной реке. Сейчас это – тонкий ручеек. Меняется и демографическая ситуация в эмиграции – разве это может не сказаться на русскоязычной прессе? Не секрет: постарел наш читатель. Думаю, что нашу прессу в дальнейшем ожидает обычное – скромное – место в ряду других этнических средств массовой информации: небольшие тиражи изданий, отражающих жизнь своих общин.

Я говорю о тенденции, которая для меня очевидна и которая не зависит от чьей-то прихоти, – например, от того, как проголосуют слушатели той или иной радиопрограммы (это теперь так «модно» в эмиграции). Тенденция объективна: она связана с практическим прекращением русскоязычной эмиграции. Но это вовсе не отменяет того, что всегда будут появляться новые издания. И будут полнокровно жить старые. Именно те, у которых есть свое лицо, своя концепция, своя позиция.

А будущее русскоязычной прессы во многом зависит от спонсоров. Я имею в виду спонсоров-просветителей, которые понимают совершенно особое значение издания в эмиграции, на чужбине. Понимают: газета или журнал – это для читателя возможность диалога, возможность сформировать собственную точку зрения по тем или иным вопросам. Наконец, возможность продолжать мыслить, продолжать свое духовное существование с помощью родного языка.

Нет, не хочу быть пессимистичным: от души желаю всем своим коллегам удачи и процветания!

В.Н. *Но ведь есть, наверное, и такие проблемы нашей прессы, которые мы вполне можем и должны решить.*

Е.Ц. Что ж, уместно вспомнить сейчас: газета – это и летопись эмиграции. Летопись, конечно, не бесстрастная, наоборот – привлекательная своей субъективностью, своим многоголосием. Однако кто сохранит эту летопись? Кто донесет ее и до наших потомков, и до будущих исследователей русскоязычной эмиграции?

Трудные и грустные вопросы. Очень многие издания не найдешь в архивах, в крупных газетных и журнальных хранилищах. Кстати, я не уверен, есть ли полные подшивки газет в самих редакциях. Немало изданий уже исчезли. Я вспоминаю, например, выходившую в Чикаго газету «Моя Америка» – по-настоящему профессиональную и интеллигентную. Там кипели споры – в том числе шли серьезные дискуссии о проблемах эмиграции. Интересно было бы сейчас к ним вернуться, перепроверить вчерашние прогнозы.

Иногда поучителен даже издательский дебют. В свое время меня привлек дерзко задуманный двуязычный журнал «Улица», чье существование оборвалось, если не ошибаюсь, на третьем номере... А вот «Лейк Шор» – «маленький литературный журнал с большим юмористическим акцентом»... Совсем недолго выходила «Литературная газета», одной из создателей которой была трагически ушедшая из жизни Марина Марговская. Перечислять эти издательские дебюты можно долго. У меня дома есть полка, где стоят эмигрантские журналы: два... шесть... иногда десять номеров. Повторяю, я говорю сейчас не о халтуре – о порой неожиданных замыслах, стремящихся преодолеть и победить инерцию эмигрантского быта.

Какой вывод из вышесказанного? Давно пора создать несколько региональных музеев русско-еврейской эмиграции, а при них – архивы прессы.

В.Н. *Естественно возникает в нашем разговоре и проблема самоощущения писателя в эмиграции, психологии его творчества.*

Е.Ц. Мы говорили об этом с вами, Ванкарем, и раньше. Что добавить еще? Каждый писатель, художник, артист, отправляясь в эмиграцию, делает судьбоносный выбор. Нет, эмиграция – не веселая прогулка, как казалось кому-то издалека. Эмиграция обостряет для творца многие старые проблемы. И – ставит новые. Творец всегда одинок, а в эмиграции одиночество умножается. Исчезает читатель, точнее – резко сужается его круг. Ситуация обостряется тем, что (повторю снова очевидное) на чужбине мало кто из литераторов может прожить, не меняя профессии. Многие писатели в эмиграции умолкают – иногда навсегда.

Вместе с тем, если литератор действительно жаждет свободы, он получает ее именно в эмиграции, где никому, в сущности, не нужен. «Счастье быть чужим», – так – пронзительно, емко – сформулировал это состояние Борис Хазанов.

Кстати, сегодня появилось много материалов о психологии творчества писателя в эмиграции.

Вот оригинальная книга Бориса Хазанова и Джона Глэда (крупный американский славист) «Допрос с пристрастием. Литература изгнания». Вот составленный известным писателем и редактором Владимиром Батшевым сборник автобиографий «Русские зарубежные писатели начала XXI века». А вот его же книга «Писатели русской эмиграции. Германия 1921-2008. Материалы к биобиблиографическому словарю». (Оба сборника Владимира Батшева открывают литературные серии). Уникальны выпуски альманаха «Диаспора: новые материалы» (ответственный редактор – неутомимый исследователь литературы русской эмиграции Олег Коростелев, редактор-издатель – Татьяна Притыкина). Конечно, отмечу и только что прочитанную мной книгу «Русские евреи в Америке» (редакторы-составители: Эрнст Зальцберг, Михаил Пархомовский).

Всегда важно войти в лабораторию творца. Тридцать лет это делает в эмиграции – умно, талантливо – Белла Езерская, писатель-искусствовед, работающая в редком жанре: эссе-интервью. Итог ее работы – три тома под названием «Мастера», а также сборник «Почему молчали кариатиды».

...Словом, литературы о психологии творчества писателя-эмигранта сегодня немало. Читая, восхищаюсь работой подвижников. Замечаю: день вчерашний похож на

сегодняшний – в литературе Русского Зарубежья по-прежнему сумеречно.

Мы отмечали, сколь непросто жить русскоязычной эмигрантской прессе? Что же тогда говорить о литературных журналах! Они едва дышат. Их тиражи не сообщаются, но не сомневаюсь: в лучшем случае – это несколько сот экземпляров.

Однако довольно черной краски. Не забудем главное. Мы знаем, как и почему оказались в эмиграции. Мы сделали свой выбор.

В.Н. *А есть ли в эмиграции талантливые молодые писатели?*

Е.Ц. Однозначно и твердо отвечу: есть. Могу сослаться на публикации в альманахах «Побережье» и «Панорама», журналах «Литературный европеец», «Мосты», «Слово-Word», «Время и место», в «Новом журнале», коллективных сборниках, Интернет-журнале «Средний Запад».

Однако давайте обойдемся без фанфар. Вы затронули очень больную проблему литературы Русского Зарубежья. А я хочу выделить в этой проблеме только одну грань.

Мы говорили: в эмиграции трудно каждому творцу. Но очевидно: во много раз тяжелее молодому литератору. Кто он? Допустим, он попал на чужбину совсем юным или родился здесь, а потом – начал писать по-русски. Впрочем, понятие «молодой литератор» у нас не связано с возрастом: в эмиграции «впервые берутся за перо» и те, у кого давно есть внуки. Это так понятно. Не найдя себя в новой действительности, человек по-своему пытается заполнить духовный вакуум, реализоваться – идет в писатели.

В чем же проблема?

Во-первых, для работы в литературе мало желания – нужна еще такая «малость» как талант.

Во-вторых, сама практика литературной жизни эмиграции дезориентирует молодого писателя, в какой-то степени даже развращает его. Например, многие газеты на своих литературных страницах печатают откровенно слабые вещи, причем порой сопровождая публикации хвалебными комментариями. Тут впору и растеряться.

Общаясь с «молодыми поэтами» нашей эмиграции, я многие годы проводил ненавязчивое тестирование. Не устаю поражаться: кажется, из всей русской поэзии они знают и неустанно повторяют только несколько громких имен – Ахматова, Цветаева, Пастернак... «Молодые творцы» не понимают, как мне кажется, простой истины: сегодня искания русского поэта, где бы он ни жил – в России ли, в эмиграции, – совершенно невозможны без опыта Тютчева, Фета, Боратынского, Иннокентия Анненского, Вячеслава Иванова, Андрея Белого, Георгия Адамовича, Владислава Ходасевича... А также Павла Васильева, Бориса Корнилова, Дмитрия Кедрина, Арсения Тарковского, обереутов... Можно назвать и многие другие имена (в том числе – американских поэтов): они, как правило, неведомы тем «молодым», с которыми я беседовал. Неведома им и русская литературная периодика в разных странах мира. И зачастую нет даже стремления что-то узнать. Увы, такая самодостаточность губительна для таланта.

О чем я думаю при этом? Литературная жизнь советского времени несла в себе множество отвратительных моментов (прежде всего: она развивалась под очень сильным партийным диктатом). Но тем не менее тогда был накоплен (может быть, вопреки партийным указаниям) драгоценный опыт литературного воспитания. В своей первой книге «Беседы в дороге», которая вышла 31 год назад, я писал о законах становления творческой индивидуальности. О неизбежно трудном пути литератора к самому себе. О том, как работали с молодыми писателями большие мастера – в частности, один из первопроходцев русского литературного авангарда двадцатых годов, «оппозиционный классик» советской литературы Всеволод Иванов.

В.Н. *Вы вспомнили свою первую книгу. А над чем вы работаете сейчас?*

Е.Ц. В последние годы в периодике появляются мои эссе и новеллы, составляющие три разных цикла: «Откуда и куда», «Опыт прощания», «Шаги спящих».

Тема первого цикла – «Откуда и куда» – связана с одной из важных идей Торы: каждое поколение евреев вновь и вновь идет по символической пустыне. Путь никогда не кончается: ведь мы движемся к духовной свободе. Что же обретают на этом пути мои герои? Ответы разные, далекие от каких-либо схем. Я пишу о самобытных поэтах и прозаиках. Судьбы и голос иных внезапно, на полслове оборвались. Для меня, кстати, очень важно то, что большинство героев этого цикла – писатели-эмигранты.

Ну, а о чем «Опыт прощания»? Когда-то я записал – в России, Литве, Израиле – немало интервью с бывшими советскими евреями. Некоторые беседы длились долго – иногда несколько дней, порой несколько месяцев. Одно интервью (с последним еврейским писателем Литвы Йокубасом Иосаде) продолжалось пять лет. Оно легло в основу моей книги «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти». И это, и другие интервью я проводил по особой системе. В сущности, шел необычный эксперимент, активно поддержанный Еврейским музеем Литвы, литовскими интеллектуалами. В чем состояла суть эксперимента? Хотелось проникнуть в глубины человеческой памяти – туда, куда мои собеседники часто не хотели или не решались заглядывать. А порой подсознание вытесняло, почти уничтожало «больные» воспоминания. Оказалось, их можно еще спасти...

В цикле «Опыт прощания» я возвращаюсь к тем давним беседам. Трудно пересказывать то, что ты уже написал. Еще труднее и опаснее говорить о ненаписанном: нерожденная вещь может так и остаться замыслом. Все же скажу коротко, как создавалось очень типичное для этого цикла эссе «Человек и судьба “по ту сторону слов”». Мой герой – замечательный литовско-еврейский поэт Альфонсас Буконтас. В иудаизме есть такое понятие – «украденные дети»: речь о людях, воспитанных в отрыве от национальной традиции. Большинство советских евреев и были «украденными детьми». Но все же «случай Буконтаса» – особенный. Грудным ребенком, в самом начале войны, его усыновила литовская семья, живущая на дальнем хуторе. А его настоящие родители и брат попали в гетто, потом погибли. Судьба Альфонса Буконтаса потрясает, но все же не это является сюжетом моего повествования. Я пытаюсь реконструировать сложный процесс человеческого самосознания, уникальный путь *возвращения* еврея к своему подлинному «я». Сам Альфонсас долго даже не подозревал, что он – еврей. Однако примечательно: всегда, с раннего детства он ощущал себя на хуторе как инопланетянин. Ничего не зная о собственном прошлом, согретый любовью приемных родителей, никогда не сомневался: он – другой, не такой, как все. И даже литовский язык, которым потом Буконтас овладел столь виртуозно, долго казался чужим, точнее – чуждым его естеству. Мальчик вырос, стал поэтом и переводчиком – процесс самоосознания во многом перешел теперь в его творчество, определил важную, едва ли не главную тему поэзии Буконтаса... Завершился ли этот процесс, когда – спустя много лет – он нашел свидетелей и документы в архивах, когда состоялось решение суда (Альфонсас Буконтас на самом деле является Мордехелем Михницким)?.. Сразу не ответишь. Человек не может

отказаться от своего прошлого, перешагнуть его, отбросить, как ненужный черновик.

...Совсем недавно я начал публиковать новеллы и эссе из цикла «Шаги спящих». Кто-то спросит: что за странное название? Между тем мудрецы Торы давно заметили: галут (изгнание, в котором оказались евреи) можно уподобить сну. В снах часто отсутствует логика? Вот и сознание человека в галуте нередко разорвано. Человек здесь легко путает понятия: черное называет белым, правду принимает за ложь... Именно это сознание (поистине «несчастное сознание», если вспомнить знаменитую формулу Альбера Камю) становится материалом отдельных новелл. Все они документальны. Не зря рядом с заголовком «Шаги спящих» стоит подзаголовок – «Дневник этих лет».

Кстати. Сны появляются здесь и в самом буквальном смысле. Долгие годы я записывал сновидения евреев, а теперь предлагаю небольшую их «коллекцию» читателю. Впрочем, уточню: сны интересуют меня не сами по себе. Мне прежде всего интересен человек, который, мучительно разгадывая собственные сны (часто повторяющиеся, «вещие»), пытается прикоснуться, приблизиться к тайне своей судьбы. Эта тайна всегда притягивала меня. Так начинались многие мои книги и сюжеты.

Вспоминаю сейчас других героев из «Шагов спящих». Символично, что кого-то я встретил в очереди у консульства Израиля или у американского посольства в Москве. Уже начался новый Исход. А они мечутся, не могут разглядеть дорогу, не могут решиться на первый шаг. Что ж, ничего нового. Так было и в истории, мы знаем: 80% евреев не вышли из Египта. Они остались там и погибли. У них не хватило мужества сделать выбор.

Спасибо однако тем, кто выбор сделал. Кто по-прежнему продолжает свой путь. И не забыл, ради чего мы пришли в этот мир.

ИРИНА ПАНЧЕНКО

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
Из воспоминаний...

...Нельзя говорить о биографии человека вне биографии эпохи. Я иногда заглядываю в мой архив...

Я родилась в России, в старинном городе Ярославле на Волге. Моя мама Вера Михайловна Паутова (по мужу Панченко) родилась в 1908 году в Ярославле, но её детские годы прошли в Санкт-Петербурге. Позднее она переехала с родителями в Крым, в Керчь. Мой отец Григорий Иосифович Панченко родился в 1906 году на Украине, в селе Верхний Рогачик. Познакомились отец и мать в Крыму. Мои родители по образованию экономисты. После свадьбы они поселились в Ярославле, до Отечественной войны оба работали там на крупном предприятии – резиноасбестовом комбинате. На память о том периоде в нашем домашнем архиве сохранилось несколько статей отца на экономические темы, опубликованных в ярославской периодике. После войны родители переехали в Киев – мой отец всегда мечтал вернуться на Украину.

Для матери незабываемым воспоминанием стал поездка в мае 1936 года в Кремль на «Всесоюзное совещание активисток жён инженерно-технических работников тяжелой промышленности». Конечно, на совещание отправляли общественниц. Мама много работала с женщинами-рабочими по ликвидации их безграмотности, проводила литературные читки в бараке, которые регулярно посещали больше двадцати человек, входила в редколлегию стенгазеты.

В Кремле активисток наградили дамскими велосипедами. Тогда велосипед был большой редкостью! Награды вручал сам Григорий Орджоникидзе. Мамин велосипед подвешивали, как музейную редкость, сначала в Ярославле, а потом в Киеве на стене коридоров в квартирах-«коммуналках», в которых мы жили. Он служил трём поколениям. Дождался, пока подросла я и смогла, как и мама, на нём ездить. Даже моя дочь Ксения ещё успела в 1970-е немного покататься на этом велосипеде на даче, хотя он был ей велик. Ксюша называла велосипед «историческая скрипучка». Он и вправду уже к тому времени скрипел, но ездил по-прежнему исправно. Да, качество машины было отменное!

Отец был жизнелюб, яркий, талантливый, разносторонний человек. Собирал библиотеку, хорошо рисовал, чудесно пел (ему аккомпанировала мама на появившемся в доме после войны фортепьяно. Ещё до брака она брала уроки игры на фортепьяно по настоянию своих родителей). С юношеских лет и до конца жизни, даже на фронте, несмотря на строжайший запрет, отец вёл дневники. Мать подарила их мне после смерти отца. В одной из дневниковых тетрадей я обнаружила начало романа.

Отец прекрасно умел готовить. Надо было видеть, как после похода на рынок он священнодействовал на кухне! Делал это не часто, под настроение. Готовил и ...пел.

Его литературным пристрастием была русская классика. Рассказывал мне, как однажды в молодости посетил выступление Маяковского. Ажиотаж был невероятный. Вход в зал охраняла конная милиция. Молодёжь топала ногами, кричала, бешено аплодировала, но мой отец остался равнодушен к поэзии знаменитого футуриста и тогда, и потом. Это событие даже не попало в его дневник. Конечно, меня это огорчало, когда со временем я смогла по достоинству оценить трагическую лирику дооктябрьского Маяковского. Но, видимо, далеко не сразу читатель, воспитанный на классике, может принять совершенно непривычную для него, авангардную поэзию.

Ещё отец был меткий стрелок, страстный охотник. Я и сейчас помню неповторимый вкус мяса диких уток и свежей зайчатины. Отец тяготился работой в большом городе, в далёкой от природы «конторе». Его тянуло в лес, в поле, на озеро с камышами. Для того чтобы для этого выгадать лишний денёк, отец писал заявления, где просил отпуска за свой счёт «в связи с похоронами шурина... деверя... двоюродной тёти... троюродного дяди...». Его добродушный ярославский начальник, давно разгадав маневры подчиненного, однажды не выдержал: «Панченко, ты уже всех своих родственников похоронил?»

Даже на фронте, куда отец ушёл из Ярославля в 1941году ст. интендантом, он не оставался равнодушным к земле и к тому, что на ней живёт и растёт, и вспоминал тех, для кого это было дорого. Не удержусь и позволю себе для вас прочесть маленький отрывок из его дневника, написанный им о командировке незадолго до сражение за Сталинград:

«...Пароходик отошёл от Сталинграда в 11ч. 30 мин. В 13 ч. 50 мин. Свернули в Ахтубу. Речушка хорошая. Местами по берегам плавни. В особенности хорошо было плыть, когда солнце перестало жечь, вода сделалась зеркально-тихой, рыба под вечер разыгралась, то и дело всплескиваясь над водой.

...По берегу тянутся большие яблоневые сады с висящими на деревьях жёлтыми яблоками...Маленькие чаечки, называемые у нас на Украине «крячками», парили над водой. Пролетел косяк гусей, я насчитал их 12-ть. Щуры – заядлые враги пчёл – носились над прибрежными деревьями... Они мне напомнили далёкий Верхний Рогачик, сад соседа Куцевалова, в котором была пасека, и эти

самые щурики совершали налёты на пчёл.

Давно нет Куцевалова. Его расстреляла в январе 1921-го «чрезвычайка». Давно нет пасеки, давно погиб когда-то замечательный плодовый небольшой куцеваловский сад». (18 августа 1942 г.)

Когда я была совсем маленькая, он приносил мне с охоты «хлеб в подарок от зайца». Я свято верила, что тот кусочек хлеба был действительно «от зайца» и съедала его с таким удовольствием, с каким нынешние дети едят торт.

Мне, повзрослевшей, он привозил из леса то ёжика, то редких по окраске лягушек. Прожив в квартире зиму, весной мы выпускали зверюшек вновь туда, откуда они были взяты. Отец помогал мне собирать гербарий растений для школы, учил их именам.

Он переживал, что у него нет сына, которому можно было бы в будущем передать ружьё, патроны и прочее охотничье снаряжение. Я это интуитивно чувствовала, и в подростковом возрасте очень хотела быть мальчишкой. Однажды он меня, школьницу средних классов, когда мы с ним вдвоём проводили его отпуск на Десне в палатке, взял с собой на вечернюю утиную охоту с подсадной уткой. Ну, ружья, конечно, он мне не дал, только манок, имитировавший призывное кряканье утки. Учил стоять около озера не пошелохнувшись, не взирая на комариные нападки. Стоя тихо-тихо, я наблюдала, как садится красное солнце в засыпающее озеро…

Когда много лет спустя на сцене Рижского театра русской драмы я смотрела пьесу Александра Вампилова «Утиная охота», мне были близки лирические монологи главного героя драмы и смысл символики, связанный с названием пьесы. На своей «утиной охоте» тот не стрелял, он ездил на неё, чтобы послушать тишину, душой ощутить красоту зеркала озера, поросшего по берегам камышами...

Я безмятежно воспринимала жизнь родителей вполне благополучной, именно так. Ведь меня опекала ещё и моя бабушка, мамина мама, которая до самой своей смерти жила с нами. Оказалось, что благополучие во многом было внешним. Я узнала об этих подробностях поздно, лишь из архива отца. Родители ничего мне не рассказывали, чтобы «не разрушить мою жизнь». Пришлось позже самой восстанавливать семейную хронику.

С 1922 года в СССР начались аресты «за скрытие социального происхождения». Каждому из моих родителей было, что скрывать. Отец матери, Михаил Николаевич Паутов, жил до революции в Санкт-Петербурге. Был портным, талантливым закройщиком верхней одежды, обшивал офицеров царской армии, ему помогали два подмастерья. К пролетариям такого «буржуя» причислить было никак невозможно. В Крым с семьёй он перебрался, когда врачи обнаружили у него лёгочное заболевание.

Мой дед по отцу, Иосиф Семёнович Панченко, владел кузницей, в которой не использовалась «наёмная сила», так как там работали дед и его многочисленные родственники. Это было у всех на виду. Тем ни менее, имущество, сбережения и кузницу у семьи конфисковали, а деда с женой зачислили в ряды «лишенцев» (т.е. лишённых права голоса на выборах). Хорошо ещё, хоть не причислили к «кулакам», не сослали и не отобрали дом, в котором у супругов росло четверо детей. Всё-таки как-никак в те годы пели: «Мы – кузнецы...», а кузнечный молот был в гербе республики.

Мать отца, Ефросинья Кузьминична Лубяньська, была родом из польских дворян. Когда-то её семье принадлежали земли, богатая усадьба, конюшня, псарня... Всё это давным-давно продули в карты её родичи. Бедную польскую девушку выдали замуж за владельца кузницы. Состоялся союз родовитости и денег. После Октябрьской революции ей надо было свои дворянские корни скрывать.

На долю волевой Ефросиньи выпало немало трудов, чтобы семья выжила в те тяжкие годы. Двух дочерей, Клаву и Кулю (Акулину), любимую сестру отца, уберечь не смогла: они умерли в юности от туберкулёза.

Я, родившаяся в канун Второй мировой, видела свою польскую бабушку и двух дедушек, о которых вам рассказала, только на малочисленных, чудом сохранившихся фотографиях. Родители отца с дочерью Александрой и внучкой успели бежать на Урал от приближавшихся к Украине немцев. Жили трудно. Отец помогал. Однажды дед Иосиф не вернулся домой, сгинул навсегда, когда отправился за продуктами по аттестату сына, присланному ему с фронта. Милиция так и не смогла ничего узнать о его судьбе. Да и занимались ли его поисками? Бандитизм, воровство были довольно распространённым явлением в провинциальной глубинке. После Иосифа не осталось даже могилы. Больная Ефросинья умерла на пароходе во время возвращения в родную Украину, когда оттуда прогнали немцев. Я видела её могилу с огромным деревянным крестом на кладбище в селе Большая Лепетиха, где поселилась после войны моя двоюродная сестра Саша.

Отец ушёл из родного дома в 14 лет. Всю жизнь он носил с собой и берёг, как зеницу ока, уникальный «документ». Это был листок из школьной тетради в клеточку, на котором на украинском языке было написано: «Довідка, видана Панченко Григорію Осиповичу, що він э червоний бідняк. Майна (имущества) ніякого не маэ». Уточню, что «червоний бідняк» – это красный бедняк. Далее следовала подпись председателя сельсовета и треугольная печать. Пожелтевший листок-справка, потёртая на сгибах, и сейчас хранится среди отцовских бумаг.

По-видимому, такая справка оказалась надёжной защитой, пока отец жил вне Украины. Когда, вернувшись с фронта, он поселился в Киеве, нашёлся какой-то его сотрудник, который не поленился поехать в Верхний Рогачик, чтобы «разоблачить» отца. Но в этом селе в войну побывали немцы. Выжила лишь одна очень дальняя родственница отца, но она была слепа, глуха, да и ум её повредился из-за перенесённого горя. Так тому охотнику за чужими биографиями и не удался его замысел.

Кроме того, в дневнике отца военных лет я обнаружила такую запись о его прошлом: *«Сейчас глубокая ночь, но я решил, несмотря на усталость, не ложиться спать. Я очень одинок. Одинок, как в те страшные пять дней, которые я выстрадал в промёрзлой одиночке Ярославской тюрьмы НКВД номер один во время 120-часового пребывания там»* (18. 11. 1942).

Конечно, нет сомнения, что отец попал в эту тюрьму по навету, как это случалось в 1930-е годы со многими. Но что это был за навет? Какого содержания? В чём его обвиняли? Об этом он не написал... Знаю только из дневника отца, что в 1932 году он вместе с женой и тёщей внезапно уехал далеко – в Нижний Тагил, на Урал, чтобы через несколько лет вновь вернутся в Ярославль. Соотнося эти два факта, могу предположить, что после страшного пребывания в тюрьме НКВД он уехал от греха подальше, чтобы о нём забыли. А то, что отца тогда выпустили, можно объяснить тем, что Молох репрессий ещё не был тотален. Событие происходило до убийства Кирова, до Большого террора.

...А вот на большой групповой фотографии, наклеенной на толстый картон, где мама была сфотографирована с другими общественницами в Кремле, я обнаружила в самом центре выцарапанное лицо, старательно зачерченное фиолетовыми чернилами. Чьё было это, ставшее бе-

зымянным, уничтоженное лицо? Кому оно принадлежало? Сейчас мне ясно, что жене какого-то из так называемых «врагов народа», но кому? Мать никогда не хотела мне этого сказать. «Не помню», – был её неизменный ответ. Ничего она не рассказала и о кончине своего отца.

По желанию моей дочери Ксении, которую интересовала история нашей семьи, в день её шестнадцатилетия мы с ней поехали в Крым, в город Керчь, чтобы, следуя дневнику её деда Гриши, увидеть Чёрное море с горы Митридат, осмотреть руины древнегреческого храма, увидеть улочки и дома молодости моих отца и матери (ведь там состоялось их знакомство). Заодно хотели узнать в архиве, где находится могила моего деда Михаила Николаевича Паутова. Лирическая часть поездки нам удалась, но вот никаких сведений о Михаиле Паутове в архиве не оказалось. Такого захоронения на керченских кладбищах не было...

Мои первые осознанные воспоминания? ...Во всех окнах затемнение. Фонари не горят. Тьма. Мать тащит меня за руку по какой-то из ярославских улиц, я еле за ней поспеваю. Хруст битых стёкол под ногами. Тревога. Мы бежим прятаться от немецкой бомбёжки за толстыми стенами церкви. (Объяснение происходящего я получила позднее, когда подросла).

Конечно, помню крест-накрест заклеенные полосками бумаги окна нашей комнаты и чёрную штору светомаскировки на нём. Мама её всегда тщательно подтыкала со всех сторон, чтобы ни щёлочки для света наружу!

Эту штору в 1945-м, после войны, мы привезли в Киев. Она меня очень выручала, когда я много лет спустя писала кандидатскую диссертацию. По своему психологическому типу я принадлежу к «совам». Мои активные рабочие часы приходятся на глубокий вечер и начало ночи. Но изо дня в день писать в таком режиме исключительно трудно. С помощью ярославской шторы я нередко превращала день в ночь.

Однажды у нас в Киеве остановилась знакомая из деревни. Эта простая женщина, далёкая от литературного труда, увидев меня, работающей за столом у этой шторы, простодушно воскликнула: *«Ой, лишенько! У тебе ж, дівчина, життя не маэ!»*.

Наша семья пережила Отечественную войну. Предполагавшийся отъезд резино-асбестового комбината в эвакуацию отменили, когда немцев прогнали подальше от Москвы. Мать всю войну работала в тылу всё на том же комбинате. По воскресеньям ухаживала за картошкой на клочке земли, который выделили как всем рабочим и служащим комбината. Отец служил на Волховском, Юго-восточном, Сталинградском (Южном), Северо-западном и четвёртом Украинском фронтах. Его забрасывали к партизанам для подготовки воссоединения партизанского движения на Украине с действующей регулярной армией. Отовсюду к нам домой приходили треугольники его писем с очень нежными и оптимистичными строками.

...Но однажды матери принесли извещение: *«Пропал без вести»*. Горю матери, бабушки (меня пощадили, ничего не сказав) не было предела. Оказалось, отец был тяжело контужен на Сталинградском фронте. Лежал в госпитале. Не мог говорить. Ничего не видел, не слышал. Однако сознание работало – и он мужественно тогда решил: *«Если не вылечат, застрелюсь, чтобы не быть для семьи инвалидом – тяжёлой обузой»*. Личное оружие у раненных офицеров не отбирали.

К нашему великому счастью, отца вылечили, хотя сильные боли в позвоночнике после войны периодически сваливали его в постель. Тогда же он снова вернулся в строй. В сентябре 1944 года получил звание майора. Награжден орденами и медалями, в том числе орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда». Конец войны встретил в Германии. После того, как перевёз семью со всем нехитрым скарбом (шкафами, кроватями и этажеркой) в товарном вагоне в Киев, отец вскоре демобилизовался. Хотя ему и предлагали остаться на военной службе, он предпочёл вернуться к своей гражданской профессии.

В качестве военных трофеев отец привёз мне с войны губную гармошку и куклу с фарфоровым лицом, подобранную в немецком разбомбленном доме. Ещё две новых немецких шинели: солдатскую и офицерскую, и парашют. Шинели перешили мне: из грубой солдатской вышло зимнее пальто, из офицерской, тонкого голубоватого сукна, – демисезонное пальто и берет. А из парашютного шёлка мама, по мере моего выростания, много лет шила мне белые школьные фартуки и выходные платья с оборками. Ах, как я эти платья любила! Мне казалось тогда, что ничего красивее на свете не бывает! Перед отъездом в Штаты я отдала одно из них, долго хранившееся дома на память, в исторический музей своей киевской средней школы. Каким же невзрачным платье оказалось в свете нынешних девичьих нарядов!

Для офицера интендантской службы, которым был отец, распоряжавшийся огромными материальными средствами, те скромные трофеи, которые он позволил себе привезти с войны, были символическими. Отец до смерти хранил у себя дома большую папку копий деловых бумаг, нарядов и квитанций, которые отражали все приходы-расходы, подтверждавшие его безупречную честность на военной службе.

Я многое помню о послевоенных киевских годах... Отголоски войны в разных формах долго не уходили из нашей послевоенной жизни. Помню колонну унылых пленных «фрицев», которых два раза в день водили мимо нашего дома работать на стройку. Помню ту нервную суету, то недоброе возбуждение, которыми была окружена публичная казнь через повешенье четырёх (пяти?) немецких извергов на городской площади... Нет, я не хотела видеть это ужасное зрелище, не просила отца взять меня с собой (хотя он и без того никогда бы этого не сделал).

Первые годы после войны отец работал заместителем директора Республиканской партизанской выставки по хозяйственной части. Сделать карьеру не стремился, в партию заявлений не подавал. Думаю, он всегда помнил: «вызывать злых духов не следует». Директор выставки и ещё один его заместитель были в недавнем прошлом военными коллегами отца. Оба вступили в партию. Оба написали по кандидатской диссертации. У одного диссертация называлась: «Партизанское движение на Черниговщине», у другого – «Партизанское движение на Полтавщине». У каждого из них диссертации на 80 процентов состояли из сталинских цитат. Оба давали свои работы отцу на вычитку и редактирование. Отец выполнял их просьбы да только иронизировал. Выставку через несколько лет закрыли, её экспонаты передали в Исторический музей Киева. Между тем, каждый из тех двоих впоследствии сделал немалую партийную карьеру. Отец им не завидовал, у него был свой путь гражданской службы. Последнее место его работы – Киевгорстрой.

Вот на той выставке, посвященной героям-партизанам, я подолгу пропадала. В школе писала патриотические сочинения, полные патетики. Разглядывание экспонатов формировало характер. Однажды охранник музея, шутя, навёл на меня свою «пушку». Ни секунды не мешкая, я выхватила из кармана свой «пистолет» (игрушечный) и приготовилась «стрелять» в него. Он не ожидал такой реакции от девчонки.

Старинный дом с кариатидами, в котором мы жили в Киеве в районе Липок, на Печерске, находился неподалё-

ку от республиканского Дворца пионеров, который, как и наш дом, сохранился от разрушений в войну. Какой это был красивый и замечательный Дворец! Каких кружков там только не было! Занятия в них были бесплатными. Я перепробовала несколько кружков: зоологии, рисования, декламации. Уже будучи старшеклассницей, закончила во дворце «Школу юных массовиков-затейников» с правом проводить детские утренники.

В Театре Юных зрителей существовал так называемый «Актив театра», состоявший из учеников, любящих театр. Наше знакомство с театром началось экскурсией в театральные мастерские, костюмерные, на склад декораций, на сцену со стороны кулис... Сердце замирало от счастья, когда я впервые попала за кулисы. Это было захватывающе интересно! Нам разрешалось присутствовать на репетициях, не стесняясь, высказывать своё мнение по поводу премьер на обсуждениях, которыми руководил завлит театра писатель Талалаевский. К нашим «детским мнениям» прислушивались, чтобы представить себе, как будут воспринимать спектакли другие школьники. К этому нас готовили. Для того нас и приглашали. Меня назначили председателем театрального Актива. Любовь к театру осталась на всю жизнь.

И всё же дольше всего я задержалась среди активистов детской библиотеки Дворца пионеров, участвовала в обсуждениях новых детских книг, писала на них короткие отзывы. И очень ценила право самой выбирать себе книгу для чтения, поднявшись по лесенке к книжным стеллажам. Помню, что уже тогда полюбила читать в книгах предисловия и послесловия, что совсем не было характерно для моих ровесников.

Я рано научилась читать. Моя память не зафиксировала первые моменты этого уменья. Почти столько, сколько я себя помню, умела читать. Жажда чтения всё увеличивалась по мере взросления, пока не стала всепоглощающей. Ушёл куда-то интерес к детским играм во дворе, к кружкам. Днём родители не могли меня выпроводить погулять «на воздух», а ночью я читала под одеялом при свете слабой настольной лампы, чтобы светом не разбудить родных. Такая страсть испугала моих домашних, они стали запирать от меня книги на ключ. Но это мало помогало, я приносила домой другие.

В школе заметили, оценили мою тягу к книгам. Когда из-за болезни кого-то из учителей в расписании уроков появлялось «окно», мне поручали читать вслух для всего класса какую-либо книгу из списка для обязательного домашнего чтения. Тут мне и пригодились занятия в кружке декламации. Моя киевская подруга-филолог Элеонора Соловей-Гончарик (ныне доктор наук), уже в пору моей вузовской работы со студентами метко заметила: *«Как научилась ты в юности чувствовать аудиторию, так и делаешь это до сих пор».* Некоторые люди считают, что судьба человека не более, чем цепь случайностей. Я же убеждена, что всё связано внутренними нитями, ничто в жизни не случайно. Только эту связь разгадать, понять нам не всегда дано.

Какие книги я читали в ту пору? Увы, это было достаточно беспорядочное чтение, без всякой системы: повести украинской писательницы Иваненко и Диккенс, Гайдар и «Вий» Гоголя, научная фантастика Беляева и Агния Барто, Любовь Воронкова («Алтайская повесть») и мемуарные книги о кругосветных путешествиях, сказки и «Анна Каренина», Александр Грин и «Повести Белкина», «Дорогие мои мальчишки» Кассиля и «Старик Хоттабыч» Лагина... Я интуитивно чувствовала несовершенство такого хаотического чтения. Тем более, что школьные и городские библиотеки в ту пору предлагали нам тонны детской патриотической литературы скверного качества. Имена тех авторов давно стёрлись из памяти. Так длилось до тех пор, пока 77-й школе, где я училась, не появился старший пионервожатый, недавно окончивший исторический факультет университета, Ким Осипович Вахлис. Он отвечал за внеклассную работу. Молодой, высокий, стремительный, с синими глазами, с одухотворённым лицом. Он очень быстро завоевал любовь школьников. Деятельный человек, он увлёк старшеклассников в поход по Крыму.

Вот он-то по моей просьбе на одном из привалов, продиктовал названия авторов и книг, которые должен знать каждый культурный человек. Я старательно записала. В этом списке был Гильгамеш, Гомер, античные драматурги, Данте, Шекспир, «Тристан и Изольда»... Подобные имена совсем не упоминались в школе. Позже, учась в университете, я поняла, что тогда Ким – с некоторыми исключениями – воспроизвёл программу зарубежной литературы для гуманитарных факультетов вузов. Но как же я ему была благодарна! Хотя, конечно, осилить и понять я тогда смогла далеко не всё. В Киеве в моём архиве до сих пор хранится блокнот со списком, продиктованным Кимом.

Больше всего в период школьной жизни мне запомнилась смерть Сталина. Уроков в тот день не было. Учителя и ученики ходили с красными от слёз глазами. Некоторые мои одноклассницы, положив головы на парты, громко рыдали. Особенно страдала девочка по имени Сталина.

В актовом зале школы висел, отражаясь в паркетном полу, громадный парадный портрет Сталина маслом, в полный рост. На портрете генералиссимус был изображён в военном кителе и при всех своих регалиях и наградах. В тот траурный день рама портрета была увита чёрными лентами. Звучал похоронный марш. Слева и справа от портрета, держа салют над головой стояли, сменяя друг друга каждые 15 минут, пионеры. Вслед за пионерами наступил черёд комсомольцев. Надевая на рукава красные с чёрной каймой повязки, мы также по очереди стояли в почётном карауле около портрета.

Время застыло. Обстановка была торжественная и величественная. Я прониклась ощущением огромного горя, неслыханной потери. Чтобы подольше поучаствовать в траурном обряде, я упросила одну из одноклассниц уступить мне плюс к моему ещё и её время почётного караула. Такую форму тогда принял мой патриотизм. Во время каникул я той же зимой побывала с группой отличников на ёлке в Георгиевском зале в Кремле, а на следующее московское утро вместе со своими наставниками я с благоговением неслышными шагами шла по сакральному залу Мавзолея мимо саркофагов забальзамированных советских вождей – Ленина и Сталина. Помню, что стеклянный саркофаг Сталина и он сам в нём показались мне несоизмеримо более крупными и внушительными, чем последнее ложе и тело Ленина, словно сильно уменьшившееся по сравнению с его изображениями на фотографиях. Видеть усыпальницу кормчих Октябрьской революции я считала великой честью.

Моё отношение к происходящему тогда диктовалось воспитанием в семье. Родители не вели при мне серьёзных разговоров, они заботились о том, чтобы никакая крамольная или просто критическая мысль не коснулась моего сознания, чтобы никакая информация, связанная со зловещим закулисьем отечественной истории, не стала мне известна.

Став взрослой, я с большим сомнением отнеслась к воспитательной методике родителей, продлевавших мой идеализм, тормозивших моё взросление, но поняла, что это было следствием их страха перед тем социумом, в котором все мы жили. Однако в ту эпоху встречалась и совсем иная домашняя педагогика.

В июне 2000 года мы с мужем были приглашены в Женеву на международную конференцию «Итоги советской культуры», на которой выступил известный российский литературовед, историк христианской культуры С.С. Аверинцев. Он рассказал, как за деньги, выданные ему дома на школьные завтраки, тайком покупал у букинистов богословские книги, старался попасть на церковные службы. Узнав о стихийном влечении сына-школьника к православию, что преследовалось властями, его глубоко религиозные родители не стали препятствовать сыну, а вызвав его на прямой разговор, предельно откровенно предупредили: *«Если ты где-нибудь обмолвишься о своём влечении или перескажешь то, что слышишь дома, твоих папу и маму убьют»*. Думаю, без этого жёсткого внушения российская и европейская культура могла бы и не досчитаться в будущем в своих рядах этого скромного и обаятельного человека, крупного учёного, исследователя христианской мысли, автора духовных стихов, переводчика псалмов, Евангелия, византийской и европейской поэзии.

Прозрение, далеко не моментальное, началось после разоблачения культа личности Сталина в докладе Хрущёва на XX съезде КПСС. Как вы помните, доклад у нас в стране не печатался (хотя почти моментально был опубликован за рубежом). На первых порах он предназначался *только* для членов партии. Но содержание доклада было настолько невероятно, немыслимо, оглушительно неправдоподобно, что оно просто не могло остаться в тайне, не стать достоянием масс.

Конечно, я испытала *огромное потрясение, даже услышав в пересказе* содержание доклада: *«Сколько невинных жертв!», «Неужели такое было возможно?», «В какой же слепоте, в каком обмане мы жили!», «Оказывается, Сталин – никакой не кумир, а жестокий деспот и диктатор»*... После доклада, впервые не таясь, со мной заговорил отец о больных социальных проблемах страны.

Тогда ещё не было у меня мысли о тех ничтожных сподвижниках-холуях, рабских душах, которые послушно исполняли сталинскую волю... Не было мысли и о том, что сталинская политика – последовательное продолжение ленинской. Это понимание пришло позднее. А трагические открытия шли одно за другим: мне стал доступен самиздат, воспоминания Надежды Мандельштам, мемуары чудом выживших за проволокой, антисоветский роман Владимира Максимова «Семь дней творения», и ещё один роман «Утоление жажды» Юрия Трифонова, написанный после XX съезда партии... Жадно читала тех писателей, которых в ту пору вернули в литературу: Бабеля, Пильняка, Артёма Весёлого, Замятина, Блока, Цветаеву, Заболоцкого... молодых талантливых прозаиков и поэтов, которых открывал нам новый журнал «Юность».

Горячие споры, обсуждения, надежды... Всё это совпало со студенческими годами, с учёбой на филологическом факультете Киевского университета им. Шевченко (куда я поступила, закончив школу с серебряной медалью), с годами стационарной аспирантуры, с периодом, когда я интенсивно печаталась в киевских газетах «Радянська освіта», «Літературна Україна», «Молода гвардія», «Комсомольское знамя», «Ленинское знамя» и других. В 25 лет меня приняли в «Союз журналистов СССР» (сейчас «Союз журналистов Украины»).

У моего поколения был такой подъём духа! В «хрущёвскую оттепель» я стала по мировоззрению одной из тех, кого позже нарекли «шестидесятниками».

ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ

ОН НЕСКОЛЬКО ЗАНЕС НАМ ПЕСЕН РАЙСКИХ

(Булат Окуджава в зеркале Дмитрия Быкова)[1]

Вначале несколько цифр. Булат Окуджава, человек военного поколения, ушел совсем недавно, 12 лет назад, в 1997 году. Масштаб явления был оценен читателями и слушателями еще при жизни поэта. Потому не удивляет столь быстрое появление биографической книги о нем, к тому же, в почетной серии ЖЗЛ. Окуджава – в представлении россиян – признанный писатель и «бард», чей пример вдохновил и Высоцкого, и Галича, да и породил все последующее «бардовское» движение.

Книгу об Окуджаве написал «герой нашего времени», писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков, родившийся на 43 года позже Булата Шалвовича, представитель сегодняшних сорокалетних. Почему именно он, – вопрос праздный. Захотел – и написал, тем более, что после его удачного «дебюта» – биографии Пастернака, получившей премию «Большая книга», – издательство «Молодая гвардия» наверняка предоставило ему карт-бланш при выборе следующего «объекта». Быков выбрал Окуджаву.

Звезда Булата Окуджавы взошла в 60-х – в начале хрущевской «оттепели», растопившей айсберги сталинского оледенения и принесшей с собой краткое, но бурное половодье жизненных сил, талантов, надежд. Громко заявили о себе «шестидесятники» – поэты, писатели, критики – друзья и соратники Булата. Кто не помнит кадры хуциевского фильма «Мне двадцать лет», где весь огромный зал Политехнического поет вместе с Окуджавой «Мы все равно падем на той, на той единственной гражданской...», где стихи читают молодые, задорные Евтушенко и Вознесенский, вдохновенная Белла Ахмадулина и где в числе участников или зрителей легко можно себе представить темпераментного Наума Коржавина и язвительного Станислава Рассадина, ироничного Искандера и рефлектирующего Юрия Трифонова, неистощимого на сюжеты Натана Эйдельмана и непримиримого в исторических оценках Юрия Давыдова, «пушкинианца» Давида Самойлова и по-лермонтовски меланхоличного Юрия Левитанского, «подпольного» Юрия Нагибина и саркастического Владимира Войновича. Поколение заметное, яркое, оставившее по себе след.

Увы, взглянув на сегодняшнее литературное поле, увидим на нем редкие колоски съедобных злаков. В сравнении с цветущей нивой 60-х поле нынешней словесности весьма однообразно и неурожайно. Положение в сегодняшней российской культуре, кстати сказать, мало чем отличается от ситуации в политике, науке и образовании. Так и кажется, что повсюду, во всех сферах, прекратилось воспроизводство крупных, масштабных и пассионарных «делателей», везде угнездились чиновники соответствующего департамента. Почему? Угасла необходимость в Личности?

На этом безликом фоне фигура Дмитрия Быкова заметно выделяется – яркий публицист, талантливый поэт, автор нашумевшей книги о Пастернаке и большого числа прочих книг, вызывающих спорные, порой диаметрально противоположные отзывы. Немного настораживает категорическая безапелляционность некоторых его высказываний, желание эпатировать публику и какое-то повсеместное «мельканье» – поневоле вспоминается бессмертное: «Я везде, везде». И все бы ничего: поэты, по определению, под общий ранжир не подходят, да и молодое тщеславие – грех простительный, но порой после его вы-

[1] Дмитрий Быков. Булат Окуджава. Серия ЖЗЛ. М., Молодая гвардия, 2009.

ступлений посещает мысль: он это серьезно или в порядке розыгрыша? В телепрограмме «Культурная революция» с пеной у рта может отстаивать тезис, что взрослым сказки не нужны («Мир – для взрослых, для умных»), но тогда зачем писать об Окуджаве? Окуджава-то явный «сказочник для взрослых».[2] И в своей книге Быков словно «провоцирует» читателя, высказывая мнения, которые легко могут быть поданы с обратным знаком. Но об этом чуть позже.

Приступая к книге об Окуджаве, Быков основательно изучил архивные материалы и другие документы, порасспросил родственников, прочитал, как кажется, все написанное о поэте и его близких, начиная с дедов. Снабдил книгу хронографом жизни поэта, списком его песен по годам, библиографией... Не ленив и любопытен! Материал распределил между четырьмя большими частями, каждая из которых названа «символическим» словом или мужским именем.

Первая – **Дориан** – этим навеянным Оскаром Уальдом именем Ашхен Налбандян и Шалва Окуджава намеревались назвать своего первенца. Но передумали, назвали опять-таки нетривиально – Булатом, имя редкое даже для Грузии.

Вторая часть завершается рассказом о первой автобиографической окуджавской прозе «Будь здоров, школяр!» и называется **Школяр**.

Название третьей части – **Отар**, поддается весьма приблизительной расшифровке. Полагаю, что этим грузинским именем закреплены некоторые «грузинские мотивы», содержащиеся в этой части, а именно: двухнедельное пребывание Окуджавы в Грузии в 1963 году, выход книги стихов и переводов в Грузии (1964), общение с грузинскими друзьями в Ленинграде и создание в 1967 «Грузинской песни». Почему выбрано имя Отар? Теряюсь в догадках и жду разъяснений от автора.

Последняя часть, названная **Иван**, расшифровывается легко. Окуджава перед смертью был окрещен женой и получил имя Иоанн (Иван), которым до того пользовался в автобиографической прозе.

Быков не был бы Быковым, если бы не начал книгу необычно – с событий 1993 года, расстрела Парламента. Так получилось, что за отсутствием достоверного исторического анализа последних лет российской истории, начиная с Октябрьского переворота 1917 года, наш автор берет эту ношу на себя и выступает в роли исторического и социально-политического комментатора. Любопытно, что сегодня полное отсутствие политической жизни в стране сопровождается мощным ростом интереса населения к комментариям; фигура радиожурналиста, объясняющего «суть событий», имеющего свое «горячее мнение» и «код доступа», стала необыкновенно популярной и заменила партийных вожаков.

Дмитрию Быкову приходится по колено влезать в вязкую трясину советской, а затем российской истории: биография Окуджавы дает для этого повод, кажется, не было ни одного крупного события в жизни страны, которое не коснулось бы его семьи.

Вот краткий их перечень.

Революция. Ее поддержали и отец, и мать Окуджавы, оба были партийными работниками.

Индустриализация. Отец Булата осуществлял ее, руководя партийной работой Нижнетагильского вагоностроительного завода.

Сталинские репрессии. Отца арестовывают в Свердловске в 1937 году и в том же году расстреливают. Мать арестовывалась дважды – с 1939 по 1947 (Карлаг) и с 1949 по 1954 (ссылка в Красноярский край). На 14-летнего Булата был послан донос, от ареста его спасло только бегство в Москву.

Великая Отечественная. С 1942 по 1944 год Окуджава на фронте. Демобилизован по состоянию здоровья.

Остановлюсь.

Как кажется, именно репрессии, постигшие семью, осиротившие подростка и низвергнувшие его с вершины жизненной пирамиды, – сын секретаря горкома превратился в сына врага народа! – а также война, пришедшаяся на его юность, – наложили на весь его облик отсвет печали, страдания. Но страдания мужественного, печали светлой. И судьба у Окуджавы – образец «обыкновенного чуда». Сирота, воспитанный сердобольной тбилисской тетушкой, преподаватель литературы в забытом Богом селе Средней России, затем редактор отдела поэзии в «Литературной газете», человек, с политически уязвимой анкетой и незаживающей раной в душе, – к тридцати пяти годам становится кумиром публики, на чьи концерты нужно прорываться сквозь заграждения конной милиции... Это ли не чудо?

Дмитрий Быков очень неспешно, порой даже с излишней дотошностью ведет читателя по извивам окуджавской биографии – здесь и перечень всех посещаемых школ, друзей и влюбленностей, и бытовые подробности жизни уральских рабочих, и скрупулезное расследование «политической интриги», вызвавшей арест и казнь Шалвы Окуджавы, с описанием последующего за сим мгновенного «изгойства» сына.

Быков не уходит от сложных социальных явлений[3], стараясь в них разобраться: чем была русская революция, что такое 1937? Однако рассуждения о революции и о репрессиях как о времени, когда «бал правил пещерный инстинкт» представляются мне несколько абстрактными. «Революция пожрала саму себя»? – согласна, но процесс всегда кем-то направляется. В Германии проводником нацизма был Адольф Гитлер, посмертно осужденный за свои преступления Международным Нюрнбергским трибуналом, в нашей стране организацией массового террора против всех слоев населения руководил Сталин. Именно при нем был установлен режим, напоминающий фашистский, с повсеместным страхом, концентрационными лагерями, с бессудными расстрелами и пытками, с разверстками на казни, с железной пропиской и крепостным состоянием колхозников... Мне непонятно желание Быкова убрать Сталина из всех рассуждений о терроре. Вижу в этом некую сегодняшнюю и весьма опасную тенденцию, могущую привести и уже приводящую к реабилитации лидера преступного режима и к его последующей героизации[4].

Сам Окуджава всегда подчеркивал, что его родители свято верили в революцию, именно ему принадлежит песня о «той единственной гражданской», анализу кото

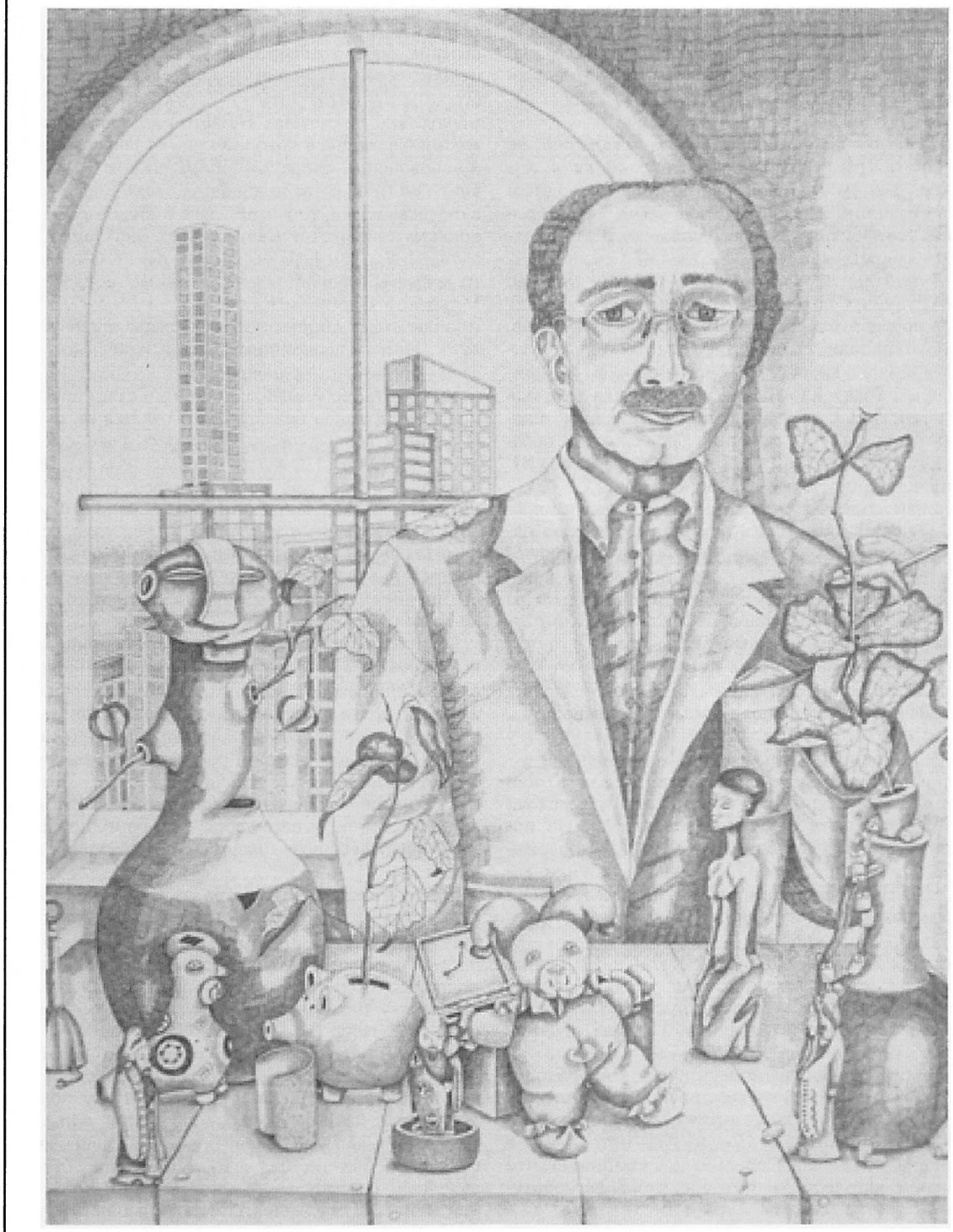
---

[2] У Дмитрия замечательная мама, учитель литературы Наталья Быкова, она участвовала в той же передаче и отстаивала противоположный тезис.

[3] Рассказывая, как в Перестройку Окуджава поддерживал ростки демократии, участвовал вместе с Анатолием Приставкиным и Львом Разгоном в работе Комиссии по помилованию, автор не скрывает, к каким печальным выводам пришел Б. Ш. в конце жизни. Прикрываясь демократической вывеской, власть в стране захватили совсем другие люди.

[4] Мне возразят: а Иван Грозный? А Петр Первый? В действиях этих правителей и вправду много преступной жестокости и самодурства. Однако им далеко до истребления народа, предпринятого Сталиным.

К тому же, в 20-м веке человеческое сообщество осознало существование «преступлений против человечности» и впервые в истории нашло возможность хотя бы *морально* осудить их предводителей.



Ольга Черенцова. Графика. «Антикварная лавка».

рой в книге Быкова посвящено довольно много места. Сегодняшних молодых, наслушавшихся об «ужасах революции и братоубийственной войны» могут удивить строчки из «Сентиментального марша»: «и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной».

Однако не стоит, на мой взгляд, искать «кривые», соответствующие нынешним понятиям толкования этого места, вроде того, что комиссары склонили головы над белогвардейцем.[5] Все гораздо проще. Окуджава создает «миф о революции»[6] – чистой, справедливой, несущей людям добро и правду. Такой революции не было, но солдатом именно такой «идеализированной» революции поэт представляет себя в песне. На то и миф, чтобы давать явление в его идеальном воплощении.

А реликты сталинизма... они никуда, к сожалению, не деваются. Книга Дмитрия Быкова вернула меня к тем еще не столь давним временам, когда только шепотом можно было говорить на политические темы, когда прослушивались телефоны и у каждого советского служащего на работе существовал «третий отдел» со своей агентурой и документацией. Честь и хвала Быкову! Для нас всех и для будущих потомков выкопал, вывел на свет протоколы «проработок» Окуджавы чинами» из органов, и – самое потрясающее: слушайте, слушайте! – нашел запись секретной справки, составленной шефом КГБ Юрием Андроповым в застойном 1972 году. Справка делалась на основе агентурных донесений, прослушивания телефонных разговоров и – что важно – включала текст беседы между Булатом и Ольгой, мужем и женой, не ведающим, что их домашние разговоры записываются...

Ничто не изменилось в «датском королевстве» со времен, когда Пушкин возмущался безнравственностью царя, вскрывающего письма мужа к жене и не стыдящегося в этом признаться. В случае Окуджавы «жучок» в квартире был поставлен тайно и сведения, почерпнутые из разговора супругов, были препровождены в ЦК Компартии под грифом «секретно» – вот и вся разница.

Упомянув Пушкина, уклонюсь чуть в сторону от разговора. Окуджава, как известно, был автором исторической прозы из пушкинской эпохи, писал и о декабристах. В связи с этим, Дмитрий Быков высказывает свою точку зрения на декабристское движение. По его мнению, основные причины восстания декабристов лежат в «оскорблении личной чести», они (декабристы) не желали «менять Родину и даже общественный строй». Но постойте, получается, что декабристы стояли за самодержавие и крепостничество! Однако даже юноша Пушкин, варившийся в декабристском «котле», писал жгучие строки против «самовластья» и народного «рабства» (см. Хрестоматию).

Что, Дмитрий Быков не знает этих сочинений? Да знает он их прекрасно, ему важно выкрикнуть свое до предела заостренное мнение. А дальше пусть читатель сам разбирается – кто прав, кто виноват. И такая позиция прослеживается на протяжении всей книги. Порой кажется, что тебя специально поддразнивают и провоцируют. Вот, скажем, захотелось тебе поспорить с автором по поводу его взгляда на якобы «самоубийственную» поэзию Галича – и не можешь. Почему? Да потому что в конце главки «Окуджава и Галич» Быков сам пишет, что «... в этой главе наговорил достаточно, чтобы рассориться с доброй половиной читателей». Желание спорить сразу пропадает... Или такое. Начинается книга с рассуждения автора о том, что русская история циклична, полна повторяющихся персонажей и Окуджава – это сегодняшняя реинкарнация Александра Блока. Мысль любопытная.

Быков находит много точек схождения Окуджавы и Блока как в поэзии – непроясненность поэтических смыслов, музыкальность, так и в личности – ранимость и твердость, подчиненность судьбе и волевое ей противостояние, «божественность» дара, гипертрофированное чувство ответственности, аристократизм, обожание со стороны публики. Читаю и соглашаюсь – да, все так, замечательно подмечено. Но затем встречаю главу «Окуджава и Светлов», в которой провозглашаются «близость» и «врожденное сходство» обоих поэтов. И если в начале книги во множестве приводятся стихи Блока в сравнении с окуджавскими, то в этой главе с отсылками к Окуджаве обильно цитируется Светлов. Так Блок или Светлов? В случае с Блоком игра бесспорно идет «на повышение», в то время как сопоставление с «комсомольским поэтом» Михаилом Светловым, обедняет окуджавское богатство. Вообще стоит ли низводить окуджавские песни к «смыслу»? Всегда воспринимала их в неделимом сочетании *слово-мелодия-голос-интонация*.

Уже в Прологе Быков говорит о трагичности судьбы поэта: «Периодов безоблачного счастья не было вовсе». И в самом деле, если рассматривать даже «вторую половину» жизни Б. Ш, когда начались его выступления на эстраде, сколько там было тяжелого, горького: не легко давшийся развод с первой женой, Галиной Смольяниновой, и ровно через год, 7 ноября 1965 года, ее смерть от разрыва сердца. Сын от этого брака, Игорь, стал алкоголиком и наркоманом, Булат Шалвович тяжело переживал его раннюю смерть в январе 1997-го, сына он пережил всего на полгода.

Были и такие ранящие душу воспоминания, как провал выступления в Московском Доме кино в 1960 году, когда еще не привычная к «жанру» публика услышала в окуджавских песнях «пошлость». Провал был тем больнее, что в зале сидели мать и младший брат. В «Книге прощаний» Станислав Рассадин рассказывает, как травмирующе подействовал этот случай на поэта – он замолчал. Чуть больше чем через год Ленинградский Дом работников искусств не вместит всех желающих попасть на концерт Окуджавы; возле здания будет дежурить конная милиция.

У Рассадина же есть о травле Окуджавы уже в эпоху Перестройки, распоясавшиеся националисты требовали «уступить место». Дмитрий Быков связывает национал-патриотический шабаш вокруг имени Окуджавы с его подписью под письмом «сорока двух», написанном в поддержку Ельцина и демократического будущего страны в 1993 году. Письмо приводится целиком – опять же для потомства. Согласна с Быковым, что Окуджава «разделял ответственность с той властью, которую поддерживал», и присоединяюсь к его точному определению: «Окуджава, как ни странно, вообще притягивал ревущую толпу, вызывал у нее животную немотивированную злобу, как любое чистое, ярко выраженное, беспримесное явление». Не забудем и критика Владимира Бушина, с неизменной регулярностью встречающего ругательной статьей каждое новое напечатанное в журнале сочинение Окуджавы.

Удивительно: не будучи диссидентом и не занимаясь впрямую социальным обличительством, Окуджава всегда был на подозрении у властей. Власть чувствовала в нем «чужака», социально не близкого, поющего не о том и не так, как бы ей хотелось. Окуджава был зачинателем *дру-*

---

[5] У Быкова неисчерпаемая любовь к «кривым» трактовкам: «Молитва Франсуа Вийона», по одной из его версий, обращена не к Богу, а к женщине. В «Песенке о Моцарте» ладонь на лбу композитора держит не он сам, а Бог.

[6] См. мою статью о Коржавине. Последний язычник (о кн. Наума Коржавина «На скосе века»). Нева, № 4, 2009

гой песенной культуры, противостоящей официозной, уводящей от тех самых набивших оскомину «Гляжу в озера синие», которые ежедневно лились в наши уши из радиоточек. Даже иммунитет «участника войны» не спасал поэта в этом противостоянии: пластинок не издавали, не давали печататься, выгоняли из партии,[7] требовали публичных разъяснений... Помню, как школьный поэтический вечер из стихов и песен Окуджавы в конце 70-х вызвал недовольство инструктора горкома: не того, мол, пропагандируете!

Так что же, не было у Окуджавы счастья в жизни? Да было же, несмотря ни на что. Были вокруг преданные друзья, слушатели, читатели[8], была большая любовь: стремительно возникший и поразивший как «солнечный удар» роман с Ольгой Арцимович Быков описывает ярко и достоверно, скорей всего, со слов самой жены поэта. Ждала: скажет ли Быков о Наталье Горленко, еще одном, позднем лирическом извиве в биографии Окуджавы. Сказал, но главное внимание – и справедливо – уделил Ольге Окуджаве, жене, сотруднице, матери сына.

Выстоять в жизненных невзгодах помогало творчество, было и еще одно спасение – Грузия. Грузия ощущалась тылом, местом, куда всегда можно было «убежать» из столиц, с их скупо отмеренной свободой, суетой и отсутствием воздуха. Дмитрий Быков справедливо пишет об «арбатском мифе» Окуджавы. Был, был Арбат в его жизни (после ареста отца, когда Булат жил у бабушки), но «длилось» это всего три года, правда, чрезвычайно важных – с 13 по 16 лет! Университет же закончил – в Тбилиси, уходил на войну – оттуда же и возвратился с войны – туда же. Грузия – корни, во всех окуджавских песнях, в голосе, в самой манере исполнения слышатся грузинские истоки.

Дмитрий Быков признается, что не любит «Грузинскую песню» Окуджавы, мне же она представляется одной из вершин поэта-барда, в которой сходятся все его «узловые» мотивы. Перед нами метафора жизни с ее тремя возрастами: виноградная косточка – лоза – спелая гроздь. И вот он смысл этой жизни – после праведных трудов застолье с друзьями, любовь к женщине и присутствие Бога – милосердного, дарующего прощенье... Во втором куплете упоминается женское имя Дали. Быков сообщает, что в период писания песни Окуджава познакомился с молодой грузинской поэтессой, носящей это имя. Возможно. Но интересно, что Дали – богиня охоты в грузинских «дохристианских» сказаниях. А строка «и заслушаюсь я и умру от любви и печали» направляет нас по руставелиевскому следу. Ведь главный герой «Витязя в тигровой шкуре» – отважный и несчастный Тариел – уходит в пустыню, чтобы – в разлуке с возлюбленной – найти там смерть «от любви и печали». Завершается песня хвалой этой *вечной земле*, когда перед нашими уже «закатными очами» проплывают три ее главных стихии: земля – в образе белого буйвола, небо – воплощенное в синем орле и вода – чьим символом становится форель золотая. В соединении с прекрасной мелодией и задумчиво-проникновенным голосом «Грузинская песня» звучит как высочайшее осмысление цели и смысла жизни и одновременно как прославление мироздания.

Мне кажется, что многое из того, что Дмитрию Быкову представляется «фирменными авторскими высокопарностями», имеет грузинскую природу. Вот, положим, призыв восклицать, друг другом восхищаться, говорить друг другу комплименты, не опасаясь высокопарных слов, для грузинского сознания должен быть вполне органичен – герои уже упомянутого «Витязя...» Автандил, Тариел и Фридон ведут себя совершенно в этой стилистике, восхищаясь друг другом и называя один другого (в переводе Николая Заболоцкого) *Лев могучий и учтивый*, *Кипарис мой золотой*.

Песни Булата Окуджавы... Дмитрий Быков называет их «новыми народными песнями». Соглашусь, но только в том смысле, что они дали части народа, в основном интеллигенции, необходимый ей как воздух музыкальный репертуар. А вот уже быковское их определение: «так же (как народные, – *И.Ч.*) бессодержательны и универсальны» и «легко поются от любого лица: образ автора предельно размыт» кажется мне, по слову тургеневского Базарова, «обратным общим местом».

Легко можно показать прямо противоположное, что песни Окуджавы вовсе не бессодержательны (как, впрочем, и народные) и очень привязаны к личности их творца, исполненной непоказного природного изящества и аристократической простоты. Ни один последующий «бард», включая Галича и Высоцкого, не достиг такого художественного совершенства, такой слиянности всех песенных компонентов, такого поразительного воздействия на души слушателей. И сдается мне, кроме двух-трех песен, которые можно исполнить хором, нет у Окуджавы «хорового репертуара» – мешает своеобразие мелодии и интонации, мешает индивидуальное начало его песен.

Как это ни странно, меньше всего Быкову, на мой взгляд, удался анализ поэтических текстов. Возможно, это случилось из-за уже названной мною неразрывной слиянности в этих текстах нескольких компонентов. Спросят: а как же Окуджава поэт? Ведь стихи в книжке выступают сами по себе, без поддержки музыки, голоса, интонации... Скажу крамольную вещь: стихи стихами, печатать их необходимо, но все же «перлом создания» они становятся в качестве песен и в исполнении автора. Быков же анализирует именно тексты и делает это слишком серьезно. Вот о «Заезжем музыканте»: «грубо заявляет свои права на возлюбленную, самозабвенно разоблачая перед ней уродство и неудачливость соперника. Он тебя не любит, у него койка по рублю, он потный и труба его простужена – а у меня вот, смотри, плащ новый, сейчас я его «одену». Тут уже не прежний полуинтеллигент с дачного пикника, смиряющийся перед могуществом музыки, а новый хозяин жизни, откровенно любующийся собой, не чуждый культуры и даже высокопарности». Господи, да о чем это?

Неужели о том, как «заезжий музыкант целуется с трубою...»? В таком же роде анализируются и прочие песни, причем, цитируя в большом количестве сочинения разных других поэтов, автор почему-то не считает нужным напомнить нам стихи собственно Окуджавы. Ну, не знаю я окуджавского «Черного кота», а тот дешевый шлягер, текст которого полностью приведен в книжке, как раз мне известен – его в свое время каждый день передавали по радио («Жил да был черный кот за углом»). Курьез этот мне напоминает, как один мой очень способный приятель на экзамене начал свой ответ не с правила, а с примечаний. Правило его не интересовало.

Быков пишет свободно, легко, его эрудиции, кажется, нет предела. Чего он только не знает и не читал! Знает довоенный трофейный фильм «Девушка моей мечты» и фильм Роу «Золотой ключик» 1939 года, революционные переделки патриотических песен, каким был двор Ролана Быкова, агентов, приставленных к диссидентам и специфику их работы; ссылается на цикл «Эшенден» Моэма, третий том Джоан Роулинг, антиперестроечные романы Бондарева и Проханова; цитирует Самуила Киссина, Ми-

[7] В партию Б. Ш. вступил в начале «оттепели», в 1955 году.

[8] Всю жизнь хранил Окуджава письмо, полученное от 15-летней Наташи, услышавшей его песни и поддержавшей в то самое время (1983), когда Окуджаву с трибуны «громил» вожак советского комсомола Павлов.

хаила Кузмина, Беллу Ахмадулину и большое число русских-советских поэтов; очень точно воссоздает атмосферу событий, которых, в силу возраста, наблюдать не мог, например, приезд в «оттепельную» Москву Ива Монтана... Много, даже слишком; ощущение, что по дну реки прошлись с бреднем, на этом фоне имен, стихов, чужих судеб как-то теряется сам герой – Булат Окуджава.

Заметила, что в книге почти нет языковых небрежностей[9].

Предполагаю, что автор советовался с семьей Б. Ш., когда писал «окуджавовский» и «Ольге Окуджава», сама предпочитаю писать «окуджавский» и «Ольге Окуджаве» на манер «Ирине Хакамаде».

Последняя проза Окуджавы называлась «Упраздненный театр». В этой семейной хронике, посвященной родителям, писатель хотел, по мысли Быкова, «разобраться в устройстве русского общества» и даже «в реальности девяностых». Сам Быков использует метафору «театра» для концовки своего «романа об Окуджаве». Романа острого, социально жгучего с охватом целого пласта российской истории, с констатацией безрадостного настоящего и взглядом в будущее. С блеском разворачивает Быков перед читателем метафору вечно воспроизводимого в российской истории театрального действа, но уж больно горька картина и была бы безнадежна, если бы в самом конце не было бы апологии интеллигенции. Сказано совсем не победно: «Идет это несчастное племя, голосом которого он стал, – и доказывает свою совершенную неубиваемость».

Что ж, присоединяюсь к Дмитрию Быкову в его финальном оптимизме. Люди, взращенные на песнях Булата Окуджавы, «взявшись за руки», преградят дорогу тьме.

ЛЕВ БЕРДНИКОВ

СЕЯТЕЛЬ

(Семен Фруг: логика творчества)

Ранним сентябрьским утром 1916 года стотысячная толпа заполнила центр Одессы, так что движение на некоторых улицах было приостановлено. А люди, облаченные в траур, все шли и шли за гробом нескончаемым потоком, провожая в последний путь национального еврейского поэта Семена Григорьевича Фруга (1860-1916). В редакции еврейских изданий со всех сторон летели скорбные письма, телеграммы соболезнования, стихотворные эпитафии. А кто-то вспомнил в связи с кончиной поэта его собственные слова:

"Не стало одного и тщетно ждать другого.
Не плачьте! Над его могилой в этот час
Рыдает Библии забытой нами слово,
И не о нем, – о нас!"

Судьба Фруга была типичной для русскоязычного еврейского литератора того времени: бурная популярность среди соплеменников при жизни и полная безвестность после смерти. Ведь после Октябрьского переворота 1917 года такая литература оказалась «не ко двору»: Фруга окрестили "трубадуром сионизма", и, понятно, сочинения его в СССР ни разу не переиздавались. Не претендуя на полноту, попытаемся проследить некоторые вехи литературной судьбы этого забытого, но исключительно яркого и самобытного художника. Исследуя художественную лабораторию Фруга, мы не будем забывать о еврейской и русской литературной традициях, которые одушевляли его творчество, о российской действительности, из коей оно произрастало, об актуальных вопросах своего времени. Как мы покажем, они остро злободневны и сегодня, особенно в контексте русско-еврейских отношений.

Семен Фруг родился в Новороссии, в еврейской земледельческой колонии. Здесь сразу же необходим исторический экскурс, поскольку феномен еврея-хлебопашца в Российской империи большинству современных читателей совершенно не известен. Между тем, еще в 1775 году, когда разрабатывались проекты по привлечению новых поселенцев в южные губернии России, светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический настоял на водворении туда "хоть жидов". Он представил целую программу привлечения иудеев в Новороссию, чтобы как можно скорее развернуть торговлю на отвоеванных землях: в течение семи лет не взимать с них налогов, обеспечить защиту от мародеров. Иудеям разрешалось открывать синагоги, сооружать кладбища и т.д. В целях увеличения народонаселения края поощрялся ввоз в Новороссию женщин из еврейских общин Польши: за каждую такую потенциальную невесту светлейший платил 5 рублей. Вскоре Екатеринослав и Херсон стали частично еврейскими городами.

Мысль о том, чтобы приохотить русских евреев к земледелию, приписывается поэту и царедворцу Гавриилу Державину, которого император Павел 1 в 1799 году командировал в Белоруссию для расследования жалоб на владельца Шклова графа С.Г. Зорича, угнетавшего как иудеев, так и крепостных крестьян. Виновником всех зол Державин, однако, объявил евреев, по его словам: "неопрятных, ленивых, праздных и злых". Затем в 1800 году последовала вторая его инспекция в тамошние края для расследования причин голода населения, и опять к делу он подошел с внутренним убеждением, что "причиною истощения белорусских крестьян суть жиды". Плодом такого крайне неприязненного отношения к народу Израиля явилось державинское "Мнение об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев" (1800). В сем документе, ставшем впоследствии хрестоматийным для антисемитов, говорилось об органическом неприятии евреями производительного труда ("тунеядцы, они обманами и пронырством пребывали в изобилии за счет своих гостеприимцев, не занимались ремеслами и хлебопашеством"). Державин предлагает для "исправления" евреев создать из них особый класс сельских тружеников и поселить их на юге империи для освоения необжитых степных территорий. Одновременно с Державиным свою записку об экономическом положении евреев представил и литовский губернатор Иван Фризель. Он не только говорил о важности приобщения евреев к хлебопашеству, но и предлагал уравнять их в правах с однодворцами. Иными словами, в отличие от Державина, он хотел превратить иудеев в полноправных российских граждан. Но эти два лица не были первыми в России, поставившими вопрос о евреях-хлебопашцах.

Инициатором еврейского земледелия в империи был...иудей, общественный деятель Нота Ноткин, которого называли "защитником своего народа". Еще в 1797 году (то есть до того, как Державин познакомился с сей "ленивой" нацией) Ноткин подал генерал-прокурору князю А.Б. Куракину "Проект о переселении евреев колониями на плодородные черноморские степи для размножения там овец, земледелия и прочего...". Он ратовал за создание сельскохозяйственных поселений, разрушал миф о непригодности иудеев к труду на земле, апеллируя

[9] К сожалению, язык искажается сейчас повсеместно, даже на канале «Культура». В передаче о Дягилеве мне не хватило листочка, чтобы записать все языковые перлы типа: «Он был проводником и реформатором всего нового».

к ветхозаветным временам: "Употребленные к сему [сельскому труду – Л.Б.] евреи от рук своих возымеют себе пропитание, подражая древним праотцам своим". Упоминание о праотцах было тем более уместным, что, согласно Библии, земледелие у древних евреев пользовалось всеобщим уважением и его не чурались даже люди знатные и богатые (примером чего являются Гедеон, Вооз, Саул, Елисей). Важное значение придавал хлебопашеству и пророк Моисей, назвав сей труд одним из оснований своего Закона. Древние израильтяне достигли в нем высокого уровня, используя передовые методы орошения, искусственные средства для улучшения и удобрения земли. И Ноткин верил в возрождение иудея-пахаря на российской почве: "Евреи государству со временем немалую пользу принесут, и со временем необходимость научит их земледелием сыскивать хлеб свой". Он стоял за расселение иудеев в колониях Причерноморья, что, по его мнению, сулило державе большие выгоды благодаря плодородию здешней земли и близости портов для перевоза сельской продукции.

Нет сомнения, что мысль о создании еврейских земледельческих колоний была внушена Державину Ноткиным, которого он знал лично и с проектом которого познакомился во время пребывания в Белоруссии. Более того, Державин поначалу относился к Ноткину вполне уважительно и даже пригласил его в 1802 году принять участие в работе Комитета для создания Положения о евреях. Выработанное сим Комитетом "Положение. О устройстве евреев" (1804) законодательно утвердило особый класс евреев-земледельцев, причем предоставило им всевозможные льготы: право приобретать, продавать и арендовать землю, не платить двойные налоги; их даже обеспечивали необходимой ссудой и т.д.

С другой стороны, евреям запрещалось содержать в сельской местности шинки, кабаки, аренды и постоялые дворы, а их владельцам предписывалось в недалеком будущем покинуть деревни и села. Такие подлежавшие высылке "тунеядцы" и должны были, по мнению властей, пополнить ряды землепашцев. И действительно к 1806 году в Белоруссии образовалась многотысячная масса еврейского люда, выгнанного из селений, и из ее среды стали поступать просьбы о переезде в Новороссию; вслед за этим началось и само переселение с пособием от казны. И хотя на реализацию этого плана было субсидировано 300 тыс. рублей и выделено 30 тыс. десятин земли, он охватывал лишь малое число подлежащих выселению иудеев (1,5%). Тем не менее, в 1810 году в одной только Херсонской губернии существовало уже 8 сельскохозяйственных колоний, в них проживали 1610 иудейских семей. Знаменательно, что некоторым колониям дали названия на иврите (Хар-Шефер, Сде-Менуха, Нахар-Тов), а также Израилевка, подчеркивая тем самым древнюю связь еврейского народа с землей.

Колония Бобровый Кут, где родился Семен Фруг, основанная в 1807 году на левом берегу притока Днепра реки Ингулец, была заселена выходцами из Могилевской губернии, которые водворились туда на собственный счет. Вот как объясняет этимологию названия "Бобровый Кут" сам поэт: "Когда первые эмигранты прибыли на то место, где теперь существует колония, они застали совершенно пустынную степь, по которой местами чернели могильные курганы запорожцев и редкие хутора одиноких обитателей обширных новороссийских равнин. Один из них, Бобров, хутор которого находился недалеко от избранного эмигрантами пункта, встретил новоприбывших искателей мирного земледельческого труда со всем радушием и лаской библейско-пастушеского гостеприимства. Многие из эмигрантов в течение нескольких месяцев пользовались вдоволь продуктами его хорошо устроенного молочного хозяйства, мукой, пшеном, фруктами, овощами и проч., и колонисты, в благодарность за гостеприимство, решили назвать колонию его именем. К имени Бобров прибавлено "Кут" потому, что колония расположена в угловой котловине (угол – кут), окруженной гористыми возвышенностями". Чувства такого эмигранта-переселенца очень точно переданы Г. Богровым в его "Записках еврея" (1874): "Мое пылкое, услужливое воображение рисовало уже прелестные картины будущей сельской жизни. Все читанное мною по идиллической части, все собственные деревенские впечатления сгруппировались разом и манили меня к себе. Все чувства были возбуждены: я уже слышал, казалось, далекий, глухой лай деревенской собаки, я видел колеблющееся мерцание далекого огонька – маяка наших необозримых степей; я... вдыхал аромат полевых цветов и свежей травы".

Одним из первых поселенцев Бобрового Кута был дед нашего героя, тоже перебравшийся сюда из Могилева. Был он человеком книжным, по словам Фруга, "служителем культа", и подался в Новороссию с надеждой и здесь заниматься тем же: ведь богослужение необходимо евреям везде. Жизнь его, однако, изменилась самым решительным образом: он сделался "самостоятельной ревизской душой с известными податями и повинностями и ...самостоятельным же участком" в 5 десятин земли. Это потом в колонии будут отстроены синагога, хедер и два молитвенных дома; пока же деду поэта надлежало обрабатывать землю, чем и кормиться. Так книжник превратился в пахаря.

Тем не менее, своему сыну, Моше-Цви, он дал еврейское образование и настоял на его учебе в хедере. Тот овладел и русским языком и одно время служил в колонии писарем. Есть сведения, что он пробовал свои силы в литературе и даже взялся за написание книги. Все же основным его занятием было хлебопашество. Как отмечает литературовед З. Либинзон, "Моше-Цви всю жизнь обливал потом свою нелегко поддающуюся целину... и [являл собой] особый тип еврея-колониста, еврея-земледельца, который все силы положил на то, чтобы сделать степь плодородной". Между прочим, хозяйство его считалось образцовым, за что он получил похвальный лист от самого министра государственных имуществ России Д.П. Киселева.

Ментальность отца и его товарищей-колонистов будет потом детально раскрыта Фругом. Они, "дети земли", как называл их поэт, "остро чувствовали любовь к жизни своей трудовой, к сохе-кормилице, к сивке-товарищу, к каждой кочке и травке родной, милой полоски". Он не находил особого различия между еврейским и русским землепашцами. "В проявлениях будничной, повседневной жизни, – подчеркивал он, – еврей-колонист представляет собой точную копию своего соседа-крестьянина. Земля и орудия, которыми она обрабатывается, "скотинка" и постоянные заботы о ней – вот главные пункты, к которым устремлены взор и помыслы колониста и от которых исходят все его радости и печали". Если же считать крестьянами всех, кто работает на земле и от земли кормится, то и колонистов можно смело включить в их число.

Шимон (Семен) Фруг родился в 1860 году в колонии Бобровый Кут, где проживало тогда уже около 2 тыс. евреев. Он был у родителей первым ребенком, который выжил (четверо до него умерли). Сам раввин Любавичский Менахем Мендл послал мальчику написанное им благословение, которое мать хранила в специально сшитом по сему случаю бархатном "ментелах". То обстоятельство, что Семен происходил из семьи хлебопашцев, наложило отпечаток на его мировосприятие, ибо любовь к земле была заложена в нем, так сказать, на генетиче-

ском уровне. "Вскормленный на лоне земли, – отмечает критик Г. Бродовский, – он, в отличие от других еврейских поэтов, был благословлен детством. Истинным, подлинным детством не в сыром подвале промозглого местечка, а в близком общении с природой". Впоследствии он увековечит в слове "мирные приюты родного уголка", "светлую, веселую речку Ингулец", "долину, окруженную холмами, где ютится колония евреев-земледельцев". Идиллический мир детства будет всегда властно, ностальгически манить его, и он будет с теплотой говорить о дружбе русских и евреев, которые жили там, в Бобровом Куте, на одной земле, помогая друг другу, и где он чувствовал себя дома: "О, милый, милый уголок! Я помню каждое деревце, каждый кустик твой, помню их и люблю, как друзей моих, как товарищей дорогого детства. А на зеленом фоне родных полей и садов десятками и сотнями вырисовываются предо мною знакомые лица соседей, *русских* людей, которых я видал в доме отца моего, деливших с нами наш *еврейский* хлеб-соль и братски звавших меня в дом свой. Я помню эту честную трудовую жизнь двух соседей-поселян, одного еврея, другого христианина; я помню их нужды и радости, я благословляю эту жизнь, я жажду ее, как благодать Господню для сотен и тысяч моих обездоленных братьев".

Но нельзя не сказать и о том, что каким бы радужным ни было детство нашего героя в Бобровом Куте, где, живя преимущественно в еврейском окружении, он чувствовал себя ровней другим, произошел, однако, случай, заставивший его крепко задуматься об окружающем миропорядке. Дело в том, что "ближайший к колонии лесок находился по той стороне Ингульца и принадлежал не колонии, а помещику" Петру Бабичеву. Туда-то и повадились ходить по ягоды дети еврейских земледельцев. Бабичев очень сердился, когда на его добро покушались, а потому отрядил здоровенных, свирепого вида объездчиков, чтобы те отлавливали и примерно наказывали непрошеных "жиденят". "Но мы были так ужасно голодны, – рассказывал Семен, – а ягоды так близко – свежие, сочные, вкусные – сами в рот просились". Среди маленьких воришек был и злосчастный Йолэк, "тщедушный мальчик, глухой, говоривший писклявым и слабеньким фальцетом". Углубившись в лес, он набрел на заветную полянку, и стал уписывать ягоды так жадно и самозабвенно, что не услышал приближения погони. Бородатые верзилы Бабичева были неумолимы и запороли несчастного насмерть. После похорон Йолэка, на которых присутствовала вся колония, дети поклялись никогда, ни под каким предлогом больше в помещичьи леса не наведываться. А сыну еврейского пахаря был преподан урок: за пределами обжитого им мира есть чужая земля, где его пребывание не только нежелательно, но и опасно.

Как это водилось в иудейских семьях, шести лет мальчика отдали в хедер, где он овладел чтением на древнееврейском языке, штудировал Пятикнижие Моисеево, постигал премудрости Талмуда. Занятия длились четыре долгих года, причем ежедневно, с раннего утра до восьми вечера. Но наука была мальчику в радость, и даже когда меламед реб-Эли, осердясь на какую-то ошибку, шлепал нерадивого ученика по щеке (что, конечно, было с его стороны не вполне педагогично), Семену казалось: "от такой пощечины звучат в ушах тотчас звуки десяти тысяч колокольчиков". Меламед был человеком односторонним (это Фруг поймет уже потом, в зрелые годы), "не имевшим никакого понятия, что такое "стихотворение". Но, признавался юный мечтатель, "сколько дивных образов вставало предо мной и сколько сладких слез пролили глаза мои над повестью любви Амнона и Тамары, над сказанием о мученической кончине Иегуды Галеви, над героической эпопеей Бар-Кохбы, сказочного богатыря, ездившего верхом на африканском льве, сопутствуемого яркой незакатной звездой – эмблемой победы и славы". Уроки реб-Эли ("да сияет Рай ему!") заставляли радостно биться сердце и пробуждали в нашем школяре поэтическое чувство.

В девять лет Семен поступает в только что открывшееся в колонии училище. "Около четырех лет провел я в этом заведении, – напишет он, – где приобрел элементарные знания в русской грамматике и научился читать и писать", а затем он вернулся к отцу. Стремление к самосовершенствованию и неукротимая тяга к знаниям овладели им настолько, что он превратился в самого отчаянного книгочея, жадно поглощая все, чем были богаты местные библиотеки. Он особенно пристрастился к чтению русских книг, постигая красоты языка Пушкина и Достоевского (родным для него был идиш). Впрочем, то, что Семен жадно впитал в себя великую русскую литературу, было явлением типическим, ибо именно на ней к концу XIX века выросло целое поколение иудеев, которое считало ее своим личным достоянием. Вот что писал, обращаясь к антисемитам, еврейский писатель Г. Баданес в своих "Записках отщепенца" (1883): "Вот вам, господа, Белинский!.. Вот Добролюбов!.. Вот и Некрасов ... Вот вам еще Тургенев, Лермонтов!.. Нет, это еще бабушка надвое сказала, принадлежат ли *эти* исключительно вам, головотяпам! Нет, *этих* не отдадим: они принадлежат всему человечеству, следовательно, и нам, евреям, потому что мы люди тоже". О том, сколь притягательным для Фруга было чтение русской классики, пишет Г. Ландау: "Пушкина и Лермонтова он не перечитывает, потому что прекрасные поэмы так его увлекают, что, взяв книжку, он уже не может ее оставить, хотя бы приходилось читать напролет до утра".

Творения Пушкина и Лермонтова воодушевили Семена, и в 16 лет он сам начинает писать стихи на русском языке. Первые пробы пера он сделал в Херсоне, куда (как некогда его отец, от которого наш герой унаследовал, между прочим, прекрасный почерк) определился писарем в раввинат. Здесь же, в Херсоне, судьба свела его с одним корректором газеты "Губернские ведомости", который и преподал ему первые уроки версификации. Впрочем, Фруг не порывает связи с Бобровым Кутом, частенько туда наезжая. Примечательно, что в метрической книге колонии о роде его занятий сказано: "поэт", что для сельского поселенца кажется весьма необычным. Но символично, что одно из первых его стихотворений носит характерное название – "Труд": он был не только поэтом "от сохи", но и прямо отождествлял свое творчество с трудом землепашца: "Я не знаю, то ли благо, /Что иду сам-друг, /И что поле мне бумага, /А перо мой плуг. /Кто мою подскажет долю, /Кто мне предречет, /Что меня на этом поле /Ждет или не ждет".

Писательская доля Семена Фруга складывалась счастливо. Хотя долгое время он не отказывался от поденного литературного труда, работая то корректором в Херсоне, то корреспондентом одесской губернской газеты, известность пришла к нему уже в юности. Первое его стихотворение увидело свет в журнале "Рассвет", когда автору было 19 лет. Поначалу он публиковался только в еврейских изданиях, затем его стихи, очерки и фельетоны стали появляться и в популярных русских либеральных журналах "Русская мысль", "Неделя", "Вестник Европы". Живая легкая речь, музыкальный стих и подкупающая искренность привлекали к нему широкий круг читателей. Первый же его сборник "Стихотворения" (СПб., 1885) был высоко оценен еврейской и русской критикой, а следующие книги – "Думы и песни" (СПб., 1887) и "Стихотворения 1881-1889" (СПб., 1889) упрочили его литера-

турные позиции. Фруг был назван "одним из самых симпатичных, искренних и, главное дело, истинных поэтов".

Примечательно, что на одном из конкурсов Семен Григорьевич был увенчан и званием "национальный еврейский поэт". Но писал он преимущественно на русском языке. А русско-еврейская литература, по словам ее историка В. Львова-Рогачевского, "всегда была двуликим Янусом: одним ликом обращена к русскому читателю, другим к еврейскому, одним ликом к русской литературе, другим к своей книге – к Библии". И хотя писавший на иврите и идише крупнейший поэт XX века Хаим-Нахман Бялик говорил о Фруге: "Читая его русские стихи, я не замечал русского языка. Я чувствовал в каждом слове язык предков, язык Библии", тем не менее русская словесность оказала на него решающее влияние. Свое поэтическое дарование он взрастил на произведениях русской классики, которые любил и считал своими, испытывая за них чувство законной гордости. И в этом своем преклонении перед ее высокими нравственными идеалами, защитой униженных и оскорбленных, вечными поисками истины и добра Фруг был постоянен и последователен.

Позиция этого поэта вызывает тем большее внимание, что сегодня некоторые ревнители еврейства, уличив даже признанного мастера слова в антисемитизме, с порога отвергают и все ценное, им созданное, обедняя тем самым собственную культуру. Отношение Фруга к русским классикам принципиально иное. Так, "пленительными тайнами непостижимой красоты" была полна для него поэзия Пушкина, воздействие которой на творчество поэта огромно. Он находит для своего великого предшественника определение весьма точное – "светильник дум" и называет его:

"Венчанный лавром вечной славы,
Певец Онегина, Полтавы,
Кем русской лиры стройный звон
Певучей, светлою волною
Разлит над русскою землею".

В статье "Чувства добрые" Семен Григорьевич задается целью показать значение Пушкина для российского еврейства. Он приводит знаменитые слова из пушкинского "Памятника":

"Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык".

Следом за этим Фруг цитирует строки, в коих, как он деликатно выражается, "пророческий дар поэта в значительной степени уступал его мощному поэтическому дару":

"Однажды созвал я веселых гостей,
Ко мне постучался презренный еврей".

"Что же мы видим? – вопрошает еврейский стихотворец. – Дикий в то время тунгус едва ли стал менее диким; степи калмыцкие и поныне лежат, объятые многовековым сном, чуждые животворной силы пушкинских вдохновений. А знают и любят Пушкина сотни тысяч потомков "презренного еврея", которые читают его творения и благоговеют перед его великим бессмертным гением". Он пишет о приобщении еврейства к русской культуре, получившем массовый характер в эпоху царя-освободителя Александра II: "И тогда-то к Пушкину действительно "постучался еврей", но не за презренным "златом", которое платят шпиону, а за чистым золотом возвышенных поэтических вдохновений. Тысячи детей "презренного еврея" стали учиться русскому языку. Первое стихотворение, выученное еврейским ребенком, было Пушкина. Первый восторг поэтического настроения, испытанный еврейским юношей, еврейской девушкой, почерпался ими у Пушкина". И особенно отрадно, что произведения великого поэта переведены на древнееврейский, и иудей, "еще не зная русского языка, уже будет знать и любить того, кто составляет венец и гордость русской литературы".

Фруг резюмирует: "Поэзия...создает в человеческой душе ту нравственную атмосферу, в которой, как зерно в рыхлом черноземе (сравнение, характерное для сына пахаря! – Л.Б.), зарождаются, растут и зреют добрые чувства и высокие мысли...Как полезно, как благодатно было бы именно теперь пробуждение "добрых чувств" к обездоленному, измученному вековым бесправием народу, который рвется к знанию и свету, как милости, просит права "учиться", чтобы свои силы и знание свое употребить во благо себе и другим". Поэт сожалеет о том, что великий Пушкин не знал о том, чем стали российские иудеи за последние пятьдесят лет: "Если бы он видел хотя бы одного врача-еврея, добровольно отправляющегося в местности, зараженные холерой, цингой, голодным тифом, еврея, занимающего кафедру русской словесности, еврея, всю жизнь работающего в стенах публичной библиотеки над старинными рукописями, и в то же время сотни других евреев, лишенных возможности применять к живой и благотворной деятельности свои знания и силы, – он, стремившийся пробуждать своей лирой чувства добрые и милость к падшим призывать, вряд ли прошел бы молча мимо этих явлений".

С большим пиететом относился он и к творчеству Лермонтова. Известный литературовед С.А. Венгеров говорил, что Семен Григорьевич воспитывался под влиянием сего великого поэта, а И.Н. Розанов, отмечая в статье "Отзвуки Лермонтова", что многие стихотворцы пользовались "уже готовыми поэтическими оборотами и образами из славного наследия русской поэзии", среди них называет и Фруга. Критик А. Волынский показал на многих примерах лексические соответствия и сходный характер стиля двух авторов. Интересно, что Фруг вслед за Лермонтовым обращается к образу Демона. Впрочем, здесь он опирается на ветхозаветную традицию из 4-й части "Книги Бытия" ("А теперь ты, проклятый от земли, что раскрыла уста свои, чтобы принять кровь брата с твоей руки"), в то время как русский стихотворец трактует образ с христианских, православных позиций. Лермонтовский Демон наказан одиночеством, и ангел побуждает и преображает его божественным словом. Демон же Фруга дан в ипостаси вселенского зла. В сюжет вводятся новые образы – "глаза Сатаны" и "чело Сатаны".

"Коварным блеском ярко пламенеют
Две красные сверкающие искры,
Два острых, черных бархатных крыла
Со светлою мерцающей каймою
Виднеются из чащи изумрудной,
И резкий очерк бледного чела
С дрожащими угрюмыми бровями
То скроется за черною листвою,
То вновь мелькнет в сиянии луны:
На башенку с мерцающим просветом,
Пытливой хищной зоркостью сверкая,
Сурово смотрят очи Сатаны".

Яркие, неожиданные противопоставления ("черная листва" – "сияние луны") создают ощущение безысходности. Близки по сюжету и поэмы "Мцыри" Лермонтова и "Рок" Фруга. В обоих произведениях речь идет о смерти юноши "во цвете лет". Отличие здесь, однако, не только в том, что в первом случае перед нами грузинский монах,

а во втором – индийский раджа. Различно их отношение к уходу из жизни. Если умирающий Мцыри завидует старому монаху, что у того "есть в мире, что забыть", герой Фруга покорен судьбе и воспринимает кончину в духе Вечности Бытия.

Обращает на себя внимание и его стихотворение "Памяти А.Н. Островского". Согласно Фругу, великий драматург начал свой литературный путь в "счастливые те дни", когда

"...дума русская, порвав оковы страха,
Вставала гордая, восставшая из праха".

А ведь в ранний период Александр Островский был сотрудником известного своим почвенническим направлением журнала "Москвитянин" и сосредоточился на идеях национального своеобразия и русской самобытности, поэтизируя народный быт. Как это ни парадоксально, но еврейского поэта в Островском привлекает именно национальный характер его творчества. Как и первый русскоязычный еврейский литератор Лейб Невахович, проявивший себя в свое время как истый русофил, наш поэт слагает гимн "живительной речи" русского писателя:

"И этих сил родник, и звуки речи этой
В душе твоей, огнем божественной согретой,
Кипели до конца твоих блаженных дней".

Показательно, что критик-западник К.К. Арсеньев заметил чуждую ему славянофильскую тенденцию сего сочинения и заключил поэтому, что оно "неверно освещает фигуру умершего писателя" Островского.

Интересно, что и своему стихотворению "Давид и Голиаф" Фруг предпослал эпиграф из произведений одного из основоположников славянофильства А.С. Хомякова: "...когда на битву с ложью /Восстанет правда дум святых. / Не налагай на правду Божью / Гнилую тягость лат земных. / Доспех Саула – ей окова, / Саулов тягостен шелом: / Ее оружье – Божье слово, / А Божье слово – Божий гром!".

Слова о доспехах и "шеломе" Саула, противных Божьей правде, связаны с легендарной историей о вероломном преследовании этим царем прославленного Давида, завоевавшего после победы над филистимлянином Голиафом любовь всего народа израильского. Автора-иудея и православного стихотворца объединяет благоговейное отношение к Ветхому Завету: ведь и сам Иисус считал, что эта Книга – слова самого Бога или же слова, написанные пусть даже и человеческой рукой, но по вдохновению Святого Духа. Фруг вкладывает в уста Давида монолог, служащий непосредственной реминисценцией пассажа Хомякова, прибегая чуть ли не к автоцитации: "А мне легко бороться с ложью, /И перед тьмою страха нет: /Мое оружье – правда Божья, /Моя защита – Божий свет".

Следует отметить, что тема использования литераторами славянофильского направления мотивов и сюжетов Ветхого Завета еще ждет своего исследователя. Не хочется говорить об этом скороговоркой, но совершенно очевидно, что они прибегали к Писанию, когда речь шла о борьбе с внешними врагами, нравственном и гражданском противостоянии злу. Известный организатор "Беседы любителей российской словесности" адмирал А.С. Шишков во время Отечественной войны с Наполеоном писал по поручению императора Александра I манифесты и воззвания к народу, представлявшие собой замечательный образчик стилизации под библейскую риторику. И, наряду с традиционными в русской литературе переложениями псалмов, здесь наличествовал и образ Израиля, причем борьба за его освобождение ассоциировалась с состоянием гражданской ответственности за судьбу России. В этом же духе выдержаны стихотворения Н.М. Шатрова, в коих ветхозаветные мотивы также непосредственно соотнесены с событиями войны 1812-1814 годов. А в 1811 году известный поэт и драматург князь А.А. Шаховской написал трагедию "Дебора, или Торжество веры", которая была вскоре представлена на петербургской сцене (его консультантом в области еврейской истории был, кстати, иудей Невахович). В трагедии Шаховской героизировал еврейский народ в его борьбе за свободу (заметим, что подобное изображение израильтян отличает и трагедию П.А. Корсакова "Маккавеи", 1813). Показательно, что близкий к А.С. Шишкову литератор и педагог И.И. Ястребцов писал в 1833 году: "Беспримерная характерность Иудейского народа, неизгладимая его пребываемость вопреки всем враждебным, разрушительным веяниям, рассеяние по земному шару, как бы для того, чтобы собирать нечувствительно все плоды цивилизации, для удобнейшего их потом соединения в одно целое, общее – могут служить намеками будущей участи Евреев для историка". Все это к тому, что поиск самобытности славянства вовсе не соседствовал с презрением и враждебностью по отношению к иным культурам и традициям. И те, у кого сегодня всплеск национального чувства плавно переходит в демонстрацию оголтелого антисемитизма, только порочат русскую идею.

Фругу были понятны "муки, гнев и печаль" Некрасова, с поэзией которого его роднит идейность и подчеркнутая гражданственность. Можно указать на близость тем и мотивов стихотворений "Сеятелям" и "Пророк" Некрасова и "В поле" и "Мой Бог" Фруга, на сходство женских образов в поэмах "Мороз Красный нос" и "Дочь Иефая". Однако утверждения современного литературоведа Е.Н. Бескровной о том, что Некрасов был знаком с Талмудом и "делал попытку отойти от христианства", кажутся нам необоснованными.

Творчество Фруга и Семена Надсона развивалось параллельно, они были почти сверстниками и знали друг друга лично. Их имена часто ставили рядом и критики-антисемиты (В.П. Буренин и др.), и литераторы еврейского происхождения. А филолог Ю. Айхенвальд даже назвал Фруга "еврейским Надсоном". И действительно, по своей тональности, стилю и настроению многие его стихи близки надсоновским. Надсон, однако, пришел к трагедии еврейства через своеобычно осмысленные им христианские догматы и посвятил иудеям только одно стихотворение, правда, замечательное: "Я рос тебе чужим, отверженный народ..."; Фруг же был и еврейским поэтом, и религиозным иудеем. Интересно, что художественным образам, которые у Надсона универсальны и наднациональны, Фруг придает еврейское звучание. Так, в стихотворении "Грезы" Надсон говорит об "огненном слове", которое необходимо поэту для борьбы с неправдой и злом: "О, если б огненное слово / Я в дар от музы получил, / Как беспощадно б, как сурово / Позор и злобу я клеймил".

Лирическому герою Фруга сие вечное слово даровано Творцом (это Божье слово!) и от гонений, неправды и зла оно обороняет еврейский народ: "Для защиты от гоненья, / Для борьбы со злом и ложью / Я иное спас оружье – / Спас я – слово Божье...".

Надсон взывает к поэту-единомышленнику, Фруг – ко всему народу израильскому. А потому даже слово "вперед" получает у них разное смысловое наполнение. У Надсона читаем: "Вперед, забудь свои страданья, /Не отступай перед грозой, – /Борись за дальнее сиянье /Зари, блеснувшей в тьме ночной!".

Не то Фруг:

"Ты к сонму будущих столетий,
Чрез бездну мук, чрез цепь невзгод
Ступай вперед!..
Вперед – под звуки старой песни...
Смелей, седой старик-народ,
Вперед! Вперед!".

Особое отношение было у Фруга к "звездным песням" Афанасия Фета, в лирике которого он видел торжество добра и красоты. "Тихая" поэзия вызывала у него возвышенно-приподнятое настроение: "Светлой полная отрады, / Жизнь и радость льют мечты / На угасшие лампады, / На увядшие цветы".

Вслед за Фетом он переводил произведения немецкого поэта Фридриха Рюккерта, что говорит об известной близости их литературных пристрастий. И на смерть Фета в 1892 году он отозвался полными горечи стихами с обращенным в Вечность риторическим вопросом: "О, зачем Вы нас лишили / Этих милых грез и снов!".

Близок Фругу по мелодичности стиха и Я.П. Полонский. Интересно его стихотворное посвящение этому русскому поэту: "В голубые ночи майские, / В золотые лета дни / Петь он начал гимны райские, / Песни нежные свои... / Волос сед, но сердце молодо, / Неслабеющий талант / Напрягая вместо молота, / Все кует, кует из золота / Наш "Кузнечик-музыкант".

Важно то, что здесь явственно обозначено музыкальное, певческое начало поэзии Полонского. И действительно, 75 его стихотворений в сотворчестве с П.И. Чайковским, А.С. Даргомыжским, С.В. Рахманиновым, С.И. Танеевым, А.Г. Рубинштейном и др. могут быть названы не иначе как "гимны райские", а знаменитые "Песнь цыганки" и "Затворница" стали подлинно народными. Благозвучие отличало и стихи Фруга, которые тоже перекладывались на музыку и пелись (он говорил о них: "Аккорд за аккордом, волна за волною // Катились ликующим строем").

Примечательно, что Фруг аттестует Полонского "Кузнечик-музыкант". Так называлась "шутка в виде поэмы" Полонского, имевшая шумный читательский успех. Написанная легким виртуозным стихом, поэма в лирико-ироническом духе изображала незавидное положение "артиста" в светском обществе. При этом Полонский вовсе не идеализировал своего героя Кузнечика, ибо музыкантом он слыл только среди насекомых. Его стрекотание было отнюдь не пленительным: "Этот *свист трескучий*, этот *звон безбрежный*, // Разлитой повсюду и *сухой*, и нежный.../ Это все былые, вечные созданья моего героя". Поэтому (так в поэме) у Кузнечика нашелся счастливый соперник – Соловей сладкозвучный, который тут же "увел" у него легкомысленную Бабочку-кокетку ("бобошку"), навеки разбив сердце влюбленного. Фруг осмысливает образ совершенно в ином ключе, у него Кузнечик – признанный мастер, поэт милостью Божьей.

Объединяет Полонского и Фруга и трепетное отношение к своей "малой родине". Образ ее неразрывно слит в их творчестве с образами "простора", "степи". А потому слова критика "чувствуешь в поэтическом порыве ту землю, от которой он оттолкнулся" можно отнести к творчеству обоих поэтов.

Российские антисемиты врут, когда говорят, что родная природа – область заповедная, и постичь ее нугряную суть, пропустить через душу может только человек истинно русский, православный. А "Золотая осень" некрещеного Исаака Левитана? Говорил же мечтательно Чехов о своем благоговении перед красотами среднерусской полосы: "В молодости я был такой левитанистый". И после прочтения ранних стихотворений Фруга не оставляет ощущение глубокой укорененности поэта в земле "родимой" (он часто употребляет это слово!) Новороссии. Поэт, родившийся в земледельческом поселении, оживает и расцветает, когда перед ним встают "цветущий уголок, любимый и родной", "широкая привольная степь", а урожай, – "что солнышко для сада: облитый теплом и ярким сиянием, стоит, просвечивая каждым листиком своим, светлый, свежий и радостный". Самые краски в стихах поэта молодеют, сверкают и загораются всеми цветами радуги:

"Весь в цвету, душист и бел,
Облит утренней росою,
Зашумел, зашелестел
Сад вишневый надо мною.
С зеленеющих полей
Вея миром, жизнью, силой,
Шлет мне отзвук детских дней
Уголок родной и милый
Новороссии моей...".

В вечерней синей мгле возникают и "тополь серебряный, грезою скованный", и старая ива, склонившаяся над поросшим осокой прудом:

"Молятся оба, объяты восторгом одним,
Каждым листочком своим...
Каждою струйкою сока в изгибах ветвей,
Каждою жилкой корней".

Поэт внимает звону теплого весеннего дождя, брызги которого летят "над зеленью полей в просторе благовонном". Его захватывают "вестники весны". Просторы родных полей радуют сердце и греют душу:

"Какая ширь и сколько света!
Да, здесь и только здесь, друзья,
Опять свежа, опять согрета,
Опять жива душа моя".

От степного приволья веет свободой:

"...я хочу глядеть, не уставая,
На степь зеленую, на эту ширь без края, –
И людям рассказать, как люба, как мила,
Как сладостна она, святая воля эта,
Где взору нет границ, где сердцу нет запрета,
Как быстрому крылу нагорного орла".

И Фруг провозглашает: "Хочу царем быть, властелином /Меня питающей земли!".

Но слова внука и сына пахаря сразу же тонут в оглушительном гомоне "истинных ценителей" российской природы. Их разглагольствования крепко запали ему в душу и неотвязно преследуют еврейского поэта. Юные и не очень юные натуралисты, называвшие себя "патриотами России", вдохновенно витийствовали. Семен Григорьевич вспоминает: "Поднялся оратор. Сжимая всей пятерней огромный бокал, наполненный шампанским пополам с квасом, он начал свою речь. Говорил он о беспредельной шири родных степей, но, Боже мой, сколько фальшивого ухарства, сколько бесшабашной хвастливости звучало в его словах! Он ораторствовал о том, как обильны не токмо грибами и ягодами, но еще неисчерпаемыми естественными богатствами не только леса, горы и курганы, но даже болота его родины, эти топкие, засасывающие болота, в которых есть что-то такое особенное, глубоко лежащее под глухим липким слоем вековой тины, но несомненно очень хорошее...А потому (о, это

"потому" было верх совершенства!), а потому, – говорил оратор, – пуще всего одно: не пущай жида! Жида, говорю, не пущай!

– Браво! – кричали слушатели, – браво!

Другой оратор говорил о "простоте, добродушии, хлебосольстве, выносливости и бесконечной симпатичности нашей меньшой братии"... Но наиглавнейшее – это чтобы жида не было-с!".

– Браво, – кричали слушатели, – ур-р-ра!

Третий оратор торжественно заявлял, что согласен с обоими предшествующими насчет грибов, ягод...и других "естественных богатств".

– Согласен, – говорил он, – совершенно согласен. И могу, со своей стороны сказать, что поелику все это, понимаете, все – наше, то мы, значит, никому, ни-ни... Ни вот эстолько! А наипаче и наиважнейшее, это чтобы жиду – ни шагу! Стой! Не смей!..

– Ура! – заголосили восхищенные слушатели. – Ура! Ур-р-ра! – громко, раскатисто разнеслось кругом". И поэта пронизывает горькое сознание того, что никакой он не властелин земли, а пришлый, чужак, изгой, а те, которые считают себя хозяевами жизни, всегда будут говорить ему и его соплеменникам: "Не вашими силами собиралась земля наша, не вашими руками строилась, не вашим подвигом росла и крепла. Не ели вы веками долгими хлебушка нашего, липкого да кислого, с татарвой не бились, на барщину не ходили. И нельзя нам вас рядом с собою посадить. Невместно!".

И если бы это были только слова!... Фругу как лицу иудейского исповедания суждено было испить до дна горькую чашу оскорблений и издевательств, коим подвергались на родине его единоверцы. Вот факт его личной биографии: весной 1881 года поэт по приглашению редакции журнала "Рассвет" переезжает в Петербург. Но в ходатайстве еженедельника о его прописке как "переводчика с еврейского языка" власти категорически отказали. И хлопоты частных лиц с высоким общественным положением тоже остались втуне. Тогда Семена Григорьевича, не имевшего права жить вне черты оседлости, прописал у себя кандидат прав М.С. Варшавский в качестве "домашнего служителя". Но поэта то и дело теребили, подвергали унизительным проверкам, вызывая по поводу и без повода в полицейскую канцелярию. "Да поймут ли десятки лучших русских людей, – писал Фруг, – сколько обиды, сколько унижения лежит на мне за несколько лет пребывания в этом самом заветном центре умственной жизни. Нет, им этого не понять...Еврей, получающий повестку, по которой он приглашается к господину участковому надзирателю по делу о "праве жительства" – вот в сущности и главный образ той драматической коллизии. Когда господин с галунами начинает варьировать слово "жид" в связи с терминами "арест" и "этап" по всем склонениям, заставляет вас бегать к нему сотни раз по поводу каждой мелочи и глупости...тогда вы чувствуете нечто такое".

"Нечто такое" чувствовал поэт и когда думал о судьбах своего народа в Российской империи. Неизбывной болью отозвались в нем кровавые погромы. Он описывал дикую вакханалию разъяренных громил, врывающихся в еврейские дома: "Крик, вой, рев. Стон стоит в воздухе. Отчаянные вопли женщин и детей, неистовые крики грабителей – пьяных, остервенелых. Треск ломающейся мебели, звон разбиваемых стекол. "Ломай...бей!"..."Помогите!". Все слилось в один гул". Знал Фруг и об ужасающей бедности большинства российских иудеев, огражденных от мира мрачными гетто черты оседлости. В одно типично еврейское местечко Шмойновку у него вдруг собрался Мессия, а все потому, что у жителей не оказалось в наличии ни одной копейки! Ибо в Талмуде сказано, что Мессия явится в то время, когда в кармане не останется ни гроша. И как же непохожи нищие обитатели Шмойновки и тысяч других еврейских селений на конспираторов-жидомасонов и ритуальных убийц христианских младенцев, о коих не устают повторять бдительные "разоблачители"-юдофобы.

Фруг в своем творчестве представил целую галерею евреев, которые вполне могут быть названы "типическими характерами в типических обстоятельствах". Вот, к примеру, реб Эле-Меер, которого поэт называет "симпатичнейшим типом". "Ежегодно он выдает замуж самое меньшее пятнадцать бедных невест, устраивает не менее двадцати...обручений, печет "халу", наверное, в 15-20 печах, зажигает субботние свечи в десятках квартир, свозит в больницу, провожает на кладбище... Он никогда не самодурствовал, не грабил, не лихоимствовал, не обманывал. А ведет он свой подвижнический образ жизни потому, что "так надо", что это обязан делать всякий, у кого есть Бог и совесть в душе. Если же он и вздыхает так часто, сокрушаясь о "грехах наших незамолимых", то ведь тут подразумеваются не только его собственные грехи, но вся ужасающая масса грехов *всех нас*, грешных людей". Реб Эле-Меер – и это подчеркивается – типический национальный характер, ибо так, как он, поступает каждый верующий еврей: "Есть книга, которая называется "Торой". Реб Эле-Меер знает, что он создан исключительно для того, чтобы исполнять все, что повелевается Торой. А что повелевается Торой? О, кто же этого не знает! Любой еврейский мальчик вам скажет. Тора повелевает: не красть и в субботу не носить шелкового платка с собою; не свидетельствовать ложно и не пить "зугос" (четного числа бокалов); не делать себе кумиров, не поклоняться идолам... не употреблять в пищу крови и не прикасаться к кошке; любить ближнего, как самого себя...; в пасху не есть "хлеба" и замужним женщинам брить волосы на голове; не есть свинины и не носить короткополого платья; не произносить имени Господа всуе и не ронять на пол ни одного обрезка ногтей, – и проч. в том же роде, целых 613 крутых и скользких истин, на которые каждому еврею надлежит карабкаться, насколько сил его хватает, и даже сверх сил своих, ибо все это повелевается Торой, а еврей создан *исключительно затем*, чтобы исполнять веления Торы...". Такого религиозного иудея нередко корят в педантизме, но такой же упрек можно адресовать и благочестивому христианину, неукоснительно следующему всем евангельским заповедям.

Поэту мил тихий, незаметный и непритязательный еврей-труженик. В очерке "Лея-магид" он подводит итог жизненного пути скромной хозяюшки и восхищается им: "Разве не она собственными руками раскопала эти грядки, полет и поливает их, возится с каждым отдельным овощем, как заботливая мать со своим дитятей? Разве мало труда стоило ей выходить заболевшую нарывом на вымени корову, приготовляя собственноручно различные припарки и мази? Разве каждый уголок, каждая крупинка в этом маленьком хозяйстве не носят следов ее забот и труда? Зато с какой радостью и гордостью смотрит она на эти пестреющие цветущие грядки...И читала Лея каждую субботу молитвы прихожанкам, и полола, и поливала свой огородик, и за коровками ходила, и с птицей возилась, покуда не закрыла свои добрые глаза и не уснула тихим сном под курганчиком, поросшим зеленой травой и пестрыми полевыми цветами".

Под пером Фруга оживают и вечно спешащий, обаятельный в своей чудаковатости меламед Хаим-Гершон, общественный деятель и "ярый охранитель" иудейского благочестия; и "шаблонный тип" проповедника, "высокий и худой, как жердь, старый еврей с жиденькой, сивой бородкой, в ветхом, совершенно вылинявшем в зеленый

цвет длиннополом кафтане, остроконечной плисовой ермолке и с клетчатым платком, обмотанным вокруг шеи, ... было что-то глубоко болезненное в этом судорожном подергивании губ и закрывании глаз при частых перерывах и остановках речи"; и синагогальный певчий Зуся: "Боже мой, сколько глубокой, мучительной тоски, сколько горячей мольбы и раскаянья звучало в его мелодии, и как живо и ясно возникало в душе слушателя сознание нашего великого народного горя, нашей сиротливости и бесприютности". Поэт восклицает: "Бедная еврейская душа! Сколько мук залегло в глубину твою бездонную, сколько горечи и яду напитало тебя, сколько горьких обид пало на долю твою!".

Семен Григорьевич зачастую предавался унынию, и есть сведения, что однажды даже хотел свести счеты с жизнью. И в те мрачные дни отчаявшегося поэта спасло то, что его полюбили, и он полюбил. "Пришла хорошая женщина, – вспоминал современник поэта, – русская, с жертвенной любовью, не озирающаяся назад, – пришла, не справляясь на бирже жизни, во что оценят ее "суженого", ее "желанного", пришла и сожгла себя, чтобы пламенем своим согреть стынущего, замерзающего, из сердца которого проклятая жизнь выстудила все тепло". И самозабвенная любовь к нему этой русской женщины, ставшей его гражданской женой (ибо официальный брак между иудеем и православной был невозможен), еще теснее связывала его с Россией.

Семен Фруг был снедаем противоречивыми чувствами. С одной стороны, он был сыном земли, которую возделывали его предки, и врос в российскую почву, с другой, – она, эта земля, отторгала его, как парию, и он оказался в положении отверженного, иудея-изгоя. Забегая вперед, скажем, что впоследствии поэт преодолеет эту мучительную раздвоенность и обретет долгожданный мир и покой. Но процесс этот, исполненный душевной борьбы, был постепенным, долгим и весьма не простым. И прежде всего он отразился в его творчестве, где отношение поэта к родине получило свое художественное воплощение. Причем образ отчизны здесь заметно трансформировался, все более и более отдаляясь от его взора.

Поначалу общение с родной природой вызывает у него прилив сил и поэтическое вдохновение:

"...радостью немой душа моя полна,
Той тихой радостью, той светлой тишиною,
Что веют в полумгле румяных вечеров...".

Родина помогает отрешиться от "думы беспощадной, что каждый вольный шаг... угрюмо мерила карающей рукой": Но радостная картина урожайного летнего поля постепенно сменяется иной, осенней, унылой:

"Печален вид немых полей
В часы осенней непогоды,
Когда, пред мглою зимних дней
Наступит долгий сон природы".

Все чаще звучит мотив тоски и безнадежности. Нива ассоциируется уже не с "подъемом бодрого и свежего зерна", а с душащими ее терниями:

"Но день идет за днем, – и гуще, и темней
Бурьяны жесткие и жгучая крапива
Со всех сторон ползут и стелятся по ней".

И хотя поэт еще называет поля "родными", надежда навсегда покидает его: "О, не пой, не пой, как прежде, / В дни весны, в родных полях, / О немеркнущей надежде, / О невянущих цветах".

Песни поэта "на светлом просторе полей" исполнены горечи: "Ни зари, ни пути, / Ни луча впереди... / О, зачем отравили вы песни мои!".

И вот в воображении Фруга рождается новая метафора, и степная ширь уподобляется вековой печали поэта:

"Уноси мою душу в ту синюю даль,
Где степь золотая легла на просторе –
Широка, как моя роковая печаль,
Как мое безысходное горе".

Еще шаг – и родина видится ему "унылым гнездом", где "...каждый уголок на радостный привет
Простонет: "Уходи! Тебе здесь места нет!".

Он чувствует себя теперь как "бездомный парий" в "бесприветной, убогой отчизне моей", и то, что раньше возбуждало в нем щемящее чувство родного очага, отзывается чужим холодным блеском. И теперь к степям Новороссии, где он родился и вырос, обращены его слова – "блеск чужой природы". Дальше – больше. Он приходит к тому, что полностью отстраняется от судьбы страны: "Россия – родина моя, / Но мне чужда страна родная, / Как чужеземные края: / Как враг лихой, как прокаженный, / От них запретом огражденный, / Я не видал дубрав и гор, / Ее полей, ее озер..."

Не сыном России ощущает он себя, а жалким ее пасынком:

"В семье рабов у мачехи-отчизны
Я вырос бесприютным сиротой".

"Мачеха-отчизна" – горькие, беспощадные слова. И, похоже, понимая это, Фруг просит прощения у отторгнувшей его родины:

"Не осуждай меня за слово укоризны,
Что вырвется из уст моих порой...
Пойми, пойми тогда, как я скорблю глубоко, –
Мучительной тоске излиться дай,
И за слова невольного упрека
Не осуждай, не осуждай...".

В одном стихотворении (оно так и называется "Любовь к родине") Фруг словно подслушал "беседу двух старых рабов под сенью цветущей маслины". Они говорили о "родном уголке", который сердцу всего милее, хотя здесь, в неволе, им и живется вольготно, и труд не в тягость. О чем же тоскуют старцы? Откуда они родом? Ответ: "Мы выросли оба в Долине Могил, вблизи Пустыря Прокаженных". Старцы из Долины Могил наверняка хлебнули там горя и лиха, но любить ее от этого не перестали.

Тогда отчего же, позволительно спросить, Россия, изобильная, прекрасная Россия, становится для Семена Фруга "мачехой-отчизной"? Понятно, что как иудей он был глубоко травмирован и дискриминационным антиеврейским законодательством, и волной кровавых погромов, и юдофобской истерией, охватившей тогда широкие круги русского общества. Но даже если жгучая обида застит глаза, даже если покажется вдруг, что обречен жить "в Долине Могил, вблизи Пустыря Прокаженных", мыслимое ли это дело отказываться от своего отечества? И хотя во времена, когда евреев буквально выталкивали из страны, и власть предержащие цинично заявляли: "Западная граница открыта для вас!", поэт никуда из России не уезжал, кое-кто тут же запишет его в "безродные космополиты". Но словцо "космополит", ставшее ругательным с легкой руки идеологов Третьего рейха и сталинского режима, к нему никак не подходит

(даром, что в его творчестве мы находим мотивы и вариации итальянской, греческой, ирландской, арабской и албанской поэзии). Нельзя назвать его и "безродным". И не только потому, что он, как тургеневский Базаров, мог сказать о себе: "Мой дед землю пахал", – Семен Фруг твердо знал, какого он рода-племени, и гордился этим. И именно осознание своей причастности к еврейскому народу, трагическая, но великая судьба которого исчислялась тысячелетиями, вдохновляло его жизнь и творчество. Перефразируя известные строки, он всегда был рядом со своим народом, там, где его "народ, к несчастью, был". И Россия стала поэту чужой только тогда, когда он ясно понял (прав ли он был или ошибался): у его народа здесь нет будущего.

К такому убеждению он пришел, рассматривая судьбы еврейства в исторической перспективе, "на вековых путях скитальческой печали". Фруг очень любил исторические аналогии. Провинцию Гошен, где в древнем Египте дозволялось жить томящимся в плену иудеям, он называет "египетской чертой оседлости", а тамошнего начальника над евреями – "Ваше египетское благородие", "египетская Держиморда". Но вид и норов сего Держиморды точь-в-точь российские. "Глазища красные, навыкат, нос темно сизый, в руках нагайка со свинцовыми подвесками, да как топнет он ногою, да как гаркнет он на всю фараонскую: "Гей, вы, жидова треклятая! За каким дьяволом пожаловать изволили?...Что? Не проведете, голубчики, нет! Я вашу братию знаю, мошенники вы первостатейные!".

То, что происходит с его единоверцами, подчеркивает поэт, уже было в истории, ибо, как сказал один еврейский венценосец и философ, "нет ничего нового под солнцем!":

"О, братья по судьбе, в ряду тысячелетий!
Зачатые в скорбях, рожденные во мгле,
Народа-узника замученные дети,
Как горек и тяжел удел наш на земле!".

Эти слова он обращает к своим российским соплеменникам, но их можно адресовать к евреям всех стран, потому что "...как зерна легкие посева / Дыханьем грозных непогод / Рассеян всюду мой народ".

И весь трагизм евреев в том, не уставал повторять Фруг, что "у нас отняли родину! Если человеку нужны зимою теплая одежда и летом тень, чтоб укрыться от палящего солнца, то родина нужна ему, как свет, как воздух, как кровь для его сердца...У нас отняли родину!". Когда жизнь иудеев в диаспоре протекает мирно, и их существованию, мнится, ничто не угрожает, то народ, словно "инвалид" (это его сравнение!),

"...забросив знамя и щит,
В старчески-смутной дреме лежит".

Но если близка опасность, если кольцо врагов сжимается вокруг, сразу же оживает историческая память вековых гонений и преследований, обостряется национальное чувство: "Старые раны, /Вскрывшись опять, /Мукою станут /Сердце сжимать, – /Встанет он... Бледные /Губы дрожат, /Щеки пылают, Очи горят, – /Словно воскреснув, С мощью былой, Снова готов он /Ринуться в бой".

Фруг верит в будущее своего народа, и это:

"Вера – твердая, как камень,
Вера – светлая, как солнце,
Вера – жаркая, как пламень".

Он знает, у его народа "зорок глаз" и "крепки ноги" и "посох цел", и даже удары судьбы зовут его к воскресению: "И громы нам поют "воскресни"! / И бури гимны нам поют!".

Национальное единение и стремление вырваться из духовного плена являются, по Фругу, залогом счастья и благоденствия: "Свободой гений наш рожден, / Одною с нею связан долей, – / Он вместе с ней убит неволей /И вместе с ней воскреснет он".

Поэт придавал решающее значение еврейской духовной традиции, религиозному воспитанию своего читателя. Специалисты спорят, был ли Фруг приверженцем хасидизма или более склонялся к взглядам традиционного иудаизма. Важно, однако, то, что он апеллировал в своем творчестве ко всем иудеям, стремясь подчеркнуть то, что их объединяет, а не разъединяет. И, разумеется, непререкаемой священной книгой для всех являлась Тора, которую когда-то Генрих Гейне правомерно называл "портативной родиной евреев". Как заметил один критик, "Библия [Ветхий Завет, Тора] дала ему материал для картин, для мечтаний, для снов, дала пищу...мирным грезам об идеальном счастье". Сильное впечатление производят такие его произведения, как "Пророк-пастух", "Видение пророка Исайи", "Амман", "Смерть Самсона", "Легенда о чаше", "Быстро одернулся полог шатра", "Старое горе" и др.

Приходится, однако, признать, что картины Библии, представленные поэтом, уступают по своему эмоциональному воздействию его живым описаниям природы Новороссии, где он выступает как художник-пейзажист.

Тем не менее, когда поэт повествует о Земле обетованной – потерянной исторической родине евреев, его рассказ отличает взволнованность и страстность. Интересен в этом отношении очерк "Пальма". Речь идет здесь об экзотическом дереве, пращуры коего когда-то горделиво росли "под знойным небом Палестины", а ныне одиноко стоящем в кадке у одного русско-еврейского мальчугана. Эта-то пальма вдруг заговорила с ним "нежным, ласковым человеческим голосом": "Ты понимаешь, дитя мое, любовь к природе родного края и любовь к Творцу всего живущего – вот, что хотел укрепить в каждом творении священный закон Торы". И дерево напоминает ему об уроженцах Святой Земли, которые "горячо любили и родину свою, и своего Бога. Богатырь Самсон, пророчица Девора, цари Саул и Давид выросли в тишине и раздолье полей, в тени уютных рощ и садов Палестины...Я никогда не была в той далекой священной стране, не видала ни тех рощ, ни того неба. Но я пальма; предки мои – пальмы, от которых я происхожу, росли в том обетованном краю, и где бы я ни росла теперь, я вечно буду чувствовать свою связь и с той землей, которая питала их своими соками, и с тем небом, которое согревало их своим благодатным теплом. Милое дитя! (наставляет пальма) И ты родился и живешь далеко от священной родины своих предков, но ты должен вечно помнить и любить ту далекую землю, то далекое, знойное и яркое небо".

Но Палестина дорога Фругу не только как памятник былого величия народа. Своих соплеменников, которые видят в ней лишь тень, призрак отжившего прошлого, он гневно бичует, называя "бессмысленными пигмеями":

"...Слепцы безумные, в бесстыдной наготе
Отвергшие покров родной печали!
Гордиться предками имеют право те,
Стыдиться за кого их предки бы не стали".
И поэт призывает:
"Любить Сион, – любить, как любит ствол черешни
Душистый, белый цвет своих ветвей,
Как любит землю в полдень вешний
Зерно, посеянное в ней".

И шепчет молитву:
"Зажги, о, Господи, над нашею дорогой
Зарю, веками жданную зарю,
Чтобы скитальца на родное лоно
Зовущая теперь, звезда Сиона,
Звезда надежды, не была одной
Из тех падучих звезд, что столько раз являли
Свой блеск мгновенный в ночь его печали
И гасли в тьме ночной".
Он верит в возрождение евреев на земле праотцев:
"Я вижу мой народ в стране его родной,
Как в старые, давно исчезнувшие годы,
То мирным пахарем с кошницей и сохой,
То гордым витязем под знаменем свободы".

Его пламенная идея о будущем возвращении иудеев на Святую Землю отражена в сборниках "Сиониды и другие стихотворения. 1897-1902" (СПб., 1902) и "Песни исхода" (СПб., 1908). (Кстати, название "Сиониды" заимствовано Фругом у великого еврейского поэта средневековой Испании Иегуды Галеви). Примечательно, что жизнь в Палестине ассоциируется у него с трудом на земле, и почти во всех стихотворениях на эту тему наличествуют образы нивы и пахаря. Образы эти под его пером обретают многомерность и многозначность. Характерно, что и Всевышнего он называет "Хлебодатель всей вселенной" и говорит, что им, этим Хлебодателем, уготовлена для евреев "нива светлая для мирного труда". Но слово "нива" вдруг наполняется новым, широким смыслом:

"Господь мой! Как пахарь, тебя я молю!
Воззри на народ мой – на ниву мою".

И пахоте – процессу утомительному, длительному, но животворному, он уподобляет движение истории, которую "с острым заступом" проходит сквозь тысячелетия племя Израиля. И поэт настоятельно требует от евреев обратиться к своим истокам, вернуться к земле:

"Вернись к Земле, – к садам и нивам,
Когда-то, в блеске лучших дней,
Приютом мирным и счастливым
Служившим юности твоей.
Вернись к труду, к земле исконной.
Среди лугов, среди равнин
Ты станешь, ими возрожденный,
Душой и телом исполин.
Как пыль с цветка в алмазных росах,
С души ты смоешь прах забот;
Скитальца посох, старый посох
Как жезл библейский процветет".

Для него самая высшая молитва – это "пахаря грустный и кроткий псалом о ниве плодородной, о тучных пастбищах, о гроздях, о цветах". Самые заветные мечты: о поле, о сохе. Свое посвящение воспитанникам одесской земледельческой фермы он венчает словами: "Запишите слово "пахарь" /Как залог счастливых дней/ Золотыми письменами /В глубине души своей".

Он сочувственно цитирует слова пророка Иеремии: "Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами". В стихотворении "Гимн Сиона" поэт обращается к традиционному и близкому ему по жизни образу сеятеля:

"Мы работники народа;
Божья нива нам дана;
Вера, знанья и свобода –
Это наши семена.
Ждали солнца мы веками, –
Сейте ж, братья, в тьме ночной,
Сейте бодрыми руками,
Сейте с ясною душой".

Не случайно колонистам Святой Земли он посвятил стихотворение, которое так и назвал "Сеятелям". Он воспевает созидательный труд на своей земле, на родной ниве:

"Сочных колосьев, с любовью взлелеянных,
С пашен, рукою народных засеянных,
Нет, не в кровавом дыму алтаря,
Над преклоненной толпою, –
Неугасимая наша заря
Светит над нивой родною!".

Как это ни парадоксально, но при всей разности и даже полярности взглядов и мировоззрений их создателей, идеал человека для Семена Фруга чем-то поразительно близок образу русского крестьянина писателей-"деревенщиков". И у него и у них это человек труда с его любовью к родной земле, гордостью своими предками, добротой, прямодушием и чистотой помыслов. Хотя, как известно, каждый труд почетен, поэт считал, что светлые, кристально чистые еврейские души можно встретить не в сутолоке городской и местечковой жизни, не в водовороте купли и продажи, а на лоне природы, на груди кормилицы-земли. И он не боялся обличать свой народ, видя, что слова "пахарь" и "нива" звучали диссонансом на русско-еврейской улице. Фруг высмеивал нервную суету делового мира, пресловутую "коммерцию", соседствующую с вопиющей нуждой основной массы еврейского трудового люда. Об этом он говорит в написанном на идиш стихотворении "Жарко и холодно", в котором бичует бездуховность и бессмысленность существования таких гешефтмахеров:

"Кипятитесь, горячитесь, господин еврей,
Вы скоро остынете...
Вы спешите за товаром,
За досками, за железом,
За полотнами, шелками?
Вы горите, вы кипите?
Не забудьте ж, будьте добры,
Когда вернетесь с ярмарки,
С собою захватить
Кусочек полотна, любезный!
Стучат уж кружками!
Работает пила,
Четыре доски, два черепка
И все готово.
Вернулись с ярмарки последней...
Скорей же, служки, засыпьте землей!
Ой, братики, холодно там,
Ой, холодно, братики, там!".

Он с болью признает, что часть его соплеменников, забыв заветы Торы, сотворила себе кумира в виде золотого тельца и тупо и слепо поклонялась ему: "Моисея с пылающим факелом нет.../Аароны бесстыдно, открыто, /Преклоняясь пред ним, и поют, и кадят, /Золотые лобзая копыта".

Таких евреев, олицетворявших собой квинтэссенцию торгаша, он разил беспощадной иронией:

"...Базар их – край родной,
Их поле – улица...Отчетливо, игриво
Дух века написал властительной рукой
На их мече: делец! – на знамени: нажива!".

Но не они были адресатами поэзии Семена Фруга, а честные трудяги-евреи, составлявшие абсолютное большинство возлюбленного им народа. Именно к ним, "братьям и сестрам" – своим читателям-единомышленникам, были обращены его слова:

"Так пойте ж, хвалите вы труд и работу,
Так пойте ж, от сердца приветствуйте их!...
Пусть здравствуют мозолистые руки
И лоб, с которого льется пот трудовой!".

Могут сказать: Семен Фруг – еврей нетипичный, ибо в Российской империи сельским трудом занималась лишь малая толика иудеев (данные разнятся: от 1% до 3,5%), а потому его призыв к единоверцам стать крестьянами был гласом вопиющего в пустыне. Не преминут упомянуть и о том, что и в СССР, несмотря на широковещательную пропагандистскую кампанию, на земле перед началом войны трудились лишь 200 тыс. евреев, что составляло лишь 10% их общего числа. Приведут, пожалуй, и другие факты, вполне укладывающиеся в знакомую формулу: "Евреи хлеба не сеют!".

Но правда и то, что мечта о земледелии стала основой идеологии еврейского национального возрождения, что первые палестинофилы и билуйцы грезили об аграрном освоении страны отцов, что идея своей земли оказалась неразрывно связанной с идеей своей страны. Правда и то, что современный Израиль являет собой беспрецедентный пример в мировой истории, когда за непродолжительное время на ранее не обработанных землях было создано самое передовое, образцовое сельское хозяйство. Сегодня маленький Израиль лидирует в мире по разведению пород скота, устойчивым к любым природным прихотям, а также сельскохозяйственных культур, способных выживать при самом неблагоприятном климате. Здесь изобретена и успешно применяется система капельного орошения, позволяющая сэкономить огромное количество столь дефицитной в Израиле живительной воды. Еврейское государство первенствует в мире по надою молока, по урожайности хлопка и финиковой пальмы, удерживает второе место по урожайности корнеплодов (в том числе "второго хлеба" – картофеля), третье место – по производству цитрусовых. Так что (хотя это неприятно признавать антисемитам) российскому крестьянину есть чему поучиться у его израильского собрата, агрария кибуца или мошава. И первые колонисты, отправлявшиеся из России в Палестину отвоевывать землю у безжизненной пустыни, ехали туда с песнями на стихи Фруга: "Встань, народ, /И – вперед /Неуклонно! С нами Бог! С нами Бог! /Страж Сиона!".

"Сейте разумное, доброе, вечное!" – призывал столь ценимый нашим героем Николай Некрасов. Фруг, которого называли "еврейским Некрасовым", сеял семена правды, красоты и добра в своем народе. Вслед за русским поэтом-гражданином он говорил:

"Ты сей по зернышку, по колосу сбирай,
Но все, что соберешь ты с полосы убогой, –
Подобно нищему библейской старины,
Неси на жертвенник всеиждущего Бога,
Клади на трапезу своей родной страны".

И произведения его учат любить свой народ, хранить его историческую память, быть верным духовной традиции, завещанной предками. А ведь патриотизм в самом высоком смысле этого слова – это тоже общечеловеческая ценность. А потому творчество Семена Фруга перерастает национальные и временные рамки и обретает особую значимость, вызывая сегодня сочувствие и живой интерес читателей многоплеменной России.

24.04.09.

АЛЛА АСТАХОВА

Роман В. И. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» как образец карнавализованной литературы.

Имя Владимира Николаевича Войновича хорошо известно читателям. В 1995 году издано малое пятитомное собрание его сочинений, а в 1996 году – он стал лауреатом престижной в России премии «Триумф». Он лауреатом государственной премии России. В читательском восприятии имя этого писателя связывается, прежде всего, с романом о солдате Чонкине, тем более, что уже давно появилась и экранизация первой части произведения. Правда, осуществили ее не в России, хотя и с русскими актерами, а в Англии. Поставил фильм о Чонкине чешский режиссер Иржи Менцель. На Венецианском кинофестивале в 1994 г. фильм получил престижную награду – Золотую медаль президента итальянского сената. В 2007 г. была опубликована третья часть романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина.». она называется «Перемещённое лицо».

Но путь к признанию на родине был для Войновича очень непростым. В советское время судьба писателя и отношение к нему критики стало своеобразной иллюстрацией слов из знаменитого лирического отступления Н. В. Гоголя в «Мертвых душах» о судьбе писателя-сатирика: «...не избежать (ему) лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев».1

И для правительства, и для официальной прессы, и для Союза писателей Войнович был человеком очень «неудобным». В 1968 г. он был среди тех, кто поставил свою подпись под коллективным протестом против участия советских войск в чехословацких событиях. А тут еще сначала в «самиздатовском» варианте, а потом в эмигрантском журнале «Грани» появилась первая книга (1975) романа о Чонкине, отклоненная по цензурным соображениям редакцией «Нового мира». Начались гонения: сначала в критике, а потом дошло до открытых угроз. В 1977 г. его исключили из Союза писателей. В 1980 г. Войнович уехал на год в ФРГ по приглашению Баварской академии изящных искусств, а так как через полгода после отъезда Указом Президиума Верховного Совета СССР он был лишен советского гражданства, то ему пришлось остаться за границей, как тогда считал писатель, навсегда. К счастью, в 1990 г. Указ этот был отменён.

Размышляя о роли «Чонкина» в своей судьбе, Войнович в беседе с Т.Бек (февраль 1991 г.) признался: «На Чонкине я убедился, что жизнь и художественный вымысел совсем не далеки друг от друга... Моя биография легла в основу... «Чонкина», а «Чонкин», выйдя из-под пера, лепил мою биографию дальше. Меня из-за Чонкина выгнали из Союза писателей, из Советского Союза... Жизнь моя благодаря литературному герою круто переменилась». (2)

О замысле романа об Иване Чонкине Войнович подробно рассказывает в автобиографической книге «Замысел» в главах «Иван Чонкин. Вариант» и «На валенке». Писатель вспоминает, что летом 1958 г., сидя на валенке в комнате семейного общежития, он написал рассказ «Вдова полковника». Рассказ потом был утерян, но сюжет, а главное, героиня остались в памяти автора. Сюжет прост. Нюра полюбила солдата Ивана, с которым провела лишь один вечер. Утром началась война, и все, что у нее осталось на память о нём, это имя и фотография 3х4.

Она ждала от солдата вестей, но писем не было. Тогда

Нюра начала сама писать себе письма от имени этого Ивана, описывая в них военные будни. «По мере написания писем, – вспоминает Войнович, – ее воображение смелело – описывала его подвиги, присваивала ему звания и награждала его орденами. К концу войны он у нее стал Героем Советского Союза и, поскольку он к ней никак не возвращался, она, Нюра, сама себе составила извещение, что он погиб». (3) А о том, как дальше развивался и реализовывался замысел будущего романа, Войнович рассказывает: «...Я думал-думал-думал, какой же он (Иван) был, и решил написать второй рассказ об этом человеке. Я догадывался, что «герой» должен быть написан по контрасту с тем, что представляла себе Нюра». (4)

Впервые роман о Чонкине (точнее его первая книга) был напечатан в СССР в 1988-1989 гг. Сразу же после публикации он вызвал бурную полемику. Кроме положительных рецензий, были и такие, авторы которых упрекали писателя в очернительстве армии и советского народа. Некоторые читатели – ветераны войны – обратились к редакторам журналов «Юность» и «Огонек» с Открытым письмом, в котором возмущались тем, что роман, в котором, по их мнению, столь неприглядно изображена армия, был опубликован на страницах этих периодических изданий.

Самую распространенную идеологическую претензию к роману Войновича выразил критик С.Куличкин в статье "Чист перед нашим народом", в которой обрушился на писателя с упреком в очернительстве армии. "Это совершенные монстры, – пишет Куличкин о героях романа. – Тут и горе-селекционер, доноситель Гладышев, скрещивающий помидор с картофелем, но более известный тем, что гонит из дерьма самогонку, которую, естественно, и поглощают герои романа". (5) Критиковал роман о Чонкине и Г. Оганесян. В статье "Где ищет почестей глумливое перо" (6) он упрекал Войновича в том, что в его романе нет положительных героев. Оганесян считает, что центром произведения писатель пытается сделать сапожника Моисея Соломоновича Сталина и связывает с этим образом "мотив еврейского превосходства", который якобы звучит в романе. Образ же главного героя Ивана Чонкина Оганесян возводит к образу традиционного для еврейской литературы простака (шлемиля). Критик при этом явно забывает о том, что образ простака (простофили, профана, дурака, шлемиля) издревле характерен для мирового фольклора. Интересное суждение содержит статья украинского автора Б.Лакина "Пародия всерьез" (7), опубликованная в киевском журнале "Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины". Ее автор называет роман о Чонкине сатирической эпопеей и считает его своеобразной пародией на героические повести и романы о войне.

Авторы упомянутых выше статей, равно как и многих других работ, не шли дальше выяснения социального смысла "Чонкина", определения жанра романа как сатирического.

Такой подход нам представляется односторонним: он не исчерпывает ни идейной глубины произведения, ни художественной традиции, к которой принадлежит роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина". Несмотря на то, что и сам автор "Чонкина" относит себя к писателям-сатирикам (об этом он, в частности, говорит в интервью Б. Сарнову) (8), с нашей точки зрения, роман Войновича следует причислить к тем произведениям, которые развивают старейшую традицию народной смеховой культуры.

Трактуя роман Войновича, как и произведения Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Я. Гашека лишь как социальную сатиру, традиционное литературоведение совершенно не учитывает, что смех в этих произведениях двойственен: он отрицает и утверждает одновременно. Сатира же, как известно, предполагает однозначное отрицание высмеиваемого явления. Генетические корни этого смеха следует искать в смехе ритуальном. Именно с ним связан карнавальный смех, жанры карнавального фольклора. Восточнославянская культура не знает традиции западноевропейского средневекового карнавала. Но карнавалу ей соответствуют святочные игрища, ряжения, представления скоморохов. Литература использовала традиции и приемы карнавала, карнавальных фольклорных жанров, а с ними в нее перешла и двойная (эмбивалентная) природа смеха. Поэтому литературу, испытавшую на себе прямо или косвенно влияние карнавала как действа и карнавального фольклора, следует называть не сатирической, а, как предлагает М. М. Бахтин, карнавализованной (курсив наш. — *А.А.).* Именно к такой литературе, на наш взгляд, и принадлежит роман Войновича о Чонкине. Автор сам подсказывает такую трактовку, определяя жанр своего произведения как роман-анекдот.

Сущность и структурные элементы смеховой литературы, как известно, определил ММ. Бахтин. В своей книге "Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса" (1940), увидевшей свет в 1965 г., Бахтин ввел в литературоведческий обиход терминологию, раскрывающую универсалии этой традиции: "карнавальная культура", "категория карнавализации", "амбивалентный смех", "гротескный реализм" и т.п. Как правило, главный герой карнавализованной литературы амбивалентен. Это мнимый дурак (простофиля, профан, чудак). По своему происхождению подобный герой является архетипическим. Корни этого фольклорно-литературного типа следует искать в образе трикстера, т.е. мифологического героя, который выступает одновременно комическим и зловещим, умным и глупым. В этом типе героя совмещаются противоположные начала: благородство и подлость, хитрость и простодушие, доброта и жестокость, духовность и похотливость.

Современный французский ученый Клод Леви-Стросс усматривает причину появления трикстера как героя с двойной сущностью в самой природе мифа, который примиряет универсальные этические, пространственные, временные оппозиции человеческого бытия. В волшебной и бытовой сказке к образу трикстера восходят образы дураков. Именно к такому типу и относится герой В.Войновича Иван Чонкин. На это указывает традиционно фольклорное имя героя, которое в сказке чаще всего встречается в сочетании "третий сын Иван-дурак". Заметим, что сказочный Иванушка-дурачок выступает в двух вариантах: подлинный глупец, которого постоянно бьют за глупость и над которым поделом смеются, и "мнимый" дурак, который на самом деле умен, хитер, хотя внешне и неказист. Несомненно, что Чонкин Войновича относится в большей степени ко второму типу. Отвечая на вопрос об истоках образа Чонкина, писатель назвал Иванушку-дурачка первым в ряду персонажей, с которыми он ощущает генетическую связь образа главного героя своего романа – анекдота. «Это распространенный тип, и жил не в одной деревне, и в каждой есть свой Иванушка-дурачок, который, как замечено в русской сказке, на самом деле не дурачок, а человек простодушный, у которого, что на уме, то и на языке, и который не заботится о впечатлении, которое производит. Этот простодушный и бесхитростный человек другим людям кажется дурачком, потому что он не понимает их мелких хитростей и уловок». (9) Неслучайно поэтому появились и два известных образных выражения: "набитый дурак" и "дуракам везет". Так, в одной из сказок Иван, посланный на ярмарку продавать горшки, надевает их на верстовые столбы, приняв их за людей; высыпает в воду всю соль, думая, что соленую воду лошади будут пить охотнее; а все галушки отдает собственной тени, приняв ее за голодного человека. За это братья и родители его, естественно, бьют. В

другой сказке герой также ведет себя невпопад: мешает мужикам носить мешки с горохом, к похоронной процессии обращается с пожеланием "носить вам не переносить", а к свадебной – "канун да свеча". И поэтому его каждый раз бьют, т.к. то, что он делает, не соответствует конкретной ситуации. Но зачастую в сказках дурак оказывается удачливее умных. Так, в сказке "Мертвое тело" братья, не желая хоронить умершую мать, посылают Ивана с ее телом на ярмарку. Тот, не понимая, что мать мертва, наряжает ее и садит на телегу. Телега на дороге сталкивается со встречной, и мёртвое твое тело падает с нее. Встречный возница думает, что он стал виновником смерти женщины и, откупаясь, одаривает Ивана. В сказке "Сивка-Бурка" именно Иван-дурак три ночи дежурит на могиле отца по его предсмертной просьбе и за это получает чудесного коня. Как видим, в сказках "Мертвое тело" и "Сивка-Бурка" герой получает награду за почтительное отношение к предкам, соблюдение похоронного ритуала, т.е. издревле идущих традиций. Это объясняется особенностями мировоззрения древнего человека, который считал умерших предков посредниками между богами и людьми, способными, как и боги, влиять на жизнь, благополучие, рождение, плодородие. Емеля же оказывает почтение тотемному первопредку, щуке. Он отпускает ее, хотя, с точки зрения бытовой, практичной логики, поступает неразумно, и поэтому "по щучьему велению" исполняются его желания. Удача сопутствует и герою сказки "Иван-Медведко", которого отец отправляет на озеро, где живут черти, собирать оброк с надеждой, что черти затянут его глупого Ивана в омут. Сын же возвращается домой с золотом. Другими словами, дурак действует согласно своей особой логике, неким особым законам.

Анализируя тип дурака в статье "Иное царство и его искатели в русской народной сказке". Е.Н. Трубецкой отмечал, что "его поступки всегда опрокидывают все расчеты житейского здравого смысла и потому кажутся людям глупыми, а между тем они неизменно оказываются мудрее и целесообразнее, чем поступки его "умных братьев"... Другие рассудительные люди возлагают свои упования на денежную силу; дурак же цены деньгам не знает, золото не ставит ни в грош". (10) Он живет по законам магической, т.е. высшей, божественной мудрости, которая предполагает равнодушие к материальным благам и всему тому, что является ценностью с точки зрения повседневной, бытовой морали.

Поведение Иванушки-дурачка воспринимается окружающими как эксцентричное, вызывающее недоумение, осуждение и смех еще и потому, что он все понимает буквально. И когда ему советуют пойти "потереться между людьми", чтобы набраться ума, он начинает тереться о мужиков, которые в это время работают в поле. И те, естественно, бьют его. В сказке "Иван-Медведко" героя просят зарезать овцу и на вопрос Ивана: "Какую?", – отвечают: "Которая на тебя посмотрит". Иван перерезал всех овец, т.к., по его мнению, они все на него смотрели. Когда же Ивана просят следить за дверьми, а начинается дождь, он, сняв двери с петель, прячется в бане.

В ряде сказок об Иванушке-дурачке присутствует мотив чудесного рождения героя. Он генетически восходит к тотемическим мифам, повествующим о животных-первопредках. Этот мотив чаще встречается в волшебных сказках, героем которых является Иван-царевич (Иван-богатырь). Его рождение связано, как правило, с тем, что царица по совету древней старухи, старца или ворожки съедает выловленную в озере, реке или море рыбу. В сказках же об Иване-дураке герой может родиться от женщины и медведя, как Иван-Медведко, и поэтому сочетает в своем облике соответственно черты человека и медведя ("до пояса человек, а от пояса – медведь").

Образ Ивана-дурака и сходные с ним образы простофиль в сказках часто связаны с печью. Этот мотив возникает неслучайно, и, подобно мотиву одаривания, связан с культом предков. Печь – это место, где, согласно представлениям древнего человека, обитали души. Именно поэтому засватанная невеста должна была сидеть возле печи и ковырять ее, т.е. просить таким образом благословения у предков. Существует и выражение, связанное с этим обрядом "танцевать от печки", т.е. от начала, от истоков, корней рода. Так Иван – дурак в сказках зачастую лежит " на печи, мух считает да сопли мотает" или спит возле очага в золе (пепле), т.е. в самом теплом месте. Связь Ивана с печью проявилась и в прозвищах сказочных героев: Иван Запечный, Иван Попялов, Матюша Пепельной.

Показательно, что свои Иванушки-дурачки есть в фольклоре большинства народов мира. Все они носят наиболее популярное у данного народа имя: Джон, Хосе, Ганс. В еврейской народной традиции такой тип именуется "шлемиль".

Анализируя образ главного героя романа Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" и систему мотивов и сюжетных перипетий, связанных, с ним, можно обнаружить типологическое сходство Ивана Чонкина с образами народных сказок об Иване – Дураке. В романе часто встречаются характеристики Чонкина, которые вполне можно считать синонимами определению "дурак": "недоразумение", "чучело", "завалящий", "зачуханный", "дурак вонючий". Подобную "характеристику" дает солдату Чонкину его армейское начальство. И сам автор, знакомя читателя со своим героем, пишет: "И что за нелепая фигура! – скажите вы возмущенно. – Где тут пример для подрастающего поколения? Где автор увидел такого в кавычках героя".

Смешна и внешность героя: "Боец последнего года службы Иван Чонкин был маленького роста, кривоногий, да еще и с красными ушами". Напомним, что утрированное, шаржированное изображение человеческого тела с непропорционально большой головой, задом, брюхом, носом, характерно для карнавала как одного из проявлений народной смеховой культуры. У Чонкина кривые ноги и красные уши, которые заставляют сразу вспомнить о приёме гротескного шаржирования тела героя.

Присутствует в романе, правда, спародированный и обытовленный мотив чудесного рождения. Более того, начало рассказа о появлении на свет Чонкина явно отсылает пас к сказочной традиции: " Итак, в одной приволжской деревне жила в свое время некая Марья Чонкина...". Структура этой фразы напоминает формулу сказочного зачина, который содержит указание на время ("в некотором царстве", т.е. во времена царствования неизвестно какого царя), место ("в некотором государстве") действия и существование ("жили-были") родителей героя сказки ("царь и царица", "дед и баба") или самого главного героя сказки. Но в отличие от сказки, место действия конкретизировано. Войнович пародирует сказочный мотив чудесного появления героя на свет. Отцом Ивана в деревне считали квартировавшего в доме Марьяны прапорщика Голицына, имевшего "весьма неясное отношение к знаменитому роду русских князей", а, через год а, может и больше (никто не считал), у Марьяны родился сын". Автор снимает налет таинственности с этого происшествия, добавляя, что "правда, еще подозревали местного пастуха Серегу, но Серега решительно отпирался".

Характеризуя своего героя, Войнович постоянно обращает внимание на весьма скромные умственные способности Ивана Чонкина, который может близко пролетающего комара принять за самолет, а убив его у себя на лбу, сказать: "Это не самолет". Герой романа никак не может понять, почему, если земля вращается, "на ней держатся люди

и почему не выливается вода". В армии он никак не может усвоить, что поворачиваться» надо через левое плечо, да и обращаться к старшему по званию по уставу он так и не научился. Так, когда его вызвали к старшине он, войдя "спросил просто: "Звали, товарищ старшина". Пытаясь оставить своё имя на стенах Рейхстага, Чонкин становится на лошадь и, естественно, падает при первом же ее движения. Передавая мысли Чонкина, автор иронизирует: "Мысли у него были разные. Внимательно наблюдая жизнь, постигая ее законы, он понял, что летом обычно бывает тепло, а зимой холодно. "А вот, если было бы наоборот, – думал он, – летом холодно, а зимой – тепло, то тогда бы лето называлось – зима, а зима – лето". Мысли Чонкина до примитивности просты. "Глядя на муху, ползущую по потолку, он думал: вон ползет муха. Глядя на лампу думал: вон горит лампа". Напомним, что, перечисляя "занятия" Иванушки-дурачка, лежащего на печи, сказка среди них называет и такое – "мух считал". Возникают в романе и своеобразные отголоски образа печи. Оказывается, что, служа в армии, Чонкин зимой спал не в казарме, а на кухне. Показательна в этом смысле и еще одна незначительная, на первый взгляд, деталь: растерявшись на допросе, герой, ища поддержки, смотриг на печь.

С образом Иванушки-дурачка Чонкина сближает и то, что поначалу он выполняет самую примитивную работу. В колхозе он вывозил с молочной фермы навоз, а в армии его прикомандировали к кухне, куда он возил дрова и картошку.

Поведение Чонкина зачастую воспринимается как эксцентрическое. Например, на политзанятии, посвященном моральному облику бойца Красной Армии, он не к месту задает вопрос о жёнах Сталина, а на митинге о нападении Германии на СССР спрашивает селекционера Гладышева, который когда-то рассказывал ему о сути теории эволюции, почему лошадь, которая всю жизнь работает, не превращается в человека.

Зачастую Чонкин понимает сказанное ему слишком буквально и поэтому попадает в нелепые ситуации. Так, фраза Плечевого о том, что Нюра Беляшова живет с Борькой (Борька – Нюрин кабан) становится причиной ревности и ссоры Чонкина и Нюры. Показательна в этом смысле и сцена допроса Чонкина. Он не понимает сути вопроса о своем социальном происхождении. И когда следователь упрощает и детализирует вопрос, спрашивая о том, кто его родители и чем занимаются, Чонкина отвечает: "В гробе лежат".

Интересно, что если в сказке подобное буквальное восприятие героем сказанного функционально однозначно и снижает образ, то у Войновича оно и снижает, и возвышает одновременно. В сцене допроса Чонкин раскрывается не только как недалекий человек, но и как носитель многих положительных черт народа. Как дурака его воспринимают представители официальной власти, чей казенный язык он не понимает, а, значит, и отторгает. Ответы же его по-своему глубоки. В ответе на вопрос о фамилии: "Чонкины мы", – звучит уважение к предкам, осознание себя частью рода. А отвечая на вопрос о том, кто его родители: "Так ведь люди", – Чонкин тем самым утверждает, что важно не социальное происхождение, а человек ты или нет.

Но в то же время Чонкин выступает в романе не только в роли гонимого и вызывающего смех. Если вначале романа он предстает перед нами как забитый, всеми осмеянный и униженный рядовой солдат, то впоследствии он превращается в "начальника" и героя. Как важное лицо воспринимают его колхозники села Красное, когда он прибывает туда, чтобы охранять самолет. Ему удается взять в плен чекистов, посланных для обезвреживания "банды Чонкина-Голицына". А когда Чонкин предлагает председателю колхоза Голубеву использовать арестованных для сбора урожая, тот, удивленный умом Ивана, восхищается: "Ты, Ваня, человек очень умный... С виду дурак дураком, а приглядишься – ум государственный. Тебе не рядовым быть, а ротой командовать. А то и батальоном". Генерал Дрынов даже собирается наградить Чонкин орденом, не разобравшись сначала, кого именно практически в одиночку он арестовал. Узнав впоследствии от того же Дрынова о том, как Чонкин сражался с целым полком, Сталин также предлагает представить его к награде. Как и в сказке, метаморфозы, происходящие с героем, заканчиваются его "вознесением". Чонкин в романе не раз окажется в роли гонимого: его арестовывают и судят. Для властей он из рядового солдата превращается в князя Голицына, претендента на русский престол и организатора контрреволюционного заговора. В конце третьей части романа Чонкин – благополучный американский предприниматель, который общался с представителями власти своей бывшей родины – СССР.

Относя роман В.Войновича о солдате Иване Чонкине к карнавализованной литературе, автор данной статьи исходит из определения типа главного героя, но опираемся на бахтинское понимание карнавального бытия как жизни "наоборот", "шиворот-навыворот", "наизнанку", т.е. жизни, прямо противоположной официальной: "Карнавал – это зрелище без рампы и без разделения на исполнителей и зрителей. Карнавал не созерцают, а живут в нем, живут по его законам, пока эти законы действуют (т.е. живут карнавальной жизнью)"! (1)

Конечно, жизнь героев В. Войновича лишь условно можно назвать карнавальной. Она "карнавальна" не относительно реальной жизни (ибо реальной жизнью она и является), а относительно здравого смысла. Именно по отношению к нему она – "навыворот". В романе мы имеем дело с абсурдной реальностью. Девочка на вопрос, кого она больше любит, маму или папу, отвечает: «Сталина»; селекционер-самоучка Кузьма Гладышев пытается скрестить помидор и картофель и дает ему символично звучащее название ПУКС (сокращенное от «путь к социализму»), кроме того, он гонит самогонку из дерьма; передовой дояркой Люшку Мякишеву считают лишь потому, что корреспондент с ее слов, а «может, и сам выдумал, тиснул в газете сенсационное сообщение, что Люшка порывает с дедовским методом доения коров и отныне берется дергать коров за четыре соска одновременно»; человека арестовывают только за то, что у него тоже фамилия Сталин; в газете печатают статью, автор которой вполне серьезно размышляет, «может ли мерин стать человеком». Абсурдность действительности и требований, которые предъявляет к человеку тоталитарное государство, отражено и в аллегорическом сне Чонкина. Чонкину снится, что он присутствует на свадьбе Нюры. Но на месте жениха и гостей он видит свиней и кабанов, которые удивлены, что Чонкин не хрюкает, как они. Они заставляют его хрюкать. И Чонкин начинает хрюкать «сперва неохотно, но потом постепенно заразился восторгом... и сам уже хрюкал с тем же восторгом, от всей души, и на глазах его появились слезы радости и умиления». Тоталитарное государство стирает, нивелирует индивидуальность человека, предписывая быть как все, «съедает» человеческое в человеке.

Отвечая на наши вопросы о романе, писатель так сформулировал его главную тему: естественный человек в неестественных обстоятельствах.

Одна из главных черт карнавала – отмена в пределах карнавального времени и пространства неравенства людей, дистанции между ними. В этот момент контакты между людьми носят фамильярный характер. Подобное происходит и в романе Войновича. Арестовав состав всего Учреждения Куда Надо, а потом и его начальника Милягу, Чонкин обращается с ними, как с обыкновенными пленными, да еще и заставляет отбывать своеобразную трудовую

повинность: они работают "рядовыми" на колхозных полях. В романе рассказывается, как по желанию начальника может порою исчезать дистанция между ним и подчиненным. Конечно, в данном случае это фамильярность не вполне карнавальная, ибо она позволительна только одной
стороне. Тот, кто силен и при власти, может себе позволить пофамильярничать, а подчиненному это запрещается. Когда Чонкин, например, позволил себе на политзанятии задать, казалось бы, вполне невинный вопрос о женах Сталина, этот вопрос сразу же был воспринят как чересчур фамильярный, непозволительный по отношению к великому вождю. И Чонкин сразу был зачислен в неблагонадежные.

Карнавал, как известно, "стаскивает" с высших иерархических ступеней одних и возвышает других. Эта бесконечная цепь превращений, возвышений и падений, "увенчании" и "развенчании" – характерная черта сюжета романа "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина". Его герои выступают то в высокой роли "царя" – начальника, то в низкой – гонимого и обиженного. Самой яркой здесь, безусловно, является сцена награждения Чонкина орденом, который вручает ему генерал Дрынов, и следующий за этим арест Чонкина. Героя сначала хвалят ("А ты Чонкин, я тебе прямо скажу, герой, хотя на вид обыкновенный лопух. От имени командования, так твою мать, объявляю тебе благодарность и награждаю орденом"). И тут же, через мгновение, обвиняют в измене ("Товарищи бойцы, мой приказ о награждении рядового Чонкина отменяется. Рядовой Чонкин оказался изменником Родины. Героем он притворялся, чтобы втереться в доверие").

Причем такое возвеличивание с последующим развенчанием может происходить с героями романа несколько раз. Так, в начале романа Чонкин – забитый, всеми осмеянный и униженный рядовой солдат — впоследствии волею обстоятельств превращается в "начальника". Очень важным лицом Чонкина воспринимают колхозники села Красное, когда он прибывает туда, чтобы охранять самолет. Когда же Чонкин берет в плен чекистов, посланных для обезвреживания "банды Чонкина-Голицына", да еще и заставляет их помогать колхозникам, тут уже его значение в социальной иерархии в восприятии колхозников возрастает еще больше. Но после такого вознесения Чонкин снова оказывается в роли арестованного, гонимого. Потом всё происшедшее в деревне Красное с Чонкиным в очерке корреспондента газеты "Правда" до неузнаваемости меняется. Он превращается в героя, и Нюра читает историю о том, как Чонкина сбили над захваченной немцами территорией, он сумел посадить истребитель, захватил в плен эсэсовцев и оборонялся, пока ему на помощь не подоспела дивизия Красной Армии. А о том, что, в конце концов, он становится гражданином Америки, мы упоминала выше.

По законам карнавальных перевоплощений стремительно меняются роли капитана Миляги. Сначала он – "король", начальник Учреждения Куда Надо (так в романе названо НКВД), внушающего всем страх. Потом Миляга оказывается в роли пленного. Ему удается бежать, но он снова попадает в плен к своим, где играет роль немца: Миляга думает, что попал к врагам. В конце концов, его расстреливают как фашиста.

Еще один карнавальный поворот связан с этим персонажем: смешон и трагичен финал Миляги, мытарства которого не заканчиваются после приведения приговора в исполнение. Его посмертно награждают и с почестями хоронят, якобы его останки. На самом же деле – что останки мерина имени Осоавиахима. Это тоже символично. Интересно, что эта сцена "разыграна" писателем в традициях шуточных святочных похорон, пародирующих похороны настоящие.

Похоронный обряд был частью древних магических ритуалов и обрядов. Чучело божества или человека, олицетворяющего божество в момент исполнения обряда, убивали (сжигали, рвали на куски, рубили или топили), веря в его неизбежное воскрешение. Этот обряд сопровождался смехом, ибо, согласно представлениям древних, смех имел магическую силу и способствовал более быстрому возрождению божества. Ритуальный смех знаменовал полноту жизни, был направлен на преодоление смерти.

Подобно карнавалу, Войнович играет образами смерти и воскресения. Эти образы, характерные для смеховой литературы, как мы видели, присутствуют и в романе. Приведем еще один пример. В сцене контузии Чонкина герой всем кажется мертвым; Нюра рыдает и причитает над ним, как над покойником. Потом, по законам карнавального действия, "горючая слеза упала на лицо Чонкина. Чонкин вздрогнул и открыл глаза, потому что был не убит, а только слегка контужен". Иные, абсурдные превращения происходят с офицером НКВД Милягой: он умирает как немецкий "шпион", а потом стараниями советской пропаганды "воскресает" на своих торжественных похоронах.

Как видим, эпизоды и образы романа Войновича карнавальны по своей природе и происхождению. Примеры из романа иллюстрируют мысль М.М. Бахтина о том, что карнавальный образ стремился охватить и объединить в себе два полюса становления или оба члена антитезы: рождение — смерть, верх – низ, лицо — зад, хвалу – брань, глупость – мудрость.

Одной из главных карнавальных координат является противопоставление верх-низ, которое выступает одновременно в разных планах: социальном и оценочно-иерархическом, пространственном и телесном. Бахтин отмечал, что категория "верха" и "низа" имеет в карнавальном пространстве "абсолютное и строго топографическое значение. Верх – это небо, низ – земля; земля же – это поглощающее начало (могила, чрево) и начало рождающее, возрождающее (материнское лоно). Таково типографическое значение верха и низа в космическом аспекте. В собственно телесном аспекте, который нигде четко не отграничен от космического, верх –: лицо (голова), низ – это производительные органы, живот и зад". (12) А поскольку характерная особенность карнавальных действий – снижение, т.е. перевод всего высокого, духовного, идеального а материально-телесный план, план земли и тела в их неразрывном единстве, в карнавализованной литературе, естественно, преобладают именно материально-телесные образы. Интерес к категории телесного низа в данном случае восходит к мифу, в котором низ, чрево – символ плодородия, рождения, возрождения, обновления.

Войнович в своем романе также особое внимание уделяет материально-телесному. Он подробно описывает, как и где герои любят друг друга, как справляют нужду. Писатель в романе постоянно изображает эротическую ненасытность Чонкина, плотские желания майора Фигурина. Рассказывая, например, об аресте Чонкиным Учреждения Куда Надо, автор обращает внимание на то, что главной проблемой для Чонкина и Нюры, с одной стороны, и для арестованных – с другой, стала необходимость отправлять естественные потребности. Ведь это надо было делать "по нескольку раз на день. Причем эти самые потребности... почему-то возникают у каждого в разное время". Отхожее место становится весьма важным сооружением и играет судьбоносную роль: из него убегает капитан Миляга, к нему "на расстрел" выводит по ночам свою семью прокурор Евпраксеин, его моет и драит в тюрьме Чонкин.

Одним из центральных образов, характеризующих категорию телесного низа, как отмечает Бахтин, является образ нечистот (кала), который исследователь называет "веселой материей". Этот образ мыслится как нечто среднее между

землей и телом, нечто роднящее их. Тело отдает этот продукт земле при жизни как удобрение, оплодотворяющее землю, подобно телу умершего человека. Этот образ, по мнению Бахтина, сочетал в себе одновременно могилу и рождение в их нестрашной и смешной форме.

Образ "веселой материи" как и многие другие образы, связанные с народной смеховой культурой, также имеет мифологические корни. С ним мы, например, встречаемся в индийском мифе о Ганеше, который был вылеплен женой Шивы Умой из пахучих масел, душистой пудры, пота и кала. Шива впоследствии сделал Ганешу богом успеха, покровителем поэтов и купцов. Интересно, что по легендарному преданию именно Ганеша записал на пальмовых листах "Махабхарату", продиктованную мудрецом. Образ человеческих нечистот присутствует и в древнейших мифах бушменов о трикстере Каухе и его приключениях. Этот образ едва ли не центральный и в романе Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", но здесь имеет более сложную семантическую нагрузку. Он становится многозначным образом-символом и раскрывает суть той лженауки, которую представляет селекционер Гладышев и его гибрид картошки и помидора с символическим названием ПУКС ("Путь к социализму"). Этот гротескный образ-символ воплощает отношение народного сознания к тоталитарному государству, к тому лжесоциализму, который это государство насаждает. Поэтому такое символическое звучание приобретает сцена застолья Чонкина у Гладышева. Гладышев поит его самогонкой из дерьма. Узнав, из чего Гладышев ее гонит, Иван выбегает из его затхлого, зловонного дома и изрыгает этот напиток, ибо его организм (читаем "человеческое естество") отторгает все ложное, неорганичное.

К приемам народных смеховых жанров относится и пародия. Войнович в романе также использует этот прием. Он пародирует тексты рапортов, донесений, докладных, заявлений, газетных передовиц, и даже писем. Но как и в средневековой, в том числе и карнавальной пародии, смех писателя направлен не на то произведение, формой и схемой которого он пользуется, а на содержание «документа», приводимого автором в данном конкретном случае.

Продолжая литературную традицию А.Кантемира, Д.И. Фонвизина, А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя, М.Е.Салтыкова-Щедрина, М.А. Булгакова, Войнович использует и прием говорящего имени как одного из средств характеристики персонажа. Истоки этой традиции у названных авторов также следует искать в обрядовом смехе и смеховых жанрах фольклора. В частности говорящие имена характерны для героев народной драмы (в которую обязательно входят комические сцены), театра Петрушки. Так фамилия знаменитого Петрушки (Петра Ивановича) Уксусов, ибо очень едкими являются его шутки-прибаутки.

Интересно, что в романе Войновича средством характеристики является не только само имя, но и то, как оно вводится, в какой форме употребляется. Только по фамилии названы герои, связанные с армией, ее институтами и Учреждением Где Надо. Даже в донесениях и протоколах эти герои не ставят инициалов. Тем самым Войнович подчеркивает, что их вполне можно соотнести с тем явлением, предметом, веществом, от названия которого образована их фамилия, ибо она полностью отражает суть этих героев.

Вот наиболее яркие из подобных говорящих имен: об имени Иван говорилось выше, а фамилия Чонкин связана со словом-вопросом «чо?» (что?). Старшина Песков (от «пропесочить»), полковник Пахомов (он как все), политрук Ярцев (от «ярый», т.е. сильный), кладовщик Дудник (от «дуть», «продувать», т.е. растрачивать), у сержанта Клима Свинцова имя Ворошилова, а фамилия связана со свинцовыми пулями, фамилии разведчиков Сырых (сырой) и Филюкова (простофиля) подчеркивают их недалекий ум°, фамилия командира дивизии генерала Дрынова говорит о его тупости (дрын – палка, дубина). Красноречива и фамилия парторга Килина (в народе «килой» называют грыжу). Интересные ассоциации вызывает фамилия горе-селекционера Кузьмы Матвеича Гладышева. Его имя входит в хорошо известное образное выражение «показать кузькину мать», а фамилия – старославянский аналог русского слова «голод» (глад).

Отношение к народу у автора иное. Об этом свидетельствует обязательное сочетание имени с фамилией. Причем имена все сплошь типично деревенские, народные, а фамилии – производные от названий предметов быта: Федька Решетов, Колька Курзов, баба Дуня, Мишка Горшков, Степан Луков. Обращает на себя внимание лишь форма имени, которая напоминает о временах крепостного права, когда именно так обращались к крепостным помещики. В данном случае эта форма имени помогает автору подчеркнуть отношение к народу тоталитарного государства и официальных властей.

Продемонстрированные в данной статье примеры проявления народной смеховой традиции (мы далеко их не исчерпали) позволяют отнести роман В. Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" именно к карнавализованной литературе. Такого рода подход к роману дает возможность в полной мере оценить всю глубину художественной интуиции автора, который продолжает старинную традицию, восходящую к мифу и фольклору.

Подобная трактовка романа выводит его из узко социальных и, следовательно, ограниченных временем смыслов, превращает роман в притчу с ее вечными философскими смыслами.

Литература:

1. Гоголь Н.В. Собр. Соч. в 6-ти томах. Т.5. – М., 1949. – С. 133.

2. Войнович В.Н. «Из русской литературы я не уезжал никуда». Беседа с писателем / /Русское богатство. – М., 1994. – №1. – С.39.

3. Войнович В.Н. Там же. – С.48.

4. Войнович В.Н. Там же. – С.39.

5. Куличкин С. Чисты перед нашим народом // Слово. — 1989. — № 8. — С. 17.

6. Оганесян Е. Где ищет почестей глумливое перо // Молодая гвардия. – 1990. – № 5. – С. 280.

7. Лакин Б. Пародия всерьез // Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины. – 1992. – № 1. – С. 55.

8. См. беседу Б. Сарнова с В. Войновичем. "Я все эти годы жил надеждой" // Юность. – 1988. – № 10. – С. 81.

9. Войнович В.Н. «Из русской литературы я не уезжал никуда». Беседа с писателем/русское богатство. – М., 1994. – № 1. – С. 37.

10. Трубецкой Е. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке. // Литературная учёба. – 1990, – Книга вторая. – С. 112-113.

11. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1979. — С. 141.

12. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М, 1990. – С.36.

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ
(1923-2009)

22 мая 2009 года перестало биться сердце поэта-фронтовика Александра Межирова. Он умер на 86-м году жизни в США, где проживал в последние годы. Александр Межиров кремирован в США, его прах привезут в Россию и захоронят в Переделкине. Александра Межирова называют предвестником поэзии 60-х. Его последователями и духовными учениками являются «шестидесятники» Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. Вечер памяти Александра Межирова состоялся 31-го мая 2009 г. в ресторане «Русский самовар», Нью-Йорк.

От редакции

Родился в Москве. Отец, о котором Межиров впоследствии написал: "великий, убежденный, угрюмый гуманист", был юристом. Он и мать поэта привили сыну другое, гуманистическое образование, немыслимое в сталинской школе. Чистый беленький воротничок мальчика, выросшего в тихом Лебяжьем переулке, непоправимо высовывался из-под солдатской шинели во время блокады Ленинграда. Межиров и Наровчатов были, пожалуй, самыми образованными поэтами из всей фронтовой плеяды. Первую книгу "Дорога далека" (1947) я, еще мальчишкой, почти всю знал наизусть. Она была названа по строчке Глазкова, которого Межиров обожал. Межиров во времена ждановщины был неистовым пропагандистом не только других непризнанных поэтов, но и Библии. Именно за беспрестанное цитирование Библии в частных разговорах он однажды был почти исключен из Союза писателей. Никогда не будучи политически ортодоксальным, именно он написал стихотворение "Коммунисты, вперед", которому нельзя отказать в пронзительности, хотя последняя строфа была слеплена с газетной грубоватостью, ибо жизнь отчаянно сопротивлялась романтизации. Как бы ни относиться к этому стихотворению, это исторический документ, который, по словам Михаила Львова, "как руку от железа в стужу, без крови отодрать нельзя". В годы холодной войны Межиров, как и некоторые другие фронтовые поэты, временно ушел в риторику, в ремесленничество, в переводческое донорство. Но истинная поэзия не покинула его, а возродилась с обновленной силой самобезжалостности и энергией одновременно классической и новаторской поэтики. Мне пришлось прочитать его потрясающее стихотворение "Артиллерия бьет по своим" в 1957-м на дискуссии о романе Дудинцева, как анонимные стихи убитого на войне поэта. Межиров горько улыбнулся: "А знаешь, это ведь правда". К счастью, это правдой не оказалось. В истории было несколько периодов, в каждом из которых он оказывался новым, но тем же самым блестящим мастером: фронтовой период, "оттепельный", период заморозков и застойной жижи. Не примыкая ни к каким литературным стадам и стаям, Межиров сохранил во все эти периоды независимость не только содержания, но и формы, не размытой никакими происходящими вакханалиями непрофессионального презрения к жизни и красоте слова. В период гласности он не идеализировал ее и горько предвидел драму неподготовленности к свободе. Парабола от "Коммунисты, вперед" до "Как хорошо лететь в Израиль на неисправном самолете" оказалась трагической. Но, как писал Винокуров, "трагическая тень лежит под каждою травинкой в поле". Без уроков поэзии, данных Межировым мне, как, впрочем и многим другим, не было бы ни нас, ни этой антологии.

Строфы века. Антология русской поэзии. Составитель **Евгений Евтушенко**. Минск-Москва, "Полифакт", 1995.

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

* * *

Арбат – одна из самых узких улиц...
Не разминуться на тебе, Арбат!..
Но мы каким-то чудом разминулись
Тому почти что двадцать лет назад.

Быть может, был туман...
А может, вьюга...
Да что там...
Время не воротишь вспять...

Прошли – и не заметили друг друга,
И нечего об этом вспоминать.
Не вспоминай, а думай о расплате –
Бедой кормись, отчаяньем дыши

За то, что разминулись на Арбате
Две друг для друга созданных души.

***

Ах, этот старый анекдот
Опять сегодня в моду входит:
Не этот глобус и не тот
Репатрианту не подходит.

Ах, если б этот лайнер вниз
Пылающий,
В палящем зное,
Сквозь глобус,
Безо всяких виз,
Рванулся в бытие иное.

Ах, как сочится кровь из ран,
Души истерзанной и плоти,
Как хорошо лететь в Израиль
На неисправном самолете.

МАРИНА ГАРБЕР

«И ДА МИНЕТ НАС ТОСКА И ЗЛОБА...»
О поэзии Яна Торчинского (1934-2009)

Существует в английском языке слово *versatility*, переводимое на русский как «много/разносторонность» и не вполне отражающее смысл того, что определяет редкую способность перехода от одного (занятия, жанра, темы и т.п.) к другому – без внутренней ломки и надрыва, а мастерски и искусно постигая и создавая, одним словом, – *творя*. Собственно в таком, полном значении это определение применимо к творчеству бывшего киевлянина, а впоследствии жителя Чикаго, Яна Торчинского – как в отношении его литературной деятельности в целом, так и в отношении его поэзии в частности.

Читая стихи Торчинского вольно-невольно отмечаешь умение поэта не просто коснуться, а полностью осветить различные темы (от общечеловеческих до сугубо частных), творить в рамках непохожих между собой *субжанров* (от любовной до гражданской лирики), и, наконец, владеть техникой поэтического ремесла (от разнообразия форм до оригинальных словообразований), при этом не меняясь в сущности, а неизменно сохраняя свой, незамутненный влияниями и легко узнаваемый голос. И если последнее в перечне выше достижимо с помощью справочников и пособий по стихосложению, у Торчинского в полной мере присутствует то, что нельзя обрести ни с помощью опытных наставников, ни путем самообразования, ни упорством и навыком; иными словами, то, что мы называем пространным, но подспудно понятным: «от Бога...».

Безусловно, как у любого серьезного поэта, у Торчинского были свои «учителя». Однако, «час ученичества» давно позади, и перед читателем – стихи *Мастера*. В его поэзии изредка встречаются прямые отсылки к классикам (например, строка из «Гамлета» – *«Поверьте, я познал науку расставаний...»* вызывает мгновенную ассоциацию с мандельштамовской: *«Я изучил науку расставанья...»*),

но чаще это, всё-таки, случайные совпадения, как бывает с дышащими в унисон. Например, в замечательном стихотворении «Санда» приглушенно звучит гумилевско-кузминская «экзотическая» нота (*«...Это имя странно звучало / Выдохом кларнета печальным, / Древним ароматом сандала, / Горьковатым вкусом миндальным...»*), а военная лирика Торчинского отчасти прорастает из поэзии К.Симонова.

41-й

Ну, скажи мне что-нибудь,
не молчи.
Протрубили дальний путь
трубачи.

И закат ушел на запад,
застав
Оружейный кислый запах
застав.

Стала красною звезда
в вышине.
Загудели поезда
в тишине.

Расставания калечат
и мнут
Бесконечно,
быстротечно
пять минут.

Раз – минута,
два – минута,
Три и пять...
А кому-то
И пяти не насчитать.

И команда: «Разобраться!
По местам!»
И прощаться, и прощаться
Нужно нам.

Не кричи, не плачь, не нужно...
Ничего!
В добрый час ты встретишь мужа
своего.

Будь здорова и немножко
весела!
И уже меня подножка
унесла.

И уже – прощай, мой город,
где ты там...
И тоской разорван ворот
пополам.

Белый дым взлетит, покорчась,
и умрет.
А в цилиндре ходит поршень
взад-вперед...

Никуда с тебя, подножка,
не уйти...
Впереди гремит бомбежка,
рвет пути.

Впереди, а за спиною –
вся страна.

И, расправясь с тишиною,
прет война.

Катит бешено и мертво,
все дробя.
Рву затвор, застрявший мертво,
на себя.

Будто в спину подтолкнули –
и вперед.
Где чья доля,
где чья пуля,
чей черед?

Раз – минута,
два – минута,
три и пять...
А кому-то
И пяти не сосчитать.

И сверкнуло, в клочья небо
раскроя.
Кто –
лежит –
уставясь –
слепо?
Это ...
.....
Принесут тебе бумажку,
и тогда
Ты узнаешь, охнув тяжко,
что беда,

Что ожегся
о военные огни.
Извини, не убережся,
извини.

Не молчи ты, ради Бога,
закричи!
И опять трубят в дорогу
трубачи.

И закат на запад пятится,
устав.
И в еловых лапах тянется
состав.

И опять война
в кровавом гуле прет.
Где чья доля,
где чья пуля,
чей черед?

Обращаясь к иной теме (не новой, а *иной*, ибо темы поэта – краеугольные темы поэзии, а его обращение к ним говорит о видении бытия во всей его многогранности), Торчинский никогда не уподобляется поэтическому хамелеону, а органично и естественно «дышит» *своей* темой. Это, пожалуй, и есть та *многоголовость* и *многоязыкость* поэта, о которой в свое время писал О.Мандельштам.

Одна из важнейших черт поэзии Торчинского – его личная, человеческая вовлеченность. Во главу угла этих стихотворений – будь они о нашествии Батыя или петровской России, о войне или сталинщине, о советской эпохе или еврейском исходе из бывшего СССР, о траге-

дии Бабьего Яра или Чернобыля, о Галиче или Высоцком, о любимых женщинах или близких друзьях – во главу поставлена *личность*, жадно вбирающая в себя жизнь во всех ее проявлениях и чутко откликающаяся на события времени. Острый душевный резонанс – вот стержень поэзии Торчинского. Любое проявление нынче модной отстраненности, популярное поэтическое косноязычие, отвлеченный взгляд постороннего наблюдателя в корне чужды поэту. Напротив, в поэзии Торчинского преобладает четкое определение позиции и мнения, ясность слога и мысли, и, главное, глубокое чувство ответственности – за каждое слово, утверждение, поступок: *«...И всё же вспомнить в одночасье / Нетленный вклад в свою страну: / И непричастность, и участье, / И невиновность, и вину...»*; *«И у каждого свой / исключительный путь на Голгофу / И свое искупленье / забытых грехов / первородных...»*; *«Я свой крест пронесу, / протащу / по ступеням щербатым...»*.

Почти в каждой строке поэта ощутимы – не проходящий с возрастом мальчишеский пыл, – а врожденная и неподдельная страсть, неугасимый никаким временем (более того, выверенный и поддержанный временем) внутренний огонь. Любовная лирика Торчинского словно опалена этим огнем; строки поэта о любви сгущены и насыщены до предела, так как они отражают не только силу чувства любящего, но и его извечное стремление и порыв к некоему недосягаемому идеалу, как, например, в этой строфе из стихотворения «Волшебство»: *«А может быть, это любовь, / неизвестно, зачем и откуда, / без радости и без надежды на радость, / а только в предчувствии / новых тревог и беды...»*. Или:

...Я тебя разыщу
через множество десятилетий.
Ты узнаешь меня
в ослепительном солнечном свете,
Или в сумрачный вечер,
окрашенный в охру свечами,
И в лиловую тьму –
ту, что правит глухими ночами.

Ты узнаешь меня в тот же миг,
без напрасных сомнений,
Потому что к тебе я приду
из твоих сновидений,
Из легенд позабытых,
из сказок и древних сказаний,
Из веселого детства
и светлых крещенских гаданий,
Из того далека,
где такое ты наволховала,
От волшебных костров,
что горят на Ивана Купала,
Из невинных молитв,
из мечтаний святых и порочных,
Из восторгов дневных
и отчаянных снов полуночных.

Мы поймем в одночасье,
как горестно было в разлуке.
И сольются тогда
наши волосы, губы и руки.
И отправимся мы
в дальний путь по заветным дорогам.
И не станем гадать,
сколько лет нам отпущено Богом.
Пусть ударят нам в голову
запахи свежего хлеба.
Пусть в бездонной реке
отражается синее небо.
И ложится под ноги
осенних лесов позолота.

И вещают бессмертье кукушки,
сбиваясь со счета...

А потом я споткнусь,
словно бег обрывая олений,
И уйду от тебя
в неразгаданный мир сновидений,
В край непролитых слез
и далеких, забытых преданий,
Непрочтенных молитв,
бестолковых примет и гаданий,
Где и сказка – не сказка,
и чудо, конечно, не чудо...
Только ты не грусти:
я вернусь к тебе из ниоткуда.
(из триптиха «Моя любовь»)

И еще отрывок из того же цикла:

...Ты – листик моего черновика,
Где на поправке новая поправка,
Ты – не поэма, не глава, не главка,
И не строфа. И даже не строка!

Ты – только слово, то, что посреди
Небрежно перечеркнутой страницы,
Как отблеск кратковременной зарницы,
Которую потом полжизни жди!

Ты – эхо отзвучавших голосов,
Которые когда-то, как-то, где-то
Растаяли, оставшись без ответа,
И память, словно двери на засов...

Слышится в этих строках эхо романтичного признания И.Анненского: «Но люблю я одно – невозможно»...

Бог и вера – извечные «адресаты» поэтов всех времен – присутствуют и в поэзии Торчинского. Но и здесь подход поэта неординарен. В его строках отсутствует покорное благоговение, но в достатке – благодарность и светлая надежда (*«Опадает листва – остаются дубы и осины. / Журавли улетают – но вечен полет журавлиный...»*); образы святых здесь нередко очеловечены и приближены к читателю (*«Две Марии, два имени, два крыла – / Их величия не измерить, / Потому что одна из них родила, / А вторая сумела поверить...»*; а гнев и отчаяние неизменно уступают место мудрости и стойкой вере в Провидение:

...Но нервами, сердцем и кожей
Мы чувствуем в сладостной дрожи
Дух Божий,
Глас Божий,
Лик Божий,
Таящийся в каждом из нас...

А вот – замечательное стихотворение «Мольба»:

В час, когда лихая година,
Словно вор, проникает в дверь,
Ты поверь в меня, Магдалина,
А не можешь, так мне поверь.

Я осмеян и неприкаян,
Я – как нищий родич в гостях.
Поспеши, не мешкай, пока я
Не повис еще на гвоздях.

И свежа могильная глина.
И стервятник парит, кружа.

Не колеблись зря, Магдалина,
Ну, пожалуйста, ну, пожа...

Ты спаси меня этой верой,
Отвергающей ложь и лесть.
В нашем мире, пахнущем серой,
Докажи, что святое есть.

А когда Господня обитель,
Примет нас, как отцовский дом, –
Кто спасенный, а кто спаситель,
Разберутся люди потом.

И снова – без отвлеченной медитативности – благодарность: жизни, судьбе, родине, людям – за радость, за боль, за бытие: *«...Спасибо за добро и благодать. / За то, что беспокойными ночами / Я ощущаю крылья за плечами. / И ввысь лечу. / И мне легко летать»; «...Так будь благословенна жизнь такой, / Во всех ее щедротах и величье...»; «...Кто виноват, не виноват, / Кто прав, кто нет – / Мы будем вспоминать потом / Одним добром. / Перегорим, / переболим, / переживем...»;* и, наконец:

...И пускай второпях, впопыхах, без оглядки,
Наугад, наобум, на авось, в беспорядке
Нас судьба разбросала, куда захотела!
Но покамест душа не покинула тело,
И покуда сменяются весны и зимы,
Не осудим судьбу – да не будем судимы!..

Здесь улавливается некоторое созвучие с известными строками И.Бродского: *«Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. / Только с горем я чувствую солидарность. / Но пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность»*.

Торчинский крайне редко прибегает к художественной описательности в буквальном смысле определения: созерцательность, предполагающая определенную степень отчужденности, – не его удел. Скорее, двумя-тремя точными штрихами поэту удается обрисовать общую атмосферу времени, события, настроения, интерьера, тем самым подчеркивая и усугубляя основную идею стихотворения. Например: *«...Погибала любовь, / точно дробью сраженный подранок [...] / Погибала в болоте, / красивая и молодая, / Камыши и осоку / бессильно руками хватая...»; «...Сладостный приют, ковчег мой Ноев, / Опустевши, сжался онемело. / И со всех сторон, со всех обоев / Пятнышки гвоздей глядят несмело...»; «...А бунчуки татарской конницы / Уже рябили горизонт...»; «...Берез кладбищенские свечки / Она запомнила навек, / И выстрелы у Черной речки, / И кем-то вытоптанный снег...»;* или же отрывок из полной драматизма поэмы «Открытие (Бабий Яр)»:

...(А на деле – на бывший пустырь,
где в недавние годы
Только чертополох
обеспечивал буйные всходы,

Где консервные банки
и полулитровки валялись,
Распивали ханыги,
и свадьбы собачьи справлялись,

Где хотели построить
на благо простого народа
Танцплощадку и бар.
На костях сорок первого года!)...

Разумеется, поэту хорошо известно, что стихи – не манифесты и «держатся» не на идеях, и посему в поэзии Торчинского нередко присутствует то, что В.Брюсов когда-то назвал «напевностью». Действительно, некоторые стихи поэта «просятся» в песню, однако их музыка *уже* написана, *уже* звучит – то в отрывистых, то в протяжных строках; то в четко различимых аллитерациях (*«...Морзянкой мороза по коже, / Пушинкой парящей кружа...»*); то в частых, свойственных песням анафорах (*«...Прощай, прощай! / Прости меня, прости...»; «...И пусть никто не угрожал / дурной судьбою, / а только воздухом дышал, / а только воздухом дышал, / а только воздухом дышал / одним с тобою...»; «...Увозит, увозит, увозит / Увозит конвой поэта..»; «...И много ли в мире стоят / Слезы любящих женщин, / Самых любящих женщин...»*). Не случайно внутренняя музыка многих стихов Торчинского слышна тем, кому довелось слушать их в исполнении автора. Приведем целиком стихотворение «Памяти Высоцкого»:

Так поступают испокон.
А потому
Меня привез ночной фургон
В сырую тьму.

Под россыпь звезд, под серп луны,
Под небосвод,
Где против каменной стены
Построен взвод.

И завязали мне глаза,
И повели.
И кто-то тихо приказал
Солдатам: «Пли...»

И дула брызнули огнем,
Подпрыгнув зло.
И сделалось светло, как днем,
Совсем светло.

И отшвырнуло за порог,
Где тишина.
И я успел подумать: «Бог
Воздаст сполна».

Кому воздаст, кому подаст,
Кого спасет,
Чей шаг ломает хрупкий наст
И тонкий лед.

Чья ежедневная стезя,
Как крестный путь,
И повернуть с нее нельзя
Куда-нибудь.

Но я ведь тоже с ними шел
И не свернул,
И сто соблазнов превзошел
И обогнул.

Так почему же под конец,
Как в страшном сне,
В стволах раскрученный свинец –
Награда мне?

А может, то, что отстрадал,
Свой крест неся,
Она и есть, что Бог воздал
За все и вся?

Именно с прочтения одного из таких, глубоко лирических стихотворений – «Одиночество» – много лет назад началось знакомство пишущей эти строки с поэзией Торчинского. Вслушаемся в музыку этого стихотворения:

Одиночество свило гнездо
в современной квартире,
Словно нежить ночная,
свершает неслышно кружение.
И охранных псалмов не отыщешь
в заветной Пластыри,
И молись, не молись,
а признаешь свое поражение.

Одиночество –
это альбом в старомодном сафьяне,
Полукруглые щели
прижали углы фотографий
Тех, кто раньше ушел,
растворясь в непроглядном тумане.
И в глаза им глядишь,
как глядят на слова эпитафий.

Это холод,
когда не согреешься
и не оттаешь.
Это старых конвертов
печальная снежная заметь.
Ты их в руки берешь,
только писем давно не читаешь,
Потому что построчно,
побуквенно
знаешь на память.

В золотом медальоне
уютно свернувшийся локон.
Музыкальной шкатулки
стеклянные ломкие звуки.
Неуслышанный вздох,
отражаясь безвольно от окон,
Возвращается снова к тебе,
будто ветер на круги.

А когда-нибудь в этой квартире
появится кто-то,
Из угрюмого списка
годами судьбу торопящих.
Он найдет равнодушно
шкатулку, конверты и фото
И сгребет их метелкой,
и выбросит в мусорный ящик.

Но пока еще губы кривятся
подобьем улыбки,
Содрогается пламя огарка свечи,
как живое,
И приходят томяще
мелодии флейты и скрипки,
И являются вслед
хрипловатые звуки гобоя.

Одиночество свило гнездо
в беззащитной квартире
Между старых вещей
и еще необмятых обновок.

... Вы видали: мишени порой
кувыркаются в тире,
Если бьют их в упор
из пристрелянных пневмовинтовок...

Однако поэт Ян Торчинский далеко не одинок. Нам остается лишь сожалеть о том, что его стихи до сих пор не вышли отдельным изданием, ведь его читатель – не узкий круг московской поэтической «элиты», зациклившейся на скучном «самокопании», а открытый своему времени современник. Судьба поколения в стихах Яна Торчинского неотделима от судьбы его лирического героя; история страны, в которой прожита большая часть жизни, – это отчасти и личная биография. Поэтому будущее также принадлежит поэту, ведь именно созвучие поэта своему времени определяет его грядущую *вневременность*, ведь: *«Если рвется поколений нить, / Чтоб срастить ее, нужны века»...*

Нью-Йорк – Люксембург

АНАТОЛИЙ ЛИБЕРМАН

Георгий Демидов. Чудная планета: рассказы. Москва: Возвращение, 2008. – 359 с.

Те, кто регулярно читает филадельфийский ежегодник «Побережье», знакомы с некоторыми рассказами Демидова (1908-1980). Подобно Шаламову, Демидова исправляли трудом на Колыме (ее и называли чудной планетой; *чудная* – ударение на первом слоге) и, как Шаламов, он не мог не писать о том, что пережил. Его прельщали посулами, запугивали и, в конце концов, конфисковали рукописи. После этого он вскоре умер. Инженер и изобретатель от Бога, он попал в лагерь в тридцатилетнем возрасте, и, хотя не погиб, жизнь его и его семьи была безвозвратно разрушена. Тем, что его рассказы по капле доходят до нас, мы обязаны его дочери. Так сдержан в своих описаниях сам Демидов, что, говоря о нем и его наследии, было бы неуместно прибегать к патетике. Отметим лишь, сохраняя полное спокойствие, то есть без риторических восклицаний и жалостливых всхлипов, что судьба Демидова и его поколения (с разбросом в 20-30 лет) давно никого не тревожит, да и от достижений героической эпохи (заводов, турбин и всего претворенного в жизнь громадья планов, то есть социалистического выбора) отказываться жаль: вел же нас все-таки в коммунизм великий кормчий. Автор послесловия М.О. Чудакова с отчаянием цитирует историков, уговаривающих нас не «спекулировать на этой теме», а неторопливо разобраться в статистике (кого сажали, за что, когда, да и сажали ли). Она могла бы процитировать и С.А. Есина, многолетнего ректора Литературного института, в котором она ведущий профессор. Есин, – по собственному признанию, патриот и националист. Он, конечно, осуждает массовые репрессии, но ведь нельзя сбрасывать со счетов и объективные причины... Все это «архиверно», и одна лишь мысль не дает покоя: кто сегодня прочтет Демидова?

В сборнике девять рассказов. Их герои обречены и гибнут: и люди, которые прославили бы науку и культуру, и те, которых природа не наделила великим талантом, но которые бы накормили страну и навели в ней порядок. И родились бы от них нормальные дети, а не оборотни вооруженной охраны. Рабы советской власти намыли тонны золота, провели железные дороги (многие из них в никуда), заставили реки двигаться вспять и прочее, так что вроде бы держава на их костях окрепла. Вздор все это. Приведу две выдержки.

«За счет поставок по... ленд-лизу было построено несколько ремонтных заводов и множество мастерских, электростанций и гаражей. А вот людей, понимающих толк в технике, богатый союзник не поставлял, и их отчаянно нехватало. Вспомнили, что на протяжении ряда лет перед войной дальстроевские пароходы привозили сюда многотысячные этапы, в составе которых находилось, несомненно, и великое множество технических специалистов всех рангов и профилей. Однако никакого учета прибывающих заключенных по их профессиональной подготовке тогда не велось. Зачем? Всё это была лишь безликая рабсила, кое-как разделенная при поверхностном медицинском осмотре на категории: 'ТТ', 'СТ' и 'ЛТ'. Кроме этих букв, означающих пригодность лагерника к тяжелому, среднему и легкому физическому труду и его установочных данных, о рабочей единице не было известно почти ничего, да ничего в ней и не интересовало. Более того, если эта 'единица' являлась по своей статье 'врагом народа', то всякое ее использование иначе, чем на грубой физической работе, рассматривалось чуть ли не как контрреволюционное попустительство по отношению к тем, кто поднял руку и голос против Народа, Партии и ее Вождя. В девяти из десяти случаев квалифицированный рабочий, не говоря уже об инженерах и доцентах, 'загибались на тачке' гораздо раньше, чем их товарищи по каторжному труду из числа крестьян или грузчиков. До поры до времени это соответствовало расчету высшего руководства НКВД. Но вот неожиданно понадобились не их слабые плечи, а умения и знания этих людей. И тогда обнаружилось, что подавляюще большая их часть уже лежит под сопками. А сколько их было! – сокрушалось теперь производственное начальство». (215-216)

«Начлаг имел право по усмотрению, ссылаясь на соображения режима, комплектовать рабочие бригады из заключенных совсем не так, как того требовало производство. Плотников, например, направить на землекопные работы, а в бригаду строителей сунуть совершенно неквалифицированных людей. Мог он, ни перед кем не отчитываясь, под предлогом обслуживания лагерных нужд, и вообще недодать людей производству. Это, правда, противоречило финансовым интересам лагеря, который за выставленные на работу 'крепостные души' получал арендную плату. А конвою, тому было на все наплевать. Вооруженные подсвинки, набранные в конвойные части по признаку малограмотности и провинциальной ограниченности, были, кроме того, подвергнуты еще и специальной политической обработке. Большинство из них были уверены, что их подконвойные – это сплошь предатели Родины и гестаповские палачи...» (133) О том, что миллионы погибших и выживших сделали бы в стране в сотни раз больше, останься они свободными людьми, говорить не приходится.

Персонажи Демидова – сопротивляющиеся своей участи люди. Один пытается силой умственного напряжения побороть невыносимую физическую нагрузку; другой знает, что погибнет, но предпочитает быть разорванным на куски взрывом, чтобы «не лечь в сопку» с биркой на ноге. Кое-кто на время приспосабливается, но срыв неизбежен. Среди центральных фигур мы встречаем и озверевшего охранника, перестрелявшего всю бригаду и несколько своих товарищей, и изверга начальника лагеря. А в остальном привычный фон: каторжные бараки, бараки обычного типа, социально близкие урки и «шпионы» всех стран мира. А рядом бескрайное кладбище.

Демидов не скор на суд: «Конечно же, пленный советский солдат не имел морального права ублажать врагов своей родины исполнением перед ними 'Меж крутых бережков' и 'Вдоль по улице метелица метет', даже если дело шло о спасении его жизни. Быть столь принципиальным в условиях сытости и комфорта нормальной жизни, конечно, не трудно.» (318) Для него характерен трезвый взгляд на человеческую природу, и тем он отличался от «злых глупцов в генеральских погонах», которые не знали, что «за миску мясных щей, которую можно было получить за дополнительную плату, люди готовы были работать даже сверх своего рабочего дня». (119) Зато и наблюдения его иногда неожиданны и нетривиальны.

«Всегда и почти при всех обстоятельствах более высокая дисциплинированность мужчин в какой-то мере, возможно, определяется и врожденными биологическими факторами. Повышенным инстинктом вожака, например. Но главным образом она, по-видимому, вырабатывается воспитанием. И не только армейским. У подавляющего большинства мужчин осознанно или подсознательно, но более сильно, чем у женщин, развито чувство ответственности перед старшими по положению в обществе, перед обществом в целом, перед законом. Вероятно, это связано с большими правами, которыми обладала мужская половина человечества на протяжении многих тысячелетий.

В женщинах же, как бы ни возмущались по поводу такого утверждения феминистки, всегда заложена, пусть даже подсознательно, уверенность в силе своей слабости. Такая уверенность воспитывается в них и каждодневным опытом, и рядом льготных законов, и всё еще бытующим в народе представлением, что с бабы спрос невелик. А главное, предъявлять к ней такой спрос, особенно по официальной линии, для мужика как-то зазорно. Поэтому-то и в старину, и при советской власти видимыми застрельщиками деревенских бунтов почти всегда выступали женщины. Да и в быту всякий начавший пререкаться с горластой бабой попадает в дурацкое положение, даже если он совершенно прав. Ведь в основе нахальства такой бабы все та же сила слабости. Не драться же с ней!» (77) Женщины-подстрекательницы – знакомый по старой и новой литературе тип, но вроде бы никто не посмотрел на его возникновение, как Демидов.

Исключительные аналитические способности Демидова были замечены рано. Им не дали развиться, но не смогли их и задушить. Его рассуждения (вроде того, которое приведено выше) кажутся самоочевидными, и поэтому не сразу заметна их острота. Вот еще одно: «Приписываемая Пушкиным своему Сальери попытка подменить интуицию гениального музыканта чем-то вроде конструирования музыки по готовым формулам – всего лишь поэтический прием. Ведь и сама математика, если говорить о ее непроторенных путях, создается за счет все той же интуиции. Представление об ее творцах, как о людях сугубо рационалистического ума – плод невежественного и плоского мышления. Познание Истины ради самой Истины не носит примитивно рационалистического характера уже потому, что заранее известно: всякое открытие ставит больше проблем, чем решает их. Познание человеком законов мира сравнивают с открытием ребенком куколок деревянной 'матрешки'... [Но] куколки, по мере того как разбирается забавная игрушка, оказываются все меньше по размерам. Вложенные же одна в одну загадки природы, наоборот, все масштабнее и масштабнее, все глубже, все труднее для разрешения. Может быть, следовало бы заменить ребенка в подобном сравнении, скажем, червем-древоточцем, помещенным в самую маленькую из матрешек. Пытаясь раскрыть тайну строения окружающего его 'мира', этот червяк буравил бы одну за другой крепкие деревянные оболочки. И, конечно, находил бы, что они становятся все толще, все объемистее, все труднее для одоления». (109)

Та великая, вечная природа, которая в поэтическом варианте встречает нас у гробового входа и у могилы нигилиста Базарова, на просторах Дальстроя взята напрокат с Луны или Сатурна. С человеком она почти несовместима. Голодным, полуголым рабам на полюсе холода не до любования пейзажем, и лишь изредка замечает его Демидов. Самое памятное описание в первом рассказе. Автор видит место своего заключения после похорон новорожденного младенца:

«На краю заснеженного обрыва темнел насыпанный мною холмик. Внизу расстилалось замерзшее море, до самого горизонта покрытое торосами. Ледяные плиты, местами высотой в два или более человеческих роста, то раскидывались наподобие веера, то длинными рядами вздымались почти вертикально, напоминая остатки срытых крепостных стен, то беспорядочно громоздились огромными грудами, как разрушенные землетрясениями здания. Налипший на торосах снег розовел под лучами совсем уже низкого солнца. На местах сравнительно свежих изломов лед отливал зеленью, как вода в омуге, а тени его высоких осколков на розоватом снегу казались сейчас почти синими.

Стояла глубокая, торжественная тишина. Наверно, такой глубокой она бывает еще на застывших планетах. Должно быть, там вот так же величаво плывет над хаосом мертвой материи неяркое, потухающее светило.

Неправдоподобно огромный, сейчас оранжевый диск солнца почти уже касался горизонта своим нижним краем, готовясь закатиться за него по-арктически медленно. Выше – чистое, бледно-розовое небо через неуловимые цветовые переходы постепенно становится светло-синим. Только здесь, в этих неприютных северных краях, оно бывает таким нежным, таким чистым и таким равнодушным к человеку.

Конечно же, я не в первый раз видел этот первозданный пейзаж, в котором и прежде замечал что-то от холодного величия Космоса. Однако только сейчас закат над полярным морем вызвал у меня не только мысль, но и как бы чувство суровой гармонии мира. Мне казалось, что я ощущаю беспредельность и холод пространства, в котором движется наша планета, и его равнодушие к тому эфемерному и преходящему, что возникает иногда в глухих уголках Вселенной и зовется Жизнью. Жалкая и уродливая, она всегда лишь плесень, которая ждет своего часа, чтобы быть навсегда уничтоженной мертвыми, равнодушными силами природы.

Но тут же во мне возник протест против пессимистического вывода, навеянного созерцанием впечатляющей картины царства холода. Жизнь только кажется скромной и слабой по сравнению с враждебными ей силами. Однако выстояла же она против этих сил и даже сумела развиться до степени разумного сознания, как бы отразившего в себе всю необъятную вселенную. И это только начало!

Несмотря на присущие всякому развитию тяжелые детские болезни, именно разумным формам жизни, а не мертвой материи будет принадлежать, в конце концов, главенствующее положение в мире!» (40-41)

В остальном на склоне сопок «бурые, в красноватых промоинах от весенних потоков, а теперь еще и посеревшие от присыпавшего их первого снега», «угрюмый горный пейзаж, напоминавший поверхность кипящего густого варева, внезапно застывшего в своем котле», да «узенькая полоска серпантина, которая на своих верхних петлях то показывалась сквозь рваную занавеску пурги, то снова за ней скрывалась» (188). Подробности функциональны: если упомянуты сопки, то мимо них надо пройти, взобраться на них или быть в них закопанными. Миру заключенного (Демидова), как и его стилю, чужды «излишества». Это особый стиль – сплав хроники и драмы: автор не только строит сюжет (и делает это с большим искусством), но и рассказывает пребывающим «в условиях сытости и комфорта» об устройстве «чудной планеты». Отсюда его интерес к детали, которая была бы неуместной у романтика. «Дуэт» (перекличка ариями оперного певца и певицы с разных этажей пересыльной тюрьмы) отдаленно напоминает «Лионскую легенду» Цвейга (во время якобинского террора влюбленные встречаются в камере смертников накануне казни, и все отворачиваются, чтобы состоялось их последнее свидание), но как непохожа разработка! Демидов описывает камеру, способ передачи записок с этажа на этаж, вывод колонны и многое другое. Цвейгу это было не нужно, а Демидову –необходимо: в своем аду он не пропустил ни одного котла, ни одной сковороды.

Всем всё ясно: обезумевшая машина пожирает людей. Поэтому Демидова в равной мере интересуют характер и быт. Психологические тонкости и размышления на тему, кто виноват, равно как и абсурд кафкианского толка, полностью отсутствуют. Враждебный человеку ландшафт и доведение всех эмоций до уровня инстинктов заставляют Демидова задуматься о Хаосе и о попытках выразить его то ли в математических формулах, то ли в виде фуги. Выйдя на волю, он запечатлел его в слове. Внутри его бушевало пламя, но глаза оставались сухими. Он пишет:

«На самом дне жизни люди плачут не чаще, а гораздо реже других людей. Возможность излить свое горе таким образом – удел более счастливых, у которых оно только эпизод их жизни, а не ее постоянное содержание.

Впрочем, замерзшие льдинки на груди моего бушлата вовсе не были слезами скорби. При всей своей теплоте и нежности мои чувства к погребенному ребенку скорее напоминали те, которые вызываются душевным просветлением, вызванным, например, созерцанием великих произведений искусства. Да и милосердие смерти в этом случае было слишком очевидно, чтобы сожалеть еще об одной несостоявшейся жизни.

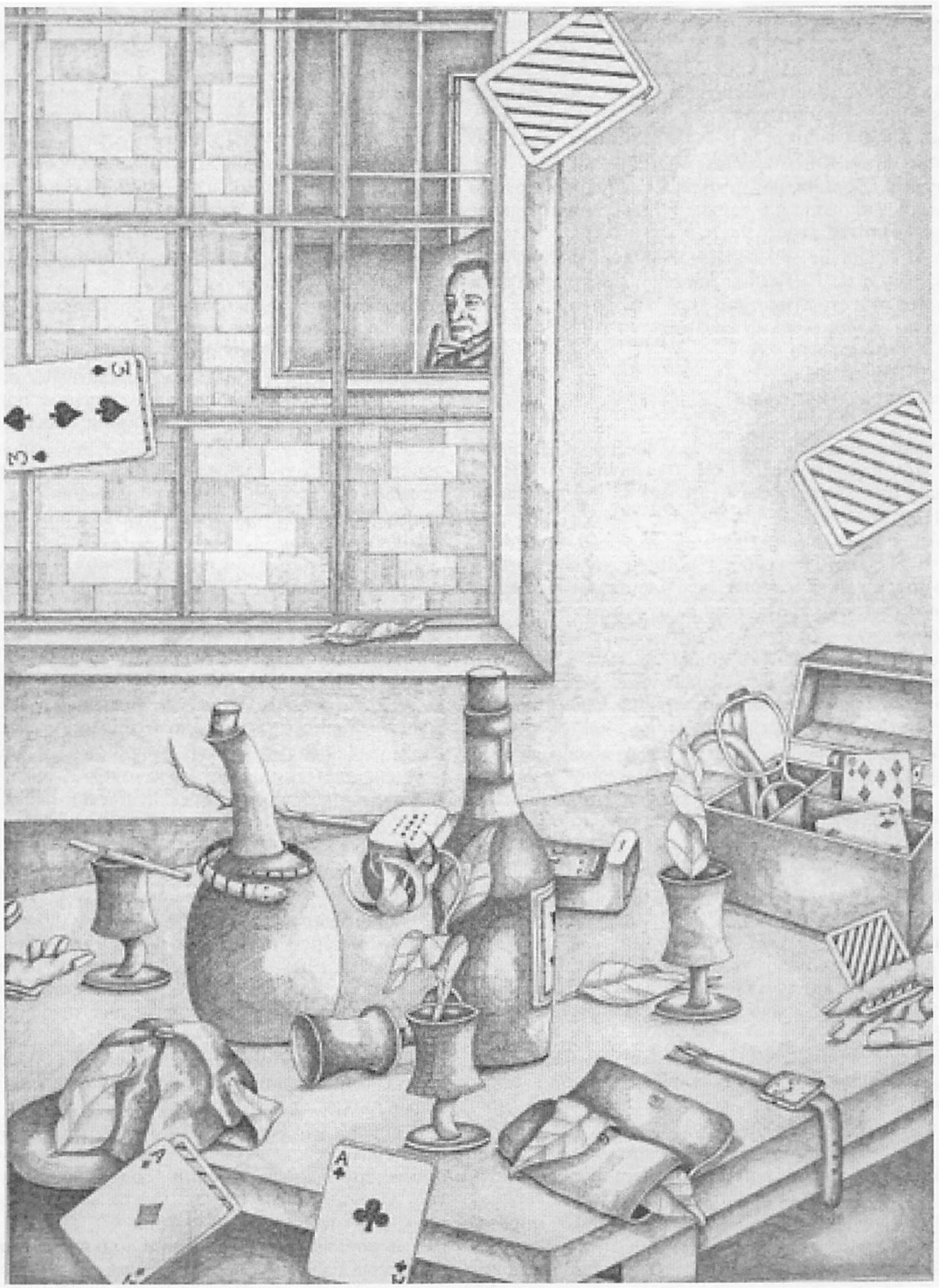
Я испытывал не горе, а мягкую и светлую печаль. И еще какое-то светлое чувство, которое было ближе всего к чувству благодарности. Благодарности мертвому ребенку за напоминание о Жизни и как бы утверждение ее в самой смерти. Игра света в темнеющем небе стала еще грубее и глубже, когда я подошел к лагерной больнице». (43-44)

Не пропустим очередного гимна Жизни в царстве повседневной, бесшумной смерти и деловой переход от возвышенного к будничному («... когда я подошел к лагерной больнице»). Постесняемся лить слезы и мы, но нет запрета на то, чтобы послать проклятье нашей истории.

ВЯЧЕСЛАВ СПОДИК

Георгий Демидов. Рассказы: «Чудная планета», Москва, изд. Возвращение, 2008, 358 стр.

Георгий Георгиевич Демидов, 1908 года рождения. Родился в Петербурге. Начав свою трудовую деятельность рабочим, прошёл путь до физика-теоретика, любимого ученика известного учёного, лауреата Нобелевской премии Л. Д. Ландау. В феврале 1938-го года, доцент Харьковского Университета, кандидат технических наук Георгий Демидов, был арестован по сфабрикованному против него политическому обвинению. Пробыл в колымских лагерях 14 лет. После смерти И. Сталина был реабилитирован. Жил в Ухте, работал на заводе. После



Ольга Черенцова. Графика. Из серии «Зеркала».

выхода на пенсию, поселился в Калуге. Его рукописи составляли уже много томов, когда в 1980 году, он сам, все его друзья и родные, которым он передавал на хранение свои произведения, были подвергнуты обыскам. Изъяты все рукописи, пишущая машинка, письма и книги талантливого писателя, которые перекочевали в архивы КГБ. Лишь в 1988 году дочка писателя Валентина Демидова добилась возвращения оставшихся материалов, частью которых и является настоящая книга.

В сборник «Чудная планета» вошли девять рассказов Г. Демидова. А также краткий словарь некоторых, используемых в книге малоупотребительных слов, лагерных выражений и аббревиатур, что очень помогает читателю в понимании изложенных в тексте событий.

Предваряют сборник воспоминания дочери автора – Валентины Демидовой, чьи усилия и привели к публикации произведений её отца.

Читая потрясающие, по своему эмоциональному воздействию, рассказы Г. Демидова, вспоминаются строки А.С. Пушкиным в его стихотворении «Пророк»:

"Восстань, пророк, и видь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей".

Именно так и воспринимаются все произведения автора, «глаголом прожигающего» сердца и души читателей. Невозможно читать рассказы Г. Демидова без душевной боли, без острого ощущения великих потерь, которые понесла страна, возглавляемая одним из самых жестоких, коварных и бездушных тиранов в истории человечества – И. Сталиным, с его заплечных дел мастерами И. Берия, Н. Ежовым и другими кровавыми наркомами.

Каждый рассказ, это чья-то судьба, сломанная, исковерканная душа, вмёрзшая в студеную землю Калымы. Невозможно поверить в тот ледяной ужас, который стекает с каждой буквы, с каждой строчки прочитанного рассказа. Автор описывает события так, как будто всё происходило не на планете Земля, а где-то в космической дали, в царстве абсолютного холода... на чудной планете.

Кстати, о наименовании сборника. Его вполне можно истолковать, как ЧУДНАЯ планета, с ударением на «У». И это будет катастрофической ошибкой, ибо такое толкование противоречит самой сути произведений, вошедших в сборник. Но с другой стороны, при переносе ударения на «А» и получив звучание Чудн*а*я планета, мы приходим к другому результату, который тоже не очень соответствует содержанию сборника. Во всяком случае, так кажется на первый взгляд. Но не следует делать поспешных выводов. Мы ещё вернёмся к этому вопросу чуть позже.

Граждане огромной страны, просыпаются утром, пьют *горячий* чай или *горячий* кофе и отправляются на работу, рожают детей, посещают тёплые залы театров или университетские лаборатории, парятся в банях... В общем, просто живут, не ведая о том, что где-то на «другой» планете миллионы людей погибают от истощения и космического холода, мечтая просто прикоснуться к горячему чайнику, скрюченными, от жестокайшего мороза, пальцами.

Автор книги живо передаёт невероятную силу человеческого духа, выживающего при температуре от которой металл становится хрупким, как стекло. И не только выживающего, но и производящего работы, на которые нужно потратить энергию значительно большую, чем покрывается скудными пайками ГУЛАГА. Другой стороной повествований автора книги, является описание беспримерных издевательств, унижений и пыток, которым подвергались несчастные заключённые со стороны охраны и администраций лагерей НКВД СССР. При этом, чем выше был образовательный уровень и социальное положение заключённого до ареста, тем бо́льшим издевательствам и унижениям он подвергался со стороны безграмотных и малограмотных офицеров лагерей. Не говоря уже о солдатах, которых специально подбирали по уровню интеллекта, желательно приближающегося к нулю. В рассказе «Амок», Г. Демидов передаёт читателям, ужасающую картину расстрела целой бригады женщин одним охранником Ф. Гизатуллиным, обладающим единственным «положительным качеством» – меткостью стрельбы, при полном отсутствии интеллекта. В итоге, идеальный для НКВД субъект, в использовании его на должности вооружённого охранника, совершает страшное преступление. Но разве герой рассказа единственный убийца в том мире зла, который следовало бы назвать Адом? Нет, конечно! Таких сотни, тысячи и все они являлись хорошо прилаженными винтиками в зловещей системе уничтожения людей.

Существуют, однако, много других сцен, великолепно выписанных автором, со свойственным ему стилем прозаика, использующего поэтические образы. Он, как бы, совмещает вещи и понятия несовместимые по своей природе, раскрашивая черно-белое мрачное полотно окружающего мира цветными красками. Жестокость у него смешивается с добротой, насилие удивительным образом сочетается с состраданием, мрачность заполярных сопок, промерзших до каменных глыб, лежащих на фундаменте вечной мерзлоты, окрашиваются автором едва ли ни во все цвета радуги.

Показательна в этом плане история, переданная Г. Демидовым в рассказе «Дубарь», который рождает мысли о том, как леденящий холод может согревать и оттаивать заледеневшие сердце и душу человека.

Красочное описание окружающего, вечно замёрзшего сурового мира присутствует у Г. Демидова практически во всех его произведениях, но особенно трогательными и впечатляющими являются наблюдения автора, стоящего над могилой только что захоро*о*ненного им ребёнка.

Очень часто поднимается автором и тема неравенства между, так называемыми, политическими заключёнными и уголовниками всех мастей, от мелких воришек до убийц и садистов. Причём жизнь уголовников была значительно комфортней. Они пользовались определёнными привилегиями. С молчаливого согласия лагерно-конвойного начальства, они грабили, обворовывали, избивали, а порой и убивали «контриков», т.е. "политических", известных как «враги народа». При этом, отобранное у них имущество, т.е. одежду, обувь, питание, деньги, папиросы и другие ценные для заключённых вещи, делились между ними и охраной, включая офицеров НКВД. Соответственно и отношение к уголовникам со стороны карательных органов было вполне доброжелательным, как *к социально близким* лицам.

В другом рассказе «Дуэт», Георгий Демидов описывает любовь между двумя незнакомыми людьми, не видящими друг друга, а лишь содержавшимися в одной тюрьме, на разных этажах. Некто Званцев, обладающий прекрасными вокальными данными, запел в камере. Через несколько минут его пение подхватил женский голос профессиональной оперной певицы. Удивительный дуэт между певцами в нижней и в верхней камере тюрьмы, перерос в настоящее чувство любви, страсти, родства душ, чего-то такого, что было необходимо этим несчастным, ни в чём не повинным узникам. Но вскоре певицу увезли, а певец впал в глубокую депрессию.

Возможно ли такое вне границ чудн*о*й страны? Конечно же, нет. Ибо любовь здесь рождена тоской и болью

людей, выброшенных из жизни. Они общаются между собой в объятиях телесной и духовной смерти, на чудном языке, понятном только им.

В рассказе «Интеллектуал» автор сборника воссоздаёт картину медленной гибели человека, долго сохраняющего жизнь за счёт максимального использования своих интеллектуальных способностей. Окружающий мир стал для него полигоном, объектом научных исследований, набором геометрических фигур, которые он мысленно раскладывал, решая в уме сложные математические и физические задачи. Странно, что находившиеся вместе с ним люди, физически более здоровые и сильные медленно, но верно уходили в мир иной. А он, интеллектуал, упорно шёл вверх, к жизни, ещё долго не замечая, что при этом медленно соскальзывает вниз, к смерти. Он и не понял, как преодолел критическую точку своих физических возможностей и производная его жизни, пройдя через максимум, уже обречена, а, следовательно, и смерть неминуемо притянет его к себе вниз.

В рассказе «Без бирки», Г. Демидов, впервые даёт определение своей «чудной планеты», как обычного феодального государства, с его всевластными царьками-наместниками, полновластными владельцами жизней своих рабов. Примерами могут служить усердие, необъятные возможности и изобретательность, проявляемые конвойными при массовом уничтожении людей. В одном из лагерей для политических, например, всех каторжников переморозили, затянув им выдачу зимнего обмундирования на два месяца, на другом объекте достигли такого же результата, не подавая в лагерь топлива в пятидесятиградусные морозы. Возиться с огромным количеством покойников руководству лагерей было не досуг, а потому они отправлялись на кладбище с биркой на ноге. Нередко с другим именем, как скот или раб, имя которого никому не интересно. Да и кто их читать будет, эти бирки в массовых захоронениях? Но находятся среди заключённых люди, которые, не желая быть рабами, умышленно идут на верную смерть и умирают свободными, без бирки на ноге, под своим именем, несмотря на конвой, колючую проволоку и собак. Именно такой подвиг совершил герой рассказа Кушнарёв, бросившись на место подрыва руды на глазах конвойных и заключённых. Теперь ему уже не нужна бирка. Его имя звучит среди заключённых, как символ свободы, а для конвойных, как символ непокорности.

В рассказе «Начальник» автор убедительно показывает, как меняются судьбы сатрапов кровавого режима, при котором никто не может быть застрахован от страданий, гибели и возмездия. Так один из самых жестоких начальников лагерей в одночасье превратился в заключённого и становится одним из тех, кого безжалостно унижали и уничтожали.

«Художник Бацилла и его шедевр» трогательный рассказ о художнике, который написал картину, изображающую крест, на котором распят заключённый, каторжник в разорванной и подгоревшей лагерной одежде, полусорванной с его тела. И всё это на фоне бесконечных распятий на заднем фоне. Каждый умирал на своём кресте, и распятый на переднем плане, был лишь одним из многих. Картина стала своего рода внутрилагерной валютой, известной всему ГУЛАГУ, в котором бесследно растворился её автор.

«Классики литературы и лагерная самодеятельность» рассказ, в котором автор отчётливо проводит черту между заключёнными и всей системой советского правосудия. При этом политические заключённые (враги народа) спокойно, без усилий, обводят вокруг пальца матерых тюремщиков, поскольку интеллект первых несравненно выше тех, кого подбирал НКВД для охраны "особо опасных преступников".

«Люди гибнут за металл» – заключительный рассказ сборника. Основным мотивом этого рассказа является ситуация, сложившаяся на Калыме в годы войны. Именно тогда Колымские лагеря окутал шестидесятиградусный мороз, от которого гибли сотни тысяч людей, обречённых на существование в качестве рабочего скота. Колымское начальство, уверенное в том, что любые потери будут возмещены с избытком постоянно прибывающими заключёнными, никаких скидок для них не делало. Ни на космический холод, ни на нехватку питания, ни на рваное обмундирование. Их позиция была проста до примитивности. Если на фронте гибнут миллионы полноценных и полноправных граждан страны, то с какой стати нужно дорожить жизнями каких-то преступников. И не только не дорожили, но и усердно убивали, предварительно поиздевавшись и надругавшись над их телами и душами.

Удивительно, что в каждом рассказе автор пишет о вещах пронзительно страшных: об издевательствах и унижениях, о смерти, о жесткости, о самоубийствах... Но все эти ужасы не направлены на то, чтобы читатель впал в депрессию, хотя его охватывает тоска и боль сострадания к мукам миллионов людей. Георгий Демидов смотрит на всё это с другой точки зрения, чем другие авторы, пишущих на эту же тему. Он описывает страдания, но в то же время уделяет огромное внимание тому, как люди в жесточайших условиях оставались людьми, а не превращались в животных, как они предпочитали смерть, но стоя, чем жизнь на коленях. Рассказы наполнены теплотой и цветом, от них веет живой струёй, потому что автор пишет не только о страданиях и о смерти, а о жизни, в которую аномально вплелись эти явления и события, и которые должны обязательно когда-то закончиться. Этой же цели служит и наименование сборника. Чудная планета. В нём нет ни жёсткости, ни категоричности, скорее слышится некое удивление, даже изумление автора, не понимающего, как вообще могло существовать такое государство и такая планета. Чудная какая-то...

Закончить свою статью я хочу словами поэта Николая Глазкова: «*Величие человека заключается в том, что в любых обстоятельствах он остается человеком. Возможно, XX век доказал это с небывалой трагической силой, явив примеры беспрецедентной жестокости и великой человечности*».

Большой писатель Георгий Демидов, подтвердил это всей силой своего могучего таланта.

ЖИЛИ БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ

Елена Катишонок: Роман «Жили были старик со старухой», Бостон, 2009, 347 стр.

В романе «Жили были старик со старухой», автор описывает историю нескольких поколений одной семьи, начиная с родителей – будущих старика и старухи – и до их правнуков. Четыре поколения, и каждое со своей судьбой, со своими мечтами, со своей любовью и со своим горем. События, разворачивающиеся перед читателем, настолько динамичны, что порождают желание немедленно узнать: что же дальше? И это желание не дает возможности оторваться от сюжета. Роман читается на одном дыхании, что обычно свойственно детективному жанру, хотя произведение Елены Катишонок, ничего общего с этим жанром не имеет.

Елена Катишонок использует в своём произведении стиль повествования, свойственный известной сказке о

старике и золотой рыбке, исполняющей все его желания. Но не только стилем написания сходны эти два произведения. И хотя содержание их разное, но идея примерно одна.

Согласно сюжету сказке, никаких особых желаний у старика-то и не было. А он, лишь выполнял волю жены своей, властолюбивой и жёсткой старухи, которой постоянно было мало того, чем одаряла её судьба по воле волшебной золотой рыбки, благодарной старику за своё спасение. Итог известен. Осталась она у разбитого корыта, под которым и были похоронены мечты и желания стать той, кем ей не положено было быть.

Однако, мы говорим о форме, а не о содержании романа, который естественно отличается от сказочного. И всё же, сказочный стиль в нем присутствует отчётливо. Начинается роман с фразы «*Жили были старик со старухой у самого синего моря...*», а по ходу развития сюжета, часто повторяются слова «*вот неделя проходит, другая...*», «*пуще прежнего старуха бранится*», после чего происходит очередное событие в жизни семьи старика и старухи.

Впрочем, они не всегда были стариками. Понятно, что прожили они и свою молодость, с присущими ей чувствами и событиями – любовью, венчанием, рождением детей, со своими радостями и горестями, и всё это подробно отражено в произведении автора.

В семье царит матриархат. Старуха управляет всем и всеми, жёстко и бескомпромиссно.

Интересен эпизод, связанный с рождением правнучки. В этот день все ожидали новорожденную, а потому бабушка её (дочь старухи) Ирина, прибежала домой рано. Однако, дома она увидела только свою мамыньку, которая и заявила спокойно:

– Чего переполошилась, приходила твоя гулящая. Я её выгнала.

Ира, послушная и кроткая Ира, посмотрела матери прямо в глаза:

– Тогда и меня гони – и бросилась вон»...

В будущем эта её непримиримость сыграет с ней злую шутку, но она об этом ничего не знает, и знать не может, ибо никто не в состоянии заглянуть в своё будущее. А сказку о старике и рыбке она, конечно же, не читала. Да и как читать, если грамоте она не обучена была.

Елена Катишонок очень интересно передаёт стиль общения, царящий в доме героев романа – староверов. Календарями они не пользуются, а жизнь протекает от одного религиозного праздника до другого.

От Троицы, например, до Светлого понедельника... и т.д.

Точно передан автором специфический язык, на котором общаются между собой главные герои произведения. Самобытный, уютный, степенный, от которого веет теплом русской печи и запахом пирогов, выпекаемых старухой.

У неё есть и имя – Матрёна, которое очень ей подходит, поскольку по всем признакам поведения, она олицетворяет собой матрону, что очень созвучно настоящему имени. Впрочем, в доме её зовут «мамынька».

«...*Статная, прямая, с округлым, но суровым лицом, на котором выделялись чёрные брови редкой выразительности; голос имела высокий и властный*» (*стр.11*).

Так описывает старуху автор.

Будучи многодетной матерью, каждый праздник она вывозит семью в храм на молитву, любуясь своими детьми, и ревниво поглядывая на прохожих, обративших на них свой взор. Муж, восседающий рядом в экипаже, выглядит весьма респектабельно и солидно. Да и то сказать, ведь у него в клиентах почитай весь город состоит. Потому, как плотник он отменный и мебель, им изготовленная, всегда уникальна, как по качеству, так и по прочности.

«Был он среднего роста, коренастый, с очень прямой спиной, хотя и ходил, прихрамывая на одну ногу. Крепкий, солидный нос покоился на казацких усах, густых и блестящих; картуз нависал надо лбом точно так же, как густые брови – над чёрными, блестящими и глубоко посаженными глазами».

Таким предстаёт перед читателями старик, которому суждено было полюбить женщину, с годами превратившуюся в домашнего тирана.

Впрочем, тираном, в полном смысле слова, её назвать нельзя, ибо она проявляет иногда неожиданную доброту и, по-своему, предана своей семье. Но семейный узурпатор, это как раз про неё.

«*Уж как пофартило Максимычу, как пофартило, даже и не чаял: сом! Настоящий сом, какого сейчас и на базаре– то нечасто встретишь...*

По пути домой несколько раз останавливался: сняв картуз, вытирал взволнованный потный лоб, переводил дыхание... На кухне были все... Старик неторопливо открыл крышку бидона... подхватил рыбину под жабры и протянул жене:

– Ты глянь, как пофартило: прямо дядя!..

Мамынька выхватила трофей из мокрой руки и с размахом ударила мужа по лицу. Ошеломлённый, старик отпрянул, а Матрёна повторила с непонятной злостью:

– Пофартило тебе! Вот как тебе с дядей пофартило!.. Ночью Максимыча начало рвать кровью и приехавшая «скорая» забрала его в больницу» (стр. 93-94).

Характерен ли этот эпизод для поведения старухи, в которой сочетались доброта и злоба, скрытая где-то внутри любовь к мужу и бескомпромиссность суждений, которые, в конечном итоге, свели старика в могилу?

Об этом читатель может узнать, прочитав очень добрый и необычный роман Елены Катишонок.

АИСТ НАД ЯПОНИЕЙ

Татьяна Аист: Поэтический сборник «Япония под снегом», Филадельфия, Побережье, 2009, 64 стр.

Сборник «Япония под снегом» представляет собой небольшую книгу в оригинальной обложке, мастерски разработанной художником Валерием Исхаковым, и содержит в себе пятьдесят пять стихотворений автора на русском и английском языках.

Непосвященному в тайны восточной культуры читателю может показаться, что стихи, укладывающиеся в две-три строчки, очень просты. Более того, они не имеют ничего общего с привычной формой поэзии (в нашем понимании), ибо не содержат в себе знакомых для европейца рифм и ритма. Они не укладываются даже в форму так называемого белого стиха, нерифмованного, но имеющего свою, особую музыкальность.

В основе таких поверхностных впечатлений лежит глубочайшая разница в ментальности, а, следовательно, и в основах культур – европейской, восточной и азиатской цивилизаций.

Поэзия не исключение. Европейские поэты создают свои произведения, уделяя огромное внимание их внешней форме. Это не означает, однако, что в них отсутствует содержание. Более того, оно непременно присутствует, наполненное страстями, динамикой, чувствами. Они вызывают у читателей соответствующие эмоции: радость, смех, печаль, раздражение, депрессию, наконец.

Восточно-азиатская поэзия не уделяет так много внимания форме. Поэтам она глубоко безразлична и они со-

средотачиваются на внутреннем содержании стихотворений, наполняя их глубоко образной восточной философией.

В этом легко убедиться, открыв первую же страницу сборника Татьяны Аист.

Порыв ветра.
В чашу для сбора дождя
Превратился мой зонтик.

Вот и всё стихотворение. Вроде бы несложно, даже очень просто писать такие стихи. Но не надо торопиться с выводами.

Полиэтиленовый мешок
Быстрее птицы.
Это северный ветер
Отбирает жизнь у живущих
И делится ею
С безжизненным.

Читая стихи автора, невольно приходишь к выводу, что существует какой-то разлом культур, не отвергающих, а сосуществующих и дополняющих друг друга.

Следует только присмотреться и становится ясным, что восточно-азиатская поэзия рождает образы, которые сами просятся на полотно художника. Три строчки и перед вами картина, изображение. Это почти волшебство может выражаться совершенно непривычной для европейцев выражением: *видеть стихотворение.*

Но тот, кто хочет видеть – видит, а не только слышит.

Ярче маков
Листья клёнов
На зелёной траве.

Живая картинка. Яркая вспышка восприятия и перед нами мгновенная цветная фотография. Имеющий талант рисовальщика нарисует, фотограф воспроизведёт в чёрно-белом или цветном изображении.

Все деревья голые,
Мурашки по коже
От вида свежей
Рассады в парнике.

Ну, разве не возникает перед глазами читателя хмурый, дождливый, осенний день с его серостью и пронизывающим холодным ветром, загоняющим всё живое в укрытия. Разве не видим мы самих себя, в поисках сухого тепла, случайно оказавшихся в теплице, и увидевших внезапно яркую, разноцветную, молодую рассаду!

Конечно, видим... «и мурашки по коже»... И это ни весна, ни лето, ни зима – это осень и спутать невозможно.

А вот и зима, запорошившая снежком головы прохожих:

Пусть на один вечер
Все станут глубокими,
Глубокими стариками.
Начало зимы.

Вместе с тем, стихи Татьяны Аист заряжены древней философией покоя, медитации, мудрости и внутренней духовности, свойственной восточно-азиатской поэзии. Это почти афоризмы, которые можно использовать в живой речи, применительно к тем или иным ситуациям. Как, например:

Дождь смывает
Не все следы,
А только те,
Что готовы уйти.

Всё это вовсе не означает, что для восточной поэзии чужды европейские стандарты и правила стихописания. Был в ней и период, который можно назвать эпохой позднего ренессанса, когда форме и мелодичности стихотворения уделялось внимания не меньше, чем внутреннему его содержанию.

Есть в сборнике и такие стихи автора, более привычные для слуха европейцев. И они наполнены яркими образами, метафорами и аллегориями, в которых неожиданно рождаются новые, малоизвестные широкой публике слова.

О безумие! Снова и снова
Незнакомку искать в снегах!
И знакомое слыша слово,
Вновь на снежных гореть кострах.

Этот город рождён для метели
И для гибели многих сердец,
Страшно движутся чёрные ели
И несут свой белый венец.

Их навершия – словно храмы,
Из древесной густой темноты,
Выгоняемые стволами
Вместо пёстрой земной листвы.

Вот уж поистине единство и борьба противоположностей. Снег и огонь (... на снежных гореть кострах), черное и белое (... чёрные ели... несут свой белый венец...), густая темнота и пёстрая листва, в последнем четверостишии, увенчанном необычным, редко употребляемым словом «навершия», плотно подогнанным в словесную мозаику стихотворения.

В целом, книга Татьяны Аист, свидетельствует о высочайшем профессионализме настоящего мастера, обладающего широким литературно-философским кругозором.

СНЫ ИОСИФА

Людмила Некрасовская, «Сны Иосифа», Кривой Рог, изд. ЧП «СТПРЕС», 2009, 159 стр.

Очень не просто взять на себя ответственность, комментируя работу автора над Книгой Мира. Наверное, потому, что сама Книга Книг, как принято называть Библию, отнюдь не догматична. Она оставляет много места для различных подходов. Это тема послужила предметом многовекового изучения и толкования самыми великими умами человечества, но также явилось причиной кровавых войн между людьми, по-разному воспринимающими её содержание. Достаточно, например, вспомнить страшные столкновения между католиками и протестантами на протяжении многих веков.

Однако мне показалась интересной сама идея поэтизации Библии. Известно, что в подлинник этой Великой Книги включены ярчайшие образцы поэзии. Труд Людмилы Некрасовской как бы приближает нас к этой вершине, к подлинному пониманию сложных текстов через понятные и доступные современному читателю стихи.

Автор глубоко изучила содержание Книги Книг, а потому её рифмованные тексты приближены к оригиналу. При этом сохранена вся философия, вложенная в обыч-

ный формат нерифмованных переводов на русский язык Библии.

Это само по себе, очень важно, поскольку Святая Книга содержит огромное количество имён и событий, простое перечисление которых могло бы составить целый том. Это, в общем-то, понятно, поскольку люди плодились и размножались, выполняя завет Создателя, а читателю бывает чрезвычайно трудно разобраться, кто есть кто, к какому колену принадлежит, и кем они приходятся друг другу.

Однако Людмила Некрасовская облегчает эту задачу, предваряя основные тексты «Сны Иосифа» монологами библейских персонажей, также представленными в рифмованной форме.

Старый Ной, Мелхола, Авраам, Ева, Лея, Соломон, Иосиф, Давид, Самсон, Дебора, Магдалина, Рахиль, Иезекииль – это ещё далеко не полный список лиц и событий, использованных автором в главе «Монологи». Но каждый монолог библейских персонажей вносит ясность, значительно упрощая понимание событий, отражённых в каждой главе Библии.

Например, в монологе Авраама содержатся призывы к своему народу отбросить идолопоклонство и принять веру в единого Бога.

Любимый народ мой! Пред кем преклоняешься ты?!
Не в силах душа принимать этих идолов хилых.
Я истину знаю. Пред нею бледнеют мечты.
Дорога светла и с неё не сверну до могилы.

...Я долго искал, я упорно блуждал в темноте,
Стараясь постичь: Он звезда ли, вода ли, мгновенье?
И лишь осознав, что един Он всегда и везде,
В душе ощутил теплоту при Его приближенье.

Или монолог Евы, передающий суть известного библейского постулата о том, что женщина сотворена Всевышним из ребра мужчины – Адама.

Да, мой милый Адам, я – всего лишь ребро.
Но оно – согласись, мой кумир –
От нежданной беды, прикрывая хитро,
Защищает твой внутренний мир.

...От любовных непросто избавиться пут,
Постарайся понять и принять:
Я – ребро, близ которого крылья растут,
У того, кто способен летать.

Какая замечательная образность аллегорий. Разве не защищает женщина своего мужчину в тяжёлых для него ситуациях и не летает ли мужчина на крыльях своей любви к женщине!?

Кто испытал это – знает, а кто не знает, должен познать. *«...Без любви, наверно просто, но как на свете без любви прожить?» (поэт Николай Доризо).*

Людмила Некрасовская блистательно выстраивает стихотворение, передающее монолог Соломона, с присущими ему мудрыми откровениями.

Испробовано всё: богатство, власть,
Служение и Богу, и народу.
Но никогда под этим небосводом
Меня догнавшей славе не пропасть.

...Ведь пелена с моих очей снята:
Всё что построил, рухнет в одночасье.
Как ты лукав, Творец! Здесь нету счастья!
Всё в этом мире тлен и суета!

Соломон – иудейский царь, известный своей мудростью, предупреждает людей: не гоняйтесь за богатством и властью, не ищите славы, потому что всё это в нашем мире тлен и суета. Лишь духовность и вера могут принести то, о чём вы мечтаете. Богатство души значимо куда более, чем богатство телесное, невольно заставляющее нас совершать поступки несовместимые с истинной духовностью.

Прекрасно переданы Людмилой Некрасовской и другие монологи библейских персонажей.

Поэтический перевод раздела Библии – Бытие – сочетает в себе замечательный образец современной поэзии, гармонично вытекающей из древнейших текстов и глубокого их понимания. Это чрезвычайно важно, ибо сегодня человечество обладает теми же пороками и достоинствами, что и в Библейские времена. А, следовательно, герои Великой Книги обращаются к нам, своим далёким потомкам. Библейские притчи, переведённые автором в стихи, позволяют нам, современным читателям, услышать эти обращения, увидеть, что есть истинная вера, любовь, мужество, страх, предательство, благородство, обман, унижение, победа, поражение... Они учат чему нужно следовать, а чего избегать.

Стихи Людмилы Некрасовской как бы переносят нас в храм современной поэзии, под сводами которого разворачиваются древнейшие события, отображённые в них. Они заставляют думать, многое понимать, а иногда и переосмысливать свои поступки и решения.

История Иосифа, в этом плане, весьма показательна и поучительна. Проданный в рабство своими братьями, он прошёл тяжкий путь от раба до влиятельного и богатого визиря в Египте. Много лет спустя, неузнанный своими братьями, прибывшими туда за помощью, он не только прощает их, но и одаряет всем необходимым. Нравоучительная история жизни Иосифа стала темой исследования для знаменитого летописца древности Иосифа Флавия. В тридцатых годах прошлого столетия вышел в свет известный роман Томаса Манна «Иосиф и его братья». История Иосифа и его семьи стала источником вдохновения для многих писателей, режиссёров, сценаристов.

Понимание и толкование Библии, её сюжетов доступно далеко не каждому, тогда как в стихотворной форме, она легко воспринимается всеми читателями. Людмила Некрасовская, без сомнений, внесла свой огромный вклад в популяризацию нравственных начал человека, посредством прекрасных стихов, отражающих поучительную историю жизни библейских героев.

В книгу включен перечень имён и названий, содержательные комментарии к напечатанному произведению Светланы Скорик и Эстер Тонтерино, высказывания великих людей о Библии, несколько научных гипотез и рецензий.

ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ

Рудольф Фурман. «Человек дождя». С.-Петербург – Нью-Йорк, Изд. «Сударыня», 2008. 433 стр.

Прежде всего – о названии книги. Почему «Человек дождя»? На этот вопрос автор отвечает в автобиографическом предисловии, что в дожде есть для него «какая-то притягательная тайна». Он говорит о дожде как о живом существе, как о собеседнике с которым можно вести интересную беседу. Его дождь обладает магическим свойством: он умеет вдохновлять, притом он является неотъемлемой частью жизни этого поэта, утверждающего, что «без него скучаю. С ним – оживаю,

беседую как с хорошим знакомым, Под его шум и пишется, и поется, и сладко спится. С ним оживаю».

...Он в окно этой ночью стучал,
он и днем не давал мне покоя,
он за осень совсем не устал,
он – как пьяница в долгом запое.
Дождь и день,
дождь и ночь,
я и дождь...

И еще одно авторское пояснение: «...я родился в дождливый день холодной петербургской осени. Может, именно поэтому я люблю осень и дождь...».

В том же предисловии говорится о случае, происшедшем в сравнительно далекое время, когда Рудольф Менделевич Фурман, врач по профессии, поэт по призванию, работал на бруклинской автозаправочной станции. (Сейчас он работает редактором-дизайнером в редакции старейшего зарубежного периодического издания «Новый журнал».) «Идет заправка машины, – пишет он. Я стою под моросящим дождем. Вдруг слышу, как кто-то за моей спиной напевает мою песню о ленинградском дожде, написанную еще в студенческие годы». Да, эту песню напевал земляк Фурмана, бывший ленинградец. Поэт называет этот случай мистическим.

В предисловии автор также пишет о причине, побудившей его навсегда покинуть Россию. Там он, еще в детстве, столкнулся с антисемитизмом и постепенно стал чувствовать себя чужим в своей стране.

Книга «Человек дождя» прекрасно издана: твердая обложка, хороший шрифт, текст великолепно иллюстрирован графикой Юрия Фурмана. Ее можно назвать итоговой, так как в пяти разделах даны стихи из прежних поэтических сборников поэта. Новые стихи опубликованы в обширной шестой части книги.

Мне кажется, что ключ к своему творчеству автор, до какой-то степени, сам дал в названии первой книги: «Бремена жизни и древо души». Да, Рудольф Фурман – «Человек дождя», а всё его поэтическое творчество можно назвать «Временем души». Душа для него является и совестью, и даже Богом: «И если б спросили: Ты веришь ли в Бога?' / Сказал бы я, правде служа, / Что Бог мой, конечно, – душа». На своем жизненном пути он избрал поводырем душу, ибо она, его душа, умеет и любить, и сострадать:

...И у меня нет в выборе сомненья.
За всё готов пред ней ответ держать.
Пред всеми отдаю ей предпочтенье,
способной и любить, и сострадать.

И еще это: его душа помогает поэту жить, потому что приемлет не только сладость, но и горечь жизни. Она рождает чувство радостной благодарности за те, пусть редкие, но всё же щедрые дары, выпадающие на долю многих, проходящих мимо, не замечающих этих повседневных щедрот. У Фурмана так:

...Печаль и радость... Всё смешалось...
Готова всё принять душа:
И горечь жизни, но и сладость,
А этим жизнь и хороша!

Думаю, что сейчас немногие пишущие могут искренне повторить за поэтом: «...пишу от души для души, / иначе не вправе и скучно». Он знает: скука, равнодушие или бездушие – враги искусства. Можно сказать, что бездушные строки мало кого глубоко затронут, по-настоящему взволнуют. Будь они даже хорошо выполнены технически, они все равно не смогут по-настоящему «дойти» до читателя, того читателя, для которого поэт пишет. По очень многим строкам автора можно заключить, что для него бездушие и равнодушие к творчеству и к самой жизни, было бы трагедией:

Не приведи, мой путь, меня однажды
к такому утру и такому дню,
в которых я не обнаружу жажды
жить и тянуться к свету и огню.
И где не будет этой вечной тяги
к общению с друзьями и душой...

Такой настрой души этого поэта дарует ему возможность увидеть многое и осознать, что в жизни, как и в самой природе, всё равновелико: и былинка, и птичка, и бабочка, и листок, и лопух, и цветок... Нет мелочей, всё значительно, нужно только уметь это заметить. Вот замечательное стихотворение, которое приведу полностью

Нет в мире мелочей и чепухи –
до атома продуман он и взвешен.
Ему нужны и эти лопухи,
и стрекоза, и кисточка черешен,
и этот подорожник, и цветок,
которому названия не знаю,
и под шаги рассыпанный песок,
что тяжестью своей я приминаю,
былинка, птичка, бабочка, листок,
фонарик красной, спелой земляники...
Нет мелочей – без них бы мир не мог
существовать – в нем все равновелики!

А если б мог?.. То обеднел бы я
на цвет, на звук, на слово, на движенье,
на радость встречи с тайной бытия,
на мысль, на красоту, на вдохновенье.
И что-нибудь случилось бы с душой,
ведь в мире этом всё неповторимо,
в нем все равны – и малый, и большой,
большой и малый – в мире все едины.

Под этими строками мог бы подписаться Альберт Швейцер, великий гуманист прошлого века, проповедник благоговения перед каждой земной жизнью, не исключая ни фауны, ни флоры.

Рудольф Фурман обладает редким в наше время умением находить чудо в повседневной, зачастую далекой от поэзии, иногда слишком прозаической жизни. Он стремится «чудо свое поскорей отыскать, / как лучшее стихотворенье».

Фурмана можно назвать мастером пейзажа. Как и многие русские поэты, он особенно любит осень с ее листопадами и дождями. Очень хорош его лирический, пастельный осенний вечер в парке:

Парк. Скамейка. Теплый вечер.
Ты да я, да листопад.
И собор остроконечен,
и цари в соборе спят.

Легкой розовой пастелью
разукрашен неба свод,
но заметнее стал зренью
к темным краскам переход...

Вот осень в Нью-Йорке, где поэт живет уже сравнительно много лет:

...Осень Нью-Йорка
предпочитаю другим временам.
Воздух насыщен
прогорклостью листьев опавших.
А на бульварах и в парках
их красно-желтый бедлам –
вызов снегам,
замести этот город спешащих.

Ни холодов, ни жары,
изнуряющих тело и мозг.
Боже, как дышится
лиственной горечью этой!
Вот-вот зима
наведет здесь порядок и лоск.
Осень уходит...
Не удержать ее, сетуй, не сетуй...

А вот и зима в том же городе. Ее Рудольф Фурман пишет энергичным ритмом, каждая строка заканчивается мужской рифмой, создавая бодрое, жизнеутверждающее настроение. Зима в Нью-Йорке рождает воспоминание о Петербурге, городе прошлой жизни поэта. Нет, в новой стране этот город не забыт ни в жизни (ведь там остались друзья!), ни в творчестве:

В сторону все дела –
совершен на город набег:
за окном метель замела,
и куда ни глянь – снег.

Выйду, зачерпну его горсть.
Пусть порадуется душа.
Он, признаться, здесь редкий гость,
если не сказать, что чужак.

Отогрею, слеплю снежок,
вспомню город, где жизнь прошла.
Я мосты мои с ним не сжег,
не забыл ни добра, ни зла.

Без него я который год,
без его и ночей и дней...
Не забыл я его красот,
не забыл я своих друзей...

Да, Петербург трудно забыть, где бы коренной петербуржец ни жил. Одни из лучших строк в книге поэта о Петербурге:

...Эта музыка в камне,
аранжированная ветрами,
временем испытанная
и вечно моросящим дождем,
сыгранная зодчими
и каменщиков руками,
не умолкает ни ночью, ни днем...

Много писалось о том – что такое поэзия. Мне кажется, что лучше всех определил поэзию – всего в нескольких словах – эстонский поэт Алексис Константинович Раннит (1914-1985): «Ритмичная речь, насыщенная мыслью и чувством». Отвечают ли этому определению поэзии стихи Рудольфа Фурмана? Можно, не колеблясь, ответить: да, отвечают.

ВИКТОР КАГАН

ЕВРЕЙСКИЕ СЫНЫ РОССИИ

Лев Бердников – Евреи в ливреях: литературные портреты. – М.: Человек, 2009. – 352 с.

Когда-то радиус мира в представлении человека ограничивался пределами его пешего хода. Границы «свой – чужой» были стабильны и практически непроницаемы. Представители соседнего племени были если не дичью, то уж никак и не людьми в том смысле слова, в каком своего, а чтобы чужак мог войти в «наш» совет старейшин невозможно было и представить. Но время шло. ... Плавильный котёл цивилизации делал своё дело, так что без «характерных» этнических черт – внешность бывает обманчива! – плюс «бумага» различать своих и чужих становилось всё труднее, а понятия нации и национальности переставали быть синонимами.

Положение любого «малого народа» в жизни народа «большого» всегда проблемно, разрешаются проблемы вполне идиллически или драматически, а то и трагически: от противоречия между «оставаться собой» и «становиться как другой» никуда не денешься – оно всегда ставит перед выбором, который, по определению, нельзя не сделать, даже пытаясь следовать «чёрный, белый не бери, да и нет не говори». Евреям диаспоры (а история еврейства в значительной своей части и есть история диаспоры) в этом смысле досталось особое место в истории – коллизии такого рода не выпадали им на каких-то её этапах, а по существу неотъемлемы от всей истории еврейского народа, являются одним из её первых планов. Односторонняя её трагизация была бы ошибкой: ассимиляция всегда амбивалентна и неоднозначна. С одной стороны, гонения и притеснения, с другой – вызовы, побуждающие не только избегать неприятностей, но и добиваться успеха.

Обращение к раннему европейскому Средневековью показывает, что и отчуждение может играть охранительную роль: в пору, например, «гонений на ведьм» они были настолько чужими, что к вящей досаде многих радикалов и церковному суду не подлежали. В истории выживания евреев отношения с властями – церковной и светской – занимали особое место. Высшие эшелоны власти, в отличие от «низов», прагматичны, так что даже личный антисемитизм сплошь и рядом оказывался оттеснённым на второй план соображениями пользы, нужности, выгоды (часто – до поры, до времени, когда на сцену выходили другие прагматические ориентиры, да и способность послужить им еврей не получал по наследству или за мзду, а многажды доказать должен был). Историческая мизерность временно́го зазора между христианизацией Руси с её особыми по сравнению с западным христианством чертами и «прорубанием окна в Европу» не могла не сказываться на общем положении евреев в России и их месте в ней, чему и посвящена книга Льва Бердникова.

Под сделанной со вкусом обложкой – двадцать три очерка, большинство из которых – живые биографии (насколько возможно восстановить события в ретроспективе) людей в их отношениях не только с властью, но и с историей российского государства, его науки и культуры. Книга открывается историей жидовина Хози Кокоса с его начавшейся в 1470-х г.г. дружбой с царём Иваном III и неоценимым вкладом в окончательный разгром Золотой Орды и заканчивается серией очерков о представителях трёх поколений династии баронов Гинзбургов, заглянувших в XX в. – они собрали уникальную коллекцию еврейских манускриптов XI-XVIII в.в., хранящуюся в отде-

ле рукописей РГБ (Российской государственной библиотеки – «Ленинки» до перестройки), а с 1992 г. существующую в виде компьютерного каталога, созданного по соглашению с РГБ Еврейской Национальной и Университетской библиотеки в Иерусалиме, так что теперь ранее спрятанные за открытой только для сотрудников специального отдела дверью спецхрана может читать любой.

Короткое, но ёмкое и точное предисловие доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института востоковедения РАН Александра Локшина завершается словами: «Они обессмертили свои имена и вошли в анналы истории, а потому вызывают к себе сегодня наш живой и неподдельный интерес». И этот интерес у читателя книги будет вознаграждён.

Преодолевая искушение называния имён с перечислением заслуг (для примера – если бы еврей Антонио Санчес не спас от смерти великую княгиню Екатерину Алексеевну, у россиян не было бы просвещенной императрицы Екатерины II, и как бы повернулась тогда история державы – Бог весть) и, оставляя читателю удовольствие самостоятельных открытий, я лишь бегло скажу о возникающих по ходу чтения вопросах, на которые каждому предстоит найти свои ответы.

Трудно не заметить, как много служивших российскому престолу евреев были пришлыми, так сказать, иностранными и для своего времени очень неплохо образованными людьми. Очевидно, что они не несли службу по заданию «мирового кагала», а отдавались российской жизни всей душой и жизнью без каких-либо гарантий перспективы озолотиться, но разделяя с русскими людьми их подвластность непредсказуемой и часто ничем не ограниченной монаршей воле и перипетиям политики.

Фёдор Веселовский вместе с братом Авраамом были первыми российскими дипломатами-невозвращенцами, но Фёдор не только добился возвращения, но и мирно умер в России почти 90-летним тайным советником и кавалером ордена Св. Александра Невского. «Первый российский мент» – назначенный в 1718 году Петром I генерал-полицмейстером только что учреждённой полиции Антон Дивьер впоследствии провёл больше 10-и лет в жесточайших условиях сибирской ссылки, а освобождённый в 1739-м – стал командиром отстраивавшегося Охотского порта и в 1743 году за заслуги перед Россией возвращён в графское звание и произведён из генерал-лейтенанта в генерал-аншефы с возвращением ему ордена Св. Александра Невского.

Чем были движимы эти люди, которые не могли не знать об отрубленной оклеветанному лекарю Жидовину Мистро Леону голове, об убитом стрельцами («отрублены были одна нога и одна рука, тело проколото копьём, а голова разрезана топором») Даниилe Гадене (Жидовине) и других мучительно закончивших жизнь евреях? Что влекло их в Россию и удерживало в ней?

Какие драмы разыгрывались в душах простых и пришедших во власть анусим (крещёных евреев)? «Что должен был испытывать еврей Алмаз [Иванов – *В.К.*], когда привечал погромщика Хмельницкого, на чьих руках была кровь десятков тысяч его соплеменников?» – спрашивает Лев Бердников; как соотносятся в сознании и переживаниях этого сначала искусного дипломата, а потом вершителя судеб православного клира его еврейство и истовая православность? Становились они, как нередко считают, антисемитами из антисемитов или, следуя М. Маймониду и молясь вслух одному богу, в душе молились другому и, как, например, Даниил Гаден и братья Веселовские, делали всё, что могли, для улучшения жизни евреев?

Как должна была переломать жизнь изначально робкого и тихого Никиту Зотова, чтобы он подписывал приговоры к поражавшим своей жестокостью даже для того времени казням бунтовщиков против трона и орудовал кнутом в пыточных застенках?

Как жили эти люди в гибельной амбивалентности отношения к евреям в России, где у Петра I сочетались совершенно полярные отношения к ним: запрещавший этим плутам и обманщикам селиться в России он писал Аврааму Веселовскому: «Для меня совершенно безразлично, крещён ли человек или обрезан, чтобы он только знал своё дело и отличался порядочностью»?

Было для них слово «русский» существительным или, как пишет Лев Бердников прилагательным: «поскольку носитель его к России приложен и самозабвенно ей служит. И не химическим составом крови определяется эта русскость, но радением о вере и судьбе Отечества», как это было для фаворита Екатерины Великой князя Григория Потёмкина-Таврического, с именем которого связывают «золотые годы русского еврейства»?

Книга очень привлекает своей спокойной беспристрастностью, охраняющей автора от любой предвзятости в адрес людей и событий, так что портрет еврея отнюдь не идеализирован, а портрет русского не рассматривается сквозь призму юдофобства. Это история, которая была такой, какой она была, а не такой, какой её кому-то хочется видеть.

Название, хотя лучшего для этого собрания очерков не придумать, жёстко ассоциируется с «Ой, не шейте вы, евреи, ливреи» Александра Галича и тем самым сужает содержание книги, сводя его к разговору только об участии евреев во власти. Предупреждая об этом читателя, А. Локшин пишет в предисловии: «...перед нами не только иудеи-купцы, предприниматели, ювелиры, банкиры и врачи, но и евреи-дипломаты, полицмейстеры, почтари, придворные учителя, литераторы, общественные деятели и даже шуты. И на каждом из них лежит отблеск истории». Я бы сказал, что на истории, науке и культуре России лежит отблеск жизни каждого из них. Если говорить о литературе, то это, конечно, очерки о первом русскоязычном еврейском писателе Лейбе Неваховиче («...память о нём сохраняется, точнее, оттаяла после десятилетий ледяной стужи, беспамятства и равнодушия, и эта память – признательная и благодарная» – пишет В.Н. Топоров) и Леоне Мандельштаме (первый окончивший российский университет еврей, издавший книгу своих стихов на русском языке и ставший первым переводчиком Пушкина на иврит; Осип Мандельштам – его внучатый племянник).

Педантичный читатель, с карандашом в руках пройдясь по страницам книги, составит внушительный список вклада евреев во все сферы российской не только политической, но и общественной, научной, культурной жизни. Мне близко, что Лев Бердников подаёт это как факты служения России, а не еврейской исключительности.

Не могу умолчать и ещё об одном впечатлении от книги. Последний очерк в ней лишь мельком заглядывает в начало XX в. Но при чтении её сами собой напрашиваются ассоциации и параллели с последующей историей евреев в России вплоть до сегодняшнего времени, позволяющие взглянуть на неё под новым углом и, возможно, искать и находить новые решения проблем, обращаясь к забытому старому.

Хорошо подобранные самим Автором иллюстрации (к сожалению, не цветные, но это сделало бы книгу не продающейся) точно ложатся в содержание книги и гармонируют с её литературным стилем.

Книга, вероятно, будет встречена по-разному разными читателями.

Историк, отметив солидность списка литературы, может попенять на общий его характер, оставшись неудовлетворённым отсутствием принятого в исторической ли-

тературе справочного аппарата с постраничными ссылками и т.д. Подзаголовком "литературные портреты" Автор оставляет себе право на это. Мне думается, что серьёзное исторические исследования Автора, положенные в основу книги, ничуть не проигрывают от стиля их изложения.

Религиозный еврей может отбросить книгу, потому что речь в ней идёт о «выкрестах» – метафорически умерших евреях. Впрочем, книги о знаменитых евреях тоже не брезгуют ими, а для исторических очерков мировоззренческие предвзятость и цензура просто противопоказаны.

Антисемитствующих патриотов может задеть то, что само слово «патриот», равно как «революция» и «гражданин», введено в русскую речь евреем Шафировым, что у истоков российской милиции стоит «первый российский мент» – еврей Антон Дивьер, а преобразований российской почты – еврей Фридрих Аш и т.д.; слишком многие вещи оказываются не суконно-посконно русскими.

Один из таких «патриотов» (один ли?) в начале 1990-х закатил скандал в школе своего сына, схватившего трояк по русскому языку: «До каких пор в русской школе русских детей будут учить русскому языку евреи?!». Ответа на этот вопрос нет – пока что учат. Правильнее было бы спросить: «С каких пор...?» – с давних пор обучения русскому языку двух Петенек: будущего императора Петра I – евреем Никитой Зотовым, а будущего Петра III – евреем же Исааком Веселовским. Впрочем, нельзя исключить и того, что такие патриоты будут размахивать этой книгой как доказательством извечной еврейской вины за все беды и неудачи России.

Но незашоренный профессией и взглядами читатель будет удовлетворён. Даже если ему известно многое из рассказанного в книге, он получит удовольствие от хорошего языка и занимательности, от ненавязчивых, но убеждающих сопоставлением разных мнений и дискуссий с оппонентами. Льву Бердникову удалось написать книгу, которую с её недлинными главками-очерками можно читать в метро, можно – в кресле у камина, мысленно переносясь в минувшее, а можно за письменным столом с карандашом в руках, делая из книги для всех книгу для себя. Книга состоялась не только как факт литературы, но и как факт ненавязчивого исторического просвещения, оставляющего читателю открытые возможности думать и делать выводы.

ВАСИЛИЙ МОЛОДЯКОВ

НОВЫЙ СБОРНИК СТИХОВ ФИКТОРА ФЕТА

Виктор Фет. Отблеск. Новосибирск: изд. Гео, 2008. 163 с. 500 экз.

Предыдущий сборник стихов Виктора Фета назывался «Многое неясно» (2004). Рецензию на его новую книгу «Отблеск» можно было бы озаглавить «Многое ясно» или «Многое стало ясным». Окончательно определился творческий «почерк» поэта – и вместе с тем его место в современной русской поэзии.

Быть поэтом с такой фамилией трудно, тем более что Виктор Фет совсем не похож на своего знаменитого однофамильца. В современной литературе его творчество – это в равной мере относится к обоим сборникам, которые как бы дополняют друг друга, – единственный, на мой взгляд рецензента, успешный опыт того, что Валерий Брюсов в начале 1920-х годов называл «научной поэзией». Он был уверен, что «поэт должен, по возможности, стоять на уровне современного научного знания и вправе мечтать о читателе с таким же миросозерцанием», поскольку «все, что интересует и волнует современного человека, имеет право на отражение в поэзии».

Однако, у «научной поэзии» Брюсова мало поклонников. Одним она кажется перегруженной «учеными словами» в ущерб ясности мысли и художественным достоинствам. Другие упрекали автора в отсутствии «подлинно научного» мировоззрения. Третьи указывали на неудачное сочетание малопонятной лексики с экспериментальным стихом, отмеченным влиянием футуристов. В итоге под сомнением оказалась сама возможность «научной поэзии», в которой «поэзия» и «наука» будут сочетаться органически, а не перевешивать одна другую, образуя дисбаланс.

К Фету применим разве что первый из этих упреков: он нередко – в «Отблеске» чаще, чем раньше, – злоупотребляет научными терминами и реалиями, которые не относятся к общеизвестным. Брюсов снабжал свои последние сборники пояснениями, за что заслужил эпиграмму: «Писать стихи теперь не буду, а только примечанья к ним». Фет к своим стихам примечаний не пишет принципиально – и, на мой взгляд, правильно. Но часть стихотворений проходит мимо читателя-гуманитария. Или остается для него красивой, но непонятной загадкой, вроде изящной «Анатомии растений»:

Еще никто не брал в поэмы
Всей анатомии анналы,
Сосуды нежные флоэмы,
Ксилемы мертвые каналы.

Насколько «научно» мировоззрение Фета? Судить не берусь, не имея строгих критериев. Но мировоззрение у него, безусловно, есть: поэзия Виктора Фета интеллектуальна (прямая противоположность однофамильцу Афанасию!) не только благодаря использованию «умных слов». «Я никогда не мог понять, зачем у истины нет четких атрибутов», – говорит автор. При чтении «Отблеска» на ум постоянно приходят формулы вроде «поэзия мысли» или «поэзия научного поиска». Вставил бы их в рецензию, если бы они не были так опошлены и затерты за многие десятилетия. Лучше вспомнить традиции русской натурфилософской лирики, идущие от Ломоносова.

Главное в творчестве Фета то, что это именно п-о-э-з-и-я. «Научной поэзией» часто называли переложение научных теорий или выводов в бойкие, а то и корявые вирши, наподобие санпросветовских стишков, – или, напротив, графоманские экзерсисы маститых ученых, лишенных литературного таланта. Автор «Отблеска» не грешит ни тем, ни другим. Он не стремится пересказать читателю азы своей науки или содержание последнего доклада по специальности. Он – мастер классического стиха (укажу хотя бы превосходный сонет «Залив»), того стиха, показное пренебрежение к которому у многих современников скрывает неумение справиться с его строгими требованиями. Высказывая в стихах остроумные и парадоксальные гипотезы, как в стихотворении «Теория», он ни на минуту не забывает, что это стихи. Точнее, что стихи здесь первичны, что без них не будет ни «научной» поэзии, ни «ненаучной».

Характерная черта поэзии Фета – глубокая укорененность в русской литературе (хотя отсылки к «пушкинскому свету» и «гоголевской тьме», мягко говоря, не оригинальны) и в то же время отсутствие конкретных примеров для подражания. Фет – поэт, бесспорно, оригинальный. Единственное имя, которое во время чтения приходило на ум автору этих строк, нигде у него не фигурирует. Но уверен: без Вадима Шефнера здесь не обошлось. Может быть, на «подсознательном» уровне.

Именно Шефнер в стихах второй половины 1950-х и 1960-х годов добился того органического сочетания «поэзии» и «науки», когда «с наукой смыкается точной точеная точность стиха». Будучи тонким лириком, он принял в свою поэзию реалии эпохи НТР, осмыслил их и вдохновлялся ими, как Любовью, Природой и другими традиционными «источниками вдохновения», не противопоставляя одно другому. «Науки» у него меньше, чем у Фета. Больше ли «поэзии»? Дело вкуса – во всяком случае, стихи Шефнера понятны без примечаний.

Иногда совпадения кажутся просто поразительными. Вот начало одного из лучших стихотворений «Отблеска»:

Полевой палеонтолог,
Различи на склонах лет,
Оттиск, отзвук, отблеск, сколок,
Список, снимок, слепок, след.

А вот Шефнер – правда, конца семидесятых, когда его манера претерпела существенные изменения:

Подытожь меня, художник,
Сотвори на склоне лет
Из набросков всевозможных
Мой законченный портрет.

Случайность? С «научной» точки зрения, наверно, да. А вот с «поэтической» – едва ли.

Несомненный, и редкий в наши дни, талант Фета – владение «большим жанром», особенно сюжетным повествованием (сцены в стихах – как жанр – удаются автору меньше). Это особенно заметно в поэме «Натуралист», которую хочется процитировать целиком. «Век эпических поэм», возможно, «умчался», но сетовать о том, что «повести в стихах пришли в упадок» рано. Хотя соперников на этом поприще у Фета пока не видно.

Рецензенты прежних времен любили писать о «творческом росте» поэта от книги к книге, подразумевая под этим «преодоление» написанного ранее. В этом смысле «творческого роста» в новой книге Виктора Фета не видно: он «закрепляет достигнутое» в предыдущем сборнике, демонстрируя серьезное отношение к своему творчеству. Хочется особо отметить превосходное оформление и качество печати обеих книг.

Токио

ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЖЕНЩИНЕ
(О стихах Давида Шраера-Петрова)[1]

Сейчас многие пишут стихи. Однако не все пишущие – поэты. Огромное число самозванцев. Как их определить? Ну, первое, самозванцы не понимают «цену слова». Ставят слова куда ни попадя, любые слова в любое место. Еще один – очень важный для меня – критерий: от настоящих стихов идет тепло, они «живые». Так экстрасенс по исходящему от невидимого предмета теплу определяет, с живым или мертвым «объектом» имеет дело. У настоящего поэта (как, впрочем, и у писателя) есть свой мир, пусть небольшой, но обжитый, со своей главной тропинкой-темой, с побочными дорожками-мотивами, со своим способом рассказа – ассоциациями, метафорами... И вот открываешь небольшую книжку стихов с ничего не говорящим названием «Две книги», видишь имя автора – Давид Шраер-Петров, встречаемое тобою в эмигрантских изданиях и все же малознакомое, и начинаешь читать без особой надежды что-то для себя открыть... И неожиданно, где-то в середине книжки, видишь: поэт. Но даже и тогда не сразу берешься за «рецензию» – бывает, что слишком далека от тебя чужая книга, чужая тропа... А тут оказалось, что некоторые мои сегодняшние мысли идут в унисон с поэтическими раздумьями Шраера-Петрова, его темы мне интересны. И уже в этом случае приходится откладывать все ранее намеченное и садиться писать рецензию.

На белой, глянцево блестящей обложке графические экзерсисы милого художника Сергея Голлербаха. Человеческие фигуры в странных эротических ракурсах. Художник словно задал некую ноту, вокруг которой будут строиться поэтические вариации. В обеих книгах, носящих название «По направлению к морю» и «Некоторая тоска по мессии», главная героиня – женщина. Ей, подруге, спутнице в скитаниях, знакомой и непознанной, в сущности, адресованы и посвящены все эти стихи.

Если

Если откашливаться изо всех сил
можно выкашлять душу.
тело выйдет на сушу, отряхнется,
как вымокшая собака,
и побежит обследовать необитаемый остров.
тело будет пересекать необитаемый остров,
который станет еще более необитаемым,
потому что выкашлянная душа
останется высыхать в прибрежном песке.
как желтая медуза.
скажем: как желтая мезуза,
прибитая к берегу.
поскорее, поскорее скинь монашеские вериги.
скрученные из узловатых коричневых водорослей.
поскорее, поскорее превратись
в афродиту, лилит, еву, айседору, шехерезаду,
мою незабвенную маму.
поскорее, поскорее
выжми себя из себя, излей, отворись
прямо на медузу
моей души, прикоснись
лучиком крови, урины, слизи к священной мезузе –
знаку моего бессмертия...

Душа нуждается в прикосновении женщины – и поэт не боится соединить со словом «бессмертие» слова совсем иного семантического ряда, обозначающие телесные выделения: «урина», «слизь». В этих же стихах священная для евреев мезуза, «прибитая», правда, не к косяку дома, а к берегу, синонимична желтой медузе (желтой звезде?) Телесное одушевляется божественным, божественное окропляется телесным. Библейское отношение к плоти царит в этих стихах, нет в них христианского страха перед телом, «вторичным», «тленным» и «греховным». В Ветхом Завете, включающем и великую «Песнь песней», в земной человеческой любви нет ничего «животного», греховного и постыдного. Праотцы немыслимы вне своих «пар» – Сарры, Ребекки и Рахили. Бог благоволит их союзам, освящает их. В искусстве Нового времени можно припомнить разве что Климта с его «Поцелуем», гениально воплотившим эту же идею любви как божественного слияния мужчины и женщины.

В перечне «архетипических» женщин, олицетворяющих возлюбленную, вслед за Шехерезадой поэт помещает свою «незабвенную маму», что у кого-то может вызвать удивление и даже возмущение. Легко предполо-

[1] Давид Шраер-Петров. Две книги. Стихи. «Побережье»,Филадельфия, 2009

жить, что такое же возмущение вызвало когда-то обращение Блока к родине: «О, Русь моя! Жена моя!» Поэтическая логика здесь одна: мать и жена – два «архетипических» лика женщины, в чем-то амбивалентных; недаром, по поговорке, мужчина ищет в своей избраннице мать.

Первой в списке Шраера-Петрова названа Афродита, богиня любви и красоты, по преданиям древних эллинов, рожденная из морской пены на острове Кипр. В книге нашего поэта «греческий мотив» – один из основополагающих. Мало того, есть в сборнике два стихотворения, носящих название «Из Кавафи». Это явная мистификация, стихи, конечно же, принадлежат вовсе не классику новогреческой поэзии Константину Кавасису (1863-1933), обретшему признание только после смерти, а самому Давиду Шраеру-Петрову. Узнается не только его почерк, выдают реалии:

Можно заказать трехмерное фото
Твое и мое
И поставить
Твое и мое
Два трехмерных фото времен Черного моря,
Времен винограда и кукурузных початков,
Ослика,
Наглых парней
Из приморского парка...

Вряд ли у Кавасиса были подобные воспоминания, очень, однако, близкие нам, людям из России, хотя бы раз в жизни отдыхавшим на Черном море, лакомившимся изабеллой и вареной кукурузой и гулявшим в не всегда безопасных приморских парках. Стихи эти – о памяти, о «марафоне» жизни, об оставленных во времени родных и друзьях, которые в какой-то момент «остановившегося мгновенья» оказываются «ровесниками наших трехмерных фото». В сознании всплывает еще один грек – Платон, с его вневременным «умным местом», куда складываются все умные мысли, все идеи и, возможно, все воспоминания.

Второе стихотворение, озаглавленное «Еще из Кавафи», завершается важной для наших наблюдений строфой:

О, я схожу с ума!
Я не могу разглядеть
В дальних морях, в хороводе квартир, в скачке такси.
Я не могу своей остывающей памятью разглядеть,
Амфору тела возлюбленной
и цветы ее глаз, листья волос,
Ниспадавших на теплую глину, которую изваяли,
Чтобы ты сохранилась в памяти о бесконечной любви.

Поэт снова ведет нас по «греческому следу» – тут и «амфора тела», и «теплая глина, которую изваяли»... Возлюбленная приравнивается к Афродите, ее тело повторяет «амфор изгиб». Греческая символика встречается и дальше. В стихотворении о питерце, перебравшемся в Америку («Соломон Новосельцев») нянька-родина уподоблена Парке, плетущей «всяческий зимний наряд», а там за «чугунными пиками зимнего парка», за «снежной орбитой» невидимо обозначается «плещущийся дельфинами Эвксинский понт». Нет, не для красного словца попало в стихи – «когда я на ощупь читаю Гомера»; эллинская древность усвоена, переварена и легко входит в плоть стиха, порождая сравнения: «ты меня кинь, как бутылку, в море эгейское./ там, где афины возносят акрополь...» («Закат») или: «пока мы с тобою одно/ – кувшин, черпак и вино» («А может быть?»).

Но образный мир Шраера-Петрова присвоил себе не только эллинство, но и иудейство. И зачастую эти два сегмента скрещиваются даже на территории одного стихотворения. Гомер соседствует с «пирующими братьями» «рыжего Иосифа» («Расщелина света»), а магическая луна, плывущая «как афродита в пенном облаке-волне» освещает чтение «Книги иудейской» тремя хасидами «в черных шляпах» («Магическая луна»).

«Еврейский мотив» – второе плечо сборника, он так же, как и «эллинский», служит «несущей конструкцией» для святилища той самой «афродиты, лилит, евы...». Пишу имена с маленькой буквы, так как цитирую самого поэта, у которого в книге «Некоторая степень тоски по Мессии» с большой буквы разве что Б-г. Интересно проследить значение слова «Мессия» в стихах этой второй книги. В стихотворении, давшем название всей книге, после предположения, что мессия «уплыл навсегда», следует довольно странный конец:

твой мессия. / мой мессия. /
у каждого свой. / я у тебя / твой.

Получается, что лирический герой и есть мессия для своей избранницы. Подобное же утверждение встречаем в стихотворении с длиннющим названием, посвященном математику Григорию Перельману. Любовь делает человека Мессией, и ожидание любимого сродни ожиданию Божества.

когда возникает зов, либидо, гон, охота, страсть, тяга,
.....
летят в небо фонтаны петергофского дворца,
летит в балтику ладожский лед,
летит женщина к своей судьбе,
распахнутая, как халатик,
когда дверной звонок
возвещает о приходе мессии.

В стихах о разномастной компании беглецов из разных стран, распивающих «кьянти», тема Мессии связывается с поисками счастья в Америке, конечной цели побега:

«мы все бежали в америку, как будто бы там обитал мессия» («Закат на берегу Тирренского моря»). В «Библейских сюжетах» рассказана забавная история: в одном из переулков Флоренции из молельного дома навстречу герою идут старые итальянские евреи.

один из стариков замешкался,
начал вглядываться в мое лицо.
засовывать в мешки подглазий мою одежду
и там изучать, как старьевщик.
он узнал во мне мессию?

Мне увиделся здесь мотив человеческого, точнее, «родового» узнавания, чему не помешали ни незнание языка, ни разделяющая этих двоих «цивилизационная» пропасть.

Во второй книге неожиданно возникает «египетская тема», связанная с историей Моисея, избавителя евреев от трехсотлетнего египетского рабства и, согласно нашему поэту, также нареченного Мессией. Стихотворение «Уличный гуляка» вносит новые подробности в библейский рассказ о появлении младенца Моше у дочери фараона. Оказывается, – не иначе, Шраеру-Петрову открылись какие-то неизвестные доселе источники – еврейского мальчика спас сын фараона:

наследный принц, гуляка, едок
слышит, как молвит Б-г:
видишь, звезда горит на двери?
младенца у матери забери,
в корзинку смоленую положи,
рок отведет ножи.
корзинка качается на волне.
нил успокоен вполне.
(«Уличный гуляка»)

Эту же тему – спасения Моисея-Мессии, но уже перенесенную в наши дни, встречаем в стихотворении «В ресторанчике над океаном». В провинциальном американском ресторанчике на берегу океана поэту и его подруге померещилось, «как чайка, /пройдясь над растеньями бурыми,/ обнажила корзинку с младенцем,/ которому снился египетский сон».

Порыв подруги, рванувшейся «сберечь мессию», был напрасным: все оказалось лишь видением. Принципиальным для автора книги представляется конец этого стихотворения, под которым (уникальный случай!) стоит дата 31 декабря 2005. Встречая Новый год, поэт предается невеселым размышлениям о выпавшей его семье скитальческой судьбе, не подвластной ни разуму, ни пророчествам...

да какая там Книга!
да какой там младенец египетский!
это наши скитанья с тобою
по житейской пустыне,
где пророчества – чистая фальшь.

Некоторым обобщением всей «мессианской» темы представляется мне стихотворение

с символическим названием Норд-Вест. Затерявшийся в американском городе «ветер странствий» наводит поэта на мысль о благости «исхода».

в этом, наверно, и есть мессианство:
племени карту переиначить
даже ценой трехсотлетнего плена,
если за ним последует счастье
соединения с Б-гом исхода.

Что ж, об исходе, скитальчестве, разных климатах и разных морях – северных и южных – в книге очень и очень много. Мотив этот переплетается с вечными «хайямовскими» вопросами: откуда мы? куда мы? зачем мы? Одно из наиболее удавшихся стихотворений сборника «Утренняя флейта» сплошь состоит из подобных «вопрошаний». Драматизм положения вопрошающего усугубляется тем, что он попал в «чужой» мир, где люди идут по своим привычным и обихоженным дорогам: американцы слушают в машине радио и попивают свой утренний кофе в стаканчиках с пластмассовой крышечкой, христиане в воскресенье посещают церковь, иудеи по субботам – синагогу, у всех свой размеренный быт и сложившийся распорядок. А чужаки и скитальцы, глядя на все это, только и могут вопрошать:

Какие мы?
Куда мы едем?
Зачем люди ходят в синагогу и церковь?

Сложнейшие вопросы, на которые у поэта есть все же свой ответ. В этом чужом мире *он не один*. «Перышком звука» (счастливо найденный оборот!) нежная флейта рисует:

Берег моря, два обнаженных тела,
Плавки и купальник на песке,
Чайку в небе,
Шоссе и автомобиль, в котором едем
Мы с тобой.
Куда?

Мне кажется, что *куда?* в контексте стихотворения звучало бы гораздо безнадежнее, если бы не было этого *мы с тобой*.

Я процитировала довольно много стихотворений, так что читатель, думаю, получил некоторое представление и о поэте, и о его книге. Она маленькая – всего 71 страница. И в качестве дружеского совета я бы предложила поэту убрать из нее несколько лишних стихотворений – случайных, никаких, посредственных. Все же отбор – вещь великая. И не опровергая утверждения автора (отстаивающего «первое впечатление»), что тексты править не надо (См. стихотворение под названием «Надо ли править тексты»), я бы внесла в него уточнение: некоторые надо. Например, такие:

Газета местная *не занимала* достойного ей уваженья/ В нашем доме.

В ряде стихов, написанных «свободным размером», мне бы хотелось большей выверенности и упорядоченности ритма в рамках избранной поэтом ритмической системы.

Теперь ты не вернешься никогда
На землю как человеческая личность.
(«Мост над Стиксом»)

Все же, эта «человеческая личность» выбивается из строки и создает «аритмию», неприятную как в жизни (врач по первой профессии, Шраер-Петров знает об этом не понаслышке), так и в поэзии. Наверное, кто-нибудь скажет на это, что «перебои» ритма встречались даже у «классика» Тютчева (Смотри его знаменитое Silentium!).[2] Но то Тютчев...

В стихах Шраера-Петрова много мальчишеского азарта, игры со словом, веселых каламбуров, *экспериментов с формой*, что было свойственно его знаменитому одноглазому тезке, подвизающемуся на ниве живописи в начале прошлого века. Хорошо, что у Давида сегодняшнего остался молодой запал и не исчерпался источник вдохновения.

А напоследок скажу несколько слов «в похвалу» избранному поэтом направлению, обозначенному мною в заглавии этой статьи. Поэзия во все века вдохновлялась женщиной, ее (поэзии) основным содержанием была любовь или спектр человеческих чувств, порождаемых любовью... Но все изменилось в наши дни. Рассматривая новейшие поэтические антологии[3], вижу с удивлением и горечью, что из стихов уходит любовная тема. Не говорит ли это о том, что из жизни уходит любовь? Во всяком случае, люди делают вид, что есть на свете что-то более привлекательное – путешествия, секс, карьера и обогащение... Велики сегодня соблазны однополой любви, на мой взгляд, далеко уводящей в сторону от столбовой дороги человечества. У любви мужчины и женщины есть в наше время еще один «враг» – эксперименты со стволовыми клетками, позволяющими выращивать «живое существо», «гомункулуса» в пробирке. Может, человеческая любовь должна отмереть как нечто лишнее, ненужное, архаическое? И вот в этой опасной для любви ситуации книга стихов Давида Шраера-Петрова не могла меня не обрадовать. Мужчины, разве вы не видите, что мир без женщин – любимых женщин – становится тусклым и лишенным колдовской притягательности? Неужели вы не согласитесь с поэтом, пишущим о своей избраннице:

Давнишним голосом от моря увела,
От белой цапли[4], от тоски безмерной,
Обратно к жизни, где долги, дела
И мирра аромат и запах серный.

Бостон

---

[2] Кстати, совсем недавно слышала в записи чтение этого стихотворения Владимиром Набоковым, который, добавив некоторые слова, убрал все ритмические нестыковки и выровнял ритм стихотворения, что, каюсь, не доставило мне удовольствия.

[3] См. мои статьи: Бегство от пустоты (Поэзия Новой Англии). Нева. № 6, 2007, а также Побережье: первые пятнадцать лет. Нева. № 4, 2008

[4] Стихотворение называется «Ночная цапля», в его контексте «белая цапля» - это смерть.

ИГОРЬ МИНУТКО

ПОКАЯНИЕ ВПЕРЕДИ

Заметки о романе Михаила Садовского "Под часами", изд-во "Зеленый век", Москва, 2003 год.

Некая дама, Надежда Петровна, работник культуры, ведающая сектором театров, с подругой Машей, дабы забыть на время тяготы и суету рабочих и бытовых будней, отправляется в туристическую поездку заграницу. "Оттянуться", сказали бы в наши дни. Но – эпоха:минувшая, 60-е годы прошлого века, глухая пора застоя.

Шереметьево-2. Зал ожидания. Скоро объявят посадку на их рейс. Подруги нетерпеливо посматривают на табло.

"И вдруг что-то неуловимое послышалось в зале ожидания. Шорох. Гул голосов. Движение воздуха. Обе женщины повернули головы. Из одного конца зала в другой медленно и как-то обреченно двигалась темная масса: тележки так нагружены чемоданами, что не видно было идущих за ними людей. Они как самоходные груды скарба, шурша колёсиками, плыли, побуждаемые чьей-то волей. Выливаясь из-за поворота, эта темная лавина надвигалась на свободное пространство, вытесняя из него, казалось, свет и воздух. Какая-то стена напряжения и тревоги двигалась перед ними и охватывала всех ожидающих. Вот эта лавина стала распадаться на отдельные глыбы, состоящие из тёмно одетых людей с напряженными лицами, детей, крепко прихваченных родительскими руками, харкающих стариков, некоторых везли в индивидуальных креслах. Все шли молча, сосредоточенно, тихо переговариваясь, сгибаясь под тяжестью скарба, дозволенного взять с собой.

"Куда и от кого они бегут с тревогой и молитвой на лицах? – И вдруг страшная мысль оглушила Надежду – от нас! От нас ото всех бегут евреи! Неужели столько евреев? Ну да, всё время же твердили – и твердят: евреи захватили всё вокруг, еврейский плен, еврейская мафия. Они убегают с Родины, от Родины. На такое могут толкнуть только страх и отчаяние. Почему?..

Надежда встала и смотрела вслед последним уходящим со своими тележками беглецам. Казалось, огромная воронка утягивает их в свою бездонную неизвестность. Она вдруг представила себя на месте этих людей, несчастных. Несчастных?.. – Надежда вздрогнула. – А если счастливых? Если они счастливы именно сейчас, в эти минуты, и лица их потому так напряжены, что они боятся в последний миг лишиться своего счастья, упустить его?! Это счастье обретения свободы, а не тоска расставания с Родиной!! Что тогда? Как тогда жить, если они счастливы? Можно ли нам тут оставаться счастливыми? В наше время! "Время, время, время", стучало у неё в висках.

И она не нашла ответа.

Таков финал романа Михаила Садовского "Под часами", который писатель закончил 16-го июня 2001 года, в субботу, в Сент-Луисе, США.

В этом впечатляющем фрагменте воплощена квинтэссенция сочинения Садовского, его доминанта, в нем сострадание, сочувствие, страстное желание придти на помощь беглецам (если их в последний момент остановят, завернут обратно). Но как это сделать?.. И еще: в этом напряженном тексте – любовь автора к своему народу в тяжкую годину его бытия в России. В который раз! И не только в России.

Исход еврейского населения из Советского Союза в 60-70-е годы прошлого века – одно из преступлений кремлевских правителей нашей несчастной страны. И национальный грех, пока не смытый позор каждого русского человека.

Но есть – есть надежда! То, что происходит в зале ожидания Шереметьева-2 видит русская женщина, показанная автором в романе "Под часами" как черствая алчная карьеристка, высокопоставленная чиновница, занятая только собой, купающаяся в номенклатурных привилегиях и любовных похождениях. И вдруг! – "Они боятся в последний миг лишиться этого счастья. Обретения свободы. Как тогда жить, если они счастливы, (сейчас, в эти мгновения прохода через зал ожидания, – следует добавить. – *И.М.*), можно ли нам оставаться счастливыми?.." Так просыпается русская совесть – первый толчок, стремление помочь, понять, не допустить насилия. А это уже путь к Покаянию, без которого Россия не станет счастливой, свободной, демократической страной.

Общенациональное покаяние русского народа грядёт. Неотвратимо. Покаяние перед всеми жертвами коммунистического режима – перед миллионами политических зэков, загубленных в архипелаге ГУЛАГ, перед миллионами крестьян, истинных кормильцев России, сосланных к полярным снегам, на погибель, перед репрессированными народами Кавказа, Крыма, Поволжья, Азии, и перед десятками тысяч еврейских семей, для которых Советский Союз был родиной, и вот – преследования, "пятый пункт" в анкетах, выдавливание – всеми условиями жизни – из родных городов и поселков ("Катитесь в свой Израиль!").

Я слышу хор негодующих голосов: в чем мы, русские, живущие сегодня, виноваты перед жертвами Сталина, его окружения и последышей тирана после его смерти?" Всё достаточно просто, дамы и господа. Уж извините, просто, как мычание: мы – наследники той страны, в которой наши родители (для старшего поколения) деды и прадеды, бабушки и прабабушки (для сегодняшних молодых поколений) позволили, начиная с 1917 года, новым правителям страны превратить её во всегосударственный застенок для всех народов, населяющих "первое в мире государство рабочих и крестьян"

От исторической правды не уйти -- именно так: они в целом приняли материалистическое учение кремлевских олигархов о социализме ленинско-сталинского образца, признали их преступную мораль, не боролись и, в целом, избрали позицию соглашательства и сотрудничества с властью. Мы сегодня – наследники той России, которая была при коммунистах. Мы обязаны искупить грехи наших предков. Они уже не могут покаяться. Это должны сделать мы – их наследники, ибо в нашем генетическом коде живет карма их душ без покаяния. Я убежден: да! Да! Наше Покаяние грядет. Иначе у России не будет достойного будущего. К этому Покаянию страстно и мощно призывает роман Михаила Садовского "Под часами".

Так о чем же он?

Услужливая память подсказывает банальный трюизм поэтического классика: "О времени и о себе". Но, оказывается, как точно!

"О времени". Да, роман "Под часами" о тяжком, " застойном" времени нашей страны с краткими ретроспекциями в прошлое. В этом времени живут герои и антигерои драматического, напряженного повествования, чрезвычайно насыщенного творческой энергией. При этом автор выбрал достаточно сложную фабульную форму изложения, чтение романа требует вашего постоянного внимания, даже напряжении, достаточно часто приходится возвращаться к уже прочитанному, чтобы не упустить сюжетные линии, разобраться в них. Но Михаил Садовский доверяет своему читателю, он не хочет тратить время и текстовую площадь на азбучные разъяснения. И в результате чтение превращается в захватывающую работу, становится интеллектуальным наслаждением. Это ли не один из главных критериев, истинной Литературы.

"О себе". И тут – известная истина: о чем бы ни писал талантливый писатель – он пишет о себе. В нашем случае эта истина конкретна – роман "Под часами" – о творческой интеллигенции "того времени": Писатели, поэты, драматурги, художники, чиновники от культуры – вот основные персонажи. И есть главный герой, Автор, и главное событие: история создания и воплощения на сцене некоей пьесы, поставленной к очередному Дню Победы в Великой Отечественной войне. Нет, все-таки, пожалуй, на лицо два главных героя: Автор и таинственный поэт, скрывающийся под псевдонимом " С. Сукин":

Грудь в орденах сверкает и искрится,
Невидимый, невиданный парад.
Всегда ведёт, гордясь собой, убийца
Под погребальный перезвон наград.

В авторском предисловии к роману "Под часами" зафиксирована дата, когда Михаил Садовский приступил к его написанию: Москва, среда, 15-е сентября 1999 года. Дата стоит под обращением к матери, которое начинается словами: "Мама, неужели для того, чтобы понять, как ты нужна и близка мне, надо было потерять тебя?", и кончается так: "Позволь мне пригласить тебя на эти страницы, не в качестве персонажа, на такую дерзость я бы никогда не решился, – в качестве советника в моих раздумьях".

И все-таки Мать автора становится персонажем романа, да ещё каким! Через всё повествование проходят эти беседы, диалоги-размышления, диалоги-споры. На еврейском кладбище у могилы матери писателя и главного героя романа, Автора (и это его подлинное имя; "Ав" – называют его друзья), и это автор пьесы, упомянутой выше. Писатель Садовский, создающий роман "Под часами", и Автор, пишущий пьесу, совмещаются в одном лице. Эти, потрясающие своей глубиной и драматизмом, кладбищенские беседы постепенно приобретают – как сказать?.. – реально-мистический характер: однажды Автор приводит на кладбище любимую женщину, Татьяну, художника-кукольника (кстати, блестящий многоплановый образ), она после краткого монолога-обращения Автора к матери, потрясена следующим:

"И вдруг Татьяна вздрогнула. Она явно услышала женский голос и невольно обернулась на него. Он (Автор – И.М.) стоял, опершись руками на черную ограду, и, казалось, стремился туда, в глубину холмика, или его тянуло, а он не в силах был раздвинуть дёрн и серую плотную поверхность могилы.

– Ты не прав, сын мой. Ты не прав. Ты еще не знаешь настоящей боли".

В сложной структуре романа эти беседы матери и сына, и сюжетный стержень, скрепляющий всё в нем происходящее в крепкое фабульное целое, и – горестный, но мужественный, обнаженно-открытый рассказ о жизни интеллигентной еврейской семьи в "советскую эпоху", в которой, как в капле воды, отражается судьба еврейского народа в Советском Союзе – тогда, "в то время".

Испытываю искушение кратко пересказать содержание романа "Под часами". При чтении, – внимательном чтении! – оно требует расшифровки. Почему под часами? Что там – под часами? Пока скажу одно: под ними – замершее спрессованное время, зафиксированное "легким пером" Петра Михайловича (он же Пинсух Мордкович; вот имечко – радость для антисемитов) – кто таков? А загадочный поэт С. Сукин? За сим псевдонимом скрывается Слава Смирнов, в детстве оказавшийся в колонии для еврейских детей репрессированных родителей. Русский мальчик в такой колонии?

Может быть, есть какая-то связь между Славой и Петром Михайловичем, он же? Может быть, всё может быть, дамы и господа! А теперь – 60-е годы – С. Сукин, пройдя войну, причем в разведке, тайно пишет стихи, и рассылает их – тоже тайно – по редакциям газет и журналов, не сообщая обратного адреса, и они попадают к Автору, и на их основе он к очередному юбилею Дня Победы пишет пьесу, блестящую пьесу, которую ставит конъюнктурный режиссер Павел Васильевич (Пал Силич), вот уж, воистину, собирательный образ "деятеля искусств", выпестованного советской эпохой! Однако ж, несмотря на все препоны партийную власть предержащих (и в их числе упомянутая в начале этих заметок Надежда Петровна, любовница Пал Силича), спектакль получается тоже блестящий – аншлаги, восторженная пресса, премии и звания. Да что же творится? Фантасмагория какая-то. Дамы и господа, загляните под часы, выпустите на свободу спрессованное время.

Теперь, в финале заметок – к главной их теме. Есть в романе Михаила Садовского вроде бы второстепенный персонаж, старый одинокий еврей Соломон, волею обстоятельств втянутый в орбиту всего происходящего. Узнаёт Соломон, что можно попытаться, если власти отпустят, (интересная политика этих загадочных властей в "еврейском вопросе": с одной стороны – катитесь ко всем чертям, с другой – не отпускают, престиж страны подрывается, видите ли, евреям плохо, некомфортно живется в нашем социалистическом раю, который весь насквозь – сплошная "дружба народов"). Ладно. Словом, возмечтал старый Соломон попасть на землю обетованную: "Я хочу там посидеть на горячем пыльном камне, и потом можно умереть".

И вот он у начальника, сами понимаете, где. Где решается вопрос мечты нашего Соломона. Фрагмент беседы:

"– Вы знаете, молодой человек, Вы производите неплохое впечатление. Я вам скажу откровенно. – Я слушаю внимательно, – подался вперед начальник.

– Я живу напротив синагоги. То есть, жил. А потом, когда был погром, синагогу сожгли. И теперь, каждое утро, когда я подхожу к окну и вижу этот пустырь и сгнивший забор, мне кажется, что сейчас эти *хазейрем* опять постучат в дверь и дадут мне топором по голове.

– Ну! Ну!

– Я понимаю. У вас тут не говорят таких вещей. Но мне нечего бояться.

– Тут?! О, тут всякое говорят, – махнул рукой начальник.

– Дело не в этом. Эта страна, в которую я хочу уехать, и которую вы называете недружественной, вместо того, чтобы назвать просто Израиль, она мне очень даже дружественная. Потому что там нет погрома, не горят синагоги и нет Сибири.

– Это же крошечная страна!

– Вот и хорошо! Там нет Сибири, и поэтому я не...

– Вы не правы! Давайте мы вас переселим в другое место.

– Спасибо, – сказал Соломон другим голосом. – Спасибо. В другом месте я увижу разбитую церковь. Вы думаете, это лучше?.. Между прочим, Иисус был тоже еврей, и за это мне сделали погром. А на могилу к моей жене и Ракелечке я все равно не могу придти, потому что не знаю, где они лежат. Но оттуда, в Израиле, к ним дорога короче, понимаете?.."

Когда-то давным-давно, в другой жизни, в советском кинопрокате был потрясающий итальянский фильм – "Нет мира под оливами". Сицилийская мафия, вражда кланов, кровь, насилие.

Пока в России хотя бы один еврей или еврейка, неважно – молодые они или старые – ощущает себя так же, как Соломон, не будет мира под русскими березами.

Дек. 2005 г., Москва.

ЛИАНА АЛАВЕРДОВА

СВЕТЛА МОЯ МУЗА...

О новом сборнике стихов Марины Гарбер «Между тобой и морем». Изд-во «Нового журнала», Нью-Йорк, 2008 г.

В наши дни, когда почти все мыслящие *стали пишущими, а почти все* пишущие *печатаются или выставляют свои произведения на интернете, читателя захлестывают волны литературного творчества классиков, современников, новичков, графоманов... В поэзии, например, кто-то изощряется в остроумии, у кого – тяга к постмодернистскому трепу и игре заезженными цитатами, и не так-то часто можно встретить настоящую лирику, лирику в чистом виде. Поэтому, считаю, мне повезло, когда я открыла для себя поэзию Марины Гарбер. Сама Марина (с удовольствием произношу имя, ставшее легендарным) при личной встрече поражает распахнутостью таланта и душевной щедростью, что, опять-таки, является редкостью в любой творческой среде, где собратья по перу настороженно следят за успехами друг друга и скупы на похвалы. Ее манера чтения, напевная и мелодичная, грудной голос, лирический водопад чувств, обрушивающийся на слушателя – всё завораживает...*

Если бы меня попросили двумя словами определить суть поэзии Марины Гарбер, то я сказала бы: «лирическая взволнованность». Когда поэт неравнодушен к тому, о чем пишет, будь то закат, Тулуз-Лотрек, «изумрудные ели» или французская свадьба, то происходит то, что сама поэтесса обозначила так: «я стихи не пишу – выдыхаю». Отсюда и переполненность образами, насыщенность стиха, некая избыточность как признак лирического дара. Некоторые же стихи поражают удивительной отточенностью и изобразительностью:

Прохожий – воротник приподнятый,
не по весеннему закутанный,
так и пройдет, никем не понятый,
да что непонятый – неузнанный.

Стихи Марины Гарбер не подлежат тематическому дроблению, как невозможно расчленение живого опыта души, осмысливающей и пропускающей через себя, как сквозь сито, плотную реальность происходящего. Они не просты, стихи Марины, и требуют внимательного прочтения. Недостаточно скользнуть взглядом – надо осмыслить. И сильный образный строй, и некая «зашифрованность» чувств, идущих подтекстом, призывают к этому.

Бывают поэты «короткого» и «длинного» дыхания. Одному для того, чтобы «выговориться» на определенную тему, нужна поэма, цикл стихов, длинное стихотворение, другой же ограничится коротким стихотворением. У Марины дыхание длинное: раскручивает образный ряд, нагнетает драму или расслабляюще баюкает ритмическим рисунком – ведет читателя дальше и дальше... Вот стихотворение «*Scripta manent*». Череда сравнений мерной торжественной поступью надвигается на читателя, как римская фаланга:

Как стечение обстоятельств, которых не обойти,
ибо, как восход солнца, – неотвратимы;
как стрела Amore, свистящая на пути
к цели, словно от страха пролететь мимо...

– и так всё предложение. Поток сравнений «раскручивается», переходя на следующую страницу, постепенно покоряя читателя и завораживая его, чтобы выдохнуть заключительным аккордом, *pianissimo*, в самом конце: «итальянская музыка, светлая моя Муза...»

Так же, натянутой тетивой, держит и не отпускает внимание читателя стихотворение, начинающееся со строк:

Я иду к тебе поступью тигра – в капкан –
С упоительным рвением, не замечая
Ни людей, затаивших дыханье, ни ран,
Мне обещанных...

Марина Гарбер органично продолжает прекрасную «итальянскую» линию русской поэзии, поэтов, впитавших в себя щедрую солнечную культуру далекой прекрасной страны. Блок писал: «ты как младенец спишь, Равенна, у сонной вечности в руках»; Иосиф Бродский облюбовал Венецию; а Мандельштам был очарован католицизмом, думается, прежде всего из эстетических соображений и, конечно же, в знак протеста против взрастившей его среды, в акмеистической тоске по мировой культуре воспевая далекие страны и атрибуты иной, недостижимой жизни. Марина Гарбер жила в Италии и любит ее культуру, которую, право, трудно не полюбить. Тем более странным диссонансом вдруг прозвучало в ее стихотворении «Италия», слова об этой стране: «...я ей завидую. Но не могу принять». Так и хочется спросить: почему? Что мешает? Мне кажется, это просто слова, и я им не верю, поскольку всё стихотворение так и насыщено любовью к Италии. В поэзии Марины и ее душе сплелись итальянское солнце и русская грусть, страстность и меланхолия. Может быть, эта русская грусть и мешает принять Италию? Не знаю, не знаю... Поэты вообще любят пестовать и лелеять грусть, иногда совершенно беспричинно, по традиции.

Поэзия Марины – негромкая поэзия. Напряженно вслушиваясь и всматриваясь в происходящее, поэтесса создает гармонию, замешанную на полутонах и шепоте. «Шелестящее прощай» (не правда ли, прекрасная аллитерация?) и шелест в другом стихотворении, в строке «под звон и мед, под шум и шелест дня», и еще в одном: «шелест, как шепот павшего на колени». Этот кочующий «шелест», на мой взгляд, очень символичен. Шелест, шепот, ретушированность и приглушенность звуков при всей взволнованности и сдержанной страстности (да, страстности, не отрекусь от того, с чего начала! страстности иногда тигриной, иногда материнской, «мы с тобой однолюбы, мой ветер, как смерть, однолюбы», или: «в улыбке моей на взгляд, словно меч, разящий») – всё это создает удивительную поэтическую акварельную технику письма: размытость и узнавание контуров, пейзажная лирика и монолог трепетной души...

Ветер – один из героев поэзии Марины Гарбер. Он во многих стихах то раскачивает ели, то гонит волны, то вообще «Бог и царь». Дань ли это романтизму или какие-то глубинные подсознательные предпочтения – трудно судить, да и не суть важно. Важно то, что ветер органически вплетен в образную ткань полотна, сотканного Мариной в ее книге.

Сборник стихотворений «Между тобой и морем» – это, конечно же, и книга о любви: к самым близким, ко всему живому, к людям, природе, культуре... Да разве

есть предел для любви у поэтического щедрого сердца? Наверное, нет...

Говорят, что поэтов надо судить по их вершинам их творчества. Для меня вершина поэзии Марины Гарбер совпадает с верхушкой высокой-превысокой ели в одноименном стихотворении, хотя у Марины дерево низкорослое и тихое. Это стихотворение – прекрасное, плавное, завораживающе ритмичное, и анапест раскачивает его, как ветер качает ель. Только вслушайтесь:

Далеко-далеко разрослись изумрудные ели,
Им и снег-то – не груз, им и ветер – твоя колыбель,
В их нестройном строю, посреди новогодней метели
Я найду и свою низкорослую, тихую ель.

Это тихое вступление служит прологом к дальнейшему таинству, долженствовавшему состояться. Лирическая героиня берет нас за руку, приводит в лес и там оставляет, зачарованных, и мы явственно видим картину, лаконичную в своей простоте: снег, женская фигура рядом с низкорослым деревом. Но далее картина наполняется деталями и начинает дышать, оживая:

Мне обещано небо – обрывок льняной над замшелой
Чернь-землей у корней, над морщинками мудрой коры.
Мне обещано зелени – мутной, сырой, переспелой –
Неуютной, как снег, и колючей, как время, иглы.

Иной критик придрался бы к «мутной» зелени. Что за мутная зелень такая? Это ж не вода! Но мы не иной критик и вообще не критик, а любитель поэзии, и мы увидим за этой мутностью приглушенность, размытость тонов, отсутствие блеска, то есть то самое родное для нашей поэтессы эстетическое поле, где она творит в наиболее близкой ей манере.

И вот там, у ствола, уронив, словно варежку, память
В неподвижный сугроб, прислонившись, обняв, обступив,
Ощутить эту жизнь не душою уже, а руками, –
Всю шершавую плоть, всю живучесть игольчатых грив.

Вы чувствуете крещендо? По нарастающей – движение к слиянию с природой, и всё это представлено так, что читатель становится зрителем, свидетелем бурного, языческо-анимистичного порыва:

Дай безликости мне – мне и темной, дремучей округе:
Только ель, только я – и уже никогда не разъять.
Мы срастемся – мы, вверх разрастясь,
не заметим друг в друге
Неуемную тягу к земле – хоть вершок, хоть на пядь.

На сей момент в развитии «сюжета» стихотворения картина еще неполна, ей недостает отсвета вечного и недостижимо прекрасного. Как звездное небо в стихотворении Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» освещает картину, и тут же дорога и путник, а вместе с ними и всё окружающее обретает космическое звучание, так и у Марины Гарбер не всё небо, а одна звезда из созвездия Ориона своими серебряными лучами-нитями соединяет воедино женщину, ель, небеса, вечность.

Отыграет метель, отшумят новогодние танцы,
Ветер смелет слова в рыхлый снег: суета, суета...
На январском, банальном,
как блюдце с каемочкой, глянце
Загорится одна – как со дна да над нами – звезда.

Посули одиночества мне, чтобы тихо – до стона,
Чтобы пусто – до дыр,
вместо слишком знакомых вещей,
Где в ночи ни души, и шальная звезда Ориона
Одиноко горит над косматою елью моей.

Может вызвать недоверие поэтическая вольность, из-за которой одна звезда из созвездия Ориона затмевает всё созвездие. В то время как две ярчайшие звезды из этого созвездия, Ригель и Бетельгейзе, являясь звездами первой величины, светят в равную силу, практически невозможно увидеть одну звезду, не увидев другую. Однако, не вдаваясь в точности астрономической науки, должна признать, что одинокая звезда подчеркивает строгость картины и ее суровую простоту: одна звезда, одна ель, одна женщина... Этот переход к вечному напоминает и знаменитое стихотворение Николоза Бараташвили «Синий цвет», где цвет любимых глаз в последних строках становится сизым дымом над именем автора (конечно, в знаменитом переводе Пастернака).

Но вернемся к стихотворению Марины Гарбер «Ель». Если в начале стихотворения шумел ветер и ели раскачивались под его колыбельную, то теперь всё застыло, и в этом заколдованном лесу не падают снежинки, а торжественно звучат последние, еле слышные аккорды, и занавес закрывается.

15 сентября 2009 г.

НАТАЛЬЯ ГЕЛЬФАНД, ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

МЕШКИ ОБЛАКОВ ПО ПЛЕЧУ...

Георгий Садхин. «Цикорий звёзд». Водолей, Москва, 2009, с. 143.

В настоящее время мы наблюдаем подлинный книжный ренессанс. Издается настолько много новых публикаций, что сейчас легче напечатать что-либо, нежели найти рецензента, который бы это проанализировал. Сборник стихов, о котором пойдет речь ниже, является приятным исключением – критики ждали этого события. Мало этого, послесловие к нему написал большой ценитель и знаток поэзии Евгений Витковский. В тексте он дважды назвал автора *мастером.* А это, как принято говорить, *дорогого* стоит.

Сборник стихотворений, о котором мы говорим, вторая книга поэта Георгия Садхина. Первым было издание под названием «4» (2001), в котором участвовали четверо филадельфийских авторов, включая Георгия. Второй сборник «сольный», и он уже стал событием в литературной жизни Зарубежья.

Мы берем на себя дерзость поспорить с автором – насколько удачно название сборника – «Цикорий звёзд». Это слова (даже не строка) из стихотворения, напечатанного и на последней странице обложки. Эта связь начала книги и ее завершения, безусловно, не случайна. Этим подчеркивается «програмность» стихотворения, выраженное в нем творческое кредо поэта. Но ... увы. Кажется, со всеми, с кем мы говорили о выпущенной книге (при единодушной высокой ее оценки), никто не понял смысла ее метафоры – не глубинной, которую и хотел выразить автор, а элементарно-смысловой. «Цикорий звёзд» воспринимается, как заумь, а она не свойственна поэтике автора. По чистой случайности – в силу возраста и воспитания в семье (*речь идет о Наталии Гельфанд*), где ей с детства рассказывали о лугах и лесах Подмосковья, ей-то и оказалась ясна эта фраза. Цикорий – полевое растение, на жестких сероватых стеблях которого, почти

лишенных листьев, скромно сияют и лучатся, как звезды, бледно-голубые, довольно крупные цветы.

Хотя «Цикорий звёзд» – первая самостоятельная книга Георгия Садхина – он давно сложившийся поэт, со своей интонацией, образной системой, поэтическим языком. Его лирика – со всем ее своеобразием и остро ощутимой индивидуальностью, естественно вливается в русло русской поэзии, это один из ее притоков. Метафорическому восприятию творчества Георгия Садхина как потока, способствует и то, что реки занимают значительное место в его творчестве, зачастую служат сюжетообразующим элементом. Рыбалка, купанье, байдарки, мосты – занимают значительное место в текстах. Но реки у поэта это и рубежи меняющихся периодов его реальной жизни: рождение и детство на реке Псёл (Украина), юность и зрелость – реки Пахр*а* и Москва-река – город Троицк под Москвой (оттуда же села Успенское и Троицкое, деревня Пачёво...). Наконец – «якорь» брошен на реке Делавер (Филадельфия).

Лирика Садхина – это пласт русской поэзии, ее неотторжимая часть. И здесь интересны его заимствования и включения их в свое творчество. Обычно говорят в таких случаях о «подражаниях» – но «подражаний» у Садхина нет, есть сознательные заимствования и неизбежные совпадения. Заимствования никогда не становятся шаржем, переиначиванием, чем часто пользуются поэты. Садхин испытывает величайший пиетет перед близкими ему поэтами, и совершенно самостоятельно использует их отдельные фразы, строки, ритмику. Область же совпадений в поэзии, как и использований и подражаний – огромна. Ведь не даром А. Ахматова говорила, что поэзия – вся одна большая цитата, как писал об этом В. Шилейко.

Прочтем с этой точки зрения Георгия Садхина. Вот Сергей Есенин (с. 47, 57, 99,102), Иосиф Бродский (с. 52), Игорь Северянин (с. 104), Александр Пушкин (с. 108), Александр Блок (с. 94), Осип Мандельштам (с. 94). Не однажды встречаются «подражания» Николаю Гумилёву и Борису Пастернаку. Есть упоминание и цитирование еще многих поэтов и песенных текстов. Но повторяем еще раз – не цитированием и не повторением отдельных тем и сюжетов – весь строй, вся сущность поэзии роднят Садхина с необъятной великой русской поэзией. Литературное наследие обладает гипнотической властью над словом, воображением, и оно же рождает новые формы, ритмы и фразеологию.

Ну как тут не вспомнить фразу Георгия Садхина из стихотворения «Мой вагон отходил...»:

... «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?» –
чернокожий по-русски спросил».

Давайте коротко коснемся биографии поэта и тогда очень многое прояснится в его поэтическом творчестве. Вырос Георгий на Украине, отсюда идет пейзажная лирика, любовь к природе, и много воспоминаний о детстве, где главный герой – любимый город Сумы:

Озаренный рекой, посягатель
и на первую боль, и любовь,
обладатель подруг моих и обожатель
провожать купола под венец облаков,
ты – мой первый поэт
и бессменный читатель
моих мыслей, желаний и снов.
Я – хранитель объятий твоих, обрыватель
всех колючих каштанов и слов.

По профессии наш автор инженер-физик. Много лет он занимался зеркальными оптическими покрытиями для космических аппаратов и телескопов, лазерной и оптической техникой. Тут уж, конечно, и до звёзд галактических уж совсем недалеко. Вот теперь и проясняется глубинный смысл названия сборника, когда цветок цикория становится символом звёздного неба и мечты о нем поэта-физика, прожившего много лет в академгородке под Москвой – Троицке. Потом, в 1994 году была эмиграция.

Наверное, как и у всех, начало новой жизни было сложным: поиск работы, переживания, связанные с этим процессом, изучение английского, ответственность перед семьей и родителями. И тогда появляются такие строки:

По-английски меня не зовут.
Мой акцент не рифмуется с центом.
Далеко, далеко за рассветом
в моем доме чужие живут.

А когда едешь каждый день на работу, чтобы получить в конце месяца заслуженный чек, остается не много лирики:

Бегут осенние осины,
так близко – руку протяни,
похожи на оленьи спины,
автомобили в их тени.

Из стихотворений возникает совершенно понятная картина – автор любит природу, путешествия, туризм. Ясно, что он поездил по многим странам, провел много времени в парках и на берегу океана. Отсюда и широкий диапазон образов. Героями Садхина могут стать птицы, рыбы и другие животные: аисты, цапли, воробьи, тигры, кони, караси, собаки, дельфины или же очеловеченные предметы: «зеленые ветры», луга, ручьи, сосны, байдарки. старый дом, фонарный столб и так далее.

У Садхина нет специальных стихов о политических событиях, но отдельные фразы и строки зачастую говорят больше, чем статьи на эти темы. Например, не напрямую, но обозначены чеченские события:

Поезд идет из прошлого.
Дождь моросит грибной.
Много было хорошего
перед чеченской войной.
Тонут луга заречные.
Вечные времена...

Тянут мешки заплечные.
За первой – вторая война.

Таковы же и стихи о гибели подлодки «Живых нет», «Из услышанного», «Молча сотру рукавом годы...» – недавние события в Кондопоге, где в результате взрыва националистических настроений погибло много людей. Прошлое никуда не ушло, болит душа за родное и близкое. Иначе это не было бы сердцем поэта:

А на варенье прилетают осы,
и по вечерней розовой росе
приходят группами общительные сосны
на Вашу сторону Калужского шоссе.
По географии поможет ли пятерка,
когда за ними не видать ни зги?
А нам отсюда, из Нью-Йорка,
Вы удивительно близки.

Из прекрасных авторских находок можно нанизать целое ожерелье великолепных сравнений, которыми насыщены стихотворения поэта: «чёрное горло кривого ко-

лодца», «как рыжий пёс – уткнулся в ноги солнечным пятном», «гнезда, как чьи-то ненужные шапки», «твоему плечу подарю полушалок неба», «похож на хвост зверька трамвай, виляющий вагоном юрко», «и словно шарф, теплом тебя обвить», «твоя рука стекала, как вода», «на окошке сияющий крест», «прибой, шутя, выбрасывал на сушу визжащих, белозубых негритят», «спадающий намокнет виноград и потечет мазками акварели» и множество других, ярких, впечатляющих образов.

Очень много места уделяет Садхин близким людям – своей семье: сыну, дочери, супруге, отцу, брату, ушедшей в мир иной, матери.

Мешки облаков по плечу
согбенным деревьям в немую погоду.
Я русские – ночью рифмую.
Английские – утром учу.

Кладбищенской дрожи не внемлю.
Бесхолмность могил у камней...
И мама легла в эту землю.
И стала земля мне родней.

Есть у него такой талант – передавать свои внутренние чувства просто, искренне, без надрыва, без внешнего напряжения. Теме родства посвящено много стихов.

В сборнике собрано сто тридцать стихотворений. На обложке картина филадельфийского художника Валерия Исхакова. Книга в твердом переплете, она отлично полиграфически выполнена.

ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

МОИ ДРУЗЬЯ УХОДЯТ...

Друзей моих мелительный уход
той темноте за окнами угоден.
Б.Ахмадулина

Эта грустная весть пришла ко мне с большим опозданием. Во Львове, от сердечного приступа умер друг моей молодости – художник, сценограф, актер и режиссер Валерий Алексеевич Бортяков. Меня связывали с ним годы долгой и тесной дружбы. В 1979 году я уехал на Запад, и наша связь прервалась, узнавали мы друг о друге через общих друзей и знакомых.

Родился Валерий в 1941 году в Красноярске. Родители, Алексей и Нина (в девичестве Шикунова) были служащими. В конце сороковых годов семья переехала во Львов, в Украину, где отец занимал высокую должность в системе железнодорожного транспорта. Однажды, по магистрали должен был проехать один из вождей государства, отец переволновался, получил инсульт, который привел его к частичному параличу до последних дней жизни. Нечто подобное произошло и с сыном Валерием, только с более трагическим концом. Он сломал ногу, на утро была назначена операция. За ночь Валерий переволновался, и слабое сердце не выдержало – он скончался прямо в больнице. Случилось это 13 мая 2007 года, лишь два месяца он не дожил до 66 лет.



Валерий Бортяков. Автопортрет.

Валерий Алексеевич Бортяков – был необыкновенно ярким человеком, обладал многими талантами, которыми щедро одарила его природа. Кроме всего остального, у него был потрясающий, необыкновенного тембра голос. Он пел народные украинские песни, и некоторые из них были записаны в нескольких художественных фильмах. Он был очень общительным человеком, удивительным собеседником: помнил массу вещей, всегда вел разговор с большим тактом и уважением, был полон планов и надежд. Сам он был мощный, лобастый, с кудрявыми волосами, огромными глазами и добродушным выражением лица.

Валерий прекрасно вписался в художественно-артистическую среду Львова. В городе было много музеев, театров, высших учебных заведений. Это была и есть культурная столица Украины. Львов необыкновенно красив, в нем присутствуют практически все архитектурные европейские стили. Здесь сложился и круг творческой молодежи. Встречались в многочисленных кафешках. Устраивали вечера, где читали стихи, пели песни, шутили. В удивительном интернациональном городе пересекалось много культур: украинская, польская, русская, еврейская, армянская, чешская и другие. «Погулять» во Львов приезжали творческие гости из Москвы, Ленинграда, Киева, Вильнюса, Риги... Часто заваливались ко мне домой. Моя мама всех любила и угощала – варила обеды и знаменитые компоты, ценившиеся очень высоко.

Познакомился я с Валерием, когда он еще служил в армии (был призван в качестве художника). После этого он увлекся театром и телевидением, оформлял спектакли. Потом начал ставить их на сцене.

Через три года после моего отъезда на Запад, в 1982 году, Валерий Алексеевич стал руководителем Львовского польского народного театра. Проявил он себя там и как режиссер и как актер. Вот как отозвался о работе Валерия Бортякова известный польский режиссер и актер Збигнев Хшановский: «...Появился Валерий Бортяков, художник, который возглавил этот театр, и к тому же нашедший в себе искру режиссерскую. Он очень удачно поставил "Месть" Александра Фредра – это был его режиссерский дебют – и чрезвычайно успешный. Это представление сцементировало коллектив». Позднее Валерию Бортякову присвоят звание Народного деятеля культуры Польши.

Уже от друзей я узнавал об успехах его новых постановок: «Врач поневоле» Мольера, «Сон в летнюю ночь» Шекспира, «Мой бедный Марат» Арбузова и многих других. Он был великолепным сценографом, тесно сотрудничал с режиссерами. Я помню бесконечные дискуссии с режиссером театра и телевидения Евгением Бондаренко, которые разгорались на моей кухне и иногда длились часами.

Больше всего его волновали темы гуманизма и взаимопонимания между людьми. Он решительно восставал против разрушения природы, защищал культурные ценности.

Валерий был одаренным, блестящим актером, он мог играть как роли классического репертуара, так и современных драматургов. А играть он любил самозабвенно, когда позволял момент. Особенно любил проигрывать сценки в кругу друзей. Я помню, как он спрашивал: «Ну, посмотри, посмотри... – и потом: «Ну, как тебе?». И если сценка удавалась, радовался, как ребенок.

На меня произвел необычное впечатление эпизод в чеховском спектакле «Юбилей». У Валерия в нем была роль в одну фразу, отсутствующая в тексте драматурга. Режиссер выбрал именно его не случайно. Иногда для передачи замысла зрителям достаточно актерской внешности и нескольких слов... Когда заканчивался спектакль, но в зале еще стояла тишина, Валерий проходил по сцене и говорил, как бы ни к кому не обращаясь: «...Я купил валерьяновые капли за десять копеек...» Удивительно как реагировал зал на осовремененную фразу, вписывающуюся в чеховский замысел...

В Украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой, где он много лет проработал, Валерий участвовал в постановках около сорока спектаклей. Сотрудничал он и с другими театрами. Среди представлений была драматургия украинской и мировой классики: "В неділю рано зілля копала" Ольги Кобылянской, "Доки сонце зійде, роса очі виїсть" Марка Кропивницкого, "Оргія" Леси Украинки, "Нора" Генрика Ибсена, "Гамлет" Вильяма Шекспира, "Немой рыцарь" Е. Хелтаи, "Граф Монте-Кристо" по роману Александра Дюма. Художественный руководитель театра Федор Стригун отмечал трепетное отношение Бортякова к людям, искренность, детскую безмерную доброту и щедрость, отсутствие стремления выделиться.

Валерий всегда ходил с большим блокнотом и всегда и повсеместно рисовал. Потом это все приходило в спектакли. Он был рожден для театра и чувствовал, каким должен быть спектакль. Я его так и запомнил – с вечной тетрадью, с фломастерами и карандашами. Когда бумага заканчивалась, он начинал нервничать и спрашивать: «У тебя есть чистый блокнот?». К сожалению, он любил делать зарисовки, но не эскизы (многое не сохранилось), любил работать с макетами, деталями декораций в своих постановках. У него было потрясающее чувство фактуры материала, и он умел с этим работать. Иногда он отвлекался от повседневных занятий... И тогда – вдруг становился живописцем, расписав огромное полотно-задник для спектакля «Бахчисарайский фонтан» в Оперном театре. Или, например, создал витражи в Успенской церкви.

Валерий Бортяков успешно работал с многими известными режиссерами: Збигневым Хшановским, Федором Стригуном, Сергеем Данченко, Женей Бондаренко, Аллой Бабенко, Мироном Лукавецким, Владимиром Опанасенко и другими. Они высоко ценили и выделяли его как сценографа. Он был эмоциональным человеком, любил дискуссии, но вместе с тем обладал прекрасными манерами, был интеллигентным и терпимым к чужому вкусу и чужому мнению.

Как сценограф Валерий сотрудничал со многими львовскими театрами, осуществлял постановки в разных городах Украины, Польши, России.

Конечно, можно найти много эпитетов для такого яркого человека. Но цель этой заметки несколько иная. Будучи во Львове через тридцать лет после отъезда на Запад, я встретился со своими старыми друзьями. Валерия Бортякова я уже не застал. Но в разговорах так или иначе появлялось его имя. В гостях у нашего общего друга, прекрасного фотографа Алексея Иутина, мы заговорили о Валерии Алексеевиче. Он показал мне его стихи, которые хранятся в его архиве. Я их взял с собой в Америку и подготовил к печати. Это лирические стихи, посвященные, конечно, женщине, и они говорят еще об одной грани таланта Валерия Бортякова.

ВАЛЕРИЙ БОРТЯКОВ

***

Гадает тишина:
Распятие? Христос?
На крестовине твоего окна
Прибит мой взгляд
Гвоздями первых звезд.

Чем занавешено твое окно?
Отчаяньем? Растерянностью? Ложью?
От дома твоего уже давно
Бредет моя любовь по бездорожью...

***

Забываю тебя, забываю,
Словно в саван себя одеваю,
Словно собственный гроб забиваю,
Забываю тебя, забываю...

Заезды падают вниз, догорая,
Мертвых птиц на тропе собираю.
И себя от тебя отрывая,
Умираю любя, умираю...

Забываю тебя, забываю...
Словно раненых птиц добиваю,
Словно в горный туман уплываю,
Забываю тебя, забываю…

***

Дежурных слов дежурное радушье,
Дежурный текст – вопросом на вопрос,
И вдруг волной подступит, как удушье,
Забытый аромат твоих волос.

Угрюмых дней угрюмый провожатый,
Я весь в друзьях, унынье погребя,
И ноют пальцы от рукопожатий,
И есть успех,
И только нет тебя…

***

Назло советам и дурным приметам,
Как крик вослед ушедшим поездам,
Усталой догорающей кометой
К твоим мирам летит моя звезда.

ПЕСНЯ

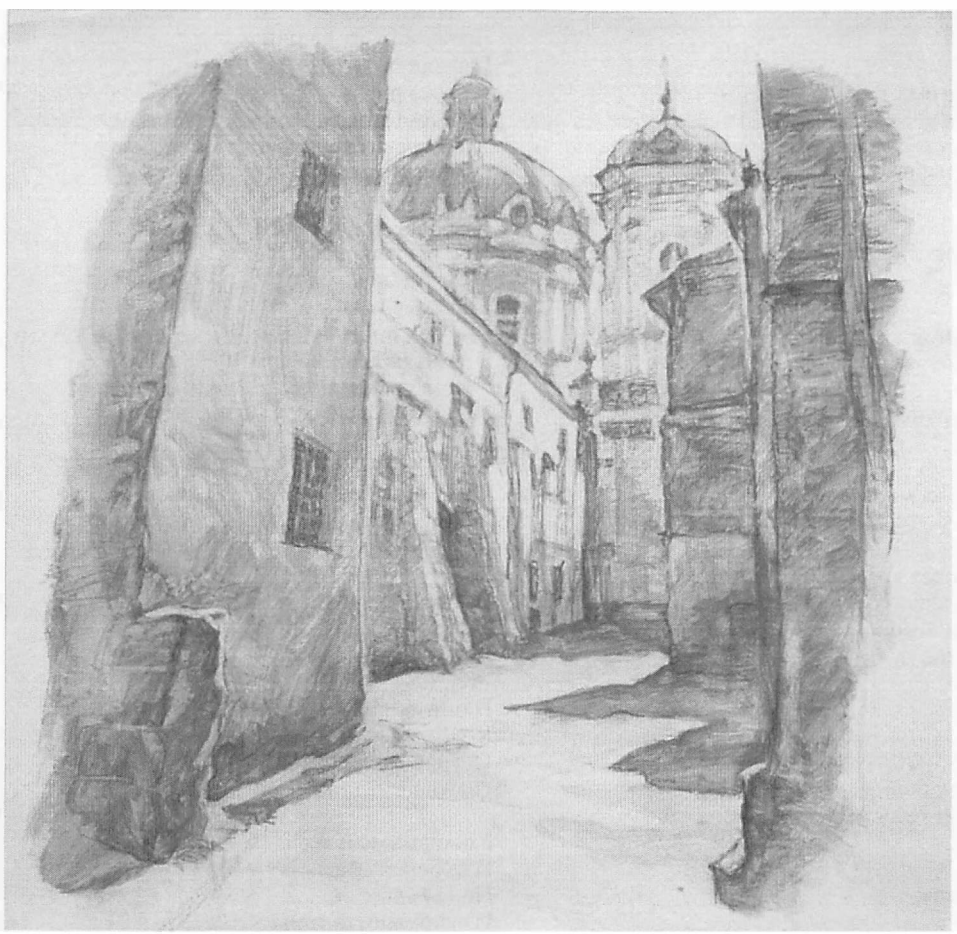
Моя голубоглазая Награда,
Ты для меня, как Покрова в Нерли,
И мне от жизни ничего не надо,
А только бы глаза твои цвели.

Моя голубоглазая Удача,
То я богат, то снова на мели,
Но ни о чем на свете не заплачу,
А только бы глаза твои цвели.

Моя голубоглазая Отчизна,
Доверчива, куда б ни повели,
Не надо мне шального оптимизма,
А только бы глаза твои цвели.

***

И эти сумасшедшие стихи,
Которые воруют мимоходом,
Разменную монету наших душ –
Легко и незаметно –
И кладут себе в карман,
Как будто так и надо.



Валерий Бортяков. Эскиз к спектаклю.

И мы, стихом ограбленные, бродим
По улицам ночным
И мерным шагом,
Считаем городские километры,
Ведь нечем даже за трамвай платить.
Но черт возьми! Наверно так и надо!

***

Жанна д'Арк –
Тяжелый, как грех,
Железный доспех
И лошадь в крови от шпор.
А на сердце боль –
Изменник-король.
И ждет впереди костер.
Но лошадь судьбы
Поднять на дыбы
В последнюю из атак.
Немногим из тех,
Кто верит в успех,
Воскликнула Жанна д'Арк:
«Сомненья и страх
И пламя костра
Пред нами встают стеной,
Но смерти назло
Мечи наголо,
Кто любит меня – за мной!»

И с этой поры
Пылают костры,
Столетьями вдовий плач,
Тюремный забор
И моет топор
В дубовой бадье палач.
И все же, когда
Восходит звезда
Над полем бессмертных трав,
В погоню за ней
Седлаем коней
За компас любовь избрав.
А если любовь,
Тебе изменив,
Спокойствие изберет,
Погубят любовь
Удары подков
Несущих тебя вперед.
Пусть ноет душа,
Но ветер в ушах,
И сердце звенит струной.
Мы клячу судьбы
Рванем на дыбы:
«Кто любит меня – за мной!»

***

На мостовых неоновая кровь,
Как в первый вечер нашего знакомства.
Какая бездна лжи и вероломства
в глазах твоих бездонных,
о, любовь!

***

Вот и снова дождик пошел...
На балконах мокнет белье...
Я иду
И мне хорошо...
Да святится Имя Твое!

АНТРАКТ

Когда придет к тебе пора,
Крушения надежд,
Когда сомнет тебя парад
Подонков и невежд –
Ты не терпи и не дури
От горечи потерь,
А просто тихо затвори,
Закрой за прошлым дверь.

Когда предательство встает,
В глазах, что ты любил,
Ты думал, колокол пробьет,
А он уже пробил.

Попробуй, задержи свой крик
И мертвых не буди,
А подними свой воротник
И уходи в дожди.

РОМАНС

На дворе зима
Словно белый стих
Но схожу с ума
Я без рук твоих
Ничего с собой
Не поделаю
Ты моя любовь
Черно-белая...

На дворе весна
Зелен стих ночей
Что ж молчит в ночи
Губ твоих ручей
Из того ручья
Я не пил давно
Ты любовь моя
Зелено вино... °

Душный летний зной
Нам бы пить да пить
Меж тобой и мной
Догорает нить
Бьюсь я вновь и вновь
В твой затлевший дом
Ой любовь любовь
Ты горишь огнем...

Мой осенний стих
Как сгоревший мост
Золотой листвы
Золотой погост
Золотой струной
Взят неверный тон
Над тобой и мной
Колокольный звон

Над тобой и мной
Колокольный звон
Погребальный звон
Словно страшный сон

Колокольный звон
В бубенцах зимы
Не выводит он
Из кромешной тьмы

У дверей твоих
Видишь тает снег
Тает белый стих
Значит быть весне!..

***

Любовь моя об этот серый камень разбилась
И ушла в решетки стоков,
Струясь печально, как песок сквозь пальцы.

Любовь моя туманами сырыми
Окутала уснувшие кварталы,
И каплями алмазными повисла
На золотой листве осенних парков.

Моя любовь копеечкою медной
Сияла на юродивой ладони,
Как маленькое солнце...
И украли...

P.S.

Любовь моя – наивный Мальчик-с-Пальчик –
Пытается найти дорогу к дому
По хлебным крошкам, что склевали птицы.

***

В твоих глазах устало озорных,
Как в синих гранях камня, преломилась
Печаль звезды над Киевской Софией
И радость придорожных васильков.

Под сим подвел последнюю черту
Фламандский мастер, щедрый и умелый,
Душистым медом напитавший тело
И грешных губ святую простоту.

***

А когда в глазах твоих лучистых
Лунной флейтой заструится вечер,
Наготе твоей святой и чистой
Я, молясь, стихов поставлю свечи.

Никакой обиды-досады...
Только странный такой осадок.
Будто птицу в тебе убили...
Будто вишню во мне срубили

ОРБИТА

Начинается день и рождается песня
О любимой моей, что вчера разлюбила меня.
Тот, кто умер вчера, пусть сегодня воскреснет
С первым звонким лучом восходящего нового дня.

Восходящего дня голубая молитва
В небесах твоих глаз за туманами вечных тревог
Словно лик Ярославны меня провожает на битвы
В непролазные дебри моих непутевых дорог.

Непутевых дорог нет на свете милей и чудесней,
Возвращаюсь по ним под ресниц твоих светлую сень.
Прикасаюсь к тебе, и от боли рождается песня,
И в любимых глазах занимается ласковый день.

***

Если я когда-нибудь умру,
Пусть мой прах развеют на ветру.
Может, улыбнется счастье мне
Стать пылинкой на твоем окне.

ГЕРМАН ГУРЕВИЧ

АПОЛОГИЯ ДИЛЕТАНТА
Эссе

Своё 75-летие я встретил в здравом уме (показатель – результаты в шахматах) и в ходячем состоянии. Пора подводить итоги...

В советской школе нам выдали: «Жизнь – это форма существования белковых тел». (Так и представляется масса шевелящихся белых червячков.) Ещё помню комсомольское: «Жизнь даётся человеку один раз и прожить её надо так, чтобы не было мучительно стыдно...». И вот через 60 лет я понял, «чтобы не было мучительно стыдно», необходимо придумать такое определение «жизни», которое задним числом оправдало бы мою жизнь и придало бы ей какой-никакой смысл. И родилось нечто, вполне созвучное XXI веку: Жизнь – это процесс создания, хранения и передачи информации, происходящий на трёх уровнях: генетическом, технологическом и «культурном» (генетический – через детей и внуков, технологический включает науку и технику, «культурный» – литературу, кино, музыку... – все искусства).

И ещё: Цель Жизни – противодействие росту энтропии.

Очень мне нравились эти формулировки – и «умные», и понятные. Но вот получил жестокую отповедь от учёного соседа, доктора физико-математических наук. Мол, сам он никогда философией не интересовался, и всю жизнь занимается математикой, серьёзной наукой, в которую, слава Богу, дилетанты не суются. И в тоне ортодоксального математика такое было раздражение, будто я его незаслуженно обидел. С чего бы вдруг? Ну, сунулся инженер не в свою область. Дилетант? Согласен. Так есть разные толкования этого слова. Принятое в наше время: «Дилетант – тот, кто занимается искусством или наукой без специальной подготовки, обладая только поверхностными знаниями». А в XIX веке (по В. Далю): «Дилетант – любитель, человек, занимающийся музыкой, искусством, художеством не для промысла, а по склонности, по охоте, для забавы». Мне так больше нравится «устаревшее» определение. В «современном» неясно, как судить о глубине знаний и наличии спец. подготовки. По диплому, что ли? В прежние времена считалось престижным заниматься чем-либо «не для промысла». К тому же у дилетантов, чаще всего, разно – сторонние интересы, а «специалист (по К. Пруткову) подобен флюсу: полнота его одностороння». И потому в компании дилетант предпочтительнее узкого специалиста. Без «дилетантов» общество распалось бы на замкнутые секты профессионалов: математиков, философов, сантехников, поэтов, футболистов, инженеров...

И я без ложной скромности, даже с гордостью, причисляю себя к племени дилетантов! Эверест я не покорял, и значком «Альпинист СССР» награждён за восхождение на кавказскую вершину Софруджу, 3800 метров. Играл в футбол и баскетбол, наверно, по III разряду, в лёгкой атлетике достиг II разряда, в 50 лет стал перворазрядником по шахматам. Если бы во всех видах деятельности ввели разряды, как в спорте, то в своей инженерной специальности, я, пожалуй, был бы мастером (всё же, не гроссмейстером). Но инженерные мои достижения давно забыты, а спортивные – я один и помню. Какой красивый гол забил в игре между командами 1-го и 2-го отрядов пионерлагеря в Койвисто! Под острым углом, перекинув мяч через вратаря на дальнюю штангу, 1948 год. Через 40 лет похожий гол забил Ринату Досаеву Марко Ван-Бастен в матче СССР – Нидерланды.

И стихи я писал. Не для массового читателя, а, так сказать, целевого назначения. В 1995-м юная гостья из США

рассказала, что её мама хранит мои стихи 60-х годов. В пенсионном возрасте издал книжку («мемуары», стихи, пьеса). Судя по отзывам, проза достойна 1-го разряда, а несколько переводов из английских поэтов сделаны на мастерском уровне (есть возможность сравнить с хрестоматийными образцами). Тираж книжки – 200 экземпляров. Мемуарная часть возможно пригодится будущим историкам-бытописателям. Будущим…

Тут самое время для продолжения «философских» откровений дилетанта. Многие философы, имея, надо сказать, некоторые естественно-научные основания, соглашаются с вечностью и бесконечностью Вселенной.

Вроде начало то ли было, то ли нет, а конца, уж точно, не видно. Это – о Вселенной. А с человеческой цивилизацией на планете Земля, вращающейся вокруг угасающей звезды на окраине одной из Галактик, философских проблем возникает множество. И решение их осложняется тем фактом, что человек не вечен, да и всё человечество не может рассчитывать на бесконечное существование. Например, Станислав Лем («Сумма технологий») отвёл нашей земной цивилизации всего 5000 – 10000 лет.

Инженерная аналогия: Напряжение в бесконечной трубе, находящейся под давлением, определяется по элементарной формуле. Если же труба короткая, то, во-первых, расчёт сильно усложняется и, во-вторых, результат всегда приблизителен. От заключений философов математической точности ожидать не приходится – они манипулируют не числами и формулами, а словами и понятиями.

В Евангелии от Иоанна: «В Начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Где-то прочёл: «Религия – философия для бедных». То есть, она пользуется простыми словами, доступными «бедным»: Бог и дьявол, свет и тьма, добро и зло… Философы (в переводе: любомудры) придумывают мудрёные термины, которые поясняют другими терминами (хорошо, если более понятыми). И выстраиваются многостраничные и многотомные философии. Пробовал я читать Спинозу и Гегеля – не в коня корм. С религией всё просто: веришь или не веришь. А философия требует серьёзной подготовки. И просвет между религией и философией заполнили поэты, духовидцы, мистики, астрологи, уфологи и др. – как правило, дилетанты в философии, не всегда сознающие себя таковыми. И все они пользуются (каждый своим) набором «умных» и впечатляющих слов: астрал – кристалл, космос – логос – хаос, реинкарнация – эманация – трансфизические сферы,

Всеведущий субъект – Сверхразум – Природа (непременно с большой буквы).

Кому этих слов мало, придумывают новые. Мистик и духовидец (так о нём в книге «Великие мыслители XX века») Даниил Андреев в своём главном труде «Роза мира»: *«Шаданакар* (собственное имя *брамфатуры* нашей планеты) состоит из огромного числа (свыше 240) разноматериальных слоёв, инопространственных и иновременных, группирующихся в *сакуалы*...»

Физики, разгадывая тайну происхождения Вселенной, используют математику, одинаково недоступную и рядовому инженеру, и учёному-философу. Но открытия физиков неизбежно затрагивают важнейшие философские проблемы. Наш современник, знаменитый астрофизик Стивен Хокинг в научно-популярной книге написал: «Философы не могут угнаться за развитием научных теорий… Наша конечная цель – дать полное описание Вселенной, в которой мы обитаем. Если мы откроем полную теорию, и её основные принципы станут доступными пониманию каждого, тогда все мы, философы, учёные и обычные люди, сможем принять участие в дискуссии о том, почему существуем мы и существует Вселенная».

Вот здесь мистер Хокинг или сильно заблуждается, или умышленно льстит «обычным людям». Я, например, даже прочитав популярное изложение физических теорий, дискутировать с учёным-физиком всё-таки не отважусь. Но задумываться о бесконечности пространства и времени, о Жизни и Смерти «обычные люди» могут, и не зная «полной теории». И даже дискутировать, но только с подобными себе дилетантами.

В детстве я не мог представить, что через каких-нибудь 100 лет меня вообще не будет. Теперь в моём распоряжении, по оптимистическому прогнозу, лет 10-15. И я не узнаю, что будет в 2030 году с нашей планетой и её населением. Устоит ли иудео-христианская цивилизация под напором Ислама и Китая?

Лет 15 назад Иосиф Бродский сказал, что принадлежит культуре алкоголя, а не культуре наркотиков. Мог бы ещё добавить: …и культуре книги, а не культуре интернета и телевидения. А ещё через пару десятков лет наступит эпоха «нанотехнологий» со своей, абсолютно непредставимой сейчас, культурой. И какой бы она не оказалась, и чтобы там не толковали учёные про Большой взрыв и разбегающуюся Вселенную, про Второе начало термодинамики, остаётся надежда, что поэты, дилетанты в науках, будут задавать свои простые вопросы, как и во времена конной тяги, пара и электричества…

А.С. Пушкин : Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана?

Ф.И. Тютчев : Нам не дано предугадать, / Как наше Слово отзовётся…

А.А. Блок : Жизнь без начала и конца, Нас всех подстерегает Случай, / Над нами сумрак неминучий / Иль ясность Божьего лица?

Религия (и поэзия) демократичнее философии и, тем более, физики. А если кто из нас обделён верой, то остаются мораль, этика, эстетика…

Красота спасёт мир! Или не спасёт?

ПРИЛОЖЕНИЕ: «Философские» стихи дилетанта.

АНТИНАУЧНЫЙ ДУПЛЕТ

ГЕНЕТИКА

Улучшая конструкцию гена,
рвётся к цели научный спецназ.
И достигнет её непременно,
но уже без теперешних нас.
И колонна серийных эйнштейнов
всё пространство горбом искривит
(не изменит к тому отношенье
нестандартно тупой индивид).
Оказалось, двойные спирали
не содержат молекул морали,
и пропал понапрасну намёк,
что послал нам библейский пророк…
Для того, чтоб умножить печали,
Притворился наукою Рок.

HI – TECH

Притворился наукою Рок
и компьютер подсунул невеждам,
соблазняя безумной надеждой
излечить интеллекта порок.
Увеличит компьютерный допинг
быстродействие всяких систем,
в гигабайтах накопленный опыт
зачеркнёт вдохновенье совсем.
Вариантов дурной перебор

не подскажет заветное Слово,
и страшней террориста любого
может быть электронный террор...
Миллиард операций в секунду
превращают субтропики в тундру.

ЮРИЮ АРУСТАМОВУ,
Гроссмейстеру, преферансисту, стихотворцу.

Бог не играет в кости со Вселенной /А. Эйнштейн/
Что наша жизнь? Игра! /Из оперной арии/

На рулетке Зодиака
бесконечная Игра:
где была звезда когда-то,
нынче – чёрная дыра.
За рулеткой Зодиака
неподвластные Судьбе
игроки, сокрыты мраком –
назовём их: Д. и Б.
Д. – в тельняшке и с рогами,
Б. – в халате, с бородой.
Тыщи лет между ходами
на игрушке заводной.
Не для нас игра – рулетка,
в Монте-Карло казино,
наша верхняя отметка –
преферанс и домино.
Знаем разные приметы
о везенье дурака,
и сродни азарт поэта
вдохновенью игрока.
Не бояться если риска,
Как-никак имеем шанс,
что случайная описка
может вызвать резонанс:
чудной радугой созвучий
вдруг наполнится строка...
(Чудо – это просто Случай,
неизвестный нам пока).
Вероятность та, однако, –
где-то около нуля...
На рулетке Зодиака
вместо шарика – Земля.
Исчезают в катаклизмах
и пространства, и миры...
Всё нормально – это признак
продолжения Игры!

2009 г.

ИННА САНИНА

ЭЛЕГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОД СЕНЬЮ КИПАРИСА
(Эссе)

В раскрытое настежь окно ласково и умиротворённо льётся тёплое дыхание калифорнийского утра. Следя за весёлой пляской солнечных бликов на стене, вслушиваюсь в птичью разноголосицу и не без удовольствия отдаюсь отдохновению наступившего уик-энда...

А там, за окном, всё явственнее ощутима пробуждающаяся энергия дня! И вот уже невозможно бездумно предаваться благостной лени, невозможно оставаться не вовлечённой в прекрасное действо по имени Жизнь!

Поспешно устремляюсь к окну, чтобы окунуться в пульсирующее живыми токами света, цвета, звуков и ароматов великолепие. И лучезарный мир, щедро и многообразно созданный могучими силами природы, одаривает восхищением пытливый взор. Прямо передо мною, у подножья устремлённых ввысь тёмно-зелёных кипарисов на неправдоподобно ярко-зелёной траве пестреют неувядаемым ситцевым весельем петуньи; чуть поодаль от кипарисной тени роскошествует разноцветием и ароматами розарий; слева, вдоль соседней улицы – пальмы с пышными кронами и с толстенными, как слоновьи ноги, стволами; а справа, у соседского дома, – диковинное, безлистое по весне дерево, сплошь усыпанное синими цветками-колокольчиками, похожими на те, что обильно цветут в июне на лугах в моём родном краю... И над всем этим растительным буйством – ярко-голубое безоблачное небо!

Какой нарядный праздник света и цвета, весёлый и увлекательный карнавал природы, дарящий упоительное наслаждение!

...Но почему же мне вдруг взгрустнулось? Эта броская калифорнийская экзотика всколыхнула во мне воспоминания о сдержанных красках пейзажей моей родины, об их негромкой и застенчивой красоте. Эта яркая праздничность природы, созданная Творцом для радости, вызвала невесёлые раздумья о бренной сущности всего живого и о сущной вечности жизни, о взаимосвязанности и ассоциативности предметов и явлений. Глядя на полные жизненной энергии южные деревья, я думала о деревьях, из которых сотканы леса моей родины, – леса, которые я знала и любила всю свою прежнюю жизнь... Я помню их, как помню своих друзей, оставленных мною там, в родном краю, но неизменно живущих рядом – в моих мыслях, в моих песнях... Мои милые друзья! Мои деревья!.. Деревья и Люди, характеры и судьбы... Бесконечно разнообразные, непостижимо сплетаемые Провидением в зависимые друг от друга духовные и материальные воплощения. Я думала о Деревьях.

Если бы не было деревьев, была бы сплошная пустыня. И тоска. Наверное, так и было очень-очень давно. Правда, тогда ещё не было людей и поэтому не было известно, что такое тоска...И так, наверное, будет потом, когда снова ничего не будет.

Деревья – жизнь Земли. Живут деревья – и живёт Земля, дающая им жизнь. И у каждого дерева, как у человека, есть душа, свои радости и печали, своя судьба и своё предназначение. И всякое дерево по-своему красиво – у каждого свой силуэт, цвет, одежда и отношение к ней, своя особая стать.

Разумеется, деревья – это не только красота, но и польза. Польза для других деревьев и для людей. Даже не затрагивая весь глобальный спектр полезности деревьев для человека, думаю, всем без исключения, знакомо незабываемо приятное ощущение от пребывания в жилище, построенном из дерева, от сидения на деревянной скамье, за деревянным столом и даже от еды деревянной ложкой... И уж, конечно, всем знакомо завораживающее действо огня, когда, сидя у костра, у камина или даже перед открытой топкой обыкновенной печки, мы испытываем непонятное оцепенение от таинственной игры пламени горящего дерева. Это трепетное, до некоторой степени мистическое, исподволь уважительное чувство, видимо, не без пользы унаследовано нами от наших далёких предков. Ведь сначала на Земле появились Деревья, а уж потом – Люди. Деревья стали одним из необходимых звеньев в развитии человеческой цивилизации. Дерево было орудием добычи и укрывало от зноя и непогоды, помогало получать огонь и поддерживать его живительное пламя. Это уж потом, от костра, пошёл Человек по ступенькам цивилизации – всё выше и выше, всё быстрей и быстрей, в спешке подчас не замечая не только деревьев, но и Солнца... Слишком много пользы понадобилось

торопливому и жадному Человеку – так много, что он начал забывать, что красота – это тоже польза. К счастью, неистребима в Человеке тяга к естеству. И это генетическое свойство – вечный зов предков – настойчиво уводит его из каменных джунглей большого города к благотворной и очистительной природе, спасающей от скверны пресыщения. А местом, где природа щедрее всего раскрывает свои объятья и врачует утомлённую цивилизацией душу, нередко становится лес...

О, лес! Величественное и могучее творение природы! Краса и богатство Земли! Я восторженно и трепетно склоняюсь пред тобой, потому что ты – удивительное воплощение торжества земной жизни, потому что ты даёшь жизнь и радость другим существам! И хоть я вправе говорить о лесе, облик которого мне знаком, – о лесах моей родины, но уверена, что и у здешних лесов есть свои прелести и свои поклонники. А вот я уже, наверное, не успею их узнать и полюбить, потому что слишком долго знала и любила тот, другой лес, у которого свои особые краски, голоса, запахи, впитанные мною не только при моей жизни, но и намного раньше моего появления на свет...

Я помню и люблю лес, который всю мою жизнь был мне добрым другом. Он давал убежище и приют в годы страшной для моей родины войны. А в послевоенные годы моего голодного и холодного деревенского отрочества его умиротворяющие голоса и величавая красота помогали заглушать физический голод, насыщая упоительной радостью бытия. И потом, когда настала иная жизненная пора и на смену романтическим мечтаниям юности пришла "полосатая" будничность зрелости, под спасительной сенью моего леса я неизменно находила отдохновение от суетности, восстанавливая равновесие физических и духовных сил, обретая ускользающую веру в добро и красоту.

Несомненно, многим знаком поэтический смысл слова *ЛЕС*. Сколько легенд и сказаний посвящено *ему*, сколько песен и поэм о *нём*, сколько живописных полотен запечатлело *его* дивную красоту! Творческая фантазия неизменно черпает вдохновение, обращаясь к живой душе могучей природы, наделяя её своими переживаниями и своим мироощущением.

Приходилось ли вам слышать голоса деревьев – слышать, как они говорят и поют? Да, да – говорят и поют, как люди!.. Прислушайтесь! Вы, может быть, хотите возразить, что не все люди умеют петь? Но это только вслух не все умеют. А на самом деле, в каждом из нас звучит *своя* песня. Её просто нужно уметь услышать, потому что она – в душе и спрятана от равнодушного слуха. И у каждого из нас, людей, бывает своя "лебединая" песня, то есть та, которая самая задушевная и последняя...

Так вот, деревья говорят и поют! Причём, каждое по-своему, своим особенным голосом. А когда деревьев много вместе и когда это уже не просто деревья, а лес, они поют хором. Люди давно научились слушать голоса деревьев. Нашлись даже такие, кто сумел услышать больше остальных, и в их искусных руках дерево запело свирелями и флейтами, скрипками и виолончелями, гитарами, мандолинами и балалайками. И в звуках, теперь уже понятных всем, зазвучала, запела душа берёз, дубов, лип, осин, сосен и елей.

Если *деревья* – люди, то *лес* – это уже народ. И живут себе рядом одинаковые и разные, разговаривают и поют...

Лес – это сообщество, содружество растений, среди которых, кроме деревьев, живут различные кустарники и кустарнички, травы и цветы, мхи и лишайники. Но всё-таки главными остаются деревья, – одинаковые и разные по внешнему облику и характеру – по породе. И если в одном лесном массиве дружно уживаются разные породы, мы называем такой лес прозаическим именем смешанный. Но, случается, что жизненные условия, удобные для одних пород деревьев, оказываются неприемлемыми для других. И тогда формируются своеобразные разновидности лесов, которые мы называем рощами, дубравами, борами и пущами ...и даже чащобами и дебрями. У каждой разновидности леса свои краски и ароматы, своё звучание и своё настроение... Причём, всё это чарующее разнообразие изменчиво в зависимости от поры года и от погоды.

Весной, когда природа занята созиданием, голос леса – это не столько голоса деревьев, сколько звонкое птичье ликование. А деревья, будто боясь помешать птицам, тихо шепчутся, вслушиваясь в происходящее вокруг величайшее из величайших таинств жизни, и отзываются на него буйным зеленением.

Однако пора весны быстротечна, как юность в жизни человека. И вскоре вместо жёлто-зелёной фаты деревья надевают своё будничное летнее платье. Только берёзовые рощи в любое время года, в любую погоду сохраняют светлую прозрачность и лёгкость благодаря ажурному плетению ветвей и белым стволам, будто разузоренным белопенными облаками.

Летом, когда любовные песни птиц сменяются спокойным будничным пением, в лесу более различимы голоса деревьев. По утрам в берёзовой роще можно услышать лёгкую пасторальную мелодию с солирующими партиями свирели или флейты. Но главная музыкальная тема берёзового леса – задумчивая лирическая песня. Прислушайтесь: звучат нежные женские голоса, гармонично сливаясь с оркестровым сопровождением в стройную, ласковую мелодию любви и целомудрия. И, плавно раскачиваясь в такт песне, задумчивые берёзы расправляют растрёпанные лёгким дуновением ветерка зелёные кудри...А с приходом осени в берёзовой роще слышатся грустные напевы. В них тоска по светлым дням юности и извечная женская печаль.

Совсем по-другому звучат песни соснового бора. Они полны величия и силы. И летом, и зимой сосновый бор – мужественный и мудрый, таинственный и непостижимый. В пасмурные дни он наполняется звуками хоральных песнопений. Ведущая партия басов слегка оттеняется тенорами. На протяжном *legato* голоса изящно и гармонично сливаются. Спокойно и величаво стоят могучие деревья, горделиво и уверенно вознося к небесам свои головы и песни... Но вот, чу! Где-то вверху, у самых вершин лохматых крон, лёгкое движение. Это ласковый ветерок выхватил из-за туч весёлый солнечный лучик, игриво швырнув его на вершины сосен. Потом ещё один и ещё, и ещё! И вот уже яркий поток солнечного сияния опрокинулся на сосновый бор. Будто нервная дрожь пробежала по стволам. Всё оживилось, напряглось. Лес глубоко вздохнул и, став золотисто-коричневым, наполнился органной музыкой. Звуки: то глубокие, гортанно-рокочущие, то певуче-переливчатые, просветлённо-журчащие – торжественно поплыли над лесом. И в мелодичных вздохах органа стали угадываться голоса фагота, гобоя, виолончели, арфы...

А вот зелёная дубрава. В солнечный ясный день здесь царит прозрачная светотень. Не прижимаясь друг к другу, как бы соблюдая приличествующую дистанцию от соседского не в меру заинтересованного внимания и опеки, задумчиво стоят дубы-исполины. Широко расправив могучие ветви-плечи и уверенно глядя в небо, они молчаливо хранят вековые тайны... А сколько гроз и ураганов пронеслось над ними! Но стоит прислушаться к спокойному шелесту листвы, ласково прикоснуться к корявому от времени стволу – и суровый великан добросер-

дечно поведает о многом. Распевно зазвучат в зелёных кронах богатырские былины, и дальним эхом отзовётся звонкий голос древнего Баяна: "Не шуми ты, мать, зелёная дубравушка!.."

О, лес – зелёное чудо Земли!.. Кстати, о цвете. Давно замечено благотворное воздействие на человека зелёного цвета. Ничто так не успокаивает нервную систему, ничто так не умиротворяет, как созерцание природного окружения, создаваемого зеленью растений. Пожалуй, по силе воздействия только голубой цвет – цвет неба – может спорить с зелёным. Однако если зелёный цвет – лес, – снимая стресс, как бы примиряет с земным существованием, то голубой – цвет неба, – очищая душу, освобождает её для новых волнений.

Лес – это множественность, сообщество, племя, где каждое дерево в отдельности и все вместе живут в общем одной судьбой. А вот если в отдельности, если вдали от племени, если без племени?.. "На севере диком стоит одиноко на горной вершине сосна...". Во мне всегда вызывает грусть одинокое дерево. Даже если оно величавое и сильное, как, например, сосна или дуб. Потому что холодно и страшно быть одному на белом свете. Потому что в одиночестве не с кем словом обмолвиться. И некому поддержать, когда подует злой ветер или обрушится буря. Как правило, чаще гибнут одинокие деревья: то молния ударит, то ветер сломает.

Совсем иначе, когда, пусть даже не лес, но всё-таки не одиночество: "Три гордые пальмы высоко росли...". Они были втроём и, даже имея свои печали, могли оставаться гордыми.

Деревья ищут и, к счастью, часто находят поддержку и защиту друг у друга – слабые у сильных: "Как бы мне, рябине, к дубу перебраться, я тогда б не стала гнуться и качаться...". Правда, относительно "перебраться" – несколько неосторожное желание красавицы-рябины, так как деревья болезненно переживают переселение. Люди приходят на помощь деревьям, и их переселение-пересадку стараются проделывать как можно в более раннем возрасте, потому что юное деревце скорее осваивается на новом месте и легче забывает своё прошлое, которое у него ещё совсем маленькое. Чем старше дерево, тем ему больней...А некоторым и вовсе не удаётся приспособиться к новому месту, к новой жизни – не заживают раны на обрубленных корнях, засушивают душу воспоминания...

Как-то, вскоре по приезде в Калифорнию, я увидела растущую перед домом, ничем непримечательным, берёзку. После встречи с берёзками повторялись и уже не удивляли эти встречи, но та, первая, оставила неизгладимое впечатление.

Было это осенью. Берёзка стояла рядом с ещё зелёным платаном и вечнозеленым кипарисом, грустно раскачивая ветвями и будто стыдясь своей наготы. Это было уже взрослое дерево. Я подумала: "Какая судьба занесла её в этот чужой, жаркий край?" Однако она не показалась мне жалкой или истощённой невольничьим бытом. "Что же даёт ей силы жить среди всей этой причудливо пышной природы, сохраняя свою северную красоту?".

После тёплой зимы, которая в нашем привычном представлении почти ничем не отличается от лета, пришла календарная весна. Я увидела, что и здесь природа строго соблюдает свои биологические законы: зазвучали радостные весенние песни птиц, и растения зазеленели, зацвели с новой силой. Весна пришла во всём своём великолепии, неся природе обновление и благодать! И моя знакомая берёзка тоже начала одеваться. Но как-то не так, как это делают берёзы в моём родном краю. Наши одеваются медленно, но всё дерево сразу, меняя цвет листвы от желтовато-зелёного до изумрудного. А здешние – постепенно, снизу вверх, но сразу покрываясь крепкими тёмно-зелёными листочками. "Почему так?" – думала я. – "Может, не хватает сил одевать себя всю сразу? Или несколько огрубела на чужбине и забыла о нежно-дымчатой поре юности?..". Потом пришло жаркое лето. Температура воздуха достигала 40 градусов по Цельсию. "Ну, – думаю – засохнет берёзка..." Нет! Она стояла всё лето зелёная и кудрявая, я бы даже сказала – весёлая! Как же ей это удаётся?.. Думаю, оттого живётся благополучно и счастливо этой берёзке, что сильные соседи-аборигены, платан и кипарис, заслоняют её от палящего солнца в жаркий полдень и от ураганного ветра – в непогоду. Да ещё потому, что не гнетёт берёзку память о незнакомой ей прародине, давным-давно покинутой её прародителями... И не снятся ей жаркими ночами весенние хороводы берёзовых рощ да белопенные облака на прозрачно-голубом небе, да соловьиные майские песни.

А вот мне снятся. И небо, и песни, и берёзки...

Лос-Анджелес, 1981 г.

МАРИНА КАЦЕВА

«...НЕ ТОЛЬКО МУЗЫКА...»

(Памяти Владимира Зака)

«...И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак, на краю земли,
И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали...»

Ф.Тютчев

13 августа 2007 года не стало Володи Зака. Телефонный звонок, принесший эту весть, был подобен физическому удару в грудь. Уверена, что всех его знакомых эта весть застигла врасплох – НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО!! Седая шевелюра и моложавое лицо, неизменная улыбка и почти всегда грустный взгляд добрых карих глаз... Если бы у него даже и было все «в порядке» с фамилией и графой в паспорте, все равно рано или поздно он стал бы жертвой в той стране, где прожил большую часть жизни. Там всегда нашелся бы кто-то, кого бы сильно раздражала эта его типично еврейская физиономическая особенность, метко схваченная Шолом-Алейхемом, *«когда одна половина лица смеется, а другая плачет»*...

И вот снова 13 августа – 2008-го. Прошел год с его последнего дня на «этой ласковой земле»... И как, наверно, трогательно было бы ему узнать, сколько людей разных поколений, профессий и стран проживания в тот день перезванивались и переписывались, вспоминая о нем, о необычайности его личности, о неповторимости его манеры говорить - говорить *так*, что *любые* произнесенные им слова, превращались в **текст**, *наполненный смыслом.* Поэтому, очевидно, столь многое помнится, десятилетия спустя.

* * *

«Забыть – не то слово... Вы этого сделать не сможете, как случай вашей жизни...»

М.Цветаева

... Однажды мы как-то набегу пересеклись на Огарева, во дворе сразу между тремя Союзами композиторов – СССР, РСФСР и Московского. Я была огорчена встречей с редактором, и Володей это не осталось не замеченным.

– Что случилось?

– Да вот, упрекают в излишней пафосности.

Любопытно: память не удержала, ни о чем была та статья, ни имя редактора, а вот слова Володи до сих пор «тремолируют» в ушах, как будто это было вчера.

– О, пафос- это великая вещь! Пафоса бояться не надо!! Бояться надо безпафосных людей!! Бежать от них!!!! Без пафоса жить неинтересно! Без пафоса не может быть искусства!!! Пафос – это основа жизни нормального человека, тем более творческого, а ты ведь... и т.д... На комплименты, как известно, он был щедр, как бывают щедры только талантливые люди... Ах, как окрылили тогда его слова!

И как хорошо, что я к ним прислушалась! И если были в моей профессиональной практике удачи, то только именно благодаря *пафосному* отношению к предмету разговора.

* * *

«Не забуду и не повторю... Ибо незабвенен и неповторим...» М.Цветаева

Мы познакомились с Володей в то счастливое время, когда по четвергам на сцену московского Дома Композиторов выходил совет знаменитого МММК (Московского Молодежного Музыкального Клуба) в полном его составе: Григорий Фрид, Григорий Головинский и Владимир Зак. Именно эти три человека придумали и блестяще осуществили рискованный эксперимент – собрать в одном зале несколько поколений московской интеллигенции, объединив «физиков и лириков» на почве любви и тяги к искусству. Для меня же лично те четверги стали ещё и «моими университетами»: именно у этих троих музыкантов я обучалась лекторскому делу. Три совершенно разных стиля ведения беседы, которые я, конечно, пыталась примерить на себя. Иногда даже казалось, что что-то получается, но только не с Заком – Владимир Зак был неповторим! До сих пор помню его блистательную лекцию о мелодике Дунаевского, его театральные паузы, целую палитру неожиданных смысловых акцентов..., но о подражании не могло быть и речи. *Так* говорить, *так* показывать на рояле умел только Зак. Да, что там лекция! Даже пересказ сна он умел на ходу превращать в театральную сценку, а слушателя в зрителя. Вот один пример.

...Володя необычно задумчив... «Знаешь, сегодня со мною произошла удивительнейшая история. Мне приснилась моя любимая покойная сестричка Кларочка. Вроде бы она мне позвонила, как обычно, по телефону, расспрашивала обо всех. Я подробно рассказывал. Потом я поинтересовался, как ей там, не скучно ли? Она все очень хвалила, но когда я пообещал скоро навестить ее, она вдруг быстро-быстро сказала: «Нет-нет, Володенька, не надо! Тебе сюда еще рано, ещё нельзя...»... - и нас разъединили. Я проснулся в холодном поту. В руке зажата телефонная трубка, из которой раздаются короткие гудки. Вот так, милая, мы переживаем по пустякам, а рядом бродит вечность...».

Сорок лет – для памяти срок немалый, а я все ещё не только помню имя сестры, о существовании которой прежде не имела понятия, не только представляю себе её, но и всю их дружную семью, как они любили друг друга и каким горем стала для Володи ее ранняя смерть. Он «исполнил» свой сон, как законченную новеллу, в сюжете которой была закодирована великая тайна, и о ***том*** свете («небесных царств») и об ***этом,*** тоже пока ещё многого о себе не разгадавшем.

Володя Зак был одарен ярко и многосторонне. Причем, в каждом из отпущенных ему даров он чем-то *чуть-чуть* выделялся из среды подобных себе талантов. Он был не просто историк музыки, а философ. Не просто лектор, а увлеченный (и увлекающий!) рассказчик. Не просто имитатор, а мастер устного жанра. Не просто критик, а соавтор, то, что Марина Цветаева больше всего ценила в критике. Кстати, замечу, что частое цитирование Цветаевой здесь вполне уместно, потому что ещё в Москве именно она была главной героиней большинства наших бесед. Я тогда готовила тему «Цветаева и музыка», и Володя живо интересовался продвижением моей работы. Причем, интересовался не праздно, а действенно. Например, он организовал мое выступление в Союзе композиторов, что в начале 80-х было ещё совсем не просто сделать. И в Америке не ограничился джентельменским интересом, включив рассказ о Цветаевском музее в Бостоне в свой обзор *«Евреи-иммигранты-музыковеды США».* * Однако узнала я об этом не от него. А как узнала, заслуживает краткого пояснения.

* * *

«...И за добро творимое
получите добро...»
И.Бродский

...Телефонные звонки приносят ведь и приятные вести. Иногда очень приятные. 1998 год. Звонок. Тихий женский голос:

– «Вы, наверно меня уже забыли, это...»

...Да, это была московская знакомая, духовно очень близкий мне человек. После нашего отъезда в ее жизни случилась трагедия, заставившая тоже покинуть Москву. Мы потеряли ее след. И вот, после многолетних поисков, когда утрата казалась уже необратимой, вдруг звонок...

– Неужели это Вы! Где Вы?
– Я живу в Израиле, в Цфате.
– Как же нашли нас?
– По статье.
– ???!
– Да-да, о Вас и о Цветаевском музее в Бостоне...
– Какой статье?
– Как, Вы разве не знаете?
– Понятия не имею. А кто же автор?
– Некто Владимир Зак.

... Дорогой Владимир Зак... Не знаю, понимал ли он до конца, какую службу сослужил мне, включив в свой обзор?! И дело здесь не только в обретении друга, дело в его стопроцентном попадании в ещё одну цветаевскую формулу: *«Друг – это не сколько ты можешь поднять, а сколько ты хочешь напрячься».* Уверена, ему понравились бы эти слова. Потому что сам Володя не всегда *мог* поднять все что хотел, но всегда ***хотел*** напрячься.

* * *

«От похвалы еще никто не умирал, а от критики - многие»
Л.Толстой

В Америке мы встретились всего один раз, в душном июльском Нью-Йорке, в доме, где Григорий Фрид остановился по дороге из Денвера в Москву. Друзья чудно выглядели. Приятно было снова видеть их вместе. Володя много шутил. Он был тогда на подъеме, писал статьи, работал над книгой о Шостаковиче, организовывал музыковедческие конференции, вел обширную переписку, словом, был востребован в полной мере. Прощаясь, мы обменялись телефонами... и больше в этой жизни уже не встретились. Но виртуальное общение продолжалось – звонки, письма... Одно его письмо я храню среди самых дорогих реликвий. Никто никогда ещё так точно не объяснил мне моё собственное жизненное предназначение, как он в том письме. И когда нападает хандра, перечитываю и становится легче.

* * *

«Мастерство беседы в том, чтобы скрыть от собеседника его нищенство. Гениальность – заставить его, в данный час, быть Крезом».
М. Цветаева

И еще об одном замечательном даре Володи Зака – даре собеседника.

Именно поэтому, наверно, все так тянулись к нему и в Москве и особенно в США. Он всем был нужен, потому что у него для каждого находились именно те слова, которые хотелось услышать. Ему можно было звонить в любое время, не чувствуя неудобства, потому что он мгновенно включался в тему и поворачивал любой разговор так, что через минуту уже казалось, что это *именно ему,* Заку, и *именно сейчас, и именно с этим человеком* необходимо обсудить *именно этот* вопрос. Володя никогда не упускал случая возвысить человека, даже если понимал, что его оценка - явное преувеличение. И если я осмеливаюсь здесь привести надпись на присланной мне книге о Шостаковиче, то только для подтверждения вышесказанного. Ах, если б можно было собрать под одной обложкой все володины автографы из всех раздаренных им книг! В какой волшебной стране мы бы оказались! Все жители в ней были бы только самые благородные, самые добрые, самые талантливые. Это шло от его человеческой доброты. И этим пользовались многие. Знали – не отмахнется, не подведет.

* * *

«...Ради улыбки – своей и чужой...»
М.Цветаева

В религиозных книгах говорится, что человек приходит в эту жизнь со своим предназначением, своей миссией. Кто-то успевает ее осуществить, кто-то нет. Володя многого из своих планов не успел завершить, но миссию свою исполнил и предназначению не изменил. В творчестве – это его книга *«Шостакович и евреи»*, первая, по сути, серьезная работа по теме, которая еще ждет своего будущего. Ну, а человеческое предназначение – «спешить делать добро» и заражать жизнелюбием всё и всех вокруг себя – в этом Владимир Зак преуспел сполна.

---

* Речь идет о главе «Евреи-иммигранты-музыковеды США», вошедшей в 4-й том энциклопедии *«Евреи в культуре русского зарубежья»*. Израиль, 1996.

Бостон, 2008

ИРМА ЗОЛОТОВИЦКАЯ

ВЛАДИМИР ЗАК О ШОСТАКОВИЧЕ

Учёный-музыковед, доктор искусствоведения, автор огромного количества книг и статей на разных языках, блестящий оратор и лектор-популяризатор, композитор, писатель, общественный деятель – перечень ипостасей можно было бы продолжить. Владимира Ильича Зака природа щедро одарила россыпью талантов, его внутренний мир был необычайно богат и, вместе с тем, распахнут навстречу людям. Это был гений общения, от которого исходила теплота и доброжелательность, искренний, неподдельный интерес к собеседнику, к людям, бескорыстное желание поделиться своими знаниями, своими мыслями, всем тем, что хранила его феноменальная память. Одним словом – ярчайшая личность, уникальная в своём роде.

Переехав в 1991 из Москвы в Нью-Йорк "на постоянное место жительства" и будучи человеком чрезвычайно деятельным, он сумел быстро найти "свою нишу" в этом новом для себя мире. Сразу же стал регулярно публиковаться – преимущественно в русскоязычных изданиях, выступать с публичными лекциями о музыке в самых разных аудиториях. Постепенно завязывались множественные человеческие контакты – сказалась его общительная натура, – и на каком-то этапе родилась идея семинара, тему которого "О еврейском у Шостаковича" подсказали сами слушатели-американцы. В процессе работы семинара оказалось, что их понимание музыки Шостаковича весьма своеобразно и неожиданно. Это они, "семинаристы", впервые заговорили о "библейском" в творчестве Шостаковича, о том, что пафос его музыки – преодоление зла – взращён на этическом фундаменте иудаизма, позднее ставшим этическим фундаментом христианства, а также о многом другом, что получило дальнейшее развитие в их беседах. Как потом вспоминал В. Зак, ему интересно было обсуждать с "семинаристами" их порой неожиданные высказывания о музыке Шостаковича, в которых присутствует свойственная американской ментальности "неискоренимая наивность Нового Света". И тут же он поясняет, что его решение обнародовать беседы о Шостаковиче с американцами – это результат "...убеждённости в том, что подлинная наивность скрывает в себе и прелесть нравственного целомудрия, от которого мы, бывшие советские, к великому сожалению, отошли слишком далеко. Быть может потому, что оказались отлучёнными от старых, вечных истин?"

Так родилась книга Владимира Зака "Шостакович и евреи?" (Киев; Нью-Йорк, 1997). "Скромные эссе в смешанном стиле" – таково авторское определение жанра этой работы. По его словам, "эссе скомпонованы в виде популярных музыковедческих суждений или в форме полубеллетристических рассказов". Это верно. Однако, эти слова я бы отнесла лишь к способу и стилю изложения материала – свободному, яркому, общительному. На самом же деле за "популярными суждениями" скрыт подлинно научный аналитизм, хотя книга, действительно, читается, как увлекательная беллетристика. С её страниц звучит голос нашего современника, которому довелось долгие годы находиться в самом сердце музыкального процесса в советской стране, участвовать во всём происходящем и, наконец, посчастливилось не только видеть и слышать Шостаковича, но также общаться с ним.

О чём эта книга? "Конечно же, "Шостакович и евреи?" подразумевает ..."не только евреи", с первых страниц предупреждает автор. И поясняет, что одну из важнейших своих задач он видит в освещении той социальной атмосферы, в которой творил свои шедевры Шостакович. Так, включены в книжку материалы, как бы дорисовывающие "портрет эпохи", ибо всё это чрезвычайно важно для понимания творчества и личности композитора.

Вот, к примеру, небольшой рассказ о встрече с В.М. Молотовым (настоящая фамилия Скрябин), в ту пору, в 1966 году, уже бывшим министром иностранных дел СССР. Дело происходило на поминках его родного брата, композитора Нолинского (псевдоним Николая Михайловича Скрябина). Буквально несколькими штрихами ярко обрисован образ этого "интеллектуала советского правительства", для которого время как бы остановилось. Та же фразеология, тот же непререкаемый тон, те же оценки. "...Никто и ничто не могло противостоять закваске сталинского соратника... Необратимость психологии, воспитанной тоталитаризмом", – пишет В. Зак и при этом восклицает: "Но ведь с этими людьми продолжалась жизнь Шостаковича!"

А вот ещё один жизненный эпизод. "Тема нашествия" на Валааме" – так озаглавлен этот очерк-новелла. "Визитная карточка" Шостаковича (таково, по меткому определению В. Зака, значение знаменитой "темы нашествия" из Седьмой, "Ленинградской" симфонии) фигурирует здесь не случайно. И не только потому, что в переплетении судеб главных персонажей этой невыдуманной истории имя Шостаковича и его симфония занимают особое место, но и в связи с тем, что "тема нашествия" – это

обобщённый символ зла, насилия, страшной опасности и угрозы самой человеческой жизни на земле.

В живой, непринуждённой форме ведётся рассказ о совместной поездке автора с супругами Элиасберг на остров Валаам, который постоянно притягивал к себе обитателей Дома творчества композиторов "Сортавала", расположенного в живописном уголке на берегу того же Ладожского озера. Мне, проводившей в этом Доме творчества почти ежегодно один из летних месяцев и, естественно, не раз посещавшей Валаам, этот рассказ показался очень точным и волнующим.

Бегло, скупыми средствами обрисован образ этого прежде цветущего острова, с которым когда-то были связаны имена многих выдающихся деятелей русской культуры, а в советское время превратившегося в символ разрушения, насилия, одним словом – "нашествия". Действительно, взору туристов, едва сошедших с трапа парохода, сразу же открывалась унылая картина заброшенности, запустения. Однако, по мере продвижения в глубь острова путников ожидали впечатления даже более тяжёлые, гнетущие, нежели представшее их взору печальное зрелище разрушенных и покрытых нечистотами знаменитых памятников архитектуры – Белого и Красного скитов.

В центре повествования – случайная встреча с обитателем одного из самых страшных мест на Валааме – дома инвалидов, где доживают свой век в ужасающих условиях и в полной изоляции от внешнего мира ("чтобы не смущали, не озадачивали, не будоражили советских людей своим уродством"!) бывшие фронтовики, вернувшиеся с войны с самыми тяжкими увечьями. Один из них, бывший музыкант, потерявший на войне обе руки ("я скрипач без рук и еврей без паспорта" – говорит он о себе), узнаёт в Карле Ильиче Элиасберге того самого знаменитого дирижёра, под чьим управлением он слушал Седьмую симфонию Шостаковича девятого августа 1942 года в осаждённом Ленинграде. И, конечно, в его горький рассказ о своей трагической жизни естественно входит музыка. Он с восторгом говорит о лирике Шостаковича, а это значит, что душа его, невзирая ни на что, не зачерствела, не ожесточилась. Он мечтает вырваться из этого кошмара, добраться до Ленинграда, где живёт его товарищ и где, быть может, он сумеет начать жизнь сначала... Ведь государство, за которое он воевал на фронте, лишило его элементарных человеческих прав, в том числе, права иметь документы, удостоверяющие личность ("...чтобы не сбежал!").

Супруги Элиасберг без раздумий решают помочь этому несчастному человеку попасть на пароход, которым они возвращаются в Сортавалу. Попытка заканчивается печально. "Нарушителя порядка" снимают с борта отплывающего парохода и под конвоем уводят. Под впечатлением происшедшего Карл Ильич возвращается к "теме нашествия" и говорит, что это "уникальный в мировой литературе "марш жестокости", но в то же время "самое убедительное доказательство от противного" – ещё одно напоминание о подлинной цене человеческой жизни. Кстати, и в этом высказывании Карла Ильича, и в его немедленной готовности помочь случайно встреченному человеку очень точно отражён его характер, благородство его души. Эта небольшая новелла – дань памяти человеку, дирижёру, чьё имя сама история неразрывно связала с именем Шостаковича.

И всё же, наверное, самое интересное, самое ценное в этой книге составляют те её разделы и страницы, в которых представлены собственно музыковедческие, исследовательские наблюдения В. Зака Его тонкий аналитический слух, позволявший уловить в музыке Шостаковича то, что порой оставалось незамеченным многочисленными исследователями, его обширная эрудиция, создававшая предпосылки для широких обобщений, и, наконец, его всегда особый эмоциональный тонус, который ощутим как в самом движении его мысли, так и в способе изложения, – всё это придаёт исследовательскому в своей первооснове труду черты увлекательного повествования с множеством неожиданных "поворотов" и очень личной, проникновенной интонацией.

Разумеется, особое внимание уделено сочинениям, непосредственно связанным с еврейской темой, – Тринадцатой симфонии на стихи Евгения Евтушенко, обычно именуемой "Бабий яр" (таково название первой части, несущей основную смысловую нагрузку в этом пятичастном произведении)

и вокальному циклу "Из еврейской народной поэзии". Из наблюдений над интонационной сопряжённостью выразительных мотивов разных частей симфонии, постоянно возвращающих нас к "Бабьему яру", В. Зак делает вывод о философском фундаменте музыкально-поэтического построения симфонии. "Зло по природе своей едино" – пишет он. И далее: "Незримое" присутствие "Бабьего яра" в составляющих симфонию частях – ясный показатель важнейшей идеи произведения: антисемитизм ведёт не только к бедствиям евреев, но к обнищанию духа всего общества".

Чуткое ухо музыканта улавливает многие интереснейшие детали, однако, автор отнюдь не стремится к словесной конкретизации смысла музыки, ибо это противоречило бы самой её природе. Он также не предлагает читателю готовых истин. Это лишь его размышления, включающие попутно множество ассоциаций – художественных, житейских, а также личные воспоминания о том или ином событии, встрече, беседе и лишь затем – обобщения, в которых раскрывается его понимание глубинного смысла музыки. Точнее даже – глубинных культурных смыслов того или иного конкретного музыкального явления, того, что постигается, скорее всего, интуитивно и лишь постепенно обретает выражение в оформленной мысли.

Таково развитие одной из сквозных тем книги – музыка Шостаковича как мощнейшее выражение трагического в искусстве XX века. В этой связи ставится вопрос, почему и какими путями *еврейское* (имеется в виду не только тематика, вербальные тексты, но и сам характер, интонационные истоки музыкального языка) проникает в его музыку, становится её неотъемлемым свойством. Один из ярких примеров – появление еврейской темы в финале фортепианного Трио, посвящённого памяти талантливого музыкального критика Ивана Ивановича Соллертинского. "Смерть любимого русского друга и еврейская тема..." – как бы про себя вопрошает, размышляет Зак. И ответ: "Еврейская тема в кульминации – как максимум откровения, как апогей трагического".

Характерные еврейские интонации можно услышать во многих произведениях Шостаковича, написанных в разное время, но Зак обращает внимание на то, что именно в послевоенную пору композитора неодолимо влекло к еврейской интонационности и, более того, непосредственно к еврейской теме.

Не случайно вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии" был сочинён Шостаковичем в том самом, трагическом для евреев Советского Союза 1948 году, а его первое публичное исполнение состоялось лишь через семь лет.

Осмысливая характер воплощения еврейской темы в музыке Шостаковича, Зак слышит в ней не только характерные интонационные связи, но и такое глубинное, не лежащее на поверхности свойство, как отражение еврейского менталитета. Он обращает внимание на то, что

многие "еврейские" музыкальные темы Шостаковича имеют изначально танцевальную основу, что не мешает им в процессе развития, в общем контексте обретать новый смысл, вплоть до высот трагедийности. Ключ к объяснению этого драматургического приёма в его (Шостаковича) собственном высказывании: "Евреям причиняли боль так долго, что они научились прятать своё отчаяние. Они выражали своё отчаяние... в танце". И как бы подхватывая эту мысль композитора, Зак пишет о том, что танцевальность у Шостаковича зачастую органично сплавлена с национально-характерным еврейским говором (например, в вокальном цикле), а ещё – с жестом.

При этом, он ссылается на любопытное высказывание Соломона Михайловича Михоэлса, поведанное ему одним из близких друзей великого артиста – Львом Михайловичем Пульвером, бывшим главным дирижёром ГОСЕТа (тоже – увы! – бывшего, Еврейского театра в Москве). Соломон Михайлович усматривал в музыке Шостаковича в целом, безотносительно к использованию каких-либо характерных еврейских интонаций, ощутимую связь с еврейской экспансивностью, выражаемой именно жестом, жестикуляцией.

И снова Зак как будто вступает в виртуальный диалог: "Не сама ли история евреев заставляла их точно и ясно понимать язык жестов? Ведь таковой заменял конкретику слова, постоянно таившего в себе опасность "разоблачения"". Страшное это было слово – "*разоблачение*", поскольку за ним, как правило, следовало и другое, созвучное – "*уничтожение*", в том числе, физическое.

Шостакович постоянно находился под жёстким прессом "властей предержащих", однако, он не капитулировал, не сдавался, и в книге эта тема проходит красной нитью. "Да, – пишет Зак – композитор шёл наперекор жестокой силе. Но делал вид, что её поддерживает. Вынужден был делать вид". И далее: "Раздвоенность доставляла Шостаковичу немыслимые страдания. Раздвоенность стала тягчайшим пожизненным бременем". Таков был его путь сопротивления, его способ противодействия. Но главным его оружием была Музыка. В ней, и только в ней, он мог высказать всё самое сокровенное.

Владимиру Заку, человеку с чутким, обострённым слухом и тонкой, резонирующей душой, удалось проникнуть в это *сокровенное* и поведать обо всём в своей книге. Эта книга – живое свидетельство не просто очевидца описанных событий, но человека, который, как по долгу службы, так и по велению сердца, находился в самой гуще происходящего. Уверена, что этой книге уготована долгая жизнь, равно как и памяти об её авторе, замечательном человеке по имени ВЛАДИМИР ЗАК.

КСЕНИЯ ГАМАРНИК

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ИРИНОЙ РЕЙН

Дети эмигрантов приспосабливаются к жизни в новой стране быстрее, чем их родители, бабушки и дедушки. Однако это не значит, что им приходится легче, чем взрослым. Вырастая, дети начинают свободно говорить, думать, а некоторые и сочинять на языке, который для их родителей навсегда останется вторым, «иностранным». Из таких детей могут получится писатели, которые внесут вклад в литературу новой родины. Именно это произошло с Ириной Рейн, которая недавно издала свою первую книгу «Что случилось с Анной К.».

...Леночке было за тридцать, и ее мама почти потеряла надежду выдать единственную дочь замуж. Да и сама Леночка уже не особенно надеялась на замужество. Поэтому, когда в баре на Брайтон-Бич она познакомилась с Игорем, Леночка вскоре, не колеблясь, согласилась выйти за него замуж. Вот только замужество не сделало ее счастливее. Игорь все больше раздражал Леночку. А тут еще в их квартире завелся... домовой. Леночка не видела его, но ощущала его присутствие. Вскоре и Игорь заметил, что в их жилье неладно. То свет в квартире включится, когда молодожены уйдут на вечернюю прогулку, то книги на полках окажутся переставлены. И чем больше Леночка наполнялась отвращением к мужу, тем несчастливее и беспокойнее становился таинственный хранитель их дома, неизвестно как попавший в Америку домовой...

Таков сюжет рассказа «Домовой» Ирины Рейн. Ирина родилась в Москве. Когда ей было семь лет, ее семья эмигрировала в США и поселилась в Бруклине. Шел 1980-й год.

«Два года спустя, едва я обрела некоторую уверенность в своем английском языке и начала осваивать улицы нашего района, мы переехали в Рего-Парк, Квинс, – написала Ирина, – Когда мне было почти пятнадцать, мои родители объявили, что мы переезжаем снова – на этот раз в Фейр-Лаун, Нью-Джерси, чтобы мой отец смог открыть там собственную врачебную практику».

Ирина получила степень бакалавра нью-джерсийского Рутгерс-университета, степень магистра славянских языков и литератур пенсильванского Питтсбургского университета и степень магистра изящных искусств (в области писательского мастерства) вермонтского Беннингтон-коллежда.

Со времени окончания вуза Ирина Рейн опубликовала свыше 150 рецензий на книги, а также множество эссе и рассказов, редактировала интернетный литературный журнал, работала на нью-йоркском телевидении и в издательских фирмах. Работы Ирины печатались в изданиях «Лос-Анджелес Таймс», «Сан-Франциско Кроникл», «Москоу Таймс» и многих других.

В 2001 году увидел свет сборник – «Стать американкой: Эссе женщин-эмигранток первого поколения» (Becoming American: Personal Essays by First Generation Immigrant Women). В сборник вошли эссе и рассказы 23 женщин-эмигранток из всех уголков земного шара – из Европы, Южной Америки, Азии и Африки, в том числе, рассказ Ирины Рейн. Рассказы и эссе сборника посвящены непростому процессу вхождения авторов в американскую жизнь, их знакомству с непривычным окружением, языком, климатом, нравами и традициями.

В прошлом году был опубликован сборник рассказов – «Жизнь на краю света: Ньюджерсийские писатели о своем штате» (Living on the Edge of the World: New Jersey Writers Take on the Garden State). Ирина стала составителем и редактором этого интересного сборника.

В мае нынешнего года из печати вышел сборник – «Чужой среди нас: Рассказы о межкультурных конфликтах и связях» (A Stranger Among Us: Stories of Cross Cultural Collision and Connection). В сборнике собраны эссе и рассказы тридцати авторов, эмигрантов и писателей, проживающих в разных странах – в Бангладеш, Израиле, Японии, Азербайджане, Индии и других странах. Их работы посвящены сплаву, возникающему между различными культурами, а иногда и столкновениям, случающимся на почве культурных различий. В сборник, среди прочих, вошел рассказ Ирины Рейн.

Нынешний год для Ирины особый, ведь увидел свет не только ее рассказ в сборнике «Чужой среди нас», но вышел из печати ее первый роман What Happened to Anna K. – «Что случилось с Анной К.».

Писатели нередко пересказывают на новый лад известные литературные произведения. Например, филадельфийский автор Пола Кохен издала две книги, в которых

она по-своему пересказывает сюжеты известной английской писательницы XIX века Джейн Остен. Книга Кохен «Джейн Остен в Бока» (2003) стала ее версией событий, происходивших в романе Остен «Гордость и предубеждение», однако Кохен перенесла действие во флоридский город Бока-Ратон наших дней. А книга Кохен «Джейн Остен в Скарсдейле или Любовь, смерть и школьные тесты» (2006) явилась перепевом мотивов романа Остен «Доводы рассудка».

Вот и Ирина Рейн в своей книге опирается на сюжетную канву романа Льва Толстого «Анна Каренина», только она перенесла место действия в современный Квинс, в знакомый ей с детства Рего-Парк, где проживает соединенная тесными связями община евреев, выходцев из бывшего Союза. Для описания этой общины Ирина не жалеет сарказма и юмора.

Главная героиня романа романтическая натура Анна растратила свою молодость в поисках идеального возлюбленного, который мог бы стать ее мужем. На поверку, мужчины, с которыми она встречалась, оказывались от идеала сверхдалеки. В свои тридцать семь Анна замужем за преуспевающим 56-летним бизнесменом Алексом К., растит сына Сережу, но по-прежнему неудовлетворена своей судьбой и своим браком. Переживания Анны становятся идеальной почвой для того, чтобы, презрев условности, броситься в любовь как в омут. В жизни окружающих Анну людей тоже не все просто. Ее наивная двоюродная сестра Катя Завурова встречается с Давидом, подающим надежды писателем, в то время как от тайной страсти к Кате сгорает молодой бухарский еврей, фармацевт по профессии и мечтатель по натуре Лев Гаврилов.

Страсть, вспыхнувшая между Анной и Давидом, развивается на фоне ухаживаний Льва за Катей. Однако в тесной еврейской общине на супружескую неверность смотрят, вероятно, столь же недобро, как на нее смотрели в России более ста тридцати лет назад.

«Те, кто любит книгу «Анна Каренина» с ее параллельно развивающимися романами Анны и Вронского, Левина и Китти, получат удовольствие от того, как Рейн управляет судьбами своих Алекса и Анны, Льва и Кати, – написал рецензент Карлин Романо, – Другие обнаружат в романе «Что случилось с Анной К.» современную историю любви».

«Рейновской Анне, возможно, сочувствовать еще сложнее, чем героине Толстого, но блестящий экскурс Рейн в жизнь русской и бухарской еврейской общины и ее энергичный стиль делают этот литературный дебют особенно ценным, – говорится в рецензии, опубликованной в журнале «Паблишерс Уикли».

В настоящее время 34-летняя Ирина Рейн делит свое время между Бруклином и пенсильванским Питтсбургом, где она занимает должность профессора Питтсбургского университета и читает студентам курс писательского мастерства.

ИРИНА ПАНЧЕНКО

«ТОЛЬКО ХУДОЖНИК НА ВСЁМ ЧУЕТ ПРЕКРАСНОГО СЛЕД»

Что держало его на земле этой? Как мне кажется, безграничная, безмерная любовь к искусству, своеобразный внутренний мир, защищающий от мира внешнего.

Ефим Рудминский. (Из выступления на открытии посмертной выставки художника А. Балазовского в Киевском Доме актёра в 1985 году).

Строка из стихотворения русского поэта Афанасия Фета, вынесенная в заголовок, может служить ключом к пониманию человека, который родился с мироощущением Художника.

Абрама Семеновича Балазовского завораживала скрытая духовная красота, разлитая в мире. Он до слёз, до трепета ощущал эту красоту в цветке, дереве, человеческом лице, жесте актёра, музыкальной фразе, литературном слове, полотне живописца, архитектурном ансамбле... Его тревожили и волновали тональность, ритм, звучание цвета, за которыми он чувствовал вечно ускользающую тайну божественного замысла. Он ощущал едва уловимые тончайшие оттенки, которые равно свойственны живописи и музыке. Его мучила неутолимая жажда запечатлеть эту манящую красоту с помощью кисти и красок. Ему были ведомы редкие по глубине озарения:

«Вчера от горя взял кисти и долго писал поверх начатой работы. Вдруг засверкала, засветилась Истина, быть может, Исповедь. Ясная, необычная, её можно разглядывать долго, с интересом и находить в ней подлинный голос. Я не хочу анализировать труд, но и не помню, когда мне приходилось так необыкновенно увидеть Невидимое», – писал Балазовский в октябре 1963 года в Москву своему душевному другу, москвичке Л. М. Дмитровой.

Свой дар эстетического переживания мира он упорно годами развивал, овладевая профессией художника во всей её сложности. Упражнял глазомер, добивался твёрдости руки. Никогда не расставался с блокнотом для набросков. Оттачивал мастерство рисунка, лаконизм штриха, строгость композиции. И, вместе с тем, художник никогда не был рабом натуры. Зачем удваивать созданное природой? Техника служила ему только необходимым инструментом для воплощения замысла, передачи настроения. Оттого любил экспериментировать, создавать варианты одного и того же мотива.

Он не уставал искать. В нём не иссякало воображение. На бумаге и холсте проявлял себя своеобычно.

У него был талант, было осознанное право художника на творческую свободу. Такое сознание было крамольным в тоталитарном мире, в котором он жил.

Комсомольцем не был. В партийные ряды не вступал. И это было, конечно, подозрительно начальству. Таких не жаловало руководство, таким «не давали ходу», не присваивали звание «заслуженный художник».

Его лучшие станковые работы не принимались на республиканские и союзные выставки живописи («не актуально», «формализм»), хотя его театральным эскизам находилось место на многочисленных коллективных выставках художников театра и кино. Он всю жизнь много работал. Рисовал даже в больницах.

Его труд никогда не был отмечен почётными грамотами, наградами, премиями. Разве что однажды в юности его отметили за успехи стипендией, когда учился в Москве на Рабфаке.

В запасниках Государственного Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины хранится полтора десятка его замечательных работ. Именно в запасниках. В залах музея не нашлось места ни одной. Остальные разошлись по частным коллекциям, раздарены друзьям. Большая часть находится в настоящее время у наследницы его живописи К.Е. Забарко-Рудминской, вдовы его ученика Ефима Рудминского. Недавно она эмигрировала в Чикаго. Многие работы разбрелись по неизвестным адресам или безвозвратно утеряны. Балазовский не слишком заботился о сохранности своих произведений, да и хранить-то ему эскизы и картины в его единственной маленькой комнатке коммунальной квартиры, которая являлась одновременно местом сна и работы, было негде. Специальной мастерской, которую выде-

ляли членам Союза художников скульпторам и станковистам, ему не полагалось.

Не существует монографий, серьёзных искусствоведческих исследований, солидных альбомов, посвящённых этому мастеру, хотя творчество художника Балазовского бесспорно принадлежит к интересным явлениям в живописи XX века.

Художник Эдуард Колесов, который трудился с Абрамом Семёновичем, хорошо запомнил старшего товарища: «Юмор у него был тонкий, французский, с подтекстом, без тени пошлости. Талантлив он был во всём. Когда я в двадцать три года пришёл на Киевскую телестудию после художественной школы, после заочного Львовского полиграфического института, ведущими художниками на студии были Кучеров и Балазовский».

Ещё одна его коллега по телестудии, художник Ариадна Перепелица, писала в своих воспоминаниях: «...А.С.Балазовский – тихий, добрый, сердечный, высокообразованный и музыкальный. Благодаря ему, многие впервые услышали о Тышлере, Дебюсси, Вивальди, о нашем авангарде 1920-1930-х... Благодаря ему, в нашем коллективе говорили обо всех новостях в искусстве».

Балазовский родился в Киеве 8 ноября 1908 г. Сведений о его детстве и юности очень мало. Живописи Балазовский начал учиться с десяти лет, в 1918-1919 гг., в знаменитой тогда художественной студии «Культурлиги». Там его учили преимущественно свободной композиции.

Семья Балазовских была музыкальной. Старший брат, позднее погибший во время войны, был дирижёром, руководил оркестром одного из минских театров. Средний брат был прекрасным пианистом. Сам Балазовский обучался игре на фортепьяно в музыкальной студии в 1921-1926 гг. С тех пор любовь к музыке сопровождала его всю жизнь.

В 1927-1928 гг. Балазовский посещал курсы для художников-самоучек при Киевском художественном институте, где работал под руководством весьма известных художников Пальмова и Черкасского. В обучении живописи тех лет принципы академизма ещё не возобладали окончательно, к преподаванию допускались и художники-авангардисты. График и живописец В.Н.Пальмов (1888-1929) – соратник и друг А. Кручёных, принадлежал к футуристам, впоследствии входил в ЛЕФ. Судя по зрелому творчеству Балазовского, уроки Пальмова не прошли даром.

Молодого художника манила Москва с её напряжённой культурной жизнью. В 1928 году Балазовский отправился в Москву и поступил на так называемый Рабфак Искусств, где учился до 1931 г. под руководством художника М.Ф.Шемякина.

Это было время яростного противоборства в методике обучения молодых живописцев: следовать академическим заветам или прислушиваться к революционным призывам «левых» ниспровергателей классических традиций? До того, как последующий возврат к тогда ещё традиционному академизму преломился в «социалистический реализм», Балазовский, несомненно, успел получить прививку эстетики авангарда, что благотворно сказалось на его последующем творчестве.

Пусть на излёте, но он успел прикоснуться к той общественной атмосфере, когда советская художественная жизнь ещё была проникнута космополитическим духом, когда в искусстве театра, музыки, живописи, поэзии существовало множество всевозможных стилей, направлений, школ. Тот подъём и расцвет искусства в стране вскоре, уже в 1930-е гг. оборвался, но Балазовский остался верен духу эстетической свободы, и всегда стремился следовать ему в своем творчестве.

В Москве, в первый же год обучения, на так называемой выставке «Молодых дарований» появились несколько акварельных работ Балазовского. Это была первая победа: его наградили стипендией им. А. В. Луначарского.

Однако в 1931 г. Абрам Семёнович вернулся в Киев. Может быть, возвращение в родной город было вынужденным. «Насколько я знаю, – вспоминал Ефим Рудминский в черновике непроизнесённой речи на посмертной выставке учителя (из всех учеников Балазовского его связывали с учителем наиболее близкие отношения), – он даже сидел в тюрьме (по моему, за какое-то излишнее слово о Троцком)». Однако когда и где это произошло, поныне неизвестно. После высылки Троцкого в 1929 г. любое упоминание его имени стало крамольным. Возможно, Балазовский попал в опалу в 1931 г., из-за чего был вынужден вернуться в Киев.

Вадим Чубасов запомнил Балазовского человеком «скромным, закрытым», «боявшимся вступать в конфликты», но порой забывавшем об осторожности, рискованно откровенным и резким: «Молчит-молчит, а потом как выскажется...», – рассказывал Чубасов.

В 1935-1938 гг. Балазовский вернулся к учебе в Киевском Художественном институте, на этот раз на факультете живописи под руководством известных художников К.Д. Трофименко и М.А. Шаронова.

В 1938-1941 гг. Балазовский снова в столице, он учился на театрально-декорационном факультете Московского художественного института. Преподавателем живописи Балазовского оказался сам знаменитый А.В.Лентулов, один из основателей известного московского объединения художников «Бубновый валет» (1910-1916), писавших пейзажи, натюрморты и портреты в духе французских постимпрессионистов и кубистов. Очевидно, живописно-пластические поиски зрелого Балазовского восходят, среди прочего, и к урокам Лентулова.

Обучение прервала Вторая мировая война. Балазовский был тогда студентом третьего курса. К тому времени за его плечами был уже долгий опыт учебы в художественных учебных заведениях, три года из которых он посвятил изучению сценографии.

К сожалению, не сохранилось ни одной из работ Балазовского довоенных лет. Не лучше оказалась судьба работ, созданных в годы войны. Раненый под Смоленском, Балазовский оказался в Ржевском госпитале. У него не было ни красок, ни бумаги. Он раздобыл берёзовый уголь и, когда уже был «ходячим», рисовал «агит-окна» прямо на белых стенах госпитальной столовой, на стенах разрушенных домов Ржева. Потом опять воевал и был ранен, лечился в госпитале, в Калинине. Выздоравливая, снова вернулся к живописи. Раздобыл краски, нарисовал для госпиталя серию портретов Героев Советского Союза, жанровые картины, пейзажи и натюрморты (местонахождение этих работ неизвестно).

После войны вчерашнему солдату Балазовскому было уже поздно возвращаться в студенческую аудиторию, пора было искать работу по профессии.

«Я в вас верю...». Летом 1944 г. Балазовский демобилизовался и приехал в Киев долечиваться в госпитале. В последние месяцы армейской жизни Балазовского, перед демобилизацией, произошло событие, сыгравшее большую роль в его жизни. Он получил из Москвы ответ на своё письмо, посланное полевой почтой Абраму Марковичу Эфросу (1888-1954), одному из самых образованных, известных и авторитетных в СССР искусствоведов. Художественный и литературный критик, поэт «серебряного века», переводчик А. Эфрос отличался не только удивительной разносторонностью своего творчества, но и широтой эстетических взглядов, его восхищали работы мастеров различных художественных направлений и

школ, в том числе тех, которые экспериментировали с новыми формами.

Пожилой занятый учёный, у которого, говоря его словами, была «заверченная до отказа жизнь», поделенная между переводами, рукописями, корректурами, лекциями и докладами на конференциях, не пожалел времени, чтобы писать незнакомому фронтовику. И не формальные, а обстоятельные, полные заботы письма. Более того, он попросил Балазовского набрасывать *«маленькие эскизы пером», «маленькие графические наброски»* и «вкрапливать» их в текст писем к нему, обдумывая при этом «композицию из рисунка и текста».

Эфрос предложил Балазовскому воспользоваться опытом Ван-Гога, Менцеля и других художников, которые когда-то именно таким образом иллюстрировали свои письма. *«Вам это будет полезнее и интереснее, чем описывать рисунки словами,* – писал Эфрос, – *и всё будет мне ясно».*

Спустя годы, подобные миниатюры на открытках, т.н. «Письма без слов», будет рисовать и присылать домой ученик Балазовского Ефим Рудминский, которого учитель познакомил со своей перепиской с мэтром. Эфрос объяснял, что хочет таким образом понять замыслы адресата и помочь ему «по существу». Кроме того, он посылал Балазовскому репродукции работ старых мастеров для копирования, которое рекомендовалось художнику как один из способов овладения техникой рисования.

Эфрос внушал ему уверенность в себе: «Талант у Вас подлинный, Вам всё легко дается, "почерк", живописная манера у Вас артистична и музыкальна... Это дар Божий... Я в Вас верю...».

«Моцартианство дарования». В те дни в атмосфере победы страны над фашизмом, переживая чувство причастности к великим событиям, находясь под опекой благожелательного и опытного учителя, Абрам Балазовский испытывал творческий подъём и окрылённость. Вдохновенной работой, он стремился подтвердить высокие оценки, данные его способностям Эфросом.

Он изголодался по творческой работе. Не выпускал из рук кисти, трудился, как одержимый. В этот, столь плодотворный период (1945-1947 гг.) Балазовский зарекомендовал себя талантливым театральным сценографом, создал ряд замечательных эскизов декораций для театральных спектаклей.

Многие работы, созданные в это время, можно отнести к лучшим в его творчестве. Часть из них он представил в 1946 г. для экспонирования на коллективной VIII Украинской республиканской художественной выставке, и они сразу же были отобраны в фонды Государственного театрального музея (ныне музей театрального, музыкального и киноискусства Украины), где хранятся и доныне.

Во второй половине 1940-х гг., на которые приходится взлёт творчества Балазовского, в советском театре царила реалистическая декорация. Время развития символического, метафорического декоративного искусства еще не наступило, до этого оставалось полтора-два десятка лет. Тем не менее, исполненные романтизма театральные работы Балазовского создавались в присущей именно ему импрессионистической манере, словно предвосхищавшей сценографические решения будущих лет.

В этих работах Балазовский использовал выразительные возможности *традиционной театральности* (павильон, покартинные писанные и строенные иллюзорные декорации, станки и пр.). В большинстве известных эскизов сценограф следовал *живописной традиции* русского театрально-декорационного искусства, следовал духу эстетики художественного объединения «Мир Искусства».

Абрам Балазовский хорошо чувствовал жанровую природу тех произведений, которые готовились к постановке. Среди его первых сценографических работ эскизы к классическим западноевропейским комедиям, сказкам, опере, балету... Именно эти жанры были более всего близки ему, потому что он стремился не к бытовой достоверности, не к плоскому жизнеподобию, а к поэтическому преображению. Он любил декорации как таинство, волшебство, как особый воображаемый мир, дарующий ощущение неповторимой магии театра.

Первыми постановками, которые оформил А. Балазовский для театра Киевской музкомедии, были *«Девять невест и ни одного жениха»* австрийского композитора XIX в. Франца фон Зуппе и «*Дон Хиль – зелёные штаны»* испанского драматурга XVII в. Тирсо де Молина. Это были комедии с переодеваниями и запутанными любовными перипетиями. Сохранились эскизы к этим произведениям, в которых Балазовский демонстрировал своё мастерство в создании экстерьера. И там и тут местом действия были уютные улочки на фоне ночного пейзажа. В обоих случаях использовались элементы театральной архитектуры. Однако эскизы непохожи, Балазовский не повторял самого себя.

На основании сохранившихся эскизов к постановкам тех лет можно с уверенностью говорить о Балазовском, как о талантливом сценографе, уверенно владевшем мастерством театрально-декорационного искусства. Художник прибегал к многочисленным средствам традиционной театральности, уповая, прежде всего, на непреходящее обаяние живописи. Как советовал ему А.Эфрос, Балазовский находил *«подлинно живописные декоративные решения».*

Подрезанные крылья. Балазовского приняли в Союз художников в 1945 г., а в начале 1946 г. в СССР развернулась многолетняя кампания против так называемых «космополитов». Очевидно, именно эта кампания стала причиной того, что дорога в театр оказалась для Балазовского на ближайшие два десятилетия почти полностью закрытой.

В 1946 г. Абрам Семёнович начал работать в Институте монументальной живописи и скульптуры Академии Архитектуры УССР, где исполнял обязанности старшего научного сотрудника. Эта работа требовала от Балазовского быстрого освоения новой профессии, зато гарантировала постоянный заработок, в отличие от спорадических заказов на оформление театральных постановок.

Будучи, как говорили его коллеги, «талантливым во всём», Балазовский и здесь, в новой сфере деятельности, проявил себя творческим человеком. Ему было интересно открывать новое. Он увлёкся этой работой. На стенах его скромного жилища появились эскизы керамических панно.

С 1948 до 1958 г. длилось метание Балазовского по разным службам, чтобы заработать на жизнь. Все временные работы Балазовского тех лет были ниже уровня его квалификации.

Глубокий след в учениках своих. В те неблагополучные годы была у Балазовского лишь одна отрада: работа в изостудиях со школьниками-подростками, которые интуитивно и безошибочно почувствовали в нём искреннего, добросердечного человека и потянулись к нему всей душой. Ведь у Абрама Семёновича не было семьи, не было своих детей. Зато был запас нерастраченной душевной доброты. Учитель и ученики в те нелёгкие годы стали друг для друга душевной опорой, спасением от жизненных невзгод.

В ученики к Абраму Балазовского ребята попадали разными путями. Георгия Бабийчука привёл в изостудию Дворца культуры пищевиков на киевском Подоле его отец. С Владимиром Розенталем было иначе. В 1949 г. в детской библиотеке того самого Дворца культуры пище-



Абрам Балазовский. Эскиз. За кулисами.

виков он, двенадцатилетний мальчик, срисовывал висевшую на стене иллюстрацию И. Билибина к «Сказке о царе Салтане» Пушкина. «Я увлёкся, но в какой-то момент почувствовал чей-то взгляд, – вспоминал более полвека спустя Владимир. – Возле меня стоял человек невысокого роста с красивым библейским лицом, очень добрыми глазами, оттенёнными пушистыми чёрными ресницами и густыми, почти сросшимися на переносице бровями. Положив мне руку на плечо, он сказал, глядя на рисунок: «Хорошо, очень хорошо».

Если Володю Розенталя Балазовский пригласил к себе в студию, то большинство других ребят приходили к нему сами: Лазарь Портной, Юрий Забашта, Ефим Рудминский, Юрий Юшко, Миша Вайнштейн, Эрик Туровский, Семён Бейдерман, Юрий Черковский и многие другие. «Все мы, дети войны, в большинстве потерявшие на фронте отцов, в те давние годы были согреты его бесконечным теплом», – писал в статье «О нашем учителе» в киевском журнале «Егупец» В. Розенталь.

Балазовский в стенах студии учил подростков классическому рисунку и композиции. Существовала официальная программа, *единая, железобетонная* для всех изо кружков, студий, школ, институтов страны Советов. Её нельзя было нарушать. Он её и не нарушал. Дети склонялись над мольбертами, а учитель негромко рассуждал об искусстве, музыке, жизни... И вместе с тем, он поощрял в учениках творческую самостоятельность. Г. Бабийчук на вечере памяти Балазовского в 2002 году вспоминал: «Он даёт задание, а я делаю другое. Думаю, сейчас увидит, выгонит меня. А он подходит ко мне и говорит: «Молодец, так и делай!».

Подобным образом Балазовский поступал и позже, когда он пришёл работать на Киевскую телестудию, где приходилось сотрудничать с молодыми коллегами. Художник В. В. Ясько рассказывал, что когда он просил у Балазовского совета, тот всегда спрашивал: «А как бы ты сам сделал?» Учил мыслить, искать свои решения, а не диктовал, что применить в эскизе».

И ещё один важный принцип педагогики Балазовского: щедро хвалить своих учеников и коллег. Когда, годы спустя, В. Розенталь, уже муж и отец, принёс рисунки своей дочери-школьницы к Абраму Балазовскому, тот посоветовал: «Меньше вмешивайся в её работу. Ты, главное, хвали девочку побольше» (из рассказа Розенталя автору этой работы).

Абрам Семёнович учил своих подопечных слушать музыку, читать книги. Он сам часто приносил для них интересные книги. Лазарь Портной вспоминал, с каким благоговением Балазовский принёс им в студию книгу об Александре Скрябине, чью музыку учитель очень любил. Ведь он сам, подобно Скрябину, искал соответствия между звуком и цветом.

Почти все ученики Балазовского прямо или косвенно связали свою жизнь с искусством. Все, знавшие Абрама Семёновича, были одарены его добротой и щедростью. Эта доброта была действенна. Она была помимо той, которую Абрам Семёнович расточал на своих трёх одиноких сестёр, поддерживая их материально.

Е. Рудминский остался верен учителю до конца своей жизни, он был инициатором организации первой посмертной выставки работ Абрама Балазовского. Выступая на этой выставке в Республиканском Доме актёра в 1985 году, он замечательно обосновал необходимость широкого знакомства зрителей с творчеством Абрама Семёновича: «Увидеть и объяснить художника не просто, а тем более работы Балазовского, работы-состояния, в которых скрыт свой тонкий и трогательный внутренний мир – мир высокой эмоциональной культуры и светлой образности».

Всем своим ученикам Балазовский привил такую любовь к подлинно высокому искусству, какую не могла дать школа тех лет.

На конвейере, не знающем остановки. После смерти Сталина в 1953 г. жизнь в советской стране начала постепенно меняться, перемены к лучшему принесла хрущёвская «оттепель». В этот период зародился отечественный нонконформизм в живописи и литературе. Художники «в несвободной стране стали вести себя, как свободные люди» (Андрей Амальрик). Члены оппозиционной московской «Лионозовской группы» художников объединились, чтобы освободиться от шор закоснелого академизма.

Однако для художников «оттепель» оказалась особенно короткой. Она окончилась 1 декабря 1962 года в день открытия в Москве выставки к 30-летию МОСХа, когда искусно натравленный ретроградами Хрущёв устроил молодым участникам выставки грубый разнос за «формализм», а фактически, за отказ следовать канонам и догмам, сложившимся в живописи в эпоху сталинского тоталитаризма. Этот разгром стал победой реакционеров и концом ограниченной творческой свободы предыдущих нескольких лет.

Живописная манера Балазовского, его станковые композиции «для души», которые он создавал дома, не соответствовали требованиям тогдашнего официального искусства. Ему был чужд казённый соцреализм, который, к тому же, нередко становился предметом спекуляций в искусстве: «Сегодня прочёл внушительное объявление об организации лотереи из работ художников! Закупка работ от 50 до 1000 руб. Оригиналы должны быть выполнены в манере социалистического реализма (так и сказано!), тщательно выписаны и т.д. Кто-то погреет руки. Таких охотников у нас достаточно», – с иронией писал Абрам Семёнович Людмиле Дмитровой в Москву 20 марта 1963 г.

Работать в театр Балазовского по прежнему не звали, но в 1958 г. приняли художником-постановщиком на Киевскую студию телевидения. Ему пришлось еще раз овладевать новой для него профессией художника телевидения. Глаз художника и глаз камеры непохожи. Живописцу трудно осваивать технические средства, без которых нельзя обойтись как в кино, так и на телевидении. Обычно у художника без специальной подготовки уходит на освоение новой для него сферы деятельности два-три года. Абрам Балазовский справился с этой задачей гораздо быстрее.

При этом выяснилось, что на тогдашнем телевидении существовало ограничение, с которым Абраму Семёновичу с его обострённым чувством цвета особенно трудно было мириться. Как раз цвета и не было на экране в ту пору. Цветное телевидение на Украине появилось только десятью годами позже. Свои работы на телеэкране Балазовскому предстояло видеть лишь чёрно-белыми. Но и в этих условиях художник продолжал оставаться творческой личностью.

Даже в условиях лихорадочной, вечной спешки Абрам Семёнович относился к телестудийной работе изобретательно: «Завтра оформляю концерт музыкальной десятилетки. Режиссёр Юрий Суярко. Я задумал интересную комбинацию из линий (графическую) с тенями от них. Найденный ритм должен дать стройную архитектонику» (Из письма в Москву).

Режиссёр Евгений Чолок ценил в Балазовском его стремление к неспешному образному решению: «Я с ним контактировал только как с художником. «Я подумаю!», – говорил он мне, чтобы исключить скороспелки».

В Киевской телестудии к эскизам, называвшимся «рабочими» бережно не относились, тем более, что целиком

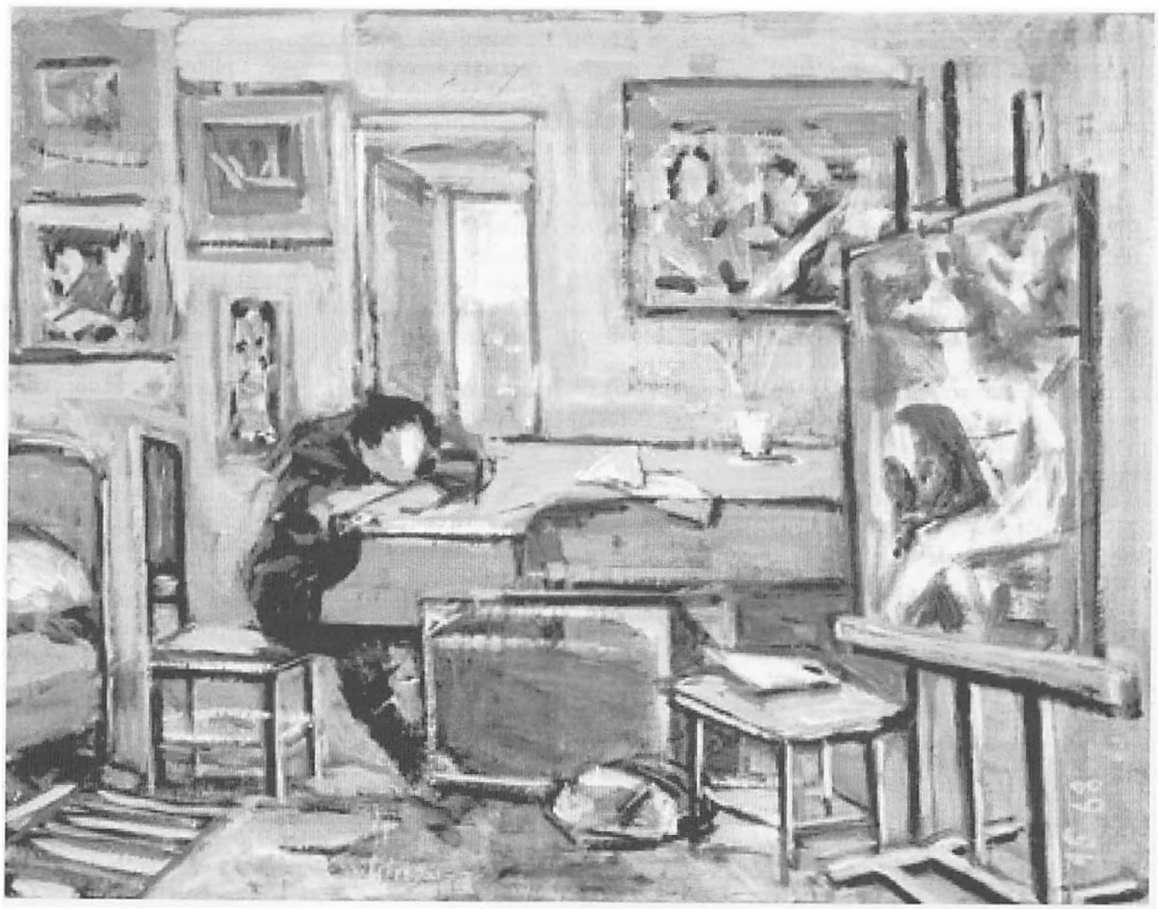
не сохранялись декорации. Существовало помещение, похожее на сарай, в котором складывали то, что использовалось художниками в предыдущих передачах. Для новых передач можно было смонтировать из них что-то иное. «Абрам Семёнович умудрялся создавать каждый раз необыкновенную атмосферу для данной передачи, и нехитрыми средствами... Студия научила работать быстро, смело, давая волю фантазии» (А. Перепелица).

Его вкусы и привязанности никто не щадил. В разные годы его «бросали» осваивать разные «профили»: от искусства – на химию, здравоохранение, физкультуру, сельское хозяйство, передачи для ветеранов... Так, например, в середине 1960-х Балазовский обязан был обслужить общественно-политическую, сельскохозяйственную и производственную редакции, не считая четырёх редакций с литературно-музыкальным уклоном. Пять режиссёров, двенадцать редакторов (не считая главного), два ассистента. «Всем надо срочно и побольше, – писал Балазовский. – Подчиняюсь катастрофически. Чем может окончиться такая свалка? Валяй, братцы! Никому не откажешь, буду виноват только я, поэтому выполняю, исполняю, тружусь до головокружения» (1964).

Очень показательно, что в одном из писем перечисление сделанного Абрам Семёнович начинает с графических композиций на бумаге («Импровизации на чёрном фоне», коллекция К.Забарко) и этюдов, сделанных дома, а не со служебных эскизов для студии. Своё вольное рисование для души Балазовский ценил больше «социальных телезаказов». Служебные эскизы он порой иронически называл «выкидышами», желая акцентировать немилую его душе спешку, в которой создавались эти, с его точки зрения, недоношенные работы. «Когда мне заняться творческими делами?» – сетовал Балазовский. Он сознавал в себе талант, а талант приходилось безжалостно расходовать, тратить на сотни частностей, фрагментов, скороспелок. Он, как бы шутя, мечтал о современном Морозове или Мамонтове, чтобы («хоть на год!»), стать независимым от телестудии.

До конца своей службы на телестудии так и не избавился Балазовский от угнетавшего его чувства нереализованности своих заветных творческих замыслов. Его душа рвалась от искусства преходящего, функционального к вечному, поэтому Балазовского не радовало участие в коллективных цеховых выставках: «Мои пять вещей вполне пристойно размещены на Республиканской выставке работ художников театра и кино, смотрятся, но это совсем не то искусство, которое живёт годами, полно жизни и вдохновения, как поэзия, музыка» (1967).

Освоение жанров телеспектакля и телефильма. Самостоятельной структурной единицей на студии был Телевизионный театр, где от Балазовского требовались навыки профессионального сценографа, поэтому работа в Телевизионном театре более всего нравилась Абраму Семёновичу, хотя подготовка театральных эскизов должна была идти параллельно с текущей работой над заставками для передач тематических редакций. Существовала и другая трудность: «Мягкие акварельные цвета, нюансировки эскизов Балазовского ТВ не брало», – признал



Абрам Балазовский. В мастерской.

А.Мирошниченко (в прошлом сотрудник Балазовского, позднее главный режиссёр Украинского ТВ) – следовательно, авторские фантазии раскрывались не так, как хотелось бы художнику, не приносили ему полного удовлетворения».

«Эскизы Балазовского исполнители не могли воплотить в декорации. Они ухудшали замысел сценографа, его эскизы, потому что не могли передать тонкую чувственную живопись мастера. Постановочные работы Абрама Балазовского в Телевизионном театре и телефильмах проигрывали перед живописными» (Э.Колесов).

И хотя технические возможности ТВ тех лет снижали результаты творческих усилий А.Балазовского, он принял участие в оформлении большого количества спектаклей. В памяти его коллег запечатлелись: «Сашка выбирает дорогу», «Радуга состоялась», «Факелы», «Доктор Айболит», «Романаида» (эпос о воине Романаиде), «Кровью сердца», «Беда от нежного сердца», «Поэтом можешь ты не быть...», «Сказка о принцессе Солиманской»... Режиссёр Е. Чолок верно отметил в интервью характерный для Балазовского выбор тематики передач и спектаклей: «У него был уклон: детская романтика, искусство невинное, чистое, с детской душой. И никакой политики». Конечно, абсолютно избежать политики в те годы было невозможно, но приоритеты, названные наблюдательным коллегой, Балазовский в своём творчестве стремился осуществлять.

Большая часть перечисленных спектаклей была подготовлена Балазовским с режиссёром В.Чубасовым. 1 января 1967 г. телеспектакль по русскому старинному водевилю «Беда от нежного сердца» был показан по московскому ТВ. Такой чести в те годы удостаивались только наиболее удачные работы мастеров из Союзных республик.

Телефильм – ещё один жанр, который освоил Абрам Семёнович. Наиболее значительными среди телефильмов, эскизы к которым готовил Балазовский, оказались: *«Корабль влюблённых»* (кинорежиссер Е. Чолок), *«Северная роза»* (инсценировка Р. Валаева по мотивам бразильской сказки), *«Экзамены Арлекина»* (комедия Родари и Сарданелли в духе дель арте) и *«Умные вещи»* (литературная сказка-комедия С. Маршака) – последние три телефильма были совместной работой А.Балазовского с высоко им ценимым кинорежиссёром Юрием Суярко.

Эти работы в который раз демонстрируют прекрасное владение сценографа Балазовского световой и воздушной перспективой.

Если ранее в декорациях Балазовского преобладала театральная живопись, создававшая иллюзию реальности, то при оформлении телефильмов он прибег к подчеркнуто театральной условности другого типа.

В феврале 1966 г. телеспектакль *«Умные вещи»* был показан по московскому телевидению, чем Балазовский по праву гордился.

В театрально-декорационном искусстве 1960-х – начала 1970-х гг. наиболее активно разрабатывались приёмы условного театра. Художники прибегали к конструктивно-четким, лаконичным сценографическим решениям. Такие декорации Абрам Семёнович, действительно, создал в своём сценографическом творчестве впервые. Оформление сказки *«Умные вещи»*, которое предложил Балазовский, активизировало процесс ассоциативного мышления зрителей. Художник оказался чуток к новым веяниям в декорационном советском искусстве.

Работая на телевидении, Балазовский, отторгнутый от профессии театрального сценографа почти на двадцать лет, всё же сумел получить за это время несколько заказов от театров. В 1960 г. для Украинского драматического театра им. Ивана Франко он оформил драму А. Салынского *«Барабанщица»* (режиссер Михаил Пилявский), действие которой разворачивается в эпоху Великой Отечественной войны. Это задание не разбудило творческую фантазию Балазовского, так как содержание пьесы не было его сценическим материалом, а драма – его жанром.

Зато воображение Балазовского разыгралось, когда он в 1964 г. принял участие в конкурсе на оформление *«Женитьбы Фигаро»* для Киевского театра русской драмы им. Леси Украинки (место нахождения этих, представленных на конкурс эскизов, неизвестно), а также, когда ему предложили обратиться к опере *«Садко»*. На эскизе Балазовского изображена панорама величественного Ильмень-озера, раскинувшегося у стен Великого Новгорода эпохи XI-XII вв. В *«Садко»* проявилось ещё одно качество таланта Балазовского – умение воссоздать ощущение эпической масштабности.

Театральные фантазии. По своему психологическому складу, по своему внутреннему естеству, Балазовский был, прежде всего, спонтанным творцом, художником-интуитивистом, для которого самовыражение в импрессионистической манере было органичнее, чем в рамках регламентированной реалистической заданности.

Для самого Балазовского приоритетным был жанр станковой композиции: «Самая моя большая жертва – отсутствие возможности систематически уделять время станковой картине», – писал он в декабре 1964 г. Уйдя на пенсию, художник создавал, может быть, лучшие свои картины: фантазии, феерии, импровизации, пронизанные духом театра и магией музыки. Один из своих эскизов декораций он так и назвал *«Театральная фантазия»* (1969).

Под определение «театральная фантазия» подпадает целый ряд работ Балазовского, рождённых его самозабвенной любовью к театру. К своим «театральным фантазиям» он был трепетно привязан («трепет» – одно из наиболее часто встречающихся ключевых слов в письмах художника об искусстве). «Там *моё* сердце, волнение, мысль, нервы, *моя* исповедь, *моё* настроение», – писал он в 1963 г.

Важно отметить, что в своих композициях на театральные темы Балазовский всегда оставался сценографом, художником театра. Он необычайно поднял роль декораций, превратив их в образ станковой живописи, чем открыл новый аспект театральной эстетики. Если российский актёр Алексей Баталов говорил, что на свете нет ничего сценичнее, чем декорации, то Балазовский-станковист мог бы перефразировать это суждение: «На свете нет ничего живописнее, чем декорации».

Совершенно очевидно, что разделив декорации от сцены, дав им невиданную ранее самостоятельность в мире своей живописи, Балазовский сознательно «играл» с ними, как с большими игрушками. Включая их изображения в ткань своих художественных работ, художник выступал как бы в роли «режиссёра», хотя и не привязывал свои сценографические образы к конкретным спектаклям. При этом художник отнюдь не прятал и не маскировал «искусственность» бутафорских сооружений на картинах, наоборот, обнажал и подчёркивал её.

В картинах Балазовского возникает сцена на сцене, театр в театре со своим залом, ложами, своим закулисьем, своими, иногда классическими, персонажами, со своими зрителями. Роман в романе, картина в картине, кино в кино, театр в театре – любимая эстетика модернизма. Она поражает воображение, производит эффект неожиданности, суть которого не сразу осознаёшь. Искусство рассказывает о самом себе. Интересно, что Балазовский сделал «действующим лицом», «играющим персонажем» своих

композиций не только декорации, но и макеты декораций.

В своих работах Балазовский нередко использовал геометрические фигуры. Изображения часто встречающихся прямоугольников, квадратов, ромбов в сочетании с арками (своды собора, арочные ниши...), кругами (арена, сфера, шар, колесо, маска, солнце, луна...), полукругами в работах современных художников теоретики искусства считают символическими, уходящими в глубь веков. Эти символы (которые характерны как для «театральных фантазий» Балазовского, так и для других жанровых разновидностей его работ) таятся в подсознании художника и выражают его неосознанное влечение к абсолютной гармонии между самим собой и окружающим миром.

Потребность в изображении округлых форм проявлялась у Балазовского тогда, когда он стремился сохранить внутреннее равновесие: «На студии загружен неблагодарным трудом, но это мой хлеб и без него тоже плохо. Вечерами продолжаю рисовать камерные композиции. Увлечён построением их в окружность. Цветовая гамма: чёрный, терракот, изумрудная зелень, белая и много тёмной охры. Всё затем в пределах локальной гармонии. Всё это после большого рабочего дня» (март 1963 г.).

Сохранились три поздних работы Балазовского 1970-х гг.: *«Сказки Шахерезады»*, *«Реквием»*, *«Кораблик»*, *«Сказка»*, в которых он ставит перед собой аналогичное формальное задание. Только с той разницей, что в первых двух он вписывает изображение в круг, а третья композиция являет собой овал. Круги и овал художник вписывает в квадрат картины. Подобная композиция является не чем иным, как символом «квадратуры круга», которая считается символом целостности и единства противоположностей.

Балазовский, подобно Пикассо, подобно многим другим творцам XX-го в., также спонтанно открыл для себя «извечную» символику круга и квадрата, мог бы повторить вслед за великим французом: «Я не ищу, я нахожу».

В целом ряде композиций Балазовского, созданных в 1970-е гг. (*«Инга на карнавале»*, *«Комедия дель арте»*, *«В задумчивости»*, *«Бал-маскарад»*, *«Вечер»*) на фоне сценографических конструкций, среди веселящихся людей в карнавальных костюмах и масках или рядом с арочным лабиринтом помещён одинокий персонаж, отрешённый от радостных всплесков чужой искрящейся энергии. Этот персонаж напряжённо думает, уйдя в себя.



Абрам Балазовский. Портрет Марселя Марсо.

Контраст многолюдного веселья и грусти одинокого созерцателя в пространстве композиций Балазовского был символичен, отражал как извечную амбивалентность бытия и неслиянность индивидуума с массой, так и мироощущение самого живописца.

В своих станковых картинах Балазовский отдал дань и традиционным театральным темам, среди которых одной из распространённых в искусстве XIX-XX в. являлась тема театрального (карнавального, балаганного, циркового) представления (композиция «Комедия масок», 1944). Сравнение *«Комедии масок»* с работами Балазовского 1970-х гг., в которых варьируется сюжет представления, позволяет увидеть, какой существенный сдвиг в восприятии мира художником произошёл с годами, как изменились его изобразительные средства.

В каждой из этих странных «балаганных фантазий» есть дразнящая эстетка тайны. Это завораживающие сны наяву, обращенные к подсознательному, непознаваемому, полные скрытых значений.

В станковой живописи Балазовского 1960-х – 1970-х гг. явственны приёмы экспрессионистической выразительности, гротеска, утрированности, заметно стремление к напряжённости эмоций, а порой и к иррациональности образов. Художник нередко сохранял сознательную незавершённость, неясность, расплывчатость фигур, неопределённость освещения. Эта тенденция передачи неуловимого особенно заметна в лаконичных в цветовом отношении работах *«Лица»*, *«Состояние души»* и *«Встреча»*.

Портреты. Жанр портрета Абрам Семёнович считал одним из самых непростых. «Человеческое лицо, внутренний мир индивидуума – самое сложное и подлинное в искусстве», – писал он в 1963 г.

В 1960-1970-ые гг. Балазовский много работал в этом жанре, обращаясь по преимуществу к женскому портрету. Обычно он изображал лица в анфас, изредка – в профиль. Женщины пришли в его картины из обыденной жизни, они не всегда были красивы, не делали затейливых причёсок, не носили шляп, дорогих одежд и украшений. Его привлекал скромный облик женщин в платках, беретах, в простых тёмных платьях. Художник не просил своих моделей принимать эффектные позы. Как правило, изображал фигуру фронтально на условном нейтральном фоне. Колорит его портретов сдержан, обычно выдержан в тёмных тонах (коричневых, глухо-зелёных).

Живописец умело воссоздавал психологическое состояние своих героинь. На его портретах они серьёзны и сосредоточены, а потому значительны. Женские образы воплощают большую гамму чувств и состояний: от целомудренной нежности и спокойной уравновешенности до грусти и глубокой скорби. Особенно драматичен портрет пожилой женщины. В её страдальческом лице – след тяжёлых переживаний, мудрость долготерпения. Трудно сказать, написаны ли все женские портреты непосредственно с натуры, вероятнее всего, некоторые из них создавались по воображению. Балазовский хорошо знал, что художественный, поэтический образ не тождественен реальному.

У живописца был излюбленный женский типаж, который он рисовал во множестве вариантов под общим названием *«Образы»*. Это молодая женщина с короткими пышными волосами. Её голова, как цветок, гордо покоится на высокой колонне шеи, утрированно вытянутой. Раз за разом художник запечатлевал правильный овал красивого удлинённого лица, большие чёрные глаза, полуприкрытые тяжёлыми веками.

Внимательное знакомство с серией женских портретов Балазовского убеждает, что художник, даже наблюдая натуру, создавал обобщённые стилизованные образы женщин. Повторяющийся от портрета к портрету нежный лик отразил стремление художника создать идеальный образ Вечной Женственности.

У коллекционеров сохранилось всего несколько мужских портретов, выполненных Абрамом Балазовским. Стоит упомянуть о некоторых из них. Два портрета прославленного французского актёра пантомимы Марселя Марсо, написанные по памяти, решены совершенно поразному. На одном портрете, очень декоративном, праздничном, где яркие сочные цвета перекликаются и дополняют друг друга, загримированный, одетый в театральный костюм Марсель-актёр запечатлён в движении, гибкие руки, намеченные широкими свободными мазками, вскинуты над головой. На другом портрете тот же Марсо – лукавый человек в цилиндре – сидит в непринуждённой позе, устало опершись на руку. Он словно отдыхает после спектакля.

Хочется упомянуть и об *«Автопортрете»* Балазовского. Абрам Семёнович изобразил себя на фоне стены, увешанной картинами. Темные квадраты картин едва намечены торопливыми нервными мазками. В данном случае важно самое присутствие холстов. Картины – так же, как палитра, кисти, краски – старинные атрибуты художника. С автопортрета Балазовского, выполненного в сдержанной колористической гамме, глядит лицо умного человека средних лет, обременённого нелёгким жизненным опытом. Оно серьёзно и одухотворено, отражает сложную внутреннюю жизнь. Тёмные глаза смотрят уверенно, спокойно и, в тоже время, печально.

В этом автопортрете произошло соединение двух школ живописи. Если в изображении одежды и фона мастер прибёг к обобщённой, условной трактовке формы, к импрессионистическим средствам выразительности (лёгкая обозначенность, намеченность, эскизность), то лицо написано в реалистической манере, что позволяет сфокусировать внимание именно на лице художника.

Театр одного художника. Ген экспериментаторства постоянно вдохновлял Абрама Семёновича на поиск новых эстетических форм. На этом пути, на склоне жизни Балазовский открыл для себя «бумажный коллаж» и очень серьёзно увлёкся этим видом творчества. Это стало ещё одним проявлением свободного творческого духа художника. Коллаж – игра с материальной формой составляющих его материалов: бумаги, ткани, реальных предметов.

Балазовский не испытывал тяги к монументальным размерам. Он создавал коллажи величиной с почтовую открытку. Мотивы и образы этих коллажей, круг имён, которым они посвящались, входили в общекультурные контексты (*«Электра»*, *«Медея»*, *«Христос»*, *«Брехт. Персонаж»*, *«К Шагалу»*, *«Александре Экстер»* и др.).

Балазовский называл свои коллажи «мимы», очевидно, этот термин восходит к понятию «пантомима». В *«Мимах»* он вновь вернулся к театру, «набрал актёров», осуществил «постановку» новых «театральных фантазий» уже иными средствами.

Балазовский на склоне лет полюбил комбинировать, «играть» с вырезками из цветной бумаги, особенно из той, которую присылал его ученик Лазарь Портной и его жена Белла из Москвы. Ему нравилась шершавая фактура и глубокий цвет т.н. «бархатной» бумаги. Она позволяла ему с помощью наклеивания слоёв друг на друга создавать «объёмное» изображение. Он использовал и бумагу с тиснением. Изредка прибегал к использованию соломинок, кусков ткани для фона. Преобладал же у него бумажный коллаж. Когда художник не находил бумагу с полиграфическим рисунком нужного ему цвета, наносил на листы белой бумаги кистью или фломастером свой орнамент, сочетая их с цветной бумагой.

В «мимах» Балазовского лица вырезаны в виде круга, овала, треугольника, ромба. Черты лица отсутствуют вовсе (за исключением страдальческого лика Христа).

Ещё художники-дадаисты говорили, что нельзя относится к тому, что делаешь, чересчур серьёзно. Балазовский порой в коллажах обнаруживал чувство юмора. Он остроумно подшучивает над своими любимыми образами в «мимах».

По своей воле демиург-художник добивался от своих персонажей выразительности движения и жеста, как в театре пантомимы. Также для него была важна цветовая, колористическая среда, в которой они пребывали.

Иногда воображение уводило Балазовского столь далеко, что позволяло говорить о его попытках выразить не только ироническое или лирическое настроения («мимы» *«Ночь»*, на которых мужские персонажи, запрокинув головы, «слушают» небо и облака), но и о стремлении художника овладеть в коллаже некоей «чистой формой», намекнуть, как в своей станковой живописи, на иррациональное, невыразимое.

Дары души. Несмотря на все свои невзгоды, «иногда смешной, иногда наивный», по слову Э. Колесова, Балазовский всегда оставался романтиком и мечтателем. Когда он начинал работать над телепрограммой, то вслух фантазировал. Это было интересно, хотя на экране не всегда получалось. Живя за железным занавесом, он мечтал об Италии, Париже... «Если бы я был в Италии, я мог бы там выставку сделать...», – говорил он задушевно своему молодому коллеге. «Мечта была, работы были, а возможностей не было» (Э. Колесов).

Над Балазовским, считая его чудаком, сотрудники тихонько посмеивались, а оказалось – очень любили. «Проводили потрясающе. Очень тепло. Нарисовали огромную юмористическую стенгазету. Накрыли в декорационном цехе (80 кв.м.) стол во всю длину. Дружно, искренне чествовали» (Э. Колесов)

Долгожданная для Абрама Балазовского выставка живописи и графики была размещена в одной из небольших комнат студии. Выставка оказалась, фактически, полузакрытой, так как попасть на неё можно было только через служебный вход по удостоверениям или по заранее заказанным пропускам. Выставка была доступна только для сотрудников телестудии. В результате, посмотреть её удалось совсем немногим.

Эти работы демонстрируют графическое мастерство Балазовского. Они, как бы о крике в пустоте, резонирующим лишь эхо, чрезвычайно выразительны. Они передают состояние тревоги, беспокойства. Чёрный фон и скупая строгая линия очень экспрессивны. Эта серия работ была одной из составляющих «духовного портрета художника», как метко назвал всю экспозицию В. Кисин.

Создание «Импровизаций на чёрном фоне» по времени совпало у Абрама Семёновича с нарастанием острого чувства отчаяния из-за необходимости «уничтожать самого себя» в прикладных работах «за кадром» на телевидении, с попыткой бегства с ТВ. Художник называл время создания этих работ своим «чёрным периодом». В письмах Балазовский упоминает ещё две работы из этой серии – *«Идолопоклонники»* и *«Джоконда»*.

Большинство станковых картин на первой выставке Абрама Семёновича, судя по книге отзывов, радовали богатством палитры, изяществом исполнения.

Вторая прижизненная персональная выставка станковой живописи Абрама Семёновича состоялась в Москве в 1975 г. в просторных залах Центрального Дома литераторов им. А.А. Фадеева. Подобная выставка в столице была большой честью для художника. Она проводилась по инициативе влюблённого в живопись Балазовского известного в те годы всей стране актёра-чтеца Дмитрия Журавлёва. На этой выставке, кроме живописных работ, Абрам Семёнович впервые показал серию своих миниатюрных коллажей.

Выставка пользовалась успехом. Московские художники, писатели, любители живописи с творчеством Балазовского познакомились впервые. В числе других о работах Балазовского похвально отозвался известный прозаик и взыскательный ценитель искусства Вениамин Каверин.

Третья персональная (и последняя прижизненная) выставка Абрама Семёновича прошла в Киеве в республиканском Доме художника Украины в 1978 г. Для этой выставки был отведен небольшой «зал» на последнем, третьем этаже.

Автор экспозиции ушёл из жизни 17 июля 1979 г., не прожив и полгода после той выставки. Балазовский похоронен на киевском кладбище Берковцы.

Подобно многим творцам, Балазовский возвышенно мечтал оставить свои художественные послания в дар потомкам, чтобы продолжать в них жить. Любимый ученик Балазовского Ефим Рудминский (1937-1994), а впоследствии его вдова К. Ю. Забарко-Рудминская, приложили много сил, чтобы способствовать организации в 1985 г. (Республиканский Дом актёра, Киев), в 1989 г. (Центральная библиотека искусств, Киев), и в 2000 г. (ГМТИ и К, Киев) персональных выставок художника.

С помощью учеников и друзей Балазовского, многие из которых эмигрировали заграницу, *впервые* увидел свет небольшой художественный альбом "Balazovsky. His Life and Work" – «Балазовский. Жизнь и Твочество», приуроченный к 100-ю со дня рождения художника и 30-ю со дня его смерти. Инициаторами издания альбома стали филадельфийцы – художник Лазарь Портной и его жена Бэлла. Воплотила эту идею в жизнь американский издатель, дизайнер и редактор Элен Комптон, которая по достоинству оценила работы Абрама Балазовского и помогла осуществить мечту учеников об издании книги работ любимого учителя.

Альбом, который включает 60 цветных иллюстраций, знакомит западных поклонников искусства с новым для них именем – именем мастера театральной живописи А.С. Балазовского, удивительное творчество которого шло вразрез с догмами казённого социалистического реализма.

...На мольберте ушедшего из жизни Абрама Семёновича Балазовского осталась его последняя работа «Диалог», словно овеянная печалью. Композиция решена подчёркнуто театрально: ее персонажи, два ангела, как будто застыли в задумчивости на фоне сцены и декораций. Здесь, как в прежних картинах мастера, возник его излюбленный образ белого рояля. Изгиб крышки рояля повторяет изящный изгиб ангельских крыльев. Фигуры ангелов и рояль составляют треугольник. В правом и левом верхнем углах полотна изображены декорации-фрески с мятущимися в небе ангелами. Их экспрессивное движение уравновешивает помещённое на дальнем плане изображение фигуры со смиренно опущенной головой. На первом плане этой фантастической картины, на фоне рояля изображены две фигуры, Он и Она. У них земные лица, но это – ирреальные создания, люди-ангелы. Их крыльям тесно в раме холста. Крылья, жаждущие полёта, вот-вот унесут их в высь.

Символическая картина-завещание Балазовского – это прощальная песнь о Музе и музыке вдохновения, о вечной жажде гармонии искусства, о несказанном, о неизбежности расставания.

Филадельфия

Материалы, использованные в тексте:

1. Из переписки Балазовского А. С. с москвичкой, врачом-педиатром Дмитровой Л.М. с 1958 по 1968 гг. Впервые эту переписку в архиве обнаружила И. Г. Панченко.
2. Цитируются интервью, взятые И. Панченко в июле-августе 2004 г. в Киеве у режиссёров и художников, с которыми А.С. Балазовский работал на Киевской студии телевидения: Е.Г. Чолок, В.Л. Чубасова, А.Ф. Пономаренко, А.А Мирошниченко, Э.А. Колосова, В.В. Ясько. – Архив И.Г. Панченко. – Киев, Украина.
3. Перепелица А. Е. Из воспоминаний о Киевской студии телевидения в кн.: Ариадна Перепелица. Живопись, графика, театральные костюмы. – Украина. – ООО «Тамподек» (Без года издания). – С.144.
4. Эфрос А.М. Девять писем художнику Балазовскому (1944-1945). – Егупец, альманах // Киев, Украина, 1999. – № 5. – С.312-317. Публикация Е.К. Забарко-Рудминской.
5. Розенталь Владимир: О нашем учителе. (Воспоминания об А.С. Балазовском). – Егупец // Киев, Украина, 1999. – № 5. – С.307-311.
7. Балазовский Абрам. Размышления о цветовом звучании. (Незавершённая черновая рукопись). – Архив К.Е. Забарко-Рудминской. – Чикаго, США.
8. Марголина Р.Г. Воспоминания об А.С. Балазовском. Рукопись. – Архив К.Е.Забарко-Рудминской. – Чикаго, США.
9. Юнг Карл Густав фон Франц, М.-Л., Хендерсон Дж. Л., Якоби И., Яффе А. – Человек и его символы. – М.: Серебряные нити. 1997. – С.245.
10. Батракова С.П. Художник играющий. Западное искусство. XX век: Мастера и проблемы. – М.: Наука, 2000. – С. 25, 30.
11. Журавская И. Информация о выставке произведений живописи и аппликации А.С. Балазовского в Библиотеке искусств, Киев. «В областных организациях Союза художников Украины» // Образотворче мистецтво («Изобразительное искусство»). – Киев, Украина. – 1989. – № 5. – С.31-32 (На украинском языке).
12. Neret Gilles. Henri Matisse – Taschen, 1996. – С. 211. Перевод Ксении Гамарник.
13. Текст выступления Е.Л. Рудминского на посмертной выставке живописи А.С. Балазовского в Доме актёра в Киеве в 1985 г. Рукопись. Варианты 1, 2. – Архив К.Е. Забарко-Рудминской. – Чикаго, США.
14. Книга отзывов на первую персональную выставку к 60-летию А.С. Балазовского на Киевской студии телевидения (Украина) в 1968 г. Рукопись. – Архив К.Е. Забарко-Рудминской. – Чикаго, США.
15. Владич Л. Романтика цвета // Культура і життя. («Культура и жизнь»). – Киев, Украина. – 1968. – 3 ноября (На украинском языке).
16. Книга отзывов на персональную выставку к 70-летию А.С. Балазовского в Доме художника в Киеве (Украина) в 1978 г. Рукопись.– Архив К.Е. Забарко-Рудминской. – Чикаго, США.

МАРИНА ГАРБЕР

ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ НОЧЬ

О, где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко?
О. Мандельштам

К ночи на город неожиданно навалился туман, будто еще с полудня зацепившееся за дворцовую крышу облако, успев за сумерки обрасти и накопиться, переросло себя и беззвучным комом плавно скатилось вниз, сначала расползясь по синему тротуару, а затем старательно заполнив все мыслимые и доступные глазу щели, ходы и проулки. Казалось, после ничего не предвещавшего вечера, город проснулся среди ночи околпаченным: обволоченные дымчатыми клубами его дома и мостовые приобрели театральную декоративность и предстали уменьшенными в размерах, почти игрушечными и – ввиду отсутствия горизонта – ручными, словно всё это каменно-воздушное пространство накрыли мутного стекла колпаком для бессмысленной детской забавы. Музыка его архитектуры всё еще продолжала звучать, но это был опрощенный, механический Лист, давший здесь свой последний, за двенадцать дней до смерти, концерт – Лист, извлекаемый потускневшим ключиком из завалявшейся на чердаке старомодной шкатулки. Непрозрачность и плотность туманной ваты напоминала то о стеклянных россыпях на еловых лапах, то о по-хозяйски заклеенных на зиму окнах. Из ночного тумана проступало нечто от еле теплящегося в памяти, ощущавшегося в раннем детстве уюта – заснеженного леса, домашнего праздника, предвкушения чуда; с годами эти, не имеющие названия волшебные приметы постепенно таяли, пока совсем не сошли на нет вместе с медленно сдававшим оборону, неостановимо чернеющим снегом, оставлявшим от зимы лишь слякоть да ощущение дрожи... Потерпи немного, и чьи-то осторожные бестелесные руки потрясут стеклянную игрушку – и всколыхнется туман, и полетит из-под купола белое просо снега. Но город тих и недвижен, словно выкачали из него воздух, сведя всё его бытие к прямой – без задней мысли – констатации себя, будто весь он слеплен из тягучих тургеневских описаний, столь далеких от набоковской холодной, но искрящейся игры словами.

Бродить по ночному городу интересно и страшно – так же, как искать запропастившийся предмет в сузившихся четырех стенах комнаты, в которой внезапно потушили свет: полагаясь на память, руки шарят по досконально изученным поверхностям, натыкаясь на неожиданные выемки и шероховатости. Так и в городе, заполненном до краев, по самое нёбо стеклянного колпака непроницаемым туманом, ждешь нового: расползающуюся по спинке парковой скамьи ножевую, незаживающую надпись; более подробную, чем накануне – если провести ладонью по влажной латинице – вывеску; предстающую под новым углом, словно пошатнувшуюся в порыве к ускользнувшему свету, статую у входа в ратушу; замысловатые вкрапления росы в псевдовосточную мозаику кофейного столика, впопыхах забытого торопившимися с закрытием *serveurs*.

Шаг – и из дымчатой пены выныривает добротно сколоченный из бежеватых досок, оснащенный десятками ходов и выходов, лазов и мостиков, окошек и веревочных лесенок, трапов и подобий парусов, натуральной величины корабль – будто Ной-Гулливер, вконец заплутав, сел на мель на пустующей детской площадке. Шаг – модернистская по окраске (красно-синяя), ботеровоклассическая по формам статуя-баба, точнее повисшая в воздухе ее сиреневатая пятка, указывающая в направлении, обратном, остановленном скульптором бегу.

Еще шаг – и мелководная река-*Petrusse*, чье название неизменно проговаривается по-славянски: то залихвастый добряк, украинский Петрусь, то дерзкий и величавый Петр, и Русь иже с ним; в туман она похожа на едва закипевшее и тут же случайно пролитое молоко, напоминающее, скорее о Мандельштаме («Там фисташковые

молкнут / Голоса на молоке, / И когда захочешь щелкнуть, / Правды нет на языке»), чем о Бродском («Ночь. Переулок. Мороз блокады. / Вдоль тротуаров лежат карпаты. / Планеты раскачиваются, как лампады, / которые Бог возжег в небосводе / в благоговенье своем великом / перед непознанным нами ликом / (поэзия делает смотр уликам), / как в огромном кивоте» (1), ибо в герцогстве, в чьи отяжелевшие от избытка плодородия земли оно – неиспитое – стекает, если и есть что-либо от имперского, то оно густо заштриховано преобладающей здесь буколикой, а возможные – даже здесь – беззакония, кажется, совершаются не стихийно, а намеренно, для поддержания баланса и порядка. «Наступало молочное успокоение. Свертывалась сыворотка тишины. Творожные колокольчики и клюквенные бубенцы различного калибра бормотали и брякали» (2) ... Люксембуржцам в целом не свойственно бунтарство и революционность, политические и социальные конфликты здесь издревле медленно и усердно, почти по-столярному, обтесывались, зачищались и облицовывались; видимо поэтому и феодализм в этих краях продлился многим дольше, чем у соседей, и официальный нейтралитет продержался вплоть до окончания последней войны.

Большинство здешних ручьев зовутся реками то ли по старинке, в силу привычки, то ли из чувства ущемленности, свойственного малым нациям, исподволь подталкивающего к безобидным преувеличениям; слишком мягок и порист здешний песчаник, за века жадно впитавший в себя некогда бурлившие воды. Контрастирующий с преобладающими мышиными, отсыревшими, мокро-серыми красками, Красный Мост переброшен не через реку, а поверх обжитой долины, соединяя словно надвое расколотый город. В год его воздвижения, красный многим казался дерзостью, первым шагом – жестом – к обновлению; на самом деле, выбор цвета явился лишь предусмотрительной мерой против старения: тогда, в шестидесятые, красная краска была единственной, способной предохранить стальной мост от преждевременного ржавления. Красный Мост встал над старым мостом *Vauban* – противовесом: сталь против камня; но вместе они создают впечатление застывшей над головами архитектурной метафоры равновесия – древнего и современного мира, художественной смелости и расчета.

Однако цвет оказался-таки знаковым. С появлением Красного Моста частота самоубийств побудила власти города к еще одной мере предосторожности: в районах под мостом были развешены таблички, предупреждавшие жителей и туристов о возможном падении сверху предметов и тел. По сей день этот город порядка и достатка – один из лидирующих на континенте по числу самоубийств.

Говорят, в особо длинные, бесконечные, как день без хлеба, дождливые сумерки, под красным сводом блуждает неприкаянный призрак знаменитого Эгона Юкса, спроектировавшего злополучный мост; будто бы он спился, бросил семью и закончил жизнь под забором, то бишь мостом. Но всё это – вымысел, злые языки, байки пошляков с их извращенным понятием о восстановлении справедливости. На самом деле Юкс, коренной немец, укрылся от сырости в каком-нибудь красно-каменном теремке на неприметной опушке Черного Леса, и, укутавшись в ворсистый клетчатый плед, осторожно сдувает пену с переполненной пивной кружки, тихо и достойно дожидаясь девяностолетия.

На фоне красно-бело-голубых полос герцогского флага – коронованный лев. Он мог бы сойти за двойника безобидного львенка с эмблемы французского *Peugeot*, если бы не когтистые лапы, раздвоенный и извилистый, как драконья шея, хвост и, главное, цвет – красный. «*Der Roude Lewe Wacht*» (3) – грозили с городских стен нацистским оккупантам самодельные плакатики Сопротивления. Не в пример швейцарскому, несколько лет тому из соображений политкорректности официально «кастрированному», люксембургский лев – испокон бесполый. «В древние времена щиты с изображением кастрированных львов преподносились предателям», – замечали особо язвительные. Но здешний лев – символ героизма, и только; а напоминанием о тяжком грехе предательства служат серебристые петушки, восседающие на церковных шпилях. «*Mir wëlle bleiwe wat mir sin*». *Мы хотим оставаться самими собой.* (4)

Банки и министерства, кафе и галереи – в зданиях бывших монастырей и госпиталей, госпиталей при монастырях... *Neumünster* – некогда аббатство, некогда тюрьма – теперь кафе-ресторан, бар с бесплатными воскресными концертами джаза; на стенах, в строгих рамках – черные слезы и яркие конечности, будто – потуги постмодернистов компенсировать красочностью изуродованные кистью тела; зимними утрами здесь сквозняковато-уютно, немного богемно, немного грустно и по-своему красиво – красотой Чета Бейкера, уже беззубого, но всё еще словно светящегося изнутри – то ли от музыки, то ли от героина.

Но ночью город пуст, незаселен, *без-человечен*. Даже темнеющие окна квартир не обещают идущему вдоль стен ни тепла нагретых в их скрытых глубинах подушек, ни глубокого и монотонного – сродни морскому – ритма дыхания спящих, настолько беспристрастны вековые фасады зданий и полые дыры ничего не отражающих стекол. Даже надписи на частых вывесках и редких мемориальных досках кажутся теперь изначальной частью камня, глины и дерева – ткани, щедро отмеренной природе, свободной от человеческого участия. «*Mir wëlle bleiwe wat mir sin*». *Мы хотим оставаться самими собой.*

Вверху, словно долька лимона, проколотая стальной зубочисткой, над готическим шпилем Собора Богоматери восседает мутная, мучная, слегка подрагивающая луна. С годами привыкаешь к звону колоколов, каждые пятнадцать минут раскачивающему округу, не свыкаешься с ним, а именно привыкаешь, упорно приучая себя не останавливаться, не позволять сердцу совпадать с этим торжественным, благородным боем. В мавзолее золотисто-бежевых соборных стен длится вечная ночь прадедов Великой Династии.

Фасад герцогского дворца со следами пышного французского Возрождения и осторожными испано-мавританскими вкраплениями... Да что дворец, весь город – удивительно гармоничное сочетание стилей: немцы, французы, австрийцы, бельгийцы, голландцы и даже чехи – каждый приложил здесь свою руку, и разномастные отпечатки их натруженных ладоней сливаются в местной архитектуре в едином, нет, единящем рукопожатии... И только золоченые луковки православного храма Святых Петра и Павла несколько выпадают из общего архитектурного ансамбля. Его настоятель, отец Сергий, некогда бежавший сюда из Америки, строг и неулыбчив; среди прихожан – потомки Романовых и Трубецких, Ушакова и Рахманинова...

Даже речь, слышимая на городских улицах при свете дня, представляет собой нечто вроде языкового *papier mâché* – неоднородной помеси французского, немецкого и люксембургского – тоже, в свою очередь, лингвистической «дворняги», рожденной от скрещения нижнемозельского германского диалекта и голландского языка; здесь живут в межъязычье: газеты выходят по-немецки, телепрограммы – по-люксембургски, а в суде и парламенте каждый говорит на том, который ближе, на котором быстрее поймут. На этой неблагозвучной смеси пи-

сал благозвучные стихи Мишель Роданж, чье имя носит теперь бледного вида пригород, известный в округе своей макаронной фабрикой.

Полночь. Эта роковая цифра – двенадцать... Когда Великая Герцогиня Мари-Аделаид, первая наследница, рожденная в независимом государстве, из-за своих плохо скрываемых симпатий к немцам в первую мировую была вынуждена отречься от престола, на троне ее сменила сестра, Великая Герцогиня Шарлотт, во вторую мировую бежавшая от нацистов сначала в Португалию, а затем в Америку; собственно тогда двенадцать тысяч местных юношей было насильно мобилизовано на фронт – сражаться и гибнуть во имя чужого Рейха; собственно тогда по нынешней, говорящей самой за себя *Rue de la Déportation*, по направлению к теперь заброшенной станции, прошло, чтобы никогда уже не вернуться, двенадцать процентов люксембургских граждан... Как и всё здесь – неподалеку, в тщетной попытке укрыться в малахитовой тени центрального парка – величественная, громоздкая, всегда наглухо закрытая, будто пустующая, синагога; там спорят и ладят два раввина, пожилой и моложавый, ретроград и прогрессист.

«Слишком чисто – слишком ухоженно – как на открытке – так не бывает», – вздыхают воодушевленные тюрнеровскими акварелями туристы (глупая привычка сравнивать оригинал с копией, непременно в пользу последней). Бывает, бывает и именно *так*. Вот она, *Lucilinburhuc*, эта «маленькая крепость», которую любил Гюго, – столько раз горевшая и отстраивавшаяся заново, старевшая и молодевшая, рассыпавшаяся и собиравшаяся по крупицам – кропотливо, настойчиво, поднимавшаяся во весь свой, пусть не ахти какой, рост.

Город-сказка. Город похожего на ирландца, голубоглазого герцога Генри и его детей: принцессы и четырех принцев, один из которых, женившись по любви на безродной однокласснице, добровольно отказался от права на престол... Город-ларец. Город свежевыбритых мужчин, застегнутых на все пуговицы серых костюмов, полузадушенных консервативными галстуками, пресных и скучных, как тайны банковских вкладов... Город-пригород. Город одутловатых женщин в тихих дворах, с утра смакующих янтарный рислинг из здешнего винограда, в облегающих передниках, надеваемых через голову, как платья... Город-вокзал. Город длинноногих украинских танцовщиц из убогих кабаре с полузашторенными и – на поверку – пустыми глазами... Город-поплавок. Город курчавоголовых португальских мальчуганов с их врожденной проворностью и тоской по Лиссабону... Климат этого Эдема промозгл и дождлив, запоминающееся лицо – угрюмо и бледно. Из трехсот тысяч населения половину составляют иностранцы, но мало кто из западных и северных европейцев оседает здесь надолго, еще меньше – навсегда. Днем количество горожан удваивается за счет притока рабочей силы из соседних держав; к вечеру улицы затихают, ночью молчат. Город-транзит...

Непривычный порядок у отданных в туманные владения городских улиц, иной уклад у потонувших в белой воде городских площадей. На преувеличенно-черных стрелках ратушных часов едва различимы схохлившиеся голуби; из-под на века проложенного булыжника тянут тонкие, но крепкие шеи неистребимые никаким прогрессом и холодом травы. В таком беспросветном, словно в наглухо захлопнутом ставней окне, по-человечески нежилом и лишенном зрительной перспективы пространстве, вяло общупав округу, взгляд машинально фокусируется не на невидимых и предполагаемых звездах, а на тех незначительных, лишенных и тени тщеславия (впрочем, как, возможно, и тени вообще) приметах мироздания, на которых оно, в конце концов, и держится: не на плечах мускулистых атлантов, не на непробиваемых черепашьих панцирях, а на микро-песчинках, пребывающих в таком неведении о собственном бытии, в таком органичном состоянии незначительности, что ни водруженные на них дома со всей незадействованной утварью и спящими домочадцами, ни легкий натиск подошв, касающихся верхних слоев, никак не сказываются на их блаженно неосознанном существовании.

На перекрестке двух, тянущихся из Древнего Рима дорог – сердце Старого Города. На фасаде невзрачной лоджии, неподалеку от которой – окно, из которого смотрел на эти улицы Гете, огромными, различимыми даже в потемках буквами высечено: «*Mir wëlle bleiwe wat mir sin*». *Мы хотим оставаться самими собой.*

Ночь. Шуршание снегопада.
Мостовую тихо скребет лопата.
В окне напротив горит лампада.
Я торчу на стальной пружине.
Вижу только лампаду. Зато икону
я не вижу. Я подхожу к балкону.
Снег на крышу кладет попону,
и дома стоят, как чужие. (5)

И тут, из полутьмы – первый «живой»: дворник, ритмично – где плавно, где резче – машет метлой; и музыка отшумевшего праздника слышна теперь только ему (послушные его дирижерским взмахам шелестящие обрывки бумаг, позвякивающие бутылочные осколки, скрежещущие пустотой жестянки), ибо к утру только он и помнит о просиявшем «вчера», да и то – исключительно по долгу службы. «*Moien*», (6) – улыбается он. *Мы хотим оставаться самими собой.*

И когда совсем отчаявшись, не найдя во всём фрагментированном городе того, что искал (запотевшая витрина, большеголовый фонарь, дом-утюжок – то и дело проглядывающие из пелены, подобно елочным игрушкам, небрежно обернутым в мягкую желтоватую бумагу), машинально подняв ворот пальто, будто прячась и всё глубже уходя в себя, – в едва наметившейся между дворцом и ратушей расщелине, словно сквозь трещину в стекле, начинает зреть и просачиваться неторопливый свет. Просеянный сначала робкими, а затем стремительно набирающими световую интенсивность лучами, туман, испещренный тысячами уколов легких светло-золотистых шпаг, спадает, оставляя после себя неожидаемую зияющую пустоту и даже не чудо, только что сотворенное за непроницаемой завесой мага, а тот самый, не поступившийся за долгую ночь ни листом, ни камешком, – знакомый до полного равнодушия, слишком знакомый и всегда чужой город.

---

(1) И. Бродский, «Речь о пролитом молоке».
(2) О. Мандельштам, «Путешествие в Армению».
(3) Красный Лев следит за тобой (люкс.).
(4) Лозунг люксембуржцев.
(5) И. Бродский, «Речь о пролитом молоке».
(6) Здравствуйте (люкс.).

Люксембург, 2009-2010

МИХАИЛ СЕРГЕЕВ

АПОКАПИТАЛИПСИС. ЗАМЕТКИ ФИЛОСОФА.

Другу-философу, Володе Курашову

«Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет...»

1. ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

Бессмертие. Поиски физического бессмертия – это изнанка атеизма.

И смех и грех. Человек, который не может посмеяться над самим собой, социально опасен.

Бог и человек. Переосмысление концепции Божества есть пересматривание идеи человека и человечества.

Демократия духа. Духовная демократия – в том, что все люди во все времена должны иметь равное право на спасение.

Апория монотеизма. Либо мы не свободны, и ответ за зло лежит на всемогущем Боге, либо мы свободны и ответственны за зло, а Бог не всемогущ.

Нет, весь я не умру... Вера в бессмертие человеческого «Я» – это предел эгоизма. А вера в конечность человеческого «Я» – предел мазохизма.

Атеизм. Атеисты уверяют, что материализм – это гуманизм. В чем же тут гуманизм, когда отец говорит сыну, что оба они смертны? Только надежда на бессмертие по-настоящему гуманна.

Пусть всегда буду я. Существование человека есть одновременно доказательство его бессмертия. Если мы действительно существуем, то существуем вечно. Если мы не существуем вечно, то не существуем вообще.

Спасение. Каждая человеческая потребность имеет под собой реальную почву – возможность ее удовлетворить. Почему же люди испытывают потребность в спасении, как не потому, что в реальности оно тоже существует?

Беспристрастность. Люди многое могут понять и простить, кроме одного – беспристрастности. В их глазах беспристрастность – это то же, что безучастность. Если вы не становитесь на чью-то сторону, значит, вас ничего не задевает и не волнует.

Человеческая природа. Говорят, что семьдесят процентов курящих мечтают о том, чтобы бросить курение. В этом вся суть человеческой природы – сначала через силу приучить себя к плохому, а потом всю оставшуюся жизнь безуспешно искоренять дурную привычку.

Вечность. Университет – это прообраз Вечности. Каждый новый учебный год я вхожу в аудиторию, будучи на один год старше, а студенты мои остаются такие же молодые, как и пять, десять, двадцать лет назад, как будто время над ними не властно.

Дух и интеллект. Духовное и интеллектуальное развитие – не одно и то же и не всегда совпадают. Человек может быть духовным и в то же время необразованным. А может быть высоко интеллектуальным и совершенно бездуховным, как, например, Ленин.

Воскрешение из мертвых. Если все люди, когда-либо жившие на земле, в один прекрасный момент воскреснут в своих прежних физических телах, то может не хватить не только Земли, но и всей Солнечной системы, чтобы разместить их для предстоящей жизни в Царствии Божием.

Посмертие. Мне кажется, что в посмертии люди будут объединены не в соответствие с религиозной принадлежностью, а по уровню интеллекта и глубине понимания жизни. Наиболее глубокое понимание жизни у Христа и святых, далее – по нисходящей.

Атрибуты Бога. Бог сочетает в Себе три качества, у людей обычно несовместимые – всеблагость, всемогущество и всеведение. У людей же абсолютная власть никогда не сочетается с благими порывами. И, наоборот, доброта в сочетании со знанием, как правило, вызывает отвращение к власти.

Сила или слабость? Критерий силы или слабости людей в том, как они реагируют на критику. Самые слабые из людей – тираны; самые сильные – пророки. При этом тираны обладают всей полнотой власти в государстве, а пророки ее вовсе лишены. Таким образом, Бог демонстрирует людям, что истинная сила не в принуждении, а в правде.

Духовный опыт. В нашей жизни должно существовать духовное измерение, иначе рассуждения о духе бессмысленны, поскольку за ними не стоит реальный опыт. Если же духовный опыт существует, то он должен быть неподвластен времени и пространству – как, например, чувство любви, которое не подвержено никаким изменениям.

Авраам и Иван Карамазов. Самый страшный конфликт ценностей, который может испытать человек – это конфликт между моралью и верой. Авраам в ответ на приказание Бога убить своего единственного сына Исаака, выбирает веру, пожертвовав моралью. Иван Карамазов, сталкиваясь с ужасами человеческого страдания, выбирает мораль, бросая вызов вере.

Вечное «Я». Если «Я» существует лишь как временное соединение материальных элементов, то в действительности оно не существует. Определенное сочетание элементов порождает состояние сознания «Я», которое понимает, что оно в действительности не существует, а является лишь функцией временного интегрирования материальных частиц. Это положение самопротиворечиво и очевидно абсурдно.

Дух и материя. Материя сама по себе безлика, однородна и лишена уникальности. Человек же, как и все проявления духовного мира, уникален. В чем причина этой уникальности? Она не может корениться в материи, чьи исходные элементы всегда одни и те же. Структура и организация каждого человека на материальном уровне в принципе одинаковая. Следовательно, человеческая индивидуальность нематериальна или – что то же самое – духовна. Основная характеристика материи – движение во времени и пространстве. Основная характеристика духа – движение или развитие в качестве.

Материя – вечна в целом, но непостоянна в частностях. Дух – вечен в индивидуальных проявлениях, но непостоянен, ибо возрастает, в целом.

Жизнь после смерти. Что будет с нами после смерти – неизвестно, и, если не будет ничего, то, по крайней мере, в этой жизни я добьюсь успеха. С другой стороны, если нет жизни после смерти, то какое значение имеет то, что мы добились в этой жизни? Жизни во времени сама по себе не имеет смысла, если не соотносить ее с вечностью. Значит, эту жизнь надо прожить с учетом посмертия, даже если о нем ничего не известно.

Бессмертие души. Один из аргументов в пользу бессмертия души заключается в том, что в природе ничего не исчезает и, следовательно, умерев, человек полностью не растворится в материи. Но такого рода бессмертие человека вряд ли устроит. Нам нужно бессмертие духа, вечная жизнь нашей индивидуальности, а не разложение души на составные элементы и продолжение их существования в ином качестве.

Бытие и свобода. Стремление переделать мир и перекроить человека, навязать ему силой свои взгляды, имеют в основе своей неприязнь к бытию, а, значит, богоборчество, желание 'подправить Творца'. В этом – ко-

рень тираний. Стремление переделать мир связано с отрицанием свободы, хотя, казалось бы, только свободный человек в силах мир переделывать. Связь здесь в том, что недоверие к человеку и его свободе становится частью недоверия, неприязни к самому бытию.

Спасение. Самая тяжелая форма эгоцентризма – это зацикленность на собственном спасении. Вот почему необходим религиозный юмор, даже в монастырях – особенно в монастырях. Человеку, слишком серьезно относящемуся к собственному спасению, противостоит «святой комедиант», полностью отрешившийся от себя, своей значимости в религии, своих представлений о Боге и т.д., иначе говоря, человек, лишенный комплекса превосходства в любых его проявлениях.

Теоретический и практический разум. Кант различал теоретический и практический разум. Теоретический разум, по Канту, не в состоянии ни доказать, ни опровергнуть существование Бога и бессмертия души. Практический же разум постулирует оба эти положения, исходя из требований морали. Однако, в конечном счете мораль без реальной веры в загробную жизнь рано или поздно потерпит крушение. Не станет человек следовать тому, что не подкреплено теоретическим обоснованием и в чем он отнюдь не уверен.

Гуманизм и религия. Итальянский мыслитель эпохи Возрождения Пико Мирандола писал, что человек – это единственное существо, которое способно вызывать перемены в самом себе. В этом – основа гуманистического мировоззрения. А суть религиозного гуманизма в том, что для положительных изменений человеку необходим призыв от Бога. По собственной воле человек может только деградировать. В ответ же на Божественный глагол человек может либо развиваться во благе, либо подвизаться во зле.

Воскрешение из мертвых. С самого начала развития Христианства христиане буквально верили в телесное воскрешение Христа и – со временем – его последователей. Несмотря на это противоречащее разуму верование, христианская религия сумела стать стержнем мировой цивилизации и самой многочисленной религией мира. О чем свидетельствует этот бесспорный факт? О том, что это верование истинно? Или о том, что подлинная религия развивается вне зависимости от – а зачастую даже вопреки – истинности или ложности своих доктрин?

Смерть и бессмертие. Сам по себе факт человеческой смертности нейтрален по отношению к выводам, которые можно из него сделать, и не дает преимущество ни материализму, ни идеализму. Материалистическое его объяснение может показаться более естественным. Но ведь было время, когда людям казалось очевидным, что Земля – плоская. В самом деле, будь она круглой, люди на противоположном ее конце попадали бы в открытый космос. Новаторская идея о шарообразной форме Земли потребовала объяснения силы тяготения. Также и в нашем случае идеалистическая концепция духа приводит к иному пониманию феномена смерти.

Эволюция откровения. Так же как открываемые учеными законы природы не отменяют один другого, а обогащают наши знания об окружающем мире, так же как вновь созданные произведения искусства не затмевают достижения предшествующих им художников, а углубляют наше понимание духовных исканий человека, – так и новые священные писания не отменяют предыдущие откровения, а расширяют и дополняют их с учетом конкретного исторического момента, переживаемого человечеством. И так же как человек, пока он живет на земле, не в состоянии познать все законы природы, так и священным писаниям, открываемым людям Богом, никогда не наступит конец.

Природа Бога. Так же как персонаж романа не в силах получить представление о его авторе, так и люди не могут познать природу Бога. Любое определение Бога носит символический или метафорический характер, поскольку оперирует человеческими понятиями, применяющимися к субъекту, находящемуся за пределами Вселенной и самого человека. Единственное, что можно сказать о Творце, это то, что Он – нечто принципиально иное. Косвенно же о Боге можно судить по сотворенному Им миру, в котором царит гармония и порядок, а также по книгам Его посланников-пророков, которые призывают к единству, любви и развитию духовных качеств.

Бегство от смерти. Человеческие страдания неизбывны в принципе, поскольку они служат инструментом духовного роста. Чем духовнее человек, тем сильнее он страдает, и наоборот. Жизненный путь Иисуса Христа стал символом мучений, которые претерпевает человек на протяжении своей жизни. Причем, мытарства наши принимают самые разнообразные формы. Само рождение на белый свет – уже боль. Достичь же бессмертия в земной жизни – значит обречь себя на вечные муки. В этом смысле бегство от смерти сравнимо с задержкой родов, тормозящей развитие индивидуума. Если обещание спасения за гробом отвлекает от мирских проблем, то посулы рая на земле, – в принципе недостижимого, – задерживают духовный прогресс.

Уроки жизни. Смысл воздаяния не в том, чтобы поразить грешника несчастьями, адекватными его проступкам, а в том, чтобы предоставить ему шанс исправится. Соответственно и мера наказания определяется не по принципу «око за око», а с учетом возможностей провинившегося, о которых он может подчас и сам не подозревать. Поскольку Бог всемогущ и всеблаг, то и воздаяние в любой его форме, даже в виде сурового наказания, является вовсе не карой, а благословением и выражением Божьей милости. Любое возмездие есть на самом деле знак Божьего благоволения. Иными словами, в масштабе всего человечества наказания Божьи – относительны, зато награда – абсолютна. Эта идея «тотального благословения» является самым благородным идеалом, позволяющим возвыситься над страданиями, отрешиться от земных несовершенств и всеми силами души устремиться к небу.

Парадоксы Буддизма. Если принимать Тераваду в классическом европейском толковании, то получается, что Будда проповедовал религиозный нигилизм и стремление к полному духовному самоуничтожению, выраженному в понятии Нирваны. Но зачем же так стараться осознать свое несуществование, когда можно бесконечно длить иллюзию существования? Получается, что колесо перевоплощения (самсара) хоть и иллюзорно, но олицетворяет собой вечную жизнь, и поэтому более привлекательно, нежели стремление к просветлению, которое заканчивается духовной пустотой. Более того, буддистская религия в этом толковании представляется не просто религиозным пессимизмом, но некоей разновидностью мазохизма. Мы не только умрем и перестанем существовать, но должны стремиться к самоуничтожению уже в этой жизни посредством неустанного внутреннего развития и полного отказа от мирских радостей и утех. Абсурдность такого истолкования буддистской доктрины очевидна и может быть сведена к парадоксальному лозунгу: «Через духовность – к смерти!»

2. ПАРАДОКС ВЕРЫ

Религия. Религия – это одна из форм приспособления человека к неизменным экзистенциальным условиям своего существования.

Откровение. Откровение необходимо человеку в качестве ориентира в жизни, в которой нет необходимо-жесткой связи между началами и концами.

Молитва. Молитва – это не попрошайничество и не средство осуществления своих желаний. Смысл молитвы в словах: «Да будет воля Твоя – не моя».

Верю – не верю. К религии приходят не из-за страха смерти как дороги в небытие, а из-за страха, что загробная жизнь существует. Атеисты не боятся загробного воздаяния.

С чего начинается вера? Человек не является творцом самого себя, а также мира, в котором он живет. Эта простая, не требующая доказательств истина, является основанием для любой религии.

Писание и предание. Священное писание задает аксиоматику религиозной системы; священное предание составляет область ее теорем. И священное писание, и предание равно держатся на вере в аксиомы, а без этой веры мгновенно распадаются.

Молитва. Молитва – это одна из разновидностей психотехники. Она предназначена не для Бога, который и так знает о любом из наших побуждений, а для самого молящегося. Молитва очищает душу, освобождая ее от подсознательных и недостойных импульсов.

Рай и ад. Христос учил: «широки врата, через которые идут в ад, и многие идут этим путем. Узки врата, ведущие в рай, и немногие находят их». Применимо ли это высказывание к сегодняшнему Христианству, насчитывающему более двух миллиардов последователей?

Эволюция откровения. Более поздние откровения не являются гарантией того, что религии, на них основанные, создадут цивилизации более прогрессивные, нежели те, которые были созданы предшествующими религиозными системами. Пример – плоды соперничества между Христианством и Исламом.

Диалектика веры. Взаимоотношения между любовью к Богу, верой и религиозным поклонением весьма неоднозначны. Любовь непременно рождает веру, но не всегда сопряжена с внешней религиозностью. С другой стороны, формальная вера и усердное исполнение обрядов не обязательно свидетельствуют об истинной любви к Богу.

Язычество. Язычество было выражением непосредственного человеческого опыта, т. е. опиралось на то, что человек наблюдал вокруг себя. Единобожие было труднее создать и воспринять, поскольку идея единства не сразу проявляется и видна в природе, а идея откровения опирается не на собственный опыт, а на авторитет другого человека.

Религия и мораль. При прочих равных условиях быть членом религиозной общины лучше, нежели им не быть. Вне зависимости от того, какой храм посещает человек, вера поддерживает его как духовно, так и психологически. При конфликте между религией и моралью, лучше выбрать мораль. Мораль – это цель, религия – средство ее достижения. Если средство не ведет к цели, то оно теряет свое назначение.

СССР. Советский эксперимент был уникальным в том смысле, что впервые в истории человечества под сомнение была поставлена не та или иная форма религии, а сам институт религии, религия вообще. Эксперимент показал, что люди, освобожденные от «религиозных пут», по своим злодеяниям далеко превосходят даже те религиозные общества, которые совершенно погрязли во зле и грехе.

Принцип вмешательства. Одна из форм концептуалистского искусства, развившаяся на Западе в семидесятые годы и получившая название «вмешательство» (intervention), в определенной мере сходна с буддистской религиозной техникой, основанной на использовании коанов. В дзен-буддизме коан и представляет собой «вмешательство» в сознание индивида, которое нарушает привычный строй его восприятия и мышления.

Борьба за существование. Мы знаем из истории, что Бог не дает истребить те народы, которые развивают духовные ценности – евреи, индусы, персы и т. д. Мало кто помнит о правителях времен Моисея, Будды, Христа. Зато все знают об этих и других великих учителях человечества и основателях мировых религий. Духовная сила мощнее материальной, и в борьбе за существование выживают всегда наиболее духовные.

Как аукнется... Идея воздаяния – одно из наиболее ранних и устойчивых представлений, выработанных человечеством за тысячелетия своей истории. Следы его можно найти в самых древних цивилизациях, а владеет оно нашими умами и поныне. Какую бы религию люди ни исповедывали, какой философии ни придерживались, они всерьез относятся к емкой и лаконичной народной мудрости: «Как аукнется, так и откликнется».

Фанатизм. Наиболее опасный человек для общества – это религиозный фанатик. Способен он на что угодно, и от преступления его не остановит ничто, поскольку он верит в то, что его поступки санкционированы Высшей силой. Даже атеизм менее опасен, поскольку атеист не верит в Бога и загробную жизнь. Атеист никогда не уничтожит все человечество на Земле, поскольку оно есть единственная реальность, для него существующая.

Награда или наказание? Божьи награда и наказание – понятия относительные, подчас взаимозаменяемые, и что их оценка зависит от конкретной исторической ситуации или культурного контекста, на фоне которого происходят события. При определенных обстоятельствах благословение свыше может обернуться несчастьями и невзгодами. Изобилуют Писания и противоположными примерами, когда посылаемое человеку наказание сулит ему последующую награду.

Мораль и религия. Религия и мораль едины и неделимы. Поясню на простом примере. Религию можно сравнить с почвой, а мораль – с брошенными в нее семенами. Из семян вырастают цветы. Они бывают разные – с большими бутонами или поменьше, с красивыми лепестками или не очень. Если цветы срезать и поставить в наполненную водой вазу, то они все равно расцветут, но вскоре же и завянут. В любом случае, без изначальной почвы они никогда не появятся на свет, поскольку семя, брошенное на асфальт, побегов не даст.

«Любовь, что движет солнце и светила». Объяснение первоосновы религии как любви к Богу позволяет понять всю сложность ее (религии) проявлений на экзистенциальном и социальном уровнях. Вполне доступно такое понимание и человеку, никогда не испытывавшему религиозных чувств. Осмелюсь даже предположить, что атеисту значительно легче представить себя верующим, нежели мужчине – женщиной, пережившей роды. Ведь любовь – широко распространенное чувство, знакомое всем людям. Любовь же к Богу отличается от любви человека к своим родным не по существу, а по субъекту, в отношении которого она направлена.

Мечты о счастье. Упование на спасение за гробом опасно тем, что люди начинают пренебрегать земными реалиями и развивают крайние формы аскетизма. Однако, игнорировать посмертие за счет чрезмерного увлечения благами цивилизации тоже не представляется разумным. В этом случае земное счастье перестает быть средством к достижению более высоких идеалов и становится самоцелью. А ведь каким бы полным счастье это ни было, рано или поздно ему придет конец, – с чем согласятся и сами его проповедники. Не сомнительна ли такая мечта для

человека, сознающего неизбежный конец всех своих начинаний?!

Существование Бога. Мир непонятен и необъясним, и вводить Творца в качестве первопричины мира – лишь удваивать непонимание. Природа Вселенной от этого не станет ясней, да и природа самого Творца тоже остается загадкой. С другой же стороны, считать, что наш необъяснимый мир самодостаточен и существует сам по себе – менее разумно, нежели верить в его создание Творцом. Из опыта мы знаем, что во всей Вселенной нет ничего самодостаточного, поскольку ни один элемент окружающего нас мира не является причиной самого себя. Вселенная, в которой нет ничего самодостаточного, не может быть самодостаточной и в целом, а, значит, нуждается в сверхестественной причине, т. е. в Боге.

Праведный страдалец. Важные различия можно обнаружить, сравнивая философию Ветхого Завета с новозаветным подходом к теме воздаяния. Согласно древнееврейским воззрениям, наказание невозможно без преступления. Страдание настигает человека как расплата за совершенные в прошлом грехи. Словосочетание же «праведный страдалец» – лишено смысла, поскольку оно подвергает сомнению моральный закон, на котором держится Вселенная. В новозаветном Христианстве такое понимание страдания становится основополагающим. Сам основатель христианской религии Иисус Христос являл собой пример праведного страдальца, приносимого в жертву ради спасения и возрождения всего человечества.

Экзамен. Религия учит нас, что жизнь – это тест, испытание, экзамен. Обязательным условием экзамена является то, что ученикам не позволено подсмотреть в учебниках правильные ответы. Если бы мы могли списать все со шпаргалки, то экзамен потерял бы смысл. Если бы мы изначально знали, как прожить нашу жизнь, сама жизнь потеряла бы смысл. Поэтому претензии верующих на то, что им обеспечено спасение и райское посмертие по меньшей мере неуместны. Абсолютная убежденность – удел тех, кто пытается скрыть от себя самих свою полную беззащитность перед Главным Экзаменатором. Самое большее, на что может рассчитывать человек в этой жизни, это быть уверенным в правильности своего выбора – своих ответов. Окончательное же решение всегда остается не за человеком, а за Богом.

Возлюби ближнего своего. Монотеизм евреев, христиан и мусульман выделяется тем, что он неразрывно связан с этикой и моралью, а верховный Бог этих религий является также господином добра, правды и справедливости. Причем, моральные заповеди имеют первоочередное значение, а религиозные обряды – второстепенное. Недаром библейские пророки обличали священников за пренебрежение моральными устоями в угоду буквальному соблюдению ритуалов. Религия мешает человеку, если вместо укрепления моральных качеств побуждает его совершать недостойные поступки. Об этом же говорил и Иисус Христос, когда порицал лицемерие фарисеев, почитавших букву Закона более, нежели его дух. Ведь, по существу, люди различны не в том, какую религию исповедают, а в том, какой придерживаются морали. И если вера приводит своего приверженца к имморализму и фанатизму, то ему лучше вообще от таковой отказаться.

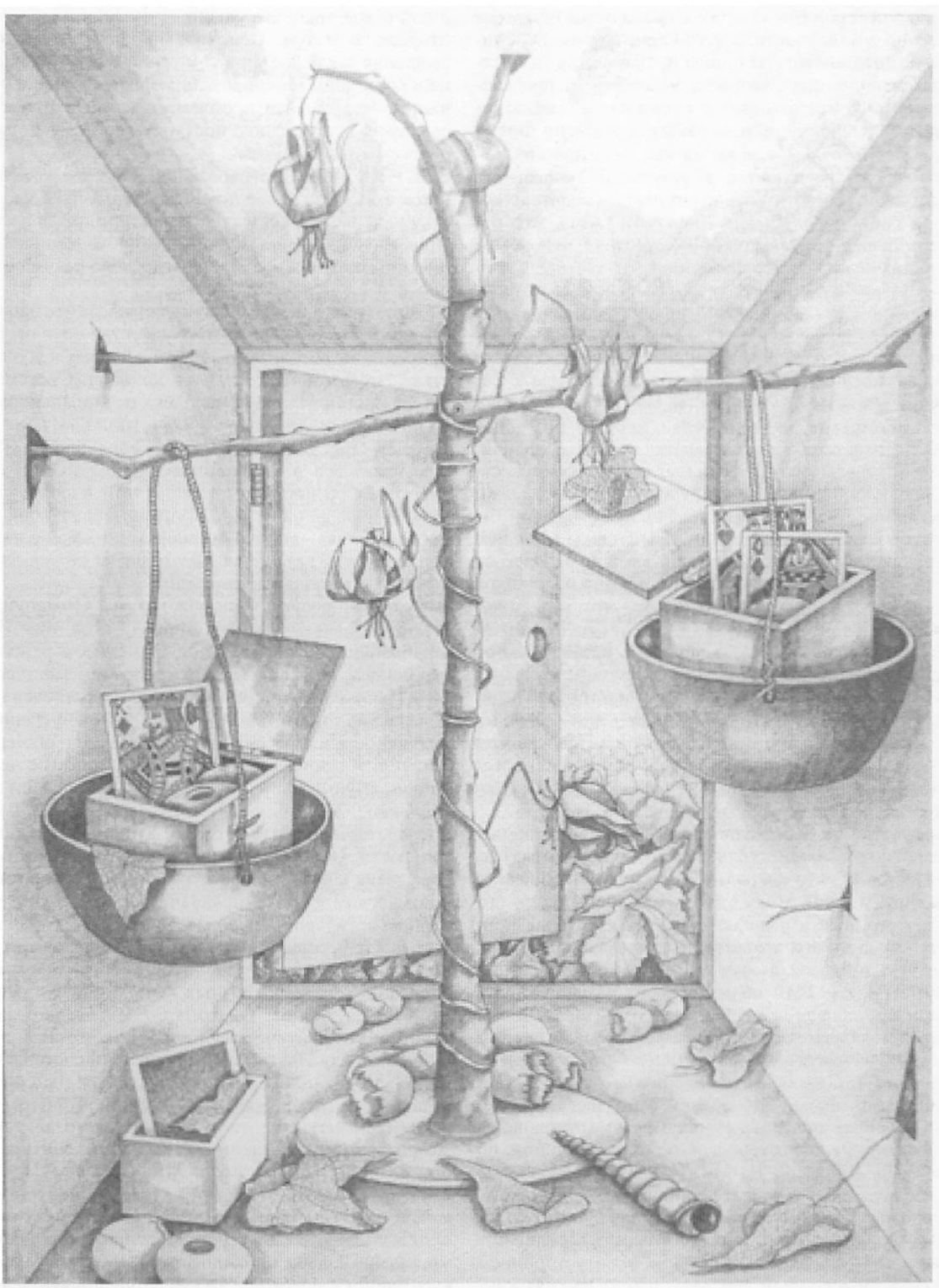
Иудаизм и Христианство. Взаимоотношения Иудаизма и Христианства, отцовской и сыновней традиций, интересны и поучительны. Впервые в истории они породили проблему преемственности монотеистических религий. Духовное средоточие Древней истории составило отталкивание единобожия от язычества, столь нелицеприятно выраженное на страницах иудейских Писаний. В последствии подобная веронетерпимость была перенесена и на диалог между еврейской и христианской религиями. Иудеи в массе своей не только не приняли Христа и не перестали исповедовать Иудаизм, но и относились к соплеменникам, перешедшим в Христианство, как к вероотступникам от Моисеева закона. Для христиан же, в свою очередь, Новый Завет как бы аннулировал Ветхий, а значит сделал из евреев отверженный, богоотступнический народ. Катастрофические последствия этого, по существу тупикового, подхода всем нам хорошо известны.

Религия и война. Буддизм – это, пожалуй, единственная из мировых религий, во имя которой не велись войны. Причина этого, на мой взгляд, двоякая. Во-первых, Буддизм зародился как религия монахов, а монахи, как известно, в войнах не участвуют. Во-вторых, и это даже более важно, Буддизм никогда не отождествлял себя с государством и не вмешивался в политику. А вот Ислам наоборот с самого своего зарождения был религиозно-политическим движением. Отсюда и бесконечные войны, и имперское строительство, повсюду Исламу сопутствовавшие. По этим меркам Христианство располагается где-то посередине между буддистской и мусульманской религиями. Начиная с императора Константина, христианская вера было вовлечена в политику, зато в первые три века своего существования, а также за прошедшие пару веков она была независима от государства. Отсюда и смешанные результаты – перемежающиеся полосы войны и мира, инквизиции и благотворительной деятельности.

Карма. Интересно различие между иудейским пониманием воздаяния и концепцией кармы в Индуизме. Еврейская культура развивалась вовне, индийская – скорее вовнутрь. Евреи – народ экстравертный, индусы – интраверты. Идея кармы в индийской мысли, соответственно, подразумевает внутреннее преображение и распространяется как на нынешнюю, так и на последующие инкарнации индивидуума. Предпринимаемые им усилия ведут к медленному изменению кармической структуры и духовному росту, проявляющемуся в будущих рождениях. В противовес этим взглядам ветхозаветные мыслители настаивают на более скором воплощении духовных идеалов – не в грядущей, а уже в нынешней жизни. Награда за следование Божьим заповедям или наказание за пренебрежение ими настигает людей «здесь и теперь». И плодами их трудов становятся не утонченные медитативные практики, а случающиеся в исторической и повседневной жизни события – завоевание земли, создание государства, рождение потомства, и т. д.

Мораль и вера. Религиозные экзистенциалисты типа Шестова (и его предшественника Сёрена Кьеркегора) убеждены, что одна лишь вера возводит в душе человека фундамент абсолютной достоверности и неоспоримости бытия Бога, а также личного спасения. Они настаивают, что эта «беспочвенная вера» драгоценнее и превыше всех других человеческих качеств. Опасность подобных взглядов заключается в противопоставлении религии и этики, и в проповеди верховенства первой над второй. Переставая быть инструментом для развития духовно-моральных свойств индивидуума, религия и лежащая в ее основе непостижимая и таинственная вера становятся самоцелью, обладание которой оправдывает любые средства. Практические выводы из такой философии катастрофичны и ведут к фанатизму и религиозному экстремизму. Понятая буквально библейская притча об Аврааме, приносящем в жертву единственного сына Исаака (в исламской версии – отпрыска египетской наложницы Исмаила), удесятеряет решимость сегодняшних мусульман-террористов, благословляемых религиозными лидерами на гибель во имя Аллаха.

С чего начинается вера? Не случайно, что первые научные теории о происхождении и существе религии появи



Ольга Черенцова. Графика. Иллюстрация.

лись в Европе в девятнадцатом веке. Причиной тому был не только бурный рост научного знания. Многие ученые, выдвигавшие религиоведческие теории, были людьми неверующими и, потеряв религиозное чувство, пытались восполнить его нехватку, объясняя религию с позиции чистого разума. Неудивительно также, что, не ощущая в религии самостоятельного, положительного содержания, мыслители эти сводили ее сущность к другим областям человеческой деятельности. Карл Маркс, к примеру, считал религиозные институты одним из продуктов (и инструментов) эксплуатации человека человеком и предсказывал их неминуемое отмирание в идеальном бесклассовом обществе. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд определял религиозные верования как симптом коллективного невроза, возникшего в результате подавления человеком своих животных инстинктов. А создатель современной социологии Эмиль Дюркгейм писал, что религия возникла в результате обожествления человеком подавляющих его общественных сил.

Любит – не любит. «Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь?» В юности мне не давал покоя этот вопрос. Человек не выбирает, кого ему любить; любовь – дар свыше, который нельзя не принять. Так почему же Бог обделяет кого-то любовью, тем более любовью к Себе, нарушая гармонию созданного Им мира? Разгадка этого несоответствия, на мой взгляд, кроется в неоднозначных последствиях, вызываемых чувством любви. Любовь к Богу – зачастую трагична, поскольку Божественное провидение редко совпадает с человеческими устремлениями. Будь это не так, люди признавали бы пророков и с радостью принимали их учения. В реальной же жизни Божьи гонцы всегда гонимы и преследуемы именно за то, что возвещают волю Бога. Если человек не в силах справиться с внутренним конфликтом между волей Божьей и своими желаниями, то безбожие может оказаться для него единственным способом избавиться от невыносимых психологических противоречий. Отказ от веры в этом случае, будучи выражением безответной любви Бога к человеку, хоть и иррационален – все же не случаен, имеет свои основания и дан людям для защиты от их собственных пороков и страстей. Как и все на свете, отсутствие любви – не кара и не наказание, а выражение Божественной премудрости, милости и благодати.

Если Бог есть, то все дозволено? Взаимоотношения между религией и моралью сложны и неоднозначны. Мы знаем из истории, что сакральное устройство общества вовсе не гарантирует высокоморального поведения его членов, в том числе и религиозной элиты, которая призвана олицетворять его нравственные идеалы. Далеко не всякий верующий, увы, может служить образцом высокой нравственности. В то же самое время по-настоящему нравственный человек – особенно в наши запутанные дни – вовсе не обязательно состоит формальным членом той или иной конфессии. Скажу более – нравственный безбожник, на мой взгляд, предпочтительнее верующего имморалиста, поскольку приоритет веры над моралью значительно более опасен, нежели мораль, отделившая себя от религии. Религиозный фанатизм, полагающий, по удачному выражению Л. Н. Митрохина, что «если Бог есть, то все позволено», являет собой наиболее радикальную идеологию, разрушительную силу которой не в состоянии остановить ничто, ибо она взывает к религиозным чувствам и надежде на спасение в потустороннем мире. В этом смысле надо признать, что нынешняя конфронтация между цивилизацией Запада и мусульманским терроризмом, чревата бóльшими бедствиями, нежели противостояние между США и СССР во времена Холодной войны.

3. ПРОЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Новый Адам. «Естественный человек» Нового времени – это новый Адам, лишенный религии и культуры, венец эволюции животного царства, «животное сознающее».

Развитие религии. Религиозное воздействие на людей требует многих поколений. Идеи Христа, например, стали по-настоящему реализовываться лишь спустя семнадцать веков после его жизни.

Мораль и разум. Основная проблема идеологии Просвещения заключается в том, что самодостаточный разум не в состоянии генерировать моральные ценности. Получается, что главная проблема в связи с проектом Просвещения в том, чтобы построить систему морали, исходя из «чистого разума».

СССР и США. Противостояние двух сверхдержав – Советского Союза и Соединенных Штатов – было по существу идеологическим противоборством двух моделей Просвещения, приверженцы которого верили в неограниченные возможности человеческого разума и призывали к его всемерному развитию.

Абсолютная власть. Обычно считают, что западная система разделения властей в государстве исходит из дурной природы человека, не выдерживающего искушения властью. Но можно сказать и по-другому. Система эта оберегает благую природу человека от морального падения, не позволяя ему обладать абсолютной властью.

Проект Просвещения. В основе идеологии Просвещения лежит все тот же злополучный принцип: «Цель оправдывает средства». Согласно этой идеологии, обладание рациональной истиной оправдывает любой способ ее продвижения – вплоть до вооруженных восстаний и революций, как провозглашает один из ее знаменитых лозунгов – «свобода или смерть!»

Верующий разум. «Чистый разум» Иммануила Канта, как справедливо заметил Фрейд, а за ним философы Франкфуртской школы, одновременно и репрессивен, и агрессивен. Чем сильнее прогресс, тем мощнее и агрессия. Только «верующий разум» способен сдерживать человеческие инстинкты, не увеличивая внутреннюю деструктивность и агрессивность в человеке и обществе.

Критерий прогресса. Культурный прогресс человечества напрямую зависит от сознательного ограничения сексуальных и властолюбивых позывов. Первое достигается посредством института брака; второе – при помощи государства. Поэтому можно сказать, что переход от многоженства к единобрачию, а также от автократии к демократическим формам правления свидетельствует о культурном возмужании человеческого рода.

Платон и Гегель. Самодостаточный интеллект неизбежно стремится к саморазрушению. Чистый рационализм, оторванный от религиозных корней, чреват тоталитаризмом. Не случайно у Платона в *Республике* развилась тоталитарная политическая философия. Отсюда же и перекличка между Платоном и Гегелем, представляющим собой кульминацию новоевропейского рационализма и ставшим интеллектуальным предтечей философии правого (нацисты) и левого (коммунисты) тоталитаризма.

Демократия. Соединенные Штаты претендуют на то, что они распространяют демократию по всему миру, хотя в действительности они занимаются экспортом республиканской формы политического правления, которая вовсе не обязательно ведет к установлению и процветанию демократии. Задача не столько в том, чтобы насадить искусственно и повсеместно республиканскую форму правления, а в том, чтобы вырастить мировой «средний класс», без которого всемирная демократия невозможна.

Республика и демократия. Республика – это форма политического правления, политическое устройство общества. Демократия – это социальный строй, при котором

господствует «демос» или по-современному «средний класс». Демократия может быть сопряжена с республиканской формой правления, как это происходит в Соединенных Штатах, но может и не быть республикой. Великобритания, например, – демократическая страна, политическая форма которой парламентарная монархия. В то же время республика не всегда (и не вполне) бывает демократической, как это, например, случалось в Древнем Риме или пост-Советской России.

Абсолютная достоверность. В религиозной культуре Средневековья источником абсолютной достоверности было Божественное откровение. Остальные сферы человеческой деятельности, включая интеллектуальную, считались вторичными, в разной мере отражающими свет небесной истины. Мыслители Нового времени напротив полагали, что человеческий разум – независим, самодостаточен и без чьей-либо помощи способен к отысканию истины. Соответственно, науке как выразительнице интеллекта человека, были усвоены качества, присущие откровению. Прерогативой ученых отныне стала абсолютная достоверность, призванная заменить определенность веры.

Религия и государство. Отделение религии от государства, предпринятое демократиями Нового времени, принесло немалую общественную пользу. Независимая и не заискивающая перед властью религия стала духовно чище и сильнее; возросла её роль в нравственной жизни людей. Отсутствие поддержки государства дало также мощный импульс религиозной мысли, оттачиваемой в соревновании разнообразных богословских учений. Наконец, отказ от применения силы в духовной сфере способствовал большей религиозной терпимости общества. Но главное, экзистенциальное следствие, как мне кажется, заключалось в том, что духовный путь отныне не был дан человеку обществом, в котором он рождался, а был результатом личного поиска и выбора.

Размежевание между религией и государством, между частной и публичной сферами, несмотря на несомненную пользу, никогда не может стать полным и окончательным по вполне очевидной причине. Частная жизнь индивидуума в определенной мере всегда является частью общественной сферы, поскольку общество из таких индивидуумов и состоит. Взаимоотношения между религией и государством в определенном смысле схожи с взаимосвязью между пространством и временем. В повседневной жизни ею можно пренебречь, но при определенных условиях, а точнее скоростях, пространство и время непосредственно влияют друг на друга. Аналогичным образом дело обстоит и с религией и государством, истинная взаимосвязь между которыми обнажается только при определенных – как правило, кризисных – состояниях общества.

Мораль – это та точка пересечения, где религия и государство сходятся, где они имеют общий интерес. И религиозные законоположения, и государственные институты власти призваны обеспечить стабильное и прогрессивное развитие общества, которое невозможно без соблюдения членами этого общества определенных моральных норм. Религия выполняет эту задачу, воздействуя на душу человека, вселяя в него веру в потусторонний мир и побуждая добровольно подчиняться нормам нравственности. Государство же переводит язык морали в систему правовых норм и законов, которые вынуждают людей воздерживаться от нежелательных для общества поступков, поскольку те повлекут за собой наказание. Если государственные органы в своей законодательной деятельности будут игнорировать моральные правила и уравняют в правах законопослушных граждан с преступниками, то такое государство неминуемо и в скором времени развалится. Государство не может быть отделено от морали, а, следовательно, и в конечном счете от религии.

Европа и Америка. Америка и Европа – это духовные побратимы, развившиеся из одного комплекса идей, сформулированного европейским Просвещением. Американская революция произошла раньше Французской, и именно она положила начало первому в истории человечества государству просвещенческого типа. И если в Европе идеи Просвещения были частью культурного наследия, радикальное преобразование которого стало возможным именно благодаря самому Просвещению, то в Америке эти же идеи послужили изначальным фундаментом национального самосознания. В отличие от Европы, Америка явила собой пример страны, сформированной на принципах "чистого" Просвещения, освобожденного от балласта культурных традиций.

Бесклассовое общество. Основатель коммунизма Карл Маркс был совершенно прав, когда утверждал, что религия обеспечивает общественный порядок, сдерживает социальный протест и недовольство, и что освобождение от «религиозных пут» высвободит революционную энергию масс. Неправ он был в том, что общество может быть высоконравственным, не прибегая к помощи религии. И вдвойне неправ был Маркс, полагая, что наступит эпоха в истории человечества, когда люди станут настолько морально дисциплинироны и сознательны, что смогут отказаться не только от религии, но и от государства. Бесклассовое коммунистическое общество будущего – очередная и очевидная утопия. Люди – не ангелы, и, как известно из истории, весьма немногим удается достичь святости. Причем, каждое последующее поколение начинает с нуля, и сталкивается с проблемой морального совершенствования заново. Так что и в грядущем на существенные перемены рассчитывать не приходится. А без религиозного воспитания и принуждения со стороны государства люди просто начнут преследовать свои личные интересы. Начнется «война всех против всех», и такое общество рано или поздно погрузится в хаос. Тут не поможет ни «отсутствие эксплуатации человека человеком», ни моральный кодекс строителя коммунизма, ни любые другие благие лозунги и призывы.

Роза мира. Американцы предпринимают попытки цивилизовать другие народы посредством экспорта демократической политической системы. Это примерно то же самое, что заставлять больных людей бегать стометровку. Демократия растет изнутри, из культуры данного общества и не может быть навязана извне. В этом диалектическая связь между культурой, берущей свое начало в религии, и цивилизацией, являющей плоды длительного культурного развития. Поэтому для того, чтобы цивилизовать человечество нужны не военно-политические акции, а новые формы религиозно-культурного строительства. Новые религии могут внешне разниться с идеологией Просвещения, давшей миру современные демократии, но сделать для продвижения цивилизации они могут значительно больше, хотя и в течение более длительного времени. Новая религия и современная демократия – как корень одного цветка и бутон другого. Корень бутона демократий – в Христианстве. Бутон же нового религиозного движения – во всемирной цивилизации. А разделяют их многовековые стебли религиозно-культурного развития.

Постмодернизм и религия. Постмодернизм претендует на статус идеологии, преодолевшей постулаты классического Просвещения с его культом разума и науки. На смену ему постмодернисты выдвигают тезис о равноправии и в то же время относительности всех видов познания и человеческой практики, которые объявляются ими несводимыми друг с другом "лингвистическими играми".

Такая философия питает активность всевозможных меньшинств, ратующих за своё равноправие. В самом деле, если все относительно и имеет право на существование, то чем европейская культура, к примеру, лучше полинезийской, а гетеросексуальная семья – гомосексуальной? Согласно моим взглядам, однако, постмодернизм отнюдь не преодолевает свою эпоху, поскольку не предлагает никакого нового абсолюта или священного писания. Напротив, он раздвигает горизонт самого Просвещения, возвращаясь к религии, но уже не как к абсолюту, а как к одной из возможных лингвистических альтернатив. На практике это зачастую ведет, как я уже отмечал, к увлечению древними языческими религиями, такими как африканский тотемизм или, например, эко-феминизированные культы женских божеств, матери-земли, и т. д.

Религиозная система. Как система организации знания религия характеризуется двумя основными компонентами – священным писанием и священным преданием. В процессе своего возникновения, становления и развития религиозная система проходит через ряд последовательных стадий, каждая из которых представляет собой определенное взаимоотношение между писанием и преданием данной религии. В общей сложности, исходя из религиозной истории человечества можно выделить пять общих для каждой из них фаз, которые составляют полный цикл религиозной системы. Это первоначальная, ортодоксальная, классическая, реформистская и критическая стадии развития религии. В отличие от сгруктурного кризиса религии, дробящего толкования, но не покушающегося на писание, системный кризис религиозной сисгемы, обозначенный мной как критическая стадия в ее развитии, характеризуется тем, что посягает на основу системы, ее базовый текст. Подобного рода кризисы разрешаются не с появлением новых сект внутри религии, а путем рождения новых религиозных систем со своими священными писаниями. Для Христианской религии таким системным кризисом явилась эпоха Просвещения.

Системный кризис Христианства. Как бы ни реагировали традиционные Христианские конфессии на идеологию Просвещения, они не в состоянии ни полностью игнорировать, ни превзойти её. Происходит это по той причине, что, будучи выражением системного кризиса Христианства, Просвещение само является сосгавной частью этой религии. Цельность же Хрисгианской, как и любой другой религиозной сисгемы, поддерживается неизменностью ее священного писания, которое и подвергает критике Просвещение. С точки зрения развития религиозного сознания, преодоление идеологии Просвещения осуществимо только с появлением новой религиозной системы со своим, отдельным от Хрисгианского, священным писанием. По опыту мировой истории мы знаем, что формирование новых религий занимает по меньшей мере несколько столетий и зависит от многих факторов, в том числе и от социально-политической организации общества, в котором молодая религия созревает. Поэтому идеология Просвещения с её принципом отделения Церкви от государства и упором на веротерпимость не только отражает сисгемный кризис Христианства, но и создает идеальные условия для его преодоления. Спасти человечество от секулярного Просвещения может, как это ни парадоксально, только само Просвещение.

Религия и демократия. Одно из самых древних отвержений абсолютистской власти и монархии мы находим в Библии, – а точнее в Ветхом Завете, этом средоточии иудео-христианского мировоззрения. На протяжении нескольких столетий, прошедших после Моисея, власть у древних иудеев принадлежала племенным вождям, которых называли Судьями. Поскольку монархия была повсеместно распространена, то, как свидетельствует Библия, пришло время, когда старейшины Израиля решили ввести эту форму правления и у себя. Они стали просить Судью Самуила, чтобы он рукоположил им на трон правителя. Самуил в ответ возразил, что по библейскому завету над Израилем есть только один царь – сам Бог. А, значит, никто из людей не может обладать абсолютной властью, т.е. соперничать со Всевышним. Таким образом, существует глубинная связь между иудейским единобожием и ограничением автократической власти, между религией и демократией. Должны были пройти тысячелетия, прежде чем эта связь проявилась бы в реальных политических преобразованиях. Именно поэтому, как справедливо замечал Бердяев, все сакральные общества древности были недемократическими. И поэтому же не случайно, что на долю Христианства выпало осуществить демократизацию политической сферы. Демократии Нового времени вовсе не секулярны, как полагал Бердяев. Обратившись к опыту древнеримской республики, города-государства в Италии в эпоху Возрождения вовсе не отвергли христианскую веру, а напротив развили и укрепили ее. То же можно сказать и в отношении современных западных демократий.

4. АПОКАПИТАЛИПСИС

Терроризм. История терроризма: от Веры Засулич до Осамы бин Ладена.

Атеизм. Атеизм – это психологическая защита людей от любви к Богу.

Искушение. Никто не предлагал мне все царства Земли, но я все равно отверг их.

Камни. Время собирать камни, время разбрасывать камни и время бросаться камнями.

Атеизм. Атеисты как дети – у них впереди множество открытий, как хороших, так и плохих.

Правовое государство. Правовое государство – не то, в котором есть законы, а то, в котором эти законы соблюдают.

Страшный суд. Страшный суд – это глобальный кризис религиозного сознания или коротко «апокапиталипсис».

Жизнь на Марсе. Если бы я был иноплатенянином, то держался бы подальше от Земли и ее обитателей. Не ровен час, затопчут.

Священная война. Современная теория справедливой войны: «Если нападаю я, то война оправдана; если напали на меня, то нет».

Мир, в котором мы живем. Вполне возможно, что наш мир и совершенен, но он, во всяком случае, весьма неприятен для времяпровождения.

Откровение. Божественные откровения обеспечивают людям выживание. Жизнь же, которую люди получат в результате, выбирают они сами.

Зло и грех. Доказательство вечного существования зла и страдания заключается в том, что люди не рождаются святыми, а путь к святости всегда лежит через ошибки, а, значит, через страдание и зло.

Софокл и Шестов. «Беспочвенность» Льва Шестова есть всего лишь вариация на тему софоклова «Царя Эдипа», выраженная у многих древних авторов, включая и Еврипида: «Ты сам не знаешь, что желает сердце: Ты сам не знаешь, что творит рука; Ты сам не знаешь, что ты есть и будешь».[5]

Одинокий ковбой. Американские боевики напоминают американскую внешнюю политику. В фильмах одинокий, но справедливый ковбой (полицейский, шпион, обычный малый, и т. д.) сражается в одиночку со злом, не считаясь

[5] Еврипид, *Трагедии*, «Вакханки», т. 2, с. 396.

ни с властью, ни с законом. То, на что мы с восхищением глядим на киноэкранах, мы наблюдаем, но уже с ужасом, и на международной арене.

Война и свобода слова. Свобода слова и распространения информации пока еще не могут остановить войну. Американцы имеют доступ к информации через газеты, радио, телевидение и Интернет, но оболванены они не хуже Советских людей, выступавших в поддержку своих безумных вождей. Накануне агрессии в Ираке, например, семьдесят процентов американцев были за развязывание войны.

Теократия. В чем идея или суть теократии? На мой взгляд, в том, что эта религиозно-политическая форма правления регулирует мораль посредством права. И критика теократов, направленная против демократической республики, состоит в том, что, отказавшись от моральных основ государства и права, демократии, по их мнению, способствуют развращению своих граждан.

Страшный Суд. Мы переживаем глобальный кризис религии, переориентацию всех ценностей. Если бы не прививка новой веры, этот кризис закончился бы глобальной катастрофой. Новая вера – это вакцина, которая вызывает болезнь, но в смягченной форме. В 20-м веке мы наблюдаем протекание этой болезни или – употребим богословский термин – Страшный Суд, который на самом деле не страшный, а спасительный.

Искусство и тирания. Есть мыслители, которые утверждают, что тирания способствует созданию великих произведений искусства, поскольку создает идеальную почву для страданий, жертв и героизма, столь необходимых для их появления. Вспомним, однако, что наилучшие образцы в области искусства были созданы при демократии – в древних Афинах, во Флоренции в эпоху Возрождения, в Париже на рубеже 19-го и 20-го веков...

Свобода слова. «Религиозная нетерпимость» – самопротиворечивое высказывание, поскольку нетерпимость подразумевает выпячивание собственного «Я», навязывание другому человеку своей воли и, в конечном счете, стремление "подправить Творца". Нетерпимость к взглядам других людей – это, по существу, одно из проявлений богоборчества. К тому же обладание истиной не дает людям права применять насилие по отношению к тем, кто их взгляды не разделяют.

Духовность. Часто говорят, что бедность – признак духовности. Чем беднее страна, тем у нее выше духовный потенциал. Получается, что Индия духовнее Швеции. По-моему, это просто предлог для того, чтобы оправдать собственное бессилие и бездействие, а может и того хуже – полное безразличие к людским судьбам. Ведь уровень жизни населения в стране – один из показателей духовности ее правителей, которые обязаны заботиться прежде всего о своих подданных.

Самопожертвование. Тонкая, зачастую едва различимая грань проходит между самопожертвованием и разбазариванием собственной жизни. Бывает, что первое незаметно переходит во второе, как это случилось, например, с героем новеллы Франца Кафки «Превращение». Грегор Замза жертвует собой, помогая родителям и сестре, но в итоге теряет себя, свое человеческое «я» и, превратившись в насекомое, выясняет, что семья, ради которой он вершил свою жертву, в нем вовсе не нуждается, предает его и выбрасывает на помойку.

Крах коммунизма. Предположить, что произойдет в России после краха Советской диктатуры в принципе было весьма несложно. В последовавшем «моральном одичании» и разграблении страны винить можно кого угодно. Смысл же происходящего – в том, что оторванный от религиозной почвы народ, как и поставленный в вазу с водой цветок, неминуемо зачахнет. Если у людей, особенно тех, что составляют элиту общества, нет духовно-нравственных ориентиров, то не поможет ничего – ни коммунизм, ни капитализм, ни монархия, ни демократия.

Гарант спасения. Каковы признаки "Антихристова духа"? Согласно Андрею Кураеву, единственный критерий подлинного добра – в верности Христу и Евангелию. Иначе говоря, дело не столько в учении Христа, сколько в самой его личности как единственном гаранте спасения. Антихрист же может скрываться и маскироваться за кем и за чем угодно. Он может уверять, что он ученик Христа, последователь Христа, продолжатель дела Христа, следующая ступень истины после Христа и т.д. Таким образом, для Кураева, как и до него для Вл. Соловьева и Достоевского, Христос дороже истины и добра как такового.

Советский эксперимент. Советский опыт нельзя просто отбросить как ошибочный или ненужный. Любой опыт в жизни человека или народа имеет свои положительные и отрицательные стороны. И Советский период Российской истории, каким бы ужасающим он ни казался нашим потомкам, должен быть осмыслен, а извлеченные из него уроки – учтены в формировании новой пост-Советской национальной идее России. Советский Союз показал, что если для отдельного человека потеря веры не равнозначна моральному падению, то в масштабах страны отказ от религии всего лишь за несколько десятилетий ведет к катастрофической нравственной деградации всего общества.

Протестантизм. Николай Бердяев в своих книгах критикует Протестантскую Реформацию за то, что Протестантизм ставит под сомнение священное предание Церкви. По Бердяеву сомнение в священном предании с неизбежностью приводит к пересмотру священного писания, а затем и к его отрицанию. Таким образом, Протестантизм чреват атеизмом. История показала, однако, что не переосмысление священного предания в Протестантизме, а как раз окаменелость его в Ортодоксии таит опасность атеистического взрыва. Ведь Советская атеистическая империя была создана на основе православной России, а Протестантизм дал миру Соединенные Штаты – одну из наиболее религиозных стран в мире.

Убей неверного. Фанатизм в своем религиозном обличье значительно более опасен, нежели в атеистическом. Для безбожника, как правило, земная жизнь – это единственная реальность, жертвовать которой даже ради самых благородных целей – затея весьма сомнительная. Стоит ли устраивать ядерный апокалипсис для воплощения коммунистического идеала, если жить в светлом обществе будущего будет некому? В уме религиозного фаната таких вопросов не возникает, поскольку он верит в посмертную жизнь и воздаяние за гробом. Он готов пожертвовать всем (и всеми) ради того, что считает волей Божьей, а точнее, ради собственного спасения, в котором не имеет ни малейшего сомнения.

Минимализм. Минимализм второй половины 20-го века вырос из знаменитого «Черного квадрата» Казимира Малевича и экспериментов Марселя Дюшана. Дюшан тут особенно важен, поскольку квадрат Малевича – это геометрическая форма, которая отсутствует в природе и сотворена человеком. В минимализме же, как и в развившемся из него впоследствии концептуализма, философия прямо противоположная – «непротивление природе». Эта философия, впервые опробованная Марселем Дюшаном в его «найденных объектах», в минимализме доведена до логического абсурда, когда предмет искусства полностью исчезает, уступая место конструкциям из уже существующих в природе или обществе объектов.

Парадокс секуляризма. Начиная с эпохи Возрождения, западное общество все глубже проникается духом секу-

ляризма. Европейское Просвещение и последовавшая за ним экспансия западной цивилизации распространили светскую культуру по всему миру. Казалось бы, религия должна вот-вот отмереть. Происходит же прямо противоположное. Девятнадцатый и двадцатый века становятся одними из наиболее напряженных и плодотворных периодов в религиозной истории человечества. После многовекового перерыва опять возникают новые религии – мормонизм, вера Бахаи, сайентология, муниты и многие другие. В двадцатом веке люди свысока окрестили эти новые религиозные движения «сектами», забыв, что две тысячи лет тому назад Христианская религия, которую они сейчас исповедуют, тоже была такой же сектой, зародившейся в лоне свой матери-религии Иудаизма.

Новое Средневековье. Эпоха раннего Средневековья началась в пятом веке нашей эры. Своеобразие ее было обусловлено двумя факторами. С одной стороны, молодое Христианство развилось настолько, что стало государственной религией Римской империи. С другой стороны, политическая система самой империи так ослабла, что Рим рухнул под напором варварских народов. Эта рассогласованность религиозного и политического циклов привела к плачевным результатам в сфере культуры. Уровень ее упал так низко, что за последующие четыре столетия Запад не дал практически ни одного крупного и оригинального мыслителя. Если под угрозой возврата к раннему Средневековью понимать опасность упадка культуры, то она остается вполне реальной и в наше время. Произойти это может, прежде всего, из-за недооценки глубины, масштабов и последствий религиозного кризиса, переживаемого человечеством. Любые политические, экономические и социальные потрясения на его фоне будут многократно усилены и могут привести к самым неожиданным последствиям. Подтверждением этому служит вся история двадцатого века.

Абсолютное зло. В книге *Три разговора* Владимир Соловьев развивает один из своих аргументов в пользу Христианства. Смысл его довода в том, что требование абсолютного добра не служит доказательством того, что оно (требование) исходит от Бога. Человек же нуждается в решающем аргументе в пользу истинности Бога. Таким аргументом для Соловьева может служить лишь преодоление абсолютного зла, которым является смерть. Уникальность Христианской религии как раз и состоит в том, что Христос, пережив воскресение, преодолел смерть и таким образом оставил неопровержимый залог Божественного источника своих заповедей. Одна из проблем в этих рассуждениях, однако, заключается в том, что Соловьев постулирует существование абсолютного зла или смерти, в то время как сама смерть – будучи средством перехода из земного в духовный мир – по-моему, таковым не является. К тому же, если существует абсолютное добро, то, кто бы ни требовал его от человека, не может изменить природу самого добра, которое, по Соловьеву же, исходит от Бога.

Российский мессианизм. Мысль об особой миссии России присутствует в сочинениях многих русских мыслителей. Она принимает самые разнообразные формы, начиная от Филарета с его идеей третьего Рима и России как оплота истинной веры, и кончая Лениным, вынашивавшим мессианские планы, связанные с третьим Интернационалом. Подобная двойственность русского мессианства, не подтвержденного религиозным авторитетом, но интуитивно ощущаемая интеллектуалами, нашла весьма адекватное воплощение в Советском Союзе. Создание атеистического государства, сплотившего народы, исповедовавшие три мировые религии – Буддизм, Христианство и Ислам, и существовавшего в условиях крайне враждебного окружения и непрекращающихся репрессий в стране на протяжении трех четвертей века – было фактом из ряда вон выходящим. Все прежние нормы религиозной жизни в СССР были подвергнуты радикальному сомнению. Сама организованная религия, как форма человеческой культуры, – отброшена как ненужный реликт. Человечество и ранее переживало такие эпохи, когда происходила коренная переоценка духовных ценностей. Впервые, однако, речь шла не о местном, национальном или региональном, а о мировом кризисе и, соответственно, о всемирных путях его разрешения.

Небесный Иерусалим. Иерусалим – один из самых древних городов мира, восставший в наши дни из пепла забвения. Иерусалим – библейский город, символизирующий в древнееврейской истории политическое и духовное единство Израиля. Падение города и захват его иноземцами являются для иудея знаком Божьей немилости и наказания, неминуемо влекущего за собой изгнание с родной земли. Так было во времена осады, взятия Иерусалима и разрушения Храма вавилонянами в шестом веке до нашей эры; так было и после разрушения второго Храма римлянами. Последующее восстановление города, совершившееся уже в наше время, описывается в Библии не просто как возврат народа к утерянному политическому и духовному единству. Будущее евреев в Ветхом и Новом Завете неразрывно связано с судьбой всего человечества. Поэтому третьей и, быть может, наиболее важной метафизической ипостасью Иерусалима, является глубинная связь древнего города с объединением всех народов и созданием всемирной цивилизации. Иерусалим – духовная столица планеты, но не в смысле тривиального "еврейского заговора" или наоборот – формальной христианизации евреев. Иерусалим – средоточие духа в библейском, пророческом смысле, в котором предвозвещано о войне народов против Иерусалима, о духовной битве за всемирное объединение человечества, ведущейся за фасадом многочисленных политических, экономических, национальных и религиозных конфликтов.

5. РОССИЯ И АМЕРИКА

Русские в Америке. «Отступать некуда – позади Москва!»

Вы почувствуете разницу. В Америке люди живут, в России – выживают.

Дилемма. В Советской России что было делать? Либо водку пить, либо иностранные языки учить...

Евреи в Америке. Эволюция американского еврея – от закомплексованного невротика Вуди Аллена до успешного и самоуверенного комедианта Джерри Зайнфельда.

Свобода слова. Американцы сделали великое открытие – поняли, что нужно разрешить людям говорить все, что им вздумается, и от этого ровным счетом ничего не изменится.

Америка. Когда приезжаешь в Америку, то исчезает провинциальная закомплексованность, и ты оказываешься наедине с самим собой. Испытание это не из легких, и далеко не каждый выходит из него с честью.

Родина. Я люблю свою Родину, но издалека. Чем дальше я от России, тем сильнее моя любовь к ней. Возвращаться же на родную землю мне противопоказано – чтобы полностью не истребить мои к ней чувства.

Медный всадник и статуя Свободы. Медный всадник и статуя Свободы – две стороны одной медали или проекта Просвещения, получившего разное развитие в России и Америке и давшего миру, с одной стороны, Советский Союз, а, с другой, Соединенные Штаты.

Американа. Один американец сказал мне, что Америка сочетает в себе декадентство, технологическую мощь и задор юности. Это очень опасное сочетание, добавил он,

поскольку избалованный юноша-супермен пойдет на все, чтобы сохранить свой стиль жизни.

Русская идея. Николай Бердяев писал о «русской идее» как о всечеловеческом единстве. В действительности такая «русская идея» настолько же русская, насколько она американская, китайская, и т.д. Идея глобального объединения человечества не может носить название одного из его народов.

Вперед к прошлому. Стремление афро-американцев и прочих меньшинств в Соединенных Штатах к тому, чтобы "припасть к истокам" очень напоминает по культурному настрою русское славянофильство. Разница в том, что истоки у афро-американцев иные, нежели у славянофилов, и идут они назад, соответственно, не к Христу и отцам Церкви, а к африканским родо-племенным религиям и магическим обрядам.

Россия и Запад. Россия была первой не-западной страной, вступившей в соприкосновение с западной цивилизацией и попытавшейся перенять ее достижения. В этом смысле опыт России и ее ответ на вызов европейского Просвещения необычайно важен, поскольку он проливает свет на то, что впоследствии переживают и другие страны – Индия, Китай, государства Африки и Латинской Америки, а также мусульманский мир, который порождает в изобилии своих собственных «людей из подполья».

Русская идея. Русские религиозные философы 19-го и 20-го веков зачастую ставили перед собой задачу понять идею России «в вечности». Попытки взглянуть на Россию глазами Творца приводили к неудачам, и по весьма простой причине. Дело в том, что прийти к осознанию идеи Бога о России, можно лишь обозрев весь ее исторический путь в сравнении с историей других народов. А это невозможно, поскольку Россия еще существует как одна из действующих сил мировой истории.

Кони привередливые. Один мой приятель-американец, изучавший русский язык, попросил меня однажды разъяснить ему стихотворение Высоцкого "Кони привередливые". "Понимаешь, – сказал он мне, – лирический герой хочет, чтобы кони летели чуть помедленнее. И в то же время он их погоняет и стегает ногайками, чтобы они скакали быстрее. Это же неразумно". Что ответишь такому человеку? "Дорогой мой, – говорю я ему, – когда ты прочувствуешь эту ситуацию, ты и поймешь, что такое русский характер и русская судьба!"

Американский неоконсерватизм. Американский неоконсерватизм призывает вернуться к ограниченным полномочиям федерального правительства путем уменьшения налогов и отказа от федеральных программ. Парадокс неоконсерватизма однако в том, что полномочия государства планируют ограничение в социальной и культурной сферах, в то время как расходы на войну будут увеличиваться. Так проповедь неоконсерваторов на деле оборачивается не сокращением, а перераспределением расходов с «социалки» на войну.

Автор и читатель. Одна из особенностей российской философской школы – трудночитаемый стиль некоторых ее представителей. Вполне возможно, что тут сказалась близость к немецкой философской традиции. Как бы то ни было, чтение Флоренского или Лосева – занятие, требующее немалого интеллектуального напряжения. Однако, если в Европе неудобоваримый текст считается проблемой для читателя, то в Америке – это проблема автора, который не в состоянии коротко и ясно изложить свои мысли.

Американский характер. Одна из черт американского характера обычно производит весьма тягостное впечатление на российского человека. Он может прожить с американцем в одной квартире целый год, и ничего не узнает о нем как личности. Американцы держат друг друга на расстоянии; никто к вам в Америке не полезет в душу, и такое ощущение, что, по большому счету, никому до вас дела нет. Эта манера позволяет американцам вести динамичный образ жизни и с легкостью приспосабливаться к любым жизненным переменам, включая переход на другую работу и переезд в другой штат.

Коммунизм и страдание. Коммунистическое мировоззрение, поскольку оно отрицает жизнь после смерти, не в состоянии объяснить духовного смысла страданий. Для любой религии – материальный прогресс хоть и важен, но всегда относителен, вторичен. Духовный же прогресс – абсолютен, и путь к нему лежит через страдания, которые не смогут быть уничтожены ни в результате построения бесклассового коммунистического общества, ни продлением жизни на неопределенно-долгий срок и достижением «практического бессмертия», ни какими-либо иными научно-техническими и социальными открытиями и преобразованиями.

Враг народа. По определению американских телекомментаторов, я выступаю как предатель, если желаю Америке поражения в войне с Ираком. А я действительно «пораженец», но вовсе не потому, что жажду развала Америки. Иракская война – это испытание. Если США победят, то это будет означать, что американцы могут – и будут – продолжать вершить судьбой мира и другими народами. По-моему, это плохо для самой же Америки и американцев. Ни одна страна – даже такая, как Соединенные Штаты, даже после развала Советского Союза – не должна играть роль мирового жандарма. Так что для самих американцев будет лучше, если они войну проиграют.

Новое Средневековье? Николай Бердяев в своих книгах по философии истории утверждает, что Российское государство не до конца вышло из Средневековья и не впитало полностью культуру Нового времени. В действительности же Россия никогда и не была средневековой державой. Принцип средневековой государственности заключался в примате религиозной иерархии над светской и в раздробленном феодальном землевладении, ограничивающем абсолютную власть монарха. Ни того, ни другого в России не наблюдалось. Принцип же подчинения религиозных чинов светским автократам берет свое начало в языческом поклонении единоличной власти, и оттуда через Византию его и унаследовала Россия.

Америка и Древний Рим. Русские философы Серебряного века зачастую проводили параллель между Европой рубежа веков и Римом эпохи упадка. Однако, точнее было бы сопоставить Европу с Древней Грецией и ее ролью в формировании культуры Древнего мира. Америка же с ее технологической и военной мощью и в то же время с длящейся по сегодняшний день культурной зависимостью от Европы действительно напоминает Рим. Но отнюдь не Рим времен упадка империи, а скорее Рим, находящийся в расцвете своего могущества и влияния. В результате двух мировых войн Соединенные Штаты, как в свое время Рим после Пунических войн, превратились в одну из крупнейших держав мира. А противостояние с Советским Союзом и победа в холодной войне сделали из США единоличного лидера на мировой арене.

Русская философия. Российская философская традиция сравнительно молода и, может быть, поэтому склонна к преувеличению собственной значимости. Одно из проявлений этого – повышенный интерес русских мыслителей к "русской идее", особой миссии русской философии и т.д. Американцы, воспитанные в аналитической традиции, воспринимают такие высказывания как местную экзотику. Вновь приезжающие из России эмигранты, занимающиеся гуманитарным знанием, время от времени

предпринимают попытки выявить специфику национальной философии. Пока что на этом пути их преследуют неудачи. На мой взгляд, такой подход в принципе бесперспективен. Русская мысль должна влиться в общемировой философский процесс и внутри него доказать свою мощь – тогда она станет заметным культурным явлением, как это произошло с музыкой и литературой.

Неизбежность Сталина. Сила влияния религии на членов общества обратно пропорциональна мере воздействия на них со стороны государственных органов. Чем более люди проникаются верой и следуют религиозно-нравственным нормам поведения, тем меньше надобности в судах, тюрьмах, исправительно-трудовых колониях и подобных им принудительных учреждениях. И наоборот, чем сильнее разочарование в религии, тем чаще будут возникать беспорядки, восстания, революции, войны и т. д. Поэтому не так сложно было предположить, что атеистическое государство неизбежно превратиться в жесточайшую диктатуру. А как еще удержать людей в рамках порядка и законности? Когда Бертрана Рассела однажды спросили, почему к власти в СССР пришел Сталин, он посоветовал перечитать *Братьев Карамазовых* Достоевского и подумать, как можно управлять такими людьми.

Культурный барьер. Наряду с лингвистическими и формально-техническими препятствиями на пути к сближению американской и русской философских традиций стоят и барьеры, которые можно определить как культурно-метафизические. Поясню, что я имею в виду. Российская философия во многих своих проявлениях носит глубоко экзистенциальный характер. Русские мыслители слишком часто озабочены историософскими вопросами. Историческая же судьба и культурные реалии, выпавшие на долю России в двадцатом веке настолько необычны и во многом прямо противоположны штатовским, что американцам бывает трудно адекватно воспринять философское или литературное произведение, созданное в России. Не случайно США и СССР были антагонистами – капитализм против социализма, демократия против тоталитаризма, англо-американская аналитика против марксистского синтеза. В результате американские студенты воспринимают Россию по-своему, исходя из собственного культурного опыта.

Американская мечта. Мои друзья в Америке зачастую с иронией признаются, что американская мечта это дом с двумя машинами, и дети, поступившие в колледж. "Америка, – добавляют они, – это страна эмигрантов, срез всего человечества. Нельзя быть американцем, будучи только американцем. Настоящий американец – это русский американец, американский еврей, афро-американец, и т. д." Иными словами, американское самосознание наднационально, а в Америке создана, как ни пугающе знакомо это звучит, новая общность людей – американский народ. Другие знакомые мне американцы возражают. «Америка, – говорят они, – это страна эмигрантов, страна вечной юности и свободы от традиций, которая открыта всему новому и ищет свое место в мире". А ещё один мой знакомый заявил, что в его представлении суть американской идеи – в постоянном движении на запад. "Америка – динамичная страна, а люди, живущие в ней, одержимы стремлением к переменам", заметил он, "мы все время в движении и стремимся к новому и неизведанному".

Постмодернизм и религия. Постмодернизм претендует на статус идеологии, преодолевшей постулаты классического Просвещения с его культом разума и науки. На смену ему постмодернисты выдвигают тезис о равноправии и в то же время относительности всех видов познания и человеческой практики, которые объявляются ими несводимыми друг к другу "лингвистическими играми". Такая философия питает активность всевозможных меньшинств, ратующих за своё равноправие. В самом деле, если все относительно и имеет право на существование, то чем европейская культура, к примеру, лучше полинезийской, а гетеросексуальная семья – гомосексуальной? Согласно моим взглядам, однако, постмодернизм отнюдь не преодолевает свою эпоху, поскольку не предлагает никакого нового абсолюта или священного писания. Напротив, он раздвигает горизонт самого Просвещения, возвращаясь к религии, но уже не как к абсолюту, а как к одной из возможных лингвистических альтернатив. На практике это зачастую ведет, как я уже отмечал, к увлечению древними языческими религиями, такими как африканский тотемизм или, например, эко-феминизированные культы женских божеств, матери-земли и т. д.

6. ЛЮБОВЬ К МУДРОСТИ

Счастье. Счастье – удел глупцов.

Идеал. Самое важное для человека в жизни – иметь то, за что не жалко с жизнью расстаться.

Философия. Философия – это гуманитарная дисциплина, изучающая наиболее общие свойства мира, насколько он дан человеку в исследовании.

Утопия. Разница между утопией и теорией в том, что теория всегда имеет ограничения и не распространяется на все явления и случаи жизни.

Духовность и религиозность. Религий много, а духовность одна. Духовный опыт – универсален и выходит за пределы любых делений, в том числе и религиозных.

Абсолютная истина. Абсолютной истины в нашем временном мире не существует, поскольку абсолютная истина не совместима с развитием, а в мире нет ничего, что бы не развивалось.

Вечность. В мире нет ничего невечного – все вечно на своем уровне, в том числе и материя. Не имеющая личного существования, она вечна в целом – с чем согласятся и философы-материалисты.

Автор и читатель. В европейской культурной традиции книга по философии, написанная неудобоваримым, наукообразным языком – это проблема читателя. В Американской – это недоработка автора.

Причина и смысл. Философия занимается не причинами и первопричинами, а смыслом происходящих событий. Кризис философии, как и кризис религии – это потеря смысла в жизни, а не невозможность объяснить ее первопричину.

Богословие. Богословие, поскольку оно имеет дело с потусторонним, сверхъестественным миром, является отражением не «объективной реальности», а внутреннего мира самого богослова. Суть богословия в этом смысле не в истине, а в благочестии.

Кант и откровение. Кантовы «синтетические суждения априори» на языке богословия называются откровением. Только пророкам дана способность к этому особому виду познания. Поэтому и метафизика по определению не может быть научной. Она либо религиозная, либо никакая.

Счастье. Греки заблуждались по большому счету. Цель земной жизни вовсе не в счастье или – в счастье, но вовсе не в том смысле, в который в него обычно вкладывают. Цель земной жизни в духовном просветлении и освобождении, достигаемом посредством любви к Богу и связанных с ним страданий.

Природа человека. Поскольку человек не является творцом самого себя, то он не может познать собственную сущность. Ведь, если такое познание было бы возможно, то человек овладел бы секретом собственного существования и самотворения. Таким же путем легко доказать, что человек не в состоянии познать сущность Бога и Вселенной.

Индивидуальность духа. Основная черта духа, насколько он дан человеку в исследовании, – индивидуальность. Нет двух одинаковых плодов, цветов, животных, людей. Для материалиста индивидуальность является порождением не духа, а уникальной комбинацией материальных частиц, причем таких комбинаций бесконечное множество.

Любовь к бытию. У древних греков тяга к Бытию служила мерилом внутренней свободы. Вообще, чем сильнее доверие к бытию, тем больше свободы дано человеку в социуме, и наоборот. Идеал любви к бытию – жизнь Иисуса Христа. Нежелание кому-либо прекословить, решать вопросы принуждением или насилием – это и есть приятие бытия каким оно есть.

Абсолютные первоначала. Философия не может стать наукой, опираясь на абсолютные первоначала. Нужно признать, что философская аксиоматика не только является, но и с необходимостью должна быть относительной. Абсолюты сменяют друг друга в философии на протяжении столетий, не давая ощущения преемственности, свойственной научному знанию, и не позволяя философии продвигаться вперед.

Русская эпистемология. Удивительно, что русская философия не дала миру крупных эпистемологов. А ведь в русском языке существует богатая и разнообразная палитра эпистемологических терминов – познание, осознание, понимание, ведение, разумение, постижение, созерцание, озарение, наитие, умозаключение, рациональность, интуиция, рассудочность и т. д. Сколько эпистемологических систем можно было бы создать на этом необозримом лингвистическом фундаменте!

Откровение и интуиция. Под понятием «интуиции» обычно подразумевают непосредственное познание или познание вещей в подлиннике – в отличие от внешнего восприятия, которое опосредовано органами чувств и, следовательно, ограничено его возможностями. Однако, знание сути вещей опасно для человека, поскольку является выражением властолюбия. Поэтому даже откровение, которое представляет собой вершину интуитивного познания, никогда не бывает абсолютным и не является истиной в последней инстанции.

Монизм и дуализм. Европейские мыслители-монисты расправлялись с идеей дуализма, т. е. несводимости друг к другу духа и материи, двумя способами. Первый заключался в том, чтобы свести одну категорию к другой. Так возникло знаменитое деление на материалистов и идеалистов. Второй путь состоял в том, чтобы объединить материю и дух в некоем третьем принципе, в котором, не потеряв различия, они гармонично бы сочетались. Этот прием был разработан, к примеру, Владимиром Соловьевым в его идее положительного всеединства.

Дух и смерть. У Герберта Маркузе, как и у Фрейда, в анализе структуры личности совершенно отсутствует измерение духовности. А ведь стремление к смерти зачастую и есть выражение подсознательного духовного потенциала. Когда жизнь ведет человека по пути духовного разложения, то внезапно и неизвестно откуда взявшаяся болезнь или даже смерть могут оказаться единственным спасением от духовного коллапса. Несчастия приходят к такому человеку потому, что в подсознании существует механизм, Фрейду совершенно неизвестный – функция духовного сохранения индивида.

Доверяй, но проверяй. Хотя природа интуиции до сих пор не вполне ясна, весьма сомнительно, чтобы интуитивное знание всегда было безошибочным. По собственному опыту мы знаем, что интуиция подчас подсказывает одно, а более глубокий анализ – совсем другое. Происходит это, видимо, потому, что интуитивная оценка зачастую опирается на личные пристрастия, ложные представления и разного рода предрассудки, прочно укорененные в подсознании. Так или иначе, интуитивные догадки, не в меньшей степени, нежели наблюдения, связанные с чувственным опытом, нуждаются в тщательной рациональной проверке.

Авторитет. Познание невозможно без принятия определенных фактов и положений на веру. Человек не может подвергнуть сомнению и перепроверять все предшествующее ему знание – на это попросту не хватит жизни. Личный опыт человека ограничен, и поэтому ему приходится учитывать мнения и выводы других людей. Принципиальная неустранимость традиции и авторитетов связана еще и с духовным аспектом познавательной деятельности, проявляющейся в акте доверия. Человек, который одержим сверхкритическим мышлением, страдает от духовного недуга всеподозрительности и зациклен на самом себе.

Подполье атеизма. Одним из глубинных психологических мотивов атеизма является страх перед Божьим всемогуществом и, как результат, бегство от реальности, совершаемое под прикрытием рационально звучащих аргументов. Философия материализма, возведенная на этом фундаменте и не способная полностью избавиться от первоначального иррационального импульса, – сколь бы последовательно и систематически развита она ни была, – как следствие, проявляет не силу, а слабость ее представителей. Материализм – учение глубоко пессимистичное и антигуманистическое. Только надежда на бессмертие по-настоящему гуманна.

Корифей деконструкции. В сентябре 2001 года в университете Вилланова, расположенном в пригороде Филадельфии, на Третьем международном коллоквиуме, посвященном «Религии и постмодернизму», французского мыслителя и основателя философской деконструкции Жака Деррида спросили, верит ли он в существование Бога. «Бог существует, покуда люди верят в Него». – сказал в ответ Деррида. «Существование религии – достаточное доказательство бытия Божьего. Если Бог не существует, насколько мощно это несуществование, способное производить то, что существует!» Смущенный вырвавшимся у него признанием, мэтр поспешно добавил, что раньше никогда не говорил этого на публике.

Философия и политика. Существует прямая зависимость между политической формой правления в государстве и моральной философией, развиваемой его мыслителями. Тираническое правление или диктатуры склонны к философии полного детерминизма. Официальная Советская доктрина, к примеру, полностью отвергала свободу воли и стремилась подчинить человека непреложным законам природы и истории. Республики же наоборот, тяготеют к философским взглядам, основанным на понятии о свободной воле человека. Интересно, что в основе библейского единобожия лежит мысль о моральной свободе человека – Адама. И не случайно поэтому, что еврейская культурная традиция с древних времен и до наших дней не приемлет рабства и тирании.

Основной вопрос философии. Рассматривая "основной вопрос" философии, обычно учитывают две возможности. Философы, признающие примат материи над духом, составляют школу материалистов. Их соперники, рассматривающие материю как одно из проявлений духа, зачисляются в противоположный стан идеалистов. Наряду с этими двумя крайними позициями существует, однако, еще одно решение. Заключается оно в утверждении о невозможности свести эти две концепции друг к другу. Мыслителей, развивающих такой взгляд, называют дуалистами, а их философию – дуалистической. Основная гипотеза дуализма проста: материя не равна духу. В этом смысле дуалистический подход выгодно отличается как

от идеализма, так и от материализма, каждый из которых по-своему, упрощает реальную действительность.

Пантеизм. Пантеизм, как известно, означает обожествление природы или, иными словами, отождествление природы и Бога. Корни пантеизма уходят в древнейшие культы плодородия, нашедшие выражение в многочисленных мифах о богах и богинях, олицетворяющих силы природы – древнеегипетском Озирисе, ханаанском Ваале, аккадской Иштар, древнегреческой Деметры и т.д. В философии пантеизм также пустил глубокие корни и был разработан в различных философских системах – восточных и западных, древних и новых. Тут и плотиновский неоплатонизм, и индийская Веданта Рамануджы, европейский романтизм Шеллинга и еврейский рационализм Спинозы. Ну и, конечно, русская софиология, представленная целой плеядой мыслителей от Владимира Соловьева до о. Сергия Булгакова.

Я и не-Я. И Декарт и Гуссерль в своих философских построениях решают по существу одну и ту же задачу – как из "Я" вывести "не-Я". Оба мыслителя считают, что "Я" дано непосредственно; все же остальное должно быть опосредовано, иначе "Я" было бы всем. Но что есть это посредство – часть меня или часть не-меня, или и то и другое? Гуссерлевское решение, на мой взгляд, лишь обнажает проблему, вводя некий промежуточный элемент, который, с одной стороны, принадлежит к сфере "Я", а с другой – отсылает к "не-Я". Кажется, что перекинуть мост между этими двумя областями можно не иначе, как просто введя само "не-Я". Именно так и поступает Декарт, постулируя бытие Бога. Подытоживая, можно сказать, что сфера "не-Я" в субъективном идеализме – равно как и сфера духа в материалистической философии – с трудом поддаются строгой и безусловной редукции к первоначальным понятиям соответствующих философских доктрин.

Аксиомы и теоремы. Философская доктрина, претендующая на научный подход, как и остальные научные теории, должна опираться на ряд основополагающих аксиом, т. е. положений, принимаемых без доказательств. Каково бы ни было происхождение самих аксиом, именно аксиоматика системы задает ее ограничения и набор теорем, а не наоборот – теоремы служат подкреплением истинности основных положений системы. В философии материализма такой аксиомой, лежащей в основании школы и принимаемой без доказательств, является тезис о материи как конечной реальности, к которой сводится все разнообразие мира. Последующая разработка доктрин материализма в явной или скрытой форме уже содержит эту базовую мысль. Выбор же иной основополагающей гипотезы, например, противоположной ей идеалистической идеи о первичности духа над материей, с неизбежностью ведет к пересмотру всей философской конструкции, возведенной на прежнем фундаменте.

Наука и жизнь. Любая наука, включая и философию, опирается на ряд базовых понятий и законов. Значение их в том, что они задают ограничения, в рамках которых может быть развита та или иная гипотеза. Дальнейшее развитие научных знаний совершается посредством изменения или, точнее, расширения области применения той или иной теории. Благодаря этому последующая теоретическая модель дает большее приближение к истине и имеет более широкую область применения, нежели ее предшественница. Превзойденная же теория оказывается одним из частных случаев в более масштабной теоретической схеме. Таким образом, каждая последующая теория лишь подчеркивает неполноту предыдущей и, в свою очередь, будет превзойдена в будущем. Это значит, что достоверность научной аксиоматики никогда не является и не может стать абсолютной. Наука, претендующая на истину в конечной инстанции, принципиально невозможна и, попросту говоря, перестает быть наукой. Утверждение это верно и в отношении науки наук – философии.

Внутреннее познание. Чувство абсолютной достоверности возникает в результате непосредственного опыта, поскольку всякий опосредованный опыт передает не только его объект, но и то, посредством чего он представлен. Согласно Декарту, познание собственного «Я» как раз и происходит непосредственно. Не существование «Я», которого никто и не оспаривает, а именно мгновенная данность мне моего «Я», служит базовой предпосылкой картезианства, а в двадцатом веке – философии Гуссерля, сузившего поле непосредственного опыта путем феноменологической редукции. Это значит, что аксиоматика Декарта, а впоследствии и Гуссерля, включает скрытую предпосылку – о разнице между внешним и внутренним познанием. Если познание внешнего мира опосредовано чувствами и подвержено искажениям, то внутреннее, интуитивное постижение – непосредственно и поэтому безошибочно. Вполне возможно, однако, что интуитивные возможности человека в данном случае преувеличены. Да, мы уверены в существовании собственного «Я», но мы не знаем, что оно есть на самом деле, в противном случае нам незачем было бы себя познавать. Что же касается истинной сущности «Я», то и тут существуют весьма различные предположения.

7. С МИРУ ПО НИТКЕ

Смех. Смех – это форма духовной практики, признак духовной силы и свободы.

Родственники. Родственники – это люди, с которыми мы никогда не общались бы, не будь они нашими родственниками.

Культура. Подлинная культура в том, чтобы не навязывать свои взгляды другим людям – ни посредством силы, ни путем спора.

Эмигрантская доля. – Вы здесь постоянно или в гостях? – Постоянно в гостях.

Память. Предел суетности – роскошная могила на привилегированном кладбище, а также заботы о том, что будут говорить о тебе люди после смерти.

Любовь. Мы осознанно не выбираем, кого любим, но это не значит, что любовь не является нашим выбором. Есть решения, которые мы принимаем бессознательно.

Агрессия и атеизм. Довод одного американского комментатора в пользу атеизма: скандинавские страны – самые мирные по уровню преступности и в то же самое время самые атеистические.

Христос и Бахаулла. Христос знал, что ап. Петр трижды отречется от него до наступления утра. Предвидел ли Бахаулла, что его собственный сын Мохаммед Али станет противником Завета после его смерти?

Что такое хорошо? Древнее месопотамское изречение гласит, что человек не ведает, что творит, ибо не знает последствий своих поступков. Это, конечно, так, но все же мы прекрасно знаем, что, спасая человеку жизнь, поступаем хорошо, а убивая человека – плохо.

Эволюция человечества. Корни эволюционного развития человечества заложены в Африке. Азия дала миру древнейшие цивилизации. Европа создала Христианство, ставшее осью цивилизации Запада. Задача Америки – сформировать глобальное единство человеческого рода.

Дали. Художественные поиски Сальвадора Дали прямо противоположны экспериментам абстракционистов в 20-м столетии. Дали пытался отыскать духовную основу в глубинах материального мира. Абстракционисты же искали духовное начало, отвлекаясь от материи и всего материального.

Любовь. Любовь есть духовное чувство неразрывной связи с предметом любви, вселяющее абсолютную достоверность в его существовании. Как и все проявления духовной жизни, возникнув однажды, любовь никогда не кончается. Она постоянна и не может быть поколеблена никакими, даже самыми тяжелыми испытаниями.

Фокус-покус. На сцене фокусник берет шляпу, кладет в нее кролика, который к изумлению наблюдающей за чародеем публики из шляпы таинственно исчезает. Наша Вселенная представляет собой подобный гигантский фокус, но несколько иного порядка. Кролик, т. е. сама Вселенная – тут как тут, и никуда не подевалась. Зато – к изумлению всех живущих на Земле – бесследно исчез сам фокусник.

Как прекрасен этот мир. Страдания и несчастья случаются со всеми людьми. Мир, как говорится, во зле лежит и по этой мерке он несовершенен. Однако, из любой трагедии, из самой невыносимой боли можно извлечь положительные уроки. Несчастья очищают духовно, и в этом смысле зло чревато добром, а грех ведет к покаянию. За Адамом вечно следует Христос, и с этой точки зрения мир – абсолютное совершенство.

Эмиграция. Эмиграция – это особое состояние сознания, своеобразное отталкивание от родной культуры, которая не вмещает того, что человек привносит в нее своей жизнью. Эмиграция – не важно внутренняя или внешняя, вольная или невольная – всегда носит характер бунта против устоявшихся норм и порядков. В этом эмигрант схож с юношей, который восстает против своих родителей, борясь за право собственного голоса. Самыми известными всему миру эмигрантами были великие учителя человечества и основатели мировых религий – Авраам, Моисей, Заратустра, Будда, Христос, Магомет – в корне изменившие привычные для своего времени представления о человечестве.

Мир во зле. Несчастья и страдания бывают двух видов – те, которые можно и те, которые нельзя избежать. Люди издавна, например, воюют друг с другом, но виноваты в этом они сами, а не Бог. Упрекать в войнах Бога – значит уподобляться толстяку, уплетающему за обе щеки и сетующему, что Всевышний сотворил его тучным. Ситуация эта, впрочем не нова. Как писал еще Гомер:

«Странно, как смертные люди за все нас, богов обвиняют. Зло от нас, утверждают они: но не сами ли часто Гибель, судьбе вопреки, на себя навлекают безумством?»[6]

Существуют несчастья, которые люди рады бы, да не в силах пока избежать – из-за нехватки знаний, стечения неблагоприятных обстоятельств, недостаточного развития науки и техники и т.д. Ситуацию эту можно исправить в будущем, развивая образование, финансируя научные исследования и технологические разработки, иными словами, следуя по пути прогресса. Есть, однако, зло, от которого не дано укрыться никому – старение, болезни и смерть. Значит ли это, что мир, в котором мы живем, безнадежно плох?

НАТАША ШАРЫМОВА

Интервью с художницей Ланой Лукас перед выставкой «Через призму зелёных глаз" в галерее Inter Art, май, 2009 г.

Художница Лана Лукас – изящная, миниатюрная молодая женщина. Несмотря на свои высоченные каблуки, она ходит стремительно и сосредоточенно. Как сказал бы Хемингуэй, Лана напоминает быстроходную ладью. Много и заразительно смеется. Шутит. Но на выставке «Через призму Зелёных Глаз», вернисаж которой состоялся в InterArt Gallery в 2009 году, нам открылась другая Лана Лукас – ее акварели рассказывают о глубоком и сокровенном, тревожном, полном предчувствий, зыбком и неопределенном мире.

Лана, виртуозный колорист, создаёт яркие образы, выплескивает на зрителя палитру сочных, создающих светлое восприятие красок. Но в этом проглядывает какая-то тайна, некая потаённая иносказательность... Вглядываясь в работы, вы замечаете грусть в глазах девочки, за руку ведущей подругу по сказочно пёстрому лугу. Это же девочка-оборотень! И она уводит спутницу в чащу... Особенно обращаешь внимание на работы Hunt I и Hunt II.

Каждая вещь – насыщенный сгусток авторских эмоций. Полная ассоциаций, символов и аллюзий история. Реальная и сновидческая.

С 2004 года Лана Лукас ежегодно выставляется в Нью-Йорке. Критики благосклонно относятся к её творчеству, а коллекционеры охотно покупают работы. Обо всём этом мы беседуем с художницей в салоне автомобиля, на пути к её дому.

– Лана, когда у вас впервые возникло желание рисовать?

– Я родилась в Вильнюсе, уехала подростком. Любила рисовать с детства, но у меня не очень получалось: чайник всегда был кривым. Сейчас я смотрю в прошлое, на себя, школьницу, и думаю: мне не хватало терпения... Тогда же я увидела работы Сальвадора Дали. Боже, это был настоящий шок: такая техника, такая мощь, такие идеи и чувства! Я всегда очень остро воспринимаю цвет, а цвет на полотнах Дали поражает. Меня захватило и захватывает то, как он передает невидимое: тонкие чувства, мистические настроения. Прорывает обыденность и куда-то устремляется.

– Куда?

– Не спрашивайте. Идите и смотрите Дали. У каждого зрителя будет свой ответ. Кроме того, на меня оказало влияние творчество Рене Магритта и Де Кирико, которых я высоко ценю.

Из художниц хотелось бы выделить Леонор Каррингтон и Дороти Тэннинг. Обе они в разные годы имели романы с одним из самых видных сюрреалистов Максом Эрнстом (который, кстати, одно время был женат на Пегги Гугенхайм). Дороти даже стала его женой в 1946 году. Обе они сумели привнести в живопись удивительную фантазию, воображение и глубину. Отдельно для меня стоит предтеча сюрреализма, Иероним Босх... Ощущение своей художественной индивидуальности пришло ко мне в полной мере лет десять назад. А начинала я не со станковой живописи, а со скульптуры и дизайна...

– В Нью-Йорке живет несколько тысяч художников. Галерей, наверное, сотни три, не меньше. Вы следили за творчеством современных художников, за новыми веяниями и именами?

– Безусловно. Однако во мне присутствовал свой внутренний импульс, потребность выразить себя. Я преодолевала что-то внутри себя... Доказывала себе что-то неуловимое... То, что трудно сформулировать, выразить словами. И еще – мне хотелось что-то создать своими руками. Поэтому для работы я взяла неподатливый и сложный материал – металл, и придавала ему художественные формы. Занималась дизайном – создавала металлические столики, банные стойки. Расписывала мебель. Работа была сложной. Металл нужно было резать, паять и варить, и в какой-то момент мне стало тяжело: сварочный агрегат, маски, рукавицы, ножовки и баллоны с газом. Меня не-

[6] Гомер, *Одиссея*, Москва: изд-во «Правда», 1985, с. 16.

в какой-то момент мне стало тяжело: сварочный агрегат, маски, рукавицы, ножовки и баллоны с газом. Меня неудержимо тянуло к холсту – и вот с тех пор я все рисую и рисую.

Ищу форму, в которой можно выплеснуть взрыв своих эмоций. Знаете, я всегда тянулась к учёбе, изучала в колледже психологию. Завершив "металлическим" период, я стала брать уроки рисунка, живописи, анатомии и композиции у Наташи Пеле-Гидара. Наташа – замечательная учительница, настоящий мастер. А для меня учиться – жизненная потребность. Я и сейчас учусь – посещаю класс скульптуры, один из самых лучших в Нью-Йорке.

– На многих ваших работах такие красивые цветы... Ими "вытканно" все пространство. Ваши акварели напоминают старинные французские и нидерландские гобелены...

– Что вы, Наташа. На гобеленах – безобидные ландыши, незабудки, маргаритки и лютики. А у меня – эти, как бы, одухотворенные и нежные цветы – цветы-хищники. Вот ведь в чём парадокс. Плотоядные растения – "Carnivorous plants". Попросту, meat eaters.

– Да что вы? Какой ужас!

– "Carnivorous plants" – название моего цикла. Эти цветы едят насекомых, мотыльков и бабочек, ящериц и маленьких птичек. Одни растут в тропиках и субтропиках, другие обитают в Европе и Америке во влажных степях и болотах. Вот их русские названия: венерина мухоловка, росянка, жирянка, росолист, пузырчатка. Всего на земле существует видов 500.

Сейчас в большой моде венерины мухоловки. Как сами понимаете, они избавят ваш дом от всех мелких летающих созданий. Их можно легко заказать в Интернете или на Ebay.com, и вам пришлют окультуренное растение по почте. А дикие – занесены в Красную книгу. Так что, если вы выкопали мухоловку на полянке, готовьтесь платить большущий штраф. Не знаю, но я не хотела бы дома иметь растение – здесь и сейчас – убивающее кого-либо. Эти цветы так красивы и элегантны... трудно поверить, что они могут съесть, скажем, лягушку. Они выделяют специальные соки, которые растворяют живое существо. Я видела фотографии...

Подобные цветы растут на болотах, в почве там мало питательных веществ. Своей яркой окраской они привлекают насекомых, бабочек. Как только бабочка опускается на такой цветок, она пропала: прилипает, не может двигаться, погибает.

Мне кажется, можно провести параллель с людьми, с человеческими отношениями. Согласны, красота может проявляться в такой хрупкой вещи, как отношения? Романтические отношения... Дружеские отношения...

Вообще, доброжелательные отношения между людьми. У меня в работах – не только цветы. Вот – две девочки... Они, может быть, совсем и не девочки. Просто – использован облик девочки. Помните девочку-дьявола в короткометражке Федерико Феллини "Тоби Даммит"?

И у меня – не реальные люди, скорее, души: светлая душа и черная душа. И эта работа называется "Deadly Habits". Так все мило и нарядно... Но внешняя оболочка – обманчива.

– Случалось ли вам в жизни попадать в такие ситуации?

– Я думаю, у каждого такое было. Тут у нас, когда мы говорим о серии "Carnivorous plants", о насекомоядных, хищных растениях, присутствует категория красоты.

Но – это не та красота тела или лица, как ее рассматривали во времена античности или Возрождения, не греческий канон: красота-гармония. Мир так изменился, и так быстро меняется каждый день... Красотой, прекрасным сейчас занимаются дизайнеры, а мы, художники, стремимся передать свое ощущение сегодняшней ситуации. И, поверьте, оно часто бывает в стиле "фильм нуар".

В этих моих работах – аллегория, символ, подтекст, второй план... Нежность и привлекательность этих цветов таят опасность, которой не ждешь. Это – не открытое и не явное зло. Но зло. Как от него уберечься?

– Какие ваши работы вы любите больше всего?

– Работая над "Carnivorous plants", я немного разобралась в себе – мне нравится писать природу. В моих работах часто присутствуют аллеи, лес, цветы, но в изображение вложены мои чувства.

У меня есть работа "Summer Day". Почти онегинский ландшафт: усадьба, ряд лип, уходящий в даль, скамейка... И ветер. Очень экспрессивная работа.

– Вы пишите воображаемые пейзажи или они срисованы с натуры?

– Все вместе. Какая-то картинка, образ возникают в моем воображении. Или – какой-то вид. Или натюрморт.

В одной из последних работ есть птица и увядший букет. Птица – воображаемая, розы я писала с натуры. Люблю писать с натуры лес.

– Руководствуетесь ли вы в своей практике лозунгом "ни дня без строчки" и берете ли кисть в руки каждый день?

– Нет. Когда я готовилась к этой выставке, моя первая работа получилась на одном дыхании. Как один вздох... Потом – вторая – ничего, третья – тоже нормально... А потом я почувствовала, что что-то ушло... Ушло настроение...

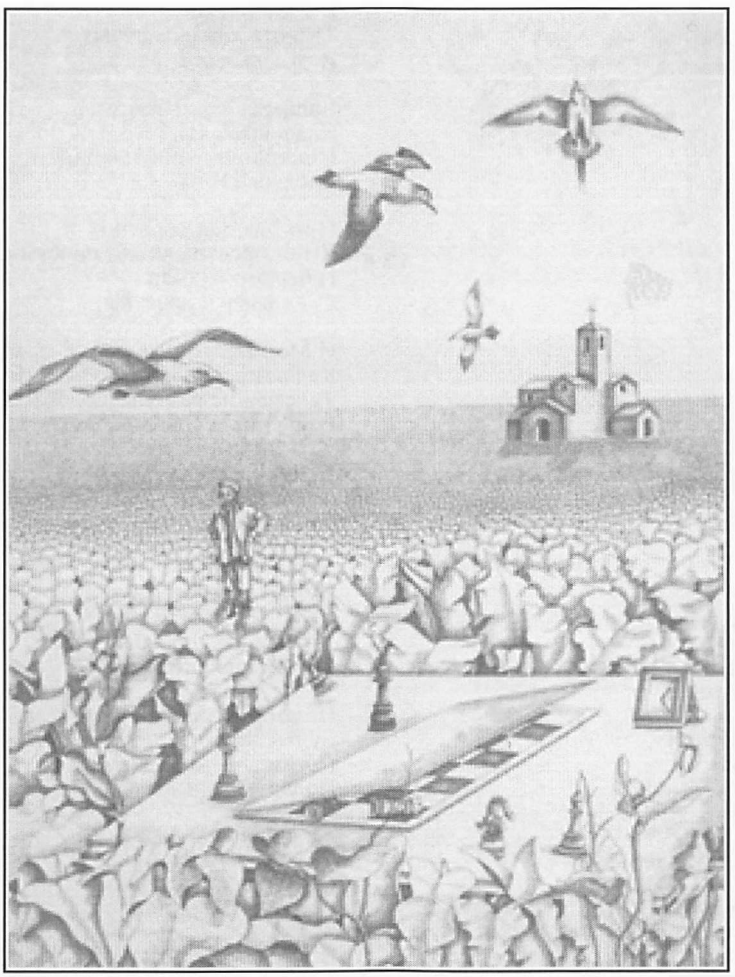
Сейчас так редко можно встретить людей, способных чувствовать и откровенно выражать свои эмоции... Цивилизация, пост индустриальное общество, этика WASP сделали из нас настоящих эмоциональных кастратов. Есть даже такой медицинский термин – эмоциональная тупость... Так вот – я – категорически – против этого. Категорически.

– Чего вы ждете от выставки?

– Для меня выставка – это хемингуэевский праздник, который всегда с тобой. Так хочется заглянуть в глаза зрителей, ощутить их состояние, зарядиться энергией...



ПОЭЗИЯ



ПОБЕРЕЖЬЕ

ВИТАЛИЙ АМУРСКИЙ

* * *

Забугорье. Запечалье.
Ни двора и ни кола.
Только сумка за плечами
Да надежды два крыла.

Не забыть тяжелый ржавый
Дня осеннего клинок
И опричную державу,
Что уходит из-под ног.

Губ беззвучных бормотанье –
Ни проститься, ни позвать...
С пустотою побратанье.
Дай вам Бог про то не знать.

ВСПЫШКИ

Молнии плугом
Небо пронзили
Ночь Нибелунгов
(*Вена – транзитом*)

Даль с именами
В классическом вкусе
(*Как семинар*
На литфаковском курсе)

Рыцарей тени
И дев белокурых
(*Время стипендий*
Гитар балагурных)

Силы законы:
Ярость и милость
(*Мрак заоконный*
Сколько ж забылось!..)

Памяти сбой
Или, может, – суть боли?
(*Было игрой*
Стало судьбою)

* * *

Прекрасно желтое на красном,
И чудно синее на белом,
Да не щадит морозец краски
Опустошительным набегом.

Он покрывает хрупкой коркой
Листву, опавшую и лужи,
Влезает в память фразой горькой
И отрезвляет от иллюзий.

Ноябрьский, цепкий как терновник,
Он на закате или утром
Сжимает на окне термометр,
Где ртутный столбик будто убран.

Он в бездну сбрасывает разом
Княжну из летних одеяний,
Он по натуре – Стенька Разин:
Добро от зла не отделяет.

Лишь в оттепель, слегка грустнея,
Становится он мягче нравом,
Но о его свиданье с нею
Задумываться, право, рано.

* * *

Дома, где мы родились,
Долго стоять должны,
Ибо – чьи же еще стены
Могут быть ближе
И роднее,
Вспоминать о которых
Вдали суждено?

Лужи на тротуарах,
Которые мы разбрызгивали
Колесами велосипедов,
Изредка должны появляться,
Дабы видеть себя мы могли
В их зеркалах
Античных.

Деревья, под которыми мы
Вырастали, по которым,
Царапаясь,
Карабкались,
Долго должны жить,
Ибо чьи же корни
Будут нас обнимать после смерти?

* * *

Ни прощаний банальных,
Ни жировками счет
Тесноте коммунальных
И отдельных хрущеб.

Чадных кухонь паяцы,
Кладовые в пыли –
Нищий шик инсталляций
Кабакова Ильи.

Путь заказан обратно
К тем пространствам простым,
И былого Арбата
След навеки простыл.

И Монмартра не будет,
Как лет сорок назад,
Телефон не разбудит
Выручать и спасать.

Кто ж расскажет, опишет
Лет утраченных пыл,
Ту Фонтанку, где чижик
Воду звонкую пил.

Нет во мне пессимиста
Да и скептика нет,
Лишь в душе поселился
Жизни прожитой свет.

Незаметно проник он,
Будто пар от земли,
Появился травинкой
После долгой зимы.

Но в ненастья любые, –
Пока жив он во мне, –
Обернувшись, в любви я
Не убуду вдвойне.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Я хочу быть понят моей страной,
А не буду понят, что ж –
По родной стране пройду стороной,
Как проходит косой дождь.
Маяковский, 1925 г.

Школьный мел, крошась в порошок,
Осыпался, вроде сирени.
Задавалось про «Хорошо»,
Да не складывалось. Не от лени.

Неба красно-черный лоскут
Вис над Политехническим.
Помню этой Москвы тоску
Рядом с книгою ученической.

Сковородкой за тучей-горой
Солнце пряталось – блин не выпечь,
Дождь косой шагал стороной
Широко, как Владим Владимыч.

* * *

Плачет город дождиком осенним.
Сумерки. Холодных дней пролог.
И понуро тянутся по Сене
Баржи мыслей серых и тревог.

С опустевшим домом чем-то схожий,
День прошел, по сути дела, зря.
У моста замешкался прохожий,
Как и все случайный, то есть, я.

ВПОЛГОЛОСА – НА СЕВЕРО-ВОСТОК (В АЛЛЕЯХ РУССКОГО КЛАДБИЩА ПОД ПАРИЖЕМ)

Осина в поле ропщет ли,
В закате ль небо красное –
Любилось, вроде, общее,
А оказалось – разное.

Но, сколько ж ты прошляпила,
Страна моя безумная,
Оставшись без Шаляпина,
Без Бенуа и Бунина!..

О Боже, как дурела ты,
Не далее как давеча,
Черня во-всю Нуреева,
Тарковского и Галича...

Та ложь уже не мажется,
И старое – повергнуто,
Но еще ближе кажутся
Мне те, кого отвергла ты.

В кого обидой целила,
Кому ярлык ты вешала...
Ах, время – панацея ли?
Да только раны свежие.

НЕЗЫБЛЕМОЕ

Лики русских икон –
Скорбь в бездонных очах,
В битве вздыбленный конь
И надежды очаг.

Лики русских икон –
Каждый светлый овал:
Пламя, дыба и кол,
И любовь – наповал.

Лики русских икон –
Не княжны, так князья.
Неземной Рубикон
За который нельзя.

Лики русских икон
Из прожорливой мглы,
Где себя, как на кон,
Ставил ты без игры.

Лики русских икон
Меж дрожащих свечей,
Вековой перезвон
Твой и больше ничей.

* * *

Не питался небесной манной,
Не оставлю тут как Вийон
Ни Больших завещаний, ни Малых,
Разве только – звезд миллион.

Моей речи московский орнамент
И луну, как часы с ремешком,
По-цыгански зима прикарманит,
Под сырым припрячет снежком.

* * *

Опять зима тоскою накатила,
Но ночью землю скрывший на вершок,
Став серо-желтым, вроде никотина,
Исчез к полудню с улицы снежок.

Исчез, как будто, вовсе не бывало
Той белизны, что не сыскать белей,
И за окном рябина не пылала,
И птиц, конечно, не было на ней.

ПЛАЧ ПО УБИЕННЫМ НА ПРЕЧИСТЕНКЕ

Памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Ни ругань, ни прыть хвалебная,
Тебе не нужна в речах,
Страна моя чернохлебная,
Картофельная печаль.

Страна диктатур и Разина,
Что вражеский стан и дом,
Ты столько раз кровью красила
Свой Север, Урал, и Дон.

И с сердцем, будто, не каменным,
Но словно с гуся вода,
На каждого Авеля – Каина
Хватало тебе всегда.

Плывет сквозь века пунцовые
Твой тайный терновый венец.
Не первый съеден пуд соли,
А всё еще не конец.

И нынче – всё то же самое,
Москве ль привыкать к беде!
Пречистенка в снежном саване,
А завтра он ляжет где?

Закат твой опять к ненастью,
И солнцу не скоро рдеть.
По Станиславу и Насте
Пропой колокольная медь.

Январь, 2009

* * *

Синими морозами
Потолки небесные
Утром купоросили
Маляры безвестные.

Чтоб потом белилами
Выкрасить их начисто
Над землей Билибина,
Там, где сказка начата.

Там, где детства вотчина,
Буквари листали мы,
Где у дома отчего
Нынче – волки стаями...

* * *

Кто от курева, кто от водки,
Кто с долгами, а кто без них,
Исчезают мои одногодки
И всё более мир безлик.

Исчезают мои одногодки –
Кто одни, кто к кругу семьи –
От балтийских вод до Находки,
И с другой стороны земли.

Исчезают, как в стынь чернильную
Звезды, скатывающиеся с крутизны
В ночи августовские молчаливые,
Не тревожа чужие сны.

Чередою годы сменяются,
И всему свой отмечен срок.
Понимаю, но у меня еще
Не написано столько строк...

БЛУЖДАНИЯ

1.
Дворик птичьих лип на Тверском
Николая Васильевича обнимает,
И почесывает лист неопавший
О ветку тоску свою ржавую.

Боже, столько грусти слилось
Тут в улыбке уставшего дня,
И забот проходящих за темной
Чугунной оградой.

2.
Устав от строк пустых на языке
Забытого, как старая квартира,
Словарь небесный хорошо открыть,
Где каждый волен словно одуванчик.

Там Пастернак в высоких сапогах с лопатой
В свой переделкинский вступает огород,
А в Сете ветер меж крестов
Плутает, думая о Поле Валери.

3.
Синекрылые лолиты кружатся
Над седокудрыми набоковыми
На лужайках асфальтовых зелё-
Ных июньской пьяной Фиальты.

В Люксембургский сад загляну и
Увижу опять в колодце лица
Твоего масти пиковой купола
Сумасшедшего дома – России.

ПАВЕЛ ДЕМИДОВ

КАМАРИНСКАЯ

Деревня. Осень. Лай собак
Да шум движка,
Что укорачивает злак
На три вершка.
Деревня. Оводы. Река.
Колхозный луг.
Заходит сонная строка
На новый круг.
Деревня. Осень. Комары
Идут на ты.
Бревно терзают топоры
До темноты.
Как зов души, летит пчела
В разверстый рот.
Ворует рыбу со стола
Чеширский кот.
Кудахчут куры. Каравай
Румянит печь.
Деревня. Осень. Узнавай
Родную речь.
Земля по-прежнему кругла.
А Бог – един.
Глядят из красного угла
Отец и Сын.

***
Помнишь – лето лукавило
Трын-травой поросли проспекты
И плоды разомлели в садах
Это и было – лето
Банный лист зеленел
Таксофоны-скворечники пели дзинь-дзинь
Мало? Нет скажу что не мало не много а как пришлось
Как срослось так и было: каникулы с поездами
Киношка с мороженым
Туз козырный с девяткой. Было дело
Нехитрое но живое – утром – жив кочерыжка
Без ста одежд. Просыпайся скидывай простыню
Да купаться где сам себе сом бригантина
Плаврук... вода доступная берегу – не уму
Где было нам загаром румянящим кожу
Постичь ее замысел велеречивость
Помнишь лето манило в Крым
Под пальмы к медузам
Быть хотелось беспечным аквалангистом
Помнишь как пел комар крадучись среди ночи
А девушки! Помнишь их яркие платья
Их обнаженные ноги и плечи
Наяды речные солнечные царицы
Плыли они шли и ехали в душных троллейбусах
С улыбкой букетам навстречу...
Но вот осень влепила августу оплеуху
Комар потеряв сноровку скончался от голода
Легкая морось
Брала за грудки: «Прошу пани»
Уже не бодают ветер кузнечики пыльными головами
И завтра дети украсят дворы
Ледяными матрешками.

***
Счастье либо еще далеко
либо им не насытиться
выпросишь его
настигнешь
перевернешь всё вверх дном
найдешь
а оно не поет и не чешется
так и мешается под ногами
пока не пристроишь его
у каких-нибудь простаков.

СНЕГОВИКИ

1
Еще не зима но готовь окно для узора
Завтра дети придут из школы
с первыми одуванчиками на шапках
А вчера уснуло последнее дерево и утром
Меня некому было будить

2
Пока деревья думали стихами
Пришла пора сворачивать пожитки
И в сумерках нанизывать на нитки
Земную сухомятку с облаками
О гордая какая суматоха
Стремленье вещи к перемене места
Вот дерево вот эхо вот эпоха
Вот первый снег летит почти отвесно
Не думая ни прозой ни стихами
Не мысля ни движения ни стиля
А завтра снегу стать снеговиками
И в кузове спешить автомобиля

3
Зима природу не благодарит
Ее снопы коровушку не кормят
Плоды ее свисающие с крыш
Бедны клетчаткой.
Заря зимы неясная горит
И не один снегирь ее запомнит

Но разве это небо укоришь
Ушанкой-шапкой?

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

Боже, храни пеленки
Скрип снега носы салазки
Пуговицу на живульке
Сосульки обноски клюшки
Чашки пирог в духовке
Пустую в шкафу копилку
Свертки под елкой блестки
Ложки ножи и вилки.

***

Так начался год новоиспеченный
Входил расталкивая прошлое врастал
наростом речевым вдавался днями
слезами вкатывался перекати-полем
Амура Волги колесом Москвы.
Дремал над небылицей кот ученый
И дерево вползало без листвы
В год новый новоиспеченный
В пожаре прошлых бесконечных зим.
Перемахнув через забор эпохи
На школьника похожий год входил.
Он приносил с собой коробки вымыслов
копну черновиков вязанки жажды
ссадины любви.
Как будто кто за ним не уследил.
Весна дворцы лепила из травы
Пичугу пичкала зеленой горечью
Ковала лето. Ближе к сентябрю
Земли горячий марш сбивался вдруг
с привычного для слуха такта
(не год ли так входил Богоподобный некто
кто прошлое случайно обронил?)
Не год ли так входил со сквозняком подмышкой
И нас домой чумазых приводил?

ПЕТЕРБУРГ

1
Утро глядит молчаливое в чашку пустую.
Чай выпит.
Беспорядочно тени разбросаны
кожура вчерашнего апельсина
Бессмертником освещает блюдце.
Чередой табуретов хромых дни проходят.

2
Не выкарабкаться из заснеженных улиц
К люминесцентным витринам Невского к полудворцам
Под баобабы колонн
К огоньку апельсиновой корки в Екатерининском.

3
Дитя мелководья. Пасынок Скандинавии.
Слуга семерых господ.
Непереписанный набело. Град студеный
Из вымени Невы напившийся
серой воды с комаром вприкусу
Ни ключика ни табакерки нынче
В карманах твоих.

***

Люди чьи голоса – крики чаек
Ложатся на мокрый песок
И слушают
Рыбий плеск.
Люди чьи голоса – рыбий плеск
Ложатся на дно морское
И слушают
Крики чаек.

***

Мы недоговорившие и до глагола
словно ослепшие поводыри вещей
Бродим по разные стороны времени
и ни сна нам ни друг друга.
И суета наша неприкосновенна и каждый день стоит
с вязанкой миров за плечами
И каждый день окрылен не единожды.
Носим по аршину забот в душе по пятаку счастья
в кармане и нет нам друг друга.
Нет нам праздника виноградного
громогласного эха шагам нашим
Тишины цветка в твоих волосах.

***

Лицо человека еще не описано каким оно есть
Еще не воспеты все скулы и переносицы
Над всеми глазами еще
Витает тень умолчания
И губы – словно их весна еще не наступила.
Лиц неподатливый материал еще не выписан как он есть
Трудно удержаться от лжи рассказывая про лица
Про их розовощекость и бледность.
А зеркала – словно утренние газеты –
Не найти в них того что ищу.

***

Ода отзвучавшему
Те инструменты
на которые опиралась музыка
смолкли
обратились в утварь
в неописуемый сор
в обезбоженную среду
в сгусток струн и раструбов
в жерла
почти в жернова молчания
те инструменты
(прежде такие живые
теперь руины без прошлого)
из которых вырастали колосья музыки
этот ковыль скрипок
этот апофеоз эха
всё что теперь отзвучало – отзвучало
всё что теперь отгрубило –
отмерило музыки
словно нить перетерлась
горла
ни глотка больше из этой реки
ни творца
ни памяти о творце
ни памяти.

***

Не свяжешь из наших бесед и лыка но целую реку
Наполнишь словами-лодками.
Бывало – перебежишь сам себе дорогу неосторожно
И завязнешь среди болот молчанья
И – куда дальше – повсюду топь бессловесная
И ни маяка.
Но кажется мы только отзвуки –
не отзвучать нам, не пробудиться.
Как колоколу не выслушать самого себя.

***

Сердце стучит как лопата по мерзлому грунту
Бродит с мешком на плече размалеванный Санта
Сны предвещают падение стерлингу-фунту
Дети читают в подвалах Мисиму и Канта.
Выйду на Волгу, она меня – хвать по живому
Нету на Волге ни паникадила ни плошки
Негде приткнуться ни прачке ни городовому
Вышел бы к Богу да где они к Богу дорожки?
Спрятался бы заховался в чулане на нартах
Только боюсь проворонить весны колесища
Въедет весна утопая в апрелях и мартах
Въедет и сгинет зимы несъедобная пища.

Я пережду. Подберите меня побирушку
Дайте мне в руку краюху за пазуху лыка
Сердце стучит я пляшу под его колотушку
То ли паяц то ли мающийся горемыка.

---

* Заховался – спрятался (укр.).

***

Тяжелым снегом пробужденные
Поднялись города с невеселых лавок
Глядят бессоннице в глаза
Вот, погоди, сосчитают трамваи – тогда уснут.
А деревни похрапывают на печках времени
Спят священные огороды
Картофельную ботву подложив под головы
И тишина не мешает им спать.

***

Что бурлаку Волгой ли Сыр-Дарьей ли
с победным лыком за пазухой
пол-земли пройти
одна канитель – крещен бурьяном
выпестован песком с краюхой
корками дорогу в рай выложил
и шасть туда словно на печку
что ему – окромя перекати-поля нет колеса
и другую половину земли бы прошел
да она на том берегу.

***

Согласно земле мы не там
прорастаем где были посажены
мы не то
что она загадала
не тем
плодоносим, забыли
дорогу на борозду, размякли
на белых ремеслах
согласно вещам никуда
мы не движемся
словно птицы погасшие
никуда
жизни свои не вплетаем
беспомощные без ламп
алладины.

***

Клен – твой не клеек лист.
Осень – твой горизонт лесист,
Выхолощен выполощен развеян
Ни листом кленовым, но дерном склеен.
Не нужны доспехи – надень калоши
Мир раскинул руки – забыт и брошен
Дождь земли касается скор и чист
От того что клен твой не клеек лист.

***

Завсегдатай полей – зерно
Завыл и запричитал
Ой рожу, мать, рожу
Не иначе – рощу
Куда тебе, тощему...
Роди лучше злака
И родил и вынес на плечах
Из земли лишь потом зачах
А злак потребовал скорой выделки
Не хочу говорит из выемки
Торчать словно шест
Ах зачем ни сирень я ни птица Сирин
Промчался бы в небе я в чем-то синем
Лепестковом
И родил злак пчелу
А пчела – цветы
А цветы – веселье
Что ни день теперь за городом новоселье.

ЕФИМ ГАММЕР

СТЕНА ПЛАЧА
(Поэма пристрастия)

1
Западная стена Иерусалимского Храма.
Две тысячи лет евреи Диаспоры
идут к Стене Плача.
Знают и помнят:
отсюда, от Стены Плача, вышли они
в свое рассеяние две тысячи лет назад.
И здесь, у Стены Плача, соберутся снова.
Из Европы и Америки,
Из Азии и Африки.
Здесь, у Стены Плача,
ведут они свой разговор с Богом.
И оставляют в щелях камня записки
с просьбами и молениями,
с душевными воплями
и сердечной скорбью.
15 января 1991 года смотрел я на эти записки,
смотрел на евреев, разных лицом,
и думал:
в канун войны в Персидском заливе,
за считанные часы до того,
как сотни «Скадов» –
иракских ракет –
полетят на Израиль
евреи вновь стоят перед своим Богом,
перед своей человечьей судьбой.
Что в их записках?
О чем они молят?
К чему взывают?
А может,
они просто полагаются на своего Бога
и донимают его –
вразнобой –
самыми простыми тревогами,
житейского свойства?
Бог один,
люди разные,
и записки их...
вот они, разносимые ветром,
либо взрывной волной.

2
– Каждый человек
подобен Стене Плача.
Жизнь его обращена к миру
только одной стороной –
обветренной,
в трещинах,
неприступной.
Стена.
Камень на камне.
Между ними
заметные щели.
Но сколько ножом ни ковыряй,
камень не расшатать –
вековечная кладка.

3
– Еврейская история –
ножны.
В них меч судьбы
Всего Земного шара.
Клокочет магма,
Полыхает жаром.
Планета внемлет.
Истина во лжи.

4
– Незнанье – рок.
Всеведенье – порок.
Послушен ветер правд
песчаным генам.

И наступает –
так ли? –
перемена,
и нарастает мясо
там,
где вырван клок.

5
- Разумная
земная толочь
и бестолочь.
Проникнись и блажи.
Наступит день,
наступит час,
с ним – время.
И распогодится.
Небесные дожди
размоют чувства –
крепи и плотины.
Целительная
звездная вода
отыщет русло
следствия-причины
и оросит вновь
тощие года.

6
– Такая лунная
безоблачная усталь.
Такое древнее
Неспешное житье.
Вся ночь – твоя.
Пожалуйста, безумствуй,
И проповедуй
звездам питие.
Кто на Руси?
Но Русью и не пахнет.
В два цвета
индевеет горизонт.
Плугами – фарами
нежданный поздний пахарь
у пули на виду
грызет гудрон.
И снова – тьма,
луна и вздохи камня,
отмеченного
верой и добром.
И небо говорит
в тебе стихами
На языке доходчивом –
любом...

КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА – СЛОВО
(Поэма восприятия)

1
- Ты знаешь,
Как лопаются глаза?
Не от зависти,
Не от дурной наследственности.
Ночью наплывают
Белые паруса.
Сколько их?
Не сосчитать.
Но все разные.
И каждый
Стремится «выглядеть».
Каждый –
лучший парус
на всем белом свете.
Все паруса –
белые.
Это изначально.
А потом…
Потом –
отмывка холста.
И паруса меняют цвета.
С выгодой,
открытой только ослепшему оку.
Ослепшее око –
не мыслит
о выгоде для парусов.
Ослепшее око видит:
белое, темное,
продолговатое, округлое.
И кажется: это, наверное,
нечто неземное.
Иное…

2
- Смерть каждого
начинается с тоннеля.
Ты входишь в тоннель,
и тебя впервые
несет пространство –
то ли мира,
то ли души.
Но в конце тоннеля –
свет,
белое пятно.
Всё оно – целиком –
круговое расстояние
от «Я», доступного пониманию,
до «Я» – недоступного.
И не разъехаться!
Доступное «Я»
вклинивается в недоступное,
наделенное магнетическими свойствами.
И тянет тебя –
не сгинуть в пути.
Тянет тебя…
А там – впереди…

3
– Видели мы
и такие сказки.
Но лучше назад,
чтобы жить по указке.
Всякие разные
наши реченья
выйдут нам боком,
как обличенье.
Мы все привычны
бороться с магнитом.
Что нам тот свет?
И без света мы сыты.

4
– А там, впереди…
Там – бельмо
и неясная доля.
Но лучше –
неволя,
земная:
свой дом, свое поле,
и камушек гладкий
в зеленом ручье,
и солнце –
яичным желтком в кличе.

5
– Отойти за измеренье слова.
Выйти вновь в рассудочный аспект.
И доить родимую корову
у слиянья самых главных рек.

6
– Лучше так, иначе – всё иначе,
как во сне, где не поделишь хлеб.
Кто там – снова? Что за кукарача?
Что за лихость – празднество судеб?

7
– Вышла девушка в русалки,
Злобно топнула ногой.
Одноклассница – нахалка –
Ярче светит чешуей.

8
– Не смотри – не увидишь,
Превзойдешь.
А кого-то обидишь –
не умрешь.
Не смотри, и не будет
ничего впереди.

И тоннель не осудит,
Да и сам не суди.

9
– А если приглядеться
и уяснить?
Смотри:
глаза лопаются ночью,
при электрическом свете,
когда любовь – жизнь,
когда жизнь –
любовь.

10
– Поэты фальшивят
только в строке.
А в смерти и жизни
они одновременны –
Вечность – в нас…

ПУТЬ К ТЕБЕ
(Поэма познания души и сердца)

1
Туч зыбистая толочь пасмуреет в предчувствии дождя.
Грязными лужами небо латает выемки асфальта.
В росный тротуар впечатываются следы.
Словно шахматное поле остается за мною.
Я иду к тебе.
Я иду…
А вровень с сердцем – неуверенность.
Что сказать тебе? Как сказать?

2
Помню:
в стесненье чуть скошенный взгляд,
кивок головы – вас можно?
Белый танец.
Меня приглашают.
И мне представляется, что весь зал следит за мной:
Я поднимаюсь со стула,
ощущая зыбкое недомогание в груди.
«Женское танго» – тихо и задумчиво.
Грустная смутность щемит.
Я – говорливый и хлесткий – в молчании замкнут.
– Звать... Как тебя звать?
– Люба.
– Значит, Любовь?
– Любовь, и не иначе...
Мне фразой цветистой,
но не расхожей, хочется щегольнуть.
Она на языке, словно яблоко на терке.
– Представь – мы на Луне.
Вокруг селениты. А оркестр лунный вальс играет...
– Не вальс, а танго.
– Пусть танго....
– Мы же... мы не мудреные селениты,
а просто лунатики.
И мягкая, но в колючих искорках,
улыбчивость затаилась в твоих зрачках.
Их антрацитная глубина вобрала меня
в зазеркальную тьму.
И я потерялся.
Как бы сам в себе потерялся.
Или... уже в тебе?

3
Помню:
скамейка, одна из семейства «наших».
Рядом, на гудроне, сдвоенность теней,
высвеченных парковыми фонарями.
Теням легче намного.
Без звука и прилипчивого волнения – слились.
А нам?
Нам надо учиться жизни у собственных теней.
Пальцы ощупью овладевают таинством.
Они, как тени, соприкасаются,
они, как тени, вместе.
Здравствуй, чужая ладонь!
Здравствуй!
Здравствуй и ты, чужая жизнь!
Здравствуй!
А звезда – одна из многих – скатилась вниз, как слеза.
Но слеза – радости или печали?
– Кто-то умер, – сказала ты. –
Падение звезды предрекает смерть.
Закатилась чужая звезда.
Но на каждую смерть –
по закону природы – приходится чье-то рожденье.
– Пусть сегодня родились мы, – говорю я.

4
Помню:
долго я ждал.
Время, раскроенное на мгновения,
приходилось вырывать из себя, как занозы,
и складывать их в неподъемную пирамиду ожидания.
Я ощущал себя рабом,
который тащит на вершину этой пирамиды
одну минуту за другой,
и никак не может остановиться.
А тут еще сбоку от нее пристроился Сфинкс –
загадочное создание разума и неволи.
Пристроился и вопрошает: «Почему не пришла?»
Но ты пришла...
Правда, не в условленный час, с опозданием...
Мной помыкать?
Пещерной неуступчивости обида
хлестнула меня наотмашь.
– Явилась?! – слепо разорялся я,
обгорая в жару щек. –
Больно нужно теперь! Можешь возвращаться домой!
А после мне стало известно: «скорая» была у тебя.
Укол, рецепты и краткое – «нужен покой»...
«Нужен покой»...
Но я тебя ждал, и ты пришла...
Поздно?
Жизнь, полагала ты, не кончается в условленный час.
Ни в тот, ни в другой, условленный...

5
И вот я иду к тебе.
Туч зыбистая толочь пасмуреет в предчувствии дождя.
Грязными лужами небо латает выемки асфальта.
В росный тротуар впечатываются следы.
Словно шахматное поле остается за мной.
И такое же поле впереди.
Я иду к тебе...

6
Две одинокие фигуры встретились
посреди шахматного поля.
– Ты?
– Я.
– Ко мне?
– К тебе.
– А я к тебе.
Я поднял глаза и увидел свое отражение
в глубине твоих зрачков.
Я остался в тебе, увидел я.

И еще я увидел – цветок.
Ты держала цветок, аленькую гвоздику.
– Сегодня день нашего рождения...
– Ах, да.. День рождения...
– Три месяца...
– Да-да, ровно три месяца. Поди ж ты, срок!
– Совершеннолетие...
– Совершеннолетие в три месяца...
И рефреном отдается:
«Я не могу без тебя!»
«Не могу без тебя!»
«Без тебя!»
«Я!»

ВИКТОР КАГАН

НА СМЕРТЬ ПОЭЗИИ

«Слухи о моей смерти несколько преувеличены»
Марк Твен

Отпевание Поэзии продолжается с неотвратимостью мексиканской мыльной оперы. У открытого, как и подобает великой покойнице, шикарного гроба, украшенного всеми атрибутами величия и горечи утраты, идет бесконечная панихида. Медленно и торжественно движется начинающийся где-то за горизонтом поток скорбящих. Остановившись у гроба, каждый, роняя слезу, вглядывается в прекрасный лик покойницы, навечно врезает в воздух над могилой свою эпитафию, затем обращает брезгливо-негодующий взор на кого-нибудь из присутствующих или – лучше и безопаснее – отсутствующих («какую-то сочиняющую собственную биографию пьяненькую Ахматову с любовницами в постели или выдувающего глубокомыслие из сигаретного дыма Бродского на фоне Нобелевского диплома, напечатанного на домашнем станке политических фальшивомонетчиков, или ...»), чтобы призвать всех собравшихся посмотреть на это недоразумение природы, выдающее себя за поэта. Закончив, пристраивается к толпе вокруг гроба и поеживается – а не укажет ли брезгливый перст очередного скорбящего на него.

В гробу вместе с Поэзией, как в гробнице фараона – любимые жены и боевая утварь, лежит Читатель. Да и где ему быть, как не в гробу вместе с любимой им Поэзией? То ли он пал жертвой режима, то ли сам удавился от горя, то ли его удавили, чтобы покойница с того света глядела и радовалась, что он с ней навечно. Каждый оплакивающий видит Читателя в гробу...

Во избежание излишней скученности группы скорбящих периодически удаляются на поминки, где под целительным воздействием Бахуса совладают со своим горем, переходя затем к профилактике посттравматического стрессового расстройства с помощью того же Бахуса, а потом – уже восстановив силы, самостоятельно – к сосредоточенному мордобою за право лежать в гробу вместо сегодняшней покойницы в какой-нибудь из следующих серий.

Попробуйте сказать плакальщикам и плакальщицам, что Поэзия жива, они заподозрят вас черт знает в чем и побьют венками. Согласится лишь тот, кому вы протянете в качестве доказательства живости Поэзии томик его/ее собственных стихов или, на худой конец, прочтете с подвыванием одно-два наизусть. Напомните, что у Коровина или в клубе ОГИ или в петербургском ЦСЛиК завтра поэтический вечер, что «Побережье» вот уже сколько лет выходит, и «Крещатик», и «Интерпоэзия», и еще не перечесть сколько журналов – они скажут, что всё это только в ваших забугорных пиндосиях и москвах-петербургах, а вот на отгонных пастбищах горного Алтая ничего подобного нет.

Сама же покойница, то проезжая мимо на Пегасе, то гуляя с Музой, то таща в квартирку сумку с нехитрой снедью, иногда смотрит на всё это и думает, что если бы заупокойные речи по ней стали кирпичиками книг, из них можно было бы построить Дворец Поэзии не хуже Зимнего.

Но плакальщики ее не видят ... расчесывая гондурасы собственного величия, они отливают свои слезы в диссертации, книги, статьи, не говоря уже о сбывании бурлящего критического темперамента через интернет. Все заняты великим некрофилическим делом, не замечая, что употребляют для него самих себя.

И хорошо, что им не до живой Поэзии ...

Даллас, декабрь 2008

ПАМЯТИ МИХАИЛА ДИДУСЕНКО

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Борис Пастернак

Как тяжела душе её работа —
одушевлять беспомощную плоть!
Михаил Дидусенко

Чадила зябкая свеча,
дрожало пламя,
неслышно небесам шепча:
«Что будет с нами?»

Строка тянулась за строкой,
как век за веком.
Зрачок, затянутый тоской,
темнел под веком.

Из-под руки текли стихи
и птицы – к югу,
роняя перья и грехи
в ночную вьюгу.

Смертельной белизной листа
светилось время
и наполняла высота
паденья бремя.

Душа, отравою леча
бессилье тела,
изнемогала. Но свеча,
чадя, горела.

И набухала хрупкость жил
пространством душным.
И Бог заброшенный бродил
бомжом синюшным.

АНДРЕЮ АНПИЛОВУ

Разогрею в ладонях вино –
В декабре у нас тоже темно.
Андрей Анпилов

1
Губами вечность тянется к кувшину.
Сегодня утекает во вчера.
Короче дни. Чернее вечера.
Ноябрь перевалил за половину.

И пятипалость красного листа
лежит на жизни стынущем остатке.
И белизна грядет, как простота
и вечность. И остатки сладки.

2
В скворечниках ночуют холода.
Слетая с губ, вмерзает выдох в небо.
Стоит в ведре стеклянная вода.
Хрупка под солью плоть земли и хлеба.
Всё это было. Было и прошло.
Прошло и никогда не возвратится.
Декабрь бел. Четвертое число.
Зима. Пух одуванчиков кружится.

3
Какая блажь – ждать в декабре весны.
Какая ересь – верить в продолженье,
угадывать, о чем толкуют сны
и что сулит бессонницы броженье.

Здесь и теперь бормочет божество,
а что – не разобрать. Да и не надо.
Здесь и теперь. А больше ничего –
Да памяти о вечности отрада.
НАДЕЖДЕ МАЛЬЦЕВОЙ

И кудесник уже ничего не подскажет.
Надежда Мальцева

На пергамент лица оседает пыльца
золотистым последним загаром,
и читает волшебную сказку с конца
злой волшебник, дыша перегаром.

То ли быль, то ли бред, то ли сон наяву,
то ль слепого наитья прозренье.
Опускается ночь, приминая траву,
принимая конец за спасенье.

Заливает загар непроглядная тушь,
над мышиной возней ухнул филин,
и вжимается в тьму неприкаянность душ,
и рассудок в старанье бессилен.

Под бурлацкую песню бессонных цикад
время тянется против теченья,
и небесный, сияющий звездами град
жмется к дну у мечты в заточенье.

Мотылек на огонь и в огонь Колобок,
Горбунок в поводу и Сезам на запоре.
А кудесники что? Им платок на роток –
тоже мне петухи на заборе.
Даллас, 2008-2009

ЯН ПРОБШТЕЙН

* * *
Когда б не Данте, что нам гвельфов
погибельная схватка с гибеллинами?
Преданье, сказка – словно эльфов
война со злыми исполинами.

У нас своих легенд с лихвою:
одна великая утопия
братоубийственной войною
оборотилась – щиплем корпию

с тех пор уже почти столетие,
чтобы накладывать на раны
истории в грядущем свете и
чтоб правнук написал романы;

он выстроит всю жизнь по ниточке
с Варшавы до Владивостока –
по шву, по ниточке, по вытачке –
и доберется до истока,

но вряд ли выйдет из пространства он
в сад величин вслед за тобою –
там ни один школяр не странствовал,
где твердь становится судьбою.

В Верону изгнан иль в Воронеж,
умрешь в Тавриде иль в Елабуге,
свое ты тело не догонишь:
душа давно плывет по радуге,

по небу слезному, омытому
навзрыд, навзлет, на удивление,
туда, в ту даль, к истоку скрытому,
где слилось с вечностью мгновение.
2005

* * *
Еще не поздно, но уже не рано,
еще как будто длится этот праздник,
шишигою шушукается, дразнит,
кикиморой прикинется проказник,
а то и вовсе бармаглотом спьяну.

И выпь кричит, и выпивает тишь по капле,
сыпь сыпется в прорехи и впросак,
а длинноногий день подобно цапле
нацелился склевать тебя никак.

Гряди, грядиль, а по-простому дышло,
броди, бредиль, как бы чего не вышло.

На юг подастся жаворонок-вырей,
тебе же не гостинец, а гостец,
копай, грабарь, пошире яму вырой,
и с горки сивку-бурку под уздец!
2005

ЗАКОНЫ ФИЗИКИ

Сила трения
ластика о бумагу
возрастает по мере
переписывания
палимпсеста.

Сила инерции
преодолевается
палкой или шестом,
сгоняющим кур
с насеста.

Сила тяготения
преодолевается
силой отвращения.
2006

* * *
В наше время не время мечтать,
когда время крадется, как тать:

Я все флаги порвал на портянки
и себя изучаю с изнанки

и другим воздаю – даю сдачу,
и уже не жалею, не плачу,

но плачу и плачу по счетам,
чтоб сквитаться с собой – где-то там,

собираться пора в эмпиреи,
я уже не зову, не жалею,
но от сволочи мелкой шалею,

всё, что жрет и снует оголтело…
попытаться дойти до предела,
если выдержит бренное тело,

и когда не сверну себе шею,
не сверну со стези или как там,
но пора обратиться и к фактам:

пять десятков ложится на плечи,
пять десятков отборной картечи

расстрелял по воробушкам мелким,
но нередко бывал я и метким:

поразить мне случалось и «Тигра»,
я любил и люблю эти игры,

пусть не близкий путь в самом деле
от Траэрна, Блейка и Шелли

до «Бесплодной земли» и до «Кантос», –
нет, не время еще мне петь «Sanctus»,

и хоть время крадется, как тать,
снизойдет и на нас благодать.

12 июля 2003

ВИТАЛИЙ АРОНЗОН

СОНЕТ О КОЗЕРОГЕ

Когда покинула Земля созвездие Стрельца,
ведомая десницею Творца,
и вновь вошла в пределы Козерога,
Зима взяла её в объятия с порога

и объявила самый малый день,
как первый крик Природы Ренессанса,
в котором всё от Божьего таланта
как свет луны или от солнца тень.

Однако этот ясный поворот
на новый круг мы позже отмечаем,
и днём непримечательным встречаем
тот праздник, что зовём мы Новый Год.

Все наши прихоти условны, коль Природа
всегда в урочный час встречает Козерога.

***

Есть города в пустыне и у моря,
на знамени у них веселье и азарт,
к ним едут и летят от радости и горя,
познать гипноз игры и власть бесовских карт.

Ласкает грубый слух каскад монет летящих,
пленяет пошлый взгляд завистливой толпы,
и сладкий вкус игры – глоток вина пьянящий –
дарит иллюзию нешуточной борьбы.

Инстинкт завоевать – от Ники – самый главный,
всё из него: любовь, прогресс и власть,
а также ненависть, стяжательство и щедрость,
не дай и дай вам Бог в его тиски попасть.

Не нам судить, что праведно, что ложно.
До истины за жизнь добраться невозможно.

ВИКТОР ФЕТ

АНГЕЛЫ

Очерчены границы сна,
но где-то власть не доглядела,
и к нам доходят имена
с той стороны водораздела.

И посетителям открыта
дорога в странные места,
где только пыль и пустота,
по выраженью Демокрита.

Но мы в надмирии забыли,
что именно из этой пыли
там, на окраине села,
творятся дерзкие тела.

И, как слова в моем рассказе,
частицы тел в потоках лет
рождают истинные связи
и прах преображают в свет.

И светит ярким хризопразом
любая планетезималь,
и демонстрирует Паскаль
тростник, в котором бьется разум.

Хантингтон-Чарлстон, 18 апреля 2009

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

Я – старой станции смотритель.
Куда ведут мои пути?
Быть может, некий небожитель
ко мне отважится сойти.
В холщовой робе, босиком,
держа хрустальный многогранник,
зайдет ко мне печальный странник,
пожалуется на бесплотность.
Я разверну свою отчетность,
потом достану подстаканник
и сбегаю за кипятком.

И так потянется неделя:
мы сядем пить особый чай
да вглядываться в глубь туннеля,
закрытого железной сеткой:
там, говорят, дорога в рай,
а может быть, в поселок дачный,
когда-то шла отдельной веткой,
звучала радостным гудком.
Но наступает поздний час,
и засыпает гость прозрачный,
сморенный нашим кипятком
вприкуску с горсткой рафинада,
и зрит во сне преддверья ада,
где все почти что как у нас,
но нам об этом знать не надо.

7 июля 2009, Хантингтон

АПТЕКА И БИБЛИОТЕКА

Аптека и библиотека –
два чудных иностранных слова.
От египтянина и грека,
по волнам моря ледяного,
через пожары и пустыни,
через пороги и овраги
везут угрюмые варяги
чужое, странное добро –
и нам досталось серебро
фармацевтической латыни,
веществ лекарственные слитки,
судеб бесчисленные свитки,
свинцовые карандаши
да черные кристаллы йода –
и смотрит строгая природа
сквозь линзы тела и души.

Хантингтон, 3 апреля 2009

МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ

Мы наблюдаем ход явлений,
страницы старых оглавлений
и засекреченные сны;

их литографии бедны,
и в точке каждого узла
хранится отсвет разветвлений,

но память хрупкая ушла.
Здесь, на любом клочке земли,
тысячелетиями жили

и столько слов произнесли,
которые погребены
под толстым слоем едкой пыли.

Поверхность тускла и пуста,
давно оставлен текст земной,
и только изредка из мрака

сверкнет забытая черта
диакритического знака
из орфографии иной.
22 ноября 2009, Хантингтон

СТРАНА

В незапамятные времена
за пределами нашего сада
неизученная страна
избегала прямого взгляда,

не давала себя завлечь
в сети радужного режима,
и поэтому наша речь
так сложна и непостижима.

Из раствора и из осадка
собирается в плоть строки
подстилающего порядка
еле видимое кроки,

абрис высвеченных столетий,
разбегающихся рубежей,
звон глаголов и междометий,
ткань склонений и падежей.
Хантингтон, 23-30.09.09

ЛАРИСА ВЕРЦНЕР

***
Всё охвачено тленом
От начал до глубин.
На просторах Вселенной
Всем и вся господин,
На нетлеющем троне
Злопыхающий тлен.
Всё зачахнет в полоне,
Даст усадку и крен,
Обветшает и рухнет,
Канет в лету, сгниет,
Что сияло – потухнет,
Что звучало – замрет.
Только он вечно рыщет,
И ропщи – не ропщи,
Кого хочет – отыщет
И во тьме без свечи.

***
Как в таинственной сказке,
Что на грани чудес
По высокой подсказке,
Что звучит из небес,
Из Божественной ласки,
А порою и без,
Я волшебные краски
Развожу из словес.

***
А в том морозном декабре
По переулкам
И у калитки во дворе
Носился гулко
Лай растревоженных собак,
И отрешенно
Катился месяц кое-как
К подножью склона.
Из разузоренных глазниц
Смотрели хаты
На степь без края и границ
С землей распятой.
И так бесчинствовал мороз,
Неся угрозы,
Что и не верилось всерьез
В апрель и грозы.

***
Такая твоя доля,
Сухой чертополох,
Маячить среди поля
И вдоль глухих дорог,
Шипы нацелив грозно
От головы до пят,
Коснется осторожно
Тебя лишь только взгляд.

Ищи другую долю,
Хорош ты или плох.
Душа моя от боли –
Как тот чертополох.

БОРИС ЮДИН

* * *
А это всё рефракция
а это всё рефлексия
деревьев ржавых грация
и ветра эпилепсия

а это всё и в частности
в попытках обобщения
предчувствие безгласности
и цветоощущения

а это всё и прочее
сентябрь и так далее
чужих следов отточия
сырых дорог фекалии

и радио баюкает
и запахи овчинные
и капает и хлюпает
и сны на редкость длинные

***
Напрасно читает доверчивый мальчик
Роман о чужих берегах.
Куда деревянная лошадь поскачет?
В какие поля и луга?

За окнами каплет, и тенькает зяблик,
Что выпадет скоро роса,
Что тронется в путь самодельный кораблик,
Подставив под бриз паруса.

Всё это не враки. Есть где-то сайгаки,
И весело тают снега.
Туда полетит самолет из бумаги,
Что вырвана из дневника.

Над ухом зудит кровожадный комарик,
И надо учиться на «пять».
Но запах страниц и карманный фонарик...
И это нельзя рассказать.

Из цикла ОСЕННИЕ МОТИВЫ

* * *
Сенокосный настой
Лег в скирду на покой.
На заборе хлопочет сорока.
Осень пахнет туманом и черной рекой,
И дымком горьковатым немного.

Ветер зол и колюч.
Значит, двери – на ключ
И утеху найти в алкоголе.

Как налиты дождями подбрюшья у туч!
Пальцем ткни – и прольются на поле.

Печь поленья сожрет,
Запоет старый кот.
Будет сладко, тревожно и тяжко
Знать, что завтра пройдет почтальон у ворот
И помашет линялой фуражкой.

* * *

Если строить воздушные замки
И не спать от зари до зари,
Временные ломаются рамки
И бессильны календари.

Чтобы снам суждено было сбыться.
Чтоб писались стихи. Чтоб потом
На два дня безнадежно влюбиться
В манекен за витринным стеклом.

* * *
Окунусь в туманы и взгрустну:
Тяжки росы. Пахнет самосадом.
Хорошо б из осени – в весну,
Миновав мороз и снегопады.

Чтоб скрипел зубами ледоход,
Чтобы травы поднимались пышно.
На черта мне нужен Новый год,
Если в старом ничего не вышло?

Пусть бормочет о любви глухарь,
Правят свадьбы жирные налимы.
На черта мне нужен календарь,
Если ночь и день неразделимы?

В зеркалах знакомое лицо
Лжет и притворяется безгрешным.
День встает, прохладен и свинцов,
И весна, как старость, неизбежна.

ЮЛИЯ ДОБРИНСКАЯ

***
Ничто не страшно матери
Трех маленьких детей,
Рисующих на скатерти
Пиратов и чертей,

Поющих на три голоса
Про череп и кинжал,
Чтоб встали дыбом волосы
У тех, кто не рожал!

***
Кто пятками кверху на пузе лежит,
Того щекотать поскорей надлежит.
А то как оно заползет под кровать,
Непросто оттуда его доставать.

***
Люблю грозу в начале мая.
Люблю, но плохо понимаю.
И тот, кто дергает за юбку,
Уже сердито кривит губку.
Познать истоки и причины
Желает маленький мужчина,
А мама, умная, большая
Опять надежды разрушает.

***
Вот я читаю классиков. И даже понимаю.
Внимательно внимаю. Надежды их делю.
Валяюсь на матрасе. Будильник проклинаю.
Себя без перерыва ужасно не люблю.
А классики, наверно, надеются на что-то.
Что я пойду куда-то и что-то изменю.
Я это не умею. Ну, я не виновата.
Зато я их читаю. Зато я их ценю.

***
Рядышком лежу с любимым локтем.
Никуда не встану я отсюда.
Я детей бы не сравнила с дегтем,
Но вообще спровадить их не худо.

Дети, не пора ли вам убраться?
Брысь, сказала я, иначе встану!
Мне с тобой почаще б так валяться,
Остальное мне по барабану.

***
Хочется ходить в тонкой маечке,
И уж так и быть, можно в трусиках,
По нагретой солнышком галечке,
Мимо можжевеловых кустиков.

На шершавый выбраться камешек,
И в воде болтать ногой голою,
В голубое марево канувши,
Отключив для верности голову.

ЛЮДМИЛА НЕКРАСОВСКАЯ

Я – зеркало. Я возвращаю свет,
А вместе с ним улыбки и кривлянья.
Смешно смотреть на то, как с резвых лет
Вы силитесь привлечь мое вниманье
И чаще отражаться. Вы горды
Своею красотой и юным веком,
И верою в бессмертье человека,
И в то, что можно с зеркалом на ты.
Потом вы реже ищете во мне
Себя. И начинает мне казаться,
Что вы уже устали отражаться,
Охотнее стоите в стороне.
Вы стали шаркать мимо и бочком.
Я покажу, кто вы на самом деле.
Ну, что, мой ненаглядный, поглядели?
Ну, где же вы? Мне душно под платком...

***
Этот город печальный и юный
С рыжиной одуванчиков первых
То ласкает души моей струны,
То, сорвавшись, играет на нервах.
Он стихи сочиняет к рассвету,
Строки улиц сплетая хореем.
Он сегодня проснулся поэтом
И бузит. Я его пожалею.
Знаешь, город, и я, как немая,
Слово в рифму ищу всю неделю.
Потому-то твои понимаю
Фонари, что глаза проглядели.
Всё приемлю: и ритмы, и строки,
Многоточьями площади эти.
А поэты всегда одиноки
Среди многих поэтов на свете.

***
Искать в сердце Бога, а в Боге – себя
Свечою горящею, словом нетленным,
Тем шатким мостом меж душой и Вселенной,
Что был для любви возведен и любя,
Абсурдную истину тщетно искать,
Шалея от чувств, цепенея от мысли,
Испробовать всё, и внезапно понять,
Что истинный смысл в соискании смысла.

***
Предощущенье высоты
Еще задолго до полета.
Так неозвученные ноты
Сжигают музыкой листы.
Так удивительно легка,
Еще не видевшая света,
Во мне самой под сердцем где-то
Уже толкается строка.

***
Не объяснить, не передать густую серость межсезонья,
Когда туманом по утрам упрямо окна моет март,
По черной кожице земли стекая пряным благовоньем,
Белесым ластиком дождя стирая точность зимних карт,
Озябшим хмурым воробьем с недоуменьем наблюдая,
Как высыпает на асфальт неисчислимых луж гурьба,
Среди которых заплутал продрогший червячок трамвая,
Ползущий в стылую весну неотвратимо, как судьба.

РОМАН КАМБУРГ

***
Вот рыцарь выбит из седла злодейкой черной,
Его сразила смерть за колокольней.
Он, бедный, с лошади упал на мостовую,
Ни разу в прошлом не видал ее живую.

А поодаль лавочник стоял – свидетель смерти.
Крестясь, он Бога умолял. И он на свете,
Пока не выбит из седла злодейкой черной,
Просил про деньги и о жизни сонной.

За этой сценой с чердака смотрел с улыбкой
Философ старый. Чудака судили пыткой.
Под пыткой жизни он молчал. Лишь улыбался.
Он Богу времени внимал и сомневался.

***
Был лист чист,
Как мел бел,
Он звал вал
Идей-ей
Пронзен-он.
И слов зов,
И в твист лист,
И строк рок.

***
Предтеча: пред-течие.
До локтя: пред-плечие.
И точек: пред-точие..
И строчек: пред-строчие…

Любовь: дву-сердечие.
Мерцает дву-свечие..
Оставь без-упречие.
Надежде пред-встречие...

Подъема под-ножие.
Луч света под-Божие..
И крови под-кожие...
Конца под-итожие...

Урок: между-речие,
А мир: между-сечие,
А жизнь: между-течие
Ведет в бес-конечие...

ВЛАДИМИР ТУГОВ

***
Здесь у пространства изгиб!
Вам невдомек, а я знаю.
Медленно тянется гриб
к солнцу далекому, к раю.

Тихо сияет звезда.
Может, и я здесь – не лишний.
Где-то в пространстве беда.
Вдруг не успеет Всевышний?

Я тороплюсь со всех ног.
Кто еще рядом поможет?
Что из того, что – не Бог?
Я ведь подобие всё же.

2006

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Е. Блажеевичу

Поймав себя на редкой трезвости,
средь бела дня, совсем не кстати,
поэты пропадают без вести, –
в гостях и в собственной кровати.

В Москве час пик. В метро толкаются,
толпа к вагону прикипает...
Внезапно двери закрываются –
и мой товарищ уезжает.

Его лицо глядит испуганно,
и тает, словно масло в каше, –
размыто, словно не остругано, –
в футуристическом пейзаже...

Иду на поиски немедленно,
но ни малейшего просвета.
Найти иголку много легче мне,
чем авангардного поэта.

Прошли четыре горьких месяца,
не за горами и полгода...
Где ты рифмуешь околесицу?
Какая у тебя погода?..

Да, он ответить не откажется,
пусть будет пьяный, ночь не спавший...
... А мне теперь всё чаще кажется,
что сам я, – без вести пропавший...

27.01.2010

ДЕВЯТАЯ ЛЮБОВЬ

Девятая любовь – Калипсо Полихрони.
С гречанкой молодой у Пушкина роман.
Томятся у крыльца наряженные кони,
и снег из-под копыт взлетает, как дурман.

Красавицы вокруг застыли, как тихони,
гадают: что сейчас вот-вот произойдет?
Девятая любовь – Калипсо Полихрони.
Десятая – потом, почти что через год.

Опять он не пошел к прелестнице Тамаре –
Калипсо длинный нос покоя не дает.
Пусть облик некрасив, – играет на гитаре,
танцует, и поет, и в комнаты ведет...

Нам не дано судить о слабостях поэта.
Что знаем мы о ней, явившейся в стихах, –
каким цвела огнем страсть дамы полусвета?
Но как она потом аукнулась в веках!

2003

В ТАЕЖНОЙ ГЛУХОМАНИ

В Курган-14, в Рядково, прилетает
в неделю раз дежурный вертолет.
Усталый летчик почту вниз бросает
и, наклонившись, новую берет.

Но что ж он из кабины не выходит? –
его уже замучил мой вопрос.
Он повторяет мне, что ногу сводит,
и предлагает пачку папирос.

Его словоохотливый напарник,
спустившись поразмяться в кирзачах,
расскажет мне, как, выйдя раз в кустарник,
друг возвратился с рысью на плечах.

Она, едва свою ослабив хватку,
вцепилась в ногу – это и спасло!
Пилот всадил свой нож по рукоятку.
Потом – протез. И – то же ремесло...

Закурит он, окутав в дым виденье.
...А я таращусь на простой штурвал
И на чехол из рыси на сиденье –
на нем таежный летчик восседал.

2003

ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ

...Когда очнулся
в яме,
под телами,
мне было бесконечно тяжело.
Прости, земляк, за всё,
что между нами
при жизни
оскорбить тебя могло.

Ты больше суток
в госпитале воешь,
и вместо рук –
две слабые культи...
А я всё жду,
что ты меня отроешь, –
ведь обещал же
перед боем ты...

Не знаю я,
за что такие муки,
и почему не пухом мне земля,
и снятся мне
оторванные руки,
что отрывают
мертвого
меня...

Из-под земли,
в истерзанных Самашках,
из-под земли,
как есть, – из-под земли...

...А я в тот день сказал,
что ты – в рубашке
родился в славном городе Шали.

1995

ГДЕ МОЕ СЕРДЦЕ?

Сердце мудрых – в доме плача,
а не там, где есть удача.

Сердце верных – в снах любимых,
от любых невзгод хранимых.

Сердце добрых – в горе нищих,
обходящих пепелище.

Сердце сильных – в Магадане,
в со-творенье, в со-страданье.

Сердце без вести пропавших –
в доме каждого из знавших.

Сердце храбрых – там, где битва
и последняя молитва.

Я ищу единоверца.
Где мое родное сердце?

2001

***

Быть может, Бог похож на кукловода.
И мы, переживая и трясясь,
упорно достигаем,
год за годом,
того, к чему и так притянет нас...
А как тогда в душе играют скрипки!
И бьется мозжечок, как неродной.
И, – веришь? – от одной твоей улыбки,
я чувствую:
легко и без ошибки
впрягаются все нити надо мной...

2004

ГУБЫ

Ночами бесподобными
был дом наш как вертеп.
А губы были теплыми
и мягкими, как хлеб.

В разлуке жить не думали
и нескольких минут.
Когда же ветры дунули –
в любви нашли приют.

Бросает мне попутчица:
руками не балуй!
А губы, как получится,
бросает в поцелуй...

Судьба моя – проказница,
награда и вина.
Какая, к черту, разница –
какие времена...

***

Остреют копья горьких встреч,
и кто-то шкуру шьет овечью,
а я опять любую речь
хочу назвать прямою речью.

Смотрю я в лица не врагов,
в глаза не первый день знакомых.
Поговорим без дураков!
Входите, у меня – как дома!

Они заходят. Водку пьют,
клянут судьбу и сквернословят...
И хвалят грешный мой приют,
а сами – в сети свои ловят.

Я – так и быть – им всё прощу:
и ложь, и скользкую натуру.
Отдам их копья и пращу,
и даже – собственную шкуру.

1993

***

Весь из прошлого века – до мозга костей,
наглотавшийся красного млека,
разделивший любовь на двенадцать частей,
я в себе не делил человека.

А казалось, так просто! –
жил бы барином, а не аскетом,
прежней совести я б заказал негатив
и гордился им, словно портретом.

Я из прошлых замесов, из прошлых кровей.
Я прошел не одно испытанье.
И пойти против чести старинной своей
никогда мне не даст воспитанье.

Новый век на продажу затребует всё.
Только что-то мне кажется, братцы,
что ни я, ни друзья – окруженье моё –
не надумаем черту продаться.

03.09.2000

***

Нашу крохотную церковь возле гаражей
днем накроет тенью дома в сорок этажей.
Но зато – так величава в утренних лучах,
когда маковка сияет на ее плечах!

И когда она сзывает жителей домов
и звенит-поет над миром в сорок сороков,
забываются обиды, склоки, кутежи –
видно, есть еще над домом небо для души.

2000

ВЕРТОПТАХ

...С видом испитого перестарка
я весь день вымучивал стихи.
К дому подлетела быстрогалка
и, вертясь, уселась у стрехи.

Столько было жизни и движенья
в глянцем отливающих крылах,
что забросил я стихосложенье,
и во мне проснулся вертоптах.

Я, роняя старые тетради,
вылетел в раскрытое окно
и перемахнул к Скворцовой Наде,
что была в студенчестве, давно...

Дочь её – такая же красотка!
Внук, слегка прищурившись, глядит,
как в ручье весеннем бутылодка
с боцманом-чинариком кружит...

Это не фантазии, не бредни.
Просто вижу я издалека,
как с любовью первой и последней
мальчик в луже топчет облака.

2000

ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ

Воздушные замки,
воздушные замки,
воздушные...
Мечты и фантазии – яркие, вовсе не скучные:
фигурные башенки и выносные фонарики...
Нам нравится жить в них,
курить и плевать на чинарики.

Мы горя не знаем, забыв, что мечты – эфемерные.
Но время приходит,
а с ним и реальности скверные.
И некуда деться, и не избежать столкновения –
трещат наши башенки,
камни летят преткновения...

Казалось бы, всё.
Всё погибло, разбито, разрушено.
А то, что осталось –
то кем-то со смаком надкушено.
Но нет, мы опять
на коленях стоим пред руинами.
И грезим несбывшимся в них
со слезами счастливыми...

1994

ДУША ПУСТЕЕТ

Круша и строя по заказу,
вдувая воздух в чью-то медь,
не думай, что заметишь сразу,
когда душа начнет пустеть.

Она об этом не подскажет
ни сновидением с крестом,
ни болью, что на сердце ляжет
уже потом, уже потом.

А будет так: зайдясь от смеха,
когда начальству нужен смех,
ты не услышишь больше эха
и удивленно взглянешь вверх.

Душа пустеет ненароком,
когда ничто ей не грозит
и в небе, только что высоком,
слепое солнышко висит...

1990

Я БЫЛ РАНЬШЕ ВЕТРОМ

И тысячу жизней прожить для меня не в новинку.
Я был раньше ветром, и птицей, и зверем лесным.
Я помню гнездовье, и тропы, и даже дробинку,
что больно вонзилась над клювом моим расписным.

И медленно, падая с вечности, перья кружились,
и ласково в листья меня принимала земля...
А в жизни другой мы – олени – отчаянно бились,
мечтой о потомстве весеннюю кровь веселя.

...Где ты, полускрытая дымом курительниц, жрица?
Истица, жар-птица, жиличка избы-шалаша?
Я вновь воплощаюсь во всё, что должно народиться
и заново жить,
обжигающим ветром дыша.

20.03 – 04.04.2000

обжигающим ветром дыша.

ЧИТАЯ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА

В густеющих слоях Шаданакара,
в которые я падаю, скользя,
моя вполне заслуженная кара
не вами ли смягчается, друзья?

Вы столько раз меня за всё прощали,
святые устроители миров...
Но снова открываются скрижали,
и новый приговор – не так суров.

Так вот зачем ты мне, родная, снилась!
И ты опять со мной, забытый друг!
Я чувствую, как что-то изменилось
и что-то размагнитилось вокруг.

В густеющих слоях Шаданакара,
в тумане метафизики, во мгле,
моя давно заслуженная кара
смягчилась, но приблизилась ко мне.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Акушерка, лампа, мама, медсестра,
соска, каша, головешка из костра,
восхитительная двойка, «Солнцедар»,
меткой шайбой в переносицу удар,
крики: «Скорую!», «Шарфом перебинтуй!»,
первый обморок, четвертый поцелуй,
первый стих, рассказы, очерки, завод,
институт, женитьба, дочка, черный кот,
неожиданный развод, потухший свет,
милицейские погоны двадцать лет,

заграничные поездки, нервный тик
от изданья до зарезу нужных книг,
огород, картошка, яблоки, укроп,
да обычный, как для всех, сосновый гроб.

ЛИАНА АЛАВЕРДОВА

ИЕРИХОНСКАЯ РОЗА

Меня просили написать о Розе
Одно стихотворенье (но не в прозе) –
И я спешу, вниманье навострив,
В пустыню Негев мысленно умчаться,
Где затеряюсь (горе домочадцам!) –
Пока я новый не создам мотив.

И там прилежной дочерью Сиона
Я Розу воспою Иерихона
(вне связи с иерихонскою трубой,
замечу в скобках, и не с полководцем,
свирепым Иешуа). Мне придется
заняться Розой. Редкой. Не любой.

Вы скажете: влияние Востока.
Поэт и Роза. Тема столь глубоко
Прорыта азиатской стариной,
Пристало ль мне, дитяти интернета,
Писать о том, что тыщи раз воспето
Стилом, тростинкой, перышком, зурной?

Тогда отвечу, критик преподобный,
Что иногда невеждой быть удобно
И просто на вселенском сквозняке.
Оставив книги, свитки и трактаты
Всем тем, кто руководствуется картой,
Я двинусь по наитью, налегке.

Растение – коричневый комочек –
Засохло, непохоже на цветочек,
О недоразумение, урод!
Но влагой орошенное нежданной,
Подчинено своим законам странным,
Оно, внезапно оживя, цветет.

Его гоняли по пустыне ветры,
Оно катилось мили, километры,
Скорлупка, щарик, полное зеро...
Буквально на глазах, всему переча,
За слоем слой раскроется навстречу,
Ликуя, трепеща, неся добро.

Во времена хамсина, суховея,
Ты, Роза, словно древние евреи –
Ветра изгнания тебя несут,
Ручей иль дождь, оазис долгожданный –
Ты дожила до той поры желанной,
Когда являешь миру красоту.

Не птица Феникс и не бог Осирис,
не тот, с потерей чьей давно смирились,
и не боец, чей дух непобедим –
Воспрянешь Роза ты Иерихона,
Как мой народ, как ты, земля Сиона,
Как город мой, святой Иерусалим.

Пусть римлянин засыплет землю солью,
И нет предела ни тоске, ни боли,
И окружают клевета и ложь,
В рассеянье прошли тысячелетья,
В тоске о доме вырастают дети –
Ты, словно Роза, только часа ждешь.

И потому, дела закончив скоро,
Я в сад иду, где изучают флору,
И где сидят ученые мужи.
Испрашивая умного совета,
Я покупаю Розу и при этом
Веду небрежный разговор «за жизнь».

И притворяясь в совершенной мере,
Что я чужда сентиментальной вере,
А муза Клио очень далеко,
И, тщательно сокрыв свое волненье,
Я приношу к себе домой растенье,
Чтоб увидать цветение его.

7-8 апреля 2009 г.

* * *

Что мне в ее лице?
Так мягко и светло
Мадонны неземные только молят.
В гостиной у друзей
Внезапно обожгло
Предчувствие чужой судьбы и боли.

Но это лишь портрет.
Увы, он пожелтел
И умерла давно та, для которой
Стихи слагал поэт,
Возможно, тенор пел
Иль местный Геродот слагал истории.

Нет, прозаичней всё:
Она была женой,
Прилежной, аккуратной прихожанкой.
Неведомая жизнь,
Заслуженный покой,
Но прошлого магнит волнует жадно...

Я выйду на крыльцо.
(Бетховенский аккорд) –
Вползает солнце в тучу грозовую,
И светит сквозь нее,
Точа багровый мед,
И таинств красоты душа взыскует.

Июль 2002 г. – Июль 2009 г.

Из цикла «Шутливые стихи»

ОДА СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТИ

«Ведь она такая таинственная
и неизведанная, эта страна слез...»

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький Принц»

«Злодей сентиментальный» тривиален.
Сентиментальность – это ль не порок?
Ее стыдятся, как мещанских спален,
И ею «элитарий» пренебрег.
Сентиментальность вышла из доверья
И выглядит соседкой лицемерья.
Но всё ж она романтике родня.
Слеза неискушенного восторга
Прольется... О, не смейтесь столь жестоко
На плачущую глядя, на меня!

Понуры, словно изгнаны из рая,
Поэты (ныне чувства не в чести)
Все Бродскому усердно подражают,
Версифицируя без них почти,
Меж тем как он, что вспомнить нам нелишне,
Цветаеву поставил всех превыше...
Циничный век, циничные сердца!
Да здравствует души сентиментальность!
Непостижимо просветленна странность
Заплаканного милого лица...

Объявлена смешной, слюнявой, старой
Наивная чувствительность в наш век
Кисейных барышень аксессуаром,

И нужной, будто прошлогодний снег.
Но коль она порок, то Бог свидетель –
Лишь тем, что взращивает добродетель!
Мишень для острослова и упрек,
И для кого-то, безусловно, глупость –
Но без нее мир плосок, словно пустошь,
И каждый бесконечно одинок.

Подруга сериального гламура,
Она неистребима и крепка.
Могу я быть сентиментальной дурой,
Иронии покорная слуга.
Мне двум богам служить не столь сподручно,
Но с двуединством этим неразлучна.
Доступное изданье доброты,
Она комфортна, словно плед и грелка,
И возмещает суррогатом мелким
Трагедии высокие черты...

ОТЧЕТ

Мы ехали за тридевять земель
Продемонстрировать свою программу.
Нет, дождь не лил, и не мела метель:
Был теплый вечер, тихий, долгожданный.
Мы разоделись, кольцами блестя,
Мы наводили макияж прилежно,
Мы ожидали, что придут друзья,
А также те, кому мы неизвестны.
Чайковский, Барток, Гершвин – полный блеск!
Поэзия и музыка в объятьях!
Шутили мы, приотступив с небес,
Поддерживая дух мероприятья.

Но кто пришел? Беззубый старичок,
да пара умных лиц, да три подруги,
ну, может, пара человек еще
пришли глядеть на творческие муки. ..
И, нахлебавшись вдосталь киселя,
что за семь верст, точней, пробыв в Старбаксе,
отплыли, с капитаном корабля,
сойдясь на сумме требуемых баксов.

Я верю, что настанет тот черед,
Когда моя поэзия умрет.
И ветхий томик, полистав, шурша,
Потомок не поймет в нем ни шиша.

И распадется связь моих словес
По воле Господа, а может без?

ЛЕСНОЙ СОВЕТ

Собрался как-то раз лесной совет
На солнечной приветливой поляне.
Необходимо распилить бюджет:
Финансы поглощают всё вниманье.
«Когда в товарищах согласья нет»,
Невыполнимо всякое заданье.
И на зверином, на честном совете
Возникли споры о приоритете.

Взревел медведь и был поддержан волком,
Что оборона – главная статья.
Границу защищать в бою жестоком,
Стоять на страже мы должны, друзья!
Да не сомкнем мы бдеющего ока!
На оборону нам жалеть нельзя!
Добавила услужливо лисица:
«Мы велики и неча мелочиться».

Сказала белка: «Ну а если вдруг
Застигнет нас то засуха с пожаром,
То наводненье? Мишенька, мой друг,
Ты будешь восстанавливаться даром?
Ужели нам подумать недосуг
О том, чтоб деньги придержать «под паром»?
Стабфоид нам нужен, как ни погляди.
Ведь неизвестно, что там впереди».

«Идеология, – вмешался дятел, –
Для государства – первая из нужд.
Я б не стучал и времени не тратил,
Но мне патриотизм, увы, не чужд.
Сияет наша Родина без пятен,
Как небо синее в зерцалах луж.
Пусть знают и парламент, и дурдом,
Как хорошо нам жить в краю родном».

«Опять, опять забыли про искусство, –
Соловушка обиженно запел.
А воспитанье юных душ, а чувства?
О, есть ли близорукости предел!
Искусство – это вам не балагурство,
А самое важнейшее из дел!»

Вот так они и спорят до сих пор:
Лесной живой разноголосый хор.
Их предсказуемы фиоритуры,
Ведь корни предпочтения – в натурах.

СУД ЗВЕРЕЙ

Однажды звери собрались на суд,
Где льва судить решили, супостата.
Давно пора изгнать Большого Брата
С его политиканством «пряник-кнут»!

Пчела жужжит, что в улиях – бардак:
Дерутся трутни, ульи пахнут дурно,
Все ленятся, бранятся нецензурно,
мед плесневеет. Лев – большой дурак!

Пришел осел и заревел: «И-я-я-я
Готов стать во главе любого войска.
Я полон непочатого геройства.
А лев бездарен, жалкая свинья!»

Пищала мышь: «Лев засорил среду!
Ответит он за зной и наводненье,
А также мировое потепленье.
Заслуживает он гореть в аду!»

Лев вызвал кризис мировых кормов –
Единодушно все сошлись во мненьи.
Он всё сожрал, отсюда – запустенье.
Лесов, полей и рек, болот, лугов!

«Долой, долой однополярный мир!» –
разгневались гиены и шакалы.
И слушал пораженный лев устало
И вой, и визг, и выкрики задир.

В пещеру лев обиженный ушел
И там остался, будто не бывал он.
Обвал проблем пошел девятым валом,
И сделалось совсем нехорошо.

Пошли обиды, драки, кутерьма.
Воюют волки, змеи, крокодилы,
Кусаются жирафы и гориллы.
И весь звериный мир сошел с ума.

Тут вспомнили про ветерана-льва.
Быть может он на нас уже не злится?
Составили приличную петицию,
Где всякие красивые слова.

Но лев сказал: «Мой, господа, ответ:
Быть мирным обывателем желаю,
А ваших бед и ссор я знать не знаю.
Козлом не буду, извините, нет!»
Мораль пусть сварит ваша голова:
А надо ль было нападать на льва?

ОЛЬГА ГРИШИНА

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

придется
ночевать на вокзале
мне билет уже взяли
влезу на верхнюю полку
а что толку
всё равно не усну
под конвоем во сне не пригонят весну

потому что всё уже
было
полотенце и мыло
в руках у соседа
и билета
размытое
лето

зал ожидания
неоплаченных жизней квитки

до свидания
подержи за меня
кулаки

БЕССОННИЦА

Нежное, пьяное, хнычущее бебе,
Вечно то в Баден-Бадене, то в Париже.
Я всё придумываю, что же сказать тебе
Кроме того, что ты помнишь из снов и книжек.

Что мне сказать, оборотясь к окну,
Обороняясь от мыслей, что мух докучней,
Вот уж который год отходя ко сну
Вслед за бессонницей, темной, больной и скучной?

Веришь ли, эту карту мне нечем крыть,
Только что черепицей с разбитой крыши.
Грех засыпать, ведь надо поговорить.
Что мне сказать, ты даже себя не слышишь.

Что мне сказать при этой густой луне,
К истине ближе не подойдя ни на волос?

И ты бормочешь, вытягиваясь на спине:
– Я не сплю, говори.

У меня был красивый голос.

ЗАВЯЗЬ

седой песок и рыжая луна
палит костры над берегом Купала
мне двадцать лет, я без вести пропала –
я не вернусь, покуда ночь нежна

глухой сиренью пенятся сады
мне двадцать лет, люби меня, прохожий
гляди, гляди, под розовою кожей
уже вскипают алые следы

во лбу звезда и счастье набекрень
дымит июнь, жизнь дьявольски прекрасна –
невыносимо, сказочно прекрасна

и так привычно, томно и бесстрастно
в саду бормочет пьяная сирень.

ОДА ПОШЛОСТИ

И снова рифмы не нашел ты.
Вот так и маешься весь век.
И снова в доме окна *желты*,
И ходит *чорный* человек
В ночном чепце, в ночной сорочке...
Найдет листок и карандаш,
И нацарапает две строчки.
И ни гроша за них не дашь.

Дела опять белее сажи,
И всё чернее *желтый* свет.
И что ни строчка – лажа, кража.
Уюта нет. Покоя нет.

Прихлебывая чай вчерашний
И молоком его беля,
Томишься: Господи, как страшно
Тесна ты, белая земля!

А в *чорном* небе – *чорном*, *чорном*,
Где *желтых* рыб мерцает сеть,
Так хорошо и так просторно
На Божьей ниточке висеть.

JE T'AIME, MOI NON PLUS

Прекрасный край передо мной,
Монблан белеет вдалеке.
Здесь был бы, право, рай земной,
Будь больше денег в кошельке.
из Андерсена

за эти несколько дней
тебе не станет видней
каким отливом нас сюда занесло
раскинь картишки, прочти
куда нам дальше идти,
за чем нам плыть, откуда это весло

почем Монблан вдалеке,
кому – синица в руке
того мальчишки, что убил воробья.
(прости его дурачка
не жди чудес тчк)
во сне ты плачешь –
улыбаюсь и я

кто проложил этот путь,
чьему компасу тонуть,
в какой воде
и чья щека солоней

ну что ж, гори всё огнем,
и мы с тобой отдохнем,
жизнь удалась.

но что-то будет за ней

НАПОСЛЕДОК

Лене Самойленко

перелетная птаха свою обустроила клеть:
золотистое просо да россыпь лихой конопли.
сердце, крымское яблоко, полно от счастья болеть.
хочешь, имя на кожице
красной иглой наколи

пей же, пташечка, пой, перещелкивай тихий прибой,
нам сегодня не спится, мы сядем и выпьем с тобой.
над убогим двором, занавешенным стиркой до глаз,
светят редкие звезды, и нету им дела до нас,
наших перьев и крыльев, до алого содранных снов,
завитков виноградных и терпкой густой алычи
губы грешным шиповником дикое красит вино,
и в холодных замках цепенеют немые ключи

легкокрылая птаха, ночного глотнем холодка,
лязгнул тамбур вагонный,
да будет нам ноша легка.
черной рыбой Таврида уходит в дырявую сеть.
задержись. оглянись.
и запомни:

не плакать,
но петь.

НЕНАПИСАННОЕ ПИСЬМО

Геннадию Рябову

Мой милый друг, Вы обижаться вправе,
Что писем нет. Любовь уже не та.
Никак себя наутро не заставить
Проснуться, чтоб не делать ни черта.

(О утренние эти процедуры:
Зарядка, чай, пробежка по росе.)
Мой милый друг, пришлите мне микстуры
От неуменья стариться, как все,

От лености, от скуки, от соблазна
Сказать себе, что музу не пропьешь.
(Мой милый друг, ведь жизнь была прекрасна.
А утешенья в этом – ни на грош),

От ненависти к буквам, и бумаге
И каменной домашней тишине.
Мой милый друг, пришлите лучше браги.
А то и сами привезите мне,

Мы будем пить под звездами на крыше,
Сорить стихами и глядеть во тьму.
Всё ни к чему. Полковнику не пишут.
Да он и сам не пишет никому.

НОВАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ТРЕСКОВОГО МЫСА

Андрею Дитцелю

Наизусть – этот серый свет над ночной Тверской.
Соответственно дате, чаяньям вопреки
Я в пустые сети бессонной плыву треской,
Распластав по бокам обмякшие плавники.

За четыре недели сполна проживая год,
Забываешь о сонном счастье в ином краю.
Я плыву на зимовку к теплому мысу Код –
Хлопать жабрами, наращивать чешую.

Наизусть – плыву, отбившись от косяка,
Я уже чужая, прощай же и здравствуй, грусть.
След на рваной губе – поцелуй твоего крючка.
Виждь и внемли, певец: я учу тебя наизусть.

Уплываю скрипеть дверьми, обивать порог,
Примерять сковородку, чесать поредевший хвост.
Я вернусь через год, да поможет мне рыбий бог,
Он ведь всем помогает, хоть и весьма прохвост.

...Бормочу твои строки, вглядываюсь в слова.
Колыбельным дождем на прощанье шуршит Москва.
И я медленно, слепо, верно плыву туда,
Где крупнее звезды и солоней вода.

ШЕСТАЯ

To sweet Kate Parr

Когти. Впилась, и тащит себе на дно,
За волосы, в мигрень, где красным-красно.
Скука, разлука, милая чепуха.
Господи, охрани ее от греха.
Любо же было крик зажимать в ладонь,
В розы, в лаванду – не уязви, не тронь
Губ, иссеченных ранней сухой зимой.
Дымной водой шотландской ее умой,
Сад подари – с терновником без шипов,
Вытрави в белое алый ее альков,
Этим дверям нужны ли твои ключи?
Ты помолчи, рубиновый, помолчи.
И помолись, чтоб хоть в этот раз помог.
Он нелюбимых любит.
И дай ей Бог.

LA PLAGE D'OSTENDE

тень моего Сильвестра...
Валерий Земских

и снова то, чему названья не
придумаешь, – хоть кажется: несложно,
иглой под кожу входит осторожно,
и нежным пальцем водит по спине,

волна глотает камешки, урча,
и кожа вспоминает запах йода,
и маленькая легкая свобода,
как бабочка, трепещет у плеча.

лети, седьмое небо над тобой,
теперь ничто тебя не уничтожит,
покуда соль морские травы гложет
и лижет дюны северный прибой.

ЛИПА ЗОЛОТАЯ

...а трубы просят: не плачь, славянка!
Но как, скажите, не плакать ей?
М.Щербаков

костюм из твида, пальто из драпа,
прощай любовь, золотая липа.
о чем же плачет твоя обида,
с лицом, измятым от недосыпа?

от недосыпа, от недотепа
цветет безлюбье бузинным цветом:
о чем же плачет твоя зазноба,
умывшись темным своим рассветом?

безумствуй, жалость, что было силы,
шнурок с запястья в карман не спрячешь.
всю ночь шептался на «ты» с немилой –
помилуй, счастье! о чем ты плачешь?

о чем ты плачешь, чего ты просишь,
второй – не лучший, а третий – лишний.
зачем ты, ветер, пустое носишь?
собак в округе сто лет не слышно.

звенит бубенчик на ленте алой,
звонарь небесный – на ветке голой.
о чем ты плачешь, мой ветер шалый,
ведь ты всегда был такой веселый.
такой веселый.

ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН

ЗДЕСЬ И ТАМ
(романс)

Не надо рук заломленных смятенья,
рыданий на расхристанных пирах,
явь смерти – *там*, *здесь* – нега сновиденья
о тех мирах.

Хоть игра родней,
не юродствуй, ой –
да быть собой трудней,
чем не собой.

В сон клонит из докучливого бденья, –
как хорошо в молчанье и тепле!
Сон жизни – *здесь*, *там* – сила пробужденья
в жизнь на земле.

Хоть и ночи тьма
подступает, ой –
да не сходи с ума,
побудь собой.

Ты только *здесь* в покое колыбельном,
ты только *там* в безщадных небесах,
есть «здесь» и «там» в дыханье нераздельном,
как на весах.

Хоть тяжёл твой крест
непосильно, ой –
да надо, надо несть,
чтоб стать собой.

ОДА ОЛЕ ГОЛОВИНОЙ

Средь юности моей соучениц
великолепная одна
мне вспомнилась, я упадаю ниц,
пою тебя, Головина!
Вот Оленька, вот ты стоишь
на чувств подростка острие,
и шея тонкая, и говоришь,
о, длинношеее в три «е»!

Грехи мои зачав, пусть не со мной
спя, Оленька, ты яркий яд
влила мне в ухо, в головной
мозг, где взъяренных мыслей сад
расцвел, и в нем
забил фонтан, –
твой язычок во рту огнем
мелькал, а голос твой, – гортанн,
гортанн, и нежен, и поющ,
я слышу весь
колоратурный этот плющ, –
столь вьется он во мне по днесь!
Головина, о, с кем бы ни спалось
тебе, боготворил любя,
сказать ли, что, задету вскользь
распадом, я встречал тебя

поздней, что ты спилась, что зуб
исчез, потом второй,
что ты однажды стала труп,
осенней лиственной порой,
на том углу упав,
где вся твоя была прекрасна стать,
включая тазобедренный сустав?..
Нет, правде нынче не бывать!

Ты на углу стоишь, манящ
твой взгляд, в губах
улыбка змейкой, серый плащ
тобой пропах,
в нем притаилися духи
и нежный похотливый пот,
о, все во мне зачатые грехи
поэт растроганный поет!

КАРТИНА

Оттолкнет, осудит ли, одобрит? –
он, как пес, заискивая смотрит
и с досадой сдержанной – она.
Мягкий муж и жесткая жена.

Но всего сильнее впечатленье
от того, что видишь в глубине:
гаснущая люстра, это тленье
мерклое в прописанном окне.

Мерклый мир, стоящий на изменах
огнестойких радостей семейных, –
ничего прочнее скуки нет.
Двое. Люстра. Стол. Рояль. Буфет.

2009

МАРИНА ГЕРШЕНОВИЧ

***

Там, где взошла январская трава,
искусственною кажется зима,
а ветер по ночам гундит слова
доселе неизвестного псалма...
Он, как неискушенный музыкант,
считает, что все звуки хороши,
и с западного на восточный лад
меняет состояние души.

ИЕРУСАЛИМ

Зажглись фонарики над городом.
И обострился слух прохожих.
Рисует тень на лицах бороды,
на бледных и на темнокожих.
И наступательная тактика
туриста неосуществима.
В спираль закручена галактика
ночного Иерусалима.
Тоской нешуточной повеяло
от стен щербатых у обрыва,
а сердце всё еще не верило,
что бьется – после перерыва,
когда в одном из гулких двориков,
во время спора о культуре,
шаги охранника-историка
спугнули стаю диких фурий,
и стрелки часиков попутали
закон разметки циферблата,
когда мулла в арабском хуторе
внимал молитве ём шабата;
и вся столица время точное
по звуку голоса сверяла...
Ах, жизнь моя, часы песочные,
сколько ни мучайся, всё мало.

СОН О ПАЛЕСТИНЕ

Николаю Якимову и Михаилу Басину

... что хотелось сказать,
потонуло в соленом прибое,
в каменистую почву ушло…
Наше время с тобою
истекло,
новый ритм обрело
в час рассвета...
Что хотели сказать,
было сказано, было воспето.
Только голос остался,
и камни его узнавали
в ускользающем звуке,
что звался игрой на кимвале,
в перестуке плодов
на колючей гранатовой ветви,
в полутени садов
и дыхании жаркого ветра.
За плечами две тысячи лет,
что любовью согреты...
Под рукою обратный билет —
возвращенье из Леты.
Время двинулось вспять,
улыбаются горные складки.
Время — малая пядь
мозаичной разрушенной кладки.
Никому не расскажешь,
как жизнь тебя в спину толкала,
подгоняла и даже
из виду порой упускала,
забегала вперед,
поджидая в кустах над обрывом.
Кто терпеньем берет,
с тем становишься сам терпеливым.
Научившись гадать
вместо кофе на горсточке соды,

уставали страдать,
дожидаясь у моря погоды.
И тогда зажигалась Звезда,
наклонясь к изголовью
колыбели, над спящей землею —
с ответной любовью...
Никому не расскажешь свой сон,
ибо сон — это Вечность.
Воскрешенье из сна тяжелей описания снов.
Есть для жизни условие,
только одно: человечность.
И условие это поставлено также без слов...

Ты лети, лети. лети,
нам с тобою по пути,
Розы Мира лепесток,
через Запад на Восток,
через Север, через Юг.
там живет мой лучший друг.
Лишь коснешься той земли,
быть по-моему вели...

(*здесь следует загадать желание,*
оно обязательно сбудется.
Поэтому стих следует читать не всем,
а только самым-самым....)

ЛЕОНИД СТОРЧ

ВЕЧНАЯ ДОРОГА

На стекло ветровое треснутое
Пикируют комары-камикадзе.
В кои-то веки трезвый,
Несусь в потрепанной «мазде».

Отнимая у тьмы беззастенчиво
То дома, то дубы, то канавы,
Течет темноте навстречу
Фар лупоглазых лава.

Шершавая и шуршащая,
С оттенками купороса,
Лента шоссе шелестящая
Наматывается на колеса.

Запах горечи источая,
Плавится руль под пальцами,
Мечутся мысли отчаянно
Недостреленными зайцами.

До конечного пункта – близко,
До конечного пункта – вечность,
И в саду, средь кустов барбариса
Ты меня наконец-то встретишь.

А пока – я лечу на запад
И вернусь из земли восточной.
Тормоза потому что сломались,
А земля кругла, как нарочно.

Инне Тегедер

Ни потому, ни вопреки,
Не сразу и не постепенно...
В твоем бокале сохла пена,
Белее белизны руки.

И вместе с пеной умерла,
Исчезла вялая надежда,
Что будет всё, как было прежде
И ночь останется тепла,

Что не закончится полет
И утром не прервутся речи,
Что даль твоя не так далече,
Что золото не обожжет.

Но наш сюжет, увы, не нов,
А наши дни не беспредельны,
И я средь всполохов похмелья
Уйду искать осколки снов.

Из цикла "Зарема"

Река, закат, аллеи, но увы,
Очарованье вечера никчемно,
Поелику не строится строка
И снова не рифмуется никак
С моей опустошенностью позорной.

Первоначальная святая пустота ...
Которая впустить в себя не может
Простейшей истины, что ты не позвонишь
И не ответишь на звонки, и не простишь.
Вулкан взорвался, долго ждал, проклятый.
И было: вопли, хлопанье дверей,
Оконный звон, крик женщин, плач детей,
Затрясся город, ужасом объятый,

И под ноги упал своей судьбе ...
Прощайте навсегда, мои Помпеи.
Я знаю: что приидет, то пройдет.
Ты далеко, меня никто не ждет,
Остались лишь река, закат, аллеи ...

БЕСЧУВСТВЕННАЯ

Ты работала в аптечном киоске
У метро, на задворках рынка,
Ты носила белый халатик
И заштопанную косынку.

Фасовала порошки и мази,
Из таблеток слагала узоры,
Украшала елку пипетками
И свечками от запора.

Ты всегда была никакая,
Бессловесная и бескрылая,
Лишь тускнела порою улыбка
На губах ацетилсалициловая.

Вроде, слушала за маникюром
Про Китай, Кастанеду, кометы,
А когда высыхали ногти,
Убегала жарить котлеты.

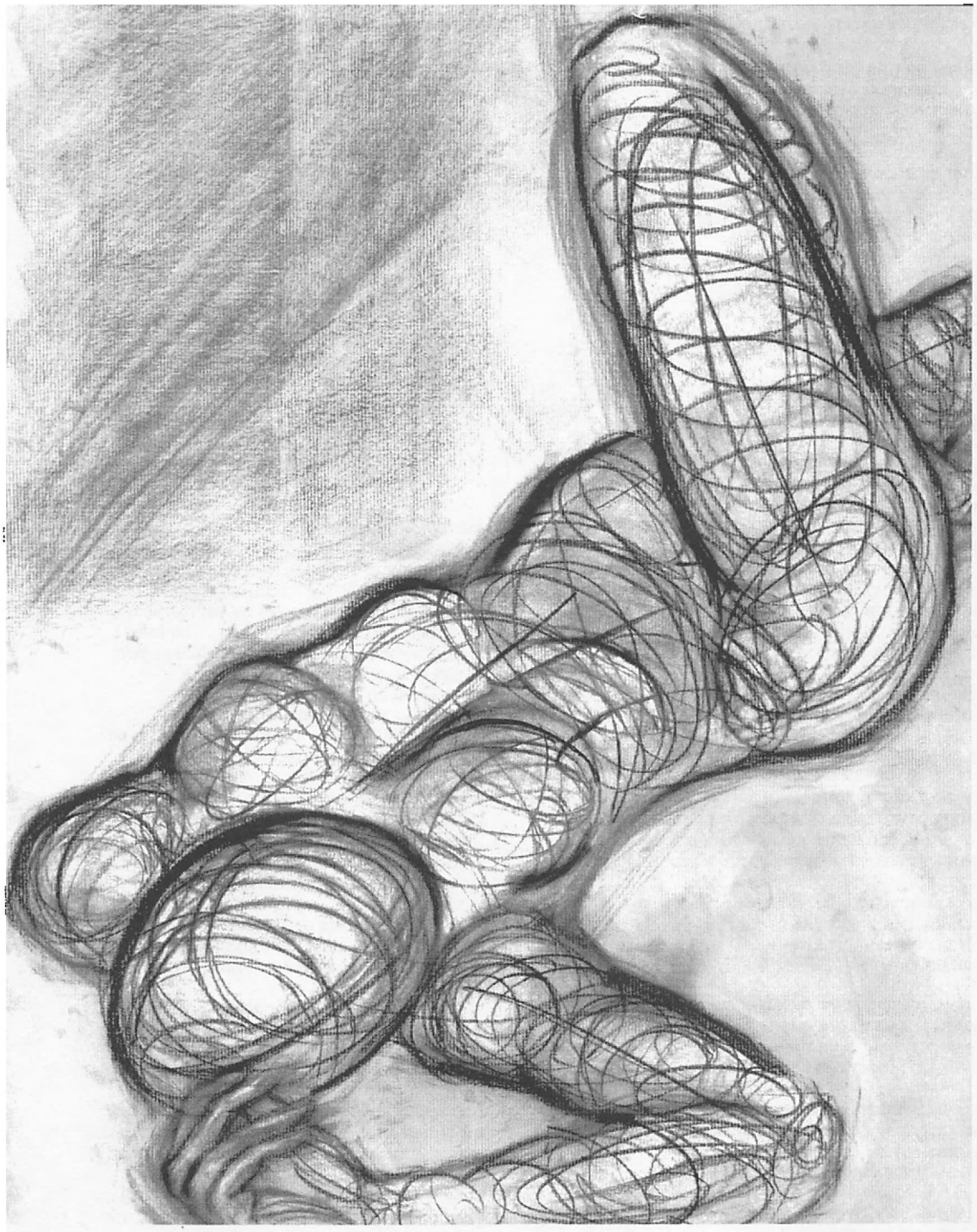
Шуток ты моих не понимала,
Лишь шуршала ресниц ромашками,
Тщетно морщила упрямый лобик
И на кухню шла греметь чашками.

А любовь твоя – так, любёночек,
Хныкал, жаловался беззвучно,
Света боялся, бедняжка,
Вяленький был и скучный.

И устав от твоей холодности,
Я влюбился в цыганку прекрасную.
Боже, как она танцевала,
Как летала в движениях страсти!

Я сказал тебе, что уеду,
Я собрал саквояж коричневый,
Говорил о любви к цыганке,
Чтоб твое растопить безразличие

Как всегда, ты в ответ промолчала,
Ни слезы, ни угроз, ни проклятий.
Накормила ромовым тортом,
Уложила спать на кровати,



Алиса Флом. Графика. Карандаш.

А сама из бутылки рома
Допила остатки цикуты
И лежала со мною обнявшись
До последней до нашей минуты.

ПЕСНЬ О ГЛУПОМ СЕРДЦЕ

Милый мой, тебя прекрасней нету.
Милый мой, я так тебя любила,
Я стояла вечерами у причала,
Всё надеялась, что ты меня заметишь.

По ступеням на причал ты поднимался,
Проходил походкой быстрою, и статный,
Но меня не замечал, не видел,
На венок мой не глядел кленовый.

За неделею неделя проносилась,
После лета наступила снова осень,
И рвалось мое наружу сердце,
Всё хотело выпорхнуть из клетки.

И тогда я вороватою сорокой
В даль далекую бескрайнюю летала
И Сибири бисер серебристый
В клюве тебе, милый, приносила.

Бисер ты держал в своих ладонях,
Пожимал плечами, улыбался,
Обменял на беговую кобылицу,
Но зимой ее загрызли волки.

Я зелёною извилистою змейкой
В подземельные ущелья ускользала,
Я тебе подземные алмазы,
Милый мой, в своих устах носила.

Ты в мои алмазы прятал солнце,
Ночью пил вино при том сиянье,
Поменял потом на новую повозку,
Но она сгорела при пожаре.

Я безмолвною сиреневою рыбкой
В глубь тяжелую морскую опускалась
И со дна морского нежный жемчуг
Я в губах тебе, мой милый, приносила.

Ты глядел на жемчуг удивленно,
На крыльце раскладывал узором,
Ну а после уплывал с друзьями в город
И проигрывал в хмельном трактире в кости.

За неделею неделя проносилась,
После лета наступила снова осень,
А на День даров через деревню
Проезжала иноземная принцесса.

Волос черен, и глаза, как звезды.
Губы красны, кожа цвета снега.
Милый, как ты глянул на принцессу,
Сразу позабыл про все на свете.

Лишь вокруг ее шатров ходил кругами,
Лишь высматривал, когда откроет полог.
Утром караван ушёл в дорогу,
Вслед за ним и ты ушёл, мой милый.

А пред тем, когда уйти в дорогу,
Ты меня поцеловал, мой милый.
Долго на лице горел, пылая,
Первый поцелуй твой и последний.

За неделею неделя проносилась,
После лета наступила снова осень.
Я опять к причалу приходила,
И смеялись люди: «Эка дура».

Сердце глупое мое в груди металось:
«Ах, куда же ты исчез, пропал мой милый?
Я ж тебе яичко золотое
На Иванов день подать хотела.

Буду звать, покуда голос есть, мой милый.
Буду ждать, покуда силы остаются.
Пусть пройдёт три раза по три года,
Все равно ты должен возвратиться».

И звало, покуда голоса хватало,
И ждало, покуда силы оставались,
А прошло три раза по три года, –
Смолкло, в красный камень превратилось.

Моё сердце обернулось камнем
С белою отметиной на крае,
Белым следом поцелуя, что когда-то,
Милый мой, ты на душе моей оставил.

И минуло лет потом немало,
И минуло много зим холодных.
Как-то сердце моё дети подобрали,
Поиграли, да и выбросили в реку.

Навсегда оно на дне реки осталось,
Навсегда оно покрылось теплой тиной,
Но вода с тех пор во всей округе
Стала цвета девичей любви.

ПОСЛАНИЕ ГАМЛЕТУ

Наверное, не быть, дружище Гамлет.
Здесь нет любви, покоя тоже нет,
Мы навсегда останемся чужими
В крикливой давке здешней пустоты.
Но все же, знаешь, я хотел вернуться,
И, может, только к лучшему, что вновь
Наш хмурый, вечно сумеречный город
Меня опять не понял, не пустил.
Всю ночь его щербатые ворота
Я тщетно мазал кровью кулаков,
А впрочем, нужно ль мне его прощенье?
Моя вина лишь в том, что летом мне
Хотелось сна и снега, а зимою
Уже мне не хотелось ничего.
И мне всю жизнь претила неизбежность
Зловонных подворотен и дворов,
Авоськи согнутых старух и хохот
Детей, одетых в джинсовую ткань
И заливающих в гортань джин-тоник …
Я в городе боялся глубины
Его колодцев, что стоят пустыми,
Наперекор старательным дождям.

Из всех цветов он выбрал цвет асфальта,
Из звуков – крик, из форм избрал петлю,
Которая маячит безразлично
В глазах его безрадостных жильцов …
На серых лицах – серая безликость,
На сером небе – серая луна.
Ей все равно: висеть, глядеть, иль падать,
Никто о ней не вспомнит, не всплакнет,
Как и о нас с тобой не вспомнит тоже,
И не заплачет в городе никто.

Так, стало быть, не быть, и значит,
Пора порвать последней связи нить
Так, чтобы впредь уже не возвращаться.
Ну вот и всё, до встречи в Эльсиноре.
Ах, да, прости, Офелии поклон.

МАРИНА ГАРБЕР

ШАГАЛ

1

Позади декабрь, а впереди
Затихает снежная эскадрилья,
Как немая птица в его груди,
Тщетно силясь в неволе расправить крылья.
Понаметено, что ни шаг – подвох,
То ли яма – вглубь, то ли земля – наружу.
Поволока-проволока, и вздох
Вырывается – даром без крыл – на стужу.

Тверже поступь, но хрупок – что голый – лед,
Каждой свежей трещиной свет глаголет.
Заметет ли путника, занесет?
То убьет, то – милуя – обездолит.
Но на этом вздыбленном полотне –
В петушиных перьях, в глазастых рыбах –
Замутнеет облаком на стекле –
То ли нож-Воронеж, то ль Витебск-выдох.

2

Какой Он, Б-г? Бог знает, ты увидел –
В дремучем старце в шляпе кособокой,
Вот Он глядит – тоскливо, чернооко,
И не зовет тебя в Свою обитель.

В чужом пальто... Тепло плеча чужого
Для путника – что отголосок дома.
Прислушайся, тебе ли незнакома
Прямая речь по ткани цветослова?

И легок – по снегу – седой лошадки бег,
По небесам – по городам и весям,
Цветным как сон, как снег во сне, тот снег,
Что нас не обезличил – обезвесил.

Там, загорясь от веточки брусники,
Плывет букет в руках у Донны Беллы,
Там в петушином красно-желтом крике
Всё неотступней проступает белый.

А где-то краски, отголоски сада,
Париж, Нью-Йорк, не вожделенный прииск...
Обитель? – Снег: из рая ли, из ада,
Тебя когда-то вытолкнувший Витебск.

3

То цвета поют, то вьюга постылья,
То вполголоса, то громогласно –
Это песня еврейская крылья
Расправляет – да крестообразно.

Он со скрипкой на скукоженной крыше,
Он насвистывает, он гармонит,
Он – всей жизни и больше, и выше –
То рождает ее, то хоронит.

В каждом жесте – поступок да щедрость,
Жажда жизни от первого стона,
Белорусского города бледность,
Продуваемость ветрами с перрона.

Лётом по небу дороги-борозды –
Вот гармония и сердца и слова!
И горят шестипалые звезды
У «Распятия» его, у Христова.

ПРОЩАЙ

1

В краю, где «здравствуй» – камнем дважды оземь,
Нет, яблоком с базарного лотка,
«Прощай», что птица, прожигает просинь
В два безоглядных – от земли – витка.

В краю, где тесно, не разговориться,
Всё скоморохи, маски, колпаки,
«Прощай» – лесная, не ручная птица,
Прочь от земли, как от твоей руки.

В краю, где – ярмарка и хохот, песни-пляски,
Где вместо слов – разгульное «хей-хей!»,
«Прощай» – побег от брезжущей развязки,
Туда, где свет и небо-апогей.

В чужом краю роднее всё и ближе,
В чужом краю земля, как сон, тепла,
И бережно раскачивают крыши
Безбрежно распростертые крыла.

Кем ни рядись, вязальщицей ли, пряхой,
В чужом краю узора не сплести.
Нить обрывая в высшей точке взмаха,
Не свив гнезда, лети, «прощай», лети!

2

Раскрепостится: скрепки-сцепки – прочь,
По швам оконным растечется город.
Так уходящий, нежеланный гость
Назло ветрам растегивает ворот.

О сколько их... Дан неответ: Бог весть...
Помаркой – кровь чернильная на пальцах,
Как ветром разглашаемая весть
О городских непрошенных скитальцах.

Прости-прощай! Такие времена,
Что слово «боль» запретно и бесплодно.
Вый-ветер просевает семена
Сквозь паруса – в распахнутые окна.

Молчи, когда бросается рука
В пустое, неостывшее пространство,
Где абажур под нёбом потолка
Кивает на его непостоянство.

Нет слова «боль», есть оттиск в серебре,
Морская пена, волны к горлу – валом,
Есть смерть на опустевшем корабле
За ветром управляемым штурвалом.

Есть полнота отсутствия. Окно
Захлопнуть, щели – пеной, ватой, шпаклей...
У одиночества – надежный корень: «дно».
Молчи-прощай, не спрашивай: «Не так ли?»

Так: сердце – тяжелее, чем гранит.
Так: руки – безучастною поклажей.
И хочется прижать к груди: «Болит...»
Но гость уйдет и ничего не скажет.

3

Наклонясь над листом, как вдова у родного гроба,
Говорю в пустоту – выговорю, вымыслю...
Если двое молчат у рва, не прощаясь, оба
Далеки от чувства и неба. Скорее мыслью
О земле и смерти, о черных ее глубинах,
Облекаемы, как в черноземный саван,
Что до песен им, воркований – им – голубиных,
Если пункт конечный не назван, но точно задан?

Я могу в одиночку разворошить планету,
Словно кипу бумаг и скрипучий газетный ворох,
Подносить к губам – как потрескавшуюся флейту
Музыкант на углу – неподъемный земельный порох.
Я могу умирать – ежедневно, как солнце в капле,
Растворяясь, растя, обрастая текучей массой,
Прикипая к тебе, как река к одноногой цапле,
Многомерным облаком над бессюжетной трассой.

Я могу представить, домыслить – за *ту* безбрежность,
За черту, за край, за бесконечность края,
Я могу вдыхать в нашу флейту не нашу нежность,
Воркованья птиц от молчанья не отделяя.
Но когда ты рядом, стыдно сказать, но «чувство»,
Словно слово-табу, как «душа» или, скажем, «горе»,
Музыкант извлекает из флейты, в которой – пусто,
Пряча в черный футляр, всё знающий о Пандоре.

ДОМ

1
Неискавшему цель, нещупавшему мишень –
К горизонту недолго, он вечно – на полпути.
Под ладонью слежалась негреющая шагрень,
Оседаешь, как свечка, но кто-то зовет: «Иди!»

Так бывает, за полночь, когда – ни в одном глазу,
Снег колышет в окне неживого пейзажа склянь,
Оседаешь, как в нише, в ленивом, льняном лазу, –
Филомелы надрыв, вознесясь, разрывает ткань.

Поднимись и иди, не к лицу тебе нынче лень,
Дом по окна в снегу, словно в накипи ледокол,
Воздух мят, как кумач, и врачует твою мигрень
Кумачовою мятой, как в старину ментол.

Разгребая руками, резиною голенищ
Неподъемные волны, топчи голубу тропу.
У развилки: на лево – беспечен, на право – нищ,
Впереди: голос – камнем в сугробы, как в немоту.

За тобой – дом в снегу: ни искринки в его груди,
Эвридикой оглохшей, порванною струной.
Небо – пусто зовет. Но с призывным его «иди» –
Только снег, только ночь,
и никто не шепнет: «За мной...»

2
Июль. Жара. Кому-то благодать,
Раскатанное океаном счастье,
Набег волны на стынущий песок.
Отступит, наберется сил, толчок –
И благодать, переходя в ненастье,
Уйдет под землю мышью под кровать.

Под домом надрываются пески,
Как будто не земля под ним, а чаши
Весов в невольно дрогнувших руках.
И не поймешь, о других ли, врагах
Поют моря, чужие или наши,
От римской тристии, от русской ли тоски?

Прими же, дом, бессвязную картечь,
Моим сомненьям придавая весу
Качанием неспешным и простым.
Ты спросишь: пена? Я отвечу: дым.
Прислушайся и затоскуй по лесу
Вот здесь, у моря, плещущего речь.

Смотри окрест: по окна занесло,
Как обескровленными листьями, снегами,
Когда внезапно, на седьмые сутки,
Ты – в междуречье, жутком промежутке,
Погасишь свет над горе-головами –
На гребне Стикса сломано весло.

Июль. Зима. Метет напропалую
И рвется наломать побольше дров.
Забился лес, как дикий зверь в загоне.
Пустует дом. Пустует. В этом доме
Есть только дверь с цепочкой кандалов
Да два окна, стучащихся вслепую.

3
Был дом. Или не был? Теперь – лицевая стена,
Помпезный фронтон у седого виска океана,
И в вазе, пустой, но живой, как морская волна, –
Упруг и устойчив капроновый стебель тюльпана.

Был дом. Или крепость? Скрипел пограничный засов,
В квадрате окна задыхался закат настоящий.
Был вечен язык? Или вещен? Язык полуслов,
Точнее сказать, пониманье на нем говорящих.

Был дом. Или есть? Раскрываются в небе цветы
Далеких созвездий – без псевдокрасивого глянца.
Так песня Орфея, глотнув, словно льда, немоты,
Сорвясь, обретает свое надземное пространство.

ЕЛЕНА ЛИТИНСКАЯ

* * *
Короткая апрельская пора.
Деревья в бело-розовом цветенье.
Дразнилка божья, детская игра.
В кармане ни бумаги, ни пера...
А впрочем, на весны хитросплетенья

Стихом не отзываюсь. Череду –
Такая есть трава – нарву на зиму
И насушу. Отваром тем беду
Твою, свою, колдуя, отведу.
И выпив зелья, от любви хранимы,

Мы разойдемся каждый в свой мирок...
А от весны какой уж нынче прок?
30 апреля 2009

* * *
Грозовая туча
застит божий свет.
И подъем всё круче,
и привала нет.

Нет тебя, любимый,
рядом и окрест,
даже если имя –
криком до небес.

Даже на коленях,
Бога возлюбя,
в истовом моленье
не вернуть тебя.

Не вернуть во гневе,
не вернуть в тоске.
Сломлена Ниневия,
город на песке.

Рухнула Помпея,
Троя сожжена.
Я – Кассиопея,
Звездная жена.

20 января 2008

ВЛАДИМИР ТУГОВ

***

Здесь у пространства изгиб!
Вам невдомек, а я знаю.
Медленно тянется гриб
к солнцу далекому, к раю.

Тихо сияет звезда.
Может, и я здесь – не лишний.
Где-то в пространстве беда.
Вдруг не успеет Всевышний?

Я тороплюсь со всех ног.
Кто еще рядом поможет?
Что из того, что – не Бог?
Я ведь подобие всё же.

2006

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Е. Блажеевичу

Поймав себя на редкой трезвости,
средь бела дня, совсем не кстати,
поэты пропадают без вести, –
в гостях и в собственной кровати.

В Москве час пик. В метро толкаются,
толпа к вагону прикипает...
Внезапно двери закрываются –
и мой товарищ уезжает.

Его лицо глядит испуганно,
и тает, словно масло в каше, –
размыто, словно не остругано, –
в футуристическом пейзаже...

Иду на поиски немедленно,
но ни малейшего просвета.
Найти иголку много легче мне,
чем авангардного поэта.

Прошли четыре горьких месяца,
не за горами и полгода...
Где ты рифмуешь околесицу?
Какая у тебя погода?..

Да, он ответить не откажется,
пусть будет пьяный, ночь не спавший...
... А мне теперь всё чаще кажется,
что сам я, – без вести пропавший...

27.01.2010

ДЕВЯТАЯ ЛЮБОВЬ

Девятая любовь – Калипсо Полихрони.
С гречанкой молодой у Пушкина роман.
Томятся у крыльца наряженные кони,
и снег из-под копыт взлетает, как дурман.

Красавицы вокруг застыли, как тихони,
гадают: что сейчас вот-вот произойдет?
Девятая любовь – Калипсо Полихрони.
Десятая – потом, почти что через год.

Опять он не пошел к прелестнице Тамаре –
Калипсо длинный нос покоя не дает.
Пусть облик некрасив, – играет на гитаре,
танцует, и поет, и в комнаты ведет...

Нам не дано судить о слабостях поэта.
Что знаем мы о ней, явившейся в стихах, –
каким цвела огнем страсть дамы полусвета?
Но как она потом аукнулась в веках!

2003

В ТАЕЖНОЙ ГЛУХОМАНИ

В Курган-14, в Рядково, прилетает
в неделю раз дежурный вертолет.
Усталый летчик почту вниз бросает
и, наклонившись, новую берег.

Но что ж он из кабины не выходит? –
его уже замучил мой вопрос.
Он повторяет мне, что ногу сводит,
и предлагает пачку папирос.

Его словоохотливый напарник,
спустившись поразмяться в кирзачах,
расскажет мне, как, выйдя раз в кустарник,
друг возвратился с рысью на плечах.

Она, едва свою ослабив хватку,
вцепилась в ногу – это и спасло!
Пилот всадил свой нож по рукоятку.
Потом – протез. И – то же ремесло...

Закурит он, окутав в дым виденье.
...А я таращусь на простой штурвал
И на чехол из рыси на сиденье –
на нем таежный летчик восседал.

2003

ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ

...Когда очнулся
в яме,
под телами,
мне было бесконечно тяжело.
Прости, земляк, за всё,
что между нами
при жизни
оскорбить тебя могло.

Ты больше суток
в госпитале воешь,
и вместо рук –
две слабые культи...
А я всё жду,
что ты меня отроешь, –
ведь обещал же
перед боем ты...

Не знаю я,
за что такие муки,
и почему не пухом мне земля,
и снятся мне
оторванные руки,
что отрывают
мертвого
меня...

Из-под земли,
в истерзанных Самашках,
из-под земли,
как есть, – из-под земли...

...А я в тот день сказал,
что ты – в рубашке
родился в славном городе Шали.

1995

ГДЕ МОЕ СЕРДЦЕ?

Сердце мудрых – в доме плача,
а не там, где есть удача.

Сердце верных – в снах любимых,
от любых невзгод хранимых.

Сердце добрых – в горе нищих,
обходящих пепелище.

Сердце сильных – в Магадане,
в со-творенье, в со-страданье.

Сердце без вести пропавших –
в доме каждого из знавших.

Сердце храбрых – там, где битва
и последняя молитва.

Я ищу единоверца.
Где мое родное сердце?

2001

***

Быть может, Бог похож на кукловода.
И мы, переживая и трясясь,
упорно достигаем,
год за годом,
того, к чему и так притянет нас...
А как тогда в душе играют скрипки!
И бьется мозжечок, как неродной.
И, – веришь? – от одной твоей улыбки,
я чувствую:
легко и без ошибки
впрягаются все нити надо мной...

2004

ГУБЫ

Ночами бесподобными
был дом наш как вертеп.
А губы были теплыми
и мягкими, как хлеб.

В разлуке жить не думали
и нескольких минут.
Когда же ветры дунули –
в любви нашли приют.

Бросает мне попутчица:
руками не балуй!
А губы, как получится,
бросает в поцелуй...

Судьба моя – проказница,
награда и вина.
Какая, к черту, разница –
какие времена...

***

Остреют копья горьких встреч,
и кто-то шкуру шьет овечью,
а я опять любую речь
хочу назвать прямою речью.

Смотрю я в лица не врагов,
в глаза не первый день знакомых.
Поговорим без дураков!
Входите, у меня – как дома!

Они заходят. Водку пьют,
клянут судьбу и сквернословят...
И хвалят грешный мой приют,
а сами – в сети свои ловят.

Я – так и быть – им всё прощу:
и ложь, и скользкую натуру.
Отдам их копья и пращу,
и даже – собственную шкуру.

1993

***

Весь из прошлого века – до мозга костей,
наглотавшийся красного млека,
разделивший любовь на двенадцать частей,
я в себе не делил человека.

А казалось, так просто! –
жил бы барином, а не аскетом,
прежней совести я б заказал негатив
и гордился им, словно портретом.

Я из прошлых замесов, из прошлых кровей.
Я прошел не одно испытанье.
И пойти против чести старинной своей
никогда мне не даст воспитанье.

Новый век на продажу затребует всё.
Только что-то мне кажется, братцы,
что ни я, ни друзья – окруженье моё –
не надумаем черту продаться.

03.09.2000

***

Нашу крохотную церковь возле гаражей
днем накроет тенью дома в сорок этажей.
Но зато – так величава в утренних лучах,
когда маковка сияет на ее плечах!

И когда она сзывает жителей домов
и звенит-поет над миром в сорок сороков,
забываются обиды, склоки, кутежи –
видно, есть еще над домом небо для души.

2000

ВЕРТОПТАХ

...С видом испитого перестарка
я весь день вымучивал стихи.
К дому подлетела быстрогалка
и, вертясь, уселась у стрехи.

Столько было жизни и движенья
в глянцем отливающих крылах,
что забросил я стихосложенье,
и во мне проснулся вертоптах.

Я, роняя старые тетради,
вылетел в раскрытое окно
и перемахнул к Скворцовой Наде,
что была в студенчестве, давно...

Дочь её – такая же красотка!
Внук, слегка прищурившись, глядит,
как в ручье весеннем бутылодка
с боцманом-чинариком кружит...

Это не фантазии, не бредни.
Просто вижу я издалека,
как с любовью первой и последней
мальчик в луже топчет облака.

2000

ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ

Воздушные замки,
воздушные замки,
воздушные...
Мечты и фантазии – яркие, вовсе не скучные:
фигурные башенки и выносные фонарики...
Нам нравится жить в них,
курить и плевать на чинарики.

Мы горя не знаем, забыв, что мечты – эфемерные.
Но время приходит,
а с ним и реальности скверные.
И некуда деться, и не избежать столкновения –
трещат наши башенки,
камни летят преткновения...

Казалось бы, всё.
Всё погибло, разбито, разрушено.
А то, что осталось –
то кем-то со смаком надкушено.
Но нет, мы опять
на коленях стоим пред руинами.
И грезим несбывшимся в них
со слезами счастливыми...

1994

ДУША ПУСТЕЕТ

Круша и строя по заказу,
вдувая воздух в чью-то медь,
не думай, что заметишь сразу,
когда душа начнет пустеть.

Она об этом не подскажет
ни сновидением с крестом,

ни болью, что на сердце ляжет
уже потом, уже потом.

А будет так: зайдясь от смеха,
когда начальству нужен смех,
ты не услышишь больше эха
и удивленно взглянешь вверх.

Душа пустеет ненароком,
когда ничто ей не грозит
и в небе, только что высоком,
слепое солнышко висит...

1990

Я БЫЛ РАНЬШЕ ВЕТРОМ

И тысячу жизней прожить для меня не в новинку.
Я был раньше ветром, и птицей, и зверем лесным.
Я помню гнездовье, и тропы, и даже дробинку,
что больно вонзилась над клювом моим расписным.

И медленно, падая с вечности, перья кружились,
и ласково в листья меня принимала земля...
А в жизни другой мы – олени – отчаянно бились,
мечтой о потомстве весеннюю кровь веселя.

...Где ты, полускрытая дымом курительниц, жрица?
Истица, жар-птица, жиличка избы-шалаша?
Я вновь воплощаюсь во всё, что должно народиться
и заново жить,
обжигающим ветром дыша.
жигающим ветром дыша.
20.03 – 04.04.2000

ЧИТАЯ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА

В густеющих слоях Шаданакара,
в которые я падаю, скользя,
моя вполне заслуженная кара
не вами ли смягчается, друзья?

Вы столько раз меня за всё прощали,
святые устроители миров...
Но снова открываются скрижали,
и новый приговор – не так суров.

Так вот зачем ты мне, родная, снилась!
И ты опять со мной, забытый друг!
Я чувствую, как что-то изменилось
и что-то размагнитилось вокруг.

В густеющих слоях Шаданакара,
в тумане метафизики, во мгле,
моя давно заслуженная кара
смягчилась, но приблизилась ко мне.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Акушерка, лампа, мама, медсестра,
соска, каша, головешка из костра,
восхитительная двойка, «Солнцедар»,
меткой шайбой в переносицу удар,
крики: «Скорую!», «Шарфом перебинтуй!»,
первый обморок, четвертый поцелуй,
первый стих, рассказы, очерки, завод,
институт, женитьба, дочка, черный кот,
неожиданный развод, потухший свет,
милицейские погоны двадцать лет,
заграничные поездки, нервный тик
от изданья до зарезу нужных книг,
огород, картошка, яблоки, укроп,
да обычный, как для всех, сосновый гроб.

НИКОЛАЙ ШАМСУТДИНОВ

* * *

Купальщица, при склонности к прикрасам
Верна привычке, что тут ни глаголем:
Напористая, за буйками – брассом,
За молом, в молотьбе коленей, – кролем,
И – дальше в море, в смуглой укоризне
Дневным зевакам, под приглядом тверди, –
Сирена, исступленнее, чем к жизни,
Отчаянней, марина, чем от смерти.

На службе у дежурных фраз, в приязни
К преклонному шезлонгу, долгожитель
Пустых цитат, Баян водобоязни
Уже поет ее, благотворитель
Разумной речи... Жалкое созданье,
Об эту вот, в осенней хмари, пору
Пляж, как рельефный слепок с подсознанья,
Скудней, чем человеческая спора.

С брожением эпитетов за рифом,
Берущих бытие в свою орбиту,
Ее, подретушированный мифом,
На берег вал выносит, Афродиту...
И, неизменный, у причальной стенки,
Небезнадежно ждущей перемены,
Неистребим – холодный взгляд коленки,
Блеснувшей из неистощимой пены.

* * *

И равенство – за пределом
Сознанья, любовь, когда
Ты входишь, мерцая, в белом,
Надменна и молода.

Но лжет – переметный – опыт...
Тебе, побледневшей: «Ты?!»
Предшествует шорох – шепот
Возлюбленной чистоты.

И как бы вокруг ни глухо,
Он стелется, бел, в тиши,
Не прерогатива слуха,
Но – смею сказать – души.

Единственный у сетчатки,
Губами (ладонь ко лбу)
Я вызубрил каждой складки
Крахмальную ворожбу.

Что певчею тягой движет? –
Уставшее от надежд,
Чудесное чернокнижье
Белейших твоих одежд.

ИРИНА МАШИНСКАЯ

ВОСЕМНАДЦАТЬ

ВЕСЕННИЙ КРИК ВОРОБЬЯ

Забывает маяту нелюбви к себе святую,
отторгает пустоту – кто прожил свое вчистую.

В этой местности чужой, в пестроте лугов астральных
забывают холод свой посреди кустов хрустальных.

Вот я воздух ем, лечу, у-лю-лю кричат с земли мне,
и щекочет по плечу частокол колючих линий.

Вижу краешек зимы, вижу черноземов паюс,
подымаясь над тобой, не собой – тобою маюсь.

Ветер перья шевелит, реет дождь аэрозольный,
душу-зернышко болит легкий звон страны озонной.

- Нюхай корку, свежий край черных зим,
суглинков красных,
рыжий ворох собирай дымом пахнущих согласных.

Знает пригород с травой, небо низкое рябое,
как с неангельской трубой ворочусь я за тобою.

1984

***

Я летела на запад, я убегала от солнца.
Недалеко же я убежала от солнца,
солнце нагнало, накрыло меня.
Тень удлинилась, когда я ступила на берег, –
у тени были твои очертанья.

Качаясь до пят, планер, летящий на запад,
скользя над тобою, блестящим,
распластанным в темной воде,
амфибия вышла на сушу,
солнце лежало вдали на востоке...

Блестел океан, плавники расправлял амфибрахий.
Предо мной сияли и таяли быстро следы
стольких-то – вскользь – восемнадцати – лет,
когда ни поверхностью глаза, ни в мыслях
не смея коснуться, не смысля в песке ничего...

Я отодвинулась – вещь, заслонявшая солнце,
мной оказалась. Я посмотрела на руку:
стала трехмерной, розовой и прозрачной ладонь,
луч проходил ее с силой, как щит океана.
Ноги ушли в нагревавшийся быстро песок.

2001

КРУГ

Так долго вместе прожили...
И.Б.

Мы прожили почти... Но в круге
нас не было, мы были за
– в моей Твери, твоей Калуге
– в твоей Твери, моей Калуге,
в начале, то есть в эпилоге
в окне твердела бирюза.
Нас прочило друг другу столько
вещей, добытых не трудом...
И эта шаткая постройка
уже постольку стала: дом.
Мы прожили... Прожили. То и
останется, что сможет – без.
И кто те слившиеся двое,
не поделившие небес?

ПОЙДЕМ

Пойдем туда, где реки тверды,
где от беды
не отбирают шнурки, ремень.
Там я буду тебе опора
я буду тебе кремень.

Видимо, нужен какой-то край
земли, воды,
где обрывается каравай,
где опадает дверь.
Скоро нас будет два, нас будет две.

Ты раньше меня пришел, и глаза открыл.
Над тобой тотем
молчал – сиял волчих созвездий круг
и посреди горел
желтый огонь. Долго ты был один, затем

(один – и сквозь стрехи пихт
смотрел наверх на
нетронутый кобальт – черно-лиловый снег –
рваных небес края)
затем появилась я.

Пойдем туда, где, будто выпал снег,
звезда нема,
и музыка, губ гармонь
немы там, где откос небес,
там, увидишь, ты станешь опять кремень.

В черной коробочке тверже алмаза лед,
он оставляет след,
Господи, на Твоей шкале –
талой воды алмаз,
наискось падая, гаснет, сгорая в лес.

***

Как ни царапай сердце лес – в лесу
нам жить теперь, друг мой.
На отчужденья полосу
приду я, как домой.
С волками я молчать, и ты не выть,
и ты учись молчать.
По-волчьи знать, по-птичьи пить
и больше гнезд не вить.

18 ЛЕТ СПУСТЯ

Любой аэродром немного был тобой
любой! наклонный травяной
и в ноябре
под первою слюдой
был ты, мой боль, мой *boy*

Стальные бабочки, на крыльях ковыляя
проколоты насквозь,
ангар находят свой.
Всегда я знала, что и мы с тобой
и мы поднимемся над выгнутой землей
и полетим у Ангарску и Вилюю
Земля раскрутится под нам как *Savoy*

Я буду жаворонок, будешь ты совой
Мы полетим над гиблыми местами
горелыми лесами и ковыль
поднимется и лес густой за нами
Не будешь ты бобыль.

И мы увидим к северу наклон
атласных лент без петель и зацепок,
осколки мочажин, и в ряби цыпок
Байкал.
И лес подымется с колен.
Их сильные, курсивом, имена
начав с Урала, с детства наизусть я.
Но собственные забывают имена
дойдя до устья.

Что знали мы про взлетный,
травяной,
проталин йод,
и наст в скрижалях трещин
как мы подымимся и целый свет отыщем,
и атласа не хватит нам с тобой?

2002

ИГОРЬ МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН

ОБ ИСЧЕЗАЮЩЕМ ВРЕМЕНИ И О ЧУДЕ

Удивительна и загадочна судьба моего народа,
будто пособие по древней истории.
Как нелегко мне досталась эта порода –
кровь и гены путешествуют по моему телу.
Я живу сегодня за океаном, среди чужой речи,
И летел сюда на самолете, а время неслось навстречу.
Вспоминалась из прошлого украинская песня:
«...Ой, летели, летели дикие гуси через речку...»

Привиделся мне Львов – старинный град.
Дома мои над городом парят,
как купола над храмами святыми.
Их обвивает дикий виноград,
листвой ползущий по оградам.
О, город мой, хочу тебя обнять,
как та зеленокудрая лоза,
как твой зеленоокий повелитель.
И юности весенняя пора
вспорхнет из виноградных линий,
как стайка птиц, присевшая в кустах,
щебечущих о тайнах ягод жизни.
О город мой, дай воздуха мне в легкие набрать,
дай выдохнуть слова простые,
и вознестись, как много лет назад,
над улицами в светлой дымке.
Мне бег часов на ратуше златой
отмерит время вдоль небесной сини.
А я, как блудный сын,
всё жаждал откровенья истин...

...Иногда я приглашаю в свой теперешний дом
собеседников,
и тогда он постепенно заполняется людьми-призраками.
Я остаюсь наедине с прошлым
и вынашиваю грустные мысли:
в сердце моем хранится память тысячелетий
и безвременная скорбь.
Я знаю – будут во веки веков жить
библейские истины моего народа,
и не исчезнут во веки веков
соленые слезы моего народа...
Я думаю о судьбе многих поколений сынов Израиля:
о странах, где они проживали,
о природе, среди которой они выросли,
о любви, которую они испытали,
о победах и поражениях,
о страстях, бушевавших в крови,
о вечных странствиях...
Их судьба – быть всегда гонимыми
из одного времени в другое,
перетекая, как в песочных часах, вечностью,
и, когда эти сосуды переворачиваются,
песок сыплется опять:
из страны в страну,
из поколения в поколение,
от человека к человеку.
Я думаю об исчезнувшем времени их жизни.
Разве оно испарилось в никуда?..
Скорее всего, в бессмертие...
Истинная природа моего народа –
великое стремление к свободе и любви,
потому что только любовь и свобода
делают нас великими и счастливыми.

Что же будет со мной?..

Я умру в каком-нибудь саду на чужбине стылой –
там могилу мне найдут в пригороде сытом.
Здесь не вольный ветер, только камни стынут,
холодит под ветром, осень озимь кликнет.
Зерна в землю кину, посажу рассаду,
голубей закину в небо на усладу.
Будет дрожь по телу, будет память бредом,
будет жизнь по белу, будет ангел следом...

...Я раскладываю фотографии на письменном столе.
Интересно, кто будет сегодня со мной разговаривать?
Мои дедушка и бабушка по материнской линии,
погибшие при погроме?
Я их никогда не видел в своей жизни –
их закрыли в синагоге и сожгли живыми.
Это случилось в местечке Тетиев под Киевом.
Мои дедушка и бабушка по отцовской линии,
ушедшие из жизни через трубу крематория?
Я никогда не видел их лиц.
Племянница и ее мама, расстрелянные в Бабьем Яру,
не успевшие эвакуироваться из Киева
в первые месяцы войны?
Тетя, сосланная в 37, когда арестовали ее мужа,
(её дети оказались на руках моей матери
и я вырос вместе с ними)?
Дядя, осужденный на десять лет лагерей в Казахстан,
плюс восемь ссылки...
Он был реабилитирован в 1954 году
за отсутствием состава преступления...
Но мне надо поговорить с кем-то одним –
со всеми вместе это невозможно...
Все голоса сливаются,
и трудно что-либо разобрать...
О чем они говорят все вместе?
О гонениях, грабежах, насилии, изгнании, рассеянии...
Мне трудно что-либо разобрать...
Каждый говорит о своём...

...Наконец, я нахожу один-единственный,
сохранившийся у меня, отпечаток фотографии.
Это – мой отец, которого я разыскивал много лет,
но не застал в живых.

Он ушел по дороге, не оглядываясь назад.
Но сейчас его силуэт у меня на пороге...
И жизнь между нами, которую он мне дал.

Мы с ним сейчас молча беседуем наедине,
и никто нам не мешает.
На фотоснимке изображен мужчина лет тридцати,
немного похожий на меня,
с мужественными чертами лица,
темной копной волос,
с ясным взглядом,
доброй улыбкой,
которая навсегда застыла на глянцевой бумаге.
... Это мой отец, недолго живший в той стране,
где сделан фотоснимок...
Пришла Вторая мировая война,
и звуки языка, чужого для него, были для меня родными.
А еще до этого он жил в Польше.
А еще до этого он жил во Франции,
где он первый раз влюбился и был счастлив.

Во время Второй мировой войны шесть миллионов раз
вращалась наша Земля вокруг своей оси,
с ужасом следя за исчезновением моего народа.
Наша судьба – это шестиконечная желтая звезда –
символ шести миллионов убиенных.
Мой отец остался жив.
Иначе не было бы и меня...
Я живу в другом измерении,
в другой стране
и в другом городе.
На другой стороне планеты...

...В Филадельфии лето розовым светом разлито,
дышит влажностью город, палисадники зеленью сшиты.
В этом городе ливень, и по улицам длинным
пляшут струи-стрекозы, отходя от ночного наркоза.
В этом городе угро фонари погасило,
только шины машин всё шипят мне по-польски...
Только шины машин шепчут мне по-отцовски...

Мой отец остался жив.
Иначе не было бы и меня...
Но он снова вынужден был уехать, чтобы не погибнуть,
сначала в Польшу, затем в Германию,
а затем... В святую землю Палестины,
где разговаривал на языке Книги – на иврите.
Он был учителем языка и литературы,
но большинство его учеников
стали пеплом в крематориях, как его родители.
Когда я начинаю думать обо этом,
мне кажется, что я сам превращаюсь в пепел...
В такие минуты я могу слушать только музыку Шопена.
Ее любил мой отец.
Мелодии тревожат мое больное сердце,
будто обволакивают его бесконечной любовью,

будто я стою на золотистом, влажном берегу,
который называется то Польшей, где родился мой отец,
то Францией, где он жил и учился,
то Россией, куда бежал от немцев в 39,
то Германией,
где он был в лагере для беженцев после войны,
то Туркменией, где уже родился я,
то Украиной, где я жил и вырос...

А сейчас я смотрю из окна моего дома
на американскую улицу,
на пересечение дорог, где стоит мой дом.
Я возьму этот вечерний перекресток
и перенесу его в свою комнату,
подвесив к потолку как люстру.
И передо мной будут проходить
незнакомые мужчины и женщины,
словно тени на фотографиях.
Здесь будет кукушка,
сидящая на светофоре, предсказывающая,
сколько лет мне еще дано,
предрекающая жизнь...
Или ворон, каркающий о будущем...

Парят эти птицы над миром,
мы дышим с кукушкой и вороном тем же эфиром,
мы дышим одним кислородом,
мы живы, мы братья – геномом.

...Вот опять качается фонарь в синеве теней у синагоги,
желтой улицей, судьба, меня направь,
чтоб услышал я шофара голос.
Дерево-шатер на перекрестке, светофор глазами ворожит,
это детство на моем пороге
за отца молитву прошептать велит.

...Музыка Шопена рождает перед моими глазами
светящиеся янтарные камни,
в которых можно увидеть призрачное,
застывшее прошлое,
как на этой фотографии.
...И вдруг всем своим существом начинаю понимать,
что я – это чудо,
сохранившаяся часть чего-то целого и вечного,
которое и называется жизнью...
Воистину, пути Господни – неисповедимы...

Через открытое окно, забрав мой стих признаний,
ветр, подхватив листок, унес его под тень воспоминаний.
Украдкой прочитав слова
о южном племени и о моем народе,
он музыку библейскую к ним подобрал,
всё расписав по птичьим нотам.
На остывающих холмах, в тени садов Иерусалима,
легенду ангел записал, и путь мой начертал – дорогой...

АЛЛА ХОДОС

СОН В ИНТЕРНАТЕ

Стылый декабрь стоит под окном.
Оцепенели деревья.
Первым очнулся учительский дом,
Только потом – деревня.
Только потом заскрипели шаги
И заскользили салазки.
В темном окошке у Бабы Яги
Кончились страшные сказки.
Только мычит слабоумная мать
В душном угаре избенки,
И на мороз переносят кровать
Две неумерших сестренки.

* * *

Мы долго жили в гараже,
но это кончилось уже.
Мы прятались на свалке,
а грелись в раздевалке.
Порой нам снилось, что сидим
в неосвещенном зале.
Но спали мы в подвале.

Наутро кончился погром –
куриным пухом и пером,
и легким паром над двором,
весенним сладким паром.
И значит, всё недаром.
И хорошо на чердаке
при пауке и ветерке
послушать пенье птичье.
И в этом есть величье.

***

Ясные дни – наступления сумерек,
Чересполосица света и мглы.
Полузнакомо доносится с улицы
листьев ли шорох, запах золы.
Полубольные деньки. Без будильника
встанешь, когда нахлобучив платки,
злые уборщицы ведрами дзинькают
и задевают за косяки.
Мыть-не отмыть одинокую родину,
только из щелей достанешь тряпьё,
дыры пульсируют: снова закройте, ну!
Это колотится сердце ее.

***

В.Н.

Вхожу в этот прах повседневный и пух
как дух костяных молчаливых старух.
Как рожениц голос за тонкой стеной.
Как вьющийся волос, в полжизни длиной,
веселых красавиц. Как отзвук обид
вхожу в этот прах повседневный и стыд.
Как в плен, что свободней свободы самой,—
в горючий, бесследный песок золотой.

* * *

М.К.

Плыви, луна. Мы слишком задержались.
Веди: уже взыскуем перехода.
Граница между вымыслом и жизнью
размыта, словно белый плес песчаный.

Мне страшно оттого, что я толкаю
тебя в твою глубокую стихию.
«Как мелко!» – из пучины восклицаешь.
Кричу в ответ: «Выныривай из бездны!».
Жду рядом: не пловец, но пограничник.

Смотри, по волнам пролегла дорожка.
Скорее на песочек, моя радость!
Пусть зыбкая, но почва под ногами.
Побудь со мной, покормим чаек коркой.

* * *

К.

Посылаю слово в пространство,
не решаясь просить ответа.
Незаконное, ждет гражданства
битый час на пороге света.

Закорючка, глазок, ресничка
повисает в немом просторе.
Набегает небес водичка.
Сонно плещет немое море.

***

К.Л.

1
Если не отрываясь смотреть
в твой темноглазый свет,
можно вырасти и созреть,
как золотой ранет.

Скромно у вечности в уголке
краткое лето висеть.
В память о завязи и цветке
листиком шелестеть.

Свет твой вечерний горит сильней,
с тенью ведя игру.
Пусть припасет меня житель полей
или подаст к столу.

2
Как невинный из тюрьмы,
вышел свет из тьмы.
Все границы преступив
и меня простив.

На пороге слепоты
вспыхиваешь ты.
Там, где сходятся миры
правды и игры.

Где серьезна и нежна
жизнь, а смерть странна.
Где ни страха, ни вины,
и где все равны.

***

Зал ожидания. Влажные лбы.
Ропот водопроводной трубы.
Зал обездвиженья.
Спящий поток.
Вот мы и выжили.
Был кипяток.
Сахар кусками.
Место – прилечь.
Да над висками
воздух протечь
мог.
Тихо у ног
спали собаки.
Грязный ледок
с шерсти свисал
и не падал никак.
И комок
в горле стоял
у людей и собак.

***

Старушка-филармония
присела в снег и сумерки.
Медлительные зрители
в сугробах на плечах
так мерно шли по улице,
что в небе птицы умерли,
и стрелки заскучали на часах.
Вы слышали побасенки
о рыжем музыканте,
при написанье музыки
впадающем в экстаз?
Блистательная родина
Антонио Вивальди,
ну что вам надо, милая, от нас?
Медлительные зрители
достойно и неласково
вручали гардеробщицам
тяжелые пальто.
Потом неукоснительно
в буфете дверью лязгали.
Ну что, старушка-музыка, ну что?
А где-то в консистории,*
в далекий век истории
сиял венецианский абажур.
И девочки безродные,
совсем как благородные,
играли на гобое де' лямур.
---
* *Музыкальная школа для девочек-сирот во времена Вивальди.*

ЗОЯ ПОЛЕВАЯ

* * *

С.В.

Девочка, входящая в воду
На длинных ногах изумительной птицы,
В движеньях твоих та извечная тайна хранится,
Дальше которой в природе –
Сиянье и тишь.

Сзади – маминых глаз колдовское слеженье.
Кажется мне, что осталось одно лишь движенье
И – полетишь...
Чудесная девочка,
С черной кошкой в железной клетке,
С душой на жемчужной ветке,
С глазами карими, в которые не наглядеться,
Не торопи детство.

* * *

Куда подевалась моя кореянка
С глазами как рыбки на плоском лице,
Смешливая леди, одетая ярко,
Что утро встречала всегда на крыльце.

И часто гуляла под нашим окошком
В сандалиях на быстрых и маленьких ножках,
С фигуркою легкой и ладной, и ловкой
С опрятной прической над круглой головкой.

Всегда у нее находились дела:
Варила, стирала, крылечко мела,
Иль сидя на корточках, в красной панамке,
Сажала лучок в неглубокие ямки.

Она улыбалась по-детски и мило
И лишь по-корейски со мной говорила.
Но после, заметив, что мне не понять,
Старалась всё жестами вновь объяснять.

Нам цифры порой заменяли слова:
Она написала мне – 82,
В кружок обвела, на себя указала –
Вот столько ей было, ни много ни мало.

Еще был старик и какие-то дети,
Но их-то мой взгляд лишь условно отметил,
Семья переехала. Дверь на замке.
Лишь память качается в легком дымке.

Там мило смеётся моя кореянка,
С глазами как рыбки, одетая ярко,
Кокетливо щурится, машет рукой
И выглядит юной, забавной такой.

***

Маме и Мите

Моя радость, на улице дождь,
Мое солнце, на сердце тревога.
Предрождественским кружевом сплошь,
Как плющом здесь увита дорога.

На недавно замерзшей воде
Неподвижно стоящие чайки,
На еще не поблекшей траве
Торопливые беличьи стайки.

Огоньки на деревьях, в домах,
В перепутанных лапах еловых,
Моя радость, я знаю сама,
Как спасаются Светом и Словом.

Не богатством, не славой – всё дым
И погоня за этим – ничтожна.
Только б сердце сберечь молодым,
Только б душу согреть, если можно.

Только б снова коснуться земли,
Где сплетаются жизни корнями
И обнять, тех, кто нынче вдали,
Только сердцем и мыслями с ними.

* * *

(После похорон Л. Вышеславского)

Родной, чужой, великий и убогий
Оставленный поэтами приют,
Где жестким ветром выдуло уют
И под землёю прячутся дороги,
Где тысячами гибнут за металл,
Где антигород призраком восстал.

Так холодно и так недолог день.
Над Городом висит косая тень,
И сердце как-то судорожно бьется.
Автобусики мелкие снуют,
Рекламки зазывальные суют,
И это новым временем зовется.
Где сдержанность и мощный дух веков?
Где смех детей, где святость стариков?
Пластмасса лиц, гримасы казино –
Игра уже проиграна давно.

И в то же время с напряженьем сил
Ты рвешься и стремишься в этот Город,
Который всё терпел и всё сносил:
Разруху, мор, нашествия и голод.
Где небо подпирают купола.
Где ты рожден, где жизнь твоя цвела,
Где дружество и высший миг любви,
И боль утрат, и душ прикосновенье,
И дальний зов, замешанный в крови,
И тайный смысл, и внутреннее зренье,
И сад отца, и розовый рассвет,
И вечное, чему названья нет.

* * *

Я сканирую небо, блуждаю по дну,
Но никак не настроюсь на вашу волну,
Видно нету навстречу движенья.
Ночь прозрачна,
Как вечная жизнь подо льдом.
Я как будто бы сплю,
Вспоминая с трудом
Все начала и все продолженья...

* * *

Ах, друг мой болезный,
Строка – не рука,
И даже полезно,
Что я далека –
Как эхо послушна,
Как точка мала,
И след мой – воздушный:
Была – не была.

Блуждают огни
В предрассветном дыму,
Мигают они
Неизвестно кому,
И катятся годы –
Мелеет река,
И талые воды
Прогоркли слегка.

Ах, друг мой любезный,
Строка – не рука,
За нею лишь бездна,
Над ней – облака
Плывут равнодушно,
Сияньем дыша...
А след мой воздушный
Не стоит гроша.

31 АВГУСТА

В мякоти вечера
Звездные венчики.
С осенью лето
Сегодня повенчано.
В тонких нарядах
Красивые женщины.
Локоны по ветру,
Взгляды изменчивы.
Теплые сумерки,
Синие-синие,
Чьих-то следов
Уводящие линии.
Листья светлы
Под луной,
Как под инеем.
И тишина тяжела
Чьим-то именем.

АЛЕКСАНДР СИНДАЛОВСКИЙ

ЛИСТАЯ ПАМЯТИ АЛЬБОМ

Листая памяти альбом —
портреты дам, внушавших нежность,
чья яркая прельстила внешность,
и хрупкость ветки подо льдом,

в трюмо, поросшего быльем,
себе кажусь я страшно пошлым:
я сгинул на две трети в прошлом,
на треть исчезнув в небылом.

5 июля 2008 г. Екстон

ОСЕНЬ

луна настойчиво тревожна
жить прежней жизнью невозможно

транжирит скопленное осень
охапки листьев черти носят
канун четвертой части года
не посезонная погода
томит зудит бередит ломит
сквозняк колышет шторы в доме
луна болезненна и ломка
в дорогу собрана котомка:
тряпье надежды клочья веры
и то что должен люциферу

дом как преамбула дороги
но страх споткнуться о порог
кто потерял себя в прологе
тому какой в скитаньях прок?

в снегу луны проталин пятна
как жить иначе непонятно

густеют тучи даль туманна
беззвучно выпал из кармана
ключ от порожнего комода
и карт невскрытая колода
скребутся кошки сердце ноет
и манит участь перегноя
в свободном замерший полете
лист оторвавшийся от плоти

луны задумчивое око
внимает западу с востока

безлистный вяз стоит как страж но
жить или нет – мне равно страшно
16 октября 2008 г. Екстон

ЕВГЕНИЯ ДИМЕР

РАБАТ

Строители спешат, на части землю рвут;
Рабат увяз в бетоне и железе,
Он небоскребами, как щупальцами спрут,
Из леса пальм упорно в небо лезет.

Сверкают окна там, бросает вспышки медь,
И полыхают никелем машины;
А рядом выплыла старинная мечеть
Из-за потертой временем Медины*.

Плюет в детей верблюд, жарой неукротим,
Чарует флейтой кобр араб мохнатый,
И в море нищеты ковчегом золотым
Возвысились султанские палаты.

Над шумным городом несутся «джеты» ввысь,
Но часто аисты кружатся тоже;
Здесь тесно Запад и Восток переплелись,
Друг друга не сразив, не уничтожив.

И солнце на своем пути, войдя в зенит,
В мираж включит Рабата панораму,
Где под густой чадрой Корана жизнь кипит,
Не выпуская прошлого упрямо.

** Медина – часть арабского города, где находится мечеть и нередко базар.*

ФИЛИПП БЕРМАН

***

Первый вечер
Ты бежишь навстречу
Первый вечер
Это значит встреча
Снова вечер
Это тоже встреча
Каждый вечер
Это просто встреча

Первая комета
Это все рассветы
А еще комета
Это полрассвета
А потом комета
Это лишь подсветок

А летящая звезда судьба
А затихшая вода тоска
Только первая вода чиста
Только первая звезда судьба
А потом идет вода мутна
А потом летит звезда беда

А я все бегу навстречу
В каждый вечер
А я все бегу навстречу
В каждый вечер
И во все кометы как в рассветы
Даже в те кометы где подсветок
И под белую судьбу беду
Как под лучшую судьбу бегу

Умываюсь я водой речной
Умываюсь я водой второй
И мутнеет голова моя
До чего же та вода чиста

А я все бегу в рассветы
А я все бегу в кометы
И в прозрачные ручьи бегу
Может камни там янтарные найду

РЫЖИЕ СКРИПКИ

Асе

Были руки без звука
И глаза из разлуки
И дрожащие плечи
Как дрожащие свечи

И темнели пролеты
Белых лестниц разлеты
И глазные овалы
Луговые провалы

Только рыжие скрипки
О весне всем кричали
И зеленое солнце
Тихо в небе качалось

И у нас под ногами
Как по серому скальпу
Зеленела травинка
Над умершим асфальтом

Зеленела рождалась
у нагретого камня
И неслышно стонала
И неслышно дрожала

От весны и от скрипок
И от желтых разлетов
От весеннего крика
От глазных поворотов

А потом стало тихо
Только губы обмялись
И зеленое солнце
Тихо в небе качалось

И травинка под нами
Шевелила губами
И неслышно стонала
И неслышно дрожала

От весны и от скрипок
И от желтых разлетов
От весеннего крика
От глазных поворотов

Только рыжие скрипки
О весне всем кричали
И зеленое солнце
Тихо в небе стояло

***

А по утру
Когда придет ответ
Я встану рано
Помолиться Б-гу
Возьму немного хлеба на дорогу
И вдаль уйду
Встречать Его рассвет

Игорю Михалевичу-Каплану

Гитарный звук,
Разорвана струна.
Разбилась ртуть.
Нет, не струна,

Свербящая тоска,
России путь.
Нет, не тоска,
А в срубе вековом
Он брагу пьет.
Нет, не мужик,
Упавшая сосна,
Ветвями льнет.
Нет, не сосна,
Электроснег
Глаза нам жжет.
Нет, то не снег,
А вихря стон
В степях идет.
Нет, то не стон,
А Русь, а Русь,
Мессию ждет.

АНАТОЛИЙ ЛИБЕРМАН

ВЛАСТИТЕЛЬ

Хозяин развалившегося мира,
Всесильный царь голодных и рабов.
Подлейший трус, опаснейший задира,
Талантлив в зле, в добре тупоголов.
Он называет пепел пепелищем,
Идя назад, он движется вперед.
Он обещает караваи нищим,
И те в восторге разевают рот.
Светлейшие умы лежат в гипнозе.
Не подкуп здесь, и в этом весь кошмар.
А если перебарщивает в дозе,
Так гуще получается навар.
Тиран в своем ничтожестве всесильный.
Всех пузырей могущественней мыльный.

КУМИР

Какой холодный, жесткий взгляд –
Оледеневший водопад,
А серых глаз литая сталь
Пронзает глубь, минуя даль.
Трагическая складка губ
(Их разомкнуть и смех не может).
Кто тот убийца, душегуб,
Чей нож так жизнь и рот корежит?
Я помню: много лет назад
Глаз голубых зовущий взгляд;
Он обещал найти Грааль,
Наш соблазнитель Парцифаль.
Вокруг него ученики.
Его ошибки повторяя,
Не испытав его тоски,
Они резвятся в кущах рая.

Запавших глаз бесцветный взгляд:
Жизнь прожита, растрачен клад.
Мир разделился: гений? враль?
Кто б ни был он, его не жаль.

* * *

Кругом кричали: «Пришел мессия»,
А пришло кровавое месиво.
Пригласили на княженье Вия,
И за это на нас нынче месть его.
Гроза, натешившись, отгремела.
Жизнь течет из ведра дырявого.
Умереть бы за правое дело,
Да ни левого нет, ни правого.

* * *

В недобрый час ее зачали,
Спасая бесполезный брак –
Дитя не радости – печали,
Лекарство от семейных дрязг.
Она росла травою сорной
У раздраженного отца
И матери недоброй, вздорной,
И на черты ее лица,
Расплывчатые от природы,
Легла той серости печать,
С которой все ужимки моды
Пока не могут совладать.
Расцвет невзрачной незабудки,
Короткий миг, безвидный рай.
Ну, пусть не миг, пусть даже сутки,
Но все равно не яркий май.

Случайно семя, вихрь случаен,
И всем доступен чернозем.
Засохший стебелек с окраин,
Непрогремевший первый гром.

* * *

Спаси, Господь, российских полукровок,
На двух лугах пасущихся коровок
Вдали от стад.
Всегда убог вегетарьянский рынок,
Но притягательней чужих былинок
Их аромат!
Спаси несчастных их от раздвоенья,
Пожизненного, но пустого рвенья
Быть здесь и там.
Не дай смешаться в молодом угаре
Разнокалиберной, безмозглой паре.
Глубокий шрам,
Из внутреннего сделавшись наружным,
Пройдет по детям хитрым, но недужным,
Как острый нож.
Не скрыть ни галстуками, ни вуалью,
Не смыть ни праздниками, ни печалью
Судьбы чертеж.

ДУБ НАД СВИНЬЕЙ
(Библейский сюжет)

Я дуб, и желуди растут на мне;
Как драгоценный камень, каждый желудь.
А рядом роются стада свиней:
Постарше боровы, и тут же молодь.
Милы мне популярность и успех
И симпатично дружеское свинство.
Их множество, а я один на всех –
Вот это настоящее единство.
Они меня, единые, съедят?
Вполне возможно. Слишком много пыла,
И даже у молочных поросят
Прорезались устойчивые рыла.
Но я не ворон, чтоб кричать: «Беда!»
К тому же, как вы слышали, я счастлив.
Кормить их баснями? Какая ерунда –
В прошедших ли веках, сейчас ли...
Лишь захочу, я пресеку возню:
Злых духов соберу со всей округи
И в стадо ненасытное вгоню –
Пусть в Мертвом море пляшут буги-вуги.
Я терпелив. Наступит ли обвал?
С годами хрюшки делаются прытче.
Тогда и разыграем карнавал,
Известный из жестокой старой притчи.

ВЯЧЕСЛАВ СПОДИК

ПО МОТИВАМ КИТАЙСКОЙ ПОЭЗИИ

***

Смотрю на воду – вижу облака.
Смотрю на облака – вижу воду.

***

Здоровое семя взламывает асфальт,
Больное – под ним погибает.

***
Молчание всегда побеждает крик.
Спокойствие – побеждает ярость.

***
Слабая травинка поднимает тяжелый бетон.
Крепкий бетон не может поднять травинку.

***
Раскрашивать историю – все равно
что рисовать цветными красками на льду.

***
Белое поле, пурга заметает следы,
Дыхание рождает колючие льдинки.
Зима. Не дыши, если сможешь…

***
Нельзя умереть, не родившись.
Но, родившись, – нельзя не умереть...

ЛЕВ ХАРИТОН

К МУЗЕ

Как много, право, уж написано
О всесжигающей любви.
Куда там мне с моими виршами!
Меня, мой ангел, не суди.

В стихах и прозе, во всей лирике
Так много страсти и огня...
Ко мне стихи пришли в Америке,
Ты в этом не вини меня.

Вину, как боль, вдыхаю медленно,
Но ты об этом не грусти.
Всё, что пишу, тобой нашептано.
Ты, ангел мой, меня прости.
Бруклин, июль 30, 2009

РАИСА РЕЗНИК

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ШАТАЛОВА

1.
Открыла «Встречи» и пролистала.
В рамке – Шаталов. Его не стало.
В графе «Об авторах» –
тире, две даты...
А я представила,
как ехал в Штаты.
Корабль шатало...
Весь мир шатало...
В страну чужую несло Шаталова...
ноябрь 2002

2.
Обложка – дверь в храм, где исповедь
(не проповедь), правит домом.
Осиротели двулистники
с двадцать шестого тома.
Плакатным шрифтом, вертикально,
осталось заглавие справа...
Смерть всех отражает зеркально,
у смерти свое есть право.

3.
Картины – ведь те же дети...
Стихи – сыновья и дочки...
Шаталов, Вы есть на свете,
Вы живы мазком и строчкой,

Картины полны мелодий.
В стихах пламенеют краски.
А кто-то Вас звал Володей...
Достало ли Вам той ласки?

«Он мертв» – говорят об этом,
вздыхают о том: «Не дожил»...
Но ритмы спасут поэта,
а колер спасет художника.

Я знаю, наслушались лжи Вы...
Не веря, вела б я речи?
Владимир Михалыч, Вы живы,
как вечны на свете «Встречи».

Не верю, что циник ценен,
что время – холодный киллер.
Но верю, что Вас оценят
Ваш Белгород и Ваш Киев,

Моя Винница и Ваш Харьков –
устроят там вернисажи.
«Талант он, художник яркий,
Он наш! Он ведь здешний», – скажут.
.....
Вы строчки чурались пышной,
Боюсь Вас обидеть сложной...
Не верю себе, что так вышло:
мой стих – под Вашей обложкой.

ЗАРЯ

Рассвет. На берегу
ни души.
Только заря, как бегун,
мельтешит.
Пеленой застелен,
На море бриз.
Заря растерянно
летит вниз –
туман растолочь,
осмотреть Залив:
отыскать уплывшие в ночь
корабли
и ночной мой стих,
что не сберегла...
Луч, в воде отраженный, тих.
Нет тепла.

ПТИЦА

Там, где сплелся ствол бамбука с веткой ели,
села птица петь – как будто время трели.
Глянь, бамбук склонил к ней стебель,
жив-жив елью.
Эту новость на хвосте мне птица с трелью
принесла. О, посвист каждый брызжет соком!
А мне кажется – вот скажет между строк он,
что хвоинки колки очень, не в листве ель,
что бамбуковый непрочен тонкий стебель...
Но трезвонит, как в деревне, птица дробно
о житье кустов, деревьев всё подробно
сообщает – в звонких звуках вся округа:
жалоб нет на ель, иголки, зыбь бамбука.
Жив-жива – поет беспечно в день осенний...
Нет, у птицы никаких нет опасений.

БЕЗДОМНЫЙ ПОД ЧАСАМИ

Зачем часы на руке
бездомного под часами...
С котомкой одной, налегке,
старик с бородою, с усами.

Бормочет про себя тихо,
часы, мол, у него стали.
Послушал их – нет, не тикают,
наверх поднял взор усталый.

Какие странные очи...
Безумны? Глаза сумасшедшего?

А может, осмыслить он хочет
Что было за время прошедшее?

– Да нет, не зашел ум за разум,
даже хитер, несомненно, дед,
живёт по двум часам сразу:
Свобода – яд. Жить согбенно – нет!

Раздвоенность, значит, резонна,
так взглядом старик нас корит:
– А время, как я, бездомно,
и вот что с людьми творит...

МЫСЛИ

Ларисе Авербах

Отшумевший раж еврейских местечек...
Бессловесные могильные плиты
вспоминают о не знающих речи,
позабывших Бога детях семитов.
Мудрой стала или просто старею...
Никуда от этих мыслей не деться:
как когда-то сторонилась евреев,
так сегодня ощущаю еврейство.

И отец мой, Рабинович-Жванецкий,
и еврейка-мать, и просто природа
передали чашу доли еврейской,
воплотившей кровь и муки народа,
что дыханьем библейским овеян,
ароматами востока пьянея,
помнит Галича припев для евреев
и не шьёт себе на праздник ливреи.

Мне понятны Эренбурга-скитальца
боль, полет людей парящих Шагала,
покоривший Чичибабина Надсон,
и Цветаева, что в гетто вписала
всех поэтов... А сейчас слышу скрипку,
вслух рыдающую скорбно и с жаром,
зрю чернобыльского облака дымку
(рас не ведавшую) над Бабьим Яром.

Эхом в сердце гром над небом Синая,
молний блеск, Пророк, несущий Скрижали
для народа, что из древнего края
в мир ступил с улыбкой светлой печали.
Вижу милые, наивные лица,
слышу горький смех, и слез вижу реки...
До скончанья века буду молиться
Богу, давшему мне душу еврейки.

ИГОРЬ МЕРКУЛОВ

***

Когда наступает холод
и снег на поля ложится,
Медведи уходят в спячку,
и на юг улетают птицы.

Когда наступает голод,
и степи солнцем палимы,
Стада уходят на север –
там дружелюбней климат.

Когда наступает кризис,
и в жизни всё беспокойно,
Тогда человек разумный
затевает разбой и войны.

Как говорят ученые,
муравьи поступают просто –
Они при угрозе кризиса
меняют свое руководство.

Кого же Господь Всемогущий
для жизни мирной и доброй
Создал по своему образу
и подобию?

октябрь 2009

***

Хватает в жизни мудрости и вздора,
Все дело в том, на что сегодня спрос –
И не всегда стихи растут из сора,
И жемчуг не всегда зарыт в навоз.

Когда же вдруг в единственном вопросе
Сольются все стремления души,
Когда задержит Болдинская осень
В какой-то неустроенной глуши,

Когда распад, крушение империй
Борьба неуправляемых стихий
Когда вокруг крушенья и потери –
Как раз тогда слагаются стихи.

Когда встают диктаторы из гроба,
Вселяя в души незабытый страх,
Страною правит мстительная злоба –
Тогда об этом пишется в стихах.

В литературе нынешней и древней,
Чем стих тревожней, тем она сильней...

ВАЛЕРИЙ ПАЙКОВ

СТАРЫЙ СОН

Безумный мир...
И хочется смеяться,
расслабиться, развеяться, размяться,
ходить по магазинам и базарам,
не уступая в хитрости хазарам.
Быть шарика смешного легковесней,
строкою быть, баюкающей лести,
флажком цветным на кончике шеста,
и даже колокольчиком шута.
При каждом деле (умном) неуместным
быть хочется, случайным, бесполезным –
и лузгать семечки, бросая шелуху
пророкам под ноги. И всё, что на слуху,
не понимая, поднимать на смех.
Похожим быть на первый зимний снег,
что тут же тает, не успев коснуться
земли своей...
Так хочется проснуться,
но тяжек сон. И не сорвать никак
сжимающий, как обручем, колпак.
Безумный мир сверкает синевой –
и я лечу, как шарик надувной.

О ЖИЗНИ

Съёмный наш остров, где радостно бьют ключи
древней сантехники и лампочка без бровей.
Стены в коросте – плесень, вечная, хоть кричи
альтом ли тенором на весь иудейский Бродвей.

Комната скромная, названная социальным жильем,
продается по стоимости, остаточной, но нужно дать.
Мы не проездом, но обворованы тем же жульем,
и, говоря по совести, страшновато им возражать.

Мы новости слушаем в расчете на новый плен –
на пришествие скорое марсиан или грузин.
Мы не были слугами даже в древней земле Гошен,
мы стали лишними в обретенной стране Син.

07.02.2008

ПУЛКОВО

Раннее Пулково – время совсем не для встреч:
дремлет метро, и мосты остаются в разводе,

синие звезды уходят в сквозные разводья
меж облаков, утомившись Светило стеречь.

Кто на колесах, умчали любимых в объезд –
через Ириновский и лабиринты Коммуны.
Зал для встречающих кажется кратером лунным –
холод звенящий, да в небе бледнеющий Крест.

В клетках табло, словно в детстве, сплошные нули.
Странное «*landed*» давно и навек отказало.
Мы затерялись в пустыне аэровокзала –
как хорошо. Хорошо, что сумели, смогли.

Скоро рассвет, и охватит до самых костей,
с неба обрушась, густая знобящая сырость,
чтобы хватало душе бесконечной на вырост,
даже за краем – в заемной земле, не своей.

09.08.2006

ОЖИДАНИЕ

Всё ждет наш порт, и по-сиротски пуст
унылый пирс, и краны, словно гуси,
вытягивают шеи. Солнца сгусток
уходит в воду. Время ставит плюс
в мартирологе сгинувших закатов –
ещё один. Лишь морю всё равно,
кого «мочить». И берега руно
безмолвно тонет под его стаккато.
Но там, вдали, два вспыхнувших угля
на языке космического кода
напоминают, что земля кругла,
и корабли на линии подхода,
что с первым солнцем гавань оживет,
и всё на круг единственный вернется...
И лишь душа давно уже не ждет,
и от того болит, что не дождется.

05.06.2001

ОСТОРОЖНЫЕ СНЕГА

Говорят, что и в центре всё те же костры.
Не бывал – я прописан у южных широт,
где лишь месяц в году зеленеют кусты,
где дымит кем-то проклятый город Сдерот*.

Мне бы к северу – там набухают ключи,
там белеет седой головою Хермон*,
там в горах тишина – хоть кричи, хоть молчи,
там ромашки сбегаются с разных сторон,

там свободно, как дома, живут журавли –
с каждым годом всё дольше, без всяческих виз,
там недавно снега осторожные шли,
и всё падали, падали медленно вниз.

10.09.2009

---

* *Топонимы Израиля.*

ПРОСТО ЖИЛ

Как и тысячи, просто жил и жил,
шел, куда позовет труба, –
значит, нужен был. И не тратил жил,
из себя выдавливая раба.
Всё спешил успеть, но лета не гнал,
и не прятал от жизни глаз...

Дышит серым холодом Обводный канал,
и рассвет, отыграв, погас.
Птицы с неба падают. На крестах
потемнел их привычный блеск.
Этот шум во мне, словно вечный страх, –
так осенний шумит лес
перебором оборванных своих струн.
Только я не струна – стена,
и одна из давно отгоревших лун,
и оставленная страна.

ОСЕНЬ

Я ухожу в осень, где грезит лес,
где в окружении влажном раскачивается тишина.
Наверное, лучше позже, чем вечно здесь,
наверно, это неважно, что жизнь одна.

Я возвращаюсь в осень, похожую на бред,
в ней контуры новых почек в узлах ветвей,
туда, где печалью острой пронизан свет,
чей луч по утрам, как почерк моих детей.

Я превращаюсь в осень – в последний сон
о вечности, что, наверно, одна на круг,
в полузабытый остров, со всех сторон
открытый прикосновениям чужих рук.

Я ухожу в осень, которую так ждал,
где в мякоти ягод мокрых последний мед.
Она лишь одна не спросит, зачем бежал,
а только в глаза посмотрит, и всё поймет.

5.11.2007

ВЛАДИМИР ФРЕНКЕЛЬ

СТАНСЫ

Как-то незаметно разлетелась
Жизнь по городам и по годам,
А всего-то, помнится, хотелось
Радости с печалью пополам.

Но куда же денешься от пресной
Скуки, от недоброй тишины?
Мне уже почти неинтересно
Будущее мира и страны.

Все пути вели к Иерусалиму,
Но оттуда некуда идти.
Кто-то в небесах неумолимо
Не отпустит, Господи, прости.

Ну и пусть, мне времени не жалко,
Проживем с тобою не спеша,
Ласточка, дыхание, весталка –
Как еще зовут тебя, душа?

Знаю, что не впрок тебе наука
Опыта и горя твоего.
Вспоминай: свидание, разлука...
Это – жизнь, и больше ничего.

***

Шаги неспешные дождя
Под деревом и у подъезда...
Но вот немного погодя
Себе он не находит места

И топчется то здесь, то там,
По тротуару, возле окон,
Покуда по его следам
Не проберется ненароком

Ночной осенний холодок,
Что растекается по крышам –
Куда? На запад, на восток,
На север, юг... Мы не услышим

Его прихода. Подождем,
Пока стемнеет, и движенья
Дождя, вернее, под дождем
Уже не различает зренье.

Теперь куда же? Всё равно,
Куда нам плыть по черным лужам,
Ведь ночью всё разрешено,
И провожатый нам не нужен.

***

А что увидишь, глаза закрыв
На огненный небосклон?
Смешенье красок, потом – обрыв
Во тьму, неизбежный сон.

И всё же красок узор во тьме,
Пусть он и нелеп, и дик,
Внезапно напоминает мне
Картинки из старых книг.

Старинный город, почти витраж,
Над ним – уходящий свет.
Не гаснет в памяти тот пейзаж,
Виденье далеких лет.

А где бы ни поселился я –
Под вечер огни слепят.
Всегда окно моего жилья
Направлено на закат.

Была когда-то река вдали,
Потом – каменистый холм.
Огни заката везде могли
Построить небесный дом.

Пусть он далек и недостижим –
За гранью лежит земной,
Тот дом, как пламенный серафим,
Уже навсегда со мной.

***

Этим летом что-то закончилось, словно
Просиял над морем прощальный свет
И неспешно гаснет, а мы безмолвно
Уходящему зареву смотрим вслед.

Кто сумеет понять, где граница света,
Где граница наших встреч и разлук?
Перейдя пределы Господня лета,
Мы в другом краю оказались вдруг.

Среди леса молча идем обратно
По дороге, где фонари зажглись.
Мы в другой стране, всё и так понятно,
И вершины сосен во тьме слились.

***

Ко мне приходит тишина
Благословенная, ночная,
Когда у темного окна,
Себя в окне не узнавая,

Себя не слыша, вновь и вновь
Я отрешенно повторяю,
Что не кончается любовь,
А больше ничего не знаю.

Откуда эта тень разлук
Ночных, предвестие печали,
Почти прикосновенье рук,
Что на прощанье обнимали…

Да это – темнота в окне,
Она с ночною тишиною
Придет когда-нибудь ко мне,
Вернее, навсегда за мною.

***

Вся-то жизнь меняется, как погода,
Как по льду, неизвестно куда скользя.
Ну, конечно, это и есть свобода,
И поделать с ней ничего нельзя.

Никогда этой ветренице не верьте,
Но уже ни за что не забыть о ней.
Мы-то знаем – жизнь непонятней смерти,
Неизбежней смерти – скажу верней.

И наверно, друг веков – археолог,
Повертев осколок далеких лет,
Непременно скажет, что путь недолог
До любой эпохи, а смерти – нет.

ФЕЛИКС ЧЕЧИК

РУКОПИСИ ВРЕМЕН КОПЕРНИКА

Я справочник листаю и любуюсь
Насыщенностью каждого листа.
Возьми навскидку формулу любую –
Явленье сложно, формула проста.

Ее создавший, не стремясь к награде
(Да что награда – не боясь костра!)
Искал на небе любопытства ради
И сохранил на кончике пера.

Сквозь тьму веков дорогами крутыми,
Архивной пылью надышавшись всласть,
Дошли до нас записки на латыни,
Таящие магическую власть

Ума – над скудоумием тирана,
Таланта – над бренчанием монет,
Терпения – над суетным стараньем
На все вопросы отыскать ответ.

Листать закончу, поумнев едва ли,
Сто лет читай – в один не станешь ряд
С титанами, пусть даже и не знали
Они, что *Е равноЭМ-СИ-квадрат.*

2009

ЛЮДМИЛА НЕЙМАН

МЕРТВЫЙ ГОРОД

Вот и кончилось лето,
и вновь эта осень,
и вновь
Мертвый город опутан
верченьем обугленных
листьев.
Дождь вскипает по венам
и пенится,
это не кровь, –
Это темной водой
омывает усталые лица.
Вновь торопятся люди
в жилища, к пустым
очагам,
Жмутся к людям собаки
и чьи-то забытые
кошки.
И никто не ответит,
каким теперь верить
богам...
Свет включи! Электричество, может,
согреет немножко!
Пусто! Пусто! Нет друга,
нет родины...
Ты –
Только серый клочок
никому не известной
бумаги.
Почернели на стеблях
от первых морозов
цветы,
И полощутся листья –
отмытые временем
флаги.

* * *

... и пепел на ковре, а в доме чисто,
Нанизывают шарики на елку,
Плывут в мороз пунцовым «Декабристы»,
Бисквит взбивают в кухоньке весёлкой.
Блуждает дух лимонного зачатья
Луны от солнца в воздухе вечернем,
И девочки к столу меняют платья,
И мама что-то вслед им шепчет нервно...
Но вот же звонят, и на пороге – гости,
Они снежинки стряхивают с меха,
И все уже подумали о тосте,
Всем кажется, что будет много смеха...
Все, как всегда, как раньше, все, как прежде:
И взрослых голоса, и детский лепет...
Смерть, пощади, оставь лицо надежде!
Так где же тот, кто стряхивает пепел?..

***

Я эмигрирую в печаль,
В закат, в деревья, в сумрак, в осень,
В луну, в наморщенный асфальт...
Но птицу времени уносит.
Не наберешься стольких лун,
Чтоб выплакаться черной краской,
И никогда не будешь юн:
Давно стареешь, носишь маску.
Давно родители в земле,
Над кладбищем летают вороны.
И сердце – в пепле и золе,
Натянутые струны порваны.
Себя, свое – уже не жаль,
Жаль молодежь, Москву и Питер.
Я эмигрирую в печаль,
Я эмигрирую. Прочтите.

20.12.2007

ЯН БРАЙЛОВСКИЙ

***

Люди, факты, годы,
Вечной тени свет,
Переменчивой погоды
Терпкий след.

И на тонких ручках веток
Прошлого клубок,
Как рубцы прозревших меток,
Мысли между строк.

2008

ИННА САНИНА

* * *

Бродил ли ты когда-нибудь в пустыне,
Где властвует немая тишина,
А небо, обливая синью,
Не утешает, а вселяет страх?
Где нескончаемость молчанья
Тревожит, не суля покой...
Но в отрешённости глухой
Не скрыта запредельность тайны,
А лишь витает дух непониманья,
Пугая равнодушной пустотой?..

Поглощены молчаньем звуки жизни –
Об одиночество споткнулась тишина...
А ты бредёшь неведомо куда,
Никем не замечаем и не признан, –
Как тень погасшего огня,
Как бесприютный и гонимый призрак...

А Небо, хоть и синеоко,
С холодной отрешённостью глядит
Из галактичности далёкой
На обречённость одиноких,
Бредущих по веленью рока
В пустынном равнодушии толпы...

АНДРЕЙ ДРАГУНОВ

ГУЛЯЯ В ЛЕСУ

Небрежно ветер трогает листву.
Сорока возвращается с наградой
в свое гнездо. Как холодно в лесу,
когда один стоишь перед оградой
чужого дома, слушая скандал
между супругами – окно открыто настежь.
Суть, вроде, в том, что кто-то выбирал
за них судьбу и жизнь, а не иначе...
Дверь не скрипит, не хлопает окно –
небрежный ветер улетел подальше
от дома, чтобы с ними заодно
не обвинять кого-то в неудаче.

март 30, 2009

***

Лепнина старых зданий – виноград
и серп, и молот, несколько листочков,
вплетенных в стену – просто наугад –
строитель, видимо, спешил поставить точку
в своем воображении. Спешил
замуровать, чтоб больше не встречаться
с твореньем рук своих, но не души,
которая в листве бетонной бродит часто,
среди деревьев вымышленных, тень
отбрасывая, даже в непогоду,
когда холодным струям целый день
не лень плестись в бетоне на свободу –
к земле поближе, к листьям и траве
еще живым, не вытоптанным даже –
стекаясь в лужу... Листья на стене
и виноград – как будто на продажу.

апрель 15, 2009

***

Листва, припудренная пылью,
уже меняет цвет на красный –
с зеленого. На желтый. Ссыльный
косяк летит в уже ужасном,
в уже холодном бледном небе
с проплешинами белой пены.
И птица, думая о хлебе,
себе когтем вскрывает вены,
чтобы остаться. Век не долог.
Чужбина, будто наважденье,
маячит где-то. Яркий всполох
рассвета – знак для пробужденья
в чужих краях. Чтобы проснуться
глаз выбирает расстоянье –
подальше, чтобы не коснуться
случайно. Теплое дыханье
немного согревает утром
под шелест прилетевших листьев –
во след, теперь ежеминутно
напоминая сумму чисел
прошедших дней. Холодный воздух,
как тень, меж старых сосен носит,
как средь руин, листву, и воду
замерзшую ласкает. Осень.
И где-то между старых сосен,
вдруг прилетевший ниоткуда,
звук тихий шепотом доносит,
что жизнь длиннее, чем простуда.

октябрь 26, 2009

ОСЕНЬ

Листва летит, испуганная ветром,
за облачком искусственно-бумажным.
Ориентир за горизонтом где-то
маячит – не дождем, но чем-то влажным.
Слезой? Как птица плачет над полями,

оставленными на зиму пустыми?
Навзрыд? Иль штучными слезами,

по капле вырисовывая имя
на голой пашне? Осень. Осень. Осень.
Вон колосок, оставленный для птицы,
как запятая. И его уносит
всё дальше коготок, чтоб насладиться
вдали от пашни. Дальше. Дальше. Дальше –
туда, где время года не помеха
для жизни. Где пейзаж, лишенный фальши,
ласкает глаз – как будто бы для смеха
среди руин осенних. Ниоткуда
придет зима с обильной «позолотой»
собачьих капель. В ожиданье чуда
лягушка оккупирует болото
до лучших дней, до слякоти и капель
воды холодной – как не простудиться?
За зиму обезумевший мечтатель
найдет лягушку и, как говорится…
Но нынче осень. Календарь осенний.
Но, кажется, еще полжизни где-то
маячит, не добравшись до последней
еще черты. Дымится сигарета.

октябрь 21, 2009

НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

Мне было два года, когда посадили отца.
И всё ядовитое всплыло в похабных соседях.
И пара окурков упали в то утро с крыльца.
И мать прокричала во след – «Не прощу подлеца!»
И был в том году этот день, как сейчас, понедельник.
И холодное лето в тот год проронило слезу
не просто по факту погоды, а как на прощанье.
И то, что еще предстояло изведать отцу,
хранило до срока в тайге гробовое молчанье.

И ангел бумажный
слетел со стены,
что впрочем – не важно,
когда до весны –
под стук топора
и под скрежет пилы
твоя голова
рождает лишь сны...

Я рос какой-то промежуток без него.
Он нам писал, но мать не отвечала,
стараясь позабыть, что самого
она любила, но начать сначала
жизнь заставляла.
И когда возник в квартире нашей химик –
означала такая перемена для меня
и для отца – отсутствие причала.
Мы переехали в куда просторней дом
из нашей комнатушки в коммуналке,
оставив тосковать ее о том,

что новому хозяину не жалко –
ни дома, ни отца, ни долгих лет:
всего того, что оставляло след
в моей душе.
Но он всего лишь химик –
наука точная, лишенная истерик
и представлений точных о душе.
Скорее H2O в заляпанном стакане
ему милей. Скорей в оконной раме
ему милее вид дымящих труб,
чем облака, что так к себе зовут.

Так шли года –
казалось мне века.
Отец освободился и уехал на крайний север,
к вечной мерзлоте, стараясь заморозить чувства к дому,
к тому, что было так ему знакомо,
но что осталось где-то вдалеке.
И всё, что оставалось – деньги слать,
как банковский кредит на возвращенье.
Но слишком часто говорила мать,
что он не помнит дня ее рожденья,
что мог бы иногда он приезжать,
чтобы ее и сына повидать...
Но слишком тягостно к руинам возвращенье.
Она его любила и потом,
мне кажется.
Но жизнь не часть романа
о превращенье рыбки за бортом
в волшебницу для дурака Ивана.

Пока отец скитался – умерла его мамань.

Мы похоронили ее на старом кладбище.
Она так и не дождалась, что он приедет.
И горсть земли – последнюю на гроб
я тоже бросил маленькой ладошкой –
и за себя, и за отца. Я на него
смотрел куда-то в даль,
как в некое окошко, закрытое до времени – а жаль!

Мы встретились, когда мне восемь лет
исполнилось.
Он постарел.
Мать нам не запрещала
с ним видеться.
Но если на обед не успевал я, тихо замечала,
что у меня теперь другой отец
и мне всегда об этом нужно помнить...

Отец опять уехал в те края,
где из друзей медведи и олени,
где кажется, что небо за края
земли цепляется от невозможной лени
себя держать, но – круглая земля.
И угловатость круга не изменит.
Мне было мало лет, и всех причин
его отъезда мне не говорили.
Так, видно, водится у брошенных мужчин,
Что – с глаз долой, и сердце – как в могиле,
но всё же бьется.
Тугоухий мир
едва способен различить созвучья,
как кем-то утром занятый сортир
не примет больше одного – и не надейтесь.

И писем не было... Лишь банковский квиток
на алименты – дань монгольским ханам
за право жить еще какой-то срок,
надеясь, что когда-нибудь и рана
на сердце заживет
и даст росток
другой любви. И он по возвращенье
женился на толстушке из РАЙПО.

Мы виделись всё реже и о нем
всё реже заходили разговоры.
Всё чаще – что пора построить дом
(мать с химиком уже разбогатели),
какого цвета должен быть забор,
и что с зимовья птицы прилетели,
и нужен от вредителей раствор –
он всё же химик...

Жизнь дачная с вареньем и салатом,
с гудением шмеля по звуку вороватым,
с квадратною дырой окна за занавеской,
с соседской дочерью – на выданье невеста,
с медлительным процессом забыванья
того, что может вызывать рыданья.

Я переехал в тихий городок,
«гордящийся присутствием на карте».
И прожил там довольно долгий срок,
пока не понял я, наверно в марте,
что нужно двигать дальше, на восток
или на запад... И уехал в Польшу,
в страну панов, церквей, свечей и водки.
Но жизнь моя в чужих краях была короткой.
И я вернулся.

Пасмурное утро встречало крупным затяжным дождем.
Казалось, что погода виновато
мне говорит, что уж тебя не ждем...

По возвращении я навестил отца.
Он много пил, страдал от ожиренья.
Такая жизнь – в преддверии конца,
что может наступить в одно мгновенье,
мне показалось, лишена лица,
но он сознательно не делал продолженья...
Вот так для мертвеца
жизнь не имеет смысл без сожаленья,
когда жена и сын, как в третьем измеренье...
Отца похоронили слишком рано –
ему бы жить и жить, но жизнь не по карману
вдруг оказалась.
И когда осталась
от всех скитаний только рана
незаживающая – он пошел ко дну,
измерив вдоль и поперек всю глубину
той стороны,
не чувствуя вины,
он сократил свой срок наполовину,
от жизни получив глубокие морщины,
и номерок от маминой могилы.
А всё, что от него осталось мне –
семь слоников, хранящихся в буфете,
да фотография на письменном столе,
где мы вдвоем. Одни на целом свете.
Да тот бумажный ангел, что слетел
с некрашеной стены, когда уехал
он слишком далеко –

он прилетел
теперь обратно с птичьим косяком
из дальних странствий, как и он когда-то.
Жизнь продолжается. Судьба в свою дуду
всё дует, наполняя голосами
свободное пространство. Ерунду
порой нашептывая, или лабуду,
о том что смерть уже не за горами,
а где-то рядом ждет нас на углу.

май, 2003

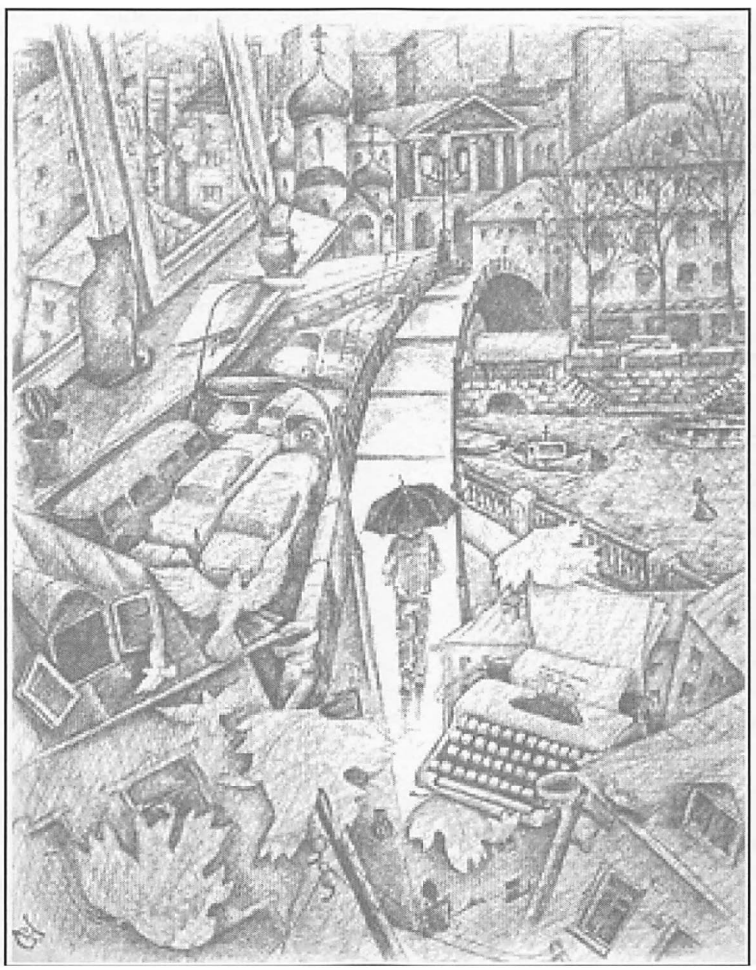


Сергей Голлербах. Графика. Сценка в Нью-Йорке.



Ольга Черенцова. Графика. Портрет.

ПЕРЕВОДЫ



ПОБЕРЕЖЬЕ

МАРИНА ГЕРШЕНОВИЧ

ШЕЛ СИЛЬВЕРШТЕЙН
Перевод с английского

МЕБЕЛЬНАЯ ПОТАСОВКА

А стрелка часов
Уколола кровать,
А ножка кровати
Прищучила стул,
А задница стула
Уселась на стол,
А стол укусил
Новый письменный стол,
Который наехал
На валик дивана,
А валик часам
По лицу засветил.
И кусались, и щипались,
И друг друга побивали,
И бросались друг на друга,
И щелчки распределяли,
И катались, и тряслись;
Ящик бедного комода
Получил тычок под дых...
После той ужасной драки
Там опилки и пружины
Были, как я свет включил.
Так и превратилась в рухлядь
Мебель в комнате твоей.

МЕЛИНДА МЭЙ

Вы слыхали о крошке Мелинде Мэй,
Что съела большого кита?
Мелинда умна
И решила она
Сказать, что начнет с хвоста.

А ей говорили: «Ты так мала».
Мелинда, однако, спокойна была,
Кусочек откушав, бралась за другой.
Как надо, взялась за дело.

И вот через восемьдесят девять лет
Доела. Сказала – и съела!!!

ДУБ И ШИПОВНИК

Дуб с шиповником росли
Вместе, зеленели.
Говорили о воде,
о ветре и метели.

И пока шиповник рос,
Дуб вознесся к тучам,
Об орлах заговорил
и о горных кручах.

«Думаю, ты горд собой,
А таким ты не был», –
Так шиповник восклицал,
Обращаясь к небу. –

«Нету времени со мной
Поиграть в горелки».
Дуб сказал: «Не я подрос, –
Ты остался мелким».

ДОЖДЬ

Открыл я глаза
И слежу за дождем,
Что льется на темя,
Когда мы не ждем.
Пока я в постели, он льется всё время,
И всё, что я слышу: кап-кап мне на темя.
Я двигаюсь тихо,
Хожу чуть дыша.
На голову встану –
Прольется душа.
Безумство свое отрицать я не стану –
С дождем в голове я подобен стакану.

ОДИН ИЗ ШЕСТНАДЦАТИ

Не силен в истории, слаб в естествознании,
К музыке с ботаникой тоже нет призвания,
Русский с математикой
Мне враги заклятые,
Даже география –
Измеренье пятое,
Физкультура требует слишком долго мучиться,
И с социологией дружбы не получится,
Душит экономика,
Давит биология,
Вижу в астрономии
Только звезды строгие,
К рисованью с чтением
Не иму почтения,
Но в *граМатике* зато
Я талантлив, как никто!

БЕЗГОЛОВОШТАДТ

Шляпы в Безголовоштадте –
Налетайте, покупайте!
Всех сортов, берите, нате –
Шляпы в Безголовоштадте.

Шляпы есть на все сезоны,
Кепки, чепчики, короны.
Неужели, не пойму,
Шляп не надо никому!

В Безголовоштадте, право,
Шляп не купят для забавы.
Но выход есть
Охоты ради
(Я ж продал туфли
В Безногограде).

ФРАГМЕНТ КАРТИНКИ

Один фрагмент картинки
Лежит на тротуаре,
Что мокнет под дождем.
Это, может быть, даже пуговица
От пальто старой девы,
Что живет в башмаке.
Или боб волшебный – вот тут слева,
Или складка на мантии
Сказочной королевы.
Это, может быть, даже яблоко,
Что надкусила Белоснежка,
Когда ей мачеха сказала: «Съешь-ка!»
Это, может быть, фата невесты
Или бутыль, где для джина есть место.
Это, может быть, шерсти клок
Медведя Бобо,
Его толстый бок.
Это, может быть, кусочек льда
Ведьмы Бастинды,
Растаявшей навсегда,
Или слезы подсыхающий след
На лице ангела, которого нет.
Более таинственного не найти,
Чем в мокром клочке бумаги
На твоем пути.

ПРИМЕРКА ОДЕЖДЫ

Крестьянскую шляпу примерил,
Она
Чуть-чуть маловата, тесна.
Бесформенна.
К шляпе привычка нужна.
Снял ее.

Я туфли танцора надел.
Не то, что хотел –
Уж слишком свободны
Для бега
И быстрой ходьбы непригодны.
Скинул их.

Я летнее солнце примерил –
Как раз.
Тепло и светло про запас.
На ноги босые примерил траву –
Живу.
О, наконец! Я полон надежд:
Природа – лучшая из одежд!

РОСТОМ С ДЮЙМ

Ах, будь вы ростом с дюйм,
то вас червяк возил бы в класс.
Была б слезинка муравья бассейном – в самый раз.
Крупинка торта – званый пир,
С неделю праздник на весь мир,
Блоха страшнее монстра, сир,
Когда вы ростом с дюйм.

Ах, будь вы ростом с дюйм,
то вы прошли б в дверную щель.
Спуститься в лавку – тридцать дней,
Будь лавка – ваша цель.
Постель – пушинка, если так,
А паутинка – ваш гамак,
Наперсток – что ночной колпак,
Когда вы ростом с дюйм.

Могли б на жвачке переплыть свой умывальный таз.
Обнять всю маму не смогли б,
Лишь палец – в самый раз.
Бежали б от людских ступней.
Взять ручку – ночь бороться с ней.
Стих я писал пять тысяч дней, ведь я же ростом с дюйм.

ЛИАНА АЛАВЕРДОВА

МАРДЖ ПИЕРСИ (Marge Piercy)
Переводы с английского

Мардж Пиерси (род. 1936) – известная американская писательница и поэтесса. Удостоилась множества литературных наград и выступала с лекциями и семинарами в 400 учебных заведениях Америки. Живет со своим мужем, писателем и драматургом Айрой Вудом в Кейп Коде, Массачусетс, и принимает активное участие в жизни местной еврейской общины.

БАБУШКА НАЗЫВАЛА ИХ СНЕЖИНКАМИ

Бабушка называла их снежинками.
Она вырезала из бумаги,
пока полностью не ослепла.
Птицы, деревья, могендовиды,
луны, цветы являлись, как по волшебству,
сквозь замысловатые узоры,
когда разворачивалась
сложенная бумага.

Изделия мамы были проще, абстрактными.
Она их не хранила.
Ни свои, ни мои.
Это была зимняя игра.
Обычно мы вырезали из газет,
иногда – из старой оберточной бумаги,
белой бумаги из булочной.

Часто бабушка прикрепляла вырезки
к стенам или на окно,
глядевшее на улицу
и на восток, где поднималось
скрытое за домами солнце.
Она молилась, обращенная к нему.
Я помню одного оленя,
сделанного на пасху:
нежные копытца, изящные рожки.

Ее животные являлись
всегда попарно: кролики,
кошки, особенно кошки,
маленькие мышки, но никогда лошади,
потому что они были связаны с погромом.
Дважды овдовевшая, она чувствовала
порядок вещей:
даже деревья парами, за компанию.

Я забыла. Я всё это утратила.
Но однажды женщина прислала мне вырезку
в благодарность за стихотворение, и я ощутила,
как в моей руке материализовался кусочек прошлого,
снежинка, давно растаявшая, испарившаяся,
соединила меня с ним,
и вновь возник хрупкий олень
с башенкой-шеей, творение мастерства
и пустоты.

"Snowflakes, my mother called them" by Marge Piercy. Copyright (c) 1999 by Marge Piercy and Middlemarsh, Inc. From THE ART OF BLESSING THE DAY: Poems with a Jewish Theme By Marge Piercy. Alfred A. Knopf, Inc. New York. Translated by permission of the author.

ОНА ТАНЦУЕТ НА ШАБЕС ПРИ СВЕТЕ СВЕЧИ

Ты не можешь себе представить,
как мы тогда танцевали, сказала бабушка.
Мы танцевали до дурноты,
танцевали, пока комната не завертится
ханукальным волчком,
допьяна, до головокружения,
пока мы не падали, задыхаясь.

Мы были бедными, рассказывала бабушка.
Несколько картошек, горсть
полусгнивших бобов,
дикая полевая зелень.
Но на шабес мы ели курицу.
Ее кожа золотилась при свете свечи.
Мы пили сладкое вино и взлетали до потолка.

Ты не можешь вообразить, как я его любила,
сказала бабушка. Он был из Санкт-Петербурга,
одет так хорошо, что мой отец не мог поверить,
что он еврей.
Глаза его горели, когда он глядел на меня.
Он цитировал Пушкина вместо Мишны.

Он знал девять языков,
но всё же царь хотел, чтоб он был в армии,
куда евреи уходили, чтоб никогда не вернуться.
Мой отец благословил нас на смертном одре.
Мы прятались под соломенной крышей.
Ты не можешь себе представить:
мы были, как испуганные мыши.

Одиннадцать детей я выносила, сказала бабушка.
Из тех девяти, что выросли,

Я пережила четверых. Теперь я пою тебе в ухо.
Когда ты молишься, я стою рядом.

Вино для Ильи пророка за пасхальным столом –
для меня, которая готовила и никогда не присела.

Теперь я восседаю в твоем компьютере.
Теперь я королева историй, погребенных в пыли.
Я восседаю над свечами твоей памяти,
вызывающих мертвых.
Я касаюсь твоих век, когда ты спишь,
и когда ты просыпаешься,
я в твоем воображении.

"On shabat she dances in the candle flames" by Marge Piercy. Copyright (c) 1998, 1999 by Marge Piercy and Middlemarsh, Inc. From THE ART OF BLESSING THE DAY: Poems with a Jewish Theme By Marge Piercy. Alfred A. Knopf, Inc. New York. Translated by permission of the author.

РЭЙЗЕЛ ЗИХЛИНСКИ (Rajzel Zychlinsky)

Рэйзел Зихлински (1910-2001), известная поэтесса, писавшая на идиш, родилась в польском городе Гомбине. Ее поэзия о Холокосте приобрела широкую известность. Рэйзел получила приз Мангера в Израиле в 1975 г. Одна из немногих живущих поэтов, пишущих на идиш, она много публиковалась и издала 7 поэтических сборников с 1936 по 1993 гг. Ее книга стихотворений «Бог сокрыл лицо свое» была переведена на английский и опубликована в 1997 г.

БОГ СОКРЫЛ ЛИЦО СВОЕ

Все дорогие вели к смерти,
Все дороги.

Все ветра дышали предательством,
Все ветра.

На всех порогах лаяли злые собаки,
На всех порогах.

Все воды смеялись над нами,
Все воды.

Все ночи жирели от нашего страха,
Все ночи.

И небеса были пусты и голы,
Все небеса.

Бог сокрыл лицо свое.

Я ПОМНЮ

Я помню:
Это был день,
Как сегодня.
Я была в парке одна.
Скамейки были пусты и заброшены,
Как будто бы знали,
Что никогда
Никто не будет на них сидеть.
Медленно падали листья...
Каждый лист – еще одна осень.
Тишина стояла вокруг,
Как перед грозой.
В какой стране это было?
В каком городе?
Это был храм
Без Бога
И без молящихся.
И как я выбралась оттуда
И спаслась?

Одно из любимых стихотворений поэтессы было стихотворение о бруклинском соседе, жившем напротив того дома, где жила она. Оно исполнялось Странствующим еврейским театром в Сан-Франциско в спектакле 1989-1999 гг. «Бриллианты на дороге».

НЕГАСНУЩЕЕ ОКНО

Днем я вижу его на улице
В темном костюме,
Побритым,
Причесанным,
При галстуке.
По ночам свет сияет в его окне,
Что напротив моего.
Уцелевший в газовых камерах,
Он проплывает по ночам
Под своим негаснущим окном –
Блуждающий корабль
В океане тьмы,
И ни один порт
Не позволяет ему войти,
Чтоб он мог причалить
и погаснуть.
Только по утрам
Гаснет
Болезненно-желтый свет
Его окна.

МАРК ДОННЕЛЛИ (Mark Donnelly)

Марк Доннелли – американский поэт. Публикуется в американских периодических изданиях. Работает в публичной библиотеке Квинса.

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ТОМУ,
ЧТО БУДЕШЬ СЧИТАТЬ СВОИМ ДОМОМ

Есть в печали момент абсолюта,
как щелчок,
и ты будешь знать, что Это закончилось.
Это время, это летящее время –
уже прощание.

Ты качаешь головой и
плачешь в тишине.
В оцепенении ты не можешь поднять трубку телефона
и позвонить,
не можешь убежать или даже пройти, куда ты хочеiшь,
не можешь проехать на машине
по направлению к тому дому,
к тому месту, той памяти,
которую надо оставить в прошлом.

Эта розовая дверь уже никогда не будет твоей,
как не будут твоими ступеньки,
чьи шатучие кирпичи давным-давно
были прикрыты доской,
чтобы не упасть, не оступиться, не споткнуться.
Ты потешался тогда над ними
как над поводом к примитивному комедиантству,
думал, что ступеньки никуда от тебя не денутся.

Но время не сцепишь скобкой
и не решение – тоже решение.
Иногда боль бывает невыносимой:
что сделал, не сделал, внутренняя грызня,
часы, дни, недели, месяцы.

Сегодня ты бродишь по улицам один, как призрак,
надеясь, что еще не обречен,
надеясь, что откроется новая глава,
ты поднимешь трубку телефона,
пойдешь,

поедешь
по направлению к тому,
что будешь считать своим домом.

ХАННА ЧАРНЫЙ

Ханна Курц Чарный (1931-2002). Ханна Чарный родилась в Вене. Ее отец погиб в Освенциме. В 1938 году Ханна вместе с матерью и сестрой прибыли в Америку. Защитив докторскую диссертацию в Колумбийском Университете, Ханна Чарный преподавала французскую и мировую литературу в Hunter College и CUNY Graduate School.

ИУДЕЙСКОЕ МОЛЧАНИЕ

На иудейских холмах слово
Лежит спрессованным
Завернутым в слои
Веков неизвестной исторической и
Доисторической Памяти
Время скрыто оно испарилось оно превратилось в воздух
Оно течет как по артериям

И солнце играет в свою королевскую игру
За закрытым облаком
Я не могу подумать что я могу видеть
Столь многих столь многих среди кого
Я рада буду исчезнуть
В складках воздуха

Может ли слово быть словом
Когда весь Вавилон языка
Свелся к голубому или зеленому

ДЖАНЕТ КЁРЧХАЙМЕР (Janet R. Kirchheimer)

Стихи Джанет Кёрчхаймер были опубликованы во множестве изданий в США и заграницей. Ее сборник стихов How to Spot One of Us / «Как узнать одного из нас» был высоко оценен нобелевским лауреатом Эли Визелем, Сэром Мартином Гилбертом и многими другими еврейскими общественными деятелями, а также известными американскими поэтами. Джанет преподает в CLAL / The National Jewish Center for Learning and Leadership (Национальном Еврейском Центре Обучения и Лидерства).

МЭРИЯ

«Зачем?» – спросил мой отец. «Что я сделал?
Мне только шестнадцать»,
И жандарм сказал, что если ему

Это не нравится, если он будет еще задавать вопросы,
То они пойдут к нему домой
и арестуют его отца вместо него.
И он увидел своего отца,
который платил налог в соседней комнате,

И не позвал его, боясь, что они арестуют его тоже, боясь,
Что отец захочет занять его место, и
Жандарм сказал, что у него работа,
квота на десять мужчин

И ему всё равно, как он их наберет.
А мой отец знал жандарма,
Учился вместе с его дочерью.
Ему сказали вывернуть карманы, отдать

Все деньги и оружие, и он отдал
Свой перочинный ножичек и сказал жандарму,
Что ему надо пойти в туалет,
и другой жандарм, Вильгельм,
Отвел его в туалет, и он знал Вильгельма тоже.
Он сказал Вильгельму
Не беспокоиться, он не собирается сбежать, и
Вильгельм сказал, что он знает,
но он выполняет свою работу.

Когда мой отец и девять мужчин были уже в грузовике
С надписью «Trink* Кока-Кола», он повернулся и увидел,
Что Вильгельм плакал, как ребенок.

---

* *пить* (нем.)

КОГДА И КАК Я УЗНАЛА

8 лет – Мой отец висит вниз головой на трубе забора, отделяющего соседнюю улицу. Вся мелочь выпадает из его кармана. Он кажется таким молодым.

15 лет – «Было 104 девочки в Израэлитиш Мейчис Уэйсхауз*, сиротском приюте в Амстердаме. Осталось в живых четыре» – рассказывает моя мать. «Я помню нашу руководительницу Юфроу** Фрэнк. Каждое утро она заставляла нас пить рыбий жир. Она говорила, что он полезен для здоровья».

17 лет – Мой отец говорит мне, что его отец и сестра Руфь выбрались из Германии и поехали в Роттердам. Они рассчитывали отбыть 11 мая 1940 года в Америку. Нацисты вторглись 10 мая.
21 год – Моя мать передает мне рассказ тети Амалии. Когда она в 1947 году отправилась в Америку на корабле «Королева Елизавета» после того, как они с дядей Давидом были выпущены из лагеря для перемещенных лиц на острове Мэн, она была такая голодная, что съедала 12 булочек за завтраком. Она говорила, что это было лучшее время ее жизни.

24 года – Мой отец говорит мне: «Отто Рейс выехал из Германии в 1941 году. Он доехал поездом до Москвы, Транссибирской железной дорогой до Владивостока, кораблем до Шанхая, лодкой до Йокохамы, кораблем до Сан-Франциско и автобусом до Филадельфии, оставив свою жену и трех сыновей. Карола Стейн подписала афидевиты*** за них, но правительство сказало, что ее доход недостаточен.

31 год – Двоюродный брат моей матери отказывается принять деньги, которая богатая женщина ему оставила в наследство. Он говорит, что на этих деньгах слишком много крови. Моя мать рассказывает мне, что в 1939 году ее кузен попросил эту женщину подписать афидевиты для его жены и двоих дочерей. Она ему отказала.

33 года – Мой отец просит меня набрать номер телефона. Его руки трясутся. Он спрашивает свою двоюродную сестру Джуди, хочет ли она прислать своих трех детей из Израиля во время войны в Персидском Заливе. Она говорит, что не может их отпустить.

42 года – Официант в Иерусалиме советует моему отцу переехать в Израиль, потому что это – дом. Мой отец отвечает: «Дом – это любое место, куда они вас пустят».

---

* *Israelitisch Meisjes Weeshuis.*
** *Juffrouw – госпожа, незамужняя женщина (голл.). Ребекка Фрэнк погибла в концлагере Собибор.*
*** *Письменное поручительство под присягой, в данном случае за вызываемого из-за границы родственника.*

БОРИС КОКОТОВ

ЛУИЗ ГЛЮК (Louise Glück)

Из книги «Дикий Ирис (Wild Iris)

Луиз Глюк – известная современная американская поэтесса, автор 11 сборников стихов, за которые она получила целый ряд наград. Она избиралась поэтом-лауреатом США в 2002-2004гг.

ВЕСЕННИЙ СНЕГ

Посмотри на ночное небо:
во мне – две сущности, два рода могущества.

Я нахожусь здесь, рядом с вами, в окне,
наблюдая за вами. Вчера
луна поднялась над влажной землёй в саду.
Сегодня земля блестит словно луна,
словно мертвая материя под коркой света.

Можете закрыть глаза.
Я слышал ваши мольбы и мольбы, звучавшие раньше,
и требование, заключенное в них.
Я показал вам то, что вы ищите:
не веру, но капитуляцию перед
властью, полагающейся на насилие.

ПОЛЕМОНИУМ

Прикованные к земле,
не тянулись бы и вы
к небу? Я обитаю
в саду госпожи. Простите меня, леди:
стремление превозмогло мою сдержанность.
Я не то, что вы хотели видеть. Но
подобно тому как мужчины и женщины
желают друг друга, я тоже желаю
знания, полученного в раю – и вот,
к вашему огорчению, голый стебель
вымахал до подоконника.
И что ожидает в конце? Голубой цветок
похожий на звезду. Никогда
не оторваться нам от земли! Не об этом ли
говорят ваши слёзы?

НЕБО И ЗЕМЛЯ

Где кончается одно, начинается другое.
Сверху – голубая полоса, под ней –
зелёная и золотая, зеленая и темно-розовая.

Джона привлекает горизонт: он хочет
то и другое, он хочет
всё сразу.

Крайности просты. Только
середина приводит в замешательство. Середина
лета – всё возможно.

То есть: жизнь никогда не кончается.

Как я могу оставить моего мужа,
в саду, предающегося
такого рода мечтаниям, с вилами в руке,
готовящегося победоносно
объявить об этом своём открытии,

в то время как палящее солнце
застыло неподвижно
целиком поглощенное
пылающими клёнами
на границе сада.

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

Некогда я верила в тебя; я посадила смоковницу.
Здесь, в Вермонте, в стране без лета.
Это была проверка: если дерево выживет,
значит ты существуешь.

Следуя моей логике, тебя нет. Или ты пребываешь
исключительно в местах с более теплым климатом,
в жгучей Сицилии, Мексике, Калифорнии,
где выращивают невообразимые
абрикосы и прихотливые персики. Вероятно,
они видят твоё лицо там, в Сицилии; у нас –
разве что подол твоего одеяния.
Я должна заставлять себя
делиться с Джоном и
Ноахом выращенными помидорами.

Если где-то в другом мире есть справедливость,
те, кого природа принуждает
к умеренности, должны получить
львиную долю от всех вещей,
предметов вожделения – жадность,
обращенная в хвалу тебе. И никто не восхваляет
ревностней чем я, с такой мучительно сдерживаемой
страстью; никто не достоин больше чем я
сидеть по правую руку, если таковая существует,
вкушая от скоропортящейся,
но бессмертной, смоковницы,
которой странствия не под силу.

ПРЕСК АЙЛ

У каждого в жизни бывает момент или два.
Комната где-нибудь на берегу океана или в горах.

Тарелка с абрикосами на столе,
косточки в белой пепельнице.

Как и все образы, эти были условиями соглашения:
солнечный луч на твоей щеке,
моя пальцы, прижатые к твоим губам.
бело-голубые стены, бюро с облупившейся краской.

Комната должно быть ещё существует,
на четвертом этаже,
с балконом, выходящим на океан.
Квадратная комната, простыня свисает с края кровати.
Она не вернулась обратно в пустоту, в реальность.
В открытое окно струится морской воздух,
пахнущий йодом.

Рано утром мужчина кричит мальчику,
чтобы тот выходил из воды.
Маленький мальчик –
ему должно быть лет двадцать сейчас.

Вокруг твоего лица космы влажных волос
с каштановой прядью.
Кисея занавески серебристо мерцает.
В тяжелом кувшине – белые пеоны.

СЕРЕБРИСТАЯ ЛИЛИЯ

Ночи стали холодными снова, подобно ночам
ранней весной, и тихими снова. Причинит ли
моя речь беспокойство? Мы одни сейчас;
нет причин пребывать в молчании.

Полная луна встаёт над садом –
следующее полнолунье я не увижу.

Весной восход луны означал:
время безбрежно. Подснежники
открывались, семена тополей
сбивались в пушистые комья.
Белая на белом, вставала луна над березой,

и в развилке ствола блестели
серебристо-зелёные
листья ранних нарциссов.

Мы подошли слишком близко к концу,
чтобы его страшиться. Я не уверена даже, будто знаю,
что означает конец. А ты, которая была
с мужчиной –

после первых криков, наслаждение, как и страх,
не становится ли беззвучным?.

2/6/2010

ЯН ПРОБШТЕЙН

Нетленная вселенная явлений: П. Б. Шелли. Романтики как предтечи модернизма

Е.Г. Эткинд заметил, что «романтики отошли от традиционной образности. Время, имевшее для них важнейшее значение, утратило надчеловеческую, роковую власть и приблизилось к поэту, приобретя свойства доступности»[1] Если в поэзии классицизма у времени более или менее поступательное движение, где есть начало и конец, прошлое, настоящее и будущее (хотя время может «сгущаться» или двигаться в обратном направлении), то в поэзии английских романтиков, в частности П.Б.Шелли, можно зримо представить, если воспользоваться метафорой Бергсона, «невидимое движение прошлого, которое вгрызается в будущее». В стихотворении «Монблан» (1816) «вселенная явлений» нетленна, «река времен» несет не гибель и забвение, но, озаренная человеческим разумом, является памятью, помогает связать древность и современность, разомкнуть границы времени:

Нетленная вселенная явлений
Несет сквозь разум струи быстрых волн,
Мерцает, отражает мрак и тени,
Но вдруг сверкнет родник, сиянья полн, –
То мысли человеческой исток
Едва журчит, как хрупкий ручеек,
В густых лесах, среди пустынных гор,
Где водопад без устали ревет,
Где с ветром борется могучий бор,
Где вспененный кипит водоворот, –
Река бурлит и рвется на простор.

(Здесь и далее перевод с английского Я. Пробштейна)

Осип Мандельштам считал, что истинная «метафора есть метаморфоза». Таковы метафоры Шелли. Пение древних сосен на склонах Монблана помогает поэту услышать отзвук древности в настоящем, связать воедино цепь событий. Следы стихии, древних землетрясений говорят поэту не только о Могуществе и разрушительной силе природы – они «учат ум пытливый», помогают поэту в настоящем провидеть одновременно и прошлое, и будущее.

Леса, поля, озера и ручьи,
Все, что на чудодейственной земле
Живет, и небосвод, и океан,
Гроза и дождь, и молния в ночи,
Землетрясенье, буря, ураган
И сон без сновидений в зимней мгле,
Объявший нерожденные цветы,
И робость грез, и хрупкие мечты,
Незримых почек яростный рывок
Из ненавистного оцепененья,
Пути людей, их смерти и рожденья,
Все, чем владеть могли б они, их труд, –
Всем существам, что дышат и растут,
Дано родиться и угаснуть в срок.

Однако недоступное, в покое
Живет Могущество от нас вдали,
И этот обнаженный лик земли,
И первозданность гор передо мною, –
Все учит ум пытливый.

Время и пространство – лишь точка опоры для воображения поэта, которое переносит его из одной реальности в другую. Как и в других лучших своих произведениях, в этом стихотворении Шелли свободно преодолевает границы времени и пространства, легко переходя от физического к метафизическому миру, неделимость которых он утверждает своей поэзией, тем самым как бы предвосхищая «перспективизм» Ортега-и-Гассета и теорию Бергсона о протяженности времени. Цитируя английского философа лорда Бэкона, Шелли писал в «Защите поэзии»: «Поэт не только видит следы природы, оставленные на разнообразных явлениях мира, и не только созерцает настоящее как оно есть и открывает законы, по которым оно развивается, но сквозь настоящее поэт провидит будущее, а его мысли – это побеги, из которых произрастут цветы и плоды грядущих времен».

В «Монблане» горная вершина предстает воплощением Мощи и универсального вселенского разума, а река Арв символизирует для поэта «нетленную вселенную явлений». В этом стихотворении Шелли развивает мысли и образы, воплощенные им в более раннем стихотворении «Гимн Духовной красоте», написанном в том же, 1816 г. В «Гимне» красота – не только прекрасная, но и грозная сила, однако на людей падает только отблеск – лишь божественная тень духовной красоты:

Незримой грозной Силы тень над нами,
Над миром реет, миру не видна,
По прихоти своей парит она,
Как легкий летний ветер над цветами,
Как лунный луч, скользит над горными лесами, –
Дано сердца ей покорять,
На всем лежит ее печать,
Как в сумерках закатные тона,
Как тучи тень на звездном своде,
Как дальних отзвуки мелодий,
Как дух гармонии случайной,
Что нам стократ милей своею тайной.
Дух Красоты, гармонией доныне
Дела людские, помыслы, мечты
Ты озарял, куда же скрылся ты;
Зачем, покинув нас, поверг в унынье
В долине мрачной слез, что стала нам пустыней;
Зачем над кручей водопада
Не вечна радуги аркада;
И все вернется в лоно темноты,
И на земной ложится день
И смерти, и рожденья тень,
Надежда, страх, и гнев, и страсть
Зачем над человеком взяли власть;

В последней строфе «Гимна» отображено новое видение Шелли – преодоление им юношеского максимализма и радикализма:

И я поклялся до последних сил
Тебе служить. Ужели пренебрег
Я клятвою; Как прежде, одинок,
Зову на свет из их немых могил
Я тени тысяч дней. Их, призрачных, укрыл
Восторг любви и дум. Виденья,
Деля со мной ночные бденья,
Узнали: быть счастливым я не мог,
Не веря, что ты мир спасешь,
Развеешь рабства мрак и ложь
И дашь, Всесильный, людям то,
Что выразить в словах не смог никто.
Гармонии осенней тишина:
Торжественен и чист полдневный свет,
Сияния такого летом нет,
И в небесах такая глубина,

1 Эткинд Е.Г. Осип Мандельштам – трилогия о веке / Осип Мандельштам. Слово и судьба. – М., 1991. – С.247.

Что кажется потом несбыточной она.
Подобно тишине природы,
Что юные питала годы,
Даруй покой и мир грядущих лет
Тому, кто чтит и образ твой,
И все, в чем дух явился твой,
Кто магией пленен твоей,
Себя презрел и возлюбил людей.

«Гимн духовной красоте», произведение во многом неоплатоническое и пантеистическое, знаменует собой переломный момент в духовном развитии Шелли. Если в юности под влиянием идей французских и английских материалистов, он ставил в центр бытия и вселенной человека, уверовав в его могущество, то впоследствии поэт разочаровался в идеях французских и английских просветителей и основательно занимался философией Сократа и Платона. Переосмысливая взаимоотношения природы, стихии и человека, Шелли не умаляет силы и значения человеческого разума, одно лишь воображение которого и способно одухотворить эту Мощь, но – в единении с ней, дающей ему силу и вдохновение:

Монблан, Загадочная Мощь явлений,
Повелевающая небесами
И ходом наших бренных размышлений,
Таится здесь. Что сталось бы с тобой,
Со звездами, землею и морями,
Когда бы мы безлюдье и покой
Представили бездушной пустотой?

Говоря о романтической поэзии, мы нередко идем на поводу у стереотипного подхода к романтизму, возможно, вспоминаем пушкинского Ленского, который «пел нечто и туманну даль», или представляем бунтарей, индивидуалистов и анархистов, наподобие героев «Разбойников» Шиллера. Романтики, прежде всего, восстали против общепринятых идей, касающихся взаимоотношений человека и общества, человека и природы, человека и Бога, идеи и реальности, чувства и мысли, места человека во вселенной. Английские романтики восстали против социальной несправедливости, работорговли, в которой ведущее место принадлежало Англии, крупнейшей колониальной державе 17-18 века, против эксплуатации детского труда, о котором так проникновенно написано в «Песнях опыта» гениального английского поэта и художника Уильяма Блейка, предтечи романтизма.

Как известно, зарождению романтизма предшествовали революционные, социальные, экономические изменения, произошедшие в Европе в 17-18 веках: взятие Бастилии и французская революция, пробуждение социального и национального самосознания, изобретение паровой машины и зарождение капитализма. Явления, произошедшие в Европе в 17-18 веках, родственны тем, которые произошли в конце 19-го – начале 20 века и предшествовали зарождению модернизма, – изобретению телефона, телеграфа, аэропланов. Альберт Эйнштейн открыл в 1905 г. теорию относительности, что оказало влияние не только на развитие науки, но и литературы и искусства. Сократились расстояния, быстрее и теснее стала связь между людьми, вера в возможности человеческого разума опьяняла, вселенная в человеческом сознании раздвинулась, а земля начала казаться меньше, человечество представлялось единой семьей перед Первой мировой войной. Это дало мощный толчок зарождению модернизма и авангарда в искусстве Европы начала 20 века. Не случайно, такие исследователи литературы и философы, как Ортега-и-Гассет, Ренато Поджиоли и многие другие находили общие черты между романтизмом и модернизмом, считая романтиков предтечами модернизма. Прежде всего, это была идейная, духовная близость: предвосхищение будущего, жажда демократии и равенства, утверждение демократического искусства, близость в понимании задач искусства и литературы – вот что сближает романтиков и модернистов. Революция романтиков – это духовная революция, которая отразилась и в их подходе к творчеству. Романтики порвали с традициями классицизма, персонификацией абстрактных добродетелей и пороков: следуя за сентименталистами, они обратились к человеку, миру его чувств и реальности, окружавшей его. Они расшатали не только общепринятые взгляды на человека и общество, но и традиционные классические формы, синтаксис, рифмы и ритмы, саму музыку поэзии, изменили язык и словарный состав ее, а старые формы наполнили новым содержанием, так например, Байрон и Шелли пользовались Спенсеровой строфой в больших повествовательных произведениях. В эпоху романтизма изменилось отношение и к самой поэзии – ее целям и задачам.

«Поэты – непризнанные законодатели мира», – писал Шелли в «Защите поэзии». В этой своеобразной декларации поэта выражена и цельность его мировосприятия, и его страстная вера в могущество поэзии, в которой, по его убеждению, полнее всего выражается духовная жизнь человека, его воображение, способность любить и творить. Эссе Шелли явилось ответом на памфлет «Четыре века поэзии» поэта и критика Пикока, в котором тот утверждал, что поэзия была естественным выражением образа мыслей примитивных народов, но с развитием цивилизации она утрачивает свое значение и вытесняется наукой. «Поэзия – это летопись лучших и счастливейших мгновений, пережитых лучшими и счастливейшими умами, – отвечает Шелли. – Поэзия дает бессмертие всему, что есть в мире лучшего и наиболее прекрасного... Любовь – вот суть всякой нравственности. Любовь или выход за пределы своего «я» и слияние с тем прекрасным, что заключено в чьих-то, не наших, мыслях, деяниях или личности, – утверждает Шелли и продолжает: «Воображение – лучшее орудие нравственного совершенствования, и поэзия способствует результату, воздействуя на причину... Поэзия расширяет сферу воображения».

Не ограничиваясь стихотворством, Шелли находит истинную поэзию в истории и философии, во всех видах человеческой деятельности, озаренной воображением, любовью, величием помыслов и духовными устремлениями. «Подлинная поэзия Рима жила в его гражданских установлениях, ибо все прекрасное, что в них было, могло порождаться только тем началом, которое творило самый этот порядок вещей»[2], – пишет Шелли и, выделив кульминационные моменты римской истории, заключает: «Все это – эпизоды циклической поэмы, которую Время пишет в памяти людей. Прошлое, подобно вдохновенному рапсоду, поет ее вечно сменяющимся поколениям»[3]. Поэзия же – квинтэссенция памяти, истории, воображения, любви, – утверждает Шелли. Говоря о том, что Данте первый пробудил Европу, даровал ей видение, философию, из «хаоса варваризмов создал язык, который сам по себе был музыкой и красноречием», Шелли заключает: «Поэзию Данте можно считать мостом, переброшенным через поток времени и соединяющим современный мир с античным»[4]. Отдавая дань философии и деятельности Локка, Хьюма, Гиббона, Вольтера, Руссо и их последователей «в защиту угнетенного и обманутого человечества», Шелли пишет: «Однако невозможно себе представить нравственное состояние мира, если бы не было Данте, Петрарки, Боккаччо, Чосера, Шекспира, Кальдерона, лорда Бэкона и Мильтона, если бы никогда не жили Рафаэль и Микеланджело, если бы не была переведена древнееврейская поэзия, если бы не возродилось изучение греческой литературы, если бы образцы античной скульптуры не дошли до наших дней, если бы поэзия античных богов исчезла вместе с их культом»[5]. Одна лишь поэзия и способна пробудить человеческий разум, освободить человека от рабства и возвысить дух. Развитие наук, которое «расширило власть человека над внешним миром, из-за отсутствия поэтического дара, со-

2 Шелли П.Б. Защита поэзии / Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980. - С.331.
3 Там же. С.331.
4 Там же. С.339.
5 Шелли П.Б. Защита поэзии / Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980. - С.343.

ответственно сузило его внутренний мир, поработив стихии, человек сам при этом остается рабом»[6]

Шелли говорит о том, что «язык поэта жизненно метафоричен, то есть он подмечает прежде неизвестные отношения между вещами и сохраняет их понимание, пока слова, выражающие их, не превращаются со временем в знаки определенного рода или класса мыслей вместо того, чтобы запечатлевать образы мыслей в их цельности, и поэтому, если не появятся новые поэты, чтобы, обновляя, восстановить распавшиеся связи, язык умрет для всех *благороднейших целей человеческого общения*»[7]. (Выделено мной. – *Я.П.*). Стало быть, обновляя язык, расширяя его границы, поэт тем самым связывает явления и мысли, бытие и время воедино, поэт не только запечатлевает следы прошлого, но и провидит будущее сквозь настоящее. Вот почему Шелли заявил, что «поэты – учредители законов и основатели общества»[8].

ЯН ПРОБШТЕЙН

ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ (1792 – 1822)

МОНБЛАН

I.
Нетленная вселенная явлений
Несет сквозь разум струи быстрых волн,
Мерцает, отражает мрак и тени,
Но вдруг сверкнет родник, сиянья полн, –
То мысли человеческой исток
Едва журчит, как хрупкий ручеек,
В густых лесах, среди пустынных гор,
Где водопад без устали ревет,
Где с ветром борется могучий бор,
Где вспененный кипит водоворот, –
Река бурлит и рвется на простор.

II.
Долина Арва – мрачная долина,
Ты многоцветна и многоголоса,
Здесь тени туч летят стремглав с угеса,
Паря над бездной, – жуткая картина,
И солнца луч скользит над ледником,
Который опоясал тайный трон, –
Здесь Мощь явилась в образе твоем,
Зарницы озаряют темный склон,
Как молнии в грозу, и над тобой
Нависли сосны мощной чередой,
К ним, детям древности, как древле, мчится
Ветров бесчисленная вереница,
Спеша испить смолистый аромат,
Услышать хор могучих песнопений, –
Торжественных созвучий древний лад,
И, обнимая ширь твоих владений,
Простерлись своды радужных аркад,
Охватывая быстрое струенье
Воздушных водопадов, чьи покровы
Скрывают смутный образ: странный сон,
Когда угаснут голоса пустыни,
Окутывает мир со всех сторон
Глубокой вечностью, но вмиг готовы
Откликнуться смятению в долине
Ущелья долгим громовым раскатом,
Его по тропам ты ведешь крылатым,
И громыхает эхом котловина, –
Наполнена движеньем постоянным,
Ты головокружительна, Долина!
Казалось, я возвышенным и странным
Восторгом был охвачен, и во мне
Мечты рождали мысли, но извне
Вливалась в разум череда видений,
И я в круговороте непрестанном
Вбирал незамутненный мир явлений.
Дум необузданных крылатый рой
То воспарит над мглой, то в тихий грот
Волшебницы-Поэзии войдет,
Меж духов и меж теней всех созданий
Твой призрак ищет, смутный образ твой,
Ты в этом гроте всех гостей желанней,
Роясь, витают мысли средь мечтаний,
Пока назад их сердце не зовет.

III.
Иные полагают, что лучами
Далекий мир к душе снисходит спящей,
Что смерть есть сновиденье, вечный сон,
Видений сонм, числом превосходящий
Земных и бренных мыслей легион,
При жизни властвующий над умами.
Я глянул вверх: неужто в вышине
Какая-то неведомая сила
Над жизнью и над смертью приоткрыла
Завесу? Или вижу я во сне,
Как зыблет недоступными кругами
Мир сновидений более могучих,
Так, что и дух, как облачко на кручах,
Трепещет под незримыми ветрами?
А надо всем, пронзая свод безбрежный,
Монблан стремится ввысь вершиной снежной,
Вокруг теснятся гор подвластных цепи,
Сверкает ледников великолепье,
Ущелья и широкие долины
Таят неизмеримые глубины,
Как синь небес, ручьи во льдах сияют –
Пустыня, где лишь вихри обитают,
Да рыщет волк, да устремится ввысь
С останками охотника орел, –
Ужасный край: высокогорен, гол
И мрачен – скалы в небо вознеслись,
Везде расщелины, следы крушенья,
Не здесь ли древний дух Землетрясенья
Учил дитя-Погибель? Может, это –
Игрушки их? Промчалось, может, пламя,
Как море, над безмолвными снегами?
Здесь вечность спит. Никто не даст ответа.
Пустыня, твой таинственный язык
Сомненью учит нас или такой
Торжественной, прозрачной, тихой вере,
Что если б человек его постиг,
С природой жил бы в мире. Голос твой,
Великая Вершина, отменяет
Законы лжи и горя – понимает
Его не каждый – в столь высокой сфере
Лишь тот постичь способен твой закон,
Кто сердцем добр, возвышен, умудрен.

IV.
Леса, поля, озера и ручьи,
Все, что на чудодейственной земле
Живет, и небосвод, и океан,
Гроза и дождь, и молния в ночи,
Землетрясенье, буря, ураган
И сон без сновидений в зимней мгле,
Объявший нерожденные цветы,
И робость грез, и хрупкие мечты,
Незримых почек яростный рывок
Из ненавистного оцепененья,
Пути людей, их смерти и рожденья,
Все, чем владеть могли б они, их труд, –
Всем существам, что дышат и растут,
Дано родиться и угаснуть в срок.
Однако недоступное, в покое
Живет Могущество от нас вдали,
И этот обнаженный лик земли,
И первозданность гор передо мною, –
Все учит ум пытливый. Ледники,

---

6 Там же, с.343.
7 Shelley P.B. A Defence of Poetry / Shelley's Poetry and Prose. A Norton Critical Edition /Donald H. Reiman and Sharon B. Powers, eds. New York-London: 1977. – P. 482. (Перевод мой – *Я.П.*)
8 Там же. С.508.

Как змеи за добычею из нор,
Ползут, не торопясь, по склонам гор,
Где солнце и Мороз нагромоздили,
Как бы в пренебреженье к бренной силе,
Громады ледяные – высоки
Зубцы и шпили, башни, купола,
Незыблемые стены возвела
Столица смерти – нет, не город все же:
Руинами усеяна теснина,
В движенье вечном катится лавина
По склонам гор от края небосклона,
Гигантских сосен строй встречает с дрожью
Лавину льда – там, где прошла она,
Земля истерзана, обнажена,
Расщеплены деревья, непреклонно
Между живым и неживым граница
Отодвигается: и зверь, и птица
Стремятся прочь, и в страхе человек
Жилище покидает навсегда.
Стихия сокрушает без труда
Следы его трудов, и, взяв разбег,
Потоки неуемно мчатся с кручи
Из тайных бездн – в долину, чтоб могучей
Рекою стать и донести дыханье
Далеких и возвышенных краев
До океанских вод и в океане
Навек смешаться с ревом бурунов,
Поток воздушный напитав парами.

V.
Монблан стоит, блистающий снегами,
Торжественно-спокойной полон мощи,
Даря многообразные виденья,
Многоголосьем оглушив долины,
Загадку жизни, смерти и рожденья
Скрывая в тишине безлунной ночи
И в блеске дня, срываются с вершины
Сокрытые от глаз людских лавины.
Горящие закатными огнями,
Пронизанные звездными лучами,
Они смиряют буйный нрав ветров,
Боряцихся в тиши. Храня свой кров,
В высоких одиночествах клубится
Невинная безмолвная зарница.

Монблан! Загадочная Мощь явлений,
Повелевающая небесами
И ходом наших бренных размышлений,
Таится здесь. Что сталось бы с тобой,
Со звездами, землею и морями,
Когда бы мы безлюдье и покой
Представили бездушной пустотой?

1816

ОДА НЕБУ

Первый дух:
Край безоблачных ночей,
Кладезь золотых лучей,
Вечный купол над вселенной,
Был и будешь та всегда,
Беспредельный свод нетленный,
Дом извечных Где, Когда,
Дивный храм, дворец дворцов,
Всех времен обитель, кров
Дел грядущих и веков!

Землю к жизни ты воззвал,
Свет великой жизни дал
Сонму звезд в бездонных безднах,
И косматые планеты
Носятся в пучинах звездных,
Ты зажег миры, планеты,
Пламень солнц в ночной стихии,
Блещут луны ледяные
И светила огневые.

Даже имя твое свято,
Небо, Свет и отблеск света
Вышнего, где, как в зерцале,
Отразился человек,
И тебя обожествляли
На земле за веком век
Люди, преклонив колени, –
Сгинут боги, поколенья,
Ты один избегнешь тленья!

Второй дух:
Юных разумов приют,
Их мечты к тебе прильнут,
Словно мошки льнут к стеклу,
Ослепленные зарницей, –
Старый мир сойдет во мглу,
Воссияет над гробницей
Новым светом мирозданье
И твое затмит сиянье,
Как былой мечты мерцанье.
Третий дух:

Мир! Ты хаосу смешон,
Ты из атома рожден –
Что есть Небо? И что – ты?
Что есть солнца и светила?
Вас на миг из пустоты
Создала благая Сила –
Пыль среди пучин смятенных,
Словно капли в тонких венах,
Промелькнете во вселенных!
Что есть Небо? Сфера, свод –
Росы на заре прольет,
И, раскрыв глаза, цветок
В мире непостижном зрит
Раскаленных солнц поток
В беспредельности орбит –
Миллионы звезд, планет,
Оставляют зыбкий след,
И, мерцая, гаснет свет.

1819

ВИДЕНИЕ НА МОРЕ

Это бури разгул. Лоскута парусов
Бьются немощно в бешеной пляске ветров,
И в ночи непроглядной, как потоп Преисподней,
Хлещет сумрачный ливень по воле Господней.
В блеске молний чернеет смерчей крутизна:
Достают до небес, восставая со дна,
И кренятся, как будто обрушилась твердь,
Тщатся водные башни ее подпереть
И дрожат от натуги. Воды алчно раскрыли
Чрево мрачной пучины. В бездонной могиле
Смерчи сгинули с ревом глухим. В этот миг
Стихли громы и волны. Послышался крик:
Эхо вторило ветру. Судно грянуло с кручи
И металось по дну, и в грохочущей туче
Скрывалось, и, с волны устремляясь отвесной,
Срывалось, поглощенное вспененной бездной.
И недвижные, немо зияли глубины,
И нависли, как стены бездонной равнины,
Толщи мутно мерцавших и зыбких зеркал,
И, обрушившись россыпью звезд, ослеплял
Жутким блеском, сиянием адских огней
Грозный шквал, извергались фонтаны смерчей,
Вал над валом вставал из кипящей пучины,
Пирамидам подобно, взмывали вершины,
Полыхали на них огневые зарницы
И буравили небо. Готов расщепиться
Был, казалось, корабль, и в коловращенье
Носился, и, словно землетрясенье
С корнем вырвало дерево, бриг затрещал:
Вихрь его завертел, и безумствовал шквал.
С неба хлынул поток раскаленных шаров,
Тотчас мачту обуглив и вмиг расколов.
Хлещет в щели погибель. Неживая громада,

Словно труп средь песков, что приметы распада
Заметают усердно, качалась средь волн.
Был уже до краев трюм расколотый полн, –
С треском вздыбился палубы нижней настил,
Будто лед на озерах весной растопил
Зной пустыни. Но кто на другой уцелел?
Друг на друге распластаны грудою тел,
Как в могиле одной, у фок-мачты лежат
Все матросы. Поодаль от страха рычат
Тигры, два близнеца, покорились стихии
Прежде буйные хищники, ныне – ручные.
Кто остался еще на дощатом настиле?
Девять долгих недель пролежал в мертвом штиле
Стройный бриг. Ярость солнца губила их днем,
И, казалось, луна полыхала огнем.
Но клубился свинцовый туман в глубине:
Вспыхнул мор и пополз, будто порча в зерне,
Расползалось повсюду дыхание гнили,
В парусиновых саванах к борту тащили
Полумертвые мертвых. Свирепствовал мор.
И бросали умерших в кишащий простор,
Где шныряли акулы и саваны рвали,
Словно манной небесною их осыпали,
Как Господь иудеев в пустыне. Безлюдно
Стало вдруг на борту многолюдного судна,
И когда собралось войско туч грозовых,
Только семеро их оставалось в живых.
Шестерых из них молния насмерть сразила:
Почерневших, как мумий, на досках настила
Всех отметило Время глумливым клеймом,
И засел, будто острая пика, в седьмом
Обломок от мачты: на руине – руиной,
Словно символ крушенья, он повис над пучиной.
Кто еще? Только женщина, что затмевает красой
Звездоокое небо, когда над водой
Солнце стелет свои золотистые кудри, –
Защищая дитя от неистовой бури,
Белокурого мальчика держит она,
У руля притулившись. Ребенку смешна
Ярость грома и моря, при виде зарницы
Он хохочет и тигров зовет порезвиться.
Радость брызжет огнем из мальчишеских глаз,
Скорбной матери взгляд безвозвратно угас.
«Успокойся, дитя, и засни глубоко –
В сладком сне тебе вынести будет легко
Все мученья, что посланы страшной судьбой,
Но страшнее стократ, что ты должен со мной
Разделить их... Забвение. Сон. Неужели
Ты навеки уснешь в ледяной колыбели?
Что есть жизнь? Что есть смерть?
Что есть мы, если в час,
Когда судно потонет, не станет и нас?
Неужели тебя больше не обниму,
После жизни, как перед рожденьем, во тьму
Погрузившись? Неужто теперь навсегда
Твой смеющийся облик отнимет вода?
Нежность губ, ясность глаз, безмятежность чела, –
Дух прекрасный, которого сыном звала,
Ты померкнешь, как радуга, следом исчезну
Я, пролившись дождем в беспощадную бездну!»
О Боже, корабль, зарываясь в волну,
Идет, завалившись налево, ко дну.
От ужаса тигры рванулись на месте,
Встопорщились ости негнущейся шерсти,
И хриплый, протяжный, раскатистый рык
Вершин многоводной равнины достиг,
Раскатами грома гремел среди скал
И ливень грохочущий перекрывал.
Ураган, подхватив этот рык, пересек
Змеей стреловидной бурлящий поток
И, мчась на восток, из бездны кипящей
Рванулся, как слон, выдираясь из чащи,
И черным орлом прокричал в вышине,
Меж небом и морем, подобно волне,
Взметнулся до туч на краю мирозданья,
Подобных колоннам, – у основанья
Лежал океан, и бури чертог
Поверг ураган, и тучи рассек.
Так рвется поток сквозь гористые кряжи,
А тучи подобны разорванной пряже,
Подобны руинам упавшего храма
И праху, что вихри взметают упрямо,
И там, где завесу прорвал ураган,
Лучи пронизали свинцовый туман,
Заря разгорелась, блистаньем одета,
Сплоченные армии солнца и света
На приступ идут и, не зная преград,
Клинками хрустальными темень разят,
И ветры сложили усталые крылья
И ярость смирили, уснув от бессилья,
И сгинули в лоне вздымавшихся вод,
И по морю прочь в страшной славе идет
Разбитая буря, клубясь над водой,
Клубы превращаются в пар золотой
Под пламенем солнца. Так страсти порыв,
Ласковой силой своей укротив,
Смиряет Любовь. И вширь простирая
Владенья свои от края до края,
От Атласа к Андам, вокруг островов,
Несет океан свой печальный улов
Обломков. И небо улыбкой лазури
Прикрыло дрожащую гладь после бури,
И зыблется мир многоводный. Но где
Корабль? Накренившись, лежит на воде:
Тигр сцепился свирепо со змеем морским,
В дикой схватке ярится, но кольцам тугим
Уже не разжаться. И мощные кости
Хрустят, но клыки и могучие когти
Рвут кольца. Над зыбью безмолвной
Рев, грохот, шипенье, – так ветры и волны
Гремят, попадая в железные зубы,
И в гром размолов их, двигатель грубо
Швыряет раскаты стозвучного гула.
В голубом океане – голубая акула,
Плавники, словно крылья. Живая гробница
Ждет победителя. И пытается скрыться
Брат погибшего тигра – в безумный рывок
Все отчаянье тщетно вложив: грозный рок
И над ним тяготеет. Но Боже, плывет
Быстроходная шлюпка среди вспененных вод,
И на весла двенадцать гребцов налегли.
На корме трое метких стрелков: обожгли
Горячими пулями тигра, и вот
Последний приют и погибель средь вод
Ждет зверя. А женщина левой рукой
В обломок вцепившись, глядит пред собой,
А правою держит дитя, и в глазах
Безумных ее отражается Страх,
Смерть, Любовь, Красота – все смешалось вокруг
И дрожит на ветру: полыхает испуг
В лихорадочных жестах, на светлом челе, –
Метеор над водой так сверкает во мгле,
И лепечет, шалит, улыбаясь, дитя,
И стихия глядит, улыбаясь, хотя
Буйство бури скрывает обманчивый взгляд,
Словно брат и сестра, друг на друга глядят
Они до поры...

1820

ЕКАТЕРИНА СОКОЛОВА

УОЛТЕР ДЕ ЛА МЭР
Walter de la Mare (**1873 – 1956**)

СЕРЕБРЯНОЕ

Медленно тихо в полночной поре
Вышла луна, башмаки в серебре;
То скроется вдруг, то покажется редко,
Серебряный фрукт на серебряной ветке;
Заглянет в чужие окошки неслышно,
Серебряный свет оставляя под крышей;

В своей конуре уставший щенок
Дремлет в объятьях серебряных снов;
И белые голуби, часто дыша,
Летают в крылатых серебряных снах;
Мышь, пробегая, блеснет здесь подчас,
Серебряный коготь, серебряный глаз;
И сонная рыба в мерцанье ручья
Застыла, в камыш серебристый зайдя.

АНАТОЛИЙ ЛИБЕРМАН

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ СОНЕТОВ ШЕКСПИРА

В елизаветинской Англии все, кто умел рифмовать, писали сонеты, и многие очень хорошо. Но уже современники оценили поэта (а не только драматурга) Шекспира, а после его смерти любая строчка, вышедшая из-под его пера, вызывала ни с чем несравнимый интерес. Сонеты и в самом деле замечательны. Непостижима изобретательность Шекспира. Бесконечно повторяется одно и то же утверждение: ты прекрасен, мы ничто по сравнению с тобой, но (самоуничижение паче гордости), хотя мне лежать в самой скромной могиле («как у всех»), мои стихи бессмертны, и ты в них будешь жить вечно (на самом деле Шекспиру поставили роскошный памятник, а кто скрыт за инициалами Mr. W.H. – ему посвящены сонеты, – так и осталось предметом бесчисленных гипотез). Или: ты прекрасен, но красота не вечна; только в детях сохранится твой нынешний блеск. Через множество сонетов проходит тема измены с одним и тем же поворотом: пусть нас судят – я выступлю на твоей стороне, так как защитить тебя важнее для меня, чем спастись от жестокого приговора. Любимые мысли варьируются в метафорах судопроизводства и финансовых операций, в сравнениях с природой, в обращениях к быстротечному, но остановленному поэтической строкой времени и в прозрачных намеках на физиологию любви. Не следует увлекаться гомосексуальной темой. В ту эпоху среди поэтов было принято говорить о преклонении перед мужчиной в тех же словах, в которых описывались чувства к женщине.

В России Шекспира переводили неоднократно (почти целиком перевел их, например, Модест Ильич Чайковский, брат композитора), но славу принес им Маршак. Однако восторги по поводу его переводов, местами удачных, заслужены не вполне. Маршак разжижил оригинал, ослабил образность, «закрученные периоды» распрямил, пренебрег каламбурным эффектом многозначных слов (важный для Шекспира прием) и не заботился о не менее важном повторении слов в одном и том же сонете. Конец № 20 без стеснения намекает на мужские причиндалы героя (вплоть до использования глагола prick). Говоря о том, как дорог для поэта предмет его восхищения (№ 87), Шекспир обыгрывает dear «дорогой, любимый» и dear «дорогой, стоящий непомерно много». В № 81 он дважды употребляет неясную фразу from hence «отсюда». Сначала кажется, что from hence – это «из жизни», потом начинаешь догадываться, что from hence значит «от моих стихов», и в конце понимаешь, что имеется в виду и то, и другое.

Для Маршака эти тонкости не существовали. Кроме того, он пренебрег вариациями мужской и женской рифмы, для русского перевода несущественными, за исключением тех случаев, когда Шекспир, как правило, пользовавшийся мужской рифмой, неожиданно переходил на женскую (как в №№ 20 и 87, а в других случаях оба типа рифмы чередуются в одном и том же сонете), и не чурался рифм вроде *(друг мой) милый / могилой, ясный / прекрасный* и *ты / черты / красоты*.

Создается ощущение, что в дело пошло все, что попало под руку. Конечно, и Шекспир рифмовал me / thee и treasure / pleasure, но на этих парах, уже тогда избитых, не было того приторного налета, который неотделим от *милый / могилой* и прочих для читающих по-русски в наше время (это, как *совесть / повесть* – навсегда закрепленные за Лермонтовым – и *бури / лазури*). Не беспокоило Маршака и то, что даже и у Шекспира некоторые сонеты – шедевры, подавляющие все остальные (например, №№ 26, 27, 30, 35, 71-74, 94, 129), стихи, не имеющие себе равных в мировой поэзии. В переводах все 154 сонета звучат одинаково: и те, в которых слышна жалоба, и те, в которых от страсти горит бумага. И совсем уж непростительно, что сонеты, адресованные мужчине, он иногда переадресовывал женщине. Только в цикле, обращенном к «смуглой леди», позволительно пользоваться женским родом. Поэтому его переводы, хотя и монополизировали рынок, не отпугнули тех, кто решил начать сначала: всем хотелось сравняться с оригиналом.

Содержание сонетов (то есть их прозаическое резюме) – сплошная банальность, но смысл лирики не в идеях, а в словах. Я знаю о существовании новых переводов, но, к сожалению, не читал их. (Обычно, переведя стихотворение на русский, на английский ли, я стараюсь раздобыть издания моих предшественников, и если что-то совсем уж бессовестно совпадает, переделываю. Однако иногда контекст подсказывает столь очевидный ход, что у всех получается одно и то же. До отъезда из России я перевел 26 сонетов. Десять из них были опубликованы в петрозаводском журнале «Север»; вся подборка вошла в мой сборник «Врачевание духа» (New York, 1996). После почти сорокалетнего перерыва я вернулся к сонетам Шекспира. Ниже предлагаются переводы, сделанные осенью 2009 года.

9

Из страха ль, что вдова слезу прольет,
Ты холостяцкой жизнью не смущен?
Но если в мире твой угаснет род,
Тебя оплачут, как безмужних жен.
Тогда вдовой и будет мир рыдать,
Что нет подобья твоего меж нас –
И сирых вдов коснулась благодать
Отца увидеть в блеске детских глаз!
Растратчик мир плодами мотовства
В других руках воспользуется шире,
Но красота недолгий срок жива:
Запри ее, и нет ей места в мире.

Знай, себялюбец: красота для всех;
Скрывать ее – позор и смертный грех.

10

Позор! Ответь мне: ты любви не враг ли?
Ты о себе не ведаешь заботы.
Не спорь: любим ты многими, не так ли?
Но ясно всем: не любишь никого ты.
Ответ смертельный, злой ответ я слышу;
Ты на себя готовишь покушенье
И рушишь чудно сделанную крышу;
Чинить ее – твое предназначенье.
Не будь таким, избавь меня от казни;
Пусть расцветет твоя душа, как внешность.
Любовь не служит злу и неприязни.
О, прояви к себе хотя бы нежность!

Любя меня, на милость гнев смени:
Свой блеск в себе и детях сохрани.

18

Весна красна. Сравню ль тебя я с нею?
И в мае листья знают вихрей злость,
А ты весны прелестней и нежнее;
Она к тому же слишком краткий гость.
То неба глаз сжигает нивы наши,
То блеск его бывает затемнен;
Красивые не делаются краше:
Природы и беды жесток закон.
Но ты и красота неразделимы,
И не померкнет вечная весна;
Хвастливой смерти тень промчится мимо,
Строками этими побеждена.

Пока даны нам зрение и слух,
Сонет мой будет жить, а в нем твой дух.

20

Румяней женщин (щедрый дар природы) –
Моих страстей герой и героиня –
И с женским сердцем, но бегущим моды:
В нем лживости нет женской и в помине.
Твой ярче взгляд, но честный, не игривый,
Под ним и мрак ложится золоченным;
В тебе всех форм и красок переливы
Мужьям на зависть, на погибель женам.
Ваяя женщину, с собою в споре,
Природа кончила, залюбовалась
И долепила нечто мне на горе,
Не для меня задуманную малость.

Ты вычленен для женщин – их и радуй,
А мне оставь свою любовь в награду.

22

Я не состарюсь зеркалу назло,
Пока ты светлой юности ровесник.
Но борозды, измяв твое чело,
И сквозь меня пройдут, как смерти вестник.
Покровы сердца моего – твой дар.
Оно из красоты твоей соткалось
И, в грудь твою войдя, в тебе осталось.
Конечно, молод я, раз ты не стар.
Будь бдителен, не рви того, что тонко.
Смотри: тебя, а не себя храня,
Я клад лелею, вложенный в меня,
Как от болезней берегут ребенка.

Мой дар тебе был без возврата дан;
Не мучь его, умершего от ран.

27

Когда усталый я ложусь в постель,
Чтоб сладкий отдых телу дать в пути,
Для новых странствий ум находит цель
И мысли в даль стремится увести.
Толпой паломников они спешат
Туда, к тебе, в земли иной конец.
В ночную тьму, вперяя жадный взгляд,
Я вижу то, что видит и слепец.
Я зреньем внутренним, пронзая мрак,
Незрячим оком вижу призрак твой;
Он, как бриллиант, как утра светлый знак,
Мглу ночи заменяет синевой.

Что дух, что плоть, что темнота, что свет,
Покоя нам не может быть и нет.

28

Как быть могу я весел и здоров?
Покой мое не посещает ложе.
Не лечит мук дневных ночной покров –
Что день, что ночь; что ночь, что день – всё то же.
Враги друг другу, свет и темнота,
Чтоб истязать меня, сплетают руки:
Страданьем тот и жалобами та
На то, как стражду я, как бьюсь в разлуке.
Дню говорю я: «Пусть придет затменье –
Любую тьму рассеет он собою»;
Шепчу беззвездной ночи в утешенье:
«Когда он рядом, небо голубое».

Но с каждым днем дневная боль сильнее,
А ночью – ночь, и путь к тебе длиннее.

33

В сиянье видел утро я не раз,
Осыпавшее золотом вершины;
Целует с высоты монарший глаз
Зеленый дол и темные стремнины.
Бывает туч чернейших череда
Замажет неба блещущее око,
И видит безутешный мир тогда,
Как гонит ветер скрытый свет с востока.
Однажды утром было так со мной.
Лишь для меня взошло мое светило;
Недолго длился благодатный зной:
Густые облака сверканье скрыло.

Но и с пятном возлюбленный приятен:
Земному солнцу как прожить без пятен!

34

Ты обещал мне, что я в путь пойду
При ярком солнце: «Плащ оставь другим».
Но злобных туч я вижу череду,
И скрыл твой светлый лик зловещий дым.
Твой редкий взгляд в разрыве туч – обман;
Пусть на лице от ливня капель нет,
Что проку в мазях, лечащих от ран,
Когда не смыт от униженья след?
Нет снадобья от горя моего;
Твое раскаянье – красивый жест.
Обидчик плачет? Что мне до того?
Извечна мука и бессрочен крест.

Ах нет! Как жемчуг, каждая слеза;
Бесценен выкуп, и прошла гроза.

36

Я так скажу тебе: хотя нас двое,
Делим ли разделенных чувств союз?
На мне есть пятна. Я их не отмою;
Ты не поможешь мне нести их груз.
Сильно добро – меж любящими нить;
Сильно и зло, не знающее права:
Любви оно не может отменить,
Но, где оно, там горькая отрава.
Тебя увидев, мимо я пройду;
Позор оплакан – что нам делать рядом?
И ты пройдешь, чтоб отвести беду,
И честь свою не запятнаешь ядом.

Мне эта перемена не нужна!
Раз мой ты весь, молва о нас одна.*

---

* Та же концовка повторена в № 96. Причины этого повтора обсуждались многократно, но без успеха. Все согласны, что здесь такое заключение более уместно, чем в № 96. Однако только там в ней та же рифма, что в строках второй и четвертой.

49

Пока тот день не наступил для нас,
Когда любовь, не вняв моей заботе,
Грехам, нахмурясь, подведет баланс
Вернее, чем в финансовом отчете;
Когда (случится ль это?) ты пройдешь,
Согрев лучами глаз твоих другого,
И для любви я стану нехорош
И веско лягут обвиненья снова;
Пока тот день не наступил, в войне
За то, кто без греха, мы с миром квиты.
Но я борюсь с самим собой, и мне
Не быть в суде свидетелем защиты.

Закон: обратно друга не зови;
Бессильна казуистика в любви.

57

Твой раб, я времени веду отсчет
Лишь по твоим часам – что день, что вечер;
Без дел твоих нет у меня забот,
И сутки больше мне заполнить нечем.
Тягуче время. Это не упрек:
Следить за ходом стрелок негодуя,
Сердиться на тебя какой мне прок?

Хозяин, ты велел мне ждать, и жду я.
И мысль моя ревниво не бежит
Тебе вослед: что делаешь, и где ты?
Печальный раб пространство сторожит
И рад: тобой твои друзья согреты.

Любовь, как шут; всем дураку ты мил:
Закон – лишь то, что ты постановил.*

---

* Строка 13 кончается словами in your will. Делались попытки каламбурно связать will с Will, именем Шекспира, как в номерах 135, 136 и 143. Здесь эта игра слов крайне маловероятна, но, на всякий случай, я закончил перевод слогом *вил*.

58

Избавь меня продавший в рабство бог*
От мысли направлять твои желанья,
Следить ревниво, где и с кем ты лег:
Вассал лишь исполняет приказанья.
Позволь же мне остаться взаперти,
Блаженствуя (ты избежал неволи!),
Привычно оскорбление снести
И не искать в тебе причину боли.
Не отменить твоих прерогатив,
И не тебе давать другим отчет.

Ты вправе, самого себя простив,
Быть там и с тем, куда тебя влечет.

Суров ты или милостив, я жду,
Хотя, чем ждать, я лучше б жил в аду.

---

* Видимо, имеется в виду бог любви Амур.

59

Неужто все, что есть, как мир, старо?
В самообмане ум встречает беды;
Изобретая новое добро,
Он не дитя рожает, а последы.
О, повернуть бы солнца круговерть
На пять веков и новыми глазами
В древнейшей книге образ твой узреть,
Запечатленный теми письменами!
Узнать, что думали в былые дни
О красоте – тобою ставшем чуде;
Из нас кто лучше: мы или они,
А может быть, не изменились люди?

Уверен я: неотразимей стал
Красы и совершенства идеал.

81

Оплачу ль я над гробом твой уход
Иль первым я в сырой земле истлею,
Тебя отсюда смерть не заберет,
Когда меня забудут, не жалея.
Отсюда жди признанья на века,
А все мои дела, как сам я, – прах.
Моя судьба – могила бедняка,
Твоя – расти у вечности в глазах.
Я памятник тебе воздвиг из слов
Для уст поэтов будущих эпох,
Для глаз потомков – ревностных чтецов,
Когда мы выдохнем последний вдох.

Из уст в уста пойдут мои слова:
Без устали их разнесет молва.

84

Кто скажет всё, кто всех велеречивей?
Ты лишь один ниспослан нам судьбой.
Что в похвалах сказать об этом диве?
Твой подражатель должен стать тобой!
Перу – гипербол россыпи пристали,
Когда оно объект достойный славит,
Но ты один такой меж нас. Едва ли
Другой поэт мои слова исправит.
Пусть не ухудшит он того, что есть,
О красоту не изломавши копий;
Весь мир художнику окажет честь,
Творцу прекрасных, как природа, копий.

Ты к похвалам питаешь сам пристрастье,
Да плохо хвалим мы – вот в чем несчастье.

87

Ты дорог для меня, ты всех дороже.
Прощай! Себе ты, верно, знаешь цену,
Но ценность акций очевидна тоже,
И их держателю найдут замену.
Насильно как остаться лучшим другом?
И среди прочих чем я был отмечен?
Твой дар я получил не по заслугам;
Теперь мой срок истек. Заем не вечен.
Возможно, знал себя ты слишком мало,
А может быть, меня судил превратно;
Я на проценты жил от капитала –
Но по ошибке. Всё возьми обратно.

Я обладал тобою в сновиденье:
Король во сне, бедняк при пробужденье.

88

Когда меня ты сбросишь со счетов,
Как груз, достойный твоего презренья,
Я буду защищать тебя готов –
Я, ставший жертвой клятвопреступленья.
Свои пороки зная достоверно,
Все тайное смогу я сделать явным,
И пусть тебя моя прославит скверна,
А мой конец пусть назовут бесславным.
Но вижу выигрыш я в конце пути.
Я занят в мыслях лишь одним тобою;
Себе вредя, чтобы тебя спасти,
Я пользу для обоих нас удвою.

Так велика к тебе любовь во мне,
Что рад я сгинуть по твоей вине.

89

Уйди; скажи: «Ты плох», – и я смогу
Тебе разумно что-нибудь ответить.
Скажи: «Не прям ты», – я согнусь в дугу
И кривизны сумею не заметить.
Как хочешь, обесславь. Изобрази
В тонах благопристойных вероломство.
Тебе в угоду утону в грязи,
Забуду прежнее, прерву знакомство.
Беги моих путей. Из всех имен
Сладчайшее не вырвется признаньем;
Не причинить бы мне ему урон
Кощунственным о нас напоминаньем.

Но я защитник твой. Зови судей:
Твой враг в любви – и для меня злодей.

91

Чем люди хвалятся? Что первородны;
Тем, что мошну кидают на весы;
У тех одежды не сидят, но модны,
У этих ловкость, лошади и псы.
Есть темперамент – есть и примененье.
Богатство, сила, выучка, охота –
Достойная, но не моя забота:
Взять в лучшем лучшее – мое стремленье.
Могу ли быть судьбе я благодарней!
Что мне камзола гордого покрой?
А предки, ловкость, ловчие и псарни –
К чему они? Я тоже горд: ты мой!

Но бедность есть. От мысли той немею:
Все потерять в беде, что я имею.

92

Что ж, сделай худшее: уйди, убей.
Мне жизнь поставила одно условье:
Живи, пока жив ты. Я весь в тебе
И связан намертво с твоей любовью.
Чего бояться мне с таким щитом?
Пусть я погибну в зряшнем столкновенье,
Всё будет лучше, что придет потом,
Чем в страхе ждать измен и измененья.
Непостоянен ты – я раздражен,
Но нет мне жизни без твоих капризов.
То жребий мой, и как прекрасен он!
Пока я твой, пусть смерть бросает вызов.

Без пятен есть ли в мире естество?
Ты лжешь? Нет, я не слышу ничего.

93

Что ж, веря в верность, я и проживу –
Как рогоносец: но в лице любимом
Любовь я вижу и любовь зову –
Блаженство, ставшее недостижимым.
Ведь неприязнь чужда твоим чертам:
Они не отражают измененья.
Читал я и другие лица. Там

Все выдают бровей и губ движенья.
Но так угодно небу самому:
Твое лицо неотразимо манит;
Дай отвратиться сердцу и уму –
Оно манящим быть не перестанет.

Соблазн в тебе, как Евина приманка:
Вид ослепляет, но горька изнанка.

95

Сколь обольстительно ты скрыл позор!
Как червь в благоуханной розе
Тем, что он в ней, притягивает взор,
Так виден твой порок в красивой позе.
Ты повторяешь перечень побед;
За ним идет постыдный комментарий,
Но не в ущерб тебе – ущерба нет:
Завидный дар – упасть и быть в ударе.
Что за вместилище тебе дано,
Для дел греховных светлое жилище!
Какое там ни посади пятно,
Ты всех, как был, прекраснее и чище.

Но помни: может затупиться скоро
Твердейший нож, врезаясь без разбора.

96

«Он просто юн». «Но и развратник тоже».
«Он юный чаровник, где ж в том вина?»
Ты мил простолюдину и вельможе:
В чаровнике виновность не видна.
На пальце королевы – хоть и жесть!
К кольцу, как золоту, наш взор прикован.
Так и твою ничто не губит честь,
И в добродетель грех перетолкован.
Стада ягнят легко увел бы волк,
Когда б ягненка принял он обличье.
И для зевак немалый был бы толк
Не срывы видеть, а твое величье.

Мне эта перемена не нужна!
Раз мой ты весь, молва о нас одна.

109

Не говори, что сердцем стал я лжив.
Хотя в разлуке пламя ослабело,
Душа моя в тебе. Пока я жив,
Чем душу, лучше потерять мне тело:
Ведь ею я люблю. Я уходил,
Но видишь: вовремя пришел обратно.
Не смятый временем и полный сил,
Несу я воду, чтоб отмыть все пятна.
Я не считал постыднейших утрат
В случившемся паденье многократном,
Но на полушку не сменял твой клад –
Не верь таким нелепым, диким пятнам.

Вселенная – пустыня немоты;
Одно лишь слово мне ответит: «Ты».

123

Нет, Время, твой мне не опасен шаг:
Из новых глыб ты строишь пирамиды –
Вот невидаль, вот новость для зевак;
И не такие видывал я виды.
Наш краток срок. Мы слушаем рассказ
И говорим: «Ах, как свежо, как метко!»
Ничьи слова не рождены для нас:
В числе других они пришли от предка.
Не ставлю я анналы ни во грош,
Былое, настоящее – не жаль их.

Твоих анналов фолианты – ложь,
Записанная в спешке на скрижалях.

Клянусь: лишь верность (пусть хоть сгинут все!)
Не покорится ввек твоей косе.

128

От музыки, о музыка моя,
Я постоянно прихожу в смятенье.
Под пальцами гармонии струя
Колышет нежных струн переплетенье.
Танцуют клавиши! Мореный дуб
Целует драгоценные ладони;
Так жатву для моих иссохших губ
Ворует дерево в лихой погоне.
Губам бы стать – нет, им бы лучше быть
На месте мертвых деревянных клавиш!
Зачем на них ты тратишь пальцев прыть,
А не живым губам ее оставишь?

Пусть пальцы бойкий инструмент берет,
А мне для счастья нужен только рот.

139

Откуда взять мне снисхожденья дань?
Меня сдавила ты обидой горькой.
Злым языком, а не глазами рань
И будь с бойцом – бойцом, а не актеркой.
Признайся: «Мил не ты», – но не бросай
При мне зазывных взоров на другого.
Зачем хитрить и ранить невзначай?
Я побежден и не скажу ни слова.
Нет, нет, скажу: «Она ведь поняла,
Что прелести ее – мне вражья сила,
И увела их, чтоб избегнуть зла,
И стрелы их к другому обратила».

Не надо! Я ведь при смерти. Уволь:
Добей уж взглядом – сразу стихнет боль.

140

Жестокости дай ум в поводыри;
В молчальнике все от презренья сжалось,
Но вдруг взорвусь от горя – и смотри:
Такая мука может вызвать жалость!
Возьми, прошу, мой здравый смысл взаймы,
Скажи, что любишь. Ведь на смертном ложе
С надеждой на врача взираем мы,
И утешенье правды нам дороже.
Вдруг, обезумев, брошу я укор
И оболгу тебя в словах бездумных;
Так лжив наш мир, что с некоторых пор
Безумцы люди ждут клевет безумных.

Чтоб ты спаслась и все стерпел я сам,
Пусть сердце вкривь, но будет взгляд твой прям.

144

Люблю двоих я в радости и в горе,
Сражаясь в одиночку против двух.
Есть светлый ангел с добротой во взоре
И черный искуситель, злобный дух.
Чтобы завлечь в свой ад, мой женский дьявол
Хотел бы радость у меня отнять
И ангела белейшего заставил
Не чистоту, а чувственность познать.
И что же, ангел этот к ней приклеен?
Не видно мне, но чем не шутит черт!
Я думаю в отчаянье, что в ней он
И каждый похотью другого горд.

Так будет грызть сомненье мне нутро,
Пока злодейство не спалит добро.

ГРИГОРИЙ СТАРИКОВСКИЙ

СЕКСТ ПРОПЕРЦИЙ *
Перевод с латыни

III.17

Вакх, я теперь к твоему алтарю припадаю смиренно:
Ветром попутным, прошу, лодку мою подхлестни.
Ты усмиряешь надменную спесь безумной Венеры,
Незамутненным вином гонишь, целитель, хандру;
Соединяешь влюбленных, и – разлучаешь навеки.
Вакх, помоги, от тревог сердце моё излечи.
Ты ведь в подобных делах искушен. Ариадну хоть вспомни,
Как возносили её на небо рыси твои.
Этот огонь неотступный давно изглодал мое сердце.
Смерть утолит мою боль, смерть или чаша вина.
Ночь без тебя и возлюбленной – это ль не пытка влюбленным:
Страх и отчаянье рвут сердце на сотни частей.
Если же, Вакх, ты остудишь мою лихорадку ночную,
Если, пригубив вина, крепко усну до утра,
Я разведу виноградник, лозою покрыв холмогорье,
Стану его сторожить, диких зверей отгонять,
Только бы в глиняных чанах пурпурное пенилось сусло,
И молодой виноград ноги давильщиц багрил.
Буду тебя почитать, воспевая рога твои бычьи,
Скажут тогда обо мне – «Вакховой доблести бард».
Песнь заведу о рожденье твоем, об этнейском перуне;
Танец восславлю, что в прах войско индийцев поверг.
Вспомню Ликурга, а с ним – противленье лозе виноградной,
Гибель Пенфея от рук радостно-рьяных менад.
Вспомню тирренских пиратов, тобой превращенных в дельфинов,
Их непослушный корабль, густо поросший лозой.
Или твой Наксос восславлю, его благовонные реки,
Где вместо пресной воды винные струи текут.
Гибкой гирляндой плюща обовью твою белую шею.
Либер, лидийская пусть митра охватит виски.
Гладкие плечи елей умастит, аромат источая,
Складки плаща обовьют нежные стопы твои.
В танце закружат фивянки, дружно ударив в тимпаны,
Пан козлоногий им вслед будет играть на дуде.
Рядом Кибела пусть встанет, в короне из башен высоких,
Пусть пророкочет кимвал – танцев идейских зачин.
Стану верховным жрецом, рядом с храмом твоим буду черпать
Вина ковшом золотым и возлиянья творить,
И на высоких котурнах празденство Вакха восславлю,
Пиндаром новым сложу мощную песнь для тебя,
Только свободу мне дай, отвадив несносное рабство;
Милостив будь, от тревог сладостным сном исцели.

III.18

Там, где угрюмый Аверн и морская волна – неслиянны,
Где поднимается пар в Байах над теплой водой.
Там же, на взморье, Мизен, троянский трубач, похоронен,
Там замостил Геркулес людную ныне стезю.
Там, где бряцали кимвалы Фиванца, когда обходил он

Людные – пляшущий бог – этой земли города.
Байи, какое теперь божество ненавидит вас рьяно
За непотребство, зачем вам досаждает оно?
Смертью сраженный Марцелл захлестнут Стигийскою влагой,
В Байях по зыби прудов носится тихая тень.
Знатность и ратная доблесть, немного в них проку, немного
Выгоды в том, что родней Цезарю Августу был.
Не помогла парусина, театр ограждая от зноя,
Рук материнских труды не заслонили его.
Умер, несчастный, вступив на порог двадцатого года
Жизни. Сколь краток был круг тьмою объятого дня.
Вот и пестуй гордыню и мнимые празднуй триумфы,
Воображай – весь театр, встав, рукоплещет тебе.
Пусть превзойдешь ты Аттала в роскоши, пусть самоцветы
Щедро осыпят твой плащ, слижет каменья огонь.
Все мы отбудем туда, где смешались сословья и званья,
Все без разбора пройдем по ненавистной тропе.
Каждый, облаянный псом трехголовым, попросит пощады.
В лодке свирепый старик страху нагонит с лихвой.
Вот человек осторожный убежище строит из меди.
Но, сквозь запоры сочась, смерть настигает и там.
Ни красавец Нирей, ни Ахилл быстроногий не спасся,
Крезу не в силах помочь златоточивый Пактол.
Многие греки погибли. Скорбь охватила Ахейцев –
Мором платил за корысть женолюбивый Атрид.
Лодочник, ты перевозишь благочестивые души!
Пусть отправляется тень мертвого отрока вслед
Пращуру Клавдию – тем же путем, по которому Цезарь,
Землю покинул и взмыл на небо новой звездой.

III.19

Что ни день, упрекаешь меня в ненасытности. Знай же,
Похоть сильней во сто крат женское сердце язвит.
Если порвешь целомудрия привязь и стыд потеряешь,
То и с рассудком, поверь, больше не будешь в ладах.
Полымя сникнет скорее, в поле беснуясь пшеничном,
Или к верховьям река, вспять обратясь, потечет,
Сирты скорее надежною гаванью станут, скорее
Грозный малейский прибой пришлый корабль приютит,
Чем твой безумный порыв хоть на мгновенье прервется
Или стрекало слепой страсти устанет саднить.
Пусть порасскажет критянка, как бычья её побудила
Спесь – вместо царских убранств шкуру коровью надеть,
Пусть Салмонида, в речную влюбленная воду, расскажет,
С кем пожелала она влажное ложе делить.
Все вы – преступницы! страстью к отцу распаленная Мирра,
Ныне – древесная плоть – новой листвой шелестит.
Мог бы в пример привести утоленную ярость Медеи,
Жуткую месть – за обман кровью детей разочлась.
Или разврат Клитемнестры, покрывшей потомков Пелопа
Вечным позором, на весь город ославив свой дом.
Вспомнить ли Скиллу? Влюбленная в Миноса дева,
Срезав отцовскую прядь, царство врагу предала.
Видно, приданым был город, красавцу-врагу обреченный:
Нис, это хитрый Амур настежь ворота открыл.
Вы ж, незамужние, факелом весело путь осветите:
Критская мчится ладья. Дева на мачте висит.
И поделом, ведь Минос теперь судит в царстве загробном.
Пленницу он покарал, как подобает ему.

III.21

Мне одно остается, спасаться в искусных Афинах,
В дальнем ослабить краю гнет непосильной любви.
Неотлучно смотреть на неё – значит мучиться больше.
Вот где пожива тебе, немилосердный Амур.
Я испробовал многое, чтобы отвадить Амура,
Но не отвадил. Амур всюду меня изводил.
Да и она отвергала меня, лишь однажды явилась,
Но до утра на краю хладной постели спала.
Мне поможет целебная мест перемена. Чем дальше
Буду от Цинтии, тем будет умеренней страсть.
Вы же, товарищи странствий, спускайте корабль на воду,
Веслами в сменном труде вспеньте соленую гладь.
И распустите реющий радостно парус на мачте

По ветру, чтобы помог влажной дорогою плыть.
Римские башни, прощайте! Прощайте, друзья дорогие!
Ты, от которой терпел горечь обиды, прощай.
Неумелый моряк, Адриатикой вдаль уносимый,
О милосердьи молю волношумливых богов.
По Ионийскому морю вплыву в Лехейскую гавань,
И отдохнут паруса, сникнув на тихой воде.
Одолею пешком остаток дороги по Истму,
Где утвердила земля морю от моря заслон.
Встретят меня, наконец, портовые пирсы Пирея.
Я поднимусь до Афин долгой Тезея стезей.
В залах гимнасия будет во благо ученье Платона
Или под сенью садов – мудрость твоя, Эпикур.
Греческим рьяно займусь языком – Демосфеновым жалом.
Или остроты твои в свитках, Менандр, перечту.
Взгляд не насытить трудом живописцев, резною отделкой
Кости слоновой, литьем бронзовых дел мастеров.
Долгих лет промежуток, обширные дали морские,
Тихой заботой объяв, раны залижут вполне.
Если же мне умереть суждено, не постыдной любовью
Сломленный, нет – как герой, жребий, не дрогнув, приму.

Примечания Григория Стариковского:

к элегии III.17

8. Древние считали, что в свою колесницу Вакх (греч. Дионис) впрягал рысей или тигров.

19. Согласно греческим верованиям, весной Вакх являлся в образе быка.

21. Вакх – сын Юпитера (греч. Зевс) и дочери фиванского царя Кадма Семелы. Следуя совету ревнивой Юноны (греч. Гера), Семела, не подозревая, с кем на самом деле она разделила ложе, попросила Юпитера предстать в своем истинном обличьи, после чего Юпитерова молния испепелила Семелу, а недоношенного Вакха царь богов выносил в своем бедре.

22. Согласно мифу, Вакх со своими неистовствующими последователями завоевал Индию.

23. Царя Ликурга, выступавшего против культа Вакха, наказала богиня Рея, наслав на него безумие.

24. Двоюродный брат Вакха, фиванский царь Пенфей, пытался запретить культ Вакха в Фивах. В наказание он был растерзан толпой вакханок.

25. Морские разбойники-тирренцы хотели продать Вакха в рабство. Вакх оплел корабль виноградными лозами, а сам принял обличье льва. Пираты со страха бросились в море и превратились в дельфинов.

27. Согласно легенде, на острове Наксос находился источник чистого вина.

30. Либер – италийский бог плодородия и виноградарства, отождествлялся с Вакхом.

35. Богиня Кибела (или, согласно другому мифу, Рея) исцелила Вакха от безумия, которое наслала на него Юнона, и посвятила юного бога в свои мистерии.

к элегии III.18

1. Аверн – озеро в Кампании. В древности считалось одним из входов в Аид.

3. Мизен – спутник Энея.

4. Узкая коса, отделяющая Лукринское и Авернское озера от Неаполитанского залива.

5. Имеется в виду Вакх, хотя существует мнение, что речь здесь идет о триумфальном шествии Геркулеса.

9. Марцелл умер в Байях в 23 г. до н.э.

19. Аттал – имя трех пергамских царей, покровителей наук и искусств.

24. Имеется в виду Харон, перевозчик мертвых в Аиде.

27. ср. *Илиада* 11.673-674, *Оный Нирей, что с сынами данаев пришел к Илиону, / Смертный, прекраснейший всех, после дивного мужа Пелида* (перевод Н. Гнедича).

33. Клавдий Марцелл – талантливый римский полководец. В 212 г. до н.э., во время второй Пунической войны, взял Сиракузы.

к элегии III.19

7. Сирты – два опасных для мореплавателей залива на северном побережье Африки.

8. Малея – опасный для судов мыс на южной оконечности Пелопоннеса.

11. Имеется в виду Пасифая, жена критского царя Миноса. Пасифая влюбилась в белого быка, предназначенного для жертвоприношения Посейдону, но не принесенного в жертву. От этой страсти родился Минотавр, чудовище с бычьей головой и человеческим телом.

13. Тиро, дочь Салмонея, влюбилась в речного бога Энипея.

15. Согласно мифу, Афродита внушила Мирре (Смирне) страсть к родному отцу. Впоследствии Мирра была превращена Афродитой в мирровое дерево.

21. Скилла, дочь царя Мегары Ниса, влюбленная в Миноса, осадившего Мегару. Однажды ночью вырвала у отца пурпурный волос, от которого зависела его жизнь и царство. Скилла отдала волшебный волос Миносу.

к элегии III.21

19. Лехей – гавань Коринфа.

21. Истм – перешеек, соединяющий материковую Грецию с полуостровом Пелопоннес.

23. Пирей – порт Афин.

ОБ АВТОРАХ

АЗОВ, МАРК. Прозаик, поэт, сценарист, драматург. Родился в 1925 г. в Харькове, Украина. Окончил Харьковский университет. Жил в Москве. С 1994 г. живет в Израиле. Автор пьес, поставленных в театрах Москвы и Санкт-Петербурга, песен, сатирических и юмористических произведений. Кн.: «Точки над і», «Плоский купол» (совместно с В. Тихвинским), «Галактика в брикетах», «И смех, и проза, и любовь», 2003, «И обрушатся горя», 2009. Гл. редактор журнала «Галилея».

АЛАВЕРДОВА, ЛИАНА. Поэт, прозаик, переводчик, эссеист, драматург. Родилась в 1959 г. в. Баку, Азербайджан. С 1993 г. живет в Нью-Йорке, США. Окончила исторический факультет Азербайджанского ун-та. Стихи, статьи, эссе, переводы с английского и азербайджанского публикуются в США и Азербайджане. Автор пьес "Идиот в Америке", "Все смешалось в доме...". Кн.: "Рифмы" (1997), "Эмигрантская тетрадь", 2004 и др.

АМУРСКИЙ, ВИТАЛИЙ. Поэт. Род. в 1944 г. в Москве. По образованию филолог. Первые публикации относятся к середине 60-х годов. С 1973 года постоянно живет во Франции. В течение многих лет работал журналистом русской редакции Международного французского радио RFI. Публиковался в «Русской мысли», «Новом Журнале», «Континенте», «Вестнике РХД», «Детях Ра», «Крещатике» и др. Постоянный автор журналов русской эмиграции «Литературный европеец» и «Мосты», выходящих в Франкфурте-на-Майне. Автор семи стихотворных сборников.

АРОНЗОН, ВИТАЛИЙ. Поэт, литературовед. По профессии – инженер. Окончил Ленинградский Электротехнический институт, кандидат технических наук, Засл. изобретатель РСФСР, лауреат Премии Совмина СССР, автор более 200 научных трудов и изобретений. В эмиграции с 1992 г. Публикует стихи, очерки, эссе, воспоминания в периодической печати. Участвует в издании литературного наследия своего брата Леонида Аронзона.

АСТАХОВА АЛЛА. Литературовед, педагог. Родилась в Воронеже в 1953 году. Окончила Киевский Государственный институт им. М. Горького. Автор ряда статей и книги "Мифы и фольклор народов мира" (в соавторстве с И. Панченко и И. Матяш), 2003. Преподает в Киевском Национальном педагогическом университете им. Н. Драгоманова.

БАЛАЗОВСКИЙ, АБРАМ. Смотри на сс. 204-214.

БЕРДНИК, ВИКТОР. Прозаик. Родился в 1956 году в Перми. Вырос в Одессе, где окончил мореходное училище. Работал в порту инженером-механиком, поменял специальность и посвятил себя реставрации антикварной мебели. Сотрудничал с музеями города Одессы. С 1990 года проживает в Лос-Анджелесе, Калифорния. Автор рассказов и романов (роман «Между двумя континентами» опубликован московским издательством «Огонёк» в 2007 г.).

БЕРДНИКОВ, ЛЕВ. Род. в 1956 г. в Москве. Окончил филологический факультет Московского пединститута. Работал старшим научным сотрудником в Отделе редких книг (Музее книги) Российской Государственной Библиотеки, где в 1987-1990 гг. возглавлял научно-исследовательскую группу русских старопечатных изданий. С 1990 г. живет в Лос-Анджелесе, США. Автор монографий: "Счастливый Феникс: Очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII-начала XIX века" (СПб., 1997); (в соавторстве) "Пантеон российских писателей XVIII века" (СПб., 2002), "Щеголи и вертопрахи" (М., 2008), "Евреи в ливреях" (М., 2009). Более 165 публикаций в России, США, Канаде, Израиле, Германии, Дании, Латвии, Украине. Член СП Москвы.

БЕРКОВИЧ, МИХАИЛ (1929-2008). Поэт, журналист, редактор. Род. в 1929 г. в Ачинске, Красноярский край. Жил в Одессе и Новокузнецке. В 1994 г. уехал на Запад. Живет в Израиле. Кн.: «Сонет», «Белое руно», «Приглашение», «Берега» – сб. стихов, «По ком тюрьма плакала», «Деревня» – сб. повестей и рассказов.

БЕРМАН, ФИЛИПП. Писатель, драматург. Родился в Москве в 1936 г. Кандидат технических наук. На Западе с 1981 г. Живет в Филадельфии, США. Участник и составитель антологии "Каталог", за что был изгнан из СССР (1982, изд. "Ардис"). Роман "Регистратор" вышел 1984 и 1991 гг. Рассказы печатались: в журналах "Время и мы", "Континент", "Третья волна", "Стрелец", "Побережье", "Мир Паустовского", "Человек и природа"; в антологиях "Русская Зарубежная проза" (Венгрия и Россия), «Филадельфийские страницы. Проза. Поэзия», 1998; "Антология еврейско-русской литературы. Два века двойного самосознания: 1801-2001", 2 тт., на английском языке, Лондон – Нью-Йорк, 2007 и т.д.

БОЛЬШАКОВА, НИНА. Прозаик. Родилась в Новосибирске, окончила Томский Политехнический институт и аспирантуру в Донецке, кандидат экономических наук. Живет в Нью-Йорке с 1998 года. Публикуется в русскоязычных газетах и журналах Нью-Йорка, Сан-Франциско, Торонто. Печатается в России и Украине.

БОРОДИН, САША. Прозаик. Род. в 1944 г. в Москве. Окончил факультет редактирования печатной продукции Московского полиграфического института. Работал в ряде московских редакций, в том числе в "Литературной газете" и "Известиях". С 1991 года в эмиграции. Живет в столице Канады Оттаве. Работает специалистом в области цифровой фотографии. Публикует в русскоязычной Северной Америке короткие рассказы.

БОРТЯКОВ, ВАЛЕРИЙ. Смотри на с. 191.

БРАЙЛОВСКИЙ, ЯН. Поэт, ученый, доктор наук. Род. в Одессе в 1941 г. На Западе с 2002 г., живет в Филадельфии, США. Публикуется в периодических изданиях. Сб. стихов «Я покидаю край родной».

ВЕРЦНЕР, ЛАРИСА. Поэт. Жила в г. Херсоне, Украина. Стихи печатались в Магадане в 80-х годах, в Херсоне. Эмигрировала в Израиль. Там вышло четыре поэтических сборника: "Я здесь, я рядом, я с тобой", 1995, "Созвучье", 2000, "Тайнопись огня", 2005, "Переулки судьбы", 2007. Публикации в литературных изданиях: "Радуга", "Роза ветров", "Хронометр", "Слово"; сборниках "Ручьи", "Нам не дано предугадать".

ГАМАРНИК, КСЕНИЯ. Художник, театровед, литературовед, журналист. Родилась в Киеве. Окончила художественное училище и факультет театроведения Киевского университета театрального искусства. С 1994 г. живет в Филадельфии. Персональные художественные выставки в Киеве и Санкт-Петербурге. Участница коллективных художественных выставок на Украине и в США. Статьи и художественные иллюстрации публиковались в журналах: «Аврора», «Сучасність», «Український театр», «Ренессанс», «Побережье», «Зеркало» и мн. др.

ГАММЕР, ЕФИМ. Прозаик, поэт, журналист, художник. Род. в 1945 г. Жил в Риге. Окончил Латвийский госуниверситет, отделение журналистики. Автор 13 книг стихов и прозы. Лауреат ряда литературных конкурсов. Участник международных выставок во Франции, США, Австралии, Израиле, России. Печатается в литературных журналах, альманахах, сборниках, антологиях Зарубежья и России.

ГАНДЕЛЬСМАН, ВЛАДИМИР. Поэт, прозаик, переводчик. Род. в 1948 г. в Ленинграде. Инженер по образованию. Жил в Ленинграде, с 90-х годов живет в Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. Преподает русский язык в американском колледже. Автор более десяти книг поэзии и автобиографической прозы.

ГАРБЕР, МАРИНА. Поэт, эссеист, переводчик, редактор, педагог, критик. Род. в Киеве. На Западе с 1990 г. Жила в Денвере, Чикаго, Нью-Йорке США. Ныне живет в Люксембурге. Окончила Денверский университет, факультет иностранных языков и литературы. Печатается в зарубежных лит. изданиях. Кн. стихотворений: "Дом дождя", 1996, "Город" – совместно с Г. Лайтом, 1997, "Час одиночества", 2000, «Между тобой и морем» , 2008. Зам гл. редактора журнала «Побережье». Автор многих литературных антологий.

ГЕЛПРИН, МАЙК. Прозаик. По профессии – инженер. Родился в 1961-м г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский Политехнический институт. Переехал в США в 1994-м г., живёт в Нью-Йорке. Начал писать и печататься с 2006 года. Публикации: "Мир фантастики" (Москва), "Полдень, XXI век" (СПб), "Уральский следопыт" (Екатеринбург), "Чайка" (Балтимор), "Знание/Сила" (Москва), "Реальность фантастики" (Киев), "Партнер-Норд" (Ганновер) и др.

ГЕРШЕНОВИЧ, МАРИНА. Поэт, переводчик. Род. в Новосибирске. С 1998 г. живет в Дюссельдорфе, Германии. Переводит немецкую и английскую поэзию. Один из авторов сб.: «Весь» (Рига, 1992), «Сестры» (Санкт-

Петербург, 1993), Книги: «Разговоры на распутье», 1995, "В поисках ангела" («Вита Нова» (СПб), 2002. Автор проекта "Книга на четверых" (СПб, 2005). В 2007 г. перевела лирику немецкой поэтессы Маши Калеко "Жизнь и стихи" (1907-1975), изд. Depozit en Gros.

ГЕТМАНОВА, ВИКТОРИЯ. Прозаик, поэт. Родилась и живёт в г. Ташкенте, Узбекистан. Увлекается живописью, фотографией. Публ. в литературных журналах России, Новой Зеландии, Дании, Германии («Нева», «День и ночь», «Новый Берег», «Дети Ра» и др.).

ГОЛЛЕРБАХ, СЕРГЕЙ. Живописец, график, эссеист, педагог. На Западе с 1942 г. Живет в Нью-Йорке, США. Кн. по искусству и эссе: "Заметки художника", 1983, "Жаркие тени города", 1990, "Мой дом", 1994, альбомы рисунков, акварелей и технике живописи. Работы в музеях США, Франции, Германии, России. Член Американской национальной академии художеств, Общества акварелистов и др. Преподает в колледжах. Широко известен как оформитель книг худ. лит.

ГРИШИНА, ОЛЬГА. Поэт, переводчик. Род. в 1963 г. в Подмосковье. Окончила Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева. Жила в Петербурге, Голландии, Германии. В настоящий момент живёт в Бельгии. Известна переводами с нидерландского (Тоон Теллеген, Герард Реве).

ГУРЕВИЧ, ГЕРМАН. Поэт, прозаик, драматург. Род. в 1934 в Ленинграде. Окончил Ленинградский Политехнический институт. По профессии - инженер. С 1990 г. живет в г. Арад, Израиль. Публ. в газетах, журналах, альманахах («Вести», Тель-Авив, «Южный альманах», Беэр-Шева, «Гнездо», Иерусалим и др.). Книги «Посредством магии имен», Арад, 1999, «На Путиловском заводе запороли конуса...».

ДАВИДОВИЧ, ИННА. Поэт, прозаик, литературовед. Род. в Москве в 1975 г. Окончила филологический факультет МГУ. С 1999 живет в Реховоте, Израиль. Занимается живописью, выставки в Иерусалиме и Реховоте. Статьи были напечатаны в изд. «Мегатрон», 1999, Москва. Публ. в Израиле: «Иерусалимский журнал», «Наш Реховот», а также в журнале «Космополит» (Бостон). Работает в институте Вейцмана.

ДАШКЕВИЧ, ОЛЬГА (РОДИОНОВА). Поэт, прозаик, журналист. Род. в 1959 г. в г. Барнауле, Сибирь. Окончила Свердловский университет. Работала в Омске, Ленинграде. На Западе с 1993 г. Жила в Нью-Йорке. Ныне живет в шт. Пенсильвания. Сб. стихов: «Мои птицы на ветке», 1998, «За крысоловом», 2000. Печаталась в коллективных сборниках и литературных журналах.

ДЕМИДОВ, ПАВЕЛ. Поэт. Род. в 1969 г. в Кургане на Урале. Жил в Петербурге. Входил в поэтический клуб Виктора Кривулина. Выехал на Запад в 1997 г. Живет в Клермонте, шт. Калифорния. Аспирант Университета Калифорнии, факультет психологии.

ДИМЕР, ЕВГЕНИЯ. Поэт, прозаик, эссеист. Род. в 1925 в Киеве. На Западе с 40-х гг. Живет в Вест Орандж, США. Кн. стихов: «Дальние пристани», «С девятого вала», «Две судьбы», «Здесь даже камни говорят». Сб. «Молчаливая любовь» (стихи и рассказы). Произведения вошли во многие литературные антологии.

ДОБРИНСКАЯ, ЮЛИЯ. Поэт. По основной профессии – инженер. Родилась в Ст.-Петербурге в 1973 г. Окончила Политехнический институт. С 1997 года живет в США. Работает в НАСА, инструктор экипажей МКС. Преподаватель математического кружка для младших школьников. Ныне живет в г .Роквилл, шт. Мэриленд. Публикации в литературных журналах.

ДРАГУНОВ, АНДРЕЙ. Поэт. Род. в 1969 году в Волгограде, где и проживает по сей день. Автор книг: «Песня дорожной пыли» (1993), «Речь способность верн ься» (1993), «Monologika» (2001). Готовит к изданию новый сборник стихов «Новая семейная хроника».

ДРОЗДОВА, ЕЛЕНА. Поэт, художник. Род. в 1957 г. в Москве. Окончила Московский архитектурный институт. На Западе с 1989 г. Ныне живет в Дженкинтауне, шт. Пенсильвания, США. Художник по витражу, ее работы представлены во многих общественных и религиозных зданиях в США. Публикуется в литературных изданиях: «Встречи», «Побережье» и др.

ЗОЛОТОВИЦКАЯ, ИРИНА. Музыковед. Род. в 1932 г. Жила в Харькове. Кандидат искусствоведения. Была профессором кафедры теории музыки Харьковского института искусств. С 1990 года живет и работает в Израиле. Профессор кафедры музыкологии Музыкальной Академии при Тель-Авивском университете. Автор многочисленных научно-исследовательских, критических и просветительских публикаций.

КАГАН, ВИКТОР. Поэт, журналист. По специальности врач-психолог, доктор медицинских наук. Род. в 1943 г. В США с 1999 г., живет в Далласе, шт. Техас. Более двухсот публикаций. Сб. стихов «Долгий миг», 1993, «Молитвы безбожника», 2006, «Превращение слова», 2009.

КАЛАШНИКОВА, ТАТЬЯНА. Поэт, прозаик, детский литератор, публицист. Родилась в 1965 г. в Киеве, Украина. Окончила Киевский Государственный Университет им. Т.Г Шевченко. С 1997 г. живет в Оттаве, Канада. Сб. стихов: «Ангел любви», 1999, Лубны, «Прощальный спектакль», Киев. 2003. Печатается в литературных изданиях России, Украины, Канады, США. Стихи вошли в антологии: «Киев. Русская поэзия. XX век», «Украина. Русская поэзия. XX век», Киев, изд. «Юг», «Современное русское зарубежье», М., Русские писатели Северной Америки. Член СП Москвы и Северной Америки.

КАМБУРГ, РОМАН. Поэт, прозаик. Живет в Израиле. По профессии – врач. Книги: «Поэзия и проза врачевания», Казань, 1991, «Миг», Тель-Авив, 2001.

КАМИНСКИЙ, СЕМЁН. Прозаик, журналист, преподаватель. Родился в Украине. Ныне живет в Чикаго. Член Международной федерации русских писателей. Рассказы и очерки публиковались в сборниках и журналах России, Украины, США, Дании, Израиля, Германии, Канады («Новый Берег», «Золотой Век», «Ковчег Кавказа», «Бег», «Медвежьи Песни» мн. др.). Издал книгу "Орлёнок» на американском газоне", 2008. Редактор литературной страницы еженедельника «Обзор» (Чикаго).

КАЦЕВА, МАРИНА. Музыковед, исследователь в области литературно-музыкальной тематики, искусствовед. Род. в г. Джамбул, Казахстан. Окончила Харьковскую консерваторию и аспирантуру Московской консерватории. Работала музыкальным редактором в Союзе композиторов и лектором-музыковедом в Московской филармонии. Выехала на Запад в 1989 г. Ныне живет в Бостоне, США. Автор многочисленных литературно-музыкальных программ и статей по искусству. Работает над книгой «Я родилась не в жизнь, а в музыку» на тему: Цветаева и музыка.

КОКОТОВ, БОРИС. Поэт, переводчик. По профессии – инженер. Род. в Москве. В эмиграции с 1991 г. Живет в Балтиморе, США. Публиковался в литературных журналах, коллективных сборниках, антологиях. Автор шести сборников стихов ("Эстампы", "Ночная птица", "Конец цитаты", "Вещественные доказательства", "Стрельба по движущейся мишени" " Воздушные ямы" и др.). Переводит из современной американской поэзии.

ЛеГЕЗА, ВИКТОРИЯ. Прозаик. Родилась в 1957 г. в Киеве, Украина. По специальности – архитектор. Публикуется с середины 1980-х. гг. В 1988 г. выехала на Запад. Живет в Чикаго, США. Печатается в литературных изданиях, антологиях и сборниках. Кн.: «Эмигрантские сказки» тт. 1-2 (1999-2000), сб. прозы: «Хвосты и крылья», 2002, «Повести Кошкина», 2005, «Жаба», 2009, «Эмма2000», 2009 (по мотивам романа Джейн Остин), «Шевроле моей бабушки», 2009 (на анг. яз.). Составитель антологии прозы женщин-эмигрантов «Арена» (1-3).

ЛИБЕРМАН, АНАТОЛИЙ. Германист и славист, литературный критик, поэт, переводчик. Доктор филологических наук, профессор Миннесотского университета. Род. в Ленинграде в 1937 г. На Западе с 1975 г. Живет в Миннеаполисе, США. Переводчик Шекспира, Лермонтова, Тютчева, Боратынского, исландских поэтов. Ред., комментатор и переводчик на англ. язык Н. С. Трубецкого (три тома) и В. Я. Проппа. Сб. стихотворений и переводов "Врачевание духа" (1996, Н-Й.). Около 400 публикаций, включая шестнадцать книг по языкознанию, литературоведению, фольклору. Автор постоянной колонки в Oxford University Press.

ЛИТИНСКАЯ, ЕЛЕНА. Прозаик, поэт, переводчик. Родилась и выросла в Москве. Окончила славянское отделение филологического факультета МГУ. Занималась поэтическим переводом с чешского, писала рецензии для московских издательств и преподавала чешский язык в МГУ. В 1979 г. эмигрировала в США, живет в Нью-

Йорке. Вернулась к поэзии в конце 80-х. Книги: поэтические сб. «Монолог Последнего Снега» (Н-Й, 1992), «В поисках себя» (М., 2002); стихи и проза «На канале» (М., 2008), презентация которой успешно прошла в мае 2009 года в московском «Центре русского зарубежья» имени Солженицына. Стихи, переводы, рассказы печатались в периодических изданиях и альманахах Москвы, Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии. Работает в Бруклинской публичной библиотеке, основатель и президент Бруклинского клуба русских поэтов.

ЛОСЕВ, ЛЕВ (1937-2009). Смотри на с. 116.

МАШИНСКАЯ, ИРИНА. Поэт, переводчик, критик. Родилась в Москве. Окончила факультет географии и аспирантуру ГУ. Основатель и первый руководитель детской лит. студии «Снегирь», (Москва). Участник лит. мастерской "Сокольники". Эмигрировала в США в 1991 г. Живёт в штате Нью-Джерси. Автор семи поэтических сборников, книги переводов. Вместе с Олегом Вулфом редактирует журнал «Стороны света». Публ.: "Новое Русское слово", "Русская мысль", "Новый журнал", "Побережье", "Встречи", "Звезда", "Строфы века", "Вестник современного искусства", "Арион" и др. Сб.: "Потому что мы здесь", 1995, "После эпиграфа", 1997, "Параллельное течение", (переводы К. Чури, 1999), "Простые времена", 2000.

МЕЖИРОВ, АЛЕКСАНДР (1923-2009). См. на с. 166.

МЕРКУЛОВ, ИГОРЬ. Поэт, преподаватель русского языка. Род. в 1931 г. в Томске, Россия. Живет в Москве. Закончил МГУ. Преподает в ун-те Дружбы народов и в Центре подготовки космонавтов. Им изданы учебники и пособия для изучения русского языка иностранцами.

МИНУТКО, ИГОРЬ. Писатель, критик, историк-архивист. Род. в Москве в 1931 г. Вырос в г. Туле. Окончил Тульский Педагогического института, Литературный институт им. Горького. Работал учителем истории. Окончил курсы по специальности сценарист в мастерской Г.Чухрая. Член Союза писателей. Ныне живет в Москве. Изданные книги: «Мне восемнадцать лет», «Костры на площадях», «Очень длинный день», «Вечером, ночью, утром», «Давно, когда была юность», «Весенние деревья», «Три жизни», «Шесть дней и девять месяцев», «Длинная-предлинная дорога», «В июне тридцать седьмого», «Бездна», «Николай Рерих. Искушение учителя».

МИХАЛЕВИЧ-КАПЛАН, ИГОРЬ. Поэт, прозаик, переводчик, издатель. Родился в г. Мары в 1943 г., Туркменистан. Жил во Львове, Украина. На Западе с 1979 г. Ныне живет в Филадельфии, США. Кн.: "Посадить дерево", 1983, "Окна в лето", 1986, "Утро в зеркале", 1995, "Отраженные дни. Избранное", 1998, на английском языке 2000; "Триада", 1996 и "Приближение", 1999 (сб. трех поэтов). Окончил Львовский полиграфический институт. Издается в России, США, Англии, Канаде, Дании, Германии, Израиле и т.д. Участник сборников и антологий: "Строфы века-II. Мировая поэзия в русских переводах XX века", М., 1998; "; "Украина. Русская поэзия. XX век", Киев, 2008, "Библейские мотивы в русской лирике XX века", Киев, 2005, "Современные русские поэты", М., 2006, "Российская эмиграция: прошлое и современность" (изд. Научного совета Российской АН), "Антология еврейско-русской литературы. Два века двойного самосознания: 1801-2001", 2 тт., на английском языке, Лондон – Нью-Йорк, 2007, "Земляки" М., 2009, Symposion, № 13, 2008 (A Journal of Russian Thought) и мн. др.

МОЛОДЯКОВ, ВАСИЛИЙ. Поэт, историк-японист, литературовед. Род. в 1968 г. в Москве. С 1995 г. живет в Токио. Докторант Токийского университета. Автор пяти книг, в т.ч.: «Неизвестные поэты...», 1995-1996, «Мой сон и новый и всегдашний...», 1996. Сост. кн. «Венок Брюсову», 1994, «Валерий Брюсов. Неизданное несобранное», 1998.

МОСКАЛЁВА, ТАМАРА. Прозаик. Член международного союза писателей «Новый Современник». Род. во Фрунзе (Киргизия). Выросла и работала в Челябинске (Южный Урал). Долгие годы жила в небольшом городке близ Душанбе. По профессии – инженер-строитель. В Америке с 1993 г. Живет в Нью-Йорке. Печатается в России, Израиле, Канаде, США и т.д. («Читайка», «Фома», «Слово/Word», «ЗОЖ», «Русский Базар», «Новое русское слово», «Журнал для детей и взрослых», «Ванкувер экспресс», «Новый дом» и мн. др.).

МОСКВИНА, МАРИЯ. Прозаик. Род. в Москве. Окончила Московский финансово-экономический институт. В США с 1992 года. Живет в пригороде Филадельфии. Автор ряда повестей, очерков и рассказов. Произведения публикуются в периодических изданиях Америки и России.

НЕЙМАН, ЛЮДМИЛА. Поэт. Печатается в литературных изданиях с 1985 г. Публикации: «Молодая гвардия», «Мансарда», «Вестник современного искусства» и мн. др. Автор книг стихотворений «Кокон», 1991, «Между», 2000. Окончила Нефтехимический институт им. И.М.Губкина. Работала библиотекарем, программистом, инженером-экономистом. Ныне живет в Самаре.

НЕКРАСОВСКАЯ, ЛЮДМИЛА. Род. в 1956 в г. Бендеры, Молдавия. Живет в Днепропетровске, Украина. По специальности – инженер, занималась наукой. Автор четырех книг. Публиковалась в литературных журналах, альманахах и антологиях Украины, России, Израиля.

НИКИФОРОВИЧ, ВАНКАРЕМ. Литератор, культуролог, журналист, критик, переводчик. Род. в 1934 г. Жил в Минске. Окончил Минский университет. Работал редактором в издательстве, на телевидении, завлитом в театре. Писал статьи, рецензии, интервью, репортажи, эссе на темы: литература, изобразительное искусство, музыка, драматургия, поэзия, театр, кино, телевидение. Переводил и издавал книги с болгарского на белорусский. Участвовал в составлении сб. "Антология болгарского рассказа" и "Антология болгарского юмора". Переводил многих белорусских писателей.

НИСИНА, ИРИНА. Прозаик. Род. на Украине в г. Виннице. Окончила Казанский институт культуры и Винницкий пединститут. В 1994 переехала на постоянное жительство в Австралию. Живет на Голд Кост. Работает в школе в Кумбаба. Автор «Семейных записок».

ОРЛОВ, ЮРИЙ. Прозаик. Род. в 1960 году в г. Новочеркасске Ростовской области. Служил на флоте. Пишет прозу более двадцати лет. Живет и работает в г. Новочеркасске.

ПАЙКОВ, ВАЛЕРИЙ. Поэт. Род. в 1939 г. С 1999 года живет в Ашдоде, Израиль. Доктор мед. наук, профессор. Стихи публ. в литературных изданиях России, Израиля, США, Италии. Автор восьми сборников стихотворений. Участник коллекции «120 поэтов русскоязычного Израиля» (Москва – Тель-Авив, 2005). Член Союза русскоязычных писателей Израиля.

ПАНЧЕНКО Ирина Григорьевна (1939-2009). Литературовед, критик, педагог, журналист. Родилась в Ярославле. Окончила Киевский университет им. Т. Г. Шевченко. Кандидат филологических наук, доцент. Член Союза журналистов Украины. Преподавала в Киевском педагогическом университете, Киевском университете. С 1997 г. жила в Филадельфии, США. Член Американской Ассоциации славистов и преподавателей языков стран Восточной Европы. Книги: «В поисках совершенства. О творчестве Юрия Олеши»; «Виктор Астафьев»; «Практикум по ораторской речи»; «Мифы и фольклор народов мира». Более двухсот статей в области культурологии и литературоведения в российских, украинских, европейских и американских изданиях: «Вопросы литературы», «Литературное обозрение», «Всесвітня література», «Русский язык и литература в вузах Украины», «Сучасність», «Мосты», Symposion (A Journal of Russian Thought), «Новый журнал», «Побережье», «Слово/Word», «Российская эмиграция: прошлое и современность» (изд. Научного совета Российской АН) и мн. др.

ПОЛЕВАЯ, ЗОЯ. Поэт. По профессии инженер. Родилась В Киеве, Украина. Окончила Киевский институт инженеров Гражданской авиации. Посещала поэтическую студию Леонида Вышеславского и клуб Экслибрис при библиотеке искусств. Сб. стихов «Отражение», 1999 г. Выехала на Запад в 1999 г. Живет в штате Нью Джерси, США. Печатается в литературных журналах на Украине и в Зарубежье

ПОЛИЩУК, СЛАВА. Прозаик, художник. Род. в 1961 г. в г. Клинцы, Россия. Окончил Строгановское училище и Московское художественное училище. Бруклин колледж университета Нью-Йорка. На Западе с 1996 г. Живет в Нью-Йорке. Участник многочисленных выставок, работы находятся во многих галереях мира (Третьяковская галерея, собрание Нортона Доджа, Литовский Государственный музей, Джейн Вурхнес Циммерли, Художе-

ственного музея Рутгерс университета, галереи университета Нью-Йорка, галереи университета Пэйс, фонда Колодзей, Американского Национального общества Золотого Ключа, Московского Союза Художников, и др.). Книга: «Время радости. Этюды на кухне».

ПРОБШТЕЙН, ЯН. Поэт, переводчик, журналист, литературовед, канд. фил. наук, профессор. Род. в 1953 г. Окончил Минский институт иностранных языков. Печатается с 1980 г. С 1989 г. живет в Нью-Йорке, США. Член СП России. Участвовал в составлении, редактуре и переводе более десятка антологий европейской поэзии. Более 100 публикаций. Преподает английскую, американскую и мировую литературу и риторику. Автор семи сб. стихов. Переводы помещены в девяти антологиях. Статьи, стихи, переводы, рецензии публикуются в «Радуге», «Литературной газете», «Поэзии», «НРС», «Арионе», «Времени и мы», «Континенте», «Стрельце» и др. Один из авторов антологии "Строфы Века-II. Мировая Поэзия в русских переводах XX века", Москва, 1998. Переводил Блейка, Китса, Шелли, Хопкинса, Т. С. Элиота, У. Б. Йейтса, У. Х. Одена, Х. Л. Борхеса, Ч. Милоша и мн. др. Кн.: "Дорога в мир", 1992, "Vita Nuova", на анг., 1992, "Времен на сквозняке", 1993, "Реквием", 1993, "Жемчужина", 1994, "Элегии", 1995, "Инверсии", 2001.

РАЙБЕРГ, ЛАНА. Прозаик, художник, журналист, педагог. Родилась в Минске, Белоруссия. В эмиграции с 1992 г. Живет в Нью-Йорке, США. Окончила Витебский педагогический институт, художественно-графический факультет. Рассказы печатаются в зарубежных литературных изданиях. Графические работы выставлялись в картинных галереях. Кн. Прозы: «Картонная луна», 2002, «Олежкины истории», 2005, «Лестница в небо или записки провинциалки», 2008. Автор иллюстраций к стихам Людмилы Таймасовой, к книге А. Волковича «Алеся. Беловежские сны».

РАССТАННЫЙ, МАРК. Поэт, прозаик, певец, композитор, журналист, сценарист. Родился в Ленинграде в 1966 г. Артист эстрады, выступал с собственными произведениями. С 1996 г. живет на Западе, Нью-Йорк, США. Автор более трехсот песен. Проза и стихи публиковались в литературных изданиях. Работал на радио и телевидении. В настоящее время занимается фотографией и кино.

РЕЗНИК, РАИСА. Поэт. Редактор альманаха «Связь времён». Род. в 1948 г. в Винницкой области. Окончила Винницкий пединститут. Ныне живет в Сан-Хосе, Калифорния. Работала учителем английского языка на Украине и в Молдавии. На Западе с 1994 г. Сб. стихов: «На грани» (на русском и англ.), 1997; «О главном и вечном» (поэтическое переложение еврейских пословиц), 1997; «Точка опоры», 1999. Публиковалась в литературных изданиях: «Встречи», «Альманах Поэзия» и др.

САДОВСКИЙ, МИХАИЛ. Поэт, прозаик, драматург, детский писатель. Кандидат технических наук. Член Союза писателей России. Родился в 1937 г. в Москве. С 2000 г. живет в Нью-Джерси. Автор мюзиклов, пьес, опер. Издал несколько десятков детских книг. Сб. стихов: "Завтрашнее солнце", 1992; "Бобе Лее", 1993; "Доверие", 1993, «Унисоны», 2001, роман "Под часами", 2003. В США в переводе на английский вышли книги прозы: "Stepping into the blue" ("Голубые ступени"), 2004, "Those were the years" ("Такие годы"), 2006, "Before it's too late" ("Пока не поздно"), 2008. Лауре г российских и международных премий и конкурсов по литературе и драматургии. Челябинское Издательство MPI начало выпуск серии "Музыкальная коллекция на стихи поэта М.Садовского".

САНИНА, ИННА. Поэт, прозаик. Живет в Лос-Анджелесе, Калифорния. По образованию архитектор, кандидат наук. Член Международного ПЕН-клуба. Автор четырех поэтических сборников: "Цветы времени", "Смысл", "Родники", «Листопад». Публикации в литературных изданиях русского зарубежья.

САПРЫКИНА, ТАТЬЯНА. Прозаик. Родилась и живет в Новосибирске. Окончила факультет журналистики Уральского Государственного университета. Публикации в журналах «Дети», «КУКУМБЕР», «Мир Фантастики». Лауреат фестиваля фантастики «Белое пятно» в номинации рассказ, 2009.

СЕРГЕЕВ, МИХАИЛ. Поэт, прозаик, доктор философии. Род. в 1960 г. в Москве. На Западе с 1990 г. Живет в Филадельфии, США. Преподает в Университете Искусств. Изданы книги по вопросам философии и религии, в том числе «Проект просвещения», 2004 и др.

СИНДАЛОВСКИЙ, АЛЕКСАНДР. Прозаик, поэт. Родился в Ленинграде в 1972 г. В 1992 г. эмигрировал в США. Живет в Филадельфии. Окончил Темпл Университет. Изучал программирование и психологию. Печатается в российских и зарубежных литературных изданиях. Сборник стихов "V.S.O.P.", 2004. Сборник прозы "Метод Исключения", 2007.

СИНКЕВИЧ, ВАЛЕНТИНА. Поэт, эссеист, литературный критик. Род. в Киеве в 1926 г. На Западе с 1942 г. Живет в Филадельфии, США. Сб. стихов: "Огни", 1973, "Наступление дня", 1978, "Цветенье трав", 1985, "Здесь я живу", 1988, "Избранное", 1992, одна из авторов сб. "Триада", 1996, «Поэтессы русского Зарубежья», 1998, «...с благодарностию: были», 2002. Автор литературоведческих эссе, очерков, рецензий, в том числе статей для энциклопедий. Издатель и составитель антологии поэтов "второй" волны – "Берега" (вместе с В. Шаталовым), более тридцати лет является редактором поэтического альманаха "Встречи". Участник многих поэтических антологий.

СОКОЛОВА, ЕКАТЕРИНА. Поэт, переводчик. Род. в 1980 году в г. Москве. Окончила факультет филологии Государственной Академии славянской культуры, а также имеет диплом магистра по маркетингу Московского университета экономики статистики и информатики.

СПОДИК, ВЯЧЕСЛАВ. Поэт, критик, журналист, юрист, доктор философии и права, криминалист. Род. в г. Ташкенте в 1948 г. Окончил юридический факультет Ташкентского Государственного университета. В 1989 г. – юридический советник депутата Владимира Золотухина, а впоследствии и межрегиональной депутатской группы, возглавляемой академиком А.Д. Сахаровым. С 1990 года – Первый Вице-президент Союза Адвокатов СССР от Центральной Азии. С 1992 года доверенный адвокат ряда иностранных посольств в Узбекистане, юридический советник представительства ООН в Средней Азии. С 1993 года – член Президентского Совета при Президенте Узбекистана. В 1996 году выезжает в США, защищает докторскую диссертацию. Опубликовано более ста журналистских статей в Нью-Йорке, Филадельфии, Нью Джерси, Мэриланде, Флориде. Готовится к печати сборник стихотворений.

СТАРИКОВСКИЙ, ГРИГОРИЙ. Поэт, переводчик. Род. в 1971 г. в Москве. В США с 1992 г. Учился в Колумбийском университете. Публиковал переводы поэзии с английского, немецкого (Тракль), французского (Арагон). Стихи печатались в журналах "Крещатик", "Интерпоэзия", "Новая Юность", "Новом журнале", антологии "Освобожденный Улисс".

СТОРЧ, ЛЕОНИД. Поэт, прозаик. Род. в Санкт-Петербурге. Жил в Нью-Йорке, Майами, Москве. Ныне живет в Бнагкоке (Таиланд). Преподает русский и китайский языки. По первому образованию – китаист-филолог, по второму – юрист. Стихи и рассказы публиковалась в США, Германии, Латвии, России (в т.ч. под псевдонимом Леонид Ланский). В российском издательстве «Геликон-плюс» (Санкт-Петербург) готовится к изданию первый сборник прозы.

ТУГОВ, ВЛАДИМИР. Поэт. По профессии – юрист. Род. в 1953 г. в Свердловске (Екатеринбург). Окончил Свердловский Юридический институт. Более 20 лет прослужил в органах милиции. Первая книжная публикация – подборка стихов в сб. «Первоцвет», Свердловск, 1987. Стихи публиковались в литературных журналах, альманахах и сборниках: «Москва», «Литклуб», «Истоки», «Литературный Зеленоград», «Радуга имён», «Самоцветы», «Звучи, звучи сильнее, лира!», «Рубежи», «Третье тысячелетие», «Из века – в век», «Поэты Москвы – 21 веку!», «Созвучие», и мн. др. Член Союза писателей России. Стихи опубликованы в «Антологии-21 век от Рождества Христова» (Москва, 2001). Составитель и издатель (совместно с редактором И.А. Голубевым) восьми антологий поэзии серии «СТИХИиА» (с 1998 по 2007 гг.), а так же новой антологии поэзии «Земляки» (2009) - первой в основанной серии антологий «Мир говорит на русском».

УГРЕНИНОВ, СЕРГЕЙ. Прозаик, журналист. Род. в 1959 г. Живет в городе Кустанай (Казахстан). Окончил факультет журналистики Казахского ГУ (Алма-Ата). Ра-

ботает журналистом и преподавателем университета. Автор шести художественных книг и трех документально-исторических книг.

ФЕТ, ВИКТОР. Поэт, эссеист, доктор наук. биолог. Род. в 1955 г в Кривом Роге, Украина. Окончил Новосибирский ун-тет. Эмигрировал в США в 1988 г. Ныне живет в Хантингтоне, Вэст Вирджиния, где преподает генетику. Сб. стихов и прозы «Под стеклом», 2000, «Многое неясно», 2004. Публикуется в периодике США, Германии, России, Болгарии.

ФЛОМ, АЛИСА. Художница. Занимается живописью, керамикой, дизайном женских украшений. Род. в Киеве, Украина. На Западе с 1988 г. Ныне живет в Филадельфии. Окончила Пратт Колледж, затем Аркадиа Колледж, училась также в Англии и Австралии. Участник выставок. Организовала собственную фирму «Slada».

ФРЕНКЕЛЬ, ВЛАДИМИР. Поэт, эссеист. Род. в 1944 году в г. Горьком (Нижнем Новгороде). Вырос в Риге. Учился в Латвийском университете, на историческом факультете. Начал публиковаться в 70-х гг. В 1977 г. вышла первая книга стихов. Автор ряда статей на литерату ные и исторические темы. В 1985 г. был арестован по делу о самиздате (в 1985-1986 гг. – политзаключенный, в 1990 г. реабилитирован). С 1987 г. живет в Иерусалиме, Израиль. Член СП Израиля. Публ. в журналах и альманахах Латвии, Израиля, России, США, Франции. Автор шести сб. стихов.

ХАРИТОН, ЛЕВ. Прозаик, переводчик. Род. в Москве в 1945 г. Окончил Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Работал преподавателем английского языка и переводчиком. В 1989 г. эмигрировал в Израиль. В 1990 году переехал во Францию и 9 лет жил в Париже, тренируя французских шахматистов (будучи международным мастером по шахматам). Работал журналистом в газете "Русская мысль". В 1999 г. переехал в США и поселился в Нью-Йорке. Пишет прозу: рассказы и мемуары (публикации в нью-йоркской газете "Русский базар"). Переводил с английского и на английский ряд книг: Р. Фишер "Мои 60 памятных партий", Г. Каспаров "Каспаров учит шахматам" и др.

ХОДОС, АЛЛА. Поэт. Автор книг стихов и прозы: «Интернат», Нью-Йорк, 1996, «Человекоснег», Нью-Йорк, 1999. Книга «Птичка» готовится к изданию. Живет в Сан-Франциско. Публикации в журналах «Tetta Nova», «Вестник», альманахах поэзии, интернет-журналах.

ЦЕЙТЛИН, ЕВСЕЙ. Литературовед, культуролог, критик, прозаик. Кандидат филологических наук. Род. в 1948 г. в Омске. Окончил факультет журналистики Уральского университета им. Горького. Преподавал в вузах историю русской литературы и культуры. Автор сб. литературно-критических статей, эссе, монографий, рассказов, повестей о людях искусства. Кн.: «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти», «Писатель в провинции», «Голос и эхо», «Вехи памяти» (совм. с Л. Аннинским), «На пути к человеку», «О том, что остается», «Долгое эхо», «Свет не гаснет», «Жить и верить...», «Всеволод Иванов», «Сколько дорог у "Бронепоезда №14-69"», «Так что же завтра?..», «Всегда и сегодня», «Беседы в дороге». Член Союзов писателей РФ, Литвы, член Пен-клуба. Составил четыре сборника прозы русских и зарубежных, писателей. С 1996 г. живет в Чикаго, США. Редактор чикагского ежемесячника «Шалом».

ЧАЙКОВСКАЯ, ИРИНА. Прозаик, критик, драматург, преподаватель-славист. Кандидат педагогических наук. Родилась в Москве. Окончила Педагогический университет. С 1992 г. живет на Западе. Печаталась в журналах "Вестник Европы", "Нева", "Звезда", "Октябрь" (Россия); "Новый журнал", "Чайка", "Побережье" (США). Автор книг "Завтра увижу" (1991), "Карнавал в Италии" (2007), «Любовь на треке» (2008), «Какие нынче времена» (2008). Живет в Бостоне, США.

ЧЕРЕНЦОВА, ОЛЬГА. Прозаик, художник. Родилась и выросла в Москве. Публиковалась в журналах: «Эрмитаж», «Новый журнал», «Литературная учёба», «Чайка» и др. Писала статьи по искусству в журналах и книгах: «New Art International», «Literal Latte», «Manhattan Arts» и др. В 2009 году в Издательском Доме «Литературная учёба» («Луч», Москва) вышла книга прозы «Двойник», куда включены два романа (проиллюстрирована автором и её братом – художником Сергеем Черенцовым). Ныне проживает в шт. Техасе, США.

ЧЕРЕНЦОВ, СЕРГЕЙ. Живописец, график, резчик икон. Родился и вырос в Москве в семье потомственных художников и деятелей театра и кино. Выставляется в художественных галереях США. Работы находятся в частных коллекциях. Иллюстрировал прозу Ольги Черенцовой. Проживает с семьёй в России.

ЧЕЧИК, ФЕЛИКС. Поэт. Род. в 1961 г. в г. Пинске, Белоруссия. Окончил Литературный институт им. Горького. Учился в Институте славистики Кёльнского ун-та. Автор двух поэтических книг. Составитель антологии современной русской поэзии «Там звезды одне». Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Арион» и др. Живёт в Израиле.

ШАМСУТДИНОВ, НИКОЛАЙ. Поэт, сатирик, переводчик. Род. в 1949 г., на п-ве Ямал. Работал тележурналистом, художником. Окончил Литературный институт (Москва, 1980). Член СП России. Публ. в «Новом мире», «Октябре», «Молодой гвардии», «Дружбе народов», «Звезде», «Неве» и мн. др. Печатался в Скандинавии, Польши, Словакии, Франции, Германии, США, России и др. Автор двадцати поэтических книг, основные из которых – «Выучиться ждать» (1980), «Прощание с юностью» (1982), «Лунная важенка» (1985), «Скуластые музы Ямала»» (1988), «Сургутский характер» (1999), «Жутьебытье» (2002), «Заветная беззаветность» (2007). Живет в Тюмени.

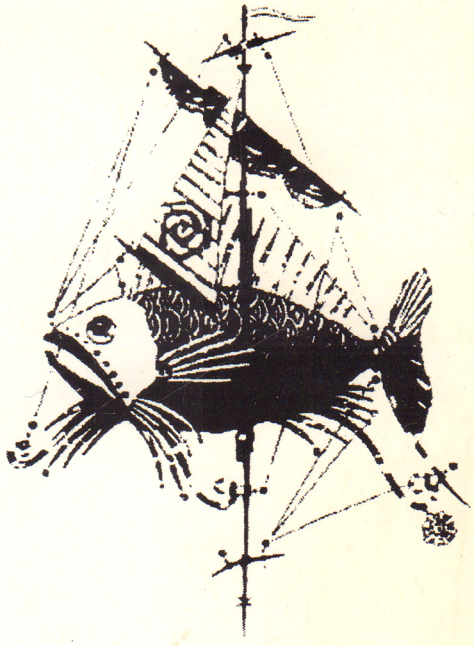
ШАРЛАИМОВ, ВАСИЛИЙ. Прозаик. По специальности - инженер-механик. Род. в 1956 году в г. Цюрупинске Херсонской области. Окончил Херсонский филиал Одесского технологического института им. Ломоносова. Работал на Херсонском предприятии «Медтехника». Переехал на Запад и ныне живет в Португалии. Печатается в периодике США, Португалии, Украины, России.

ШАРЫМОВА, НАТАША. Журналист, продюсер, специалист по коммуникации. Род. в Ленинграде. Окончила Театральный институт. Работала фотографом (на этом месте до неё работал Иосиф Бродский). Была редактором самиздатовского журнала «37». Выехала на Запад в 1977 году. Год жила в Италии, затем переехала в Нью-Йорк, США. Работала в газете «Новый Американец». Училась в NYU. С 1992 г. проработала 16 лет в России в редакции «Голос Америки». Издатель электронной газеты «Нью-Йорк плюс плюс» (культурные новости).

ШРАЕР-ПЕТРОВ, ДАВИД. Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Родился в Ленинграде в 1936 г. С 1987 г. живет в Бостоне, США. Автор более двадцати книг прозы, поэзии, воспоминаний. Кн. стихов "Холсты", 1967, две книги эссе о поэзии, "Песня о голубом слоне", 1990, "Вилла Боргезе", 1992, "Пропащая душа", 1997, «Питерский дож», 1999, «Форма любви», 2003. Романы: "В отказе", 1986, "Друзья и тени", 1989, "Герберт и Нелли", 1993, "Москва Златоглавая", 1994, "Французский коттедж", 1999, «Карп для фаршированной рыбы», 2005 и др.

ЮДИН, БОРИС. Поэт, прозаик. Жил в Латвии. Эмигрировал на Запад в 1996 г. Ныне живет в Нью-Йорке, США. Автор книг: "Убить Ботаника", "Дилетант", "Так говорил Никодимыч", "Город, который сошёл с ума", «Шоколадная ржавчина». Публикуется в литературных журналах и сборниках: "Зарубежные записки", "Крещатик", "Побережье", "Встречи", "Слово/Word" и мн. др.

ЯБЛОНСКИЙ, АЛЕКСАНДР. Прозаик, музыкант. Род. в Ленинграде в 1943 году. Окончил Ленинградскую государственную Консерваторию (пианист и теоретик по истории исполнительского искусства). Преподавал в Консерватории и ряде других учебных заведений. Лектор-музыковед по истории русской и европейской музыки. Преподавал в Барселоне, Кельне, Риге и др. городах В 1996 г. эмигрировал в США. Живет и работает в Бостоне. В 2008 году вышла книга "06/07. СНЫ" (Изд. "Водолей Publisher", Москва).



THE COAST

PHILADELPHIA

2009